

Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»

МАКСИМ ГОРЬКИЙ: PRO ET CONTRA

*Личность и творчество Максима Горького
в оценке русских мыслителей и исследователей
1890—1910-е гг.*

Антология

Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
Санкт-Петербург
1997



Ю. В. Зобнин

ПО ТУ СТОРОНУ ИСТИНЫ (СЛУЧАЙ ГОРЬКОГО)

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Пушкин

Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала до конца и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит он свое, ибо он лжец и отец лжи.

Иоанн 8, 44

На склоне дней, уже возведенный общим мнением в ранг «великого яснополянского старца» и поименованный «классиком мировой литературы», Лев Николаевич Толстой сделал среди дежурных дневниковых заметок следующую: **«Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли это художественная отжила или я отживаю?»**

Умение Толстого оглушать читательское сознание всевозможными прихотливыми парадоксами, отлитыми в чеканную форму толстовских речений, сомнений, конечно, не вызывает. Однако здесь в отличие от следующих бесчисленных выпадов Толстого против искусства, завершившихся, как известно, торжественным отлучением от мировой культуры «Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности — Аристофана, или новых — Данте, Тасса, Мильтона, Шекспира; в живописи — всего Рафаэля, всего Ми-кель-Анджело с его нелепым «Страшным судом»; в музыке всего. Баха и всего Бетховена с его последним периодом...»¹, сам **камерный тон** сказанного располагает не столько к полемике или послушанию, сколько к некоему лирическому **сопереживанию**.

Ибо сказанное — крик души.

Сомнения в нравственной состоятельности основ художественного творчества начинают посещать Толстого в начале 90-х годов XIX века — указанная здесь запись сделана в 1893 году, когда уже было произнесено по адресу русских литераторов роковое определение «декадентов» и началось то, что несколько позднее позволило Александру Блоку подытожить эстетический опыт своего поколения в краткой формуле: «Искусство — это ад» — и откомментировать это заключение известным обращением «К Музе»:

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

.....

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу улада —
Эта горькая страсть, как полынь!

О природе того **процесса отчуждения** художественного творчества от традиционных жизнеустроительных ценностей человечества, который и получил в истории новейшей литературы название «декадентства», нам уже доводилось говорить². Тема наших нынешних заметок позволяет нам бегло очертить один из самых популярных путей подобного отчуждения — культ «СВЯЩЕННОЙ ЛЖИ ИСКУССТВА», непосредственно связанный в истории русского модернизма с именем Максима Горького.

Если Толстой в 1893 году стыдился «писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали» и, угадав в свободе творческой воли художника **некое злое основание**, провозглашал «крестовый поход» против мировой художественной культуры, то Горький, дебютировав годом раньше «Макаром Чудрой», со всей яростной энергией молодого таланта обрушился на эстетическое «правдоподобие». Поэтическая стихия раннего Горького — сказка, легенда, притча — то, что он сам подводил под очень емкое в его лексиконе понятие п е с н и, — не что иное, как инстинктивное сопротивление ре-

алистическому требованию «жизненной правды» пока еще на уровне поэтическом. Неистребимое отвращение к реализму не могло победить даже ученическое «послушание» у В. Г. Короленко; последний, после прочтения «Валашской сказки» («О маленькой Фее и молодом Чабане»), растерянно уверещивал некогда покорного «ученика»: «Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе... я бы сказал барышне: “Недурно, а все-таки выходите замуж!” Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае, — преступно».

«Ученик» долго крепился, да и ответил, заметим, опять-таки в сказке («О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины»):

«НА ЧТО НУЖНА ПРАВДА, КОГДА ОНА КАМНЕМ ЛОЖИТСЯ НА КРЫЛЬЯ?»

Явление этого замечательного постулата — одного из *самых важных* в истории русской литературы — пугающе срежиссировано самой судьбой: если вспомнить все, о чем говорилось выше.

Век XIX (Толстой) заявляет:

— Долой искусство, если в нем может присутствовать ложь!

Век XX (Горький) синхронно отвечает:

— Долой искусство, если в нем НЕ может присутствовать ложь!

Сцена, достойная Шекспира!..

В наше время Горького принято «разоблачать». С первых лет «перестройки» на этом специализируется целая армия отечественных и зарубежных историков литературы. Полемизировать или соглашаться с ними у нас желания нет — хотя бы потому, что в Горьком — в его личности, в его произведениях — **много есть разного**. Можно лишь заметить мимоходом: если Горького «развенчивают» до сих пор, из года в год на протяжении десяти лет, к вящему интересу читающей публики, это показательно: значит, есть что развенчивать.

Все сказанное выше было прологом к рассказу о трагедии духа, в которой Горькому была отведена важная роль, **не более**. Трагедийное действо вообще не располагает к какой-либо однозначной оценочности и морализаторству:

Когда строку диктует чувство —
Оно на сцену шлет раба.
И здесь кончается искусство
И дышат почва и судьба.

1

История русского искусства конца XIX — начала XX века не испытывает недостатка в полемических страстях. Художники той поры спорили много, охотно объединялись во всевозможные группы, писали манифесты и не скупились на острые заявления. Тематика этой полемики всех со всеми имеет поистине космический размах, так что историку этой эпохи, подобно владельцу скатерти-самобранки, остается лишь пожелать искомое блюдо, чтобы оно сейчас и возникло перед ним.

Между тем, если отвлечься от внешнего, формального изобилия «точек зрения» на проблемы художественного творчества, рассматриваемого на колоссальном научно-философском фоне, то с некоторым удивлением можно обнаружить, что в основании этой «вавилонской башни» лежит лишь несколько положений, признание или отрицание которых собственно и является демаркационной линией, отделяющей «модернистов» от «традиционалистов», «новаторов» от «консерваторов» — век XX от века XIX. С предельной четкостью эти положения были сформулированы Д. С. Мережковским в его знаменитом докладе «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892): «Три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности»³. Разуметь «триаду» Мережковского следует так: с изменением представлений о природе мироздания (расширение художественной впечатлительности) задачей современного художника становится выявление «тайных» сфер бытия (мистическое содержание), обозначить которые в литературном тексте можно, лишь используя нетрадиционные формы обозначения (символы). Последнее сделало неожиданно актуальной проблему, остававшуюся до поры достоянием сугубо специальных исследований в области теории искусства, — проблему художественного вымысла. Так, Горький уже в 1895 году почитал право художника на вымысел чуть ли не залогом спасения человечества. «Мы, кажется, снова хотим грез, красивых вымыслов, мечты и странностей, ибо жизнь, созданная нами, бедна красками, тускла, скучна! Действительность, которую мы когда-то так горячо хотели перестроить, сломала и смяла нас... — сетует горьковский «Читатель». — Что же делать? Попробуем, быть может, вымысел и воображение помогут человеку подняться ненадолго над землей и снова высмотреть на ней свое место, потерянное им. Потерянное, не правда ли? Ведь человек теперь не церь земли, а

раб жизни, утратил он гордость своим первородством, преклоняясь перед фактами, не так ли? Из фактов, созданных им, он делает вывод и говорит себе: вот непреложный закон! И, подчиняясь этому закону, он не замечает, что ставит себе преграду на пути к свободному творчеству жизни, в борьбе за свое право ломать, чтобы создавать. Да он и не борется больше, а только приспосабливается... Чего ради ему бороться? Где у него те идеалы, ради которых он пошел бы на подвиг? Вот почему живет так бедно и скучно, вот почему обессилел в человеке дух творчества...» («Читатель»). Если Мережковский сравнивал противников «новой школы» в русском искусстве, среди прочего, со Смердяковым Достоевского, утверждавшим бесполезность произведений, в которых «про неправду все написано», то Горький вторил Мережковскому, вкладывая в уста «Читателя» гневные инвективы по адресу писателя-реалиста: «Ты нищ, для того чтобы дать людям что-нибудь действительно ценное, а то, что ты даешь, ты даешь не ради высокого наслаждения обогащать жизнь красотой мысли и слова... Ты нищ для подарков, ты просто ростовщик: даешь крупицу твоего опыта под проценты внимания к себе. Твое перо слабо ковыряет действительность, тихонько ворошит мелочи жизни, и, описывая будничные чувства будничных людей, ты открываешь их уму, быть может, и много низких истин, но можешь ли ты создать для них хотя бы маленький, возвышающий душу обман?.. Нет! Ты уверен, что это полезно — рыться в мусоре буден и не уметь находить в них ничего, кроме печальных, крошечных истин, устанавливающих только то, что человек зол, глуп, бесчестен, что он вполне и всегда зависит от массы внешних условий, что он бессилен и жалок, один и сам по себе?»

Чтобы по достоинству оценить оригинальность горьковских взглядов, нужно вспомнить, что вплоть до возникновения «модернизма» в русском и европейском искусстве конца XIX — начала XX в. в теории искусства аксиоматичным считался взгляд на деятельность художника как на **подражание** реальности, полагалась ли последняя творением Божиим, либо была обозначена — в духе атеистического нового времени — понятием Природы. В современном литературоведении деятельность художника определяется потому понятием **моделирования**, а произведение искусства рассматривается как воплощенная в соответствующем материале «модель мира» — художественный образ. Специфика моделирования определяет отношения модели и первоисточника как диалектику **подобия и различия**, объясняя таким образом неизбежность художественного вы-

мысла: модель должна быть **похожа** на первоисточник, но не **тождественна** ему (в противном случае получится не модель, а **дубликат**, т. е. нечто качественно иное). Конкретно в произведении искусства — модели действительности — отличия от первоисточника (художественный вымысел) являются средством для создания «подтекста», для фиксации всей той информации, которую художник произвольно и **дополнительно** связывает с изображаемым объектом. Таким образом, благодаря художественному вымыслу художник получает возможность не только «копировать» мир, но и «комментировать» его.

Горький предлагает нам нечто иное. Мир изначально присутствует в его концепции творчества как нечто, что нужно **преодолеть**, а не «**объяснить**» — «ибо жизнь... бедна красками, тускла, скучна», и предлагает только «печальные, крошечные истины», устанавливающие, «что человек Зол, глуп, бесчестен... бессилён и жалок». **Такую**, безнадежно враждебную и злую, реальность надо дезавуировать в акте художественного творчества, создать не «модель», а «**антимодель**», выстроенную по принципу «от противного», являющую то, что в моделируемой реальности **отсутствует в принципе**, чего в «злом мире» нет и быть не может — «вымысел и воображение помогут человеку подняться ненадолго над землей». Читатель должен получить не «комментарии к жизни», а «самодостаточный образ альтернативной жизни, вызвавший у него отвращение к «бедной красками», «тусклой, скучной» реальности и желание «ломать» ее, чтобы «создавать».

Можно, конечно, отметить, что предложенная Горьким программа взаимоотношений художника, мира и читателя сильно смахивает на бессмертный афоризм Козьмы Пруtkова — «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — но нельзя не видеть поразительную схожесть горьковских построений в этой области с программными заявлениями радикального крыла русского модернизма:

Создал я в тайных мечтах
Мир идеальной природы —
Что́ перед ним этот прах:
Степи, и скалы, и воды!

(В. Брюсов «Четкие
линии гор...», 1896)

И там и здесь — один и тот же «ревизионистский» творческий принцип — произведение искусства есть не подобие, а **а н т и п о д о б и е** действительности. Художественный вымы-

сел в этом случае превращается в мощное оружие разрушения мироздания, в **провоцирующую ложь**, сознательно вложенную художником в произведение искусства, чтобы разрушить связь читателя с миром, заставить читателя действовать **неадекватно** «непреложным законам», «фактам», в конце концов — отвратить читателя от мира — «подняться ненадолго над землей» — и обратить его к неким «внемировым», «внежизненным» ценностям.

Реализация единой установки в эстетике символистов и «неореализме» Горького несколько разнилась. В случае Горького «жизнеподобие» **формально** сохранялось, в то же время **по существу** являя собой «зазеркальную» жизнь, протекающую вне существующих бытийных норм. Примером, проясняющим специфику горьковского творчества, может служить явление «виртуальной реальности», получившее в наши дни столь широкое распространение благодаря развитию компьютерных технологий — создание полной иллюзии жизни при абсолютной свободе творческой воли игрока, властвующего над порождаемым машиной миром.

Символисты действовали в своем отрицании действительно-сти грубее и откровеннее, разрушая жизнеподобие своих произведений не только на содержательном, но и на формальном уровне. Их тексты потому становились «герметическими», непонятными для профанов, некими пришельцами

Из страны блаженной, незнакомой, дальней...

Горьковские произведения неискушенными читателями принимались за прямое продолжение «бытописания» реализма XIX века. Так что если уподобить модернизм волку Фенриру, терзающему мир-Асгард, то символизм явится в первоначально-волчьем обличье, а горьковский «неореализм» — предварительно облаченным в овечью шкуру.

2

Как легко догадаться, «возвышенные идеи», с помощью которых Горький рассчитывал «обогащать жизнь красотой мысли и слова», были не чем иным, как **утопиями**, воссозданными Горьким «по мотивам» популярных тогда философских и социологических учений.

Собственно горьковским идейным основанием всех меняющихся на протяжении жизни взглядов писателя было антропо-

центрическое утверждение возможности качественного преобразования мироздания, своеобразная альтернатива христианскому апокалипсису. Если попытаться бегло охарактеризовать это идеологическое «ядро», сопоставляя различные высказывания Горького, афористические признания его героев, являющиеся по общепринятому горьковедцами мнением близкими взглядам автора, свидетельства современников и критические заключения, то выходит — с известной долей огрубления — следующее.

Бог — **настоящий и неведомый историческим церквям** — совершая акт творения, вложил неоднородные возможности в материальный мир, качественно **противоположив человека и прочую тварь**. Первый — «венец творения», последняя — грубый, необработанный «материал», требующий дальнейшего приложения творческих усилий. Совершив подобный — по Горькому, **п е р в и ч н ы й**, незавершенный — акт творения, Бог **п о к и н у л** тварное мироздание, препоручив дальнейшую работу по **о к у л ь т у р и в а н и ю** мира «совершенному» человеку. Можно сказать, что если Бог создал человека «по образу и подобию» своему, то человек должен по **с в о е м у** образу и подобию достроить тварный мир, преобразовав его в конце концов в «новый», «земной рай». Тогда «материальное» будет тождественно «идеальному», и человек откроет для себя истинного Бога, слившись с Ним.

В подобном «мистическом культуртрегерстве» Горького нетрудно увидеть еретическое перетолкование евангельской притчи «о закваске» (Мф. 13, 33). Если Иисус уподобляет «закваске» **Ц а р с т в о Н е б е с н о е** в человеке, то для Горького **ч е л о в е к** оказывается «закваской», брошенной Богом в косную материю. Человек здесь уже является полной Царства Небесного, совершенным **о т н а ч а л а** своего, в общем — человекобогом. И, нужно заметить, утверждение **а б с о л ю т н о й** ценности человеческого существа в мире есть горьковский «символ веры», неизменный при всех прочих метаморфозах духовного пути писателя — вплоть до конца, до тридцатых годов, когда Горький, пользуясь своим статусом «государственного лица», пытался организовать в СССР «Институт Человека».

Истоки горьковского антропоцентризма следует искать в учении русских просветителей-франкмасонов XVIII века, благо существуют многочисленные биографические указания на увлечение их идеями юного Алеши Пешкова в бытность его поваренком на пароходе «Добрый» и в последующие годы горь-

ковских «университетов»⁴. Здесь уместно привести для сравнения характеристику взглядов Новикова и Шварца, данную прот. В. В. Зеньковским в его «Истории русской философии»: «В мистической антропологии, которой следовало масонство, громадное значение имела доктрина первородного греха и учение о “совершенном” Адаме. “Восстановление” этого “изначального совершенства” в XIX веке приняло более натуралистическую окраску в учении о “сверхчеловеке”, в замыслах “человекобожества”...

Нет надобности нам входить в подробности мистического учения о космосе и человеке, как оно развивалось на страницах русских масонских изданий. Все же приведем один характерный отрывок, утверждающий принципиальный — *антропоцентризм* всего умонастроения. “*Без человека вся природа мертва*, — читаем здесь, — весь порядок не что другое, как хаос. Виноградная лоза не услаждает самой себя, цветы не чувствуют своей собственной красоты, без нее алмаз лежит в камне без всякой цены. В нас все соединяется, нами открывается во всем премудрость, стройность и первая точная красота...” “Человек есть экстракт из всех существ”, — читаем у масонов. Очень существенна для всего этого умонастроения *свобода ищущего духа*, который жадно впитывает в себя догадки, “откровения” и разные домыслы, чтобы проникнуть в сферу “сокровенного знания”»⁵.

Интересно здесь еще и то, что идеологи Просвещения активно выдвигали идею негативного воздействия «среды» на человека-преобразователя; эта идея поясняла фиктивный характер кажущегося несовершенства человеческого существа. Все уродства человека в таком случае оказывались не присущими ему самому, а приобретенными, наносными, несущественными — «грязными руками», испачканными при работе с грубой, неподатливой, сопротивляющейся материей. Подобный мотив «наносной грязи» — при буквальном совпадении образности — неоднократно звучит и у Горького: «Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе-человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой» («Детство»).

Противоречие между «позитивным» основанием человеческого существа и большей частью окровлено «негативными» результатами деятельности человека, живущего по «зверским законам» и принимающего «свинцовые мерзости... жизни» как

нечто само собой разумеющееся, разрешалось мыслителями XVIII века положением о не просвещенности человека относительно его высокого предназначения. Инстинктивно стремящийся к «добру», человек не знает «оптимальной методики» позитивного жизнедеяния, действует «методом проб и ошибок», в большинстве случаев подтверждая истинность пословицы о благих намереньях, коими вымощена дорога в ад. Следовательно, человека надо н а у ч и т ь делать добро, просветить.

«Есть люди — а есть и человеки», — говорит горьковский Лука, разумея под этим наличие **профанов и посвященных** — при общечеловеческой, объективной и «неистребимой» устремленности к добру («По мне и блохи не плохи, все — черненькие, все прыгают»). «Хочу, чтоб каждый из людей был Человеком», — провозглашает Горький в поэме 1903 года, со всей страстностью отстаивая необходимость и д е а л и с т и ч е с к о г о просвещения:

«Я создан Мыслью затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое, — и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!

* * *

Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом, и дарами духа!

Да будут прокляты все предрассудки, все предубеждения и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей, — я их разрушу!» («Человек»).

Как видно, ж и з н е н н ы й опыт оказывается здесь «предрассудком», могущим привести лишь к «позорной нищете людских желаний», порождающей пресловутые «свинцовые мерзости» жизни. И в самом деле, коль «вся эта жизнь» — «бессмысленна, постыдна и противна», то чем у хорошему она может н а у ч и т ь? Если и есть достойные «Человека» положительные ценности, то они, по Горькому, могут быть только «выкованы Мыслью», т. е. быть о т р и ц а ю щ и м жизненный опыт «возвышенным обманом».

Остается найти источник, содержащий достаточно «возвышенные мысли», никак не связанные с прагматикой здравого

смысла, и облечь их волею художника в кажущуюся подлинной «плоть» художественных образов.

3

Плеяда «возвышенных обманов», вдохновлявших Горького на разных этапах его творческого пути, открывается не «нищепанством», как это часто ошибочно утверждается в современном горьковедении, а народническим культом «просветителя-интеллигента» — культом, генетически восходящим к утопии Н. Г. Чернышевского, столь живо нарисовавшего в романе «Что делать?» общество «новых людей», людей, не подчиненных законам причинности, существующим в современном им обществе, создающих свою, «альтернативную» общепринятой, так сказать — «д р у г у ю» общественность, базирующуюся на принципах так называемого «разумного эгоизма».

Здесь следует помнить, что подобно тому как учение Ницше, слишком поверхностно и «прагматически» усвоенное русскими интеллигентами 90-х годов XIX века, превратилось в «нищепанство»⁶, так и утопия «разумного эгоизма» Чернышевского, преломленная призмой революционного прагматизма Лаврова и раннего Плеханова и подхваченная в таком виде энтузиастами «хождения в народ», была усвоена последователями русского «народничества» в упрощенном, слишком адаптированном к нуждам повседневности виде. Именно в таком виде является перед нами апологетика «новых людей» в ранних повестях, очерках и рассказах Горького — тогда прилежного ученика В. Г. Короленко.

Для Чернышевского отношения «народа» и «интеллигенции» (последняя разумелась синонимом «революционной демократии») представлялись отношениями «профана» и «иерофанта», «незнающего» и «посвященного». Интеллигенция выступала тут началом сугубо н а р о д н ы м, но в отличие от большей части народа с о з н а т е л ь н ы м, т. е. рационально усвоившим то, что в непросвещенной «массе» содержится на уровне интуитивном, в виде «темных идей» (если уместно здесь употребить термин К. П. Победоносцева). Другими словами, для Чернышевского не с у щ е с т в о в а л о в р е а л ь н о с т и отделения «народа» от «интеллигенции»: все противоречия этого рода он «снял» как «недоразумения» чисто субъективной природы, объясняемые известным изречением о том, что возможна ситуация, когда «своя своих не познаша».

Собственно, сама революция представлялась Чернышевскому «соборным» «снятием» существующего «недоразумения», действием **разовым и механическим**, вполне осуществимым с помощью пресловутого «топора» («К топору зовите Русь!») потому, что «предрассудки», довлеющие над российской жизнью и коверкающие человеческие судьбы, **не имеют в народном бытии никакого реального основания**. Неправедная власть, засилие чиновничества, несправедливое распределение ценностей, угнетение и эксплуатация — по Чернышевскому — суть фантомы, порожденные невежеством человеческого существа относительно своей истинной природы: его «социализм» является потому началом «объективно-биологическим», характеристикой «здорового» жизнедействия человека. Говоря иначе, можно представить, что в силу неких причин обществом было принято за верное хождение на четырех конечностях; со временем это требование обрело статус закона и выполнялось, несмотря на физиологическое, объективное неудобство выполнения. Однако, поскольку в самой **природе** человека сокрыто желание ходить не на четвереньках, а на ногах, борьба с подобным положением вещей оказывается **борьбой за восстановление здравого смысла**, не требующей сколько-нибудь длительной теоретической и организационной подготовки и сводящейся к демонстрации и моральному поощрению неопитов, да, возможно, к **разовым акциям** подавления **ничтожной толики** тех, кто извлекал выгоду из абсурдности происходящего.

Внешняя схема идеологии Чернышевского была, как уже говорилось, воспринята интеллигенцией 70-х годов, ринувшейся в начале десятилетия «в народ» с целью «объяснить» крестьянству его «природную» тягу к «социализму». Трагический итог «хождения в народ» хорошо известен: выданные «народом» же «учителя», прошедшие через «Большой процесс» 1877—1878 годов, ссылки и каторгу, на собственном горьком опыте убедились в живучести «предрассудков». Крах народовольческого террора в начале 80-х годов породил глубочайший кризис «народничества», обусловивший специфическую трактовку проблемы «народа» и «интеллигенции» в русском искусстве 80—90-х годов — эпохи, когда складывались идейные и эстетические пристрастия раннего Горького.

В культуре этой поры сохранился традиционный «шестидесятнический» подход к изображению «интеллигента» как «з н а ю щ е г о» и потому «д е я т е л ь н о г о» лица, однако в новой интерпретации «знание» некоей «истины» (со временем все более неопределенной) оборотной стороной своей имело обяза-

тельный трагический оттенок «непонимания» со стороны окружающих, так что в русском искусстве, апеллирующем к подобной тематике, своеобразно возрождалась мифологема Кассандры — непонятого пророка, а «деятельность» оказывалась по природе своей ж е р т в е н н о й (отсюда — многочисленные реминисценции «христологического» толка, тема «невинной и добровольной» жертвы, «жизнь положившей за други своя»). В общем, знаменитая формула Чернышевского, призывавшего на русскую землю «добрых и сильных», стремительно заменялась в 70—80-е годы формулой «добрых, но бессильных» героев-подвижников, гибнущих во имя «идеала», но не способных произвести реальное «положительное» действие. Трагический пессимизм общественного настроения этой эпохи гениально передан в некрасовском «Рыцаре на час»:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

.

Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано!

Изображение подобного героя располагало к известной сентиментальности, меланхолической печали и «тоске», что со временем все нагляднее проявлялось в произведениях авторов, группировавшихся вокруг последнего «бастиона» народничества — журнала «Русское богатство», в частности — в творчестве его соредактора В. Г. Короленко. Ранний Горький в полной мере отдал дань подобной беллетристике.

Рассказ «Ма-аленькая!..» (1895), повествующий о судьбе ссыльной девушки-народницы, может служить подтверждением тому: героиня рассказа — «ангельская душа», «книжки читала... и... крестьянство понимала», «ходила на сходы» крестьян, очевидно, вела там пропаганду («Кричит себе, бывало... Ничего, умница!.. Все знала!»), была «радетельница про все, да про всех...» — страдает и умирает от «огневицы», оплакиваемая всей деревней, а старички, постоялицей которых она была, отправляются в память ее на богомолье — «Авось, мол, Господь Бог... примет нашу грешну молитву, простит ей!» В том же духе выдержан и рассказ «Исключительный факт» (1895), представляющий собой панегирический диалог двух мужиков на могиле писателя-народника, способствовавшего просвеще-

нию народа. В «Тоске» — рассказе уже достаточно зрелом (1896), вошедшем впоследствии в сборник «Очерков и рассказов», толчком к пробуждению некоего душевного томления у главного героя — мельника Тихона Павловича — становится зрелище похорон «сочинителя»: «...Тихон Павлович... узнал... что покойник был беден, хотя двадцать лет неустанно трудился на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто им не интересовался и никто его не ценил и что он умер в больнице, одинокий, каким был всю свою жизнь... Удары судьбы один за другим падали на его голову, и вот они наконец забили этого человека, посвятившего всего себя неблагодарной, черной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни для людей! Для всех людей, без разбора... Тихон Павлович вертел головой, разглядывал сумрачные лица слушателей и чувствовал, что не его одного, — всех охватывает тоска.

— Засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души, до того привыкли, что и не замечаем, какие все мы стали деревянные, бесчувственные, мертвые. И люди такие, как он, непонятны нам...»

«Народнический» мотив «светлой личности» — «просветителя», «посвятившего всего себя неблагодарной, черной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни... для всех людей без разбору» — отправная точка становящегося горьковского гуманизма. Более того, «родовые» черты этого литературного типа будут затем кочевать из произведения в произведение Горького — вплоть до «Матери», «Жизни ненужного человека» и «Городка Окурова». В 1929 году он почти дословно повторит сентенции, прозвучавшие в «Тоске»: «Культурная работа в условиях русской жизни требует не героизма, а именно мужества — длительного и непоколебимого напряжения всех сил души. Сеять “разумное, доброе, вечное” на зыбучих болотах русских — дело необычайной трудности, и мы уже знаем, что посевы лучшей нашей крови, лучшего сока нервов дают на равнинах российских небогатые, печальные всходы. А тем не менее сеять надо, и это дело интеллигента, того самого, который ныне насильно отторгнут от жизни и даже объявлен врагом народа. Однако именно он должен продолжать давно начатую им работу духовного очищения и возрождения страны, ибо другой интеллектуальной силы — нет у нас» (Речь на московском публичном собрании общества «Культура и свобода»). В «Матери» среди прочего находим картину, родственную той, которая набросана десятилетием раньше в «Ма-алень-

кой!...»: «Плоская снежная равнина. Холодно и тонко посвистывая, мечется в ней ветер, белый и косматый. Посреди равнины одиноко идет темная фигура девушки... Трудно идти. Маленькие ноги вязнут в снегу. Холодно и боязно. Девушка наклонилась вперед и — точно былинка среди мертвой равнины в резвой игре осеннего ветра. Справа ее на болоте темной стеной стоит лес, там дрожат и шумят тонкие голые березы и осины, где-то впереди тускло мерцают огни города» (речь идет о городской пропагандистке, возвращающейся домой после работы в заводской слободке). Впрочем, «сентимен-талистская» нота, вызванная подобной реминисценцией (интеллигентка — «страдалица» и «подвижница») — в 1907 году могла упраздниться реминисценцией, порождавшей совсем другую смысловую тональность: «Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!.. Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую голову, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его» («Человек»).

Переключки подобного рода знаменательны. Очевидно, что в отличие от «старших» писателей — адептов «народничества», не видевших на рубеже 80—90-х годов реального **позитивного** предназначения для своего героя и оправдывающих его потому **т р а г и ч е с к и**, путем «катарсической» гибели, оказывающейся «моральной победой», Горький нашел иной «позитивный» выход из кажущегося непреодолимым противоречия между «интеллигенцией» и «народом». Как ни странно, но первым шагом к преодолению народнического пессимизма стало для Горького... возвращение к доктрине «разумного эгоизма» Чернышевского, т. е. восстановление первоначально мыслимого типа «нового человека» в русской культуре. Точнее говоря — **ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТОПИИ**.

Дело в том, что последователи Чернышевского, как уже упоминалось, достаточно вольно обошлись с доктриной «учителя», проигнорировав в ней то, что плохо согласовывалось с задачами «текущего момента». В частности, усвоив тезис о «естественно-объективном» характере социализма, народники 70-х брали на вооружение отнюдь не социализм Чернышевского, явившийся выводом из его учения о «разумном эгоизме», а некую усредненную модель социализма, скроенную из фурьеристских принципов фалангстерного «равенства», анархизма Бакунина в совокупности с собственными идеями «вождей»

революционной русской демократии тех лет — Лаврова, Ткачева, Нечаева и др.

Иначе и быть не могло, ибо «требованием момента» полагалось активное действие, понимаемое как «борьба с самодержавием», тогда как «революционер» Чернышевского представляется лицом достаточно граждански пассивным. При всей кажущейся парадоксальности подобного утверждения оно не содержит — коль скоро речь идет о взглядах **самого Чернышевского** — никакого противоречия.

Основным постулатом «разумного эгоизма» Чернышевского оказывалось требование **честности перед самим собой**, так что истинная «революция» совершается у его героев в сфере духа. Революционеры Чернышевского — люди, позволившие себе жить комфортно, в согласии с собственной натурой, не насилующие себя во имя неких противоестественных общественных «принципов», оказывающихся на поверку «предрассудками», волею нелепого случая возведенными в ранг закона. По идее Чернышевского, в каждом человеческом существе изначально скрыта «здоровая общественность», обусловленная личной выгодой: разум проясняет, что быть добрым выгоднее, чем быть злым, ибо существование по законам добра приятнее и безопаснее, нежели существование по законам зла. Таким образом, «разумные эгоисты» Чернышевского меньше всего озабочены «благом народа» — они стремятся, во-первых, обеспечить свое собственное комфортное существование и приходят к социализму как к наиболее оптимальной форме жизнеустройства, исходя из сугубо эгоистических побуждений. Отсюда следует отрицание какой-либо агрессии «вовне»: собственно насильственные акты в революции, по Чернышевскому, возможны лишь как **форма самозащиты**. Его «социализм» вполне удовлетворяется мирным «сосуществованием» с иным, «традиционным» (и нелепым) укладом жизни; его важнейшая форма «агитации» — не насильственное внедрение своих ценностей и даже не пропаганда их, а **личный пример**.

Если для Чернышевского идея насильственного внедрения в общество некоей «благодетельной» установки, желание «железной рукой загнать человечество к счастью» — абсолютно чужды, а сам «социализм» оказывается лишь побочным следствием эгоистического стремления личности к «выгоде» и комфорту, то для его последователей — особенно среди так называемого «действенного народничества» — именно активная **общественная акция** во имя социалистических идеалов стала

краеугольным камнем программы действий. Здесь достаточно любопытная корреляция взглядов «учителя» и «учеников»: так, в начале 70-х годов С. Г. Нечаев (возможно, в соавторстве с М. А. Бакуниным) создает знаменитый «Катехизис революционера», в котором фактор *преобразования личности* революционера также играет принципиальную роль: «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным, исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией. Он в глубине своего существа — не на словах только, а на деле — разорвал всякую связь с гражданскими порядками и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общественными условиями и нравственностью этого мира... Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему...»⁷. Легко заметить, что Нечаев полностью сходится с Чернышевским в отрицании общепринятых норм бытия человека, но **мотивы** подобного отрицания существенно разнятся: Нечаев исходит из аскетического требования «общей пользы» — в ущерб собственной, личной выгоде, Чернышевский — из **гедонистического** требования пользы для себя (достижение которой по пути принесет пользу и «для всех», хотя об этом «революционер духа» Чернышевского заботится в последнюю очередь). Отсюда следуют, кстати, и поэтические особенности образа Революции в творчестве Чернышевского, его знаменитая символика — особенно в «Четвертом сне» Веры Павловны («Что делать?») — генетически восходящая к символике вакхического веселья, «хтонической» эротики, связанной с образом Деметры-Цереры, выступающей здесь под именем «невесты своих женихов» — Революции. Все это, разумеется, до поры до времени было «подавлено молчанием» в жертвенном и альтруистическом по духу русском революционном движении поколения «шестидесятников», но вновь было воскрешено в идеологии «наследников» — «восьмидесятников», громко заявивших о себе в начале 90-х годов «декадентскими» выпадами против «аскетизма» «отцов».

Для творческой молодежи начала 90-х годов, настроенной, подобно юному Горькому, достаточно революционно, именно «антропологический реализм» в духе Чернышевского являлся панацеей от тех бед, которые надорвали некогда мощное на-

родническое движение за переустройство человечества. Так, уже в «Макаре Чудре» — официальном печатном «дебюте» Горького (1892) — герой, безошибочно опознанный читателями и критикой как «бунтарь», мотивирует свои инвективы по адресу общества личной неудовлетворенностью теми «правилами игры», которые обществом приняты за верное: «Жизнь? Иные люди?... Эге! А тебе что до этого? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

Учиться и учить, говоришь ты? А можешь ты научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...» Заметим, что тут мы видим уже знакомую нам схему превращения сугубо эгоистической проповеди «личного блага» в некий — пока еще не очень определенный — «позитивный» революционный идеал: «Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько... И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, — дураком... Что ж, — он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы себе выковырять? Ведомо ему воля?... Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавить-ся, коль поумнеет немного».

Если Макар Чудра оперирует еще весьма смутными — хотя и достаточно узнаваемыми — понятиями: «раб», «свобода», «счастье» и т. п., то Фома Гордеев — главный герой первого горьковского романа (1899) — точно так исходя из личного, эгоистического (и даже несознательно-инстинктивного) недовольства «прозой жизни», доходит до вполне конкретных публичных демонстраций quasi-анархического, quasi-социалистического толка. «Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, детей народить, и умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой... Человек родился, пожил и помер... Зачем? Нужно, ей-Богу, нужно сообразить всем — зачем живем! Толку нет в жизни нашей!.. Никакого нет в ней толку! Потом — не равно все... это сразу видно. Одни богаты — на тысячу человек денег у себя имеют... и живут без дела... другие — всю жизнь гнут спину в рабо-

тах, а нет у них ни гроша... А между тем разница в людях малая...» («Фома Гордеев»). Засим Фома опознает и конкретных виновников «неудобства жизни» — купцов, на которых и обрушивается в финале: «Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими».

Чрезвычайно характерно, что «жизнеотрицание» в произведениях Горького всегда подается в форме удивления, недоумения перед «нелепицей» жизни, а собственно отрицательные оценки ее оказываются констатацией «глупости», а не «зла». Отсюда и реакция «бунтующих» героев Горького большей частью оказывается не ожесточением и агрессией, а «скукой» и жалостью к нелепым, «темным» людям, в неведении своем подвергающим друг друга бессмысленному взаимному «мучительству». «Разве так живут? Эх, вы-и!» — горестно восклицает в минуты «прозрений» дед Каширин («Детство»), а сапожник Орлов, подводя итог всему случившемуся с ним, резюмирует: «Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: "Ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего!" А потом вниз тормашками с высоты и — вдребезги! Н-да-а! А-ах как скучно и тесно жить!.. Я родился с беспокойством в сердце... Ходил я и ездил в разные стороны... никакого утешения... Противно все — города, деревни, люди, разных калибров... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Все друг на друга... так бы всех и передушил! Эх ты, жизнь, дьявольская ты премудрость!» «Глупость», «нелепость» жизни проистекают из ее противоестественности, противности ее порядка желаниям и потребностям существа, бесполезности ее для человека — если разуместь «пользу» тождественным «добру» понятием, в духе Чернышевского. Отсюда — «неуютность» жизни, вызывающая у всякого человека «беспокойство» — дискомфорт между желаемым и действительным. Вопрос лишь в том, как человек реагирует на это «беспокойство»...

Вполне в духе «народнического ревизионизма» 80 — начала 90-х годов XIX века — времени, выдвинувшего такие фигуры, как И. И. Каблиц-Юзов или Л. А. Тихомиров с его «ренегатской» исповедью «Почему я перестал быть революционером» — Горький переосмысляет главные «вехи» революционно-народнической идеологии. Революция у него становится прежде всего актом внутреннего разрешения личностью конфликта между потребностями и возможностями, установ-

ленными обществом, — в свою, разумеется, пользу, снятием противоречия между «желаемым» и «действительным» в своей жизни, другими словами, — с утверждения «биологического индивидуализма» в качестве главного мирозерцательного мотива. Именно такой человек становится «свободным» и способным к «жизне-творчеству» «внешнему»: сделав счастливым себя, он может — вспомним Макара Чудру — учить быть счастливыми других.

Подобная трактовка традиционной фигуры «необыкновенного человека», «учителя» и «устроителя жизни» вела к радикальному расширению в творчестве Горького понятия «интеллигента»: для Горького таковым оказывался любой внутренне свободный человек, могущий «учить свободе» — в духе «разумного эгоизма» отождествляющий «личную пользу» с «общественным добром», не насилующий себя и жизнь во имя «предрассудков», а умеющий «радоваться и веселиться», «мудро» и «просто» разрешая возникающие проблемы. В рядах «учителей жизни» теперь оказываются не только «проходимец» Промптов и отставной ротмистр Кувалда («Бывшие люди»), но даже князь Шакро Птадзе, знающий то, «чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами, — ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей» («Мой спутник»). Можно обратить внимание на всегдашнее присутствие в рассказах Горького своеобразного «спарринга» героев, один из которых является нам с ярко выраженной физиономией — внутренней и внешней, другой — рассказчик Максим Савватеевич — деперсонифицирован и «травестирован». Первый — актер, второй — «хор», первый имеет право на монолог, второй — обречен на слушание и комментирование. Это уже знакомая нам связка «учителя» и «ученика», «интеллигента-иерофанта» и «народа-профана», человека «нового» и «старого». Как точно заметил М. О. Меньшиков: «Нисколько не удивительно, что голь напоминает интеллигенцию, а интеллигенция — голь. Мирозерцание у них общее и должно быть таким, с оттенками чисто внешними. У интеллигенции побольше книжного знания, у голи — знания действительной жизни... Среди босяков огромный процент «бывших» людей, т. е. образованных, но спившихся или просто опустившихся на дно жизни... Эти «бывшие люди»... опускаясь в отбросы народные, несут туда свой книжный нигилизм, который встречает внизу вполне родственные настроения...

Что же такое г. Горький? Это перебежавшая яркая искра между двумя интеллигенциями, верхней и нижней, — соединяющая их в грозное «безумство храбрых»...».

Мы столь подробно остановились на «народнических» мотивах в раннем творчестве Горького потому, что *вне корреляции с ними* невозможно адекватно воспринять дальнейшие этапы духовного развития Горького, связанные с его «ницшеанством» и «марксизмом». Наше нынешнее сознание, воспитанное на университетских курсах истории философии, подвергнутых в «застойные» годы суровой вивисекции, традиционно сопротивляется сопряжению имен Чернышевского, Ницше и Маркса в некое идеологическое единство — однако для современников Горького подобная цепочка имен оказывалась очевидным и легко опознаваемым «кодом», отмыкающим источники определенного умонастроения. «Многие представители демократической мысли, — писал в начале века М. Мандельштам (не путать с поэтом!), — например, наши публицисты Михайловский (один из «столпов» позднего народничества. — Ю. З.) и Струве (в 90-е годы «легальный марксист». — Ю. З.), очень часто сочувственно цитируют страстного врага демократии (Ницше. — Ю. З.), а в европейской литературе нередко сопоставляют учение Ницше с учением демократии (Маркс и Ницше)»⁸.

Сходство этих трех, столь внешне непохожих учений обнаруживается, если, отбросив **подробности**, попытаться нарисовать некую обобщенную схему идейных построений, базу, на которой покоятся прихотливые сооружения Чернышевского, Ницше и Маркса.

Сразу же мы можем констатировать, что все трое — гуманисты-материалисты, полагающие человека самостоятельным деятельным началом, творцом «без Бога», существующим по своему разумению — свободным «метафизически». Мы увидим, что все трое по-своему выводят одну картину исторической перспективы человечества: некий «земной», «созданный», а не «сотворенный» «рай», причем создателем этого «рая» оказывается «необыкновенный человек», уже обнаруживающий себя в настоящем, среди «массы» «обыкновенных людей», но воистину утвердивший в грядущем, живущий ради будущего — во имя «любви к дальнему» (Ницше). У Чернышевского таковым является «разумный эгоист», рационально оправдывающий и утверждающий на качественно ином уровне «общину», пребывающую ныне в «недоволенном», «несамопознанном», стихийном состоянии⁹, у Ницше — преодолевший «человеческое» (слабость и трусость) «сверхчеловек», обращающий пошлую

современную общественность в «страну детей»¹⁰, у Маркса — «пролетарий», наделенный, в силу особенностей социального бытия, «экстрачеловеческими» классовыми способностями, позволяющими ему утвердить в ходе борьбы за свои права коммунизм — царство всеобщей справедливости. Характерно, что везде здесь главным атрибутом «необыкновенного человека» оказывается креативная энергия, творческое начало, резко отличающее его от человека «обыкновенного» — и у Чернышевского, и у Ницше, и у Маркса излюбленным героем является «человек **культурный**», активно распространяющий свою творческую волю на среду обитания.

Сознание подобной «глубинной» родственности учений Чернышевского, Ницше и Маркса позволяло адептам «русской революционной демократии» 90-х годов, ярким представителем которой был Горький, создавать и «на поверхности», в **подробностях** этих учений, такие изоэтированные контаминации, что подчас сложно отделить «составляющие» их блестящих сплавов идей, понятий, образов. В частности, уже в начале творческого пути, с появлением в 1892—1893 годах в русской периодике статей, посвященных творчеству Ницше, Горький активно начинает использовать «ницшеанские» формулы для обозначения процессов «внутреннего освобождения», «революции духа», происходившей среди его героев. К этому времени относится любопытное признание, сделанное Горьким в письме к А. Л. Волынскому: «Ницше... нравится мне. А это — потому, что, демократ по рождению и чувству, я очень хорошо вижу, как демократизм губит жизнь, и понимаю, что его победа будет победой не Христа, как думают, а — брюха»¹¹. Желание «сдобрить» пресную «народническую» похлебку, главным ингредиентом которой продолжал оставаться «скромный труженик», «страдалец-интеллигент», чем-то «острым» — налицо. Как известно, подобной «острой» приправой тогда же явился горьковский «босьяк», заступивший на место прежнего «учителя жизни». «Босьяк» же Горького, как было единодушно отмечено критикой, оказался весьма начитанным в ницшевской афористике и походя сыпал «ницшеобразными» речениями...

О ницшевских мотивах в творчестве Горького много писали; чтобы не повторяться, мы отсылаем нашего читателя к очерку М. Гельрота «Ницше и Горький», помещенному в настоящем издании. Мы лишь обратим внимание на то, что, солидаризуясь с Ницше в его стремлении эстетически оправдать мир и человека, преклоняясь вместе с ним перед «силой» духа и тела, Горький, оставаясь плотью от плоти русской демократической

общественности, «корректировал» учение немецкого мудреца в отечественном «народническом» духе.

Ницше не представим вне его апологии **неравенства**. «Биологический фатализм», изначальное — по праву рождения — деление людей на «рабов» и «господ», могущих биологически реализовать «волю к жизни» и осужденных на гибель «естественным отбором», — альфа и омега ницшевских построений — и созданных, по упреждению автора, «für wenich», для немногих. Горький хладнокровно переносит ницшевский аристократизм на почву русских исканий организующего начала в построении демократической общественности — «устройству на земле хорошей жизни для... всех людей, без разбора...», — «снимая» «биологический фатализм» Ницше уже в «Старухе Изергиль» известной формулой, гласящей, что «в жизни всегда есть место подвигу», и симметрично противопоставляя там же Ларру и Данко как два альтернативных вывода из единой идейной — «ницшеанской» — посылки, апологии «сильной личности». И здесь наглядно видна «химерическая» конструкция, прививающая ницшевский побег к отечественному чернышевско-народническому стволу.

Для Горького, как это ни парадоксально, объединяюще-демократическим началом было то, что для Ницше казалось началом, разъединяющим человеческие особи, — аристократическая воля к «красивой жизни». Здесь вновь вступала в действие испытанная формула «просветителя» и «просвещаемого» — воплощенная в легенде о Данко, так сказать, буквально:

«— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещаая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум заглушался топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез» («Старухе Изергиль»).

Как мы помним, у Чернышевского разделение людей на «старых» и «новых» разумелось явлением не «качественным», а «фиктивным»: речь шла о «естественном» и «противоестественном» поведении, причем последнее подчас оказывалось результатом не столько трусости, сколько невежества. Поэтому перейти из разряда «старых» людей — бесплодно страдающих и мучающихся в призрачных тенетах «предрассудков», в разряд «новых», живущих в гармонии с собой и миром, мог а ж д ы й путем простой разовой акции, требующей известной концентрации сил («подвига», если можно так сказать) и некоторого «знания», — путем отказа от ф и к т и в н ы х ценностей и принятия ценностей «реальных»¹². При этом л и ч н ы й п р и м е р «нового бытия» оказывался своеобразным «катализатором цепной реакции», ибо, видя более естественные формы жизнеустройства, любой человек не сможет долго пребывать в неестественном положении — пусть даже освященном именем закона; так, человек, ползающий на четвереньках, не сможет удержаться от соблазна встать на ноги, видя, что сосед его уже давно передвигается сообразно человеческой натуре. Приведенный выше эпизод из «Старухи Изергиль» как раз и рисует — в символических образах — сродственный процесс «цепной реакции», порожденной личным примером естественного поведения — только в качестве «естественного» начала здесь выступает не прозаическая выгода, а аристократическая жажда красоты и стремление к героическому самоутверждению, пробужденные во всех людях «светом» одного «горящего сердца».

Таким образом, мы можем сказать, что, по Горькому, «аристократ» и «сверхчеловек» скрыт в каждом человеческом существе — важно лишь пробудить «аристократа» в кажущемся «плебее». Именно знание об этом заставляет Луку «уважать человека» и, по словам Сатина, «действовать на людей, как кислота на старую медную монету» («На дне»), т. е. всячески стимулировать пробуждение «естественно-человеческого» самостояния.

Если логически продолжить сказанное, то тогда нельзя не прийти к выводу, что «грядущее торжество демократии» виделось Горькому неким соборным превращением всего общества в собрание «аристократов духа», так сказать, диалектическим преображением «тотальной индивидуальности» в некую качественно новую «общественность». В контексте общественно-философских исканий горьковской эпохи подобная картина

вполне представима — особенно если вспомнить «мистический анархизм» «младосимволистов», мечты Вяч. Иванова о «преодолении индивидуализма»¹³. Духовную связь Горького с «жизнетворческим» пафосом символистов отмечал еще С. А. Венгеров: «Есть красные нити, которые проходят по всему периоду ныне закончившихся «новых течений» и соединяют в одни и те же социологические настроения людей и стремления, с первого взгляда как будто ничего общего между собой не имеющие.

Конечно, Горький — общественник и марксист, а Бальмонт — индивидуалист и символист, но они тем не менее во многом братья по духу. Дерзкий вызов марксизма и бодрая вера в свои силы, с одной стороны, и, с другой — буйные стремления Бальмонта «разрушить здания», его гордое желание «быть как солнце», его бурные, жгучие страсти — все это объединяется в один вызов традициям, условности и вообще формам буржуазной жизни»¹⁴.

Однако, если сопоставить ницшевские и горьковские взгляды на будущее, нельзя не признать, что последние — с точки зрения правоверного «ницшевца» — грешат отсутствием логики. Действительно, утверждая объективное деление людей на «рабов» и «господ», Ницше мог полагать будущее как торжество аристократии и видеть гармонию в утверждении естественной сословности, в которой каждый «знает свое место». «Ницше верит в необходимость и неизбежность человеческого неравенства, мечтает об аристократическом общественном строе с резким разграничением на касты, из которых каждая имеет свои строго определенные привилегии, права и обязанности. Низшую касту должны составить мелкие, незначительные люди, посредственности, естественное призвание которых — служить колесиками великого социального механизма... Если хотите, они — рабы, жертвы “эксплуатации”, ибо на их счет существуют все высшие касты, которым они к тому же обязаны подчиняться. Нечего и думать о том, чтобы избавить их от лишения и страданий: для них действительность всегда была и будет горькой и суровой. Но в хорошо устроенном государстве будущего существование этих людей окажется более обеспеченным, более спокойным и, особенно, более счастливым, чем у тех, кто будет стоять выше их: на них не будет лежать никакой ответственности, им только и заботы будет, что существовать. Непосредственно над ними стоящую касту образуют правители, блюстители закона, защитники порядка, воины: во главе их стоит верховный их начальник, король... Все они осуществля-

ют, так сказать, лишь материальную сторону власти, как бы служат передаточным механизмом, передающим толпе рабов повеления истинных господ. Первой же, высшей кастой является каста именно этих господ, мудрых, “каста созидателей ценностей”: от нее исходят жизненные импульсы для всего общественного организма, и здесь, на земле, среди человечества, ей принадлежит то же самое место и то назначение, какое принадлежит во вселенной Богу»¹⁵. Приведя эту пространную выдержку из книги Лихтенберже о Ницше, Н. Я. Абрамович поясняет, что, по Ницше, «неравенство в массах обуславливается именно тем, что не все могут поднять это жизненное бремя и свободно нести его, а только те, в которых сильно развитый инстинкт жизни побуждает быть радостным, смелым и жестоким. Эта жестокость совершается во имя здоровой живой жизни. Все мощное и жизненно-сильное утверждается за счет больного и отмирающего... Нужно идти по стопам самой природы, которая заставляет все сильное занимать место слабого. Жестокость в основе самого порядка вещей... Высшая стихийно-духовная аристократия завладеет землей, та истинная аристократия, для создания которой необходимо много благородных и много благородства.

В этом оправдание земли и оправдание жизни. Процесс ее совершается для того, чтобы в завершении своем создать господство Сверхчеловека. Ибо “государство, народ и человечество находят свое оправдание в своих вершинах, в своих гениальных единицах”»¹⁶.

С подобным видением «наилучшего общественного устройства» можно, конечно, спорить, но нельзя не признать за Ницше резоны, опирающиеся на достаточно прочное основание.

Можно ли сказать подобное о «тотальной аристократии», «аристократии без рабов» в идеальном будущем Горького-«ницшеанца»? Вряд ли, если не учитывать принципиальную разницу в миросозерцаниях Ницше и русского «ницшеанца»-народника-марксиста.

Мир Ницше — мир **без Бога**. «Бог умер» здесь, и «сверхчеловек», заступивший на его место — «Все боги умерли и ныне мы хотим, чтобы жил сверхчеловек» — лишь формально воспринял его роль «старшего» над миром, но не принял на себя — и не мог принять — его сущностные, «метафизические» креативные атрибуты — способность к чудесному действию, нарушающему закон «земной», «материальной» причинности.

В горьковском утопизме — равно как и в утопизме «мистических анархистов» — очевидно присутствие «чудесного» нача-

ла, «снимающего» могущие возникнуть противоречия. Однако, как уже говорилось, Горький не удовлетворяется «старым» пониманием Бога и не намеревается жертвовать во имя его своим культом «верховного существа вселенной» — Человека. Точно, как у Ницше, у Горького Человек «заступает на место» «умершего» «старого Бога», но при этом сам становится Богом, освобождаясь от «условностей» материального бытия не только «социально», но и «метафизически», став способным к сотворению чудес.

Осталось лишь добавить, что свою «религию» Горький извлек из... марксизма.

5

Впервые Горький заявляет о себе как о «марксисте» в конце 90-х годов, с приходом в редакцию журнала «Жизнь», стремительно превращающегося в это время стараниями В. А. Поссе в орган «легальных марксистов» — противовес народническому «Русскому богатству». Впрочем, «легальные марксисты» так и не нашли общего языка с идейным шефом «Жизни», и уже в 1901 году, после скандала вокруг «Песни о буреветнике», в «илу стечения обстоятельств признанной как «левыми», так и «правыми» общественными силами «антиправительственной пропагандой» (после этого журнал был закрыт, а автор «Песни» на год сослан в Арзамас), Горький стараниями М. Ф. Андреевой и А. В. Луначарского оказался в рядах «большевистской» фракции социал-демократической партии России.

В облике горьковского Человека, уже наделенного народническим просветительским даром, созидаящим грядущую справедливую общественность, и «ницшеанским» героическим аристократизмом, появилась новая ипостась — он стал «пролетарием», причем понятие это было неожиданно наполнено в творчестве Горького 1905—1908 годов мистическим содержанием: «пролетарий» оказался приравненным к «богочеловеку».

В среде социал-демократов Горький очень скоро пристал к группе, выдвинувшей в 1907—1908 годах концепцию так называемого «богостроительства», своеобразного учения, пытавшегося опознать в марксизме «новую», «положительную» религию. Теоретиками «богостроительства» были А. А. Богданов-Малиновский, А. В. Луначарский, В. А. Базаров-Руднев; их идеи легли в основание таких произведений Горького, как «Мать»,

«Исповедь», «Жизнь ненужного человека», косвенно повлияли на замысел автобиографической трилогии.

Учение «богостроителей» сводилось к следующему.

Полагая в «фейербахианском» духе «религиозное чувство» столь же объективно присущим человеческому существу, как и прочие «физиологические» потребности, «богостроители» столь же традиционно объясняли объективную необходимость этого чувства — бессилием человека перед стихийными силами мироздания, во многом превосходящими слабые возможности человеческой жизненной воли. В опасном и враждебном, пугающе-непонятном и изобилующем губительными неожиданно для человека мирами человек неизбежно — в силу простой жажды самосохранения — должен прийти к надежде на наличие-таки в этом мире силы, превосходящей его возможности и равной по могуществу стихиям, но в отличие от стихий — дружественной человеку, «антропоморфной» и предсказуемой, открытой для контакта высшей интеллигенции. Не найдя в реальности носителя подобной силы, но испытывая объективную потребность в ней, человек, по идее «богостроителей», поступил так, как он поступает, не имея возможности реального удовлетворения любой другой «объективной потребности» — он начал удовлетворять ее в своем воображении, иллюзорно, создавая «положительный» образ «всемогущего Бога» и отправляя религиозные обряды. Точно так голодный человек, не имея возможности утолить голод, начинает представлять себе роскошные яства, которые он когда-то поглощал.

Так продолжалось вплоть до середины XIX века, когда на историческую сцену вышел новый класс — пролетариат, наделенный невиданным доселе даром — способностью к коллективному бытию, столь тесному, что с легкостью можно представить его единым «совокупным существом», состоящим из клеточек — отдельных представителей класса. В «пролетариате» воля и энергия множества людей, спаянных «классовым инстинктом», вдруг соединилась воедино, превратившись в некую чудовищную деятельную «сверхволю», диктующую в коллективном действии условия истории и бросающую вызов самому ходу вещей.

Таким образом, совокупный «пролетариат» стал для каждого из составляющих его членов той самой «антропоморфной» силой, апелляция к которой может — не иллюзорно, а в реальности — удовлетворить «религиозное чувство», снять страх перед окружающей действительностью. Говоря иначе, каждому отдельному пролетарию уже нет нужды при возникших перед

ним проблемах заклинять: «Господи, спаси!», но необходимо закричать: «**Наших** бьют!» — и, когда движимые классовым инстинктом миллионы других пролетариев выйдут на улицы, противостоять этому «коллективному действию» будет сложно — сколь ни велики силы враждебного начала.

Далее выводы «богостроителей» были весьма оригинальны. Коль скоро — рассуждали они — пролетарский коллектив оказался объектом применения религиозного чувства, то, стало быть, именно он является «реальным Богом»; фабрика, порождающая пролетариат, оказывается местом обитания «нового Бога» — храмом, фабричный коллективный труд приобретает черты литургии, а партия, в которой пролетариат обретает свой «авангард», партия, несущая миру «пролетарскую правду», естественно, оказывается «новой церковью»...

Дальнейшие построения зависели от фантазии авторов. Горький пошел, пожалуй, дальше всего в утверждении «богоподобности» коллективизма. В его «Исповеди» «народ» «коллективной волей» совершает чудо — исцеляет парализованную девушку: «Было великое возбуждение: толкали тележку, и голова девицы немощно, бессильно качалась, большие глаза ее смотрели со страхом. Десятки очей обливали больную лучами, на расслабленном теле ее скрестились сотни сил, вызванных к жизни повелительным желанием видеть больную восставшей с одра... Как дождь землю влагою живой, насыщал народ иссохшее тело девицы этой силою своей, шептал он и кричал ей:

— Ты — встань, милая, встань! Подними руки-то, не бойся! Ты вставай, вставай без страха! Болезная, вставай! Милая! Подними ручки-то!

...Все вокруг охнуло, — словно земля — медный колокол и некий Святогор ударил в него со всей силою своей, — вздрогнул, пошатнулся народ и смешанно закричал:

— На ноги! Помоги ей! Вставай, девушка, на ноги! Поднимайте ее!

Мы схватили девицу, приподняли ее, поставили на землю и держим легонько, а она сгибается, как колос на ветру, и вскрикивает:

— Милые! Господи! О, владычица! Милые!

— Иди! — кричит народ, — иди!

Помню пыльное лицо в поту и слезах, а сквозь влагу слез повелительно сверкает чудотворная сила — вера во власть свою творить чудеса.

Тихо идет среди нас исцеленная, доверчиво жметя ожившим телом своим к телу народа, улыбается, белая вся, как цветок, и говорит:

— Пустите, я — одна!

Остановилась, покачнулась — идет... Волнуется, трепещет тело ее, а руки она простерла вперед, опираясь ими о воздух, насыщенный силою народа, и отовсюду поддерживают ее сотни светлых лучей» («Исповедь»). Совершенное «народом» чудо заставляя героя «Исповеди» — «богоискателя» Матвея — уверовать в правоту «великих слов», некогда услышанных им от старца Ионы: «Бог — суть народушко», и в финале повести мы услышим от Матвея обращенное к народу: «Ты еси мой бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий твоих! Да не будет миру бози инии разве тебя, ибо ты един бог, творяй чудеса!»

В «Матери» те же «богостроительные» идеи определили поэтическую специфику текста, превращенного Горьким в «игровое действие»: читателю предлагается опознать в повествовании о становлении партийной организации на одном из российских заводов — вечные новозаветные сюжеты, угадать «абсолютное» в «преходящем», историческом. Увы! в «школьной» трактовке повести эта символика была полностью проигнорирована и «Мать» потому обратилась в достаточно скучное чтение историко-«бытописательского» толка... Это, впрочем, тема для иной работы.

Горьковское «богостроительство», очевидно, перекликалось с поисками «истинного бога» и «новой церкви» в среде писателей-символистов, связанных с кружком Мережковских (прочивших на место «новой церкви» интеллигенцию). «Исповедь» была замечен Д. В. Философовым, ранее неодобрительно отзывавшимся о «проповеди Горького», и получила благожелательный отклик. В таком же духе высказывался о «Детстве» и сам Мережковский, вообще всегда высоко ценивший Горького и, по-видимому, ощущавший в нем «родственную душу». С другой стороны, горьковское «богостроительство» вызвало возмущенные реплики со стороны «ортодоксов» от марксизма, прежде всего — со стороны В. И. Ленина.

Оценивая ныне «богостроительские» произведения Горького, мы отчетливо видим разницу в его построениях и учениях Богданова и Луначарского. Для последних «коллективизм», ставший источником «божественной силы», — неразрывно связан с идеей «пролетарского классового единства». Для Горько-

го — «коллективное начало» внеклассово, обнаруживает его не «пролетариат», а «народ»: «Бог суть **народушко**». Разница, как видим, весьма существенная, если учесть, что при такой постановке проблемы поиск источника, порождающего в «массе» чувство единения, мыслился Горьким не столько в сфере марксистской социологии, сколько в сфере «этнологии». В 1910-е годы его Человек начинает превращаться в «Р у с с к о г о Человека». Как результат этих «этнологических» изысканий Горького — автобиографические повести, примыкающие к ним очерки «Сторож», «Хозяин», цикл рассказов «По Руси», произведения «окурковского» цикла.

Ранее в горьковском творчестве мы видели на первом плане **л и ч н о с т ь**, теперь — «н а р о д», причем мыслимый неким совокупным «телом», либо «мертвым» или «умирающим», либо — «живым», — в зависимости от того, насколько «одухотворено» это тело «д у ш о й». Понятие «души народа» неоднократно употребляется в публицистике Горького этих лет и может быть достаточно точно определено: это некий общий для всех «составляющих» данное человеческое единство принцип, универсальная ценность, проявляющая себя на всех уровнях народного бытия — от бытовых обычаев до общественного умонастроения, до «инстинктов». Степень «развитости» «души народа» определяется степенью развития **к у л ь т у р ы**, способностью данной нации к непрерывному и гармоничному устройению общественной жизни. Патология «души» ведет к патологии «культуры», к уродливому жизнеустройению, к распадению «коллективного» творческого усилия, только и способного к разрешению великих задач, на хаотически раздробленные усилия отдельных личностей, творческие возможности которых крайне ограничены и взаимопротиворечивы.

Отсюда — резкая критика Горьким России и русских, еще не нашедших, по мнению писателя, достаточного основания для объединения в «народ», еще не «о д у х о т в о р е н н ы х» и потому творчески бессильных. Отсюда и многочисленные инвективы Горького по адресу «бескультурья» русской жизни, выступающей на страницах его произведений как длинный ряд «свинцовых мерзостей» («Детство»).

Согласно Горькому, патология изначально присутствует в «душе» русского народа, ибо «евразийское» положение России обусловило катастрофическую «двойственность» русского человека, химерическое сращение в нем «Запада» и «Востока». Расшифровка этих великих антиномических понятий, данная

Горьким в нашумевшей статье «Две души» (1916), явила его как достаточно наивного «западника», однако сама постановка вопроса в этой статье имела любопытную специфику. Признавая «Восток» «душевно незрелым», а «Запад», соответственно, «возмужалым» духовно, Горький обращал внимание на то, что положение «Востока» более выгодно, нежели положение «России», ибо первый е с т е с т в е н н о «мужает», сознавая свою «отсталость» «от Запада», тогда как вторая, будучи отчасти «западообразной», находит утешение в вечной бесплодной маяте, не находя в себе сил о к о н ч а т е л ь н о пристать либо к «Западу», либо к «Востоку». Отчасти такое положение, конечно, удобно, ибо русский человек в любой момент — смотря по обстоятельствам — может объявить себя либо «европейским гражданином», либо «восточным варваром». Иллюстрацией тому служит поведение горьковского Вавилы Бурмистрова («Городок Окуров»), умудрившегося побывать за раз и «революционером», и «черносотенцем», нисколько не утратившего притом «лица» и вполне органично вписавшегося как в революционную манифестацию, так и в толпу погромщиков. Вывод Горького весьма прост: для того чтобы найти в себе силы для р е а л ь н о г о творчества жизни, русский народ должен сделать о к о н ч а т е л ь н ы й выбор, разумеется, в пользу «З а п а д а», совершить, в какой-то мере, акт самоотречения и начать свое историческое бытие з а н о в о.

Так Горький вновь возвращался к революционному нигилизму русского марксизма.

Впрочем, совсем уже близок был 1917 год...

6

Мы начинали нашу статью, помянув об опасности, скрытой в обаянии творческой свободы в искусстве — свободы художественного вымысла. Читая Горького — чем далее, тем более — мы отмечаем воистину роковую роль и д е о л о г и и, довлеющей над его художественным миром. Идеи запленили здесь все: сцепления идей, сложные реминисценции, идеологические химеры. Афоризмы. Аллегии. Лирические отступления, переходящие в «проповедь»...

А вся мощь горьковского изобразительного таланта с какой-то чисто русской безудержной, безумной щедростью — брошена на «иллюстрации» к дежурной идеологической схеме...

Сказав это, мы, будучи хоть немного честны перед историей, должны сразу же добавить: **никто не имеет права упрекать Горького в подобной «антихудожественной» тенденциозности.**

Ибо Горький ни на йоту не отступал от общих «правил игры», принятых на вооружение художниками «начала века». «Связь времен», действительно, была порвана в модернистской эстетике, искусство перестало «подражать природе», оно стремилось теперь стать над природой, подчинить ее себе. Художественные образы, вольно порожденные фантазией писателя, не мыслились своими творцами только лишь в границах эстетики: все они содержали в себе установку на эманацию в «грубую реальность». В массовом порядке теперь повторялась история Пигмалиона — с той лишь разницей, что «Галатеи» XX века оказывались подчас агрессивны и бесчеловечны.

Можно ли ставить Горькому в вину лишь то, что его творческая натура обладала большей, нежели у его современников, целостностью? Другие позволяли себе некий «отдых» в бесконечном кружении по лабиринту «новых идей»:

Я жить устал, среди людей и в днях,
Устал от смены дум, желаний, вкусов,
От смены мыслей, смены рифм в стихах —
Желал бы я не быть «Валерий Брюсов»!

Горький с поражающей последовательностью реализовывал заданную временем установку на «идеализм» в творчестве, беспретно принося в жертву этому «идеализму» не только свой талант, но и — также в духе времени — свою жизнь. В результате — получилась захватывающая эпопея, насыщенная событиями и людьми не меньше, чем толстовская «Война и мир» — с той лишь разницей, что от этой «рукописи» Горький не мог, подобно Толстому, оторваться и уйти хотя бы в относительный, «личный» яснополянский покой.

Горького — очень жалко. Мрачный и неблагоприятный мир встает перед нами со страниц его произведений: сотни персонажей — и все «выломавшиеся из жизни», воры, бродяги, проститутки, алкоголики, психопаты, люди тоскующие и недовольные, подпольщики, арестанты, провокаторы... Все они хотят «красиво жить», но ход событий приводит их лишь к «красивой смерти», ибо собственно «жизнь» находится где-то в будущем, в «небе», «где много света», «но нет опоры живому телу». Даже «оптимистический» пафос горьковского «Человека» содержит, если вдуматься, трагический надрыв: нельзя ни на секунду остановиться, нужно идти и идти, «все вперед и —

выше!», без конца, на пределе сил, «сквозь жуткий мрак загадок бытия»... Представив подобное, поневоле затоскуешь по «мещанскому уюту» — сколько бы ни был яростно романтичный энтузиазм, сколько бы ни была очевидна разница между «гордым соколом» и «пошлым ужом»...

Поверив внешней, «пластической» яркости горьковских образов, приняв за верное столь эффектный художественный мир Горького, мы вдруг попадаем в пустоту, в «безвоздушное пространство» голой идеи, с «ужиным» ужасом не чувствуя под собой никакой «почвы».

Можно ли «жить идеей»? — Можно!

Но нельзя жить только идеей.

В этом «только» — разгадка трагедии модернизма — и трагедии Горького. Увлеченные призрачной «свободой», предоставленной им их творческой фантазией, они нарушили неуловимую границу между желаемым и возможным, называемую «здравым смыслом».

...Когда Толстой своим «звериным», первобытно-обостренным чутьем, по первобытному же остро реагирующим на опасность, уловил «сокровенные напевы» нарождающейся модернистской музыки, его инстинктивной реакцией была удивившая современников тяга к грубому физическому труду. В сущности, нам это ясно сейчас: то, что принималось за «чуждость» или специфическую «демонстрацию» — тачание сапог или знаменитая «пахота», — есть не что иное, как отчаянная попытка «зацепиться за землю», противопоставить грубую, спасительную тяжесть материи — увлекающей в «пустое пространство» «роковой вести» нарождающейся «сверхчеловеческой» культуры XX века. Толстого, впрочем, это уже не спасло: мощный призыв идти «все вперед и — выше!» вышвырнул и его в конце концов из дома — в пустоту ненастного пространства, в Богом забытое Астапово, *в путь без конца*.

Туда же, увлекаемая все и всех, двигалась, подобно смещающейся с места горной лавине, страна.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Репринт изд. М., 1992. Т. 30. С. 125.

² Зобнин Ю. В. Странник духа // Николай Гумилев: Pro et contra. СПб., 1995. С. 19—28. (Серия «Русский путь»)-

³ Мережковский Д. С. Эстетика и критика: В 2 т. М.; Харьков, 1994. Т. 1. С. 174.

⁴ В очерке Н. Георгиевича «М. Горький. Его значение в русской жизни и литературе» (Одесса, 1903) мы находим любопытное свидетельство служащего железнодорожной станции, где будущий писатель работал в 1890 г. «заведующим метлами и брезентом»: «Читая роман или что другое, не помню, я дочитал до незнакомой мне секты или общества «масонов» и, не зная учений их, обратился за разъяснениями к начальнику станции... Случившийся при этом в конторе весовщик Пешков обратился к начальнику станции с таким предложением:

— Дозвольте мне, Ив<ан> Ив<анович>, разъяснить это дело.

— Да разве ж ты про масонов знаешь что-нибудь? — усомнился начальник.

— Кое-что читал про них, и, что запомнил, могу рассказать.

И тут он нам прочитал настоящую лекцию про масонов с такими подробностями, что я уж и не наю, где он их почерпнул» (С. 9).

⁵ Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 109—110.

⁶ См. об этом: Данилевский Р. Ю. Русский образ Фридриха Ницше // На рубеже XIX и XX веков. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1991. С. 5—43.

⁷ Цит. по: Малинин В. А. История русского утопического социализма: Вторая половина XIX — начало XX века. М., 1991. С. 52.

⁸ Мандельштам М. Этические идеалы Ницше // К правде! М., 1904. С. 85.

⁹ См.: Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 1994. С. 84—85.

¹⁰ См.: Абрамович Н. Я. Человек будущего: очерк философской утопии Фр. Ницше. СПб., 1907. С. 96.

¹¹ Цит. по: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Социально-демократические и общедемократические издания. М., 1981. С. 297.

¹² «В очень любопытной форме Чернышевский набросал однажды образ “положительного” человека — это есть “человек вполне”, то есть цельный и внутренне гармоничный: “положительность” совпадает с отсутствием “болезненной фантазии” и не ослабляет чувства и энергии требований”... “Нравственно здоровый человек инстинктивно чувствует, что все ненатуральное вредно и тяжело» (Зентковский В. В. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 137—138).

¹³ «Индивидуализм в своей современной, невольной и несознательной метаморфозе усваивает черты соборности: знак, что в лаборатории жизни вырабатывается некоторый синтез личного начала и начала соборного» [Иванов Вяч. И. Кризис индивидуализма // Иванов Вяч. И. Родное и все-ленское. М., 1994. С. 24. (Мыслители XX века)].

¹⁴ Русская литература XX века. М., 1914. С. 6.

¹⁵ Цит. по: Абрамович Н. Я. Указ. соч. С. 95—96.

¹⁶ Там же. С. 97.



I

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Максим ГОРЬКИЙ

Человек

I

...В часы усталости духа — когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом, — когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед, — в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека.

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — выше! трагически прекрасный Человек!

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья — творит богов, в эпохи бодрости — их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротой куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед! и — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта — науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами, — он движется все — выше! и — вперед! звездою путеводной для земли...

Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно спокойна, точно меч, — идет свободный, гор-

дый Человек далеко впереди людей и выше жизни, один — среди загадок бытия, один — среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким гнетом на сердце гордое его, и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его — их уничтожить.

Идет! В груди его режут инстинкты: противно ноет голос само-любья, как наглый нищий, требуя подачки; привязанностей цепкие волокна опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их... все чувства овладеть желают им; все жаждет власти над его душою.

А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути.

И как планеты окружают солнце, — так Человека тесно окружают создания его творческого духа: его — всегда голодная — Любовь; вдали, за ним, прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятья...

Он знает всех в своей печальной свите — уродливы, несовершенны, слабы создания его творческого духа!

Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут, и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя.

И тут же — вечный спутник Человека, немая и таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.

Он знает всех в своей бессмертной свите, и, наконец, еще одно он знает — Безумие...

Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец...

И только Мысль — подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освящает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него.

Свободная подруга Человека, Мысль всюду смотрит зорким, острым глазом и беспощадно освещает все:

— Любви коварные и пошлые уловки, ее желанье овладеть любимым, стремление унижать и унижаться и — Чувственности грязный лик за ней;

— пугливое бессилие Надежды и Ложь за ней — сестру ее родную — нарядную, раскрашенную Ложь, готовую всегда и всех утешить и — обмануть своим красивым словом.

Мысль освещает в дряблом сердце Дружбы ее расчетливую осторожность, ее жестокое, пустое любопытство и зависти гнилые пятна, и клеветы зародыши на них.

Мысль видит черной Ненависти силу и знает: если снять с нее оковы, тогда она все на земле разрушит и даже справедливости побеги не пощадит!

Мысль освещает в неподвижной Вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее тяжелых крылий, и — слепоту пустых ее очей.

Она в борьбу вступает и со Смертью: ей, из животного создавшей Человека, ей, сотворившей множество богов, системы философские, науки — ключи к загадкам мира, — свободной и бессмертной Мысли, — противна и враждебна эта сила, бесплодная и часто глупо злая.

Смерть для нее ветошнице подобна — ветошнице, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою — ворует нагло здоровое и крепкое.

Пропитанная запахом гниения, окутанная ужаса покровом, бесстрастная, безличная, немая, суровою и черною загадкой всегда стоит пред Человеком Смерть, а мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертья...

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

II

Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце ищет Веры и громко просит нежных ласк Любви.

И Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаянье, Тоска, — три черные, уродливые птицы, — зловеще реют над его душою и все поют ему угрюмо песнь о том, что он — ничтожная букашка, что ограничено его сознание, бессильна Мысль, смешна святая Гордость, и — что бы он ни делал — он умрет!

Дрожит его истерзанное сердце под эту песнь и лживую и злую; сомнений иглы колют мозг его, и на глазах блестит слеза обиды...

И если Гордость в нем не возмутится, страх Смерти властно гонит Человека в темницу Веры, Любовь, победно улыбаясь, влечет его в свои объятия, скрывая в громких обещаньях счастья печальное бессилье быть свободной и жадный деспотизм инстинкта...

В союзе с Ложью робкая Надежде поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее.

И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной Лжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим собою.

Но Мысль горда, и Человек ей дорог, — она вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы — сердце Человека.

Как враг, она преследует его; как червь, неумоимо точит мозг; как засуха, опустошает грудь; и, как палач, пытается Человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом Тоски по правде, суровой мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий огненный цветок, рожденный Мыслью.

Но если человек отравлен ядом Лжи неизлечимо и грустно верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль и — дремлет, оставляя Человека во власти его сердца.

И, облаку заразному подобна, гнилая Пошлость, подлой Скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека, окутывая едкой серой пылью и мозг его, и сердце, и глаза.

И Человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своею в животное без Гордости и Мысли...

Но если возмущенье вспыхнет в нем, оно разбудит Мысль, и — вновь идет он дальше, один сквозь терния своих ошибок, один среди жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин!

Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде и говорит сомнениям своим:

— Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу, я чувствую — оно во мне растет! Я постигаю рост сознания моего моих страданий силой, и — знаю — если б не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде...

— Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознания моего! Теперь оно во мне подобно искре — ну что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как наскожною болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы, — всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!

— Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!

— Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое — и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!

— Непримируемый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!

— Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом, и дарами духа!

— Да будут прокляты все предрассудки, предубеждения и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей, — я их разрушу!

— Мое оружие — Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы!

— Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений; я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной Мысли, вослед за ней, все — выше! и — вперед!

— Для Мысли нет твердынь несокрушимых, и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Все создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее роста.

— Спокойно сознаю, что предрассудки — обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся над жизнью, все созданы из пепла старых правд, сожженных пламенем все той же Мысли, что некогда их сотворила.

— И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы.

— Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчество само-довлеет и безгранично!

— Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награда.

— Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — пред-рассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться.

— Сомнения! Вы — только искры Мысли, не более. Сама себя собою испытывая, она родит вас от избытка сил и кормит вас — своей же силой!

— Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!

— Все в Человеке — все для Человека!

Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его.

Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку нет конца пути!

Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!





Максим ГОРЬКИЙ

Разрушение личности

I

Народ не только сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры.

Во дни своего детства, руководимый инстинктом самосохранения, голыми руками борясь с природой, в страхе, удивлении и восторге пред нею, он творит религию, которая была его поэзией и заключала в себе всю сумму его знаний о силах природы, весь опыт, полученный им в столкновениях с враждебными энергиями вне его. Первые победы над природой вызвали в нем ощущение своей устойчивости, гордости собою, желание новых побед и побудили к созданию героического эпоса, который сталместилищем знаний народа о себе и требований к себе самому. Затем миф и эпос сливались воедино, ибо народ, создавая эпическую личность, наделял ее всей мощью коллективной психики и ставил против богов или рядом с ними.

В мифе и эпосе, как и в языке, главном деятеле эпохи, определенно сказывается коллективное творчество всего народа, а не личное мышление одного человека. «Язык, — говорит Ф. Буслаев¹, — был существенной составной частью той нераздельной деятельности, в которой каждое лицо хотя и принимает живое участие, но не выступает еще из сплоченной массы целого народа».

Что образование и построение языка — процесс коллективный, это неопровержимо установлено и лингвистикой и историей культуры. Только гигантской силой коллектива возмож-

но объяснить непревзойденную и по сей день, глубокую красоту мифа и эпоса, основанную на совершенной гармонии идеи с формой. Гармония эта, в свою очередь, вызвана к жизни целостностью коллективного мышления, в процессе коего внешняя форма была существенной частью эпической мысли, слово всегда являлось символом, т. е. речение возбуждало в фантазии народа ряд живых образов и представлений, в которые он облекал свои понятия. Примером первобытного сочетания впечатлений является крылатый образ ветра: невидимое движение воздуха олицетворено видимою быстротой полета птицы; далее легко было сказать: «Реют стрели яко птицы». Ветер у славян Стри, бог ветра — Стри-бог, от этого корня стрела, стрежень (главное и наиболее быстрое течение реки) и все слова, означающие движение: встреча, струг, сринуть, рыскать и т. д. Только при условии сплошного мышления всего народа возможно создать столь широкие обобщения, гениальные символы, каковы Прометей, Сатана, Геракл, Святогор, Илья, Микула и сотни других гигантских обобщений жизненного опыта народа. Мощь коллективного творчества всего ярче доказывается тем, что на протяжении сотен веков индивидуальное творчество не создало ничего равного «Илиаде» или «Калевале»², и что индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество, ни одного мирового типа, который не существовал бы ранее в народных сказках и легендах.

Мы еще не имеем достаточного количества данных для суждения о творческой работе коллектива — о технике создания героя, но, мне кажется, объединяя наши знания по вопросу, дополняя их догадками, мы уже можем приблизительно очертить этот процесс.

Возьмем род в его непрерывной борьбе за жизнь. Небольшая группа людей, окруженная отовсюду непонятными и часто враждебными явлениями природы, живет тесно, в постоянном общении друг с другом; внутренняя жизнь каждого ее члена открыта наблюдениям всех, его ощущения, мысли, догадки становятся достоянием всей группы. Каждый член группы инстинктивно стремился высказаться о себе до конца — это внушалось ему ощущением ничтожества своих сил перед лицом грозных сил зверя и леса, моря и неба, ночи и солнца, это вызывалось и видениями во сне, и странною жизнью дневных и ночных теней. Таким образом, личный опыт немедленно вливался в запас коллективного, весь коллективный опыт становился достоянием каждого члена группы.

Единица представляла собой воплощение части физических сил группы и всех ее знаний — всей психической энергии. Единица — исчезает, убитая зверем, молнией, задавленная упавшим деревом, камнем, поглощенная чарусой болота или волной реки, — все эти случаи воспринимаются группой как проявление разных сил, которые враждебно подстерегают человека на всех его путях. Это вызывает в группе печаль об утрате части своей физической энергии, опасение новых потерь, желание оградить себя от них, противопоставить силе смерти всю силу сопротивления коллектива и естественное желание борьбы с нею, мести ей. Вызванные убылью физической силы, переживания коллектива слагались во единое, бессознательное, но необходимое и напряженное желание — заместить убыль, воскресить отошедшего, оставить его в своей среде. И на тризне по родном человеке род впервые создавал в своей среде личность; ободряя себя и как бы угрожая кому-то, он, род, соединял этой личностью всю свою ловкость, силу, ум и все качества, делавшие единицу и группу более устойчивой, более мощной. Возможно, что каждый член рода в этот момент вспоминал какой-либо свой личный подвиг, свою удачную мысль, догадку, но, не ощущая свое «я» как некое бытие вне коллектива, присоединял содержание этого «я», всю энергию его к образу погибшего. И вот над родом возвышается герой, вместилище всей энергии племени, уже воплощенной в деяниях, отражение всей духовной силы рода. В этот момент должна была создаваться совершенно особенная психическая среда; возникала воля к творчеству, превращавшая смерть в жизнь. Все воли, направленные с одинаковой силой на воспоминание о погибшем, делали это воспоминание центром своего пресечения, и, может быть, коллектив даже ощущал присутствие в своей среде героя, только что созданного им. Мне думается, что на этой стадии развития явилось понятие «он», но еще не могло сложиться «я», ибо коллектив не имел в нем нужды.

Роды объединялись в племена — образы героев сливались в образ племенного героя, и возможно, что двенадцать подвигов Геркулеса³ знаменуют собой союз двенадцати родов.

Создав героя, любуясь его мощью и красотой, народ необходимо должен был внести его в среду богов — противопоставить свою организованную энергию многочисленности сил природы, взаимно враждебных самим себе и человечеству. Спор человека с богами вызывает в жизни грандиозный образ Прометея, гения человечества, и здесь народное творчество гордо возносится на высоту величайшего символа веры, в этом образе народ

вскрывает свои великие цели и сознание своего равенства богам.

По мере размножения людей возникает борьба родов, рядом с коллективом «мы» встает коллектив «они» — и в борьбе между ними возникает «я». Процесс образования «я» аналогичен процессу образования эпического героя — коллектив нуждался в образовании личности, потому что должен был разделять в себе функции борьбы с «ними» и с природой, должен был вступить на путь специализации, делить свой опыт между членами своими — этот момент был началом дробления целостной энергии коллектива. Но выдвигая из среды своей личность, в качестве вождя или жреца, коллектив насыщал ее всем своим опытом точно так же, как в образ героя влагал всю массу своей психики. Воспитание вождя и жреца должно было иметь характер внушения, гипноза личности, обреченной на выполнение руководящей функции; но, творя личность, коллектив не нарушал в себе органического сознания единства своих сил — процесс разрушения этого сознания совершился в психике индивидуальной, когда личность, выделенная коллективом, встала впереди него, в стороне от него и затем *над* ним — первое время она, трудясь, выполняла возложенную на нее функцию, как орган коллектива, но далее, развив свою ловкость и проявив личную инициативу в тех или иных новых комбинациях данного ей материала коллективного опыта, сознала себя, как новую творческую силу, независимую от духовных сил коллектива.

Этот момент является началом расцвета личности, а это ее новое самосознание — началом драмы индивидуализма.

Стоя впереди коллектива, жадно наслаждаясь ощущением своей силы, видя свое значение, личность первое время не могла ощущать пустоты вокруг себя, ибо психическая энергия родной среды продолжала передаваться ей из коллектива. Он видел в ее росте доказательство своей силы, продолжал насыщать своей энергией еще не враждебное ему «я», искренно любовался блеском ума, обилием способностей вождя и венчал его венцами славы. Пред вождем стояли образы эпических героев племени, возбуждая его к равенству с ними, коллектив в лице вождя чувствовал возможность создать нового героя, и эта возможность была жизненно важна ему, ибо слава подвигов данного племени была в ту пору столь же крепкой обороной от врага, как мечи и стены городов.

«Я» вначале не теряло ощущение своей связи с коллективом, оно чувствовало себя вместилищем опыта племени и,

организуя этот опыт в форму идей, ускоряло процесс накопления и развития новых сил.

Но, имея в памяти образы героев, вкусив сладость власти над людьми, личность стала стремиться к закреплению за собой данных ей прав. Она могла это делать, лишь превращая созданное и сменяющееся в незыблемое, выдвинувшие ее формы жизни — в непоколебимый закон; других путей к самоутверждению у нее не было.

Поэтому, мне кажется, что в области духовного творчества личность играла консервативную роль: утверждая и отстаивая свои права, она должна была ставить пределы творчеству коллектива, она суживала его задачи и тем искажала их.

Коллектив не ищет бессмертия, он его имеет, личность же, утверждая свою позицию владыки людей, необходимо должна была воспитать в себе жажду вечного бытия.

Народ, как всегда, стихийно творил, побуждаемый стремлением своим к синтезу — к победе над природой, личность же, утверждая единобожие, утверждала свой авторитет, свое право на власть.

Когда индивидуализм укреплялся в жизни как начало командующее и угнетающее, он создал бессмертного бога, заставил массы признать личное «я» богоподобным и сам уверовал в творческие силы свои. Далее, в эпоху своего расцвета, стремление личности к абсолютной свободе необходимо поставило ее резко против ею же установленных традиций и ею же созданного образа бессмертного бога, который освящал эти традиции. В своем стремлении ко власти индивидуализм был вынужден убить бессмертного бога, опору свою и оправдание бытия своего; с этого момента начинается быстрое крушение богоподобного, одинокого «я», которое без опоры на силу вне себя неспособно к творчеству, т. е. к бытию, ибо бытие и творчество — едины суть.

Современный нам индивидуализм вновь разнообразно пытается воскресить бога, дабы силою авторитета его снова укрепить истощенные силы «я», одряхлевшего, запутавшегося в темном лесу узко личных интересов, навсегда потеряв дорогу к источнику живых творческих сил — коллективу.

У племени возникал страх перед самовластием личности и враждебное отношение к ней. Бестужев-Рюмин приводит следующее свидетельство⁴ Ибн Фоцлана⁵ о болгарях Волги: «Если они встречают человека с необыкновенным умом и глубоким познанием вещей, то говорят: “Ему впору служить богу”, потом схватывают его, вешают на дереве и оставляют в таком

положении, доколе труп не распадется на части. У хозар был такой порядок: выбрав вождя, ему накидывали петлю на шею и спрашивали, сколько времени хочет он управлять народом. Сколько лет он назначит, столько и должен править, иначе его умерщвляли». Этот обычай встречался также у других тюркских племен; он знаменует собою степень страха племени перед развитием личного начала, враждебного коллективным целям.

В легендах, сказках и поверьях народа мы находим бесчисленное количество поучительных доказательств бессилия личности, насмешек над ее самоуверенностью, гневных осуждений ее жажды власти и вообще враждебного отношения к ней; народное творчество пропитано убеждением в том, что борьба человека с человеком ослабляет и уничтожает коллективную энергию человечества. Во всей этой суровой дидактике определенно сказывается глубоко-поэтически сознанное народом убеждение в творческих силах коллектива и его громкий, порою резкий призыв к стройному единению ради успеха борьбы против темных сил враждебной людям природы. Если же человек вступает в эту борьбу единолично, его подвергают осмеянию, осуждают на гибель. Разумеется, в этом споре, как во всякой вражде людей, обе стороны неизбежно преувеличивали грехи друг друга, а преувеличение влекло к еще большей злобе и большему разобщению двух творческих начал — первичного и производного.

По мере количественного размножения «личностей» они вступали в борьбу друг с другом за объем власти, за охрану интересов все более жадного в славе «я»; коллектив дробился, все менее питал их своей энергией, психическое единство таяло, и личность бледнела. Ей уже приходилось удерживать занятую позицию против воли племени, нужно было все более зорко ограждать свое личное положение, имущество, жен и детей. Задачи самодовлеющего бытия индивидуальности становились сложны, требовали огромного напряжения; в борьбе за свободу своего «я» личность совершенно оторвалась от коллектива и оказалась в страшной и быстро истощившей ее силы пустоте. Началась анархическая борьба личности с народом, картина, которую рисует нам всемирная история, и которая становится так невыносима для совершенно разрушенной, бессильной личности наших дней.

Росла всеразделяющая частная собственность, обостряя отношения людей, возникали непримиримые противоречия; человек должен был напрягать все силы на самозащиту от поглощения бедностью, на охрану личных своих интересов, постепенно

теряя связь с племенем, государством, обществом, и даже, как мы это видим теперь, он едва выносит дисциплину своей партии, его тяготит даже семья.

Каждый знает, какую роль играла частная собственность в дроблении коллектива и в образовании самодовлеющего «я», но в этом процессе мы должны видеть кроме физического и духовного порабощения народа — распад энергии народных масс, постепенное уничтожение гениальной, поэтически и стихийно творящей психики коллектива, которая одарила мир наивысшими образами художественного творчества.

Сказано, что «рабы не имеют истории», и хотя это сказано господами, здесь, однако, есть доля правды. Народ, в котором и церковь и государство с одинаковым усердием умерщвляли душу, стараясь обратить его в покорную их воле физическую силу, народ был лишен и права, и возможности создавать свои догадки о смысле жизни, отражать в образах и легендах свои чаяния, мысль свою и надежды.

Но хотя — духовно скованный — он не мог подняться до прежних высот поэтического творчества, он все же продолжал жить своей глубокой внутренней жизнью, создал и создает тысячи сказок, песен, пословиц, иногда восходя до таких образов, как Фауст и т. д... Создавая эту легенду, народ как бы хотел отметить духовное бессилие личности, уже явно и давно враждебной ему, осмеять ее жажду наслаждений и попытки познать непознаваемое для нее. Лучшие произведения великих поэтов всех стран почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа, где уже издревле даны все поэтические обобщения, все прославленные образы и типы.

Ревнивец Отелло, лишенный воли Гамлет и распутный Дон-Жуан — все эти типы созданы народом прежде Шекспира и Байрона, испанцы пели в своих песнях «Жизнь — есть сон» раньше Кальдерона⁶, а магометане-мавры говорили это раньше испанцев, рыцарство было осмеяно в народных сказках раньше Сервантеса, и так же зло, и так же грустно, как у него.

Мильтон и Данте, Мицкевич, Гете и Шиллер возносились всего выше тогда, когда их окрыляло творчество коллектива, когда они черпали вдохновение из источника народной поэзии, безмерно глубокой, неисчислимо разнообразной, сильной и мудрой.

Я отнюдь не умаляю этим права названных поэтов на всемирную славу и не хочу умалять; я утверждаю, что лучшие образцы индивидуального творчества дают нам великолепно ограниченные драгоценности, но эти драгоценности были созда-

ны коллективной силой народных масс. Искусство — во власти индивидуума, к творчеству способен только коллектив. Зевса создал народ, Фидий⁷ воплотил его в мрамор.

Сама по себе, вне связи с коллективом, вне круга какой-либо широкой, объединяющей людей идеи, индивидуальность — инертна, консервативна и враждебна развитию жизни.

Посмотрите с этой точки зрения историю культуры, следя за ролью индивидуализма в эпохи застоя жизни, изучая типы его в эпохи активные, как, например, Возрождения и Реформации; вы увидите: в первом случае явный консерватизм индивидуальности, ее склонность к пессимизму, квиетизму⁸ и другим формам нигилистического отношения к миру. В такие моменты, когда народ, как всегда, непрерывно кристаллизует свой опыт, личность, отходя от него, игнорируя его жизнь, как бы утрачивает смысл своего бытия и, бессильная, позорно влачит дни свои в грязи и пошлости будней, отказываясь от своей великой творческой задачи — организации коллективного опыта в форму идей, гипотез, теорий. Во втором случае вас поражает быстрый рост духовной мощи личности — явление, которое можно объяснить лишь тем, что в эти эпохи социальных бурь личность становится точкой концентрации тысяч волей, избравших ее органом своим, и встает перед нами в дивном свете красоты и силы, в ярком пламени желаний своего народа, класса, партии.

Безразлично, кто эта личность — Вольтер или протопоп Аввакум, Гейне или Фра-Дольчино⁹, и неважно, какая сила движет ими — ротюра или раскольники, немецкая демократия или крестьянство, — важно, что все герои являются перед нами как носители коллективной энергии, как выразители массовых желаний. Мицкевич и Красинский¹⁰ явились во дни, когда их родной народ был цинично разорван на трое физически, но еще с большей энергией, чем когда-либо раньше, чувствовал себя цельным духовно. И всегда и всюду на протяжении истории — человека создавал народ.

Особенно ярким доказательством данного положения служит жизнь итальянских республик и коммун в *tre-* и *quattrocento**, когда творчество итальянского народа глубоко коснулось всех сторон духа, охватило пламенем своим всю широту строительства жизни, создало столь великое искусство, вызвав к жизни изумительное количество великих мастеров слова, кисти и резца.

* Проторенессанс (XIII и XIV вв.) и раннее Возрождение (XV в.) (*ит.*) — *Ред.*

Величие и красота искусства прерафаэлитов¹¹ объясняется физической и духовной близостью артиста с народом; художники наших дней легко могли бы убедиться в этом, попробовав идти путями Гирландайо¹², Донателло¹³, Брунеллески¹⁴ и всех деятелей этой эпохи, в которой творчество в напряженности своей граничило с безумием, было подобно мании, и артист был любимцем народной массы, а не лакеем мецената. Вот как писал в 1298 г. народ Флоренции, поручая Арнольфо ди-Лапо¹⁵ построить церковь: «Ты воздвигнешь такое сооружение, грандиознее и прекраснее которого не могло бы представить себе искусство человеческое, ты должен создать его таким, чтобы оно соответствовало сердцу, которое сделалось чрезвычайно великим, соединив в себе души граждан, сплоченных в одну волю».

Когда Чимабуэ¹⁶ окончил свою мадонну — в его квартале была такая радость, такой взрыв восторга, что квартал Чимабуэ получил с того дня название «Borgo Allegro»*. История Возрождения переполнена фактами, которые утверждают, что в эту эпоху искусство было делом народа и существовало для народа, он воспитал его, насытил соком своих нервов и вложил в него свою бессмертную, великую, детски-наивную душу. Это неоспоримо вытекает из показаний всех историков эпохи; даже антидемократ Монье, заканчивая свою книгу, говорит¹⁷:

«Quattrocento показало все, что человек в состоянии сделать. Оно показало, кроме того, — и этим оно дает нам урок, — что человек, предоставленный своим собственным силам, отнятый от целого, опираясь только на самого себя и живя только для себя одного, не может совершить всего».

«Искусство и народ процветают и возвышаются вместе, так полагаю я, Ганс Сакс!»¹⁸

* *
*

Мы видим, как ничтожны «совершения» человека наших дней, мы видим горестную пустоту его души, и это должно заставить нас подумать о том, чем грозит нам будущее, посмотреть, чему поучает прошлое, открыть причины, ведущие личность к неизбежной гибели.

С течением времени жизнь принимает все более жесткий и тревожный характер борьбы всех со всеми; в этом непрерывном кипении вражды должны бы развиваться боевые способности «я», вынужденного неустанно отражать напор себе подоб-

* веселый квартал (ит.). — *Ред.*

ных, и если индивидуальность вообще способна к творчеству, то именно этот бой всех со всеми дает наилучшие условия для того, чтобы «я» показало миру всю силу своего духа, всю глубину поэтического дара. Однако индивидуальное творчество само не создало пока ни Прометеев, ни даже Вильгельма Теля и ни одного поэтического образа, который можно было бы сравнить по красоте и силе с Гераклами седой древности.

Было создано множество Манфредов¹⁹, и каждый из них разными словами говорил об одном — о загадке жизни личной, о мучительном одиночестве человека на земле, возвышаясь порою до скорби о печальном одиночестве земли во вселенной, что звучало весьма жалостно, но не очень гениально. Манфред — это выродившийся Прометей XIX века, это красиво написанный портрет мещанина-индивидуалиста, который навсегда лишен способности ощущать в мире что-либо иное, кроме себя и смерти перед собою. Если он иногда говорит о страданиях всего мира, то он не вспоминает о стремлении мира уничтожить страдания, если же вспоминает об этом, то лишь для того, чтобы заявить: страдание непобедимо. Непобедимо — ибо опустошенная одиночеством душа слепа, она не видит стихийной активности коллектива, и мысль о победе не существует для нее. Для «я» осталось одно наслаждение — говорить и петь о своей болезни, о своем умирании и, начиная с Манфреда, оно поет панихиду самому себе и подобным ему одиноким маленьким людям.

Поэзии этого тона присвоено имя «поэзии мировой скорби»; рассматривая ее смысл, мы найдем, что «мир» привлечен сюда в качестве прикрытия, за которым прячется непомнящее родства, голое человеческое «я», прячется, дрожит от страха смерти и совершенно искренно кричит о бессмысленности индивидуального существования. Отождествляя себя с живым великим миром, индивидуальность переносит ощущение утраты смысла своего бытия на весь мир: говорит о гордости своим одиночеством и надоедает людям, как комар, требуя их внимания к стонам своей жалкой души.

Эта поэзия иногда сильна, но — как искренний вопль отчаяния она, может быть, красива, но — как проказа в изображении Флобера; она вполне естественна, как логическое завершение роста личности, которая умертвила в своей груди источник бодрости и творчества — чувство органической связи с народом.

Рядом с этим процессом агонии индивидуализма, железные руки капитала, помимо воли своей, снова создают коллектив,

сжимаемая пролетариат в целостную психическую силу. Постепенно, с быстротой, все возрастающей, эта сила начинает сознавать себя, как единственно призванную к свободному творчеству жизни, как великую коллективную душу мира.

Возникновение этой энергии кажется глазам индивидуалистов темною тучею на горизонте, оно их страшит, быть может, с тою же силой, как смерть физическая, ибо в нем скрыта для них необходимость социальной смерти. Каждый из них считает свое «я» заслуживающим особенного внимания, высокой оценки, но демократия, идущая обновить жизнь мира, не хочет подать сим «аристократам духа» милостыню внимания своего; они это знают и потому искренно ненавидят ее.

Некоторые из них, будучи хитрее и понимая великое значение грядущего, желали бы встать в ряды социалистов, как законодатели, пророки, командиры, но демос должен понять и неминуемо поймет, что эта готовность мещан идти в ногу с ним скрывает под собою все то же стремление мещанина к «самоутверждению своей личности».

Духовно обнищавшая, заплутавшаяся во тьме противоречий, всегда смешная и жалкая в своих попытках найти уютный уголок и спрятаться в нем, личность неуклонно продолжает дробиться и становится все более ничтожной психически. Чувствуя это, охваченная отчаянием, сознавая его или скрывая от себя самой, она мечется из угла в угол, ищет спасения, погружается в метафизику, бросается в разврат, ищет Бога, готова уверовать в дьявола — и во всех ее исканиях, во всей суете ее ясно видно предчувствие близкой гибели, ужас перед неизбежным будущим, которое, если и не сознается, то ощущается ею более или менее остро. Основное настроение современного индивидуалиста — тревожная тоска; он растерялся, напрягает все силы свои, чтобы как-нибудь прицепиться к жизни, и нет сил, осталась только хитрость, названная кем-то «умом глупцов». Внутренне оборванный, потертый, раздерганный, он то дружелюбно подмигивает социализму, то льстит капиталу, а предчувствие близкой социальной гибели еще быстрее разрушает крохотное, рахитичное «я». Его отчаяние все чаще переходит в цинизм: индивидуалист начинает истерически отрицать и сжигать то, чему он вчера поклонялся, и на высоте своих отрицаний неизбежно доходит до того состояния психики, которое граничит с хулиганством. Понятие «хулиганство» я употребляю не из желания обидеть уже обиженных и унижить униженных — тяжелее и горше, чем мог бы я, это делает жизнь — нет, хулиганство — просто результат психофизиче-

ского вырождения личности, неоспоримое доказательство крайней степени ее разложения. Вероятно, это — хроническая болезнь коры большого мозга, вызванная недостатком социального питания, болезнь воспринимающего аппарата, который становится все более тупым, вялым и, все менее чутко воспринимая впечатления бытия, вызывает, так сказать, общую анестезию интеллекта.

Хулиган — существо, лишенное социальных чувств, он не ощущает никакой связи с миром, не сознает вокруг себя присутствия каких-либо ценностей и даже постепенно утрачивает инстинкт самосохранения — теряет сознание ценности личной своей жизни. Он неспособен к связному мышлению, с трудом ассоциирует идеи, мысль вспыхивает в нем искрами и, едва осветив призрачным, больным сиянием какой-либо ничтожный кусочек внешнего мира, бесплодно угасает. Впечатлительность его болезненно повышена, но поле зрения узко, и способность к синтезу ничтожна; вероятно, этим и объясняется характерная парадоксальность его мысли, склонность к софизмам. «Не время создает человека, но человек время», — говорит он, сам себе не веря. «Важны не красивые действия, но красивые слова», — утверждает он далее, подчеркивая этим ощущение своего бессилия. Он обнаруживает склонность к быстрым переменам своих теоретических и социальных позиций, что еще раз указывает на зыбкость и шаткость его разрушенной психики. Это — личность не только разрушенная, но еще и хронически раздвоенная — сознательное и инстинктивное почти никогда не сливаются у нее в одно «я». Ничтожное количество его личного опыта и слабость организаторских способностей разума вызывают в этом существе преобладание опыта унаследованного, и оно находится в непрерывной, но вялой, безрезультатной борьбе с тенью своего деда. Его окружают, как Эринии²⁰, темные и мстительные призраки прошлого, держат в плену истерической возбудимости и вызывают из глубины инстинкта атавистические склонности животного. Его чувственная сфера расшатана, тупа, она настойчиво требует острых и сильных раздражений — отсюда склонность хулигана к половой извращенности, к сладострастию, к садизму. Ощущая свое бессилие, это существо по мере того как жизнь повышает свои запросы к нему, — вынуждено все более резко отрицать ее запросы, откуда и вытекает социальный аморализм, нигилизм и озлобление, типичное для хулигана.

Этот человек всю жизнь колеблется на границе безумия, и социально он более вреден, чем бактерии заразных болезней,

ибо, представляя собой психически заразное начало, неустрашим теми приемами борьбы, какими мы уничтожаем враждебные нам микроорганизмы.

Основной импульс его бессвязного мышления, странных и часто отвратительных деяний — вражда к миру и людям, инстинктивная, но бессильная вражда и тоска больного; он плохо видит, плохо слышит и потому плетется, шатаясь, далеко сзади жизни, где-то в стороне от нее, без дороги и без сил найти дорогу. Он кричит там, но крики его звучат слабо, фразы разорваны, слова тусклы, и никто не понимает его вопля, вокруг него только свои, такие же бессильные и полубезумные, как он, и они не могут, не умеют, не хотят помочь. Но все они злобно, как сам он, плюют во след ушедшим вперед, клеветают на то, чего понять не могут, смеются над тем, что им враждебно, а им враждебно все, что активно, все, что проникнуто духом творчества, украшает землю славой подвигов своих и горит в огне веры в будущее: «огонь же есть божество, пополая страсти тленные, просвещая душу чистую», как сказано в стихе Софии Премудрости.

II

Надо ждать, что в близком будущем кто-то, мужественный и честный, напишет грустную книгу «Разрушение личности» и в этой книге ярко покажет нам неуклонный процесс духовного обеднения человека, неустрашимое сжатие «я».

В процессе этом решительную роль играл XIX век — он был экзаменом психической устойчивости всемирного мещанства и обнаружил его ничтожные способности к творчеству жизни.

Развитие техники? Конечно, — да, это огромная работа. Но о технике можно сказать, что она «сама себе довлеет», ибо она есть опять-таки — результат творчества не личного, а коллективного, она развивается и растет на фабрике, среди рабочих, в кабинетах же только обобщают, организуют новые данные, добытые коллективом, — опыт масс, не имеющих времени для самостоятельного синтеза своих наблюдений и знаний и принужденных отдавать все богатство опыта своего в чужие руки. Открытия в области естествознания, подводя итоги росту техники, тоже лишь формально являются делом личности. Посмотрите, насколько явно коллективный характер носят открытия последнего времени в области строения материи. И несмотря на упорное стремление индивидуализма комбиниро-

вать данные естественных наук антидемократически, естествознание не подчиняется этим усилиям исказить его коллективно созданное содержание — оно все более определенно слагается монистически, постепенно становясь глубоким и мощным фундаментом социализма, — факт, объясняющий крутой поворот буржуазии от естествознания снова к метафизике.

Командующие классы всегда стремились к монополии знания и всячески прятали его от народа, показывая ему кристаллизованную мысль, только как орудие укрепления своей власти над ним. XIX век разоблачил эту пагубную политику, обнаружив в Европе недостаток интеллектуальной энергии; буржуазия сделала слишком большую работу по развитию промышленности и торговли, она, очевидно, вложила в нее весь свой запас духовных сил — и ясно, что ныне она психически надорвалась.

Народ не приобщали к науке, что необходимо для общего успеха борьбы за жизнь; не приобщали, боясь, что он, вооруженный знанием, откажется работать; не заботились увеличить количество духовной энергии — и недостаток количества привел мещан к быстрому понижению качества творческих сил.

Жизнь становилась все сложнее и строже, техника с каждым десятилетием все ускоряла — и ускоряет, и будет ускорять — ее ход. От личности, которая хочет занимать командующую позицию, — каждый новый деловой день и год требуют все большего напряжения сил. Еще в начале прошлого века мещанин, только что освободившийся из тяжелых пут дворянского государства, был достаточно свеж, силен и хорошо вооружен, чтобы бороться за свой счет, — условия производства и торговли не превышали единоличных сил. Но по мере роста техники, конкуренции и жадности буржуа, по мере развития в мещанине сознания своего главенства и стремления навеки укрепить за собою эту позицию золотом и штыком, по мере неизбежного обострения анархии производства, увеличивающей трудности разрешения этих задач, — растет и несоответствие индивидуальных сил с запросами дела. Бешеная работа нервов вызывает истощение, односторонне упражняемое мышление делает человека уродом, создается психика крайне неустойчивая; мы видим, как растет среди буржуазии неврастения, преступность, и наблюдаем типичных вырожденцев уже в третьих поколениях буржуазных семей. Замечено, что процесс дегенерации наиболее успешно развивается среди буржуазных семей России и Америки. — Эти исторически молодые страны наиболее быстрого капиталистического развития дают огромный

процент психических заболеваний среди финансовой и промышленной буржуазии. Здесь, очевидно, сказывается недостаток исторической тренировки, люди оказываются слишком слабосильными перед капиталом, который, являсь к ним во всеоружии, поработил их и быстро исчерпывает недостаточно гибко развитую энергию. Специализуясь, человек необходимо ограничивает рост своего духа, но специальность неизбежна для мещанина, он должен неустанно ткать свою однообразную паутину, если хочет жить. Анархия — вот признанный и неоспоримый результат мещанского творчества, и именно этой анархии мы обязаны все острее ощущаемой убылью души.

Быстро истощая небольшой запас интеллектуальных сил мещанства, капитал организует рабочие массы и в лице их ставит перед мещанином новую враждебную силу; этот враг более настойчиво, чем все иные причины, понуждает капиталиста чувствовать силу коллектива, внушая ему новую тактику борьбы, — локауты и тресты.

Но капиталистические организации необходимо суживают личность; подчиняя ее индивидуалистические стремления своим целям, подавляя инициативу, они развивают в личной психике пассивность.

Миллионер Гульд метко определил трест как группу непримиримых врагов, которые «собрались в одной тесной комнате, ярко осветили ее, держат друг друга за руки, только поэтому не убивают один другого. Но каждый из них зорко ждет момента, когда можно будет напасть врасплох на временного и невольного союзника, обезоружить, уничтожить его, и каждому — друг рядом с ним кажется опаснее врага за стеною». В такой организации врагов силы личности не могут развиваться, ибо, несмотря на внешнее единство интересов, внутреннее здесь — каждый сам по себе и сам для себя. Организация рабочих ставит своей целью борьбу и победу; она внутренне спаяна единством опыта, который постепенно и все определеннее сознается ею как великая монистическая идея. Здесь под влиянием организующей силы коллективного творчества идей психика личности строится своеобразно-гармонично: существует непрерывный обмен интеллектуальных энергий, и среда не стесняет роста личности, но заинтересована в свободе его, ибо каждая личность, воплотившая в себе наибольшее количество энергии коллектива, становится проводником его веры, пропагандистом целей и увеличивает его мощь, привлекая к нему новых членов. Организация капиталистов психически строится по типу «толпы»: это группа личностей, временно и непроч-

но связанных единством тех или иных внешних интересов, а порою единством настроения — тревогой, вызванной ощущением опасности, жадностью, увлекающей на грабеж. Здесь нет творческой, т. е. социальной связующей, идеи и не может быть длительного единства энергии — каждый субъект является носителем грубо и резко очерченного самодовлеющего «я»; нужно много сильных давлений и могучих толчков извне, чтобы углы каждого «я» сгладились и люди могли сложиться в целое, более или менее стройное и прочное. Здесь каждый является вместилищем некоего мелкого своеобразия, каждый ценит себя как нечто совершенное, чему не суждено повториться, и, принимая свое духовное уродство, свою ограниченность за красоту и силу, — каждый напряженно подчеркивает себя и отъединяет от других. В такой анархической среде уже нет места и нет условий для развития ценного и целостного «я»; в ней не может гармонично развиваться и свободно расти всеобъемлющая личность, неразрывно связанная со своим коллективом, непрерывно насыщаемая его энергией и гармонично организующая его живой опыт в формы идей и символов.

Внутри такой среды идет хаотический процесс всеобщего пожирания: человек человеку враг, каждый рядовой грязной битвы за сытость сражается в одиночку, поминутно оглядываясь в опасении, чтоб тот, кто стоит рядом, не схватил за горло. В этом хаосе однообразной и злой борьбы лучшие силы интеллекта, как уже сказано, уходят на самозащиту от человека, творчество духа целиком расходуется на устройство маленьких хитростей самообороны, и продукт человеческого опыта, именуемый «я», становится темной клеткой, в коей бьется некое маленькое желание не допускать дальнейшего расширения опыта, ограничивая его тесными и крепкими стенками этой клетки. Что нужно человеку кроме сытости? В погоне за нею он вывихнул себе мозг, разбился и стонет, и кричит в агонии.

Личные мелкие задачи каждого «я» заслоняют собой сознание общей опасности. Обессилевшее мещанство уже не способно выдвигать из своей среды достаточно энергичных выразителей его желаний, защитников его власти, как в свое время выдвинуло Вольтера против феодалов, Наполеона против народа.

Обнищание мещанской души доказывается тем, что идеологические попытки мещан, ранее имевшие целью укрепить данный строй, ныне сводятся к попыткам оправдать его, становятся все хуже и бездарнее. Уже давно ощущается нужда в новом Канте — его все нет, а Ницше — неприемлем, ибо он требует от

мещанина активности. Единственным орудием самозащиты мещанства является цинизм; он — страшен, знаменует собою отчаяние и безнадежность.

Но, скажут, несмотря на слабость материала, капиталистическое общество держится крепко. — Держится тяжестью своей, по инерции и при помощи таких контр-форсов, замедляющих его тяготение к распаду, каковы — полиция, армия, церковь и система школьного преподавания. Держится потому, что еще не испытало стройного напора враждебных ему сил, достаточно организованных для разрушения этой огромной пирамиды грязи, лжи и злобы, и всяческого несчастья. Держится, но... разлагается, отравляемое выработанными им ядами, из них же первый — нигилистический, все, кроме «личности» и «самости», — с отчаянием отрицающий индивидуализм.

Но обеднение личности еще более заметно, если мы взглянем на ее портреты в литературе.

До 48 г. командующую роль в жизни играли Домби и Гранде, фанатики стяжания, люди крепкие и прямые, как железные рычаги. В конце XIX века их сменяют не менее жадные, но несравненно более нервные и шаткие Саккар и герой пьесы Мирбо «*Les affaires sont les affaires*»²¹.

Сравнивая каждый из этих типов как поток воли, направленной к достижению известных целей, мы увидим, что чем глубже в прошлое, тем более крепко концентрирована и активна воля, тем строже и определеннее очерчены цели личности и ярче сознательность ее действия. А чем ближе к нам, тем менее упорна энергия Саккаров, тем скорее изнашивается их нервная система, все более тусклы характеры и быстрее наступает утомление жизнью. В каждом из них заметна драма двойственности, столь пагубная для человека дела. Гибнут Саккары гораздо более быстро, чем гибли их предки. Домби погубил Диккенс для торжества морали, для доказательства необходимости умерить эгоизм, Саккары и Рошеры гибнут не по воле Золя — их обессиливает и уничтожает беспощадная логика жизни.



Переходя от литературы к «живому делу», снова сошлюсь на старого Гульда: умирая, он сказал: «Если бы я неправильно и незаконно нажил мои миллионы, их давно отняли бы у меня». Здесь звучит вера сильного в силу как закон жизни. Наш современник мистер Д. Рокфеллер уже считает необходимым жалобно и жалко оправдываться пред всем миром в не-

померном своем богатстве, он доказывает, что обворовал людей ради их же счастья. Разве это не ярко рисует понижение типа?

Далее, в лице героя «Rouge et noir» ^{*22}, перед нами человек сильной воли, грубый мещанин-победитель. Но уже на следующем плане ближе к нам стоит Растиньяк ²³ Бальзака; жадный, слабовольный, он изнашивается позорно быстро и погибает, вышвырнутый за двери жизни, хотя среда сопротивлялась его желаниям не так упорно, как она сопротивлялась герою Стендаля. Люсьен еще менее устойчив, чем Растиньяк, но вот Люсьена сменяет «Bel ami» ^{**24}, прототип современных государственных людей Франции. «Bel ami» победил, он у власти. Но до какой же степени упала способность мещан к самозащите, если они вручают судьбы свои в руки столь ненадежных людей!

Когда, опираясь на силу народа, мещанство победило феодалов, а народ немедленно и настойчиво потребовал от победителей удовлетворения своих реальных нужд, мещанство испугалось, видя перед собою нового врага, — старая сказка, вечно и все чаще обновляемая мещанином. Испугавшись, мещанин круто повернул от идей свободы к идее авторитета и отдал себя сначала Наполеону, затем — Бурбонам ²⁸. Но внешнее сплочение, внешняя охрана не могли остановить процесс внутреннего развала.

Строй взглядов мещанина, его опыт, обработанный Монтескье, Вольтером, энциклопедистами, имел в самом себе нечто дисгармоничное и опасное — разум, который говорил, что все люди равны, и, опираясь на силу коего, народные массы снова, уже в более настойчивой форме, могли предъявить требование полного политического равенства с мещанином, а затем приняться за осуществление равенства экономического.

Таким образом, разум резко противоречит интересам мещанства, и оно, не медля, принялось изгонять врага, ставя на его место веру, которая всегда успешнее поддерживает авторитет. Стали доказывать общую неразумность миропорядка — это хорошо отвлекает от мышления о неразумности порядка социального. Мещанин ставил себя в центр космоса, на вершину жизни, и с этой высоты осудил и проклял вселенную, землю, а главным образом — мысль, пред которой он еще недавно идолопоклонствовал, как всегда, заменяя непрерывное исследование мертвым догматизмом.

* «Красное и черное» (фр.). — *Ред.*

** «Милый друг» (фр.). — *Ред.*

В речах Байрона звучал протест старой аристократической культуры духа, пламенный протест сильной личности против мещанского безличия, против победителя, серого человека золотой середины, который, зачеркнув кровавой, жадной лапой 93-й, хотел восстановить 89-й, но против воли своей вызвал к жизни 48-й²⁶. Уже в 20-х годах столетия «мировая скорбь» Байрона превращается у мещан в то состояние психики, которое Петрарка называл «Acedia» — кислота и которое Фойгт определяет²⁷ как «вялое умственное равнодушие». Наш талантливый и умный Шахов, может быть, несколько упрощенно говорит²⁸ об этом времени: «Пессимизм 20-х годов сделался модой: скорбел всякий дурак, желавший обратить на себя внимание общества».

Мне кажется, что у «дурака» были вполне серьезные причины для скорби — он не мог не чувствовать, как неизбежно новые условия жизни, ограничивая развитие его духовных сил, направляя их в тесное русло все более растущего торгашества, — как эти условия, действительно, дурманят, одурачивают, унижают его.

Ролла²⁹ Мюссе еще кровный брат Манфреда, но «сын века» уже явно и глубоко поражен³⁰ «Acedia», Рене³¹ Шатобриана мог убежать от жизни, «сыну века» некуда бежать — кроме путей, указанных мещанством, иных путей нет для его сил.

Мы видим, что «Исповедь сына века» бесчисленно и однообразно повторяется в целом ряде книг и каждый новый характер этого ряда становится все беднее духовной красотой и мыслью, все более растрепан, оборван, жалок. Грелу³² Бурже — дерзок, в его подлости есть логика, но он именно «ученик»; герой Мюссе мыслил шире, красивее, энергичнее, чем Грелу. Человек «без догмата» у Сенкевича³³ еще слабее силами, еще одностороннее Грелу, но как выигрывает Леон Плошовский, будучи сопоставлен с Фальком³⁴ Пшибышевского, этой небольшой библиотекой модных, наскоро и невнимательно прочитанных книг.

Ныне линия духовно нищих людей обидно и позорно завершается Саниным Арцыбашева. Надо помнить, что Санин³⁵ является уже не первой попыткой мещанской идеологии указать тропу ко спасению неуклонно разрушающейся личности и до книги Арцыбашева не однажды было рекомендовано человеку внутренне упростить себя путем превращения в животное.

Но никогда эти попытки не возбуждали в культурном обществе мещан столько живого интереса, и это несомненно искреннее увлечение Саниным — неоспоримый признак интеллектуального банкротства наших дней.



Защищая свою позицию в жизни, индивидуалист-мещанин оправдывает свою борьбу против народа обязанностью защищать культуру, обязанностью, якобы возложенною на мещанство историей мира.

Позволительно спросить: «Где же культура, о близкой гибели которой под ногами новых гуннов все более часто и громко плачет мещанство? Как отражается в душе современного «героя» мещан всемирная работа человеческого духа, “наследство веков”»??

Пора мещанству признать, что это «наследство веков» хранится вне его психики; оно в музеях, в библиотеках, но — его нет в духе мещанина. С позиции творца жизни мещанин ныне опустился до роли дряхлого старика у кладбища мертвых истин.

И уже нет у него сил ни для того, чтобы оживить отжившее, ни для создания нового.

Современный изолированный и стремящийся к изоляции человек — это существо более несчастное, чем Мармеладов, ибо поистине некуда ему идти³⁶, и никому он не нужен! Опьяненный ощущением своей слабости, в страхе перед гибелью своей, какую ценность представляет он для жизни, в чем его красота, где человеческое в этом полумертвом теле с разрушенной нервной системой, с бессильным мозгом, в этом маленькомместилище болезней духа, болезней воли, только болезней?

Наиболее чуткие души и острые умы современности уже начинают сознавать опасность: видя разложение сил человека, они единогласно говорят ему о необходимости обновить, освежить «я» и дружно указывают путь к источнику живых сил, способному вновь возродить и укрепить истощенного человека.

Уотт Уйтман, Горас Траубел, Рихард Демель³⁷, Верхарн и Уэльс, А. Франс и Метерлинк — все они, начав с индивидуализма и квиетизма, дружно приходят к социализму, к проповеди активности, все громко зовут человека к слиянию с человечеством. Даже такой идолопоклонник «я», как Август Стринберг, не может не отметить целительной силы человечества. «Человечество, — говорит он, — ведь это огромная электрическая батарея из множества элементов; изолированный же элемент — тотчас теряет свою силу».

Но эти добрые советы умных людей едва ли услышат глухие. И если услышат — какая польза от этого? Чем отзовется безнадежно больной на радостный зов жизни? Только стоном.



Наиболее ярким примером разрушения личности стоит предмною драма русской интеллигенции. Андриевич-Соловьев³⁸ назвал эту драму романом, в котором Россия — «Святая Ефросинья», как именовал ее Глеб Успенский, — возлюбленная, а интеллигент — влюбленный.

Мне хочется посильно очертить содержание той главы романа, вернее, акта драмы, которая столь торопливо дописывается в наши дни нервно дрожащею рукою разочарованного влюбленного.

Чтобы понять психику героя, сначала необходимо определить его социальное положение.

Известно, что интеллигент-разночинец несколько недоношен историей; он родился ранее, чем в нем явилась нужда, и быстро разросся до размеров ббльных, чем требовалось правительству и капиталу, — ни первое, ни последний не могли поглотить все свободное количество интеллектуальных сил. Правительство, напуганное дворянскими революциями дома и народными бурями за рубежом, не только не выражало желания взять интеллигента на службу и временно увеличить его умом и работой свои силы, оно, как известно, встретило новорожденного со страхом и немедленно приступило к борьбе с ним по способу Ирода³⁹.

Молодой, но ленивый и стесненный в своем росте русский капитал не нуждался в таком обилии мозга и нервов.

Позиция интеллигента в жизни была столь же неуловима, как социальное положение бесприютного мещанина в городе: он не купец, не дворянин, не крестьянин, но — может быть и тем, и другим, и третьим, если позволят обстоятельства.

Интеллигент имел все психо-физические данные для сращения с любым классом, но именно потому, что рост промышленности и организация классов в стране развивались медленнее количественного роста интеллигенции, он принужден был самоопределиваться вне рамок социально-родственных ему групп. Перед ним и разоренным крестьянской реформой «кающимся дворянином» стояли незнакомые западному интеллигенту острые вопросы:

— Куда идти? Что делать?

Необходимо было создать какую-то свою, идеологическую мещанскую управу, и она была построена в виде учения «о роли личности в истории», которое гласило, что общественные цели могут быть достигнуты исключительно в личностях.

Единственно возможное направление было ясно: надо идти в народ, дабы развить его правосознание и, увеличив свои силы за счет его энергии, понудить правительство к дальнейшим реформам и ускорить темп культурного развития страны; это могло бы дать тысячам личностей вполне уютное и достойное их место в жизни.

Тот факт, что интеллигенту некуда было идти, кроме как «в народ», и что «герой» искал «толпу», понуждаемый необходимостью, не особенно четко отмечен русской литературой, но зато в ней множество гимнов герою, который, «во имя великой святыни» отдавал свою жизнь трудовому делу организации народных сил.

Раздвоение психики интеллигента началось во дни его ранней юности, с того момента, когда он был поставлен в необходимость принять как руководящую теорию социализм.

Сознание организует далеко не всю массу личного опыта, и редкие люди могут победоносно противопоставить результаты своих личных впечатлений бытия той крепкой социальной закваске, которая унаследована ими от предков. Устойчива и продуктивна в творчестве лишь та психика, в которой сознание необходимости гармонично сливается с волей человека, с его верою в целостное, крепкое «я». Помимо того, что общие социально-экономические условия жизни строят нашу психику индивидуалистически, частные причины домашнего характера значительно увеличивали тяготения русского интеллигента в эту сторону, настойчиво внушая ему сознание его культурного первенства в стране. Он видел вокруг себя правительство, занятое исключительно делом самозащиты, земельное дворянство, экономически и психически разлагавшееся, промышленный класс, который не спешил организовать свои силы, продажное и невежественное чиновничество, духовенство, лишенное влияния, подавленное государством и тоже невежественное.

Естественно, что интеллигент почувствовал себя свежее, моложе, энергичнее всех, залюбовался собою и несколько переоценил свои силы.

Весь этот груз тяжелых, жадных и ленивых тел лежал на плечах таинственного мужика, который в прошлом выдвигал Разиных и Пугачевых, недавно выдавил у дворян земельную реформу и с начала века стал развивать в своей среде рационалистические секты.

Земельное дворянство, чувствуя, что с запада все сильнее веет пагубный для него дух промышленного капитализма, старалось оградить Россию частоколом славянофильства; его рабо-

та внушила интеллигенту убеждение в самобытности русского народа, чреватой великими возможностями. И вот, наскоро вооружась «социализмом по-русски», в этих легких доспехах рыцарь встал лицом к лицу с темным, добродушным и недоверчивым русским мужиком. Но почему же он, резкий индивидуалист, принял теорию, враждебную строю его психики? — А какие же иные дрожжи могли бы поднять густую и тяжелую опару народной массы?

Здесь на примере, неотразимо ярком, мы видим плодотворное влияние социальной идеи на психику личности: мы видим, как эта идея с чудесной быстротою превратила бесприютного разночинца интеллигента в идеалиста и героя, видим, как печальное детище рабьей земли, ощутив творческую силу коллективного начала, психически сложилось под его чудотворным влиянием в тип борца, редкий по красоте и энергии. 70-е годы⁴⁰ стоят перед нами как неоспоримое доказательство такого факта: только социальная идея возводит случайный факт личного бытия человека на степень исторической необходимости, только социальная идея поэтизирует личное бытие и, насыщая единицу энергией коллективной, придает бытию индивидуальному глубокий, творческий смысл.

Герой был разбит и побежден?

Да. Но разве это уничтожает необходимость и красоту борьбы? И разве это может поколебать уверенность в неизбежности и победы коллективного начала?

Герой был побежден — слава ему вовеки! Он сделал все, что мог.

Человек вчерашнего дня, он встал перед мужиком, который имел свою историю — тягостную и долгую историю борьбы с непрерывными дьявольскими кознями нечистой силы, воплощенной в лесах, болотах, татарах, боярах, чиновниках и вообще — господах. Он крепко оградился от беса, источника всех несчастий, полуязыческой, полухристианской религией и жил скрытной жизнью много испытывавшего человека, который готов все слушать, но уже никому не верить.

Наша литература посвятила массы творческой энергии, чтобы нарисовать эту таинственную фигуру во весь рост, бесконечное количество анализа, чтобы раскрыть, осветить душу мужика. Дворяне изображали его боголюбивым христианином, насквозь пропитанным кротостью и всепрощением — это естественно с их стороны, ибо, столь много согрешив перед ним, дворяне, может быть, вполне искренно нуждались в прощении мужика.

Литература старых народников рисовала мужичка раскрашенным в красные цвета и вкусным, как вяземский пряник, коллективистом по духу, одержимым активной жаждой высшей справедливости и со священной радостью принимающим каждого, кто придет к нему «сеять разумное, доброе, вечное».

И лишь в 90-х годах В. Г. Короленко ласковою, но сильной рукой великого художника честно и правдиво нарисовал нам мужика, действительно, во весь рост, дал верный очерк национального типа в лице ветлужского мужика Тюлина⁴¹. Это именно национальный тип, ибо он позволяет нам понять и Мининых, и всех ему подобных героев на час, всю русскую историю и ее странные перерывы. Тюлин — это удачливый Иванушка-Дурачок наших сказок, но Иванушка, который уже не хочет больше ловить чудесных Жар-Птиц, зная, что сколько их ни поймай, господишки все отнимут. Он уже не верит Василисе Премудрой: неизмериме количество бесплодно затраченной силы поколебало сказочное упорство в поисках счастья. Думая о Тюлине, понимаешь не только наших Мининых, но и сектантов: Сютаева и Бондарева, бегунов и штунду⁴², а чувствительный и немножко слабоумный Платон Каратаев исчезает из памяти вместе с Акимом⁴³ и другими юродивыми, дворянского успокоения ради, вместе с милыми мужичками народников и иными образами горячо желаемого, но — не реального.

Пропагандист новых форм культуры встретился с Тюлиным; Тюлин не встал с земли, не понял интеллигента и не поверил ему — вот, как известно, драма, разбившая сердце нашего героя.

Немедленно вслед за этим поражением на открытии памятника Пушкину прозвучала похоронная речь Достоевского⁴⁴, растравляя раны побежденных, как соль, а вслед за этим раздался мрачный голос Толстого. После гибели сотен юных и прекрасных людей, после десятилетия героической борьбы величайшие гении рабьей земли в один голос сказали:

— Терпи.

— Не противься злу насилием.

Я не знаю в истории русской момента более тяжелого, чем этот, и не знаю лозунга более обидного для человека, уже заявившего о своей способности к сопротивлению злу, к бою за свою цель.

Восьмидесятые годы наметили три линии, по коим интеллигент стремился к самоопределению: народ, культуртрегерство и личное самоусовершенствование. Эти линии сливались, стройно замыкаясь в некий круг: народ продолжали рассмат-

ривать как силу, которая, будучи организована и определенно направлена интеллигенцией, может и должна расширить узкие рамки жизни, дать в ней место интеллигенту; культуртрегерство — развитие и организация правосознания народа; самоусовершенствование — организация личного опыта, необходимая для дальнейшей продуктивности «мелких дел», направленных на развитие народа.

Но под этой внешней стройностью бурно кипел внутренний душевный разлад. Из-под тонких, изношенных масок социализма показались разочарованные лица бесприютных мечтателей — крайних индивидуалистов, которые не замедлили из трех линий остановиться на одной и с жаром занялись упорядочением потрясенных событиями душ своих. Начался усердный анализ пережитого, остатки старой гвардии называли аналитиков «никудашниками» и «Гамлетами, на грош пара»⁴⁵, как выразился автор одного искреннего рассказа, помещенного в «Мысли» Л. Оболенского. Новодворский метко назвал интеллигента тех дней «ни павой, ни вороной»⁴⁶. Но скоро эти голоса замолкли в общем шелесте «самоусовершенствования», и русский интеллигент мог беспрепятственно «ставить ребром последний двугривенный своего ума», привычка, которую отметил в нем еще Писарев.

Он, не щадя сил, торопился поправить и, так же судорожно, как и в наши дни, рвал путы социализма, стремясь освободить себя, — для чего? Только для того, чтобы в середине 90-х годов, когда он усмотрел в жизни страны новый революционный класс, снова быстро надеть эти путы на душу свою, а через десять лет снова и столь же быстро сбросить их! «Сегодня блондин, завтра — брюнет», — грустно и верно сказал о нем Н. К. Михайловский.

Итак, он начал править. Этим занятием сильно увлекались, и оно дает целый ряд курьезных совпадений, которые нелицеприятно указывают на единство психики интеллигента того времени и текущих дней с тою разницею, что восьмидесятник был более скромн, не так «дерзок на руку» и груб, как наш современник.

Приведу несколько мелких примеров этих совпадений: почтенный П. Д. Боборыкин напечатал в «Русской мысли» 80-х годов рассказ «Поумнел»; рассказ, в котором автор осуждал героя своего за измену еще недавно «святым» идеалам.

Г. Емельяненко⁴⁷ в одной из книжек «Вестника Европы» за 1907 г. поместил рассказ «Поправел», но — одобряет своего ге-

роя, социалиста и члена комитета партии, за то, что герой пошел служить в департамент какого-то министерства.

Шум, вызванный «Учеником» Бурже, как нельзя более похож на восхищение, вызванное «Homo Sapiens'ом» Пшибышевского.

Внимание к «Сашеньке» Дедлова⁴⁸ прекрасно сливается с увлечением «Саниным» — с тою разницей, что Сашенька в наглости своей наивнее Санина.

Политические эволюции г. Струве невольно заставляют вспомнить «эволюцию» Льва Тихомирова⁴⁹, а момент, когда г. Струве позвал «назад к Фихте», вызывает в памяти недоумение, вызванное г. Волынским⁵⁰ с его проповедью идеализма*.

Порнографии было меньше, она сочинялась только гг. Серафимом Неженатым и Лебедевым-Морским⁵¹, но так же гадко и тяжело, как и современными ремесленниками этого цеха.

Пунктом объединения ренегатов явилось «Новое время»⁵²; в наши дни мы имеем несколько таких пунктов — указывает ли это на количественный рост интеллигенции, или же на упадок ее силы сопротивления соблазнам уютной жизни?

«Неделя»⁵³ Меньшикова идейно воскресла в лице «Русской мысли»; проповедь «мелких дел» уже стократ повторена ныне, и тысячекратно повторяется лозунг восьмидесятников: «Наше время — не время широких задач».

Эти до мелочей доходящие совпадения достаточно определенно подтверждают факт стремления интеллигента после каждой встречи с народом «возвратиться на круги своя» — от разрешения проблемы социальной к разрешению индивидуальной проблемы.

* *
*

В восьмидесятых годах жизнь была наполнена торопливым подбором книжной мысли; читали Михайловского и Плеханова, Толстого и Достоевского, Дюринга⁵⁴ и Шопенгауэра, все учения находили прозелитов и с поразительной быстротою раскалывали людей на враждебные кружки. Я особенно подчеркиваю быстроту, с которою воспринимались различные вероучения; в этом ясно сказывается нервная торопливость оди-

* Разумеется, я принимаю, что 90-е годы психически начались ранее 1-го января 1890 г., а 80-е еще не кончились 30-го декабря 1889 г. — календарь и психика всегда находятся в некотором разноречии.

нокого и несильного человека, который в борьбе за жизнь свою хватает первое попавшееся под руку оружие, не соображая, насколько оно ему по силе и по руке. Этой быстротою усвоения теории не по силам и объясняются повальные эпидемии ренегатства, столь типичные для восьмидесятых годов и для наших дней. Не надо забывать, что эти люди учатся не ради наслаждения силою знания — наслаждения, которое властно зовет на борьбу за свободу еще большего, бесконечного расширения знаний, учатся они ради узко эгоистической пользы, ради все того же «утверждения личности».

«Радикалы» превращались в «непротивленцев», «культурники» в «никудашников» — и один из честнейших русских писателей, святой человек Николай Елпидифорович Петропавловский-Каронин говорил, конфузливо потирая руки:

— Чем им поможешь? Ничем не поможешь! Потому что как-то не жалко их, совсем не жалко!

Так же, как и теперь, развивался пессимизм; гимназисты так же искренно сомневались в смысле бытия вселенной, было много самоубийств по случаю «мировой тоски»; говорили о религии, о Боге, но находили и другой выход своему бессилию, скрывая его в стремлении «опроститься», и «садились на землю», устраивая «интеллигентские колонии».

Быть может, жизнь этих колоний наиболее ярко вскрывает злейший, нигилистичный, наш самобытный индивидуализм: в них с поразительной быстротой выявлялась органическая неспособность интеллигента к дисциплине, к общежитию, и немедленно черным призраком вставала роковая и отвратительная спутница русского интеллигента — позорно низкая оценка человеческого достоинства ближнего своего. Драма этих колоний начиналась почти с первых дней их основания: как только группа устремленных к «опрощению» людей начинала устраиваться «на земле» — в каждом из них разгоралось зеленым огнем болезненное, истерическое ощущение своей «самости» и «ячности». Люди вели себя так, как будто с них содрали кожу, обнажили нервы и каждое соприкосновение друг с другом охватывает все тело невыносимую жгучую болью. «Самосовершенствование» принимало характер каннибальства — утверждая некую мораль, люди воистину живьем ели друг друга. Острое ощущение своей личности вызывало в человеке истерическое неистовство, когда он видел столь же повышенную чуткость и в другом. Создались отношения, полные враждебного надзора друг за другом, болезненной подозрительности, кошмарные отношения, насыщенные лицемерием иезуитов. В не-

сколько месяцев физически здоровые люди превращались в неврастеников и, духовно изломанные, расходились, унося более или менее открытое презрение друг к другу.

Мне кажется, что эти тяжкие драмы слагались так: представьте себе людей, которые считают себя лучшей силою земли, людей с развитою потребностью широкой духовной жизни. Подавляя эту потребность, они идут в темную, плохо знакомую им деревню и с первого шага попадают в круг явной и скрытой вражды к ним, «барам». Их теснит и душит насмешливое любопытство, подозрительность, недоброжелательство, оскорбляют презрительные улыбки мужиков при виде их неумения работать, физической слабости и неспособности открыть, понять его мужицкую, глубоко спрятанную душу. Первобытно-грубая жизнь тянется изо дня в день с однообразием, которое давит интеллигента, хочет стереть его нервное лицо и уже медленно стирает тонкий слой европейской культуры с лица его души... Летом — каторжная работа и пожары, зимою — недоедание, болезни, по праздникам — пьянство и драки, и всегда перед глазами этот тяжелый, суеверный мужик. То назойливый попрошайка, то озорник и грубиян, он часто кажется близким животному и — вдруг поражает метким словом мудреца, верным суждением о порядках жизни, о себе самом, и стоит уже полный неожиданно возникшим откуда-то из глубины его души сознанием своего достоинства. Он — неуловим, непонятен и внушает интеллигенту спутанное чувство робости перед ним, удивления и еще каких-то ощущений, которые интеллигенту не хочется и трудно определить, но в которых мало лестного для мужика. Колонисты чувствуют себя жертвами какой-то ошибки, но гордость не позволяет им вскрыть ее. Заключенные в одном доме, они живут всегда на виду друг у друга, и каждый напрягается, стараясь скрыть от других тихий, но настойчивый рост разочарования в своей задаче, в своих силах. Однако постепенно убыль души ощущается всеми, тогда каждый хочет проверить это опытами над товарищем.

За поведением и мыслью каждого устанавливается, по общему молчаливому соглашению, придирчивый надзор. Если чей-либо поступок нарушает принятую аскетическую норму — люди сладострастно судят и медленно распинают виновного, жадно наслаждаясь ролью истязателей. После суда отношения принимают еще более извращенный характер, в них скопляется еще больше лицемерия: под внешнею кротостью кипит и все растет неприязнь, перерождаясь в ненависть.

«Барская колония» организовалась на глазах Н. Е. Каренина⁶⁵, при его участии; за жизнью ее он внимательно наблюдал. В то время как он писал о ней свой грустный рассказ, он говорил, смущенно улыбаясь:

— Оправдать их хочется, а — нечем оправдать! Слабые люди? Но — какое же это оправдание!

Может быть, здесь уместно будет указать, что наш интеллигентный индивидуализм неизбежно приводит людей в болезненное состояние, в высшей степени родственное истерии.

Признаки истерического состояния легко открыть у всех современных идеологов индивидуализма, будут ли это мистики, анархисты, христиане типа Мережковского и типа Свенцицкого⁵⁶, — для всех их одинаково характерна чрезмерно легкая возбудимость психического аппарата, быстрая смена его возбуждений, настроения угнетающего свойства, отрывочный ход идей, социальная тупость и непосредственно рядом с нею настойчивое стремление больного обратить стонами и криками своими внимание окружающих на него, на его в большинстве случаев вымышленные болевые ощущения.

Как иначе можно было бы объяснить недавнюю выходку одного из защитников культуры от нашествия «хама» — г. Мережковского, который прокричал на страницах «Русской мысли» нижеследующую, едва ли допустимую для культурного человека, фразу⁵⁷:

«— Разве умер Джордано Бруно? Еще бы не умер, издох, как пес, хуже пса, потому что животное не знает, по крайней мере, что с ним делается, когда умирает, а Джордано Бруно знал».

Хорошо здесь «потому что», столь ярко вскрывающее основной тон «я» — безумный страх личного уничтожения, страх, который был неведом Джордано Бруно и никому из людей, которые умели любить. Этот страх физического уничтожения вполне естествен у людей, ничем не связанных с жизнью, и, разумеется, было бы бесполезно требовать от гг. Мережковских уважения к великим именам и великим подвигам; может ли быть это уважение в душе человека, который сам сознается:

«Говоря откровенно, мне бы хотелось, чтобы с моим уничтожением — все уничтожилось; впрочем, так оно и будет: если нет личного бессмертия, то со мною для меня все уничтожится».

Ясно, что столь низкий строй души низводит «я» на плоскость, с которой он уже не может заметить разницы между смертью на костре и потоплением в помойной яме, между вели-

кой душою, любовно обнявшей весь видимый мир, и собою-микро-организмом, носителем психической заразы.

И когда люди типа г. Мережковского кричат и ноют о необходимости защиты «культурных ценностей», «наследства веков», то им не веришь.

Странные эти существа. Они суетливо кружатся у подножия самых высоких колоколен мира, кружатся, как маленькие собачки, визжат, лают, сливая свои завистливые голоса со звоном великих колоколов земли; иногда от кого-нибудь из них мы узнаем, что кто-то из предков Льва Толстого служил в некоем департаменте, Гоголь обладал весьма несимпатичными особенностями характера, узнаем массу ценных подробностей в таком же духе, и хотя, может быть, все это правда, но — такая маленькая, пошлая и ненужная.



Продолжая параллель между 80-ми годами и текущим моментом, надо заметить, что интеллигентское «я» того времени было все-таки более чутким этически, — в нем еще заметна здоровая брезгливость юности, оно не проповедовало педерастии и садизма, не смаковало картины насилия женщин, хотя этому, может быть, мешала только цензура? Оно «правело», сконфуженно оглядываясь, а становясь «правым», — стыдилось клеветать на бывших товарищей так цинично, как это делается теперь.

Интеллигент в этой стыдливости и нерешительности показать себя доходил даже до следующего: когда уже в <18>92 году вышла книжка «Вопросов философии и психологии»⁵⁸ со статьями Лопатина, Грота и, кажется, Трубецкого или Введенского о Ницше, многие из молодежи того времени, стараясь скрыть свое желание познакомиться со взглядами еретика, антисоциалиста, читали книжку тайно, как бы боясь оскорбить своих учителей, старых радикалов, заставлявших читать Чернышевского и Лаврова, Михайловского и Плеханова. Разумеется, это смешно, в этом чувствуется слишком ничтожное сознание своего достоинства и своей внутренней свободы, но, может быть, в душу человека тех дней сквозь хлам разрушенной жизни еще просачивалось инстинктивное ощущение спасительности старого пути к народу, к массе, к созданию оплодотворяющего личность коллектива — прямого пути от демократизма к социализму.

В ту пору, как и ранее, интеллигент ясно видел, что в стране нет хозяина. Смутное чувство в необходимости немедленного и энергичного решения социальных задач еще тлело в нем, и, как ранее, он продолжал сознавать себя единственным носителем интеллектуальной энергии страны.

На рынке жизни он был более, чем теперь, «продуктом без спроса»: правительство еще озлобленнее, чем раньше, отрицало его, земство и капитал не могли использовать эту силу в той мере, какой требовали уже изменившиеся условия жизни — рост фабрики и развитие культурных запросов деревни.

Взгляд на эпоху 80-х годов как на время квиетизма, пессимизма и всяческого уныния несколько преувеличен, мне кажется, хотя, может быть, это лишь потому, что наше «сегодня» решительно хуже вчерашнего дня, ибо ко всем прелестям накопленного ныне присоединен еще и возродившийся грубый, уличный нигилизм, переходящий уже в явное хулиганство. Если вспомнить работу «третьего элемента» в земствах, Вольноэкономическом обществе и комитетах грамотности, исследования по вопросам об артелях, о местных и отхожих промыслах — мы увидим перед собою массу черного труда, который потребовал немало усилий, и культурная ценность коего — вне спора.

Разумеется, и тогда, как теперь, прежде всего стремились подчеркнуть свое маленькое разногласие с другом и часто забывали о враге, и тогда каждый хотел выделить свою крошечную личность из ряда вполне подобных ей, но все это не носило столь анархического и противного вида, как в наши дни. Это не голословно и опирается на сравнении литератур того и данного момента.

Возьмем Меньшикова, которого нынче злее всех ругают те, кто становится этически похож на него, и ругают главным образом, именно за это все возрастающее сходство; каков бы ни был Меньшиков теперь, но в ту пору его работа имела неоспоримое культурное значение: он отвечал запросам наиболее здоровой и трудоспособной группы интеллигенции того времени — городским и сельским учителям. Сравните вариации на тему проповеди «мелких дел» у гг. Струве и иже с ним — и вы признаете за Меньшиковым преимущество искренности, таланта, понимания настроения своей публики.

Невозможно представить, чтобы Меньшиков, редактор «Недели», допустил в своем журнале столь грубые выходки, как статья Чуковского о В. Г. Короленко, статья Мережковского о

Л. Андрееве, Бердяева о революции и прочие выпады, допущенные «Русскою мыслью» наших дней.

Это одна из иллюстраций положения, которое я формулирую так: русский индивидуализм, развиваясь, принимает болезненный характер, влечет за собою резкое понижение социально-этических запросов личности и сопровождается общим упадком боевых сил интеллекта.

* *

*

Возьмем такие произведения старой литературы, как «Бесы», «Взбаламученное море», «Обрыв», «Новь» и «Дым», «Некуда» и «На ножах»; мы увидим в этих книгах совершенно открытое, пылкое и сильное чувство ненависти к тому типу, который другая литературная группа пыталась очертить в образах Рахметова, Рябинина, Стожарова, Светлова и т. п.⁵⁹ Чем вызвано это чувство ненависти? Несомненно, тревогою людей, у которых более или менее прочно и стройно сложились свои взгляды на историю России, которые имели свой план работы над развитием ее культуры, и — у нас нет причин отрицать это — люди искренно верили, что иным путем их страна не может идти. У каждого из них «были идеи» — и каждый оплатил свои идеи дорогою ценою, как это известно; их «идеи» могли быть ошибочны, даже вредны стране, но в данном случае нас занимает не оценка идей, а степень искренности и умственной силы их носителей. Они боролись с радикализмом порою — грубо, порою, как Писемский, — грязно, но всегда открыто, сильно.

Современного литератора трудно заподозрить в том, что его интересуют судьбы страны. Даже «старшие богатыри», будучи спрошены по этому поводу, вероятно, не станут отрицать, что для них родина — дело, в лучшем случае, второстепенное, что проблемы социальные не возбуждают их творчества в той силе, как загадки индивидуального бытия, что главное для них — искусство, свободное, объективное искусство, которое выше судеб родины, политики, партий и вне интересов дня, года, эпохи. Трудно представить себе, что подобное искусство возможно, ибо трудно допустить на земле бытие психически здорового человека, который, сознательно или бессознательно, не тяготел бы к той или иной социальной группе, не подчинялся бы ее интересам, не защищал их, если они совпадают с его личными желаниями, и не боролся бы против враждебных ему групп. Может быть, этому закону не подчинены глухонемые от

рождения, несомненно вне его стоят идиоты и, как указано выше, из его круга вырываются хулиганы — хотя у хулиганов улиц и трущоб есть групповые организации — признак, что сознание необходимости социальных группировок не вполне отмерло даже в душе хулигана.

Но, допустим, существует совершенно свободное и вполне объективное искусство, искусство, для которого все — равно и все — равны.

Нуждается ли в доказательствах тот факт, что современному литератору психология революционера далеко «не все равно», что она ему враждебна и чужда?

Уважая человека, надо думать, что большинство крупных писателей современности не станет отрицать факта: психика эта неприятна им, и они по-своему борются с нею. За последние годы каждый из них поторопился сказать «несколько теплых слов» об этом старом русском типе; посмотрим, насколько «объективно» и «внутренне свободно» их отношение к нему.

Толстой, Тургенев, Гончаров, даже Лесков и Писемский — внушили читателю весьма высокую оценку духовных данных революционера, читатель может уравновесить отрицательные характеры Достоевского положительными у Тургенева, Толстого и поправить преувеличения Лескова с Писемским из Болеслава Марковича⁶⁰ и Всеволода Крестовского⁶¹; последние двое часто бывали объективнее первых двух.

По свидетельству всех этих писателей, революционер — человек не глупый, сильной воли и большой веры в себя; это враг опасный, враг хорошо вооруженный.

Современные авторы единогласно рисуют иной тип. Герой «Тьмы»⁶², несомненно слабоумен; это человек больной воли, которого можно сбить с ног одним парадоксом. Революционеры «Рассказа о семи повешенных» совершенно не интересовались делами, за которые они идут на виселицу, никто из них на протяжении рассказа ни словом не вспомнил об этих делах. Они производят впечатление людей, которые прожили жизнь немимоверно скучно, не имеют ни одной живой связи со стенами тюрьмы и принимают смерть как безнадежно больной ложку лекарства.

Смешной и глупый Санин Арцыбашева на аршин выше всех социал-демократов, противопоставленных ему автором. В «Миллионах» социал-демократ — довольно темная личность, в «Ужасе» — революционер просто мерзавец. Люди «Человеческой Волны»⁶³ — сплошь трусы. Эс-дечка Алкина⁶⁴ Сологуба — что общего имеет она с женщинами русской революции?

И даже Куприн, не желая отставать от товарищей-писателей, предал социал-демократку на изнасилование⁶⁵ паровой прислуге, а мужа ее, эс-дека, изобразил пошляком.

Следуя доброму примеру вождей, и рядовой литератор тоже начал хватать революционера за пятки, более или менее бесталанно подчеркивая в нем все, что может затемнить и запачкать все человеческое лицо, — может быть, единственно светлое лицо современности.

Этой легкой травле хотят придать вид полного объективизма, бросают грязью в лицо революционера, как бы мимоходом и как бы между прочим. Изображают его разбитным, глупым, пошлым, но при этой дурной игре делают сочувственную мину старой сиделки, которой ненавистен ее больной.

Употребляя такие приемы унижения личности врага, какими не пользовались даже откровенные клеветники его — Ключников⁶⁶, Дьяков и другие, — что защищают, ради чего злобятся современные авторы?

Это грустное явление может быть объяснено только тем, что гг. писатели невольно подчинились гипнозу мещанства, которое, осторожно пробираясь ко власти, отравляет по дороге всех и все. Это — упадок социальной этики, понижение самого типа русского писателя.



В истории развития литературы европейской наша юная литература представляет собою феномен изумительный; я не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникала к жизни с такою силою и быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта. Никто в Европе не создавал столь крупных, всем миром признанных книг, никто не творил столь дивных красот, при таких неописуемо тяжких условиях. Это незыблемо устанавливается путем сравнения истории западных литератур с историей нашей; нигде на протяжении неполных ста лет не появлялось столь яркого созвездия великих имен, как в России, и нигде не было такого обилия писателей-мучеников, как у нас.

Наша литература — наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В ней — вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа; в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей день ярко горят умы великой красоты и силы, сердца святой чистоты — умы и сердца истинных художников. И все они правдиво и честно, освещая понятие, пере-

житое ими, говорят: храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновляет нас, любите его!

В нашем храме чаще и сильнее, чем в других, возглашалось общечеловеческое, значение русской литературы признано миром, изумленным ее красотой и силою. Она сумела показать Западу изумительное, неизвестное ему явление — русскую женщину, и только она умеет рассказать о человеке с такою неисчерпаемою, мягкой и страстной любовью матери.

Между оценкою литературы и нашей интеллигенции есть как бы противоречие, но это противоречие кажущееся. Психология старого русского литератора была шире и выше политических учений, которые тогда принимала интеллигенция. Попробуйте, например, уложить в рамки народничества таких писателей, как Слепцов, Помяловский, Левитов, Печерский, Гл. Успенский, Осипович, Гаршин, Потапенко, Короленко, Щедрин, Мамин-Сибиряк, Станюкович, и вы увидите, что народничество Лаврова, Юзова⁶⁷ и Михайловского будет для них ложем Прокруста⁶⁸. Даже те, кого принято считать «чистыми народниками»: Златовратский, Каронин, Засодимский, Бажин, О. Забытый, Нефедов, Наумов⁶⁹ и ряд других сотрудников «Отечественных записок», «Дела», «Слова», «Мысли», и «Русского богатства»⁷⁰ не входят в эти рамки — от каждого из них остается нечто, что дает нам право сказать так: старый писатель там, где политическое учение могло ограничить его художественную силу, умел встать над политикой, а не подчинялся ей рабски, как мы видим это в наши дни. Иными словами: старая литература свободно отражала настроения, чувства, думы всей русской демократии, современная же покорно подчиняется внушениям мелких групп мещанства, торопливо занятого делом своей концентрации, внутренне деморализованного и хватающего наскоро все, что попадет под руку, как хватало оно в 80-х годах. Он бросается от позитивизма в мистицизм, от материализма в идеализм, перебегает из одной старой крепости в другую, находит их непрочными для спасения своего, ныне строит новую — прагматизм, но — едва ли успеет спрятаться где-либо от внутренней своей разрухи.

Писатели наших дней услужливо следуют за мещанами в их суете и тоже мечутся из стороны в сторону, сменяя лозунги и идеи, как платки во время насморка. Но уже ясно, что самая крупная и бойкая мысль в голове современного писателя — антидемократизм.

Возьмите нашу литературу со стороны богатства и разнообразия типа писателя: где и когда работали в одно и то же время

такие несоединимые, столь чуждые один другому таланты, как Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, Гл. Успенский и Короленко, Щедрин и Тютчев? Продолжайте эти параллели, и вас поразит разность лиц, приемов творчества, линии мысли, богатство языка.

В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле.

Как человек, как личность, как писатель русский доселе стоял освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, литературе, к усталому в труде народу, грустной своей земле. Это был честный боец, великому-ченик правды ради, богатырь в труде и дитя в отношении к людям, с душою, прозрачной, как слеза, и яркой, как звезда бледных небес России.

Всю жизнь свою, все силы сердца он тратил на жаркую проповедь общечеловеческой правды, будил внимание к народу своему, но не отделял его от мира, как Френсен⁷¹ отделяет немцев, Киплинг — англичан, как начинает отделять итальянцев д'Аннунцио.

Сердце русского писателя было колоколом любви, и ведущий и могучий звон его слышали все живые сердца страны...

— Все это мне известно, — может сказать читатель.

Не сомневаюсь. Но я — для писателей говорю, мне кажется, что слава навалилась на них, обняла и, лаская, заткнула им уши жирными пальцами своими, пальцами сытой, распутной мещанки, чтобы не слышали они голосов, проклинающих ее. Я знаю бывшее отношение читателя к писателю-другу, не раз видал, как бывало читатель, узнав, что Н. пьет, грустно опускал голову, страдая за учителя и друга своего: с глубокою болью в сердце он понимал, что у Н. тысяча причин пить горькую чашу.

Думаю, что писатели наших дней, при таких слухах о них, вызывают у читателя только улыбку снисхождения. И это — в лучшем случае.

Что говорил, чему учил старый писатель?

— Верь в свой народ, создавший могучий русский язык, верь в его творческие силы. Помогай ему подняться с колен, иди к нему, иди с ним. Уважай подругу твою, прекрасную русскую женщину, учись любить в ней человека, товарища твоего в трудной работе строительства русской земли.

Тысячи юношей пошли на этот зов, подняли вековую тяжесть, соединили передовые, лучшие силы народа и дали исконному врагу первый великий бой, и множество со славой погибло в бою. Но желаемое — совершилось, народ поднялся, осматривается, думает о новой неизбежной битве, ищет вождей, хочет слышать их мудрые голоса.

А вожди и пророки народа ушли в кабак, в публичный дом. Я не хочу этими словами обидеть кого-либо — зачем мне это? Я просто указываю здесь на явление неоспоримое, всем известное, ибо о нем согласно свидетельствует и беллетристика, и критика, и газеты текущего времени. Если бы это можно было написать, не искажая позорной правды, другими словами — я написал бы.

Душа поэта перестает быть золотой арфой, отражающей все звуки жизни — весь смех, все слезы и голоса ее. Человек становится все менее чуток к впечатлениям бытия, и в смехе его, слышном все реже, звучат ноты болезненной усталости, когда-то святая дерзость принимает характер отчаянного озорства.

Поэт превращается в литератора и с высоты гениальных обобщений неудержимо скользит на плоскость мелочей жизни, швыряется среди будничных событий и, более или менее искусно обтачивая их чужой, заемной мыслью, говорит о них словами, смысл которых, очевидно, чужд ему. Все тоньше и острее форма, все холоднее слово и беднее содержание, угасает искреннее чувство, нет пафоса; мысль, теряя крылья, печально падает в пыль будней, дробится, становится безрадостной, тяжелой и больной. И снова — на месте бесстрашия скучное озорство, гнев сменен крикливою злостью, ненависть говорит хриплым шепотом и осторожно озирается по сторонам.

Для старых писателей типичны широкие концепции, стройные мировоззрения, интенсивность ощущения жизни, в поле их зрения лежал весь необъятный мир. «Личность» современного автора — это его манера писать, а личность — комплекс чувств и дум — становится все более неуловимой, туманной и, говоря правдиво, жалкой. Писатель — это уже не зеркало мира, а маленький осколок; социальная амальгама стерта с него; валяясь в уличной пыли городов, он не в силах отразить своими изломами великую жизнь мира и отражает обрывки уличной жизни, маленькие осколки разбитых душ.

На Руси великой народился новый тип писателя: это общественный шут, забавник жадного до развлечения мещанства, он служит публике, а не родине, и служит не как судия и свидетель жизни, а как нищий приживал — богатому. Он публич-

но издевается сам над собой, как это видно по «Календарю писателя»⁷², — видимо, смех и ласка публики дороже для него, чем уважение ее. Его готовность рассказывать хозяину своему похабные анекдоты должна вызывать у мещанина презрение к своему слуге.

Между прочими мерами степень собственного достоинства человека измеряется его презрением к пошлости. Современный русский «вождь общественного мнения» утратил презрение к пошлости: он берет ее под руку и вводит в храм русской литературы. У него нет уважения к имени своему — он беззаботно бросает его в ближайшую кучу грязи; без стыда и, не брезгуя, ставит имя свое с именами литературных аферистов, пошляков, паяцов и фокусников. Он научился ловко писать, сам стал фокусником слова и обнаруживает большой талант саморекламы.

Иногда и он крикливо, как попугай, порицает мещанство; мещанин слушает и улыбается, зная, что задорные эти слова — лай комнатной собачки и что сахаром ласки легко вызвать у нее благодарный визг.

Вспоминая грозные голоса львов старой литературы, мещанин облегченно вздыхает и гордо оглядывается: вот настали дни его царства — пророки умерли, скоморохи стоят на месте их и потешают его, жирную жабу, когда он устает душить правду, красоту, любовь.

Славная, умная Жорж Санд говорила: «Искусство не такой дар, который мог бы обойтись без широких знаний во всех областях. Надо пожить, поискать, нужно сперва многое переварить, много любить, страдать, не переставая в то же время упорно работать. Прежде, чем пустить в ход шпагу, надо основательно научиться фехтовать. Художник, который исключительно художник, бессилен, т. е. посредствен, или он вдается в крайность, т. е. безумен».

Посредственности и безумцы — вот два типа современного писателя.

Момент, переживаемый нашей страной, требует от него больших знаний, энциклопедизма, но писатель, видимо, не чувствует этих требований.

Литература наша — поле, вспаханное великими умами, еще недавно плодородное, еще недавно покрытое разнообразными и яркими цветами, — ныне зарастает бурьяном беззаботного невежества, забрасывается клочками цветных бумажек — это обложки французских, английских и немецких книг, это обрывки идей западного мещанства, маленьких идей, чуждых нам;

это даже не «примирение революции с небом», а просто озорство, хулиганское стремление забросать память о прошлом грязью и хламом. Пришел кто-то чужой, и все чуждо ему, он пляшет на свежих могилах, ходит по лужам крови, и его желтое, болезненное лицо бесстыдно скалит гнилые зубы. Больной дикарь, он чувствует себя победителем, и орет, орет, опьяненный радостью при виде людей, которые сегодня слушают его бессвязный крик; эфемерида — он живет шумом и блеском дня, не думая о том, что грозное завтра осудит его, горько и презрительно осмеет.

О чем говорит современный литератор?

«Что есть жизнь? — говорит он. — Все есть пища смерти, все. И хорошее, и дурное, содеянное тобой, исчезнет со смертью твоею, человек. Всё — равно и все — равно ничтожны пред лицом смерти».

Слушая эти новые слова, мещанин одобрительно кивает головою: «Так, не стоит творить жизнь, и бесполезно стараться изменить ее, добро и зло — равноценны. И зачем искать смысла дней? Примем и полюбим их такими, каковы они есть, наполним их всеми наслаждениями, доступными нам, и они будут легко и приятно поглощаться нами».

И храбро преступая кодекс морали своей, — уложение о наказаниях уголовных — мещанин наполняет дни свои грязью, пошлостью, творит маленькие, гадкие грешки против тела и духа человеческого и — блаженствует.

Он бессмертен, мещанин; он живуч, как лопух; попробуй — скоси его, но если не вырвешь корня — частной собственности, — он снова пышно разрастется и быстро задушит все цветы вокруг себя. Проповедь смерти полезна ему: она вызывает в душе его спокойный нигилизм и — только. Острой пряностью мышления о гибели всего сущего мещанство приправляет жирную и обильную пищу свою, побеждая пресыщение свое, а клиенты его, певцы смерти, господа Смертяшкины⁷³, действительно и неизлечимо отравляются страхом ее, бледнеют, вянут и жалобно кричат:

— Погибаем, ибо нет личного бессмертия!

Известно, что «шуты и дети часто говорят правду».

Чуковский торжественно возгласил унижающую человека и писателя «правду» о современной литературе:

«“Ужас Бесконечного” стал теперь, если хотите, литературной модой. Литераторы, поэты, художники обсасывают его, как леденец. И та литературная школа, с которой теперь все

охотнее сближает свое имя Андреев, — она вся вышла из этого ужаса, питается им. Для того, чтобы стать теперь истинным поэтом, нужно уметь ужаснуться. И Блока, и Белого, и Брюсова, и Леонида Андреева, как они ни различны, объединяет один этот животный ужас, который заставлял толстовского Ивана Ильича кричать протяжно и однотонно:

— У-у-у-у!..

Они — как приговоренные к казни. И пусть Брюсов относится к ней бодро и строго, а Белый фиглярничает и строит палачу рожи, пусть Сологуб забегает за секунду до эшафота в свою пещеру, а Городецкий восторгается палачом и поет ему славословия — все это, в конце концов, и эти безумные и мудрые слова, и эти кошмарные и строгие образы — все это одно:

— У-у-у-у!

И ничто другое. И великим ныне сочтем того, кто сумеет по-новому, с новым приливом ужаса выкрикнуть этот вопль, и величайшим будет тот, кто заставит и нас вопить за ним, без слов, без мыслей, без желаний:

— У-у-у-у!..» (Газета «Родная земля». № 2. 1907 г.).

Вот какова «правда» Чуковского, и, видимо, названные им авторы согласны с этим определением смысла их творчества — никто из них не возразил ему.

Когда наш старый писатель страдал «от зубной боли в сердце», — в честном и чутком сердце своем, стон его муки сливался со стонами лучших людей земли, ибо он находился в неразрывном с ними духовном сосуществовании, и крик его был криком за всех.

Современный неврастеник возводит боль своих зубов — личный свой ужас пред жизнью — на степень мирового события; в каждой странице его книги, в каждом стихотворении ясно видишь искаженное лицо автора, его раскрытый рот, и слышен злой визг:

— Мне больно, мне страшно, а потому — будь вы все прокляты, с вашей наукой, политикой, обществом, со всем, что мешает вам видеть мои страдания!

Нет самолюбца более жестокого, чем больной.

Благодарение мудрой природе: личного бессмертия нет и все мы неизбежно исчезнем, чтобы дать на земле место людям сильнее, красивее, честнее нас, людям, которые создадут новую, прекрасную, яркую жизнь и, может быть, чудесною силою соединенных волей победят смерть.

Радостный привет людям будущего!



Признаком этического упадка в русском обществе является крутой поворот во взглядах на женщину.

Даже имея в виду хронически плохое состояние органа памяти у русских людей, надеюсь, нет надобности напомнить им исторические заслуги русской женщины, ее великий социальный труд, ее подвиги. Начиная с Марфы Борецкой и Морозовой, кончая женщинами раскольничьих скитов и революционных партий, мы видим перед собою образ эпический.

Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой, великолепно и любовно очерченные старыми мастерами образа и слова, а еще точнее — музою новейшей русской истории.

Редко на протяжении трудного пути своего спрашивала она, «пеняя»:

— Долго ли муки сея, протопоп, будет?

Но когда ей говорили:

— Марковна! До самой смерти.

Она, «вздыхая», отвечала:

— Добро, Петрович, ино еще побредем.

И вдруг эта женщина, воистину добрый гений страны, ушла из жизни, исчезла, как призрак; на место ее ставят пред нами «кобыл»*, наделяют их неутолимою жаждою исключительно половой жизни, различными извращениями в половой сфере, заставляют сниматься нагими, а главным образом, — предають на изнасилование.

Последнее удовольствие приняло характер спорта: если А. насиловал одну женщину, Б. — трех, и если Г. — старушку, тетку, Ф. — родную дочь. С поразительною быстротою мещанство, одолевшее писателей, заставило их изнасиловать женщин всех возрастов и во всех степенях родства. Теперь, чтобы избежать повторений, необходимо литераторам обратить свои творческие силы на щук, ворон и жаб, следуя примеру одной из своих групп, которая, будучи понуждаема запросами публики, серьезно приступила к изучению кошек⁷⁴.

* Прошу заметить, что в этой статье я пользуюсь только теми грубостями, которые были уже употреблены ранее в журналах и газетах последнего времени.

Эта эпидемия порнографии, поразившая мозги наших литераторов, развилась так быстро и в таких грубых формах, что ошеломила честных людей — не все же они побиты на смерть! — и до сей поры, очевидно, они не могут собраться с силами, чтобы протестовать против грязи, которою усердно пачкают русскую девушку, женщину и мать.

Если честные люди не ясно видят источник отвратительного явления, их может в данном случае просветить немудрый г. Бердяев, читавший книгу Вейнингера⁷⁵ еще до перевода ее на русский язык. Со свойственным неуклюжему россиянину грациозным умением носить на своих плечах тонкое платье, шитое западными портными и всегда уже несколько засаленное мещанином Европы, с присущим г. Бердяеву талантом огрублять и опошлять все чужие слова и заемные мысли, он, горячий защитник «культурных ценностей», в одной из своих статей, едва ли не первый высказал несколько ценных мыслей о женщине. Тон его статьи весьма напоминает времена борьбы нашей реакционной печати против «стриженных девок», «нигилистов», а тема («духовная организация женщины ниже, чем таковая же у мужчин») — доказывается по-австралийски, с позаимствованиями из туземно-австралийских взглядов на вопрос, из «Домостроя» и подобных сим источников.

Но важна не статья Бердяева, а мотив, побуждающий его и ему подобных, вчерашних блондинов, озаботиться ниспровержением установившегося отношения к женщине как духовно равноценному и социально-равноправному товарищу.

Французы до сего дня прикованы к этому вопросу, немцы и теперь едва решаются касаться его, англичанин хотя и уступает женщине место рядом с собою, но делает это молча, неохотно подчиняясь напору необходимости, и, как заметно, он еще будет оспаривать завоевания женщины. Наша литература уже в конце первой половины XIX столетия поставила и быстро решила этот вопрос — одна из ее великих заслуг перед родиной. Вопрос не мог быть решен иначе: малочисленность культурных сил, одиночество разночинца среди групп, которые презрительно отрицали его, — вся сумма условий, окружавших интеллигента в первые дни его борьбы за место в жизни, внушили ему верный тон в вопросе о женщине, повелели признать ее силой всячески равной ему. Теперь он, должно быть, думает, что уже победил врага, и, как видно, старается превратить своих союзников — женщину и народ — в подданных, в рабов его милости. Это всегда так делалось, но — никогда не выполнялось столь скверно и цинично.

Мизогиния — нечто от плоти мещанской: женщина, помогавшая в борьбе, мешает победителю-мещанину спокойно пользоваться плодами его призрачной победы, ибо в процессе боя она развила в душе своей слишком высокие требования к мужчине — другу и союзнику.

Мещанство радо новому отношению к женщине и поощряет его, ибо оно возбуждает притупленную чувственность изношенного мещанского тела — разве не забавно превратить врага в любовницу?

И в гнилых мозгах малокровных людей разгорается сладострастие, отравляя воображение картинами половой борьбы. А литераторы, снова вольно или невольно насыщаясь продуктами разложения мещанской души, переносят их на бумагу, все более отравляя и себя, и окружающих.

На Кавказе, в Кабарде, еще недавно, по словам А. Веселовского⁷⁶, существовали гегуако, бездомные народные певцы. Вот как один из них определил свою цель и свою силу:

«Я одним словом своим, — сказал он, — делаю из труса храбреца, защитника своего народа, вора превращаю в честного человека, на мои глаза не смеет показаться мошенник, я противник всего бесчестного, нехорошего».

Наши писатели, разумеется, считают себя выше «некультурного» поэта кабардинцев.

Если бы они, действительно, могли подняться на высоту его самооценки, если бы могли понять простую, но великую веру его в силу святого дара поэзии!

* *

*

Теперь посмотрим, как относится наша интеллигенция к другому старому союзнику — мужику, и как относится к нему современная литература.

Лет пятьдесят мужика усиленно будили: вот — он проснулся; каков же его психический облик?

Скажут: слишком мало времени истекло, не было еще возможности отметить изменения лица давно знакомого героя. Однако старая литература имела силы идти в ногу с жизнью, и у новой, очевидно, было время заметить в мужике кое-что; она о нем и говорила уже, и говорит.

Но определенных ответов на вопрос — не дано, хотя по некоторым намекам молодых писателей уже видно, что ничего отрадного для страны и лестного для мужика они и не видят и не чувствуют.

Насколько обрисован мужик в журнальной и альманашной литературе наших дней — это старый, знакомый мужик Решетникова, темная личность, нечто зверообразное. И если отмечено новое в душе его, так это новое пока только склонность к погромам, поджогам, грабежам. Пить он стал больше и к «барам» относится по шаблону мужиков чеховской новеллы «На даче», как об этом свидетельствует г. Муйжель⁷⁷ в одноименном рассказе — автор, показания коего о мужике наиболее обширны.

Общий тон отношения к старому герою русской литературы — разочарование и грусть, уже знакомые по литературе 80-х годов, когда тоже вздыхали:

— Мы для тебя, Русь, старались, а ты... эх ты! Изменщица!

И — так же ругались. Помню, как поразила меня одна фраза, сказанная уже в 92-м году в кружке политических ссыльных по поводу холерных беспорядков на Волге:

— Нет, для нашего мужика все еще необходим и штык, и кнут! — грустно сказал бывший ссыльный, очень симпатичный человек во всем прочем.

И слова его не вызвали протеста товарищей.

Ныне при таком же молчании «культурного» общества народ именуют «фефелой», «потревоженным зверем» и т. д.* Профессор П. Н. Милюков⁷⁸ называет знамя величайшей идеи мира, способной объединить и объединяющей людей «красной тряпкой», идейных врагов — «ослами».

«Ослы», «кобылы», «звери», «фефела», «обозная сволочь» — браво, культура, браво, «культурные вожди русского общества»!

В пестром стане защитников «культурных ценностей» уже нет ни одного честного воина, который мог бы, как Яков Полонский, красиво и искренно возгласить тост «за свободу враждебного пера».

Это ли не понижение типа русского культурного человека?

Рабочий, по осторожным очеркам молодых беллетристов, еще хуже мужика: он глупее, более дерзок и при этом говорит о социализме, пагубности которого для себя и мира он, конечно, не может понять.

При всей идейной беззаботности гг. писателей «венского периода русской литературы»⁷⁹, как выразился Амфитеатров,

* Хотя первоначально народ был обруган «фефелой» за недостаток темперамента, но впоследствии разные ретивые люди называли его этим именем уже «за все»!

они прекрасно усвоили мещанское представление о социализме как о вредном учении, которое, защищая исключительные интересы желудка, совершенно отрицает запросы духа. Поэтому тяготение к социализму понимается ими как прогрессивное развитие слабоумия.

Что пролетарий везде и всюду среди мещан является неприятным лицом, слишком трагичным в мещанской комедии, что для современного автора он велик и неудобен как герой — все это понятно.

Мужик же испортил свою карьеру в литературе и, видимо, надолго лишился теплого отношения беллетристики по такому поводу: видя, что господа волнуются, требуя себе политической власти, и что мундирное начальство уступит им, если он своею силою поддержит господ, — он должен был отдать все силы свои в распоряжение воинствующего мещанства, а оно, построив его руками и своим умом крепость благополучия своего, после этого поблагодарило бы его. Он же, некультурный, вместо того, чтобы спокойно ожидать награды со стороны столь благородных господ, с настойчивостью, устранившею их, немедленно потребовал себе «всю землю» и, подстрекаемый рабочими, даже заговорил о социализме. За что — обруган и временно оставлен без внимания со стороны господ, известных своей добротой.

Разумеется, эта ссора интеллигенции с народом не может затянуться надолго: «без мужика не проживешь», как показано Щедриным, но «культурному обществу», в интересах сохранения и дальнейшего роста страны, следует, возможно скорее прекратить проявления своих оскорбленных чувств, кончить истерические и капризные жалобы на непослушный ее желаниям народ. Интеллигенция же торопится забить своим телом все щели и трещины в государстве, потрясенном и полуразрушенном революцией; усталая и преждевременно разочарованная, она ищет лишь уютного места для отдыха, в деяниях ее нет более любви к своей стране, в словах нет веры.

Надо учесть еще одно специфически русское явление: непосильный рост «лишних», «никудашных», «никчемных», «ненужных» людей — рост этот очевиден, как и его причины. Это элемент, крайне опасный для жизни, ибо эти люди с убитой волей, без надежд, без желаний, люди, массою которых прекрасно умеет пользоваться наш враг. Когда тип «лишнего» человека отмечался литературою среди культурного общества, это было не страшно: культура создается энергиею народа. Но когда сам народ из своей среды и непосредственно выдвигает «никчемных», «никудашных», «ненужных» людей, это опас-

но, ибо свидетельствует об истощении почвы культурной — духовных сил народа; это явление надо учесть, с ним необходимо бороться. Задача литературы — уничтожить этих людей или, насытив их бодростью, воскресить к жизни активной.

Но, — «позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего», — литераторы дружно уходят на службу мещанству. На этой почве они неизбежно должны испытать и уже испытывают роковую убыль души: в среде мещанства нет свободных планов, нет широких идей, способных стройно организовать творческие силы личности.

Как на болоте не может разрастись могучий дуб, но растут только хилые березы, низенькие ели, так и в этой гнилой среде не может сложиться и подняться высоко над жизнью буден могучий талант, способный окинуть орлиным взором всю пестроту явлений в своей стране и в мире, талант, освещающий пути к будущему и великие цели, окрыляющие нас, маленьких людей.

Мещанство — это ползучее растение, оно способно бесконечно размножаться и хотело бы задушить своими побегами все на своей дороге; вспомните, сколько великих поэтов было погублено им!

Мещанство — проклятие мира; оно пожирает личность изнутри, как червь опустошает плод; мещанство — чертополох; в шелесте его, злом и непрерывном, неслышно угасает звон мощных колоколов красоты и бодрой правды жизни. Оно бездонно-жадная трясина грязи, которая засасывает в липкую глубину свою гения, любовь, поэзию, мысль, науку и искусство.

Болезненный этот нарыв на могучем теле человечества ныне, мы видим, совершенно разрушил личность, привив в кровь ей яд нигилистического индивидуализма, превращая человека в хулигана — существо бессвязное в самом себе, с раздробленным мозгом, изорванными нервами, неизлечимо глухое ко всем голосам жизни, кроме визгливых криков инстинкта, кроме подлого шепота больных страстей.

Благодаря мещанству мы пришли от Прометея до хулигана.

Но хулиган — кровное дитя мещанина, это плод его чрева. Историей назначена ему роль отцеубийцы, и он будет отцеубийцею, он уничтожит родителя своего.

Это драма — семейная драма врага; мы смотрим на нее со смехом и радостью, но нам жалко, когда мещанство в борьбу со своим же исчадием вовлекает ценных и талантливых людей, нам грустно видеть, как гибнут они, отравленные гниlostным ядом бурно разрушающейся среды.

Нам — это естественное желание здорового — хочется видеть людей здоровыми, бодрыми, прекрасными; мы чувствуем, что, будучи развита и организована, духовная энергия народа нашего может освежить жизнь мира, ускорить наступление всечеловеческого праздника разума и красоты.

Ибо для нас история всемирной культуры написана гекза-метром, и мы знаем: в мире будут дни всеобщего восторга людей пред картиною прошлых деяний своих, и земля когда-то явится во вселенной местом торжества жизни над смертью, местом, где возникнет воистину свободное искусство жить для искусства, творить великое!

Жизнь человечества — творчество, стремление к победе над сопротивлением мертвой материи, желание овладеть всеми ее тайнами и заставить силы ее служить воле людей для счастья их. Идя к этой цели, мы должны в интересах успеха ревностно заботиться о постоянном развитии количества живой, сознательной и активной психофизической энергии мира. Задача данного исторического момента — развитие и организация, по возможности, всего запаса энергии народов, превращение ее в активную силу, создание классовых, групповых и партийных коллективов.

1908





Максим ГОРЬКИЙ

Две души

Катастрофа, никогда еще не испытанная миром¹, потрясает и разрушает жизнь именно тех племен Европы, духовная энергия которых наиболее плодотворно стремилась и стремится к освобождению личности от мрачного наследия изжитых, угнетающих разум и волю фантазий древнего Востока — от мистик суеверий, пессимизма и анархизма, неизбежно возникающего на почве безнадежного отношения к жизни.

Восток, как это известно, является частью преобладания начал эмоциональных, чувственных над началами интеллекта, разума: он предпочитает исследованию — умозрение, научной гипотезе — метафизический догмат. Европейец — вождь и хозяин своей мысли; человек Востока — раб и слуга своей фантазии. Этот древний человек был творцом большинства религий, основоположником наиболее мрачной метафизики; он чувствует, но не изучает, и его способность объединять свой опыт в научные формы — сравнительно ничтожна.

Восприняв чувственно и умозрительно силу стихий, Восток обоготворил их и безвольно подчинился им, покорный всякой силе, тогда как люди Западной Европы, овладевая энергией природы посредством изучения ее, стремятся подчинить и подчиняют эту энергию интересам и разуму человека.

Задача европейской науки — именно в том, чтобы, изучив силы природы, заставить их работать на человека, освободить личность из плена догмата, суеверий, предрассудков, из тисков подневольного труда и претворить освобожденную физическую энергию в духовную.

Эта задача европейской науки и культуры была неведома Востоку; только с прошлого столетия наиболее чуткие люди стран Азии начали принимать великий научный опыт Европы, ее методы мышления и формы жизнедеятельности.

Основное мироощущение Востока легко укладывается в такую формулу: человек навсегда подчинен непознаваемой силе, она не постижима разумом, и воля человека — ничто пред нею. Для европейской науки непознаваемое — только непознанное.

«Кисмет»², — говорит магометанин, покорно подчиняясь Року, а европеец Ромен Роллан гордо заявляет: «Француз не знает Рока».

Это не совсем верно: Запад знает Рок, уверенно борется с ним и, чувствуя себя призванным к победе над Роком, постепенно вовлекает в эту великую борьбу и Восток. Запад рассматривает человека как высшую цель природы и орган, посредством коего она познает самое себя, бесконечно развивая все свойства этого органа; для Востока человек сам по себе не имеет значения и цены.

Пытаясь ограничить непомерно развитую чувственность, Восток создал аскетизм, монашество, отшельничество и все иные формы бегства от жизни, мрачного отрицания ее. Табак, опиум и другие наркотики, цель которых усилить или подавить эмоции, — тоже излюблены и даны миру Востоком. Земная жизнь для усталого, но чувственного человека восточных стран кажется призрачной, лишенной смысла, а убеждение в возможности иного, посмертного, бытия побуждает его уже на земле готовиться к райскому покою, как это делали пустыnnики Фиваиды³, как делают аскеты Индии и наши сектанты-мистики.

На Востоке берут свое начало скопчество, стремящееся прекратить размножение человеческого рода, и анархическое «бегунство», «странничество», отрицающее все формы социальной и политической организации.

Религиозная нетерпимость, фанатизм, изуверство — это тоже продукты эмоций Востока, и хотя почти все эти эмоции привиты арийцам Запада, но это для западной культуры не характерно; здоровый человек может заразиться проказой, но проказа — болезнь, рожденная на Востоке.

Для Европы характерна резко выраженная ею активность ее жизни, ее культуры, основанной на изучении и деянии, а не на внушении и догмате — началах древней культуры Востока.

Человек Востока ожидает вечного счастья и покоя за пределами земли, в области воображения; европеец хочет достичь долголетнего счастья на земле.

Цель европейской культуры — быть культурой планетарной, объединить в своем труде, в своих идеях все человечество нашей планеты.

Лозунги Европы — равенство и свобода на основаниях изучения, знания, деяния.

Содди⁴, радиоактивист, оценивая современное состояние европейской науки, говорит: «Мы имеем законное право верить, что человек приобретет власть направить для собственных целей первичные источники энергии, которые природа теперь так ревниво охраняет для будущего. Вследствие прогресса физики мы находимся на повороте восходящего движения цивилизации, делая первый шаг вверх, на низшую ступень следующей восходящей ветви. Пред нами — хотя все еще неопределенно впереди — идет подъем к физической власти над природой; он идет далеко за пределы мечтаний смертных, мечтаний, выраженных в любой философской системе. Эти возможности нового порядка вещей, лучших условий бытия, чем какие когда-либо предсказывались, — не являются обещаниями из иного мира. Они существуют в этом мире, за них надо сражаться и бороться, чтобы вырвать их из цепких рук природы, как были вырваны в прошлом все наши успехи, наша цивилизация работой коллективного мозга человечества, направляющего и умножающего ничтожную силу отдельного человека».

Это — боевой клич европейца, уверенного в творческой силе воли своей, разума своего.

Китаец Лао Сы⁵ учит:

«Единственно, чего я боюсь, это — быть деятельным. Все должны быть бездеятельными. Бездеятельность — полезнее всего, существующего между небом и землею. Когда все сделаются бездеятельными, то на земле наступит полное спокойствие».

Вот непримиримое противоречие Запада и Востока. Именно это, рожденное отчаянием, своеобразие восточной мысли и является одной из основных причин политического и социального застоя азиатских государств. Именно этой подавленностью личности, запутанностью ее, ее недоверием к силе разума, воли и объясняется мрачный хаос политической и экономической жизни Востока. На протяжении тысячелетий человек Востока был и все еще остается в массе своей «человеком не от мира сего».

Конечно, и Восток по-своему деятелен, но его деятельность подневольна, ее вызывает только суровая сила необходимости — человеку Востока незнакомо наслаждение процессом работы, ему недоступна поэзия, неведом пафос деяния.

Люди Запада давно уже доросли до понимания планетарного смысла труда, для них деяние — начало, единственно способ-

ное освободить человека из плена древних пережитков, из-под гнета условий, стесняющих свободу духовного роста личности.

На Западе труд — выражение коллективной воли людей к созданию таких форм бытия, которые имеют целью — бесконечно расширяя область приложения энергии человека в борьбе с природой, — поработить силы природы интересам и воле человека.

Оговорюсь, — противопоставляя Восток Западу, я отнюдь не думаю о каких-либо «метафизических сущностях» или о «расовых особенностях», которые якобы органически и неискоренимо свойственны монголу, арийцу, семиту и навеки будут враждебно разделять их.

Нет, я слишком глубоко верю в силы разума, исследования, деяния, для того чтобы считать временное — вечным. Семиты — тоже люди Востока, но кто станет отрицать их огромную роль в деле строительства европейской культуры, кто усомнится в их великой способности к творчеству, в их любви к деянию?

Я противопоставляю два различных мироощущения, два навыка мысли, две души. Основная сущность их — одинакова, — стремление к добру, красоте жизни, к свободе духа. Но по силе целого ряда сложных причин большинство человечества еще не изжило древнего страха перед тайнами природы, не возвысилось до уверенности в силе своей воли, не чувствует себя владыкой своей планеты и не оценило сущности деяния как начала всех начал.

Неоспоримо, что внешние условия жизни Востока издревле влияли и все еще продолжают влиять на человека в сторону угнетения его личности, его воли. Отношение человека к деянию — вот что определяет его культурное значение, его ценность на земле.



Мысли, изложенные выше, разумеется, не представляют нового: непримиримость мироощущений Востока и Запада подчеркивалась не однажды и гораздо более резко, более ярко.

Даже мыслители мусульманского мира признают преимущества западноевропейской культуры и понимают мрачные стороны культуры Востока.

Касим Амин⁶, прозванный «Лютером Востока», говорит в своей книге «Новая женщина»: «Происхождение разногласия между нами и западными объясняется тем, что они поняли

природу человека, уважают его личность». Он же признает, что «причиной, остановившей прогресс цивилизации на Востоке и ограничившей все движение жизни одним кругом, без возможности выйти из него», — этой причиной явился «хронический деспотизм». Муаллим-Наджи⁷, турок, литератор, еще в 80-х годах писал Анджело Губернатису⁸: «Мы не научимся понимать друг друга, пока между вами и нами будет стоять стена религиозного фанатизма».

Критическое и отрицательное отношение мыслителей Востока к основам своей культуры зародилось еще в XVII веке, после поражения турок под Веной. Уже с той поры на Востоке время от времени стали раздаваться единичные голоса, осуждающие лень, косность и пассивное отношение к жизни.

В «Китабе-Акдес», священной книге бабидов⁹, стих 70-й учит: «О, люди, Беха, каждому из вас обязательно занятие каким-либо делом, — или ремесленным, или промышленным и тому подобным».

Стих 72-й говорит: «Самые ненавистные для Бога те, которые сидят и просят; держитесь непрерывно дела».

Еще дальше идет Беха-Улла¹⁰, автор «Китабе-Акдес», в своей беседе с Э. Г. Броуном: «Мы же даем, — говорит он, — чтобы все народы пришли к единой вере, и люди стали братьями; чтобы рознь религиозная перестала существовать и уничтожено было различие национальностей. Распри, кровопролития и раздоры должны кончиться, и все люди составят одну семью, одну родню. Да не возгордится человек тем, что любит свою родину, а пусть гордится тем, что любит род человеческий!»

В 50-х годах XIX столетия бабиды были перерезаны, замучены, вожди их истреблены, и практическое влияние силы западноевропейских идей на социальный быт Востока снова стало ничтожно, незаметно вплоть до начала XX века. Проповедь научного мышления в Турции, Персии, Китае, — не говоря о Монголии, — до сих пор не дает осязательных результатов, являясь как бы лучеиспусканием в пустоту.

Это печальное явление я объясняю особенными свойствами восточной мысли, направленной не к жизни, не к земле и деянию, а к небесам и покою. Поучительно противопоставление двух типов ума, сделанное известным писателем и социалистом-фабианцем Гербертом Уэльсом в речи, произнесенной им 24 января 1902 года в Лондонском институте изучения Востока:

«Ум человеческий бывает двух типов, главное различие между которыми заключается в их отношении к времени, в том, сколько значения придают они прошедшему и будущему.

Первый, по-видимому, господствующий тип, находимый у большинства людей, о будущем совсем не помышляет, смотрит на него как на какое-то темное “небытие”. Настоящее в его понятии как бы надвигается на будущее и пишет на нем события. Второй ум, более новый и гораздо реже встречающийся, сосредоточивает свое внимание главным образом на будущем, а на прошедшем и настоящем останавливается лишь настолько, насколько оно обуславливает будущие явления».

«С точки зрения первого, мы лишь пожинаем в жизни посеянное в прошлом, с точки зрения второго — жизнь служит для приготовления и устройства будущего».

«В противоположность первому, пассивному, это — активное состояние ума, это ум молодости, ум, чаще встречающийся среди западных народов, в то время как первый есть ум дряхлого Востока».

Каждый раз, когда Западная Европа, утомленная непрерывным строительством новых форм жизни, переживает годы усталости, — она черпает реакционные идеи и настроения от Востока. «С Востока свет!»

В утомленной крови победоносно развивается отравя, воспринятая ею от столкновения с Азией, от азиатской мысли, запуганной, бессильной, унижающей человека, той мысли, которая создана Востоком, в печальных условиях его бытия поработила его и ныне отдает в плен и власть европейского капитала.



Явные и постоянные черты всякой реакции всегда выражаются в том, что победители начинают бояться разума, которым они пользовались как оружием и силу которого хорошо знают; побежденные же сомневаются в силе разума, мировое творческое значение которого не вполне ясно им, ибо побежденным является народ, а его, как известно, не очень охотно знакомят с могуществом разума и науки. Страх перед разумом вызывает у победителей стремление подорвать его силы: они начинают говорить об ограниченности разума, о том, что исследование не способно разрешить загадки бытия, ставят на место изучения умозрение, на место исследования — созерцание. Можно думать, что все это проповедуется сознательно и бессознательно — с намерением еще более укрепить сомнение побежденных в могуществе разума.

История оправдывает и утверждает этот взгляд.

Возьмем европейскую реакцию начала XIX века, когда Европа, напуганная великою революцией, была подавлена деспотизмом Наполеона, а вслед затем подпала еще более тяжкому гнету «Священного Союза»¹¹, который был основан против «вольномыслия, атеизма и ложной учености». Тогда в сфере мысли «испугались всесильного господства начал разума, которое провозгласила материалистическая философия XVIII века; в сфере практической жизни и политики — самодержавия народа, которое провозгласил Руссо.

На почве этого страха и разочарования буржуазии в способности взять всю «широту власти» в свои руки буржуазия почувствовала отвращение к действительности, обманувшей ее надежды, и ее литература отдалась во власть романтизма. Основой романтизма является болезненно развитое ощущение своего «я», которое романтики ставят выше всех явлений мира, выше всего мира, в позицию божественного законодателя. Личность, по убеждению романтика, совершенно свободна от связи с миром, от влияния на нее действительности. Весьма возможно, что в глубине такого убеждения лежал недавний пример Наполеона, который в несколько лет вырос из поручика в императора, поработил всю Европу, создавал из рядовых солдат маршалов и королей.

Наиболее резко и точно выражено отношение романтика к себе и миру Ф. М. Достоевским в «Записках из подполья», сочинении, где соединены все основные идеи и мотивы его творчества.

«Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз: своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия, — вот все это и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту». «Стою за свой каприз и за то, чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится». «Да я за то, чтобы меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам, Свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне всегда чай пить».

Эта проповедь безудержного, ничем не ограниченного своеволия скрывает в глубине своей отчаяние личности, неспособной приобщиться миру, оторванной от него, это анархизм отчаяния, всегда свойственный настроению романтиков. Убеждение в праве личности на неограниченное своеволие открывает перед романтиком в одну сторону путь к анархизму, безначалию, в

другую — необходимо приводит его к идеализации единовластия монархизма.

Среди равных себе романтики не могут признать главу, и Новалис, один из немецких романтиков, прямо говорит: «Король — это человек, исполняющий на земле роль небесного Провидения».

Вот суждения романтиков: Шатобриан, французский писатель, говорит: «Зачем крестьянину знать химию? В народе гораздо более ума, чем в философах, — народ не отрицает чудес. Что бы ни говорили, а прекрасно всегда находиться среди чудес».

Это был вполне сознательный реакционер, посвятивший свои силы борьбе против философии разума, созданной писателями XVIII века. Его лозунг: «необходимо вернуться к религиозным идеям» недавно провозглашен известной группой русской интеллигенции. В одном из писем к другу своему, тоже реакционеру, Де-Местру¹², он писал: «Все скрыто, все неведомо во вселенной. Все вечная судьба поставила Рок и смерть на двух концах нашего пути и с высоты трона своего бросила нашу жизнь в пустоту времени, чтоб она катилась без основания и смысла».

«Жизнь — болезнь духа! — говорит Новалис¹³. — Да будет сновидение жизнью!» Другой писатель, Тик¹⁴, вторит ему: «Сновидения являются, быть может, нашей высшей философией». Эти мысли тоже неоднократно повторены русской литературой последних годов.

Романтики начала XIX века предпочитали практической деятельности свободную игру фантазии, созерцание — исследованию, религию — науке, веру — разуму.

Их современник, великий поэт и мыслитель Гете, так определил романтизм:

«Романтизмом я называю все болезненное. Большинство новейших произведений романтично, но не потому, что они новы, а вследствие присущей им слабости, чахлости и болезненности».

А историк литературы Иоганн Шерр¹⁵ сказал, что «реакция и романтизм вполне равнозначные понятия».

Датский историк литературы, знаменитый Брандес, — тот, которого не пустили в Россию¹⁶ читать лекции, — говорит о настроении романтиков: «Ненависть к прогрессу и миру действительности привела к тому, что склонность к фантазии и чудесному стала душою поэзии и прозы».

Романтиков с великой силою привлекал к себе Восток. Историк немецкой литературы Гетнер¹⁷ объясняет это так: «Ро-

мантик хочет старого, потому что готовые, вполне законченные и чувственно осязаемые образы и формы отжившего прошлого кажутся ему более приятными и поэтичными, чем создающееся новое, которое не может представить для беспомощной фантазии осязательных и крепких точек опоры».

Основоположники теории романтизма, братья Фридрих и Август Шлегели¹⁸, рекомендовали поэтам той эпохи обращать внимание на Восток, потому что там жизнь наиболее проникнута фантазией. Они ставили в пример немцам аскетов-индусов как людей, которые достигают совершенства в созерцании тайн жизни и видят лицо Божие. Август Шлегель писал: «Европа оказалась нестойкой в религии. Серьезная революция может прийти только из Азии, только на Востоке не исчез энтузиазм».

Это было сказано в 1811—1812 годах, когда Шлегель, защитник абсолютной свободы личности, состоял на службе реакционера Меттерниха¹⁹, читая лекции в Вене и проповедуя поход против духовной и гражданской свободы. А спустя почти полвека знаменитый исследователь Востока Вамбери говорит²⁰: «Изумительна способность Востока грезить, фантазировать, но еще более изумляет отсутствие в нем энтузиазма и страстей, при наличии болезненно развитой чувственности».

Шлегели изучали Восток по книгам, которых в ту эпоху было немного. Современные нам знатоки Азии не видят в них залежей энтузиазма и энергии, большинство из них склонно думать, что возбудителем событий, совершающихся на Востоке в наши дни, является энергия европейской культуры.

Говоря о романтизме, я подразумевал, конечно, только романтизм индивидуалистов, людей, оторванных от жизни. Социальный романтизм Шиллера, Байрона, Гюго — одно из прекраснейших созданий западноевропейской психики, это — священное писание гения действительной жизни.



«Ум дряхлого Востока» наиболее тяжело и убийственно действует в нашей русской жизни; его влияние на русскую психику неизмеримо более глубоко, чем на психику людей Западной Европы. Русский человек еще не выработал должной стойкости и упрямства в борьбе за обновление жизни — борьбе, недавно начатой им. Мы, как и жители Азии, люди красивого слова и неразумных деяний; мы отчаянно много говорим, но мало и плохо делаем, — про нас справедливо сказано, что «у русских

множество суеверий, но нет идей»; на Западе люди творят историю, а мы все еще сочиняем скверные анекдоты²¹.

У нас, русских, две души: одна — от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя, убежденного в том, что «Судьба — всем делам судья», «Ты на земле, а Судьба на тебе», «Против Судьбы не пойдешь», а рядом с этой бессильной душой живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая, и мало способна к самозащите от ядов, привитых ей, отравляющих ее силы.

Это слабосилие, эта способность легко разочаровываться, быстро уставать, объясняется, вероятно, нашим близким соседством с Азией, игом монголов, организацией Московского государства по типу азиатских деспотий и целым рядом подобных влияний, которые не могли не привить нам основных начал восточной психики. Чисто восточное презрение к силе разума, исследования, науки прививалось нам не только естественно, путем неотразимых влияний, но и намеренно, искусственно, домашними средствами. Мы слишком долго, почти до половины XIX века, воспитывались на догматах, а не на фактах, на внушении, а не на свободном изучении явлений бытия.

Уже с XIII века Западная Европа решительно и упорно приступила к поискам новых форм мысли, к изучению и критике восточного догматизма, а у нас в XVII веке требовалось, чтобы «никто из неученых людей в домах у себя польских, латинских и немецких и люторских, и кальвинских, и прочих еретических книг не имел и не читал. — И таковые книги сжигать. Аще же кто явится противен и оныя возбраняемые книги у себя коим-нибудь образом окажет, да иных тому учить будет, и таковой человек без всякого милосердия да сожжется».

В конце XV века вся Европа была покрыта типографиями, везде печатались книги. Москва приступила к этому великому делу в 1563 г., но после того, как были напечатаны две книги — «Апостол» и «Часослов», — дом, где помещалась типография, ночью подожгли, станок и шрифты погибли в огне, а типографы со страха бежали в Литву. Естественно, что при таких условиях русский народ должен был отстать от Запада в своем духовном росте, и естественно, что в нем должны были укрепиться начала Востока, обезличивающие душу. Эти начала вызвали развитие жестокости, изуверства, мистико-анархических сект — скопчества, хлыстовства, бегунства, странничества, и вообще стремление к «уходу из жизни», а также развитие пьянства до чудовищных размеров.

На буржуазии влияние азиатских начал сказалось и сказывается в ее недоверчивом, но лишенном разумной критики, отношении к опыту Западной Европы, в усвоении восточной косности, которая мешает росту торгово-промышленной инициативы и росту сознания буржуазией своей политической роли в государстве.

Недавно один из чрезвычайно русских мыслителей, В. В. Розанов, расхваливая плохую книгу о Тургеневе, сказал:

«С Востока — лучшие дворянские традиции, с их бытом, приветом и милыми “закоулочками”, с “затишьем” и “лишними людьми” захолустных уездов». Да, то, что Розанов называет «лучшими традициями дворянства», — это с Востока. Но либеральные идеи дворянства, его культурность, любовь к искусствам, заботы о просвещении народа, — это от Запада, от Вольтера, от XVIII века.

А вот жестокость к рабам и раболепие пред владыками, столь свойственное нашему дворянству, это от Востока вместе с «обломовщиной», типичной для всех классов нашего народа. Верно также, что бесчисленная масса «лишних людей», всевозможных странников, бродяг, Онегиных во фраках, Онегиных в лаптях и зипунах, людей, которыми владеет «беспокойство, охота к перемене мест», это одно из характернейших явлений русского быта, — тоже от Востока и является не чем иным, как бегством от жизни, от дела и людей.

Есть и еще много особенностей в нашей жизни, в строе наших душ, и есть немало русских людей, которые полагают, что это наше особенное, самобытное имеет высокое значение, обещает нам в будущем всякие радости.

Мы полагаем, что настало время, когда история повелительно требует от честных и разумных русских людей, чтобы они подвергли это самобытное всестороннему изучению, безбоязненной критике. Нам нужно бороться с азиатскими наслоениями в нашей психике, нам нужно лечиться от пессимизма — он постыден для молодой нации, его основа в том, что натуры пассивные, созерцательные склонны отмечать в жизни преимущественно ее дурные, злые, унижающие человека явления. Они отмечают эти явления не только по болезненной склонности к ним, но и потому, что за ними удобно скрыть свое слабование, обилием их можно оправдать свою бездеятельность. Натуры действенные, активные обращают свое внимание главным образом в сторону положительных явлений, на те ростки доброго, которые, развиваясь при помощи нашей воли, должны будут изменить к лучшему нашу трудную, обидную жизнь.

Русское «богоискательство» проистекает из недостатка убежденности в силе разума, — из потребности слабого человека найти руководящую волю вне себя, — из желания иметь хозяина, на которого можно было бы возложить ответственность за бестолковую неприглядную жизнь.

Бегство от мира, отречение от действительности обыкновенно прикрывается желанием «личного совершенствования»; но все на земле совершенствуется работой, соприкосновением с тою или иною силой. В существе своем это «личное совершенствование» знаменует оторванность от мира, вызывается в личности ощущением ее социального бессилия, наиболее острым в годы реакции. Так, у нас в России эпидемия «совершенствования» была очень сильна в глухую пору 80-х годов и возродилась после 1905 года.

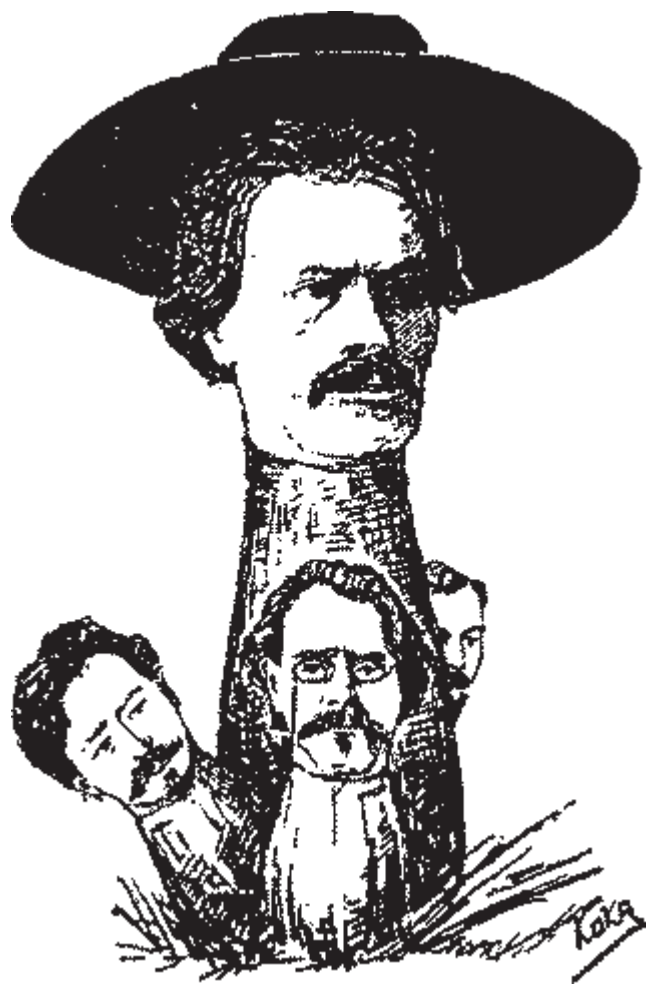
Современная буржуазная мысль, выработавшаяся, выродившаяся и бесталанная, предвидя великие события, бороться с коими она не силах, идет к Востоку, пытается оживить умирающие идеи и учения о призрачности мира, о бессмыслии жизни, об анархическом своеволии личности, оправдывающем ее фантазии и капризы, ее жестокость и деспотизм. Но Восток духовно отходит к Европе, и безвольное движение буржуазной мысли так же нелепо, как нелепо было бы человеку спешно ехать из Петрограда во Францию и Англию через Азию и Тихий океан.

Поворот к мистике и романтическим фантазиям — это поворот к застою, направленный в конце концов против молодой демократии, которую хотят отравить и обессилить, привив ей идеи пассивного отношения к действительности, сомнение в силе разума, исследования, науки, задержать в демократии рост новой коллективистической психики, единственно способной воспитать сильную и красивую личность. Демократия должна уметь разбираться в этих намерениях; она должна также научиться понимать, что дано ей в плоть и кровь от Азии, с ее слабой волей, пассивным анархизмом, пессимизмом, стремлением опьяняться, мечтать, и что в ней от Европы, насквозь активной, неутомимой в работе, верующей только в силу разума, исследования, науки.





ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННОКОВ



Максим и подмаксимовики
(Карикатура Кока, «Искра»)



И. А. БУНИН

Горький

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, — странной потому, что чуть ли не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, — начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

«— L'écrivain Maxime Gorki est décédé... Alexis Pechkoff connu en littérature sous le nom Gorki, était né en 1868 a Nijni-Novgorod d'une famille du cosaques...» *

Еще одна легенда о нем. Босьяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы, наконец, здраво и смело о том, что такое и какого рода

* Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горького, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казачьей семье... (фр.). — *Ред.*

этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о Соколе», — песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз Уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый Сокол. Все повторяют: «босяк, поднялся со дна моря народного...» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторы, мать — дочь богатого купца-красильщика...»¹ Дальнейшее — никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный горьковский образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом “Искра”, Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России...»

В 92-м году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: “Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!”» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш».

Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой» и последующими со-зданиями горьковского пера: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился Горький и сатирами — например, «О Чиже, любители истины, и о Дятле, который лгал», — был из-вестен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской газе-те»), подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появил-ся «Челкаш»...²

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем; в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький³. Фи-гура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с пудовой сукова-той дубинкой в руке...» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «По-знакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот такая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с ши-рокими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашли-вая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко заты-нулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, что-бы загасить окуроч, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатле-ние. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаниями, нарочито гру-боватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бес-конечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков — скучный прежде всего по своему однообразию ги-перболичности — все эти богачи были совершенно былинные исполины — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и гово-рил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель, для нового читателя, должен непрестанно учиться этой

культуре, почитать ее всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то — пусть простят мне это слово — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью — я немало видал таких походов в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны, — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое — то, что потом так сказалось у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты в своих революционных надеждах и планах ставили такую крупную ставку⁴. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая жизнь»⁵, начинал издательство «Знание»... Он уже писал для художественного театра, артистке Книппер⁶ делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливицы все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабая большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица, и упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляя в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем — с ним это случилось очень быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, — на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. На публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова — сама Ермолова и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее...

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отворишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»⁷

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «подмаксимки»⁸ тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание»⁹, участвовал в «Сборниках знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие — больше всего из-за марки «Знания» — тоже неплохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на все хватает: изо дня в день на людях — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда уйдя от Ленина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... в 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал

в Америке, потом семь лет жил на Капри — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге...¹⁰ Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть ли не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда¹¹. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

1936





Б. К. ЗАЙЦЕВ

Максим Горький

(К юбилею)

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...

Пушкин

Имя Горького связано с воспоминаниями дальними. Кажется, в 1898 году был напечатан в «Русской мысли» рассказ его «Супруги Орловы»¹ — первая вещь, по которой он запомнился (говорю о себе; для других, может быть, это «Челкаш», «Мальва» и т. п.).

В зрелом возрасте «Орловых» я не перечитывал. Но юношеское впечатление помню: очень талантливо и очень чуждо. (У Чехова кто-то говорит: «Голос сильный, но противный».) Грубые, мутные краски, сильный темперамент, нескромность, мудрование и сентиментализм — в соединении с яркой изобразительностью. Как писатель известного масштаба, Горький сразу показал себя. Вот такой я, хотите, меня любите, хотите нет. Известен успех его начала. Нельзя сказать, чтобы он был незаслужен. Явилось в литературу новое, своеобразное — новый человек заговорил о новых людях. Все, конечно, помнят знаменитого босняка горьковского — сквозь ходули и слащавость от него все же отзывало Нижним, Волгой — Россией.

Встретиться с Горьким пришлось очень скоро, у Леонида Андреева. Высокий, сутулящийся, в блузе с ремешком, слегка закинутая голова с плоскими прядями волос, небольшие бойкие глаза, вздернутый нос, манера покручивать рыжеватые усики, закладывать руку за пояс-ремешок блузы, что-нибудь изрекать, окая по-нижегородски... — таким он помнится. Большая, все растущая слава. И некоторое уже «знамя», наклон влево. Чехов — чистая литература. Горький — вывеска для не-

коего буре-вестничества. В этом смысле он роковой человек. Литературно «Буревестник» его убог. Но сам Горький — первый, в ком так ярко выразилась грядущая (плебейская) полоса русской жизни. Невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-Разбойник. Посвист у него довольно громкий... раздался на всю Россию — из Европе нашел отклик. Не удивляюсь, что сейчас Сталин так приветствует его: сам-то Сталин, со своими экспро-приациями, бомбами, темными друзьями², был всегда двоюродным братом Горького. Горький лишь вращался в более приличном мире. (Этот просвещенный мир, увы, долго не распознавал истинного его лица.)

* * *

Правда, он это лицо затушевывал. О, Горький мог отлично играть под «любителя наук и искусств», чуть ли не эстета. Образованным не был, но читал много. (И мучительно старался подчеркнуть, что он «тоже кое-что понимает».)

К удивлению оказалось, например, что он любит Флобера! (Сомневаюсь даже, мог ли его в подлиннике читать.) Вот на этом мы встретились в 1905 году — он оказался моим издателем.

* * *

При буре-вестничестве своем и заступничестве за «дно» Горький принадлежал к восторгающимся деньгами. Он любил деньги — и деньги его любили. (Признак, что уже не принадлежал к большой русской литературе. Ни Толстого, ни Достоевского, ни Тургенева, ни Чехова не вижу дельцами, а если бы занялись чем-нибудь таким, прогорели бы.)

Горький не прогорал. При нем, как и при Сталине и других, всегда были «темноватые» персонажи, непосредственно делами его занимавшиеся. На них, при случае, все можно было и валить. Не знаю близко дел горьковского «Знания». Разно о них говорили... Во всяком случае, сборники шли превосходно. Писателей ублажали. Таких гонораров, как «Знание», никто не давал тогда. («Шиповник» явился позже³.) Предупредительность, любезность, почти доброта — все это я на себе испытал. Горький взял у меня перевод «Искушения св. Антония» Флобера (для сборника и отдельного издания), На нынешний курс выходило по тысяче франков за лист (перевода!). Было это в 1905 году при начале революции.

Горький жил на Воздвиженке, рядом с «Петергофом», против Архива иностранных дел (какие в саду чудные ветлы, тополя — весенняя радость Москвы!).

Говорили, что черносотенцы готовят погромы. Горького, в огромной его квартире, охраняли. Я был зван на обед. Первое, что в прихожей бросалось в глаза, — выглядывавшие из-за дверей усатые чернявые физиономии восточного типа: будущие «дружинники» восстания — ныне караул. Эти кавказцы, к счастью, с нами не обедали. Но «писатель из народа» был, конечно: тоже неизменный антураж бытия горьковского. Обед отличный. Хозяйка, Мария Федоровна Андреева — еще лучше. Некогда восторгались мы красотой ее в «Потонувшем колоколе» (Раутенделейн)⁴, потом разные роли она играла в Художественном театре... В те наивные годы никак нельзя было вообразить, как дальше все сложится в ее жизни... В те времена была она блистательной хозяйкой горьковского дома — простой, любезной, милой. Да и сам Горький... Вспоминая тот вечер, что плохого могу я сказать? Решительно ничего. Все как в «лучших» просвещеннейших домах. Разговоры о Брюсове и Бердяеве, «Новом пути»⁵ и Художественном театре, любезности, кофе, ликер. В сущности, всю жизнь так обедать, разговаривать и приходилось — будь то Петербург, Москва или Париж. Но вот Горький оказался особенный человек: с ним всю жизнь не прообедаешь.

А с Флобером и «Антонием» все обошлось отлично.

* * *

Разумеется, никто Горького не громил. Сам он как раз вскоре после этого в газете своей «Новая жизнь» выпустил когти: произвел погром Толстого и Достоевского («М-мещане, знае-тели...»)⁶. На этих «мещанах» Максим Горький, переезжавший с просто хорошей квартиры в великолепную, из одного первоклассного отеля в другой, — засел довольно надолго. Так называемые «годы реакции» (с 1906-го до войны) проводил в большинстве за границей. «Знание» в это время стало сильно сдавать, более модным и столичным оказался «Шиповник». Да и сам Горький находился в упадке. Первый бурный успех его прошел, данных для успеха истинного и глубокого и вообще не было. Не зря появилась статья Философова «Конец Горького». Ю. И. Айхенвальд ответил: «Никогда Горький и не начинался». (И никогда не мог простить Юлию Исаевичу этих слов Горький, что, впрочем, и понятно.)

В те годы я его почти не видал. Запомнилась одна встреча в Эрмитаже петербургском перед самой войной. Высокий человек, в черном пиджаке (прошла мода на романтические блузы с ремешками), вздернутый нос, рыжеватые усики... И ни на кого этот мастеровой никак не действует. Было время, достаточно ему появиться в фойе Художественного театра, и тотчас толпа. А теперь ходят студенты, барышни, дамы, смотрят картины, на Горького хоть бы взгляд. Значит, прощай слава.

— ...Здравствуйте. Удивительное, знаете ли, это культурное хранилище, Эрмитаж. Прямо восхищаться приходится... Вот, например, этот Боттичелли...

— Алексей Максимыч, это не Боттичелли.

— Нет, нет, не говорите... Боттичелли.

— Это Беато Анджелико⁷.

Разве такой уж грех спутать Анджелико с Боттичелли? Но докторальный тон, а потом краска смущения и раздражения. («Я не какой-нибудь босьяк, я Максим Горький, культурный писатель...»)

Вот какие времена: Горький стеснялся Беато Анджелико. Видно, что еще не воевали.

* * *

Казалось бы, по романтизму ранних его лет, по патетичности, индивидуализму Горькому из левых ближе всех эсеры. Но он терпеть не мог русский народ — особенно не любил крестьян. Может быть, слишком хорошо на своей шкуре познал жизнь низов. Прекраснодушия интеллигентского в нем не оказалось. И затем, думаю, деляческая, грубая и беззастенчивая «линия» большевиков больше ему отвечает, чем «туманный идеализм» эсеров (с неким религиозным уклоном — это он всегда ненавидел). Ленин, решительный и циничный (если надо, солжет, если надо, предаст), — ему много ближе какого-нибудь Каляева⁸. Реалисты были большевики — как будто бы и далеко метившие, но отлично знавшие низкую сторону жизни (три четверти «гениальности» Ленина и состояли в том, что сумел вовремя сыграть на низких страстях).

Кажется, в полосе литературного упадка Горький еще ближе сошелся с большевиками. На острове Капри, где жил, вокруг него кишели эти люди, чуть ли не из ленинской пропагандистской школы. Да и сам Ленин бывал. Горький угадал, где будущая сила, — и отчасти к ней прильнул. Что-то тесно внутренне связывало его с Лениным гораздо больше, чем с приятелем.

лями *молодых* лет: Андреевым, Шаляпиным. На литературе его тоже это отразилось.

Рост истинного художника нередко в том заключается, что от раннего и чрезмерного, от непосредственного «трепета чувств» переходит он к более крепкому, суховатому, обдуманному — глубокому. Бывает даже так, что в этой зрелой полосе он имеет меньше успеха (Пушкин, Гете). Может быть, Горький тем же утешал себя в полном неуспехе натянутой и скучной «Матери» (основное произведение зрелого его периода). Во всяком случае закат свой, и довольно скорый, переживал нелегко. Утешения, справедливые для Пушкина, Гете, для него не подходили. Ибо те развивались, росли, углубляя свое мироощущение. Зрелое творчество их становилось не по зубам толпе. Они меньше имели успеха потому, что слишком перерастали середину, и художество их питалось из глубоких источников религиозно-философских. Горький же поставил на марксизм. Правда, в ту пору еще осторожно. Сам был слишком силен, своеобразен, чтобы целиком лечь «под стопы паньски». Но последствия сразу определились: не было еще случая, чтобы выигрывал (внутренне) художник от соприкосновения с марксизмом. Острой талмудической серой выжигает он все живое, влажное, стихийное в искусстве. Вот уж подлинно закон, а не благодать!⁹ Искусство все построено на благодати и на живой таинственной личности. Марксизм человека вообще стирает. Он мертв и не благодатен. Враг художника. От него должен всякий, желающий идти «дорогою свободной», отрещиваться, как от нечисти.

Горький не сделал этого.

* * *

И вот каково положение пред революцией: Горький очень знаменит, но почти не «действующая армия». Книги его идут слабо. Интересы к нему никакого, ни в публике, ни в критике, ни среди художников слова. «Все в прошлом» — это Горький 1912—1916 годов.

Да, но, несмотря на Капри, Ленина, сочувствие в войне Германии и ненависть к оружию русскому, — Горький все же русский писатель с весом, первоклассным именем, авторитетом. Пусть Толстой его не любил, все же Горький дружит с лучшими русскими писателями, принят и желанен в образованном обществе, оценен и за границей. По шаблону казалось бы — академия и безболезненный закат. Но Россия не Франция. С

русской страной и русским писателем приключилось особенное — ни на кого и ни на что не похожее.

Литературно Горький в революцию не врос, но и не очень сдал. Писал вечную историю некоей семьи «кулаков», «звериный быт» при царизме. Какой-нибудь *Клим*, *Фома* или *Егор* проходят жизнь с разными тяжкими и грязными эпизодами (любовь у него всегда животна), потом встречаются *замечательных* социалистов, и все меняется к лучшему. Временами, например в «Исповеди» (и в другом романе с «семейным названием»), попадаются яркие описания быта людей. Помню впечатление, лет шесть назад, от новой его вещи: «Все-таки еще Горький держится...» Он действительно не терял формы. Даже в пределах врожденной аляповатости и вульгарности пытался над нею что-то делать. От молодости осталась внутренняя безвкусица, цинизм. И возросла антидуховность. Может быть, это одна из самых страшных черт Горького, чем дальше, тем грубей, мрачней, кощунственней он становился. Это сближало его с людьми «новой России».

Но не сразу — далеко не сразу — он сошелся с ними окончательно.

Долгое ли пребывание в интеллигенции, личные связи, свободное поведение молодости — но поначалу Горький оказался даже неким *enfant terrible* * революции. И газета его «Новая жизнь», и сам он в ней с большевиками враждовали. О, конечно, контрреволюционером никогда он не был. На первых порах позволялась ему дворянская вольность критики. Но только вначале. «Новую жизнь» все же закрыли. Горький был личный друг Ленина, и неприятностей для него самого не могло возникнуть... Он попал в положение либерального сановника при консервативном правительстве: ворчать можно, но про себя. А вообще начальство все и само знает, без критики.

В первые годы революции в нем появились новые страсти, окрепли и прежние. Из новых — к титулам, князьям, если можно, даже грандюкам. Для Чека это было, пожалуй, зазорно: Горький хлопочет за Рюриковичей и, по-видимому, кое-кому помогает. Во всяком случае, в это время появилось у него немало аристократических знакомств. Вторая страсть — к ученым. Не имел никогда никакого отношения к науке, он теперь твердо решил ее не выдавать. («Вы читали радиоактивиста Содли? Знаете-ли, пре-восходная брошюра...») Здесь, как и с князьями, принялся он развивать полезную деятельность.

* Шалун, озорник, сорванец (фр.). — Ред.

Правда, радиоактивист Содли в пайке не нуждался, но влюбленный в него русский буреизвестник насчет отечественных радиоактивистов хлопотал. Чуть ли не при его содействии учрежден был и паек «Цекубу», благодаря которому не окончательно вымерли ученые¹⁰.

Страсть третья — вполне новая и вполне в русском писателе неожиданная: к спекуляции...

* * *

В Москве, на Николаевском вокзале.

— Куда это вы, Алексей Максимович?

— Да в Петербург, знае-те-ли. Спекулировать.

Такой разговор передал мне близкий к Горькому (и очень ему преданный) человек. С ним тот не стеснялся — впрочем, напрасно было и скрывать: горьковское «эстетство» неожиданно в революцию возросло. К восхищению Беато Анджелико, принимаемому за Боттичелли, прибавилось понимание в фарфоре, мехах, старинных коврах... а всего этого тогда появилось немало. И темных людей, вокруг Горького сновавших, тоже немало. Шушукались, что-то привозили, увозили. Доллары, перстни, табакерки... Та самая М. Ф. Андреева, что некогда играла Раутенделейн, теперь, по старой дружбе, летала «дипкурьером» в Берлин, тоже что-то добывала и сбывала, хлопотала, создавала «комбинации».

— Не нападайте на Алексея Максимовича, — говорил мне все тот же общий у меня с Горьким приятель, — он спас 278 человек!

Откуда это известно ему было с такой точностью — сказать не могу. Но и если 27, тоже отлично. Но вот странная черта: об этой деятельности Горького знали все, и кто бы мог ее не одобрять? А все-таки ему не доверяли. Пресса у него была неважная. Например, выборы председателя Союза писателей. Из оставшихся в России Горький несомненно был знаменитейший. Естественно, и ему возглавлять оба отделения Союза — петербургское и московское. Но ни там, ни тут он не прошел (в нашем, московском, правлении не получил ни одного голоса).

...Так из буреизвестника обратился он в филантропического нэпмана, в подозрительного антиквара, «уговаривающего» Дзержинского поменьше лить крови, в кутящего с чекистами русского писателя, в «кулака» и заступника ученых, в хозяина революционного салона, где могли встретиться Ягода и Мен-

жинский со Щеголевым¹¹ и другими пушкинистами или с «радиоактивистом» на пайке Цекубу.

Помню беглую встречу с ним в одной театральной московской студии. Шла его пьеса «Страсти-мордасти». Очень изменился Горький не только со времен Леонида Андреева, но и со встречи в петербургском Эрмитаже: был мрачен — совсем темное дуновение шло от него. При нем свита подозрительных личностей. После спектакля все они «проследовали» в какой-то кабинетик, где был снаряжен ужин. Помню тяжелое, щемящее ощущение: это уже не писатель. Что-то совсем другое. (Ни одного литератора, кстати, и не было с ним.)

Вот как показалось: в морозную ночь Москвы, когда одних расстреливают на Лубянке, другие мерзнут по Кривоарбатским, третьи («радиоактивисты») голодают, — атаман со своей шайкой пирует в задней комнате захудалого театратора.

* * *

В 1920 году, при другой встрече, Горький говорил мне:

— Дело, знае-те-ли, простое. Коммунистов гор-сточка. А крестьян, как вам известно, миллионы... миллионы! Все пред-решено. Это... непременно так будет. В мире не жить. Кого больше, те и вырежут. Пред-решено. Коммунистов вырежут.

В 1921 году наступил летом голод — один из самых ужасающих в России. На Волге, в Крыму ели детей... все это на нашей памяти. Летом создан в Москве Общественный комитет помощи — знаменитый Помгол¹² — под председательством Каменева. Это — детище Горького. Он убеждал Прокоповича и Кускову¹³, он втравил и других в это дело сотрудничества с властью в грозную для народа минуту. Сам был где-то за сценой. Вроде маклера и зазывателя. Но в комитет не являлся, и когда всех нас арестовали, Горького не было с нами. Мы сидели в Чека — вдохновитель, быть может, спекулировал в Петербурге или развлекался в Москве.

Все-таки, по сведениям нашим, эту историю он пережил не совсем легко. Еще горше оказалось дело с профессором Тихвинским в Петербурге, на всякий случай расстрелянным¹⁴.

Горький расстроился окончательно и уехал за границу. Начались годы размолвки с советской властью, годы в Берлине, Сорренто, журнал «Беседа»¹⁵. Тут, по-видимому, и возникла серьезная, сложная, с «переменным успехом» обработка его и вновь приручение. В Берлине дружил он с Алексеем Толстым, только что перешедшим в «Накануне»¹⁶ и еще красневшим пе-

ред старыми друзьями. С Горьким сближало Толстого чувство изгнанности из порядочного круга. А круг темных личностей так же плотно обступал обоих, как и полагается. В ресторанах у Ферстера и других стыд топить не так трудно.

К 26-му году положение выяснилось. Толстой давно был в Петербурге, халтурничал, денежно преуспевал. Горький тоже окончательно перешел к «ним». Вот что писал он о внезапной смерти одного из величайших русских палачей, Феликса Дзержинского: «Совершенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича. Впервые его видел в 9—10 годах и уже тогда сразу же он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости. В 18—21 годах я узнал его довольно близко, несколько раз беседовал с ним на щекотливую тему, часто обременял различными хлопотами, благодаря его душевной чуткости и справедливости было сделано много хорошего. Он заставил меня и любить и уважать себя. И мне так понятно трагическое письмо Екатерины Павловны (Пешковой)*, которая пишет мне о нем: “Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его”».

* * *

Когда я глядел, как он бродит между соннами, сгребая палочкой сухие листья, думалось: хорошо, должно быть, высоко, честно на душе этого большого человека и большого художника.

*Ал. Толстой. (О Горьком,
15 октября 1932 г.)*

— Ну вот, профессор, вы пожили в Москве, многих видели... Скажите, что говорят теперь о Горьком?

Иностранец: — Одно говорят, я всегда одно слышал: проданный человек.

Некогда — это кажется теперь случившимся сто лет назад — Горького избрала Академия, наравне с Чеховым и Короленко, академиком по разряду словесности. Государь его избрания не утвердил. В виде протеста Чехов с Короленко сложили с себя звание академиков¹⁷.

«Еду в Петербург спекулировать». «Бесконечно дорогой Феликс Дзержинский».

* Первая жена Горького.

— Прóданный человек.

Перевернутся ли в гробах Антон Чехов и Владимир Короленко?

Тот, кто не пустил Горького в русскую Академию, зверски убит с семьей горьковскими друзьями. Лицо Горького, со щетинистыми усами, смешное и жалкое, отпечатано на советских марках.

* * *

Но дорого тебе, Литва,
Досталась эта голова.

Лермонтов

Низость людскую большевики хорошо знают. Умение закупать — их дело. Список велик, есть и европейские «звезды», типа Бернарда Шоу.

Госиздат покупает сочинения нужного европейского писателя — хотя может печатать и даром, конвенции нет. Но купить лучше.

Горький мог, разумеется, изменить свое мнение о советах и их правлении. Вот если бы сказал он им «осанна!» и с осанною этою избрал бы бедность и безвестность, то пришлось бы над его судьбой задуматься. Но ему заплатили хорошо... Доллары, особняк, вино, автомобили — трудно этими аргументами защищать свою искренность.

Дали ему не только деньги. Дали славу. «На вольном рынке» ее не было бы, даже Западу Горький давно надоел. Но на родине «приказали», и слава явилась. Она позорна, убога, но ведь окончательно убог стал и сам Горький. В сущности, его даже и нет: то, что теперь попадает за его подписью, уже не Горький. У каждого есть свой язык, склад мысли, человеческий облик. Горький отдал его. Через него говорит «коллектив». Нельзя разобрать. Горький ли написал или барышня из бюро коминтерна! Горькому дорого заплатили — но и купили много: живую личность человеческую.

Слава же его кроме позорного имеет и комическое: назвать Горьким Нижний, Тверскую... Утверждать, что он выше Толстого и Достоевского. Окрестить именем его Художественный театр, созданный и прославленный Чеховым...

* * *

Тяжело писать о нем. Дышать нечем. Пусть он сидит там, в особняке Рябушинского и плачет от умиления над собою самим — слава Богу, что ни одному эмигрантскому писателю не суждена такая слава и такое «благоденственное» житие. Бог с ним. На свежий воздух — «дайте мне атмосферы»!

Милый праведник Чехов!

1932





В. Ф. ХОДАСЕВИЧ

Горький

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босяке. Я был на одном из первых представлений «На дне» и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное «Песнью о Соколе». Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всем. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус»¹ собирается выпускать детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы², жившей в Петербурге. Ее пригласили в «Парус», там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная литература»³, меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам мимо заколоченных магазинов лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер к ней собирались люди. Приходили А. Н. Тихонов⁴ и З. И. Гржебин⁵, ворочавшие делами «Всемирной Литературы». Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин⁶ — во фраке, с какого-то «дипломатического» обеда, хотя я не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем П. П. Крючковым⁷. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии — сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького — работа моей племянницы — стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабанила пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: «Да, плохи, плохи дела», — и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастной петербургскою ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского Союза писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю. К. Балтрушайтис⁸ и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мною случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Несколько врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня сроку, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль.

Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:

— Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького Мария Игнатьевна Бенкендорф (впоследствии баронесса Будберг)⁹; жила маленькая студентка-медичка, по прозванию Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий¹⁰; наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители — по делам «Дома искусства», «Дома литераторов», «Дома ученых»¹¹, «Всемирной литературы»; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы — просить защиты от Зиновьева¹², всесильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных — словом, все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал:

— Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но к глубокому сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не протрившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно: грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать — мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суэта стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел «шармировать» нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: «Неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний». Как бы то ни было, эти ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии — каюсь — я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попоек с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной 1921 г. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин. В конце ужина с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек, в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев¹³.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и Советскую Россию. Он уехал в Германию. В июле 1922 г. обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saargow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и

по три раза. Весной 1923 г. я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал и Горький, поселившийся в отеле «Беранек», где жил и я. Однако обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариен-бад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 г., и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одной кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал и довольно много знаю о нем. Все-го, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места и потому, что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне небесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

* * *

Большая часть моего общения с Горьким протекала в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для

начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек — стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков — красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось — он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем — чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, «по грошу в долг и без отдачи»¹⁴), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивал:

— Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он любил больше всего. Другое дело — партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось, наконец, установить бриджевую повинность: играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо сам писал, облачаясь в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся:

— Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием, и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотря на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине¹⁵, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно трудился три дня. Наконец объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. «Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! — закричал он. — После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!»

Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем он был бодр, крепок — недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендою о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы — он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Од-

нажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.

* * *

Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть и речи. Все рассказы о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, — ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бередили в себе и лелеяли, как душевную рану, — ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927—1928 гг. я несколько раз указывал покойному А. А. Яблоновскому¹⁶, что не надо писать о волшебной вилле на Капри хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии.

В последние годы каприйская виλλα иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентийской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот — я должен покаяться перед человечеством: эта злосчастная виλλα была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию. Приехав в Сорренто весной 1924 г., Горький поселился в большой, неудобной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амаль-

фи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли, Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят — прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как и весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в то время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился, — других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи, а когда возвращались назад часа через два, то в километре от «нашей» виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал. Выбора не оставалось — сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Capo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Кастелламаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели, и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные каминные топки сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже была столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши, бар<онессы> М. И. Будберг, комната Н. Н. Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую — И. Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, — и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному насе-

лению надо прибавить мою племянницу, прожившую на «Sorigto» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е. П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Соболев¹⁷, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П. П. Муратов¹⁸. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.

Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозвищу Тимоша¹⁹, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.

— Это мой карандаш!

— Нет мой!

— Нет мой!

На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. «Свежий воздух — яд для организма», — говорил он. Стоя в дыму, он кричал:

— Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!

— Да он мне нужен!

— Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!

Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь — через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.

Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя,

пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.

Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто — пить кофе. Однажды всею компанией были в кинематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович — теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет — и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», — потом вставал и сгорбившись уходил наверх.

Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» — заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу — туда и обратно — с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это — сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, какаче которого быть не может».

Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время чуть ли не в оргиях.

* * *

О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интер-

вьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табль-д'отом²⁰. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость непривередлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррен-тинской площади, извозчик домой из города — положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю — не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников — до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили за его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не соображаясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях — Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами — вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, несознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще — и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки ино-

го, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босяка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.

Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следственно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих мало реальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо-реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.

Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно-социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.

Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть, лучшим из всего, что им написано, и несомненно — центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».

Ее основная тема — правда и ложь. Ее главный герой — странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.

Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука — личность

вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения, в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека» — провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и — главное — нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного — своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: «Молчать! Вы все скоты! Дубье... молчать о старике!.. Старик — не шарлатан... Я понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: «Старик? Он — умница! Он подействовал на меня как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье!»

Знаменитая фраза: «Человек — это великолепно! Это звучит гордо!» — вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима без непрестанного преодоления действительности — надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он не высоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты — приводили его в восторг и трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты — делом великого человеколюбия.

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой²¹.

В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную и личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции, как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем — не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он про-

шел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 г. рассказа о возвышенном Чиже, «который лгал», и о Дятле, неизменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная деятельность проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду», — писал он Е. Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, оцетинившись, со вздутой на шее жиллой, выводит эти слова.

* * *

13 июля 1924 г. он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, — чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и “ликование народа”». “А у нас? думаю я. И — извините! — до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т. д.”»

Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

— Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — ра-

зумеется, кроме совершенно какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам его же и бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымыслено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себя насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души²². Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманившихся очков.

Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же — в начинающем писателе (опять-таки — в очень даже малообещающем) он лелеял свою собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям уже установившимся он относился иначе. Действительно выдающихся он любил, как, например, Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например, Блока, которого в сущности не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолголюбивал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.

Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели — вплоть до изобретателей перпетуум мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров, — до глубочайших социальных преоб-

разователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того, и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.

Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или озорства, — вплоть до маньяков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку: он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было — после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, — незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих — а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, выбранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце прибавить, уже заодно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прищелкивал языком.

От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал, и некогда посетил какого-то патриарха, жившего в Алессии. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего недовольствия. Некий Роде²³, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революцион-

ной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом ученых Роде-вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обростать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их шуткам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость — должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» — рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы (вышло номера три или четыре). Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором — в виду его крайней литературной некомпетентности. И вот — Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату, сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

— Во! Глядите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатали домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.

* * *

В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше

проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, — и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды — во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие он требовал для себя права мечтать о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.

Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине от относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А. В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел — и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем праздника, *trouble fete*. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх... испортил песню... дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее, обоих, потому что оба виноваты в порче песни.

В этом — весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему:

— Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:

В гнев начал он чудесить
И гонца велел повесить.

Он ответил, насупившись:

— Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.

Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда в ответ на «низкие истины» Кусковой ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.

* * *

Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.

Баронесса Варвара Ивановна Иксуль²⁴ принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Федоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в «Доме искусств», где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец, он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру», и его дня через два привезет А. Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать — я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит

впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать — зимой, с мальчишкою-проводником, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминделе, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.

Объяснять этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя: Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду и, — кто знает? — может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой «театр для себя» был вполне в его духе, я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну — зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости.

В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал сношения с многими членами императорской фамилии. И вот однажды он вызвал к себе кн. Палей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец, кн. Палей, не расстрелян, а жив и находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду, она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, непредвиденное самим Горьким: у Палеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья, и спасшемуся от расстрела юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени кн. Палей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и, таким образом, утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания: известие о смерти сына Горький заставил ее пережить вторично.

Не помню по какому случаю, в 1923 г. он мне сам рассказал все это — не без сокрушения, которое мне, однако же, показалось недостаточным. Я спросил его:

- Но ведь были же в самом деле письмо и стихи?
- Были.
- Почему же она не попросила их показать?

— То-то и есть, что она просила, да я их куда-то засунул и не мог найти.

Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками и, видимо, был не рад, что завел этот разговор.

Спустя несколько месяцев он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем: «Оказывается, поэт Палей жив и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic!) Палей (sic!). Посылаю вам только что полученные стихи одного поэта, кажется, они плохи».

Прочитав стихи, совершенно корявые, и наведя некоторые справки, я понял все: и тогда, в Петербурге, и теперь, за границей, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, по происхождению рабочего. Лично его Горький мог и не знать или не помнить. Но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихи этого Палея ни в коем случае невозможно было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видел, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению. Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Палей, но прежде всего и главным образом от себя, потому что ему пришлось в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери.

Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.

* * *

Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь — даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное — он считал своим долгом уважать творческий порыв или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его и даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.

Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться — даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.

8 ноября 1923 г. он мне писал:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в “Накануне” напечатано: “Джиоконда, картина Микель-Анджело”, а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн²⁵, Рескин²⁶, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский²⁷ (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: “Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги”. Все сие будто бы * отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой “Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя”.

Сверх строки мною вписано “будто бы” — тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу “Указатель”.

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В. Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!»

В этом письме правда — только то, что ему было «трудно и тяжело». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществит протест, послав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это — опять только «театр для себя». И вот он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе «Указателя» как о свершившемся факте, а потом вставил «будто бы» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем никаких сомнений у него быть не

* Слова «будто бы» вписаны над строкой.

могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, давным-давно у него имелся. За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 г., в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там бар. М. И. Будберг. Заведующий издательством С. Г. Сумский²⁸ при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» у него в руках, — и вот беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности — повторяю — перед самим собой.

Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно, примерно так, как Барон в «На дне», когда Татарин кричит ему: «А! Карта рукав совал!» — а он отвечает, конфузясь: «Что же мне, в нос твой сунуть?» Иногда у него в этих случаях был вид человека, нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало в нем ту досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же «На дне» поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нудный персонаж, которого и фамилия, кажется, происходит от глагола «бубнить».

* * *

«То — люди, а то — человеки», — говорит старец Лука, в этой не совсем ясной формуле, несомненно выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих «человеков» надо бы печатать с заглавной буквы. «Человеков», то есть героев, творцов, двигателей обожаемого прогресса, Горький глубоко чтит. Людей же, просто людей, с неяркими лицами и скромными биографиями, — презирал, обзывал «мещанами». Однако же он признавал, что у этих людей бывает стремление если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле: «У всех людей души серенькие, все подрумяниться желают». К такому подрумяниванию он относился с сердечным, деятель-

ным сочувствием и считал своим долгом не только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им, по мере возможности, такое представление. По-видимому, он думал, что такой самообман может служить отправным пунктом или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенной, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного, многими замеченного «шармерства».

Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать, идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько собственному, сколько некоему чужому, притом — коллективному воображению. Он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов, в эпоху первоначальной нежданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель так называемых «книг для народа», то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора — крупный доход. «Жизнь, Алексей Максимович, — чистые денежки», — говорил он. Горький рассказывал это со смехом. Между тем если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, но все-таки близкая к лубочной биография Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца и передового бойца за пролетариат постепенно сама собою сложилась и окрепла в сознании известных слоев общества. Нельзя отрицать, что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае необычной, — но они были проведены судьбою совсем не так сильно, закончено и эффектно, как в его биографии идеальной или официальной. И вот — я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз и навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв, — в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед «массами» в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен за свою любовь. Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», кото-

рый навечно и который разрушить он, Горький, уже не вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае, могу ручаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или, наоборот, — воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, — он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: «Нельзя, биографию испортишь». Или: «Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь».

* * *

От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, — огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о «биографии», должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, — может быть, потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Он был исключительно скромен — даже в тех случаях, когда был доволен сам собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она, главным образом, от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того, — от неуверенности в себе. Раз навсегда усвоив довольно элементарные эстетические понятия (примерно 70-х, 80-х годов), в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему хорошо защищенным, потому что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он себя чувствовал вооруженным слабо. Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами (например — с Достоевским, с Гоголем), он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам не располагал, — и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случалось ему

читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив, — непременно садился за переделки и исправления. Так, я его убедил кое-что переделать в «Рассказе о тараканах» и заново написать последнюю часть «Дела Артамоновых». Была, наконец, одна область, в которой он себя признавал беспомощным — и страдал от этого самым настоящим образом.

— А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко, ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человеческая непоследовательность, с которой этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбив, лишь только дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но, напротив, — мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Ю. И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 г. в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького — один под настоящим именем, другой под псевдонимом — и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе», — под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля»²⁹, в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, — и Горький мне сказал с настоящей, с неподдельной радостью:

— Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался.

Почти год спустя, уже в Сорренто, с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболев попросил

дать ему для ознакомления все номера «Беседы» (в Советскую Россию она не допускалась). Дня через три он принес книги обратно. Кончался ужин, все были еще за столом. Соболев стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в «Беседе», в том числе о рассказах Горького, — и вдруг выпалил:

— А вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали. Дрянь ужасная.

Не помню, что Горький ответил, и ответил ли что-нибудь, и не знаю, какое было у него лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он был уже в постели и сказал мне из-за ширмы:

— Вы не вздумайте Соболеву объяснить, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга, как две голых монахини.

* * *

Перед тем как послать в редакцию «Современных записок»³⁰ свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:

— Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.

— Хорошо, Алексей Максимович.

— Не забудете?

— Не забуду.

Париж, 1936





Ю. П. АННЕНКОВ

Максим Горький

Судьба дала мне возможность близко знать Горького в самые различные периоды его жизни. Выходец из нижних социальных слоев России, Алексей Максимович Пешков, переименовавший себя в Максима Горького, был «мальчиком» при магазине, посудником на пароходе, статистом в ярмарочном бараке, пыльщиком, грузчиком, пекарем, садовником, весовщиком и сторожем на железнодорожных станциях. Несмотря на все это и на революционные убеждения Горького, «классовое» общество и «жестокий» царский режим не помешали Горькому печатать свои произведения и прославиться в дореволюционной России и во всем мире.

Но разве Ломоносов не был сыном крестьянина-рыболова? Разве зодчий и живописец Воронихин, дед моего дяди, не был крепостным графа Строганова? Разве Шаляпин, сын мелкого канцелярского служащего, не был учеником у сапожника, токарем и переписчиком бумаг? Разве Федор Рокотов не был крепостным князя Репина? Орест Кипренский — сыном крепостного? Павел Федотов — сыном простого солдата в отставке? И не только они, но сколько других знаменитостей.

Разве это коммунистическая партия после Октябрьской революции впервые откопала их произведения в тайных подвалах? Разве это коммунистическая партия объявила Ломоносова знаменитым поэтом, знаменитым ученым и выбрала его академиком? Разве по заказу коммунистической партии и ее правительства Воронихин воздвиг Казанский собор на Невском проспекте? Разве это после Октября крепостной Воронихин построил здание Горного института, каскад и колоннады в Петергофе, дворцы в Гатчине, в Павловске, в Стрельне, изумительную строгановскую дачу на Большой Невке? Разве это коммунистическая власть признала Шаляпина лучшим певцом в императорской

опере и впервые развесила в музеях произведения Рокотова, Кипренского и Федотова?

Подобными, примерами полна человеческая история. Разве греческий баснописец Эзоп, живший за пятьсот лет до Рождества Христова и римский баснописец Федр, современник Иисуса Христа, создавшие французского Лафонтена и нашего русского Крылова, не были рабами?¹ Разве великий Гораций, создавший за пятьдесят лет до Рождества Христова многое в Державине и Пушкине, не был сыном раба?² Впрочем, стоит ли говорить об этом? Глухие все равно не услышат... Но что бы ни рассказывали о Горьком как о выходеце из нижних слоев России, как о пролетарском гении, что бы ни говорили о врожденной простоте Горького, о его пролетарской скромности, о внешности революционного агитатора и о его марксистских убеждениях — Горький в частной жизни был человеком, не лишенным своеобразной изысканности, отнюдь не чуждался людей совершенно иного социального круга и любил видеть себя окруженным красавицами актрисами и молодыми представительницами аристократии. Я отнюдь не хочу сказать, что это льстило Горькому, но это его забавляло. Джентльмен и обладатель больших духовных качеств, он в годы революции сумел подняться над классовыми предрассудками и спасти жизнь — а порой и достоинство — многим представителям русской аристократии.

В эпоху, когда утверждалось его литературное имя, Горький, всегда одетый в черное, носил косоворотку тонкого сукна, подпоясанную узким кожаным ремешком, суконные шаровары, высокие сапоги и романтическую широкополую шляпу, прикрывавшую волосы, спадавшие на уши. Этот «демократический» образ Горького известен всему миру и способствовал легенде Горького. Однако, если Лев Толстой, граф, превращался, несмотря на свое происхождение, в подлинного босоногого крестьянина, Горький, пролетарий, одевался ни по-рабочему, ни по-мужицки, а носил декоративный костюм собственного изобретения. Этот ложнорусский костюм тем не менее быстро вошел в моду среди литературной богемы и революционной молодежи и удерживался там даже тогда, когда сам Горький от него отрекся, сохранив от прежнего своего облика лишь знаменитые усы. Высокий, худой, он сутулился уже в те годы, и косоворотка свисала с его слишком горизонтальных плеч, как с вешалки. При ходьбе он так тесно переставлял ноги, что голенища терлись друг о друга с легким шуршанием, а иногда и с присвистом.

Мне было одиннадцать лет, когда я впервые увидел Горького. Он жил тогда на мызе Лентула в Куоккале, в Финляндии. Мыза была постоянно переполнена голосистым и разношерстным народом: родственники, свойственники, друзья и совершенно неизвестные посетители, приезжавшие в Куоккалу провести день возле гостеприимного писателя и зажившиеся там на неделю, на месяц.

Горький работал обычно утром, и в эти часы он был невидим. После шумного завтрака, во время которого я никогда не встречал менее пятнадцати или двадцати человек за столом, Горький спускался в сад. Любимый детьми и подростками, он затевал для них всевозможные игры, и его веселая изобретательность была неисчерпаема. Мы играли в казаков и разбойников, носились в заброшенном огромном еловом парке, резались в лапту у сарайной стены. Но этим играм Горький предпочитал костюмированные развлечения. Он рядился в краснокожего, в пирата, в колдуна, в лешего, переодевался в женское платье: выворачивал пиджак наизнанку, прицеплял к костюму пестрые деревянные ложки, вилки, еловые ветки, рисовал жженой пробкой экспаньюлку на подбородке или покрывал лицо ацтекской татуировкой, втыкал в свою трубку брусничный пучок или букетик земляники и, прекрасный комедиант, изобретал забавнейшие гримасы. Горький наряжался и гримасничал с юношеским задором, заражая ребячеством не только детей, но и взрослых, писателей, художников, политических деятелей, журналистов, всю массу гостей и назвавшихся: велосипедного чемпиона, полярного исследователя, эстрадного куплетиста, либерального банкира, чопорного князя, профессора химии, циркового клоуна, попа-расстриги, уличного нищего, гуськом гонявшихся вдоль комнат и коридоров мызы... Если бы удалось собрать все любительские снимки, сделанные в такие моменты с Горького, можно было бы составить богатый и единственный в своем роде том.

К вечеру, когда спадала жара, Горький приступал к своей излюбленной игре — в городки. Он бил размашисто и сильно, разбрасывая чушки с завидной ловкостью и почти всегда выходил победителем. Его партнерами часто бывали Леонид Андреев, Александр Куприн и Иван Рукавишников³.

Веселость и юмор, общительность и склонность к широкому укладу жизни сохранились в нем навсегда.

Два-три раза в неделю, по ночам, на мызе Лентула устраивались фейерверки. К забору сходились дачники и местные крестьяне финны.

Однажды вечером (это было в 1904 году), когда уже стемнело, Горький вышел на лужайку и вырвал из земли уже заготовленные ракеты.

— Сегодня фейерверка не будет: умер Чехов, — произнес он, и вдруг по его лицу пробежала судорога, и он поспешно скрылся в свою комнату.

Горький часто не мог сдержать своих слез. В воспоминаниях юности он утверждал, что плакал лишь в тех случаях, когда оскорблялось его самолюбие. Так было, вероятно, только в юности. Я видел Горького плачущим четыре раза: впервые при вести о смерти Чехова; потом, все еще в Куоккале, в дачном кинематографе, когда по ходу мелодрамы собачка стрелочника, заметившая, что его маленький сынишка уснул на рельсах, с лаем и рискуя своей жизнью, помчалась навстречу поезду, чтобы предупредить катастрофу.

— Я очень выгодный зритель, — извинялся Горький при выходе из кинематографического барака.

В третий раз я слышал всхлипывания Горького в Смольном институте, на одном из первых Съездов Советов, в момент, когда запели «Интернационал». В последний раз — в Петербурге, на Финляндском вокзале, когда в 1921 году Горький уезжал за границу. Я был в числе немногочисленных провожатых. Начальник станции шепнул Горькому, что машинист и кочегар хотели бы с ним познакомиться.

— Очень счастлив, очень счастлив, — забормотал Горький, пожимая черные руки рабочих, и зарыдал.

О слезливости Горького писал и Владислав Ходасевич в своих воспоминаниях: «Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымыслено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого нового рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протираниях затуманенных очков».

В годы первой революции, годы Гапона, Хрусталева-Носаря и Трепова⁴, мы, подростки, увлекались романтикой подполья и революционной борьбы. За полудетское революционное озорство я был уволен из гимназии и не без гордости рассказал об этом Горькому.

— Молодчага, — одобрил он, — так ты, пожалуй, скоро и в университет попадешь.

Я удивился, но, рассмеявшись, Горький пояснил, что имеет в виду не тот университет, в котором читают лекции, а тот, в котором построены одиночные камеры с решетками на окнах, и прибавил:

— Этот будет почище!

Заглавие его будущей книги — «Мои университеты» — было уже произнесено.

В 1940 году в Советской России вышел фильм «Мои университеты» в постановке М. Донского. Но наибольшим успехом пользовался фильм, поставленный Всеволодом Пудовкиным в 1926 году по роману Горького «Мать». Этот фильм до наших дней сохраняет свою свежесть, силу и человечность, в чем, конечно, заслуга принадлежит не только Горькому, но и Пудовкину.

В Париже еще в 1905 году (12 октября) была впервые представлена на французском языке пьеса Горького «На дне»⁵ <...> а 27 декабря 1963 года в парижском Национальном народном театре (TNP) состоялась премьера пьесы Горького «Дети солнца».

Одновременно с увлечением революционной борьбой, и, может быть, еще искреннее, мы увлекались французской борьбой, процветавшей на цирковых аренах. Горький охотно бывал судьей наших состязаний и непременно наделял их участников особыми кличками. Мне, постоянному финскому жителю, было присвоено прозвище Гроза Финляндии. В одно из таких состязаний мой противник, черноволосый и смуглый гимназист Альфонс XIV — Испания, сжал мое горло и принялся душить. Я с удовольствием лег бы на обе лопатки, но лечь оказалось так же трудно, как и вырваться. Не в силах даже крикнуть, я приготовился к смерти и потерял сознание. Очнувшись в руках Горького, я услышал:

— Гроза Финляндии, встряхнись!

И, обратившись к Альфонсу XIV — Испания, Горький заявил тоном судьи:

— Здесь, ваше величество, французская борьба, а не бой быков: приканчивать противника необязательно.

Наш герой, чемпион мира Иван Поддубный, тоже приезжал на мызу Лентула. За обедом, съев три бифштекса, он решил пофилософствовать:

— В России, — сказал он, — есть три знаменитости: я, Горький и Вяльцева⁶.

Горький отозвался с полной серьезностью:

— Я положительно смущен: гости начинают льстить хозяину.

Вынужденный покинуть Россию, Горький вскоре уехал на Капри. Здесь обрываются мои ранние воспоминания о Горьком. В 1911 году я уехал в Париж и вернулся в Россию лишь в 1914-м. Пришла война. В литературно-художественной среде произошел распад. Большинство приняло оборонческую точку зрения. Леонид Андреев основал и редактировал патриотический журнал «Отечество». Горький написал Андрееву негодующее письмо, и их многолетняя дружба дала незалечимую трещину...⁷

Я встретился с Горьким уже в предреволюционные месяцы. Он был в Петербурге, переименованном в Петроград.

Внешне Горький сильно изменился. Он не носил теперь ни черной косоворотки, ни смазанных сапог, одевался в пиджачный костюм. Длинные, спадавшие на лоб и уши волосы были коротко подстрижены ежиком. Сходство Горького с русским мастеровым стало теперь разительным, если бы не его глаза, слишком пронизательные и в то же время смотрящие вглубь самого себя. На заводах и на фабриках, среди почтальонов и трамвайных кондукторов скуластые, широконосые, с нависшими ржавыми усами и прической ежом двойники Горького встречались повсюду.

Октябрьская революция. Обширная квартира Горького на Кронверкском проспекте полна народу. Горький, как всегда, сохраняет внешне спокойный вид, но за улыбками и остротами проскальзывает возбуждение. Люди вокруг него самых разнообразных категорий: большевистские вожди, рабочие, товарищи по искусству, сомневающиеся интеллигенты, запуганные и гонимые аристократы... Горький слушает, ободряет, спорит... переходит от заседания к заседанию, ездит в Смольный.

В эту эпоху Горький сам был полон сомнений. Жестокость, сопровождавшая «бескровный» переворот, глубоко его потрясла. Бомбардировка Кремля подняла в Горьком бурю противоречивых чувств⁸. Пробоину в куполе собора Василия Блаженного он ощутил как рану в собственном теле. В эти трагические дни он был далеко не один в таком состоянии — среди большевиков

и их спутников. Я видел Анатолия Луначарского, только что назначенного народным комиссаром просвещения, дошедшим до истерики и пославшим в партию отказ от какой-либо политической деятельности⁹. Ленин с трудом отговорил его от этого решения.

Комитет Союза деятелей искусств¹⁰, основанного еще при Временном правительстве и возглавлявшегося Горьким, назначил в его квартире встречу с представителями новой власти. Но утром этого дня Горький заболел, и его температура поднялась до 39 градусов. Забежав к нему в полдень, я предложил отсрочить заседание. Горький не согласился:

— Веселее будет лежать!

Горького лихорадило, лицо его потемнело. Он кашлял, сводя брови и закрывая глаза. Ему нужен был отдых, никакого «веселья» он, конечно, не предвидел. Но его личные потребности тотчас отступали на последний план, когда дело касалось искусства, науки, книги: культуру Горький любил до самозабвения. Когда по окончании заседания «власти» уехали, Горький сказал, протягивая в пространство сухую, гипсово-белую руку:

— Начинается грандиозный опыт. Одному черту известно, во что это выльется. Будем посмотреть. Во всяком случае, будущее всегда интереснее пройденного. Только вот что: прошлое необходимо охранять как величайшую драгоценность, так как в природе ничто не повторяется и никакая реконструкция, никакая копия не могут заменить оригинал. Да... А теперь мне надо глотать микстуру, иначе доктор нарвет мне уши...

Вскоре Горький основал Комиссию по охране памятников искусства и старины¹¹. Его заслуги в борьбе с разрушительной инерцией революции неоценимы.

В период военного коммунизма и великих материальных лишений Горький создал также Комитет по улучшению быта ученых — КУБУЧ. Это учреждение, боровшееся с нищетой, помещалось на Миллионной улице. Научным деятелям, приходившим туда в лохмотьях, в рваных ботинках, с рогожными мешками и детскими салазками, выдавался недельный паек: столько-то унций конины, столько-то крупы, соли, табака, суррогатов жира и плитка шоколада. Как-то в разговоре с Горьким я посмеялся над этой плиткой. Горький задумчиво произнес:

— Все люди немного дети, и в седобородом ученом сидит ребенок. Революция их сильно обидела. Нужно им дать по шоколадке, это многих примирит с действительностью и внутренне

поддержит. Вообще КУБУЧ следовало бы переименовать в КПБСИ — Комитет поддержания бодрости среди интеллигентов.

В одном из рабочих клубов после лекции Горького кто-то спросил его, на чем основана расовая вражда и как можно с ней бороться. Горький ответил:

— Расовая вражда, товарищи, нехорошая вещь. Вот, скажем: чернокожий ненавидит белокожего, а белый — черного. Запах что ли у них неподходящий. Негры пахнут кислятиной, а белые — вообще всякой дрянью. Вот они и кидаются друг на друга. Одним словом — вонючая вражда.

И прибавил в заключение:

— Если станут лучше мыться, расовая вражда исчезнет сама собой.

Когда Горький произнес это, мне тотчас припомнились слова Бальзака, написанные им на эту же тему, в статье «Психология туалета» (1830), и, не удержавшись, я пересказал их Горькому.

«Я отбрасываю глупый предрассудок национальной вражды... — писал Бальзак. — Все народы — братья, и если они еще разделены фиктивными барьерами, то, может быть, костюму суждено опрокинуть эти барьеры; может быть, костюмное сходство послужит международному слиянию; может быть, народы станут считать себя действительно братьями, когда их костюмы станут одинаковыми».

Рассмеявшись, Горький сказал:

— Тряпки, конечно, очень важны в нашей жизни, но хорошо мыться — еще важнее.

1920 год. Эпоха бесконечных голодных очередей, «хвостов» перед пустыми «продовольственными распределителями», эпическая эра гнилой промерзшей падали, заплесневелых хлебных корок и несъедобных суррогатов. Французы, пережившие четырехлетнюю нацистскую оккупацию, привыкли говорить об этих годах как о годах голода и тяжелых нехваток. Я тоже провел это время в Париже: немного меньшее количество одних продуктов, несколько худшее качество других, поддельный, но все же ароматный кофе, чуть сокращенная электрическая энергия, чуть сокращенное пользование газом. Никто не умирал на обледеленых тротуарах от голода, никто не рвал на части палых лошадей, никто не ел ни собак, ни кошек, ни крыс.

В этом страшном 1920 году Виктор Шкловский, тогда убежденный и бурный защитник футуризма и вообще «формализ-

ма» в искусстве, обнищавший, с красным носом (красным от холода) и с распухшими красными веками (красными и распухшими от голода), изобразил со свойственной ему яркостью в статье «Петербург в блокаде» этот период петербургской жизни:

«Питер живет и мрет просто и не драматично... Кто узнает, как голодали мы, сколько жертв стоила революция, сколько усилий брал у нее каждый шаг.

Кто может восстановить смысл газетных формул и осветить быт великого города в конце петербургского периода истории и в начале истории неведомой.

Я пишу в марте, в начале весны. 1920 год. Многое уже ушло. Самое тяжелое кажется уже воспоминанием. Я пишу даже сытым, но помню о голоде. О голоде, который сторожит нас кругом...

Петербург грязен, потому что очень устал. Казалось бы, почему ему быть грязным... Он грязен и в то же время убран, как слабый, слабый больной, который лежит и делает под себя.

Зимой замерзли почти все уборные. Это было что-то похуже голода. Да, сперва замерзла вода, нечем было мыться... Мы не мылись. Замерзли клозеты. Как это случилось, расскажет история...

Мы все, весь почти Питер, носили воду наверх и нечистоты вниз, вниз и вверх носили мы ведра каждый день. Как трудно жить без уборной... Город занавозился, по дворам, по подворотням, чуть ли не по крышам.

Это выглядело плохо, а иногда как-то озорно. Кто-то и бравировал калом...

В будни лепешки жарились на человеческом кале, в праздники — на лошадином.

Люди много мочились в этом году, бесстыдно, бесстыднее, чем я могу написать, днем на Невском, где угодно...

Была сломанность и безнадежность. Чтобы жить, нужно было биться, биться каждый день, за градус тепла стоять в очереди, за чистоту разъедать руки в золе.

Потом на город напала вошь: вошь нападает от тоски...

Мы, живущие изо дня в день, вошли в зиму без дров... Чем мы топили? Я сжег свою мебель, скульптурный станок, книжные полки и книги, книги без числа и без меры. Если бы у меня были деревянные руки и ноги, я топил бы и оказался бы к весне без конечностей.

Один друг мой топил только книгами. Жена его сидела около железной дымной печурки и совала, совала в нее журнал за

журналом. В других местах горели мебель, двери из чужих квартир. Это был праздник все소жжения. Разбирали и жгли деревянные дома. Большие дома пожирали маленькие. В рядах улиц появились глубокие бреши. Как выбитые зубы, торчали отдельные здания. Появились искусственные развалины. Город медленно превращался в гравюры Пиранези...¹²

У мужчин была почти полная импотенция, а у женщин исчезли месячные...

Все переживалось какими-то эпидемиями... Был месяц падающих лошадей, когда каждый день и на всякой улице бились о мостовую ослабевшие лошади, бессильные подняться; был месяц сахара, когда в магазине нельзя было найти ничего, кроме пакетиков с ним.

Был месяц, когда все ели одну капусту, — это было осенью, когда наступал Юденич. Был месяц, когда все ели картофельную шелуху...

Умирали просто и часто... Умрет человек, его нужно хоронить. Стужа студит улицу. Берут санки, зовут знакомого или родственника, достают гроб, можно напрокат, тащат на кладбище. Видели и так: тащит мужчина, дети маленькие, маленькие подталкивают и плачут...

Из больницы возили трупы в гробах штабелем: три внизу поперек, два сверху вдоль, или в матрасных мешках. Расправлять трупы было некому — хоронили скорченными...

Раны были так глубоки. А раны без жиров не заживают. Царапина гноится. У всех были руки перевязаны тряпочками, очень грязными. Живать и выздоравливать было нечем... На ногах были раны; от недостатка жиров лопнули сосуды. И мы говорили о ритме и о словесной форме, и изредка о весне, увидеть которую казалось таким трудным...»

Осенью этого легендарного года приехал в Петербург знатный иностранец: английский писатель Герберт Уэллс.

На следующий же день, 18 октября, представители «работников культуры» — ученые, писатели, художники — принимали знаменитого визитера в Доме искусств. По распоряжению продовольственного комитета. Петербургского совета в кухню Дома искусств были доставлены по этому случаю довольно редкие продукты. Обед начался обычной всеобщей беседой на разные темы, и только к десерту Максим Горький произнес заранее приготовленную приветственную речь. В ответ наш гость, с английской сигарой в руке и с улыбкой на губах, выразил удовольствие, полученное им — иностранным путешественником — от возможности лично наблюдать «курьезный исторический

опыт, который разворачивался в стране, вспаханной и воспламененной социальной революцией».

Писатель Амфитеатров в свою очередь взял слово:

— Вы ели здесь, — обратился он к Уэллсу, — рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами, чем-то более соблазнительным, чем ваша сигара! Правда, вы видите нас пристойно одетыми; как вы можете заметить, есть среди нас даже один смокинг*. Но я уверен, что вы не можете подумывать, что многие из нас, и может быть наиболее достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, «бельем»...

Голос Амфитеатрова приближался к истерике, и когда он умолк, наступила напряженная тишина, так как никто не был уверен в своем соседе и все предвидели возможную судьбу слишком откровенного оратора.

После минутного молчания, сидевший рядом со мной Виктор Шкловский, большой знаток английской литературы и автор очень интересного формального разбора «Тристрама Шенди»¹³ Лоренса Стерна, сорвался со стула и закричал в лицо бесстрастного туриста:

— Скажите там, в вашей Англии, скажите вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим! Мы ненавидим вас ненавистью затравленных зверей за вашу бесчеловечную блокаду, мы ненавидим вас за нашу кровь, которой мы истекаем, за муки, за ужас и за голод, которые нас уничтожают, за все то, что с высоты вашего благополучия вы спокойно называли сегодня «курьезным историческим опытом»!

Глаза Шкловского вырывались из-под красных, распухших и потерявших ресницы век. Кое-кто попытался успокоить его, но безуспешно.

— Слушайте, вы! равнодушный и краснорожий! — кричал Шкловский, размахивая ложкой, — будьте уверены, английская знаменитость, какой вы являетесь, что запах нашей крови прорвется однажды сквозь вашу блокаду и положит конец ва-

* В смокинге был Н. Евреинов, только что вернувшийся с «белого Кавказа» в красный Петербург.

шему идиллическому трам-трам-трам и вашему непоколебимому спокойствию!

Герберт Уэллс хотел вежливо ответить на это выступление, но перепутал имена говоривших, которые в порыве негодования кинулись друг на друга с громогласными объяснениями, чем тотчас воспользовались их соседи, чтобы незаметно проглотить лишние пирожные, лежавшие на тарелках спорящих...

По просьбе Горького Евгений Замятин, прекрасно говоривший по-английски, объявил с оттенком иронии, весьма ему свойственной, инцидент исчерпанным, и вечер закончился в сумятице не очень гостеприимной и не очень галантной, но все же — с оттенком добродушия.

Вернувшись в Лондон, Уэллс опубликовал свои впечатления, где, между прочим, говорилось: «Я не верю в добрую волю марксистов, для меня Карл Маркс смешон»¹⁴.

Впрочем, Карл Маркс был смешон для всех, кто присутствовал на этом собрании: «марксисты» формировались только среди людей, которые никогда не читали его анахронических теорий, давно отброшенных в прошлое естественным развитием условий человеческой жизни.

В многокомнатной и удобнейшей квартире Горького не было, однако, ни в чем недостатка: друг Ленина и завсегда́тай Смольного, Горький принадлежал к категории «любимых товарищей», основоположников нового привилегированного класса. «Любимые товарищи» жили зажиточно. Они жили даже лучше, чем в дореволюционное время: Григорий Зиновьев, приехавший из эмиграции худым, как жердь, так откормился и ожирел в голодные годы революции, что был даже прозван Ромовой бабкой.

Комната Горького и его рабочий кабинет заставлены изваяниями Будды, китайским лаком, масками, китайской цветной скульптурой: Горький собирал их со страстностью. Он берет в руки бронзовую антилопу, любовно гладит ее скользящие, тонкие ноги; щелкает пальцами по животу:

— Ловкачи, эти косоглазые! Если желтая опасность заключается в их искусстве, я бы раскрыл им все двери!

Любопытная подробность: в богатейшей библиотеке этого «марксиста», на полках которой теснились книги по всем отраслям человеческой культуры, я не нашел (а я разыскивал прилежно) ни одного тома произведений Карла Маркса.

Маркса Горький именовал Карлушкой, а Ленина — «дворянчиком». Последнее, впрочем, соответствовало действительности.

Зимой того же года я ездил в один из южных городов, только что занятых красными. Будучи в Петербурге членом совета Дома искусств, тоже организованного и возглавляемого Горьким, я получил командировку за его подписью. Приехав из нищего Петербурга, я был поражен неожиданным доисторическим видением: необозримые рынки, горы всевозможных хлебов и сдоб, масла, сыров, окороков, рыбы, дичи, малороссийского сала; бочки соленья и маринада; крынки молока, горшки сметаны, варенца и простокваши; гирлянды колбас; обилие и разнообразие изготовленных блюд, холодных и еще дымящихся; распряженные повозки, заваленные мешками, корзинками, бочонками и бидонами; лошади и волы, лениво жующие сытный корм; людская толчея, крики, смех...

По всей видимости, принцип социалистической реализации еще не успел распространиться в этой едва «освобожденной от гнета капитализма» области. Я был заморожен и не мог оторвать глаз от представшего зрелища.

Официальным мотивом моей командировки являлся доклад, который мне поручено было сделать по вопросам искусства. В качестве «товарища из центра» я был принят в местном отделении Комиссариата по просвещению, и на другой день по городу были расклеены соответствующие афиши. Но сразу же по приезде я почувствовал, что мое путешествие послужит также моему продснабжению, и я предпринял без отлагательства необходимые шаги. Подпись Горького произвела в Комиссариате по продовольствию магическое впечатление, и мне был оказан горячий и почтительный прием в «Департаменте круп и мучных продуктов», в «Отделе жировых веществ», в «Консервной секции», в «Подкомиссии по копчению», разбросанным по разным частям города и уже приступившим к конфискации продуктов и к социализации труда. Мне стало ясным, что я оказался в положении Хлестакова, но у меня не хватало мужества отказаться от выгод такого недоразумения. Гоголевский символ подтвердил свою живучесть.

«Упаковать для тов. Горького два пуда пшеничной муки».

«Приготовить немедленно для тов. Горького лично 20 фунтов копченой свинины».

«По особому распоряжению комиссара по продовольствию незамедлительно упаковать для тов. Горького 20 банок консервированной осетрины и 10 банок налимьей печенки, а также 15 фунтов шоколада. Срочно...» и т. д.

Дня через три предстоял мой доклад. Но, получив тщательно упакованные питательные богатства и коллективное письмо

на имя Горького, «любимого (хоть, может быть, и никогда не читанного) товарища», я понял, что каждый лишний час моего пребывания в волшебном городе может оказаться роковым для моего невольного предприятия. Незамедлительно, оглядываясь направо и налево, я доставил багаж на вокзал и, предъявив чудодейственный «мандат», тут же выправил внеочередной пропуск на поезд. Доклад «товарища из центра» остался непрочитанным. Раз пять в пути заградительные продовольственные отряды подозрительно косились на мои тюки, и каждый раз подпись Горького выручала на меня из затруднений.

Добравшись до Петербурга, я передал Горькому коллективное письмо с приложением нескольких драгоценных банок и рассказал ему непредвиденную одиссею. Мы долго смеялись. Происходило это у Горького за обедом, как всегда обильным и оптимистическим. Помню, проглотив кусок тушеного зайца, Горький, смеясь, заметил:

— Для своего последнего упокоения зайчишка выбрал место незаурядное!

Четыре года спустя я провел несколько дней у Горького в Сорренто. Белая вилла у самого края обрыва, над морем, ослепительно-голубым и чудесно-прозрачным. Лазоревый воздух был настолько вкусен, что его хотелось не только вдыхать, но пить, глотать, жевать. На Горьком — васильковая рубаша с открытым воротом, белые коломянковые штаны и сандалии на босу ногу. Он по-прежнему приветлив, шутлив и весел.

Мы бродили по саду, вытягивались на складных парусиновых креслах и, вкушая *dolce farniente**, болтали о Пиранделло¹⁵, о белых парусах на горизонте, о Волге, о Микеланджело. О фашистских чернорубашечниках Горький сказал:

— Единственное исключение в человеческой породе: этих я не могу «полюбить черненькими».

Мы поднимались ночами на плоскую крышу виллы, покрытую шуршащим гравием. Сияли огромные южные звезды. Горький говорил:

— Ночи здесь легкие, прекрасные, крылатые ночи. Звезды — маяки, через них повсюду видать. Нигде в другом месте нет такой понятной небесной карты. Вот за той, за круглой планетой — Америка, а вот там, за зеленым ковшом Большой Медведицы — наша Россия. Москва, Нижний, Касимов. Это очень практично: крупная экономия для путешественников.

* Сладкое безделье (*итал.*). — *Ред.*

Ляжьте навзничь за гравий, следите за звездами: так можно путешествовать до утра...

Над Везувием росло багрово-дымное облако в форме буквы Т. О Везувии Горький сказал:

— Хорошая горка, с характером. — И вдруг, переменив тон и рассмеявшись:

— Скажите, у вас осталось еще что-нибудь от вашего тогдашнего «чудесного улова»?

В те же дни приехал из России в Сорренто художник Петр Кончаловский¹⁶. Я встретил его случайно на улице и привел его к Горькому, с которым он раньше не был знаком. Горькому он сразу понравился: Горький особенно любил людей полнокровных, жизнерадостных, здоровых. Мы беспрерывно смеялись: Горький — глухим, прокуренным смехом, Кончаловский — запорожским хохотом, сотрясавшим его плечи. Горький ребячился, строил гримасы, как когда-то в Куоккале.

После завтрака, оставив Горького отдыхать, мы с Кончаловским отправились на прогулку. Только что приехавшие из СССР, мы находились еще в периоде шелушения: обувь берлинская, шляпы римские, костюмчики московские, старенькие, совсем не по моде. Получив зарядку веселья (грустные в Италии не уживаются), мы горланили, хохотали, радуясь морю, солнцу, парусам, чайкам, гудению жуков, лиловому Везувию, розовым очертаниям Капри. В траттории (по-нашему — трактир) мы пили веселое вино, кусали персики и матовые бусины винограда.

— Догадайтесь, — беззаботно закричал Кончаловский хозяину траттории (по-нашему — трактирщику), — догадайтесь, из какой мы страны?

Коричневый итальянец почесал под мышками, за ухом, прикинул что-то в своем веселом мозгу и ответил:

— Я думаю, из Австралии.

— Странно! — удивился Кончаловский.

— Per che * — strano? — возразил «трактирщик».

В общем, русский язык и итальянский — одно и то же.

В Сорренто приезжали к Горькому также Андрей Соболев, Лев Никулин¹⁷, Исаак Бабель, Владислав Ходасевич, Нина Берберова и другие русские литераторы, художники, ученые...

В. Ходасевич, довольно подробно описывая свое пребывание в Сорренто, длившееся с начала октября 1924 года до середины апреля 1925 года, приводит в своих воспоминаниях отрывок из

* Почему (итал.). — Ред.

полученного им письма Горького: «Тут, знаете, сезон праздников — чуть ли не ежедневные фейерверки, процессии, музыка и ликование народа. А у нас? — думаю я. — И — извините — до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно».

«Итальянские празднества, — писал дальше Ходасевич, — с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он (Горький) — обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

— Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому великому реалисту поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет» *.

Любовь к фейерверкам и вообще к праздничному сохранилась у Горького навсегда.

Характерной чертой Горького-писателя была его застенчивость и скромность в отношении к собственному творчеству. В одном из писем к Ромену Роллану Горький признавался: «Я думаю, что моя книга мне не удалась. Она хаотична, лишена внутренней гармонии, сделана с очевидной небрежностью и без должного уважения к стилю. Если бы мне пришлось написать критику на Горького, она была бы наиболее злой и наиболее беспощадной. Поверьте мне, что я отнюдь не принадлежу к поклонникам Горького».

Особенно смущали Горького, иногда до красноты, его попытки создать что-либо шутливое, легкое, юмористическое. В обыденной жизни любивший шутку и балагурство, он с чрезвычайной опаской и робостью прибегал к ним в писаниях.

Помню, как Горький читал мне крохотную свою сказку для детей «Самовар», волнуясь, как новичок.

— Пристали издатели, черти лиловые: напиши да напиши! Не моего ума это дело, я человек тяжелый...

«Черти лиловые» было любимым ругательством Горького. Я сделал рисунки, и сказка вышла в Петербурге в 1917 году, в издательстве «Парус».

Горький написал также весьма смешливую злободневную пьесу «Работяга Словотеков» — сатиру на советского болтуна, строящего молниеносную карьеру на своем хвастливом красно-

* Эта статья Ходасевича (двадцать девять страниц убористого шрифта) хранится у меня с его автографом: «Дорогому Юрию Павловичу Анненкову, дружески В. Ходасевич».

байстве. Ставивший пьесу режиссер Константин Миклашевский не раз просил Горького приехать на репетицию, но стеснявшийся своего комического произведения Горький в театре так и не появился.

Я присутствовал на генеральной репетиции на первом представлении «Работяги Словотекова» в Петербургском театре Зоологического сада. Постановка Миклашевского была весьма изобретательна и остроумна. Миклашевский особенно интересовался театром импровизации и опубликовал в Петербурге замечательную книгу об итальянской комедии «*La comedia dell'arte*», за которую ему была присуждена в 1915 году премия Императорской Академии наук. В 1927 году, когда Миклашевский уже эмигрировал во Францию, эта книга была выпущена в Париже на французском языке с рядом дополнений и с посвящением Чарли Чаплину — «самому большому комедянту нашего времени» (изд. «Плеяда»).

Основавшись в Париже, Миклашевский открыл очаровательный антикварный магазинчик на Faubourg Saint-Honoré, прямо против президентского дворца Елисейских полей. В этом магазинчике, среди других предметов имелись также забавнейшие статуэтки-куколки и маски действующих лиц итальянской комедии XVII и XVIII веков: Арлекины, Пьерро, Коломбины, Пульчинеллы, Доктора из Болоньи, Капитаны, Смеральдины, Бригеллы, Труффальдины, Маскарильи, Скарамуши, Франческины, Паскуэллы и другие, собранные Миклашевским в Венеции, в Болонье, во Флоренции, в Неаполе, в Милане... Вскоре, однако, Миклашевский был найден мертвым в своей постели: ложась спать, он забыл закрыть газовую трубку своей плиты.

Постановка «Работяги Словотекова» была восторженно встречена публикой, но продержалась на сцене не более трех дней: многие герои того времени, так называемые «ответственные товарищи», узнали в работяге Словотекове собственный портрет. Пьеса Горького являлась своего рода прототипом «Клопа» В. Маяковского, пьесы, написанной девять лет спустя¹⁸.

Упавшая в официально приказанное забвение, пьеса Горького исчезла, и я никогда не видел ее опубликованной. Даже Николай Горчаков, историк советского театра, хорошо осведомленный и покинувший СССР только в 1945 году, пометил в своей «Истории советского театра» (Нью-Йорк, 1956), что после Октябрьской революции Горький написал только две театральные пьесы: «Егор Булычев» и «Достигаев и другие». О «Работяге Словотекове» не упоминается. Я читал об этой пьесе только в

одном советском весьма объемистом (640 страниц) сборнике статей «Советский театр. К тридцатилетию советского государства» (Москва, 1947). В статье Б. Бялика «Горький и театр» (58 страниц) вскользь говорится, что в связи с идеями Горького об «импровизационном театре» он написал в 1919 году «сценарий “Работяга Словотеков”».

И еще — в статье Евг. Замятина «Я боюсь»: «Пытающиеся строить в наше необычайное время новую культуру часто обращают взоры далеко назад... Но не надо забывать, что афинский народ умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы... где нам думать об Аристофане, когда даже невиннейший “Работяга Словотеков” Горького снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого малого немысленныша — демос российский!»

Больше об этом «сценарии» — ни одного слова.

Горький-художник отличался полным отсутствием профессиональной ревности, весьма свойственной, к сожалению, художественной среде. Величайшей для него радостью бывало найти, поддержать и выдвинуть новое литературное дарование. Такая страсть к поискам являлась для Горького навязчивой идеей, иногда приводившей к самым неожиданным результатам. Как-то еще в Куоккале, до первой войны, объявился в окружении Горького молодой, вихрастый, одетый по-горьковски и нагловатый парень, прочитавший Горькому несколько отрывков своего произведения. Горький неожиданно поверил его дарованию, приласкал его и даже предложил совместно выступить на вечере, устроенном Горьким в местном театрике в пользу какого-то социал-демократического предприятия. В антракте, улучив минуту, вихрастый парень забрал из кассы театра всю выручку и скрылся. Больше никогда никто его не встречал — ни в жизни, ни в литературе.

Поиски молодых талантов, забота о поддержке нового поколения писателей не покидали Горького до его последних дней, причем он никогда не пытался прививать им свои литературные вкусы и взгляды: он всегда стремился помочь им выявить их собственную индивидуальность. Больше, чем кто-либо другой, он сделал для группы «Серапионовых братьев» (Лев Лунц, Константин Федин, Михаил Зощенко, Михаил Слонимский, Николай Никитин) и для других «попутчиков»: Бориса Пильняка, Всеволода Иванова, Исаака Бабеля. Очень любил Горький Евгения Замятина, Виктора Шкловского, Юрия Олешу и Валентина Катаева.

Были, однако, писатели, вызывавшие в Горьком обратные чувства. Об Илье Эренбурге Горький выразился так:

— Пенкосниматель.

Горький любил выражаться круто и отчетливо.

Горький об «ударниках» в искусстве:

— Советскому Союзу нужны писатели-ударники. Однако в искусстве «ударность» заключается не в «темпах», а в тщательной выработке качества. «Ударным» произведением искусства следует считать не то, которое быстро к сроку сработано, а то, которое глубоко обдуманно и крепко слажено, и пусть оно писалось хоть двадцать лет! Быстрота и немедленность рефлекса нужны, чтобы закричать «ура» или ударить в морду. Но чтобы вбить в человеческий мозг познание, необходимо кроме таланта, время, терпение, любовь к труду и мастерство.

Вообще говоря, всякое подлинное искусство, и — в особенности — художественная литература, казались Горькому высшим достижением человеческой культуры.

«Искусство, — говорил Горький, — это красота, которую талант мог создавать даже под деспотическим игом».

И дальше о Пушкине: «Пушкин был первый, кто поднял значение писателя на такую высоту, которой до него еще никто не сумел достичь».

Горький был прав. Разве еще за столетия до появления авиации художник Леонардо да Винчи не построил уже аэроплан? Разве еще за многие столетия до Леонардо да Винчи неизвестный художник не выдумал прототип парашютиста в образе Икара? А разве очаровательные ангелы не были уже летчиками? Разве «Наутилус» не совершил уже подводное путешествие на страницах Жюль Верна?

Теперь мы часто читаем в советской прессе, даже в зарубежных русских журналах, что Горький является предтечей и основоположником «социалистического реализма». Это совершенно неверно, и я встаю против подобной клеветы. Я помню одно издательское собрание, руководимое Горьким, несколько месяцев после Октябрьской революции. Обсуждался вопрос о книжных иллюстрациях. Горький, просматривая имена художников, был категоричен:

— Лучше — самый отъявленный футуризм, чем коммерческий реализм, — заявил он.

В то время (1918—1919) термин «социалистический реализм» еще не существовал. Но в разговорном языке «коммерческий реализм» или — просто — «реалистическая халтура» были его синонимом. Ни в каком случае Горький не мог быть

провозгласителем «официальной» формы искусства, выдвинутой государством, капиталистическим или пролетарским.

Приведу еще одно — документальное — доказательство: выдержку из журнала «Дом искусств» (№ 2, Пг., 1921, с. 119): «Вступительное слово к циклу лекций, организованных “Всемирной литературой”, произнес М. Горький. В своей речи он отметил тяжелое положение у нас писателей, работающих в области художественного слова, и крупную разницу в отношении к таким писателям на Западе и у нас: в то время как на Западе писателей судят и ценят именно как художников, независимо от их политических взглядов, у нас к писателям подходят не с художественной, а с политической меркой».

Несмотря на то что творчество Горького было реалистическим, это был реализм индивидуальный, и Горький всегда внимательно и с глубоким интересом следил за формальными исканиями молодых поколений. В главе о Маяковском я говорю о том, как Горький поддержал его на одном из литературных вечеров в «Бродячей собаке» и какую роль сыграла эта поддержка в карьере Маяковского¹⁹.

Впрочем, уже значительно раньше, в январе 1900 года, Горький писал А. П. Чехову: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм... Реализм Вы ужокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту! Право же, настало время нужды в героическом: все хотят возбужденного, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее».

Правда, советский «литературный исследователь» Г. Бялый писал по этому поводу, что горьковскую формулу «вы убиваете реализм» следует понимать как «нечто прямо противоположное тому, что она значит по своему внешнему смыслу». Но причины подобных «исследований» Бялого всем ясны.

Верно и то, что на 1-м Всесоюзном съезде писателей, состоявшемся в Москве в 1934 году, М. Горький, снова вернувшийся в СССР и избранный почетным председателем этого съезда, сказал, что социалистический реализм есть правда жизни, насыщаемая поэзией идеала по мере того, как люди превращают землю в «прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».

Но, во-первых, фраза Горького не говорит, что «превращение земли в прекрасное жилище человечества» может быть осуществлено только диктатурой коммунистической партии и ее правительства и что искусство, в частности литература, должно непременно «служить агитационно-пропагандным инстру-

ментом» этих органов, как это провозглашали Жданов или Сурков²⁰.

Во-вторых, Горький произнес свои слова уже в 1934 году, то есть в период развернувшейся диктатуры Сталина, на пороге его знаменитых кровавых «чисток». Можно было бы обвинить Горького (как и множество других деятелей русской культуры, живших тогда в СССР) в отсутствии мужества, но нельзя принимать эти слова Горького за искреннее выражение его собственных мыслей.

Провозглашенный партией и правительством «социалистический реализм» явился гибелью русского искусства во всех областях и был органически чужд Максиму Горькому. Нельзя забыть, что уже в 1936 году (год смерти Горького) он писал со свойственным ему мужеством: «Наше искусство должно встать выше действительности и возвысить человека над ней, не отрывая его от нее. Это проповедь романтизма? Да» («Советский театр»).

Эти слова странным образом совпадают со словами тургеневского героя Паклина о Нежданове («Новь»): «Знаете, кто он собственно был? — Романтик реализма!»

Был ли Горький членом коммунистической партии? Если и был, то лишь в самые последние годы своей жизни. Впрочем, и в этом я не уверен.

— Я — околупартийный, — любил говорить Горький²¹.

И это было правдой. Он блуждал вокруг партии, то справа от ее прямой линии, то слева, то отставая, то заходя вперед. В политике, как и в личной жизни, он оставался артистом. Обязательная, дисциплинарная зависимость от какой-либо доктрины, догмы была для него неприемлема. Идейную подчиненность он считал оскорблением для человека. Прямую линию он заставлял все время вибрировать как струну. Своими постоянными отклонениями и амплитудой своих колебаний он стремился сделать прямую линию более человеческой.

Но в то же время этот «околупартийный» спутник исключительного качества был для партии чрезвычайно полезен. Благодаря его популярности и его имени Горький оказывал партии значительные услуги. Еще много ранее Октябрьской революции Горький материально поддерживал партию, которая в те времена не обладала большими возможностями, если не считать некоторых вульгарных экспроприации вроде тех, что производились Сталиным. Горький умел, как никто иной, «вытягивать» деньги у богатых людей для «подбодрения демократов» и «передовых политических организаций», не упоминая, конеч-

но, никогда партию большевиков. Крупные капиталисты, владельцы заводов, либеральные банкиры, польщенные личным знакомством с большим писателем, чувствовали себя не в силах отказать Горькому, который пересылал их деньги Ленину. Когда произошла революция, то эти наивные благодетели оказались в числе ее первых жертв. Урок, который следовало бы запомнить.

— Что поделаешь! Это называется «ходом истории», — сказал мне Горький, нескрывая разочарованный.

Горький прожил неровную, напряженную и сложную жизнь. Его искусство было тоже неровным. Он создал «Детство», книгу, которую по праву можно назвать гениальной, но он же написал безвкусного «Буревестника» (что никогда не случалось, например, с Достоевским). К сожалению (такова общая судьба искусства), лучшие вещи Горького далеко не так популярны, как наиболее слабые.

Меня всегда поражало, что при его бурном душевном складе почерк Горького был на редкость ровен, разборчив и каллиграфичен.

— Ничего странного, — признался мне Горький, — это просто из уважения к человеку, который будет читать.

Тайна смерти Горького, настигшей его в СССР в 1936 году, остается еще неразгаданной. Тем более после разоблачений по поводу несуществующих «преступных заговоров» докторов.

По-моему, следует верить свидетельству Льва Троцкого, который прекрасно разобрался в сталинском климате, воцарившемся в СССР, и в частности в Москве.

«Горький, — писал Троцкий, — не был ни конспиратором, ни политиком. Он был добрым и чувствительным стариком, защитником слабых, чувствительным протестантом. Во время голода и двух первых пятилеток, когда всеобщее возмущение угрожало власти, — репрессии превзошли все пределы, — Горький, пользовавшийся влиянием внутри страны и за границей, представлял собой серьезную опасность и в особенности не смог бы вытерпеть ликвидацию старых большевиков, подготовлявшуюся Сталиным. Горький немедленно запротестовал бы, его голос был бы услышан, и сталинские процессы так называемых заговорщиков оказались бы неосуществимыми. Была бы также абсурдной попытка предписать Горькому молчание. Его арест, высылка или открытая ликвидация являлись еще более немыслимыми. Оставалась одна возможность: ускорить его смерть при помощи яда, без пролития крови. Кремлевский диктатор не видел иного выхода».

Я верю также признаниям профессора Плетнева, большого медика, который вместе с некоторыми другими докторами лечил Горького, — признаниям, совпадающим с версией Троцкого.

«Мы лечили Горького от болезни сердца, но он страдал не столько физически, сколько морально: он не переставал терзать себя самоупреками. Ему в Советском Союзе уже нечем было дышать, он страстно стремился назад, в Италию. На самом деле Горький старался убежать от самого себя, сил для большего протеста у него уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле больше всего боялся открытого выступления знаменитого писателя против режима. И, как всегда, он в нужный ему момент придумал наиболее действенное средство. На этот раз этим средством явилась бонбоньерка, да, красная, светлорозовая бонбоньерка, убранная яркой шелковой лентой. Я и сейчас ее хорошо помню. Она стояла на ночном столике у кровати Горького, который любил угощать своих посетителей. На этот раз он щедро одарил конфетами двух санитаров, которые при нем работали, и сам он съел несколько конфет. Через час у всех троих начались мучительные желудочные боли; еще через час наступила смерть. Было немедленно произведено вскрытие. Результат? Он соответствовал нашим самым худшим опасениям. Все трое умерли от яда.

Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля была продиктована совершенно лживая официальная версия о смерти Горького, мы не противоречили. Но наше молчание нас не спасло. По Москве поползли слухи, шепотки о том, что Горького убили: Сосо²² его отравил. Эти слухи были очень неприятны Сталину. Нужно было отвлечь внимание народа, отвести его в другую сторону, найти других виновников. Проще всего было, конечно, обвинить в этом преступлении врачей. Врачей бросили в тюрьму по обвинению в отравлении Горького. С какой целью врачи отравили его? Главный вопрос. Ну, конечно, по поручению фашистов и капиталистических монополий. Конец? Конец вам известен»²³.

Профессор Плетнев был присужден к смертной казни, которая была заменена ему двадцатью пятью годами заключения в концентрационном лагере. Там, в лагере Воркуты, в глуши болотистой тундры, у Ледовитого океана Плетнев встретил в 1948 году, то есть через двенадцать лет после смерти Горького, заключенную Бригитту Герланд, женщину немецкого происхождения, ставшую вскоре фельдшерницей под его начальством в лагерном лазарете. Несколько месяцев спустя Плетнев рас-

сказал ей правду о смерти Горького. Очутившись снова на свободе и выбравшись из Советского Союза, Бригитта Герланд опубликовала рассказ профессора Плетнева в «Социалистическом вестнике» (Нью-Йорк) в 1954 году, конечно, после смерти Плетнева.

Смерть Горького произвела очень сильное впечатление на русских людей. Андре Жид, бывший в Москве в день похорон Горького, писал: «Я видел Красную площадь во время похорон Горького. Я видел бесконечную толпу, медленно следовавшую за катафалком. Молчаливое шествие, мрачное, сосредоточенное. Кем был Горький для всех этих людей? Товарищ? Брат? На всех лицах, даже на лицах самых маленьких детей, можно было прочесть своего рода оцепенение, полное грусти... Сколько из них я хотел прижать к своему сердцу!»²⁴

Совершенно очевидно, что Андре Жид преувеличивал. Я не верю, чтобы можно было заметить «оцепенение, полное грусти» на лицах самых маленьких детей, даже на лицах тех из них, которые успели прочесть «Самовар». Видел ли Андре Жид подобное оцепенение, полное грусти, на лицах самых маленьких детей во время похорон Анатоля Франса? А ведь популярность Анатоля Франса была в своей стране не меньшей, чем популярность Горького в России. Анатолий Франс тоже был «попутчиком» интернациональной партии Ленина (и умер в том же году, что и Ленин).

Несмотря, однако, на преувеличение, допущенное Андре Жидом, его свидетельство волнующе показательно и ценно.

Горький был и останется большим писателем, большим и великодушным человеком. Вот почему следует забыть поношение, нанесенное ему Всеволодом Ивановым, который, желая выразить степень своего преклонения перед ушедшим писателем, напечатал (несомненно, против своего сердца) во «Встречах с Горьким»: «Россия дала ему всю силу любви, как она дает ее сегодня Сталину».

Само собою разумеется, эта фраза теперь покойного Иванова была напечатана еще при жизни Сталина.

Один из посетителей Горького в последние годы его жизни спросил его, как бы он определил время, прожитое им в советской России?

Максим Горький ответил:

— Максимально горьким.





К. И. ЧУКОВСКИЙ

Горький

I

Горького я впервые увидел в Петрограде зимою девятьсот пятнадцатого года. Спускаясь по летнице к выходу в одном из громадных домов, я засмотрелся на играющих в вестибюле детей.

В это время в парадную с улицы легкой и властной походкой вошел насупленный мужчина в серой шапке. Лицо у него было сердитое и даже как будто злое. Длинные усы его обледенели (на улице был сильный мороз), и от этого он казался еще более сердитым. В руке у него был тяжелый портфель, огромных, невиданных мною размеров.

Детей звали спать. Они распалились, не шли. Человек глянул на них и сказал, не замедляя шагов:

Даже кит
Ночью спит!

В эту секунду вся его угрюмость пропала, и я увидел горячую синеву его глаз. Взглянув на меня, он опять насупился и мрачно зашагал по ступеням.

Позже, когда я познакомился с ним, я заметил, что у него на лице чаще всего бывают два выражения.

Одно — хмурое, тоскливо-враждебное. В такие минуты казалось, что на этом лице невозможна улыбка, что там и нет такого материала, из которого делаются улыбки.

И другое выражение, всегда внезапное, всегда неожиданное: празднично-застенчиво-умиленно-влюбленное. То есть та самая улыбка, которая за секунду до этого казалась немислимой.

Я долго не мог привыкнуть к этим внезапным чередованиям любви и враждебности. Помню, в 1919 или 1920 году я слушал

в Аничковом дворце его лекцию о Льве Толстом¹. Осудительно и жестко говорил он об ошибках Толстого, и чувствовалось, что он никогда не уступит Толстому ни вершка своей горьковской правды. И голос у него был недобрый, глухой, и лицо тоскливо-неприязненное. Но вот он заговорил о Толстом как о «звучном колоколе мира сего», и на лице его появилась такая улыбка влюбленности, какая редко бывает на человеческих лицах. А когда он дошел до упоминания о смерти Толстого, оказалось, что он не может произнести этих двух слов: «Толстой умер», — беззвучно шевелит губами и плачет. Так огромна была нежность к Толстому, охватившая его в ту минуту. Слушатели — несколько сот человек — сочувственно и понимающе молчали. А он так и не выговорил этих слов: покинул кафедру и ушел в артистическую. Я бросился к нему и увидел, что он стоит у окна и, теребя папироску, сиротливо плачет о Льве Николаевиче. Через минуту он вернулся на кафедру и хмуро продолжал свое чтение.

Впоследствии я заметил, что внезапные приливы влюбленности бывают у Горького чаще всего, когда он говорит о детях, о замечательных людях и книгах.

Перебирая книги в своем кабинете на Кронверкском проспекте (в Ленинграде), он каким-то особенным, почтительным и ласкающим жестом брал с полки то ту, то другую книгу и говорил о ней певуче и страстно, глядя ее, как живую: о Кирше Данилове² (которого он знал наизусть), о «Плачах» Барсова³, о тимиразевской «Жизни растений»⁴, о «Русской истории» Ключевского⁵, о «Калевале», о «Мадам Бовари».

К нам, сочинителям книг, он относился с почти невероятным участием, готов был сотрудничать с каждым из нас, делать за нас черную работу, отдавать нам десятки часов своего рабочего времени, и, если писание наше не клеилось, мы знали: есть в СССР переутомленный, тяжело больной человек, который охотно и весело поможет не только советами, но и трудом.

Я пользовался его помощью множество раз, эксплуатируя, как и другие писатели, его кровную заинтересованность в повышении качества нашей словесности.

В последний раз я обратился к нему за помощью в год его смерти и даже не удивился, когда через несколько дней получил от него большое письмо, где он предлагает мне и советы, и помощь, и деньги.

Дело шло об одной моей книге, которую я сочинил еще в двадцатых годах. Книга так и не увидела света — фантастичес-

кая повесть о том, как люди в СССР научились управлять погодой. Книга оказалась неудачной. По прошествии многих лет я затеял написать ее по-новому. Но как? В каком стиле? Для какого читателя? Прозой или стихами?

И я обратился за советом к Алексею Максимовичу.

Он тотчас же прислал мне такое письмо:

«Я думаю, дорогой Корней Иванович, что повесть на тему, избранную вами, следует писать непременно прозой и для ребят среднего возраста. Малышам эта тема не будет понятна... Подумайте: вам придется говорить о льдах Арктики, о лесных массивах и тундрах севера, о “вечной мерзлоте” и всякой всячине этого рода — в наше время, когда гипотетическое мышление становится все более обычным и “безумным”. Вон, капитан Гернет предлагает уничтожить Гренландский ледяной лишай и возратить Сибирь с Канадой в миоценовый период, а еще некто затевает утилизировать вращение Земли вокруг ее оси, а третий ищет родоначальницу растительной и живой клетки. И всего этого вы должны “коснуться”.

Я не “запугиваю” вас: мне затея ваша горячо нравится. И я думаю, что вы осуществите ее. Как надо ставить дело практически и чем я могу быть полезен вам? Мог бы достать вам денег в каком угодно размере для спокойной, непрерывной работы год, два.

Указать вам метеорологов — не могу, никого не знаю. Но полагаю, что вам не худо будет побеседовать с гелиотехниками⁶ — в Слуцке, Самарканде, с полярниками. А по вопросу о нашей атмосфере вы найдете, пожалуй, интереснейшие намеки в “Геохимии” Вернадского. Вообще вам потребуются химии-электрики, они в лучшем качестве у нас в Ленинграде, около Иоффе⁷ — Дорфман, кажется, с “фантазией”. Сия последняя будет вам великой помощницей. Сердечно желаю успеха.

А. Пешков».

В этом письме характерна раньше всего страстная заинтересованность Горького в том, чтобы задуманная советским писателем книга была непременно написана, и притом с максимальной удачей.

Больной, перегруженный непосильным трудом, он тратит свое время, которого у него осталось так мало, на внимательную разработку задуманного мною сюжета, на подыскание для меня материалов. И, не ограничиваясь советами, щедро предлагает мне деньги «в каком угодно количестве».

Это письмо не исключение, а правило. Такова была ежедневная практика Горького. Мы, писатели, большие и маленькие, успели за долгие годы привыкнуть к тому, что вот есть в нашей стране человек, который каждую строку принимает к сердцу, как свое личное дело.

У него была веселая манера — дарить писателям книги. Чуть узнает, что вы работаете над какой-нибудь темой, принесет вам

на ближайшее заседание в огромном портфеле из своей библиотеки те книги, которые могут пригодиться для вашей работы, и, не говоря ни слова, мимоходом, положит перед вами на стол.

Мне, например, он подарил несколько книг по Некрасову, в том числе заграничное издание «Кому на Руси жить хорошо», книгу француза Базальжетта об Уолте Уитмене, несколько томов «Современника». Акиму Волынскому постоянно приносил какие-то итальянские книги, и было похоже, что он, мастер, раздает подмастерьям рубанки и стамески для работы. Высшая была у него похвала о каком-нибудь писателе — работник. Самое это слово он произносил веско и радостно, словно поднимал какую-то приятную тяжесть: «ра-ботник».

В первые годы революции мы, петроградские писатели, встречались с ним особенно часто. Он взвалил на себя все наши нужды, и когда у нас рождался ребенок, он выхлопатывал для новорожденного соску; когда мы заболели тифом, он хлопотал, чтобы нас поместили в больницу; когда мы выражали желание ехать на дачу, он писал в разные учреждения письма, чтобы нам предоставили Сестрорецкий курорт.

Я думаю, если бы во всех учреждениях собрать все письма, в которых Горький ходатайствовал в ту пору о русских писателях, получилось бы, по крайней мере, томов шесть его прозы, потому что он тогда не писал ни романов, ни повестей, ни рассказов, а только эти бесконечные письма.

Помню, посетила его поэтесса Наталья Грушко, и, когда она ушла, он сказал:

— Черт их знает! Нет ни дров, ни света, ни хлеба, а они как ни в чем не бывало — извольте!

Оказывается, поэтесса на днях родила, и ей необходимо молоко.

— Нечего делать, похлопотал о ней, и вот вчера она получает бумагу: «Разрешается молочнице такой-то возить молоко жене Максима Горького (такой-то)».

И указана фамилия поэтессы.

Однажды я сказал ему, что ему причитается на Мурманской железной дороге паек — гонорар за лекцию, прочитанную им в тамошнем клубе. Он спросил, нельзя ли, чтобы этот паек получила вместо него одна переводчица, очень тогда голодавшая.

— Как же ее записать?

— Запишите: моя сестра.

Таких «жен» и «сестер» у него в ту пору было множество.

— Какая у Горького большая семья! — жаловался один продовольственник, к которому Горький всегда обращался с за-

писками о хлебе, крупе, селедках для писательской братии. И нужно прямо сказать, что, если мы пережили те бесхлебные, тифозные годы, этим мы в значительной мере обязаны нашему «родству» с Максимом Горьким, для которого все мы, большие и маленькие, стали тогда как родная семья.

В сентябре 1918 года Горький основал в Петрограде издательство «Всемирная литература». Руководить этим издательством должна была «ученая коллегия экспертов», первоначально из девяти человек. В качестве «специалиста по англо-американской словесности» вошел в эту коллессию и я. Сперва редакция наша ютилась в тесноватом помещении на Невском (№ 64), не-вдалеке от Аничкова моста (бывшая редакция газеты «Новая жизнь»), но к зиме переехала в великолепный особняк на Моховой (№ 36), с мраморной лестницей, с просторными и светлыми комнатами. Мы собирались по вторникам и пятницам вокруг длинного стола, покрытого красным сукном, и под председательством Алексея Максимовича тщательно обсуждали те книги, которые надлежало выпустить в ближайшие годы. Горького захватила широкая мысль: дать новому, советскому читателю самые лучшие книги, какие написаны на нашей планете самыми лучшими авторами, чтобы этот новый читатель мог изучить мировую словесность по лучшим переводным образцам. К зиме наша коллегия разрослась, и мы с удесятенными силами принялись за работу, чтобы возможно скорее поставить на рельсы многосложное дело.

Словесность чуть не каждой страны имела в нашей коллессии своих представителей. Индийцы были представлены академиком Ольденбургом⁸. Арабы — академиком Крачковским⁹. Китайцы — академиком Алексеевым¹⁰. Монголы — академиком Владимирцовым¹¹. Александр Блок вместе с двумя профессорами-германистами ведал германскую словесность, Николай Гумилев вместе с Андреем Левинсоном¹² — французскую. Я с Евгением Замятиным — англо-американскую. Акиму Волинскому была вверена словесность итальянская. Директором издательства был Александр Николаевич Тихонов (Серебров), многолетний сотрудник Горького и близкий ему человек.

Каждый из них делал доклады по своей специальности. Гумилев тогда же написал мне в рукописный альманах «Чукоккала»:

Уже подумал о побеге я,
Когда читалась нам Норвегия,
А ныне пущие страдания:
Рассматривается Испания.

Но, к счастью, предстоит нам далее
Моя любимая Италия.

В течение нескольких лет мы вели эту работу под председательством Горького, и тут впервые для меня обнаружились такие его черты, о которых я и не подозревал до тех пор.

Раньше всего оказалось, что он первоклассный знаток иностранной словесности. В публике издевались: «Пролетарий, не знает ни одного языка, а председательствует в ученой коллегии!» Но этот пролетарий оказался учнее иного профессора. О ком бы ни заговорили при нем — о Готорне, Вордсворте, Шамиссо¹³ или Людвиге Тике, — он говорил о их писаниях так, словно изучал их всю жизнь, хотя часто произносил их имена на нижегородский манер. Назовут, например, при нем какого-нибудь мелкого француза, о котором никто никогда не слыхал, мы молчим и конфузимся, а Горький говорит деловито:

— У этого автора есть такие-то и такие-то вещи. Эта слабовата, а вот эта (тут он расцветает улыбкой) отличная, очень сильная вещь.

Второй, неожиданной чертой его личности оказалось его безжалостное, я бы сказал — свирепое отношение к себе. Многие со стороны полагали, что он у нас лишь номинальный председатель, а между тем он был чернорабочий, не брезговавший самым невзрачным и нудным трудом. После каждого заседания он уносил с собою полный портфель чужих рукописей, которые мы просили его «просмотреть», но он не только «просматривал» их, а все перерабатывал заново, до неузнаваемости исчеркивал каждую рукопись своими поправками.

С удивлением разглядывали мы эти рукописи. Иногда в них сотни страниц, требующие многодневной работы. Все плохое аккуратно вычеркнуто синим карандашом, и над каждой неудачной строкой лепятся старательные, отрывистые и четкие буквы, которые так характерны для почерка Горького. И в каждую такую рукопись вложена написанная его рукою рецензия — результат столь же большого труда.

Естественно, что едва только мы увидели, как беспощадно он относится к себе, мы постарались, насколько возможно, ограждать его от подобной поденщины, но это не удавалось почти никогда, особенно если дело шло о так называемой «народной» серии книг, предназначенной для широких читательских масс. «Народную серию» Горький принимал к сердцу ближе всего остального и требовал, чтобы мимо него не проходила ни одна из этих книг. Иногда, чтобы выбрать для маленького томика семь или восемь наиболее подходящих рассказов какого-ни-

будь иностранного автора, он прочитывал вдесятеро больше, чуть ли не все собрания его сочинений.

Но всего примечательнее в его тогдашней работе была его чудесная веселость. Он делал работу как бы шутя и играя. Когда мы, писатели и профессора, собрались впервые по его приглашению за общим столом, мы конфузились и чувствовали себя, словно связанные. И он вначале тоже все больше молчал. Профессора были помпезны и чопорны, а писатели мрачны и как будто обижены. Но вот однажды, после нескольких предварительных встреч, среди заседания, которое шло напряженно и туго, он вдруг засмеялся и сказал виновато:

— Прошу прощения... ради бога, извините.

И опять засмеялся.

— Я ни об ком из вас... это не имеет никакого отношения к вам. Просто Федор * вчера вечером рассказывал... ха, ха, ха... я весь день смеюсь... ночью вспомнил и ночью смеялся... как одна дама в обществе вдруг вежливо сказала: «Извините, пожалуйста, не сердитесь, я сейчас заржу», — и заржала, как лошадь, а за нею другие, кто робко, кто гневно... Удивительно это у Федора вышло.

Шутка Горького рассмешила и сблизила нас. Мы заговорили между собой по-другому.

Горький ввел эту дружественную шутливость в систему наших совместных работ. Впоследствии, когда мы сблизились с ним более тесно, у нас установился обычай: после всякого заседания, если он никуда не спешил, он усаживался у камина и, подтянув выше колен свои высокие белые валенки и сунув в них руки, начинал по случайному поводу рассказывать нам какую-нибудь историю из собственной жизни. Начинал конфузиво, в усы, обращаясь к одному из нас, чаще всего к академику Ольденбургу или к профессору Батюшкову¹⁴, но потом оживлялся и рассказывал с большим одушевлением. Помню, Александр Блок любил эти рассказы и всегда вспоминал их, когда мы возвращались домой.

Один из горьковских рассказов мне тогда же удалось записать слово в слово. Рассказывал Горький очень медленно, с паузами, повторяя последнее слово каждой фразы по несколько раз, так что записывать за ним было легко.

«Появляется, — рассказывал Горький, — вот этакий остров в Каспийском зеленовато-опаловом море — это идет сельдь. Слой сельдей так густ, что, поставь весло, — стоит. Верхние

* Шаляпин.

слои в воде, а в воздухе — уже сонные, удивительно красивое зрелище. Есть такие озорники, что ныряют вглубь, под этот остров, но потом не вынырнут, — все равно как под лед нырнули: тонут.

— А вы тонули? — спросил Ольденбург.

— Раз шесть. Как-то в Нижнем зацепился ногою за канат — на дне оказался якорь — и не мог освободить ногу. Так и остался бы на дне, если бы не увидел извозчик, который ехал тогда по откосу. Извозчик увидел, что вот человек нырнул и не вынырнул, и кинулся к берегу. Ну, конечно, я без чувств был, и вот тогда я узнал, что такое, когда в чувство приводят. У меня и так кожа с ноги была содрана, как чулок (за якорь зацепился), а потом, как приводили в чувство, катали меня по камням, по доскам, — занозили, исцарапали все тело, я очнулся, глянул, думаю: здóрово!

А другой раз нас оторвало и унесло в Капийское море... баржу... Человек сто было. Ну, бабы вели себя храбро, а мужчины сплеховали... Двое с ума сошли... Нас носило по волнам шестьдесят два часа... Ну, бабы же там, на рыбных промыслах! Мускулистые дамы! Например, вот этакий стол, вдвое длиннее нашего, они стоят рядом, и вот попадает к ним трехпудовая рыбина, и так из рук в руки катится, ни минуты не задерживается, — вырежут молоки... руки голые и вот (он показал, какая у них высокая грудь)... этот промысел у них наследственный. Они еще при Екатерине этим занимались. Отличные бабы!»

В другой раз он начал подробно рассказывать, как он из озорства перебежал перед самым паровозом по рельсам. Научил его этому Ваня или Федя Стрельцов, вихрастый мальчишка, товарищ. Стрельцов делал это множество раз, и вот Горький позавидовал ему...

Но тут Горького вызвали по спешному делу, мы так и не узнали, как прошла эта забава.

Его вообще постоянно вызывали тогда по всяким случаям, не давали кончить ни разговора, ни дела, но это не мешало ему. Он вставал легко и эластично, уходил, входил и опять уходил, все его движения были точны и четки, как у матроса на палубе, и, сделав что надо, он без труда принимался за прерванное.

Однажды, у того же камина, он рассказывал нам весь вечер о Чехове; к сожалению, из этих рассказов мне удалось записать лишь один.

«Был в Ялье татарин, все подмигивал одним глазом, ходил к знаменитостям и подмигивал. Чехов его не любил. Раз спра-

шивает маму: “Мамаша, зачем приходил этот татарин?” — “А он, Антоша, хотел спросить у тебя одну вещь”. — “Какую?” — “Как ловят китов?” — “Китов? Очень просто: берут много селедок и бросают киту. Кит наестся соленого, захочет пить. А пить ему не дают. Нарочно. В море вода тоже соленая. Вот он и плывет к реке, чтобы напиться пресной воды. Чуть он заберется в реку, люди делают в реке запруду, чтобы не было ему ходу назад — и кит пойман...”

Мамаша кинулась разыскивать татарина — рассказать ему, как ловят китов» *.

Таков был на первых порах дружественный, простой и веселый стиль нашей совместной работы. Эта веселость, конечно, немало способствовала ее плодотворности. Работа была не из легких: нужно было наметить к изданию несколько тысяч книг, написанных на языках всего мира, нужно было найти квалифицированных мастеров-переводчиков, нужно было дать подробный, строго принципиальный разбор прозаических и стиховых переводов, сделанных переводчиками предыдущих эпох. Нужно было выработать лабораторным путем точные критерии для этой оценки.

Именно оттого, что руководство Алексея Максимовича носило такой дружеский и непринужденный характер, оно неизменно вело к повышению качества наших трудов. Многие были рады просидеть за работой всю ночь, лишь бы Горький на ближайшем заседании взглянул на них благодарно и весело.

Нужно сознаться, что его речи на наших заседаниях часто бывали речами художника, необычными в профессорской среде.

Когда Александр Блок прочитал в нашей секции «Исторических картин»¹⁵ свою египетскую пьесу «Рамзес», Горький неожиданно сказал:

— Надо было немного вот так.

И он вытянул руки вбок, как древний египтянин.

— Надо каждую фразу поставить в профиль!

Блок понимающе кивнул. Он понял, что Горькому фразеология «Рамзеса» показалась слишком оторванной от египетской почвы.

Однажды для какой-то литературной справки Горький принес на наше заседание журнал «Шут»¹⁶. Один из «всемирных литераторов» долго перелистывал его и грустно сказал:

— Мало юмора у русских людей.

* Этот рассказ Горького, как и предыдущий, записан мною слово в слово, со стенографической точностью.

— Помилуйте, — отозвался Горький, — русские такие юмористы. Как-то пришла ко мне одна провокаторша, каялась, плакала, слезы текли даже из ушей, а сегодня встречаю ее в одном учреждении и как ни в чем не бывало: «Здравствуйте, говорит, Алексей Максимыч!» — «Здравствуйте, говорю, здравствуйте...»

А то пришла ко мне недавно барыня, на ней фунта четыре серебра, фунта два золота, и просит о двух своих мужьях, которые попали в тюрьму «по ошибке». Я обещал выяснить, похлopotать, а она спрашивает: «Сколько же вы за это возьмете?..» Ну, разве не юмористы?

Сквозь всю его суровость, а порою и хмурость, в нем часто пробивалось озорство.

Весною девятнадцатого (или, вернее, двадцатого) года, идя по Моховой во «Всемирную», я увидел перед собою высокую фигуру Алексея Максимовича. Его широкополая черная итальянская шляпа высилась над головами. Я бросился его догонять. Как всегда, он шагал очень быстро, но вдруг остановился у какого-то дома. Когда я подбежал, оказалось, что он обращается к девушке, сидящей на ступеньках закрытой лавчонки. Девушке лет девятнадцать. Лицо у нее круглое, пухлое, доброе, детское. Из-под вязаного берета — кудряшки. На руке кумачовая лента с самодельной надписью ГОРОХР (то есть городская охрана; так называлась в то время милиция). Очевидно, девушка только что освободилась от ночного дежурства. Она отвернулась от улицы и, глядя в осколок зеркала, прилежно занимается своим туалетом. А ее винтовка лежит в стороне, на отлете. Горькому, очевидно, захотелось проверить, хорошо ли она охраняет оружие, ввереное ей государством. Быстро нагнувшись, он похищает винтовку и делает шаг, словно хочет незаметно уйти. Но девушка видит похитителя в зеркальце и, даже не повернув головы, говорит ему неожиданным басом:

— Положь на место!

Он улыбается ей, но винтовки не возвращает. Она вскакивает и достает из кармана свисток.

— Кому говорю! Перестань баловаться.

Прохожие бурно вступаются за престиж молодой милиции.

— Это же Горький, — пробую я объяснить.

— А мне хоть Сладкий! — в гневѣ возражает девица. — Хулиганить никому не приказано.

Все это очень нравится Алексею Максимовичу. Он возвращает милиционерке ружье, и мы продолжаем путь.

— Авторитетная дама! — говорит он с восхищением. И смеется.

В какой дружественной обстановке велись наши тогдашние работы, видно хотя бы из того, что Горький тут же, на заседаниях, брал у меня мой рукописный альманах «Чукоккалу», рассматривал ее и записывал в нее разные забавные истории — чаще всего крохотные рассказы из собственной жизни.

Вот один из этих бесценных автографов:

«Иду в Самаре берегом Волги поздно ночью — вдруг слышу:
— Спасите, батюшки!

Темно, небо в тучах, на реке стоят огромные баржи. Между берегом и бортом одной из них в черной воде кто-то плещется.

Влез я в воду, достиг утопающего, взял его за волосы и выволок на землю. А он меня — за шиворот.

— Ты, — говорит, — какое право имеешь за волосы людей драть?

Удивился я.

— Да ведь ты тонул, — говорю, — ведь ты кричал спасите!

— Чертова голова! Где же я тонул, ежели всего по плечи в воде стоял да еще за канат держался? Слеп ты, что ли?

— Но ты кричал — спасите!

— Мало ли как я могу кричать? Я закричу, что ты дурак, поверишь ты мне? Давай рупь, а то в полицию сведу! Ну, да вай...

Поспорил я с ним несколько — вижу: прав человек по-своему. Дал ему, что было у меня, — тридцать пять копеек, — и пошел домой умнее, чем был».

У Алексея Максимовича было немало записей о его встречах с Толстым. Эти записи впоследствии частично вошли в его книгу о великом писателе. Но он потерял их и, думая, что они никогда не найдутся, пересказал их мне как-то ночью по памяти (в девятнадцатом году).

Вскоре эти записи нашлись, и, когда я перечитал их в печати, я не нашел двух мелких эпизодов, которые Горький рассказывал мне тогда. Эти эпизоды такие.

«Однажды в лесу Лев Толстой сказал мне: “Вот на этом месте Фет читал свои стихи. Смешной был человек Фет”. — “Смешной?” — “Ну да, смешной, все люди смешные. И вы смешной, и я смешной — все”».

И еще.

«Была пасха. Шаляпин подошел к Толстому похристосоваться:

— Христос воскрес, Лев Николаевич!

Толстой промолчал, дал Шаляпину поцеловать себя в щеку, потом сказал неторопливо и веско:

— Христос не воскрес, Федор Иванович... Не воскрес...»

II

У меня сохранилось несколько писем Алексея Максимовича, относящихся к нашей тогдашней работе.

В первое время он писал их почти ежедневно то одному, то другому из нас — по поводу всякой прочитанной рукописи или намеченной к изданию книги. При всей своей лаконичности иные из этих писем, или, вернее, записочек, стоили простран-ных рецензий — столько в них было сконцентрировано метких оценок, догодок и сведений.

Например, об известном романе английского романиста Джона Голсуорси, который я наметил было к напечатанию в нашем издательстве, он прислал мне такую записку:

«Корней Иванович! «Фарисеи» Голсуорси — вещь очень схематическая и художественно слабая, как мне кажется. Процесс развития социальной совести у героя слишком напоминает плохие русские книги 70-х годов. Не думаю, чтоб англичанин мог достичь в столь краткий срок гипертрофии совести, как это случилось с героем Голсуорси.

Я всецело предпочитаю «Братство»: эта книга написана более убедительно и мастерски.

Мне кажется, что к ней нужно дать небольшое предисловие на тему о развитии самокритики в английском обществе конца XIX века.

А. Пешков».

Эта беглая и краткая записка легко может быть развита до размеров журнальной статьи. «Фарисеи» действительно написаны по той наивной и элементарной схеме, которой придерживались наиболее топорные из русских романистов 70-х годов — Шеллер-Михайлов, Бажин, Омулевский¹⁷ и другие. Как я узнал впоследствии, роман этот был написан под влиянием Степняка-Кравчинского¹⁸.

А когда «Всемирная литература» затеяла собрание сочинений Оскара Уайльда и я дал к этому изданию вступительный очерк (вышедший через несколько лет отдельной брошюрой), Горький прислал мне такое письмо:

«Дорогой Корней Иванович, как все у Вас, — статейка об Уайльде написана ярко, убедительно — и как всегда у Вас — очень субъективно. Я отнюдь не решаюсь навязывать Вам моего отношения к делу, но — убедительно прошу Вас помyslить вот о чем: Вы неоспоримо правы, когда говорите, что парадоксы Уайльда — “общие места наизворот”, но не допускаете ли Вы за этим стремлением вывернуть наизнанку все “общие места” более или менее сознательного желания насолить миссис Гренди * и пошатнуть английский пуританизм?

* *Миссис Гренди* — собирательный образ английской ханжи.

Мне думается, что такие явления, каковы Уайльд и Б[ернард] Шоу, слишком неожиданны для Англии XIX века и в то же время они — вполне естественны — английское лицемерие наилучше организованное лицемерие, и полагаю, что парадокс в области морали очень законное оружие борьбы против пуританизма.

Полагаю также, что Уайльд не чужд влиянию Ницше.

Моя просьба: прибавьте к статье одну, две главы об английском пуританизме и попытках борьбы с ним!

Весьма прошу Вас об этом, считая сие необходимым (свяжите Уайльда с Шоу и предшествовавшими им вроде Дженкинса¹⁹ и др.).

Извиняюсь за то, что позволил себе исправить некоторые описки в тексте статьи. Жму руку.

А. Пешков».

Замечательна в этой рецензии ее деликатность. Советуя мне исправить и дополнить написанную мною статью, он с первых же строк заявляет с величайшей скромностью, что «не решается навязать мне свое отношение к делу». А выправив в тексте статьи ее стилистические и всякие другие погрешности, он извиняется, что «позволил себе исправить» некоторые допущенные мною описки. Описками он назвал их опять-таки в силу своей деликатности: то были не описки, а ошибки.

Я не во всем был согласен с его отзывом об Оскаре Уайльде. При встрече я не без робости заявил ему о своем несогласии. Едва ли мне удалось убедить его, но он предоставил мне полную свободу суждений, потому что в совместной работе был необыкновенно терпим и уступчив, если дело не касалось основных его мыслей.

Вот и еще записка от Алексея Максимовича, относящаяся к тому же периоду:

«Корней Иванович! Посылаю Вам книгу, которую хвалят. Если Вы согласитесь с этим, т. е. признаете достойной перевода, — отдайте перевести. Всего доброго.

А. Пешков».

Записка опять-таки замечательна своей деликатностью. Щадя писательское самолюбие каждого из работавших с ним литераторов, он принимал усиленные меры, чтобы кто-нибудь из нас не подумал, будто он давит нас своим авторитетом, навязывает нам свои суждения. Чуть не в каждом письме он всякий раз оговаривается, что никакого императивного характера высказывания его не имеют.

Странно, что до сих пор у нас не изданы многие книги, которые Горький настойчиво рекомендовал для издания.

Посылая мне вырванный из какого-то журнала роман Рэкса Бича «Хищники», он в своей краткой записке отозвался о нем так:

«Очень интересный роман, кинематографически живо рисующий быт золотоискателей.

Если к нему добавить статью об Аляске, будет довольно полезная книга.

Перевод отчаянно плох и требует серьезнейшей редакции».

Тут же он указывал, каково должно быть содержание этой статьи об Аляске:

«Аляска: География. — История продажи ее Россией Соединенным Штатам Северной Америки. — Разработка золотоносных жил. — Законоположения. — Быт».

Много усилий было потрачено каждым из нас на составление списка тех книг, какие должны были в ближайшую очередь печататься в нашем издательстве. Эти списки Горький принимал очень близко к сердцу: он мечтал, что они воплотятся в сотнях и тысячах книг, предназначенных для приобщения новых, советских читателей к культуре всего человечества. Мне было поручено составить перечень наиболее замечательных книг, которые вышли за последнее столетие в США и Англии. Перечень этот мы долго обсуждали всей коллегией, при ближайшем участии Алексея Максимовича, а когда он был закончен и отдан в печать, Алексей Максимович взял его снова к себе, чтобы еще раз обдумать. И через несколько дней прислал мне такую записку:

«Корней Иванович! Нужен ли «Сартор Резартос»? *

Перевод этой книги есть, она не разошлась в русском издании, читается трудно.

Не много ли Теккерея?

«Базар житейской суеты» и «Ньюкомы» очень тяжелые книги. Они требуют 8 томов нашего издания.

У Барри²⁰ есть хорошая вещь «Леди Никотин». Не следует ли ввести ее?

Достаточно ли одной книги Холл Кейна?²¹ У него недурной роман «Христианин», кажется?

Нужно несколько рассказов Джерома для брошюр.

Вот все, что могу сказать по поводу Вашего списка.

А. П. ».

* «Сартор Резартос» — философский трактат Томаса Карлейля, написанный очень трудным языком.

И здесь он меньше всего предъявляет мне какие бы то ни было требования. Это пожелания, советы — и только.

Величайший литературный авторитет, он в разговоре с писателями о редакционных делах был гораздо более учтив и уступчив, чем иной из служащих в «аппарате» издательства.

Не все из рекомендуемых Алексеем Максимовичем книг представлялись мне достаточно ценными. Я возражал против включения их в список, он охотно принимал мои возражения. (Я тогда же подметил, как любит он, чтобы ему возражали.) Я без труда отказался от карлейлевского «Сартора Резартоса», но Теккерей отстаивал с упрямством — и заметил, что это упрямство ему по душе. Списки, составленные нами по указаниям Горького, впоследствии легли в основание всей работы издательства «Academia», которое в значительной мере осуществило созданную Горьким программу.

Но как осуществить эту программу, если хороших переводчиков мало, а главная их масса невежественна, бездарна, неряшлива? Это не на шутку тревожило Алексея Максимовича. Ведь издательству предстояло в кратчайшие сроки перевести — и не как-нибудь, а с наибольшим искусством — сотни и сотни томов греческих, турецких, английских, французских, шведских, испанских, арабских, индийских писателей. Тут требовались обширные кадры квалифицированных мастеров-переводчиков. Но кадров этих не было, и их предстояло создать. Правда, существовали поэты, переведшие на русский язык (и порою блистательно!) того или иного из зарубежных поэтов: кто Эдгара По, кто Верхарна, кто Вердена, кто Лопе де Вега, кто Гейне, но большинство из этих мастеров перевода в то время уже явно сходило со сцены — и, кроме того, все это были солисты, не приспособленные для коллективной работы.

Горький пробовал привлечь к делу перевода таких «посторонних», как Кони, Амфитеатров, Потапенко²², Ремизов, но попытка ни к чему не привела.

В довершение бедствия в Питере вдруг обнаружилось множество лиц, вообразивших себя переводчиками: бывшие князья и княгини, бывшие фрейлины, бывшие пажы, лицеисты, камергеры, сенаторы — вся бывшая петербургская знать, выброшенная революцией за борт. Эти люди осаждали нас изо дня в день, уверяя, что именно им надлежит поручить переводы Мольера, Вольтера, Стендаля, Бальзака, Анатоля Франса, Виктора Гюго, так как благодаря гувернанткам и боннам они с младенчества умеют свободно болтать по-французски.

Напрасно Горький, которого все эти люди окружали особенно тесным кольцом, терпеливо доказывал им, что переводить гениальных писателей может только первоклассный стилист, ибо художественный перевод — это большое искусство, доступное лишь мастерам своего (главным образом своего) языка, они так навязчиво приставали к нему, что в конце концов он, уступая их натиску, давал им «на пробу» перевести несколько страниц какого-нибудь французского автора, и всегда получался вопиющий конфуз.

На кого же могло опереться издательство? Лишь на очень немногих профессиональных, цеховых переводчиков. Но и те работали, так сказать, на «ура», наобум, без руля и ветрил, руководствуясь не столько научными принципами, сколько слепым интуитивным чутьем. Поэтому Горький поставил перед нами задачу: переквалифицировать всю эту «серую массу», поднять ее литературный и умственный уровень и внушить ей повышенное чувство ответственности. По предложению Алексея Максимовича было поручено профессору Батюшкову, поэту Гумилеву и мне сделать в нашей коллегии доклад, где были бы сформулированы хотя бы в самых общих чертах те минимальные требования, каким в настоящее время должен удовлетворять перевод, притязающий на почетное именование художественного²³. Наши доклады вызвали многодневные прения, в которых участвовали академик И. Ю. Крачковский, Александр Блок, профессор Ф. А. Браун²⁴ и др.

Из моего доклада выросла впоследствии книжка «Искусство перевода» («Высокое искусство»), в составлении которой Алексей Максимович принимал живейшее участие. У меня сохранилось первое издание этой книжки — вернее, брошюры (она называлась тогда «Принципы художественного перевода»), с рукописными поправками Алексея Максимовича. В ней я, между прочим, рекомендовал переводчикам почаще читать Даля, Лескова, Мельникова-Печерского, Глеба Успенского. Мой совет не понравился Горькому, и он написал на полях:

«Совет — опасный. Лексиконы Даля, Успенского, Лескова прекрасны, но представьте себе Виктора Гюго, переданного языком Лескова, Уайльда на языке Печерского, Анатоля Франса, изложенного по словарю Даля. Русификация иностранцев (в переводной литературе) и без того является серьезным несчастьем».

В одном из последующих изданий этой книжки я, конечно, переделал весь указанный абзац, чтобы даже против воли не способствовать тем «серьезным несчастьям», о которых сигнализировал Горький. Уже после того, как эта книжка была на-

печатана под названием «Искусство перевода», он прислал мне из Сорренто такое письмо:

«...вполне своевременно переизданная книжка об «Искусстве перевода», очевидно, не влияет на переводчиков, они свирепствуют, как привыкли:

“Дезертиры (?) и маорисы — дикие племена Новой Зеландии”; “Они пустились через шею острова”; “Заохотал сам с собою”; “Только тут он заметил, что прошел мимо себя, и, быстро возвратясь, позвонил в дверь”, — черт их возьми! В романе Р. Бенжамена “Жизнь Бальзака” Жоффруа Сент-Иллер — Жоффруа Святой Иллер!» *

Сам он во времена «Всемирной литературы» всячески боролся за повышение квалификации переводческих кадров. Взяв у меня чьи-то переводы рассказов английского писателя Джекобса²⁵, он тщательно выправил эти переводы и прислал мне такую записку:

«Все рассказы испещрены глаголом *говорить* в настоящем времени, — что дает читателю право упрекнуть переводчика в небрежности или безграмотности.

Кроме “говорит” можно употреблять формы “сказал”, “заметил”, “отозвался”, “откликнулся”, “повторил”, “молвил”, “воскликнул”, “заявил”, “дополнил”».

При издательстве была создана Студия художественного перевода (на Литейном проспекте, в бывшем доме Мурузи²⁶). В Студии читались лекции Михаилом Лозинским, Евгением Замятиным, Николаем Гумилевым, Андреем Левинсоном и многими другими. С переводчиками — молодыми и старыми — велись практические занятия, на которых в первое время нередко присутствовал Горький.

В день открытия Студии он обратился к слушателям с посланием, которое я и прочитал им, по его просьбе, перед началом занятий.

«Мне кажется, — писал Горький, — что в большинстве случаев переводчик начинает работу перевода сразу, как только книга попала ему в руки, не прочитав ее предварительно и не имея представления об ее особенностях.

Но и по одной книге, — даже в том случае, если она хорошо прочитана, — нельзя получить должного знакомства со всей сложностью технических приемов автора и его словесных капризов, с его музыкальными симпатиями и характером его фразы — со всеми приемами его творчества» и т. д.

* Частицу фамилии «Сент» невежественный переводчик воспринял как французское слово «святой».

Заканчивалось послание так:

«И может быть, “Студия всемирной литературы” найдет возможным остановить внимание свое на мыслях, изложенных здесь и, как все мысли, подлежащих критике».

Вот еще одна записка Алексея Максимовича — по поводу «Давида Копперфильда» в переводе Иринарха Введенского²⁷. Введенский был небрежным переводчиком. В его «Давиде Копперфильде» немало отсебятины и ошибок. Но так как он был очень талантлив и отлично воспроизводил самый стиль великого писателя, я сделал попытку исправить его перевод, причем мне было важно узнать, не вносят ли мои обильные поправки стилистического разнobia в переработанный текст. Алексей Максимович в своей краткой записке развеял мои опасения.

«К[орней] И[ванович]! Я не могу прийти сегодня — ненормальная температура и кровь.

В переводе Диккенса не усмотрел заметных разноречий между Введенским и Чуковским: ваша работа очень тщательна. Вот все, что могу сказать по этому поводу.

Несколько неловкостей выписаны на отдельном листке, вложенном в книгу... Жму руку.

А. Пешков».

Как известно, у Диккенса есть два романа, где в самом комическом виде он выводит своих родителей. Я написал об этом в своем предисловии к роману «Николас Никльби», на страницах которого Диккенс высмеял родную мать, придав забавные черты ее личности скудоумной матери героя.

«Может быть, следует, — хотя бы для разнообразия, — писал мне Горький по этому поводу, — указать в том месте предисловия, где говорится о матери Д[иккенса] и об отце его, — на то, что для искусства нет ничего запретного — ни матерей, ни отцов, ни бога, ни любимой женщины и что зоркие очи таланта видят смешное и уродливое в самом близком, дорогом...»

III

Столько души вкладывал он в будничную, мелочную работу, что у него не хватало минуты для творчества. А между тем «Всемирная литература» в ту пору была для него далеко не единственным делом. Вскоре он затеял обширную организацию Дома ученых и создал ряд театральных и литературных предприятий, к участию в которых привлек и нас, «всемирных ли-

тераторов». Часто бывало так, что до заседания «Всемирной» мы заседали с ним в качестве «Правления Союза художественных деятелей» или в качестве «Секции исторических картин», а после заседания «Всемирной», не сходя с места, превращались (за тем же столом) в «Высший совет Дома искусств», и во всех этих организациях Горький опять-таки не только председательствовал, но и делал черную работу, отнимавшую у него столько часов, что зачастую было непонятно, когда же выкраивает он время для сна и еды.

При такой нечеловеческой нагрузке он за все эти три года ни разу не дал себе отдыха.

Хотя в девятнадцатом году он и раздобыл дачи для писателей на Ермоловке, близ Сестрорецка, и сам одно время хотел поселиться на даче, но так захлопотался с Домом ученых, что ни разу за все лето не покинул раскаленного города. На следующее лето то же самое: хотел уехать в Павловск на три дня, но произошли какие-то пертурбации в Доме ученых, и он остался в Петрограде, — так и трех дней не отдохнул за весь год.

Однажды он задал нам задачу: составить для издательства Гржебина список «Ста лучших русских книг, вышедших в девятнадцатом веке». Обсуждение этого списка вызвало у нас много споров.

Когда заговорили о Загоскине и Лажечникове²⁸, Горький сказал:

— Не люблю. Плохие Вальтеры Скотты.

Когда заговорили о Василии Слепцове²⁹, к которому Горький всегда относился с любовью, он вспомнил, что Лев Толстой, читая один из слепцовских рассказов («Ночлег»), отозвался о сцене на печи:

— Похоже на моего «Поликушку», только у меня хуже.

Знания Горького оказались и в этой области больше тех, какие мы предполагали у него. Кто-то, например, упомянул о «малоизвестном писателе» Вельтмане³⁰. Обнаружилось, что Горький не только превосходно знаком с этим «малоизвестным писателем», но помнит даже, в котором году в «Отечественных записках» появился роман его жены или дочери Елены Вельтман «Приключения Густава»³¹. Оказалось, что никто из нас романа не читал. На следующий день Горький принес эту книгу и подарил мне:

— Стоящая книга. Солидная. Привлечен большой исторический материал...

В другой раз принес Замятину «Владимирку и Клязьму» Слепцова:

— Прочтите! Капитальная вещь — и чертовски талантливая! У большинства самоучек знания поневоле клочковатые. Сила же Горького заключалась именно в том, что все его литературные сведения были приведены им в систему. Никаких случайных разрозненных мнений его ум вообще не выносил, он всегда стремился к классификации фактов, к распределению их по разрядам и рубрикам. Во время совместной работы над списками русских писателей я убедился, что Горький не только лучше любого из нас знает самые темные закоулки русской литературной истории (знает и Воронова, и Платона Кускова, и Сергея Колошина!³²), но до тонкости разбирается в «течениях», «направлениях», «веяниях», которые и делают историю литературы историей. Байронизм, натурализм, символизм — вообще всевозможные «измы» были досконально изучены им.

Как это ни странно, некоторых тогдашних писателей даже раздражала огромная его эрудиция. Один из них говорил мне еще до того, как я познакомился с Алексеем Максимовичем:

— Думают: он — буреизвестник... А он — книжный червь, ученый сухарь, вызубрил всю энциклопедию Брокгауза, от слова «Аборт» до слова «Цедербаум».

Эти люди не хотели понять, что первым истинно революционным поэтом может быть лишь писатель величайшей культуры, образованнейший человек своего поколения, что одного «нутра», одной «стихийности» здесь недостаточно.

Книг он читал сотни по всем специальностям — по электричеству, по коннозаводству и даже по обезболиванию родов, — и нас всегда удивляло не только качество усваиваемых им элементов культуры, но и количество их. В день он писал такое множество писем, сколько иной из нас не напишет в месяц. А сколько он редактировал журналов и книг! И как самоотверженно он их редактировал! К стыду моему, должен сказать, что, когда в шестнадцатом году один начинающий автор принес мне свое сочинение, написанное чрезвычайно безграмотно, я вернул ему его рукопись как безнадежную. Он снес ее к Горькому. Горький сказал мне через несколько дней:

— Свежая, дельная, хорошая вещь.

Я глянул в эту рукопись: почти каждая строка оказалась зачеркнутой, и сверху рукою Горького написана новая.

— Жаден я на редактуру! — сказал Горький кому-то при мне.

Эта жадность доходила порою до страсти; всякую книгу, какая попадалась ему на глаза, он хотел не только прочитать, но по возможности переделать, исправить. Красно-синий каран-

даш был у него всегда наготове, и я видел в двадцатом году, как он, читая только что полученное от одного литератора ругательное письмо, написанное сумбурным, неврастеническим словом, машинально выправил это письмо: ругательства остались, но запутанная фразеология заменилась отчетливой.

Даже когда читал он газеты, он, сам не замечая того, нет-нет да и поправит карандашом не понравившийся ему оборот в мелкой репортерской заметке — до такой степени его творческой личности было чуждо пассивное отношение к читаемому.

Как-то он взял у меня грузную рукопись — чьи-то переводы рассказов английского писателя Джерома. Я просил его бегло перелистать их, не годятся ли они для «Всемирной». Он же тщательно отделал всю рукопись, всю испещрил ее своими поправками, а в конце написал:

«Не годится».

IV

30 марта 1919 г. мы, «всемирные литераторы», праздновали в тесном кругу 50-летие Горького*. Бокалы для шампанского были налиты чаем (без сахара), каждый участвующий получил по роскошной лепешке величиной с пятак.

Присутствовало человек сорок — не больше. В том числе Александр Блок, Гумилев, Федор Батюшков, Евгений Замятин, Аким Волинский, Андрей Левинсон, Александр Тихонов (Серебров), а также рабочие из типографии.

Чествование вышло задушевное. Александр Блок записал в мою «Чукоккалу»:

«Сегодняшний юбилейный день Алексея Максимовича светел и очень насыщен — не пустой день, а музыкальный».

Но к концу этого «музыкального» дня Горький вдруг вспыл и разгневался и стал вести себя совсем не юбилейно.

Дело в том, что профессор Батюшков, милый и почтенный человек, имел очень простительную слабость: любил произносить юбилейные речи писателям, причем каждому юбиляру всегда говорил главным образом о гуманности его произведений, о его нежной любви к падшим и униженным людям.

* Хотя Горький родился в 1868 году, датой его рождения в ту пору ошибочно считался 1869 год. См. репортерский отчет в газете «Жизнь и искусство», 1919, № 109 от 2 апреля: «Литературное чествование Максима Горького».

С такой речью он обращался когда-то и к Мамину-Сибиряку, и к Короленко и теперь обратился к Горькому.

Алексей Максимович слушал его терпеливо, но когда оратор, ссылаясь на горьковскую пьесу «Старик», стал восхвалять героя этой пьесы, утверждая, будто Горький озарил своего старика каким-то «ласковым и кротким сиянием», Горький сердито встал, перегнулся через стол и сказал, сильно ударяя на «о»:

— Позвольте, позвольте... Прошу прощения... Это не так... Да, не так. Униженных и падших я терпеть не могу. А этого старика не-на-ви-жу.

Через минуту Горький смягчил свою резкость улыбкой, но Батюшков сконфуженно потупил глаза и еле досказал свою речь.

Никогда в жизни, ни раньше, ни после, я не видел, чтобы юбиляр полемизировал с теми, кто пришел славословить его, но никакие юбилеи не могли помешать Алексею Максимовичу громко осудить ту идею, которая была враждебна ему.

Домой я возвращался с группой типографских рабочих. Рабочие шли и смеялись.

— Здорово он отбрил этого старичка! — говорили они. — Так и сказал ему прямо в лицо: «Я тебя, милый друг, ненавижу!»

В их представлении Батюшков и был тот старик, о котором Горький говорил с такой ненавистью.

Ненависть Горького была вызвана либеральным гуманизмом профессора. Горький в то время не раз говорил, что эра дряблого гуманизма христианской Европы закончилась, что этот гуманизм разоблачен и дискредитирован всеми событиями нашей эпохи.

На ближайшем заседании Горький рассказал мне тихим шепотом, что по случаю его 50-летия один заключенный прислал ему из тюрьмы такое прошение:

«Дорогой писатель!

Не будет ли какой амнистии по случаю вашего тезоименитства? Я сижу в тюрьме за убийство жены, убил ее на пятый день после свадьбы за то, что она (тут следовали очень откровенные подробности)... Так нельзя ли мне устроить амнистию?»

Таких писем получал он много. В 1920 году он получил телеграмму от неизвестного ему человека:

«Максиму Горькому.

Сейчас у меня украли на станции Киляево две пары брюк и 16 000 рублей денег».

Через неделю после юбилея Александр Блок читал на квартире у А. Н. Тихонова (Сереброва) доклад о роли гуманизма в современной культуре. Доклад был по поводу Гейне, и в нем говорилось, что теперь «колокол антигуманизма громче и звучнее, чем прежде»³³. Горький очень взволнованно слушал, а потом, обращаясь к Блоку, сказал:

— Я человек бытовой, и, конечно, мы с вами люди разные, и вы удивитесь тому, что я скажу, но мне тоже кажется, что гуманизм, именно гуманизм в христианском смысле, должен полететь ко всем чертям...

На заседаниях «Всемирной литературы» с теми, кто высказывал враждебные Горькому взгляды, он старался быть бесстрастным и терпимым. Споря с ними, он постоянно уснащал свою речь всевозможными учтивыми фразами: «Я позволю себе заметить», «Я позволю себе указать». Но эта учтивость давалась ему нелегко. Если кто-нибудь высказывал суждения, представляющиеся ему вопиюще неверными, он с трудом обуздывал свой гнев и в течение всей речи противника нетерпеливо стучал своими тяжелыми пальцами по столу — то быстрее, то медленнее, будто исполнял на рояле дьявольски трудный пассаж, и лишь изредка отрывался от этой работы, чтобы сердито закрутить свой рыжий ус. А если неприятная речь тянулась дольше, чем он ожидал, он схватывал лист бумаги и с яростной аккуратностью, быстро-быстро разрывал его на узкие полосы и делал из каждой полосы по кораблику. Раз! Раз! Раз! Раз! Восемь корабликов — целый флот.

Если же оратор не замолчит и тогда, расшвырявшие пальцы хватают из пепельницы груды окурков и сокрушительно вдавливают каждый окурочек в корабль, словно расправляясь с ненавистным оратором.

Я сохранил один из таких корабликов, вклеив его в свою «Чукоккалу».

В самом начале двадцатых годов в Петрограде возникла группа начинающих юных писателей — «Серапионовы братья»³⁴. Горький дружески сблизился с ними и, как мог, помогал им работать. Задача у него была большая: сплотить этих будущих писателей на общей работе для новых читательских масс. Вскоре у него возникла мысль напечатать сборник их стихов и рассказов. Сборник должен был называться «1921 год».

Я часто видел их вместе — этих юных литераторов и Горького. Разговоры у них шли непринужденные, товарищеские, причем Горький с большой осторожностью применял к ним свою «педагогику». Один из таких разговоров, происходивший

на Кронверкском³⁵, я записал слово в слово и приведу его здесь, так как он кажется мне очень характерным для тональности тогдашних отношений Алексея Максимовича к этой писательской группе.

— Какого я слышал вчера куплетиста, — сказал Горький, — талант. Даже потеет талантом. Пел, между прочим, такие стишки:

Анархист в сенях стащил
Полушалок теткин.
Ах, тому ль его учил
Господин Кропоткин?³⁶

Федин, вернувшийся тогда из Москвы, рассказал, что в Москве его поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались, а он — никакого внимания.

— И не бил никого? — спросил Горький.

— Нет. Приехал куда надо, прошел через вагон и вышел с передней площадки.

— Хозяин! — сказал Горький.

Заговорили о крестьянах. Федин очень живо изобразил замученную городскую девицу, которая, изголодавшись в городе, приволокла в деревню мануфактуру и деньги, чтобы обменять на съестное. «Деньги? — сказала ей баба в первой же избе. — На что мне твои деньги? Поди-ка сюда. Сунь руку. Сунь, не бойся! Глубже, до дна. Вся кадка у меня ими набита, и каждый день муж играет в очко и выигрывает тысяч сто—сто пятьдесят».

Девушка была в отчаянии, но улыбнулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это у тебя такое?» — «Зуб». — «Золотой?» — «Золотой». — «Что ж ты его сбоку спрятала? Выставила бы спереди. Нравится мне этот зуб, я бы тебе за него картошки сколько хочешь дала...» Девушка взяла вилку и выковыряла зуб. Баба сказала: «Ступай вниз. Набери картошки, сколько хочешь. Сколько поднимешь». Та навалила много, но поднять не могла. Баба равнодушно: «Ну, отсыпь».

Горький на это сказал:

— Вчера я иду домой. Вижу, в окне свет. Глянул, сидит человек и ремингтон³⁷ починяет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел какой-то бородатый. Тоже стал глядеть и вдруг: «Сволочи! Чего придумали? Мало им писать, как все люди, так и тут машину присобачили. Сволочи!»

Такая «посторонняя» беседа длилась довольно долго. И лишь после того, как благодаря ей создалась атмосфера душев-

ной близости, душевного уюта, Горький заговорил о рассказах, написанных этой молодежью для сборника, то есть о том, ради чего вся она собралась у него. Сборник должен был выйти под редакцией Алексея Максимовича.

— Позвольте поделиться моим мнением о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, потому что я никогда никого не желал поучать. Начну с комплиментов. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще никогда не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне, как бытовика, очень дорог ее общий тон. Очень сильно и правдиво. Есть какая-то история в этом, почти физически ощутимая, живая и трепетная. Хорошая книга.

Тут Горький заговорил о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека.

— Человек предан в жертву факту. Но мне кажется, не допущена ли тут — в умалении человека — некоторая ошибка? Кожные раздражения не приняты ли за нечто другое? Ведь и при коллективизме роль личности оказалась огромной. Например, Ленин. А у вас герой затискан. В каждом данном рассказе недостаток внимания к человеку, а в жизни человек все-таки свою человеческую роль выполняет...

Дальнейшие слова Алексея Максимовича я, к сожалению, не мог записать, так как, заметив у меня в руке карандаш и узнав, что я записываю его слова для потомства, он подошел ко мне и сердито сказал:

— Я и сам немного умею писать. Что будет нужно, я и сам кое-как напишу.

Я готов был провалиться сквозь землю и только лет десять спустя узнал, что при таких обстоятельствах Алексей Максимович обрушивался не на меня одного.

В его семье долгое время проживал живописец Иван Николаевич Ракитский, скромный, чистосердечный, молчаливый, услужливый. Этот Ракитский (или, как звали его в семье, Соловей) вел очень подробный дневник, где записывал высказывания Горького о разных книгах, событиях, людях, вещах, так что у него собралось несколько драгоценных тетрадей.

Зайдя как-то к Ракитскому в комнату и увидя у него эти тетради, Алексей Максимович с негодованием потребовал, чтобы Ракитский немедленно бросил их в печку, и тот, испытывая мучительную душевную боль, беспрекословно подчинился требованию Алексея Максимовича. Ему было ясно, что здесь не каприз, а принципиальное нежелание фигурировать в роли

оракула, чьи изречения записываются в назидание грядущим векам.

Все это поведал мне сам Соловей, а семья Горького подтвердила его грустный рассказ.

V

Я познакомился с Горьким за два года до возникновения «Всемирной литературы» — 21 сентября шестнадцатого года. Мы встретились на Финляндском вокзале для совместной поездки к Репину. В вагоне он был пасмурен, и его черный костюм казался трауром. Чувствовалось, что война, которая была тогда в полном разгаре, томит его как застарелая боль. В то время он редактировал «Летопись» — единственный русский легальный журнал, пытавшийся протестовать против войны.

До обеда мы сидели у Репина в мастерской — Репин взял небольшой «крупнозернистый» холст и стал писать Горького в профиль. Горький ни минуты не сидел спокойно, вертелся и все время рассказывал разные истории — то смешные, то трогательные.

Заговорили почему-то о любви, и он рассказал, между прочим, о грозном нижегородском сатрапе генерал-губернаторе Баранове.

— Все боялись его... вор и злодей... И вот, оказывается, по утрам на рассвете в переулочке у него свидание с красивой женой пивовара... Сам высокий, она низенькая... так вдоль забора и гуляют... Она смотрит на него любовно снизу вверх, а он сверху вниз... а я из-за забора гляжу и люблюсь... А то еще смотритель тюрьмы... мордобоец... Знаменитый в Нижнем душегуб... поднимет, бывало, воротничок... и к швейке. Швейка со мной по соседству, за перегородкой, в гнуснейшем доме живет. Он к ней и тихо, спокойно Лермонтова ей декламирует:

Печальный демон, дух изгнания...

Гости у Репина были случайные: какие-то молчаливые прапорщики, адвокат из Казани, костлявая певица из Киева. Зашел разговор о войне. Оказалось, все они жаждут «войны до победы». Горький слушал их сумрачно, а когда они, наконец, замолчали, стал медленно и монотонно говорить об ужасах затеянной империалистами бойни:

— Сколько полезнейших мозгов разбрызгивается зря по земле каждый день... французских, немецких, турецких... да и наших, тоже не дурацких...

Пошли обедать. Среди гостей был худосочный поручик, только что вернувшийся с фронта. Он слушал Горького спокойно и учтиво. И вдруг его словно прорвало: он ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что наши французские союзники доблестны и наши английские союзники доблестны... И Россия, давшая миру Петра Великого, Пушкина, Репина, должна быть грудью защищена и т. д.

— Этот человек, — сказал Горький, — кажется, воображает, будто я команду немецкой армией.

Поручик почему-то вспылil, неожиданно для всех и, кажется, для самого себя, вскочил из-за стола, подбежал к Алексею Максимовичу и, зажмурив глаза, замахнулся, как бы собираясь ударить. Его удержали. Он стал фальцетом выкрикивать, что Горький пораженец, предатель, агент кайзера Вильгельма II. Репин был в отчаянии, но Горький только усмехнулся угрюмо:

— Ничего, Илья Ефимов, я привык!

Врагов у него всегда было вдоволь, и это внушило ему спокойную гордость. В тот же вечер в своей квартире на Кронверкском он дал мне широкий конверт, на котором его рукой было написано: «Читатель отвечает». В конверте были письма, сплошь ругательные. К ним было приложение — петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода — посылать «пораженцу» Максиму Горькому петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены. Получив подобное письмо, Горький надевал свои простенькие в серебряной оправе очки и читал его тщательно, от слова до слова (получаемые письма он никогда не рассматривал бегло, а вчитывался в каждую букву, подчеркивая красно-синим карандашом наиболее выразительные строки).

У «Летописи» были в ту пору частые препирательства с военной цензурой. В один из тех же сентябрьских дней Алексей Максимович пошел объясняться к начальнику цензурного ведомства. Начальник не знал, что перед ним Горький, и с большим раздражением, даже не пригласив его сесть, выслушал его резкие отзывы о цензоре «Летописи».

— Неумный... да, неумный господин, — говорил об этом чиновнике Горький.

— Как вы смеете! — рассердился начальник.

— Потому что это правда, сударь.

— Я вам не сударь, а ваше превосходительство.

Горький закашлялся и сквозь кашель отрывисто, но отчетливо выговорил:

— Идите, ваше превосходительство, к черту.

Начальнику шепнули, что его посетитель Горький, и он заулыбался почтительно. Кашель у Горького стал еще более удушливым, но, сотрясаемый кашлем, он делал те же непримиримые жесты:

— Идите, ваше превосходительство, к черту!

VI

В 1920 году Горький предложил мне подготовить к печати собрание моих критических статей и взялся редактировать их.

Составив тщательно разработанный план первого тома собрания моих сочинений, он написал мне в обширном письме:

«Вот как рисуется мне первая книга. Думаю, что в этом виде — с некоторыми поправками и чисткой текста — у нее есть начало, продолжение — очень содержательное — и логический конец... Очень советую издать отдельной книгой у Белопольского³⁸ в издательстве “Северное сияние” —

“Детский язык” и
“Лидия Чарская”.

Об этом издании с Белопольским могу поговорить я».

Почти о каждой моей статье о Сергееве-Ценском³⁹ он пишет:

«Мысль: “Ценский не был бы русский писатель, если бы умел прославить дельца”, верна, великолепна, ее надо немного развить... Лескова, прославляющего дело и дельца, не читают, не знают».

По поводу моей статьи о Короленко:

«“Теперь, когда в душе у каждого гимназиста Апокалипсис” — это очень глубокая, страшно верная мысль, крайне жалко, что вы ее бросили без призора, без развития, точно робкая девица “незаконнорожденного” ребенка. А ведь ребенок-то наизаконнейше рожден, заслуживает нежнейшего ухода, внимательного воспитания. От этой мысли во все стороны — на всю книгу — сверкает свет, освещающий все и всех. Считаю, — убежден, что положительно необходимо закончить книгу именно развитием этой мысли, — вы, конечно, понимаете, какой она от сего приобретает глубокий исторический интерес».

В том же письме Горький подсказывает мне важную мысль о разрыве Короленко с народниками:

«Право же, следовало бы вам отметить одну крупную — может быть, великую заслугу Короленко пред всеми нами: он первый с поразительной ясностью дал *тип* великорусского мужика, исторически сложившийся тип, это — Тюлин — “Река играет”... Короленко смотрит на великорус-

скую жизнь глазами человека несколько иной культуры, поэтому он и разглядел Тюлина так великолепно верно. Без Тюлина невозможны “Мужики”, “В овраге” (Чехов), невозможны рассказы Бунина. Тюлин — осторожный, но решительный разрыв с традициями народнических акафистов мужику».

Все эти советы и подсказы чрезвычайно типичны для Горького. Каждую чужую статью, в которой находил он проблеск достоинств, старался он обогатить и дополнить своими образами, своими идеями. Он рад был сотрудничать с каждым из нас в качестве, так сказать, мелиоратора наших работ.

Так были отремонтированы Горьким три мои книги, и нужно сказать, что ни один критик, ни один рецензент не затратил на них столько души, сколько затратил загруженный огромной работой, больной и переутомленный Горький.

Но не следует думать, что мы, писатели, получали от него одни лишь хвалебные письма. Для оценки наших литературных работ у него был единственно твердый критерий: интересы советских читателей, и если ему казалось, что мы наносим этим интересам ущерб, он чувствовал себя вынужденным высказывать нам самую жестокую правду.

Однажды — это было значительно позже — он обратился ко мне с предложением дать для журнала «Литературная учеба» статью «Как Некрасов учился писать». А я, как нарочно, незадолго до этого разыскал в старых изданиях и рукописях несколько блистательных пародий Некрасова на Жуковского, Языкова, Бенедиктова, Фета, и мне показалось, что я воочию вижу, как путем пародирования своих знаменитых предшественников молодой Некрасов учился владеть их поэтической техникой и таким образом преодолевал их влияние. Мне почудилось, что эти ученические опыты в разработке чужих литературных приемов были для самоучки Некрасова отличной школой на пути к созданию самобытного стиля. Я изложил эти мысли в довольно элементарной статье, которую послал Алексею Максимовичу. Велико было мое огорчение, когда я получил от него из Италии неодобрительное, сухое письмо:

«Оба ваших совета: подражать классикам и учиться на пародиях, могут возбудить некоторое “смятение умов”. Гораздо полезнее учиться у классиков, чем подражать им и заимствовать у них. Второй совет “пародировать” может понудить некоторых начинающих к бесполезной трате времени на поиски нелепого набора словечек, вроде:

Верзилу Вавилу бревном придавило.

Но для того, чтобы даже такие словечки подбирать, нужно быть Измайловым⁴⁰. Затем: что же, начинающие поэты друг друга пародировать будут? Взаимоотношения их и без того не радуют».

Огорченный этим отзывом Алексея Максимовича, я послал ему большое письмо, пытаюсь защитит и обосновать свое мнение. Но письмо не убедило его.

«С вашим утверждением, — писал он в ответ, — что “подражание и есть один из методов самообучения”, мне очень трудно согласиться, несмотря на факты, вами приведенные. Гоголь подражал Марлинскому⁴¹, но он пошел Гоголем, — мне кажется, — уже после того, как перестал подражать. И вообще, подражание едва ли учит, а что оно — поработает, это бесспорно. Сейчас добрые три четверти молодой литературы нашей — подражательны. А вот на днях я прочитал книгу Пасынкова “Тайна”⁴² — какая свежая, независимая вещь! Нет, я против подражания, особенно в той его догматической, — а вовсе не “прагматической” форме, как Вы его утверждаете».

Я пробовал переделывать эту статью, но он так и не напечатал ее.

Впоследствии выяснилось, что, по существу, он не оспаривал правильности моих наблюдений над творческими путями Некрасова, но не желает, чтобы подобные наблюдения превращались в рецепты для начинающих авторов: он всегда считал своим педагогическим долгом оберегать пишущую молодежь от сбивчивых и зыбких теорий.

Но, конечно, его и тут не оставила обычная его деликатность. Сурово осудив мою статью, он, чтобы смягчить впечатление, которое его суровость должна была произвести на меня, приписал такие строки:

«Знали бы вы, какая здесь паника, еще и теперь, хотя уже прошло 8 дней от катастрофы? И — невероятное количество “чудес”. В Сорренто даже явился с небес патрон города Антонио аббато. Гулял по улицам ночью, величественный, весь в белом, и, обокрав две квартиры, исчез. А в Неаполе на Вольеро по богатым виллам ходили монахи, предсказывая новое землетрясение и рекомендуя людям спать на улицах. Многие послушались и — потерпели. Третьего дня монахи были выслежены и арестованы».

Сообщаемая мне Алексеем Максимовичем хроника городских происшествий в Италии так не вязалась с сухим, полемическим тоном письма, до такой степени выпадала из стиля нашей деловой переписки, что цель ее была для меня очевидна: она должна была показать мне, что, хотя Алексей Максимович порицает написанную мною статью, это отнюдь не значит, что

он питает ко мне, ее автору, враждебные чувства. Такова была обычная тактика Алексея Максимовича в оберегании писательских самолюбий.

Для того же, чтобы окончательно сгладить то тяжелое чувство, которое мог оставить во мне его суровый отзыв о моей неудачной статье, он вскоре вслед за этим прислал мне шуточное письмо, в котором, между прочим, писал:

«...да, я уже дедушка, внуку мою зовут Марфа, и, кажется, она будет комической актрисой. А, может быть, — художницей, эдак вроде Виже Лебрен⁴³, ибо уже и сейчас заинтересована живописью, любит тыкать пальцами в картины и рассказывать о них на неизвестном языке весьма забавные истории.

Картины пишут ее родители, сын Шаляпина Борис, сын Бенуа и Соловей Ракитский и еще многие, в том числе Борис Григорьев, который, написав портрет Горького, придал рукам его какое-то масонское положение и еще раз, в свою очередь, прославил писателя: теперь здесь говорят:

— А [Горький]-то масон, видите?»

И так как в то время я писал книгу о детях, о детском языке, «От двух до пяти», Горький, по своему обычаю, принял и в этой работе участие:

«И в “Артамоновых”, и в “Тараканах” детские слова, вероятно, сделаны мною, а может быть, я их слышал когда-то и “освоил”.

Веру Инбер Вы, конечно, использовали, но разрешите напомнить Вам рассказ Сергеева-Ценского “Не надо” и рекомендовать Юрезанского “Человек” из его книги “Зной”».

VII

В заключение мне следовало бы сказать о той незабываемой роли, которую сыграл Горький в истории детской литературы: как упорно он помогал нам, детским писателям, бороться с леваками-педолагами, сколько раз спасал он наши книги от тогдашнего Наркомпроса, от РАПП и пр. Но это большая тема, требующая особой статьи. Здесь же я скажу всего лишь несколько слов — о временах, так сказать, доисторических, ныне уже прочно забытых.

Писать о детской литературе я начал с 1907 года. Было в ней, конечно, и хорошее, но в основном она была катастрофически плоха: банальная, неряшливая, мещанская, пошлая. Хуже всего было то, что наиболее влиятельные из детских журналов и книг растлевали малолетних читателей пропаган-

дой реакционных идей. Нужно было защитить детвору от такого засилия пошлятины, и я стал обличать эти журналы и книги в ряде газетных статей («Чарская», «Задушевное слово» и пр.). Но голос мой был одинок и слаб.

Большая литература в ту пору, как это часто бывает в эпоху реакций, была увлечена «тайнами смерти и вечности», «богоборчеством», «богоискательством», мистикой и вопрос о литературе для пятилетних-семилетних детей казался ей чересчур незначительным. На меня стали смотреть как на маньяка, надоедливо скулящего о малоинтересных вещах.

«Что отвратительно поставлено в детских журналах, — писал я тогда же, больше полувека назад, — это стихи. Детских поэтов у нас все еще нет, а есть какие-то мрачные личности, которым легче пролезть в игольное ушко, чем избежать неизбежных «уж», «лишь», «аж», «вдруг», «вмиг», которые в муках рождают унылые вирши про рождество и про пасху».

Я и не предвидел тогда, что доживу до расцвета детской поэзии, какого никогда не бывало ни в старинной нашей литературе, ни в новой, что у меня на глазах выдвинется когорта поэтов, которые поднимут этот захудалый и всеми презиравшийся жанр до высоты огромного искусства — и не только в РСФСР, но и на Украине, и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане, что вообще детская литература делается, как любил выражаться Горький, великой державой, завоевавшей себе признание у самых строгих и взыскательных читателей нашей страны, а также в Японии, в Индии, в Болгарии, в Югославии, в Исландии.

Об этом, повторяю, я не смел и мечтать. Первый мечтатель, которого я встретил в то давнее время, был Горький. Помню, меня обрадовало при первой же встрече с ним, что он не только ненавидит глубочайшею ненавистью ту убогую фальшь, которая звалась тогда детской литературой, но отчетливо знает, какую нужно литературу создать, чтобы вытеснить из обихода детей и Чарскую⁴⁴, и Лукашевич⁴⁵, и «Задушевное слово», и до такой степени конкретно, во всех подробностях, предвидит ее, будто она уже стала реальностью.

Как было сказано выше, именно из-за детской литературы он и познакомился со мною. Когда я пытался печатно обличать ее беспринципность и дрянность, я и не подозревал, что Горький сочувственно следит за моими попытками. Но однажды, в сентябре 1916 года, ко мне пришел от него художник, Зиновий Гржебин, работавший в издательстве «Парус», и сказал, что Алексей Максимович намерен наладить при этом издательстве

детский отдел с очень широкой программой и хочет привлечь к этому делу меня. Было решено, что мы встретимся на Финляндском вокзале и вместе поедem в Куоккалу, к Репину, и по дороге побеседуем о «детских делах».

Я пришел к поезду в назначенный час. Первые минуты знакомства были для меня тяжелы. Горький сидел у окна, за маленьким столиком, угрюмо упершись подбородком в большие свои кулаки, и изредка, словно нехотя, бросал две-три фразы Зиновию Гржебину. А потом, не поднимая головы, стал хмуро глядеть в окно на унылые клочья паровозного дыма — ни разу даже не посмотрел в мою сторону. Я затосковал от обиды.

Но вдруг в одно мгновение он сбросил с себя всю угрюмость, приблизил ко мне греющие голубые глаза (я сидел у того же окошка на противоположной скамье) и сказал повеселевшим голосом с сильным ударением на «о»:

— По-го-во-рим о детях.

И стал рассказывать о своих встречах с детьми, о своих наблюдениях над ними. Говорил о трех девочках Зиновия Гржебина (я тоже знал этих талантливых девочек — Капу, Бубу и Лялю), говорил о мальчике-калеке, которого он вывел в рассказе «Страсти-мордасти», о нижегородских, итальянских детях, воспроизводя их забавные речи, а порою и мимику. Я видел: самое воспоминание о том, что в этом мире существуют дети, чудотворно расплавilo его недавнюю хмурость, словно он был благодарен кому-то, что существует на свете такое поэтичное, неиссякаемое, вечно обновляющее всю нашу жизнь, творческое, непобедимое племя детей.

Что Горький может быть *такой*, я не знал. Он оказался совершенно не похож на того, каким его изображали мне его друзья и враги, каким я представлял его себе по его сочинениям.

Тут-то он и заговорил о борьбе за полноценную детскую книгу. Оказалось, что он, единственный из всех литераторов, которых я в то время встречал, так же ненавидит всех этих Туминов, Елачичей, Александров Кругловых⁴⁶, врагов и душителей детства.

— Детскую литературу, — говорил он, — у нас делают ханжи и прохвосты, это факт. Ханжи и прохвосты. И разные перезрелые барыни. Вот вы все ругаете Чарскую, Клавдию Лукашевич, «Путеводные огоньки»⁴⁷, «Светлячки»⁴⁸, но ругательствами делу не поможешь. Представьте себе, что эти мутноглазые уже уничтожены вами, — что же вы дадите ребенку взамен? Сейчас одна хорошая детская книга сделает больше добра, чем десяток полемических статей. Если вы в самом деле хотите,

чтобы эта гниль уничтожилась, не бросайтесь на нее с кулаками, а создайте нечто свое, настояще художественное, и она сама собою рассыплется. Это будет лучшая полемика — не словом, а творчеством.

Я давно носился с соблазнительным замыслом — привлечь самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя бы одной-единственной «Книги для маленьких», в противовес рыночным изданиям Сытина, Клюкина, Вольфа⁴⁹. В 1911 году я даже составил подобную книгу под сказочным названием «Жар-птица»⁵⁰, пригласив для участия в ней А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, Марию Моравскую⁸¹, а также многих первоклассных рисовальщиков, но книга эта именно из-за своего высокого качества (а также из-за высокой цены) не имела никакого успеха и была затерта базарною дрянью.

Оказалось, что Горький знаком и с «Жар-птицей».

— Но этого мало, — сказал он, — тут нужна не одна книга, а по крайней мере триста-четыре тысячи самых лучших, какие только существуют в литературе всех стран, — и сказки, и стихи, и научно-популярные книги, и исторические романы, и Жюль Верн, и Марк Твен, и Миклухо-Маклай... Только таким путем и возможно бороться с этой мерзостью... И рисунки в детских книжках должны быть высочайшего качества — не каракули каких-нибудь Табуриных, а Репин, Добужинский, Замирайло...⁵²

Я слушал его с восхищением. Наконец-то детская литература будет вырвана из рук аферистов и пошлых бездарностей!

Но радость моя вскоре омрачилась, так как Горький потребовал, чтобы в ближайшие дни я принял участие в выработке подробной программы издательства, а я чувствовал себя неподготовленным, оробел и смутился.

Вскоре я пришел к нему в издательство «Парус», и мы (вместе с Александром Бенуа) стали составлять под его руководством гигантский и, как мне казалось тогда, совершенно нереальный список лучших детских книг всего мира, которые необходимо в ближайшее время издать. А. Н. Тихонов (Серебров), впоследствии автор чудесных воспоминаний о Льве Толстом, Чехове, Горьком, Комиссаржевской и др., тогда заведовал издательством «Парус» и тоже принял участие в нашей работе*.

* Книга Александра Сереброва (Тихонова) называется «Время и люди». Это был человек большого размаха, талантливый организатор.

Казалось бы, все эти планы были сплошной фантастикой. Ведь Горький хорошо сознавал, что детская литература в то время была безлюдной и бесплодной пустыней. И все же он действовал так, словно в этой пустыне уже существуют десятки деятельных и дружно сплоченных талантов. Да и весь составившийся Алексеем Максимовичем план являлся по своему духу, так сказать, прадедом или даже прапрадедом нынешнего детгизовского плана. В нем был тот же широкий охват всех многообразных интересов ребенка, и даже многие рубрики в нем были такие же, какие имеются в нынешних планах.

В работе с Алексеем Максимовичем для меня впервые стало ясно, что детская литература чрезвычайно трудоемкое и сложное дело, требующее раньше всего большой эрудиции. Эрудиция Горького в этой области была всеобъемлющей. Обнаружилось, что он знает не только парадные комнаты детской словесности, но и все ее чердаки и подвалы. Знает и Борьку Федорова⁵³, и Фурмана⁵⁴, и старуху Ишимову⁵⁵, и Клавдию Лукашевич, и Желиховскую⁵⁶, и Александра Круглова. Французская литература для детей была столь же досконально известна ему, как и голландская, и чешская, и американо-английская.

— Нужно, — говорил он, — перевести скорее такие-то и такие-то книги, — и улыбался приветливо по адресу этих замечательных книг, а я, к стыду своему, даже их заглавий никогда не слышал, хотя и занимался детской литературой всю жизнь. Поэтому к каждому нашему совещанию мне приходилось готовиться, словно к экзамену, и впоследствии это принесло мне немалую пользу.

Разрухой, войной, революцией работа Горького была прервана на короткое время, но уже в 1919 или 1920 году Горький снова принялся за нее. От того времени у меня сохранилось несколько горьковских списков, и повторяю, что только теперь, освободившись от всяких педологических и иных предубеждений, Детгиз осуществляет программу, которая была намечена Алексеем Максимовичем в те давние годы.

К сожалению, в то время эта программа так и осталась мечтой. Были изданы всего лишь несколько книг, в том числе «Вильгельм Телль», «Айвенго» и ныне несправедливо забытая «Елка».

Необходимо сказать об этой книге подробнее: в качестве библиографической редкости она почти никому не известна, а между тем это первая детская книга, которую проредактировал Горький.

Первоначальное ее название было «Радуга». Она предназначалась для детей младшего возраста. В ней были иллюстрации Репина, Лебедева⁵⁷, Замирайло, Валентины Ходасевич, А. Радакова⁵⁸, Юрия Анненкова, Добужинского, Александра Бенуа, Сергея Чехонина⁵⁹. Из-за типографской разрухи эта «Радуга» так долго печаталась, что вместо марта-апреля 1917 года вышла лишь в следующем году, в конце января, в многоснежную зиму, когда ни о каких радугах не могло быть и речи. Поэтому издательство внезапно решило переименовать нашу «Радугу» в «Елку». Это пагубно отразилось на внешности книги, потому что мы принуждены были выбросить и прелестную многоцветную обложку, и пышный форзац, изображающий радугу, на которую карабкается веселая толпа малышей. Все это великолепие было заменено некоей скудной банальностью, состряпанной наспех и чрезвычайно огорчившей Алексея Максимовича. Особенно был неприятен ему рисунок на первой странице, где елку зажигают ангелочки, проникшие в книгу, так сказать, контрабандой, после того как она была сверстана и подписана Горьким к печати. Ведь в том и заключалось боевое своеобразие нашего сборника, что из него были изгнаны серафимы, ангелы-хранители, волхвы, вифлеемские звезды, считавшиеся необходимыми аксессуарами подарочных книг того времени, и вдруг как вывеска сборника — на первой же страницы чуть не две дюжины херувимчиков с крылышками, а на вершине елки, на маленьком облаке, уютно примостился как ни в чем не бывало младенец Христос, благословляющий обеими руками всю эту небесную ораву.

Неприятный сюрприз был устроен художником, которому Горький вверил всю иллюстрационную часть нашей «Елки».

Действительно, херувимчики находятся в резком противоречии со всем содержанием и замыслом книги. Такие вещи, как рассказ Алексея Толстого «Фофка», сказка Любовиной «Как пропала баба Яга», направлены именно к искоренению мистики. Горький говорил нам, когда мы принимались за составление сборника: «Пожалуйста, никаких вифлеемов. Побольше юмора, даже сатиры».

Сказка самого Горького «Самовар», помещенная в начале всей книги, есть именно сатира для детей, обличающая самохвальство и зазнайство. «Самовар» — проза вперемешку со стихами. Вначале он хотел назвать ее «О самоваре, который зазнался», но потом сказал: «Не хочу, чтобы вместо сказки была проповедь!» — и переделал заглавие.

К тому же сатирическому жанру принадлежит стихотворение Софии Дубновой и Натана Венгрова⁶⁰ «Моя учительница», а также норвежская сказка «О глупом царе», сильно обработанная Алексеем Максимовичем.

Вообще юмор в качестве меры воздействия на детскую душу Алексей Максимович ценил высоко и очень обрадовался, когда я привез из Куоккалы сказку Ивана Пуни⁶¹ «Иеремия Лентяй». Пуни был художник-футурист, друг Маяковского, застенчивый и молчаливый молодой человек, обладавший редкостным талантом выдумывать необузданно фантастические, забавные сказки. Горький смеялся, когда на нашем очередном «совещании» я читал вслух «Иеремию Лентяя» — о волшебных ножницах, начисто выстригших горностаевую королевскую мантию. С первых же строк этой сказки — о старике парикмахере, который «был такой старенький и медлительный, что пока немножко волос сострижет, уж другие на их месте вырастают», — Горький стал оживленно смеяться и позвал из другой комнаты группу художников, чтобы они пришли послушали. Он хотел повидаться с автором, но Пуни до того законфузился, что не решился прийти к нему в назначенный срок и даже стал утверждать, будто сказка написана не им, а его женой, Богуславской. В подзаголовке пришлось напечатать: «Сказка Кс. Богуславской. Рисунки Ив. Пуни».

Так же весело смеялся Горький, когда художник Добужинский, который должен был нарисовать для какого-то ребуса сотню карикатурных человеческих лиц, нарисовал карикатуры на разных тогдашних общественных деятелей — и раньше всего на самого Горького. Рисунок этот был помещен на 39-й странице. Портрет Горького — пятый в самом верхнем ряду. Тут же даны шаржи на Станиславского, Алексея Толстого, Игоря Грабаря, Федора Сологуба, Билибина, на меня и многих других. Хотя этот юмор был, так сказать, домашнего свойства и не предназначался для малолетних читателей, Горький любил культивировать его в нашей работе, дабы создать атмосферу веселья, которая, по мнению Алексея Максимовича, была нужна для творцов детской книги.

Я значусь на титуле составителем «Елки», но много материала для нее добыл Горький. Он даже, несмотря на болезнь (у него в ту зиму болела нога), ездил в Финляндию к Репину, чтобы попросить рисунков для этого сборника. У Репина в кабинете висела тарелка с изображением одного придурковатого юноши.

— Неплохой Иванушка-дурачок, — сказал Горький. — Пригодится для нашего альманаха, для детского... Попросите Илью Ефимовича, чтобы позволил снять с него копию.

— Но кто напишет текст к этой картинке?

— Нужно взять народную скаку из такого-то и такого-то сборника, лучше всего вот такой вариант.

Тут он снова обнаружил большую ученость — на этот раз по части фольклора.

— А вот какую сказку об Иванушке слышал я от бабки, — сказал он в поезде на обратном пути.

И, не глядя ни на кого, даже словно конфузясь, стал рассказывать нам волшебную сказку о глупом Иванушке, который жил работником у медведя Михайла Потапыча и...

Но тут в вагон вошло слишком много людей, которые, увидев его, стали назойливо вслушиваться, и он замолчал.

Через несколько дней Горький записал эту сказку, и она появилась в нашем сборнике «Елка», причем в качестве иллюстрации к ней тут же был напечатан «Иванушка» Репина.

Много вынес я мук с этой проклятой тарелкой. Репин дал ее мне на неделю, а типография продержала ее месяца три и в конце концов чуть не разбила. В тогдашних письмах ко мне Репин неоднократно спрашивает:

«Где же тарелка?»

Сборник вышел очень неплохим, но во время его составления я опять-таки с горечью чувствовал, что детская литература — пустыня, в которой нет даже миражей и оазисов. Сборник, в сущности, строился из произведений «взрослых» писателей — Горького, Ал. Толстого, Валерия Брюсова, а талантливых детских прозаиков и детских поэтов не было, за исключением разве Марии Моравской, которая в своих детских стихах становилась все более жеманной.

Как не хватало нам в ту пору Маршака, Бориса Житкова, Сергея Михалкова, Барто и других мастеров, вошедших в детскую литературу позднее и продолжавших, так сказать, ту самую линию, которая была намечена Горьким в его тогдашних программах!

Горький и сам сознавал, что в детской литературе безлюдье, и потому трогательно уговаривал каждого, в ком чувствовался хоть проблеск дарования, чтобы тот непременно писал для детей. Казалось, он хлопочет о какой-то личной услуге — такой у него был просительный голос.

Этот же просительный голос я слышал у него позднее, во времена «Всемирной литературы», когда к нему на Кронверкский пришли по его зову переводчики. Он усадил их у себя в кабинете и начал с тоскою упрашивать:

— Ну, пожалуйста, очень прошу вас... переводите, пожалуйста, лучше. Ну, сделайте одолжение, пожалуйста.

Во время составления новой программы Горький часто высказывался по общим вопросам детской литературы, которые и для нашего времени не утратили своей актуальности.

Помню, один молодой литератор в 1920 году предложил издательству проект: обновить и переработать все главнейшие сочинения Жюль Верна. Он утверждал, что Жюль Верн уже устарел, что прославляемая им прогрессивная техника кажется нынешнему читателю чрезвычайно отсталой, и брался «осовременить» Жюль Верна.

Мы долго обсуждали предложение молодого писателя, его проект сначала понравился Горькому. Горький любил всякую литературную смелость. Но потом, как бы возражая себе самому, Алексей Максимович сказал:

— Боюсь, что тронешь в Жюль Верне хоть ниточку, расплзется вся ткань. У него, например, говорится: «Это было двадцатого мая тысяча девятьсот двадцатого года», вам придется переиначивать каждое слово. Чуть вы перестроите машины, вам придется перекраивать костюмы, а заодно и географию, и историю, и нравы, и быт. Не лучше ли в таком случае написать новую книгу? Нет, я прихожу к убеждению, что переделывать Жюль Верна нельзя. Я вообще против того, чтобы мы перерабатывали классиков. Некоторые сокращения, конечно, возможны, — скажем, устранение слишком скучных подробностей, — но в остальном наши подростки и старшие дети имеют полное право получить любую книгу Диккенса или Виктора Гюго в ее подлинном виде. Я враг переработок для детей старшего возраста. Для младших — другое дело. Если вы переделаете «Короля Лира» для младших, выйдет милая сказка о старике и его злых дочерях, а если вы переделаете «Короля Лира» для старших, выйдет убудок, урод. Особенно недопустимы переделки «Одиссеи», «Калевалы», русских былин и т. д. Конечно, есть классики, которые только и живут в пересказах. Например, «Мюнхгаузен». Распе был очень слабым, неумелым писателем, и только вольные пересказы французов и немцев сделали его всемирным классиком⁸². Но это редкостный случай. А у нас норовят пересказать даже легенды о Круглом столе. На это я никак не могу согласиться.

Кто-то неудачно возразил, что «Калевала» сама по себе есть переделка.

— Но Ленрот⁶³ гениальный народный поэт, — сказал Алексей Максимович. — Он не переделывал народных легенд, а воссоздавал их, потому что и сам был народ. А эти закройщики убивают в народной поэзии народность.

Кто-то напомнил Горькому, что он сам пересказал недавно русскую народную сказку «Про Иванушку-дурачка».

— Я пересказал эту сказку для маленьких, — ответил Горький, — а для старшего возраста, уверяю вас, не требуется никаких пересказов. Почему между подростком и, скажем, Эхилом становится какой-то ремесленник? В детской литературе должны существовать одновременно два «Гулливера»: и маленький «Гулливвер», для семилетних детей, в виде коротенькой сказки, и полный «Гулливвер», для детей старшего возраста. Но вообще переделки в детской литературе допустимы лишь в самых исключительных случаях, да и то, если они очень талантливы. В основе же детской литературы должно быть вдохновение и творчество. Ей нужны не ремесленники, а большие художники. Поэзия, а не суррогаты поэзии. Она не должна быть придатком к литературе для взрослых. Это великая держава, с суверенными правами и законами...

Так в далекие годы утверждал Алексей Максимович то беспримерное уважение к ребенку, на основе которого и начала расцветать советская литература для детей.





А. М. РЕМИЗОВ

Алексей Максимович Горький

1868—1936

Так мне и не пришлось... говорили, Горький приедет в Париж, ждал его: кто знает, может быть, в последний раз и навсегда — а хотелось сказать. И вот все кончено. А закончилось под музыку Сен-Санса на Красной площади в Москве — новая версия «Ступеней человеческого века». А за эти годы приходила и невольно и такая мысль, и не мог я заглушить ее: читаю в газетах: «пропал Горький» — а это значит: да вспомнил своего Лунева из «Троих» — не надо и проклятий! — и вышел безвестным странником на широкую русскую землю в свой последний путь.

* * *

Тридцать лет нашей первой встрече, а эти тридцать лет для меня, как один день, и живо, как бывшее вчера, — мое чувство через тридцатилетний день осталось неизменно.

Не знаю, кого еще назвать, разве Блока, о ком так памятно, — встреча с Горьким: тот внимательный взгляд, его чувствую я в человеке, по близорукости не различая глаз, и та улыбка — как будто сконфуженного (у Блока — виноватая), а это и есть то самое, что создает поле доверчивости — открывает свободу, при которой только и можно говорить с человеком по-человечески, без засти лукавства «двойных» задних мыслей.

А стал знать я Горького с его первых книг еще в годы моей юности.

Меня поразил его необычайный голос: в тихое Чехова вдруг ворвалась «пространственная» медь Вареза*.

* Edgar Varese, автор «Integrales».

И если Чехова читали с упоением — есть ведь такое человеческое: повторить словами книг о своем пропаде, и даже не про-падном, а только воображаемом, Горького читали с восторгом, да, восторженно, и пропащие и пропадающие, повторяя — «все в человеке, все для человека».

Горький ученик Толстого.

От Толстого, давшего миру из своей величайшей веры в человека последнюю чудесную сказку «Хозяин и работник» — о свете человеческом, нечеловечески светящемся в человеке, идет отсветом мысль Горького. Горький продолжает миф о человеке со всей ожесточенностью задавленного, воссильвшегося подняться во весь рост человека.

Горьковский миф — не «сверхчеловек-бестия», давящий и попирающий, а человек со всей скрытой в нем силой творчества, человек, за что-то и почему-то обреченный на гибель, а в лучшем случае на мещанское прозябание по образцу «Ступеней человеческого века».

Суть очарования Горького именно в том, что в круге бестий, бесчеловечья и подчеловечья заговорил он голосом громким и в новых образах о самом нужном для человеческой жизни — о достоинстве человека.

Горький — мифотворец.

Место его в русской литературе на виду.

Не Гоголь с его сверхволшебством, не Достоевский с его сверхсознанием, не Толстой с его сверхверой, явление мировое, необычайное; и не Салтыков, не Гончаров, не Тургенев — создатели русского «классического» книжного стиля, Горький по трепетности слова идет в ряду с Чеховым, который своей тихой горечью не менее нужен для человеческой жизни, как и горьковское гордое сознание человека, без чего дышать нечем.

Слово у Горького — от всего бунтующего сердца, слог звучит крепостью слов, стиль: читать Горького можно только громко «во всеуслышанье», но петь Гоголем — Горький не запоеется, как и не зазвучит Толстовским отчитом.

Горький никогда не расставался с книгой. Первый известный его портрет: Горький над книгой. И издательство Горького — «Знание»; а во всех его предисловиях к чужим книгам всегда чувствуется радость человека, напавшего на откровение. И «Всемирная литература» — затея Горького. А имена ученых, великих писателей и художников звучали у него так, будто, произнося, подымался он с места.

Огромным чутьем возмещалось у Горького отсутствие литературных «ключей» и дисциплины. Но там, где была хоть какая-нибудь сложность, Горький закрывал глаза и не слышал.

Достоевский своим «страданием» оттолкнул его. И иначе не могло быть: мятеж Достоевского разлагал миф о гордом «дейтельном» (т. е. тупом и ограниченном, по Достоевскому) человеке — миф, вышедший из непонятных, ненужных страданий за что-то и почему-то задавленного и вот взбунтовавшегося человека.

Горький никогда и не пытался понять Достоевского, как не понял Толстого с его «непротивлением», вышедшим из веры в человека. А ведь это «страдание», по Достоевскому, может быть, единственное оправдание, единственный свет жизни человеческой безобразной, бессмысленной, складывающейся нелепо в самой сути жизни, благодаря каким-то «ошибкам» там — за которые человек никак не ответствен, а жить-то надо как-то, не становиться же в самом деле на четвереньки при «Эммануиле-то Канте, великом кенигсбергском философе», как почтительно выражался Горький, и при «Вильяме Шекспире», востря глаза — в лес, не начинать же сызнова историю, начавшуюся гориллой, человеку, страданием достигшему сознания «я есмь» и тем самым переступившему «человека» с его «болью» и «страхом».

Мне навсегда останется гениальное воплощение Лифарем «Икара» — в веках из веков сложенного мифа о человеческом полете — об этом подлинно «безумстве храбрых». Я видел живого летающего Икара! — слышу древний голос о грани человеческой силы — «Смирись, гордый человек!» — и чувствую всю обжигающую скорбь сброшенного с недостигаемых «зодиакальных» высот гордого человека, свернувшегося без крыл жалким зайчонком.

Этот древний, роковой для человека миф, как и самосознающий человек Достоевского, затеняет горьковский бунт — миф без всякого «туда», а «тут» — миф о человеке, выдирающемся из пропасти: ведь все равно надо лететь, и без оглядки, иначе дух вон.

Оттолкнул Горького и Джойс, и Пруст, вся сложность словесного искусства. — Какой еще Джойс: мысле-чувство-словные процессы в яви и сновидении; какой там Пруст: изгубленная память или долгий взгляд в пропастную память! — человеку жрать нечего, и жизнь его скотская, а слово — рваная плюхающая калоша, а мир — незатейливый дурацкий фильм.

Но это же самое чувство привело Горького к Лескову, по складу чувств, слова и мысли самоцветному отпрыску протопопа Аввакума, родоначальнику русской «природной» речи; Горький открыл забытого Слепцова, предшественника Чехова,

чутьем оценив его словесное мастерство и теплоту человеческих чувств. А из современников выделил Пришвина — Михаила Михайловича Пришвина, русского Киплинга, мастера на зверя, лес и поле; постигшего звериную тайну, со слухом к свисту птиц и дыханию трав.

.....

Алексей Максимович, вы стали судьбой в моей жизни, вы, при всем вашем оттолкновении от моего мира снов, вы разгадали вашим чутьем мою любовь к слову, и я обязан вам моим первым выступлением в литературе.

И разве я это могу забыть?

Алексей Максимыч — в последний путь: вспоминаю вас — вы знали бедность, унижение и отчаяние... вспоминаю наши редкие встречи и очарование, какое легло мне на сердце. Прощайте!





**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
О РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ГОРЬКОГО**



Максим Горький:

— Босяков, босяков, кому надо бояков!?!.. самые свежие!..
(«Стрекоза»)



В. ПОССЕ

Певец протестующей тоски

(М. Горький. Очерки и рассказы. 2 тома. 1898 г.)

I

В художественном произведении мы воспринимаем действительность, преломленную сознанием художника. Художник обогащает и расширяет жизнь своим творческим талантом. Многие, непосредственно недоступные нашим чувствам, становятся доступными через посредство художественных произведений. Их можно сравнить с физическими приборами Рентгена, при посредстве которых делаются для наших чувств доступными невидимые световые лучи.

Чем сильнее талант художника, тем больше невидимых жизненных лучей, преломившись через его творческую призму, делаются видимыми, тем больше обогащается им действительность, доступная обычному взору.

Художник открывает нам новые звуки, новые краски в окружающей природе; он открывает нам новые черты, новые душевные движения в окружающих нас людях и в нас самих. Взглянув на картину или статую, прослушав музыкальную вещь, прочитав повесть, мы нередко чувствуем, что в нашей душе начинают звенеть новые, незнакомые нам доселе струны, что наша духовная жизнь обогащается, расширяется.

Человечество обладает уже многими истинно художественными произведениями, многое невидимое стало видимым; но было бы слишком смело утверждать, что этим сужены задачи художественного творчества, что художникам придется вскоре лишь повторять созданное их великими предшественниками. Пределы художественного творчества так же широки, как пределы научных изысканий. И в том и в другом случае жизнь и природа, по-видимому, неисчерпаемы. Но, конечно, ни новые

научные открытия, ни новые произведения художественного творчества не являются изолированными от ранее созданного или открытого. Как бы ни был оригинален современный художник, он все же связан со своими предшественниками, он продолжает их творчество, в его сознании преломляется действительность, в той или другой степени обогащенная и расширенная их художественным творчеством.

Могуч и оригинален художественный талант Максима Горького, нова и оригинальна та действительность, которая, преломившись в его сознании, переливается перед нашими глазами таким поразительным разнообразием красок; и все же многие основные тоны этих красок уже знакомы нам из других произведений, что, впрочем, отнюдь не ослабляет значения и интереса его произведений.

Многие черты и душевные настроения героев Горького встречались не раз в произведениях лучших русских писателей, но сами герои тем не менее новы и оригинальны. Ново и оригинально, что черты и настроения людей из среды привилегированной, среды барской и интеллигентно-разночинной, среды, художественными выразителями которой являются Гоголь, Щедрин, Тургенев, Толстой и др., в несколько ином виде свойственны и героям М. Горького, первого талантливого художника — представителя рабочего пролетариата.

Ново и оригинально, что творческая призма Горького, вылитая из совершенно своеобразной массы, собирая лучи совершенно новой среды, дает те же основные тоны, какие давали творческие призмы писателей привилегированных, интеллигентных слоев.

До сих пор у нас были писатели, в произведениях которых отражалось русское барство, русское чиновничество, русская интеллигенция; были у нас и писатели, которые писали о народе, писали о нем, так сказать, со стороны.

Горький же является едва ли не первым талантливым писателем-художником, в котором непосредственно отразилась душа рабочей массы, душа русского бродячего пролетариата.

Многие лучшие наши писатели являются представителями дворянской, буржуазной и интеллигентной России даже тогда, когда они изображают народ; Горький остается писателем-пролетарием, писателем-босяком даже тогда, когда он рисует купцов, разночинцев и интеллигентов.

Произведения Горького следует сравнить, по нашему мнению, не с произведениями о «народе», понимая под ним крестьянскую и рабочую массу, а с произведениями, где привиле-

гированная и интеллигентная среда изображается ее собственными представителями. «Босаяцкие» рассказы Горького, вроде «Коновалова», следует, по нашему мнению, сопоставлять не со слащавыми «народными» повестями Григоровича, даже не с народными очерками интеллигентов Успенского и Златовратского, а с «барскими» произведениями Гоголя, Тургенева и Щедрина.

Творческий талант Горького призван открывать общечеловеческие стремления и настроения в низших, обездоленных народных слоях, как это сделали художественные таланты Гоголя, Тургенева, Толстого и Щедрина в родственной им привилегированной среде. Но как эти великие дворянские и буржуазные писатели стремились подчинить своему художественному творчеству не только свою буржуазно-дворянскую, но и крестьянско-рабочую среду, так и Горький пытается охватить своим пролетарским сознанием не только рабочую среду, но, по возможности, все общественные слои.

Его настоящими героями являются босаяки. В момент художественного творчества он сливается с ними, его душа проникается их чувствами, их стремлениями, их любовью и ненавистью. На всех остальных, на купцов, разночинцев, интеллигентов и даже крестьян, он смотрит со стороны, но смотрит пытливо и проникновенно.

II

Основное душевное настроение, воспринятое Горьким из окружающей действительности, может быть охарактеризовано словом *тоска*, как и называется один из лучших его рассказов. Тоска — понятие широкое; под него подойдут довольно различные душевные состояния, отчасти представляющие развитие одного и того же настроения.

Самую низшую ступень тоски, самое грубое ее проявление представляет из себя скука. Скука чрезвычайно характерна для русской жизни, как в современном, так, в особенности, в дореформенном периоде. Вы помните, потрясающее в своей простоте и искренности восклицание, вырвавшееся у Гоголя в конце его «смешной» повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?.. «Скучно жить на этом свете, господа!..»

В сущности, эти слова могут вырваться по прочтении большинства бытовых произведений Гоголя.

Разве не убийственно скучна жизнь всех героев «Мертвых душ», «Ревизора» и «Старосветских помещиков»? Скука, внутренняя скука сочится сквозь внешнее веселье, которым с таким искусством прикрыл ее великий сатирик крепостной России. Если верно, что сквозь видимый смех Гоголя звучат незримые слезы, то еще вернее, что сквозь его веселье глядят мертвые глаза скуки дореформенной русской жизни с ее пошлостью, мелкими мошенничествами и сплетнями, заменяющими крупные общечеловеческие интересы.

Эти мертвые глаза глядят еще неизмеримо страшнее в глубоко ужасных произведениях великого Щедрина — в «Господах Головлевых» и «Пошехонской старине».

Прочитав эти произведения, поймешь, как убийственна, как жестока может быть скука.

Эту жестокую, грубую скуку отчасти воспринял в свое творческое сознание и М. Горький, певец по преимуществу высших стадий тоски — именно грусти и протестующего довольства.

Жестокость обычной, с виду вполне невинной скуки ярко выступает в его небольшом очерке «Скуки ради». Очерк чрезвычайно характерен и интересен, но мы не решаемся пересказывать его содержание. Пересказывать произведения Горького не то что трудно, а как-то жалко. Они — не рассказы о жизни, они — сама жизнь, которая тотчас замирает от грубого прикосновения пересказчика. Ограничимся указанием на сущность фабулы.

Кучка служащих на брошенном в степи железнодорожном полустанке «скуки ради» до смерти засмеивают тихую пожилую женщину — кухарку Арину за ее связь с железнодорожным стрелочником. Очерк написан без всяких подчеркиваний, но тем не менее, прочитав его, трудно удержаться, чтобы не воскликнуть: «Страшно жить на этом свете, господа!»

Та же скука, но скука другой среды, схвачена Горьким в очерке «Зазубрина».

В рассказе «Скуки ради» скучают мелкие железнодорожные чиновники, полуинтеллигенты, один из которых постоянно говорит цитатами из Шопенгауэра. В «Зазубрине» скучают арестанты, скучает «мир отверженных».

Для их увеселения тщеславный арестант «Зазубрина» замучивает котенка, опуская его в ведро с зеленой краской.

Железнодорожные философы ничуть не жалеют повесившейся от срама несчастной Арины. «Отверженные» сначала смеются над крашеным котенком, но затем, видя его страдания, чуть не плачут, жалеют его и жестоко избивают мучителя Зазубрину.

В сознании Горького «мир отверженных» отражается более человеческим, менее равнодушно-жестоким, чем среда полуинтеллигентных железнодорожных чиновников. Специально арестантов Горький касается лишь вскользь, но он дает глубоко прочувствованную и продуманную картину жизни другой категории «отверженных», а именно «бывших людей». «Бывшими людьми» Горький называет обитателей «ночлежки» (ночлежного дома), выбитых из жизненной колеи, лишившихся постоянного заработка и крова. Мы видим среди них людей когда-то разных положений, разных профессий: ротмистра, учителя, лесничего, дьякона, тюремщика и т. д., но все они бывшие, всех их уравнила «ночлежка», которая в этом отношении значительно превосходит каторжную тюрьму.

И они стали бывшими людьми не потому, чтобы были хуже или глупее тех, которые ровно и спокойно катятся по жизненным рельсам, а потому, что они, с одной стороны, слишком индивидуальны, чтобы спокойно брести с людским стадом, с другой, недостаточно сильны и развиты, чтобы подняться над ними и примкнуть к людям будущего.

Над «бывшими людьми» тяготеет уже не тоска-скука, а тоска-злоба...

«И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой. Ими ощущалась близость того неумолимого врага, который всю жизнь их превратил в одну жестокую нелепость. Но этот враг был неумолим, ибо неведом.

И тогда они били друг друга; били жестоко, зверски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы» (II, 186—187)*.

Проявления этой злобной тоски, этой тоски-злости, как видите, отвратительны, но она все же выше барской скуки, хотя бы прикрытой гоголевским смехом.

Скука — неподвижна, безжизненна, мертва.

Тоска-злоба скрывает в себе недовольство окружающими условиями, скрывает в себе полусознательный протест против «подлой жизни». Злоба толкает «бывших людей» на борьбу, мелкую, почти бесплодную, но все же борьбу. Борьба приносит

* Ссылки здесь и в следующих статьях даются на стр. рецензируемого издания, указанного в заглавии (Ред.).

бодрость и жизнь. Осенняя тупая злоба сменяется по временам злобой протестующей, злобой бодрящей и будящей тех несчастных, которые никогда не были людьми.

Бывшие люди вносили с собой в среду забытых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды («ночлежки») и так же выброшенных из города, как и они. Уменье все говорить и все осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая удаль этих людей не могла не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь немножко безнаказанно смошенничать.

Наряду со злобной тоской «бывших людей», людей голодных, людей-неудачников, Горький рисует тоску боязливую, тоску сытых людей, людей-удачников, катящихся беспрепятственно по уготовленной для них жизненной колее. В этой тоске страх смерти смешивается с недовольством, вытекающим из внезапного сознания полной пустоты прожитой жизни. Это — та тоска, которая гложет перед смертью толстовского Ивана Ильича¹.

У Горького эту тоскою заболевает зажиточный мельник Тихон Павлович, герой рассказа «Тоска». Тихон Павлович до старости прожил сытым, довольным человеком, проникнутым «стойким жизнерадостным чувством». И вдруг это чувство «куда-то провалилось, улетело, погасло и на место его явилось нечто новое, тяжелое, непонятное и темное» (I, 269—270).

Перемена в Тихоне Павловиче, как и в Иване Ильиче, произошла перед лицом смерти, но у Ивана Ильича это была его собственная смерть, у Тихона Павловича — смерть неизвестного ему писателя, на похороны которого он попал случайно. Разница в данном случае не существенная, так как смерть писателя вызвала в Тихоне Павловиче представление о приближении его собственного расчета с жизнью.

Иван Ильич — высокопоставленный и образованный чиновник, Тихон Павлович — полуграмотный мельник, но тем не менее основа их тоски, их ноющего и гложащего душу недовольства жизнью — одна и та же. Приближаясь к смерти, они оба тоскуют, что всю жизнь угнетали живую душу мелкими, мертвыми делами.

«Не живет душа-то», — размышляет затосковавший мельник. — «Дела все — главная причина? О душе-то подумать не-

когда. А она вдруг и того... и восстала, значит. Пускай час уллучила да и воспряла... Вот-те и дела! И к чему очень уж много делов затевать, коли все равно умирать? Для чего готовим себя, ежели гольем жизнь-то взять? Для... смерти. С чем пойдем пред лицо Господа? Вот душа-то и напоминает: встрепыхнись, дескать, человек, потому что час твой тебе неведом...» (I, 277).

«И эта мертвая служба и эти заботы о деньгах, — думает умирающий Иван Ильич — и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько от меня уходила жизнь... И вот готово — умирай!»

Разве эти настроения в сущности не одинаковы?

III

Предсмертная тоска Ивана Ильича и Тихона Павловича родственна тоске-грусти, тоске-скорби, стоящей, однако, несомненно выше ее и встречающейся у натур несравненно более сложных и тонких. Этой скорбной или грустной тоской в различных ее проявлениях наделены почти все наиболее характерные герои Тургенева, созданные им в большей или меньшей степени по образу и подобию своему. Рудин, Нежданов², «Лишний человек», «Гамлет Щигровского уезда» — все они болеют скорбной тоскою и все они родственны друг другу, несмотря на громадное внешнее различие.

К их скорбно-тоскливой семье принадлежит и неграмотный босяк Коновалов, один из наиболее любопытных героев Горького.

В скорбной тоске, периодически нападавшей на Коновалова, нет ни капли злобы. В своих неудачах и несчастьях он винит исключительно самого себя, не ссылаясь ни на злых людей, ни на злую судьбу.

Он винит себя, что не нашел точки, на которую мог бы опереться, когда на него со всех сторон валила разная темная сила, толкая в беспутную пьяную босяцкую жизнь.

«...Я сам виноват в своей доле!.. — говорит Коновалов. — Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу.

...И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... и ни в какой порядок не включаемся. Особый нам и счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы

нас искоренить из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы перед собою и жизнью виноваты! Потому у нас охоты к жизни нет и мы чувств не имеем...» (II, 22).

«Несчастный, этакий ядовитый дух от меня исходит. И как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь, ежели подумать — кому я всей своей жизнью удовольствие принес? Никому! Я тоже со многими людьми дело имел... Тлеющий я человек...» (II, 45).

Как во всяком самобичевании, так и в этом, коноваловском, много болезненного преувеличения, но есть и значительная доля правды. Коновалов добр и отзывчив, сознательно он никому не причинит зла, но бессознательно он многим приносит горе, страдание, и оно тем сильнее, чем ближе ему человек.

Особенно характерно его отношение к женщинам. Он понимает женскую душу и сердце, он относится к женщинам просто, по-человечески, и женщина оценивает его беспристрастную детскую душу, быстро и крепко привязывается, привыкает к нему, но тут-то и начинается ее горе, ее страдание.

Коновалов, которому не справиться с самим собою, с своими сомнениями, со своей тоской, окончательно теряет равновесие, когда с его душой стремится слиться душа беззаветно полюбившей его женщины. Эта душа тоже истерзана сомнениями, тоже полна горем и грустной тоской, потому что Коноваловых любят ведь только исстрадавшиеся, несчастные женщины. В любовь к нему они кладут весь остаток своих сил, весь остаток своей жизни, но, увы, тоскующая душа Коновалова — неверное хранилище. Еще сильнее поднимаются в ней сомнения, еще меньше остается веры в свои силы, еще больше растет недовольство и ноющая тоска. Измученный, настрадавшийся, в отчаянии он бежит, наконец, от полюбившего его человека, нанося ему этим нередко последний удар.

Этот неграмотный босяк страшно в сущности близок тургеневскому Рудину. Они скитаются по миру одинокие, бездомные, с разладом и бесплодными порывами в своих тоскующих душах. Оба ищут любви и боятся ее, оба влекут к себе и отталкивают от себя, обоим «суждены благие порывы, но ничего совершить не дано».

У обоих, как говорит про себя Коновалов, нет в душе «искорки», нет в душе «силы» — обоим «некуда деться», обоим «не к чему присунуться». Оба стоят выше окружающей их среды, оба чувствуют «беспорядок жизни», но обоим не хватает

сосредоточенности, любви, а еще больше ненависти, чтобы начать с этим «беспорядком» разумную, последовательную борьбу...

Коноваловы гибнут, не совершив ничего, но их тоска имеет свое значение, в ней — первый проблеск протеста против царства мертвящей скуки, прикрытой или не прикрытой гоголевским весельем.

Еще более этого протеста в душевных состояниях героев Горького, героев, для него наиболее характерных: Григория Орлова, «Озорника», Челкаша, Пиляя и других настоящих или будущих «босяков».

Все они тоже тоскуют, но их тоска более походит на злобу «бывших» людей, чем на грусть Коновалова.

Их недовольство направляется не внутрь, а наружу, не на самих себя, а на окружающую обстановку, на условия жизни и на людей иного общественного положения.

В них уже чувствуется сознание группового, «босяцкого» интереса, они уже пытаются ориентироваться среди других общественных групп и их интересов.

Прежде всего, они сознательно противопоставляют себя крестьянству, которое, так сказать, выделило их как элемент, не подходящий к деревенскому порядку. Но босяки отнюдь не считают себя крестьянским отбросом; напротив, они чувствуют себя выше, сильнее и развитее мужиков, к которым относятся полужлобно, полупрезрительно. Босяцкую беспокойную и протестующую душу возмущает мужицкая неподвижность и в особенности мужицкая покорность, мужицкое спокойствие.

Босяк Сережка (в «Мальве») презрительно называет мужиков «земледами тупорылыми, которые ни черта в жизни понимать не могут». Он ненавидит молодого крестьянина Якова за то, что от того «деревней воняет», «а я, — говорит он, — запаха этого не терплю». Но к презрению у Сережки примешивается и нечто вроде зависти.

«Я, видишь ты, — говорит он Мальве, — всех мужиков не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами, им и хлеба дают и... все! У них вон есть земство, и оно все для них делает... хозяйство у них, земля, скот... Они ноют, да притворяются, но жить могут, у них есть зацепка — земля. А я что против них?» (III, 63). Но, разумеется, Сережка за эту «зацепку» не отдал бы своей вольной босяцкой жизни, как не пожелал бы, подобно деревенскому парню Якову, чтобы Черное море превратилось в черноземную равнину.

Сережке нет возврата в деревню, земля потеряла над ним свою власть, слабый отголосок которой, впрочем, еще слышится в завистливом расписывании мужицкого благополучия.

Этот отголосок звучит еще сильнее в словах босняка и вора Челкаша, беседующего с крестьянским парнем Гаврилой о деревенском житье.

«Сначала он говорил, скептически посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику, напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам он давно разочаровался, о которых забыл и вспомнил только теперь, — он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и о ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни, брат, свобода! Хозяин есть ты сам себе. У тебя твой дом, — грош ему цена, — да он твой. У тебя земля твоя, — всего и того ее горсть, — да она твоя! Курица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое! Король ты на своей земле!.. И потом порядок... Утром встал — работа, весной одна, летом другая, осенью, зимой — опять иная. Куда ни пойдешь, вернешься в свой дом. Тепло!.. Покой!.. Король ведь? Так ли? — воодушевленно закончил Челкаш длинный перечень крестьянских преимуществ и прав и почему-то запямятовал об обязанностях» (I, 90—91).

Но воодушевление Челкаша немедленно сменяется раздражением и презрением, как только очарованный Таврило начинает вторить ему:

«Это, брат родимый, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь без земли? Ага!.. землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда чуть только его самолюбие бесшабашного удальца бывало задето кем-либо и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолот!.. — сказал он свирепо, — ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!» (I, 91).

И для Челкаша нет возврата к земле, и Челкаш не променяет свою бесшабашную, беспокойную жизнь на мужицкую «свободу», «покой» и «порядок».

В нем уже живет жажда другой свободы, непримиримой с мужицкой, в нем уже нет жадности собственника, этой главной опоры «власти земли».

Эта мужицкая жадность великолепно схвачена Горьким в лице добродушного Гаврилы. Челкаш понимает ее, но сам он поднялся над ней.

Замечая, как глаза Гаврилы разгораются при виде денег, Челкаш задумчиво говорит:

«А жаден ты... Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин...» (I, 98). Челкаш принадлежит к той категории «босяков», которые сами понимают мужицкую душу, которые еще чувствуют в себе некоторую связь с деревней, которые если и презирают крестьян, то все же относятся к ним по-человечески, без лютой ненависти. Но между «босяками» есть такие, которые сами не были крестьянами, в душе которых не осталось никакой связи с деревней, которые не могут понять мужика, которые ненавидят его.

Таков Емельян Пиляй.

«— Я бы его (мужика), черта тугопузого, пронзил! — восклицает Пиляй.

— Ну, что уж так жестоко! Смотри-ка вон, он голодает, мужик-то, — возражает Пиляю рассказчик.

— Как-с? Голодает?.. Хорошо-с! Правильно-с! А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Нда-с! Он голодает почему? Неурожай? Сомнительно. У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других прочих империях неурожая нет? Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке грести; там думают, вот что-с!..» (I, 20).

Глядя на мужиков снизу вверх, на людей интеллигентных босяки, — по крайней мере, наиболее развитые из них, — смотрят как на своего брата, на брата ученого, обязанного давать «указание пути жизни». Этого указания искал у интеллигенции наборщик Гвоздев, прозванный за свои проделки «озорником», искал — и не нашел. Он встретил рассуждение на тему «почему», встретил разные «точки зрения», а ему было нужно прямое непосредственное указание, как подняться лично ему, Николаю Гвоздеву, подняться оттуда, где он «гниет в невежестве и озлоблении своих чувств». Он чувствовал, что между интеллигентным редактором либеральной газеты, пишущим о несчастьях рабочего люда, и им, наборщиком Гвоздевым, нет жизненной связи, что они чужие друг другу, что он, как человек, не имеет для редактора никакой цены.

«Я чувствую обиду в моем положении, — говорит Гвоздев. — Чем я хуже вас? Только моим занятием...» (II, 252).

«Как вы думаете, — говорит он дальше, — легко мне теперь работать на моих товарищей, которым я в старину носы расквашивал? Легко мне с господина судебного следователя Хрулева, у которого я с год тому назад ватер-клозет устанавливал, —

сорок копеек на чай получать? Ведь, он одного со мною ранга... И было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и по сейчас, как тогда были...» (II, 253).

Человеческое достоинство Гвоздева возмущается различием общественного положения, возвышением одного человека над другим, раз оно обуславливается занятием и знанием, но он примиряется с этим, раз оно обуславливается происхождением.

«Вы не настоящие господа жизни, не дворяне», — говорит он редактору из разночинцев.

«С тех нашему брату взятки гладки. Те скажут: “Пшел к черту!” — и пойдешь. Потому — они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее...» (II, 253).

Эта разница в отношении к аристократам по происхождению и к аристократам по грамматике очень характерна и совершенно понятна; с общественным превосходством первых Гвоздевым не приходится примиряться, оно для них привычно; общественное же превосходство вторых слагается на их глазах и задевает проснувшееся в них человеческое достоинство; превосходство первых быстро вырождается, превосходство вторых растет и развивается, ложась в основу новой общественной структуры, при которой у Гвоздевых пробуждается человеческое достоинство, но которая все же оставляет их «в невежестве и озлоблении чувств».

Мы указали на несколько общих, групповых черт героев Горького — босяков. Этих черт немного, и они выражены недостаточно определенно. Босяки по самой своей сущности — индивидуальны. Их, как и «бывших людей», создали столкновения особенностей той или другой личности с установившимся складом общественной жизни. В сущности единственным свойством, действительно общим для всех без исключения босяков, является их неприспособленность к жизни. Неприспособленные обыкновенно неустойчивы, изменчивы, порывисты.

Таковы, действительно, почти все босяки Горького. Таковы в особенности Григорий Орлов и Емельян Пилай. Про них нельзя сказать, злы они или добры. В них все неожиданно. Жестокость неожиданно сменяется мягкостью, дикая злоба — рыцарским великодушием.

Пилай собирается убить проезжего купца и вместо того с женской нежностью утешает купеческую дочку, спасая ее от самоубийства.

Орлов после самоотверженного ухода за холерными больными готов натравить на докторов толпу и разнести больницу, где он, казалось, только что обновился душой.

IV

Горький пишет кровью сердца своего. Он правдив, но не бесстрастен. Когда он говорит — он страдает, любит, ненавидит.

Читая его произведения, чувствуешь, как бьется в них неспокойное, бурное сердце автора, и знаешь, что ему близко, что ему родственно, что он любит, что ненавидит.

Горький тоскует, подобно своим любимым героям, но тоска его — деятельная, протестующая, тоска не от бессилия, а от избытка сил, не находящих себе разумного выхода.

Горький любит силу за то, что она сила, он любит могучие порывы за то, что они нарушают ненавистный ему самодовольный покой.

Нравственное и сильное для него почти синонимы. Подвига ради подвига жаждут его герои, и нет душевного состояния, которое было бы более близко самому автору. Его собственная душа бьется и тоскует в груди Орлова, когда тот хочет встать выше всех людей и плюнуть в них с высоты... И сказать им: «Ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего! И потом вниз тормашками с высоты и... и вдребезги! Н-да-а! Черт же возьми... скучно! И ох, как скучно и тесно мне жить!» (II, 151).

Стремление к подвигу ради подвига, поклонение силе как силе особенно ясно выражено в поэме «Макар Чудра» и в двух стихотворениях в прозе: «Песня о Соколе» и «Сказка о Чиже»³.

Отважная песнь Чижа, «объявляющего богам за право первенства войну», — это песнь самого Горького.

Горький — это живительный протест против скуки и покоя общинно-деревенской русской жизни. Горький — это реакция против славянской расплывчатости, мягкости и покорности.

И в природе Горький любит все сильное, порывистое, беспредельное. Он любит беспредельную ширь моря и степи, любит бездонное синее небо, любит то игривые, то сердитые волны, любит вихрь, любит грозу с ее раскатистым грохотом, с ее сверкающим блеском.

Ярко и неожиданно ново изображает он страстно любимую природу.

Здесь его творчество стихийно, как стихийно творчество народа в поэтическую пору его молодости.

Как в молодом народном сознании, так в сознании Горького мертвая природа одухотворяется, очеловечивается, оживает.

Горький сливает с ней — с беспредельной и бесконечно изменчивой — все волнения, все порывы своей человеческой души. Природа под его творческим дуновением смеется, плачет, тоскует, рвется вперед и протестует.

У Горького одинаково сильны и непринужденны как зрительные, так и слуховые впечатления. С необычайной легкостью он превращает слуховые представления в зрительные и наоборот. Тонкие душевные движения он переливает в смелые материальные образы. Воспринятые читателем образы эти превращаются обратно в душевные движения, заражая чуткие души тем же настроением, какое переживал автор.

Хотелось бы свой восторг перед творческой изобразительной способностью Горького подтвердить примером, подтвердить отрывком из какого-нибудь его поэтического описания природы, но что взять? Перелистываешь страницу за страницей, и все кажется одинаково прекрасным, все кажется лучшим.

Из 20 рассказов и очерков, вошедших в два томика сочинений М. Горького, слабее всех, пожалуй, «Старуха Изергиль»; но посмотрите, каким чудным описанием южной бессарабской ночи начинается этот рассказ:

«Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, вся ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль — только двое осталось под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в глубокой мгле ночи и темной зелени листвы силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, как лозы, с темно-синими глазами, — тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, и ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и химеричными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекрасней.

Кто-то играл на скрипке... Девушка пела мягким контральто, слышался смех... и воображение рисовало все звуки гирляндой разноцветных лент, реявших в воздухе над темными фигурами людей, поглощаемых мглой.

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд.

И все это — звуки и запахи, тучи и люди — было волшебно красиво, но грустно, казалось началом чудной сказки. Все было дивно и гармонично, но казалось остановившимся в своем росте и умирающим, так как мало было шума, живого, нервного шума, пылающего от времени все ярче; шум же, который был бы слаб, часто прорывался и все гас, удаляясь и перерождаясь в печальные вздохи сожаления о чем-то, может быть, о счастье, которое так неуловимо и случайно.

Я созерцал все это, и во мне рождались фантастические желания: хотелось превратиться в пыль и быть разнесенным повсюду ветром, хотелось разлиться теплой рекой по степи, вливаться в море и дышать в небо опаловым туманом, — хотелось пополнить собой весь этот чарующе-печальный вечер... и было грустно почему-то» (I, 106).

Великолепно! Но найдутся, наверное, критики, которые, прочитав эту страницу, пожмут плечами, посмеются над подчеркнутыми нами местами и торжественно изрекут модное слово: «декадентство». Найдутся, вероятно, даже и такие критики, которые, перелистав все произведения Горького, опять-таки изрекут: «декадентство». Да, господа, декадентство, но только декадентство вашего художественного чутья!

Вы назвали бы декадентскими и произведения Гете, если бы только вам не сказали, кто их автор.

В этом небольшом очерке мы коснулись далеко не всех сторон художественного таланта Горького, далеко не исчерпали содержания его произведений, мы отметили лишь наиболее яркое и законченное; но среди образов и настроений, законченных в произведениях Горького, рассыпана масса, так сказать, творческих намеков, из которых впоследствии должны вырасти крупные художественные творения. Только бы хватило у него бодрости и здоровья!





Вл. БОЦЯНОВСКИЙ

В погоне за смыслом жизни

I

Один из молодых наших писателей назвал современную нам русскую литературу «литературой мертвецов». Отзыв этот, может быть, слишком строгий, примыкает всецело к тем жалобам на серенькое время, переживаемое литературой, которые за последние годы сделались довольно заунывным явлением и успели даже превратиться в общее место. Многими, конечно, жалобы эти повторяются уже по инерции, по традиции. Но очень многие высказывают их вполне сознательно и не без основания.

Действительно, если всмотреться в причины этих жалоб, то прежде всего придется сказать, что кроются они не в количественном оскудении, а в качественном. В самом деле, достаточно просмотреть наши ежемесячные журналы, каталоги книжных магазинов и газеты для того, чтобы убедиться, что количество беллетристических произведений не только не уменьшается, но, наоборот, с каждым годом все возрастает и возрастает в удивительной прогрессии. Но этот же просмотр покажет и причины, вызывающие жалобы на оскудение. Перелистывая журнал за журналом, вы поневоле обратите внимание на такое, например, явление, что бо́льшая часть всей массы литературных произведений принадлежит всего лишь двум-трем авторам. Не опасаясь впасть в ошибку, можно сказать, что в половине журналов вы встретите романы или повесть Потапенко, Боборыкина, Немировича-Данченко¹ и еще двух-трех. При этом неизбежно бросится вам в глаза и то обстоятельство, что один и тот же писатель, хотя бы, например, Потапенко, печатал два-три романа в нескольких журналах одновременно.

Нисколько поэтому не удивительно, если при такой необычайной плодовитости наши беллетристы создают нечто серенькое, крайне однообразное, написанное по одному, раз уже принятому шаблону. Каких-либо новых, самостоятельно продуманных «идей», конечно, здесь нечего ждать. Арсенал у всех у них старый, взятый у других. Никто из них не скажет вам чего-нибудь нового, своего. Они или фотографируют, с точностью этнографа, окружающую их жизнь, или же проповедуют старые истины, чуть ли не прописную мораль. Возьмите хотя бы один из первых романов Потапенко «На действительной службе», который главным образом и доставил романисту имя. Разве это не прописная мораль? Герой этого романа, священник, перед которым открывалась блестящая карьера, уезжает в деревню и здесь, благодаря совершенно исключительным условиям, старается быть бескорыстным, отказывается от платы за требы и т. д., и т. д. Разве не этнографический характер носят рассказы гг. Тана, Серошевского² или Мамина-Сибиряка?

Но это еще в лучшем случае. А обыкновенно все эти огромные романы представляют собой не что иное, как простое, часто механическое, чередование «разговоров» с «описаниями» и наоборот. Авторы этих «сочинений» в беллетристическом роде, принимаясь за перо, обыкновенно не задаются вопросом о том, чем они закончат свои романы, и нередко случаи, что подчас, как это известно за редакционными кулисами, забывают имена своих героев, похоронив — воскрешают их и т. д. Присущий этим беллетристам хотя и не особенно крупный, но все-таки талант делает эти произведения удобочитаемыми. Проникнутые тонким юмором рассказы г. Потапенки, особенно из духовного и студенческого быта, имеют довольно обширный круг читателей и действительно иной раз не лишены занимательности и интереса.

Но ведь дело не в занимательности того или иного произведения. Одна занимательность теперь читателя удовлетворять не может. Как совершенно справедливо заметил граф Л. Н. Толстой, в настоящее время, «что бы ни изображал художник, — во всем мы ищем душу художника»... И чем ярче сказывается эта душа, чем индивидуальнее и субъективнее автор, тем более мы его любим, даже если он не рассказывает нам никаких занимательных историй.

Лучшим примером может служить Антон Чехов. В нескольких томиках его сочинений вы не найдете крупных романов или обширных повестей. Все это художественно отделанные миниатюры, рассказы о самых обыденных эпизодах из повсед-

невной жизни самых обыкновенных людей. И между тем с каким живым интересом набрасываетесь вы на все, даже небольшие рассказы, подписанные именем этого писателя. Вы с увлечением читаете их, потому что за каждым его словом слышите его тоскующую душу, видите его страдающий в пошлой обыденной обстановке образ. Без громких фраз и жалких слов целым рядом конкретных образов Чехов так искренно говорит о своей скуке, о тоске, которую возбуждают в нем окружающие люди и вся вообще жизнь, что вы охотно прощаете ему отсутствие новых слов, отсутствие конечных выводов. Ново уже то, что все старое его несколько не воодушевляет, что оно наводит на него тоску, что тоска эта выражается у него так художественно просто, так искренно.

II

Чехов, впрочем, очень многих подкупает своим выдающимся художественным талантом. Но вот другой, еще молодой, писатель, у которого, можно сказать, таланта почти нет и который тем не менее пользуется теперь большой популярностью исключительно благодаря искреннему признанию в своем недовольстве «старыми словами», благодаря тому, что он искренно ищет смысла жизни. Вы, может быть, догадываетесь, что я говорю о г. Вересаеве. На нем я позволю себе остановиться несколько подробнее, так как, во-первых, о нем говорили сравнительно немногие, а, во-вторых, потому, что, несмотря на это, рассказы г. Вересаева благодаря их внутренним качествам получают с каждым днем все большую популярность, о чем красноречиво свидетельствует хотя бы второе издание томика его рассказов.

Нужно сознаться, что рассказы эти не производят особенно яркого впечатления. Вересаев по свойству своего таланта — не художник. Он пользуется беллетристической формой как средством пропаганды или просто изложения разного рода учений и теорий. В самом деле, что представляет собой, например, его рассказ «Поветрие», самый большой очерк «Без дороги» или рассказ «На мертвой дороге»? «Поветрие» написано на старую тему тургеневских «отцов и детей». Отцы г. Вересаева выступают в роли докторов и устроителей артелей, а дети — конечно, в роли марксистов. С точки зрения исторической перспективы, если хотите, это вполне верно. Ведь Базаров, «дитя» времен Тургенева, теперь, если бы не умер, наверное, был бы «отцом» и служил бы в земстве врачом.

Между представителями этих двух лагерей происходит обмен мнений в такой форме, что вас все время мучит вопрос, не переложил ли г. Вересаев в рассказ отчеты о заседаниях в вольноэкономическом обществе?!

Послушайте, например, как говорит студент Даев. «Иван Иванович! — обращается этот представитель марксизма к устроителю артелей. — Как бы вы ни смотрели на фабрику, но во всяком случае вам следовало бы хоть сколько-нибудь соблюдать перспективу: вы говорите о “гибели” кустаря таким тоном, как будто речь идет о крушении какого-то очень большого благополучия. Но ведь это же совершенно неверно: возьмите любой земский сборник, и он развернет перед вами такие картины “благополучия” нашего кустаря, что волосы станут дыбом. Знаете ли вы, например, что наши деревенские ткачихи, работая восемнадцать часов в сутки, вырабатывают по одной копейке в час?.. Скажите, пожалуйста, какая фабрика может погубить такую ткачиху?»

Или в другом месте. «Заказали, например, во Владимирской губернии воскресной артели столы для школ; заказ большой и выгодный; артельщики и приняли себе в помощь десять столяров. В Вятской губернии смолу гонят артелями; если дела идут хорошо, артельщики принимают рабочих. Артели ножовщиков в с. Павлове имеют собственные керосиновые двигатели» и т. д., и т. д.

Курсистка Наташа говорит совершенно в таком же роде, а старики «отцы» только возмущаются и негодуют.

Большой рассказ «Без дороги», написанный в форме дневника доктора, представляет собою как бы живо изложенную корреспонденцию «из неблагоприятных по холере» местностей. Из этого рассказа мы прежде всего узнаем о ненормальной постановке в наших земствах медицинской помощи, о том, как один доктор отправился «на холеру» и как, несмотря на успешное и разумное ведение дела, в конце-концов пал жертвою нашей темной толпы, избившей его до полусмерти. Вообще говоря, рассказы г. Вересаева изобилуют «фактами» и рассуждениями на обличительные темы. Кто только и с какой только точки зрения у него не обличает. Больше всего говорят марксисты, затем высказываются народники, выступает с горячей речью толстовец, рисуется народное мировоззрение. Представители всех видов учений говорят много, часто вступают между собой, как выразился в одном месте сам г. Вересаев, в «утомительно-бесплодные споры», после которых уходят друг друга не убедившими, каждый при своем мнении.

Ну, а сам г. Вересаев? Как он относится ко всему тому, о чем повествует? Увы, никак. Сочувствуй он той или иной теории, это отразилось бы непременно и в его рассказах. Его увлечения, его горе и радости передавались бы и нам, читателям. Вы можете не сочувствовать учению Толстого, но читать изложение этого учения без увлечения вы не можете. Живое слово всегда скажется. И г. Вересаев это прекрасно понимает сам. Один из его героев (доктор, которого убивают) чувствует угрызение совести после того, как он наговорил много хороших и высоких «слов» о долге, силе которых сам он уже перестал верить.

Сам г. Вересаев не принадлежит, по-видимому, ни к одной из существующих партий, живет «без дороги», ищет этой дороги. Это его больное место, и те рассказы, где он бережит эту рану, производят безусловно правдивое и сильное впечатление. Рассказ «Товарищи», написанный на эту тему, является поэтому лучшим рассказом г. Вересаева. Товарищи — это люди, имевшие когда-то идеалы. По выходе из университета они превратились в чиновников, забрались в глушь, и вот теперь собираются вместе, говорят о пустяках, пьют пиво и даже боятся вспомнить о том, что когда-то у них были свои убеждения, были идеалы. Всем им до боли жалко светлого прошлого, но высказать это чувство никто из них не решается. «Все, — поясняет г. Вересаев, — были несчастны, — да, но никто из них не уважал своего горя, да и не стоило оно уважения... Горе их — горе дряблкое, бездеятельное — ему нет оправдания; стыдиться его нужно, а не нести в люди». Еще прямее высказывается доктор в рассказе «Без дороги». «Она, — думает он о подруге своего детства Наташе, — хочет знать, как я смотрю на общину, какое значение придаю сектантству, считаю ли возможным развитие капитализма в России. И в расспросах ее сказывается мысль, что я непременно должен интересоваться всем этим. Что же? Я ведь действительно интересуюсь: однако, правду говоря, разговоры эти мне крайне неприятны. Я с величайшим удовольствием прочту книгу, где говорится что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о нем, но пусть для меня, как и для моего собеседника, вопрос этот будет холодным теоретическим вопросом, вроде вопроса о правильности теории фагоцита или верности гипотезы Альтмана».

Слова «долг народа», «дело», «идея», режут ему ухо, как визг стекла под тупым шилом. А почему? Да просто потому, что доктор этот ничему не верит, потому что, как сам он говорит в одном месте, все его «внутреннее содержание — лишь

красивые слова», не более того. Он боится заглянуть внутрь себя, боится, так как знает, что за душой у него «ничего нет». «К чему, говорит он, мне мое честное и гордое мирозерцание, что оно мне дает? Оно уже давно мертво. Это — не любимая женщина, с которой я живу одной жизнью, а лишь ее труп; и я страстно обнимаю этот прекрасный труп, и не могу, не хочу верить, что он нем и безжизненно холоден. Однако, обмануть себя я не в состоянии...»

Человек с сильной глубокой верой во что бы то ни было, но с верой действительной, не напускной, является для героев г. Вересаева постоянным предметом зависти, вызывает в них чувство искреннего уважения. Они завидуют толстовцу, несмотря на все, вполне понятные им, несообразности этого учения, завидуют простому мастеровому, который уверовал в возможность спасения чуть ли не всего человечества при помощи изобретенной им вентиляции, завидуют даже простой наивной богомолке, возвратившейся из Иерусалима. «Из своего долгого путешествия, полного тяжелых лишений, она, — поясняет alter ego г. Вересаева, — вынесла в душе своей нечто новое, бесконечно для нее дорогое, что всю ее остальную жизнь заполнит теплом, счастьем и миром». Героям г. Вересаева мучительно хочется найти идею, которая захватила бы их целиком и упорно вела к определенной цели. «Ты хочешь, — говорит доктор Наташе, — чтобы я вручил тебе знамя и сказал: вот тебе знамя — борись и умирай за него... Я больше тебя читал, больше видел жизни, но со мною то же, что с тобой: я не знаю! — в этом вся мука».

Это отсутствие всепоглощающей идеи, отсутствие твердых горячих убеждений, познания смысла жизни г. Вересаев считает явлением, вполне характеризующим наше время. Толстовцы, народники, марксисты — все это люди, унаследовавшие свои воззрения, принявшие их в совершенно готовом виде. Одни из них постарались проникнуться этими воззрениями и прониклись, другие до сих пор стараются сделать это, но не могут, так как «постараться поверить», если этой самой веры нет, — трудно, а сказать свое слово не могут. Г. Вересаев ясно видит беспомощность нашего «юного племени», не могущего сказать своего слова и в то же время не удовлетворяющегося старыми авторитетами. «Все теперешнее поколение, — говорит от его лица доктор, — переживает то же, что я: у него ничего нет, — в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды, оно гибнет невидно и бесповоротно... Посмотрите на теперешнюю литературу: разве это не литература мертвецов, от

которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти...» Таково основное мирозерцание г. Вересаева. У него, как у всего нашего поколения «девяностых», нет за душой ничего положительного, твердого, нет знамени, нет идеи, которая наполнила бы все его существование и которую он стремился бы привить другим. Вот почему те странички его рассказов, где он говорит не о своих страданиях по поводу своего безверия, а приводит верования других и вообще рассказывает, носят характер протоколов, газетных корреспонденций, политико-экономических трактатов, изложенных для большей популярности в диалогической форме.

Не будь в рассказах г. Вересаева кроме этих объективных диалогов ничего другого, на них, конечно, не обратили бы половины того внимания, которое им оказывают в настоящее время. Если их заметили и читают, то лишь благодаря их субъективизму, отразившемуся в них искреннему страданию автора, который, не будучи в состоянии устоять на «мертвой дороге», предпочел остаться совершенно «без дороги», не побоялся сказать об этом громко и затем уже искать своего собственного пути, искать то новое, свое слово, которое даст удовлетворение его личности.

III

Тоскливый тон, которым проникнуты рассказы Антона Чехова, а также и г. Вересаева, несомненно очень характерное явление в нашей литературе. Оно ясно свидетельствует о каком-то происходящем на наших глазах процессе, который пока еще не принял сколько-нибудь определенных очертаний, но который со временем, быть может, даже в недалеком будущем, раскроет какие-нибудь новые горизонты. Тон этот является несомненным отзвуком внутренней работы индивидуальной человеческой личности, постоянно и упорно стремящейся уяснить себе смысл жизни. Процесс этой индивидуальной работы начался у нас очень давно. Еще в начале века Баратынский, Пушкин и целый ряд других более или менее крупных писателей поставили индивидуальную личность человека на пьедестал, потребовали для нее больших прав, чем она имела до того времени. Раз начавшаяся борьба росла с каждым часом все более и более, приносила свой плод в виде тех или иных фило-

софских и теоретических проблем, но главным результатом ее было несомненное и очевидное для всех торжество индивидуальной человеческой личности. Сильнее всех провозгласили этот принцип в наше время декаденты. Их, впрочем, я оставляю в стороне, так как наши русские декаденты не представляют собою ничего самостоятельного. Стоя на «мертвой дороге», они с радостью ухватились за провозглашаемое германским философом Ницше учение о сверхчеловеке и в настоящее время не только не унывают, но даже, наоборот, ликуют, чувствуя себя достойными сверхчеловеческой высоты и потому имеющими право гордо смотреть на обыкновенных простых смертных. Тоскливый тон наших беллетристов свидетельствует о том, что индивидуальная личность уже не удовлетворяется более теми решениями, которые ей подсказывают и которые признавали удовлетворительными лет двадцать тому назад. Не все могут стать убежденными толстовцами или марксистами, но далеко также не все могут и создать себе свое собственное мирозерцание. На этой почве и вырабатывается то тоскливое отношение к окружающей жизни, которое мы отметили выше у Чехова и Вересаева. Оба эти писателя, однако, не идут дальше тоски. Протеста у них мало. Они довольно пассивно относятся к тому, что совершается вокруг них и ограничиваются почти исключительно отрицанием.

Несколько иначе относится к вопросам этого рода недавно только вступивший на литературное поприще, но успевший в короткое время занять очень почетное место в литературной среде, Максим Горький. Индивидуализм нашел себе в этом писателе самого ревностного проповедника, борца, который не только пером и словом, но всей своей жизнью, всем своим существом ополчился на защиту самой безграничной свободы личности. Биография г. Горького устраняет всякое сомнение в возможности чего-либо искусственного и неискреннего в его мирозерцании. Она, впрочем, настолько интересна и так важна для понимания произведений Горького, что я позволю себе ее изложить в самых общих чертах, придерживаясь автобиографической заметки, напечатанной самим г. Горьким в одном из малораспространенных журналов³. Биография эта нагляднее всего покажет, с какой оригинальной и самобытной личностью мы встречаемся в лице г. Горького.

«Родился я, — пишет Горький, — 14-го марта 1868 или 9-го года, в Нижнем, в семье красильщика Василия Васильевича Каширина, от дочери его Варвары и пермского мещанина Макси-

ма Савватиева Пешкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. С тех пор с честью и незапятнанно ношу звание цехового малярного цеха». «Отец умер в Астрахани, — продолжает г. Горький, — когда мне было 5 лет, мать — в Канавине-слободе. По смерти матери дедушка отдал меня в магазин обуви; в ту пору имел я 9 лет от роду и был дедом обучен грамоте по псалтыри и часослову. Из “мальчиков” сбежал и поступил в ученики к чертежнику, — бежал и поступил в иконописную мастерскую, потом на пароход в поварята, потом в помощники садовника. В сих занятиях прожил до 15 лет, все время занимаясь усердно чтением классических произведений неизвестных авторов, как-то: “Туак или непреоборимая верность”, “Андрей Бесстрашный”, “Япанча”, “Яшка Смертенский” и т. п. На пароходе, когда был поваренком, на образование мое сильно влиял повар Смурый, который заставлял меня читать жития святых, Эккартгаузена, Гоголя, Глеба Успенского, Дюма-отца и многие книжки франкмасонов. До повара — терпеть не мог книг, всякой печатной бумаги, до паспорта включительно. После 15 лет возымел я свирепое желание учиться, с какой целью поехал в Казань, предполагая, что науки желающим даром преподаются. Оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение, по 3 руб. в месяц. Это — самая тяжелая работа из всех опробованных мной». В Казани г. Горький потом торговал яблоками. «Работал на Устье, пилил дрова, таскал грузы». Как жилось в этот период Горькому, можно судить по тому, что в 1888 г. он покушался на самоубийство.

После Казани Горький пробует счастья в Царицыне, где занимает должность железнодорожного сторожа, а затем опять появляется, по случаю призыва, в Нижнем. В солдаты, однако, Горький не попадает, — «дырявых не берут», а делается продавцом баварского кваса. Наконец многострадальный член «малярного цеха» какими-то судьбами пристраивается писмоводителем у присяжного поверенного А. И. Ланина. Ланин принял в Горьком участие. Однако бродячая жизнь Горького не прекратилась. Скитания привели тогда Горького в Тифлис, где он работает в железнодорожных мастерских и где, в газете «Кавказ», напечатал свой первый рассказ. Вернувшись затем в родные края, Горький начал помещать свои очерки в поволжских газетах. В Нижнем Горький познакомился с В. Г. Короленко, который и имел решающее влияние на его литературную карьеру.

После Николая Полевого⁴ г. Горький едва ли не второй действительно замечательный русский самородок*. При чтении его рассказов никому, конечно, и в голову не придет, что он прошел такую школу. Привыкнув считать способными к литературной работе лишь людей, прошедших все степени нашей школы, мы не можем себе представить, чтобы литератор мог выработаться из пекаря, крендельщика и т. д. А ведь, кто его знает, дал ли бы нам г. Горький то, что он дал, если бы он прошел нашу всех и вся нивелирующую школу, получил гимназическое образование, всецело направленное к обезличению и обесцвечению всякой индивидуальности.

Вероятнее всего, что — нет. Я, конечно, не хочу этим сказать, что школа превратила бы его безусловно даровитую натуру — в нечто бездарное. Этого, конечно, не случилось бы. Но, наверное, школа, заставляющая детей целыми днями просиживать в четырех стенах за латинской грамматикой, не столько думать, сколько «зубрить», лишила бы г. Горького того, что он вынес из жизни своей на лоне природы, из своих постоянных наблюдений над природою и людьми, над действительною жизнью во всей ее совокупности. Читая рассказы г. Горького, вы чувствуете, что «с природою одною он жизнью дышал», что он любит эту природу, знает ее и потому дает замечательные по своей художественности и правдивости описания. У г. Горького сочная кисть и свежие краски. Пишет он мазками, без лишних слов, без всякой риторики. Всего двумя-тремя штрихами он передает целую и вполне реальную картину. Особенно любит он море, которое у него столь же разнообразно, как и у Айвазовского. Его кипучая, нервная натура никогда не пресыщается созерцанием этой темной опаловой широты, бескрайной, свободной и мощной. Море у него смеется, улыбается, спит, играет маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая эти волны друг с другом и разбивая в мелкую пыль. На одной странице перед вами «игривое море, все изрытое бегающими стаями волн, кое-где уже убранных пышной и белой бахромой пены», на другой — море это ходит грозными волнами, с шумом разбивающимися одна о другую.

Разносторонность художественного дарования г. Горького сказывается, между прочим, в том, что он с таким же успехом,

* Кн. В. Барятинский сопоставлял его в одной из своих статей в «Северном» кур<ере>» с Ломоносовым, но такое сопоставление вряд ли возможно. Ломоносов прошел все-таки систематическую школу до заграничной командировки включительно.

как и пейзажи, рисует жанровые картинки, пишет вполне живые портреты. Для доказательства вполне достаточно развернуть любую страницу из его рассказов, но я позволю себе обратить ваше внимание на его описание пения и певцов и сравнить этого рода картинки, не раз встречающиеся у г. Горького, с картинкой «Певцы», такого замечательного художника, как И. С. Тургенев. Это сравнение покажет вам лучше всего, что вы имеете дело с действительно замечательным художником, разбирающимся не только в красках, но также и в звуках, и в тончайших психологических настроениях. Вот, например, в каких выражениях он дает описание дуэта, пропетого двумя женщинами.

«...Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала:

“Эх-у ме-ня-у-крас-ной-де-ви-цы...”

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами крикнула:

“Как былинка, сердце высохло-о-о!”

Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, сочным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, — рыдал с унылой и бессильной скорбью, рыдал, слезами заливая огонь своих мучений. Другой — более низкий и мужественный — могуче тек в воздух, полный чувства, кровной обиды и готовности мстить. Ясно выговаривая слова, он рвался из груди густою струей, и от каждого слова пахло кипящей кровью, возмущенной оскорблением, отравленной обидой и мощно требовавшей мести.

“Уж я ему это выплачу...” — жалобно пела Васса, закрыв глаза.

“За-озноблю его, по-овысушу...” — уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие, сильные звуки, похожие на удары».

Читая эти строки, вы положительно слышите пение, проникаетесь настроением певцов и слушателей г. Горького.

Впрочем, о том, что г. Горький — несомненно крупный художник, как я сказал уже выше, свидетельствует каждая страничка его рассказов, а потому подробно останавливаться на этой стороне его таланта, полагаю, будет излишним.

IV

Перейдем к его сути, к той «душе», которой мы, по справедливому замечанию Толстого, всегда ищем в произведениях писателя. У г. Горького искать ее, впрочем, не придется долго. Она так ярко выразилась в главнейших типах его рассказов, что бросается сразу же всякому в глаза. Скажу больше. Все лучшие рассказы г. Горького, не исключая и самой большой по объему его повести «Фома Гордеев», написаны на одну и ту же тему, во всех их главную роль играет одна и та же фигура «беспокойного» человека, стремящегося к абсолютной свободе и свету и отражающая в себе самого г. Горького.

Все герои его поэтому довольно однообразны. Им скучно на белом свете, все они в большинстве случаев неудачники, обладающие огромным запасом сил, но не умеющие приложить эти силы к делу или, вернее, не могущие найти себе такого дела, которое бы их втянуло, удовлетворило вполне. Говоря словами одного из действующих лиц г. Горького, все они «беспокойные люди», которые мечутся из стороны в сторону, тревожно «ищут своей точки» и, убедившись в собственном бессилии, низко и больно падают. Это своего рода Рудины, «лишние люди», вышедшие из среды, в душу которой до сего времени мало кто заглядывал. Во времена Тургенева среда эта, стонавшая под тяжким игом крепостного права, слишком была еще придавлена. Теперь она начинает развиваться, в ней просыпаются умственные запросы, ум начинает работать над старыми для других вопросами о смысле жизни, и, как естественное следствие этой работы, являются свои собственные Рудины, свои собственные Чулкатурины⁵, Раскольниковы.

Что же представляют собой беспокойные герои Горького, к чему они стремятся, каковы у них идеалы? Прежде всего — все это люди, стоящие неизмеримо выше окружающей их среды. Сытое «мещанское счастье»⁶ им претит. Они вечно ищут чего-то высшего, ищут какой-то своей собственной «точки».

— «Почему я не могу быть спокоен? — спрашивает Коновалов, типичный представитель этого настроения у г. Горького. — А? Почему люди живут себе и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее... И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?» Другой рефлексик, сапожник Орлов, особенно ярко отражает это пессимистическое настроение. Так же, как и Коновалов, он родился «с беспокойством в сердце».

Он — сапожник. Почему? «Али, кроме меня, — философствует он, — мало сапожников? Какое в этом для меня удовольствие? Сажу в яме и шью... Потом помру. Вот, говорят, холера... Ну и что же? Жил Григорий Орлов, шил сапоги — и помер от холеры. В чем же тут сила? и зачем это нужно, чтобы я жил, шил и помер, а?» Дед Архип также пессимистически смотрит на мир. «Правильно ты сказал, — говорит он своему внуку, — пыль все... и города, и люди, и мы с тобой — пыль одна».

К таким пессимистическим выводам приходят герои г. Горького исключительно потому, что не находят себе надлежащего места между людей, не находят себе дела, которое считали бы достойным своей работы, и потому чувствуют себя лишними. Фома Гордеев, этот представитель беспокойного человека из класса купцов-миллионеров, смотрит с завистью на кипящую вокруг него работу людей, не думающих и потому легко примиряющихся с окружающей их пошлостью. «Они, — думал Гордеев, — нужны, а я... ни к чему... Мы живем без сравнения... и без оправдания, совсем зря... И совсем не нужно нас... Мы все — лопнем... ей Богу! А отчего лопнем? Оттого что... лишнее все в нас... в душе лишнее... и вся наша жизнь лишняя...»

Если хотите, то философия эта, высказываемая и другими героями г. Горького, напоминает собой несколько «кладбищенство» Помяловского⁷. Но только напоминает. Между «кладбищенством» с его холодно равнодушным отношением к суете житейской и недовольством г. Горького очень существенная разница.

Не меньшая разница также существует между «лишними людьми» Тургенева и считающими себя «лишними» героями г. Горького. Люди, зараженные «кладбищенством», смотрят на жизнь холодно мрачным взглядом, постоянно твердят о суетности всего живого. «Лишние люди» Тургенева ясно видят пошлость окружающей их жизни, сначала смотрят на эту жизнь свысока, затем мало-помалу снисходят, смиряются и превращаются в Гамлетов Щигровского уезда или Чулкатуриных и успокаивают себя известным софизмом о заевшей их среде.

Герои г. Горького, хотя и считают себя «лишними людьми», однако никогда не смиряются. Беспокойство духа, присущее всем им, не позволяет мириться с пошлой обстановкой или же принимать в ней участие без всякого протеста. В то же время сильная вера в себя, в свои силы мешает им взвалить всю вину за свои мучения на окружающее их общество, на пресловутую «среду».

«Каждый человек, — говорит Коновалов, — сам себе хозяин, и никто в том не виновен, ежели я подлец есть». «...Жизнь плохая, — возмущается Фома Гордеев. — И что вы все на жизнь какую-то жалуетесь? Какая жизнь. Человек — жизнь и кроме человека никакой еще жизни нет...»

Коновалов подробно излагает свой взгляд по этому поводу.

«Кто виноват, — говорит он, — что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю не хуже его, — однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети. Он еще моложе меня. Выходит, что во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку это следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые: — родился, пожил, сколько назначено, и помри! А я на особой стезе... И не один я — много нас таких. Особливые мы будем люди... и ни в какой порядок не включаемся... Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтоб нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой и жизнью виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем... Матери наши не в урочные часы зачали нас — вот в чем сила...»

Тургеневский «лишний человек» Чулкатурин тоже жалуется на то, что мать им «обремизилась», что в течение всей своей жизни он не находил себе места и т. д., но какая огромная разница между этими жалобами! Какими жалкими и дряблыми выглядят все эти Чулкатурины и Гамлеты Щигровского уезда перед Коноваловыми, Гордеевыми, Орловыми и другими «беспокойными», ищущими своей точки «босяками» г. Горького!..

В чем же кроется причина этого различия двух совершенно одинаковых по своей сущности типов? Причина эта лежит в нравственной мощи «лишних людей» г. Горького. Гамлеты Щигровского уезда сознают и чувствуют, что сила человека лежит в его индивидуализме. «Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна, — говорят они... — Ты будь хоть глуп, да по своему! Запах свой имей — свой собственный запах, вот что!»... Но дальше слов не идут и сейчас же «смирятся». Для протеста у них не хватает необходимого количества силы воли.

Это не то, что, например, Фома Гордеев. Войдя в купеческую среду, он сразу же почувствовал, что здесь он лишний, но совсем не потому, чтобы он был хуже других, а скорее потому, что вся окружающая среда казалась ему и пошлой, и глупой, и фальшивой. «Ему оттого плохо среди них, — поясняет г. Горь-

кий, — что он не понимает, чего они хотят, не верит в их слова и чувствует, что они и сами не верят себе и ничего не понимают». Тоскливое настроение, возбужденное пребыванием в этой среде, приводит его к кутежам, нелепейшим поступкам и дебошам. Целыми месяцами он проводит время в обществе пьяных людей, бьет людей, самоуправствует и все-таки ни на минуту не может усыпить гложущего его червя недовольства всей этой жизнью, окружающей его пошлостью. Он не смиряется, а мучится и протестует, высказывает свое недовольство при каждом удобном случае. Просят рабочие на водку — он хочет убедить их в бесполезности их работы. Приходит на освящение парохода и на самоуверенные речи о всемогуществе и величии русского купечества отвечает резкими обличениями его представителей, называет настоящим именем все действительные подвиги этих устроителей земли русской. Не раз выступает он в роли Чацкого, в роли обличителя. Но это обличение не цель его жизни. Он обличает потому, что не может не обличать. Происходит это у него само собой при всяком случае столкновения с проявлением пошлости или фальши. Обличение не дает ему внутреннего удовлетворения, не составляет еще той «точки», которой ищет Фома Гордеев с таким же энергичным беспокойством, как и Коноваловы, Орловы, и вообще все другие «беспокойные» люди.

В чем, однако, заключается эта «точка» или, если ее нельзя определить вполне точно, то, по крайней мере, в каком направлении ее ищут. Исходным пунктом всех беспокойных людей г. Горького является общее благо, но благо действительное, а не воображаемое. Тип такого беспокойного человека, совершенно в стиле г. Горького, дал, между прочим, Тургенев. Я имею в виду Михаила Полтева в рассказе «Отчаянный». На вопрос о том, какой злой дух заставляет его пить запоем, рисковать жизнью и т. п., — у него всегда был один ответ: тоска.

«— Да отчего — тоска?

— Как же, помилуйте! Придешь, таким образом, в себя, очувствуешься, станешь размышлять о бедности, о несправедливости, о России... Ну — и кончено! Сейчас тоска — хоть пулю в лоб! Закутишь поневоле!

— Россию-то зачем сюда приплел? Все это у тебя от бездействия.

— Да не умею я ничего делать, дяденька родной!.. Вы вот поучите меня, что мне делать, жизнью из-за чего рискнуть? Я — сию минуту...»

Герои г. Горького проповедуют в таком же стиле. Они прямо заявляют, что готовы «на сто ножей броситься... лишь бы с пользой, чтобы из этого облегчение вышло людям».

«Нужно такую работу делать, — внушал Фома Гордеев своим рабочим, — чтобы и тысячу лет спустя люди сказали: вот это богородские мужики делали».

Все беспокойные люди не мирятся, однако, с обыденной, хотя бы даже и полезной работой, а жаждут подвигов, жаждут чего-то необычайного и никогда ни на чем успокоиться не могут, так как считают себя существами неизмеримо более высокими, нежели все остальные люди. Г. Горький, вложивший основное свое мирозерцание в уста своих героев, сам сознается вполне откровенно, что он «всегда считал себя лучше других и успешно продолжает заниматься этим до сего дня». Так же, конечно, думает и Фома Гордеев, и Коновалов, и другие. Вполне поэтому естественно, что довольствоваться малым, что удовлетворило бы всякого другого, они не могут, отчасти из чувства высокого понятия о своем достоинстве, отчасти из удивительной склонности к рефлексии благодаря способности находить в каждом предмете его темную сторону.

Сапожник Орлов бросает свою яму, поступает на службу в холерный барак, имеет очень хороший заработок, добивается того, что его признают «нужным человеком»; он возрождается и, по собственному признанию, «прозревает на счет жизни». Казалось бы, цель достигнута. Беспокойство, однако, тут как тут. Орлов начинает сомневаться в значении своего труда. Он помогает больным от холеры. Но разве это важно? Холерных окружают заботами, уходом, а сколько людей остается вне барака, людей в тысячу раз более несчастных, нежели эти холерные, и остающихся тем не менее без всякого призрения. «Живешь на земле, — философствует он, — ни один черт даже и плюнуть на тебя не хочет. А как начнешь умирать — не только не позволяют, но даже в изъясн себя вводят. Бараки... вино... шесть с половиной бутылка!» Человек выздоравливает, и доктора радуются, а он и хотел бы разделить эту радость, да не может, так как прекрасно знает, что за порогом барака этого больного ждет жизнь «хуже холерной судороги».

И вот опять пьянство, запой, бродяжничество, до тех пор, пока опять счастливая случайность снова подымет «беспокойного» над землей. Ни обеспеченное положение, ни сытая жизнь не успокаивают «беспокойных» людей. Большинство из них — люди очень способные, имеют полную возможность жить в свое удовольствие, иной раз даже без всякой работы, но

врожденный дух беспокойства не позволяет им примириться с пошлым и сытым существованием будничной жизни, толкает их все вперед и вперед.

Было бы, однако, большой ошибкой думать, что беспокойные люди г. Горького имеют какие-нибудь особенно высокие и определенные идеалы. Если бы спросили кого-нибудь из них, что, собственно говоря, им нужно, то они не сумели бы вам точно сформулировать свои стремления. Иной раз им хочется приносить пользу, быть «нужными» людьми, а в общем хочется «проявить себя каким бы то ни было способом». «Раздробить бы всю землю в пыль, — мечтает Орлов, — или собрать шайку товарищей и жидов перебить... всех до одного! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и сказать им: ах, вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное, и больше ничего! Н-да-а! Черт же возьми... скучно. И, ах, как скучно и тесно мне жить!» В таком роде мечтают почти все герои г. Горького. Это избыток сил, которых некуда направить, жажда чего-то смутного, стремление к чему-то такому, что еще не успело вылиться в определенную формулу, воплотиться в каком-нибудь ясно осознанном образе. Это своего рода романтизм.

Если, однако, разобраться во всех этих порывах, во всех этих недоговоренных стремлениях, нередко имеющих крайне дикий характер, то можно найти в них и нечто общее. Общее это можно назвать стремлением сознавшей свою индивидуальность человеческой личности освободить себя от всех общепринятых условностей социальной и нравственной морали упорным исканием смысла жизни.

Абсолютная свобода личности прежде всего... «Первое дело, — формулирует свою философию Коновалов, — человек. Понял? Ну, и больше никаких... По-твоему выходит, что, пока там все это переделается, человек все так же должен оставаться, как и теперь... Нет, ты его сначала перестрой... Чтобы ему было светло и не тесно на земле, вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...»

Более обстоятельно и подробно развивает эту же тему учитель в прекрасном рассказе «Ошибка»:

«Ты, — говорит он, — знаешь людей в плену у жизни? Это те люди, которые хотели быть героями, а стали статистиками и учителями. Они некогда боролись с жизнью, но были побеждены и взяты в плен ее мелочами. Вот о них-то говорю я и это их хочу спасти... Ты понял? Они погибают, ибо — гонимы, ибо все смотрят на них, как на врагов, а сами они враги себе. Рассеян-

ные повсюду, они погибают от сомнения и тоски... и от невозможности свободно ходить и думать... И вот их я соберу воедино и выведу вон из жизни в пустыню и там устрою им будку всеобщего спасения. Ты видишь — будка, а не коммуна, не фаланстер — это легально, не правда ли? А я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю. Я знаю много, больше, чем есть предметов для знания, ибо я знаю всех их, плюс — мое знание!.. Мы источим по капле соки наши на песок пустыни и оживим ее, застроив зданиями счастья! Среди нас будет возвышаться над всеми будка всеобщего спасения, и на вершине ее, под стеклянным колпаком, буду вечно вращаться я сам и смотреть за порядком среди тех, что вручены мне судьбою. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я знаю высшую справедливость. Я наложу на всех одну обязанность — творить. Твори, ибо ты человек! — прикажу я каждому. Это будет грандиозно! И когда мы создадим свое царство, в котором все будет гармония, то созовем всех шпионов и всех сильных земли и все глупые народы созовем и скажем им: «Вот вы гнали нас, а мы создали вам вечный образец жизни! Вот вам он — следуйте ему! Мы же, возрожденные из пепла, идем творить, вечно творить... Вот наша задача». И мы, бывшие бедняки, уйдем, обогатив бывших крезов богатством духа и силы жить. Победа!.. Тогда я скажу всему миру: «Люди, оденьтесь в светлое, ибо ночь исчезла и не придет больше». Вот какую идею родил я из несчастий и мук моей жизни, я, гонимый и затравленный, я, измученный собой и уязвленный язвой желания быть творцом жизни. Ты хочешь быть? — твори новое! Дай что-нибудь людям, дай им, ибо они жалки и бедны!»

Творить, однако, герои г. Горького совершенно не способны. Для этого, при их чрезмерно развитом индивидуализме, у них не хватает достаточного количества любви к человеческим массам, не хватает альтруизма, во-первых, а во-вторых, нет у них «духа строительного». Крестный отец Фомы Гордеева, положительный тип умного, изворотливого купца, знающего что и как ему нужно делать, верящего в мощь русского купечества, Маякин, прекрасно характеризует эту беспомощность беспокойных людей г. Горького. «Дайте, — говорит он, — людям полную свободу». Тогда, по его словам, воспоследует такая комедия. «Почувяв, что узда с него снята, — зарвется человек выше своих ушей и пером полетит и туда, и сюда... Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испускать... А духа этого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится это он день-другой, потопорщится во все стороны и — в скорости ос-

лабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем... хе-хе-хе! Тут его, — хе-хе-хе! — голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут... действительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будут жизнью править не палкой, не пером, а пальцем да умом. Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит селезенка настоящего-то жару? Та-ак-с... Ну, так-теперь вы, такие-сякие, — молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, стряхнем вас с земли! Цыц, голубчики...»

V

В таком случае, однако, что же в конце концов делать «беспокойным» людям? Творить они не могут, да, по-видимому, и сами не особенно сильно стремятся к этому; ожидать, когда разного рода Маякины, более сильные, стряхнут их, «как червей с земли», скажут им «цыц» и заставят смириться, тоже не соответствует свободолюбивому характеру беспокойных людей. Смирение совершенно не в их характере. Итак, что же делать?

Ответ на этот вопрос дают все «беспокойные люди» почти в одних и тех же выражениях, а именно: необходимо освободить себя от всяких пут, от всяких условностей, которые так или иначе теснят свободу личности. Конечная цель всех стремлений всех беспокойных людей г. Горького — это абсолютная, ничем не стесняемая свобода. «Приятно, — говорит один из героев г. Горького, — чувствовать себя свободным от обязанностей, от разных маленьких веревочек, связывающих твое существование среди людей... от всяких мелочишек, до того облепляющих твою жизнь, что она уже становится не удовольствием, а скучной ношей... тяжелым лукошком обязанностей... вроде обязанности одеваться прилично, говорить прилично и все делать так, как принято, а не так, как тебе хочется».

Беспокойным людям, проникнутым такими свободолюбивыми мечтами, удовлетворяет только бродячая жизнь. Она нравится им потому, что это «птичья жизнь», потому что в ней нет обязанностей и нет законов, потому что в ней все позволено... Фома Гордеев мечется из стороны в сторону, ищет своей «точки» до тех пор, пока случайно встретивший его странник не указывает ему как на выход из его положения на вольную жизнь бродяги.

И посмотрите, с каким восторгом, с какой любовью, даже энтузиазмом говорят беспокойные люди об этой вольной жиз-

ни. Странник, убеждающий Фому Гордеева бросить пошлую будничную жизнь, разворачивает перед его глазами замечательную по своей поэтичности и задушевному тону картину вольной жизни.

— «Выдь-ка ты, — говорит он, — на дорогу вольную, на поля, на степи, на равнины, горы... выдь, да посмотри на мир с воли, издали... Зашумят вокруг тебя леса дремучие сладкими голосами о мудрости Господа; запоют тебе птички Божий о святой славе Его, а степные травы курят ладаном Пресвятой Деве Богородице... Смотришь в небо, лежа где-нибудь под кустиком, а оно все к тебе опускается, как обнять тебя хочет... На душе тепло и тихо — радостно, ничего-то тебе не хочется, ничему не завидно... Так вот и кажется, что на всей земле только ты да Бог...»

«...Люблю я, друг, — говорит другой герой Горького, Лакутин, — эту бродяжную жизнь. Оно и холодно, и голодно, но свободно уж очень. Нет над тобой никакого начальства... сам ты своей жизни хозяин... звезды мигают мне, ровно говорят: ничего, Лакутин, ходи, знай, по земле и никому не поддавайся...» Коновалов после многих мучивших его сомнений о бесполезности своего существования успокаивается на том, что решает «ходить по земле в разные стороны»⁸. «Это, — говорит он, — всего лучше — идешь и все видишь новое, и ни о чем не думается...»

Чисто внешние неудобства вольного существования мало смущают свободолюбивых героев г. Горького. «Шесть лет, — говорит сам о себе один из этих проповедников индивидуализма, — я путешествую и, ничего себе, не жалуюсь Богу моему на судьбу. Об этом времени я не буду рассказывать, ибо оно слишком однообразно... и разнообразно. В общем, это веселая птичка — жизнь. Только зерен не хватает... но не надо быть слишком требовательным, памятуя, что даже лица, на тронах сидящие, не одни только удовольствия испытывают. В такой жизни, как эта, нет обязанностей — это первое хорошее, и нет законов, кроме законов природы, — это второе. Конечно, господа урядники иногда беспокоят... но и в хороших гостиницах блохи водятся... Зато вы можете идти направо, налево, вперед, всюду, куда вас влечет; а если не влечет никуда, запасись от мужика хлебом — он добр и всегда даст — запасись хлебом и лежи, дондеже тебя не потянет куда-нибудь...»⁹

Вот конечный пункт, до которого доходят все «беспокойные люди», то направление, в котором они предполагают найти свою точку. Сам г. Горький вполне разделяет их взгляд в этом

отношении. «Нужно, — говорит он уже от себя, — родиться в культурном обществе, для того чтобы найти в себе терпение жить всю жизнь среди него и ни разу не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем малых ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий — одним словом, из всей этой охлаждающей чувство и развращающей ум суеты сует, в общем далеко неверно и неточно называемой — культурой. Я родился и воспитывался вне этого общества и, по сей приятной для меня причине, не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок... Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме пары хороших выносливых ног»¹⁰.

До г. Горького никто еще не выступал с такой смелой, энергичной проповедью самого безграничного индивидуализма. Не удивительно поэтому, что и проповедь эта встречена далеко не всеми одинаково. В то время, как у одних «беспокойные люди» г. Горького отчасти вызвали, отчасти лишь усилили врожденное им беспокойство, в то же самое время другие люди, более уравновешенные, отнеслись к этим свободолюбивым босякам даже недружелюбно. Еще на днях попала мне в руки книжка «Русской мысли», где небезызвестный критик г. Протопопов, прилаживающий ко всем вопросам свою старую, покрытую плесенью трафаретку, относится очень скептически ко всем порывам в высь «беспокойных» героев г. Горького и даже пытается, неизвестно зачем, доказать, что не все могут достичь полной свободы, что нельзя не считаться с некоторыми принятыми уже в культурных обществах препонами и т. д.¹¹

Спор с такого рода оппонентами, ведущийся везде и всюду в настоящее время, спор, конечно, совершенно бесплодный. Ни та, ни другая сторона не понимает, да и не может понять друг друга. Если вы меня спросите — почему, я отвечу ссылкой на прекрасный по своей художественности поэтический рассказ г. Горького «Песня о Соколе». Песня это содержит в себе небольшой диалог между раненым Соколом и Ужом. Уж решительно не понимает свободолюбивого стремления птиц к небу. После разговора с Соколом, с восторгом говорившим на эту тему, он свертывается клубочком, подпрыгивает и сейчас же падает.

«Так вот в чем прелесть полетов в небо, — говорит Уж. — Она — в паденьи. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тос-

кую, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу...»

«Рожденный ползать, — морализует по этому поводу рассказчик, — летать не может».

Вот простой, но ясный ответ на вопрос о причине постоянных споров между людьми спокойными и людьми беспокойными. Сам г. Горький не заблуждается относительно конечных результатов постоянного стремления в высь людей беспокойных. Он знает, что для большинства, если не для всех, полеты эти оканчиваются падением, что падение это сопровождается ужасными страданиями, часто смертью. Раненый Сокол, желая последний раз насладиться ощущением свободного смелого полета, бросился с утеса в пропасть и разбился. Он погиб, но это не важно, а важно то, что свою жизнь провел он свободно, а по смерти стал «живым примером, призывом гордым к свободе, к свету». Неважно также, что многие будут искать света не там, где он на самом деле, и в конце концов погибнут. Пускай, говорит alter ego г. Горького, не нужно им мешать, не стоит их жалеть — людей много! Важно стремление, важно желание души найти Бога, и если в жизни будут души, охваченные стремлением к Богу, Он будет с ними и оживит их, ибо Он есть бесконечное стремление к совершенству.

Одни могут, конечно, разделять эти порывы в большей степени, другие — в меньшей, но, я думаю, нисколько не ошибусь, если скажу, что все мы, закрывая небольшой серенький томик рассказов г. Горького, не раз повторяли себе слова Лежнева о Рудине. «В нем есть энтузиазм, а это — самое драгоценное качество в наше время. Мы все стали невыносимо рассудительны, равнодушны и вялы. Мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет».





А. СКАБИЧЕВСКИЙ

М. Горький. Очерки и рассказы

Два тома. СПб., 1898 г.

I

У г. Горького во всех до сих пор появившихся произведениях мы видим свою особенную специальность, свой жанр. Г. Горький является перед нами поэтом босой команды, людей бездомных, удалых головушек, вечно бродящих из города в город, беззаботно пропивающих те последние несколько грошей, какие им удалось заработать вчера, и, как птицы небесные, не думающих о том, что с ними будет завтра.

Он несколько напоминает в этом отношении покойного Леви-това в позднейших произведениях последнего — «Крым», «Грачевка», «Беспечальный народ», «Не сеют, не жнут» и пр., где Левитов, в свою очередь, имеет дело с толпою босяков, бездомных пропойц и всякого рода русского городского пролетариата¹. Но между картинами Левитова и Горького мы видим все-таки большую разницу. Вы не найдете в последних того мрачного, безнадежного пессимизма, каким преисполнены очерки Левитова. Левитов скорбит и о своих героях, и о самом себе, при сознании своего в них разочарования, и не видит впереди ни малейшего просвета. Чем-то болезненно-надломленным, безнадежным веет от очерков Левитова, принимающих порою характер бреда *delirium tremens**.

У г. Горького вы не найдете и следа ни субъективности, ни излишнего лиризма. Это писатель в высшей степени объективный; в то же время он представляется нам в большей степени

* горячечного (лат.). — Ред.

художником, чем Левитов, и во внешней технике произведений, и в их внутреннем содержании.

Так, вы не найдете в его очерках ни той клочковатости, неуклюжества, неоконченности, какими отличаются очерки Левитова; нет в них и многословия последнего, ни тех лирических чувствозлияний, которые заставляли автора «Степных очерков» порою совсем забывать и о своих героях, и о всех их приключениях. Каждый рассказ г. Горького представляет собою нечто законченное, содержащее в себе драматический сюжет, цельный, стройный, гармонический, развитой. В то же время г. Горький словно задался доказать нам своими произведениями, что художественность и тенденциозность не только не мешают одна другой и не задевают одна другую, а, напротив того, могут идти рука об руку, помогая друг другу и усиливая и значение произведения, и производимое им впечатление.

II

В то же время, как я уже сказал выше, в произведениях г. Горького вы не найдете и тени того уныния и отчаяния, какими преисполнены очерки Левитова. Как ни мрачны трагические сюжеты, лежащие в основе почти каждого рассказа г. Горького, вы все-таки выносите из них чувство бодрости и нравственного примирения. И все это потому, что перед вами не толпа безнадежно погибших полу-людей, полу-зверей, а просто люди, задавленные обстоятельствами жизни, которые на самых низших ступенях своего падения все-таки сохраняют образ и подобие Божие и думают и говорят так же, как и мы с тобой, читатель, воображающие себя светилами прогресса, и в каждом вы замечаете искру любви и правду, готовую, при благоприятных обстоятельствах, загореться всепожирающим пожаром. При всей своей объективности г. Горький любит своих несчастных героев и, тщательно анализируя их до самой сокровенной глубины их душ и сердец, порою незаметно увлекаясь, идеализирует их и, идя по этой скользкой, наклонной плоскости, впадает в единственный недостаток — заставляет своих героев произносить такие слова и речи, которые, очевидно, не в силах произнести люди малограмотные и малоразвитые, вроде, например, такой речи в устах простого крымского цыгана Макара Чудры.

«Что ж он (т. е. «мужик») родился затем, что ли, чтобы поковырять землю да и умереть, не успев даже и могилы самому

себе выковырять? Ведома ли ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце?»

Простые русские люди произносят подчас чрезвычайно поэтические фразы — стоит только порыться в комедиях Островского, чтобы найти таких фраз обилие. Но в то же время эти фразы исполнены своеобразного народного духа, и не найдете в них и следа книжности. «Говор же морской волны, веселящей сердце», выражение, вполне естественное под пером г. Горького, режет ваше ухо в устах грубого цыгана.

В подтверждение своих замечаний о произведениях г. Горького я намерен остановиться на некоторых из них, которые меня наиболее поразили.

III

Так, прежде всего мы обратим внимание на рассказ «Челкаш», который можно назвать одним из лучших перлов русской литературы по своей поэтической прелести, драматизму и глубокому содержанию. Героем его является Гришка Челкаш, старый травленный волк, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор и контрабандист в одном из южных черноморских портов. Босой, в старых вытертых плисовых штанах, в грязной ситцевой рубаше, с разорванным воротом, открывавшим его подвижные, угловатые, сухие кости, обтянутые коричневой кожей, длинный, костлявый, немного сутулый, он сразу обращал на себя внимание своим сходством со степным ястребом, своей хищной худобой и прицеливающеюся походкой, такой же плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной, зоркой, как полет злой, нервной птицы, которую он напоминал.

Челкашу предстояла ночью очень выгодная контрабандная кража, как вдруг товарищ его, Мишка, сломал себе ногу, а одному Челкашу трудно было справиться с делом, и он бесцеремонно завербовал себе первого встречного на улице, деревенского парня Гаврилу, пробиравшегося домой с летних заработков. Парень был широкоплеч, коренаст, рус, с загорелым, обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими доверчиво-добродушно. Отец у него умер, осталась на руках мать-старуха; земля была вся истощена, и решил он идти в зятя в хороший дом, надеясь, что тесть выделит дочку. Но тесть не захотел выделить; приходилось Гавриле годы быть у него батраком. Надумал он пойти на Кубань рублей двести сработать там и встать на ноги при помощи их; но и это не выгорело.

Цены за покос на Кубани были сбиты вследствие избытка пришедших рабочих, и пришлось Гавриле возвращаться домой почти с пустыми руками.

IV

Вот его-то, случайно встретив на улице, нанял Челкаш себе в помощники. Они поехали на лодке с целью кражи тюков с шелком, причем Гаврила греб, а Челкаш сидел на руле. Путешествие было полно опасностей на каждом шагу. Гаврила умолял, чтобы Челкаш высадил его на берег. Челкаш издевался над его трусостью, но в то же время простые мужицкие речи Гаврилы о деревенской жизни привели сердце его в крайнее умиление. Перед ним воскресли картинки далекого прошлого, он вспоминал себя ребенком, вспомнил отца, мать, видел себя женихом и видел жену — черноглазую Анфису, и пр., и пр. Он чувствовал себя овеванным ласковой струей примиряющего воздуха родной страны, донесшегося до его слуха, и ласковые слова матери, и солидные речи исконного мужика-отца, и много забытых звуков, и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... И он чувствовал себя сбитым, упавшим, жалким и одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

Эти чувства так умилили Челкаша, что когда дело их увенчалось успехом, — Челкаш выкрал несколько тюков шелку и в ту же ночь продал их за пятьсот сорок рублей, — он отдал все их Гавриле, когда тот при прощании с ним на берегу моря бросился ему в ноги и просил его осчастливить, уделивши ему хоть двести рублей из вырученных денег. Каково же было и удивление, и негодование Челкаша, когда Гаврила тут же сознался ему, что при возвращении он боролся с мыслью убить Челкаша ударом весла, ограбить и выкинуть за борт лодки. — Кто, мол, его хватится? И найдут — не станут допытываться: как, да кто убил, да и не такой человек, чтобы из-за него шум подымать; не нужный он на земле!.. Кому за него встать!

Тогда между ними завязалась смертельная борьба. Челкаш бросился на Гаврилу и отнял у него деньги; Гаврила же кинул вслед ему камень, сильно ранил его в голову и оглушил до беспомысленности, но сам, по своему крестьянскому добродушию,

ужаснулся своему поступку, и, когда Челкаш очнулся, начал валяться у него в ногах, прося прощения. Челкаш обозвал его гнусом, заметив, что и блудить-то он не умеет и, с усилием подняв его голову за волосы, сунул ему деньги в лицо. «Бери, бери, — сказал он при этом: Не даром работал, чай, бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери; никто ничего не узнает о твоём деле, а награды оно стоит. Ну, вот!»

Челкаш пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой подергивая свой бурый ус, Гаврила же снял свой мокрый от дождя картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

V

Вообще, умение раскрывать перед нами потрясающие драмы и трагедии, незаметно скрывающиеся в мелочах повседневной жизни, проходит сквозь все рассказы г. Горького.

В только что разобранном нами рассказе все-таки разыгрываются трагические страсти, доводящие людей до смертного боя, но что, по-видимому, драматичного в том, что разъевшийся купчина-мельник Павел Тихонович, соскучившийся монотонною жизнью на мельнице, лишенный малейшего духовного интереса, отправился в город развеять свою тоску, но в городе случайно набрел на похороны интеллигентного труженика, двадцать лет неустанно трудившегося на пользу людей и умершего от истощения непонятым, неоцененным людьми, в полном одиночестве, в больнице. Павел Тихонович еще больше заскучал, выслушавши речь на могиле покойного, бросился было искать ответов на возникшие в нем проклятые вопросы к корреспонденту-учителю, обличавшему в газетах его плутни, и, в конце-концов, напился до положения риз в городском трактире с какими-то темными личностями. Вот и все содержание повести². Как видите, ничего трагического в ней нет, а между тем вам становится жутко, когда вы читаете ее, страшно за человека и вместе с тем отраднo, что даже и в заскорузлой душе какого-нибудь Кита Китыча теплится огонек, который может быть раздут при благоприятных обстоятельствах. В

этом-то главным образом и заключается сила таланта, чтобы раскрыть перед читателями трагическое в комическом и пошлом и заставить читателя почувствовать ужас перед тем, чем мелкий талант способен возбудить один легковесный смех.

У г. Горького есть рассказ «Зазубрина», в котором трагическою жертвою является жалкий рыжий котенок, и тем не менее читатели бывают потрясены смертью котенка несколько не менее, чем если бы погиб перед их глазами заправский трагический герой.

Все содержание рассказа заключается в том, что среди угрюмых арестантов, гулявших на тюремном дворе, оказался веселый человек Зазубрина. Всегда хохотавший, подвижной и шумный, он был кумиром тюрьмы; его всегда окружала толпа серых товарищей, и он смешил и развлекал ее разными курьезными выходками, скрашивая своим искренним весельем тусклую, скучную тюремную жизнь.

Кроме Зазубрины в тюрьме был еще один фаворит — рыжий толстый котенок, избалованное всеми, игривое животное. Выходя на прогулку, арестанты каждый раз отыскивали его где-то и подолгу возились с ним, передавая его с рук на руки, бегая по двору за ним и позволяя ему царапать их руки и рожи, оживленные этой игрой с баловнем.

Когда на сцену являлся котенок, он отвлекал внимание от Зазубрины, и последний не мог быть доволен этим предпочтением. Зазубрина был в душе артист и, как артист, непомерно таланту самолюбив. Когда его публика увлекалась котенком, он оставался один, садился на дворе где-нибудь в уголке и оттуда следил за товарищами, забывшими его в эту минуту. Казалось неизбежным, что Зазубрина убьет котенка при первом же случае, и это не замедлило случиться. Однажды, когда арестанты увлеклись котенком, оставив Зазубрину в стороне, последний, чтобы привлечь их внимание к себе, предложил им выкрасить котенка в зеленую краску, оставленную малярами во дворе. Сказано и сделано. Зазубрина опустил котенка в ведро с краской с разными стихотворными прибаутками и увлек арестантов своим шутовством; они много смеялись над затеей Зазубрины, но, когда отравленный медянкой котенок начал околевать, это возбудило в них такую реакцию, что они избили Зазубрину до полусмерти. Таково все содержание рассказа. Перед нами мелкий случай тюремной жизни, тем не менее он так талантливо рассказан г. Горьким, что производит на читателя потрясающее впечатление.

VI

В последние двадцать лет немало было толков в нашей печати об антагонизме деревни и города, о различии деревенской и городской нравственности, и во всех этих толках немало было и недоговоренного, и переговоренного, а иногда и лишнего всякой основательности. Особенно в этом отношении грешили художники, по самой натуре своей склонные к преувеличениям и односторонностям.

Возьмите, например, хотя бы «Власть земли» Гл. Успенского. В очерках, посвященных этой самой «Власти земли», проводится, как всем известно, та идея, что крестьянин находится в полной зависимости и кабале у той земли, которую он обрабатывает; что он до тех пор и нравственен, пока сидит на земле и трудится, а чуть сошел с земли, тотчас же теряет под ногами всякую почву и делается вроде свиньи. Для примера выставляется крестьянин Иван Петров, который, получивши хорошее место на железной дороге, изленивается, спивается и доходит до полной деморализации, но едва возвращается в деревню, принимается за соху, вновь исправляется и делается примерным мужиком.

Сказать, чтобы это была ложь, мы не имеем основания; тем не менее это такая правда, которая может привести читателя к ряду заблуждений, так как в настоящем случае она отнесена исключительно к одним крестьянам, между тем как на самом деле она применима ко всем людям. Иван Петров развратился вовсе не потому, что нравственность его зависела исключительно от мистической силы земледельческого труда, а от растлевающего влияния всякой даровой и легкой наживы на кого бы то ни было. Вместо крестьянина, закабаленного землею, поставьте фабричного рабочего, пригвожденного к ткацкому станку, портного, пришитого к своему верстаку, и даже конторщика, прикованного к конторке, — все они являются в положении Ивана Петрова и про всех их можно сказать одно и то же: до тех пор трудовой человек и нравственен, пока все его силы и время заняты трудом, а едва он сходит на почву дешевой и легкой наживы, он неминуемо развращается. Самая же перемена труда одного на другой, равносильно тяжелый, не только не может действовать развращающим образом, а, напротив, бывает порою весьма благоприятна в этом отношении. Так, например: неужели же неминуемый разврат должен угрожать тем крестьянам, которые, видя, что их земля совсем не родит, принимаются за какое-нибудь кустарное производство, отхожий

промысел, или же, чувствуя в себе призвание, делаются живописцами, поэтами? Неужели же и про Кольцова мы должны сказать, что он до тех пор и человеком был, пока пас в степи волов своего отца, а как сдружился со Станкевичем и Белинским и сделался поэтом, вместе с тем стал свиньей?

VII

Читатель возразит мне на это, что не один Гл. Успенский в своей «Власти земли», а и многие другие беллетристы изображали развращающее влияние города и фабрики на народ. Вот и у г. Горького, напр<имер> в его рассказе «Мальва», тоже в свою очередь изображен крестьянин Василий Легостев, который отправился из деревни на Черное море в отхожий промысел, нанялся караульщиком на передовом посту рыбных ловлей купца Гребенщикова и если не развратился в конец, то во всяком случае обзавелся разбитной гуляющей девкой Мальвой, на которую сам смотрел как на баловство, говоря, что в деревне баба — нужный в жизни человек, а на промысле она живет только для одного греха. И замечательно, что говорил этот самый Василий Легостев своему сыну Якову словно целиком из «Власти земли» Гл. Успенского:

— «Крестьянин землю крепко; пока он на ней — он жив, а сорвался с нее — пропал! Крестьянин без земли, как дерево без корней: в работу оно годится, а прожить долго не может — гниет! И красоты своей лесной нет в нем, обглоданное оно, обструганное, невидное!»

В конце концов Василий бросает и выгодное место на промысле, и красавицу Мальву и идет в деревню набираться в ней нравственных сил. Но и здесь, в свою очередь, виною временного нравственного падения Василия является вовсе не то обстоятельство, что он променял крестьянский труд на рыбный промысел; ведь не развращаются ни архангельские, ни ильменские, ни уральские рыбаки потому только, что они не пахут, а рыбу ловят.

Причины деморализации Василия и здесь следует искать не в самом труде, а в его условиях. В то время, как дома в деревне Василий привык работать с утра до поздней ночи, не покладая рук, — у купца Гребенщикова весь труд его состоял в том, что по целым часам он лежал на морском берегу и грелся под горячими лучами южного солнца, и за это получал вдвое или втрое

больше, чем сколько мог заработать каторжным крестьянским трудом. Поневоле он задумал с легких хлебов на досуге.

Точно так же крестьянин Гаврила в рассказе «Челкаш» чуть не сделался убийцей не потому только, что он ушел из деревни на заработки, а по той причине, что у него внезапно и нечаянно явилась возможность даровой наживы в виде нескольких сотен рублей, полученных Челкашем, и у него закружилась голова. Точно также и исконные, зажиточные крестьяне, живущие исключительно земледельческим трудом и никуда не выезжавшие из пределов своей деревни, расположенной где-нибудь на большом сибирском тракте, возьмут да и прирежут купца с деньгами, остановившегося у них на ночлег.

Такие злодейские деньги все равно не замедлят развратить крестьянина, хотя бы он и не отходил от сохи. Точно также и относительно Гаврилы: хотя он и не убил Челкаша, а получил от него деньги даром, можно, наверное, сказать, что деньги эти впрок ему не пойдут: он или пропьет, не дойдя еще до дому, а если не пропьет, то сделается отвратительным кулаком и других будет спаивать в качестве кабатчика.

VIII

Я убежден в том, что найдутся читатели, которые, видя, что некоторые герои г. Горького относятся к крестьянам с презрением и негодованием, воображая себя в нравственном отношении выше их, — подумают, что Горький представляется по своим убеждениям чем-то вроде нео-марксиста.

Но это было бы большое заблуждение. Если бы он был марксистом, мы могли бы ждать от него некоторой идеализации фабричных рабочих на счет деревенских мужиков; но ничего подобного в рассказах его мы не встречаем. Фабричного быта г. Горький вовсе не касается. Судя по тому, что он выставляет городских ремесленников людьми искалеченными и находящимися в такой же кабале у своего труда, как и крестьяне, надо полагать, что и о фабричных рабочих он не может быть особенно высокого мнения, так как и они, в свою очередь, в его глазах должны представляться не иначе как обезличенными рабами механического труда. Нет, не таковы герои, которые являются в рассказах г. Горького наиболее симпатичными. Они совершенно выходят из круга каких бы то ни было политико-экономических доктрин. От них и не пахнет тем, что на Западе известно под именем пролетариата.

Перед нами явление самобытно-русское, исконно историческое, подобное которому в настоящее время вряд ли можно найти где бы то ни было в Европе, кроме разве южных окраин Испании, Италии, Греции и Балканского полуострова.

Явление это есть не что иное, как страсть к бродяжничеству, показывающая, что народ наш и до сих пор еще не дошел до полной оседлости. Бездомный, шатающийся по всей матушке России — бродяга, который ничем не дорожит и ничего не боится, и до последнего времени представляется в глазах народа чем-то

идеальным, в силу чего народ относится к бродягам с особенным почетом и уважением; мирволит им, укрывает их, даже слагает в честь их песни, смешивая их с древними богатырями. Вот что говорит по этому поводу большой знаток русской народной жизни известный этнограф С. В. Максимов³: «Может быть, главные причины покровительства и защиты бродяг в путешествии лежат именно в той тоске о памяти времен “шатания” — тоске, которая до сих пор громко сказывается и сильно заявляется в бесчисленном множестве видов бродяжества. Значительная часть их обусловлена даже коренным законным дозволением, и самая большая половина обессилила закон и живет помимо его, прочно и крепко. Бродяжеством жила Русь далеко после тех времен, когда сплотили ее в государство; бродягами расширила она свои пределы и ими же отстояла свою независимость от кочевых орд, напавших на нее с востока и юга. Бродяги колонизовали Север, завоевали Сибирь, населили Дон и Урал, когда еще это слово не получило настоящего своего значения и нынешние бродяги носили название “гулящих, пришлых, вольных людей”. Не умалило это народное коренное свойство искать способных и выгодных мест на свободном и широком раздолье земли своей и Московское государство, когда ослаблено было экономическое и государственное значение Филиппова заговенья и уничтожен крестьянский выход на Юрьев день. Бродяжество, как вольный переход с одних земель на другие, и теперь живет в народе на всех путях, хотя и под другими именами, с иными оттенками» *. Мы видим, что даже в интеллигентных кругах общества издавна лелеялся беллетристический, в свою очередь, идеал бездомного шатуна. В самом деле, что такое представляют собою все так называемые герои времени, — Евгений Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин, Базаров, Марк Волохов — как не в своем роде ин-

* С. Максимов. Сибирь и каторга. Том II. С. 195.

теelligentных бродяг, и обратите внимание, что всем этим интеллигентным бродягам наиболее сочувствовали современные читатели, в то же время как героини постоянно предпочитали их буржуазно добродетельными Ленским, Крुциферским, Во-лынцевым, Лежневым и пр.⁴

IX

Таким образом, в предпочтении г. Горьким бездомных героев каким бы то ни было добродетельным и вседозволенным, катающимся как сыр в масле, скопидомам, — все равно, будь они крестьяне или городские капиталисты, смешно и видеть что-нибудь нео-марксистское. В таком случае следовало бы всю русскую литературу начиная с «Евгения Онегина» Пушкина, подвести под тот же знаменатель. На самом же деле г. Горький остается лишь верным тому исконно народному идеалу, который одинаково присущ и творениям безличного народного творчества, каковы: былины, сказки, разбойничьи песни, и классическим произведениям первостепенных русских писателей истекающего столетия: Пушкина, Лермонтова, Тургенева и пр.

До какой степени увлекается г. Горький этим идеалом, мы можем судить по тому, что он не ограничивается изображением одних русских босяков, вроде Челкаша, Озорника, Орлова, Коновалова и т. п., а выводит в лице Макара Чудры идеального цыгана, соперничая в этом отношении с Пушкиным. Идеализируя свое скитальчество, этот самый Макар Чудра говорит:

— «Смешные они, те твои люди. Сбирались в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукою в степь. — И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит со своего поля и умирает, как родился, дураком. Что же, он родился затем, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Эге! Он раб, как только родился, и во всю жизнь раб, да и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнее немного! А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумагу, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А, ну-ка, скажи, в

каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить — иди, иди и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон, как день и ночь вечно бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь: это всегда так бывает. И со мною это было. Эге! Было, сокол».

И далее Макар Чудра рассказал автору про еще более идеального цыгана Зобара, который так любил свою волю, что всадил нож своей любимой девушке, красавице Радде, когда убедился, что ему грозит опасность изменить своей воле ради нее.

Не ограничиваясь цыганами, г. Горький выкопал откуда-то молдаванку, старуху Изергиль, которая заткнула за пояс удалством своей скитальческой жизни всех прочих выведенных г. Горьким бродяг обоего пола.

В обоих этих рассказах много поэзии, но во всяком случае это юный пересол, от которого не мешало бы г. Горькому воздержаться. Я убежден, что впоследствии, в более зрелом возрасте, он будет стыдиться этих рассказов за их излишний мелодраматизм.

Х

«ВАРЕНЬКА ОЛЕСОВА»

Как и все очень талантливое, этот рассказ г. Горького поражает вас жизненностью, свежестью и, если хотите, своего рода новизною. Вы привыкли, конечно, к тому, чтобы свободомыслящие писатели выводили прогрессивных и передовых героев — одаренными непременно самую высокопробную нравственностью и, наоборот, людей ретроградного образа мыслей наделяли всеми семью смертными пороками. Не пьющие, не курящие и в карты не играющие герои прогрессивного настроения обязательно должны, подобно Иосифам Прекрасным, в ужасе убегать от жен Пентефриев; пускающиеся же во все тяжкие ретрограды обязаны только и делать, что возжелеть, подглядывая, подобно библейским старичкам, за купающимися Сусаннами⁵.

В действительности это бывает не так. Характер и бесхарактерность, нравственность и безнравственность, ригоризм и распущенность, честность и подлость, эгоизм и альтруизм далеко не всегда находятся в полной гармонии с убеждениями человека и, несколько от них не завися, влекут человека совсем в

противоположную сторону, вопреки требованиям исповедуемого катехизиса. Тут действует и наследственность, и хорошее или дурное воспитание, и среда, и масса иных условий жизни, которые образуют характер человека, движут его волею и руководят его действиями, помимо убеждений, которыми он красуется. Последние являются часто лишь роскошными вывесками, нисколько не мешающими магазинам заключать в себя невообразимую дрянь и гниль.

XI

Рассказ г. Горького тем именно и хорош, что он смело отступает от этой беллетристической рутины. В нем представляется та ирония или игра жизни, в силу которой очень часто под блестящею прогрессивною внешностью таится полное нравственное растление и, наоборот, жалкая неразвитость и темное невежество скрывают в себе драгоценные перлы обновления человечества. Сюжет рассказа г. Горького весь построен на подобном *qui pro quo* *.

Герой рассказа Ипполит Сергеевич Полканов принадлежит, мало сказать, к передовым слоям общества, но в передовых-то слоях занимает место сливок этих передовых слоев. Перед нами не просто прогрессист, а в некотором роде светоч прогресса, так как герой является приват-доцентом в одном из провинциальных университетов. Нужно ли и говорить о том, что прогрессивные убеждения Полканова, представляя последнее слово науки и жизни, безукоризненны. Сам он считает себя воплощенным идеалом человека, готового все свои силы пожертвовать на благо народу и при случае принести на алтарь своей религии даже и свою драгоценную голову, наполненную обширными знаниями. Но пока случай этот еще не представился, идеальные стремления и прекрасные убеждения нисколько не мешали герою нашему сытно есть, сладко пить и пользоваться всеми благами жизни. Относительно же успеха среди женщин, они пока что разыгрывали роль разноцветного хвоста индейских петухов и павлинов. Распустит Полканов свой прогрессивный хвост и начнет горделиво выступать вокруг павы: го-го-го, го-го-го!, а павы слушает его и только млеет: ах, сколько у него этого самого альтруизма! Как высока в нем эта ежеминутная готовность жизнь свою пожертвовать на пользу обез-

* противоречия (лат.). — *Ред.*

доленного мужика! — Боже, какую массу подобного рода не только приват-доцентов, но экстраординарных и ординарных профессоров найдете вы во всех российских университетах! Вспомните хотя бы блестящего Заречного в романе г. Станюковича «Жрецы». Ипполит Сергеевич Полканов является перед нами тем же самым Заречным.

ХП

Рассказ начинается тем, что приезжает Полканов на летние каникулы в имение к сестре своей, помещице, только что потерявшей мужа и вызвавшей брата помочь ей в ее внезапном вдовстве. Он приехал, мечтая усердно заниматься своей наукой и с честью приготовиться в течение лета к лекциям, но неожиданно встретил в деревне роман, весьма для него прискорбный и скандальный.

По соседству от сестры его, Елизаветы Сергеевны, проживал помещик, полковник в отставке, разбитый подагрой, Олесов, и у него была дочь Варенька, которая и является героиней рассказа. С первого же своего появления она поразила и взволновала своего героя своею блестящею красотою, но, по мере знакомства с нею, Полканов был поражен ее неразвитостью, ее невежеством и допотопными рутинными взглядами на вещи в помещичьем духе.

На самом же деле это была непосредственная натура, богато одаренная, возросшая свободно среди полей и лесов деревенской глуши, без всякого воспитания и какой бы то ни было дрессировки, как любое роскошное дерево, красующееся в помещичьем парке. Физически сильная и здоровая, как удалая Поляница народных былин, выходившая на поединок с богатырями, в нравственном отношении безукоризненно чистая и девственная до наивности, Варенька ничем не напоминала собою изнеженных помещичьих барышень: была неутомима и в ходьбе, и в гребле, и в каких бы то ни было физических работах; никого и ничего не боялась; держала в то же время в своих руках все хозяйство по имению, по случаю болезни отца, которого возили по комнатам в колясочке, и все время, таким образом, было занято у нее солидным мужским делом, не имеющим ничего общего с теми дилетантскими занятиями и развлечениями, каким услаждают свои досуги наши провинциальные интеллигентные барышни.

XIII

Взгляды на вещи и убеждения Вареньки, как мы уже сказали выше, были самые допотопные, патриархально-помещичьи, навеянные средой, ее окружавшей. Мужик, по ее мнению, должен работать, ученый учить, а губернатор смотреть, все ли делают то, что нужно. Романы она предпочитала французские на том основании, что у французов герои настоящие, они и говорят не так, как все люди, и поступают иначе: они всегда храбрые, влюбленные, веселые, а в русских романах герои — простые человечки, без смелости и без пылких чувств, некрасивые, какие-то глупые, мешковатые; всегда им тошно, всегда они думают о чем-то непонятном и всех жалеют, а сами-то жалкие-прежалкие.

— Читали ли вы, — говорила она. — Фортюнэ-де-Буагабэя? Понсон-де-Терайля? Арсена Гуссэ? Пьера Законна? Дюма, Габорио, Борна⁶? Как хорошо. Боже мой! Подождите... знаете что? Мне в романах больше всего нравятся злодеи, те, которые так ловко плетут разные ехидные сети, убивают, отравляют... умные они, сильные, и когда, наконец, их ловят, — меня зло берет, даже до слез дохожу. Все ненавидят злодея, все идут против него — он один против всех. Вот — герой! А те, другие, добродетельные, становятся гадки, когда они побеждают... И вообще, знаете, мне люди до той поры нравятся, пока они сильно хотят чего-нибудь, куда-нибудь идут, ищут чего-то, мучаются... Но если они дошли до цели своей и остановились, тут они уже не интересны и даже пошлы.

Не любила она также читать о мужиках... Что может быть, — говорила она, — интересного в их жизни? Я знаю их, живу с ними и вижу, что о них пишут неверно, неправду. Они такими жалкими описываются, а они просто подлые и их совсем не за что жалеть. Они только одного и хотят — надуть вас, украсть у вас что-нибудь. Клянчат всегда, ноют, гадкие, грязные... как они мучат меня иногда, если бы вы знали! Противные до того, что я так бы всех их и прогнала куда-нибудь...

Тем не менее натура у нее была добрая. По крайней мере, те самые мужики, о которых она так презрительно отзывалась, а провинившихся из них собственноручно стегала нагайкой, за что-то любили ее. Однажды, когда ей было всего семнадцать лет, привезли к ним на двор скрученного веревками конокрада, всего избитого, в крови; она дала ему стакан водки, велела горничной обмыть его лицо, потом долго плакала о нем и молилась Богу, чтобы он убежал. Здесь, нужно сказать, г. Горький

прокатился немного на своем любимом коньке пристрастия к босякам и бродягам, заставив барышню вспомнить об этом эпизоде как о своей якобы первой любви. Это немного слишком. Но сам по себе этот эпизод довольно правдоподобен, хотя, насколько нам известны девушки подобного типа, мы знаем, что они относятся с такою же гуманною жалостью и участием не к одним излюбленным г. Горьким конокрадам, но и ко всем мужикам, заслуживающим этих чувств.

XIV

Пленившийся красотой барышни, свободолюбивый герой наш сейчас же распустил свой великолепный павлиний хвост и начал ораторствовать перед нею о несправедливом распределении богатств, о бесправии большинства людей, о роковой борьбе за место в жизни и за кусок хлеба, о силе богатых и бессилии бедных и об уме — руководителе жизни, — подавленном вековой неправдой и тьмой предрассудков, выгодных сильному меньшинству людей, все порабащающих. Но все эти блестящие речи отскакивали от девушки, как от стены горох, не производя на нее ни малейшего влияния. И это происходило вовсе не потому, чтобы в речах этих не было глубокой правды или что девушка так заскоружла в своих предрассудках и была так умственно ограничена, что не в состоянии была усвоить всего. Происходило это от двух причин: во-первых, от того, что речи героя шли не из души его, были чужды того энтузиазма, который увлекает за собою всех и все, а представлялись именно радужным хвостом блестящих фраз, рассудочно-холодных и бесстрастных; а во-вторых, нужно принять во внимание то, что пышный хвост этот был привязан к жалкой пигалице, какой представлялся Полканов в глазах Вареньки.

Идеалом ее был мужчина высокий, сильный; он должен говорить громко, глаза у него должны быть большие, огненные, а чувство смелое, не знающее никаких препятствий.

Пожелал и сделал — вот мужчина. Сила — вот что привлекательно, говорила она; теперешние мужчины рождаются с ревматизмом, с кашлем, с разными болезнями — это хорошо? На фигуру Полканова она все время смотрела с нескрываемым презрением. Так, описывая бранные подвиги своего отца, она заявила, что любит войну, и если будут воевать, то уйдет в сестры милосердия.

— А я тогда поступлю в солдаты, — заметил герой.

— Вы? — спросила она, оглядывая его фигуру. — Ну, это вы шутите... из вас вышел бы плохой солдат... слабый вы, худой такой...

Это задело его:

— Я достаточно силен, поверьте... — заявил он, точно предостерегая ее.

— Ну, где же? — спокойно не верила ему Варенька. Герой наш вскоре понял, что ему не покорить ума девушки своим убеждением и что в жены ему со своими заскоруждыми предрассудками она не годится. Тем не менее девушка продолжала привлекать и кружить ему голову своею красотою. Мало-малыски порядочный человек рассчитал бы, что раз девушка в жены ему не годится, то нечего ему ухаживать за нею или чего-либо добиваться от нее; но под радужным павлиньим хвостом в герое нашем таился зверь, и этот зверь не замедлил сказаться в нем в самом низком и недостойном виде. Полканов знал, что у него не было бы сил любить девушку, но в глубине его ума вспыхивала надежда обладать ею. Наивно смелое, но чуждое малейших заискиваний с ним, девственно чистое обращение с ним он принял за хитрое кокетство с ее стороны. Наконец, его нечистое воображение распалось до такой степени, что он вообразил, будто Варенька готова отдаться ему. Так, оставшись раз вместе с сестрою ночевать у Олесовых, по случаю сильной грозы, он всю ночь провозился с нелепыми эротическими мечтами. Он читал у кого-то, как однажды героиня вошла среди ночи и отдалась, ни о чем не спрашивая, ничего не требуя, просто для того, чтобы пережить момент. Варенька, — ведь в ней есть общее с этой героиней, может поступить так, и вот — вдруг и она придет, в белом, вся трепещущая от стыда и желания.

Перед утром, действительно, дверь тихо отворилась и явилась... но не Варенька, а толстая баба за сапогами и брюками героя.

Вслед за тем герой вскочил с постели, оделся и отправился гулять в парк, и надо же было случиться, что, подойдя к реке, он нашел там купающуюся Вареньку, и произошла сцена такая позорная для героя, какую он не ожидал, хотя вполне заслужил.

Исполненная гнева и негодования, Варенька требовала, чтобы он убирался, называя его гадким псом. Когда же он все-таки упорствовал и не уходил, она выскочила из воды, вне себя, свернула жгутом простыню и отшлепала его почти до беспамятства и затем ушла, сказавши ему на прощанье:

— Что... хорошо?.. Как вы придете в дом такой?.. весь скверный, грязный, мокрый, оборванный... Эх вы, жалкий... гадкий... Скажите хоть, что в воду с берега сорвались... Не стыдно ли... Ведь я могла бы убить... если бы в руки попало что другое.

Тем и кончился рассказ — развязка, не правда ли, совершенно неожиданная и оригинальная. Мне, со своей стороны, остается только пожелать, чтобы все ординарные, экстраординарные профессора и приват-доценты вроде Полканова точно так же оканчивали бы свои амуры.





А. СКАБИЧЕВСКИЙ

Новые черты в таланте г. М. Горького

I

Г. Горький в последнее время начинает все чаще делать вылазки из среды своих излюбленных золоторотцев, и мы можем лишь сказать ему: «В добрый час!» Это выводит г. Горького на более широкий простор, дает возможность не в пример более разнообразить свои образы и не повторяться в такой степени, как это ему приходилось с его босяками. В то же время, принимаясь за изображение различных сфер жизни, более знакомых и изученных г. Горьким, он имеет возможность быть правдивее, реальнее, изображать людей русских такими, каковы они на самом деле, а не Ринальдо Ринальдини в картинных плащах и бандитских шляпах с черными перьями¹. По крайней мере, несколько новейших, последних произведений г. Горького, не имеющих ничего общего с босяками, являются не от чего иного, как именно вследствие этого: и разнообразнее и правдивее. Таковы «Варенька Олесова», и вышеозначенные «Кирилка» и «Фома Гордеев».

II

Рассказ «Кирилка» представляет собою прелестную бытовую сценку, но не бесцельно-фотографическую, а заключающую в себе глубокий символический смысл. Но не подумайте, чтобы это был символизм в декадентском духе. Нет, рассказ г. Горького скрывает в себе тот здоровый художественный символизм, какой найдете вы во многих произведениях наших классиков — Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Щедри-

на и проч. Одним словом, в бытовой сценке г. Горького, как в микрокосме, отражается то явление, какое мы видим в современной русской жизни, взятой в ее целом. Явление это заключается в том, что на каждом шагу в интеллигентных сферах мы можем слышать, как беспощадно честят мужиков — и спившимися до полного помрачения пьяницами, и лентяями, и лежебоками, отвыкшими от труда и старающимися жить лишь подачками и воровством. Упускают только все эти хулители совсем из вида очень маленькое обстоятельство: именно, что они и едят и пьют, и детей воспитывают, и за границу катаются, и искусствами наслаждаются, — все это на мужицкие деньги.

Так, в рассказе изображается несколько приезжих, принужденных вследствие внезапного вскрытия реки, скучиться на берегу ее в долгом и томительном ожидании прибытия лодок и возможности переправы. Здесь кроме рассказчика были псаломщик Исай, земский начальник Суцов, купец Мамаев. Но более всего обратил на себя внимание рассказчика мужичонка на кривых ногах, в рваном полушубке, туго подпоясанный, перегнувшийся вперед и как бы застывший в поклоне господам. Маленькое, сморщенное лицо его поросло редкой серой бородкой, глаза были спрятаны в мешках морщин, тонкие темные губы были сложены в улыбку, и в ней одновременно соединялись почтительность с насмешкой и глупость с плутовством. Он сидел на корточках, был похож на обезьяну и, медленно поворачивая голову то туда, то сюда, следил за всеми, не показывая никому своих глаз. Из бесчисленных дыр его полушубка высовывались клочья грязной овчины, и вся фигура мужика производила странное впечатление: он казался изжеванным, как будто сейчас вырвался из какой-то огромной пасти, пытавшейся сожрать его.

Все скучившиеся проезжие не знали, когда река очистится и пустит их дальше, всем было томительно скучно; в то же время, так как никто из них не ожидал задержки, никто не запасся съестным; все были голодны, а поэтому и злы. Но на ком же было им изливать свою желчь, как не на мужике? И вот началась обычная трепка мужика, благо он был тут налицо.

III

Так, виноватою оказалась не река, а все тот же за все, про все ответчик — мужик. По крайней мере, земский начальник набросился на него с такими словами:

«— Нет, это черт знает что! Я же, ведь, говорил тебе, идиоту, переправь две лодки на эту сторону, а? говорил?»

— Говорили вы... это верно... — виновато ответил мужик.

— Н-ну, а ты?

— Не успел... потому — тронулась она сразу...

— Болван! — Нет, — обратился земский к Мамаеву, — эти... ослы совершенно не могут понимать человеческий язык!

— Сказано — муж-жики-с, — любезно улыбаясь, прошипел Мамаев.

— Раса дикая... племя тупое, умы осиновые... но вот теперь, будем ожидать от усердия земства и распространения им школ — просвещения и образованности...

— Школы... да! читальни, фонари — прекрасно! Я понимаю это... но, однако, хотя я и не противник просвещения, как вы знаете, а все-таки ха-арошая порка воспитывает быстрее и стоит дешевле... да-с. За розгу мужик не платит, а на просвещение с него шкуру дерут хуже, чем розгой драли. Пока просвещение-с только разоряет его, вот что я скажу... Я не говорю — не про свещайте, я говорю — подождите...

— Совершенно так, — с удовольствием воскликнул купец. — Очень бы следовало подождать, потому что тяжело мужику по нынешним дням... Недороды, болезни, слабость к вину — все это, так сказать, под конец его сечет, а тут школы, читальни... Что с него взять, при таком порядке? Совсем нечего с него взять... уж поверьте мне!

— Вам это известно, Никита Павлыч, — убежденно, но вежливо сказал Исай и благочестиво вздохнул. — Еще бы! Семнадцать лет хожу вокруг его! Я насчет учения так полагаю — ежели во благовремени, то оно может принести пользу... всякому человеку. Но ежели у меня в брюхе, извините, пусто — ничему я учиться не пожелаю, кроме как воровству!

— Зачем вам учиться! — почтительно и ласково воскликнул Исай.

Мамаев взглянул на него и искривил губы.

— Вот мужик... Кирилка! — позвал земский. — Вот мужик, — обратился он к нам с некоторой торжественностью на лице и в тоне, — это, рекомендую, недюжинный мужик... бестия, каких мало. Когда горел "Тригорий", он, этот оборванец, этот... комар собственноручно спас шестерых пассажиров... поздней осенью часа четыре, рискуя жизнью, купался в воде, в бурю, ночью... Спас людей и скрылся... его ищут, хотят благодарить, хлопотать о медали... а он в это время ворует казенный лес и схвачен на месте преступления. Хороший хозяин, скуп,

сноху вогнал в гроб, жена-старуха бьет его поленом... он пьяница и очень богомолен, поет на клиросе... имеет хороший пчельник... и при этом вор. Паузилась тут баржа, и он попался в краже трех мест изюму... извольте видеть, какая фигура?..

Вот в каком роде вели путники разговоры, пока голод не довел их до того, что они ни о чем не в состоянии были вести речи, как только о насыщении. Но ни у кого ничего не было, и ближе пяти верст негде было достать хлеба. И представьте себе общий восторг, когда вдруг у Кирилки за пазухой оказалось фунта с два хлеба. Земский без церемонии отобрал хлеб у мужика; затем хлеб был разделен между всеми путниками, кроме, конечно, Кирилки, и как ни отвратителен был этот хлеб, похожий на глину, имевший к тому же запах потной овчины и квашеной капусты, как ни брезговали и не морщились путники, он мигом был съеден до крошки. Затем река настолько расчитилась, что переправа сделалась возможна, подъехали лодки; путники уселись в них и отчалили от берега. Кирилка остался на берегу, но не успели путники отъехать и десяти сажень, как Кирилка с бойким, насмешливым взором, громко закричал:

— Дядя Антон! За почтой поедете — хлеба мне привезите, слышь! Господа-то, путя ожидаючи, краюшку у меня съели, а одна была...»

Не правда ли, какая это прелесть!

IV

«ФОМА ГОРДЕЕВ»

О повести «Фома Гордеев» нельзя сказать, чтоб она была вполне безукоризненна; вы найдете в ней некоторую растянутость и другие недостатки, которыми страдают произведения г Горького; таковы, например, слишком длинные речи, произносимые некоторыми из его героев, и тем более томительны те из них, которые наполнены поучительными наставлениями отца сыну в духе прописной морали. Подобные речи следовало бы сократить, по крайней мере, наполовину. Не избежал г. Горький и другого своего обычного недостатка: именно — литературно-книжного языка некоторых из действующих лиц, не способных по малообразованности говорить таким языком. Но все эти недостатки выкупаются за то местами поистине первоклассного достоинства.

Раньше всего познакомимся с отцом героя, Игнатом Матвеевичем Гордеевым, который по повести рисуется перед нами во

весь, так сказать, рост, в законченном виде, от колыбели до могилы.

Очень возможно, что Игнат Гордеев один выручит всю повесть, так как это самая удачная личность в ней. До сих пор мы имели дело в рассказах г. Горького преимущественно с лицами конкретными, так или иначе выдающимися из массы заурядных людей. Здесь же г. Горький впервые выступает на почву создания типов. В самом деле, Игнат является перед нами уже не каким-либо вырожденком и не избранною натурою с байроновским пошибом, но замечательнейшим типом, и к тому же типом вполне народным, принимая это слово в смысле не простонародного, а всенародного, т. е. типа, выработанного особыми условиями русской жизни и в ее прошлом и настоящем. В этом отношении Игнат Гордеев смело может быть поставлен на одном ряду с такими широко обобщающими типами, как дедушка Багров С. Аксакова, бабушка Бережкова Гончарова, князь Куралесов Печерского и т. п.²

В самом деле: если мы возьмем Игната лишь в частности, как тип богатого волжского хлеботорговца, то и в таком смысле он замечателен своею обобщающею широтою. Между тем, в самом деле, он еще общее: это тип исторический. Он напоминает нам и новгородских торговых людей, и некоторых московских царей, собирателей Руси — Иоанна III или Грозного³.

V

Обратим внимание на весьма существенное достоинство г. Горького, к сожалению, очень редко встречающееся в последнее время; именно — полное отсутствие какой-либо односторонней, исключительной точки зрения на своих героев, умение выставлять их всесторонне, принимая во внимание все и хорошие, и дурные их душевные качества.

Так, если того же Игната Гордеева мы вздумали бы смотреть исключительно с точки зрения культурной, то, конечно, ничего не нашли бы в нем, кроме грубого и дикого самодура, вроде Кита Китыча, крутого деспота в семье, не допускающего со стороны своих домочадцев ни малейшего возражения, а тем более самостоятельного шага, необузданно буйного во хмелю, но и в трезвом виде любящего прибегать к кулачной расправе, при каждом случае, когда это может пройти безнаказанно.

Если опять-таки мы начнем смотреть на Игната исключительно с социальной точки зрения, то, в свою очередь, мы уви-

дим в нем лишь дерзкого и наглого эксплуататора, жадного алтынника, заботящегося лишь о наживе и не разбирающего средств для своего обогащения, не только готового на каждом шагу обмеривать, обвешивать, отравлять покупателей гнилятиной, но при случае и ограбить на большой дороге. О жалости к неимущим, об участии к положению униженных и оскорбленных и говорить нечего.

И вот следует поставить в заслугу г. Горькому, что и на подобном нравственном чудовище он сумел раскрыть нам человека, имеющего свои нравственные достоинства, свою искру Божию, и в то же время такую богато одаренную натуру, которая одним этим невольно привлекает ваши симпатии.

VI

В молодости Игнат Гордеев служил водоливом на одной из барж богатого купца Заева, впоследствии же сделался сам миллионером. Г. Горький объясняет этот успех в жизни Игната тем, что «богатырски сложенный, красивый и не глупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не имеют, даже не могут задумываться над выбором средств и, помимо своего желания, не знают иного закона. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с нею, но совесть — это сила непобедимая лишь для слабых духом; сильные же быстро овладевают ею и порабащают ее своим желаниям, ибо они бессознательно чувствуют, что если дать ей простор и свободу — она изломает жизнь. Они приносят ей в жертву дни; если же случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же здорово и сильно живут под ее началом, как жили и без нее...»

Признаться сказать, разобраться в этой тираде довольно трудно. Г. Горький, очевидно, хочет принести маленькую жертву некоторым новейшим веяниям, сказать нечто в духе Ницше, к учению которого он, по-видимому, не совсем равнодушен. Недаром у него мы замечаем склонность искать среди босяков чело-векобогов, которые при удовлетворении своих дерзких желаний не допускают никаких препон в виде нравственных правил, существующих, конечно, лишь для людей слабодушных, рабов ничтожных.

Понятно, что не в пример легче подвести под учение Ницше какой-нибудь отчаянный поступок босняка, но и здесь мы видим, что в результате вместо отважного удовлетворения божественного желания очень часто ничего не получается, кроме острога и каторги. Совсем иное мы видим в жизни Игната Гордеева. Здесь мы имеем систематическую деятельность, продолжающуюся всю жизнь, закабаляющую человека, делающую его рабом той суетной цели, которою увлекся он, — обогащения. Но для доставления хотя бы и такой эфемерной цели недостаточно, оказывается, одного дерзновения и неразборчивости в средствах. Если бы Гордеев был нервным, капризным, взбалмошным, быстро увлекаясь задуманным, столь же быстро охладевал к нему, наконец, был бы глупым и безрассудным, то ницшеанское дерзновение и неразборчивость в средствах не принесли бы ему успеха в жизни и не сделали бы его человеко-богом, а на первых же шагах привели бы к какой-нибудь ужасной и постыдной гибели.

Но в том именно и дело, что причина успехов Гордеева лежит прежде всего и более всего в богато одаренной природе его, здоровых мускулах и нервах, недюжинном уме, железной воле, трудолюбию, упорстве, энергии и пр. В быстром обогащении Гордеева бесспорно играла немалую роль и неразборчивость в средствах. Но напрасно думает г. Горький, что неразборчивость эта происходила из сознательного дерзновения. Причина ее заключалась скорее всего в слишком страстном увлечении предпринятым делом. Внушения совести при этом не дерзновенно преступались и пренебрегались, а просто забывались, подобно тому, как девушка в экстазе страсти забывает и честь, и стыд, бросаясь в объятия любовника. Но когда страсть удовлетворяется, наступают минуты спокойствия, охлаждения, усталости, тогда просыпается совесть и начинает казнить за все дерзновения. И вчерашний человеко-бог чувствует себя сегодня ничтожным и жалким пресмыкающимся червяком.

Этот переход от дерзновения к уничтожению показывает нам далее сам г. Горький, когда из сферы чистой мысли переходит на более свойственную ему почву художественности.

VII

Так, мы видим, что «в сорок лет от роду Игнат Гордеев был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали как богача и умного человека, но дали ему прозвище

«Шалый», ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в стороны от наживы, главной цели существования этого человека.

Было как бы трое Гордеевых, или — в Игнате были как бы три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда Игнат жил, подчиняясь ее велениям, — тогда он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и настраивая на ней сети, которыми ловил золото: он скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; грабил, обманывал, иногда не замечал этого, иногда — замечал и, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми им и в безумии своей жажды денег возвышался до поэзии.

И вдруг — обыкновенно это случалось весной, под ее обаянием — «Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спавивал других, он приходил в исступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, он рвет их, и бессилён разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных народных песен и плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения. О его кутежах в городе создавались легенды, его все строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями.

И неожиданно являлся домой, еще весь пропитанный запахом пьянства, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смиренный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По нескольку часов кряду он выставлял на коленях пред образами, опустив голову на грудь; бес-

помощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной.

— Господи! Ты видишь... — глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони рук.

«Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал себе эту трапезу и снова запирался. Его так уже и не беспокоили ничем в это время, даже избегали попадаться ему на глаза... Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела».

Эти периодические переходы от энергической деятельности, исполненной отважного дерзновения, до забвения каких бы то ни было внушений совести, к столь же необузданным кутежам и затем суровому посту и слезному покаянию, происходили вовсе не от того, чтобы у Игната Гордеева и в самом деле было три души. Это были полосы одной и той же могучей природы, одинаково необузданно-страстной во всех своих проявлениях, и хороших, и дурных. Эта страстность, сила и вместе с тем цельность Игната и привлекают наши взоры, заставляют нас невольно любоваться на него даже в минуты его грязных оргий. Наконец, именно эти самые полосы приравнивают его к старинным историческим русским типам некоторых московских царей, бояр и торговых людей.

VIII

В нашей интеллигентной среде существует ряд проклятых вопросов, которые время от времени с особенною остротою и силою оладевают умами передовых мыслителей и художников, тревожа сердца их и доводя их до мучительной боли. При этом нужно обратить внимание на то обстоятельство, что каждый раз вопросы эти являются под каким-нибудь новым соусом, под знаменем совершенно новых идей, учений, веяний. Молодому поколению кажется потому, что тревожный вопрос представляет совершенно новое, небывалое еще явление, и понятно, что набрасываются на него с особенною страстностью и горячностью; носятся с ним и трактуют его на все лады на всех перекрестках: в романах и повестях, в публицистических и

критических трактатах и проч. А между тем если покопаться внимательнее в прошлом, то окажется вдруг, что наш якобы новый вопрос является весьма старым, что и отцы наши, и деды, и прадеды мучились над ним так же тревожно и так же бесплодно, причем, хотя в прежние времена тот же самый вопрос и являлся под иным флагом, это нисколько не мешает вновь поднявшим его внукам повторять при решении его те же выражения, впадая в те же ошибки и заблуждения. Перед вами, таким образом, происходит словно как бы кружение белки в колесе, или, еще того лучше, крутится вал косморамы⁴ и бесконечно повторяются в одном и том же порядке одни и те же виды городов, портреты знаменитых генералов, кровавых битв, пожаров и т. д.

IX

Одним из таких якобы новых, а на самом деле весьма ветхих вопросов является вопрос, откуда нам взять таких сильных людей для удовлетворения вулканических страстей и титанических стремлений, для которых не существовало бы никаких препон, ни нравственных, ни общественных, ни духовных, ни материальных. Это искание сильного человека, любование его различного рода дерзновениями и пренебрежениями прописных правил мещанской морали проходит через всю нашу литературу начиная с Пушкина и до сего дня. При этом, конечно, уже каждая эпоха, как я сказал выше, сочиняла своего особенно сильного человека, сообразно тем или другим господствовавшим в разные времена идеям, учениям, веяниям и т. п.

Итак, в эпоху поклонения Байрону сильный и дерзновенный герой издевался над малодушно-трусливою и пресмыкающеюся в ничтожестве толпою в образе разочарованного и скупающего скитальца, не знающего, куда ему приклонить непреклонную голову и где «оскорбленному есть чувству угол». Смешно сказать, что все дерзновения наших москвичей в чайльд-гарольдовском плаще не шли дальше обольщения золотушной дочери отставного секунд-майора или не помнящей родства черкешенки, да убийства легкомысленного и пустоголового юнкера на дуэли. Тем не менее и этих подвигов было достаточно, чтобы Онегины, Печорины и эффектные герои романов Марлинского представлялись обольстительными, кружащими голову идеалами, как для юнцов, так особенно для юниц эпохи Пушкина и Лермонтова.

Затем английский романтизм сменился французским: вместе Чайльд-Гарольда и Манфреда началось поклонение пылающим гражданскими чувствами и преисполненным гигантскими замыслами титаническим героям В. Гюго и Ж. Санд. На смену Онегиным и Печориным выступили Бельтов, Инсаров, Рахметов⁵. Дерзновения этих новых губителей сердец, в свою очередь, не шли далее того, чтобы отбить жену у скромного провинциального учителя, выкупать в канаве пьяного немца или же наглубить становому на уездном балу. Но этих дерзновений было вполне достаточно, чтобы вышеозначенные герои представлялись недостижимыми идеалами, на которые молились пылкие юноши и которым безропотно покорялись томные девы.

Ныне все подобного же рода искания сильных людей или же сочинения их творятся, как по нотам, по сумасшедшим теориям новомодного философа, пресловутого Ницше.

До каких абсурдов доходит у некоторых современных россиян увлечение философией Ницше, можно судить хотя бы по роману г. Мережковского «Отверженный»⁶. Читая этот роман, невольно приходишь к убеждению, что Ницше, конечно, жил раньше всех веков, если древние эпохи Юлиана рассуждали уже целиком по Ницше. В самом деле, прочтите, что говорит иерофант Максим Юману на стр. 54—55:

«— Куда идти? — спрашивает Юман.

— Выбери один из двух путей и не останавливайся, — отвечает Максим.

— Какой?

— Если веришь в Него, возьми крест, иди за Ним, как Он велел. Будь смиренным, будь девственным, будь агнцем безгласным в руках палачей. Беги в пустыню, отдай Ему плоть и дух, и разум. Верь. Это один из двух путей: великие страстотерпцы галилеяне достигают такой же свободы, как Прометей и Люцифер.

— Я не хочу!

— Тогда избери другой путь: будь владыкой, будь подобным древним, суровым мужам. Будь сильным, будь гордым, будь неумолимым и прекрасным. Не жалея, не люби, не прощай! Восстань и победи все! Да будет тело твое, как тело мраморных полубогов! Бери и не отдавай! Вкуси от запретного плода и не раскайся! Не верь и познавай! И мир будет твой, и ты будешь, как Титан и ангел, восставший на Бога».

X

Как ни курьезно слушать такие речи из уст людей, живших более полуторы тысячи лет назад, но г. Мережковского все-таки можно кое-как оправдать тем, что ктб их знает, что говорили и думали люди IV столетия? Все что угодно можно им приписать, и они останутся безответными, мирно почивая во гробех своих. Но представьте себе, что подобные же речи в ницшеанском духе вы слышите от людей хотя и нашего века, но каких именно? — хлебопекон, сапожников, босяков, занимающихся кражею товаров из баржей, и т. п. Таких диковинных ницшеанцев мы находим у г. Горького, который, по-видимому, с каждым днем все более и более проникается исканием сильных и дерзновенных людей по Ницше.

По правде сказать, весьма характерную черту нашей интеллигенции представляет это вечное искание сильных людей, где бы то ни было и каких бы то ни было. В сущности, по моему мнению, все это не что иное, как «пленной мысли раздражение»⁷, платоническое созерцание голодными людьми вкусных колбас, красующихся за окнами лавок. Мы ничтожны, жалки, мы только и делаем, что малодушно пресмыкаемся. Дайте нам хотя издали полюбоваться на то, какие молодцы бывают на свете, как они ничего не боятся, как стоит им чего-нибудь захотеть, и нет никаких препон к исполнению их желаний. Понятно в то же время, что так как в интеллигентной среде таких отважных людей очень мало и отважные подвиги их, как я говорил уже выше, очень жалки, то ничего больше и не осталось, как, переставши искать титанов и человеко-богов среди титулярных советников и коллежских секретарей⁸, обратиться к другим сословиям, к купцам, мещанам, босякам, что и делает г. Горький. Все герои его рассказов: с одной стороны, отважные мужчины вроде Челкаша, Озорника, Орлова, Коновалова, и пр., с другой — бесшабашные женщины вроде Мальвы, Изергиль, Вареньки Олесовой, — все это в своем роде человеко-боги, сильные натуры, претендующие на вакансии, открывающиеся после выхода в отставку всех прежних титанов, щеголявших во фраках или присвоенных их чину и месту служения мундирах.

Что ж, если хотите, г. Горький в некоторых отношениях и прав. Не Бог вещь какими крупными размерами отличаются демонические дерзновения его новых героев; все они исчерпываются кражею нескольких тюков шелковой материи, отшлепа-

ни-ем мокрою простынею пошлого ловеласа в лице приват-доцента Полканова, или клубным скандалом с мордобитием. Но во всяком случае русский читатель, читая рассказы г. Горького, отдыхает душою, встречая в них людей, у которых в достаточной мере развиты мускулы, в жилах которых течет кровь, а не сукровица и которые способны хоть на вершок отступить от проторенных тропинок и дать волю своему ретивому распотешиться хоть над уездным сплетником или приват-доцентом, вздумавшим пройти насчет клубнички.

XI

В повести своей «Фома Гордеев» г. Горький, как нам известно, ищет дерзновенных человеко-богов в среде волжского купечества, хлебо- и лесопромышленников. Так, мы имели уже случай познакомиться с одним из купеческих человеко-богов в лице отца героя, Игната Гордеева, и я нашел, что это наиболее удачный тип из всех лиц, когда-либо выведенных доселе г. Горьким в разных его произведениях. Главное достоинство этого типа заключается в непосредственности: перед вами действительно сильный человек, не потому только, чтобы он сам хвалился своею силою, стараясь совершать нечто экстраординарное, выкидывать разные коленца и удивлять ими людей. Перед вами просто-напросто один из тех старорусских богатырей, у которых силочка по жилочкам так и переливалась, проявляясь в каждом их слове и жесте. Истинно сильные люди тем именно и отличаются, что они отнюдь не придумывают чего-либо такого, чем бы им отличаться от всех смертных и выставиться напоказ. Они лишь свободно отдаются тем влечениям, какие являются в них совершенно произвольно, представляясь игрою их сил. Игнат очень много резонерствует, но все речи его в духе домостроевской морали вполне подходят к его архаическому типу, и ни одного слова из его уст не вылетает такого, которое давало бы ему повод вам думать, что и он, подобно иерофанту Максиму, был знаком с философией Ницше.

К сожалению, в дальнейшем течении повести автор все более и более сбивается на Ницше, и на каждом шагу ему мерещатся человеко-боги там, где странно было бы их и предполагать.

XII

Так, между прочим, выводится купец Ананий Савич Щуров. Это был крупный торговец лесом, имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты. В молодости, когда еще был бедным мужиком, Щуров приютил у себя в огороде, в бане, каторжника, и каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам работника своего убил и сжег потом.

Знал также Фома о Щурове, что старик изжил двух жен, — одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, и сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но вовремя опомнился и ушел спасаться в скиты на Иргиз. А когда померла сноха — любовница, Щуров взял в дом себе немую девочку нищую, по сей день живет с нею, и она недавно родила ему мертвого ребенка.

Казалось бы, что можно было видеть здесь, кроме отвратительных по своему черствому бессердечию злодейств, мерзких преступлений и возмутительной грязи?... В повести мы читаем, между прочим, что такая молва шла о многих богачах города: все они будто бы скопили свои миллионы путем грабежей, убийств, и — главное — сбытом фальшивых денг. Неужели же все подобного рода допотопные герои наживы являются в своем роде человекобогами? Ну, а дерзновение-то их вы не ставите в счет? Легко, вы думаете, вместо благодарности к человеку, которому вы обязаны всем своим богатством, раскрыть ему голову и сжечь его вместе с банею? И вот ниже мы слышим из уст Анания Щурова речи, свидетельствующие, что и он отчасти знаком с философией Ницше.

— Вот все говорят — деньги, — сказал Фома с неудовольствием. — А какая в них радость человеку?

— Мм... — промычал Щуров. — Плохой из тебя купец будет, коли ты силы денег не понимаешь...

— Кто ее понимает? — спросил Фома.

— Я! — уверенно сказал Щуров. — И всякий умный человек... Деньги? Это, парень, много! Ты — разложи их перед собой и подумай, что они содержат в себе? Тогда поймешь, что все это — сила человеческая, все это ум людской... Тысячи людей в деньги твои вложили и вложат тысячи... А ты можешь все их, деньги-то в печь бросить и смотреть, как они гореть будут... И будешь ты, в ту пору, владыкой себя считать...

— Этого не делают...

— Оттого, что у дураков денег не бывает... Деньги пускают в дело... около денег народ кормится... а ты над всем этим народом хозяин... Бог человека зачем создал? А чтобы человек Ему помолился... Он один был, и было Ему одному-то скучно... ну и захотелось власти... А как человек создан по образу, сказано, и по подобию Его, то человек власти хочет... А что кроме денег власть дает?.. Так-то...

Наслушавшись таких речей, Фома проникся глубоким уважением к Ананию Щурову и вслед затем начал куролесить, изображая из себя, в свою очередь, человекобога. Надо заметить при этом, что все женщины, с которыми он до сих пор сходилась в течение повести, являются не простыми и обыкновенными женщинами, а, в свою очередь, человекобогинями, напоминая собою частью Мальву, частью Изергиль. Вот Фома и ломается перед ними, изображая из себя человека-бога. К сожалению, дерзновения, которыми он бросает пыль в глаза своим героиням, носят характер не столько человеко-божественный, сколько купеческо-самодурский и уездно-кабацкий. Так, первым делом, он долго таскал в клубе за волосы зятя вице-губернатора за то, что тот отозвался дурно о некоей уездной львице, Медынской, назвавши ее кокоткой. Фома и сам был о ней не лучшего мнения, но она успела уловить его в сети своего кокетства, и вот последовала безобразнейшая сцена, которую потом Фома объяснил таким образом:

— Что такое? Хуже я людей? Все живут себе... вертятся, суетятся, имеют каждый свой пункт... А мне — скучно... Все довольны собой... а что они жалуются — врут, сволочи! Это так они... притворяются для красоты... Мне притворяться нечего, я — дурак... Я, брат, ничего не понимаю... я, просто, жить хочу! Я думать не умею... мне тошно... один говорит то, другой — другое... тьфу!

Вслед за тем купец закутил на несколько дней с какими-то темными лицами и потерянными женщинами. В конце концов они очутились на каких-то плотях, где Фомой овладел такой вельт-шмерц, что он уподобился пушкинскому Фаусту: тот, как известно, от скуки приказал Мефистофелю потопить корабль⁹. Фома же велел работнику Степану рубить снасти плота, на котором находила вся компания, для того, чтобы плот унесло рекою и все перетонули бы, наткнувшись на какую-нибудь баржу. Степан так и сделал. Уплывавшие гости начали кричать благим матом, взывая о спасении. Но одна из них, Саша, принадлежа к человеко-богиням, отважно бросилась с

плота в воду и приплыла к тому плоту, где находился Фома. Тот схватил ее за талию, вырвал из воды, и быстро, почти бегом, бросился по плотам к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но дыхание было горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь буйной радостью.

— Ты утопить меня хотел?— говорила она, крепко прижимаясь к нему. — Рано еще... погоди...

— Как это ты хорошо сделала, — бормотал Фома на бегу. — Молодчина!

— Ну, и ты не худо придумал... хоть с виду ты такой... смирный...

— А те — все еще орут, ха-ха!

— Черт с ними! Утонут — мы с тобой в Сибирь пойдем... — сказала женщина так, точно она хотела этими словами утешить и ободрить его.

Вот в какие дебри дремучие может завести русского писателя стремление найти где бы то ни было сильных людей!

ХІІІ

Разбираемая нами повесть заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробно, хотя, надо сказать правду, недостатки ее необъятны. Они обнаруживают, что автор или совсем незнаком с техникою беллетристических произведений, или пренебрегает ею. И то и другое очень прискорбно. О первом и главном недостатке мы уже замечали, когда еще имели дело с началом повести. По ознакомлении с повестью в ее целом виде недостаток этот раскрывается перед нами во всем своем безобразии. Мы подразумеваем крайнюю растянутость повести и как прямой результат ее скуку, с какой читаются некоторые ее страницы. Растянутость эта происходит, с одной стороны, вследствие дурной привычки автора вкладывать в уста выводимых лиц бесконечно длинные речи, забывая, что в действительности люди говорят длинные речи перед безмолвными слушателями, лишь когда читают лекции, произносят речи или что-нибудь рассказывают. Во всех прочих случаях они ограничиваются обыкновенными коротенькими отрывистыми замечаниями, утверждениями, возражениями и пр., беспрестанно прерываемыми собеседниками. Заставлять поэтому героев произносить длинные речи на разные философские и моральные темы, а собеседников — терпеливо выслушивать их, прежде всего, неестественно.

С другой стороны, отягчает немало повесть то, что г. Горький слишком уж много возится с времяпрепровождением свое-

го главного героя, с его безобразными кутежами, скитаниями и хмельными резонерствами то со своим крестным, то с его дочкой Любашей. Наконец, к чему такая несметная масса ввозных лиц, на одну минуту мелькающих в повести и затем исчезающих без следа, не успевши оставить в вас ни малейшего впечатления? Все это вместе взятое делает повесть крайне тягучую и трудно одолимую.

XIV

А очень жаль, потому что повесть г. Горького могла бы быть замечательным произведением вследствие того, что обнаруживает в авторе основательное знание быта волжского купечества в том переходном состоянии, в каком оно ныне находится. По крайней мере, по прочтении повести вы приобретете такие сведения об этом предмете, каких вы не почерпнете хотя бы из романа г. Боборыкина «Василий Теркин», а, казалось бы, кому и знать волжское купечество, как не г. Боборыкину, родившемуся и проводшему, как известно, свою юность на Волге.

Так, перед нами развертываются три категории современного волжского купечества, резко отличающиеся одна от другой, и в этом различии их как нельзя более ярко выражается дух нашего переходного времени. Так, на первом плане рисуются перед нами мрачные типы дореформенного купечества, с его непроглядною умственной темнотою, домостроевской моралью, диким самодурством, отсутствием всякой культурности и необузданной алчностью, не разбирающей средств для наживы. Таковы отец героя, Игнат Гордеев, крестный Яков Тарасович Маякин, лесоторговец Ананий Савич Щуров и пр. Все они нажились и разбогатели не честным купеческим торговым путем и не мелочным и подлым объегориванием простодушных покупателей, а каким-нибудь крупным душегубством и, вообще, такими нечистыми делами, за которых их деды, отцы или они сами заслуживали каторги. Так, дед Фомы Гордеева разбогател, придушивши проезжего купца; благосостояние Щурова основывалось на фальшивых деньгах, которые работал для него беглый каторжник, очень кстати сгоревший в своей избушке, когда миновала в нем надобность; Луп Резников начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу; говорили, что он задушил одного из своих гостей, богатого сибиряка... Кононов лет двадцать назад судился за подлог, а теперь состоял тоже под следствием за растление малолетней;

с ним вместе — второй уже раз, по такому же обвинению — привлечен был Захар Кириллович Робустов и пр.

При всей темноте у этого старозаветного купечества была своя сословная философия, которая вполне естественно вся основывалась на силе и могуществе денег. Мы немного познакомились уже с этой купеческою философиею в устах Щурова, торжественно заявившего в своем разговоре с Гордеевым, что деньги — сила, ум людской, что одни деньги дают власть людям! И еще бы: одной беззаконности, бессилия закона покарать самое крупное, содеянное ими злодейство должно было внушать Щурову и компании сознание той колоссальной силы, какая сосредоточилась в их богатствах. Еще более в этом отношении характерна речь, произнесенная Маякиным на купеческом празднестве по случаю первого рейса нового парохода «Илья Муромец», устроенном хозяином парохода Кононовым. Речь эта характерна в том отношении, что в ней мы видим сознание не одного только могущества туго набитой мошны, но и общественного значения купечества в государстве. Считаю поэтому не лишним привести ее целиком.

XV

«— Господа купечество! — заговорил Маякин, усмехаясь. — Есть в речах образованных людей одно иностранное слово — “культура” называемое. Так вот насчет этого слова я и побеседую по простоте души.

— Энь, куда метнул! — раздался чей-то довольный возглас.

— Шш! Смирно!..

— Милостивые государи! — повысив голос, говорил Маякин. — В газетах про нас, купечество, то-и-дело пишут, что мы-де с этой культурой незнакомы, мы-де ее не желаем, не понимаем. И называют нас дикими, некультурными людьми... Что же это такое — культура? Обидно мне, старику, слушать эти-кие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова — что оно в себе заключает? Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, т. е. любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. Так! — подумал я, — так! Значит — культурный человек тот будет, который любит дело и порядок... который вообще — жизнь любит устраивать, жизнь любит, цену себе и людям знает... Хорошо! Но коли так, то — люди, называющие нас не культурными и дикими, клеветают и изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим

самый корень слова, любим сущую его начинку, мы — дело любим. Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, т. е. обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили — мы же действие... И вот, господа купечество, пример нашей культуры, т. е. любви к делу, — Волга! Вот она, родная наша матушка! Она может каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть пустую хулу на нас. Сто лет только прошло, государи мои, с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь по реке тысячи паровых судов ходят! Кто их строил? Русский мужик, совершенно неученый человек! Все эти огромные пароходищи, баржи — чьи они? Наши! Кем удуманы? Нами! Тут все наше, все плод нашего ума, нашей русской сметки и великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Мы сами разбой на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали — вывели разбой и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее тысячи пароходов и всяких судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше!.. Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец! По грошику, по копейке собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто государству больше всех денег дает? Купцы!.. Господа! Только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни, только мы любим порядок и жизнь! А кто про нас говорит — тот говорит и больше ничего! Пускай! Дует ветер — шумит ветла, перестал — молчит ветла... И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни метлы... бесполезное дерево! От бесполезности и шум... Что они, судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвестно... А наше дело на лицо!»

Не напоминает ли вам эта речь Маякина известный в истории апофеоз третьего сословия аббата Сиеса? ¹⁰ Но, конечно, при всем сознании денежного всемогущества, далеко не ушло бы наше старозаветное купечество со своим храмостроительством и собиранием по грошику в пользу бедных, если бы на почве его не произрос новый фрукт в виде молодого поколения, помазанного европейскою цивилизацией и стремящегося переработать российское сыромятное купечество, отцов брюхачей, на новый западноевропейский лад.

XVI

Это выступившее на смену стариков молодое купечество является в двух категориях, не имеющих ничего общего между собою.

Представителей первой категории пародирует в повести г. Горького сам герой, Фома Гордеев. В купеческой среде Фома Гордеев играет буквально ту же самую роль, какую играл некогда так называемый «кающийся дворянин». Учился он на медные деньги — купцы-отцы не любили давать своим детям дворянское воспитание, — образование Фомы не превышало среднего учебного заведения. Читал он тоже немного и охоты к чтению не обнаруживал. Тем не менее он был настолько охвачен движением своего времени, наслушался таких речей, рассмотрелся столько купеческих безобразий, что получил в конце концов неодолимое отвращение к купеческому делу как к крайне нечестному, бессовестному и бесцельному. И в результате его жизненного опыта получились такие рассуждения:

«— Работа — еще не все для человека... Это неверно, что в трудах — оправдание... Которые люди не работают совсем всю жизнь, а живут они лучше трудящихся... Это как? А трудящиеся — они просто несчастные лошади! На них едут, они терпят... и больше ничего... Но они имеют перед Богом свое оправдание... Их спросят: вы для чего жили, а? Тогда они скажут: нам некогда было думать насчет этого... мы всю жизнь работали. А я какое оправдание имею? И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили? А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать — для чего живешь?.. Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, детей народить и умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой... Человек родился, пожил и помер... Зачем? Нужно, ей Богу, нужно сообразить всем — зачем живем! Толку нет в жизни нашей!.., никакого нет в ней толку! Потом — не ровно все... это сразу видно. Одни богаты — на тысячу человек денег у себя имеют... и живут без дела... другие — всю жизнь гнут спину в работе, а нет у них ни гроша... А между тем разница в людях малая... Иной без штанов живет, а рассуждает так, ровно в шелка одет».

Но из всех подобных рассуждений Фомы ничего не выходило, кроме одних праздных речей. Перед нами беспочвенный романтик, при всех своих благородных порывах неспособный ни к какому мало-мальски благому делу, полезному для себя или для других, — сила исключительно отрицательная, без малейших задатков какого-либо творчества. В то же время положение его оказывалось не в пример хуже, трагичнее, чем то, в каком находились кающиеся дворяне. Кающийся дворянин, раз он искренне раскаялся, сейчас же делался свободным идти на все четыре стороны. Разоренные родители могли вслед ему посылать бессильные проклятья за измену дворянским прин-

ципам, но не в силах были остановить их бегство из дедовских усадеб, тем более что самое разрушение этих усадеб оправдывало беглецов. Совсем в другом положении находятся «Фомы Гордеевы»: отцы, во всеоружии своей всемогущей денежной власти, имеют возможность загородить все пути к бегству куда бы то ни было своим послушным чадам. В крайнем же случае к их услугам является опека над послушником, как над умалишенным, и заключение в желтый дом.

При таких условиях все стремления Фомы как бы то ни было и куда бы то ни было вырваться из ненавистой ему купеческой среды разбиваются, как о каменный утес, о непреклонную волю крестного Маякина, и, видя, что «все крылья у молодца связаны и все пути ему заказаны», Фоме остается прибегнуть к обычному исходу безвыходного рабства — пуститься во все тяжкие, что он и не замедлил привести в исполнение. Наведя ужас на весь город своими безобразными кутежами и скандалами, он допился, наконец, до чертиков и в припадке белой горячки на пиршестве у Кононова после вышеприведенной речи Маякина разразился такими неистовыми филиппиками против купечества вообще и каждого из пирующих в частности, что его тут же связали по рукам и по ногам. Затем Маякину ничего уже не стоило отправить его в дом сумасшедших и назначить над ним опеку.

По выходе из больницы он был отправлен Маякиным куда-то на Урал, к родственникам матери, а затем, вернувшись в город, поселился у сестры, на дворе во флигельке, и начал появляться на улицах города истертый, измятый и полоумный, почти всегда выпивший, то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой блажененького. Знающие его купцы и горожане часто смеются над ним, кричат ему вслед: «Эй, ты, пророк! Подь сюда! Ну-ка! Насчет светопредставления скажи слово, а? Хе-хе-хе! Про-орок!..»

XVII

Ко второй категории молодого купечества принадлежат молодые люди из купеческих семей, получившие высшее образование, общее или техническое, понаметавшиеся за границу в европейских порядках и вернувшиеся на родину с непреклонным намерением превратить русское купечество в коммерсантов и негоциантов на западноевропейский лад. К подобным но-

ваторам отцы не относятся уже как к блудным и погибшим сынам, а, напротив того, видят в них достойных преемников и предвестников еще большего расцвета купеческого всемогущества.

В повести г. Горького являются два представителя этих новых людей. Таков сын Маякина Тарас. Он, подобно Фоме, начал протестом, вследствие которого был сослан в Сибирь на поселение на шесть лет в Ленский горный округ. Отец, конечно, проклял его и запретил произносить его имя в доме. Но, отбыв срок наказания, Тарас вступил на новый путь, определился в контору управляющего золотыми приисками Ремезевых, прослужив у него два года, женился на его дочери и затем вместе с тестем завел содовый завод, доставлявший на его долю около пяти тысяч дохода.

Но Тарас мало выяснен и рисуется в повести неопределенными чертами. Зато как светел месяц сияет перед нами истинный представитель молодого купечества, непомянутый ни малейшим пятнышком, Африкан Дмитриевич Смолин. Как нельзя более ярко описывается он в следующем разговоре его с будущим тестем, Маякиным.

«— Я около четырех лет тщательно изучал, — ораторствовал Смолин, — положение русской кожи на зарубежных рынках. Печальное и скверное положение! Лет тридцать тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее все падает, разумеется, вместе с ценой. И это вполне естественно — ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время — они прямо-таки повинны перед Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, стало быть, поставленный в невозможность улучшать свое производство соответственно развитию техники, такой производитель — несчастье страны, паразит ее торговли...

— Мм... — промычал старик Маякин, — так значит, твое теперь намерение — взбодрить такую громадную фабрику, чтобы всем другим — гроб и крышка?

— О, нет, — воскликнул Смолин, плавным жестом отмахиваясь от слов старика. — Зачем обижать других? Какое я имею право на это? Моя цель — поднять значение и цену русской кожи за границей, и вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товар... Торговля, честь страны...»

При этом на вопрос Маякина, о каком он мечтает проценте, Смолин отвечал скромно, но внушительно:

«— Я не мечтаю, я — высчитываю со всею точностью, возможной в наших русских условиях. Производитель должен быть строго трезв, как механик, создающий машину... нужно принимать в расчет трение каждого самонаименьшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело серьезно. Я могу дать вам для прочтения составленную мною записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потребления мяса в России».

Далее в разговоре с Маякиным Смолин заявил, что он вместе с некоторыми своими товарищами, такими же, как и он, молодыми из ранних, собирается купить местную газету и таким образом забрать в свои руки прессу.

«— Издание газеты, — поучительно заметил он, — рассматриваемое даже только с коммерческой точки зрения, — может быть очень прибыльным делом. Но, помимо этого, у газеты есть другая, более важная цель — это защита прав личности и интересов промышленности и торговли...»

Фельетонист Ежов был как нельзя более прав, когда заметил, что либеральные купцы новейшего чекана, вроде Смолина, представляют собою помесь волка и свиньи с жабой и змеей...



IV

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГОРЬКОГО
В РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ 1890—1910-х гг.**



Современный беллетрист.
(Карикатура Овода, «Стрекоза»)



Н. МИНСКИЙ

Философия тоски и жажда воли

М. Горький. Очерки и рассказы. Том первый.
СПб., 1898 г.

Имя г. Горького стало попадаться в печати сравнительно недавно и в какие-нибудь два-три года приобрело значительную популярность. Лучшие наши журналы охотно помещали рассказы молодого плодовитого автора, и критика относилась к каждому его новому произведению с тем нервным вниманием, которое для начинающего писателя лучше всяких похвал. По всему видно было, что на г. Горького возлагаются большие надежды, и вот почему я с любопытством ждал появления в свет сборника его повестей. Для молодого беллетриста, в особенности если он пишет небольшие по объему рассказы, издание такого сборника является шагом чрезвычайно важным, а иногда и роковым. Я живо помню пример писателя, о котором, пока его рассказы печатались отдельно, говорилось не иначе, как о втором Тургеневе, и который, едва только эти рассказы были собраны в два объемистых тома, вдруг отошел на второй план, где он обретается и до сих пор. Капли воды, казавшиеся в отдельности прозрачными, обнаружили свой мутноватый цвет, когда их собрали вместе. К счастью, на г. Горьком этот печальный случай не повторился, и, прочитав первый том его «Очерков и рассказов», можно с уверенностью сказать, что в нашей литературе в самом деле родился свежий, незаурядный и, главное, своеобразный талант, порою даже слишком своеобразный, не лишенный странностей и недостатков, но в деле искусства свои недостатки всегда предпочтительнее чужих достоинств. А г. Горький берет свои вдохновения не из чужих книг или журнальных статей, а из действительности, какой она ему представляется, и из собственной души. У него свой круг из-

любленных тем — жизнь мелких мещан, матросов, босяков, нищих, — своя излюбленная природа — южно-русские степи и море, — своя философия — предпочтение вольных, сильных инстинктов жизни перед надуманной мудростью и святостью. Вообще, момент силы преобладает над всеми другими в темпераменте и в мирозерцании г. Горького. В описаниях он выбирает самые яркие, кричащие краски, отношения действующих лиц напрягает до степени яростных столкновений на жизнь и на смерть, и в этих коллизиях симпатии автора всегда на стороне сильнейшего. Каждый рассказ г. Горького содержит в себе целый мир бытовых подробностей и сложную внутреннюю драму, в каждой снова и снова решается вопрос о цели жизни, и как бы вы ни относились к манере автора и к его идеям, вы невольно поддаетесь изобразительной силе его таланта и страстной искренности. Непосредственное впечатление, которое выношишь из чтения Горького, очень сильно и безусловно в пользу автора, и если бы я мог ограничиться этим впечатлением, мой критический отзыв превратился бы в сплошную похвалу. Но помимо поверхностного впечатления от книги есть еще последующее о ней раздумье, есть законы и традиции искусства, есть указания опыта, и вот почему, несмотря на симпатию, которую мне внушает творчество г. Горького, я должен сделать несколько ограничительных замечаний о его таланте, по крайней мере, насколько этот талант выразился в первом томе его рассказов.

По свежести и уверенности письма, по независимости тона и по легкости вдохновения г. Горький среди молодых писателей всего более напоминает г. Антона Чехова; но если продолжать параллель между ними, то все выгоды от такого сравнения окажутся на стороне г. Чехова. И прежде всего это окажется при сравнении художественных темпераментов обоих писателей.

В русской литературе, невзирая на различие манер и тенденций, существует один незыблемый завет, для всех обязательный и всеми принятый, — завет избегать сентиментальности и мелодраматизма. Едва ли можно утверждать, что русской натуре вообще чужда сентиментальность, потому что была пора, когда и у нас процветали слезливые повести и драмы, но со времен Пушкина эту художественную фальшь как рукой сняло. Каждый стих Пушкина вдохновлен чувством, но у него нет ни одного стиха, испорченного чувствительностью. Пушкин смотрел на жизнь как на великую комедию, и по его следам пошли другие наши писатели. Лермонтов победил свой страстный темперамент демоническим холодом мысли, Гоголь одолел

врожденную хохлацкую чувствительность силой своего вещего смеха, Тургенева защищали от чувствительности его скептицизм и барская артистичность, Достоевский, более всего склонный драматизировать жизнь, не унизился до слезливости благодаря почти дикой, священной радости, с какою он изображал бездны страданий и падения. А таким писателям, как Толстой, Писемский, Щедрин, и бороться не приходилось с сентиментальностью: ее и в помине не было в их суровой, правдивой натуре. Первый против пушкинской традиции пошел Некрасов своими слезливыми поэмами о народном горе, и писатели последних десятилетий выросли под его влиянием. От упрека в сентиментальной слезливости не свободны ни Гаршин, ни в особенности г. Короленко, произведения которого сплошь да рядом кажутся переводом с польского или с малороссийского. Единственным в этом отношении достойным преемником наших старых мастеров является Антон Чехов, которого если можно в чем упрекнуть, так разве в том, что его объективность иногда граничит с безразличием, а комедия изображаемой им жизни часто переходит в фарс, но в сентиментальности и мелодраматизме — этих двух кардинальных грехах против художественной правды — он еще ни разу до сих пор не провинился. К сожалению, этого нельзя сказать о г. Горьком. Страстный и в то же время рассудочный, он склонен всюду видеть драму, а когда ход драмы кажется ему недостаточно занимательным, он не прочь превратить ее и в мелодраму, лишь бы сильнее потрясти свои собственные нервы и нервы читателя. Я не обвиняю г. Горького в сентиментальности; это значило бы изречь ему смертный приговор. Но некоторую наклонность к преувеличению и к крикливости в нем нельзя отрицать, и объясняется это главным образом его нетерпеливо-страстным, субъективным отношением к изображаемой жизни. Возьмем, например, его рассказ «Дед Архип и Ленька». Тема рассказа и сама по себе чрезвычайно трогательна. Больной, умирающий дед Архип и его десятилетний внучек, вытиснутые из России голодом в чужие степи, бродят по Кубани, из одной станицы в другую, и питаются Христовым именем. Деда угнетает мысль о близкой смерти и о том, что станет без него с бесприютным Ленькой. Чтобы обеспечить его будущее, дед решается на кражу, но честный, мечтательный мальчик не может проникнуть в расчеты старика, и вот однажды, когда, изгнанные из станицы по подозрению в краже они лежат у околицы и дед хвастливо показывает Леньке искусно припрятанные им украденные предметы, мальчик в одном из них узнает тот шелковый платок, по

которому так убивалась одна станичная девочка, которую он напрасно старался утешить.

«— Кабы сто рублей... скопить! — шепчет дед. — Умер бы я тогда спокойно.

— Ну! — вдруг вспыхнуло что-то в Леньке. — Молчи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруешь!.. — взвизгнул Ленька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги. — Вор ты старый!.. У-у! — и, сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: у дити украл!.. Ах, хорошо! Старый, а туда же... Не будет тебе на том свете прощенья за это...» (I, 57—58).

Столкновение, как видите, чрезвычайно сильное, и положение деда истинно трагическое. Но автор этим не довольствуется, и на голову бедных людей призывает грозу, освещает их молниями и заглушает их слова раскатами грома:

«Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева... Дед махал рукою в воздухе и все говорил что-то, уже уставая и почти задыхаясь. Взглянув ему в лицо, Ленька крикнул от ужаса... При синем блеске молний оно казалось мертвым, а вращавшиеся в нем тусклые глаза были безумны и страшны... Леньке показалось, что сейчас дед сделает что-то с ним. — Дедушка! Пойдем!.. — взвизгнул он, ткнув свою голову на колени деда. Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе, и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом. Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия, Ленька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперед, широко раскрыв глаза, ослепленный молниями, падая, вставая...» (I, 60).

Кончается тем, что дед умирает от упреков внука и от грозы, внук умирает от страха перед дедом и также от грозы, а читатель, пораженный и грозою, и судьбою обоих нищих, и трагическим многословием автора, с недоумением оглядывается на прочитанную повесть и невольно спрашивает себя: а правда ли все это?

Еще больше, чем «Дед Архип и Ленька», мелодраматическими красотами испорчен другой рассказ г. Горького «Макар Чудра». В погоне за сильными и вольными людьми, автор заставляет старого цыгана Чудру рассказать о двух таких степных героях, красавце Лойко и красавице Радде. Оба они друг друга прекраснее, и гордее, и смелее, и вольнолюбивее, а Лойко к

тому же оказывается гениальным музыкантом. «Проведет, бывало, по струнам смычком, и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз, и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его песни. Вот тебе сейчас кто-то горько стонет из-под смычка... А вот степь говорит небу сказки, тихие, печальные сказки...» (I, 8). И так далее, в том же поэтическом тоне рассказывается, как Радда и Лойко полюбили друг друга, но не могли сойтись, потому что еще более любили волю; как гордая красавица хотела унижить Лойко и, прежде чем идти за него замуж, требовала, чтобы он поклонился ей в ноги; как Лойко вонзил ей в сердце кривой нож, а она, зажав рану прядью своих черных волос, сказала громко и внятно: «Прощай, богатырь Лойко Зобар! Я знала, что ты так сделаешь», да и умерла; как потом отец Радды заколол Лойко и как герой и героиня прекрасны были после смерти. Впрочем, на этом рассказе, самом слабом во всей книге, я не буду настаивать, а равно не стану приводить дальнейшие доказательства склонности г. Горького к мелодраматизму, потому что, имея дело с молодым писателем, одинаково опасно подчеркивать как достоинства его, так и недостатки. Тем более, что мне еще остается говорить о своеобразном мирозерцании г. Горького, тоже достаточно изуродованном субъективным неистовством автора. Он не довольствуется воплощением своих идей в действиях и образах, а сам вмешивается в толпу изображаемых им лиц, подсказывает то одному, то другому свои заветные мысли. Вследствие этого получается то, что почти в каждом его рассказе имеется мещанин, погруженный в философские рассуждения о цели жизни. Но сама философия г. Горького стоит того, чтобы на ней остановиться несколько подольше.

Г. Горький — южанин, и действие почти всех его рассказов разыгрывается там, среди приволья южно-русских степей, на побережьи свободного моря. Герои этих рассказов не интеллигенты и не мирные мужики, а какие-то темные и беспокойные люди, потомки казацкой вольницы, охваченные тоскою городской жизни и жаждой приволья и почти всегда кончающие трагически, сознательно делаясь бродягами, босяками и контрабандистами, не потому, что в них нет сознания добра и зла, а потому, что в них бродят слишком большие силы, которым тесно в рамках старых понятий о добре и зле и которым исход только в разгуле кабаков да в просторе степей. Г. Горький изображает не просто босяков, а каких-то сверхбосяков и сверхбродяг, проповедников какого-то нового провинциального

нищепанства и приазовского демонизма. Уже знакомому нам старому цыгану Макару Чудре автор вкладывает в уста целую противообщественную теорию бродяжничества, и вот что говорит нам этот степной Ницше:

«Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее, те ничего не получают, и всякий сам учится.

Смешные они, те твои люди. Собрались в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И все работают. Зачем, кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, дураком. — Что ж, он родился затем, что ли, чтобы поковырять землю, да умереть, не успев даже могилу самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Эге! Он раб, как только родился и во всю жизнь раб, да все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумагу, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить — иди, иди и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон, как день и ночь вечно бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает» (I, 2—3).

Жить, не задумываясь над жизнью, жить в меру не своего разума, а своих сил; любить силу, в чем бы она ни проявлялась, и презирать слабость, под какими бы словами она ни пряталась, вот идеал героев г. Горького и, может быть, его самого. В превосходно написанном рассказе «На плотях» идеал этот изображен в лице могучего старика Силана Петрова, а в виде контраста представлен его хилый, богобоязненный сын Митрий. В темную, грозную ночь по большой реке движутся плоты; в хвосте, у рулевых весел Митрий рассказывает работнику Сергею о своей неудачной женитьбе:

— «Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: не могу, мол, я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек боль-

ной, хилый. И совсем, мол, я жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня, — женись, говорит, да и все! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимать... Пакость одна, да грех... Дети тоже... За них ответ Богу дать надо...

— Пакость! — взвизгивает Сергей, и громогласно хохочет. — Ну, и что ж она, Марька-то? а?

— Ну... Что же, говорит, мне делать теперь? Плачет, сидит. Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, — говорит, — я уродина какая? Бесстыдница она, Серега. И злая. Что же, — говорит, — мне с моим здоровьем к свекру что-ли идти? Я говорю: как хошь, мол... Куда хошь иди. Мне, мол, супротив души не возможно поступить» (I, 247).

Но этот довод не убеждает работника.

— В душе! — возражает он. — Эк тоже... Мало ли что в душе-то есть. Всему запрета не полагать — нельзя. Душа, душа! Ее, брат, понимать надо, а потом уж и того.

— Нет, ты это не так, Сергей, — горячо заговорил Митрий, — точно вспыхнув вдруг. Душа-то, брат, всегда чиста, как росинка. В скорлупе она, вот что. Глубоко она. А коли ты к ней прислушаешься, так не ошибешься. Всегда по-божески будет, коли по душе сделано. В душе, ведь, Бог-то, и закон, значит, в ней. Богом она создана, Богом в человека вдунута. Нужно только в нее заглянуть уметь. Нужно только не жалеючи себя...» (I, 248).

А в то же время у передних весел стоял Силан Петрович, «в широкой красной рубахе, с растегнутым воротом, обнажившим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь» и почти на глазах своего благочестивого сына ласкал жену его Марью, «кругленькую, полную, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босую, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу и ясно обрисовавшему его». (Шельма: жадна жить! — определяет ее Сергей.) На ее робкое замечание, что их видно с того конца, Силан энергически отвечает: пускай видят! Он не боится ни людей, ни греха. «Грех! Все знаю! И все преступил! Потому стоит. Один раз на свете-то живут, и кажинный день умереть можно» (I, 256). Потом, вспомнив о сынке, старик прибавляет:

«— Опять он намедни толковал. Батюшка, говорит, али это не стыд — позор тебе и мне? Брось ты ее, тебя-то, то есть, — усмехнулся Силан Петров, — брось, говорит, войди в меру. Сын, мол, мой милый, отойди прочь, коли жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гнилую. Ничего от твоей добродетели не

останется. На муку, мол, себе родил я тебя, выродка. Дрожит. Батюшка! али, говорит, я виноват? Виноват, мол, комар пискливый, — потому камень ты на моей дороге. Виноват, мол, потому постоять за себя не умеешь. Мертвечина, мол, ты, стерва тухлая. Кабы, мол, ты здоров был, — хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору несчастную. Воеет! — Эх, Марья! Плохи люди стали!» (I, 257).

Таковы эти оба представителя, один — стихийной силы, а другой — нравственных размышлений. И на чьей стороне симпатии автора, не может быть сомнений. Силан Петров до конца остается могучим и победительным, а Митрий не выдерживает своей роли, и когда работник Сергей донимает его насмешками, что он будет своему сыну не тяткой, а двоюродным братом, а тяткой у него будет дедушка, он взволнованно начинает шептать: «Сергей! Христа ради прошу, — не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Христом Богом прошу, — не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь! Брошусь в реку я, грех ляжет на тебя большой!.. Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позор мой... мука лютая... Свирепые вы люди! Уйду я! На век уйду... Не в мочь мне...» (I, 253).

Таким образом, ржа митриевой святости на глазах читателя разлетается в куски, а под нею открываются лохмотья сладости и безволия. Правым оказывается сильнейший, потому что он большего требует от жизни, а виноват слабый, потому что он постоять за себя не умеет. Нужно сознаться, что в нашей литературе, насквозь пропитанной учением о любви и добре, такая яркая проповедь права сильного является довольно новой и рискованной.

В другом рассказе, озаглавленном «Тоска», изображается также борьба между разгулом стихийной страсти и раздумьем хилой добродетели, и победа, конечно, остается на стороне разгула. Мельник Тихон Павлович, сытый, самодовольный кулак, за свои проделки с мужиками обличенный в газете местным школьным учителем, как-то побывал в городе, случайно очутился на похоронах литератора и, вернувшись к себе на мельницу, затосковал, сам ясно не зная, о чем, вообще, о бессмысленности жизни, о суете мира сего. Как уроженец степей, он вдруг почувствовал тесноту житейских рамок и захотел свободы. Его тучная жена завалилась спать, а он, с болью в отуманенной душе бродит по садику и думает какие-то обрывки мыслей. Вдруг он слышит за плетнем шорох и поцелуи. Это его работник Кузьма Косяк, такой же принципиальный сверхбродяга,

как Макар Чудра, ласкает деревенскую красавицу Мотрю и среди поцелуев объявляет ей, что вскоре уходит за Кубань.

«— А я-то как же, Кузя? Ты подумай, как я без тебя-то буду? Ведь люблю я тебя, соколика, лю-люблю, вольный ты мой! — отвечал Кузьке низкий женский контральто.

— Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрощался, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь — своим глазам веры нет! Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну? Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю. Родился я, слышь, под забором, и помру под ним. Судьба такая. По седые волосы вдоль и поперек шляться буду... А на одном месте скучно мне...» (I, 279—280).

Слушает эти речи мельник, и вдруг «он почувствовал зависть к этому веселому, вольному человеку за его умение жить, за его уверенность в своей правоте», а когда Кузька, спровадив свою докучливую красавицу, перелезает в садик, между хозяином и работником происходит ницшеанский разговор о «двух моральях».

«— А грех — как? Ведь грех, чай! — говорит хозяин, попрекая Кузьку его связью с Мотрей.

— Чего, грех?

— А так-то действовать...

— Да, ведь ребята-то одним, поди-ка, порядком родятся, что от мужа он, что от прохожего, — сказал Кузьма и скептически сплюнул в сторону.

— Это ты совсем напрасно. От мужа — он в законе, а ежели от тебя — куда его? Она, девка-то, возьмет да от сраму в пруд дитя-то и сунет. А на тебе грех! — донимал мельник работника, чувствуя при этом какое-то удовольствие.

— Да, ведь, хозяин, коли покрепче подумать, — серьезно и сухо заговорил Кузьма, — так выходит, что как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно! — пояснил Кузьма, махнув руков вправо и влево. — Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно, и не сделал — грешно. Рази тут разберешь? В монастырь, что ли идти? Чай, неохота» (I, 283).

А потом, как бы отыскав философскую формулу для своих мыслей, Кузька прибавляет: «Самому против себя не надо спорить. Коли кто против себя заспорит — пиши, пропал человек». Хозяину же, заметив его настроение, он дает такой совет:

— «Вы бы, хозяин, поехали до города да и кутнули там вовсю; вот оно вам и помогло бы. А то у вас, видно, на душе-то, как у трубочиста за пазухой» (I, 288).

Но у хозяина на уме другое. Он хочет очистить свою душу не кутежем, а покаянной беседой с добродетельным школьным учителем, обличившим его в печати. Из этой беседы, однако, ничего не выходит, и мельник, приехавший к интеллигенту с лучшими намерениями поговорить по душе и покаяться, как-то сам собою, с первого же слова начинает с ним браниться, между прочим и потому, что добродетельный учитель, подобно Митрию Силановичу, оказывается озлобленным, мелким и слабым человеком. Сцена эта написана с большой правдой и твердой рукой. Сбывается, по предсказанию Кузьки, и дело кончается бешеным кутежем Тихона Павловича в компании падших женщин и разных темных личностей, причем, конечно, не обходится без философских разговоров о том, что надо жить не рассуждая, а подчиняясь стихийным страстям: «Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, — так, значит, надо, и я тут не при чем... Живи и не кобеннйся, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных твоих свойств и намерений и из движений жизни. Это называется философия-с действительной жизни».

Философия эта находит своих проповедников почти во всех других рассказах г. Горького. Тоска жизни и жажда воли — именно стихийной воли, а не разумной свободы — вот два мотива, две струны, на которых г. Горький не перестает играть, вследствие чего его творчество приобретает известную цельность, но вместе с тем и неизбежное однообразие. Сознаюсь, что видеть в философии г. Горького отражение нищепоезания или индивидуализма Ибсена я не решаюсь. Если эти учения и в самом деле отразились в мирозерцании молодого беллетриста, то в весьма искаженном виде, и едва ли кто-нибудь из последователей Заратустры¹ согласится на замену сверхчеловеческой свободы русской удалью и стремления по ту сторону добра и зла бегством по ту сторону Кубани. Но, несмотря на это, книга г. Горького кажется мне серьезным литературным явлением, хотя бы потому, что молодой автор дерзнул взглянуть на жизнь самостоятельно, без тех наглазников, которыми разные прошенные и не прошенные учителя и гувернеры так ревниво стараются ограничить кругозор русского интеллигентного человека. Много смелости в замыслах г. Горького, и хочется верить, что эта смелость — признак недюжинной силы.

Я воздерживаюсь от заключительных выводов о таланте г. Горького, тем более что, заканчивая фельетон, узнал, что на днях поступит в продажу и второй том его рассказов. Вскоре надеюсь вернуться к этому любопытному писателю и тогда постараюсь на более зрелых его произведениях проверить свое первое впечатление.





И. ИГНАТОВ

Философия босячества (у Ришпена и г. Горького)

«Le Chemineau», drame en cinq actes Jean Richepin. —
«Les soliloques du pauvre» par Jehan Rictus. — М. Горький.
«Очерки и рассказы». — Л. Мельшин. «Конец Шелайской
тюрьмы».

Времена идиллических разбойников, благородных убийц, рыцарски честных грабителей в литературе прошли. Они прошли уже потому, что внешние факты, служившие хотя бы до некоторой степени реальным основанием для появления подобных литературных типов, более не существуют. Исчезли дремучие леса, отошли в вечность жившие в них атаманы с послушными шайками; неизвестно куда скрылись морские пираты, и вместе с этим сделались невозможны те благородные поступки, которые совершал когда-то «Красный морской разбойник» или другой столь же даровитый, образованный и рыцарски настроенный «сын ночи, ветра и лесов». Но с исчезновением из литературы благородных разбойников не уничтожилось стремление находить литературный эффект в противопоставлении внешнего бесчинства и разнузданности внутреннему благородству и душевной чистоте. Мир бесприютных, оборванных, бродяжничающих людей предоставлял простор подобным экскурсиям, и в каждой литературе в настоящее время, так же как и прежде, существуют писатели, имя которых связано с изображением идеальных внутренних сторон в лишенной по внешности всякого идеализма среде бродяг и оборванцев. Современная Франция считает их несколько, но наиболее видным представителем этого рода литературы является Жан Ришпен¹. Он писал и пишет очень много, касается самых разнообразных общественных слоев так же, как разных эпох, но и в памяти читателей, и на языке критиков он остается автором «La chanson

des gueux» *. Протестующая философия оборванца, иногда на-смешливая, иногда грозящая, изложена в этих песнях в своеобразной форме, где цинизм и умышленная грубость выражений соединяются то с чувством благородной гордости, то с негодованием. Стихотворения Ришпена нашли многочисленных подражателей, и даже в числе так называемых молодых писателей можно указать автора, пишущего под псевдонимом Jehan Ric-tus **. Герои его «Soliloques du pauvre» *** нередко напоминают типы, выводимые Жаном Ришпеном.

Но ни «La chanson des gueux», ни произведения подражателей не дают той идеальной картины бродяжьей души, с которой знакомит нас последняя драма Ришпена, посвященная этому миру, — «Le chemineau» ****. Здесь философия бродяги изложена уже не в отрывочных замечаниях, мелких песнях и неправильно разбросанных соображениях; в «Le chemineau» подробно изложена вся жизнь оборванца и его душевный мир, и причины, приведшие к большой дороге. Что такое бродяга в изображении Ришпена? Несчастное существо, вызывающее жалость? Или возбуждающий содрогание тип, лишенный человеческого образа? Или, наконец, богато одаренная натура, силою обстоятельств доведенная до потери своих дарований и способностей и потому вдвойне достойная сожаления? Ни то, ни другое, ни третье. Бродяга Ришпена ни в читателе, ни в окружающих лицах не возбуждает сожаления или ужаса: он вызывает только восторг и удивление. Он прежде всего рыцарь свободы. Оковы общества, семьи, каких бы то ни было привязанностей к месту, домашнему очагу, одним и тем же впечатлениям, одной и той же страсти — ненавистны ему. Из всех сильных чувств у него постоянно живет только одно — любовь к передвижениям, к воле, «к простору полей, больших дорог, беспредельных пространств и постоянных изменений». Не сила обстоятельств создала из него блуждающего оборванца, сегодня отдающегося одному занятию, завтра остающегося без дел, полуголодного и бесприютного; но собственной волей он «взял свою судьбу» и сделал из себя бродягу по принципу. Вот в каких словах выражает он свое призвание:

«Оборванец, нищенски вымаливающий корку хлеба, сделал свое родовое имение из созерцания полей, примыкающих к

* «Песнь босяков» (фр.). — *Ред.*

** Жан Риктю (фр.). — *Ред.*

*** «Стенания бедного» (фр.). — *Ред.*

**** «Бродяга» (фр.). — *Ред.*

большой дороге, этим видом он наслаждается; он владеет сотней, тысячью земель, тогда как другие имеют только одну, собственную. Его страна здесь, там, повсюду, куда он является; ему принадлежат и яблочные сады, и виноградники, и высокие горы, и глубокие долины, ему принадлежат все земли, воздухом которых он дышит, проходя мимо; его земля — это вся страна, тропинкой для которой служит большая дорога. Оборванец — богач, истинный богач, владеющий тем, что не принадлежит никому: пустынными залежами, дремлющими прудами, кустарниками, где с ним разговаривают знакомые духи. Он владеет степью, диким оврагом, песнью ветра в прибрежных камышах, солнцем и тенью, и цветами, и водами, и всеми лесами со всеми их птицами».

Le chemineau — не загнанный бродяга, к которому подозрительно относятся лица, вступающие с ним в сношение, не нищий, получающий подавание и злобою отвечающий на презрение других. Как истинный рыцарь, он благороден, смел и откровенен, двери каждого дома открыты для него, потому что его ум, талант, выдающиеся достоинства делают из него превосходного работника, общего благодетеля, устранителя зол и надежного покровителя слабых. Сердца девушек не могут противостоять его обаянию в то время, как он впереди других «высокий, статный, весь в кудрях», могучей песней вдохновляет ослабевших продолжать работу. Любовь не чужда ему, и, отвечая страсти своих обожательниц, он ненадолго создает для себя привязанность, делает временно счастливой молодую девицу, на минуту задумывается над мыслью о собственном очаге, но воля и простор вновь манят его к себе, и «с болью в сердце» chemineau ожидает свою возлюбленную. Так он переходит с места на место, всюду даря счастье, всюду благодетельствуя и везде оставляя после своего ухода пустоту и отрадные воспоминания. Уже в старости, после бесконечных скитаний, лишений и нищеты, заходит он туда, где двадцать два года назад оставил одну девушку с осязательным залогом своей любви. Теперь этот залог вырос в большого парня, которому chemineau по своей всегдашней привычке дарует счастье. Отечественные чувства просыпаются в старом бродяге; мысль остаться навсегда под одной кровлей с любимой женщиной, с сыном, в кругу довольной семьи, начинает манить его; долгие годы бродяжничества и больших дорог сказываются в желании успокоения, но эти же годы создают привычки, от которых он не в состоянии отделаться. Опять воля и простор восстают в виде призрака, властно манившего к себе бродягу всю жизнь, и, «en poussant des

sanglots» *, он покидает гостеприимную кровлю. «Va, chemineau, chemine!» **. Этими словами оканчивается драма Ришпена.

Сказать, что в ней нет решительно никаких черт, которые соответствовали бы действительной психологии бродяжничающего оборванца, пожалуй, и нельзя. Очень вероятно, что элемент привычки к лишенному обязательств и прочих привязанностей существованию играет некоторую роль в его духовном облике. Но во всяком случае общий характер, приданный ришпеновским chemineau, фальшив, криклив и настолько далек от правды, что даже «Красный морской разбойник» и его давно исчезнувшие из литературы товарищи более напоминают живых людей. В стремлении к реабилитированию личности своего бродяги Ришпен забывает даже сохранить внешние черты, свойственные той среде, в которой вращается chemineau, и создает тип, не имеющий ни практического, ни теоретического интереса. Познакомиться с психологией лиц, принадлежащих к этой среде, мы из его драмы, конечно, не можем.

В современной русской литературе мир оборванных, босых, бездомных описывается с наибольшей любовью и постоянством г. Горьким. Перед нами лежит 2-й том его «Очерков и рассказов», состоящий из десяти отдельных этюдов; только последний этюд «Ошибка» касается иной среды; все остальные говорят о бродягах, «босях», «золоторотцах», обитателях городских подвалов, ночлежных домов, речных балаганов и т. п. Различные типы этого своеобразного мира проходят перед читателем, знакомя последнего со своим мирозерцанием, своими желаниями, чувствами, ожиданиями, отношением к товарищам и к остальному миру. Г. Горький не создает «Красных морских разбойников», не награждает оборванцев качествами, привлекающими к ним сердца окружающих лиц, но сердца читателей он стремится привлечь, и это привлечение совершается при помощи тех же способов, которыми в свое время пользовались авторы рыцарски-честных убийц и идиллических атаманов.

В глубокой теснине Дарьяла жила, как известно, в очень давние времена царица, Тамара, которая была «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла»². Этот контраст

* рыдая (фр.). — *Ред.*

** «В путь, бродяга!» (фр.). — *Ред.*

между внешней небесной красотой и внутренним безобразием составил главный интерес Тамары и служил источником многочисленных драм, совершавшихся вокруг демонической царицы. Герои рассказов г. Горького созданы по типу, напоминающему обитательницу Дарьяльского ущелья, только с обратным математическим знаком. Там, где Тамара имела плюс, т. е. во всем, что касается внешней красоты, здесь значит минус; персонажи г. Горького грязны, неряшливы, пьяны и грубы. Но зато громадный минус нравственных достоинств, числившийся за царицей Тамарой, у оборванцев г. Горького заменен стремлением к добру, к истинной нравственности, к большей справедливости, к заботе об уничтожении зла. Так же, как у царицы Тамары, весь интерес выводимых персонажей заключается в этом контрасте между внешностью и внутренней жизнью, между безобразным, с одной стороны, и красотой — с другой. Не условия быта босяков интересуют читателя, а их психология; но в той форме, как дело представляется автором, психология выводимых персонажей не имеет никакого значения без внешних особенностей быта и среды. Последние должны оттенять первую, придавая особенный блеск неожиданности тем нравственным достоинствам, которые в мало подходящей обстановке производят эффект жемчужины, попавшей в навозную кучу.

Первый рассказ, которым открывается книга г. Горького, называется фамилией главного действующего лица — «Коновалов». Между chemineau Ришпена и Коноваловым г. Горького существует некоторое сходство. Так же, как французский бродяга, Коновалов умеет работать «как медведь»; по заявлению хозяина, он «сна, покоя не знает, за ценой не стоит — сколько дашь»; подобно chemineau, он мастер петь: «Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать его невозможно — тягостно делается на сердце»; подобно chemineau, он лишь временно отдается работе и благоразумию, переходя потом к своей преобладающей страсти. Но этим и оканчивается сходство. Веселое, бодрое и бодрящее других настроение французского бродяги заменяется здесь постоянным беспокойством, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исход в пьянстве. «Когда он запьет — нет ему тут никакого удержу, пьет до тех пор, пока не захворает и пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли: он и пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана» (II, 4). Из дальнейших объяснений следует, что Коновалов, подобно chemineau, переносится, влекомый какой-то внутренней силой с места на место, от Каспийского моря к северу, с севера за границу, от работы «на ватагах» в хлебопекар-

ню, из булочной переходит к битью свай и т. д. Но в то время, как силой, влекущей *chemineau*, было стремление к простору, воле и отсутствию обязательств, для Коновалова причина передвижений, пьянства и неудовлетворенности заключается в невозможности разрешить мучающие его нравственные вопросы. «Вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков?» — спрашивает он своего грамотного товарища. «Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков, — говорит он в другой раз, — и неужто уж нельзя сделать так, чтобы все люди действовали, как один, и все друг друга понимать могли. Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?» (II, 46). Подобными вопросами занят Коновалов всю жизнь. Постоянное нравственное беспокойство, вечная мысль о необходимости «устроить на земле порядок и в ясность людей привести» гонит его с одного места на другое, заставляет выбирать различные профессии, побуждает к пьянству и мрачному отчаянию. Руководимый одною мыслью о «порядке» и «поступках», он отдает последние деньги, чтобы «из мрака заблуждений душу падшую извлечь», и здесь между благородным босяком и благородной «падшей душой» происходит печальное недоразумение. Тронутая великодушным поступком Коновалова, выкупленная им женщина загорается самой пылкой любовью к нему, но Коновалов, отдавая последние деньги, руководился исключительно жалостью к ней, а не своекорыстным расчетом; от любви он отказывается, и этим оскорбляет благодетельствованную женщину, которая в отказе любимого человека видит презрение к себе. Осыпая Коновалова отборной бранью, возвращается она вновь на прежнюю дорогу. Расстроенный неожиданным финалом своего доброго побуждения, Коновалов уходит в другие места искать ответа на вопрос о «поступках», долго блуждает по России, несколько раз попадает в тюрьму, и, наконец, в виду полной невозможности разрешить мучающие его вопросы, вешается во время одного из пребываний в остроге. «Нет для меня на земле ничего удобного, не нашел я себе места!» — говорит он, подводя итог своему существованию.

Не все герои рассказов г. Горького отличаются такой незлобливостью и меланхолической задумчивостью, как Коновалов; многие резки, грубы, размашисты, требовательны и нахальны. Но все или почти все носят эту распущенность и нахальство в виде маски, за которой скрываются или беспокойство относительно «поступков», или граничащее с отчаянием сознание в

бесполезности стремлений к лучшим отношениям между людьми, или какая-нибудь «мечта», смутная для самих ее носителей и совершенно непонятная для читателя. К лицам, прикрывающим своей оборванной внешностью и грязной жизнью сознание бесполезности человеческих стремлений к лучшему, принадлежит, например, хохол, фигурирующий в том же первом очерке. Его жизненная философия резюмируется словами: «Никуда не лезь; придет время, тебя и без твоей воли куда следует втянет и смолотит в пыль» (II, 65). Нечто вроде той же философии носит в себе и наиболее ободранный и пьяный из босяков — Сережка (в рассказе «Мальва»): «Я все делаю скоро и прямо, без изворотов — валяй прямо и все! А куда попадешь, это все равно. С земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь!» (III, 56).

К ищущим, старающимся найти разрешение смутно поднимающихся в уме вопросов принадлежит сама героиня рассказа — Мальва. Она изображает из себя нечто вроде тех фатальных женщин, которых описывали многие романисты и, между прочим, тот же Ришпен в романе «La Glu» *. Ее приближение влечет за собой гибель; она увлекает, например, сторожа на рыболовных промыслах, увлекает затем его сына, поселяет между ними раздор и наслаждается своим разрушительным влиянием. Но под наружной жестокостью и равнодушным развратом скрыты тайные мучения от неразрешенных нравственных вопросов, тщетные попытки найти удовлетворение восстающим в душе требованиям. Как Коновалов просил найти в книгах ответ «насчет поступков», так и Мальва ищет в книге разрешения своих мучительных вопросов. Один из вздыхателей находит ее однажды далеко от прииска, где они вместе работали. Она лежала на боку и, держа в руках какую-то растрепанную книжку, смотрела навстречу ему, улыбаясь. Из разговора, возникающего по этому поводу, выясняется, что Мальва кое-как умеет читать, выучившись этому искусству в то время, «когда в Астрахани у адвоката кухаркой была», что книжка написана про Алексея Божия человека, что она тщетно «не то с тревогой, не то с досадой» спрашивает себя «что надо делать?» и т. д. От своих пьяных товарищей и товарок, от собственного разврата ищет она уединения, и тогда поднимаются у нее желания «никогда больше людей не видеть», а иной раз «так бы каждого человека завертела да и пустила волчком вокруг себя»; то жалко всех мне, а пуще всех — себя самое, то избил

* «Смола» (фр.). — Ред.

бы весь народ» (III, 62). Одним словом, перед нами метущаяся сильная натура, со смутными, но властными нравственными требованиями, с презрением к внешности человеческих отношений и стремлением *au delà des choses*. Подобно Коновалову, она живет среди грязи, пьянства и разврата, принимая в них живое видимое участие, но в действительности, находясь в отдалении от них, в мире своих неразрешимых сомнений, смутных желаний, аскетических помыслов и подвижнических намерений. Это тоже своего рода Тамара, фатальная женщина, приближение к которой опасно, но которая в любой момент одинаково способна на подвиг, как на преступление, и даже на первый более, чем на второе.

Более смутно, но также властно поднимаются нравственные требования в душе босяка Мишки, описанного в рассказе «Дело с застешками». Ворую, пьянствуя и развратничая, он так же, как и Мальва, ищет «слово для души» в книгах, также проникается уважением к печатному слову, надеясь найти там объяснение своих смутных побуждений.

Чтобы не утомлять читателя перечислением всех босых типов, выводимых г. Горьким в маленьких рассказах, переходим к самому большому очерку «Бывшие люди», где изображается психология большого количества босяков. Здесь — целый ряд оборванцев, когда-то выдавших лучшие дни, но силою вещей загнанных в один ночлежный дом. Первое место занимает ротмистр — хозяин ночлежки, напоминающий своими поступками разбойничьих атаманов былых времен; он — человек установившийся; колебаний и противоречивых побуждений Мальвы и Коновалова в нем нет. Для него жизнь ясна, и эта ясность, насколько можно судить по его поступкам, резюмируется в решении помогать слабым и насколько возможно вредить сильным. Свойства благородного атамана скрыты у ротмистра за особенностями его положения и речи; он слова в простоте не скажет, все с ужимкой; он не имеет прямой возможности мстить сильным, но тем не менее и в витиеватой речи, и в отношениях к окружающим людям он стремится исполнить свою миссию благодетельного разбойничьего атамана. В той же ночлежке живет бывший учитель, тоже пьяница и оборванец, но также человек высоко благородных чувств и поступков; половину скудного заработка он пропивает, другую отдает детям ютящейся около ночлежного дома бедноты. Ни следа злобы или ожесточения не заметно в нем; он поучает своих товарищей мирным и любовным чувствам друг к другу. Далее автор изображает крестьянина Тяпу, который читает Библию, ищет

в ней успокоения и с тоской спрашивает: «Кто нас научит?» Вопросы добра и истинно нравственного поведения мучают его так же, как Коновалова и Мальву, и заслоняют своей важностью все остальное. Около этих наиболее очерченных типов движутся другие, мало обрисованные автором; под влиянием ли своих товарищей, или по собственному влечению они также занимаются решением нравственных вопросов и вставляют свои замечания в бесконечные споры учителя и ротмистра. «Жизнь портят дикие люди, полонившие ее», — говорит ротмистр, и, как человек дела, стремится отстоять жизнь от диких людей. Учитель говорит примиряющие речи, взывая к любви, а не к негодованию. Принимая участие в споре, другие босяки выражают свои взгляды на жизнь, причем наиболее распространенной философией является унылое убеждение в бесполезности разговоров и мыслей: «Зачем? Не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... Мне сорок, тебе пятьдесят... Моложе тридцати нет среди нас; и даже в двадцать долго не проживешь такой жизнью». И на мстительные речи ротмистра, и на примирительные слова учителя босые представители скептицизма восклицают: «Все это глупости, мечты, ерунда» (II, 177).

Таковы главные течения босяцких мыслей и чувств, как они описаны г. Горьким, и таковы изображаемые автором типы. Все представители этого мира подходят под определение, данное Мальве: «У нее, брат, душа не по телу», т. е. у всех грязная, пьяная и нахальная внешность не соответствует благородной и даже нежной душе. Автор в одном месте утверждает, что «у этих людей (т. е. босяков) была одна смешная черта: они любили показать себя друг другу хуже, чем были на самом деле». Этим стремлением «показать себя хуже», по-видимому, обуславливаются многие поступки, не соответствующие действительным побуждениям босяков: кражи, пьянство, разврат, драки и т. д., и т. д. За этой общей чертой — несоответствием безобразной внешности с красивым внутренним миром — идут разновидности последнего. Как мы видели, все эти разновидности сводятся к трем типам, наиболее яркими представителями которых являются Коновалов, ротмистр и цитированный уже хохол. Искание истины и невозможность найти ее служит преобладающей чертой первой разновидности; деятельное стремление к водворению справедливости на земле характеризует собою вторую разновидность, и, наконец, третья находит свое выражение в разъедающем скептицизме большинства. Но и скептики, и энергичные борцы за справедливость, и несчастные искатели истины — все разнородные типы, образующие

огромный мир бродяг и босяков, — одинаково далеки в своих интимных стремлениях от той атмосферы, которой они себя окружают. Они не могут, конечно, соперничать с chemineau в погоне за сочувствием окружающих, но удивление и восторг читателя они стремятся получить в той же мере.

Мы не хотим сказать этим, что персонажи г. Горького так же фальшивы и выдуманы, как герои драмы Ришпена. В них часто видна действительная жизнь, слышится порою реальная речь, чувствуется по временам искреннее страдание, но автор совершенно устранил из своих очерков привычку, неожиданное стечение обстоятельств, случай, безвольное падение по наклонной плоскости и т. п. Он сделал жизнь босяков сознательным отражением той философии, которую каждый из них выработал, и тем допустил в свои очерки освещение, совершенно неверное для жизни вообще и вдвойне неверное для жизни «павших» элементов общества. Это освещение настолько вредит некоторым очеркам г. Горького, что читатель остается совершенно холодным при описании самых патетических сцен и местами готов даже отдать преимущество французскому бродяге перед изображенными русскими типами. По крайней мере, привычка, выгоняющая в конце концов chemineau на большую дорогу, представляется ему более распространенной и более естественной чертой, чем «нравственный голод», побуждающий Мальву развратничать, пить, поселять раздоры, разгул и т. д., и т. д.

В заключение несколько слов, не имеющих никакого отношения к правдивости или неискренности персонажей г. Горького. Тургенев когда-то возмущался некоторыми выражениями современных романистов. Всего более выводили его из терпения такие обороты: «Подайте мой платок, — подскочила она. — Ни за что, — высморкался он». К сожалению, к таким оборотам необыкновенно часто прибегает г. Горький. «Извольте, — умирал от тоски Мишка»; «Сашенька! — глубоко вздохнула она ему навстречу»; «Молчи, уйди! С глаз уйди! — завозился Василий на песке» и т. д. Подобных примеров можно было бы привести очень много.

Было бы очень интересно сопоставить типы, выведенные г. Мельшиным³ в первой книге «Мира отверженных» с теми портретами, которые изображены г. Горьким, и проследить психологические особенности, отличающие каторжан г. Мель-

шина от босяков, подобных Коновалову, Мальве, Сережке, ротмистру и др. Беглое сравнение показало бы, что однообразие душевных свойств, отличающее героев г. Горького, у г. Мельшина заменено тем разнообразием в мотивах, побуждениях, душевном облике и особенностях действующих лиц, которое встречается в действительной жизни.





Ник. МИХАЙЛОВСКИЙ

О г. Максиме Горьком и его героях

I

Года три тому назад в разных журналах стали появляться рассказы, подписанные новым в литературе именем: Максим Горький. Они читались с интересом, от них веяло чем-то свежим; но частью потому, что многие из них печатались в мало распространенных изданиях, частью вследствие разбросанности их вообще трудно было составить себе определенное представление о литературной физиономии новоявленного писателя. Могло даже возникать сомнение, — обладает ли он еще какою-нибудь определенной физиономией и не есть ли он одно из тех мимолетных явлений, каких много в современной литературе: появится новый автор с повестью или рассказом, представляющими известный интерес в смысле оригинальности замысла или художественности исполнения, как будто обещающими что-то и в будущем, но затем очень скоро оказывается, что у автора только и хватило пороку на один, на два рассказа. Всегда, разумеется, были в литературе подобные мимолетные явления, но ныне что-то особенно много стало случайных гостей; побеседовали они с вами раз, другой, и, пожалуй, вы заинтересовались их беседой и недурно с ними время провели, но затем они выбывают из круга ваших знакомых, да так, что точно их и на свете никогда не было, и помянуть их нечем. Иные, правда, еще пытаются удержаться и не без гордости говорят, подобно Ипполиту Островского: «Коль скоро я пришел»... Но читатель с грустью припоминает реплику Ахова: «Коль скоро ты пришел, толь скоро ты и уйдешь»...¹ Это одно из проявлений современного литературного, скажу больше, — современного житейского оскудения вообще. Оскудению этому есть вполне уловимые причины, говорить о которых теперь трудно.

О них расскажет в свое время история. Но каковы бы ни были причины, а печальный факт остается фактом, и не удивительно, если люди, любовно следящие за русской литературой, встречают заинтересовавшего их нового автора с некоторым скептицизмом: можно ли рассчитывать на сколько-нибудь продолжительное общение с ним? есть ли у него за душой что-нибудь прочное, не изнашивающееся в два-три приема?

Скептицизм этот был естествен и относительно г. Максима Горького. Не скажу, чтобы он был устранен и теперь, когда рассказы г. Горького, частью погребенные в таких литературных могилах, как «Северный вестник»², да и вообще раскиданные, собраны и изданы отдельно. Но во всяком случае два тома его рассказов представляют собою нечто вполне определенное, притом такое, что может доставить и художественное наслаждение и пищу для размышления, что можно не только с удовольствием читать, но и перечитывать, и что помянется историей литературы, хотя бы г. Максим Горький уже ничего более не написал.

Г. Горький разрабатывает если не совсем новый, то очень мало известный рудник — мир босяков, босой команды, золоторотцев. В отличие от своих предшественников, которых, впрочем, было всего один, два, да и обчелся, и которые занимались этим своеобразным миром мимоходом и между прочим, он отдает ему все свое внимание и весь свой недюжинный талант. Мир — действительно в высокой степени заслуживающий внимания, как по своей, благодарной для художника, живописной яркости, так и по своему общественному значению. Это — чандалы европейской цивилизации. Индийские чандалы живут вне кастового строя и состоят частью из плодов строго воспрещенных *mes-alliance*'ов* между представителями трех высших каст, частью из потомков судр, за преступления или по каким-нибудь другим причинам выбывших из своей касты, частью, наконец, из покоренных неарийских туземных элементов. Наши чандалы — то, что в западной Европе называется *Lumpenproletariat*, а у нас босяки, золоторотцы, — будучи такими же отверженными из отверженных, такими же отбросами различных общественных слоев, имеют, однако, совершенно иное происхождение. Не говоря уже о Западной Европе, и у нас в России не только нет кастового строя, но и сословные перегородки постепенно сглаживаются и теряют свое значение. Сын дворянина и мещанки или крестьянина и дворянки может, ко-

* неравных браков (*фр.*). — *Ред.*

нечно, попасть в ряды босяков, но не по рождению, а по такому же стечению обстоятельств, какое и чистокровного дворянина, как и чистокровного мужика, может ввести в эти ряды. Лишение прав состояния за преступление тоже не обязательно ввергает людей в «золотые роты». Наконец, и о какой-нибудь национальной особенности босяков не может быть и речи. И тем не менее они, подобно индийским чандалам, стоят вне общественного строя, и даже наиболее демократические европейские партии презрительно сторонятся от *Lumpenproletariat*'а. Они имеют на то свои резоны. Босяки от всех берегов отстали, но ни к которому не пристали, ни в какие регулярные кадры не устанавливаются, никакой партийной или классовой дисциплине не поддаются. Правда, г. Горький готов видеть в них особый класс. Это — говорит он — люди, «которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые» (II, 24)³. Что босяки вполне достойны внимания, это несомненно, и г. Горький, показавший нам их в целом ряде картин и образов, может по праву гордиться тем делом, которое он делает. Но не потому, однако, достойны внимания босяки, что они «сильно алчут и жаждут, очень злы и далеко не глупы». Это признаки слишком общие, а вместе с тем и слишком индивидуальные. Как и *a priori** можно было бы сказать, как и из рассказов г. Горького видно, есть между босяками и совсем не «очень злые», а даже очень добрые, есть, конечно, и глупые; всякие есть. Достойны они внимания как общественное явление, притом все растущее. Но чтобы босяки составляли или могли составить «класс», — в этом позволительно сомневаться, хотя бы на основании показаний самого г. Горького, с которыми мы сейчас познакомимся.

Остановимся на одном из лучших рассказов г. Максима Горького, озаглавленном по прозвищу героя «Челкаш». Рассказ этот был напечатан в «Русском богатстве», но я считаю нужным напомнить читателям некоторые его подробности, быть может, позабытые, тем более что в общей связи с другими рассказами г. Горького «Челкаш» получает особенное значение.

Дело происходит в большом приморском южном городе, вроде Одессы или Севастополя. Рассказ открывается описанием места действия. Г. Горький любит подобные описания и большой мастер на них. Особенно ему удаются марины и степные пейзажи, между которыми есть истинно превосходные. Но

* сразу же, не пускаясь в рассуждения (лат.). — Ред.

описание, которым начинается «Челкаш», не принадлежа к числу лучших, имеет зато некоторое принципиальное значение, давая отправную точку для суждения о многом из того, что занимает г. Горького; и, может быть, не случайно описание это попало на первые же страницы первого тома. Я приведу его целиком:

«Потемневшее от поднятой в гавани пыли, голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотрит на зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Он не может отразиться в воде, то-и-дело рассекаемой ударами весел, пароводных винтов, глубокими, острыми киями турецких фелюг или других парусных судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань, в которой закованные в гранит свободные волны моря, подавленные громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные ударами, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений у вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных надсмотрщиков — все эти звуки сливаются в оглушительную симфонию трудового дня и, нерешительно колыхаясь, стоят в небе над гаванью, как бы боясь всплыть выше и исчезнуть в нем, а к ним вздымаются с земли все новые и новые волны: то глухие, рокочущие и сурово сотрясающие все кругом, то резкие, гремящие, разрывающие уши и пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками бешено страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, рваные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, под тяжестью заботы, толкающей их то туда, то сюда, в тучах пыли, в море зноя и звуков, так ничтожны и малы по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистели, то шипели, то как-то глубоко вздыхали, и в каждом рожденном ими звуке чудилась насмешливая нота иронического презрения к серым, пыльным фигуркам людей, ползавших по их палубам и наполнявших их глубокие трюмы продуктами свое-

го рабского труда. До слез смешны были длинные вереницы грузчиков, таскавших на себе тысячи пудов хлеба и ссыпавших его в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка, к несчастью людей, не железного и чувствующего боли голода. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством и безмятежностью машины, созданные этими людьми; машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов... в этом сопоставлении была целая поэма жестокой и холодной иронии.

Шум подавлял, пыль, раздражая ноздри, слепила глаза, зной пек тело и изнурял его, и все кругом — здания, люди, мостовая — казалось напряженным, назревшим, готовым прорваться, теряющим терпенье, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освещенном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий нервы, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем» (I, 63—65).

Из этой цитаты видно, что г. Горький не принадлежит к числу тех оптимистов, которых радует промышленный прогресс как таковой. В нарисованной им грандиозной и мрачной картине есть только один светлый луч, да и то скорее намек на луч: «человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем». Это-то желание и это чувство г. Горький и улавливает в своих босяках. Но не только по промышленному прогрессу, а — в связи ли с ним, или независимо от него — и к другим сторонам цивилизации наш автор относится весьма скептически. В рассказе «В степи», между прочим, читаем: «Я хочу быть только правдивым, и не в моих интересах быть грубым. Я знаю, что люди становятся все мягче душой в наши высококультурные дни и даже когда берут за глотку своего ближнего с явною целью удушить его, так стараются сделать это с возможной любезностью и с соблюдением всех приличий, уместных в этом случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот прогресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается

ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости» (III, 5). И г. Горький держит своих героев неизменно поблизости от тюрем, кабаков и домов терпимости.

Таковы два устоя босяцкой жизни, как нам ее рисует г. Максим Горький: свободолюбие, с одной стороны, кабаки, тюрьмы, дома терпимости, вообще «порочность» — с другой.

Гришка Челкаш — «старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду как заядлый пьяница и ловкий, смелый вор» (I, 65). Но просто пьяница и вор не удостоился бы внимания г. Горького — мало ли их! Пьяница и вор может вызвать к себе презрение, в лучшем случае сожаление и другие подобные сочетания презрительно снисходительных и брезгливых чувств. Челкаш не таков. «Пьяница и вор» — это только одна сторона его души и жизни. Есть в нем еще многое другое, что не только не унижает его, а даже создает ему некоторый поэтический ореол и высоко поднимает его над уровнем не только обыкновенных пьяниц и воров, но и многих честных и трезвых людей. Так, «он, вор и циник, любил море; его кипучая, нервная натура, жадная на впечатления, никогда не прельщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной и мощной» (I, 79). Уже это показывает, что Челкаш не о едином хлебе думает, не о хлебе и водке только. И недаром он так любит именно море с его широким простором: его душе особенно родствен этот простор. Он смел, великодушен, преисполнен чувства собственного достоинства, никому не позволит наступить ему на босую ногу, и те грандиозные сочетания металла, дерева и пара, которые г. Горький изобразил в начале рассказа, никоим образом не могли бы похвалиться, что они поработили, обезличили Челкаша.

Все эти качества Челкаша разворачиваются перед читателем в одном эпизоде. Челкаш затеял рискованное предприятие, — комбинацию воровства с продажей контрабандного товара, — с которым ему одному не справиться. Но под рукой нет привычного к такому делу помощника, и Челкаш берет к себе в товарищи случайно встреченного прохожего, молодого мужика Гаврилу. Парень шел домой к себе в деревню с косовицы, заработки были плохи, и Гаврила, не совсем понимая в чем дело, согласился на предложение Челкаша. При исполнении предприятия он, добродушный и глуповатый деревенский парень, вдоволь натрусился, вызывая то насмешки, то гневные окрики Челкаша, а затем произошла следующая сцена при дележе добычи. Операция принесла пятьсот сорок рублей, из которых сорок Челкаш отделил Гавриле, предполагая, по-видимому, и

еще прибавить. Но Гаврилу при виде радужных бумажек обуяла жадность, — на эти огромные для него деньги, «заработанные» в одну ночь, он у себя в деревне как бы устроился! а Челкаш ведь их просто пропьет! — И Гаврила униженно страстно молит Челкаша отдать ему всю добычу. Молит, но вместе с тем как будто и отнять покушается, потому что неожиданным движением валит Челкаша на землю.

«На, собака, жри! — гаркнул Челкаш, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем. Удаливость светилось в его глазах». Гаврила стал столь же униженно благодарить. «Челкаш слушал его визги, вопли, смотрел на его сиявшее, искаженное жадной радостью лицо и чувствовал, что он, вор и гуляка, оторванный от всего в жизни, никогда не станет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким! И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу» (I, 100). Но когда Гаврила, в порыве восторга, признается, что он хотел убить Челкаша, тот решается отобрать деньги. Происходит драка: Челкаш, пораженный камнем в затылок, падает, Гаврила просит прощения и проклиная соблазнившие его деньги. Челкаш, однако, презрительно заставляет его взять добычу, оставляя себе лишь одну радужную, и случайные товарищи расходятся...

Таков босяк Гришка Челкаш. В сравнении с добродушным, работающим и глуповатым мужиком Гаврилой он, вор и пьяница, есть настоящий герой и рыцарь чести. Он, в освещении г. Горького, имеет полное право смотреть сверху вниз на этого «жадного раба». И критики, недавно восторгавшиеся посредственным рассказом г. Чехова собственно потому, что в нем «мужики» своим «деревенским идиотизмом» выгодно оттеняют фигуры трактирного лакея и горничной меблированных комнат, уже заодно это унижение мужика — такая теперь мода — высоко оценят г. Максима Горького⁴. Я тоже ценю как талант г. Горького, так и употребление, которое он из него делает, но по несколько иным соображениям.

По-видимому, глубокое презрение к мужику и к деревенскому житью, презрение, сопровождаемое даже ненавистью, свойственно не одному Гришке Челкашу, а вообще излюбленным героям г. Горького. Так, в рассказе «Мальва» удалой золоторотец Сережка называет мужиков «земледами тупорылыми» и «кротами таракановичами», а об одном из действующих лиц отзывается так: «Мне он не по душе... деревней от него воняет,

а я запаха этого не терплю» (III, 56—59). Сама Мальва презрительно говорит, что в деревне, «как в яме, — и темно, и тесно» (III, 34). Сережка же так поясняет свою мысль в другом месте: «Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами, им и хлеба дают и... все!.. У них, вон, земство есть, и оно все для них делает... Я у земского доктора кучером служил, посмотрелся на них... потом бродяжил по земле много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба — цап тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бивали сколько раз... То за конокрада примут... то просто так... В холодную сажали... они ноют да притворяются, но жить могут, у них есть зацепка — земля. А я что против них?» (III, 63). В «Бывших людях» ненавидит мужиков некий Тяпа. «Каждый раз, когда в ночлежке являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпа при виде его впадал в тоскливое озлобление и беспокойство. Он преследовал этого несчастного едкими насмешками, с злым хрипом выходившими из его горла; он натравливал на него какого-нибудь злющего босяка, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный и растерявшийся мужик исчезал из ночлежки и уже больше не являлся в ней». В газете Тяпа читал «о том, что в такой-то деревне градом побил хлеб, а в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила свою семью, — все, что принято писать о деревне и что рисует ее только несчастной, глупой и злой. Тяпа читал все это глухо и мычал, выражая этими звуками, быть может, удовольствие» (II, 168, 169). Емельян Пиляй, «мещанин голоштанник», как он сам себя называет, грозит «дворянам от сохи» разными неприятностями. Он мечтает открыть кабак и с некоторым даже сладострастием представляет себе, как он будет грабить мужика: «Мужика бы этого, черноземного барина — ух ты!.. грабь! дери шкуру! выворачивай наизнанку. Придет опохмелиться — «Емельян Павлыч, дай в долг стаканчик!» — А? что?.. В долг?!.. Не даем в долг! — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!» (I, 20).

Таким образом, босяк, представитель городской культуры, является антагонистом деревенского мужика и, как ни низко стоит сам он в обществе, смотрит на мужика сверху вниз и имеет, по-видимому, для этого достаточные основания. Но прежде чем делать из этого какие-нибудь выводы, прежде чем радоваться или горевать или искать подтверждения той или другой излюбленной теории, посмотрим, как относится босяк к

представителям других сословий или классов, например, к купцам.

Аристид Кувалда, один из «бывших людей» и некоторым образом глава их или, по крайней мере, пристанодержатель, делает такое определение: «Что есть купец? Рассмотрим то нехорошее и грубое явление. Прежде всего каждый купец — мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец — мошенник-мужик... О, если бы я писал в газетах!.. О, я показал бы его в настоящем виде, я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Я понимаю его! Он? Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает» (II, 175).

Правда, Аристид Кувалда — отставной ротмистр и дворянин, и можно, пожалуй, подумать, что его ненависть к купцам есть нечто исключительное. Но его дворянское прошлое, как и прошлое других его разношерстных товарищей, давно быльем поросло. Он принадлежит к числу «изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью» (II, 178). Мало того, благодаря некоторому образованию, недюжинному уму и ораторской способности, Аристид Кувалда, пользующийся в своей среде огромным авторитетом, может логически выразить и более или менее ясно формулировать бродящие в душах золоторотцев инстинкты и чувства. Вот, например, одна из бесед Аристида Кувалды с братией:

«— Как бывший человек (говорит Кувалда), я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно. Но чем же я и все вы — чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно, — поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое новое, ибо и мы в жизни новость...

— Несомненно, нам нужно это, — говорит учитель.

— Зачем, — спрашивает Конец, — не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят, моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такой жизнью.

— И какая мы новость, — усмехается Обьедок, — гольтепа всегда была.

— И она создала Рим, — говорит учитель.

— Да, конечно, — ликует ротмистр, — Ромул и Рем, разве они не золоторотцы? И мы, придет наш час, создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия, — перебивает Обьедок. Он хохочет, довольный собой» (II, 177).

Мы еще вспомним некоторые подробности этой знаменательной беседы, а пока заметим, что среди «бывших людей» есть всякие — мужики, и дворяне, и интеллигенция, и городские, и деревенские жители, и всем им «нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое». И если Мальва находит, как мы видели, что в деревне, «как в яме, — и темно, и тесно», то вот, например, босяк Коновалов говорит автору: «Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься. И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь и тесная. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо» (II, 62). «Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь!» И только после убедительной реплики товарища Коновалов с сожалением соглашается, что «для зимы города действительно нужны... тут уж ничего с ними не поделаешь» (II, 64). В деревне, как в яме, — и темно, и тесно. Но вот и городской рабочий, сапожник Орлов говорит теми же словами: «Сижу в яме и шью» (II, 90), «сижу вот в яме и все работаю, и ничего у меня нет» (II, 93); «хоть на чердак заберись, все же в яме будешь... не квартира яма... жизнь яма» (II, 94). И в итоге своей карьеры и своих размышлений о жизни Орлов говорит: «Противно все — города, деревни, люди разных калибров... тфу!» (II, 151).

Итак, герои г. Горького не к одному мужику относятся презрительно и ненавистно: и деревня, и город равно вызывают в них недобрые и вообще отрицательные чувства. Мало того, если вы внимательно прочтете того же «Челкаша», то увидите, что к презрению, которое босяк питает к Гавриле, примешивается странное сочетание зависти и сочувствия. Одиннадцать лет тому назад Гришка Челкаш сам был деревенским мужиком, и в разговоре с Гаврилой он «чувствовал себя обвеянным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи исконного крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком

озими... И он чувствовал себя сбитым, упавшим, жалким и одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах» (I, 92—93). Любопытно также, что наш автор колеблется в определении тех чувств, с которыми другой ненавистник мужика, Тяпа, вычитывает в газете неприятные известия о деревне: «быть может, сострадание, быть может, удовольствие». Тяпа даже посылает одного из «бывших людей» в деревню: «...шел бы ты в деревню... просился бы там в учителя или в писаря... и был бы сыт, и проветрился бы. А то чего маешься?» (II, 173).

Из всего этого видно, что задача г. Горького лежит где-то в стороне от грубого противопоставления деревни и города. Его образы и картины разные читатели могут, разумеется, истолковывать различно, смотря по степени своего понимания, а может быть, и добросовестности. Один может подчеркнуть для себя, — а если он не просто читатель, а и критик, то и для других, — одну сторону дела, другой — другую. Эти односторонние освещения могут быть очень остроумны и представлять большой интерес в том или другом смысле. Но любопытно знать и мнения самого наблюдателя — автора, хотя для нас вовсе не обязательно с этими мнениями соглашаться. Но в двух томах рассказов г. Горького есть, кажется, только одно место, где автор прямо от себя как будто сопоставляет деревню и город. А именно: «Быть может порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни» (II, 167)⁵. Но и это мнение, конечно интересное, — в качестве итога очевидно тщательных наблюдений, — очень далеко от огульного сопоставления мужика-земледельца и городского жителя вообще или, как у нас недавно еще до тошноты часто повторяли, «деревенской и городской культуры». Г. Горький сравнивает не вообще деревенских и городских жителей, а лишь определяемых известными нравственными признаками — «порядочности» и «порочности», причем относительно «порядочных» выражается сомнительно: «быть может». Да и вообще все это мимоходом брошенное замечание не имеет большого значения для основной темы г. Горького, разрабатываемой в большинстве его рассказов. Все его излюбленные герои «порочны», близки к тюрьмам, кабакам и домам терпимости, все — как деревенские, так и городские. Если, например, городские «бывшие люди» «охотно, много и скверно говорили о женщинах», то, во-первых, один из их

среды — «учитель» — сердился, «если очень уж пересаливали», а, во-вторых, и бывший мужик Челкаш — «циник». Если в рассказе «Дело с застежками» бывший мужик Мишка, к негодованию своего необузданного товарища Семки, способен трогаться чтением, то и городской человек Коновалов ему в этом отношении не уступит. Все это оттенки, подробности, хотя и подлежащие сложению в общие правила и вычитанию исключений, но имеющие мало значения для главной темы г. Горького. Важно, что все эти чандалы, от какого бы общественного слоя они ни откололись, будучи отверженцами из отверженных и сами сознавая свою «порочность», считают себя вправе свысока относиться ко всему окружающему и в каких-то отношениях действительно имеют это право.

Характеризуя только что упомянутого Мишку («Дело с застежками»), г. Горький говорит, что он «типичнейший мечтатель-мужик, излюбленный персонаж писателей-народников, так много говоривших о нем и позабывших рассказать, как он, этот тип, вымирает, постепенно отравляемый суровой жизнью, которая никогда не благоволила мечтателям, нимало не нуждается в них и всегда предпочитает здоровые руки слабой голове». Кого бы ни разумел здесь почтенный автор под писателями-народниками, — вообще ли писателей, черпавших свои темы из народного быта и с особенным интересом приглядывавшихся к мужицкой жизни, или же народников, так сказать, принципиальных, идеализировавших мужика и «устой» его жизни, — он во всяком случае неправ; фактически неправ, утверждая, что писатели эти позабыли рассказать, как вымирает «мечтатель». Это было бы нетрудно доказать многочисленными примерами, но такая экскурсия в сторону недавней истории нашей литературы слишком отвлекла бы нас от г. Горького, да и не нужна она для нашей цели. Г. Горький не решается заполнить указанный им якобы пробел. Он дает ряд фигур, уже отвергнутых «суровой жизнью», и все это «мечтатели»: мечтатели-поэты или мечтатели-философы, быть может, слишком поэты и философы. И, глядя на них, приходится признать, что наша жизнь не нуждается не только в «слабых головах», предпочитая им «здоровые руки». Тут еще не было бы ничего удивительного или внимания достойного. Здоровые руки, конечно, предпочтительнее слабой головы, как маленький каменный дом предпочтительнее большого черного таракана. Удивитель-

но то, что отвергнутые жизнью мечтатели г. Горького в большинстве случаев совсем не слабые головы (г. Горький считает даже возможным, как мы видели, объединить их общим признаком: «далеко не глупы»), и руки у большинства их тоже здоровые, а они все-таки отверженцы. Отчего же это так выходит?

Есть, впрочем, у г. Горького один совершенно безрукий герой — Михаил Антоныч в рассказе «Тоска». Об нем узнаем от него самого, что он перепробовал множество профессий: был часовых дел мастером, певчим, смазчиком на железной дороге, приказчиком у лесоторговца, торговал роговыми изделиями и, наконец, где-то на фабрике в пьяном виде попал в приводной ремень, которым ему и оторвало обе руки. Тут мы имеем, по крайней мере, указание на причину, окончательно выбившую человека из строя. Но и то надо сказать, что и прежде этого печального случая Михаил Антоныч почему-то не мог приспособиться ни к одной из перепробованных им профессий, да и в приводной ремень попал пьяный, может быть, конечно, и случайно, а, может быть, и как привычный уже пьяница. Вообще г. Горький чрезвычайно скуп на разъяснение тех условий, при которых «суровая жизнь» вышвыривает за борт его героев; и даже когда более или менее подробно рассказывает их биографию, то обрывает ее на самом интересном месте. Вот, например, Гришка Челкаш. Он вспоминает свое прошлое. «Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую; снова себя красавцем гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел и то, как гордился перед всей деревней отец своим Григорьем, усатым здоровым солдатом, ловким красавцем...» (I, 92). Все это только вступление к жизни босяка, но г. Горький ставит многоточие и затем ограничивается темным намеком на какие-то «ошибки». В чем состояли эти ошибки, так и остается неизвестным, но достоверно, что голова у Челкаша не слабая, а руки здоровые. Из биографии удалого золоторотца Сережки (в «Мальве») только и известно, что он мещанин города Углича «везде бывал, скрозь прошел всю землю». А если г. Горький кое-где и намечает исходный момент босячества, то довольствуется общими выражениями вроде того, что «нужда загнала» или «запил», — просто

запил, да и все тут. Это слишком неопределенно. Нужда то медленно и постепенно захватывает людей своими цепкими когтями, то настигает их внезапно, без предостережений, и в том, и в другом случае подбираясь с очень разных сторон; а «запивают» люди, кроме нужды, еще и по многим другим, разнообразным, притом часто случайным, не поддающимся обобщению причинам. Попробуем обратиться за разъяснением не к г. Горькому, а к самим его героям.

Я уже заметил, что большинство этих героев поэты и философы, поэты, по крайней мере, в душе, и философы, по крайней мере, по склонности осмысливать и обобщать явления жизни. Г. Горький утверждает даже, что «каждый человек, боровшийся с жизнью, побежденный ею и страдающий в безжалостном плену ее грязи, более философ, чем сам Шопенгауэр, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется в такую точную образную форму, в какую выльется мысль, непосредственно выдавленная страданием» (II, 31). Г. Горький недаром говорит не только о точной, а и об образной форме и, надо думать, не случайно выбрал именно Шопенгауэра, этого мыслителя-художника, для сравнения со своими героями. Его излюбленные персонажи, даже в тех случаях, когда им не удастся точно сформулировать свои мысли, выражают их картинно, художественно, образно. До такой степени картинно и образно, что читателя невольно берет сомнение, — возможно ли, правдиво ли это? В знании той среды, которую он описывает, г. Горькому никоим образом отказать нельзя; подлинная правда чувствуется как в общей концепции его произведений, так и во множестве житейских подробностей, которых нельзя выдумать, сочинить. Но иногда, читая речи и размышления его босяков, поневоле вспоминаешь его собственную оценку босяцких словесных автобиографий, «в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самою наивною ложью» (II, 30). Конечно, «ложь» в данном случае слишком грубое слово по отношению к столь почтенному писателю, но речь идет не о сознательной какой-нибудь лжи. Да и босяцкую ложь надо тоже понимать. Кроткий и ко всем, кроме себя, снисходительный Коновалов, на вопрос одного из товарищей-босяков — «Не веришь?» — отвечает: «Нет, верю... Как можно не верить человеку? Даже если видишь — врет он, верь ему. Т. е. слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?» — «Верно», — соглашается рас-

сказчик» (II, 31). Г. Горький рассказывает про своих героев ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая ни одной из черт их многообразной «порочности», но вышеприведенное убеждение в их превосходств над Шопенгауэром заставляет его впадать в их головы маловероятные мысли, а в их уста — маловероятные речи. Язык его босяков до крайности не характерен, напоминая собою превосходный язык самого автора, только намеренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мере отчасти, об их философии. Вы понимаете, что старуха Изергиль может выражаться, например, так: «Однажды гроза грянула над лесом, и зашептали деревья глухо и грозно; и стало в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился» (I, 129). Эта цветистая речь, эти оригинально-красивые поэтические образы, может быть, и уместны в устах старухи Изергиль ввиду ее восточного происхождения. Безрукий Михаил Антоныч философствует в таком роде: «О чем рассуждать, когда существуют законы и силы? И как можно им противиться, если у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлжит законам и силам? Вы понимаете? Очень просто. Значит, живи и не кобень-ся, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных твоих свойств и намерений и из движений жизни! Это называется философия действительной жизни... Понятно?» (I, 311—312). Прочитав эти и многие другие речи безрукого, вы чувствуете некоторую неловкость за автора, однако успокаиваетесь, когда узнаете, что безрукий «с умнейшими людьми вел по этим делам беседы» — со студентами и со многими священнослужителями церкви» (его собственное показание) и что эти «законы и силы» суть «слова», которые он произносил с каким-то особенным подчеркиванием и понижением голоса, но значение которых вряд ли было ему понятно» (показание автора). Но если в этих случаях вы находите объяснение в экзотическом происхождении Изергили и в том, что безрукий нахватался у «умнейших людей» слов, которых хорошенько не понимает, то в других — и, к сожалению, многих — случаях босяки г. Горького безмерно щеголяют красотой речи и философским парением без всяких оправданий... Местами их размышления и разговоры звучат такой фальшью, что просто больно и обидно читать. Таковы, например, очень лестные для нашего брата — писателя, но деланные, слащавые разговоры о «Подлиповцах» Решетникова⁶ и о «психологии сочинителей» в рассказе «Коновалов», да и многое другое еще. Образчиков приводить не буду, тем более что ниже, по другим

поводам, придется, вероятно, цитировать кое-что из подобных неприятных страниц.

Если отрешимся, по возможности, от разных ненужных и фальшивых украшений и не будем требовать от босяков, чтобы они превосходили Шопенгауэра точностью и образностью выражения своих мыслей, то увидим следующее. Босяки несчастны и иногда с грустью вспоминают свое прошлое, когда они так или иначе стояли в общем строе жизни. Но вместе с тем они у г. Максима Горького как будто не столько вышвырнуты из этого строя какими-нибудь внешними, объективными условиями, сколько сами ушли из него, добровольно, побуждаемые жаждою свободы, наилучше для них удовлетворяемою бродячьей жизнью. «В босяки бы лучше уйти, — говорит сапожник Орлов, — там хоть голодно, да свободно, иди, куда хочешь! Шагай по всей земле!» (II, 93). «Люблю я, друг, эту бродяжную жизнь, — рассуждает отставной солдат в рассказе «В степи». — Оно и холодно, и голодно, но свободно уж очень. Нет над тобой никакого начальства... сам ты своей жизни хозяин. Хоть голову себе откуси; никто тебе слова не может сказать... хорошо.. Наголодался я за эти дни, налил, а вот теперь лежу, смотрю в небо... звезды мигают мне, ровно говорят: ничего, Лакутин, ходи, знай, по земле и никому не поддавайся» (II, 13). «Родился я, слышь, под забором и помру под ним, — говорит Кузька Косяк в «Тоске». — Судьба такая. По седые волосы вдоль да поперек шлаться буду... А на одном месте скучно мне» (I, 280). Старый цыган Макар Чудра учит автора или лицо, от имени которого ведется рассказ: «Ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай, вот и все!» Всякий человек, ведущий иной образ жизни, есть, по мнению Макара, «раб, как только родился, и во всю жизнь раб». «Иди, иди, и все тут, — продолжает поучать Макар. — Долго не стой на одном месте, чего в нем? Вон как день и ночь вечно бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее... Похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда» (I, 1, 2—3). Удалец Сережка излагает такую программу жизни: «Ничего не будем делать... гулять будем по земле» (III, 49), и героиня рассказа, Мальва, ставит Сережке в большое достоинство, что он «езде бывал, скрозь прошел всю землю». Коновалов отказывается жениться по следующим основаниям: «Первое дело у меня запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить» (II, 36). Сказочный Ларра (имя это, по объяснению старухи

Изергиль, значит, «отверженный, выкинутый вон») «ходит, ходит повсюду... все ищет, ходит, ходит» (I, 113).

Я не скуплюсь на выписки из рассказов г. Горького, не только несмотря на их однообразие, а даже именно в виду этого однообразия. Автор имеет право требовать особенного внимания к таким многократно повторяющимся мотивам, очевидно, играющим значительную роль в круге его наблюдений. Да и читатель, может быть, не заметивший или пропустивший из без внимания в отдельных рассказах г. Горького, когда они печатались в журналах, теперь, естественно подчеркивает и суммирует их для себя.

Что же говорят нам только что сделанные выписки? Что это за новейшие Агасферы⁷, которым какою-то неумолимою внешнею или внутреннею силою дано предписание: ходи! ходи! ходи!? Агасферы не Агасферы, но невольно приходит в голову, что это если не отголосок кочевого быта, то прямое наследие или продолжение нашей старой «вольницы», тех «гулящих» удальцов, не менее героев г. Горького прикосновенных к тюрьмам и кабакам, которые еще в прошлом столетии слагались временами в яркое и громкое общественное явление и которые, однако, никогда не считались и не могли считаться «классом». А ведь г. Горький полагает, что его героев «пора считать за класс». А Аристид Кувалда, главный философ этого якобы класса, утверждает, что он составляет «новость в жизни»⁸. В чем же новость? Г. Горький, к сожалению, дает своими рассказами не особенно много материалов для ответа на этот вопрос.

Ядовитый скептик Обьедок возражает Аристиду Кувалде, что совсем они не новость, потому что «гольтепа всегда была». Всегда не всегда, но «гольтепа», движимая непоседливостью и удалством и склонная к «нарушению общественной тишины и спокойствия», действительно не новость. Припоминая, однако, фигуры старорусской «гольтепы», «голи кабацкой» и всякой «вольницы», мы припоминаяем и указания истории не только на внутренние, психологические, субъективные моменты удалства и непоседливости, но и на внешние обстоятельства, вызывавшие или сопровождавшие эти мотивы. Гнет только еще слагавшегося государства, требовавшего часто непосильных жертв, всеобщая неурядица и бесправие, соседство полудиких кочевников, внезапным налетом сметавших целые населения, — вот некоторые из условий, способствовавших, по выражению историка, образованию общей «движущейся почвы», на которой вырастала и вольница. А затем, когда государство, наконец, «прикрепило» население, гнет крепостного права явился,

в свою очередь, стимулом для бегства с насиженного места и сопряженных с этим бегством приключений. Все это давно миновалось, и ныне должны быть на лицо совершенно иные, действительно новые внешние условия, способствующие выработке «гольтепы». Но г. Горький нам их не показал, быть может, «позабыл об них рассказать». Относительно безымянной гольтепы или «рядовых босяков», как в одном месте выражается г. Горький, еще можно найти некоторые, слишком общие и неопределенные указания вроде того, что «нужда загнала», но, не говоря уж о том, что этого слишком мало, мы и таких указаний не получаем относительно, так сказать, именованных чисел его рассказов, относительно его главных героев. Все они как будто не от нужды бегут из разных «ям», а, напротив, сами лезут на рожон нужды, хотя ищут, конечно, не ее, а воли — «свободно уж очень». Они даже не столько отверженные, сколько отвергшие. К некоторым из них можно бы было даже применить лермонтовское обращение к «тучкам»:

...вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Согласитесь, что это немножко слишком красиво и поэтично для циников, воров и пьяниц. Но если в самой глубине явления, занимающего г. Горького, под толстым слоем грязи и заключается нечто подобное, то не исключительно же только скуку наводили «нивы бесплодные», по крайней мере, на тех, которые некогда орошали эти нивы своим потом. А г. Горький до такой степени скуп на счет указаний этого рода, что даже «голодающие» вследствие неурожая мелькают у него всего раза два на протяжении всех рассказов, да и то где-то совсем вдали, не в действии, а в разговорах действующих лиц. Положим, что голодовки от неурожая, как и другие стихийные бедствия, не «новость» на Руси и, может быть поэтому не удостоились внимания нашего автора. Но вот грандиозно мрачная картина подавления человека его собственным созданием, которою начинается рассказ «Челкаш». Как бы ни уверяли нас некоторые неосновательные люди, что мы чуть не сравнивались с Англией в деле промышленного прогресса, но ведь это они рассказывают «обман своего сердца», по выражению пророка Иеремии. Означенная картина есть у нас новость, не сегодняшнего или вчерашнего дня, конечно, но настолько новость, что связанные с нею явления жизни мы вправе считать историчес-

ки новыми. И естественно было бы ожидать, чтобы г. Горький, нарисовав свою грандиозную картину, связал с нею судьбу своих героев. Ничего такого мы, однако не получаем. А между тем пути воздействия промышленного прогресса в его современных формах на образование *Lumpenproletariat*'а хорошо известны. Прогресс этот «освобождает» разных Челкашей, Тяп и проч. от земли и от других «пут и уз», сгоняет их к нескольким центрам, из которых, однако, периодически выталкивает часть их, иногда целыми массами, на улицу в качестве безработных; а из последних, под влиянием разных неблагоприятных условий, главным образом условий городской жизни с царящею в ней сутолокой и необузданной конкуренцией, с ее соблазнами, возбуждающими аппетит без возможности его удовлетворения, — оседают босяки. Со стороны этого-то процесса, оставленного, однако, г. Горьким без малейшей иллюстрации, его персонажи представляют собою действительно новое явление. К ним примыкают, с одной стороны, деревенские люди, сорванные с корня стихийными бедствиями, а с другой — разные неудачники из более высоких слоев общества, не приспособившиеся по каким бы то ни было причинам к условиям жизни, в которой родились или для которой готовились.

Но нов не только, по крайней мере, один из источников происхождения героев г. Горького. Нова в значительной степени и их психология, что уже гораздо лучше раскрывается в произведениях нашего автора. Как ни неистово и буйно прожигала жизнь старая русская вольница и голь кабацкая, но уже одно то, что она слагалась временами в целые шайки, даже в огромные полчища, то оседавшие где-нибудь на привольи в далеких краях и «кланявшиеся» московскому государю целыми областями, то входившие в состав своеобразных постоянных обществ, какова была Запорожская Сечь, то нарушавшие покой всего государства, — одно это свидетельствует о ее способности к организации и дисциплине. Совсем иное представляют герои г. Горького.

Герои г. Горького крайние индивидуалисты. Любопытно следующее замечание автора. Описывая постройку мола в Феодосии, он рассказывает: «В России голодали, и голод согнал сюда представителей чуть не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выделялись и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее го-

лодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте» (II, 55). Это «всюду на своем месте» надо, однако, понимать только в отрицательном смысле, в том смысле, что «нет у них родины, нет им изгнания». Пожалуй, и Сережка в рассказе «Мальва», когда ему предсказали Сибирь, ответил: «Ух, страшно!» и «искренно расхохотался». Герои г. Горького везде на своем месте только потому, что нигде у них своего места нет. «Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!» — говорит Коновалов (II, 65). Люди эти порвали все старые общественные связи и не нажили никаких новых. Самые пылкие их мечты лишены какого бы то ни было общественного характера и пропитаны индивидуализмом. Тот же Коновалов так рассказывает о впечатлении, произведенном на него чтением «Робинзона»: «Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы к нему туда и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и совершенно ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил — на кой черт он мне нужен, а? Мне и одному не скучно» (II, 59). Мальва мечтает: «Иной раз села бы в лодку и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видеть» (III, 62). Челкаш в минуту душевного размягчения нахлынувшими на него деревенскими воспоминаниями рисует себе мужика каким-то своего рода тоже Робинзоном, «королем на своей земле», «хозяином самому себе», у которого все свое — дом, курица, яблоко. «Король ведь? так ли? — воодушевленно закончил Челкаш длинный перечень крестьянских преимуществ и прав и почему-то запечатывал об обязанностях» (I, 91). Челкаш запечатывал не только об обязанностях, но и о людях, притом не только о начальстве в его административных, военных, финансовых функциях, но и о родственниках, соседях, товарищах; его мужик-«король» одинок, как перст. «Я отвержен, — говорит Аристид Кувалда, — значит, я свободен от всяких пут и уз. Значит, я могу наплевать на все!» (II, 198).

Все общественные отношения, в которые вступают герои г. Горького, случайны и кратковременны. Работники они плохие, не потому, чтобы были не способны к труду, а потому, что не считают для себя обязательными какие бы то ни было договоры (см., например, «Дело с застезками»), да и бродяжнический инстинкт не дает заживаться на одном месте. Но не только с «работодателями», а и со своим братом они чрезвычайно легко порывают свои связи. Челкаш, как мы видели, прихватывает себе в товарищи первого встречного Гаврилу и

тотчас по окончании операции они расходятся в разные стороны, чтобы уже никогда в жизни более не встречаться. В рассказе «В степи» «студент» тайно от своих товарищей грабит и убивает встречного путника и затем бесследно исчезает. И если один из покинутых товарищей, «солдат», очень строго осуждает этот поступок «студента», то не по существу.

В высшей степени характерны отношения героев г. Горького к женщинам. Но прежде чем перейти к ним, остановимся на мрачной, истинно страшной картине времяпрепровождения золоторотцев в рассказе «Бывшие люди». Тут изображено некоторое более или менее постоянное гнездо босяцкое — «ночлежка», в которой изо дня в день встречаются друг с другом одни и те же люди, связанные долгой привычкой, одинаковостью положения и взаимным пониманием.

«И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой. Или ощущалась близость того неумолимого врага, который всю жизнь их превратил в одну жестокую нелепость. Но этот враг был неуловим, ибо неведом. И тогда они били друг друга, били жестоко, зверски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей их сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы... Иногда... вдруг отчаянное, удалое веселье вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных... И потом опять входили в тупое, равнодушное отчаяние и сидели за столами трактира в копоты ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая торжествующий вой ветра и думая о том, как бы напиться водки, напиться до бесчувствия. И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех» (II, 186—187).

Вот что таится в центрах современной цивилизации, вот как живет наш Lumpenproletariat, те современные европейские чандалы, которые откалываются от всех слоев общества везде, где «гранит, железо, мостовая, люди — все дышит мощными звуками бешено страстного гимна Меркурию». Было время — еще недавно — что разные проницательные люди предсказывали разгром европейской цивилизации ордами новых, внутренних варваров — рабочего пролетариата, которому, дескать, чужды все высшие блага, достигнутые веками прогресса. Можно с уверенностью сказать, что это пророчество, имевшее некото-

рую вероятность десятки лет тому назад, не сбудется. Европейские рабочие, составляя общепризнанный класс и правомерно участвуя в общей жизни своих стран, имеют свою положительную задачу и примыкают к преемственной культурной работе, как бы ни отличался их общественный идеал от идеалов других классов. Но процесс общественного дифференцирования не останавливается на выделении рабочего пролетариата и, не говоря о других осложнениях, в центрах цивилизации копится *Lumpenproletariat*. Здесь уж мы не видим никакого общественного идеала, никакой сколько-нибудь прочной солидарности, все рассыпается в самодовлеющие, ничем не спаянные атомы, перед которыми нет положительной, творческой задачи и которые, как говорит Обьедок: могут «создать» только нарушение общественной тишины и спокойствия. «Особливые мы будем люди и ни в какой порядок не включаемся», — философствует Коновалов. Этим чанда-лам, конечно, ничто из благ цивилизации не может быть дорого, и решение пушкинского Фауста — «все утопить» — было бы им вполне понятно. Их и посещают подобные мечты. Так, Мальва, выразив желание убежать далеко в море и никогда больше людей не видеть, прибавляет: «А иной раз так бы каждого человека завертела, да и пустила волчком вокруг себя... Избила бы весь народ. И потом бы себя страшную смертью». Так, бывший сапожник Орлов скорбит, что он «никакого геройства не совершил». «А и по сию пору, — продолжает он, — хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей и жидов перебить... всех до одного! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И потом вниз тормашками с высоты и ... и в дребезги!» (II, 194—195). Это не значит, что то были все злые люди. Напротив, прямо злых, кажется, и совсем нет в коллекции г. Горького, а многим из его персонажей свойственны черты добродушия и великодушия, и на добрые дела они способны. Емельян Пиляй идет на убийство и грабеж, а кончает спасением девушки (вслед затем, впрочем, совершает бессмысленнейший уличный скандал). Коновалов, единственно ради доброго дела, извлекает из дома терпимости проститутку (из чего, впрочем; в конце концов ничего путного не выходит). Да и Мальва вовсе не злая женщина. Но в ожидании случая «избить весь народ», она хотела бы хоть дом поджечь — «вот суматоха была бы!» (III, 62), а затем сообщая с удалым Сережкой придумывает план (и приводит его в исполнение) стравить отца с сыном, собственно потому, что «потешно будет». На лице Сережки «не было

заметно ни злобы, ничего, кроме добродушной и немножко озорной улыбки», когда он убеждал Мальву: «Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?.. двинула ты языком раз, два и готово!.. Эх, ежели б я красивой женщиной был! Такую бы я на сем свете заваруху завел!» (III, 64). Словом, они готовы сделать всякую пакость ближнему, и не со зла, а так для утешения своего я, над всем и всеми возвышающегося. Это даже не индивидуалисты, а, выражаясь модным, но по нынешнему времени, очевидно, нужным термином, — «эготисты». Орлов заявляет своей жене Матрене, что ему жениться не следовало бы, а лучше бы идти в босяки. «Так иди, — говорит Матрена, — а меня отпусти на волю». Но Орлов ее за эти слова прибил «беспощадно»... Одно дело сам он и другое дело — его жена...

II

Рассказы г. Максима Горького обратили на себя общее внимание. Об них говорят, пишут и, кажется, все более или менее признают за автором и дарование, и оригинальность тем. Однако «более или менее», и если одни, например, восторгаясь писаниями г. Горького вообще, подчеркивают господствующий будто бы в них художественный такт, то другие — и, надо признаться, с гораздо большим правом — утверждают, что именно художественного такта ему и не хватает.

Интересен отзыв литературного обозревателя «Русских ведомостей» г. И.-т. * От почтенного критика не укрылась часто выпадающая в фальшь идеализация г. Горьким его излюбленных персонажей. Но мне кажется, что представленная критиком общая схема этой идеализации не совсем верна. Лермонтовская царица Тамара была «прекрасна, как ангел небесный, как демон, — коварна и зла». Такой же контраст между внешностью и внутренним содержанием представляют собою, по мнению критика, и персонажи г. Горького, «только с обратным математическим знаком». Там, где у Тамары стоит плюс, у босяков г. Горького — минус, и обратно. Внешний облик и, так сказать, внешняя сторона поведения босяков — безобразны: они грязны, пьяны, грубы, неряшливы, но зато коварство и злоба Тамары заменены у чандалов г. Горького «стремлением к

* См. предыдущую статью И. Игнатова. — *Ред.*

добру, к истинной нравственности, к большей справедливости и заботе об уничтожении зла». В этом-то контрасте à la Тамара навыворот и заключается главный интерес действующих лиц рассказов г. Горького. Чтобы вполне понять мысль критика, надо обратить внимание на его сопоставление босяков г. Горького с героем драмы Жана Ришпена «*Le chemineau*». Герой этот есть «прежде всего рыцарь свободы». Оковы общества, семьи, каких бы то ни было привязанностей к месту, домашнему очагу, одним и тем же впечатлениям, одной и той же страсти — ненавистны ему. Из всех сильных чувств у него постоянно живет только одно — любовь к передвижениям, к воле, «к простору полей, больших дорог, беспредельных пространств и постоянных изменений». Не сила обстоятельств создала из него блуждающего оборванца, сегодня отдающегося одному занятию, завтра остающегося без дела, полуголодного и бесприютного; но собственной волей он «взял свою судьбу» и сделал из себя бродягу «по принципу». Эту черту мы знаем и в чандалах г. Горького; и им, как мы видели в прошлый раз, не «силою обстоятельств» — по крайней мере, эти обстоятельства остаются в тумане, — а каким-то внутренним голосом предписано, как Агасферу: ходи, ходи, ходи! Но, судя по изложению г-на И-т., герой драмы Ришпена (мне она, к сожалению, неизвестна) совершенно чужд другой стороне их быта и психологии — той сторонке, которая ставит их в тесное соприкосновение с «тюрьмами, кабаками и домами терпимости». По словам критика, «*le chemineau* — не загнанный бродяга, к котором подозрительно относятся люди, вступающие с ним в сношение, не нищий, получающий подавание и злобою отвечающий на презрение других. Как истинный рыцарь, он благороден, смел и откровенен; двери каждого дома открыты для него, потому что его ум, таланты, выдающиеся достоинства делают из него превосходного работника, общего благодетеля, устранителя зол и надежного покровителя слабых». Не таковы, как мы видели, пьяные, циничные, всеми презираемые герои г. Горького. В связи с этим находится и другое различие: *le chemineau* гуляет по белому свету бодрый и жизнерадостный, а в босяках г. Горького это настроение «заменяется постоянным беспокойством, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исход в пьянстве». В конце концов г. И-т., возвращаясь к контрасту между безобразной внешностью и красивым внутренним миром, говорит, что в отношении этого внутреннего мира герои г. Горького распадаются на три разновидности: в одних преобладает искажение истины и невозможность найти ее, в других — деятельное

стремление к водворению справедливости на земле, в третьих — разъедающий скептицизм. Все это, вместе взятое, лишает их жизненности и правдивости, хотя и не в такой мере, в какой лишен этих качеств *chemineau* Ришпена. Таков окончательный вывод г. И-т.

При всем остроумии и соблазнительной законченности этой критики я не могу с нею вполне согласиться. Герои г. Горького много философствуют, слишком много, и в этих их философствованиях, часто превращающих их из живых, от себя говорящих людей в какие-то фонографы, механически воспроизводящие то, что в них вложено, — в этих философствованиях можно действительно иногда усмотреть намеки на указанные три категории. Но большинство их, да и общий их характер никак в эти категории не затиснешь. Да и самая противоположность между внешностью и внутренним миром едва ли может быть в данном случае установлена с такою ясностью и определенностью, как в лермонтовской Тамаре. Там дело действительно ясно и просто: прекрасна телом, коварна и зла душой, и отсюда вытекает все остальное со включением эстетического эффекта. В данном случае свет и тени, располагающиеся, по мнению критика, в обратном порядке, на самом деле гораздо сложнее. Прежде всего речь здесь не о теле идет и вообще не о наружности в буквальном смысле слова. Герои г. Горького не Квазимодо какие-нибудь. Если, например, Сережа довольно-таки безобразен, то Коновалов чуть не красавец, и, читая описание его наружности, я невольно вспомнил фразу из какого-то французского романа: «он обнажил свою руку, мускулистую, как рука кузнеца, и белую, как рука герцогини». Или Кузька Косяк: «он стоял в свободной сильной позе; из-под растегнутой красной рубахи видна была широкая смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие большие глаза хитро прищурились» (I, 282). Это, конечно, не пара Тамаре, не «ангел небесный», но в своем роде очень все-таки красиво. Старуха Изергиль и сама когда-то была красавицей, и очень ценит красоту. Она уверена даже, что «только красавцы могут хорошо петь» (I, 114) и что «красивые всегда смелы» (I, 128). Безобразна внешняя обстановка босяков, но и то не совсем верно, потому что г. Горький часто помещает их на море и в степи и вместе с ними восторгается красотой открывающихся при этом горизонтов. А кабаки, публичные дома, ночлежки, конечно, безобразны, равно как и лохмотья, в которые облечены босяки вместо «парчи и жемчуга» царицы Тамары, но ведь иначе они

и не были бы босяками. А во всем остальном слишком трудно провести пограничную линию между внешностью и внутренним миром. Кабаки, тюрьмы, дома терпимости — бесспорно внешность, но почему внешность то, что к ним приводит и в них совершается? почему внешность — пьянство, цинизм, злоба, драки? Правда, из-за всего этого у г. Горького часто выглядывает нечто иное, что приподнимает босяков; но с какой точки зрения можно отнести, ну, хоть, например, ограбление и убийство «студентом» прохожего столяра («В степи») — к «исканию истины» или к «стремлению водворить справедливость на земле», или к «разъедающему скептицизму»? Дело в том, что взгляды босяков г. Горького на нравственность и справедливость не имеют ничего общего со взглядами, исповедуемыми огромным большинством современников. Недаром Аристид Кувалда говорит, что он должен «смарать в себе чувства и мысли», воспитанные прежнюю жизнью, и что «нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое». Эти люди стоят на точке «переоценки всех ценностей» и *ienseits von gut und böse**, как сказал бы Ницше.

Столь обаятельная личность, какую Ришпен изобразил своего *chemineau*, естественно притягивает к себе женские сердца, и он не отказывается от радостей любви. Но, повинуясь инстинкту бродяги, он оставляет одну за другою осчастливленных им женщин, хотя и «с болью в сердце». Под старость, утомленный терниями жизни, он попадает в то место, где двадцать с лишком лет тому назад он любил одну девушку и был любим. Плод этой любви, до сих пор не изжитой, стал уже взрослым парнем, и бродягу манит перспектива отдыха в кругу семьи, у постоянного очага. Но после некоторого колебания он «с рыданиями» уходит куда глаза глядят, и драма оканчивается словами: «*Va, chemineau, chemine!*» Этим мелодраматическим концом, в сущности просто комическим, подчеркивается присутствие в бродяге того внутреннего, почти мистически властного голоса, который обрекает его на существование Агасфера.

Босяки г. Горького, хотя и не обладают достоинствами *chemineau*, но также очень счастливы в любви. Правда, по показанию автора, они на эту тему много врут, хвастают и скверно хвастают, но, например Коновалову он безусловно верит. А у того «их», то есть женщин, «много было разных». И оставлял он их не потому, чтобы узы любви сами собою обрывались с

* По ту сторону добра и зла (нем.). — Ред.

той или с другой стороны, и не потому, чтобы манила новая любовь, а в силу того же мистического внутреннего приказа, какой и chemineau не давал усесться. Разница, однако, в том, что герои г. Горького порывают узы любви без колебаний и без «sanglots». Самый чувствительный из них, Коновалов, только впадает при расставании в некоторую грусть и меланхолию, но и то потому, что ему, при его чувствительности, жалко покидаемую, жалко ее горя и слез, а сам он нимало не колеблется в выборе между домашним очагом и бродяжничеством. Был у Коновалова роман с богатой купчихой Верой Михайловной, прекраснейшей женщиной; все шло прекрасно, шло бы и дальше так же хорошо, «кабы не планета моя», говорит Коновалов: «Все-таки ушел от нее — потому тоска! тянет меня куда-то!» В другой раз Коновалов, по той же чувствительности своего сердца, помог одной проститутке выбраться из публичного дома. Но когда девушка поняла это в таком смысле, что он возьмет ее жить с ним «вроде жены», то, при всем своем расположении, Коновалов даже испугался: «Я есть бродяга и не могу на одном месте жить». Но Коновалов все-таки хоть грустит при расставании. А вот как утешает свою возлюбленную Кузька-Косяк, уходя — без какой-нибудь надобности — на Кубань: «Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрощался, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь — своим глазам веры нет! Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю... На одном месте скучно мне» (I, 279—280). Случайно подслушавший этот разговор хозяин Кузьмы мельник Тихон Павлович, — об котором у нас еще будет речь, — говорит ему, что нехорошо он с девками поступает: «Ежели, к примеру, ребенок? бывало ведь, а?» — «Чай, бывало, кто их знает», — отвечает Кузьма и на дальнейшие замечания мельника о «грехе» возражает: «Да ведь ребята-то, подика, одним порядком родятся, что от мужа, что от прохожего». Мельник напоминает о разнице в данном случае между положением мужчины и положением женщины, и Кузьма на это уже не дает прямого ответа, а «серьезно и сухо» говорит: «Коли покрепче подумать, так выходит, что как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно. Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно, и не сделал — грешно. Рази тут разберешь? В монастырь, что ли, идти? Чай “неохо-

та". — Легкая, веселая твоя жизнь, — замечает с некоторою смесью зависти и уважения мельник...» (I, 283).

Такую же легкую и веселую жизнь ведут и некоторые героини г. Горького. Старуха Изергиль рассказывает, «как она любила». Ей было пятнадцать лет, когда она сошлась с каким-то черноусым «рыбаком с Прута», но он ей скоро надоед, и она ушла с рыжим бродягой-гуцулом; гуцула повесили (за что Изергиль сожгла хутор доносчика); она полюбила немолодого уже турка и жила у него в гареме, из которого убежала с сыном турка; затем следовали поляк, венгерец, опять поляк, еще поляк, молдаванин... Мальва, героиня рассказа, озаглавленного ее именем, живет с рыбаком Василием, заигрывает и кокетничает с его сыном Яковом и, наконец, перессорив отца с сыном, сходится с удалым забулдыгой Сережкой, с которым, судя по некоторым признакам, и раньше была одно время близка...

Мальва — фигура чрезвычайно любопытная, и нам тем более надо на ней остановиться, что едва ли не во всех женщинах г. Горького есть, так или иначе, немножко Мальвы. Это тот самый женский тип, который мелькал перед Достоевским в течение чуть не всей его жизни: сложный тип, тоже находящийся *ienseits von gut und böse*, так как к нему решительно неприменимы обычные понятия о добром и злом — одна из вариаций на сочетание двух знаменитых тезисов Достоевского: «человек деспот от природы и любит быть мучителем», «человек до страсти любит страдание». Мужские вариации на эту тему, как бы ни были они исключительны и болезненны, часто поражают у Достоевского своей яркостью и силой, но женские — в «Игроке», в «Идиоте», в «Братьях Карамазовых» — решительно ему не удавались. Все эти Полины, Грушеньки, Настасьи Филипповны и проч. оставляют вас в каком-то недоумении, хотя Достоевский сводит иногда даже по две представительницы этого загадочного типа (Настасья Филипповна и княжна Аглая в «Идиоте», Грушенька и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых»). Вы только чувствуете, что у автора был какой-то сложный замысел, с которым, однако, не справился его жестокий талант. И недаром наша критика, много занимавшаяся женскими типами Тургенева, Гончарова, Толстого, Островского, обходила молчанием женщин Достоевского: это в художественном смысле наименее интересный пункт его мрачного творчества. Мальва г. Горького принадлежит к этому же типу, но она яснее, понятнее загадочных женщин Достоевского. Я, конечно, далек от мысли сравнивать изобразительную силу г. Горького с мощью одного из истинно великих художников, и

дело здесь не в силе г. Горького, а в той грубой и сравнительно простой среде, в которой выросла и живет его Мальва и благодаря которой ее психология элементарнее, яснее, сохраняя, однако, те же типические черты, которые тщетно старался уловить Достоевский.

Один русский философ разделял женщин на «змеистых» и «коровистых». В этой не лишенной остроумия юмористической классификации Мальве нет места (как, впрочем, и многим другим женским типам). О сходстве с коровой не может быть и речи: для этого Мальва слишком жива, гибка и изворотлива, да и нет на ней той всегдашней печати материнства, которая лежит на корове. Со змеей же мы привыкли соединять представление о чем-то красивом и вместе с тем неизменно злобном. А Мальва вовсе не неизменно злобная женщина, да и вообще в ней нет ничего неизменного. Вся она состоит из переливов одного настроения или чувства в другое, часто противоположное, но быстро преходящее, причем сама она не могла бы не только определить причины этих переливов, но даже указать их границы, моменты перехода одного настроения или чувства в другое. И если нужно искать для нее зоологическую параллель, которая бы выпуклее представила ее основные черты, я сказал бы, что она, как и загадочные героини Достоевского, напоминает собой кошку. Та же привлекательность, объясняющаяся сочетанием силы и мягкости (собственно, Мальва, циничная и грязная, привлекательна только для героев г. Горького и в людях с более тонкими требованиями вызвала бы, конечно, совсем иные чувства; но я говорю о типе, оставляя пока в стороне специально босяцкие черты); та же лукавая изворотливость и ловкость, та же самостоятельность и всегдашняя готовность к самозащите иногда бегством, но иногда открытым и упорным сопротивлением, переходящим и в наступление; та же игривая ласковость и нежность, незаметно переливающаяся в озлобление, с которым кошка, играючи, придерживает ласкающую ее руку передними лапами, а задними царапает и зубами грызет; ради этой смеси ощущений она, как и кошка, сама вызывает известную примесь жестокости, и даже до боли, к ласке...

Я вспоминаю, что Гейне поставил в преддверии своей «Книги песен» женского сфинкса — существо с женской головой и грудью и с львиным туловищем и львиными, то есть преувеличенными кошачьими когтями. И этот сфинкс в одно и то же время счастливит и мучит поэта, ласкает и терзает когтями:

Umschlang sie mich, meinen armen Leib
Mit den Lowentatzen zerfleischend.

Entzuckende Marter und wonniges Weh,
Der Schmerz wie die Lust unermesslich!
Die weilen des Mundes Kuss mich beglückt,
Verwunden die Tatzen mich grasslich... *

Читатель, который, может быть, только что возмущился не только вышеприведенным юмористическим разделением женщин на змеистых и коровистых, но и моим уподоблением известного человеческого типа кошке, теперь, пожалуй, подумает: с какой стати подниматься в высоты Гейневской поэзии по поводу какой-то отверженной, грубой Мальвы? Не слишком ли это много чести для нее? Может ли она сама ощущать и в других возбуждать те тонкие оттенки сложных душевных движений, которые описаны Гейне? Я думаю, однако, что читатель не сказал бы этого, если бы у нас шла речь о Грушеньке «Братьев Карамазовых» или Настасье Филипповне «Идиота». А между тем фактически ведь это продажные женщины, хотя им и доступны высшие колебания и тяготения. Но всякому своя слеза солона. Да и, наконец, повторяю, не об Мальве собственно в эту минуту и речь. Несмотря на грязь, в которой она купается, в ней живут некоторые черты душевной жизни, которыми занимались люди высокого ума и сильного художественного дарования, но которые доселе мало изучены и недостаточно ясны. Черты эти сводятся главным образом к неопределенности границ между наслаждением и страданием, которые мы привыкли резко противопоставлять одно другому, вследствие чего вкладываем слишком абсолютный смысл в ходячее положение: человек ищет наслаждения и бежит страдания. Мрачный гений Достоевского стремился вывернуть этот афоризм наизнанку, придавая ему в этом вывороченном виде столь же безусловный смысл. Это ему не удалось, конечно, но и многими своими образами и картинами и своим собственным примером, характером своего творчества, он дал блестящие иллюстрации той entzuckende Marter и того wonniges Weh, той смеси страдания и наслаждения, которая несомненно существует. Вопрос этот слишком обширный и сложный, чтобы трактовать его в

* В переводе М. Л. Михайлова:

Вот замерла — и меня обняла,
Когти мне в тело вонзая.
Сладкая мука! блаженная боль!
Нега и скорбь без предела!
Райским блаженством поит поцелуй,
Когти терзают мне тело.

заметках об очерках и рассказах г. Максима Горького, и мы подойдем теперь прямо к Мальве. В таланте г. Горького нет ни силы, ни жестокости, ни бесстрашия Достоевского, но зато он вводит нас в среду, где не стесняются в словах и жестах, поют откровенные песни, ругаются крепкими словами, походя дерутся и где поэтому известные душевные движения получают осязательное, почти животное выражение.

Мальва живет с рыбаком Василием. Василий — пожилой мужик, покинувший для заработков пять лет тому назад деревню, где у него остались жена и дети. Живет он с Мальвой весело, но внезапно является к ним его сын, Яков, взрослый уже парень, с которым Мальва тотчас же начинает заигрывать. Делает она это, не только не стесняясь присутствием своего любовника, но еще поддразнивая его, и разговор кончается тем, что Василий ее жестоко бьет.

«Она, не охнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц и горели холодной грозной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом своей злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством и презрением взглянул на нее, — она тихонько улыбалась. Сначала чуть-чуть дрогнули ее полные губы, потом вспыхнули глаза, на щеках ее явились ямки, и она засмеялась» (III, 31). Затем Мальва ластится к Василию, уверяет его, что она довольна его побоями, а что дразнила его — «так ведь это я нарочно... пытала тебя, — и, успокоительно усмехнувшись, она прижалась к нему плечом. А он покосился в сторону шалаша (где оставался сын) и обнял ее. — Эх ты... пытала! Чего пытать? Вот и допыталась. — Ничего, уверенно сказал Мальва, щуря глаза. Я не сержусь... ведь любя побил? А я тебе за это заплачú... Она в упор посмотрела на него, вздрогнула и, понизив голос, повторила: ах, как заплачú!» (III, 32).

Простодушный Василий видит в этом обещании нечто для себя приятное, но читатель может догадаться, что Мальва затаила злобу и месть. Мальва и действительно делает большую неприятность Василию: ссорит его с сыном и доводит дело до того, что он уходит домой, в деревню. Но план этот она задумывает уже позже, по совету забулдыги Сережки, а перед тем у нее происходит с этим Сережкой такой разговор. Она сообщила Сережке, что ее прибил Василий; Сережка подивился, — как это она далась. «Кабы захотела, не далась бы, — возразила она с сердцем. — Так что же ты? — Не захотела. — Крепко, значит, любишь седого кота? — насмешливо сказал Сережка и об-

дал ее дымом своей папиросы. — Ну, дела! а я было думал, что ты не из таких. — Никого я вас не люблю, — снова уже равнодушно говорила она, отмахиваясь рукой от дыма. — Врешь, поди-ка? — Для чего мне врать? — спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей, действительно, не для чего. — А ежели ты его не любишь, как же ты ему позволяешь бить тебя? — серьезно спросил он. — Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?» (III, 61). Герои г. Горького вообще много дерутся, часто и баб своих бьют. Самые умеренные из них в этом отношении советуют: «Никогда не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам... бей по шее или возьми веревку и по мягким местам» (II, 185). И бабы не всегда протестуют против этих правил. Жена Орлова говорит мужу: «Очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь... хоть бы ногами-то не бил» (II, 92). Бывает, однако, и так, что прекрасный пол переходит в наступление. В числе «бывших людей» есть старик Симцов, необыкновенно счастливый на амурные похождения: он «всегда имел двух-трех любовниц из проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стойчески: сильно избить его они почему-то не могли — может быть, жалеючи» (II, 199). Но кто бы кого ни бил у г. Горького — мужчина женщину или женщина мужчину, — а эти физические упражнения и сопровождающие их озлобление, обида, страдание, боль так или иначе оказываются в какой-то связи с лаской, любовью, наслаждением. И, читая описания этих битв, поневоле вспомнишь героя «Записок из подполья» Достоевского и его изречения: «Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает: так, вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй...» «Знаешь ли, что из любви нарочно человека мучить можно». Или: «Любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». Оттого-то «Игрок» и Полина, как и многие другие пары Достоевского, никак не могут разобраться — любят они друг друга или ненавидят... как не знает и Мальва, любит она или ненавидит Василия. Но у Достоевского люди «тиранствуют» и «мучат» друг друга утонченно, при помощи разных кусательных слов, мучительного давления на воображение и проч., а здесь, у г. Горького, — просто дерутся. Эта грубая форма не только, однако, не мешает проявлениям того же переплета наслаждения со страданием, но даже особенно ярко подчеркивает его. Не одна Мальва додразнивает мужа или любовника до драки, за которую следуют нежные ласки.

Вот и Матрена, жена Орлова («Супруги Орловы»): «Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо странными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил. А потом, когда злоба, достаточно насыщенная, утихла в нем и его брало раскаяние, он пробовал заговаривать с женой и допытываться — зачем она его дразнила». «Она молчала, но она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней» (II, 93, 94).

Сюда же относятся следующие, например, случаи. Когда Коновалов объявил своей любовнице, Вере Михайловне, что он больше с ней жить не может, потому что его «тянет куда-то», она сначала стала кричать, ругаться, потом примирилась с его решением, а на прощанье — рассказывает Коновалов — «обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал. Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел» (II, 12). Старуха Изергиль рассказывает про одного из своих многочисленных любовников: «Был он такой печальный, ласковый иногда, а иногда, как зверь: ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо. А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее» (I, 116).

Старуха Изергиль называет свою жизнь «жадной жизнью» (I, 123). Буквально то же самое говорит в рассказе «На плотях» одно из действующих лиц про Марью: «жадна жить» (I, 250). Так же характеризуется и Мальва и др. Но таковы не только женщины г. Горького. И у Челкаша «натура жадная на впечатления» (I, 79), и Кузька-Косяк учит: «...жить надо и так, и этак, — вовсю чтобы» (I, 281). И т. д. Этим объясняется многое. Этим прежде всего снимается мистический покров с внутреннего голоса, предписывающего неустанное бродяжество. В условиях жизни героев г. Горького везде «тесно», везде «яма», как они беспрестанно, даже несколько надоедливо однообразно, повторяют. Является желание, если не расширить и углу-

бить сферу впечатлений, то менять их в пространстве, и даже до того, что хоть хуже, да иначе. А если и это почему-нибудь невозможно, то оказывается необходимость искусственного возбуждения. Дается оно, конечно, пьянством, но не одним пьянством. Достойна внимания отметка г. Горького о чувствах избиваемой жены Орлова: «побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу». Вся душа Матрены Орловой требует работы, хотя бы и мучительной, лишь бы «жить во всю». Эта потребность всесторонней душевной деятельности, покупаемой ценою примеси страдания к наслаждению, иллюстрируется рассказом «Тоска». Это — «страничка из жизни одного мельника».

Мельник Тихон Павлович не босяк какой-нибудь. Он богат, пользуется уважением и почетом и наслаждается «ощущением своей сытости и здоровья». Но вдруг он с чего-то загрустил: тоска обуяла, скука, совесть за разные кулацкие успехи начала угнетать. И Тихон Павлович стал вспоминать, с какого это времени на него нашло. Был он в городе и наткнулся на похороны, в которых его поразила смесь бедности с торжественностью: много венков, много провожатых. Оказалось, что хоронят писателя, и на могиле его один из провожавших сказал речь, которая растрожила Тихона Павлыча. Оратор, воздавая хвалу почившему, говорил, что он был не понят при жизни, потому что «засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души» и т. д. Красноречие ли оратора, особенности ли обстановки похорон или еще что-нибудь повлияло, но с этих пор Тихона Павлыча засосала тоска, тяжелое раздумье о своей «засыпанной хламом повседневных забот душе». Затем Тихон Павлыч нечаянно подслушал вышеприведенный разговор своего работника Кузьки-Косяка с девушкой Мотрей и сам имел с Кузькой беседу, в которой старался сохранять вид «нравоучительный и чинный», но в душе завидовал «легкой жизни» веселого собеседника. Заговорил было Тихон Павлыч с женой на тему о душе, заваленной хламом; та посоветовала в церковь что-нибудь пожертвовать, сироту в дом взять, за доктором послать; но все это не удовлетворяло мельника. Он решил ехать в соседнее село Ямки к школьному учителю, который еще недавно обличил в газете одну его кулацкую каверзу. Кузька советует ему иное: «Вы бы, хозяин, поехали до города, да и кутнули там всюду; вот вам и помогло бы». Однако мельник даже несколько обижается этим советом и едет к учителю. Но тот, больной и желчный, не может вникнуть в состояние души обличенного им кулака и понять его бессвязные речи.

Мельник едет в город, бессознательно исполняя совет босяка Кузьки, и там, в городе, закучивает. Все подробности этой оргии для нас неинтересны, но некоторые из них надо припомнить.

Грязный трактир. Разные пьяные, пропащие люди. Собираются петь, музыка есть — гармоника. И вот как один из компании учит гармониста: «Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться... Она чувствительна к грусти... Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку — «Лучинушкой», к примеру, или «Заходило солнце красное» — она и приостановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу «Чоботами» или «Во лужах», да с дробью, с пламенем, с плясом, чтобы ожгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все в действие. Тут уж начнется прямо бешенство: чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость — так все и заиграет радугой»... Запели... Описание собственно этого пения (I, 315—320) принадлежит к числу лучших страниц в обоих томах рассказов г. Горького. Здесь нет и тени той фальши и тех досадных нарушений меры вещей, которые слишком часто оскорбляют и эстетическое чувство читателей и их требование правды. Из знакомых мне изображений эффекта пения с этими страницами можно поставить рядом «Певцов» Тургенева, и за г. Горького не стыдно будет от этого сравнения. И вы понимаете, что пьяный трактир действительно затих при звуках этой песни и мельник действительно «давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем тоску, но теперь к ней примешивалось что-то едко-сладкое, щекочущее сердце... Было что-то жгучее и щиплющее во всех этих ощущениях — оно было в каждом из них и, соединяясь, образовало в душе мельника странную сладкую боль, точно большая, давившее его сердце льдина таяла, распадаясь на куски, и они кололи его там, внутри» (I, 318).

«Сладкая боль»! — ведь это буквально гейневские *enzukende Marter* и *wonniges Weh* («сладкая мука, блаженная боль» в переводе М. Л. Михайлова). Она одновременно счастливит и мучит мельника, и это состояние он старается выразить отрывистыми восклицаниями: «Братцы! Больше не могу! Христа ради, больше не могу!» «Душу мою пронзили! Будет — тоска моя! Тронули вы меня за больное сердце, то есть часу у меня такого не было еще в жизни!» «Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя — ах, как! В огонь бы полез» (I, 319, 320).

После четырех дней безобразного кутежа Тихон Павлович возвращается домой мрачный, недовольный. Автор в эту именно минуту покидает его, не сообщая ничего о его дальнейшей судьбе, но можно догадываться, что, вернувшись домой, он вернулся и к прежнему образу жизни, лишь изредка вспоминая мгновенья мучительно-сладких ощущений, пережитых им по рецепту босяка Кузьки...

Таковы окольные пути, которыми «жадные жить» герои г. Горького добывают нужные им полноту и разнообразие впечатлений. Пути эти, очевидно, должны быть поставлены отдельно от пьянства, хотя и соприкасаются с ним, — Матрена Орлова не в пьяном виде додразнивает своего мужа до взаимного озлобления, в котором находит, однако, источник некоторой «сладкой боли». Но и самое пьянство этих людей помимо его скотски-грубых проявлений может получить то объяснение, которое Тургенев влагает в уста Веретьеву в «Затишье»: «Посмотрите-ка вон на эту ласточку... Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда и бросит! Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, — чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка. Швыряй себя, куда хочешь; несись, куда вздумается...»

Пойдем дальше. Чтобы «швырять себя, куда хочешь, и нестись, куда вздумается» в пьяном виде, то есть медленно облетать миры фантазии и деятельности, требуется только водка. Но чтобы реально шагать с места на место по всей земле, как этого хотят герои г. Горького, нужна свобода. Не свобода передвижения только, засвидетельствованная законным документом, надлежащими властями выданным, а свобода от всяких постоянных обязанностей, от всяких уз, налагаемых существующими общественными отношениями, происхождением, принадлежностью к известной группе, законами, обычаями, предрассудками, правилами общепринятой морали и т. д. Мы и видим, что герои г. Горького все отличаются свободолюбием в этом широчайшем, безграничном смысле. Макар Чудра объявляет рабом всякого, кто не бродит по земле, куда глаза глядят, а усаживается на месте и так или иначе пускает корни: такой человек «раб, как только родился и во всю жизнь раб». Для «жадного на впечатления» Челкаша Гаврила есть «жадный раб», и Челкашу обидно, что этот раб смеет по-своему «любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна». Значит, есть жадность и жадность. Жадный Гаврила, набрав денег, зароется в свою деревенскую «яму», а жадный Челкаш

сейчас же разменяет эти деньги на острые и разнообразные впечатления севера и юга, востока и запада. На всякого рода границы, как географические, так и моральные, реальные и идеальные, эти отверженные или, вернее, как я уже говорил, отвергнувшие смотрят сверху вниз, с высоты своего «жадного жить» я как на нечто, урезающее это я до непереносимости. Правда, некоторые из них иногда с грустью и даже с умилением вспоминают о своем прошлом, когда они еще входили в состав того или другого определенного общественного целого и сознательно или бессознательно подчинялись его распорядкам, но это настроение посещает их редко и ненадолго, и вернуться к прошлому они все равно не хотят и не могут. В настоящем их ничто не объединяет в какое-нибудь прочное, постоянное целое. «Народ... он огромный, но я ему чужой и он мне чужой... Вот в чем трагедия моей жизни», — говорит «учитель» в «Бывших людях» (II, 173). Образцы отношений к другим общественным узам мы уже в прошлый раз видели и дальше опять встретим. Для одних из этого проистекает трагедия, для других комедия или даже водевиль, как для Кузьки-Косяка, но это дело темперамента, и суть отношений от этого не изменяется.

Иные из героев г. Горького временами как будто «грядущего града взыскуют», но это только разговоры, одна словесность, притом нисколько для них не характерная. Гораздо более свойственные им идеалы и мечты сводятся, как мы видели, к полному отчуждению от людей, полному отсутствию «града» в смысле какого бы то ни было общежития или к совершенно особому виду отношений, об котором сейчас поговорим подробнее, или же, наконец, к планам всеобщего разрушения. Замечательно однообразие, с которым (как и многое другое) высказывают эти планы люди г. Горького, в других отношениях, казалось бы, очень различные. Так, — мы видели — Мальва «избила бы весь народ и потом себя страшною смертью». Так, Орлов мечтает «отличиться на чем-нибудь», хотя бы даже раздробить «всю землю в пыль», «вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и потом вниз тормашками — и вдребезги!» А вот еще Аристид Кувалда: «Мне, — говорит он, — было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги. Лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других» (II, 198). Погибнуть, совершив нечто большее, огромное, грозное, не справляясь с существующей моральной оценкой или даже вопреки ей, — такова мечта.

Но кроме жития на манер Робинзона (причем и Пятницы не надо и его можно за ненадобностью убить) и планов всеобщего разрушения у героев г. Горького есть и еще одна мечта, быть может, самая интересная: они «жадны жить», для чего им нужна безграничная свобода, и никому и ничему они не согласны подчиняться. Но из этого не следует, чтобы каждый из них в отдельности не хотел и других подчинять. Напротив, в подчинении и порабощении других они находят особое наслаждение. Чел-каш «наслаждался, чувствуя себя господином другого» — Гаврилы. Он «наслаждался страхом парня и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек». Он «наслаждался своей силой, которой он поработил этого молодого свежего парня». Оттого-то и Орлов мечтает «встать выше всех людей» и сделать им всем огромную пакость. Но встать выше людей можно не только пакостью, а и благодеянием. И тот же Орлов одно время был одолеваем «жаждою бесконечного подвига», — вот по каким мотивам: «Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилося желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы и заставило убедиться в его праве на самочувствие» (II, 125). Поневоле опять и опять вспомнишь Достоевского с его Ставрогиным, который не знал разницы между величайшим подвигом самоотвержения и каким-нибудь зверским делом и с его многочисленными иллюстрациями наслаждения властью, мучительством, тиранством. Жажда благородного подвига сказалась в Орлове, когда он вместе с Матреной поступил на службу в холерную больницу. Но и там ему скоро показалось «тесно», и это место болезни, печали и вздыхания, поманившее его радостью любовного труда, оказалось «ямой». В кратковременный же период увлечения мечтой о подвиге он рассуждал, например, так: «То есть, если бы эта холера да преобразилась бы в человека... в богатыря... хоть в самого Илью Муромца, — сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Гришка Орлов, сила, — ну, кто кого? И придушил бы я ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле и надпись: «Григорий Андреев Орлов. Спас Россию от холеры». Больше ничего не надо». — Но когда ему показалось «тесно», он опять принялся за Матрену, постоянно переходя от страстных ласк к жестокой драке. Однажды, например, он было «поддался» жене — покорно выслушал ее упреки и признал, что нехорошо делает, что дерется. Но на другой же день раскаялся в этом душевном движении и «пришел с определенным намерением победить жену». Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в

своих глазах. «Непременно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему; он не понимал почему, но твердо знал — нужно» (II, 143).

Подобные же черты читатель найдет и в других героях и героинях г. Горького. И, как бы проникаясь этим настроением своих созданий, сам автор от себя кладет в одном месте следующую психологическую резолюцию: «Как бы низко не пал человек, он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, хотя бы даже сытее своего ближнего» (II, 178)⁹.

Я написал: «Как бы проникаясь настроением своих созданий». В действительности может быть совершенно наоборот: не автор, увлеченный самым процессом творчества, проникается настроением своих персонажей, а, напротив, автор творит людей по своему образу и подобию, накладывая на них нечто свое, задушевное. Во всяком случае, только что приведенная авторская резолюция показывает, что, как бы мы тщательно не всматривались в босяков г. Горького, мы их не поймем и, в частности, не оценим степени их подлинности, пока не приглядимся к самому г. Горькому.

До сих пор мы видели босяков, может быть, и подкрашенных, но во всяком случае реальных. Но в собрании очерков и рассказов г. Горького есть и такие, в которых изображаются босяки, так сказать, отвлеченные, очищенные или даже иносказательные, аллегории и символы босячества. Таковы в первом томе «Песня о Соколе» и то, что Макар Чудра рассказывает про Лой-ка Зобара и Радду, а во втором — рассказ «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины» и то, что старуха Изергиль рассказывает про Данко. Герои этих рассказов — существа фантастические или полуфантастические — столь же вольнолюбивы и жадны жить, как и заправские босяки в освещении г. Горького, но совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой жизни — мира тюрем, кабаков и домов терпимости. Понятно, какой интерес представляют эти отвлеченные фантастические существа для уразумения точки зрения автора. Та скорбь и то отвращение, которые он часто не может сдержать при описании пьянства, грубости, цинизма, драк реальных босяков, при этом естественно отпадают, и мы можем рассчитывать получить в чистом виде то, что поднимает отверженных над общим уровнем как в их собственных глазах, так и в глазах автора.

Начнем с рассказа Макара Чудра про Лойка Зобара и Радду. Это рассказывает старый цыган о молодых цыгане и цыганке, и рассказ его блещет роскошью восточных красок, гиперболических сравнений, сказочных подробностей, но я должен признаться, что он производит на меня впечатление неудачной подделки. Дело, впрочем, теперь не в этом. Зобар — красавец писанный, притом смел, умен, силен, вдобавок поет и играет на скрипке так, что когда в таборе, к которому принадлежала Радда, в первый раз услышали, еще издали, его музыку, то произошло следующее: «Всем нам, — рассказывает Чудра, — мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего и жить уже не нужно было или, коли жить, так царями над всей землей». Характерно уже это «или — или»: или ничто, небытие, или вершина вершин. Но Макар Чудра может испытывать это настроение во всей полноте только в минуты экстаза, вызванного чудодейственной музыкой. Другое дело Зобар. И Радда ему под пару: она тоже писаная красавица, тоже умна, сильна, смела. Естественное дело, что когда судьба сталкивает молодого человека и молодую девушку таких исключительных и многообразных достоинств, — между ними возгорается любовь со всем радужным блеском страсти и нежности. Зобар и Радда действительно полюбили друг друга, но, как и у реальных босяков г. Горького, любовь их до боли колюча, — даже до смерти. Радда — та же Мальва, только поднятая на некоторую поэтическую высоту. Отношения начинаются с того, что Зобар, привыкший «играть с девушками как кречет с утками», получает от Радды жесткий и язвительный отпор. Она зло издевается над ним, но он или провидит под этим издевательством нечто иное, или уж очень в себе уверен, а только при всем честном народе обращается к ней с такой речью: «Много я вашей сестры видел, эге много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну, что же? Чему быть, так то будет, и нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно бы было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри воле моей не перечь, я все-таки свободный человек и буду жить так, как я хочу!» И с этими словами подошел к Радде, «стиснув зубы и сверкая глазами». Но Радда вместо ответа свалила его на землю, ловко захлестнув ему за ноги ременное кнутовище, а сама смеется. Зобар, пристыженный и огорченный, ушел в степь и там замер в мрачном раздумьи. Через несколько времени к нему подошла Радда. Он схватился было за нож, но она пригрозила разбить ему голову пистолетной пулей

и затем объяснилась в любви; однако, говорит, «волю-то я, Лойко, люблю больше тебя; а без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня; так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом». «Все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею», — продолжает она и требует, чтобы он завтра же «покорился» и выразил эту покорность внешними знаками: публично, перед всем табором поклонился бы ей в ноги и поцеловал ей руку. Зобар в другой день является и держит перед табором речь, в которой объясняет, что Радда любит свою волю больше, чем его, а он, напротив, любит Радду больше, чем волю, и потому согласен на поставленные ею условия, но — говорит — «остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала». С этими словами он вонзает нож в сердце Радды, и она умирает, «улыбаясь и говоря громко и внятно: “Прощай, богатырь Лойко Зобар! Я знала, что ты так сделаешь”». Выходит затем отец Радды и убивает Зобара, но убивает, так сказать, почтительно, как уплачивают долг уважаемому кредитору.

Не жалеет о своей гибели и Сокол в «Песне о Соколе». Он расшибся, падая с высоты на камень (а потом в море), но на вопрос Ужа презрительно и гордо отвечает: «Да, умираю!.. Я славно пожил... Я много прожил... Я храбро бился... И видел небо. Ты не увидишь его так близко... Эх, ты, бедняга!» Заинтересованный этими словами, Уж в меру сил тоже попробовал было подняться к небу, но «рожденный ползать — летать не может», и Уж рассуждает: «Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденьи... Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу». И т. д. Однако песня или сказка («Песня о Соколе» есть будто бы народная крымско-татарская песня-сказка) не согласна с Ужом и поет хвалу жадному жить, свободному Соколу: «О, смелый Сокол! Ты, живший в небе, в бескрайнем небе, любимец солнца! О, смелый Сокол, нашедший в море, безмерном море, себе могилу! Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь призывом громким к свободе, к свету!»

Чиж («О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины»), Чиж — не Сокол. Он птица маленькая и слабкрылая. Однако у него хватило силы и смелости смутить на некоторое время птиц своей рощи песнями о свободе, просторе, призывами «вперед». Но ученый Дятел скоро отвратил от него общественное мнение, доказав птицам, что путь, предлагаемый Чи-

жом, полон опасностей и ни к чему хорошему привести не может. Бедный Чиж, оставленный всеми, горько задумался: «Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо! Я же только и хотел пробудить веру и надежду — и вот почему я солгал... Он, Дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья и не позволяет высоко взлетать в небеса?» Чиж предпринял ни больше ни меньше, как возбудил в птицах уверенность, что «мы не должны уставать и должны всегда бороться и все победить, чтобы оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий». Он был тоже жаден жить, этот маленький Чиж. Дятел же отстаивал противоположный тезис: «Все мы — не более, как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный акт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери». Чиж был жаден жить, но слаб и не сумел парировать аргументы Дятла, и толпа отхлынула от него и оставила его в мрачном одиночестве, а автор резюмирует всю историю так: «Чиж благороден, но не имеет веры и потому нищ духом; Дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзычивы лишь потому, что любопытны, но они, в сущности, черствы сердцем и мелки-мелки, позорно мелки...»

Черствы сердцем, позорно мелки не только птицы той рощи, которую было взбудоражил Чиж и утихомирил Дятел. Старуха Изергиль рассказывает такую легенду. — Где-то, когда-то жили какие-то люди. Нахлынуло на них чужое племя и оттеснило в глухой, дремучий, болотистый лес. Плохо пришлось людям: назад идти нельзя, — там сильные и злые враги, а впереди лес все дремучее, болота все непроходимее. Стали люди болеть, умирать. «Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар себя и волю свою, и никто уж, испуганный смертью, не боялся рабской жизни». Посреди этой запуганной толпы был Данко. Изергиль особенно напирает на его красоту и смелость; должно быть, он был похож на Лойко Зобара. Данко взялся вести своих товарищей по несчастью. Не то чтобы он знал какие-нибудь безопасные или удобные дороги; нет, единственно, на что он сослался, это то, что должен же быть у этого страшного леса где-нибудь конец, потому что ведь всему на свете бывает конец. Но он заявил это с такой уверенностью, что в сердцах слушателей заиграла надежда, и они пошли за Данко. Но лес становился все гуще, мрачнее, люди стали роптать и, наконец, даже грозить Данко смертью. Негодование и жалость к

этим презренным людям овладели Данко, и вот его сердце вспыхнуло ярким огнем желания спасти их и вывести на легкий путь... И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно же пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота». Руководимые этим факелом люди прошли сквозь лес в степь, но тут Данко, «кинув радостный взор на развернувшуюся перед ним свободную землю», умер. «Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

Данко совершает подвиг самопожертвования, причем оказывается одиноким сначала впереди смущенной толпы, потом одиноким перед разъяренной толпой, потом опять одиноким впереди толпы обнадеженной, спасенной и неблагодарной. Ларра (это имя, по объяснению старухи Изергиль, значит «отверженный, выкинутый вон») тоже одинок в толпе соплеменников, но он не совершает подвига самопожертвования, напротив... Ларра — сын орла и похищенной им женщины. Орел умер («когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко на небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы гор»), его невольная жена вернулась к своему племени с 20-летним сыном, сильным, гордым и смелым красавцем, опять-таки вроде Зобара или Данко. Он сразу встал в дурные отношения к старейшинам племени, отказавшись им повиноваться и объявив, что «таких, как он, нет больше». Затем он подошел к одной красивой девушке и обнял ее; она его оттолкнула, а он — «ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, встал так, что из ее уст кровь брызнула к небу, и она вздохнула тяжело, извилась змеей и умерла». Его связали и хотели казнить, но сначала попытались добиться, зачем он убил девушку. Он отказался отвечать связанный, а когда его развязали, сказал следующее: «Я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, что меня оттолкнула она; а мне было нужно ее». Из дальнейшего разговора выяснилось, что «он считает себя первым на земле и что, кроме себя, он не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни подвигов, ни скота, ни жены,

и он не хотел ничего этого». И когда поняли это, то мудрейший из старейшин племени придумал ему страшное наказание: «Наказание ему в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание». Юноша весело ушел и стал жить «свободный, как отец его; но его отец не был человеком, а этот был человек». Он был ловок, силен, хищен, жесток; он приходил время от времени к людям и брал все, что ему нужно было. В него стреляли, но стрелы «не могли пронизать его тела, обвитого невидимым человеку покрывалом высшей кары». Многие, многие годы жил он так, но, наконец, это ему надоело. «Нельзя всегда наслаждаться, — потеряешь цену наслаждению и захочется страдать». Он и пошел к людям с этою целью, но они не тронули его, он покушался убить себя, но смерть не брала его. «В глазах его было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. И так с той поры остался он один, свободный и ищущий смерти. И вот он ходит, ходит повсюду...»

Лойко Зобар, Радда, Сокол, Чиж, Данко, Ларра, — вот вся портретная галерея идеальных, очищенных от грязи босяков г. Горького. Что это именно они, — преображенные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки и проч., — в этом едва ли кто-нибудь усомнится. Мы видим в них ту же «жадность жить», то же стремление к ничем не ограниченной свободе; то же фатальное одиночество и отверженность, причем нелегко установить, — отверженные они или отвергнувшие; ту же высокую самооценку и желание первенствовать, покорять, находящие себе оправдание в выраженном или молчаливом признании окружающих; то же тяготение к чему-нибудь чрезвычайному, пусть даже невозможному, за чем должна последовать гибель; ту же жажду наслаждения, соединенную с готовностью как причинить страдание, так и принять его; ту же неуловимость границы между наслаждением и страданием.

Но это не трафареты, а варианты, иногда в отдельных чертах даже слишком близкие между собою, иногда расходящиеся довольно далеко, но, во всяком случае, так сказать, вращающиеся около одной оси. Если, например, Орлов сегодня мечтает о спасении России от холеры ценою собственной жизни, а завтра об избиении «всех до единого жидов» или даже о раздроблении всей земли в пыль, — то в коллекции очищенных босяков подвиг самопожертвования предоставлен Данко, а злодейские подвиги — Ларре; но, несмотря на эту разницу, и тот и

другой являются нам в некотором ореоле гордой силы и красоты. Если Чиж слабкрыл и вообще слаб сам, то он все же зовет других к свободе, простору и, по крайней мере, на некоторое время покоряет сердца птиц призывом к великому делу. Если Коновалов находит ненужным присутствие даже Пятницы на острове Робинзона, а Ларре одиночество досталось в виде страшной кары, то с течением времени Коновалов, надо думать, пожалел бы, что убил «дикого», хотя бы уже потому, что оказался бы в «яме»; а Мальве, тоже мечтающей об одиночестве, люди, наверное, понадобились бы, чтобы «вертеть» ими. С другой стороны, Ларра далеко не сразу почувствовал боль и скорбь одиночества: он наслаждался им «не один десяток длинных годов», и вернулся он к людям потому, что его потянуло к страданию. В целом получается нечто смутное, загадочное, как бы еще только прорезывающееся и, по-видимому, оправдывающее претензию Аристиды Кувалды: мы новость в истории, нам нужны новые воззрения на жизнь...

Появлению таких ли, сяких ли «новых людей», не в виде одиноких ласточек, которые весны не делают, а в виде целого «класса», как это утверждает относительно своих босяков г. Горький, должно соответствовать известное изменение общественных условий. Но после всего сказанного, едва ли есть какая-нибудь надобность доказывать, что герои г. Горького «класса» не составляют как в силу неопределенности их положения, так и, в особенности, в силу проникающего все их существо индивидуализма, исключаяющего возможность прочной группировки. Это, однако, еще ничего не говорит против их «новости». Но мы видели, что г. Горький даже не коснулся тех внешних, объективных условий, которые действительно только в наше время создают босяков; что вследствие этого его «новые» босяки по происхождению ничем не отличаются от старых гулящих людей и голи кабацкой и даже напоминают собою времена кочевого быта. Это подтверждается еще и тем обстоятельством, что в рядах героев г. Горького есть настоящие кочевники, ничем, собственно, из них резко не выделяясь. Зобар, Радда, Данко, Ларра — существа фантастические или, по крайней мере, легендарные; поэтому их, пожалуй, и нельзя брать в счет, хотя и то уже достойно внимания, что эти создания фантазии помещены в условия кочевого быта. Но Изергиль, Макар Чудра — цыгане из тех, которые «шумною толпою по Бессарабии кочуют»¹⁰, то есть настоящие, живые кочевники, насколько они удержались в условиях современной европейской жизни. А между тем их мысли, чувства, поступки в общем совершенно

те же, что Мальвы, Гришки, Кузьки-Косяка и проч. Значит, какая же это «новость»? Это, напротив, нечто очень старое, давно пережитое историей, лишь кое-где сохранившееся в урезанном виде и не имеющее никакой связи со вступительной картиной рассказа «Челкаш», «где гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками бешено-стратного гимна Меркурию».

Если, однако, «новость» героев г. Горького ни единою чертою не оправдана с точки зрения их происхождения, порождающего их исторического процесса, то, как я уже говорил, в их психологии есть нечто действительно новое. Но в таком случае можно ожидать, что в психологии кочевников — Изергили, Макара Чудры и их отражений в мире фантазии и легенды, то есть Зоба-ра, Ларры и проч., — автор ввел некоторые произвольные, не соответствующие действительности черты. Так оно и есть.

Слово «чандалы», подвернувшееся мне для обозначения наших босяков и европейского *Lumpenproletariat*'а, наводит на некоторые любопытные сближения. Существует мнение, что цыгане суть потомки индийских чандалов, когда-то выселившихся или высланных из родины. Чандалы же индийские суть отверженцы разных каст, цементированные национальным элементом туземного, доарийского населения и затем строгими постановлениями суровых индусских законов и обычаев. Действительно ли цыгане — их потомки, или нет, но они, во всяком случае, представляют собою отверженное (или отвергнувшее) племя, распадающееся, как и все кочевники, не непосредственно на индивидуальные атомы, а на орды, таборы, роды, семьи. Сообразно этому, свобода и свободолюбие кочевого человека представляют собою нечто очень относительное: он с трудом переносит ограничения, налагаемые условиями цивилизованной жизни, но вместе с тем крепко стиснут теми общественными единицами, в состав которых входит. Об цыганской вольной жизни мы имеем совершенно фантастические представления, основанные главным образом на разных «цыганских романах». В действительности, цыган и особенно цыганка находятся в полной власти своего табора, что сохранилось даже в цыганских «хорах», которые дают нам свои концерты; и не только находятся во власти, но и не тяготятся этими узами, доколе остаются настоящими типическими цыганами. Кочевник любит свободу, совсем не так и не такую, как современный босяк, и обратно — какой-нибудь Кузька-Косяк или Сережка, или Коновалов, при всей своей склонности к бродяжеству, почувствова-

ли бы себя очень плохо в таборе, в котором так хорошо уживается Макар Чудра, тоже исповедующий принцип вечного бродяжества. Кочевник бродяжит целой ордой, табором, стадом, с которым связан самыми тесными узами, а Сережка и Кузька бродяжат в одиночку, и никаких уз не знают или не хотят знать. В этом и состоит их «новость», но не только в этом.

Слово «чандалы» наводит еще на одну справку. Выше были указаны некоторые соприкосновения г. Горького с Достоевским. А в 1894 г., излагая на страницах «Русск<ого> бог<атства>» с некоторою подробностью учение Фр. Ницше, я отметил подобные же точки соприкосновения с Достоевским — несчастного немецкого мыслителя. Указывал я и на необыкновенное уважение, с которым Ницше относился к нашему художнику, знакомому ему, по-видимому, только по «Запискам из мертвого дома». В одном из своих сочинений («Götzen-Dämmerung»), восторгаясь силою психологического анализа, с которою Достоевский проникает в душу обитателей Мертвого Дома, Ницше говорит о «чувстве чандала», чувстве «ненависти, мести и восстания против всего существующего», каковое чувство, дескать, живет в душе каждого сильного человека, не нашедшего себе места в современном «покорном, посредственном, кастрированном обществе»¹¹.

Думаю, что читатель не затруднится усмотреть это чувство в героях г. Горького. Но соблазнительная возможность сближения с идеями Ницше идет гораздо дальше. — Предупреждаю, что я отнюдь не думаю доказывать, что свое освещение жизни г. Горький заимствовал у Ницше, — он нигде о нем не упоминает (хотя нашел же случай упомянуть, например, о Шопенгауэре) и, может быть, совсем не знаком с ним. Но тем интереснее совпадение, свидетельствующее о том, что известные идеи носятся в воздухе, не только кристаллизуясь в виде все растущего множества поклонников Ницше в Европе, но вот и у нас прорезывающихся самостоятельно, не говоря о людях, прямо заимствующих свой свет от Ницше. Во всяком случае Ницше со всем своим нравственно-политическим учением не был бы чужим среди философствующих босяков г. Горького.

Начать с того, что одиночество играет в соображениях Ницше не меньшую роль, чем в мечтах и в жизни босяков г. Горького. Ницше слагает настоящие гимны одиночеству и даже предлагает установить новую научную дисциплину: рядом с наукой об обществе — Gesellschaftslehre, науку об одиночестве — Einsamkeitslehre. Но одиночество не только драгоценно и как таковое составляет законный предмет мечтаний; оно не-

избежно для всякого сильного человека, так как любая общественная форма требует от него уступок хоть какой-нибудь части его *я*, а он на подобные уступки согласиться, по самой своей природе, не может*.

Но кроме сильных существуют и слабые, охотно подчиняющиеся многообразным ограничениям свободы, да и для сильных *Einsamkeitslehre* не исключает надобности в *Gesellschaftslehre*, — не потому, чтобы одиночество было невозможно: Ницше не знает ничего лучшего, как «погибнуть на великом и невозможном»; и не потому, чтобы одиночество доставляло страдания: Ницше готов принять страдание и высшее наслаждение для него состоит в борьбе со всеми ее положительными и отрицательными шансами; но главным образом потому, что в сильных живет *Wille zur Macht*, «воля к власти», как у нас буквально переводят. Эта жажда власти, могущества есть, по мнению Ницше, главный двигатель истории и тесно связана с одним из коренных свойств человеческой природы — жестокостью: «...вид страдания доставляет удовольствие, причинение страдания доставляет еще большее удовольствие; таков жесткий, но старый и могущественный закон» («*Genealogie der Moral*» **). Аскетическая практика самоистязания в ее свирепых формах имеет тот же источник: за отсутствием или недостижимостью других, индийский фанатик и т. п. терзает свое собственное тело и притом наслаждается своим превосходством над теми, кто не в силах это делать. Слабость, трусость, лицемерие часто заслоняют эти коренные свойства человеческой природы, и в настоящее время у цивилизованных народов создали «мораль рабов» в противоположность «морали господ», которую некогда исповедовали сильные, жизнерадостные, жестокие, чувственные, властные люди — «великолепные, жаждущие победы и добычи животные». То было время торжества красоты, силы, время здоровых инстинктов, не изъеденных рассудоч-

* Когда Ларру спросили, зачем он убил девушку (см. выше), он отвечал: «Она оттолкнула меня, а мне было нужно ее». — «Но ведь она не твоя?» — сказали ему. — «Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет своего только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей и многим еще». — Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой, — своим умом и силой, своей свободой и жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым» (Горький, I, 110—111).

** «Генеалогия морали» (нем.). — *Ред.*

ным анализом и мертвящей рефлексией*. Ныне торжествует «мораль рабов», в основании которой лежит кротость, смирение, покорность, умеренность и аккуратность, не воздействие на обстоятельства, а подчинение им. Но временами прокидываются экземпляры прирожденных «господ», которым принадлежит будущее. Они суть прообразы «сверхчеловека», имеющего наследовать землю. В настоящее же время они суть чандалы, отверженные или отвергнувшие носители чувств мести и ненависти ко всему существующему, не уживающиеся в тех, если угодно, «ямах», которые им предлагаются существующими условиями, и населяющие Мертвый Дом Достоевского. Но этот исход не единственный, это только случай победы прирожденного «господина» рабским обществом; возможен и противоположный исход, когда чандал, преступивший все законы и всю мораль рабского общества, становится его действительным господином: таков был Наполеон. (Напомню, что и для Раскольникова в «Преступлении и наказании», считавшего себя необыкновенным, из ряда вон выходящим человеком, имеющим право «преступить», Наполеон был идеалом.)

Я не думаю, конечно, излагать здесь все взгляды Ницше и оставляю в стороне многое, очень многое, в том числе подробность о «сверхчеловеке», о проповеди «любви к дальнему» взамен «любви к ближнему» и т. п. Все это не имеет своей параллели в произведениях г. Горького. Для нас интересна здесь только психология чандалов. И, полагаю, никто не усомнится признать разительное сходство ее с психологией героев г. Горького. Кто, как не ницшевские прирожденные господа этот Челкаш в противоположность рабу Гавриле, Сокол в противоположность Ужу, Кузька-Косяк в противоположность мельнику, Данко в противоположность всему табору, удалец Сережка в противоположность разной деревенщине, даже отчасти Чиж в противоположность Дятлу, или Макар Чудра, который учит автора: «Что ж, он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы себе выковырять? Ведома ему воля? Жизнь степная понятна? Говор морской вол-

* Г. Горький в одном месте раздумывается «о великом горящем сердце Данко (а почему бы и не о Зобаре и Ларре? — Н. М.) и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд, о старине, в которой были герои и подвиги, и о печальном времени, бедном сильными людьми и крупными событиями, богатом холодным недоверием, смеющимся надо всем, — жалким временем мизерных людей с мертворожденными сердцами» (I, 132).

ны веселит ему сердце? Эге! Он раб как только родился и всю жизнь раб».

Отмечу некоторые любопытные детали. Ницше рекомендовал (в «Morgenröthe» *) всем, кому тесно в Европе и кто, конечно, чувствует себя «господином», удаляться в дикие места и там основывать новые государства, становясь во главе их. Ницше, как сообщают его биографы, и сам одно время мечтал о подобной роли. Не напоминает ли это читателю мысленное переселение Коновалова на остров Робинзона? Хотя Коновалов устранял оттуда даже Пятницу, но, как я уже говорил, по всей вероятности, скоро пожалел бы об этом. По крайней мере, Мальва мечтает или жить далеко в море в полном одиночестве и, следовательно, никому не подчиняться, или «завертеть бы каждого человека, да и пустить волчком вокруг себя», то есть себе подчинить.

Мы видели, что босяки г. Горького не особенно мягко относятся к своим дамам и бьют их. А Ларра, осужденный на одиночество, приходил брать у своих соплеменников силком «скот, девушек, все, что хотел». Значит, присутствие женщин не нарушало его одиночества, женщина в счет не идет. Для Ницше женщина «изящная и опасная игрушка», высшею мечтою которой должна быть надежда родить сверхчеловека. А мудрая старушка советует Заратустре: «Если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут». Но, конечно, и мудрая старушка, и сам Заратустра сделали бы исключение, например, для Радды, которая, будучи прирожденной «госпожей», столь же мало способна подчиниться Зобару, как и он ей.

Еще одно — и последнее — мелкое замечание, оправдать которое предоставляю самому читателю: кто читал статью Ницше «Von Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben» **, тот может принять рассказ г. Горького о Чиже и Дятле чуть не за художественный комментарий к этой статье...

Что из всего этого следует? Прежде всего то, что больной немецкий мыслитель-художник, произведения которого переполнены странностями, противоречиями, произвольными положениями и выводами, но тем не менее высокообразованный и высокодаровитый, а некоторые утверждают — даже гениальный, что этот мыслитель-художник может занять место среди русских Челкашей, Сережек, Кузек и прочих грубых, пьяных, преступных, невежественных героев г. Горького. Это не так

* «Утренняя заря» (нем.). — Ред.

** «О пользе и вреде истории для жизни» (нем.). — Ред.

странно, как может показаться с первого взгляда. С одной стороны, сам Ницше различает чандалов — обитателей Мертвого Дома и чандалов — Наполеонов, причем различие это устанавливает не по существу, а по случайностям судьбы тех и других; с другой стороны, и в коллекции г. Горького есть не только Сережки и Кузьки, а и облитые поэтическим ореолом Зобары, Данки, Соколы, Ларры. Наконец, мы имеем еще промежуточное звено в лице многих героев Достоевского, каковы не только обитатели Мертвого Дома, приближающиеся к Сережкам и Челкашам, а и Ставрогины, Раскольниковы и проч., приближающиеся к Зобарам, Ларрам, Наполеонам.

Повторяю, я отнюдь не утверждаю, что на г. Горького имел влияние Ницше, и склонен, напротив, думать, что это именно совпадение, а не сознательное усвоение или бессознательное подражание. Влияние Достоевского может быть достовернее. Но, во всяком случае, мы имеем трех писателей, весьма различных, по-видимому, и по совокупности образа мыслей, и по степени таланта, и по форме работы, но сосредоточивших свое внимание на одних и тех же явлениях душевной жизни, весьма мало изученных. И, по-видимому, эти явления становятся все ярче, заметнее, потому что вот, по крайней мере, в Европе они нашли себе теоретическое обоснование и апологию в учении Ницше.

Надо, однако, заметить, что физиономия Ницше представляет собою нечто чрезвычайно сложное и противоречивое, ввиду чего в Европе, несомненно переживающей сейчас некоторый духовный кризис, им интересуются, желают опереться на него или причислить его к своим люди чрезвычайно различных направлений. Не говорю о тех, кто гонится за всякой новинкой, какова бы она ни была, лишь бы это было хронологически «последнее слово», и кого ни к чему не обязывает это последнее слово, из которого они, впрочем, и корысти никакой не извлекают, а так себе, как перо на шляпе носят. Но вот, например, нравственно распущенные люди, люди *sans foi ni loi** пожелали опереться на «иммориализм» Ницше; и совершенно напрасно, потому что хотя он и сам называл себя «иммориалистом», но, в сущности, он настоящий моралист, притом очень строгий, только его мораль резко отличается от ныне общепризнанной. В Европе все растет разочарование в общественных формах, выработанных ее историей, и не только реальных, но и в тех грядущих формах, которые вырабатываются различными

* не признающие законов (фр.). — *Ред.*

социалистическими системами. Одним из плодов этого разочарования является анархизм. Некоторые из исповедующих анархизм и приветствовали Ницше. Они имели для этого некоторое основание в той части его учения, которая беспощадно разрушает все, как реальные, так и идеальные общественные формы, дескать, стесняющие и урезывающие личность, и также и еще кое в чем. Но, узнав об этом, Ницше вложил в уста своему Заратустре такие слова: «Есть люди, проповедующие мое учение о жизни; и в то же время это проповедники равенства и тарантулы. Я не хочу, чтобы меня смешивали с этими проповедниками равенства». И действительно, трудно найти большего ненавистника идеи равенства, чем Ницше. Его учение аристократическое *dürch und durch* *, как говорят немцы. О рабочих он выражается так: «Побрал бы их черт и статистика»; к толпе, партии, большинству, множеству, массам, народу он относится с величайшим презрением, не примыкая, однако, ни к одному из существующих аристократических течений и, напротив, громя наличные аристократии рода и капитала, однако, и в этом отношении есть в европейской литературе явления, которые можно поставить в связи с учением Ницше. Это, во-первых, некоторые отроги дарвинизма (как читатель мог видеть хотя бы из недавней нашей беседы о книге «*Von Darwin bis Nietzsche*» **¹²). Это, во-вторых, ряд если не прямо аристократических, то, во всяком случае, антидемократических толкований вопроса о «героях и толпе» ***. Наконец, и некоторые декаденты не без основания признают Ницше своим, хотя должны бы это делать с большими оговорками.

Все это я говорю как вообще в виду растущего у нас интереса к учению Ницше ****, так, в частности, для убеждения читателя в том, что усвоение той или другой стороны этого учения,

* насквозь, до мозга костей (нем.). — *Ред.*

** «От Дарвина к Ницше» (нем.). — *Ред.*

*** Вопрос этот очень занимает европейскую литературу. Не говоря об известных и русским читателям сочинениях Тарда, Сигеле, Лебона, то и дело появляются на эту тему новые книги и журнальные статьи.

**** В самое последнее время кроме журнальных статей появились Алоиз Риль и Г. Зиммель «Фридрих Ницше» (очерк Рилья появился и раньше, в другом издании); Герман Тюрк «Философия эгоизма» (сокращенный и довольно произвольный перевод отрывка из книги «*Der geniale Mensch*»); «Граф Л. Н. Толстой и Фридрих Ницше. Очерк философско-нравственного их мировоззрения» проф. В. Г. Щеглова.

а тем более совпадение с одной из них, отнюдь не обязательно ведет к принятию всего Ницше. В данном случае у нас речь идет главным образом о некоторых темных явлениях душевной жизни, которые в нашей литературе разрабатывались Достоевским, совершенно самостоятельно и раньше Ницше; причем общее мировоззрение Достоевского резко отличается от мировоззрения Ницше и во многих отношениях даже прямо противоположно: если бы Ницше знал всего Достоевского, то, конечно, не отзывался бы об нем с такой восторженностью, как теперь.

Что касается г. Максима Горького, то он слишком молод (разумею, конечно, литературную молодость) и недостаточно определился, чтобы можно было судить как об его общем мировоззрении, так и о его дальнейшей литературной карьере. Его талантливость, наблюдательность и оригинальность не подлежат сомнению. Но все это может в будущем и расцвести пышным цветком, и если не иссякнуть, то затеряться в погоне за психологическими тонкостями, в своего рода психологической гастрономии, презирающей здоровое и питательное, и ищущей острого, пряного, редкого и исключительного. Конечно, и редкое вполне достойно нашего внимания, тем более что оно часто оттеняет собою и, следовательно, уясняет общие душевные процессы. Но психологические гастрономы, — к числу которых и Достоевский принадлежал, — склонны, во-первых, придавать исключительному слишком общее значение, а, во-вторых, искусственно и произвольно составлять разные пикантные комбинации.

«Декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, они глубоко вонзаются в неизвестное». Это говорит у г. Горького один из героев рассказа «Ошибка» (I, 153). Я до сих пор не касался этого странного рассказа, стоящего особняком в двух томиках г. Горького, но ясно указывающего, мне кажется, на те опасности, которые грозят автору на его дальнейшем литературном пути. Декаденты (конечно, искренние, потому что есть и просто ломающиеся, ради интересной позы) желали бы быть подобны тонким и острым иглам, глубоко вонзающимся в неизвестное, но в действительности закутывают туманом и извращают вычурностью даже вполне известное. И вот этот-то туман и эта вычурность вместо искомой тончайшей правды грозят и г. Горькому. Он может считать себя неответственным за приведенную хвалу декадентам, потому что высказывает ее психически больной Кирилл Иванович Ярославцев. Но вместе с тем как Ярославцеву, так и другому действующему лицу, тоже психически больному Марку Даниловичу Кравцову, приписа-

ны мысли и настроения, общие всем босякам г. Горького (хотя и Ярославцев, и Кравцов не босяки) и, очевидно, очень занимающие автора. Тут и «человек, к жизни не причастный и от нее отторгнутый», и жажда подвига, и афоризм: «Жалость и жестокость! да ведь это два совершенно однородные слова»; и желание «вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, все-таки самые светские люди жизни»; и предложение «выйти за границы жизни в песчаные необитаемые пустыни»; и т. д. Сомневаюсь, чтобы специалист психиатр нашел картины болезни Ярославцева и Кравцова соответствующими действительности; думаю, что это совершенно произвольная психиатрия. А вместе с тем не выясняются и так занимающие г. Горького мысли и настроения, потому что двое сумасшедших, конечно, могут только запутать дело.

Остановимся хоть на одном пункте. «Жалость и жестокость — два совершенно однородные слова», и Ярославцеву «удивительно, как это до сей поры никто не замечал, что это синонимы по смыслу». Это одна из вариаций на тему о границах наслаждения и страдания. Но вот как иллюстрирует свой афоризм Ярославцев. Однажды в деревне он был свидетелем следующей сцены: телка упала в овраг и сломала себе передние ноги; собралась толпа, она «стояла вокруг телки и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны»; подошел кузнец Матвей и, обругав «дурачьем» «любующихся» на страдания телки, ударил ее по голове железной полосой и тем прекратил страдания. Ярославцев заключает: «Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально? Во всяком случае, это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это морально; я слаб, и, значит, я хорош! Вот как!» — Я уже не говорю о полной бессмыслице последних слов, тут даже и разобрать ничего нельзя. Но возьмем самый факт, иллюстрирующий положение о тождественности жалости и жестокости. Ясно, что жестока была толпа, если она «любовалась» зрелищем страданий телки, и тут можно подозревать загадочную смесь жестокости и сострадания, но кузнец Матвей, очевидно, не годится для иллюстрации тождества жалости и жестокости. Жестокость причиняет страдание или любит на него, а кузнец обругал любующихся и прекратил страдание. Нет, значит, никакого повода делать из этого простого и ясного факта что-то загадочное, таинственное, для проникновения в которое требуются тонкие и острые иглы декадентства.

Интересно изречение Ярославцева: «Это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Это говорит психически больной человек, и, следовательно, опять-таки автор за эти слова не ответствен. Но то, что поднимает над окружающими всех босяков г. Горького, — очищенных и неочищенных, реальных и легендарных или символических, — есть сила, и именно «прежде всего сила». Куда она направится — на величайший ли подвиг самоотвержения, или на величайшее, даже фантастическое злодейство, — это вопрос второй и даже, может быть, безразличный: «Это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Так склонны смотреть все босяки г. Горького, стирая общепризнанные, по крайней мере на словах, границы между добром и злом и требуя, устами философствующего отставного ротмистра Аристиды Кувалды, «новых» критериев морали. Смелость и откровенность, с которыми отверженцы ставят и даже практически разрешают этот вопрос, импонируют окружающим, а босяков, очищенных, легендарных, даже окружают блеском поэтического ореола. Очевидно, однако, что, признав вместе с ними «прежде всего силу» верховным критерием морали, мы оказались бы во власти целой сети недоразумений, из которых остановимся на одном. Герои г. Горького «жадны жить», ищут «возбуждения всей души». Формы, в которых проявляется эта жадность, обуславливаются обстоятельствами времени и места; если бы, например, жизнь предлагала героям г. Горького не «ямы», а достаточное «возбуждение всей души» на месте, то им незачем было бы бродяжить. Как бы мы ни относились, однако, ко всем этим частностям, нельзя не остановиться на том, что из разнообразных отношений к людям, какие могут «возбуждать душу», они выше всего ставят мотивы властного повелительного воздействия, которое способно доводить до жестокости и мучительства, и, следовательно, роют другим возмутительнейшие «ямы»; а нет почему-нибудь поприща для такого воздействия, — так и совсем не надо людей, можно и в одиночку прожить, или же — смерть (вместе со всем человечеством, как в мечтах Кувалды и Орлова, или вместе с непокоряющимся субъектом, как в случае Зобара и Радды). «Жадность жить», требующая «возбуждения всей души», есть явление законное и желательное, действительно способное образовать собою психологический фундамент высокой морали. Жалки люди, не знающие этой жадности и соглашающиеся быть инструментами с оборванными струнами; но если и признать, что *Wille zur Macht*, жажда власти, превосходства, есть необходимая струна человеческой души, то

все же она лишь одна из струн, и при «возбуждении всей души» ее звуки должны гармонически умеряться иными звуками. Раз мы это признаем, мы тотчас увидим несостоятельность тезиса: «Это прежде всего сильно и потому морально и хорошо»; увидим и разницу между действиями Дан-ко, с одной стороны, и Ларры — с другой, между мечтой Орлова спасти Россию от холеры и его же мечтой перебить всех жидов или раздробить землю в пыль. Пусть Данко руководился жаждою первенства и власти, когда шел впереди своих людей из лесу, освещая им путь своим горящим сердцем, — но он вместе с тем сострадал этим людям, переживал их жизнь; следовательно, в его душе звенела, по крайней мере, одна лишняя струна по сравнению с Ларрой, который оказался не способным переживать чужую жизнь и только желал «быть первым». Пусть честолюбие было одним из мотивов Орлова, когда он хотел на смерть схватиться с холерой, но он вместе с тем переживал жизнь виденных им в холерной больнице страдальцев; следовательно, его жизнь была в этот момент полнее, богаче, чем тогда, когда он, именно от пустоты жизни, мечтал об избиении жидов и раздроблении земли. Разница, кажется, достаточно ясная, для того чтобы мы могли, именно с точки зрения «жадности жить», отвергнуть положение: «Это прежде всего сильно, а потому морально и хорошо». «Учитель» в «Бывших людях» не забыл римской истории и знает, что «гольтепа создала Рим». Согласился ли бы он с приведенным положением, если бы ему иллюстрировали его так: Нерон сжег Рим, распинал и отдавал на съедение зверям разную «гольтепу», не отказывая себе, впрочем, в удовольствии казнить и знатных, и богатых, — это было сильно, а потому морально и хорошо; Спартак сплотил разную «гольтепу» и три года держал миродержавный Рим в страхе, — это было сильно, а потому морально и хорошо. Боюсь, что по пристрастию к «гольтепе», довольно, впрочем, в его положении естественному, «учитель» нашел бы, что никакие декадентские иглы, как бы они ни были остры и тонки, не сошьют эти два явления в однородное целое.

Мне кажется, что г. Горького одолевает некоторая не совсем для него самого ясная идея; именно одолевает, несмотря на свою неясность, а может быть, благодаря этой неясности. И только когда он от ее гнета так или иначе освободится, — совсем ли ее отбросить или вполне овладеть ею, — мы получим

возможность окончательно судить о размерах и значении приобретения, сделанного в его лице нашей литературой. Как ни несомненно его знакомство с изображаемым им миром, но слишком подозрительна эта частая повторяемость одних и тех же (очень, впрочем, интересных) мотивов, даже одних и тех же выражений, слов; тем более подозрительна, что эти мотивы и выражения г. Горький предоставляет и не босякам, существам фантастическим и аллегорическим, а также двум сумасшедшим. Это свидетельствует, я думаю, что к своим наблюдениям г. Горький прибавляет кое-что, им не наблюдавшееся, но его самого очень занимающее. Это бы еще не беда, но — да простится мне грубоватое и, может быть, не совсем удачное слово — г. Горький еще не переварил того, что его так занимает, не усвоил настолько, чтобы претворять в образы и картины. Идея, занимающая автора, не сливается в одно органическое целое с его наблюдениями, автор ее подсовывает своим действующим лицам. Отсюда многие художественные бестактности, об которых я уже упоминал и распространяться об которых мне не хочется.

К сожалению, г. Горькому грозит в будущем нечто гораздо худшее, чем эти досадные бестактности, а именно — «тонкие и острые иглы декадентства», которые в действительности не только не тонки и не остры, а, напротив, очень грубы и тупы.

Но в двух томиках г. Горького есть и совсем иного рода задатки. Босяки занимают в этих двух томиках столько места и автор такими усиленными эффектами привлекает к ним внимание читателей, что не удивительно, если критика просто даже не заметила двух рассказов или очерков, не имеющих к босякам никакого отношения, ни прямого, ни косвенного, ни реального, ни аллегорического. Это, во-первых, «Ярмарка в Голтве» — маленький очерк, написанный без претензий на какую-нибудь глубину или «проникновение», безделка, но вся пропитанная каким-то мягким, светлым юмором, производящим тем большее впечатление, что этого элемента совсем нет в других произведениях г. Горького. Это, во-вторых, рассказ «Скуки ради», гораздо более серьезный и значительный по замыслу и истинно превосходный по исполнению. Самое чуткое ухо не услышит здесь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнет и не прибавит ни одного слова. И хотя тут нет ни одного босяка и никто не жалуется на «яму», но читатель и без авторского подсказывания сам скажет: какая яма! какая ужасная яма эта жизнь, в которой «скуки ради» проделывается возмутительнейшее издевательство над людь-

ми! Прodelывается не злобно, а именно только скуки ради, как суррогат настоящей жизни. И сами эти жестокие забавники, творящие издевательство, но не ведающие, что творят, вызывают, несмотря на свою отупелость, едва ли даже не больше сожаления, чем их жертвы; ибо и они, эти жестокие забавники, — жертвы «ямы»... Рассказ этот так целен и в цельности своей хорош, что я не стану передавать его содержание или приводит отрывки из него, — и то и другое может только ослабить впечатление.

Если к этим двум задаткам, очень разной цены, но одинаково цельным и законченным, прибавить отдельные страницы вроде вышеупомянутой сцены пения в «Тоске» и превосходные пейзажи, рассыпанные в произведениях г. Горького, то станет ясно, что мы имеем дело с большой художественной силой. И неужели же этой силе суждено заглухнуть в какой-нибудь нашей «яме» или уверовать в тонкость и остроту декадентских иголок?





М. ГЕЛЬРОТ

Ницше и Горький

(Элементы ницшеанства в творчестве Горького)

Auf eine stolze Art sterben, wenn es nicht
mehr möglich ist, auf eine stolze Art zu leben.

*Fr. Nietzsche. Bd. VIII. P. 144 **

...Ибо когда он (орел) стал слабеть, то
поднялся в последний раз высоко в небо и,
сложив крылья, тяжело упал оттуда на ост-
рые уступы горы, упал и насмерть разбился
о них.

М. Горький. Т. 1. С. 116

Мы не собираемся ни излагать произведения Ницше и Горького, ни тем более подвергать эти произведения критическому разбору. Наша задача, как показывает самый подзаголовок предлагаемой статьи, далеко скромнее. Мы хотели бы лишь посильно отметить некоторые основные пункты, в которых мирозерцание, — мы сказали бы мировосприятие — обоих писателей совпадает, несмотря на глубокую пропасть, которая отделяет интеллектуальное содержание и объем произведений Ницше от интеллектуального содержания и объема произведений Горького **. Предварительно, однако, мы считаем нужным сделать два-три замечания общего характера.

* Следует гордо умереть, если нельзя дальше гордо жить. *Фр. Ницше. Т. VIII. С. 144 (нем.). — Ред.*

** В нашей литературе Н. К. Михайловский первый отметил и частью проследил это совпадение в первой же своей работе о Горьком, помещенной в IX и X книж<ке> «Русск<ого> бог<атства>» за 1898 г. Говорим «частью» потому, что, как видно из самих статей,

Обычная двусмысленность, вернее, многосмысленность терминов «объективный» и «субъективный» становится безнадежной, когда эти термины применяются к области художественного творчества. Что такое объективное творчество? Где он — этот объективный художник? Флобер считает всякое произведение наперед осужденным, раз автор его дает себя разгадывать и угадывать. Много ли нашлось бы произведений, которые с этой точки зрения не были бы осуждены? Олимпийский объективизм Гете очень красиво сравнивался с зеркалом, которое создала природа, когда ей захотелось посмотреть, как она выглядит. Тем не менее природа, отражаясь в этом зеркале, приобретала неизменный и определенный плюс: каждый раз она окрашивалась в цвет тех переживаний, того строя чувств, настроений и мыслей, которые в сумме своей составляли индивидуальность Гете. «Нет ни одной строчки в моих “Wahlverwandschaften”, которой я сам не пережил бы», — сказал он Эккерману¹ в один из тех моментов, когда он, так сказать, подводил итоги психологии своего собственного творчества. В тех же эпизодически приводимых Эккерманом итогах мы находим и другое характерное признание: объективный олимпиец показывал своему собеседнику целые страницы, исписанные им в моменты полного отсутствия сознания. В этих случаях в его памяти не оставалось никакого следа тех переживаний, которые он фиксировал на лежащих перед ним листах бумаги, а самые листы эти оказались исписанными в косом, диагональном направлении, — так, как они случайно очутились под его рукой. Мы не знаем содержания этих страниц; но если это не был бессвязный набор слов, если страницы эти заключали в себе какое-нибудь содержание, то это последнее, конечно, меньше всего было результатом объективного созерцания. С большим правом мы могли бы, напротив, сказать, что и в этих исключительных случаях индивидуальность Гете, хотя бы и не сознаваемая им самим, была налицо.

мало-мальски детальная разработка этой темы совершенно не входила в его намерения; да к тому же перед ним в то время лежали только две первые книжки рассказов Горького. Далее, г. Неведомский в своем «Вместо предисловия» к книжке Лихтенберже о Ницше назвал Горького «самородком-ницшеанцем», но сделано это как-то вскользь, мимоходом, в одном из примечаний, — словом, так, как говорят о факте, вполне установленном. С таким сопоставлением имен Ницше и Горького, как бы само собой разумеющимся, читатель, вероятно, сталкивался не раз. А между тем, после г. Михайловского, насколько мы знаем, никто этой темы не касался.

При такой неопределенности и неуловимости границы между объективным и субъективным творчеством нам остается прибегнуть к границе, если возможно так выразиться, количественной. Можно сказать, что в источнике своем первое более интеллектуально, второе — более эмоционально. В первом случае индивидуальность автора, его собственное мирозерцание остается настолько в тени, что его действительно нужно разгадывать, как это мы и видим именно на Флобере. Напротив, при творчестве, окрашенном субъективизмом, автор не даст ни одного произведения, как бы незначительно оно ни было, без того чтобы в нем не прозвучал какой-нибудь из основных аккордов его собственного строя чувств и настроений. Именно произведениям субъективных писателей чаще всего и свойствен тот «свой стиль», о котором Пелисье² тонко замечает: «Avoir un style a soi c'est une façon de trahir sa personne... (иметь свой стиль — значит, головой выдавать свое «я»)». Этот стиль не будет покидать ни действующих лиц, хотя бы они во многом и отличались друг от друга, ни самого автора, в его собственных размышлениях или лирических отступлениях.

В только что указанном смысле произведения Горького являются типичными образцами субъективного творчества. Это выяснилось при появлении первых же двух книжек его рассказов. По крайней мере, Н. К. Михайловский, сказав тогда, что Горький «как бы проникается настроением своих героев», тут же делает другое, на наш взгляд, более верное предположение, что, быть может, напротив, Горький «творит людей по своему образу и подобию, вкладывая в них нечто свое задушевное». Если, со своей стороны, Ницше, как выражается о нем Риль³, является «самым субъективным мыслителем», то это прежде всего потому, что рядом с этим мыслителем в нем жил глубоко субъективный художник. «Мы, философы, — пишет он Брандесу, — более всего благодарны тому, кто представляет собою яркий тип мыслителя-художника, для которого убедиться в какой-нибудь истине значило, как выразилась Лу-Андреас-Саломе⁴, быть «побежденным какой-нибудь жизненной катастрофой» или, как он сам выражается, быть «разрушенным до основания» (über den Haufen geworfen werden)». Этот единственный в своем роде субъективизм Ницше получил свое органическое выражение в единственном в своем роде ницшевском стиле, который головой выдал все затаенные уголки «многострунной» души своего обладателя. И если тем не менее многие тайны остались неразгаданными; если Ницше не перестают комментировать и разгадывать — то это ведь неизбежная участь

всякой «многострунной» души: для каждого звучит только та струна, которая в нем самом находит отзвук, и звучит она в том именно тоне, к которому он наиболее восприимчив. Сам Ницше, по-видимому, отлично понимал это, — и, быть может, именно этим и объясняется его страх перед учениками и последователями. «Гуманный учитель, — говорит он, — обязан (*zur Humanität eines Meisters gehört*) предостерегать учеников своих прежде всего от самого себя». Недаром же он искренно верил, что его пером водит основной завет: *Mihi ipsi scrips!* (для себя самого лишь пишу я).

Если мы теперь станем прислушиваться к одной из самых основных струн, наиболее глубоко заложенных в эмоциональном фундаменте философского творчества Ницше, то мы услышим восторженный гимн жизни как самодовлеющему кумиру, имеющему свою самодовлеющую ценность. Он, конечно, не меньше всякого другого знает и, несомненно, очень глубоко воспринимает, что в мире, в природе, в жизни совершается масса бесчеловечного и жестокого. Но если это вообще уменьшает, а в глазах пессимиста даже и совсем уничтожает ценность жизни для нас, то это еще не доказывает, что она лишена высокой ценности помимо нас. Для Ницше бесчеловечность и жестокость мирового процесса суть только имманентно необходимые и вполне им санкционируемые вечные условия, из которых возникает и при наличности которых только и возможен тот высший тип жизни, которому он и поет свои гимны. Нетрудно понять, что в основе мы здесь имеем дело с дарвиновской борьбой за существование, которой Ницше дает свою санкцию на веки веков, — и санкционирует он ее прежде всего в области социально-политических отношений людей, так как эти отношения главным образом и заполняют все поле его зрения и внимания. Эту сторону ницшевского мирозерцания, это оправдание и реабилитацию жизни от нападков философского и нефилософского пессимизма проф. Файнгингер очень метко назвал «биодицеей» — по аналогии с лейбницевской теодицеей *⁵. Нужно ли прибавлять, что эта биодицея, этот оптимизм

* Только что изложенную нами сторону ницшевского мировоззрения проф. Файнгингер (в своей книжке «Ницше как философ») с большим пониманием Ницше считает «самым зерном» философской системы этого последнего. Можно пожалеть, что книжка написана так сжато и схематично, что вполне понимать ее смогут только те из ее читателей, которые более или менее близко знакомы с произведениями самого Ницше.

Ницше бесконечно далеки от того доктринерски построенного оптимизма, который приводит к знаменитому лейбницевскому «*Je ne meprise presque rien?*» * У него, наоборот, каждая фраза трепещет либо презрением, либо любовью, в сопровождении которых он подходит к самым сокровенным и к самым опасным вопросам индивидуальной и общественной жизни. И вот почему, скажем мы в скобках, только он один может иметь как восторженных поклонников, так и ожесточенных критиков во всех партиях, начиная с померанских юнкеров и кончая барселонскими анархистами.

С той же страстностью, с какой Ницше боготворит свой кумир — жизнь, он ненавидит все то, что, по его мнению, истощает ее, приводит ее к декадансу. Падение типа жизни (*Verfalls-Gebilde, Niedergang des Lebens*), декаданс ее пульсации — это кошмары, которые, можно сказать, ни на одну минуту не перестают его преследовать. В сущности все его призвание, вся его работа сводится к борьбе со всем тем, что, по его мнению, является симптомом такого декаданса, — и нет такого сокровенного уголка, куда бы он ни погнался за своим врагом. Кто и что погубило пышно расцветший тип жизни римской империи? Историческая муза Ницше, полная всякого рода капризов и причудливых чисто женских фантазий, ни на одну минуту не останавливается перед трудностями, с которыми связан ответ на такой вопрос. В пределах римской империи жил маленький, жалкенький народ жрецов (иудеи), которых счастливый римлянин топтал ногами, едва притом замечая их за шумом высокой пульсации своей собственной жизни. Но этот римлянин, оказалось, пирует на вулкане. С чувством затаенной, адски злобной мести (*ressentiment*), присущим жрецам всех времен и народов, иудеи систематически начали обесценивать и переоценивать все моральные ценности Рима. Когда же они, наконец, выдвинули на сцену вполне оформленное христианство, где все моральные ценности могучего, уверенного в безошибочности своих жизненных инстинктов Рима поставлены были вверх ногами, то этот могучий дуб был безвозвратно подрублен в самых глубоких корнях своих. Был, впрочем, момент — эпоха Возрождения, — когда, казалось, Рим опять восторжествовал, когда на папском престоле царствовало не христианство, а жизнь и «триумф жизни». Но и тут явился монах (Лютер) с теми же, исторически унаследованными от жрецов затаенными инстинктами злобной мести, — и так недолго торжествовавшая

* «Я не презираю почти что ничего» (*фр.*). — *Ред.*

жизнь опять пала под ударами Реформации. Наконец, последний, непоправимый удар нанес ей полуидеалист, полу-Kanaille (halb-Idealist, halb-Kanaille) Руссо, которого он считает если не единственным, то главным виновником французской революции и самую тень которого он ненавидит как центральную фигуру этой революции*. Что такое же отношение с его стороны должна была вызывать к себе и вся современная мораль с ее основным понятием сострадания к слабому — это само собой понятно: для него здесь, выражаясь фигурально, лежат те стопудовые гири, которые тянут тип жизни вниз, к декадансу. «Раз вы поняли, — говорит он в предисловии к «Fall Wagner», — где именно таятся корни декаданса, то вы поняли также и мораль, — вы поняли, что именно таится за ее святым именем, за формулируемыми ею ценностями (Werthformeln): обедневшая, истощенная жизнь, жажда конца, безнадежная усталость. Мораль отрицает жизнь».

Напрасно вы будете спорить с Ницше и доказывать ему все капризную фантастичность его исторической перспективы; напрасно вы будете опровергать его. Он сам первый предостерегает вас от себя и порой очень невежливо наперед обзовет вас дураком, если бы вы вздумали записаться в число его учеников и последователей. *Mihi ipsi scripsi* **. Но если вы его поняли, то за этими капризными теоретическими композициями вы услышите все тот же основной эмоциональный аккорд, на который мы указали выше: это все то же боготворение самодовлеющей жизни, олицетворенной и оберегаемой им от дуновения всякого ветерка, который, выражаясь фигурально, мог бы вредно подействовать на ее здоровье.

* «Ich hasse ihn noch in der Revolution», — без обиняков заявляет он (Перевод: «Я ненавижу его еще со времен революции» (нем.). — *Ред.*).

** В форме motto к своей «Die fröhliche Wissenschaft» он ставит следующее четверостишие, озаглавленное «Über meiner Hausthur»:

Ich wohne in meinen eignen Haus,
Hab Niemandem nie nichts nachgemacht
Und — lachte noch jeden Meister aus,
Der nicht Sich selber ausgelacht.

(Я ни за кем ни в чем не следовал и еще осмеивал притом всякого мудреца, кто сам себя не осмеял). А будущий, провидимый им тип философа, которого он скрещивает именем «искусителя» (Versucher), поставит себе следующий принцип: *Mein Urtheil ist mein Urtheil: dazu hat nicht leicht auch ein Anderer das Recht* (Мое суждение — для меня, и далеко не всякий имеет на него право).

Та же олицетворенная жизнь смотрит на вас и из глубины той эмоциональной основы, на которой выросло субъективное творчество Горького. Она и здесь имеет свою самодовлеющую ценность, но само собой разумеется, что здесь эта последняя не может быть так ясно формулирована, как у Ницше: такую ясность формулировки исключает уже самая форма произведений Горького, в рамки которой в лучшем случае могут уложиться размышления, но не философские построения. Есть у Горького один рассказ («Читатель»), где он и предается таким размышлениям, хотя и не от своего лица. Аллегорический персонаж под именем «маленького человека» говорит писателю, только что читавшему друзьям своим первый свой рассказ: «Ты ницш для того, чтобы дать людям что-нибудь действительно ценное, а то, что ты даешь, ты даешь не ради высокого наслаждения обогащать жизнь красотой мысли и слова, а гораздо больше для того, чтобы возвести случайный факт твоего существования на степень феномена, необходимого для людей». И сам Горький и его «маленький человек» несравнимо лучшие стилисты, чем это можно было бы думать, судя по высокопарности последней фразы. Нам, однако, важно самое содержание выказанного, а оно сводится к следующему. Есть два рода наслаждения, или, лучше сказать, есть две формы, под которыми в душе писателя отражается наслаждение литературным творчеством: наслаждение «обогащать жизнь красотой мысли и слова» и наслаждение чувствовать себя и свое творчество важным и «необходимым для людей». Эти два вида наслаждения разграничиваются здесь друг от друга в той же мере, в какой обогащение жизни не совпадает с обогащением людей. Какому из этих двух моментов отдается здесь преимущество — это воспринимается ясно: обогащение какой-то, выражаясь в модном стиле, над-людской или над-социальной жизни стоит здесь на первом плане.

Спешим уверить читателя, что мы отюдь не принадлежим к тем слово- и буквоедам, к тем Silben Klauber'am, которые за логическим содержанием, быть может, неудачно скомпонованной фразы забывают психологическое содержание сотни соседних фраз. Мы отлично знаем, что если бы пригласили на консилиум г. Ник. Бердяева, то его компетентный диагноз гласил бы: «маленький человек» слишком безнадежно торчит в болоте «плоского эмпиризма» и «плоского позитивизма», чтобы доработаться от шатких понятий субъективно-психологической социологии до вечных и общеобязательных норм гносеологически-объективной социологии с ее «надсоциальными» ценностями.

И тем не менее тут что-то «надлюдское» есть. Перейдем, в самом деле, от «маленького человека» к такому несомненному представителю плоского эмпиризма, как старик Маякин в повести «Фома Гордеев». В сто первом, можно сказать, варианте он следующим образом формулирует одну из основных своих *profession de foi* *. «А человек назначен для устройства жизни на земле... Пущен он в обращение и должен для жизни проценты приносить. Жизнь всему цену знает и раньше времени она ходу нашего не остановит... никто, брат, себе в убыток не действует, если он умный... а у жизни много ума накоплено...» От Маякина мы уже заодно спустимся несколько ниже — к Коновалову, к герою повести, озаглавленной его именем. Оценивая себя и себе подобных, т. е. людей, потерявших жизненные устои, выбитых из ее колеи босняков, этот Коновалов приходит к следующему выводу. «Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы перед собой и жизнью виноваты...»

Н. К. Михайловский уже отметил — и отметил, скажем мы, достаточно резко — то режущее несоответствие между стилем и интеллектуальным уровнем многих персонажей, которым так нередко страдают произведения Горького. Не подлежит никакому сомнению, что безграмотный или еле грамотный Коновалов не может употреблять таких сложных по своему интеллектуальному содержанию фраз, как фраза «сами мы перед собой и жизнью виноваты». И это тем более, что тут же рядом вы наблюдаете, как тот же Коновалов с заметным ожесточением борется со скудостью своего стилистического аппарата, в который никак не укладывается относительное богатство его внутренних переживаний и мыслей. Но мы уже сказали выше, что «свой стиль» предательски выдает своего обладателя при всяком удобном случае: чуть только вы, выражаясь вульгарно, заезжаете и, так сказать, забудете регулировать его — ваше «я» налицо. А в данном случае и высококультурный стиль «маленького человека», и заприлавочный стиль Маякина, и неурегулированный в должный момент стиль Коновалова говорят об одной и той же олицетворяемой жизни, которую нужно обогащать, которой человек должен приносить проценты, из которой нужно искоренять всех тех, что без пользы для нее занимают в ней место. Получается совершенно своеобразная те-

* символ веры (*фр.*). — *Ред.*

леология, не жизнь для человека, а человек для жизни. Другими словами, вместо вопроса о ценности жизни ставится вопрос о ценности человека. Ницше нужно было раньше пройти мучительный путь, о котором мы здесь говорить не можем, чтобы, добравшись до своей биодицеи, заняться уже оценкой человека. И эта оценка, в двух словах, сводится к следующему: человек ценен в той мере, в какой в нем заложены симптомы будущего, более высокого типа жизни. Произведения Горького не могут нам дать определенных ясных указаний о том пути, которым он дошел до своего восторженного утверждения жизни, до своей биодицеи. Но если бы даже неприлично щедрой рукой по всем закоулкам нашей и заграничной прессы не было рассыпано столько биографических сведений о Горьком, то и из самих его произведений читатель ясно воспринимает, что этот его восторг перед жизнью далеко не так прост и целен; что и его оптимизм, как это мы выше сказали об оптимизме Ницше, довольно сложной конструкции. Из дальнейшего нашего изложения читатель косвенно убедится в этом, теперь же мы видели, что глубокая, почти незаполнимая интеллектуальная пропасть, отделяющая Ницше от какого-нибудь Маякина или Коновалова, не поглощает того основного и неизменного эмоционального переживания, которое обще всем нам. На бесконечно разных языках они молятся одному Богу — жизни как таковой — и на тех же бесконечно разных языках они ставят вверх ногами обычную человеческую телеологию: оценке подлежит не жизнь для человека, а человек для жизни. С бесстрашием, не знаящим себе равного, Ницше в своей этике и социальной политике санкционировал все выводы, следующие из такой телеологии: свою ценную в себе самой жизнь, воплощенную во всем том, что имеет шансы быть «совершенным» (*Vollkommenes, zu-Ende-Gerathenes*), счастливым, могучим и торжествующим*, он с героизмом, достойным лучшего дела, защищал от всего слабого, бессильного и *eo ipso**, по его мнению, тянущего жизнь вниз, — и защищал тем ожесточеннее, чем больше он сам сомневался в будущих плодах своего героизма**. Другое дело

* следовательно (лат.). — *Ред.*

** Если мы сказали «с бесстрашием, не знаящим себе равного», то это не значит, что мы забыли Мандевиля и Штирнера⁷. Впрочем, от первого слишком заметно несет идеологом «лавочки» своей эпохи, чтобы он тут пошел в счет. Другое дело Штирнер, которого только нарочитое доктринерство может возвести в идеологи какой-нибудь «лавочки».. Он не меньше Ницше презирует эту послед-

наш Горький, который убежден, что «нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом интеллигент»; в нем самом, при всех необычных случайностях его биографии, слишком глубоко сидит этот русский интеллигент, чтобы он, подобно Ницше, мог последовать за своей телеологией. Все лучшие традиции нашей литературы, как и вся наша российская действительность, тесной, сомкнутой цепью стали бы ему поперек дороги. Но если в нем ни в какой, даже отдаленной степени нет страшного бесстрастия ницшевской последовательности, то местами он все-таки формально прорывался сквозь цепь, о чем и будет речь впереди. Предварительно же нам необходимо еще рассмотреть механизм этого зеркала, от которого мы получаем отражение кумира обоих наших писателей — а вместе с этим уже оформится и тот портрет, в котором присущий им строй чувств и настроений отливает этот кумир. Мы говорим о той уже общепризнанной черте творчества и Ницше, и Горького, которую определяют термином романтизм, не определяя, однако, содержания этого термина. А между тем, сделать это последнее мы в данном случае считаем совершенно необходимым.

Под романтическим строем чувств мы будем разуметь такой строй их, при котором тип человеческой жизни необыкновенно расширяется в сторону личного, индивидуального могущества, силы и красоты. В романтическом зеркале мир, жизнь отража-

нюю, а в бесстрашном радикализме своих выводов он идет дальше его. «*Mir geht nichts über mich* (для меня нет ничего, что стояло бы надо мною)» — так заканчивает он предисловие к своей книге, которому он уже и предпослал заглавие «*Ich hab'mein'Sach'auf Nichts gestellet* (т. е. задача и цель моей жизни не покоятся ни на чем, вне меня лежащем)». Мы видели, что Ницше мог бы, наоборот, сказать: «*Mir geht Alles über mich*» («Для меня все стоит надо мною» (нем.). — *Ред.*), раз оно чем-нибудь обогащает жизнь, а это значит, что уже между исходными принципами мировоззрений обоих этих философов лежит непроходимая пропасть, хотя бы они потом в некоторых пунктах и встречались. Вот почему, говоря о «бесстрашии» Ницше, мы в тексте не считали нужным вспомнить о Штирнере; вот почему также мы никоим образом не можем считать Штирнера «Ницшеанцем сороковых годов». Г. Михайловский отделил пункты расхождения в воззрениях Ницше и Штирнера, но мы, если бы пришлось, горячо защищали бы последнего от минуса, с которым он из его анализа вышел.

ются в виде арены, где сильная индивидуальность призвана проявлять всю сумму вложенных в нее возможностей начиная с ее безошибочных инстинктов и чувств и кончая ее самыми высокими социальными и этическими идеалами. Эти инстинкты, чувства и идеалы обыкновенно наделяются колоссальной интенсивностью — опять-таки в смысле того же личного могущества и силы. Если Карлу Моору⁸ нужно всего только двадцать таких голов, как он, чтобы превратить Европу в республику, перед которой побледнели бы Греция и Рим, — то не выпивший на этот раз ни одной рюмки водки сапожник Орлов чувствует в себе силу «необоримую! То есть, если б эта, например, холера да преобразилась в человека... в богатыря... хоть в самого Илью Муромца, — сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! — Ты — сила и я, Гришка Орлов, сила, — ну, кто кого»? Что эта сила и могущество обыкновенно самым тесным образом связаны с красотой — это вполне понятно и само собою разумеется: ведь они, в сущности, и представляют собою красоту. «Было дивно, красиво и мощно», — говорит рассказчик в «Емельяне Пиле», глядя на морской прибой. «Он полулежал в красивой, свободной и сильной позе», — говорится о Макаре Чудре. Даже сама жизненная правда для романтика, постольку лишь правда, поскольку она окрашена в мощь и красоту. Да иначе и быть не может. Романтик считает настоящей правдой жизни только ту правду, которая отвечает его, так сказать, расширенному строю чувств; действительную же, реальную ее правду он воспринимает как поклеп на жизнь, как ее неправду. Поэтому мы и видим у г. Горького, что закравшееся было у рассказчика сомнение в правдивости одного из рассказов Коновалова отстраняется следующим аргументом: «Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках и прильнувшую головой к широкой груди — это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа». Словом, для романтика, выражаясь терминами Н. К. Михайловского, важна не правда — истина жизни, а ее романтическая правда — справедливость; не реальная, подлинная жизнь, которая мелка, пошла, мала и урезана до ничтожества, а та жизнь, которая составляет содержание его собственного строя чувств, желаний, надежд и мыслей.

Всегда и везде весь вообще строй внутренних переживаний романтика поднимает его, можно сказать, неизмеримо высоко как над строем современных ему социально-политических условий жизни, так и над теми его современниками, к которым можно предъявлять какие-нибудь определенные требования.

Питая ненависть к первым, он презирает вторых, которые прежде всего и раньше всего представляются ему людьми жалкого и слабого строя инстинктов и чувств, рабскими натурами, лишенными той героической окраски, при которой жизнь есть непрерывный ряд подвигов в столь же непрерывной борьбе за проявление своей индивидуальности. Мало того. Так как всякая организованная форма общежития по самому существу своему, враждебна тому мощному проявлению индивидуальности, о котором мечтает человек с романтическим строем чувств, то он и вообще готов убежать за тридевять земель от всякого организованного общежития. В исторической же перспективе ему безусловно должно казаться, что, по мере того как мы отодвигаемся в прошлое, самый тип жизни становится неизмеримо менее урезанным, а стало быть, и неизмеримо многограннее и интереснее: здесь все неизведанно, страшно и угрожающе, так что всякий опыт в ней есть уже до некоторой степени подвиг, а между тем личности предоставлен огромный простор. В силу такой исторической перспективы взоры романтиков всех времен и народов обращены к прошлому. Это прошлое сильно, грандиозно и красиво; настоящее мелко, пошло и обыденно; будущее же, если оно конструируется романтиком, то конструируется оно по типу прошлого. Когда Коновалову прочитывают сцену пыток и смерти Стеньки Разина, то он (очевидно, имея в виду всю эту эпоху, когда, несомненно, жить было страшно) приходит к такому выводу: «А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься, можно было душу отвести. Теперь вот тишина и смиренность... порядок.. Ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смиренная жизнь теперь стала. Книжки, грамота...» Эта «смирная» жизнь приводит романтика Ницше в бешенство — и нет того позорного клейма, которым он не клеймил бы ее. Всю нашу современную культуру, стремящуюся облегчить жизнь всех людей при помощи, между прочим, тех же книжек и грамоты, он считает идеалом «лавочников... женщин, англичан и всякого рода демократов». В своей «*Götzendämmerung*» он без всяких обиняков заявляет, что смягчение нравов есть результат декаданса жизни; наоборот, жестокое и страшное в нравах (*die Harte und Schrecklichkeit der Sitte*) может служить признаком «восходящей» жизни, признаком избытка жизни*.

* Ницше хотел бы, чтобы эту мысль считали его «новостью» (*das ist mein Satz, das ist, wenn man will, meine Neuerung*) (это — мой тезис, это, если хотите, мое новшество (*нем.*). — *Ред.*). Он, однако,

Изложенные нами основные черты романтизма могут варьировать до бесконечности, смотря по месту и времени, где и когда он вызван к жизни. Представляя собою, с общественно-политической точки зрения, противовес определенным общественно-политическим и литературным течениям данного места и времени, он может быть реакционен, может быть прогрессивен, смотря по тому, с чем он борется. Но его психологическое, мы сказали бы — психическое, содержание покрывается в общем тем портретом романтика, какой мы только что пытались набросать.

Обращаясь с этим портретом к произведениям Ницше и Горького, посмотрим теперь, как они относятся к той подлинной, реальной жизни, которая составляет ее правду-истину.

Мы уже имели случай упомянуть, что г. Горький (по крайней мере, лицо, от которого ведется рассказ «Коновалов») «еще более» убедился в правде рассказанного ему эпизода только потому, что этот эпизод вызвал в нем переживание чего-то красивого, и, как это легко подразумевается, мощного. Тот же Коновалов, несомненно, с полного согласия и сочувствия автора, прямо заявляет: «Иной раз вранье лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем рассказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо...» Если вы примете во внимание, что здесь «соврать» не означает обмануть кого-нибудь с какими-нибудь корыстными целями, а обставить и себя, и пережитое в обстановке так или иначе расширенной жизни, то мы и здесь получаем очень характерную

жестко ошибается. Фанатик энергичной и могучей индивидуальности — Стендаль в полуироническом тоне, но очень серьезно по существу, говорит: «En nous otant les perils de tous les jours, les bons gendarmes nous otent la moitié de notre valeur réelle. Des que l'homme échappe au dur empire des besoins, des qu'une erreur n'est plus punie de mort, il perd la faculté de raisonner juste et surtout celle de vouloir» (Memoires d'un touriste. I. 99—100) («Лишая нас ежедневного переживания опасности, добрые жандармы отнимают у нас половину нашей значимости. Как только человек примиряется с необходимостью ограничения своих естественных потребностей, как только за ошибки больше не нужно расплачиваться жизнью, он теряет способность здраво рассуждать и, особенно, способность желать» (Воспоминания путешественника. I. 99—100) (*фр.* — *Ред.*). Подчеркнутое нами выражение особенно ярко указывает на сходство в самом психологическом содержании мыслей Ницше и Стендаля. Недаром же Ницше так высоко ценил Стендаля, — которого он называет «последним великим психологом (*die-ser letzte grosse Psycholog*)».

черту романтического строя чувств: «Wage du zu irren, und zu traumen» *, лишь бы хоть на минутку выйти вон из удушливого смрада заурядной обыденщины, лишенной всяких признаков того, что на языке Ницше называется «стилем» жизни. Г. Горький не раз высказывался в том смысле, что проникновение в правду-истину жизни деморализует людей, убивает в них всякую жажду, а, пожалуй, и всякую возможность проявления того героического и ищущего подвигов, с изображения которого он не случайно и начал свою писательскую карьеру. Недаром же будущий сумасшедший Кравцев («Ошибка») полагает, что мы еще «не настолько психически окрепли, чтобы без вреда для себя до конца выслушивать правду», и он тут же задает одним из бесчисленных ницшевских вопросов: «Кто знает, может быть, высшая истина не только не выгодна, но и прямо-таки вредна нам»? Психологически неизбежна отсюда та *profession de foi* писателя Горького, которую он вкладывает в уста упомянутого уже нами «маленького человека». Отрицательно он выражает эту *profession de foi* следующим образом: «Твое перо слабо ковыряет действительность, тихонько ворошит мелочи жизни, и, описывая будничные чувства будничных людей, ты открываешь их уму, быть может, и много низких истин, но можешь ли ты создать для них хотя бы маленький, возвышающий душу обман?» Ставя литературе цель — вызывать в людях стыд, гнев, мужество и «злое отчаяние», он ясно высказывается в том смысле, что так называемый художественный реализм с его подлинной правдой жизни не только не способствует этой цели, но и прямо-таки идет вразрез с нею. «Ускорить биение пульса жизни» и «вдохнуть в нее энергию» может только красивый и могучий вымысел — так можно формулировать литературное *credo* ** «маленького человека», и вот этот-то вымысел и будет правдой жизни, но той жизни, которая еще должна быть создана, в сторону которой обращены все его взоры, которая заполняет почти все поле его сознания.

На своем, так сказать, лесном *** языке Варенька Олесова высказывает те же мысли. Реализма русской художественной литературы она не выносит прежде всего потому, что за русской книжкой никогда «не забудешь о настоящей жизни», которую он как раз и жаждет хоть на время вытравить из сферы своих переживаний. А затем «у нас герои — простые человек-

* «Имей смелость заблуждаться и мечтать» (нем.). — *Ред.*

** убеждение, кредо (лат.). — *Ред.*

*** Автор вводит нас в один из далеких лесных уездов Приволжья.

ки, без смелости, без пылких чувств, какие-то некрасивые, жалкенькие — самые настоящие люди и больше ничего. Почему они герои?» — с негодованием спрашивает она. Другое дело французские романы. Те производят на нее чарующее впечатление. Здесь она расстается с «настоящей» жизнью и «настоящими» людьми; здесь широко раздвигаются рамки ее индивидуальности и высоко поднимается весь тонус ее переживаний; здесь она живет в сфере той жизни, к которой можно бы применить ниц-шевский термин — жизни «тропической». Здесь тропически любят, тропически ненавидят, а если нужно, то умно и сильно «плетут разные ехидные сети, убивают, отравляют», причем, как это само собой подразумевается, умеют за это и расплачиваться. Если вы оставите в стороне самое содержание подобного рода высказываний — все эти сети, отравления и убийства, — то тип их ясен: это — жажда вымысла, который ускорил бы «биение пульса жизни» хотя бы на миг один.

Как же, спросим мы теперь, относится и должен относиться г. Горький к тому методу объяснения жизни личной и процесса жизни общественной, который можно назвать детерминистическим? Мы считаем при этом излишним пояснять, что этот вопрос самым непреложным образом вытекает из только что сказанного об отношении г. Горького к подлинной, реальной действительности жизни.

Вспомним прежде всего одну из сцен суда над проституткой Верой (в повести «Трое»), которую обвиняют в воровстве. Во время следствия защитник много расспрашивал Веру о ее прошлом и, по-видимому, вместе с нею нашел ту точку этого прошлого, где она стала жертвой «среды и условий». Задача защиты облегчается в том смысле, что при суждении о степени вменяемости вины совесть присяжных, несомненно, примет же во внимание историю жизни подсудимой. И вдруг на суде эта последняя самым нелепым образом переворачивается, что называется, все вверх дном: «ничего не заставляло» ее жить так, как она жила: ничего ему, защитнику, неизвестно; все это он сам выдумал. Что автор больше сочувствует ее выходке, чем всем стараниям защитника — это воспринимается ясно. Он словно заставляет Веру протестовать против того принижения ее активной личности, ее, если можно так выразиться, волевой индивидуальности, которое она, несомненно, почувствовала в тактике защитника. Хотел или не хотел этого г. Горький, удобный или неудобный случай он выбрал, — свое он должен был сказать: ценность человека — в его ответственности, в его го-

товности к ней. Свобода, глубоко парадоксальничает Ницше — это «жажда ответственности» (*Wille zur Verantwortlichkeit*)*; и нужно было бы не прочесть ни одного произведения г. Горького, чтобы не знать, что и его понимание свободы, по своему психологическому, мы готовы сказать, эмоциональному, содержанию, сводится к тому же *Wille zur Verantwortlichkeit*.

Более определенный и далеко ярче выраженный ответ на поставленный нами вопрос дает нам все тот же Коновалов. В своих разговорах с лицом, от которого ведется рассказ, он не раз затрагивает ряд вопросов, сущность которых можно свести к потребности выяснить себе те причины, в силу которых он, Коновалов, очутился босяком вне жизни, который не имеет своей «точки», своего «внутреннего пути», жизнь которого не имеет своего «оправдания». Все это выражено той путаной коноваловской стилистикой, которая не может оформить ни чувств, ни мыслей, на почве которых такие вопросы зарождаются. Однако читатель ясно видит: чем, собственно, мучается Коновалов, и сочувственно следит за тем, как перед этим последним развертывают картину «условий» и «среды», в силу которых Коноваловы отслаиваются от общего течения жизни и даже не могут не отслаиваться. Но скоро выясняется, что все эти «жалостливые» объяснения при свете «условий» и «среды» самым позорным образом отскакивают от простого, но прочного сознания, которое Коновалов имеет в своей свободной воле, о своей ответственной личности, которая одна и должна быть тем кузнецом, который кует ее жизнь. Рассказчик, ехидничая, хотя и не особенно тонко, и над собой, и над читателем, заявляет: «Я вздрогнул от сладкого предчувствия награды за свою речь». Коновалов же, с едва ли сознаваемой им иронией над интеллигентом и хорошими книжками, говорит ему: «Как ты, брат, легко рассказываешь насчет всего этого! Откуда только тебе все эти дела известны? Все из книг? А и много же ты читал их, видно... книг-то! Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно. Все люди друг друга винят в своих незадачах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит по-твоему, что человек-то сам по себе и не виновен ни в чем, а написано ему на роду быть босяком — ну, и потому он босяк. И тоже вот насчет арестантов очень чудно: воруют пото-

* А гг. «ницшеанцы» и по сей час еще наивно полагают, что, по Ницше, свобода есть дебош безответственных appetitов, в чем бы эти последние ни проявлялись.

му, что работы нет, а есть надо... Как все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, на сердце-то!..» Это «слабое сердце» встречается у г. Горького не раз и, несмотря на вариации в оттенках, оно всегда именно и означает слабо развитую волевую индивидуальность человека и отсутствие твердого сознания ответственности как за себя, так и за всю окружающую жизнь. На длинную красноречивую лекцию приват-доцента Полканова, по существу сводящуюся к тем же «условиям» и «среде», Варенька Олесова с такой несознаваемой иронией и в том же духе отвечает: «Как вы хорошо говорите!.. Неужели в университете все могут так говорить?» Но самое содержание лекции отскакивает от нее так же безнадежно, как и от Коновалова: и для нее связанный, социальный человек — пустой звук, а свободная, чувствующая прежде всего самое себя личность — все.

Читатель, знакомый с произведениями г. Горького, легко убедится, что во всех этих случаях мы имеем перед собою лишь варианты того, что высказано было г. Горьким почти в самый момент его выступления на литературном поприще. В своей сказке «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины», написанной в 1892 г., он уже сопоставил окрыляющий вымысел Чижа с детерминистической истиной Дятла, вооруженной «фактами в руках», — и уже тогда оказалось, что именно вымысел зажег в сердцах всех птиц «гордость собой», а лес огласился восторженным: «Вперед!» Что же лежало в основании этого вымысла? На этот вопрос отвечает нам Чиж. Он призывает своих птиц бороться, побеждать и заслужить право сказать себе: «Все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий». И самую возможность этого-то права и разрушил Дятел «с фактами в руках».

Для нас теперь ясно, что г. Горький с негодованием должен относиться ко всякому детерминизму, в какой-нибудь степени подрывающему веру в творческую роль сильной своею верою личности. «Он, Дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья и не позволяет высоко взлетать на небеса». Если бы г. Горький написал свою социологию или философию истории, то его романтический строй чувств уделил бы творческой роли могучей личности не менее высокое место, чем уделил ей Карлейль: его социология тоже свелась бы к истории «героев и героического», она была бы в этом смысле социологией героической.

Творящий философ Ницше, его законодатель в области морали (понимая это слово в ницшевском смысле) и есть центральная фигура такой социологии, вернее, философско-истори-

ческой концепции *). В литературной деятельности Ницше был короткий период, когда он глубоко присущий ему романтический строй чувств втиснул в трещавшую по всем краям рамку позитивистской идеологии. Но если исключить этот период, то с самого возникновения научного мышления европейская культура вряд ли видела другого мыслителя — который с такой страстью, с таким, можно сказать, героизмом боролся бы против того детерминизма, правда которого «не позволяет высоко взлетать в небеса» и «камнем ложится на крылья» творческого могущества личности (при этом, само собой разумеется, что у Ницше речь идет о личности избранной, призванной творить, но никак не о личности вообще). Эта борьба проходит красной нитью через весь цикл произведений, следовавших за позитивистским периодом его мышления, — произведений, именно и вызвавших собою ту волну в умственных течениях нашей современности, которую обозначают словом «ницшеанство». Но читатель не должен представлять себе дело в таком виде, будто Ницше просто-напросто капризно заявил, что нет никакого на свете детерминизма и что вместо этого последнего он декретировал свое *sic volo*. О, нет! Уже в качестве ученого филолога он слишком хорошо понимал всю неустранимость того цикла идей, который связан с понятием «детерминизм». К тому же, как мы только что сказали, его романтический строй чувств прошел через обуздывающий пресс позитивного мышления, и сколько бы у него в этом мышлении не было трещин — школа все-таки была пройдена. Но, расставшись с этой школой, он стал — употребим его же выражение — «интерпретировать» ее истины, и нет такой нелепости, до которой он временами не доходил бы в этой интерпретации: порой вам может показаться, будто вы беседуете с каким-нибудь князем Мещерским⁹ (да простит нам тень Ницше такое вульгарное сравнение). Для нас здесь интересна та интерпретация, какой он подвергает дарвинизм в его теории борьбы за существование, а потому мы на ней только и остановимся.

В ученом, заявляет Ницше, всегда можно узнать его происхождение. Сын какого-нибудь, скажем, регистратора или кан-

* Слово «мораль» у Ницше означает, собственно, всю совокупность социально-политической жизни людей. Его философы, устанавливающие нормы в области морали, устанавливают их и во всех других областях — «sei es im Reiche des Logischen, oder des Politischen, oder des Künstlerischen» (перевод: «будь то в области логики, в области политики или художественного творчества (нем.). — *Ред.*).

целярского писца, всю жизнь свою приводившего в «порядок» бумаги, сделавшись ученым, будет следовать методу своего отца: он будет считать свое дело сделанным, свою проблему решенной, если он привел ее в «порядок», если он ее схематизировал. До дальнейшего ему почти нет дела. Ученого сына какого-нибудь протестантского пастора вы сейчас узнаете по той наивной уверенности, с какой он смотрит на данную проблему, как на решенную именно в тот момент, когда лишь выдвигаются все трудности ее решения: он привык, чтобы ему верили, как верили прихожане его отцу. Обращаясь к естествоиспытателям, Ницше решает, что большинство их, вероятно, происходит из низших слоев населения: «Sie gehören... zum "Volk"» *, — говорит он презрительно. На примере своих собственных предков, отдаленных и ближайших, они знают, как трудно выбиться из темноты и бедности, какую борьбу нужно выдержать, чтобы отстоять свою жизнь. От всего дарвинизма несет английским перенаселением и затхлым, спертым воздухом тесноты и нужды, в которой ютятся низшие слои населения **. Отсюда и дарвинистская борьба за существование.

А между тем в природе, продолжает он, царствует не нужда, а, наоборот, избыток, расточительность, даже безумная расточительность, так что борьба за существование является временным исключением, а не правилом. Действительным же объектом борьбы является могущество, власть, перевес и, как он еще выражается, «рост и расширение». Таким образом, «демократический» инстинкт самосохранения интерпретируется в смысле аристократического (а с нашей точки зрения — романтического) инстинкта властвовать, а жажда жить разрешается в жажду власти, могущества и силы (*Wille zur Macht*). Что же касается дарвиновской борьбы за существование, то она и логически, и по существу разрешается в борьбу «притязаний» на эту самую власть и силу, — в борьбу, которая столь же всеобща, тиранически беспощадна, неумолима и безжалостна, как и борьба за простое существование.

* Вы вышли... из «народа» (нем.). — *Ред.*

** «Um den ganzen englischen Darwinismus herum haucht etwas wie eng-lische Übervölkerungs-Stickluft, wie Kleiner-Leute-Geruch von Noth und Enge» («Jens. Gut u. Böse». S. 37) (перевод: «Вокруг всего английского дарвинизма ощущается дуновение спертого воздуха английского перенаселения, подобного запаху людей из низших слоев населения, живущих в тесноте и нужде» («По ту сторону добра и зла». С. 37). — *Ред.*).

Какое же, спросим мы теперь, место занимает в этой романтической поэме*, озаглавленной «Wille zur Macht», весь тот цикл идей и понятий, который связан с понятием о детерминистической закономерности? Тут Ницше опять интерпретирует. Современное понятие о закономерности, по его толкованию, есть продукт плебейской вражды ко всему привилегированному и лично совершенному, ко всему тому, что внутренне, инстинктивно чувствует себя вне обычных норм и законов. Оно есть результат стремления к равенству не только в общественной жизни, но и в жизни самой природы. *Ni dieu, ni maitre* ** — вот его лозунг. В это плебейское понимание детерминизма Ницше и вносит свою поправку, свою интерпретацию.

Да, соглашается он: можно сказать, что все течение мирового процесса «необходимо» и «поддается учету» (*einen «nothwendigen» und «berechenbaren» Verlauf habe*), но это имеет место не потому, что в мире царствуют какие-нибудь законы, а, наоборот, потому, что в нем «абсолютно» отсутствуют какие бы то ни было законы. Однако один закон он все же оставляет в этом беззаконном мире — а именно, закон, в силу которого всякая без исключения сила во всякий данный момент необходимо доводит все свои стремления до последних, вытекающих из них следствий. Отсюда мы получаем другую романтическую поэму, заглавие которой будет «закономерность воли к могуществу» ***. Вот эта-то закономерность — закономерность воли

* Статья наша уже была закончена, когда мы в январской книжке «Русск<ого> бог<атства>» прочли статью Фулье «Ницше о Гюйо». Фулье называет «Эпопеей» все здание, построенное на ницшевском принципе «Wille zur Macht» («Воля к власти» (*нем.*). — *Ред.*), причем и он подчеркивает ту роль, которую сыграло здесь «романтическое понятие о силе». Но мы радикально расходимся с Фулье в оценке причин популярности мыслей Ницше: их «косолопастость» и «горбатость» не могли бы так сильно привлечь «толпу», если бы не было причин более глубоких, о чем мы ниже еще скажем несколько слов.

** Ни бог, ни герой (*фр.*). — *Ред.*

*** Маленькое пояснение для читателей, не знакомых с основным характером произведений Ницше. Все эти «интерпретации» отнюдь не носят характера положительных высказываний; еще меньше они обставляются какими-нибудь доказательствами. Здесь, как и в огромной массе других случаев, Ницше ставит свои «роковые» вопросы, — свои то «*Verhängnisvolle*», то «*grosse Fragenzeichen*» (перевод: то «роковые», то «большие вопросительные знаки» (*нем.*). — *Ред.*).

к силе, могуществу и власти — действительно проникает всю природу и не терпит никаких исключений*.

Создав себе, таким образом, свой собственный детерминизм, из того материала, какой дает ему его собственный романтический строй чувств, переведенный на язык современного научного мышления, Ницше конструирует свою собственную социологию и свою собственную биологию, о которых мы здесь, конечно, говорить не будем. Скажем только, что его закономерность «воли к могуществу» и представляет собою один из самых глубоко заложенных камней того фундамента, на котором вырос весь его апофеоз всемогущей индивидуальности, аристократического философа-законодателя, его Заратустры, его «сверх-человека». Этот философ должен порождать свои идеи и мысли (иначе говоря, свою правду) из своих собственных мучений и оделять их своей «кровью, сердцем, душевным огнем, радостью, страстью, мучением, совестью, всей судьбой своей». Тип мышления самого Ницше, как это мы видели выше из слов Лу-Андреас-Саломе, и представляет собою тип мышления именно такого философа. И вот почему, заметим мы мимоходом, всякая систематичность мышления казалась ему недостатком честности мышления, а Д. С. Миллю¹⁰ он дает краткое определение — «оскорбляющая ясность (*die beleidigende Klarheit*)».

Мы видели выше, как Коновалов воспринимает все объяснения жизни, какие дает ему его собеседник, — объяснения, в которые не внесены нищевская личная совесть, личные мучения, личный огонь: он называет их «жалостливыми» словами, идущими от «слабого сердца». Поэт Беньковский в «Вареньке Олесовой» затевает с приват-доцентом Полкановым спор, содержание которого, по существу, сводится к тому же изысканию «своей точки», к тому же вопросу об «оправдании» жизни, причем, конечно, объем вопросов, как и самая формулировка их, применены здесь автором к интеллектуальному уровню собеседников, и вот этому-то Беньковскому беспристрастные детерминистические ответы положительной науки кажутся насмешкой «над тем, кто страстно и искренно ищет ответов на

* При некотором знакомстве с основоположениями шопенгауэровской метафизики природы, читатель в только что изложенной концепции, конечно, узнает в Ницше бывшего глубоко преданного «апостола» Шопенгауэра. Глубоко прав поэтому проф. Файгингер, определяющий учение Ницше как «перевернутую в положительную сторону философию Шопенгауэра».

тревожные вопросы своего духа». По его мнению, «рабы разума» ограбили «душу жизни», отняли у нее «великие подвиги любви и страдания», — и «вот охладела она и умирает больная и нищая!», между тем как и сами торжествующие «рабы разума» в конце концов не имеют ничего уверенного, достоверного *. Читатель видит, что мы и тут имеем дело все с тем же коноваловским негодованием против пассивного «слабого сердца», черпающего свою пассивную правду не из своей собственной крови, не из своих собственных мучений, а из холодных источников научного анализа. Со своей стороны, Ницше, формулируя свое отношение к этим двум типам искания правды, со свойственной ему страстностью восклицает: «Но что мне в доброте, чуткости и гениальности человека, если рядом с этими достоинствами он терпит в своей душе слабые чувства (*schlaffe Gefühle*) в области верований и убеждений; когда потребность в полной достоверности не составляет у него внутренней жгучей нужды, отличающей высшего человека от низшего!»

Непреодолимая внутренняя потребность иметь свою собственную правду жизни, вместо той детерминистической правды ее, какую дают нам «рабы разума», — таков основной мотив, который проходит через все произведения обоих наших писателей, как ни глубока та интеллектуальная пропасть, которая отделяет эти произведения в смысле объема и содержания. Красками этой-то правды оба они и рисовали тот портрет боготворимой ими жизни и достойного ее представителя — свободной и сильной индивидуальности, который составляет наиболее популярный пункт всего их творчества.

Н. К. Михайловский уже отметил жадность героев Горького к жизни, и образным выражением этой жадности могла бы послужить та тысяча торб, в которую Макар Чудра не берется уложить бумаги, на которой была бы описана его жизнь. Представители всей портретной галереи г. Горького начиная с Макара Чудры и кончая Нилом («Мещане») обуреваемы этой жадностью в той же сильной степени, в какой боготворит эту жизнь их автор. Наряду с этой жадностью, не отступая от нее, можно сказать, ни на шаг, идет другая основная черта их ха-

* В «Jens. von. Gut u. Böse» Ницше тоже называет объективного ученого «рабом» (*ein Stuck Sklave*), хотя, конечно, рабом высшего порядка (*die sublimste Art des Sklaven*).

рактера — либо полное отсутствие рефлексии, либо ожесточенная ненависть к ней. Если Макар Чудра говорит: «Ты бегай от дум про жизнь, чтоб не раз любиться», то и Нил в других формулировках выражает ту же мысль. «Гуща жизни» и рефлексия, сознательность или взвешивающее размышление — это два несовместимых понятия. И чем ниже по своему интеллектуальному развитию данный представитель галереи, чем, следовательно, слабее взвешивающее его размышление, — тем полнее и интенсивнее его жизнь, тем его «жадность» полнее насыщается. Это чувствуется почти на каждом шагу, это видно при самом даже беглом сравнении того чувства интенсивности жизни, которое вызывает в читателе, с одной стороны, хотя бы тот же Нил, а с другой — такие пожиратели жизни, как Челкаш, или Сережка («Мальва»), или старуха Изергиль, или, наконец, Кузька («Тоска»), которому мельник завидует «за его умение жить, за его уверенность в своей правоте», за его умение следовать *bejahenden Instinkten**, как сказал бы Ницше. Быть может, именно поэтому-то г. Горький для художественного воплощения типа интенсивной жизни прежде всего обратился к сказке. Иначе нельзя назвать его первый рассказ «Макар Чудра», где читатель все время чувствует себя в полусказочной обстановке, настолько далекой от привычной для нас обстановки реальной жизни, что и люди и их поступки почти с первой же страницы отодвигаются в какое-то далекое прошлое. Здесь, как и в «Старухе Изергиль», это ощущение прошлого усиливается еще тем обстоятельством, что мы имеем дело с людьми, не признающими рамок культурной, цивилизованной жизни: это вольные кочевники, живущие вне давления законов какой-либо определенной формы общежития. Этого и следовало ожидать, сообразно тому, что мы сказали выше: всякий романтизм, в своих поисках за сильной пульсацией жизни, либо обращается к прошлому, либо красками прошлого рисует настоящее.

Характерно, что как в «Макаре Чудре», так и в других, наиболее романтических произведениях Горького, на первый план, с первой же строчки, выступает определенный и неизменный символ — море. «С моря дул влажный и холодный ветер», «Я слышал эти рассказы... на морском берегу», «Море смеялось», «Море дремлет» — так неизменно начинаются все его рассказы. Для изображения обыкновенной природы у него почти нет красок. Там же, где он ее описывает, там эти описания, по силе сообщаемых ими дум и настроений, не только не-

* утверждающим инстинктом (нем.). — Ред.

измеримо ниже описаний природы у таких первоклассных мастеров пейзажа, как Тургенев или В. Г. Короленко, но вы их вообще не замечаете. Зато море у Горького во многих случаях превращается в живое действующее лицо рассказа, которое как бы призвано вызвать в вас предчувствие той необозримой, свободной и мощной жизни, которую живут или о которой мечтают другие действующие лица. «Увлекательна была красивая храбрость передовых волн, задорно прыгавших на молчаливый берег, и хорошо было смотреть, как вслед за ними спокойно и дружно идет все море, могучее море, уже окрашенное солнцем во все цвета радуги и полное сдержанного сознания своей красоты и силы». На таком или приблизительно таком фоне перед вами и разворачивается та сильно пульсирующая, могучая в своей стихийности жизнь, которую изобилуют все эти романтические рассказы.

Мы здесь не можем заниматься рассмотрением хотя бы даже отдельных картин этой жизни, что совершенно не входит в рамки нашей работы. Но на одном эпизоде мы все-таки остановимся — на эпизоде любви Лойко и Радды в том же «Макаре Чудре». Для романтического строя чувств, жаждущего во всем проявления силы и красоты, — красоты хотя бы и дико-трагической, — любовь должна быть самым ярким воплощением и той, и другой. Это — роковое, стихийное и страшное в этой своей стихийности чувство, где границы безумного боготворения и смертельной ненависти могут совпасть в любой данный момент. Старый цыган, говоря о том, что табор не решался вмешиваться в отношения Лойко и Радды, дает такой образ этой любви: «Когда два камня друг на друга катятся, становятся между ними нельзя — изувечат». В самом рассказе, как известно, камни, действительно, докатились друг до друга, и удар оказался смертельным для обоих: Лойко убивает боготворимую им Радду, причем боготворящая его, в свою очередь, Радда «вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно: “Прощай, Лойко! Я знала, что ты так сделаешь!”» Почти в ту же минуту к ногам убитой им Радды падает от того же ножа и Лойко, которого убивает отец ее.

Когда Ницше выздоровел — будем говорить его языком — от одной из своих болезней — от Вагнера, он в противовес ему выдвинул Бизе, автора оперы «Кармен». По-видимому, он пришел в восторг не столько от музыки оперы, сколько от содержания этой последней. «Наконец-то, — восклицает он: — вот настоящая любовь — любовь, опять переведенная в лоно при-

роды! Не любовь “вышей девы”, не сентиментальности, но любовь, как фатум, как фатальность, циничная, невинная, жестокая — и в этом именно природа! Любовь — война в своих средствах, а в основании смертельная ненависть двух полов!» И он не знает лучшего, более яркого изображения «трагической шутки» любви, чем, действительно, глубоко трагическое финальное признание дона Хозе: «Да, я убил свою боготворимую Кармен!»

Само собой понятно, что для Ницше такое понимание любви и есть единственное понимание, достойное философа, который хорошо знает основания и средства этой своеобразной войны. Если, однако, мы, как это мы сделали выше в других случаях, отбросим философское покрывало в сторону, то за этим покрывалом окажутся те же катящиеся друг на друга камни, — то же стихийное, могучее и страшное в своей трагической красоте чувство, изображение которого мы только что видели у г. Горького: под различными «философиями» скрывается здесь один и тот же типичный романтический строй мировосприятия. Для нас лично нет никакого сомнения, что, доживи Ницше до наших дней, — настоящее «философское» понимание любви оказалось бы для него далеко рельефнее изображенным в лице Лойко и Радды, чем в лице героев оперы «Кармен» *.

Мы просим читателя простить нам это почти невольное уклонение в сторону, и возвращаемся к той черте характера героев г. Горького, которую мы определили, как полное отсутствие рефлексии или ожесточенную вражду к ней.

«Проходимец» Промптов, у которого «ум и чувство едино суть», совершенно заратустровским стилем заявляет: «зубы моей совести никогда у меня не ныли... Не царапал я моего сердца когтями моего ума». Эта цельность психической жизни, этот мир ума и чувства, эта полная уверенность в своих инстинктах, как у г. Горького, так и у Ницше, служат неотъемлемым признаком расы, породы. Носит в самом себе оправдание своим сильным инстинктам, которыми всегда вооружена жад-

* Хотя мы и не занимаемся здесь специально изложением ницшевской философии, мы все же считаем нужным заметить, что сказанное отнюдь не составляет выражения всего взгляда Ницше на любовь. В «J. v. G. u. B.» тот же Ницше заявляет: «Вот самые непорочные слова, какие когда-либо слышал: *dans le veritable amour c'est l'âme qui enveloppe le corps*» (в настоящей любви душа телесна (фр.). — *Ред.*). Но это только другая крайность: палка романтизма, если можно так выразиться, перегнута здесь в противоположную сторону.

ность к жизни всякого сильного человека и к которым не имеет никакого доступа расслабляющее сознательное их взвешивание, — таков признак здоровья, красоты и силы, на которых у г. Горького вырастает «безумство храбрых», а у Ницше «свободный человек — воин». Насколько строю чувств обоих при- сущее преклонение перед идолом — жизнью, настолько же им обоим присуща ненависть ко всему тому, что умаляет силу и обаяние этого кумира, — и одно из первых мест занимают здесь именно те «когти ума», о которых говорит Промптов. Не трудно видеть, что мы здесь, в сущности, имеем дело с вариантом указанного нами выше отвращения наших романтиков к «рабам разума». Здесь это отвращение переносится лишь в область индивидуальной психологии — к той стороне ее, которую обыкновенно называют рационализмом или интеллектуализмом, желая вообще указать на преобладание в психике элементов рефлексии над элементами эмоциональными. Файгингер так и называет Ницше анти-интеллектуалистом, — и уж, конечно, после Руссо никто из европейских мыслителей не заслуживал этого эпитета в такой степени, как именно Ницше.

В его глазах Сократ был первый рационалист в этике, первый, кто построил этику не на единственной данной нам реальности — на желаниях и инстинктах, а на «диалектике», первый, кто поставил «нелепое» равенство: разум = добродетели = счастью, — и этот Сократ был для него первым провозвестником декаданса жизни, первым разрушителем античной полноты жизни, античного ее стиля*. Но Сократ только первый в ряду. Ницше не останавливается и перед тем, чтобы и вообще всех «мудрецов» считать людьми декаданса, а самую мудрость — «тем вороном, который всегда появляется там, где чует добыча, где что-нибудь гниет». Он, можно сказать, бесконечное число раз, в бесконечном числе вариантов повторяет эту свою основную мысль, свое, сказали бы мы, основное ощущение, — и всегда и везде он приходит к тому, что сознательность, взвешивающее размышление над своими пробуждениями, сознание (*das Bewusstseinssein, das Sich-Bewusst-Werden*) суть самые верные разрушители жизни, самые безошибочные симптомы ее декаданса. Они коренятся не в жизни самой индивидуальности как таковой, а привнесены в нее как результат жизни в обществе, в «стаде», под давлением известных норм общежи-

* «Mit Socrates, — говорит он, — schlägt der griechische Geschmack zu Gunsten der Dialektik um» (перевод: «Сократ ниспровергает греческий вкус к жизни ради диалектики» (*нем.*). — *Ред.*).

тия. Эти нормы поминутно требовали, чтобы человек был настороже против своих побуждений и инстинктов, а человек так же поминутно забывался, — и тогда пытки, огонь, топоры, колеса излечивали его от такой забывчивости. «Ах!, — восклицает он: — этот “разум”, эта серьезность, это господство над своими аффектами, вся эта мрачная способность “размышлять (Nachdenken)”, все эти преимущества человека и предметы его тщеславия — как дорого они ему стоили! Сколько крови и ужасов (Grausen) заплачено за это “хорошее дело”!». Для Ницше получился из всего этого один только результат: индивидуальность человека, вышедшая из этой школы, знает себя только со стороны, так сказать, «стадной» части своего существования и своей натуры, в которой она и утонула. Самый мир, рассматриваемый сквозь очки этой сознательности, бледнеет в своих красках и бледнеет в своем содержании. Сознательность, наконец, становится болезнью, как это, по его мнению, доказывают своим примером сознательнейшие европейцы*.

В числе факторов, вызвавших эту болезнь, государство, по мнению Ницше, играет первенствующую роль. В докультурном человеке, еще не прирученном и не посаженном в железную клетку государственности, вся гамма жизни личности, без малейшего вмешательства рефлексии, изживалась вся, без остатка, всеми побуждениями, какими только она способна была пульсировать. Государство, наложив узду на эти побуждения и почти остановив их пульсацию, вогнало их внутрь посаженного в клетку человека — и тогда «наступило время мыслить, заключать, рассчитывать, комбинировать причины и следствия и т. д. Вместо того чтобы проявляться во вне, иметь свою

* Вильгельм Виганд в своей книге «Nietzsche u. seine Weltanschauung» («Ницше и его мировоззрение» (нем.). — *Ред.*) высказывает мысль, что Поль Бурже был одним из тех писателей, которые наиболее сильно повлияли на Ницше. Не разделяя решительности такого заявления, мы, со своей стороны, все же считаем интересным сопоставить эту мысль Ницше со следующими словами Бурже: «C'est probablement une loi que les sociétés barbares tendent toute leur force à un état de conscience qu'elles decorrent du titre de civilisation, et qu'à peine cette conscience atteinte la puissance de la vie tarisse en elles» («Essais de psychol. concept.», p. 308) (перевод: «Возможно, существует закономерность в том, что именно примитивное общество из всех сил стремится создать рациональные государственные формы, рядиться в цивилизованные одежды, но как только эта цель достигнута — жизненная мощь его иссякает» («Заметки о современной психологии», с. 308) (*фр.*). — *Ред.*).

свободную игру на арене жизни, эти инстинкты и побуждения обратились против своего обладателя, — и последний заболел неизлечимой роковой болезнью, которую Ницше называет «злой совестью» (*das schlechte Gewissen*)*. По своему обыкновению, он и здесь не задумывается назвать всю эволюцию государственности болезнью, а само государство — самым жестоким из всех чудовищ (*das grausamste aller Ungehuere*)**. Что все эти теоретические узоры вышиты на канве романтических поисков за цельной в своей силе и мощи индивидуальностью, не прирученной и не посаженной в железную клетку ограничивающих ее норм, — это, в связи со всем сказанным нами выше, вполне понятно, как понятно и то, что самые поиски его направлены в далекое, романтически воспринимаемое прошлое.

Читатель, конечно, понимает, что тот же анти-интеллектуализм у художника Горького не мог выразиться в такой форме, в какой он выразился у мыслителя Ницше. Здесь нет, конечно, ни «проблемы Сократа», ни попытки исторического анализа происхождения «стадной» сознательности. Зато у него вряд ли есть произведение, где бы эта сторона его строя чувств и мышления не выразилась в ряде высказываний, аналогичных тем, с которыми мы несколько выше встретились у «Проходимца» Промптова. Думать — это настоящая *bête noire**** всех тех представителей портретной галереи нашего писателя, которые в той или иной форме творят жизнь, перемешивают «гущу жизни» возможно «чаще, чтобы она не закисло». При этом самое слово «думать» всегда понимается именно как процесс рефлексирования над жизнью и над своими собственными инстинктами, побуждениями и поступками. Старуха Изергиль, сама прожившая «тропическую» жизнь, приходит к выводу, что «ничто — ни работа, ни женщины — не изнурают тела и

* Мы лично не находим в русском языке термина, психологическое содержание которого покрывало бы содержание ницшевского «*Schlechtes Gewissen*»; да и для немца он понятен будет только в связи со всем контекстом. Во всяком случае, смысл его таков: нормы государственной жизни заставили человека критически относиться к самим инстинктам, применять к ним мерку общественного добра и зла и подавлять те из них, которые этой мерке противоречили: он стал относиться к ним подозрительно, между тем как прежде он носил в себе, так сказать, органическое их оправдание.

** Недаром же анархисты считают его одним из своих идеологов, хотя он, со своей стороны, называет их *Anarchisten-Hunde* (собаки-анархисты (нем.). — *Ред.*).

*** темная лошадка (фр.). — *Ред.*

души людей так, как изнуряют тоскливые думы, что сосут сердце, как змеи». Она, правда, говорит о думах тоскливых, но этим она только подчеркивает, что «думы» и не могут быть иными, как только тоскливыми, разрушительными. У г. Горького, как и у Ницше, есть свой «большой разум» — разум непосредственно насыщающей себя жаждой полной и всесторонней пульсации жизни, как есть у него и свой «малый разум», который и суммируется в слове «думать». Недаром же фельетонист Ежов («Фома Гордеев») в своей филиппике против российской интеллигенции делает такое различие: «Вы слишком много рассуждаете, но вы слишком мало умны», а отсюда уже вытекает то бессилие, та трусость, то отсутствие «духа творчества», которыми он так часто и так, скажем, назойливо клеймит эту интеллигенцию. В рассказе «На плотях» представителем «рассуждающих» и «думающих» людей является Митя, которого родной отец и жена, принадлежащие к совершенно противоположному типу людей, оскорбляют, если возможно так выразиться, самым жгучим оскорблением, и притом тут же, на его глазах. И вот этому Мите работник Сергей говорит: «Думаешь все? Брось. Вредно это человеку. Эх, ты, мудрец, мудришь ты, мудришь, а что разума-то у тебя нет, это тебе и невдомек!» Мы могли бы привести еще много таких сопоставлений ницшевского «большого» и «малого» разума, если бы и приведенных не было достаточно, чтобы увидеть, что этот-то «малый» разум и у г. Горького является настоящим разрушителем жизни и всяких творческих в ней порывов.

Сравните, далее, приват-доцента Полканова и Беньковского, с одной стороны, и Вареньку Олесову — с другой. У первого сознательность, интеллектуализм, взвешивающее размышление настолько тонко развиты, что всякая эмоция, не проанализированная, не прошедшая через горнило размышления, беспокоит его, как что-то вроде чужеродного тела, введенного под кожу. Этот свой интеллектуализм он довел до такой высокой степени совершенства, что регулировать свои эмоции — «развивать их или уничтожать», — говорит автор — представлялось ему делом вполне возможным. Естественно, что в нем убита всякая активность «большого разума», со всеми его неразмышляющими порывами, — и в конце повести, он, при всем своем уме, попадает в самое жалкое и презренное положение, какое только могла придумать свирепая насмешка автора над его «малым разумом». Поэт Беньковский, как мы видели, с ненавистью говорит о «рабах разума», ограбивших душу жизни, но для читателя ясно, что сам-то он в этой жизни ничего не дает и

никогда ничего не даст: в нем самом нет ни одной капли той неразмышляющей творческой энергии, которая составляет удел людей с сильно развитыми инстинктами и чувствами, недоступными никаким «тоскливым думам». При всем жаре его стилистики, к которому автор относится с явным ироническим скептицизмом, в нем самом нет той силы внутренней убежденности и достоверности, в которой он с таким пышным негодованием отказывает «рабам разума», — и, пущенный в жизнь, он, выражаясь словами Маякина, никаких процентов ей не принесет. Совсем не так воспринимается нами Варенька, к которой ни с какой стороны не может иметь доступа ни одна из того миллиона «болячек», которыми обыкновенно болеет «сложный и спутанный психический организм, именуемый интеллигент». Всю доступную ей гамму жизни, она, выражаясь фигурально, разыгрывает с уверенностью стихийного таланта, которым руководит безошибочное чутье. При полной примитивности своего лесного мирозерцания она из-под пера любующегося ею автора вышла в действительности даже далеко более сложной индивидуальностью, чем какой-нибудь Полканов, со всей его сложной психологией. В маленькой, доступной ей области активного проявления своей личности, она является творцом и устроителем жизни, а в недоступных ей, более широких пределах, она, как мы уже видели, культивирует тип «тропической» жизни, полной героизма и подвигов. Словом, от всей ее фигуры веет далеко более высоким типом жизни и далеко более цельным и высоким типом индивидуальности, чем от таких тонких «интеллигентов», как Полканов или Беньковский, — и вряд ли где-нибудь «антиинтеллектуализм» г. Горького выразился так рельефно, как в сопоставлении этих трех персонажей*.

Мы видели выше, чем для Ницше является его «злая совесть»; мы познакомились и с ее генезисом. Являясь продук-

* Мы подчеркиваем слово «тип» ввиду одного, для нас очень важно, соображения. Г. Горький еще очень далек от своего «последнего слова». Он, выражаясь словами Вогюэ, не имеет своей «философии», — если разуместь эту последнюю в смысле цельного, законченного содержания, этического и социального, которым писатель обыкновенно наполняет рисуемые им типы жизни и людей. Поэтому, говоря о произведениях г. Горького, приходится чаще анализировать тип, чем содержание, в чем читатель убедится и из дальнейшего нашего изложения.

том воздействия норм, лежащих вне жизни самой индивидуальности, навязанных ей извне эволюцией государственности и общественности, она понижает (если не подрывает в самом корне) весь тонус жизни этой индивидуальности, всю свободную игру ее собственных, не «стадных» влечений и стремлений. Если у нашего Горького вы не найдете генезиса этой совести, то ее самое вы находите не раз, и «болеют» ею люди с «тропическим» складом души. «Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, — но совесть это — сила, непобедимая лишь для слабых духом; сильные же быстро овладевают ею и поработщают ее своим желаниям, ибо они бессознательно чувствуют, что, если дать ей простор и свободу, — она изломает жизнь» *.

Мы отлично понимаем, что как здесь, так и в других случаях, где г. Горький или его персонажи высказываются даже далеко решительнее, — самое отношение его к «совести» отнюдь не таково, каковым является отношение к ней Ницше. Между тем как последний, по самому существу своей «переоцененной» морали, вполне санкционирует как созданного им тропического человека, так и пригнанную под его мерку совесть, — г. Горький если где и санкционирует своих тропических людей, то далеко не в том законченном тоне, в каком это делает Ницше: внимательный читатель чаще всего в этих случаях услышит тот же вопрос, тот же Fragezeichen, что и Ницше. И с таким, очень крупным вопросом мы скоро встретимся. К тому же эта незаконченность формы санкции, ее вопросительный характер перекрещиваются у г. Горького со многим таким, что подрывает ее почти в самом корне. Но уже из только что приведенного размышления нашего писателя над характером совести «тропических» людей мы можем с уверенностью сказать, что и у него совесть, т. е. известный моральный контроль над своими стихийно-пульсирующими желаниями, понижает тип жизни, «ломает» ее. Другими словами, и г. Горький в некоторых пунктах не может не быть «иммориалистом» — и иммориалистом того именно типа, к которому принадлежит Ницше **.

* См.: Т. IV. С. 1.

** Г. Михайловский уже не раз указывал на то обстоятельство, что Ницше отнюдь не «иммориалист», а, наоборот, самый «настоящий» моралист, притом очень строгий, только его мораль резко отличается от ныне общепризнанной. Мы, со своей стороны, укажем читателю на то место из его удивительного, мы сказали бы, чарующего предисловия к «Morgenröthe» («Утренняя заря» (нем.). —

Начнем с того, что ни Ницше, ни г. Горький ни на одно мгновение не обманывают себя насчет характера того кумира, которому они поклоняются и о котором мы говорили выше: оба они, не меньше любого представителя любой формы пессимизма, знают, что колесница, в которой их кумир совершает свое триумфальное шествие, есть колесница Джагернаута. Даже при относительно бедном знакомстве с их произведениями, читателю не трудно увидеть, что обоим им глубоко присуще восприятие действительной, реальной жизни, как процесса безжалостного, жестокого и глубоко безнравственного. Мы, говорит Ницше, проки-пятились и закалились в убеждении (*Wir sind arbesotten in der Einsicht und in ihr kalt und hart geworden*), что в мире нет ничего разумного и доброго, что все в нем, с нашей, человеческой точки зрения, обстоит бесчеловечно и бессердечно. Если бы, говорит он в другом месте, кто-нибудь захотел изобразить «гения культуры», то получилось бы еще одно демоническое существо, орудиями которого является вероломство, насилие и самое безжалостное своекорыстие. В тех или иных вариантах мы встречаемся с тем же восприятием мира и у нашего Горького, — и встречаемся так часто, что иллюстрировать это положение выписками из его произведений значило бы предполагать, что читателю почему-либо не пришлось еще познакомиться с ними. Все же мы позволим себе напомнить читателю, что у Ильи Лунева («Трое», 113) при рассматривании дел этого мира «сердце... сжималось, становилось все черствее и тверже», т. е. самые метафоры, в которые автор облакает свою мысль, вполне совпадают с теми, в которых (*kalt und heart*) та же мысль выражается у Ницше. И мы опять просим

Ред.), где он прямо высказывается о своей «имморальности». В этой книге, говорит он, морали отказывается в доверии... из моральных побуждений (...in ihm wird der Moral das Vertranen gekündigt — warum doch? Aus Moralität). Быть может, в некоторых из наших читателей — как знать? — наше заявление об «имморальности» г. Горького вызовет недоумение, а то, пожалуй, даже негодование. Спешим наперед объяснить. Мы, действительно, не причисляем г. Горького к числу тех, выражаясь словами Шопенгауэра, безнравственных оптимистов, которые верят (или просто болтают «языком»), что в этом мире совесть — вечная именинница. К морали г. Горького, наоборот, вплотную подходит одно из основных положений столь низко оцененного Шопенгауэра: «мир погряз во зле; люди не таковы, какими должны быть; но ты не поддавайся соблазну и будь лучше» (см. «Свобода воли и основы морали», с. 119).

читателя не считать нас Silbenklauber'ами, которые «словами» хотят установить тождество каких-нибудь «логических» или «гносеологических» категорий. Для нас важно не тождество слов, а тождество восприятий, тождество в психологическом содержании, выраженном в этих словах, — а оно, надеемся, ясно. Вся разница и здесь лежит в интеллектуальном объеме высказанного: между тем как у мыслителя Ницше в понятие об имморальности мира последний входит не только в своем социологическом, но и в своем биологическом значении, у художника г. Горького он берется лишь в объеме взаимных отношений между людьми. Но основное ядро восприятия, если можно так выразиться, не нарушается этим различием: и Ницше, и Горький вместе с Шамфором¹¹ могли бы сказать, что из этого мира сердце выходит либо разбитым, либо стальным*.

Эта имморальность конструкции мира, как это само собой понятно, представляет собой результат той имморальной, бесчеловечной и жестокой борьбы, которою он переполнен. Но в этой имморальной борьбе проявляется, из этой имморальной борьбы вырастает все то сильное, могучее, красивое и хорошее, весь тот «дух творчества», который ни на одну минуту не покидают романтического воображения обоих**. И оба они, хотя и не в одинаковом (как мы это уже видели и еще увидим ниже) смысле санкционируют эту борьбу, оба восторженно воспевают храбрых и сильных, для обоих достойный девиз достойной жизни один и тот же: свободно и гордо жить, свободно и гордо умереть. Если Ницше в своей «*Götzendämmerung*» прямо так и заявляет, что «следует гордо умереть, если нельзя дольше гордо жить», то у г. Горького старый орел, почувствовав приближение старческого бессилия, в последний раз поднялся «высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, упал и на смерть разбился о них». Но так жить и так умирать может только избранная индивидуальность со своим, так сказать, избранным кодексом морали, которая прежде всего и раньше всего «переоценивает» исходный пункт обычной морали — сострадание, жалость.

* «Ah! mon ami, — говорит умирающий Шамфор своему другу Сейсу, — je m'en vais enfin de ce monde, ou il faut que le coeur se brise ou se bronze...» (перевод: «Ах, мой друг, я отвергаю этот мир, где сердце должно либо разбиться, либо стать бронзовым...» (фр.). — *Ред.*)

** «...Aber seine Ziele, — говорит Ницше об упомянутом нами в тексте гении культуры, — welche hier und da durchlouchten, sind gross und gut» (перевод: «...Но его цели, которые просвечивают то здесь, то там, величественны и прекрасны» (нем.). — *Ред.*)

Отношение Ницше к морали сострадания является самым популярным пунктом его «иммориализма», а потому мы могли бы о нем и не говорить. Но в эту популярность, как это столь часто бывает, вплелось столько нелепого, столько, скажем прямо, дикого, что читатель, быть может, простит нам, если мы и об этом пункте мышления Ницше скажем несколько слов.

В «системе» Ницше, поскольку о таковой можно говорить, понятие сострадания, действительно, должно стоять со знаком минус. Поддерживая все слабое, жалкое и обреченное, которое по его представлению, должно, выражаясь вульгарно, заедать век всего годного, сильного и обещающего «триумф жизни», — современная мораль сострадания очевидно и неизбежно тянет, как мы выразились выше, самый тип жизни вниз. Что тут в существе нового сказал Ницше? Что он тут сказал такого, чего бы мир не слышал сотни раз не только после выступления на сцену дарвинизма и его наиболее прямолинейных комментаторов, но и до этого? Ровно ничего. Ницше-мыслитель оказался здесь не менее банальным, чем любой банальный представитель «лавочки», который комментирует дарвинизм в том смысле, что именно его, лавочника, высокий тип жизни и заедают все эти неудачники и нищие: ибо, как ни презирал Ницше всякого рода «лавочников» и самую «лавочку», его капризная историческая муза помимо его воли часто защищала мнимо-высокий тип жизни именно презираемого им лавочника. Другое дело, когда вы обратитесь к Ницше-художнику, к той субъективно, эмоциональной основе его творчества. Здесь банальности столь же мало места, как и «лавочке». Романтическая концепция сильной, свободной и ео ipso гордой индивидуальности, с которой этот художник ни на одну минуту не расставался во всю свою жизнь, глубоко возмущалась и оскорблялась представлением человека-раба, человека — скрюченного червяка*. «Ибо, — говорит его Заратустра, — тот стыд, который испытывал страждущий, когда я был свидетелем его страданий, причинил стыд и мне; когда же я помог ему, я жестоко провинился пред его гордостью» **. Отсюда и совет Заратустры всем тем,

* В своей «Götzendämmerung» он со злобой и негодованием говорит: «Der getretene Wurm krummt sich. So ist es klug. Er verringert damit die Warscheinlichkeit von neuem getreten zu werden. In der Sprache der Moral-Detuch» (перевод: «Растоптанный червь извивается. И это правильно. Тем самым он уменьшает вероятность, что на него наступят еще раз. На языке морали — Detuch» (нем.). — *Ред.*).

** У нас нет под рукой русского перевода произведений Ницше, почему и просим читателя простить нам наш прозаический перевод.

которые не обладают богатствами «дарящей добродетели»: если вы принимаете что-нибудь, то пусть дающий видит в этом отличие для себя. Нужно было в корне извратить все мирозерцание Ницше, чтобы в минусе, который он поставил перед понятием сострадания, видеть дополняющий плюс, который он будто бы поставил перед понятием эгоизм. «Наш путь, — говорит тот же Заратустра, — лежит вверх, от вида к сверхвиду. Но ужас и отвращение внушает нам мысль «все для меня», ибо это — мысль вырождения». Не эгоизмом «нищего и голодного своекорыстия, которое вечно жаждет украсть что-нибудь для себя», пропитаны произведения Ницше вплоть до последней, можно сказать, строчки, а расточительной щедростью богатого индивидуализма «дарящей добродетели», которая ненасытна в своем «желании раздавать (*im Verschenken-Wollen*)» *. Учитесь хорошо читать меня, просит Ницше, заканчивая свое предисловие к «*Morgenröthe*», но просьба эта — как этого ему больше, чем кому-либо другому, и следовало ожидать, — оказалась глазом вопиющего в пустыне: в самом популярном пункте своего мышления он оказался сильнее всего извращенным и изуродованным.

Почти все в нашей российской действительности словно сговорилось для того, чтобы возмущать и оскорблять повседневно и всечасно ту романтическую концепцию сильной, свободной и гордой индивидуальности, которая, как мы уже знаем, столь же глубоко присуща творчеству г. Горького, как творчеству Ницше. Мудрость ницшевского червяка, которого топчут ногами, дала ему слишком много материала, чтобы, выражаясь фигурально, при наличности этой концепции в груди сама грудь не поддавалась прежде всего негодованию, — и читателю, знакомому с произведениями г. Горького, иллюстрации здесь не нужны, конечно. Психологически неизбежной отсюда и является та «переоценка» понятия жалости и сострадания, которая имеет свое место и в «иммориализме» г. Горького. Не один только фельетонист Ежов («Фома Гордеев») совершенно в ницшевском стиле говорит о том, что он слишком любит, для того чтобы жалеть, и не один только Кирилл Иванович («Ошибка») в том же стиле утверждает, что «жалость и жестокость!.. Да ведь это совершенно однородные слова!» ** Об этом говорят и

* «Also sprach Zarathustra», в главе «Von der schenkenden Jugend» (перевод: «Так говорил Заратустра», в главе «О дарящей добродетели» (*нем.*). — *Ред.*).

** Мы только что видели, как и Заратустра «жестоко провинился перед его гордостью».

говорится в произведениях г. Горького, можно сказать, везде, где вообще о чем-нибудь говорят и говорится. Прислушайтесь к многочисленным лекциям и диссертациям о жалости какого-нибудь Маякина, Игната и Фомы Гордеевых, Ежова или того же Кирилла Ивановича — и вы воспримете речи Заратустры о том же предмете, хотя, конечно, не в такой цельной и законченной форме. Вот, например, Игнат Гордеев — тип сильного «устроителя жизни» с совестью тропического человека — следующим образом поучает своего малолетнего Фому. «Ты тому помогай, который в беде стоек... он, может, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам догадайся, да помоги ему без его спроса... да коли который гордый и может обидеться на помощь твою — ты виду ему не подавай, что помогаешь... Вот как надо, по разуму-то! Тут... такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты тут должен сделать? В гнилой доске — какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтоб ног не замарать... А здоровую — подними и поставь на солнце, она не тебе, так другому на что-нибудь годится. Так-то, сын-нок!» *

В данном случае гнилая доска уже сама по себе упала в грязь и «толкнуть» ее не пришлось.. Есть, однако, у г. Горького в рассказе «Ошибка» эпизод, где такую гнилую доску «толкают» — где в примитивном виде применяется знаменитое заратустровское: «Was fällt, das soil man auch noch stossen (падающего толкни)». Это именно та сцена из воспоминаний Кирилла Ивановича **, где кузнец Матвей одним ударом тяжелой железной полосы кладет конец страданиям телки, упавшей в овраг и сломавшей себе обе передние ноги. «Чуть не вся деревня сбежалась смотреть на нее... А она, такая жалкая, лежала на дне оврага и, жалобно мыча, смотрела на всех большими влажными глазами и все пыталась встать, но снова падала». Не подлежит сомнению, что из всей собравшейся толпы кузнец Матвей оказался единственным человеком, действительно пожалевшим телку, — но пожалевшим так, как может пожалеть только исключительный человек и прежде всего человек сильный. И по-

* Статья наша была уже написана, когда вышло из печати последнее произведение г. Горького «На дне». Если это произведение ни в чем не изменило нашей точки зрения в рассматриваемом пункте, то оно еще более укрепило нас в убеждении, что г. Горький, как мы уже сказали выше, еще очень далек от своего «последнего слова».

** Т. I. С. 164—165.

смотрите, как г. Горький в двух-трех штрихах обрисовал эту случайную, эпизодическую фигуру: в ней все дышит силой — силой исключительной и высокоподнимающейся над той слабой и оказавшейся жестокой в своей слабости толпой, которую обладатель ее «обвел... строгим, тяжело укоряющим взглядом черных глаз». Вспоминая этого кузнеца Матвея и решив при этом, что он, быть может, и с безнадежно больным человеком поступил бы так же, как поступил с телкой, Кирилл Иванович ставит следующий резюмирующий вопрос: «Морально это или не морально? Во всяком случае, это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо».

В разных вариантах и в разных формах аристократическая мораль сознающей себя силы и рабская мораль скрюченного червяка красной нитью проходит через все почти произведения г. Горького, а у Ницше они, как известно, составляют главный результат всей его переоценочной работы в области морали. Эти две морали у г. Горького почти всегда воплощены в двух сопряженных персонажах — и достаточно вспомнить такие сопряженные фигуры, как Челкаш и Гаврила, Артем и Каин, Сокол и Уж, Пляши-Нога и Уповающий и т. д., и т. д., чтобы увидеть, что перед творческим воображением художника Горького эти две морали стоят столь же неотступно, как стояли они перед анализирующим мышлением философа Ницше. Но читатель, конечно, понимает, что и здесь между ними глубокая пропасть. Коренясь в эмоциональных элементах творчества обоих, эти морали у Ницше прежде всего поставлены в известную (хотя бы и очень капризную) историческую перспективу, между тем как в произведениях г. Горького о такой перспективе не может быть и речи. Но далеко важнее и глубже эта пропасть с точки зрения тех конечных выводов, которые делаются из этих двух типов морали одним и другим. Ницше санкционирует эту двойную мораль как желательный, идеальный базис социальной и политической жизни людей, г. Горький же достаточно уже ясно высказался, чтобы видеть, что его идеалы лежат там, где рабской морали совсем нет места. Если в конечном социально-политическом идеале Ницше (по крайней мере, впредь до образования заратустровского «сверхвида») над огромной массой представителей рабской морали возвышается аристократическая индивидуальность, единоличная или олигархическая, его философа-законодателя, — то конечный идеал г. Горького можно было бы выразить в образе республики, где такими аристократическими индивидуальностями являются все граждане. Недаром же Кравцов («Ошибка») заратустров-

ской стилистикой бредит тем неза-ратустровским моментом «высшей справедливости», когда на всех будет налагаться одна обязанность — «творить. Твори, ибо ты человек!» Если романтизм Ницше высоко аристократичен, то романтизм г. Горького глубоко демократичен. Но, не останавливаясь на туманной области конечных идеалов, мы видим, что и у того и у другого представители морали силы смотрят и не могут не смотреть с тайным или явным отвращением на все то, что в той или иной форме является представителем морали слабости и приниженности. Достаточно вспомнить финальные сцены в «Челкаше» и в «Каине и Артеме», чтобы других иллюстраций уже не понадобилось. Все же мы позволим себе указать читателю на те сцены в «Вареньке Олесовой», где по тому или другому поводу заходит речь о справедливости. Варенька «с удивлением и чуть ли не с жалостью» смотрит на Полканова, который «все боится стеснить, быть несправедливым». Ей самой никакой справедливости не нужно. «А понадобится — я сама себе найду ее», причем самую справедливость она выкраивает, выражаясь фигурально, глядя по росту человека, т. е. совершенно в духе ницшевской методы кройки. Известно, что в Руссо он больше всего презирал учение о равенстве как о первой основе справедливости*. По его мнению, такая справедливость была бы концом всякой справедливости вообще. «Равным равное, а неравным неравное (*den Gleichen Gleiches, den Ungleichen Ungleiches*)» — вот в чем, по его мнению, истинная справедливость, причем само собою понятно, что свою справедливость «равные» и здесь сами себе находят. Нужно ли говорить о том, что если при таких «имморальных» тенденциях Вареньки сочувствие автора, как и читателя, и здесь остается на ее стороне, а не на стороне ее противника, то, конечно, не потому, что (выражаясь «высоким штилем») автор сумел выставить порок в соблазнительном освещении, а потому, что в Вареньке как типе чувствуется раз-

* Высоко характерно для духовного облика Ницше, что при всей его ненависти к французской революции и ее идеям о равенстве и справедливости он в гигантской фигуре Мирабо как бы не осмеливается презирать ни революции, ни ее идей. За размерами фигуры он не замечает ничего из окружающего, с чем эта фигура органически слита. Тут он только и может сказать, что Мирабо «als Mensch zu einem ganz andern Range der Grösse gehört, als selbst die ersten unter den staatsmannischen Grossen von Gestern und Heute» («Die fröhl. Wissen.», 126) (перевод: «как человек относится к совершенно другому, высшему порядку, чем самые выдающиеся деятели прошлого и настоящего» (нем.). — *Ред.*).

витое сознание личности, которой абсолютно чужда мудрость ницшевского червяка и которая *eo ipso*, в случае нужды, действительно найдет себе свою справедливость. Другими словами, мы и здесь попадем в самый центр тяжести всего контекста произведений г. Горького, поскольку эти произведения имеют не только чисто литературное, но и общественно-литературное значение.

Мы видели выше, что ницшевская концепция «воли к могуществу и власти» неразрывными узами связана с концепцией жизни как борьбы, в которой вырабатывается лелеемый его романтическим строем чувств высший тип жизни и высший тип индивидуальности. Произведения г. Горького бесконечно далеки от какого бы то ни было трактования вопроса о такой «воле к могуществу и власти»; но насколько и г. Горькому, как мы видим, присуща концепция жизни-борьбы того же романтического типа, настолько и у него в той или иной форме должна была найти себе место и жаждущая власти воля. Когда г. Михайловский в первой своей работе о г. Горьком анализировал основные черты характера его героев, то наряду с жадностью их к жизни, он отметил также и стремление их подчинять себе тех людей, с которыми они так или иначе сталкиваются, и в этой победе черпать «особое наслаждение». Тогда же он отметил и следующую, как он выразился «психологическую резолюцию» самого г. Горького: «Как бы низко ни пал человек, он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, хотя бы даже своего ближнего». С тех пор и сам г. Горький, и его герои успели сказать еще очень и очень многое, что так или иначе связано с этой резолюцией, но мы здесь остановимся на одной эпизодической фигуре — на старике Анании Щурове («Фома Гордеев»). Желая выразить всю полноту и интенсивность своего жизненного строительства, он, подобно Макару Чудре, говорит: «И как вспомню порой жизнь свою, то подумаю: неужто один человек столько сделать мог? Неужто я все это изжил?» И действительно, несмотря на всю эпизодичность, с которой старик этот введен в повесть, в нем чувствуется огромная стихийная сила жизни, к которой до последнего ее вздоха не будут иметь никакого доступа никакие «зубы совести», никакие «когти ума». Когда же эта *blonde Bestie**

* белокурая бестия (нем.). — *Ред.*

вспоминает о Боге, то она не сомневается в том, что «волка не осудит Господь, если волк овцу пожрет... но если крыса мерзкая повинна в овце — крысу осудит Он!» Т. е. старик Ананий на свой манер формулирует одно из основных положений ницшевской «Zur Genealogie der Moral» *, что требовать от силы, чтобы она себя не проявляла, столь же нелепо, как требовать от слабости, чтобы она проявляла силу **, — и сам-то Ананий проявляет себя так, что в конце своего жизненного пути он сам удивляется: «Неужто я все это изжил?» Если же вы его спросите о мотивах его «строительства», то получите такой ответ: «Бог человека зачем создал? А чтобы человек Ему молился... Он один был и было Ему одному-то скучно... ну, и захотелось власти... А как человек создан по образу, сказано, и по подобию Его, то человек власти хочет...» (IV, 164).

С этим-то мотивом «человек власти хочет» вы так или иначе встретитесь у всех тех персонажей г. Горького, которых, вообще говоря, можно отнести к действительным или потенциальным творцам жизни, ее «устроителям». Но едва ли не ярче, определеннее и глубже всех выражается в этом смысле одна из самых характерных фигур, вышедших из-под пера г. Горького, — а именно Маякин. В своих бесчисленных диссертациях он на разные лады варьирует эту свою мысль, которая у него отнюдь не остается висящей в воздухе: она чувствуется в одной из самых характерных его диссертаций — в его теории управления людьми, в его теории «устройства жизни на земле». К чему же сводится эта теория?

Маякин находит, что «смутилась Россия и нет в ней ничего стойкого: все пошатнулось!.. Дана людям большая свобода уметь, а делать ничего не позволено — от этого человек не живет, а гниет и воняет...» Как же он думает укрепить пошатнувшуюся до таких некрасивых пределов жизнь? Рецепт его прост. Дайте людям волю не только «умствовать», но и активно проявлять себя, и тогда жизнь, которой он, как мы видели выше, приписывает целую бездну «накопленного ума», уже сама сделает свое дело: она сразу покажет всякому «шибздику» с «гнилой сердцевинкой», что не он «сотворен для полного распоряжения жизнью», а те «действительно штатские хозяева жизни», которые будут править ею «не палкой, не пером, а пальцем и умом». И вот, когда сама жизнь убедит «шибзди-

* «Генеалогия морали» (нем.). — Ред.

** Заметим мимоходом, что это свое положение и Ницше иллюстрирует на ягнятах и хищных птицах (Raubvogel).

ков», что их «селезенка не терпит настоящего-то жару», — тогда штатские хозяева жизни скажут им: «Ну, так, теперь вы, такие-сякие, — молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, страхнем вас с земли!»

Такова ренановская^{*12} теория строительства жизни, изложенная в неренановских терминах нашего Маякина. В самой повести эта теория в связи с другими мыслями Маякина имеет свое определенное место: здесь говорит наше именитое купечество, полагающее, что его значение в общем течении нашей жизни же достаточно значительно, чтобы в самом процессе усмирения этой жизни и ему уделено было подобающее место. Если мы, однако, отбросим в сторону и практическое содержание этой идеологии и термины, в которые облек ее Маякин, то строй чувств и мыслей одной из самых ярких фигур всей портретной галереи г. Горького сводится к следующему. В жизненной войне, где «человек власти хочет», сами борцы накопленным умом этой жизни распределены по двум рангам. К первому рангу относятся прирожденные господа, естественные властелины, наделенные творческим умом и творческой думой; ко второму же рангу относятся все те, которые не носят в себе никакой искры творчества, в которых нет «духа этого самого строительного» и которые, стало быть, естественным образом лишены права голоса. Другими словами, вы получаете ту расценку людей, ту Rangordnung, которая привела капризную историческую музу Ницше в царство кастового законодательства Ману¹³, как законодательства идеального, которое одно способно сделать народ «совершенным», которое одно может дать данному народу право сказать, что он достиг высшего искусства жить (*die höchste Kunst des Lebens zu ambitionieren*). Кастовое устройство общества, кастовая расценка людей, говорит он, есть нечто иное, как оформленная санкция той расценки их, которую устанавливает сама жизнь, сама природа. Это она — сама жизнь, или, выражаясь словами Маякина, ее «накопленный ум» — устанавливает пафос того расстояния (*Pathos der Distanz*), которое отделяет человека низшей структуры, заурядного фабриката природы, лишенного всякого духа творчества, от того прирожденного законодателя-философа, предтечу которого мы имеем в лице Заратустры. Этот законодатель-философ, этот «штатский хозяин жизни» тоже презирает власть «палки и пера»; он тоже управляет умом да пальцем, всякий

* См.: *Dialogues philosophiques. Rêves* (перевод: *Философские диалоги. Мечты (фр.). — Ред.*).

повелительный жест которого заурядный фабрикат природы должен считать законом именно потому, что этот жест творит жизнь и направляет ее вверх. И нужно ли опять повторять, что утопия г. Горького не есть утопия Ницше или Маякина, что его утопия лежит там, где, выражаясь вульгарным термином Маякина, «шибздигов» быть не должно? Но и тут за этими последними на нас смотрит все та же ницшевская концепция творящей личности, для которой жизнь кончается там, где кончается для нее возможность активного проявления своего «я»: тут, выражаясь словами Маякина, начинается «гниение и вонь». И мы сейчас увидим, до какой степени эта концепция, поскольку она глубоко заложена в эмоциональной основе творчества обоих, — до какой степени, говорим мы, эта концепция у обоих сходна даже в мелочах, хотя бы и в мелочах очень характерных.

В одном из своих афоризмов* со свойственным ему пренебрежением не только к «чрезмерности истории», но и ко всякой истории вообще Ницше дает нам следующий генезис европейского рабочего движения и социализма. Массы, говорит он, вообще говоря, готовы подчиняться всяким формам рабства, если только повелители рождены повелевать, если на них лежит та печать высшей расы, печать той «легитимности», которой люди низшей структуры, всегда подчиняются беспрекословно, без всякой критики. Если бы современные фабриканты и заводчики обладали этой «легитимностью» в той же степени, в какой ею владело крупное дворянство, то такой критике не было бы места. Но «отсутствие высшей формы и известная вульгарность фабрикантов с красными и жирными руками (mit rothen feisten Handen)» безусловно должны были вызвать в массах сознание, что тут играет роль случай и что, стало быть, они тоже могут попытаться счастья. «Так попытаем же и мы счастья! (Werfen wir einmal die Wurfel)», говорят они, — и в своем исходном пункте социализм готов.

Если читатель и не знаком с произведениями Ницше, то уж из того немногого, что мы успели сказать о них, ему нетрудно будет понять, что в этом генезисе мы имеем перед собой одно из тех лукавых *jeu d'esprit*** художника-романтика Ницше,

* Die Fröhliche Wissenschaft. P. 77 (перевод: Веселая наука. С. 77 (нем.). — Ред.).

** Это та черта в его творчестве, которую он сам так часто характеризует словом *Bösheit* (интеллектуальное озлобление), а поэт и психолог Виганд прибавляет к этой *Bösheit* и другую черту — *Schalkhaftigkeit* (лукавство).

которые Ницше-философом тут же облачаются в научные теории. Но здесь, как и во всех других случаях, за лукавым *jeu d'esprit** на нас смотрит глубоко им пережитая и перечувствованная мысль. Это все та же естественная расценка людей, все та же естественная *Rangordnung*, которая, на его вкус, нарушена выступлением на историческую сцену, в качестве ее хозяев, вульгарной буржуазии с жирными и красными руками, в лице которой жизнь постыдилась бы праздновать какой бы то ни было «триумф». И его романтическая историческая муза опять оглядывается назад, к тем временам, когда этот «триумф» воплощался в лице настоящих «легитимных» хозяев сцены.

Посмотрите теперь, как в рассказе «Озорник» рабочий-наборщик Гвоздев объясняет не только ту несомненную каверзу, которую он учинил редактору газеты, но и все свои озорства вообще. «Я и вы, — говорит он редактору, — люди из одной улицы и одного происхождения... Вы не настоящие господа жизни, не дворяне... с тех нашему брату взятки гладки. Те скажут: «пшел к черту!» — и пойдешь. Потому что они издревле аристократы...» А несколько ниже он прибавляет: «Легко мне с господина судебного следователя Хрулева, у которого я с год тому назад ватерклозет устанавливал, сорок копеек на чай получить? Ведь он человек одного со мной ранга... И было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и посеичас, как тогда были».

По всей своей конструкции рассказ «Озорник» есть несомненное *jeu d'esprit* г. Горького, где озорствующий Гвоздев, не строя никаких научных теорий, с озлобленным лукавством только подводит свои озорства под определенные мотивы. И из-за этого *jeu d'esprit* на нас смотрит тот же г. Горький, который смотрит на нас из-за диссертаций Маякина. Он и тут идет рядом с Ницше, не только в том, что и он отделяет обладателей врожденной «легитимности» от людей счастливого случая**;

* игра ума (*фр.*). — *Ред.*

** Во избежание хотя бы малейшего недоразумения мы опять повторяем, что весь контекст произведений Ницше (о произведениях г. Горького и говорить нечего) говорит о том, что его «легитимность» выражает интеллектуальную и нравственную ценность личности, ее творческую силу, ее «жажду ответственности» за жизнь. Этому, также повторяем мы, абсолютно не противоречат ни те, как мы выразились выше, исторические аберрации, с которыми мы сталкиваемся у Ницше, ни тем более легитимизация дворянского «пшел вон!» в устах какого-нибудь Гвоздева.

не только в том, что у обоих эта классификация выражается термином *ранг*, психологическое содержание которого в существе своем остается одним и тем же, — но и в том, что и у него легитимность столь же несовместима с «гнилыми зубами», как несовместима она у Ницше с «красными и жирными руками». Недаром же такая почитательница легитимности, как старуха Изергиль, вполне убеждена, что даже петь хорошо могут только красивые люди: ведь мы уже видели, что красота для всех форм романтизма неразрывными узами связана со всем тем комплексом качеств, который вообще дает индивидуальности печать высшей структуры. Недаром, наконец, именно та же Изергиль в лице своего Данко дала нам нечто вроде ницшевского легитимного законодателя, — мы сказали бы, нечто вроде своего «сверхчеловека», если бы только это понятие не было так жестоко затаскано. Ее Данко прежде всего и раньше всего молодой красавец, а «красивые всегда смелы» и любят подвиги; если же «человек любит подвиги, он всегда сумеет их сделать и найдет, где это можно». Когда люди, среди которых жил Данко, в своем духовном падении дошли до того, что их уже не страшила предстоявшая им «рабская жизнь», то на сцену выступил Данко и стал звать их вперед из того рабского болота, в котором они так жалко пресмыкались. Люди же, посмотрев на него и увидев, что «он лучший из всех», что на нем лежит печать настоящей легитимности, покорились его призыву и пошли за ним.

Вся сказка о Данко по своей стилистической конструкции местами кажется отрывком из «Also sprach Zarathustra». Такие выражения, как «он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску», — такие заратустровские обороты речи встречаются в ней не раз, как встречались мы с ними выше и в других произведениях г. Горького*. А при всей интеллектуальной пропасти, отделяющей Данко от Заратустры, их нравственно-психологическая идентичность, тождественность в структуре их натур прямо бросаются в глаза. Представляя собою типы высшей ин-

* Кто не знает заратустровского оборота речи в такой, например, фразе Ежова («Ф<ома> Г<ордеев>», 277): «Человек становится выше ростом от того, что тянется кверху»? Читатель понимает, что с той точки зрения, с какой мы смотрим на ницшеанство г. Горького, для нас не имеет никакого значения вопрос о том, знаком или не знаком был г. Горький с произведениями Ницше, выступая на литературном поприще, — вот почему мы обходим этот вопрос совершенным молчанием.

дивидуальности, оба они готовы истрачивать эту свою индивидуальность «на что-нибудь невозможное», на такие подвиги, которые совершенно недоступны людям заурядного калибра. Этих людей они любят и жалеют своей специальной любовью и жалостью, за которыми и у того, и у другого лежит другая любовь — жажда высшего типа жизни, жажда высшего типа человека. Заратустра вечно напоминает об этом, а Данко, вырвав из груди свое сердце, чтобы его пламенем освещать людям путь к простору и свободной, не «рабской» жизни, даже не посмотрел на этих людей, когда цель была достигнута: он «кинул радостный взор на развернувшуюся перед ним свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и умер». Совершенно аналогично этому, сапожник Орлов, упивающийся своей гордой победой над врагом-холерой, лишь потом вспоминает, что благодаря его победе «человек-то ожил»; но этот оживший человек является в его переживаниях больше в качестве трофея одержанной победы, чем сам по себе. И Данко и Орлов — варианты на одну и ту же основную тему. Высок же изящный символ — пламенеющее сердце Данко, освещающее людям путь к простору и свободе, это те «личные мучения», та «личная судьба», то «личное высшее счастье», пламенем которых Заратустра добывает свои моральные ценности, пламенем которых он надеется зажечь одну из тех «утренних зорь», которые до сих пор еще не светили человечеству.

Es giebt so viele Morgenröten,
Die noch nie geleuchtet haben!

— таков эпиграф, с надеждой предпосылаемый книге, которую Ницше просит «хорошо читать» и заглавие которой тоже ведь изящный символ¹⁴.

Не случайным является и то обстоятельство, что именно старуха Изергиль фантазирует о Данко и его пламенеющем сердце. Она больше, чем кто-либо из персонажей г. Горького, отождествляет красоту с силой, с мощным, не знающим границ проявлением своего «я», с вечной жаждой подвигов, без которых жизнь есть рабское прозябание в мещанской яме. Она и ее Данко такие же романтики, как и «безумно» смелый сокол, который при последнем издыхании все еще мечтает о «счастье битвы». Сильно, красиво и достойно тратить свою индивидуальность — таков девиз персонажей-творцов г. Горького; таков девиз и Заратустры. Гордо же и достойно умереть, когда нет возможности гордо и достойно истрачивать себя, — таков тот же романтический девиз, выраженный в форме того

трагизма, за которым Ницше всегда воспринимал избыток боготворимой им жизни, — вернее, боготворимой им полноты жизни.

Вернувшись, таким образом, к исходному пункту нашего очерка, мы считаем посильно выполненной основную его задачу — выделить элементы ницшеанства в творчестве г. Горького. Читатель, однако, простит нам, если мы теперь выйдем за пределы той задачи и, оставив в стороне, насколько это возможно, Ницше, скажем еще несколько слов специально о г. Горьком. И здесь перед нами прежде всего возникает вопрос: действительно ли г. Горький является только певцом босячества, босяка, сверхбосяка или каких-то «сверхпьяниц», как не раз глумился и глумится г. Буренин и его подражатели?¹⁵ Полагаем, что все сказанное нами отвечает на этот вопрос отрицательно.

Мы видели, что основным эмоциональным элементом творчества г. Горького является жажда ничем неурезанной, полной и сильно пульсирующей жизни, где сильная и активная индивидуальность свободно проявляет присущие ей творческие инстинкты бойца, жаждущего подвигов и героизма. Экзотически полная жизнь, как арена, и экзотически богатая индивидуальность бойца, подвизающегося на этой арене, — вот канва, на которой очерченный нами романтический строй чувств г. Горького вышивает свои экзотические узоры. Случайности биографии привели его в столкновение со средой, жизнь которой представляется экзотической в том смысле, что для нее не писаны нормы жизни той нашей средней действительности, к которой г. Горький питает такое жгучее, такое, сказали бы мы, раскаленное негодование. Не может подлежать никакому сомнению, что в этой среде он встречал типы, которые и в добре, и в зле по силе стихийного проявления своей личности далеко выскакивают за пределы той средней обыденщины, того «мещанства», которое так глубоко оскорбляет его романтические запросы от жизни и людей. И вот эти-то типы он не идеализировал, как в этом его обыкновенно упрекают, — он их романтизировал, и как бы для усиления того ощущения свободной силы, красоты и мощи, которое они должны сообщить душе читателя, он ни в одном почти случае не забывал противопоставлять им всякого рода «мещан» начиная с Гаврилы в «Челкаше» и кончая Ужом в «Песне о Соколе». Если бы случайнос-

ти биографии не столкнули его с этой своеобразной экзотической средой, то он, говоря словами Вольтера, выдумал бы ее, — если не в виде босяков, то в виде каких-либо экзотических персонажей другого типа культуры. Ведь тот «маленький человек», с которым мы уже познакомились выше, сопровождает г. Горького с самой писательской его колыбели. Еще стоя у изголовья этой колыбели, он учил его не «слабо ковырять» действительность, сколько бы в ней ни заключалось полезной правды-истины, а претворять эту действительность в такой вымысел, который способен был бы обжечь едва-едва пульсирующее сердце читателя и хоть на минуту вызвать в нем гнев, стыд и негодование. И в какую бы действительность случайности биографии не бросили Горького, он поступал бы с нею по указанию своего «маленького человека», так как последний есть ничто иное, как олицетворение самого романтизма нашего писателя. Если бы г. Горький действительно являлся только бытописателем и певцом всякого рода «бывших людей», то даже при далеко более высоких художественных достоинствах его произведений его значение в современной литературе не превышало бы того значения, какое имеют сами «бывшие люди» в общем течении современной нашей жизни. Но к счастью для писателей вообще и для г. Горького в частности, читающая публика воспринимает и читает их неизмеримо глубже, с неизмеримо более глубоким историко-литературным чутьем, чем гг. Буренины. За романтизированными Челкашами эта читающая публика воспринимает нечто далеко более важное, далеко более глубокое и значительное, чем сами эти Челкаши. Она слышит тут воодушевляющий призыв к проявлению своей личности, к тому творческому участию в окружающей «гуще жизни», о котором с одинаковой силой говорят такие неодинаковые персонажи, как старуха Изергиль, фельетонист Ежов, Маякин или даже сумасшедший Кравцов.

Не забудем, что к концу девяностых годов в течениях прогрессивной мысли нашего общества произошел перелом, в центр которого и попали вышедшие как раз к тому времени произведения г. Горького, оказавшись, таким образом, художественным выражением этого перелома. Не имея возможности остановиться на этом пункте, мы, для выяснения нашей мысли, приведем лишь две-три интересные с историко-литературной точки зрения даты.

К 1894 году г. Горький написал уже несколько рассказов, а в том числе и упомянутую нами сказку о Чиже и Дятле. Мы видели, что в сердцах всех птиц «загорелась гордость собой»,

потому что под влиянием призывных речей Чижа они уверовали в творческое значение своего «я», своей личности. В том же 1894 г. г. Струве в своих «критических заметках» сводил это же творческое значение личности к социологической *quantité négligeable*...* Далее, в 1896 году, г. Горький написал свою «Песню о Соколе», символизирующем опять-таки глубокую, хотя бы даже «безумную» веру в то же творческое значение личности. В этом же году г. Булгаков (нынешний автор «Душевной драмы Герцена»), разбирая в «Вопросах философии и психологии» известную работу Штаммлера, написал, между прочим, следующее: «Познание причинной связи, управляющей человеческой жизнью, делает возможным предсказание будущих ее событий так же точно, как возможно это относительно явлений внешнего мира». Какими бы ограничениями, какими бы оговорками вы ни обставляли потом ** такого рода положения, их психологическое и социологическое содержание отделено ничем не заполнимой пропастью от того же содержания безумной веры Сокола. И если бы даже имя г. Горького было в то время далеко более известно, чем это было на самом деле, то к его соколиной песне прислушивались бы с неизмеримо менее захватывающим интересом, чем к прозаическим положениям гг. Струве и Булгакова. Но вот прошло далеко не полное пятилетие, и г. Струве своему предисловию к известной книжке г. Бердяева предпосылает следующий эпиграф из Гете:

Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche.
Er unterscheidet,
Wahlet und richtet;
Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen ***.

Каковы бы ни были те теоретические, вернее, метафизические основы, на которых г. Струве в указанном предисловии развивает содержание этого эпиграфа, психологическая сторо-

* ничтожно малая величина (*фр.*). — *Ред.*

** Они были вскоре затем и сделаны и г. Булгаковым, и г. Струве на страницах тех же «Вопр<осов> фил<ософии> и псих<ологии>».

*** Лишь человеку
Подвластно невозможное.
Он различает,
Избирает и направляет;
Он может остановить
Мгновенье (*нем.*). — *Ред.*

на дела не подлежит двум толкованиям: бывшая социологическая *quantité négligable* за это время столь же романтически уверовала в силу своего жизненного творчества, как и романтик Сокол, песни которого, как мы только что сказали, как раз и явились художественным выражением этого уверования.

С другой стороны, огромная, мы готовы сказать, опасная для всякого писателя популярность г. Горького коренится в калейдоскопе тех современных нам «смут» и «настроений», которые характерны не для одной только нашей российской жизни. Одним из центров этого калейдоскопа является тяжелое, удушающее сознание урезанности, узости и, так сказать, специализированности современного существования личности, которая на весь остальной Божий мир вынуждена только смотреть и смотреть притом «У окна»*, если не у окошечка. Отсюда — страстная жажда полноты, многогранности или, выражаясь термином Ницше, многострунности жизни, хотя бы на один час, на один лишний короткий миг. Эта жажда отливается в бесконечную массу оттенков; на ней вырастает бесконечная масса едва уловимых в своих отклонениях идеологий начинающая с высоко идеалистических и кончая их отвратительным уличным вульгаризированием, — но в существе своем она неизменна, и именно Ницше своей многострунностью явился самым ярким, самым многострунным ее выразителем**. Даже Макс Нордау, так плачевно, так жалко не понявший Ницше и так грубо ошельмовавший его в своем «Вырождении», впоследствии понял его именно в этом пункте¹⁶. В одной из лекций, читанных им в Турине, он следующим образом высказался о причинах популярности Ницше. Современная европейская культура со своим колоссальным разделением труда низвела жизнь личности до нуля, до нуля понизила пульсацию этой жизни. Личность и ее индивидуальная жизнь исчезли, сделавшись микроскопической функцией чего-то другого, в огромном большинстве случаев чуждого, извне навязанного, не имеющего никакого отношения к ее собственному, индивидуальному призванию. Для этой-то задыхающейся личности человека, которая неизбежно должна жаждать свежего воздуха, своего света, своего, так сказать, индивидуального места в жизни, — для

* Заглавие одного из рассказов г. Л. Андреева.

** Недаром и глубоко погребенный в недрах забвения Штирнер со своим «Nichts über mich» всплыл именно теперь (перевод: «Ничто превыше меня» (нем.). — Ред.).

этой личности произведения Ницше должны были сыграть роль своего рода призывного откровения*.

Само собой разумеется, что, вопреки мнению Нордау, это не единственный источник популярности Ницше. Но не подлежит сомнению, что с ним именно связано и многое другое, в том цикле идей Ницше, который мы охотно назвали бы знаменем восстания личности против всякого рода давящих его тисков, не дающих ей проявлять всю сумму уделенного ей природою творческого «строительства» жизни. И читатель, конечно, видит, что мы, опять побывав у Ницше, опять вернулись к Горькому, который ведь является носителем того же знамени. Все элементы ницшеанства в его творчестве, которым мы посвятили нашу работу, только рельефнее и ярче обрисовали это знамя, что имеет место и в творчестве самого Ницше. А отсюда и та популярность, которою г. Горький уже пользуется и за границей, — и мы лично глубоко убеждены, что, доживи сам Ницше до наших дней, он к своему «единственному психологу», у которого еще можно чему-нибудь поучиться (Достоевскому), присоединил бы с обычным для него страстным увлечением и г. Горького.



* У нас нет под рукой этой лекции, но мы убеждены, что в своих терминах мы вполне верно передали мысль Нордау.



М. МЕНЬШИКОВ

Красивый цинизм

М. Горький. Рассказы. Т. I, II, III, IV. СПб., 1900.

Времена переменчивы..., а люди скоты.
Впрочем, все держится в своих законах, и
человек на земле не более как ничтожная
гнида...

М. Горький. «Тоска»

I

Из глубин народных пришел даровитый писатель и сразу покориł себе всю читающую Россию. Вы догадываетесь, что речь идет о г. Горьком: именно его книги расходятся с неслышанною у нас быстротою, его имя передается из уст в уста в миллионах уголков, где только еще теплится интеллигентная жизнь. Куда бы вдаль вы ни поехали, от Петербурга до Тифлиса и от Варшавы до Владивостока, вы непременно встретите восторженных поклонников этого нового таланта — реже — хулителей его. О г. Горьком говорят, о нем ведут горячие споры...

Что же такое этот г. Горький? Внезапный шум, с которым пронеслось его имя по России, загадочен; он скорее тревожен для писателя. Истинный талант обыкновенно открывается не столь стремительно. Слишком неожиданная слава выпадает на долю не самых тонких художников. К их необычному творчеству толпе приходится привыкать, как людям грубого вкуса — к дорогому вину. Внезапный шум около какого-нибудь имени побуждает думать, что причина его не талант только, а иногда вовсе не талант. Нужно кроме таланта что-нибудь особенное, поражающее внимание публики: та яркая точка, которая гип-

нотизирует. В истории писателей мы постоянно видим, как иной раз совсем постороннее литературе обстоятельство — иногда ничтожное само по себе — чрезвычайно укрепляло славу автора. Некоторые писатели, например, были не слишком даровиты, но носили громкий титул; их печатали, и они тотчас становились весьма известными. Наоборот, целый ряд писателей только тем и приобрели некоторую известность, что вышли из крестьян. Молодой писатель был солдатом и четыре дня пролежал в поле раненым, описал это недурно, с искренностью и простотой — и тотчас имя его загремело по всей России¹. Задумчивый поэт захворал неизлечимой болезнью и умер в расцвете своего таланта². Большой успех вырос в необычайный. Некоторые писатели странно выиграли тем, что побывали в ссылке в Сибири...³ Почти все они, бесспорно, были даровиты, у всех чувствовалось благородное отзывчивое сердце, но в шуме славы их слишком заметно участие какой-нибудь романтической черты, у каждого своей. Иногда, при некотором таланте, писателю достаточно красивой наружности, чтобы составить себе «имя», — достаточно даже эффектной шевелюры...⁴ Правда, одна, хотя бы роскошная, шевелюра еще не даст славы, но, как ноль при единице, подобная мелочь иногда заметно поддерживает известность. Талант, конечно, всегда составляет сердце хорошей славы, но вообще для славы нужны и менее благородные органы.

II

Нет сомнения, что быстрой известностью своей г. Горький обязан прежде всего своему дарованию, но не только ему, и это жаль. Слишком скоро обнаружилось, что г. Горький вышел «из босяков», что он и по рождению, и по образованию — «самородок», долгие годы валявшийся в грязи, человек самолично видевший и переживший все ужасы нищеты, безработицы, бродяжничества, грубого труда и грубой праздности простонародья. Сам г. Горький об этом говорит во многих своих рассказах и даже в особой автобиографии. Чем-чем ему не приходилось быть в жизни! Внук красильщика, сын обойщика, г. Горький еще девятилетним мальчиком был отдан в ученье к сапожнику. Бежал от него и поступил к чертежнику. Бежал от него и поступил к богомазу. Затем очутился поваренком на пароходе. Потом работал у садовника. Потом был пекарем, пек крендели за 3 руб. в месяц. Торговал яблоками. Пилил дрова.

Таскал грузы... После неудачного покушения на самоубийство — был железнодорожным сторожем. Продавал квас баварский. Был писцом. Работал в железнодорожных мастерских и пр., и пр. Какой разнообразный и пестрый курс «самообразования»! Сколько впечатлений острых, подчас трагических! Подобно Гаршину, который действительно был солдатом и действительно лежал раненым среди разлагающихся трупов, на поле битвы, — г. Горький был на самом деле бродягой, на самом деле изранен тысячами язв великого поля жизни... Этот необыкновенный жизненный опыт страшно всех заинтересовал. Такие люди, как путешественники, едущие из неизвестных стран, встречаются с жадным вниманием; они уже знамениты до появления своего на кафедре. Ведь мир отверженных всегда чужой нам мир. Мы, счастливые, тщательно сторонимся от него и можем прожить десятки лет в средних этажах своего дома, десятки раз съездить в Италию, Египет, Шотландию, Норвегию — ни разу не спустившись в подвал, не заглянув в соседний ночлежный дом и тому подобные «трущобы». Темный, огромный, страшный мир, из которого на наших бульварах лишь изредка показываются выходцы, одетые в рубище, с багровыми синяками или бледными землистыми лицами. Они протягивают руки, и мы спешим какой-нибудь мелкою монетой поскорее оттолкнуть от себя гноящегося Лазаря...⁵

Представьте же себе изумление всех так называемых «порядочных людей», «людей из общества», когда смердящий Лазарь вдруг начинает говорить с ними мужественно, языком не только образованного человека, но языком поэта! Уличный бродяга — и вместо уничтоженной мольбы — гордые и гневные укоры, трагическая исповедь за себя и за бесчисленный класс несчастных. Это явление более чем литературное, оно поразило публику не литературною своею стороною. Нижегородский мещанин Пешков, цеховой малярного цеха, заговорил в журналах, «как власть имеющий», заговорил с художественной увлекательностью, раскрывая со страшною откровенностью скандальную сторону нашей общественности. Ведь с обычной буржуазной точки зрения, сословие босяков — это сплошной скандал, это как бы присяжные нарушители общественной тишины и порядка. И вот является писатель, который вводит с собою в приличные гостиные целое полчище этих скандалистов, заставляет их показать публике их рубище и синяки, показать пьяные оргии, драки, воровство, буйство, распутство, их душевное ожесточение, их алкоголический бред. Является писатель и рассказывает, как он однажды осенью, без квартир-

ры и куска хлеба, «выбивал зубами трели в честь голода и холода», как в тщетных поисках съестного в окрестностях города нашел голодную проститутку, подкапывавшуюся под одну лавчонку, чтобы украсть хлеба, — рассказывает, как он помогал ей воровать, как сломал замок, как они, поевши хлеба, спрятались под дырявой опрокинутой лодкой, под дождем и осенним ветром, и как эта избитая любовником проститутка отогревала нашего мерзнувшего автора своими объятиями, своим теплым сердцем... Рассказывает, как втроем с какими-то бродягами он умирал от голода в крымской степи, как они ночью напали на встречного больного рабочего и отняли у него хлеб, один из его товарищей задушил рабочего, ограбил и убежал... Рассказывает, как он пешком брел от Одессы до Тифлиса вдвоем с грузинским князем, питаюсь подаванием, среди тысячи самых рискованных приключений, среди пустынь и гроз. Рассказывает, как сидел в тюрьме, как ночевал осенней ночью под амбарами, среди воров, сутенеров, неисправимых пьяниц, широких натур разбойничьего склада. Заставляет своих героев рассказывать целые поэмы преступной и грязной жизни, которая вся — протест, вся — ненависть против общества, вся — предсмертный стон... Этот внезапно явившийся художник «малярного цеха» развертывает перед воспитанными людьми в лице своих героев циническую философию, и мало того — циническую поэзию, некое горькое очарование, противиться которому нелегко...

III

Можете себе представить, какой — после некоторого оцепенения — неопиcуемый скандал почувствовался в нашем благополучном обществе, в нашей выметенной и прибранной литературе! Уже одного этого скандала было бы достаточно для самой оглушительной славы. Но были и другие важные причины, способствовавшие известности г. Горького. Хотя «мужик сиволапый» — нередкий гость в журналах, но в последние 15—20 лет его уже не пускали дальше людской; Акулины и Софроны давно сменились княжнами Кэт и баронами Коко, чистенькими, блестящими, как новенькие куклы. Мы почти уже отвыкли от грязных двуногих, мы уже почти поверили, что род человеческий выделяется из фарфора и папье-маше, и вдруг является г. Горький со своим ужасным человеческим товаром, и вдобавок — живым...

Лет двенадцать тому назад г. Горький был бы, мне кажется, невозможен. Тогда его, может быть, задержали бы на литературных заставах в редакциях; тогда, может быть, он и сам описывал бы мир не босяков, а графов и баронов. Мода, как известно, тиран. Но теперь, в последние лет пять-шесть, г. Горький пришел как раз вовремя, и это тоже одна из тайн его шумной славы. Он пришел вместе с новой умственной волною в русском обществе, в разгар ожесточенных битв народников и марксистов, в разгар обостренного внимания именно к пролетариату. Обоим лагерям, и народникам, и марксистам, сам Бог послал г. Горького: оба лагеря берут его на разрыв. За него же в последнее время ухватился и третий лагерь, представляемый «Гражданином» и «Московскими ведомостями»⁶. Всем понятно, до каких забавных преувеличений в похвалах г. Горькому дошла марксистская критика. Долго не рассуждая, наш автор был вознесен ею превыше первостепенных талантов, провозглашен вождем эпохи⁷. Может быть, тут был кое-какой журнальный расчет, а может быть, и обычная наша искренность, похожая на истерию. Но марксистам не грех сказать лишнее о своем сотруднике, если вот что пишут о г. Горьком в «Гражданине»:

«М. Горький является единственным и неузнанным пока на Руси, в образе художника, апостолом человеколюбия, и это его возвышенное призвание, конечно, вменится ему рано или поздно в заслугу, как великого двигателя русского духовного прозрения и оздоровления... Для такого подвижника писательства, как М. Горький, недостает подобающего скульптора-критика, который, увенчав его чело лаврами, поставил бы его все-народно на подобающем пьедестале, создав заживо достойный памятник ему, сильному и светлому русскому работнику изящной словесности». Вот как в княжеском органе отзывается некий граф о «цеховом малярного цеха»⁸.

IV

Может быть, в похвалах г. Горькому со стороны феодальной печати есть доля коварства, но несомненно то, что и эта печать может извлечь из нашего автора большие выгоды. Для всех лагерей как правдивый художник г. Горький служит иллюстратором их теорий; он всем нужен, все зовут его в свидетели как человека, видевшего предмет спора — народ, и все ступени его упадка. Народники, которые, кажется, первые открыли в Нижнем этого писателя-босяка, говорят: «Поглядите, как ка-

питалистический режим уродует жизнь народную! Поглядите, во что превращается свежий сын земли, оторванный от родной почвы! Вчера еще пахарь и хозяин на земле, орошенной потом его предков, — сегодня бродяга, не имеющий ни кола, ни двора, потерявший даже потребность иметь их. Вчера еще человек крепко сплоченного общества, вся жизнь которого управлялась нравственным началом взаимопомощи, — сегодня он уже вне общества и закона, хищник, не принадлежащий ни к какой организации и во все вносящий только разрушение. Вчера мужик обладал, при всей бедности, душевным равновесием, какое дает всякая культура, сегодня он — при всем случайном богатстве — одержим страшной злобой. Вчера — и душевно, и телесно человек здоровый, сегодня в образе бродяги он и душевно, и телесно больной; он одержим пороками и психозами, он истощен и распатан во всем организме. Вот к чему ведет оторванность человека от земли, от родного деревенского союза, от условий, слагавшихся в течение тысячелетий».

Таково, мне кажется, отношение народников к г. Горькому. Но не успели они оглянуться, как нашим автором завладела молодая партия — марксисты. С энергией, свойственной молодости, они пустили этот свалившийся к ним крупный капитал в очень быстрый оборот. Они прикрепили бедного писателя к журналу⁹ и закричали о нем на весь свет, с трубами и литаврами провозгласили его гением, первым писателем современности, затмившим не только г. Короленко и Чехова, но превзошедшим Гоголя... Для г. Горького устраивались в Петербурге литературные вечера, его всюду возили, выставляли, снимали портреты с него, рекламировали, издавали... Был момент, когда от г. Горького не было проходу, и от излишнего усердия друзей он угрожал даже прогоркнуть для публики...

Упоение Горьким со стороны марксистов имеет свои, очень веские причины. Этот писатель вывел на сцену тот самый общественный класс, который должен в конце концов, в отдаленном, может быть, будущем, осуществить мечты марксизма. Г. Горький вывел человека как последний продукт капиталистического строя, вывел пролетария, т. е. сырого, вышедшего из природы мужика, обработанного, так сказать, азотною кислотою капиталистической эксплуатации. Правда, герои г. Горького не дисциплинированные рабочие фабрик, не люди с твердым сознанием своих прав, но все же это рабочие, — не деревенские мужики. Г. Горький впервые показал огромное и темное сословие людей, хотя и пьяных и истеричных, но страшно озлобленных своею долей, людей тоскующих, несговорчивых, каприз-

ных, выше всего ставящих свободу, готовых на вечную борьбу с буржуазным обществом и уже ведущих эту борьбу. — Поглядите, — могут сказать марксисты, — поглядите, как капиталистический режим перерабатывает глупого сына деревни, как он стирает с него патриархальную покорность судьбе и волюю готовность лезть в ярмо! Что за молодцы эти Макар Чудра, Емельян Пиляй, Артем, Пляши-нога, Челкаш! С каким презрением они говорят о деревенском рабстве, о рабстве земельного труда и сколько мысли вносят в душу народную! Пролетарий — не раб, это человек великого действия, хоть и не наступившего. Надо желать, чтобы весь народ прошел эту страшную школу и воспитался в ней, окреп в свободных инстинктах... Пиляй, Челкаш, пекарь Коновалов, сапожник Орлов — все это продукты капитализма, и последний необходимо развивать, как исполинскую машину, перерабатывающую косную массу народную — в армию вольных рабочих, не связанных землей, сознавших свое центральное положение в обществе...

В таком роде, мне кажется, должны рассуждать марксисты. Г. Горький является для них как бы Гомером будущего, певцом героев, еще не пришедших, но уже выступивших в поход.

Так называемые реакционеры, романтики крепостного строя, в свою очередь, осчастливлены появлением г. Горького. — Поглядите, — могут сказать они, — вот к чему ведет ваш хваленый прогресс! Вот во что претворяется некогда сильный и свежий сын деревни, освобожденный от древних связей, от установлений аристократических и религиозных. Поглядите, до какой степени потеряно старинное смирение народное, довольство своею судьбою, чувство уважения к чему-то высшему. Каждый босяк г. Горького озлоблен на весь мир; он — будучи варваром, невежественным и пьяным, дышит почти байроновским отрицанием. Опасен Герострат, но тут целая армия Геростратов, готовых сжечь священный, строившийся веками храм общественности... Спасибо г. Горькому, наконец-то он изобразил пролетария без либеральных прикрас, во всем цинизме этого типа. Вот оно пятое сословие, вот они тощие фараоновы коровы, которые пожрут жирных!..¹⁰

V

Если все партии удовлетворены писателем, то понятен стремительный рост его известности. Я уверен, что для самого г. Горького его слава является неожиданной и, вероятно, стес-

нительной. Он не может не чувствовать, что во внимании к нему общества слишком много моды, его легко может постигнуть столь же быстрое забвение. Разве не забыты не менее даровитые беллетристы — Слепцов, Н. Успенский, Новодворский, Кушневский¹¹ и др.? Кто читает нынче Решетникова и даже Помяловского? Для забвения в публике не нужна физическая смерть: можно, обладая некоторым талантом, здравствовать и писать, писать многочисленные романы, но их не будут замечать. Не станем называть имен, — но разве не всем ясно, что еще действующие нестарые беллетристы, гг. X, Y, Z... уже забыты в публике, хотя еще пишут неимоверно много. Они как писатели, в сущности, уже умерли. Их читают, может быть, но уже как мертвых, от них ничего больше не ждут, о них не говорят. Только истинным, большим талантам удастся избежать этой смерти заживо, удастся привязать к своей душе внимание толпы неверной... Сказать кстати, — даже гениям не под силу удерживать во власти своей подряд более одного, двух поколений. Но истинный талант, даже забытый, все же имеет то утешение, что он по природе своей независим от толпы. Современники могут быть ему покорны или нет — он найдет себе читателей в потомстве; если он закатывается как солнце, для одной эпохи, то как солнце же встает для другой. Есть избранные судьбы, от времени до времени воскресающие в памяти человечества, всегда в прежней свежести, доказывая тем, что вечное — всегда современно. Люди, отмеченные гением, видны в безграничной дали, как светила, и для них забвение не страшно. Г. Горькому, пока гениальность его еще спорна, чрезмерная слава может принести глубокое разочарование. Но — с одной стороны — не затем же даровитый писатель несет свое сердце в мир, чтобы покичиться им, и г. Горький достаточно искренен, чтобы оценить рыночную цену «славы», — с другой — от него ведь самого зависит остаться достойным «вечной памяти», если не всех, то хоть немногих избранных... Быть достойным хорошей славы — лучше, чем обладать ею. Посмотрим же, что такое г. Горький, если судить о нем спокойно.

Г. Горький написал уже четыре тома, — все почти маленькие рассказы, но между ними есть одна большая повесть «Фома Гордеев». Казалось бы, багаж достаточный, чтобы судить о творческой состоятельности автора, но сделать решительную оценку ему, мне кажется, еще трудно. В прежнее, более строгое время, по первым четырем томам г. Горького, пожалуй, сказали бы, что это «еще один даровитый неудачник», — теперь этого сказать нельзя. Прежде талант, вроде

г. Горького, не вышел бы из среды народной; с тем же впечатлительным умом, с тою же жаждою жизни, поэзии, страсти г. Горький оставался бы пекарем в какой-нибудь булочной Нижнего или крючником в Одессе. Если же он родился бы в семье богатой и просвещенной, он не написал бы в такое короткое время четырех томов, — т. е. не напечатал бы их, и мы не увидали бы многих бесспорно плохих вещей («Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Ошибка», «Песня о Соколе», «Хан и его сын», «Читатель», «О черте», «Еще о черте» и др.). — Остались бы сжатые на два тома только удачные вещи, и их было бы достаточно, чтобы предсказать автору блестящее будущее. В самом деле, некоторые рассказы г. Горького, особенно некоторые страницы в них, обнаруживают сильный талант, и работой он сплошь с таким одушевлением и чувством правды, мы имели бы в нем первостепенного писателя. В прежнее время г. Горький так и писал бы; можно было поручиться, что обеспеченность, аристократизм вкуса, отвращение к плохой работе не позволили бы автору выпустить ни одной не вполне удачной вещи. Нынче — дело другое. Материальная нужда, соблазн популярности, назойливость издателей, невысокая внутренняя самооценка, — скажем грубо — недостаток вкуса, который требует особого воспитания, — все это толкает молодые таланты к спешной и неразборчивой работе. Г. Горький, по-видимому, не исключение. Он дал доказательство того, что может писать и хорошо, и плохо, и вот это «плохо» может возобладать, заглушить немного прекрасное, на что он способен. Наш автор наверху славы — но еще в начале поприща; он на распутьи, и именно теперь решается роковой для него вопрос — выйдет из него большой писатель или нет. Вместо чрезмерных, прямо нелепых похвал, вместо ожесточенной брани, невыяснившееся крупное дарование г. Горького нуждается в теплом к нему участии, в критике строгой, но снисходительной. Писательский талант, как и всякий, требует долгой школы; лучшею школою является жизнь, если она сколько-нибудь содержательна. Г. Горький еще молод, ему просто нужно еще пожить, чтобы вполне развернуться. Посмотрим, что он даст в сорок лет, в возрасте г. Чехова. Посмотрим, что он даст в пятьдесят лет... Дело общества и литературы — приветствовать всякий, сколько-нибудь искренний талант и постараться обереечь его. Для этого менее всего пригодно идолопоклонство. Оно ложь, а талант, душа которого есть правда, расцветает только в атмосфере правды.

VI

Талант подобен золоту: даже ржавчина его имеет цену. Даже недостатки талантливого художника бывают привлекательными, и часто для читателя они милее достоинств. Г. Горького кто-то назвал «размашистым импрессионистом», и эта характеристика так и осталась за ним. Импрессионизм — и достоинство, и крупный недостаток нашего автора. Вообще это манера опасная, она доступна лишь великим мастерам. Тайна искусства — мера вещей, а импрессионизм есть необузданность, стремление вырваться из границ. Тут природа изображается в момент проникновения ее в чувство художника, и как химические *in statu nascendi**, отличающаяся страшной энергией. И чем эта энергия сильнее, тем необходимее обуздывать хаос ее, вводить ее в закономерные, прекрасные формы, не лишая, сколько возможно, движения. Задача необыкновенно трудная, и на ней происходит крушение неопытных, не сильных дарований. Художника тянет к преувеличению; он начинает изображать небывалые страсти, могучие тела и души, кипучие темпераменты, необычайно широкие или, наоборот, — чрезмерно замкнутые, демонические натуры и т. п. Припомните Марлинского в прозе и Бенедиктова в поэзии¹². При известном даровании получается облагороженная ложь, приподнятая действительность, карикатурные черты которой скрывались феерическим освещением. Как все яркое, такие картины останавливают; отдельные моменты их поражают, производят впечатление, хоть и очень грубое. Толпе феерии нравятся, природа здесь искажена. Как некогда Бог открывался пророку не в громах и бурях, а в тихом дуновении ветра, природа открывается истинному таланту в тишине и холодной ясности созерцания. Живой темперамент г. Горького придает его рассказам характер страстный, яркий, сочный, колоритный, и это, конечно, достоинство, но мера его, к сожалению, не всегда выдержана, и наш автор впадает кое-где в вычурность, в крикливую, холодную жестикуляцию слов. Таковы его подражательные, явно подкasanные плохим чтением вещи — «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Хан и его сын» или еще более натянутые — «О черте», «Еще о черте», «Читатель». В первых рассказах г. Горький злоупотребляет экономией чувств, во вторых — экономией мысли. Возьмите хоть первый же рассказ первого тома — «Макар Чудра». Вот

* в состоянии зарождения (лат.). — *Ред.*

превосходный образец талантливой, но насквозь фальшивой работы. Фальшь ее в чрезмерности, которую автор считает за меру, фальшь в кричащей яркости, напоминающей лубочное искусство. У г. Горького если уж вводится цыган, то непременно с «волосатой бронзовой грудью», которую «безжалостно бьют холодные волны ветра». Макар Чудра «полулежал в красивой, свободной и сильной позе... методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма...» Эти «густые клубы дыма изо рта и носа» — мелочь, но забавная и характерная: она тотчас доказывает читателю, что автор или плохо наблюдал или уж чересчур щедро прикрасил картину. Послушайте, каким страшным языком философствует этот цыган: «Смешные они, те твои люди. Сбирались в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля, и умирает, как родился, дураком. Что же, он родился затем, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? (?) Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце?»

VII

Воля ваша, так наши цыгане, кочующие у Черного моря, не разговаривают. Если они говорят по-русски, то как-то иначе, да, вероятно, иначе и думают. Вы чувствуете, что Макар Чудра не цыган, а человек, читавший и «Алеко» Пушкина и «Тараса Бульбу», и статьи гг. Петра Струве и М. И. Туган-Барановского¹³. Г. Горький все же художник; видимо, его самого коробит журнальный язык диких цыган, и он старается пересыпать его междометиями: «Эге!», «ого!», «хе!», «эх», «э-э-э» и пр. Это должно, видите ли, придавать речи характер дикий и народный. Погрешность в языке для писателя — смертный грех, это все равно, что погрешность в рисунке для художника-живописца. Но из приведенных строк рассказа читатель может почувствовать кроме вычурности слога и обыкновенно сопутствующую последней неправду мысли.

Макар Чудра рассказывает невероятно страшную историю о том, как цыган Зобар (совершенно оперное имя) влюбился в красавицу Радду.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия и Чехия, и Словения, и все, что кругом моря, знало его — удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой из жителей не давал Богу клятвы убить Лойко, а он себе жил и, уж коли ему понравится конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня, — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то, наверно бы, крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыло, — это уж как раз!..»

Таким языком ведется рассказ; совсем клише тысячи подобных же размашистых рассказов в старом романтическом жанре. Чувствуется, что автор сочинял своих цыган по Марлинскому, по малороссийским рассказам Гоголя, может быть, даже по Далю или Марко Вовчку¹⁴. «На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидел ее (Радду) и остолбенел. Сидит на коне и смотрит дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля: как молния сверкает; чуть конь ногой топнет... вся эта сабля в камнях драгоценных и голубой бархат на шапке, точно неба кусок».

Магнат сватает цыганку:

«Горит весь, и как ковыль под ветром, качается на седле. Мы задумались.

— А ну-ка дочь, говори! — сказал себе в усы Данила.

— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

Засмеялся Данила и все мы с ним.

— Славно, дочка! Слышал, государь? Голубок ищи, те податливей!..

А тот господин схватил шапку, бросил о землю и поскакал, поскакал так, что земля задрожала. Вот какова была Радда, сокол!»

Скажите, похоже это на правду? Но слушайте дальше.

Появляется Зобар. «Усы легли на плечи (!) и смешались с кудрями вороненой стали, очи, как ясная звезда, горят, а улыбка — целое солнце, ей Богу! Точно его ковали, ковали из одного куска железа с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь. — Эге, будь я проклят» и пр.

Опять-таки, говоря по совести, разве тут не переложено чего-то лишнего? Например, усы, легшие на плечи, или солнце вместо улыбки? Герой г. Горького едет ночью в степи на коне и одновременно играет на скрипке, и до того пленительно, что цыганам захотелось быть «царями над всей землей». Радда

спрашивает, что это за скрипка, — Зобар отвечает: «Я сам делал. И сделал не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мной свиты». Это, видите-ли, живые люди так выражаются, в особенности цыгане, люди простые. Скучно пересказывать невероятно кровавую, вычурную до бессмыслицы историю, как Зобар и Радда полюбили друг друга, но Радда больше всего на свете любила волю и хоть и согласилась идти в жены Зобару, но с тем условием, чтобы он признал ее за мужчину, за старшего товарища, поклонился ей в ноги перед табором и пр. В конце концов кривой нож Зобара очутился в груди Радды. «А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— Прощай, Лойко! Я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла.

— Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко, да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды». Чепуха этой истории тем не кончилась, — умер и Зобар под ножом Данилы.

VIII

Читатель видит, как плох бывает г. Горький, до какой фальши он способен упасть в своей работе. Таких сочиненных, лубочных рассказов у него несколько. Что еще тревожнее — даже в самых сильных своих вещах, он нет-нет да и собьется на романтическую ложь, нет-нет да и пустит «густые клубы дыма изо рта и носа». Г. Горький еще молод, некоторая подражательность ему быча бы простительна — и Пушкин, и Лермонтов невольно подражали в ранние годы. Но они подражали не Марлинскому, не Бенедиктову, а Байрону, и именно за то, что он подражал природе. В работе Байрона они чувствовали правду самой природы, и их подражание не было изменой последней.

Я должен оговориться, что приведенный рассказ г. Горького — самый плохой у него. Если бы и все были в этом роде, не стоило бы даже говорить об этом авторе, его нельзя было бы считать писателем. К счастью, г. Горький дал целый ряд вещей иного качества, где описывает действительно то, что наблюдал. Здесь он вырастает по временам в искреннего и крупного художника. Если вспомнить неудачные дебюты Гоголя или Тургенева, тоже подражательные, хромающие сочинительством,

то ряд плохих вещичек у г. Горького нельзя поставить ему в укор. Талант его, видимо, еще ищет свою дорогу...

Кроме неуравновешенности чувства для дарования г. Горького есть и другая опасность, несравненно более серьезная. Это неуравновешенность мысли, его склонность к рефлексии, к бесплодной умственной суматохе так называемых интеллигентных людей, оторванных от органического быта. Уже в первых и плохих и хороших вещах г. Горького чувствуется тенденция; уже в них художнику, видимо, мало рисунка и красок и хочется пера, чтобы подписать «мораль», хочется отвести душу в проповеди, в споре с читателем. В последних же своих рассказах — «Читатель», «О черте», «Еще о черте», «Мужик» — г. Горький прямо выступает публицистом и разливается в безбрежном и скучном резонерстве. Прекрасный народный язык, которым владеет г. Горький, тотчас блекнет, как только он начинает рассуждать, тотчас начинаются прозаизмы, режущий ухо журнальный жаргон... Прочтите, например, такой период: «В деле познания нами души ближнего есть какая-то странная то-ропливость, — мы всегда спешим определить человека как можно скорее. Поспешность эта в большинстве случаев ведет к тому, что тонкие черты и оттенки характера не замечаются нами, а, может быть, даже и намеренно не замечаются, потому что, не укладываясь ни в одну из наших мерок, мешают нам скорее покончить с определением человека» и пр., и пр. Может быть, это и верная мысль, но как в то же время она плоско выражена! Совсем проза, а между тем это отрывок из первой страницы последнего художественного очерка г. Горького — «Мужик». И такую прозой пересыпаны все сцены и разговоры очерка. Вообще, даже в лучших своих вещах г. Горький не в силах скрыть того, что он человек образованный, — в плохих же его начитанность, его «интеллигентность» так и прет в глаза, нагоняя тоску. Герои и героини, если это из образованного класса, то все архиинтеллигентные. «По специальности акушерка, она (героиня) училась еще и за границей, привезла оттуда диплом на звание врача, но как врач не практиковала. Однако, диплом этот дал ей возможность читать курс гигиены в местной женской гимназии и в воскресной школе» и пр. Другая героиня — «Татьяна Николаевна заведовала воскресной школой и любила свое дело всей силой сердца... Школа была для нее как бы храмом, и она неустанно служила в нем, полная священного трепета и непоколебимой веры в свое дело». Или: «Он вообще был в этой среде человеком полезным и, видимо, по мере сил влиял на нее. Благодаря именно его инициативе и

помощи при ремесленной управе открыли очень порядочную библиотеку и читальню». Совсем будто из некролога. И разговаривает эта архиинтеллигентная интеллигенция прямо сверхинтеллигентным языком.

— «Все мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на страже лучших заветов, святых заветов прошлого, должны охранять наследие эпохи великих реформ...»

Или: — «Не ново, согласен. Новое, я думаю, начнется с того времени, как вырастут зерна насущного хлеба жизни...»

Или: «— Вам бы, милостивый государь, должен быть известен факт, что на некоей высоте интеллектуального развития человек утрачивает типические черты своего класса... Степень высоты самосознания у мещанина, как жителя города, как человека, более культурного, чем мужик с его первобытным мирозерцанием, обуславливает и более острую самокритику...»

Так выражается провинциальный доктор, а вот как выражается архитектор:

«Наверное, и все согласятся с тем, что чрезмерно развитой интеллект всегда ослабляет непосредственное чувство. Даже больше — часто он подтачивает и самый инстинкт жизни... Развиваясь на почве инстинкта, он питается его соками, и хотя он не чужеядное, а коренится в чувстве бытия, с ним родственно объединен и является необходимо присущим человеку стремлением к самосознанию, однако роду его должно бы полагать некоторую границу» и пр. и пр.

Или:

«Жизнь хочет гармоничного человека, в котором интеллект и инстинкт сливались бы в стройное целое. Нужен человек, все способности которого были бы приведены в строй равномерный, и одна другую оттеняя, всегда все и всегда гармонически откликались бы на каждое впечатление бытия» и пр., и пр.

IX

Вот как считаешь страниц тридцать таких рассуждений, то покажется, что их довольно. Покажется, что это не люди разговаривают, а передовые статьи или фельетоны, наряженные людьми. У г. Горького, видимо, такая страстная потребность думать и говорить, что он свое художественное созерцание — капитал крупный — тотчас разменивает на журнальные пятаки и сыплет ими без счета в «умных разговорах». Скучно

это. Оставил бы г. Горький этот неподходящий для него род писаний. Лучше бы ему оставить вовсе в стороне образованное общество: оно имеет своих бытописателей. У г. Горького есть свой огромный мир, которого он едва коснулся, который заслуживает не-сравненно более широкого обследования. Один из героев г. Горького (помянутый выше архитектор) говорит: «Я пришел снизу, со дна жизни, оттуда, где грязь и тьма... Я есть правдивый голос жизни, грубый крик тех, которые остались там, внизу, отпустив меня для свидетельства о страданиях их». Ведь и сам г. Горький может сказать то же самое про себя. Он отпущен снизу, для большого дела — как посол огромного непризнанного царства, воющего с обществом. Он мог бы сказать от имени расстроенного народа давно ожидаемое, давно нужное слово правды... «Придти оттуда (говорит другое лицо, санитарный врач), от тысяч живых, погибающих во мраке людей... взойти на верх жизни и сказать о чувствах, о думах, желаниях этих людей... и потрясти сердца до ужаса, до отчаяния, которое перерождается в безумную храбрость... в страстное стремление на помощь им... Ведь для этого нужно иметь язык пророка Исайи... Ведь это... чрезмерно для человека!» Чрезмерно — но г. Горький именно перед такой задачей. Он что-то должен сказать новое, большое...

Х

То громкое слово, которое несет из глубин народных г. Горький, не всегда, к сожалению, является народным. Часто оно кажется даже не русским. Читаешь иногда и чувствуешь, что это слово взято автором не из жизни, а вычитано из книг, и даже как будто переводных. Это слово — не Бог весть какое новое. Это — эгоизм, или модная разновидность его — эготизм, обожествление своей плоти, своей личности и материального счастья. Лет тридцать тому назад то же слово называлось нигилизмом, затем разбилось на разные оттенки декадентства. Апостолом нового слова на Западе явился Ницше, цинический философ. С чудесной стремительностью, совсем по-русски, нижегородский беллетрист «малярного цеха» принял евангелие базельского мудреца и, может быть, бессознательно несет его как «новое слово». Босячество и Ницше, — казалось бы, — что общего? На деле оказалось все общее. Через все четыре тома г. Горького проходит нравственное настроение цинизма, столь теперь модное, столь сильное для истеричного нашего време-

ни. Позвольте привести некоторые, хоть и беглые доказательства.

Уже в первом рассказе 1-го тома, восемь лет тому назад, герой его — Макар Чудра проповедует: «Которые умнее, те берут, что есть, которые поглупее — те ничего не получают», и презрительно осмеивает учение о том, что нужно жить по воле Божией. В следующем рассказе Емельян Пиляй доказывает, что «брюхо в человеке — главное дело... как брюхо покойно, значит, и душа жива». — «Права! Вот они, права!» — говорит он, поднося к носу собеседника жилистый кулак. «Клнуть денежного человека по башке — что ни говори, приятно, особенно ежели умеючи дело обставить»... Но Емельян Пиляй — только теоретик насилия, спасовавший, когда дело дошло до убийства, и презирающий себя за это. Следующий герой — Челкаш — не размышляет, а злодействует без тени колебаний и держит себя необыкновенно гордо. Одно лицо из «Ошибки», рассуждая, можно ли убить безнадежно больного, решает: «Морально это или не морально? Во всяком случае это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Герой трагического рассказа «Однажды осенью» трижды проклинает себя за слабость, за то, что веровал в силу, мечтал о переворотах — и очутился в подонках общества... В интересном рассказе (1896 г.) «Мой спутник» опять выводится бессовесная натура — в лице князя Шакро. Это — добродушное, сильное животное, хищник потомственный, не знающий иного нравственного закона, кроме того, чтобы пользоваться чужим, где можно. Проведена тонкая параллель между альтруистом и эгоистом, причем первый — просвещенный и гуманный — оказывается в глупом положении работника у человека дикого и тупого, но твердо убежденного в своем праве быть барином. «Кто силен, тот сам себе закон», — говорит кавказский князь. Дикий и жестокий, он вызывал подчас ненависть к себе, но, говорит автор, — «он умел быть верным самому себе. Это возбуждало во мне уважение к нему»... «В этом требовании (службы ему) был характер, была сила. Он меня поработал, я ему поддавался». Автор раздумывает «о великом несчастье тех людей, которые, вооружившись новой моралью (христианской), новыми желаниями, одиноко ушли вперед и потерялись в жизни и встречаются на дороге своей спутников, чуждых им, не способных их понимать. Тяжела жизнь таких одиноких. Безвольно (?) носятся они в воздухе, как семена добрых злаков, хотя и редко сгнивают в почве плодородной». После четырехмесячной рабской службы своему спутнику рассказчик был обманут и брошен им

самым мошенническим образом, но он не сердится. «Я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом. Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами, ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей».

Чему же, однако, научил автора этот грузинский барин? По-видимому, только тому, как глупо быть добрым, как глупо приносить жертвы ближнему. Это, видите ли, — «старая мораль», мудрость жизни, в противоположность «новой», записанной будто только в фолиантах морали узкой и неглубокой. В противоположность писателям-народникам шестидесятых годов, которые искали человека в звере, г. Горький тщательно ищет зверя в человеке и, найдя его, странно как-то и грустно торжествует. Если зверь красив, силен, молод, бесстрастен — все симпатии автора на его стороне. Видимо, сам г. Горький сердцем еще привязан к морали новой, к заветам Христа, но уже готов считать их заблуждением, книжным отрицанием закона, более жестокого, но действительного.

В следующем рассказе — «Дело с застешками» — опять выводятся две морали, и представитель старой морали — вор Семка — с великолепным презрением, одной фразой уничтожает представителя христианской совести, Мишку, который нарочно ставится автором в смешное положение. — «Умри ты лучше, пень милый. А то завтра тебя с такими твоими выкрутасами мухи али тараканы съедят...»

XI

Г. Горькому мало было в ряде рассказов вылить «старую» свою веру — ему потребовалось для этого особая поэма — «Песня о Соколе». Она написана стихами, почему-то разложенными в строку; автору хотелось, видимо, «воспеть» то, что особенно ему дорого. «Песня о Соколе» опять выводит две мудрости, две морали — в лице Сокола и Ужа.

«В ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью». Уж — представитель, видите ли, мирного прозябания, Сокол — представитель борьбы, борьбы кровавой и беспощадной. Уж, прячущийся в ущельях, бегущий от зла, выставлен, так сказать, подлецом, Сокол — героем.

«— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!... Я знаю счастье!... Я храбро бился!. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко! Эх ты, бедняга!

— Ну, что же небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... Тепло и сыро».

Так отвечает Уж, смеясь над вольной птицей. «— И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы: — О, если б в небо хоть раз подняться. Врага прижал бы я... к ранам груди... и захлебнулся б моей он кровью! О, счастье битвы!..»

Это — предсмертное завещание Сокола, и будто вся природа подтвердила его «Амен». Гремели волны. «В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячее, как искры вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!..»

Такова она — старая мораль, вновь воспетая г. Горьким. «Безумство храбрых — вот мудрость жизни», — говорит он, — при этом храбрость понимается не иная какая-нибудь, а боевая, кровавая. Бой должен быть смертельным, с тою сатанинской злобой, когда хочется, чтобы враг захлебнулся вашей кровью, если нельзя умертвить его иначе...

Эта «Песня о Соколе» очень многим нравится, многие из молодежи от нее в восторге. Но мне эта вещь кажется необыкновенно фальшивой и слабой. Не говоря о том, что она плохо написана, кричащими красками, — она насквозь фальшива по нравственному замыслу. Хороша аллегория — лететь к небу, чтобы там подраться, раскровянить и себя, и врага, повыщипывать перья друг у друга, поломать крылья! Прежние поэты небу давали другое употребление. Вспомните: «По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел». Та старая песня была не о Соколе или другой птице, а о «Богe великом...» Маленькая разница! Современный поэт заменяет ангела хищной птицей и поет «безумство храбрых». Но даже и с птичьей точки зрения — в чем же храбрость безумного Сокола? Как известно, соколы нападают не Бог весть на каких страшных врагов — всего лишь на диких уток, гусей, куропаток и т. п. По аллегории г. Горького выходит, что утки и куропатки тиранят соколов, и тем приходится отстаивать свою свободу и «жажду к свету». Забавно это очень. Но публика и молодежь не замечают комических черт «Песни» и бешено аплодируют ей, когда слышат со сцены. Тут, видите ли, «борьба», а уж если борьба, то все равно для какой цели и какими средствами — от одного звука «борьба» в кое-каких слоях принято приходить в восторг.

Наше интеллигентное общество, сплошь состоящее на жалованьи, наша молодежь, поголовно стремящаяся попасть на казенные хлеба, — все-таки любят пощекотать свои нервы этим странным словом... Как типический интеллигент-пролетарий, в котором дух народный совсем выдохся, г. Горький со своею «старой мудростью» попал как раз в тон своему времени, в тон обществу, где читают Ницше. Борьба... Мне вспоминается бедный, кроткий Надсон, который не только мухи никогда не обидел, но которому самая мысль о кровавой борьбе казалась ужасной. В дружеской беседе от отвергал всякий терроризм, а в стихах у него «борьба» рассыпана чуть ли не в каждом стихотворении, иногда по несколько раз. И нет сомнения, эта «борьба», для публики звучавшая иначе, была одною из главных пружин неслыханного успеха Надсона. Нечто подобное повторяется с г. Горьким, и это жаль. Еще более жаль, если «безумство храбрых» для г. Горького не красивая только фраза, а действительно убеждение...

XII

Проследим дальше, страница за страницей, нравственную веру автора. Следующий рассказ (1896 г.) «На плотях». Волга, ночь, плоты; на руле — хилый Митя, сын сплавщика, и Сергей, рыжий работник. На переднем конце — сам сплавщик, мощный старик, с женою Мити. Опять две мудрости, две морали. Христианская изображена в виде хилого, дряблого праведника, языческая — в виде здорового, могучего человека-зверя. Старик, на глазах сына и работника, живет со снохою, и спокоен, и счастлив. Это, по г. Горькому, — «человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознанной им жизнеспособностью». В чем же жизнеспособность? А в том, чтобы отнять у больного сына красивую его бабу, переступить всякий закон, всякую совесть. Г. Горький не может вдоволь налюбоваться на своего героя: «Герой у тебя отец-то, — говорит работник, который весь на стороне старика. — Смотри-ка, 52 ему, а он какую кралечку милует! Сок один баба!» Работник поддразнивает бедного Митю, смеясь над его чистотой и «мудростью», над его моралью. «На том конце плота жили и его возбуждали к жизни», — говорит г. Горький, не замечая, что вся «жизнь» заключалась лишь в том, что здоровый старик обнимал чужую бабу. «Думы! Ха!.. — издевается работник: — Вон, глянь-ко, отец-то твой не мудрит — живет. Милу-

ет твою жену, да подсмеивается над тобой, дураком мудрым»... Этот преступный человек, который «не мудрит — живет», смеясь над страданиями сына — изображен каким-то тираном. Имя ему — Силан — намек на силу его, — он стоит «в широкой красной рубахе, с растегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь» и пр. Г. Горький мог бы, конечно, подметить, что снохачи в народе — не все богатыри, а часто совсем лдящие старичонки, но тут, видите ли, нужно показать сверхчеловека, чувствуется страстное желание опозитизировать его, оправдать. Силан — красавец и силач, он переполнен «жизнью», и ему в уста влагаются такие речи: «Пускай видят! Пускай все видят! Плюю на всех. Грех делаю, точно. Знаю. Ну-ка что-ж? Подержу ответ Господу... Грех! Все знаю! И все преступил. Потому — стоит! Один раз на свете-то живут»... Когда Митя просит отца бросить этот грех, сверхчеловек отвечает совсем по Ницше:

«Сын мой милый, отойди прочь, коли жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гнилую. Ничего от твоей добродетели не останется. На муку себе я родил тебя, выродка!..» Когда сын говорит — али я виноват? Отец отвечает: «Виноват, комар пискливый! Потому — камень ты на моей дороге. Виноват, мол, потому постоять за себя не умеешь... Мертвечина, мол ты, стерва тухлая. Кабы ты здоров был, хоть бы убить тебя можно было...» Силан еще не убил сына, но мечтает о его смерти. Остатки совести еще где-то шевелятся в старике: «Жаль тебя, кикимору несчастную», — но сверхчеловек презирает в себе эту жалость: «Эх, Марья! Плохи люди стали! Другой бы — э-эх-ма! Выбился бы из петли-то скоро. А мы — в ней! Да, может быть, так и затянем друг друга». Помечтав о смерти сына, почтенный старик, по словам г. Горького, чувствует «мощный прилив энергии и бодрости в своей широкой груди».

В следующем большом рассказе «Тоска» опять выводятся две мудрости — добродетельный учитель, умирающий от чахотки, и здоровый рабочий Кузьма Косяк, красавец и прелюбодей. Учитель строчит корреспонденции и задыхается в нищете, а сверхчеловек живет в свое удовольствие, соблазняет походя девок и баб, и бросает с великолепным, невозмутимым спокойствием сытого зверя. Страницы прощания Кузьмы с Матреной превосходны; видимо, г. Горький глубоко перечувствовал психологию и мораль подобных героев.

«— А меня-то? Кузя, меня-то? (говорит с отчаянием девушка). Я-то куда денусь от тебя? Подумай-ка? Али ты меня не любишь уж? Али ты меня не жалеешь?

— Тебя-то, тебя-то... А тебя я здесь оставлю... За вдового Чек-марева замуж выйдешь... Сошлись мы с тобой по-любому, ну, и пришло вот время разойтись. Жить надо и так и этак — во всю чтобы! А ты нюнишь! Дурашка!..»

Этот веселый зверь, губящий девок и прижитых ребят, дает как бы откровение затосковавшему в благополучии своему хозяину — мельнику. Тот едет в город развратничать и кутить — как бы в пику чахоточному учителю с его «стопудовой добродетелью». Это называется — «возобновился человек».

XIII

Таково нравственное настроение г. Горького в первом томе. Не будем пересматривать следующие. Хотя с каждым годом талант нашего автора крепнет, хотя к босякам начинается менее пристрастное отношение, но мораль и «мудрость жизни» остаются прежними. Физическая сила, красота, сладострастие, разгул безбрежный, свобода от «стопудовой добродетели» — вот что представлено как радость жизни, и пророки этой старой веры все богатыри, сверхчеловеки. Припомните красавицу Мальву на рыбных промыслах, свободную, гордую, распутную или колоссального красавца Артема, живущего на содержании у купчих и торговков, или красавца-солдата из «Двадцать шесть и одна». Даже изображая отчаянных мерзавцев вроде Васьки Красного, палача при публичном доме, или дворянина Промтова («Проходимец»), г. Горький придает их силе и хитрости какой-то сочный, почти красивый оттенок, а душевная чистота и кротость почти неизменно воплощаются в безобразных и хилых людей. Таков жалкий Каин, затравленный еврей, таков вор Уповающий («Дружки»), человек жалостливый — и поэтому автор изображает его в последнем градусе чахотки. Говоря, что волки лучше приспособлены к борьбе за жизнь, чем иные люди, г. Горький морализирует: «...хотя их убивают, но их боятся: у них есть когти и зубы для самозащиты, а главное — сердца их ничем не смягчены. Последнее очень важно, ибо для того чтобы побеждать в борьбе за существование, человек должен иметь или много ума, или сердце зверя». В рассказе «Читатель» (1898 г.) некий читатель и черт, им прикинувшийся, говорит автору: «Пойми, твое право проповедовать должно иметь достаточное основание в твоей способности возбуждать в людях искренние чувства, которыми, как молотками, одни формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того,

чтобы создать другие, более свободные, на место тесных. Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвращение и, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которыми можно разрушить все на земле».

Как видите, г. Горький не из тех писателей, которые стремятся возбуждать «чувства добрые». Гнев, ненависть, отвращение, злое отчаяние... А отчаяние, хотя бы злое, должно, как мы видели выше, переродиться «в безумную храбрость... в страстное стремление на помощь (несчастным)». Каким образом злое чувство может быть источником добрых поступков — это секрет нашего автора. Это совсем новая психология: чтобы возбудить сострадание, нужно покончить с совестью. Поход против совести тянется во всех четырех томах г. Горького — параллельно с нескрываемым сочувствием к жертвам бессовестности. Видимо, талант выручает автора из нравственной его ошибки. Талант дает правдивую картину, которая действует совсем наоборот «морали», подписываемой автором.

Самое крупное произведение г. Горького — «Фома Гордеев», написанное в 1899-м году, продолжает ту же проповедь. Это целый роман и заслуживает особой беседы, теперь же припомним суть его. Отец Гордеева — Игнат — рисуется в своем роде как «сверхчеловек». Он из рабочего водолива сделался миллионером. «Богатырски сложенный, красивый и неглупый, он (по словам г. Горького) был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют, даже не могут задумываться над выбором средств и помимо своего желания не знают иного закона. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с нею, но совесть — это сила непобедимая лишь для *слабых духом**; сильные же быстро овладевают ею и поработщают ее своим желаниям, ибо они бессознательно чувствуют, что если дать ей простор и свободу, то она изломает жизнь. Они приносят ей в жертву дни; если же случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же здорово и сильно живут под ее началом, как жили и без нее...»

Тщетно ищешь хоть оттенков иронии в этих страшных елогах: «совесть — сила непобедимая лишь для *слабых духом*». Наш автор, видимо, искренно исповедует то, что пишет, и весь роман является иллюстрацией к этой формуле. Богатырю Игнату Гордееву, человеку хищному и распутному — попадает

* Курсив мой.

благочестивая жена из уральских молоканок¹⁵. Рождается сын Фома, человек потерянный, пьяница и резонер. В нем унаследованное от матери чувство совести не переродило породу отца, а только испортило ее. В то время как люди с пониженной совестью двигают жизнь, создают новый культурный строй, вводят новые начала — а главное, живут, гордые своими хищничеством, счастливые, — молодой миллионер, отравленный совестью, ничего не может придумать иного, кроме бесплодных угрызений, бессильной ненависти против своего общества и пьяного распутства, будто бы от «тоски». Люди, «сильные духом», — Маякины, отец и сын, Смолин и другие, свободные от «стопудовой добродетели», текут в романе могучею струею к весьма определенной цели — к богатству, власти, почету, наслаждению, — люди же с беспокойной совестью — и миллионер и пролетарии (вроде журналиста Ежова) мутно плывут у берегов, останавливаясь и кружась в каком-то водовороте мысли и себе, и людям на горе.

Чтобы оттенить трагическое положение зараженного совестью и потому полоумного несчастного Фомы Гордеева, г. Горький выдвинул титаническую фигуру Якова Маякина, поволжского миллионера. Это неукротимый хищник, но бессовестность его не только не мучит его, но представлена как настроение свежее, ясное, счастливое. В уста Маякина г. Горький влагает сильные, умные, трезвые речи, глубоко народный язык и ясную до жестокости мораль. Вы без труда поймете, что это тоже сверхчеловек, и что симпатии г. Горького — на его стороне. Вот какое предсмертное завещание сочиняет для него автор: «Ну, ребята, живите богато! Поел Яков всяких злаков, значит, Якову пора и со двора... Видите, умираю, и не унываю... И это мне господь зачтет... Я Его, Всеблагого, только шутками беспокоил, а стонами и жалобами — никогда! Ох! Господи! Рад я, что умеючи пожил... по милости Твоей! Живите дружно... и не мудрствуйте очень-то. Знайте, не тот свят, что от греха прячется да спокойненько лежит... А кто хочет от жизни толку добиться, тот греха не боится... Ошибку Господь ему простит...»

XIV

«Не бойтесь греха» — вот то громкое слово, которое несет с собою г. Горький. Другое попутное — призыв к помощи тем, кто гибнет на дне жизни, — звучит около первого холодной фразой...

Г. Горький имеет свое особенное преимущество перед другими беллетристами. Не пройдя никакой школы, он в некотором важном отношении образованнее их всех. Он прошел курс простонародной жизни, они — нет. В то время как писатели из других классов общества изучали латинские спряжения, г. Горький изучал живой народный язык. Они изучали то, что когда-то было или никогда не было, он — то, что есть. Они изучали институты Гайя¹⁶, догмы и энциклопедии прав, а он изучал голод. Постепенно, методически он проходил отчаяние, изучал злобу, исследовал сладострастие, пьянство, ужас одиночества в пустыне, упоение этим одиночеством. Он проходил многолетний курс труда сверхсильного, он знает, что такое усталость, знает ощущение отдыха, радость и горе миллионов человеческих существ, составляющих правило в человечестве, а не исключение. Г. Горький видел собственными глазами океан народа и, так сказать, плавал в нем среди тысячи чудес этой подводной жизни, интеллигентному человеку недоступной. Г. Горький собственными руками перещупал материю во всех ее видах, как маляр, сапожник, садовник, чертежник, повар, булочник, крючник и пр., и пр. Он собственными ногами перещупал земную поверхность на огромном пространстве от Волги до Бессарабии и до Тифлиса. Г. Горький дышал воздухом степей и гор, он много странствовал по берегам морей и рек — природа открывала ему свои немые тайны. Наконец, пережив целые десятилетия суровой нужды, наш автор прошел великую школу страдания, которая образовывает одаренную душу лучше всяких фолиантов. Поистине г. Горький может гордиться своим знанием, и именно тем, которое иным путем нельзя нажить. Подобно тому как, читая Тургенева и Толстого, чувствуешь бесспорно, что эти авторы изучили свой мир и самолично пережили, перечувствовали в себе своих изящных героев и героинь, так, читая г. Горького, всегда убежден, что он видел то, что описывает, самолично пережил в себе самом душу своих бродяг, воров, проституток и чернорабочих, что он вложил в себя их природу...

Но, вы скажете, все-таки жаль, что сверх того даровитый автор не получил обыкновенного образования. На это я замечу, что он, к сожалению, получил и обыкновенное образование, т. е. путем непрерывного чтения книг приобрел все, так называемое «развитие», отличающее интеллигенцию от народа. Читая г. Горького и убеждаешься, что он вполне на уровне своего века и совсем законченный «интеллигент». Ему все «проклятые вопросы» так же близко известны, как любому акцизному

чиновнику с университетским дипломом или уездному врачу. Кроме «проклятых» ему известен и миллион глупых вопросов, которыми наполняется наша праздность, и это поистине жаль. Книжное развитие не усиливает таланта, оно заметно истощает свежесть его и оригинальность. На человека чаще всего книга действует, как на сорванный цветок: между ее страницами живое существо сплющивается, засыхает, из трех измерений теряет, по крайней мере, одно. Все мы, так называемые люди интеллигентные, существа как бы двух измерений, и отсюда наша неудовлетворенность жизнью, неизвестная предкам. Г. Горький едва ли много приобрел, читая книги и журналы, но потерял много. Читая его, во многих местах чувствуешь, как связывает его книжное внушение, как свежий и сильный талант бьется в сетке общепринятых и модных предрассудков. Босяки, бродяги, дети земли у него подчас рассуждают совсем как будто только что начитались переводных книжек и журналов. Может быть, как я скажу ниже, им и по природе свойственно так рассуждать, но очень многое, видимо, автор им навязывает и от себя. Голос г. Горького, к сожалению, вовсе не есть голос народный; в лучшем случае это — голос отбросов народных — босяков.

XV

Сказать кстати, эта черта почти всех писателей, выходящих из народа. Как бабочка, вылетевшая из кризалиды¹⁷, крестьянин-писатель совсем уже не напоминает крестьянина и хотя носит иногда, из кокетства, полушубок и валенки, — душой своей вполне «интеллигент», т. е. человек с книжными мыслями, журнальными мечтами, с бумажным отношением к миру. Нынче довольно много писателей из народа; некоторые из них пишут на деревенские темы (если это поэты, то безбожно обкрадывая Кольцова и Никитина¹⁸). Читая их, вы чувствуете, что это люди чужие деревне, что они хорошо знают деревню, но уже не понимают ее. Кровные мужики, они хуже понимают душу мужицкую, нежели понимали ее некоторые писатели-аристократы, вроде Тургенева или Толстого. Конечно, тут много значит и размер таланта: крестьяне-писатели обыкновенно недаровиты. Народные таланты, как известно, стремятся чаще всего в купцы, промышленники, техники, наконец — в чиновники, наполняя собою беспрерывно вырождающуюся интеллигенцию. Прямо от сохи не являлось ни одного гения. Множе-

ство дарований, тонких и артистических, роковым образом гибнут то за прилавком, то по заводским и конторским углам. Может быть, загадочный разгул купеческий иногда не что иное, как конвульсии таланта, задышающегося в слишком узком ремесле. Что-то мешает даровитым крестьянам тотчас занимать свое настоящее место в обществе, и вовсе не недоступность образования. Почти треть населения уже грамотна, так что можно считать, что в России, наряду с безграмотным, уже есть как бы сорокамиллионное государство вполне грамотное: почему же оно не выдвигает новые ряды талантов? Я думаю, препятствует этому не недоступность образования, а, как это ни странно, скорее обратная причина. Именно, образованность, встречая выходящий из народа талант, часто обезличивает его до посредственности, отнимая самую соль таланта — оригинальность. Вы подумайте только, какой груз понятий, совсем чуждых, наваливается на свежую душу народную, лишь только она распахнется для цивилизации. На тонкую работу целых поколений деревенской культуры, на замкнутую в себе организацию чувств и мыслей накладывается миллион штемпелей, миллион представлений самых сложных и неожиданных — с общим покоряющим внушением, что это-то и есть настоящее, что это-то и дает «образ» человеку. Первое поколение, выходящее из народа, бывает энергично и даровито лишь в той среде, где образованность близка к прежней: в среде купеческой; входя же в интеллигенцию, мужик бывает обыкновенно ошеломлен, подавлен и несомненно понижен в своей душевной силе. Таков даже Ломоносов, который не сделался гениальным, может быть, только потому, что слишком был пришиблен европейской школой. Нужен ряд поколений, прошедших новую умственную культуру, чтобы гений народный выпрямился и проявил себя свободно, но тогда писатель оказывается уже вышедшим не из народа. Прадед — крестьянин, дед — купец или священник, отец — чиновник и дворянин; вот генеалогия многих талантливых писателей, вышедших не из народа. На г. Горьком заметно действие этого закона. Он вышел не из деревни, а из городских мещан — слоя уже несколько оцивилизованного, хотя бы без посредства школы. Уже дед г. Горького — грамотный, как видно из его автобиографии. Городские влияния исподволь ложились на эту породу. Но быстрый выход нашего автора из рабочих в люди образованные все же не прошел ему даром.

XVI

Вчитывайтесь внимательно — вы заметите, что все достоинства свои г. Горький принес с собой, все недостатки — приобрел в образованном кругу. Глубокое чувство природы, страстное влечение к ее красоте — это вынесено г. Горьким не из книг. Удивительно богатый, образный, звучный, цветной язык народный — очевидно, заимствован у народа, а не из книг, знание жизни отверженных, их психологии и философии — почерпнуто не из книг. Но лжеромантизм, склонность к вычурной размашистости — влияние явно книжное. Народ правдивее и строже в языке, он никогда не употребляет гипербол, по крайней мере, в серьезной речи. Затем этот разлагающий живое чувство анализ, эта неугомонная рефлексия, в которую попадает часто г. Горький, это «психологическое ковырянье» — все это, увы! давно знакомые нам неврозы интеллигентной образованности. Видимо, могучего природного сложения, душа автора все-таки сильно расшатана столкновениями и борьбой с мирозерцаниями, ей слишком новыми, образованность книжная отразилась на нем какой-то умственной неврастимостью — состоянием острым и тонким, но болезненным. Г. Горький «интеллигент» и даже в высшей степени, но таких у нас великое множество, и вовсе не «интеллигент» нам нужен. Мы ждем от него голоса души народной, а вовсе не вариаций на журнальные мотивы. Мы ждем от него голоса самой природы, и он иногда в состоянии говорить от ее имени, но не всегда. Сильный талант его, видимо, все еще не доверяет себе, все еще во власти посторонних ощущений. Это рабство пред «образованностью», пред мнимым светом школы и книги — самая серьезная опасность для г. Горького, и пока — главная причина его недостатков. Во что бы то ни стало он должен одолеть в себе власть книги и вернуться к прирожденному самодержавию таланта. Он из тех немногих, которые призваны изучать не отписки жизни на бумаге, а самую жизнь во всей ее сырой непосредственности. Сама же жизнь не только ярче и истиннее книжных изображений, но и спокойнее их. Она менее истерична, в ней больше вечной мудрости, спасающей от лжи. И вот я думаю, что вовсе не жизнь подсказала г. Горькому его нравственное мирозерцание, тот цинизм, о котором мы говорили выше. Это мирозерцание вовсе не народное. Мне кажется, в нем много книжного, может быть, невольно заимствованного со стороны. Народ, органически сложившийся на земле и правильно растущий на ней, как строевой лес, держится вовсе не

борьбою за существование, а взаимопомощью, и инстинкты звериной борьбы в нем скованы инстинктами мира. Идеалы насилия, захвата, торжества, свободы похоти — идеалы вовсе не крестьянские. Здоровый народ всегда религиозен в хорошем христианском смысле этого слова. Нутром своим мужик чувствует нравственный закон как условие блага и на уклонение от этого закона смотрит, как на зло, ведущее к смерти. Здоровый народ боится греха и презирает его, не давая себе в том отчета. Как бессознательно выработалось у нас отвращение к некоторым насекомым и гадам, в народе в течение веков выработалось безотчетное отвращение к некоторым поступкам, и только этою безотчетною нравственностью, основанною на глубоко признании закона жизни, последняя и держится. Ни в какой стране народ не может рассуждать, как Ницше, не может додуматься до злого сверхчеловека. Такой человек всюду понимается как «негодяй», т. е. человек, негодный к жизни. Это — разбойник, его боятся, как гада, и всюду истребляют. Напротив, все народы, начиная с глубокой древности, додумались до доброго сверхчеловека, будет ли это народный заступник от внешних бед вроде Геркулеса, Самсона¹⁹ или Ильи Муромца, — или такой же заступник от зла внутреннего — человек праведный, вроде Иова²⁰ или христианских подвижников. Народ в своей массе из века в век тянется к благочестию, к чистоте, к смирению и незлобivosti, и все противоположное считает грехом. Народу не свойственно уважать то, что разрушает жизнь, — он бессознательно чтит лишь то, что ее строит.

XVII

От г. Горького нельзя ждать голоса народного уже потому, что он описывает не народ в строгом смысле. Его герои не пахари, а бродяги, не только труженики, сколько люди праздные, Это класс столь же далекий от народа, как и интеллигенция. Г. Горький ничуть не скрывает, что это класс, озлобленный до волчьей злости, класс распущенный, развратный. В этом разнородном слое, развязанном от всех уз гражданственности, циническое мирозерцание не только возможно, но даже естественно. Г. Горькому, скажете вы, нечего было учиться у Ницше; принцип — «падающего толкни» — общепринят в среде гибнущих. Бродяги — циники по самой натуре, и не книга научила г. Горького цинизму, а сама жизнь.

Пусть будет так, соглашусь я. Но книга оправдала это жизненное явление для г. Горького. В народной среде, на изломах ее, среди человеческого мусора возникают все заблуждения, которые мы встречаем в книгах, все безумные теории и взгляды, но стихия народная все же относится к ним как к ошибке. «Борьба за существование» в ее грубом виде народу известна, но не пользуется почетом. Циники во сколько-нибудь здоровой местности в народе играют ту же роль, какую Диоген в Афинах²¹: они вовсе не дают тона обществу и далеко не выражают собою духа народного. Циники в народе — тип вечный, но они теряются обыкновенно среди столь же вечных, но более достойных стоиков, платоников, эпикурейцев, христиан. В простом народе г. Горький не мог бы найти санкции для «безумства храбрых». Но в образованном кругу именно в наше время такая санкция напрашивалась. В век нигилизма, дарвинизма, эстетизма, нищезанятия, марксизма — да чтобы не найти оправдания зла! Существуют десятки теорий, его оправдывающих, — берите любую!.. И совершенно наоборот, тому, как они принимаются в народе, эти теории несравненно более властны в нашем обществе, нежели вечные идеи стоиков, чистых эпикурейцев, христиан. Наше образованное общество — будем откровенны — испытывает неизъяснимое влечение к цинической морали, к свободе — не только духа, но и тела, к свободе от того нравственного «гнета», который так дорог стоикам и христианам. И это не только у нас: то же вы видите в западной буржуазии, в западной аристократии, всюду, где образуется слой населения, органически оторванный от народной почвы.

Г. Горький со своею голю, может быть, потому так стремительно принят и усыновлен интеллигенцией, что он и в самом деле родствен ей — по интимной сущности духа. Циническое миросозерцание голи — оно нам родно, оно наше. Всмотритесь в этот загадочный класс — в пролетариат народный — вы увидите под внешней грязью совсем знакомые, совсем свои черты. Менее прекрасная, чем Нарцисс, интеллигенция, наклонившаяся над пролетариатом, видит в ней свой же образ, хотя и опрокинутый. В самом деле, что такое босяки? Они — оторванный от народа класс, но и мы — оторванный; мы — сверху, они — снизу. Они потеряли связь с землею и живут случайными отхожими промыслами — и мы также. Они не хозяева и всегда наемники, и мы также. Они бродят по всей стране из конца в конец, от Либавы до Самарканда, от Одессы до Владивостока — и мы также: наша чиновничья интеллигенция с непрерывными переводами, перемещениями бродит не менее золоторотцев,

хоть и получая за это прогоны. Даже в тех случаях, если мы сидим прочно на месте, нас, как босяков, начинает мучить тоска, невыносимая скука: и мы должны бежать куда-нибудь, хоть на время — за границу, на Кавказ, в Крым (куда бегут и босяки). Бродяги постоянно меняют свои квартиры — мы тоже. У многих ли у нас есть дома? Огромная разница, скажете вы: мы сыты, босяки голодны. Однако, все ли мы сыты и всегда ли? И все ли босяки голодны? Питаясь в студенческие годы по кухмистерским, а в поздние — обремененные семьей, — много ли лучше босяков мы питаемся, по крайней мере, в значительной массе? Босяки — народ пьяный и разгульный, — но наша низшая и средняя интеллигенция разве менее пьяна и разгульна? Вы скажете — есть же и трезвые интеллигенты. О, да, — но есть же вполне трезвые босяки, почти или вовсе не пьющие (например, дворянин Промптов из «Проходимца»). С внутренней стороны параллель между интеллигенцией и босяками, пожалуй, еще резче. Босяки не так начитанны, как мы, но почти все они интеллигенты — все мыслят, все имеют свою философию, и буквально ту, как двойник ее наверху. Все они недовольны порядком вещей и держатся за этот порядок: кормятся от него. Все они скептики и материалисты, свободные мыслители, отрицающие культурные предрассудки. С величайшей легкостью они доходят до таких «завоеваний науки», как происхождение человека от скота со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Все мы ни в чем не виноваты и все мы скоты», — говорит герой одного из лучших рассказов г. Горького («В степи»). То, что человек скот и «не более, как ничтожная гнида» («Тоска», с. 311) повторяется очень часто у г. Горького; это один из основных пунктов босяческой философии. Но ведь это же убеждение составляет сердце интеллигентного пессимизма всех времен от Екклезиаста²² до Мопассана. Оторванные от народа классы иначе думать не могут, но сам народ, пока он организован, так не думает. Его органическая связь с землей и стихиями дает ему самочувствие вечной жизни, а такая жизнь есть состояние священное. Человек народной, органической культуры склонен чувствовать себя не «ничтожной гнидой», а сыном Божиим и одинаково — в языческую или христианскую эпоху. Вот эта потеря чувства родства с божеством, чувства первородства своего в мире составляет грустную черту обоих оторвавшихся сословий. Нисколько не удивительно, что голь напоминает интеллигенцию, а интеллигенция — голь. Миросозерцание у них общее и должно быть таким, с оттенками чисто внешними. У интеллигенции побольше

книжного знания, у голи — знания действительной жизни. Забудьте, что сословие босяков и само по себе не лишено образования: тут почти все без исключения грамотны и начитанны хотя бы только в дешевой прессе. Среди босяков огромный процент «бывших» людей, т. е. образованных, но спившихся или просто опустившихся на дно жизни. Этот класс имеет своих офицеров, учителей, чиновников, писателей... Эти «бывшие люди» (см. «Бывшие люди»), опускаясь в отбросы народные, несут туда свой книжный нигилизм, который встречает внизу вполне родственные настроения...

Что же такое г. Горький? Это перебежавшая яркая искра между двумя интеллигенциями, верхней и нижней, — соединяющая их в грозное «безумство храбрых». Это выходец не из народа, и голос его не народный. Но он заслуживает того, чтобы к нему прислушаться.





Н. Я. СТЕЧКИН

**Максим Горький, его творчество
и его значение в истории русской словесности
и в жизни русского общества**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Введение. — «Босьяк» в определении Горького. —
«Босьяк» в жизни до проповеди Горького и после нее.*

Свойства и размер таланта Максима Горького, значение его произведений, влияние их на читателей — все это вопросы, подлежащие и обсуждению, и спору. Вне всякого спора и всякого сомнения стоит распространенность сочинений М. Горького среди читающей публики.

Распространенность эта чрезвычайна, и едва ли сравнима с распространенностью каких бы то ни было других книг на русском языке. К сентябрю 1903 года сочинения М. Горького были выпущены в количестве экземпляров: том 1-й рассказов — 5500, том 2-й — 5700, том 3-й — 5900, том 4-й — 60 000, том 5-й — 52 000, пьеса «Мещане» — 58 000 и пьеса «На дне» — 75 000. Итого, сочинения Горького разошлись за какие-нибудь пять лет, а то и менее, — 416 000 томов.

Никогда И. С. Тургенев, если сложить все издания его сочинений и прибавить огромный выпуск их в виде премии к «Ниве», не имел такого распространения.

Принимая во внимание, что часть этих экземпляров сочинений Горького поступила в библиотеки и читальни и что у каждого покупателя книги найдется десяток знакомых, которые возьмут книгу почитать, можно смело утверждать, что произведения М. Горького читала вся грамотная Россия.

Почти с первых шагов своей карьеры М. Горький стал так популярен, что пример этой быстрой популярности во всей ис-

тории русской словесности стоит особняком. Ни Тургенев в эпоху «Дворянского гнезда», ни граф Л. Н. Толстой в эпоху «Войны и мира», ни Достоевский никогда не имели такой популярности, особенно в первые-то годы литературной деятельности. Быстрый успех Д. В. Григоровича после «Антон Горемыки» ничтожен сравнительно с шумом, образовавшимся вокруг имени Горького. Сам Пушкин в расцвете славы, Пушкин — властитель душ, не достиг популярности Горького.

Очевидно, причина такого успеха коренится не в собственных достоинствах произведений Горького, не в художественных их свойствах. Как бы они ни казались превосходны поклонникам Горького, но и эти горячие жрецы недавно водруженного кумира признают, что, пожалуй, и у Толстого встречаются страницы, равные по достоинствам сочинениям «гениального» Максима. Однако с Толстым-художником никогда так не носились. Преклонение перед Горьким и восхищение им дошло до пределов, близких к умопомешательству. В поклонении этом много общего с болезненными, самовнушенными восторгами, которые собирают у подножия сценических подмостков или концертной эстрады психопаток и психопатов, ревущих и выбивающих ладонями хвалу как высокому таланту Шаляпина, так равно и низменному кривляню г-жи Вальцевой. Шум ради шума, искусственное возбуждение самих себя до последних градусов юродства.

Пишущий эти строки лет десять назад видел в Одессе прощанье тамошней публики с французским трагиком Мунэ-Сюлли. Он закончил свои гастроли ролью Креона в софокловой «Антигоне». Это тонкое создание драматического гения Мунэ-Сюлли не принадлежит к числу тех выигрышных ролей, каковыми были другие пять его гастролей, и не может легко восприниматься средней публикой. Но артист появился в последний раз перед одесскими зрителями, и они не хотели упустить случая наораться вволю. По окончании пьесы на артиста посыпался дождь цветов, затем его стали бесконечно вызывать, затем, когда цветов уже не стало и вся благоразумная публика начала расходиться, зрители галереи и задних рядов, учащаяся молодежь, приказчики-жидочки и греки, какие-то девицы столпились у рампы оркестра и начали вопить, бросая на сцену шапки, галоши, даже верхнее платье. Большую люстру в зрительном зале погасили и полутемный зал изображал странное зрелище. На сцене с полуубранными декорациями, с обнаженными кулисами, стоял жестокий Креон в своем полугреческом, полувосточном царском облачении, а темная масса людей швыряла в

него чем попало, точно не почитать его, а истребить собиралась. Мунэ-Сюлли пробовал возвращать бросаемые в него предметы в залу. Рукоплещущие бросали их обратно и образовалась какая-то дикая игра в мяч галошами, шапками, накидками и пальто. «Странная, хотя интересная публика, — говорил Мунэ-Сюлли, сидя в своей уборной и снимая грим и ризы Креона, — чувствуешь себя, как с людоедами, и не знаешь, что они сделают: вознесут ли тебя на высоту и станут молиться, как боже-ству, или зажарят тебя на ужин».

В характере поклонения М. Горькому много общего с описанным случаем. Та же стадность, то же беснование, та же неразумность. Недаром сам Горький в Москве, в фойе театра гг. Станиславского и Немировича-Данченко обругал своих назойливых поклонников, дав им понять, что он «не Венера Милосская, не утопленник и не балерина» и что нечего на него тарачить глаза¹.

Мода на М. Горького все росла и росла, заражая все новых и новых поклонников. Даже почтенная старушка — Академия наук заразилась общим недугом и избрала М. Горького почетным академиком отдела изящной словесности. Совершенно внешние, случайные обстоятельства дали возможность, по чисто формальным причинам, кассировать это непостижимое избрание².

Мода на М. Горького огромная, хотя теперь она идет, как уверяют, несколько к уклону. Но чтобы писатель стал модным, нужны какие-то особые причины. Таланта только, даже и большого, здесь недостаточно. В большинстве случаев мода на писателя образуется от того, что его произведения как раз соответствуют настроению читателя в данное время.

Какое же было настроение нашей читающей публики, которому попал в тон Горький? Почему настроение это встретило себе ответ именно в произведениях Горького?

Вот те вопросы, которые надо попытаться выяснить ранее, чем приступить к последовательному разбору произведений Максима Горького.

II

Читающей публике всех времен необходим «герой», центральный тип, не похожий на среднего человека. Такой тип, если автор удачно обрисовал его, начинает властвовать над думами читателя. Такую роль сыграли, например, в свое время

Вертер Гете, его же Фауст, Чайльд-Гарольд Байрона, Рене Шатобриана, Оберман Сенанкура³, Алеко и Онегин Пушкина, Демон и Печорин Лермонтова. Перечисленные типы при всем разнообразии своих оттенков, силы таланта авторов, степени яркости обрисовки характерных черт типа имеют в себе то общее свойство, что они по запросам своего духа стоят выше среднего уровня, но те же запросы, хотя бы и в зачаточном состоянии, в туманном, неопределенном виде коренятся и в каждом мыслящем существе.

Понятно поэтому, что средний человек, который по своей многочисленности составляет главную массу читающей публики, с особенным интересом вслушивается в то, к чему он не мог подобрать слов, но что, в скрытом состоянии, таилось в его душе и беспокоило его ум. Впечатление от названных типов бывало настолько сильно, что они порождали в действительной жизни подражания и вызывали некоторое позерство со стороны особенно восприимчивых читателей.

Перечисленные выше типы проникнуты в той или иной мере недовольством окружающей жизнью, которая их не удовлетворяет. Отсюда происходит то, что они становятся «лишними людьми» в кругу средних людей. Но они-то именно, эти-то «лишние люди», и делались всегда излюбленными «героями» обыденных людей, и грибоедовский Чацкий происходит по прямой линии от мольеровского Альсеста («Мизантроп»); в гетевском Фаусте не умирал эсхилевский Прометей, и страдания шекспировского Гамлета родственны страданиям Ореста того же Эсхила.

Типы, способные занять место «героев» в глазах читателя, мельчают, когда мельчает общество, когда аристократия ума разменивается среди масс, демократизируется, так сказать. В начале таких периодов развития человеческой мысли создатели типов начинают относиться к ним критически, объективнее. Пушкин в Онегине и Лермонтов в Печорине не скрывали недостатков и слабостей своих героев от читателя, но тем не менее чувствуется, что поэты относятся любовно к своим созданиям, любят их, не взирая на их отрицательные стороны. Уже в начале второй половины XIX века положение меняется. Тургенев беспощаден к своему Рудину. Героичность Рудина даже в момент его смерти на баррикаде не лишена доли комизма.

Чем далее, тем тип более мельчает. Общечеловеческая психология менее уже интересуется, требуется приурочение типа к общественным течениям. Тургенев дает Базарова. В Базарове уже интересны не движения его души, а его роль нигилиста в

обществе сверстников и перед лицом отживающих отцов. Когда появился Рудин, его поняли, быть может, разным образом; быть может, некоторые видели в нем и подлинно обаятельного героя, когда другие усматривали низкий уровень его воли и отрицательные стороны его характера. Когда же появился Базаров, то отцы, как и дети, отшатнулись от него. Первые видели в нем апофеоз революционного проявления, вторые — карикатуру на молодежь. Потом лишь последние сделали из первоначального нигилиста свой кумир.

Базаров был последним из русских центральных художественных типов, собственное имя которого может считаться нарицательным. Не упоминая о типах Достоевского, ибо они, как и все великое творчество этого крупного писателя, стоят особняком от общего течения словесности. После Базарова, в продолжение почти сорока лет, наша словесность, при большом количестве новых авторов и их произведений, не дает собирательных, центральных типов. Изящная литература раскрывает и исследует многие стороны жизни, бывшие дотоле нетронутыми, и ведет за собою читателя в незнакомую для него среду. Преимущественно начинают занимать внимание внешние проявления жизни. Реализм описаний вытесняет изучение движений человеческого сердца. За это время проходит ряд писателей разных направлений и разной силы дарования, которые в течение известного периода читаются усердно, а ныне едва ли не сданы в архив. Помяловский, Решетников, Глеб Успенский читаются теперь лишь любителями литературы и не входят в число ходовых книг. Высокоталантливый покойный Всеволод Гаршин, Короленко с его рассказами тоже поставлены на полку. Слабый драматург А. П. Чехов заслонил собою самого себя как даровитого рассказчика.

Рассказы трех упомянутых писателей, едва ли уступающие в литературном достоинстве рассказам Горького, никогда не имели, — скажем мимоходом, — успеха повествований босяцкого Гомера.

Итак, читатель, отвернувшись от порыва вверх, стал смотреть, за последние сорок лет, на землю и рыться во всем том, что копошится на этой земле. Случалось ему опускаться и несколькими ступенями ниже земли, в подвалы и вертепы. Туда собирался вести его безвременно умерший Н. Г. Помяловский, в своем ненаписанном романе «Брат и сестра». Туда повел его Всеволод Крестовский в своих «Петербургских трущобах». Смотреть вниз стало обычно читателю, но он не мог сосредоточиться, ибо ему не давали типа, не удерживали его на одном

каком-либо явлении. Картины менялись перед ним с подвижностью камней в калейдоскопе, не собирая, а рассеивая лучи его внимания.

В эту пору явился Горький и сделал то, чего до него никто не делал. Он дал тип, носящий не имя собственное, Коновалова или Орлова, а нарицательное имя «босяка».

III

К восприятию «босяка», как типа, общество было достаточно подготовлено. И в нашей литературе «бывшим человеком» занимались не раз, а Вс. Крестовский опускался на «дно» и вынес оттуда даже арг наших вяземских босяков. Занимались им и в иностранных литературах — Виктор Гюго в «*Misérables*» *, Евгений Сю в «*Mystères de Paris*» ** и т. д. Эмиль Золя не раз касался этого типа. Тот же Золя, столь распространенный в России и в подлиннике, и в многочисленных переводах, приучил нашего читателя всех слоев общества к наготы и цинизму описаний, к площадной ругани, — настолько приучил, что для какой-нибудь дамы высшего тона, искавшей тщетно в словарях толкования тех слов, которые ни в один словарь не помещаются, чтобы понять любезности, отпускаемые героями Золя, и узнавшей от услужливого кузена, что это те самые слова, которыми бранятся ломовые извозчики, — для такой дамы крепкие словечки Горького, вроде «рвани коричневой», казались уже вполне приличными и допустимыми в обществе, и разве немного своеобразными.

Читатели привыкли смотреть вниз. Они уже забыли, что сверху льются лучи, и искали огоньков внизу. Таким огоньком, все более и более разгорающимся, оказался «босяк» Горького. Он вышел на свет очень характерно очерченным, в лохмотьях, с хулою на устах. Смысл и значение его не выяснили себе сразу. Видели только, что это — нечто новое. Новым-то, собственно, было лишь то освещение, которое придал автор своему герою, а не самый герой, водившийся в подонках общества столь же давно, как и его брат, навозный червь, в навозе.

Если бы Горький вывел своего босяка, спрашивая к нему сострадания, если бы он «милость к падшим призывал», он, при всей яркости своей кисти, при всем изучении описываемой

* «Отверженные» (фр.). — *Ред.*

** «Парижские тайны» (фр.). — *Ред.*

среды, не имел бы того успеха, каким он пользуется ныне. Если бы Горький говорил о праве «босняка» на место среди людей, под условием его нравственного возрождения, его не стали бы слушать. Тогда поняли бы, что этот новый босьяк есть тот самый, от века существующий нищий, которому каждый из нас подавал копейки, тот самый, кого за бродяжничество мы судим и водворяем на место жительства. Этот «тот самый» босьяк не интересен. Он так неопрятен, так дурно пахнут его лохмотья, так он некрасив, с бойными знаками на своем лице. Мы, конечно, по человечеству жалеем его и заботимся несколько о нем. Но что же в нем заманчивого?

Горький поступил иначе. Он снабдил «босняка» гордостью. Он ничего для него не просит, «босьяк» сам требует места, и не последнего. Чтобы не быть голословными, мы подтвердим это далее словами самого Горького. Его босьяк не угнетен. Ему не надо сострадания. Он бросает вызов самому небу, не говоря уже о вызове обществу, государству, власти, жизненному укладу. «Босьяк» — не пролетарий, стремящийся стать собственником. «Босьяк», презрительно, ни к чему не стремится. У него уже есть самое ценное: сознание своей очевидной независимости от всех требований и оков общественности, нравственности, религии.

Сийес в начале французской революции 1789 года, отстаивая права третьего сословия, спрашивал: «Что такое третье сословие?» — и отвечал: «Ничто» — «Чем оно должно быть?» — «Всем...»

То же, но короче и определеннее делает Максим Горький для босняка. Короче потому, что для доказательства прав третьего сословия во Франции XVIII века надо было вспомнить историю, всю эту культурную работу третьего сословия, давшего на поприще науки и искусства Франции столько же, сколько наше дворянство дало России, давшего в то время, когда феодалы жили грубою силою меча, а духовенство лукавством Рима.

Никаких заслуг «босьяк», столь высоко поднятый, за собою не имеет. Он не имеет ни истории, ни прошлого, ни заветов, ни преданий. Нельзя же считать за историю то обстоятельство, что во всяком обществе всегда есть грязный осадок. Нельзя же называть прошлым вчерашнюю ночь, столь же смрадную, как нынешняя и завтрашняя. Нельзя же давать имя заветов и преданий тунеядству, лени, пьянству, презрению к чужой собственности, к семье, к вере в Бога. Все эти «заветы и предания» близки и родны тому, кто, совлекши с себя образ челове-

ческий, Божие подобие, изберет грязь своею средою, всяческую распущенность поставит себе нравственным кодексом, а удовлетворение на чужой счет ближайших физических потребностей — своим занятием. Так всегда было и так всегда будет, пока не настанет рай на земле.

Общество, не потерявшее к себе уважения, должно бороться с явлениями столь дикого и распущенного характера, а не восторгаться ими, как прелестной и заманчивой новинкой. Иначе выйдет то, что вышло у нас. Смелый шаг Горького, беззащитный апофеоз босячества, который он создал, был принят за новый свет в общественном сознании. Свет-то он — свет, но и свет бывает разным. Бывает свет солнца, бывает свет лампы, возжигаемой пред престолом Господним, и бывает свет пожара. Источник их один и тот же, но действие их различно. Не свет нового откровения несет «босяк» Горького. Не светоч, озарявший благотворно неведомые еще уголки жизни, вложил Горький в грязную руку «босяка». Этот светоч зовется иначе. Это — факел революции. Это — факел анархии, провозвестник попрания всего, чем жили, во что верили, чему служили, для чего работали ряды поколений.

IV

Обыкновенно бывает так, что писатель открывает, систематизирует, выявляет общественное явление, которое было всем известно, но в общих, туманных, неопределенных чертах.

С Максимом Горьким вышло иначе. Явление, всем давно знакомое, печальное, ужасное, он так осветил искусственно, озарил его таким ярким бенгальским огнем, что оно получило совсем особое значение. Когда же описания Макама Горького вернулись к своим оригиналам, то те возгордились, и начали действовать и жить по Горькому. На улицах стали попрошайничать, ссылаясь на Горького, и не один кошелек любезно открывался для удовлетворения пьяной жажды героев «босячества». «Босяки» обнаглели, они стали бить в лицо мирных обывателей, стариков, женщин. Они подняли руку на офицеров при исполнении ими служебных обязанностей. Произошло какое-то вавилонское смешение языков. С людьми общества вышло то, что, говорят, произошло с одной русской дамой, которая в Париже, в революцию 1848 года, поехала смотреть баррикады, и не встречая ни одной, спросила у кучки мрачных людей: «Что такое баррикада?» Ее вывели из собственной ка-

реты, вероятно, дали ей несколько пинков и перевернули ее карету колесами вверх, сказав при этом: «Вот это и есть баррикада». Так и нашим поклонникам «босняка» приходится на себе испытывать привлекательную сладость этого типа. В жизни он им не кажется таким милым, как в рассказе или на сцене, в исполнении труппы г. Станиславского.

Масса читателей, однако, не сознает, что мы натворили: Горький своим авторством, а мы своим ему поклонением и его неумеренным возвеличением. Некоторые из сторонников Горького стараются уверить, что «босячества», как врага общественного, не существует, что точно, есть несчастный парий общества, «босьяк», существо бедное, достойное помощи и сочувствия, но никому вреда не делающее. Нечто вроде шалуна-мальчика, которого лучше всего покорить можно ласкою и приветом. При этом добавляют, что наш «босьяк» не более, как французский санкюлот⁴ конца XVIII века.

Это последнее определение особенно ценно, и мы готовы с ним согласиться, но оно не умаляет, а лишь усиливает роль, отводимую босьяку. Можно все свои исторические познания ограничить учебником истории Иловайского, чтобы понимать роль санкюлотов в 1792, 1793 и 1794 годах. Спасибо за таких членов общества, и если точно в босьяке живет санкюлот, то остается лишь поздравить себя с ценной находкой вреднейшего взрывчатого вещества.

Пугаться «босняка» нечего, возводить его — на степень действующего революционера — преждевременно. Он и так уже зазнался, может зазнаться еще более, но отдавать себе отчет в жизненных явлениях, не закрывая на них глаз, — обязательно и вполне необходимо.

Важно то, что «босьяк» до Горького в жизни и в сознании общества был один, а после Горького стал совсем другой.

До Горького «босьяк» считался общественной язвой, отравляющей общественный организм и потому подлежащий изучению и излечению. Всякая медленность в этой оздоровительной работе может быть поставлена обществу на счет как преступное нерадение, приравнена в духовном смысле к несоблюдению санитарных мер в материальном отношении. До Горького принималось за истину, что общество живет в главных принципах правильной жизнью и что отклонения общества от правильного пути и его законов способны порождать дикообразные явления, каково босячество.

Теперь, после «откровения» Горького, выходит, что общество со всеми устоями есть ложь, и в поступательном пути сво-

ем, и в своих основоположных заветах. Оно все сгнило и испортилось до корня и в нем только и осталось здорового, что «босьяк». «Босьяк» — альфа и омега эволюции человеческого духа. Не только большие центры человеческой жизни — города, но и деревни кажутся Горькому чем-то таким, где тошно и грустно, — хорошо лишь среди босьяков.

Нужно родиться в культурном обществе, для того, чтобы найти в себе терпение на всю жизнь жить среди него и ни разу не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектанства, всяческой неискренности, — одним словом, из всей этой охлаждающей чувство и развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где, хотя все и грязно, но все так просто и искренно.

Вот, что говорит сам Горький (Рассказы. Т. II. «Коновалов», с. 40 и 50). Натяжка этого положения очевидна: в «трущобах городов» неизбежны свои условности в общежитии их обитателей, и можно, лишь с намерением уронить все стоящее вне трущоб, выше их, уверять, что в них нет «суеты сует, охлаждающей чувство и развращающей ум». Вероятно, она есть. Долгий курс босьячества, пройденный М. Горьким, служит лучшим тому доказательством. Только глубоко развратив свой ум, можно договориться в молодых летах до того крайнего предела человеконенавистничества, до которого договаривается Горький.

Порицать, во что бы то ни стало, все окружающее, это — занятие наиболее легкое. Гораздо труднее найти средство к уврачеванию порицаемого. Мы, принадлежащие к обществу, полному «всяческой неискренности», знаем, чем лечить язву — «босьячество». Худо или хорошо, но нам понятно, что можно и должно бороться с алкоголизмом, бродяжничеством, тунеядством. Мы знаем для того меры, как предупредительные, так и карающие, как полицейские, так и воспитательные. Мы, «полные ядовитых лжей», хотели бы всякого павшего члена общества вынуть из грязной ямы, куда он погрузился, физически и нравственно, очистить его, поднять до себя, дать ему долю в общих благах, в общей жизни. Теория, иногда нередко, расходится у нас с практикой, мы не делаем для падших всего того,

что могли бы и должны бы были делать. За это и полагается нам упрек. Но Горький на такие упреки, хотя бы и в художественных образах, не тратится. Он просто махнул рукой на общество, ничего от него не ожидая и видя просвет лишь в босяках. Реально относясь к своим задачам, Горький живописует жизнь такую, какою она ему кажется, хотя кажется она ему подчас совсем иною, чем она есть на самом деле. Как большинство разрушителей, Горький вовсе не имеет идеала, по которому он желал бы построить новое здание на месте разрушенного. Его дело только разрушать, и делает он это с усердием, достойным лучшего применения.

V

«Босяк» рисуется Горьким так. В одном из своих выдающихся рассказов — «Коновалов» — Горький выводит разновидность «босяка», его не вполне удовлетворяющую. Он (рассказ ведется от лица Максима Горького) описывает свои отношения к Коновалову.

Я с жаром расписывал ему жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал еще раз:

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

— Ну, я особливая статья, — сказал Коновалов. — Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю не хуже его — однако, бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети. Он еще моложе меня. Выходит, что во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку это следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые: родился, пожил сколько назначено, и помри! А я на особой стезе... И не один я, — много нас этаких. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы, — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой и жизнью виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем... Каждый человек сам себе хозяин, и никто в этом не повинен, ежели я подлец есть!

Коновалов, видимо, взятый с натуры, абсолютно прав, Горький в жизни слышал эту правду. Она своею очевидностью дол-

жна была бы изменить его воззрения на вещи, но он упорствует на своем, не уступает ни пяди из своей теории.

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босняка, хотя он и интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полужверей, наполняющих грязные трущобы городов, — из уст босняка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов — действительно особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Тут без прикрас Горький устанавливает свое учение. Это — первый его тезис: «босяки» — люди, которых давно пора считать за класс общества. Это назойливое требование естественно неосуществимо. На самом деле: классы общества слагаются в силу раздробления занятий и труда. В первобытном обществе воин, купец, земледелец заключаются в одном лице: человек — воин, ибо ему необходимо защищаться, он — земледелец, ибо нужно с семьей кормиться, он — купец, ибо необходимо выменять предметы, которые у него есть в избытке, на те, которые есть только у соседа, не имеющего, наоборот, того, чем ему платят за его товар. При росте общества занятия специализируются, получают люди: только воины, только купцы, только земледельцы. Специализация занятий кладет особый оттенок на носителей каждого занятия. Эти специализировавшиеся части общества называются классами. Но как же можно считать за класс общества людей, которые тем именно отличаются от всех прочих, что не несут никаких обязанностей и стараются не иметь никаких занятий, которые самодовольно валяются на своем гноище и ставят себе в заслугу поход против всего живущего в обществе? Это не класс общества, а его вредные паразиты. В каждом почти доме, к сожалению, водятся отвратительные насекомые: блохи, клопы, тараканы. Человек страдает от них и принимает все меры к тому, чтобы от них освободиться, чтобы их вовсе не было. Но никому еще не входило в голову требовать для них права гражданства наравне с домашними животными, полезными человеку.

Право гражданства, право на положение отдельного класса в обществе приобретается не по прихоти, а вследствие участия

своими трудами в строении общества. Общественный строй, при котором одни будут работать, а другие тунеядствовать и босячить, противен здравому смыслу, во-первых, и доброй нравственности, во-вторых. Желать такого положения, значит, быть не радетелем о «малых сих», а злонамеренным подкапывателем общественных основ, трущобным Мефистофелем, демоном горькой насмешки.

Почему я не могу быть покоен? А? Почему? — задается вопросом Коновалов, — люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее... Жалуются на жизнь они, но бывают и покойны. И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

Понятно — почему. В большинстве случаев с перепоем, а в общем от совершеннейшей душевной и умственной неуравновешенности. Максим Горький иначе на это смотрит. Он говорит:

До этой поры я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля все тем же ищущим своей точки человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали эту могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума.

«Ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум»... Как это придуманно! Как это неестественно! Но не в неуклюжей, искусственной метафоре дело, а в ее смысле. Коновалов сам себя обрисовал. Этот заболтавшийся забулдыга, который первый находит, что против него необходимо принять строгие меры и особые законы, в глазах Горького «недоумевает» перед жизнью. Брось он пить и займись работой, — и всем бы недоумениям наступил конец.

Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят земле, задыхаются, теснят друг друга... —

говорит Коновалов и идеалом противопоставляет свое босяцкое бродяжество. В этом с ним Максим Горький соглашается, но в оценке самого Коновалова он поднимает его на пьедестал. Так, например, он читает Коновалову книгу Костомарова «Бунт Стеньки Разина» и, когда его слушатель начинает принимать горячее участие в судьбе Стеньки, то Максим Горький с умилением восклицает:

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные и не остывшие за три столетия (?), до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа, чувствует боль и гнев пойманного триста (?) лет тому назад вольного сокола.

Сопоставление смелое и с историей волжской вольницы несогласное⁵, но характерное, так как, быть может, помимо воли автора, поднимает завесу над тайным, сокровенным значением босяка. Здесь не место определять значение Стеньки Разина и его роль как типичного представителя одного из народных течений, но этого не тщится сделать и Горький в своем рассказе. Для Горького важно, что Разин противился установленной власти и иногда держал ее в трепете. И босяк являет собою сопротивление власти. С этой-то стороны он и ценен его певцу. Нужды нет, что волжская вольница была, при всем неистовстве ее походов, здоровым, хотя и не перебродившим элементом народной жизни, а босяк является ее болезненным выпотом, ее гноем. Результаты от обоих могут быть одинаковы. Эти желанные результаты называются смуту и, конечно, голь кабацкая — самый благодарный для смуты элемент.

Когда эта голь, этот «босяк» воспеты, то они и сами могут о себе возомнить, что они — класс общества, соль земли, и умеренные похвалы, им расточаемые, заставляют их поднимать гордо голову и объединяться с товарищами по пороку и праздности. А тут еще и Панургово стадо доверчивых читателей, падких, по неведению, как кот на запах сала, на все пахнущее протестом. Доведись до дела, — те же читатели окажутся самыми благонамеренными людьми; придись гасить пожар, — они ведра с водой на себе потащут, а пока только фитиль тлеет, они с детским легкомыслием любят на бегущий по нем огонек, не чая себе от него горя.

Таков босяк в его отличительных чертах, но Коновалов — «босяк» не действующий и не собирающийся действовать. Посмотрим же на тех, которые приготавливаются к действию. Чего им хочется и как они относятся к обществу?

VI

Для ответа на поставленный вопрос особенно пригоден рассказ «Супруги Орловы» («Рассказы». Т. II). Орлов все время пьянствовал, сапожным своим ремеслом занимался плохо и

колотил жену, как только мог. Бедная Матрена, у которой он не раз выбивал плод из чрева, стала даже неспособна к деторождению. Судьба указала выход к спасению Орловым. В городе была холера, супругов взяли на службу в холерные бараки. Матрена стала на путь возрождения, и пошла по нему. Когда бараки закрылись, докторша предложила Матрене устроить ее при школе, и та зажила трудовой жизнью, выучилась грамоте, взяла себе на воспитание двух сирот из приюта. Муж ее, Григорий, который тоже было сначала почувствовался в бараках, потом начал пить, безобразничать, бить жену; хотел ее снять с места, но этого не допустили, и он ушел «босячить», как определила его жена. Максим Горький повествует о Григории:

Мне удалось познакомиться с ним. Я нашел его в одной из городских трущоб, и в два-три свидания мы с ним были друзьями. Повторив историю, рассказанную мне его женой, он задумался ненадолго и потом сказал:

— Вот, так-то, значит, Максим Савватеич, приподняло меня да и шлепнуло. Так я никакого геройства и не совершил. А и по сю пору хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего! И потом вниз тормашками с высоты и... вдребезги! Н-да-а! Черт те возьми... скучно! И ах, как скучно и тесно мне жить!... Думал я, сбросив с шеи Матрешку: — н-ну, Гриня, плавай свободно, якорь поднят! Ан не тут-то было — фарватер мелок! Стоп! И сижу на мели... Но не обсохну, не бойсь! Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу известно... Жена? Ну ее ко всем чертям! Разве таким, как я, жена нужна? На кой ее... когда меня во все четыре стороны сразу тянет... Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя — быть босяком! Самое лучшее положение в свете — свободно и... тесно все-таки! Ходил я и ездил в разные стороны... никакого утешения... Пью? Конечно, а как же? Все-таки водка — она гасит сердце... А горит сердце большим огнем... Противно все — города, деревни, люди разных калибров... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Все друг на друга... так бы всех и передушил! Эх ты жизнь, дьявольская ты премудрость!

Необходимо добавить, что в этой тираде Орлова, после фразы «...собрать шайку товарищей!» стояло первоначально «и перебить всех жидов». Затем эта вторая половина ввиду симпатии автора к евреям была в последующих изданиях откинута.

Замыслы Орлова, или, вернее, его пьяные речи, широки. Он хочет геройства, хочет «раздробить всю землю», мечтает о шайке товарищей, о том, «чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты». При этом отрицается семья, высказы-

вается готовность и самому разбиться вдребезги, полетев вниз тормашками. И, главное, — «скучно»! Все эти предприятия и намерения возбуждаются скукою и разрешаются пьянством. Мир для «босняка» Орлова тесен, ему все противно. Он убежден, что можно было выдумать что-либо лучшее. Это уже недовольство и самим мирозданием.

Действительно ли существует такой «босяк», как Орлов, в чистом виде, — мы сомневаемся, но вполне уверены, что многие сколько-нибудь грамотные «босяки» выучили монолог Орлова столь же твердо, как добрый христианин заповеди Господни. В словах Орлова — босяцкий катехизис, проповедуемый Горьким. «Босяк», — этот новый, кабацкий Фауст, не нашедший в мире ничего его удовлетворяющего, этот новый вертепный Демон, не желающий благословить ничего во всей природе⁶, — идет походом на Бога, потому что Он не так создал мир, на людей, потому что они — гады, жулье и лицемеры, на жену, потому что она ему мешает, на города и деревни, потому что они ему противны. «Босяк», мечтающий всех передуть (своего рода Калигула⁷, жалеющий, что у рода человеческого не одна голова для ее отсечения сразу), — существо, вовсе не безопасное для общественного спокойствия. Представьте себе скопище таких Орловых, напившихся до неистовства водкою и идущих, с готовностью разлететься самым вдребезги, душить встречного и поперечного. Это не особенно заманчиво. Тут и пугачевщина покажется детской игрою. С каждым Орловым порознь, при хорошей организации санаторий для алкоголиков и рабочих домов для тунеядцев, справиться легко. Это отнюдь не какая-либо новая органическая сила, ее же ничем не сломишь, — это просто отброс, который может послужить и на пользу, и во вред. Все равно, как отбросы физической жизни могут служить и для удобрения нивы, и для заражения воды и воздуха, судя по тому, как с ними распорядиться.

Но с Орловыми, в массе, иметь дело нежелательно. Это — горючий элемент.

А мы что же делаем? Максим Горький воспекает «босяков», а ликующая публика, вместо того, чтобы понять все зло этого воспевания, весь его отвратительный яд, все развращающее его значение, стонет от восторга и представляет себе грязные босые ноги Орлова у себя на голове и готова целовать эти модные ныне ноги и подставлять лицо плевкам этого босяцкого, благоухающего винным перегаром рта.

Делается это, как мы уже указывали, бессознательно, но страшна эта самая бессознательность. Простительно легкомыс-

ленной дамочке-щеголихе сегодня хохотать над картинкой, изображающей моды бабушкиных времен, а завтра, хоть ценою семейной трагедии, спешить надеть тот же бабушкин наряд, ставший модным. Это пошло, смешно — и только.

Но непростительно большинству общества, себя уважающего, кувыраться перед всяким новым модным идиолом, будь то декадентское кривлянье импотентных поэтов, художников и музыкантов последней формации, будь то сквернословье босяка и его разнузданная коростовая нагота. Читатель, если он уважает себя и если мозги у него работают, должен относиться критически к предлагаемой ему духовной пище. Нельзя на удочку таланта идти с неразумием рыбы, никогда не выдавшей приманки лукового ловца и обрадовавшейся лакомому куску. Под живым рассказом нередко кроется ужасная проповедь.

Наш бессмертный баснописец⁸ в своей басне «Сочинитель и разбойник» казнит первого тяжелее, чем второго. На удивление сочинителя по поводу такой несоразмерности кары, Мегера⁹ ему поясняет:

Смотри на злые все дела
И на несчастия, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей,
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены? — Тобою,
Кто, осмеяв как детские мечты,
Супружество, начальства, власти,
Им причитал в вину людские все напасти,
И связи общества рвался расторгнуть? — Ты.
Не ты ли величал безверье просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек
И страсти, и порок?
И, вон, опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами,
И до гибели доведена тобой!

Многим сочинителям, и Максиму Горькому из первых, не вредно было бы помнить басню эту наизусть.

Те художественные достоинства его произведений, о которых мы будем говорить в последующих статьях, не искупают их вредного, как проповеди «босячества», как его идеализации, значения.

Не будь этой проповеди, сочинения Горького никогда не имели бы того успеха, который они имеют.

VII

Принципы «босняка» лежат не в нем только, принимая его, как жителя трущоб. Они забираются и в среду, носящую по праздникам хорошо вычищенные сапоги.

Поучителен, как пример, рассказ «Озорник» («Рассказы». Т. II). Этот озорник — рабочий, наборщик Гвоздев. Набирая статью редактора, он, после написанной редактором фразы: «Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы предметом горячего обсуждения...» прибавил от себя: «т. е. говорения глупой ерунды и чепухи». В таком виде статья, к великому конфузу редактора, и вышла в свет. Пошел разбор между наборщиками, чтобы дознаться, кто это совершил. Гвоздев не запирался и на требование объяснить причину своей выходки, объяснил:

— Я, пожалуй, скажу... Только как я необразованный человек, то, пожалуй, непонятно будет... Ну, уж, извините тогда!... Вот, стало быть, в чем дело. Вы пишете разные статьи, человеколюбие всем советуете и прочее такое... Не умею я сказать вам все это подробно — грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что речи ведете каждый день... Ну, вот, я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата, рабочего, толкуете... а я все читаю... И противно мне читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова бессмысленные, Митрий Павлыч!.. потому что вы пишете — не грабь, а в типографии-то у вас что? Кирьянов на прошлой неделе работал три с половиной дня, выработал три восемь гривен и захворал. Жена приходит в контору за деньгами, а управляющий ей говорит, что не ей дать, а с нее нужно рубль двадцать получить — штраф. Вот-те и не грабь! Вы что же про эти порядки не пишете? И как управляющий лается и мальчишек дует за всякую малость?.. Вам этого нельзя писать, потому что вы и сами-то этой же политики держитесь... Пишете, что людям плохо жить на свете, — и потому вы, я вам скажу, все это пишете, что ничего больше делать не умеете. Вот и все... И потому под носом у себя вы никаких зверств не видите, а про турецкие зверства очень хорошо рассказываете. Разве это не пустяки — статьи-то ваши? Давно уж мне хотелось, стыда вашего ради, истинные слова в ваши статьи вклеить. И не так бы еще надо.

Гвоздева выгнали из типографии. Он, в праздничный день, одетый довольно прилично, встречается на общественном гулянье редактора и вступает с ним в объяснения. Надо заметить, что, как оказывается, в детстве редактор — сын дьякона и наборщик — сын мещанина были товарищами игр.

Гвоздев обратился к редактору с такою речью:

— Вы, Митрий Павлович, не сердитесь на меня за этот мой поступок. Извините! Я ведь это со зла... Нашего брата иногда такое зло разбирает,

что и вином не зальешь... Ну, в такую вот пору и созорничаешь над кем-нибудь: прохажему в рыло дашь или что другое... Я не каюсь — что сделано, то сделано, но, может, я даже очень хорошо понимаю, что сделал-то не совсем в меру... Перехватил.

Высказав это, Гвоздев развивает свою мысль дальше:

— Так вот, Митрий Павлович, значит, оно и выходит, что я одного с вами гнезда птица... Да! А полеты у нас разные... И как вспомню я, что ведь вся разница между мной и моими товарищами бывшими только в том, что не сидел я в гимназии за книгами, — горько мне и тошно бывает... Разве в этом человек? В душе он, в чувствах к ближнему своему, как сказано... Ну, вот — вы мой ближний, а какую я цену имею для вас? Никакой — верно?

Редактор, увлеченный своими мыслями, не расслышал, должно быть, вопроса своего собеседника.

— Верно! — сказал он тоном искренним и рассеянным. Но Гвоздев захохотал, и он спохватился:

— Т<о> е<сть> позвольте? Что, собственно, верно?

— Верно, что я для вас — пустое место... Есть я или нет меня, вам все равно, наплевать. Зачем вам душа моя? Живу я один на свете и всем людям, меня знающим, очень надоел. Потому — у меня характер злой, и очень я люблю разные фокусы выкидывать. Однако, у меня чувства ведь тоже есть и ум есть... Я чувствую обиду в моем положении... Чем я хуже вас? Только моим занятием...

— Д-да... это печально! — сказал редактор, наморщив лоб, сделал паузу и продолжал, каким-то успокаивающим тоном: — Но, видите ли, тут нужно применить другую точку зрения...

— Митрий Павлович! Зачем точка зрения? Не с точки зрения человек человеку внимание должен оказывать, а по движению сердца. Что такое точка зрения? Я говорю про несправедливость жизни. Разве можно меня с какой-нибудь точки забракловать? А я забракован в жизни — нет мне в ней хода... Почему-с? Потому, что не учен? Так ведь ежели бы вы, ученые, не с точек зрения рассуждали, а как-нибудь иначе, — должны вы меня не забыть и извлечь вверх к вам снизу, где я гнию в невежестве и озлоблении моих чувств? Или — с точки зрения — не должны?

Гвоздев прищурил глаз и, торжествуя, посмотрел в лицо своего собеседника. Он чувствовал себя в ударе и выпускал из себя всю свою философию, придуманную в долгие годы своей трудовой, безалаберной и бесплодной жизни. Редактор был смущен натиском собеседника и старался определить — что это за человек и что ему возразить на его речь? А Гвоздев, в упоении самим собой, продолжал:

— Вы люди умные, сто ответов мне дадите, и все будет — нет, не должны! А я говорю — должны! Почему? Потому что я и вы — люди из одной улицы и одного происхождения... Вы не настоящие господа жизни, не дворяне... С тех нашему брату взятки гладки. Те скажут: «Пшел к черту!» — и пойдешь. Потому — они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее... Но вы — свой брат, и я могу требо-

вать с вас указания пути моей жизни. Я мещанин, и Хрулев тоже, и вы — дьяконов сын...

— Но, позвольте... — просительно сказал редактор, — разве я отрицаю ваше право?

Но Гвоздеву совсем неинтересно было знать, что отрицает и что признает редактор; ему нужно было высказаться, и он чувствовал себя в этот момент способным сказать все, что когда-либо волновало его.

— Нет, вы позвольте! — уже каким-то таинственным шепотом говорил он, близко склоняясь к редактору и блестя возбужденными глазами. — Как вы думаете, легко мне теперь работать на моих товарищей, которым я в старину носы расквашивал? Легко мне с господина судебного следователя Хрулева, у которого я с год тому назад ватерклозет устанавливал, сорок копеек на чай получить? Ведь он человек одного со мною ранга... и было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и посейчас, как тогда были...

Учение Гвоздева то же, «босяцкое» же. Он бьет обывателя по лицу, как били в Петербурге и Радоме босяки офицеров, бьет потому, что его «зло разбирает». Он зол на тех, кто выше, кто пробился в жизни. Он не дорос до сознания, что во всяком деле и ремесле должно быть человеком, полным достоинства, но дорос до беспричинной зависти и неистовой злобы. Ученье Гвоздева — ученье всех революционеров, мечтающих из сапожников стать большими господами. Ломоносовы становятся на первое место силою одной личной самодеятельности, Гвоздевы хотят куда-то возвыситься злобой, нахальством, кулаком, а при случае и ножом, пока не доживут до динамита.

М. Горький так любовно очерчивает Гвоздева и таким плюгавым выставляет его собеседника, редактора, что нет сомнения, на чьей стороне симпатии писателя.

VIII

Чтобы оттенить свое исповедание веры, М. Горький не ограничился отдельными типами «босяков» и «озорников». Он обобщил свои идеи, перенес их в область фантазии. Пятый том его рассказов кончается «Песнью о Буревестнике». Вот эта песнь целиком:

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То волны крылом касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем. и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гнев грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!..

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревающим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!

Вот он — гимн бури и разрушения, озорная босяцкая «Марсельеза», призывный клич к победе путем бури! И чем она сильнее будет, — тем лучше.

Все нами сказанное вытекает из приведенных нами цитат, из тех книг, которых полмиллиона экземпляров несут по всей Руси Святой проповедь «босячества» и попраiania всякой веры и всякой нравственности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Начало проповеди Максима Горького. — Первые произведения.

I

Максим Горький, бесспорно, обладает литературным дарованием. Не в той, конечно, мере и степени, как утверждают его поклонники, но дарованием незаурядным. При прочтении одного, двух рассказов Горького, особенно таких характерных, как «Мальва» или «Коновалов», можно даже составить себе преувеличенное понятие о его таланте. Когда же залпом прочи-

тываешь все шесть томов его рассказов, романов и драм, то получается иное впечатление, разжиженное, ослабленное, замечаются повторения, искусственность письма, предвзятые, шаблонные эффекты. Творческое вдохновение у Максима Горького почти отсутствует, его заменяют наблюдательность, готовность подладиться к вкусам читающей толпы и стремление к проповедничеству, к проведению в сознание читателей известных идей, усвоение которых публикой автор для своих, менее всего литературных, целей считает необходимым.

С начала своей литературной деятельности Максим Горький учителствует. Первый том его рассказов начинается двумя вещами, помеченными 1892 годом, т. е. тем временем, когда автору, родившемуся, по его автобиографии, в 1869 году¹⁰, было всего 23 года. Два эти рассказа — «Макар Чудра» и «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины».

Как первые опыты писательства Максима Горького, эти разнообразные по стилю рассказы должны быть особенно отмечены. В них коренится ядро дальнейшей деятельности писателя.

«Макар Чудра» — один из многочисленных очерков, материал для которых Горький нашел среди своих босаяцко-бродяжеских скитаний. Макар Чудра — старый цыган, вдумчивый и мудреный философ, знающий суть жизни. Табор Макара странствует в степях Новороссии, на полях Бессарабии. Однажды у костра Чудра поучает рассказчика. Он говорит:

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и все!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо». — Эге! А тебе что до того? Разве ты сам не жизнь? А другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб и не палка, ну, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научить сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и дают друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, дураком.

— Что же, он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведомая ему воля?

Ширь степная понятна? Говор степной волны веселит ему сердце? Он раб, — как только родился и во всю жизнь раб, да и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь вечно бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. Зачем я живу на свете? — подумал я как-то раз со скуки, — скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его, как клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем слове. Богу покоряйся, и Он даст тебе все, что просишь у Него. А сам он весь в дырках, рванный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Бродяжество признается Чудрою высшим делом человека. Это — не мнение кочевого по природе человека — цыгана. Это случайно вложенное в уста цыгана Чудры учение самого автора. Слишком по-образованному рассуждает этот цыган, хотя автор и старается некоторыми штрихами придать его рассуждениям цыганский колорит. «Ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай». Это не наивное суждение старика-цыгана, а домысел больного, тронутого цивилизацией ума. Сравните Чудру со стариком-цыганом в бессмертной поэме Пушкина «Цыганы». Условия стихотворного изложения заставили поэта вложить в уста темного цыгана речь, соответствующую лицу более образованному, но гений поэта даже в рассказе старика об Овидии сумел сохранить наивность и простоту первобытных понятий и чувствований человека, близкого к природе.

У Макара наоборот, — вопросы о том, можно ли научиться сделать людей счастливыми, нужен ли труд. У Макара не наивное безверие, а издевательство человека-практика над Божеством. Макар учащему его, что Бог дает просящим все, ими просимое, прямо ставит вопрос: попроси у Бога новой одежды

вместо твоей рваной. Макар любит свободу, но не свободу в широком духовном значении этого великого слова, а свободу, как возможность не трудиться, не заботиться ни о чем, и слоняться из угла в угол.

Для характеристики избранного автором действующего лица исповедание веры, вложенное в уста Чудры, ничего не дает, так как такой Чудра никогда не мог ничего подобного сказать. Это — мысли самого автора, которыми он спешит поделиться с читателем в первых строках своего писательства.

Макар Чудра вообще ни при чем в рассказе, озаглавленном его именем. Во второй части этого рассказа, Макар повествует об одном случае, которого он в своей цыганской жизни был свидетелем. Случай этот — любовь с трагической развязкой молодого цыгана Лойки Зобара к красавице-цыганке Радде. Зобар был знаменит. «Вся Венгрия, Чехия и Словения, и все, что кругом моря, знало его, — удалый был малый». Радда была так красива, что словами это описать невозможно. «Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает».

Радда немало погубила сердец.

— «Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве, один магнат, старый, чубатый, увидал ее, и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния, сверкает, чуть конь ногой топнет... вся эта сабля в камнях драгоценных и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, — важный был государь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит Радде: Гей! Поцелуй, кошель денег дам. — А та отвернулась в сторону, да и только! — Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой, — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

— Эх, девка! — охнул он, да и плетью по коню, — только пыль взилась тучей.

А на другой день снова явился. — Кто ее отец? — громом гремит по табору. Данило вышел. — Продай дочь, что хочешь возьми! — А Данило и скажи ему: Это только паны продают все от своих свиней до своей совести, а я с Кошутом воевал и ничем не торгую! — Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! Гей, вы, говорит, перед Богом и вами совесть моя чиста, отдайте девуку в жены мне: все подею с вами, богат я сильно! — Горит весь и, как ковыль под ветром качается в седле. Мы задумались.

— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

Засмеялся Данило, и все мы с ним.

— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи — те податливей. И пошли мы вперед.

А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал, поскакал так, что земля задрожала.

Некоторый комизм этого описания с его преувеличениями уже дал однажды повод В. П. Буренину для ряда юмористических замечаний¹¹. Люди с литературным вкусом сразу увидят лубочность этого образа влюбленного пана с его отчаянными страстями.

Но не он один был без памяти влюблен в Радду. Влюбился в нее и помянутый уже знаменитый конокрад и победитель женских сердец Лойко Зобар. Зобар пленяет всех необычайной игрой на скрипке, но игра эта не трогает Радды: она даже подсмеивается над его песнями, приводящими всех в восторг и удивление.

Зобар просит руки Радды у ее отца Данилы. Данило дает согласие. Новые насмешки Радды. Когда он протягивает ей руку, с согласия отца, — она захлестывает ему ременное кнутовище за ноги и валит его на землю. Лойко идет в степь. Цыганы боятся, не наложил бы он на себя рук и посылают Макара следить за ним. Зобар сидит в молчаливом отчаянии. Ночью к нему приходит Радда. Он бросается с ножом на обидчицу, — она обороняется, направив в него пистолет. Радда согласна быть женой Зобара, она признается, что любит его, но волю она любит больше всего на свете. Она признает, однако, что друг без друга им не жить.

Она говорит:

— А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой позабудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты уж будешь любовные, нежные песни мне, твоей Радде... Так не теряй даром времени, — сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне, как старшему товарищу юнаку. Поклонись мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою, — и тогда я буду твоей женой.

Зобар поутру явился в табор и сказал цыганам:

— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и все тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойку Зобара, который до нее играл с девушками, как кре-

чет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не поняли. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке, — пусть эта девка и сам Радда. Стыдно было чего-то и жалко, и грустно.

— Ну! — крикнула Радда Зобару.

— Эге, не торопись, успеешь, надоеет еще... — засмеялся он. Точно стала зазвенела, — засмеялся.

— Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, — простите меня, братцы!

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а Радда уже лежала на земле и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— Прощай, Лойко! Я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла...

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

— Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко, да бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «надо связать его!» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул рукой, да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами; на том ноже еще не застыла кровь Радды и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину, как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри и не видно было его лица.

Рассказ Чудры сделал огромное впечатление на Максима Горького. Старик заснул, но Горькому спать не хотелось.

Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно-красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за ней по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали чистые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган — Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно и никак не мог красавец-певун Лойко поровняться с гордой Раддой.

Картинно-декоративный стиль повествования сохранен до конца. Описание трупов Радды и Зобара напоминает ремарку для постановки эффектной сцены. И невольно перед мыслями встает пушкинская цыганская любовная драма: вся — жизнь, вся — огонь, вся — страсть.

Мы намеренно остановились на первом и слабом опыте Максима Горького. Пока перо его еще не понаторело, ярче видны его недостатки и достоинства, и рассказ этот дает ключ к пониманию дальнейших, искуснее закрывающих и тенденцию автора, и его манеру письма.

«Макар Чудра» делится на две части, не имеющие между собой никакой внутренней связи. Учение Макара Чудры не нужно для повести Зобара и Радды. Повесть эта ничем не иллюстрирует учения. Сам Чудра, хотя его фигура и описана, является таким же случайным рассказчиком эпизода ему постороннего, как во многих прежних (часто у Тургенева) повестях рассказчики их, упоминаемые в предисловии.

Учение Чудры есть часть учения самого Горького. Тут уже, хотя и в зародыше, гнездятся все те противообщественные идеи, которыми с нами поделятся в дальнейших произведениях Горького его босяки, озорники и т. п.

Манера письма, с некоторыми улучшениями, останется та же и в других произведениях. Горький пишет свою картину теми мазками, которыми пишутся декорации. Условность рисунка останется та же. Автор не лишен разнообразия. Он видит упавшие фигуры Радды и Зобара. Не только описывает их, но именно видит. Но видит их не в своеобразных картинах, а в условных. Прижатая к ране прядь волос у Радды, рассыпавшиеся и закрывающие лицо кудри Зобара, — все это так знакомо, хоть и эффектно, что невольно спрашиваешь себя: да нужны ли эти эффекты, виденные давным-давно на тысячах не только картин, но и дешевых ходовых олеографий.

Условность постоянная у Горького, особенно в описаниях природы, напоминает манеру рисовать маринистов-ремесленников. Берется белый лист бумаги, месту для картины отводится круг или эллипсис. На $\frac{1}{3}$ вертикального диаметра проводится перпендикулярно к нему широкая полоса синей краской. Сразу получается эффект линии воды с небом. На этой линии дела-

ется горизонтальный черный мазок, с перпендикулярным черным же мазком, или ставится на той же линии, под углом в 75 градусов, черная линия, а около нее белая клякса. Окружите овал или круг темным фоном и посмотрите издали — морской вид с пароходом или с парусным судном на горизонте. Поотделать такую картинку некоторыми дополнительными мазками и — что твой Айвазовский!

На самом деле это вовсе на море не похоже, и если показать этот рисунок моряку, видевшему море, но не смотревшему картин, он не узнает изображения, а полукультурный зритель, видевший больше таких малеваний, чем моря в природе, будет восхищаться, говорить, что в акварели много воздуха, света, что дышится вольнее, как будто вдыхаешь соленую влагу. А штука-то очень простая: привычные для глаза мазки подействовали на те точки мозга, которым положено думать о море, — и готово.

В литературных образах те же условные впечатления вызываются подобными же несложными приемами.

Но никогда не следует смешивать ложного впечатления с самым предметом, его производящим. Предмет художества должен быть оцениваем сам в себе и тогда лишь можно ловкую ухватку отличить от творчества, и условный прием от вдохновенного создания.

II

Вторая по порядку повесть М. Горького, помеченная тоже 1892 годом, называется «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины».

М. Е. Салтыков (Щедрин) в последние годы своей деятельности писал сказки, где животные являлись олицетворениями людей. Большой сатирический талант автора искупал неприкрытую тенденциозность этих сказок, а слава его имени, создававшаяся благодаря не этим сказкам, а другим, более зрелым и цельным произведениям, заставляла прислушиваться к каждому его слову. При этом, так как Щедрин задевал почти всегда лиц ему современных, то полудетское любопытство публики побуждало доискиваться: «на кого написано», а это придавало особый вкус сочинениям нашего сатирика.

На первых же шагах своей деятельности М. Горький, в своей повести о «Чиже и Дятле», поплелся по проторенной Щедриным дороге. Опыт оказался очень неудачным, но он дал воз-

возможность начинающему писателю высказать публике некоторые свои сокровенные мысли. Он вообще спешил это сделать. Невзирая на молодой возраст и на литературную неопытность, он, как бы верхним чутьем, постиг, что проповедь тех или иных идей может пойти успешно, под неперменным условием ознакомить читателя со своими основными положениями, взять его сразу в руки, заинтересовав собою настолько, чтобы еще долгое время читатель-зауряд принимал, как перлы создания, все выходящее из-под пера облюбованного писателя.

Это так хитро и так притом неоспоримо верно, что остается дивиться такой пронизательности в начинающем писателе. Это случилось не неволью, что следом за Макаром Чудрою Чиж стал проповедовать. Тут придуманность какая-то чувствуется. Точно какой-то скрытый двигатель руководил молодым писателем и заставлял его выполнять заранее обдуманное и намеченное.

Послушаем проповедь Чижа и отповедь Дятла. Дело происходило в роще, в серый, непогожий день. «Тон всему в роще давали вороны, птицы по существу своему мизантропические и, кроме более или менее громкого карканья, ни к чему неспособные». «В другое время, — говорит рассказчик, — на них бы не обратили внимания, но теперь, когда их голоса преобладали, их слушали и даже считали очень мудрыми птицами. Мрачная песня — карканье ворон — была такова:

Карр!.. В борьбе с суровым роком
Нам, ничтожным, нет спасенья.
Все, на что ни взглянешь оком, —
Боль и горе, прах и тленье...
Карр!.. Страшны удары рока!..
Мудрый пусть им покорится...

Карр... карр... Скучная песня!.. но сильная, ибо она угнетала всю рощу. И вдруг зазвучали смелые песни...

Вся роща, много слушавшая песен, встрепенулась, и с напряженным вниманием прислушивалась, удивленно и тихо шелестя ветками. И даже соловьи, которые всегда поют недурно, потому что они жрецы чистого искусства, с удовольствием слушали и говорили:

— А ведь у этого певца есть искорка!..

И, говоря так, втайне гордились своим пристрастием.

А певец пел:

Я слышу карканье ворон
Смущенных холодом и тьмой...
Я вижу мрак, — но что мне он,
Коль бодр и ясен разум мой?..

За мной, кто смел! Да сгинет тьма!
Душе живой — в ней места нет!
Зажжем сердца огнем ума
И воцарится всюду свет!..

— Сильно спето! — комментировали соловьи. — Молодо, самонадеянно, не музыкально, — но сильно, — и глубокомысленно почистив носики, они слушали дальше.

Кто честно смерть принял в бою,
Тот разве пал и побежден?
Пал тот, кто робко грудь свою
Прикрыв, ушел из битвы вон...
Друзья! и тот пал, кто, боясь
Труда, волнений, боли ран,
О битве судит, погрузясь
В философический туман...

— Гм... у него очень оригинальные взгляды! — отметили соловьи. — Хотелось бы знать, что это за птицы!.. — полюбопытствовали они.

Друзья! пусть падшие молчат,
Им очи съел сомнений дым;
В сердцах их честь и гордость спят...
Друзья! давайте крикнем им:
Прочь! ваших мудрствований чад
Темнее сделал эту ночь.
И отравляет он, как яд,
Умы и души юных... Прочь!..
Прочь!.. Здесь объявлена богам
За право первенства война!

— Это смело! — сказали соловьи. — О, да!.. Это очень смелая песня!..

Роща слушала и даже старые деревья зашептали о прошлых днях. «То были славные весенние дни, когда в роще только что начинали расцветать цветы и надежды, когда птицы пели звучные гимны солнцу, а свободное от туч небо казалось бесконечно глубоким... То были хорошие дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотелось, ибо была цель и была надежда достичь ее».

Итак, мораль сей басни та, что в 1892 году все закрывали мрачные тучи, карканье ворон стало руководящей песнью и жить надо себя принуждать, ибо цели жизни уже нет и надежды достичь цели, если бы она была, — тоже нет. Какие же и когда были эти «славные весенние дни»? Отгадать нетрудно, что речь идет о шестидесятых и семидесятых годах XIX века, закрывшихся тучами годов восьмидесятых.

Но и в те «весенние дни» бесконечное число и горьких, и сладких, и кисло-сладких нытиков-писателей говорили о ту-

чах, закрывающих солнце, и затем, когда наступила иная пора, то стали ныть на тему, что тогда, мол, сияло солнце, а теперь перестало сиять. Человек почти никогда недоволен настоящим, прожитой день беды, по вещему слову поэта, становится ему мил. Если человек идет к склону лет, он говорит: «в наше время было не то...»; если он молод и только что начал жить, он утверждает: «хорошо было предыдущим поколениям»... Человек склонен искать утешения от неровностей настоящего, противопоставляя им надежды на лучшее будущее, или сравнивая их с полузабытым, в мелочах, прошлым.

Но сказать, что лишь прошлое имело цель и надежды, а настоящее его не имеет, значит не только сказать логический абсурд, но и осудить самые эти цели и надежды, которые не исполнились и не осуществились. Если они не исполнились, — значит, были ложны, неверны, неосновательны. А потому и говорить о них стоит лишь как об исторических документах, — не более.

Спокойно вззирающий на ход развития своей страны русский человек не отвергнет никакой минуты исторической жизни народа. Если она была, то быть ей было должно, — гласит фатализм истории, но деятели известного времени всегда могут наносными придатками усугубить тягость минуты и даже исказить сущность жизненного явления.

Так и случилось с шестидесятыми и семидесятыми годами. Это были действительно дни весны, но весны ранней и спорой, — той весны, когда — не успеешь оглянуться — уже снег обратился в мутные потоки, внезапные паводки рвут запруды и плотины, сносят мельницы и жилища, губя людей и животных. Дни эти, принесшие много нового света, но и много горя, заблуждений, крови, убийств, растления нравов, ломки основ, — минули. После чрезвычайного и последнего потрясения, после проклятого злодейства 1 марта тучи сразу охватили русское небо¹². Но недолго лежали они на нем. Их разорвали и согнали с неба лучи того русского солнца, которое в летописях русского самосознания зовется Императором Александром III. Не уничтожать былое пришел он, а упорядочить. Не шумихи фраз, влекущей к шумихе дел и к преступным выходкам, хотел он, а спокойного, честного, невидного русского труда на русскую пользу...

Его благотворной деятельности минуло уже 11 лет, когда запел в роще М. Горького Чиж и осудил современное ему настоящее, а рассказчик пояснил чижовые суждения, заговорив о безнадёжности и бесцельности жизни.

Идем, однако, далее за автором. Птицы заинтересовались певцом и стали его разыскивать. Немало были они удивлены, что все это поет Чиж и что это он объявляет «войну богам». Песня птицам понравилась, но они потребовали от Чижа подтверждения справедливости его слов. Чиж спел им новую песню:

В тьме нами созданной ночи
Пронесются серые совы...
И блещут их мрачные очи.
И злы, и угрюмо суровы!..
И гулко их крики несутся,
Смеются они и рыдают.
Проклятья в них дню раздаются,
И ночь они смехом встречают...
О, если бы мрака оковы
С моей юной рощи упали,
Исчезли бы дикие совы
И соколы только б летали!..
Но соколы, — слабы и хилы, —
Забились робко в ущелья
И злятся без чести и силы
Под звуки чужого веселья.
Их крылья уныло повисли,
Постыдно сердца у них дремлют,
И голосу чести и мысли
Свободные птицы не внемлют...

Щегленок требует, чтоб Чиж указал, куда он зовет. Чиж немедленно удовлетворяет это требование и говорит:

Я исхожу из непоколебимого убеждения в высоком призвании птиц, как конечного, самого сложного и мудрого акта в творчестве природы. Мы не должны уставать и должны всегда бороться и все победить, чтобы оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий. Путь, по которому мы должны идти, мне не знаком, но я уверен, что нужно идти вперед. Там страна, достойная быть наградой за те труды, которые понесли мы в пути! Там вечный, неиссякаемый свет, там неведомые нам чудеса; там мы насладимся созерцанием нашей силы, и весь мир будет ареной наших деяний, величие которых невозможно представить нам теперь, там мысль наша разрешит все, и наши чувства, осложненные до чудесного, откроют перед нами новый мир неиспытанных наслаждений; там она — жизнь, достойная нас!.. Уважайте и любите друг друга и, идя гордой и смелой дружиной к победе, не сомневайтесь ни в чем, ибо что есть выше вас? Обернитесь назад и посмотрите, чем вы были раньше, — там, на расвете жизни? Вся ваша вера тогда — не стоила одной капли сомнения — теперь... Научившись так страшно сомневаться во всем, вам пришла

пора — уверовать в себя, ибо только великая сущность может дойти до такого сомнения, до какого дошли вы!..

Туда — в страну счастья! Туда — в это чудное «вперед»!

Призыв птицам понравился, и они дружно крикнули «вперед»! Но Дятел рассеял все иллюзии. Он заявил, что Чиж всех обманывает, что он сам не знает, куда зовет, что за рощей голое поле, а далее деревни и в них птицеловы, и что вылет из рощи приведет лишь к опасностям, гибели и, в лучшем случае, по облетении всего шара земного, к возврату, после ряда страданий, в ту же рощу.

Чиж заплакал и сознался, что он сказал ложь, что он не знает, что за рощей, но сказал он ложь потому, что верить и надеяться так хорошо, а он хотел пробудить веру. Птицы оставили Чижа.

М. Горький заключает и поясняет:

Вот и вся история... Прочитав ее, ты, конечно, увидишь, что Чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом: Дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они, в сущности, черствы сердцем и мелки, мелки, позорно мелки... Увидав это, ты подумаешь, что я неверно рассказал эту до слез смешную историю. Думай так, если это тебя утешает, думай!

В конце концов автор всех осудил. Ни идеалист Чиж, ни практик Дятел, ни птицы, ради которых и тот, и другой тратили слова, — ничто не нашло сожаления у автора. Ему будто бы все равно, что скажет читатель на эту историю.

Но автор не порицает самой теории Чижа, он порицает в нем отсутствие веры. Это очень туманно и несогласно с изложенными обстоятельствами. Если бы в Чиже не было веры, то он и не стал бы звать за собою. Чиж сам говорит, что «верить — так хорошо!» Тут есть что-то недосказанное. М. Горький не из тех, которые такое отвлеченное понятие, как вера, считают фактором жизни. М. Горький, как показывают все его произведения, принимает во внимание лишь реальное проявление сил.

И недаром брошена ироническая фраза: «Думай, что я неверно рассказал». Эта фраза и дает ключ к пониманию басни. М. Горький и сам знает, что намеренно неверно закончил свою историю. Ему рано было доканчивать ее. Ведь его проповедь только что началась. Чиж потому не годится на свою роль, что он слаб. Тут нужна иная сила в вожди. Но где же было ее взять. Взять Сокола? Но сам Чиж от этой мысли отказался: «Соколы — слабы и хилы». Они утратили былое значение. Да

не один Сокол (не одно какое-либо сословие), а все: у них нет «ни чести, ни силы», «крылья повисли».

Надо найти вождя, и тогда проповедь Чижа пойдет на пользу. Вождь Максимом Горьким найден, но он не мог его обнаружить в той же маленькой сказке. Тут нужна была еще подготовительная работа, нужно было особое умение, чтобы будущий вождь получил права гражданства у читателя, у массы. Показать его сразу, да еще в птичьем образе, было большим риском. Его надо было выводить мало-помалу, последовательно, пока он не достигнет уготованного ему пьедестала. К этой подготовке М. Горький и приступил со следующего же своего рассказа.

III

Излюбленный собирательный тип М. Горького впервые намечается в третьем по порядку его рассказе — «Емельян Пилай», относящемся к 1893 году.

В рассказе этом тип босяка робко сравнительно выражен, только что очерчен и усердно одобрен сентиментализмом заключительных страниц.

Не пившие, не евшие дня два Емельян Пилай и его товарищ Максим Горький, не найдя работы в Одессе, идут «на соль», т. е. на соляные промыслы, чтобы путем тяжелого труда заработать гривен по шесть в день.

— Ну, что ж, идем на соль! — говорит Максим.

— Так... иди!.. А ты сладишь? — вопросительно протянул он, не глядя на меня.

— Там увидим.

— Так, значит, идем? — не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

— Ну, конечно!

— Ну, конечно!

— Ага! Что ж, это дело... пойдём! А эта проклятая Одесса — пусть ее черти проглотят! — останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

— Ладно, вставай и пойдём; руганью не поможешь.

— Куда пойдём? Это на соль-то?.. Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдём.

— Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти.

— Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил, уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

— Да почему?

— Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйте господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кос-

ти, получайте наши гроши!.. Ну, нет, так-то не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я — полные хозяева наших шкур...

— Ну, ладно, будет! Пойдем!

— Погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему этою самою солью и сказать ему со всем нашим почтением: милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию оные наши шкуры, не благоугодно ли вам будет сорвать их за 60 копеек в сутки! И тогда последует...

— Ну, вот что, ты вставай и пойдем... До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод — накормят ужином, может быть.

— Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбацки народ хороший. Пойдем, пойдем... Но уж толк, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому — незадача нам с тобой всю неделю, да и все тут.

«Теперь ты и я — полные хозяева наших шкур», — говорит Пиляй, хотя едва ли он мог выразить эту мысль такими словами.

Заведывающий соляными промыслами — «грабитель и кровопийца». Сразу устанавливается взгляд на хозяина-эксплуататора и рабочего-жертву, — рабочего, переставшего быть хозяином своей шкуры с той минуты, как он от безработицы или от тунеядства переходит к труду. В повести мы не увидим этого заведывающего промыслом, никакой подробной его характеристики и в рассказах других лиц нет. Следовательно, его кровопийство и грабительство — не личный признак, а родовой признак работодателя, по мнению Пиляев и Горьких. Этот кровопийца начинает с того, что отнимает самое дорогое — свободу у рабочих, которые делаются уже не хозяевами своей шкуры.

Этот мотив проходит затем в других рассказах Горького, как неприменный догмат босяцкой религии.

Такая односторонность взгляда уничтожает возможность правильного воззрения на рабочий вопрос; она уничтожает и возможность здоровых взаимоотношений между работодателями и работниками. Что между работодателями немало кровопийц и грабителей, это столь же верно, как и то, что между рабочими немало неблагодарных тунеядцев, готовых ненавидеть хозяина лишь за то, что он хозяин.

«Босяцкий» вопрос есть частью и рабочий вопрос, так как кадры босяков пополняются из числа сбившихся с пути рабочих, а избавиться от босячества возможно, лишь обратив к разумному труду это бродячее отребье рода человеческого. Наконец, «босяк», как бы он ни ленился и ни беспутничал, временную работу берет, хотя и против желания, ибо голод не свой брат, а на кусок хлеба и сороковку водки не всегда можно «настрелять», т. е. выпросить подаваний, не всегда можно и украсть.

И вот с этим-то щекотливым вопросом, при первом с ним соприкосновении, М. Горький обращается сплеча. Человек почти всегда недоволен окружающим настоящим и жалуется на свою участь. Так оно стоит в рабочем вопросе, но это недовольство не может служить мерилom решения самого вопроса. Рабочий вопрос регулируется исключительно законами спроса и предложения. Ни один работодатель не ведет своего дела ради снабжения рабочих заработком, а ведет его ради личной прибыли и потому, естественно, старается за меньшую сумму получить наибольшее количество работы. Ни один рабочий не работает ради прекрасных глаз хозяина или ради отвлеченной любви к труду и потому, столь же естественно, желает получить наибольший заработок при наименьшей затрате труда. Каждый думает о себе и каждый тянет в свою сторону. Это не порок и не добродетель, а один из видов борьбы за существование, борьбы, из которой победителем выходит сильнейший.

Условия социальной и экономической жизни, помимо воли работодателя и работника, устанавливают цену на труд: если никто не будет работать дешевле, скажем, рубля, то хозяин вынужден будет дать этот рубль, так как за предлагаемый им полтинник никого нанять нельзя; если никто из хозяев не дает больше полтинника, то рабочие, волей-неволей, примут эту плату, так как никто не нанимает за рубль. В этом нет материала для столкновений хозяев и рабочих. Столкновения эти наступают, когда те или другие начинают к противной стороне предъявлять требования, несообразные с экономическими и социальными условиями текущего дня и продиктованные личными вожделениями увеличить сразу свое благополучие на счет другой договорившейся стороны.

Во время оно работу делали рабы, в силу своего рабского положения, делали на тех же условиях, как ее делают вол, лошадь, машина. Времена эти отошли в вечность, и отжившее порабощение рабочих хозяином не может быть заменено порабощением хозяина рабочим. Это было бы несправедливо и фактически неосуществимо. Рабовладелец-хозяин обладал силою, которая могла заставить раба работать. Но у рабочих не может быть силы заставить хозяина продолжать свое производство. Если бы они получили такую силу, то присвоили бы себе и самое дело, на общинных началах, пока кто-либо из них, более умный и энергичный, не сделался бы хозяином, возвратив остальных в первобытное состояние рабочих.

Все эти азбучные истины, которые так легко себе усвоить, должны быть постоянно в памяти лица, решающегося писать о

взаимоотношениях хозяев и рабочих. Их бы не стоило и повторять, если бы Максим Горький добросовестно, без предвзятой мысли, относился к рабочему вопросу, даже если бы он давал картину хозяйского эксплуататорства. Но он, еле вылупившись из скорлупы неизвестности, торопится — точно забыть боится — бросить резкое и несправедливое обобщение о кровопийстве и грабительстве работодателей. При таких приемах разбираемого писателя приходится напоминать об общеизвестных истинах и настаивать на них.

Фраза, между прочим сказанная Емельяном Пиляем, обреченная им, не попала случайно под перо Максима Горького. Если бы это было так, он свою фразу вычеркнул бы, перечитывая повесть, и она не увидела бы света. С точки зрения художественной, она не нужна повествованию и только портит его. Но для проповеди, строго обдуманной заблаговременно, для пропаганды разрушительных основ, фраза эта безусловно необходима.

Емельян Пиляй с презрением говорит о заработке в 60 коп. в сутки. Зарботок, действительно, не слишком роскошный, но больше-то за что дать? Если виртуоз, зарабатывавший тысячи на концертах, вынужден с голоду принять 10 рублей за исполнение обязанностей тапера, если мастер-техник в годину безработицы принужден вместо получения 200 рублей в месяц жалованья идти в рабочие за 25 рублей, — они могут сетовать на злую судьбу. Но Пиляй-то почему стоит дороже шести гривен в день? Автор нигде не дает нам увидеть, что Пиляй умеет какую-нибудь работу делать особенно хорошо. Он — просто физическая сила, да и не очень большая, истомленная шатанием и безработицей. А так как он с отвращением приступает к работе, то сила эта и еще менее ценна.

Какие же идеалы такого Емельяна Пиляя? А вот они.

— Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло — бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из бочонка в рот себе трубку провел. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду: Максим, отверни кран! — и... буль-буль-буль... прямо в горло! Глотай, Емеля! Хо-о-рошее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, черноземного барина — ух ты!.. грабь... дери шкуру!... выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!

— Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка, — вот он голодает, мужик-то.

— Как-с? Голодает?.. Хорошо-с! Правильно-с! А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Нда-с! Он голодает... Почему? Неурожай? Сомнительно. У него сначала в

башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают, — вот что-с? Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет! это что! Это все шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабак, это бы дело серьезное...

Таким речам автор едва ли может симпатизировать. Он даже особенно резко и не совсем естественно оттеняет их, не жалея темных тонов. Вот, мол, вам Емельян Пиляй во всей его печальной наготе, с его вожделениями. Читатель, хотя и чувствует утрировку, но начинает мириться с писателем и говорит себе: «что же, он воспроизводит несимпатичное явление, но воспроизводит его объективно». Выходка Емельяна против мужика, «черноземного барина», против своего же, но честного и добросовестного брата, проходит незаметной, но когда вы вчитаетесь в произведения Максима Горького, то увидите, что поход на оседлого мужика не входит в босяцкий катехизис. Мы уже указывали на это и нам еще придется на это указывать не раз. Ныне настаиваем на этом в той цели, чтобы подтвердить и укрепить в сознании читателя, что М. Горький действует не под влиянием вдохновения, а во исполнение обдуманного плана проповеди, хотя он не чужд и вдохновению в некоторых лучших своих произведениях, о которых скажем в свое время.

— Было это, братец ты мой, в Полтаве... — начал Пиляй, — лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца, лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в арестантские роты на три месяца и прочее такое — по положению. Вышел я, отсидев срок, — куда теперь? В городе знают: в другой перебраться не с чем и не в чем. Пошел к одному знакомому темному человечку; кабак он держал и воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнейший на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: а ну, мол, Павел Петров, вызволи! — Ну, что ж, говорит, можно! Человек человеку, коли они одной масти, помогать должен. Живи, пей, ешь, присматривайся. — Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение и он меня тоже очень любил. Бывало, днем сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках., у него все книги были о разбойниках; слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивные дела делали — и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки — ах, ты мне! а в конце книги вдруг — под суд — цап! и баста! все прахом пошло.

Сию я у Павла Петрова месяц и другой, слушаю его чтение и разные разговоры. И смотрю — ходят темные молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу — толку на грош нет во всех их операциях. Слямзпт вещь, — Павел Петров даст за нее половину цены, — он, брат, честно платил, — сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик — и ничего не осталось! Плевое дело, братец ты мой! То один попадет под суд, то другой угодит туда же...

Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причем украдено на сто рублей! — Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? — Дубье!.. Вот я и говорю Павлу Петрову:

— Все это, Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук. — «Г-м! как тебе сказать?» — говорит. «С одной, — говорит, — стороны — курочка по зернышку клюет, а с другой — действительно во всех делах уважения к себе самому нет; вот в чем суть. Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию Европы, и продам себя за сто рублей!» И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: — Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья в этой дороге, и вот, мол, вы человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что. — «Г-м! — говорит, — это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по своему расчету, без помочей? Так, например... Обаймов-то, — говорит, — с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на беговых возвращается; а, как тебе известно, при нем всегда есть деньжонки, да и на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недельная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?» — Я задумался. Обаймов — это тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело — дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. — Нужно обмозговать, — говорю. — «Не без этого», — отвечает Павел Петров.

Пиляй сел в засаду, захватив железный шкворень фунтов 12-ти весу, и ждал Обаймова. Вместо Обаймова от города показалась женская фигура.

...Идет к мосту прямо и вдруг как крикнет: «Милый, за что?!» Ну, брат, и крикнула! — Я так и вздрогнул. Что за притча? — думаю. А она прямо прет на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь... куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас. А она опять как завопит: «За что?! За что?!» И бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так что я и сказать тебе не могу, — сердце рвалось, слушаю. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Бегу, думаю себе, прочь. А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на нее.. И тут, брат, все и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю — так сердце и екнуло: ма-аленькая девчоночка, дите совсем... беленькая,

кудряшки на щечках, глазенки большие такие — смотрят так... и плечики дрожат-дрожат... а из глаз-то слезы крупну-щие одна за другой так и бегут, и бегут.

Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: кхе! кхе! кхе! — Как она крикнет: «Кто это? Кто? Кто тут?!..» Испугалась, значит... Ну, я сейчас тово... на ноги встал и говорю: это, мол я. — «Кто вы?» — говорит. А глаза-то у самой во какие сделались и вся так, как студень, дрожит. «Кто вы?» — говорит.

Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня, — я вам худа не сделаю. Я — так себе человек, из босой команды, мол, я. Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залег тут! А она мне в ответ: «Все, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда». И так это она сказала, что меня аж озноб взял — серьезно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?

Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

— И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем заговорил, — не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался; больше все насчет того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть — раскрасавица. Эх ты, брат ты мой! Ну, уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю, а что — кто его знает — что? Сердце говорило. Да! А она все смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг как улыбнется!... — заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками.

— Как улыгнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: барышня, говорю, барышня!.. и все тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами — сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: «Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой!» — Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не все еще, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат... вот как! Чуешь? Ей-Богу! Эх ты, голубы! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все 47 лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошел? Эх ты, жизнь!..

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный страстностью рассказа, я молчал и смотрел на море, чудно колыхавшееся и похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

— Ну, потом она встает и говорит мне: «Проводите меня домой». Пошли мы. Я иду — ног под собой не чую, а она мне все рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы же они были, — ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал, и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать — как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит. Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила... «Ну, говорит, голубчик, прощайте. Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняй-

тес» . Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам! «Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!» — пристаёт она. А я такой оборванный был, однако говорю: не надо, барышня. Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: «Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне...» Ну, это наплевать, — оборвал Емельян, снова принимаясь закуривать.

Павел Петров, узнав о выходке Пиляя, прогнал его от себя.

Иак, Пиляй способен на самые возвышенные ощущения. Восприимчивая читательница, наверное, поплачет над лучом чистой любви, загоревшимся в сердце босяка. Многие не заметят бутафорской стороны дела и примут бутафорию за чистую монету. Между тем поступок Пиляя и его чувство ровно ничего не обозначают. Как бы низко ни пал человек, он свойств человеческих никогда не лишается вполне. Это все знают. Противопоставление грязной внешности кровавых намерений с возвышенным порывом — это старая и выгодная для впечатления штука, но она сама должна появляться в повествовании, а не быть притянутой за волосы. Когда у Пушкина озлобленный кузнец запирает безжалостно приказных в подожженном доме Дубровского, а потом с опасностью для жизни спасает с горячей крыши кошку, то этот антитез родится у поэта сам собой и сразу берет читателя за сердце. Солдат Платон Каратаев в «Войне и мире» представляет удивительное сочетание грязной, неприглядной внешности с необычайной высотой христианского духа и просится тоже сам собою в душу читателя.

Не то история Пиляя. Поставленная на скорую руку сцена тронет падкого до мелодрамы читателя и ничего не скажет читателю вдумчивому. Но Горький партию выиграл. Сочувствие большинства Пиляю приобретено, а это только и нужно: под этим соусом дан публике первый прием ядовитого учения о кровопийстве работодателей и о ненависти босяка к оседлому крестьянину.

IV

Первые рассказы М. Горького, о которых мы только что говорили, как видно и из изложения нашего, представляют в художественном отношении вещи совершенно слабые и невыдержанные.

Талант М. Горького сказался определенно в рассказе «Челкаш», написанном в 1894—1895 годах. Фигура этого босяка

наименее антипатичная в горьковской босяцкой галерее, имеет и стиль, и силу.

Описав утреннюю страду большого приморского порта, Горький в полуденный обеденный перерыв выводит на сцену своего героя.

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по всей гавани шумными группами, покупая себе у торговки разную снедь и усаживаясь обедать тут же на мостовой, в тенистых уголках, среди них появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, как заядлый пьяница и ловкий смелый вор. Он был бос, в старых вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его подвижные, сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По включенным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, рваных и резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством со степным ястребом своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Рассказ о Челкаше заключается в следующем: надо два пропавшие из груза тюка кружев получить от воров и контрабандно ночью передать грекам на баржу. Услуга эта оплачивается в 500 рублей. Работу сделать одному нельзя, нужен помощник, а постоянный сотрудник Челкаша по воровским делам, Мишка, повредил себе ногу и лежит в больнице. Челкаш наталкивается в порту на крестьянского деревенского парня Гаврилу. Гаврила возвращается после неудачного отхожего промысла на косовицу, домой. Челкаш ведет его в трактир, поит, кормит и нанимает его гребцом, уверяя, что едет на рыбную ловлю. Только в море парень узнает, что его позвали на неладное дело. Челкаш гипнотизирует его своей энергией, и Гаврила, близкий к смерти от страха, исполняет свою обязанность. Челкаш взял его не одним страхом, не одним превосходством силы воли. Челкаш говорил с ним о деревне, вошел в его желание улучшить свое крестьянское положение, взять в дом жену, а не идти в чужую семью в зятя, как по обстоятельствам приходится Гавриле.

Среди всех страхов товарищи выполнили поручение, одержали победу над препятствиями. Челкаш получил 540 рублей. Спокойные они едут в лодке. Гаврила узнает об огромном вознаграждении. Челкаш дает ему 40 рублей, но Гавриле хочется больше. Он впадает в трепет вожделения. Челкаш пропьет эти деньги, а он, Гаврила, пустил бы их в дело.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделию... Сорок отделию! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли... не обидно тебе... что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания и еще от чего-то острого и сосавшего ему грудь.

— Ха-ха-ха!.. Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько красных бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился и шумно втягивая в себя воздух, точно он пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал, наконец, Челкаш речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша все сияла добродушно-хитрая улыбка и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задыхался и давился чем-то. В нем бурлила целая тьма желаний, слов, чувств, взаимно поглощавших друг друга и паливших его, как огнем.

Челкаш посмотрел на него, недоумевая.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так это... — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрывааемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу сделалось не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться, смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну ты к черту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!... Али расставание со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь!? — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался со своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне... эти деньги! Дай, Христа ради!.. Что они тебе?.. Ведь в одну ночь... только в ночь.. А мне — года нужны... Дай... молиться за тебя буду! Вечно... в трех церквах... о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы в землю... Эх, дай мне их! Ведь что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна... и богат! Сделай доброе дело! Пропавший ведь ты... Нет тебе пути... А я бы... ох, дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад, и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу радужные бумажки.

— На! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я... вспомнил деревню... Подумал: дай, помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так... истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя-то продаете!.. а?..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. тысячи!.. я теперь... богат, — визжал Гаврила в восторге, весь вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду... Никогда!.. И жене, и детям закажу... молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался.

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... я деньги... видел... думаю... хвачу я его... тебя веслом... рраз... денежки себе, его в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как, да кто его это... убил-то! Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный он на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло.

Гаврила рванулся раз, два... другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... треск разрываемой рубахи, — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух, и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь, по направлению к городу. Но он не сделал двух шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, стал на одно колено и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!

Челкаш крикнул, схватился руками за затылок, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок.

Гаврила бежал от сраженного Челкаша, но скоро вернулся и стал приводить его в чувство, перепачкав руки в крови, лившей из затылка Челкаша.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди... прочь!

— Брат! Прости!.. дьявол это меня... — дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай... — хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. Уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе... еще? Сделал... свое дело... и иди! Пошел! — и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог, и снова свалился бы, если б Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смирно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат... Не могу! Прости!

— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму... — робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

— Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал, чай! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери! Никто ничего не узнает о твоём деле, а награды оно стоит. Ну, вот!...

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

— Родимый!.. — в тон ему ответил Челкаш, поднимаясь на ноги и покачиваясь. — За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат! — скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, и волны бились о берег теперь уже бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну, прощай! — насмешливо и холодно сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат!... — еще раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Гаврила деньги взял, и товарищи разошлись в противоположные стороны.

Приведенная нами сцена написана мастерски, с чувством меры, с правильным нарастанием трагизма. Волнение, все более овладевающее Гаврилой, волнение, которым он уже не может более управлять и которое несет его, как волна, к поступкам, лишь наполовину сознательным, начертана превосходно. Волнение это передается и Челкашу, ведя его к противоположным, по сравнению с Гаврилой, результатам.

Беспристрастие требует признать все это с точки зрения художественной, но с точки зрения идейной Челкаш есть продолжение все той же проповеди исповедания Максима Горького. Симпатии автора, несмотря на все старание оставаться объективным, не на стороне Гаврилы, а на стороне Челкаша. Душа

человеческая ярче проявляется в этом босяке, пьянице, воре, чем в том степенном и домовитом, узком в понятиях деревенском парне.

Челкаш тоже знал иную жизнь. Он тоже крестьянин из домовитой семьи, он был гвардейским солдатом, был женат, но что-то выбросило его «из того порядка жизни, в котором вырабаталась та кровь, что течет в его жилах». Челкаш вспоминает о прошлом, и автор по поводу этих воспоминаний говорит: «Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда»...

Напыщенная фраза эта при всей своей вздутой запутанности, чрезвычайно характерна. Прошрое, честное, истовое, обычное крестьянское прошлое Челкаша считается автором за яд, его привязанности — за камни.

Челкаш смеется над свободой, как ее понимает Гаврила, считающий материальную относительную независимость за свободу. Для Челкаша свобода иное. Получив внезапно большие деньги, Челкаш говорит: «Гульнем»; Гаврила же на деньги хочет купить скудное, а для него, бедняка, связанного с землею, чрезвычайное благополучие.

Взгляд Гаврилы узок, но он чисто русский, чисто крестьянский; он вытекает из прочных основ жизни, из тесной связи человека с землей, на чем только и зиждется все здание гражданственности и общественности, что оно оберегает государство от потрясений, народ от безумных увлечений и выходов.

Взгляд Челкаша есть взгляд бесшабашного революционера. Он не знает ни своего угла, ни своих близких. Сегодня босой, завтра обутий; сегодня голодный, завтра пьяный и сытый; бьющий и битый попеременно, он перешел те грани, которые общественный строй положил хаосу разнузданных похотей и личного произвола отдельных лиц. Челкаш горд своим положением, своей своеобразной босяцкой силой, которой ничего не страшно.

Автор уверяет, что у Челкаша был порыв помочь Гавриле, но ведь под влиянием воспоминаний о том, что тот же автор называет ядом.

Автор уверяет, что у Челкаша в известный момент все чувства слились в одно «нечто отеческое и хозяйственное» по отношению к Гавриле, но, как раз перед этим, говоря об этих же чувствах Челкаша, автор так живописал их: «Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы (мысли эти приходят Челкашу во время ночной экспедиции). Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так, и этак.

Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки, чувствуя себя господином другого, он наслаждался»...

Вот в этих последних словах и вся сущность дела. Босяк желает быть господином другого, властвовать над другим. Это тоже один из догматов босяцкого катехизиса, — догмат, которого не следует забывать, если желаешь понять вредное учение Горького. Он нахально, гордо не скрывает, что каждый босяк носит в себе общественного тирана, что в каждом босяке живет кабацкий Марат или Робеспьер.

Между тремя первыми рассказами Горького и «Челкашем» целая пропасть в художественном отношении, и в смысле воздействия при проведении своих начал. В первых рассказах все слишком шито белыми нитками, а тут все заключено в хорошую форму. Тем ядовитее этот рассказ и тем будут ядовитее последующие, еще лучшие в художественном отношении. Проповедь растет и усиливается по мере того, как автор становится опытнее в литературе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Лучшие произведения Горького. — Почему у Горького нет вполне художественных сочинений?

I

В настоящем исследовании главным предметом является выяснение значения произведений Максима Горького в жизни русского общества. Для целей наших меньшую важность представляет разбор сочинений Горького со стороны чисто художественной. Таких разборов и без нашего — множество. Они составили целую литературу, преимущественно неумеренно хвалебного тона.

Тем не менее, нельзя пройти молчанием и художественной стороны творчества певца босяков, ибо иначе и самое мнение наше о Горьком могло бы показаться односторонним и лицеприятным.

Горький не всегда ровен. У него рядом с произведениями, носящими печать несомненного таланта, стоят другие, неуклюже картонные, искривленные, придуманные, и притом плохо придуманные. Иногда он выходит из облюбованной им босяцкой среды и пускается либо в туманную фантастику, с напускной философичностью, либо в описание жизни, им недостаточно наблюдавшейся.

Произведениями наиболее художественными следует признать такие, как «Коновалов», «Супруги Орловы» (рассказы, о которых мы уже говорили), «Мальва», «На плотях», «Ярмарка в Голтве», «Васька Красный». К неудачным потугам создать нечто особенно поэтическое следует отнести рассказы «Старуха Изергиль», «Хан и его сын», «Макар Чудра». Фантастично псевдофилософскими рассказами называем такие, как «О черте», «Еще о черте», тягучие, неудобочитаемые, почти нестерпимые. Повесть «Варенька Олесова» подходит под рубрику рассказов из жизни, мало знакомой Горькому или мало им исследованной.

При разной степени художественного достоинства, все произведения Горького носят на себе следы одних и тех же достоинств и недостатков, и разве одна «Ярмарка в Голтве» стоит особняком как живая картина действительности, прогретая южным солнцем.

Для пояснения мысли нашей о достоинствах и недостатках творчества Максима Горького следовало бы привести здесь какой-либо из его рассказов целиком, но рассказы эти, за исключением одного, слишком для этой цели длинны. Приходится на этом и остановиться. Рассказ этот, под заглавием «Вывод», написан в 1896 году. Вот этот рассказ:

По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем двигается странная процессия.

Идет толпа народа, идет густо и медленно, — движется, как большая волна, а впереди ее шагает лошаденка, юмористически шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мордой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, ее круп весь оседает к земле, и кажется, что она сейчас упадет.

К передку телеги прикручена веревкой за руку маленькая, совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно — боком, ее голова, в густых растрепанных темнорусых волосах, поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко открыты и смотрят куда-то вдаль тупым, бессмысленным взглядом, в котором нет ничего человеческого... Все тело ее в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая упругая девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь... Она образовала пурпуровую полосу на животе и ниже по левой ноге до колена, а на голени ее скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная полоса кожи, и, должно быть, по животу этой женщины долго били поленом, — он чудовищно вспух и весь страшно синий.

Ноги этой женщины, стройные и маленькие, еле ступают по пыли, весь корпус страшно изогнут и качается, и никак нельзя понять, почему

она еще держится на этих ногах, сплошь, как и все ее тело, покрытых синяками, почему она не падает на землю и, висая на руках, не волочитя за телегой по пыльной и теплой земле...

А на телеге стоит высокий мужик в белой рубахе, в черной смушковой шапке, из-под которой, перерезывая ему лоб, свесилась прядь ярко-рыжих волос; в одной руке он держит вожжи, в другой — кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Глаза рыжего мужика налиты кровью и блещут злым торжеством. Волосы оттеняют их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крепкие, мускулистые руки, густо поросшие рыжей шерстью; рот его открыт, полон острых белых зубов, и порой мужик хрипло вскрикивает:

— Ну-ну... ве-е-дьма! Гей! Н-ну! Ара! Раз!.. Так ли, братцы?..

А сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом валит толпа и тоже кричит, воеет, свищет, смеется, улюлюкает... подзадоривает... Бегут мальчишки... Иногда один из них забегают вперед и кричат в лицо женщины циничные слова. Тогда взрыв смеха в толпе заглушает все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе... Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами... Идут мужчины и кричат что-то отвратительное тому, кто стоит в телеге... Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Удар кнутом по телу женщины... Кнут, тонкий и длинный, обвивается около плеча и вот он захлестнулся под мышкой... Тогда мужик, который бьет, сильно дергает кнут к себе; женщина визгливо вскрикивает и, опрокидываясь назад, падает в пыль спиной... Многие из толпы подскакивают к ней и скрывают ее собою, наклоняясь над нею.

Лошадь останавливается, но через минуту она снова идет, и вся избитая женщина по-прежнему двигается за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, все мотает своей шершавой головой, точно хочет сказать:

— Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости могут заставить принять участие...

А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки, и с него летнее солнце щедро льет свои жгучие лучи...

.....

Это я написал не аллегорическое изображение гонения и истязания правды, — нет, к сожалению, это не аллегория. Это называется — вывод. Так наказывают мужья жен за измену; это бытовая картина, обычай, — и это я видел в 1891 году 15-го июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии.

Действительно, это бытовая картинка наказания неверных жен в Малороссии и Новороссии, — обычай и поныне не вполне искоренившийся. Обычай этот, как и многие другие первобытные проявления своеобразного правосудия и несложного общежительного уклада, ужасен для глаз развитого человека, с кругозором более широким, чем муж-палач и сочувствующая ему публика. Описание такого обычая, без внесения в него ав-

торских рассуждений и воздыханий, говорило бы само за себя. Максиму Горькому было недостаточно описать с беспощадным, но правдивым реализмом ужасную процессию. Ему понадобился конец, в котором он с горькой, искусственной, впрочем, иронией поясняет, что дает «не аллегорическое изображение гонения и истязания правды» (???), а бытовую картину. Он естественно описывает шаг лошаденки, описывает так мелко, подробно, что картинность описания исчезает, и читатель, чтоб усвоить себе предлагаемый автором образ заморенной лошади, должен делать усилия воображения и из данных автором ужасных моментов восстанавливать слитную общую картину. Приходится перечитывать десяток строк, посвященных в начале очерка лошади, а это расхолаживает впечатление: лошадь в картине — деталь, она не должна задерживать внимания, ее надо было описать так, чтобы она сразу бросилась, как живая, в глаза, сразу родила бы в уме читателя (а не в словах автора) сопоставление измученного животного и измученной женщины, и затем уже не мешала бы уму читателя и его сердцу заниматься тем, что в очерке самое важное — женщиной. Горький не только описал лошадь по суставам, точно не картину из жизни передает, а механизм движущейся игрушки излагает, он еще вложил в мысль лошади нравственную сентенцию, долженствующую изображать смех сквозь слезы. Лошадь — и та, казалось, осуждала жестокость людей. Очень трогательно. И тотчас же: «А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки» и т. д. Это называется антитезой, когда родится само собою под пером автора, и бутафорией, когда применяется так, как применено Горьким.

Искусственные эффекты и еще находятся в разбираемом очерке. Например, «коричневая короста пыли...» на голени у истязуемой женщины. Почему такое отталкивающее и ни с чем не сообразное сравнение? Кожа покрыта пылью, и не может быть похожа на кожу, болеющую чесоткой. Этого увидеть было нельзя, это только можно было придумать. Рядом с этим неудачным сравнением сумел же автор совершенно верно сравнить полосу крови, идущей от рассеченной груди по животу и ноге женщины, с содранной полосой кожи.

Иногда не только образа или сравнения достаточно, чтобы испортить картину, достаточно бывает одного слова. Описывая мальчишек, издевающихся над наказуемой, автор называет слова, которые они выкрикивают ей в лицо, «циничными». Эпитет вполне не у места. Русский мальчишка не понимает ни этого слова, ни его внутреннего смысла, а потому к его речам

такой эпитет не подходит. Он столь же странен в этом случае, как был бы странен модный цилиндр на голове обутого в онучи и лапти и одетого в зипун деревенского мужика. Дай Горький эпитет «скверные», «срамные» словам мальчишек, — и вся фраза выиграла бы, не пятнила бы картины, а оживляла ее. Ведь сумел же автор через несколько строк совершенно согласен с обстоятельствами описываемого сказать: «Идут мужчины и кричат что-то отвратительное...»

Место и задачи, преследуемые нами в этом исследовании, лишают нас возможности разбирать так же, шаг за шагом, каждое произведение Горького. Если такой разбор посвящен очерку «Вывод», как наиболее короткому, то это сделано с тем, чтобы однажды и навсегда установить воззрение автора этих страниц на манеру Горького.

Это важно, конечно, не как субъективное суждение критика, а как ключ к пониманию Горького. Недостатки, выше указанные, происходят не от слабости писательского дарования. Они лежат в том, что Горький — не бытописатель, а проповедник. Он охотно жертвует художественной целостью создаваемого им образа, лишь бы провести свою идею. Если бы он писал не пером, а кистью, масляными красками, он был бы способен поставить безвкусные красные кресты над фигурами картины, лишь бы подчеркнуть, на что он желает обратить внимание читателя.

Какую же цель преследует Горький, например в том же «Выводе», этим своим подчеркиванием?

У всякого культурного человека обычай вывода может вызвать лишь ужас и негодование, по своей людоедской жестокости, но всякий разумный человек знает, что обычай этот лежит в темноте народа и в глазах его является не жестокостью, а правомерною справедливостью. Обычай бесчеловечен, но основание его вполне нравственно. Он стоит на страже супружеской верности, неприкосновенности семьи. Людоеды, которые по достижении родителями преклонного возраста, убивают и пожирают их, геродотовские гипербореи¹³, убивающие неработоспособных стариков, чукчи, донные практикующие убийство престарелых родителей, по просьбе и желанию последних, — вовсе не жестоки сами по себе. Их заставляет так поступать своеобразное воззрение. Просвещенные светом христианского учения, те же чукчи сами собою отстают от ужасного, дикого, возмутительного для нашей души обычая.

Таков же обычай вывода. Бороться с ним, когда он сам все более и более выводится и сохраняется лишь кое-где, как пе-

режиток старины, можно не полицейскими мерами, не слезливыми описаниями, а просвещением. Оно и борется с такими обычаями, без крика и шума, мало-помалу и совершенно незаметно для гг. Горьких и иных печальников о темноте народной и о его горе.

Горький, в сочувствии к истязаемой, дает ей все симпатичные стороны, вплоть до ее уподобления гонимой «правде», и не желает видеть ничего, кроме зверей, в этом карающем муже, в этой улюлюкающей толпе. Едва ли это справедливо. Не для потехи проделывает муж казнь над женой. Надо быть затронутым в тайниках сердца, оскорбленным до беспредельности, чтобы решиться на совершение вывода. Послушать Горького — жена-изменница даже порицания не заслуживает, а муж-палач ничего, кроме порицания, не должен получить. Такое деление действующих лиц на овец и козлиц, без всякого оттенка, чуждо истинному художеству и пригодно лишь для тенденциозных сочинений, в которых и сюжет, и форма играют роль меньшую, чем поучение.

Таков Горький везде. В этом его ахиллесова пята. Какое же и на кого может иметь воздействие очерк «Вывод»? Муж неверной жены, способный подвергнуть ее выводу, не прочтет рассказа Горького, уж по одному тому, что он грамоты не знает. Если бы ему прочли этот рассказ, то он или бы не вслушался в него, или, вслушавшись, сказал бы: «Это тоже у нас бывает. А лошадей хороших где же взять, у нас лошади все плохие».

Такой муж-палач не изменит своих взглядов из-за кислых слов Горького.

Писано это для нас, читателей книг и журналов, но мы благодарны г. Горькому лишь за яркие места его бытовой картины, а его тенденциозные вздыхания нам не нужны. Нужны они лишь Горькому в общем плане его порицательной проповеди. Мужик-земледелец в исправлении своего дикого самосуда над виноватой, неверной женой вызывает ужас у Максима Горького, а босяк-сапожник Орлов, в пьяном виде вышибающий плод из чрева своей верной, преданной и прекрасной жены, вызывает лишь сочувствие, и автор устами Орлова уверяет его жену, что бьющему мужу больше в тысячу раз, чем терпящей побои жене.

Значит, и тут осуждение основано не на ужасе к зверству, а на предвзятом загрязнении тех людей, которые, хотя и в образе зверином живут, но имеют правила, законы и обычаи.

II

Совершенно без тенденции написан рассказ Горького «Ярмарка в Голтве» (1897 год). Рассказ этот дает понять, чем мог бы быть автор, если бы не посвятил себя тенденциозной пропаганде бо-сячества и разрушения.

Взяться описывать малороссийскую деревенскую ярмарку на берегах Пела, после гоголевской «Сорочинской ярмарки», — смело. Выйти удачно из этого испытания — делает писателю большую честь.

«Ярмарка в Голтве» не имеет романтической завязки. Это — ряд живых и ярких картин. С чисто внешней стороны автора можно упрекнуть лишь в том, что он вносит в рассказ много малороссийского говора, которым притом не владеет. Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» умело избегал этого и «Вечера» от этого нисколько не утратили своего малороссийского колорита. Второй упрек заключается в некоторой неотделанности слога и в употреблении при описании простых людей иностранных слов — «сконфуженно» и т. п. Выше мы уже объяснили, почему такой прием режет ухо.

С этою оговоркою «Ярмарка в Голтве» заслуживает внимания. Вот, например, одна из ярмарочных сценок. Хохол продает коня цыгану. Тот меняет лошадь на свою и просит несколько рублей доплаты.

— Подожди... — говорит хохол.

— Не хочу! — восклицает цыган. — Что мне ждать — хiba ж я с того, что подожду, гроши зароблю? Я тебе говорю прямо, как перед Богом, — моя лошадь такая, что и сам полтавский губернатор на ней поехал бы, куда хочешь, — хоть в Петербург! Вот на — какая моя лошадь! А что твоя? Только тем она на мою и похожа, что у нее тоже четыре ноги и хвост! А какой у нее хвост? Это стыд, дядько, стыд, а не хвост...

Цыган ожесточенно дергает лошадь за хвост, щупает ее всюду и руками, и глазами и все говорит, говорит. Его товарищи пренебрежительно советуют ему:

— Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться? Вот дурной!.. Брось...

— В убыток? Ну, и буду в убыток меняться? Разве ж я моему коню и карману не хозяин? Мне человек нравится, и я хочу человеку доброе сделать! Дядько! молитесь Господу!

Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на церковь.

— Ну, Господи благослови! — восклицает цыган. — Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце... Берите его и давайте мне пять карбованцев придачи... Вот и все!.. Кончено!.. Давайте руки...

Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана и говорит:

— Два дам!

— Э! Четыре с половиной!

— Два!

Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс ею в воздухе и потом внимательно осмотрел свою ладонь, как бы удостовераясь — цела ли?

— Четыре ровно!

— Два! — упорно стоит на своем хохол.

— Ну, — утомленно говорит цыган, — идите же теперь к вашей жинке и расскажите ей, какой вы дурень...

— Два! — говорит хохол.

— Вот что — молитесь Богу!

Снова молятся и снова бьют руки друг друга.

— Ну, берите же на свое счастье, мне в убыток; не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать, коли нет их у вас в кармане... Даете три с полтиной?

— Ни, — качает головой хохол, оглядывая лошадь цыгана, понурую и шершавую.

— Три с четвертью?

— Ни...

— Чтоб ваша жинка сказала вам сто раз «ни», когда вы у нее борща попросите! Даете три гладких карбовонца? И то не даете? Так берите же за вашу цену... Э, пропали мои гроши и конь хороший.

«Хороший конь» оказался никуда не годной клячей, даже без верхних зубов. Хохол начинает протестовать. Несколько человек из толпы вступаются за хохла, другие за цыгана, происходит общий гвалт. Цыган кричит:

— Э, добрый человек! чего ж ты затяв таку заваруху? Хиба ты не знаешь, як треба конів купувати? Конів купувати — як жінку вибирати, все одно, таке ж важно діло... Слухай, я тобі скажу відну казну... Як булы на світі три братика, двое разумніи, а третій дурень — ось як ты, або ж я...

Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку, оправдывая его, хохлы лениво ругаются в ответ, толпа становится все гуще и теснее...

— Що ж міні застається, добрі люди? — горестно вопрошает обиженный.

— Ходи до урядника! — кричат ему.

— А и пойду! — решает он.

— Стой, чоловіче! — останавливает его цыган. — Разорить меня хочешь? Разоряй! Давай мне три карбовонца — я твою лошадь назад видам! Желаеть? Давай два! Желаеть? Ну, иди и жалуйся...

Хохлу не особенно приятно тягать к делу урядника, и он задумывается. Со всех сторон ему дают советы, но он остается глух и нем, решая что-то про себя. Наконец решил...

— Ну, от що, — уныло говорит он цыгану, — нехай Бог тебя судит... Отдай міні моего коня, а два карбовонци, що ты в придачу узял — твои... Триста трясовців тобі у боці — грабь!

И цыган ограбил его с таким видом, точно великую милость ему оказал.

— Догадливі люди! — похваливали «чоловіки» цыган, отходя от них.

Это типично, полно юмора, верно действительности. Таких сцен целый ряд. Их приятно читать и перечитывать. Они колоритны, и колорит их чисто малороссийский.

А вот заключительная картина:

Вечереет. Солнце уже низко над лугами и пыль, тучей стоящая над ярмаркой, кажется розовой в лучах заката. Всюду гонят скотину на Псел, раздается мычание, суровые окрики, кое-где налаживаются песни. Веселые звуки сопилки несутся со стороны погоста. Там, у земляного вала, огораживающего ниву опочивших, собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания на «дiдовы могилы», собирается «танцювати» в виду их. Тополя на погосте качают вершинами, точно протестуя против нарушения мира и тишины в месте упокоения.

— А тепери я велика,
Треб-ба мині чоловіка... —

распевают двое пьяных, идя к погосту. Они толкают друг друга плечами и качаются на ногах, как надломленные. У обоих блаженные красные лица, оба они охрипли от усилий петь согласно: один сдвинул шапку на ухо, а другой держит ее в руке и дирижирует ею, не замечая, что из нее вылезли и болтаются в воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста навстречу им несется дробный топот ног, с жаром выбивающих гопака, и задорные, хотя тихие звуки сопилки.

Тени от возов становятся все длиннее. Жара спадает. От лугов тянет запахом свежескошенного сена. Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака, еще розовые от заката. Шум понемногу стихает, люди, измороженные хлопотами и зноем дня, укладываются спать на воздухе и под возами. Тяжело дышат волы, пережевывая сено, фыркают лошади.

Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны, они и не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял в течение дня. Вот раздается торжественная музыка. Около слепого, играющего на фисгармонике, толпа молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно слушает музыку.

— Господа сим восхва-а-лим и возблагодарим, Творца на-а-шего, — поет слепой, аккомпанируя себе на звучном инструменте. Густые и успокаивающие ноты печально вьются в воздухе, над головами молитвенно настроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные шепчут что-то, — видно, как шевелятся их губы, — иные вздыхают... Большинство немо, неподвижно и глубоко серьезно.

А со стороны погоста несется удалая песня, исполняемая могучим хором молодых голосов: Гей-гей! — гремит припев.

Слышно, что эта песня складывалась в широкой степи верхом на конях, во время похода, старыми свободолюбивыми «лыцарями», проливающими свою бурную и горячую кровь «за віру христьянску, та вольності казахи»...

— Пойте славу Бога нашег-о-о... яко Он Творец мира и прибежище челове-е-ков, в Нем же обрящем упокоение... — поет и играет слепой.

Ночь идет.

Кое-где уже вспыхнули огоньки костров и вокруг них видны фигуры людей, красноватые в блеске огня. Приятной свежестью веет с лугов, где Псел, темный, красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру и с ним — в море. Вспыхивают звезды...

Ночь идет.

В этом очерке и описание природы не натянуто, не придумано, как во многих очерках Горького. Свидетельствуем по личному наблюдению для тех, кто не жил в Малороссии, не бывал на ее деревенских ярмарках, кто не видал красивых берегов и светлых вод Пела с его изменчивым руслом, что описанию Горького в данном случае можно верить, как фотографии, а любоваться им можно, как произведением искусства.

И тем прискорбнее, что автор, умевший написать «Ярмарку в Голтве», оставил произведение это одиноким среди всех других своих произведений.

III

Говоря о лучших произведениях Горького, следует прежде всего упомянуть о прославленной «Мальве». Ее обрисовка говорит сама за себя, а понять значение этой повести можно вполне, лишь сопоставив ее с другой повестью — «На плотях».

Общее в обоих рассказах — соперничество отца и сына в отношениях к одной и той же женщине. И тут, и там сын остается ни при чем, и торжество любви принадлежит отцу.

В рассказе «На плотях» молодой муж Митрий не пожелал быть супругом своей жены. Он сам об этом рассказывает на плотях, которые они гонят, работнику Сергею, в то время, как здесь же его отец, богатырь-снохач, милуется с отвергнутой мужем Марькой.

— Ну, пришли мы спать, — рассказывает Митрий. — Я и говорю ей: не могу, мол, я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек больной, хилый. И совсем, мол, жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня — женись, говорят, да и все! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Войка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимаешь... Пакость одна, да грех... Дети тоже... За них ответ Богу дать надо...

— Пакость! — взвизгивает Сергей и громкогласно хохочет. — Ну, и что ж она, Марько-то? а?

— Ну... Что же, говорит, мне делать теперь? Плачет сидит. Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, говорит, я уродина какая? Бестыдница она, Серега!.. и злая. Что же, говорит, мне с моим здоровьем к свекру, что ли, идти? Я говорю: как хошь, мол... Куда хошь иди. Мне, мол, супротив души невозможно поступить... Любовь кабы была! А так — что же? Дедуш-

ка Иван говорил — смертный грех это дело. Скоты мы с тобой, что ли, мол? Плачет все. Загубили, говорит, мою девичью красоту. Жалко ее было мне. Ничего, мол, как-нибудь обойдется. А то, мол, в монастырь иди. Она ругаться: дурак ты, говорит, Митька, подлец...

— А, батюшки! — восхищенным шепотом шипит Сергей. — Так ты ей и отколол — в монастырь?

— Так и сказал! — просто говорит Митя.

— А она тебя — дураком? — повышает тон Сергей.

— Да... обругала.

— За дело, брат! А-ах, и за дело! Вздуть бы еще надо! — вдруг меняет тон Сергей. Теперь он говорит строго и внушительно.

— Разве ты можешь супротив закону идти? А ты — пошел! Установлено — ну, значит, и шабаш! Не моги спорить. А ты на-ко-ся! Эк выворотил корягу. В монастырь! Дурья голова! Ведь девке-то что надо? Али монастырь? Ну, и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Сам ты ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, девку погубил... полюбовницей стариковой стала — старика во грех снохаческий ввел. Сколько ты закона нарушил? Го-олова!

Когда на одном конце плотов идет такая беседа, на другом конце любящаяся чета кровосмесителей, отец Митрия, Силан Петров, и жена Митрия Марька работают рядом.

У одного из передних весел стоял Силан Петров, в широкой красной рубахе с расстегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь. Шапка сивых волос нависла ему на лоб, и из-под нее усмехались большие, горячие, карие глаза. По локоть засученные рукава рубахи обнажали жилистые руки, крепко державшие весло, и, немного подавшись корпусом вперед, Силан что-то зорко высматривал в густой тьме дали.

Марька стояла в трех шагах от него, к течению боком, и с улыбкою поглядывала на широкогрудую фигуру милого. Оба молчали, занятые наблюдением: он — за далью, она — за игрой его живого, бородатого лица.

— Костер рыбацкий, должно, — поворотился он к ней лицом. — Ничего. Держим прямо! О-х! — выдохнул он из себя целый столб горячего воздуха, ровно ударив веслом влево и мощно проводя им по воде.

— Не нутужься больно-то, Машурка! — заметил он, видя, что и она делает тоже ловкое движение своим веслом.

Кругленькая, полная, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босая, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу, она повернулась к Силану лицом и, ласково улыбаясь, сказала:

— Уж больно ты бережешь меня. Чай, я слава-те Господи!

— Целую, — не берегу! — передернул плечами Силан.

— И не след! — вызывающе прошептала она.

Они замолчали, оглядывая друг друга жадными взглядами.

Под плотами задумчиво журчала вода. Справа, далеко где-то, запели пестухи.

Чуть заметно колыхаясь под ногами, плоты плыли вперед, туда, где тьма уже редела и таяла, а облака принимали более резкие очертания и светлые оттенки.

— Силан Петрович! Знаешь, чего они там визжали? Я знаю, право слово, знаю. Это Митрий жалился на нас Сережке, да и проскулил так-то жалобно с тоски, а Сережка-то и ругнул нас.

Марья пытливо уставилась в лицо Силана, теперь, после ее слов — суровое и холодно упрямое.

— Ну, так что? — коротко спросил он.

— Так, мол. Ничего.

— А коли ничего, так и говорить нечего.

— Да ты не серчай!

— На тебя-то? И рад бы иной раз, да не в силу.

— Любишь Машку? — шаловливо прошептала она, наклоняясь к нему.

— Э-эх! — выразительно крикнул Силан и, протянув к ней свои сильные руки, сквозь зубы сказал:

— Иди, то ли... Не задорь...

Она изогнулась, как кошка, и мягко прильнула к нему.

— Опять собьем плоты-то! — шептал он, целуя ее лицо, горевшее под его губами.

Силан не боится, что увидят. И так все знают. Не людей он боится, а грех его гнетет. Так все просто можно было устроить: не женить Митрия, и самому жениться на Марье. Теперь Силан готов идти с Марьей на Кубань или в Сибирь и там начать новую жизнь, выдавая среди незнакомых людей Марью за жену.

Автор, по возможности, объективен в рассказе «На плотях». Он описывает одинаково старательно как сильного телом отца, так и хилого сына, как расцвет физической страсти Силана, так и духовные мечтания о монастыре Митрия. Вся эта интимная драма окружена прекрасной картиной природы. И если не автор становится открыто за Силана, то за старого крепыша говорит эта река ночью и на утренней заре, вся обвеянная пробудившейся весенней жизнью, полной вздохов и вожделений любви.

В конце концов нельзя сомневаться в том, кто истинный герой Максима Горького. Разумеется, Силан. Автор своим рассказом воспел целый гимн свободной любви, но художник в этом очерке взял верх над проповедником. Защита свободной любви не бьет в глаза, как, например, в других рассказах, апофеоз бо-сячества. Она вытекает сама собою из данных автором картин.

Прочтя лишь один рассказ «На плотях» и не сопоставляя его с другими очерками Горького, можно сделать вывод только о талантливости автора. Но в общей цепи его произведений и этот рассказ составляет отдельное звено, правда, не покрытое бросающимся в глаза лаком крикливой и назойливой проповеди горьковских идей.

Для обличения истинного значения Горького рассказ «На плотях» непригоден, но для полноты картины о нем нельзя промолчать, и в целях беспристрастной оценки этого писателя, и для показания того, как он намеренно и сознательно погубил свой немалый талант, растратив его на цели, чуждые искусству.

IV

«Мальва» (1897 г.) едва ли не самое цельное и яркое из всех произведений Максима Горького. В рассказе этом собраны все достоинства и все недостатки писателя. Тут и красивые картины природы, и женский тип, резко и широко очерченный; тут и та разнузданность речи, которая удерживает от желания привести то или другое место повествования; тут снова и снова жизнерадостный босяк, в качестве противопоставления оседлому крестьянину, тесно связанному с землей и от земли не отстающему даже после пятилетнего пребывания в чужой стороне на отхожих промыслах.

История эта имеет духовное родство с рассказом «На плотях». Точно так же соперничество отца с сыном из-за одной женщины. Точно так же (и по странному стечению мыслей автора носящий в обоих рассказах одно и то же имя) жизнерадостный, разудалый, без кола и двора, судья взаимных отношений отца, сына и стоящей между ними женщины — Сергей. Но отец (Василий) в «Мальве» не имеет мощи Силана, отца в повести «На плотях», а жизнеспособный и жаждущий жизни Яков (сын), увлеченный Мальвой, не имеет ни идеальных стремлений, ни мечтательности, ни аскетического склада Митрия, уступившего жену отцу.

Сама Мальва, центральная фигура повести, носящей ее имя, — босяцкая Кармен. Пока из нее не сделали оперной героини, как из типа, созданного Проспером Мериме, Мальва в своей первобытной простоте носит в себе не менее дьявольского задора, способного сводить с ума мужчин, как и испанская работница на сигарной фабрике. Мальва и Кармен — родные сестры. Обе любят только силу и только ей поклоняются. Обе способны довести до полного одурманивания мужчину своим кокетством и своими ласками, и обе способны выкинуть его, как выжатый лимон, по капризу, случайно, «так».

Эта повесть Максима Горького пользуется едва ли не наибольшей популярностью, и приводить шаг за шагом ее содержание нет нужды. Начинается она описанием моря, довольно

удачным, но чересчур уже превознесенным поклонниками Горького.

Море смеялось.

Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился веселый и шумный плеск волн, избежавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило; море — тем, что отражало его ликующий свет.

Ветер ласково гладил мощную, атласную грудь моря, солнце грело ее своими горячими лучами и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом своих испарений. Зеленоватые волны, избегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену своих пышных грив; она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его.

Здесь обычная неровность Горького. Описание много бы выиграло без первой строчки. «Море смеялось». Это столь же придуманно, как и «солнце было счастливо тем, что светило», и т. д. Это не образы, родившиеся в вольном вдохновении поэта, это — повторение читанного у других, и довольно неудачное. И рядом с последней фразой от слов «Ветер ласково...» и до конца нашей цитаты, все описание полно непринужденной поэзии, почему и создает в глазах читателей живую, долго не забывающуюся картину. Отсутствие настоящего художественного чутья заставило Горького не обратить внимание на то, как в его описании слова «гармонично» и «аромат» режут ухо. А их так легко и так красиво было заменить словами «созвучно» и «благоухание».

Прищуривая глаза от яркой игры солнечных лучей на волнах, он довольно улыбался: — это едет Мальва. Она придет, захохочет так, что у нее грудь станет соблазнительно колыхаться, обнимет его сильными, но мягкими руками, расцелует и звонко, вспугивая чаек, заговорит о новостях там, на берегу. Они с ней сварят хорошую уху, выпьют водки, поваляются на песке, разговаривая и любовно балуясь, потом, когда стемнеет, они вскипятят чайник чая, напьются со вкусными баранками и лягут спать... Так бывает каждое воскресенье, каждый праздник на неделе. Рано утром он повезет ее на берег по сонному еще морю в предраассветном свежем сумраке. Она, дремля, будет сидеть на корме, он грести и смотреть на нее. Смешная она бывает в то время, смешная и милая, как сытая кошка. Может быть, она соскользнет с лавочки на дно лодки и уснет там, свернувшись в клубок. Она часто делает так...

Мальва приехала, но не одна. Она привезла с промыслов сына Василия — Якова, который от бескормицы в деревне пошел пытаться счастья туда, где отец работает не первый год.

Незванным гостем попал Яков к отцу. Он сразу понял роль Мальвы, да и отец не стал таиться. Мальву забавляет неловкое положение любовника и его сына, она «озорует», по выражению Василия. Он хмурится все более и более и, наконец, оставшись с Мальвой наедине, вызывает ее на объяснение.

— Что молчишь? — спросил Василий.

— Думаю... — сказала Мальва.

— Про что это?

— Так... — повела она бровями и, помолчав, добавила. — Сын у тебя молодец парень...

— А тебе что? — ревниво воскликнул Василий.

— Мало ли что...

— Ты... смотри! — окинул он ее суровым взглядом, полным подозрения. — Ты не дури! Я хотя и смиренный, но ты меня не дразни... да!

Он стиснул зубы и сжал кулаки, продолжая:

— Ты сегодня сразу, как приехала, играть начала во что-то... Я еще не понимаю этого... но, смотри, пойму, не ладно тебе будет! И улыбочки у тебя этикие... и все такое... Я тоже с вашей сестрой умею обращаться... коли что...

— А ты меня, Вася, не пугай... — равнодушно и не глядя на него попросила она.

— То-то! не шути же...

— А ты уж не стра-щай...

— Я и взбучку дам, коли ты баловать начнешь... — грозил Василий, озлобляясь.

— Бить станешь? — обернулась она к нему, с любопытством глядя в его взволнованное лицо.

— А что ты за графиня? И вздую...

— Да я тебе что — жена, что ли? — вразумительно и спокойно спросила Мальва и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Привыкли бить жену ни за что, ни про что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я свободная. Я сама себе барыня и никого не боюсь. А ты вон — сына боишься: давеча как заюлил перед ним — стыд! А еще угрозишь мне!

Она презрительно качнула головой и замолчала. Ее холодные, пренебрежительные слова подавили озлобление Василия. Никогда еще он не видел ее такой красивой и удивился, глядя на нее.

— Разошлась, раскаркалась... — молвил он, злясь на нее и любуясь ею.

— И еще скажу тебе вот что. Ты Сережке бахвалился, что я без тебя, как без хлеба, и жить не могу! Напрасно ты это... Может, я не тебя люблю и не к тебе хожу, а люблю я только место это... — она широко повела рукой вокруг себя. — Может, мне то нравится, что здесь пусто — море да небо и никаких подлых людей нет. А что ты тут — это все равно мне... Это вроде платы за место... Сережка был бы — к нему бы я ходила, сын твой

будет — к нему пойду... А еще лучше, кабы вас вовсе никого не было... обрыдли вы мне!.. Но если я с моей красотой захо чу — я всегда мужика, какого мне нужно, выберу... И не чета тебе...

— Вот ка-а-ак? — свирепо зашипел Василий и вдруг схватил ее за горло. — Так вот что-о?

Василий бьет Мальву. Странной женщине это понравилось. «Васька!.. Это ты бил меня?» — спрашивает она его шепотом. И затем рядом недоговоренных фраз сбивает Василия совершенно с толку, пока он, замороженный и одурманенный, не погрязает совершенно в ее ласках.

Мальва, конечно, взялась проводить прибывшего на промыслы Якова к отцу только затем, чтобы подразнить любовника и посмеяться над ним.

Над Яковым, на которого ее прятая прелесть подействовала, как залпом выпитое огромное количество вина, она издевается еще пуще. Вот примечательная сцена между ними.

Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. Он вышел из барака к морю умыться и, подойдя к берегу, увидал Мальву. Она сидела на корме большого баркаса, причаленного к берегу, и, спустив за борт голые ноги, расчесывала мокрые волосы.

Яков остановился и стал смотреть на нее любопытными глазами.

Ситцевая ее кофточка, не застегнутая на груди, спустилась с одного плеча, а плечо было такое белое, вкусное.

В корму баркаса били волны, и Мальва то поднималась над морем, то опускалась так низко, что ее голые ноги почти касались воды.

— Купалась, что ли? — крикнул ей Яков.

Она обернула к нему лицо, мельком взглянула на ноги и, снова расчесывая волосы, ответила:

— Купалась... Что рано поднялся?

— Ты вон еще раньше...

— А я тебе что за пример?

Яков промолчал.

— По моей-то манере будешь жить — трудно будет голову носить... — сказала она.

— О? Ишь ты какая страшная! — усмехнулся Яков и, присев на корточки, стал умыться.

И далее:

Яков засмеялся и полез на баркас.

Усевшись рядом с ней, он устался на ее голое плечо, полуобнаженную грудь, на всю ее фигуру — свежую и крепкую, пахнущую морем.

— Вон ты... белуга какая! — с восхищением воскликнул он, подробно осмотрев ее.

— Не про тебя... — кратко заявила она, не глядя на него и не оправляя своего откровенного костюма.

Яков вздохнул.

Пред ними расстиралось необозримое море в лучах утреннего солнца. Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт баркаса. Далеко в море, как шрам на атласной груди его, виднелась коса. С нее в мягкий фон голубого неба вонзался шест тонкой черточкой и было видно, как на конце его треплется по ветру тряпка.

— Да, паренек... — заговорила Мальва, не глядя на Якова, — вкусна я, да не про тебя... А и никем я не купленная... и отцу твоему неподвластна. Живу я сама про себя... Но ты ко мне не лезь, потому что я не хочу между тобой и Васильем стоять... Ссоры не хочу и разной склоки... Понял?

— Да я что? — изумился Яков. — Я ведь тебя не трогаю... я так это!

— Тронуть ты меня не смеешь! — сказала Мальва.

Она так это сказала, с таким пренебрежением к Якову, что в нем сразу был обижен и мужчина, и человек. Задорное, почти злое чувство охватило его, и глаза у него вспыхнули.

— О? Не смею? — воскликнул он, подвигаясь к ней.

— Не смеешь!

— Н-ну? А как трону?

— Тронь!

— А что будет?

— А я дам тебе по затылку, ты и кувырнешься в воду!

— А ну, дай!

— А тронь!

Он окинул ее горящими глазами и вдруг крепко охватил ее сбоку сильными лапами, сдавив ей грудь и спину. От прикосновения ее тела, горячего и крепкого, он вспыхнул весь и горло его сжалось от какого-то удушья.

— Вот! Ну... бей! Ну... что?

— Пусти, Яшка! — спокойно сказала она, делая попытки освободиться из его вздрагивавших рук.

— А по затылку хотела?

— Пусти! Смотри, худо будет!

— Ну... не стражай ты меня! Эх ты... малина!

Он прижался к ней и впился толстыми губами в ее румяную щеку.

Она задорно захохотала, крепко схватила Якова за руки и вдруг сильным движением всего своего тела, рванулась вперед. В объятиях друг друга они тяжелой массой свалились в воду и скрылись в пене и брызгах. Потом на взволнованной воде появилась мокрая голова Якова с испуганным лицом, а рядом с ней вынырнула, как чайка, Мальва. Яков, отчаянно взмахивая руками, разбивал вокруг себя воду и выл, и рычал, а Мальва с громким хохотом плавала вокруг него и, плеская ему в лицо пригоршни соленой воды, ныряла, уклоняясь от широких взмахов его лап.

— Черт! — закричал Яков, фыркая. — Я утону! Будет!.. Ей-Богу... утону! Вода... горькая... Ах ты... тону-у!

Но она уже оставила его и, по-мужски загребая руками, плыла к берегу. Там, ловко взобравшись снова на баркас, она стала на корме и, смеясь,

смотрела на Якова, торопливо подплывавшего к ней. Мокрая одежда, пристав к ее телу, обрисовывала ее упругие формы от колен по плечи, и Яков, подплыв к лодке и уцепившись рукой за нее, уставился жадными глазами на эту мокрую, почти голую женщину, весело смеявшуюся над ним.

— Ну, вылезай... тюлень! — говорила она сквозь смех и, став на колени, подала ему одну руку, а другой оперлась в борт лодки.

Яков схватил ее руку и с одушевлением воскликнул:

— Ну... Теперь держись! Я тебя... в-выкупаю!..

Он тянул ее к себе, стоя по плечи в воде; волны перебегали через его голову и, разбиваясь о лодку, брызгали в лицо Мальве. Она жмурилась, хохотала и вдруг, взвизгнув, прыгнула в воду, сбив Якова с ног тяжестью своего тела.

И снова они начали играть, как две большие рыбы, в зеленоватой воде, брызгая друг на друга и взвизгивая, фыркая, рыча и ныряя.

При этом случае автор выводит третьего мужчину своей повести, единственного, кого может полюбить Мальва, — Сережку.

К ним шел медленной походкой и покачивая корпусом, высокий, жилистый, бронзовый человек в густой шапке растрепанных, огненно-рыжих волос. Кумачовая рубаша без пояса была разорвана на спине у него почти до ворота, и, чтобы рукава ее не сползли с рук, он засучил их вплоть до плеч. Штаны представляли собой коллекцию разнообразных дыр, ноги были босы. На лице его, густо усеянном веснушками, дерзко блестели большие голубые глаза, а нос, широкий и вздернутый кверху, придавал всей его фигуре вид бесшабашно-нахальный. Подойдя к ним, он остановился и, блестя на солнце своим телом, выглядывавшим из бесчисленных дыр его легкого костюма, громко шмыгнул носом, вопросительно уставился на них глазами и скорчил смешную рожу.

— Вчера Сережка выпил немножко, а сегодня в кармане у Сережки — как в бездонном лукошке... Дайте двугривенный взаймы! Я все равно не отдам...

Между Мальвой и Сережкой, на косе у Василия происходит интересный разговор. Сережка грубо, но не без остроумия упрекает Мальву за кокетство, она задорно огрызается. Разговор, наконец, становится у них по душе.

— Слушай! — сказал он. — Ты знаешь, чего хочешь?

— Кабы знала! — с глубоким вздохом и очень тихо ответила Мальва.

— Стало быть, не знаешь? Это плохо! — уверенно заявил Сережка. — А я вот всегда знаю, — и с оттенком грусти он добавил: — только мне редкого хочется.

— Мне всегда хочется чего-то, — задумчиво заговорила Мальва. — А чего?.. не знаю. Иной раз села бы в лодку и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видеть! А иной раз так бы каждого человека заverte-ла, да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась. То жалко всех мне, а пуще всех — себя самое, то избила бы весь на-

род. И потом бы себя... страшной смертью... И тоскливо мне, и весело бывает... А люди все какие-то дубовые.

— Народ гнилой, — тихо согласился Сережка. — То-то я смотрю все на тебя и вижу — не кошка ты, не рыба... и не птица... А все это есть в тебе, однако... Не похожа ты на баб.

— И то слава Богу! — усмехнулась Мальва.

Мальва улынулась.

— А... знаешь? Мне иной раз кажется, что если бы... барак ночью поджечь, — вот суматоха была бы!

— Какая! — с восхищением воскликнул Сережка и вдруг толкнул ее в плечо. — Знаешь что... я тебя научу... забавную штуку сыграем! Хочешь?

— Ну? — с интересом спросила Мальва.

— Ты этого Яшку... раззадорила здорово?

— Огнем пышет... — усмехнулась она.

— Ну? страви его с отцом! Ей Богу! Потешно будет... Схватятся они, как медведи... Ты подогрей старика-то, да и этого тоже... А потом мы их друг на друга и спустим... а?

Мальва обернулась к нему и пристально посмотрела на его рыжее от веснушек, весело улыбавшееся лицо. Освещенное луной, оно казалось менее пестрым, чем было днем, при свете солнца. На нем не было заметно ни злобы, ничего, кроме добродушной и немножко озорной улыбки, да оживления ответа.

— За что ты их не любишь? — подозрительно спросила Мальва.

— Я?... Василий... Ничего, мужик хороший. А Яшка — дрянь. Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами — им и хлеба дадут и ... все! У них, вон, есть земство и оно все для них делает... Хозяйство у них, земля, скот... Я у земского доктора кучером служил, насмотрелся на них... потом бродяжил я по земле много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба — цоп тебя! Кто ты, да что ты, да дай паспорт... Бывали сколько раз... То за конокрада при мут, то просто так... В холодную сажали... Они поют да притворяются, но жить могут: — у них есть зацепка — земля. А я что против них?

— А ты разве не мужик? — перебила его Мальва, внимательно слушавшая его быструю речь.

— Я мещанин! — с некоторой гордостью отрекся Сережка, — города Углича мещанин.

— А я из Павлиша... — задумчиво сообщила Мальва.

— За меня никого нет в заступниках! А мужики... они, черти, могут жить. У них и земство, и все такое.

— А земство — это что? — спросила Мальва.

— Что? А черт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа... Плюнь на это... Ты вот говори о деле... устрой-ка им стычку, а? Ничего ведь от этого не будет... подерутся только... А я тебе помогу? Ведь Василий бил тебя? Ну, вот и пусть ему его же сын за твои побои возместит.

— А что? — усмехнулась Мальва. — Это хорошо бы...

— Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?... двинула ты языком раз — два и ... готово!

Сережка долго, с горячим увлечением, рассказывал ей о прелести ее роли. Он одновременно и шутил, и говорил серьезно, и сам искренно увлекался своим планом.

— Эх, ежели бы я красивой женщиной был! Такую бы я на сем свете заваруху развел! — воскликнул он в заключение, а потом схватил голову в руки, креко сжал ее, зажмурил глаза и замолчал.

Отец с сыном и точно подрались. Сцена их драки отвратительна в своей низменной наготе, но изображена чрезвычайно живо.

Приезд Якова и подуськивание Сережки сделали свое дело: Василий решил уйти домой, Яков остался на промыслах, но не ему, очевидно, а босяку Сережке достанется Мальва, если только есть на свете человек, который может подчинить себе эту вольную, как ветер, натуру.

Приведенная нами беседа Мальвы и Сережки имеет большое принципиальное значение в оценке проповеди Горького. Сережка, как и его собраты Пиляй, Челкаш, Коновалов, Орлов — разочарованный босяк, ненавидящий мужика. «Я всех мужиков не люблю», — говорит он. Он предлагает Мальве сравнить отца с сыном, но при этом, по убеждению автора, в лице его не заметно ничего, кроме добродушной и озорной улыбки. А сравнить Василия с Яковым не только «забавно», но и удовлетворит чувство ненависти Сережки ко всем мужикам. Но это у него мимолетное желание, а вообще он, хотя знает, чего хочет, но ему редко чего-нибудь хочется.

Чайльд-Гарольд с рыбных промыслов, отталкивающая фигура бездомного и беспаспортного бродяги и пьяницы, любимый тип Горького — таков Сережка. Весь народ в его воззрении — «гнилой». Мужики — «сволочи», потому что у них есть земля. Земство — «черт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа». Важно лишь, чтоб из-за тебя люди ребра друг другу ломали.

Мальва этому сочувствует. Она, в противовес Сережке, не знает, чего хочет. У нее, извольте видеть, стремление к бесконечности, к общению с природой и желание завертеть всех людей. То ей жалко всех, а пуще всего самое себя, то она избил бы весь народ, а потом бы себя... страшною смертью. Ей мечтается поджечь ночью барак и посмотреть на суматоху.

Несомненно, что подобие таких мыслей может роиться в душе Мальвы, но едва ли она сумела бы их формулировать. Формулирует их за нее Горький. Он неотрывно любит созданным им красивым образом и даже придает ему те черты и подробности, которые к нему не идут. В «Мальве» он — босяц-

кий Гомер более, чем где-либо. У него разыгрывается воображение. И на самом деле, если бы босяцкое движение имело во главе таких Сережек и при них на амплуа Теруан-де-Мерикур¹⁴ придать Мальв, то, пожалуй, недалеко было бы и до осуществления пьяной грезы босяка-сапожника Орлова. «Раздробить всю землю в пыль» не удалось бы, правда, а стать повыше и плюнуть с высоты на всех людей — это вполне бы вышло. Да и сейчас выходит.

Разве вожделения и идеалы Мальвы и Сережки не плевали в лицо строю общественному?

Недовольство собою, более физическое, чем нравственное, осадок похмелья и разврата, — вот регулятор всего желаемого достойными союзниками, лохматым босяком Сережкой и разнузданной животной красавицей Мальвой.

Автор не умеет скрыть восторга перед своим созданием. Он дразнит читателя смелыми выходками против общества и его законов, как Сережка и Мальва дразнят окружающих.

И одновременно с тем, с каким презрением передает автор слова Якова о земле и истину, сорвавшуюся по тому же поводу с уст его отца!

Глядя на море, ему ранее незнакомое, и пораженный его беспредельностью, Яков фантазирует: «Ежели бы все это земля была! Да чернозем бы!... Да распахать бы!»

Очевидно, что Яков никогда не мог поддаться такой фантазии. Слишком она далека от простого крестьянского мировоззрения. Но Горькому нужно было так или иначе и в этой повести подчеркнуть убожество, несостоятельность, на его взгляд, крестьянского понятия о земле.

Василий отвечает Якову:

— Это, Яков, хорошо ты сказал! Крестьянину так и следует. Крестьянин землей и крепок: пока он на ней — он жив, а сорвался с нее — пропал! Крестьянин без земли, как дерево без корня: в работу оно годится, а прожить долго не может — гниет! И красоты своей лесной нет в нем — обглоданное оно, обстроганное, не видное!.. Это ты, Яков, очень хорошие слова сказал...

Таким слогом подобные Василию в действительной жизни не говорят. Но оно здесь и неважно. Горький и не скрывает, что говорит это он сам. Мысль, приписанная Василию, совсем не нова, но она безусловно верна. «Крестьянин землей и крепок». И как же не негодовать на это провозвестнику босячества, как общественного класса? Пока крестьянин крепок, легче сбить с пути модную поклонницу Горького, нюхающую английскую соль, если до нее дойдет запах кухни, и упивающуюся

в воображении зловонием героев Горького, — нежели сбить мужика. Мужик, коли босяк придет к нему, паспорта у него не потребует, даст ему поесть, подаст милостыню, но не забудет, что это — пропащий, пустой человек, которому следует намять бока, если он начнет воровать, или озорничать.

На крестьян, людей простой, несложной, наивной, быть может, порочной морали, проповедь босячества пока не действует. До него она, слава Богу, еще не дошла и, Бог даст, вовсе не дойдет. Если же бы случилось иначе, если бы эта проповедь дошла и до крестьянской избы и там была бы усвоена, то горе бы великое настало: пришла бы новая пугачевщина, горшая старой.

V

Говоря о наиболее выдающихся в художественном отношении рассказах Максима Горького, нельзя обойти молчанием очерк «Васька Красный» (1899 г.).

Вполне художественных произведений у Горького, как видно из сказанного ранее, совсем нет. В каждом из лучших его очерков встречаются места, которые желательно было бы видеть исправленными, измененными. Везде у него масса неровностей в письме. Нигде, быть может, неровности эти не выражены так очевидно, как в «Ваське Красном», но неровности эти в данном случае скорее нужно отнести к намеренной неправде основного замысла, нежели к его выполнению и развитию.

Замечание это, — спешим оговориться, — мы относим только к заглавному лицу очерка, так как его героиня, Аксюша, вполне жизненна и ни в какой мере не утрирована.

Васька же Красный изображен чересчур сгущенными красками, он такой злодей, каких на самом деле никогда не бывает. Злодей, весь поглощенный своим злодейством, без всякого просвета иных чувств и побуждений. Подобных явлений в жизни не бывает и, по счастью для человечества, быть не может. Чем более жесток Васька, тем явственнее пробуждение в нем добрых чувств, наступившее после происшедшей катастрофы. Для эффекта, искусственного и лубочного, оно весьма полезно, но правдивость описания от того не выигрывает.

Но если мы допустим, что такой именно Васька возможен в действительной жизни, то придется признать всю повесть художественной.

Местом действия своего очерка Горький взял публичный дом.

Лет пятнадцать-двадцать назад на это и в такой форме никто бы не решился. Нам помнится, что появление в конце семидесятых или в начале восьмидесятых годов прошлого века рассказа Ги де Мопассана «La maison Tellier» поразило всех смелостью выбора места действия. Теперь это уже никого не поражает.

Конечно, дело не в самом месте. Гоголь в «Невском проспекте» приводит художника-идеалиста Пискарева в публичный дом. Всеволод Крестовский дает одну из самых драматических сцен «Петербургских трущоб» в таком же вертепе. Дело — в манере трактования предмета, в наготе изложения, которая заставляет, например, в первой же цитате из рассказа зачеркнуть одно слишком протокольное слово, ничего, впрочем, не прибавляющее к полноте повествования.

Впрочем, теперь, после «расцвета» нашей словесности в известную сторону, мы перестали всему удивляться и давно утратили мерку дозволенного общественными приличиями и доброю нравственностью. Нами забыта та чудная манера истинных писателей, при помощи которой можно высказаться о самых щекотливых предметах вполне понятно, но не оскорбляя ни чувства изящного, ни чувства стыдливости, — не ложной, а естественной, в читателе.

Начало «Васьки Красного» таково:

Недавно в публичном доме одного из поволжских городов служил человек лет сорока, по имени Васька, по прозвищу Красный. Прозвище было дано ему за его ярко рыжие волосы и толстое лицо цвета сырого мяса.

Толстогубый, с большими ушами, которые торчали на его черепе, как ручки на рукомойнике, он поражал людей жестоким выражением своих маленьких, бесцветных глаз; они заплыли у него жиром, блестели, как льдины, и, несмотря на его сытую, мясистую фигуру, всегда взгляд его имел такое выражение, как будто этот человек был смертельно голоден. Невысокий и коренастый, он носил синий казакин, широкие суконные шаровары и ярко вычищенные сапоги с мелким набором. Рыжие волосы его вились кудрями, и когда он надевал на голову свой щегольский картуз, они, выбиваясь из-под картуза кверху, ложились на околыш картуза, — тогда казалось, что на голове у Васьки надет красный венок.

Красным его звали товарищи, а девицы прозвали его Палачом, потому что он любил истязать их.

В городе было несколько высших учебных заведений, много молодежи, поэтому дома терпимости составляли в нем целый квартал: длинную улицу и несколько переулков, Васька был известен во всех домах этого квартала, его имя наводило страх на девиц, и когда они почему-нибудь ссорились и вздорили с хозяйкой — хозяйка грозила им:

— Смотрите вы!.. Не выводите меня из терпенья... а то как позову я Ваську Красного!..

Иногда достаточно было одной этой угрозы, чтоб девицы устарились и отказались от своих требований, порой вполне законных и справедливых, как, например, требование улучшения пищи или права уходить из дома на прогулку. А если одной угрозы оказывалось недостаточно для умирения девиц, — хозяйка звала Ваську.

Он приходил медленной походкой человека, которому некуда было торопиться, запирался с хозяйкой в ее комнате, и там хозяйка указывала ему подлежащих наказанию девиц.

Молча выслушав ее жалобу, он кратко говорил ей:

— Ладно...

И шел к девицам. Они бледнели и дрожали при нем, он это видел и наслаждался их страхом. Если сцена разыгрывалась в кухне, где девицы обедали и пили чай, — он долго стоял у дверей, глядя на них, молчаливый и неподвижный, как статуя, и моменты его неподвижности были не менее мучительны для девиц, как и те истязания, которым он подвергал их.

Посмотрев на них, он говорил равнодушным и сиплым голосом:

— Машка! Иди сюда...

— Василий Мироныч! — умоляюще и решительно говорила иногда девушка: — ты меня не тронь! Не тронь... тронешь — удавлюсь я...

— Иди, дура, веревку дам... — равнодушно, без усмешки, говорил Васька.

Он всегда добивался, чтобы виновные сами шли к нему.

— Караул кричать буду... Стекла выбью... — задыхаясь от страха, перечисляла девица все, что она может сделать.

— Бей стекла... а я тебя заставлю жрать их... — говорит Васька.

И упрямая девица, в большинстве случаев, сдавалась, подходила к Палачу; если же она не хотела сделать этого, Васька сам шел к ней, брал ее за волосы и бросал на пол. Ее же подруги, — а зачастую и единомышленницы, — связывали ей руки и ноги, завязывали рот и тут же на полу кухни и на глазах у них виновную пороли. Если это была бойкая девица, которая могла и пожаловаться, ее пороли толстым ремнем, чтобы не расщепить ее кожу, и сквозь простыню, смоченную водой, чтоб на теле не оставалось кровоподтеков. Употребляли также длинные и тонкие мешочки, набитые песком и дресвой, — удар таким мешком причинял человеку тупую боль и боль эта не проходила долго...

Впрочем, жестокость наказания зависела не столько от характера виновной, сколько от степени ее вины и симпатии Васьки. Иногда он и смелых девиц порол без всяких предосторожностей и пощады: у него в кармане шаровар всегда лежала плетка о трех концах на короткой дубовой рукоятке, отполированной частым употреблением. В ремни этой плетки была искусно вделана проволока, из которой на концах ремней образовалась кисть. Первый же удар плетки просекал кожу до костей, и часто, для того чтобы усилить боль, на иссеченную спину приклеивали горчичник или же клали тряпки, смоченные круто-соленой водой.

Не надо и настаивать, — оно и так видно, — на искусственной простоте первых фраз вступления в очерк. Описание наружности Васьки сделано так, чтобы каждый видел, как он ужасен. Такое усиленное искание ужаса приводит нередко к результатам совершенно противоположным тем, которых добивается автор. На самом деле, если, желая изобразить какое-либо чудовище, — лешего, что ли, — мы снабдим его рогами, хвостом, клыками, когтями, оденем его шерстью, то, казалось бы, он должен быть страшен, но выведите его в таком образе на сцену, напишите на картине, ярко изобразите в сказке, и, вместо впечатления ужаса, получится впечатление комизма. Только в полутонах, в недоговоренности, в намеках, в некоторой таинственности таится впечатление ужаса.

Максим Горький умеет наложить тень мимоходом на то, что замарать ему желательно. Говоря о количестве публичных домов в приволжском городе, он вскользь замечает: «В городе было несколько высших учебных заведений, много молодежи, поэтому дома терпимости составляли в нем целый квартал». Это «поэтому» — совершенно произвольно. Учащаяся молодежь пропорциональна населению, и в городе без высших учебных заведений, надо полагать, не одни же старики живут. Во время ярмарки в Нижнем Новгороде, например, наезжает в город много проституток, открываются временные вертепы, но, очевидно, учащаяся молодежь и высшие учебные заведения здесь ни причем, а вызывается это явление наплывом приезжих людей, временным увеличением населения.

Едва ли Максим Горький верит в выставленную им причину, Вернее думать, что ему, восхвалителю босяков, приятно и необходимо бросить грязью во все не босяцкое, даже в ту среду, где он нашел себе наибольшее количество поклонников.

Особенно жестокие служители в домах терпимости — не редкость. Самая их должность — «вышибать» бушующих гостей из «заведения» — делает их особенно черствыми. Нет мудреного, что хозяйки таких учреждений, в иных случаях, пользуются подобными слугами для самоуправного наказания закрепощенных ими девушек, но трудно поверить, чтобы где-либо существовал такой палач, которого все дома терпимости в городе приглашают на гастроли истязательства. Самые способы истязания, описанные Горьким, требующие и приспособлений (особых плеток, мешков с песком) и обдуманной жестокости, делают маловероятным его сообщение. И так в притонах разврата всякое понятие о праве, о человеческой личности не существует. Отребья общественные, — хозяйки этих учреждений,

создали свой кодекс бесправия, которому, как бы и действительному закону, покорно подчиняются несчастные девушки, торгующие собою. На многое совершающееся в этих притонах, волей и неволей, смотрят сквозь пальцы, но обращение целого квартала города в застенки привлекло бы внимание полиции самой небдительной и не могло бы существовать целые годы.

Максим Горький был бы ближе к истине, если бы не делал из Васьки Красного всеобщего палача, а ограничился бы лишь тем домом, где Васька служил, и где собственно и произошла та сердечная драма, которая составляет сущность повести.

Там, где служил Васька, жило 11 девушек. Все они попробовали Васькиного ремня и все перебивали его наложницами. Все они трепетали и ненавидели его. Все они ждали, что когда-нибудь наступит час возмездия, даже покушались, но неудачно, отравить Ваську.

В числе жительниц дома была Аксинья.

Это была девушка среднего роста, толстая и такая плотная — точно ее молотком выковали. Грудь у нее могучая, высокая, лицо круглое, рот маленький, с толстыми, ярко-красными губами. Безответные и ничего не выражавшие глаза напоминали о двух бусах на лице куклы, а курносый нос и кудерки над бровями, довершая ее сходство с куклой, даже у самых невзыскательных гостей отбивали всякую охоту говорить с нею о чем-либо. Обыкновенно ей просто говорили:

— Пойдем!..

И она шла своей тяжелой, качающейся походкой, бессмысленно улыбаясь и поводя глазами справа налево, чему ее научила хозяйка и что называлось «завлекать гостя». Ее глаза так привыкли к этому движению, что она начинала «завлекать гостя» прямо с того момента, когда, пышно разодетая, выходила вечером в зал еще пустой, и так ее глаза двигались из стороны в сторону все время, пока она была в зале, одна, с подругами или гостем — все равно.

У нее была одна странность: обвив свою длинную косу, цвета нового мочала, вокруг шеи, она опускала конец ее на грудь и все время держалась за нее левой рукой — точно петлю носила на шее своей...

Она могла сообщить о себе, что зовут ее Аксинья Калугина, а родом она из Рязанской губернии, что она — девица, «согрешила» однажды с «Федькой», родила и приехала в этот город с семейством «акцизного», была у него кормилицей, а потом, когда ребенок умер, ей отказали от места и «наняли» сюда. Вот уже четыре года она живет здесь...

— Нравится? — спрашивали ее.

— Ничего. Сыта, обута, одета... Только беспокойно вот... И Васька тоже... дерется все, черт...

— Зато весело?!

— Где? — спрашивала она, «завлекая гостя».

— Здесь-то... разве не весело?

— Ничего!.. — отвечала она и, поворачивая головой, осматривала зал, точно желая увидеть, где оно тут, это веселье?

Вокруг нее все было пьяно и шумно и все от хозяйки и подруг до формы трещин на потолке было знакомо ей.

Говорила она густым басовым голосом, а смеялась лишь тогда, когда ее щекотали, смеялась громко, как здоровый мужик, и вся тряслась от смеха. Самая глупая и здоровая среди своих подруг, она была менее несчастна, чем они, ибо ближе их стояла к животному.

Васька наказал Аксиныю за то, что она засыпала в зале, и наказал горше, чем кого-либо. Он вывел ее нагулю на двор и, уткнув лицом в кучу снега, бил нещадно ремнем.

Наконец, пришла к Ваське беда. Его привезли со сломанной ногой. Он упал с конки и попал ногой под колесо. Несчастье Васьки привело в необузданный восторг его жертв.

— Пошли вон! — сказал им Васька.

Ни одна из них не тронулась с места.

— А! Радуетесь!..

— Не заплачем, — ответила Лида, усмехаясь.

— Хозяйка! Гони их прочь... Что они... пришли!

— Боишься? — спросила Лида, наклоняясь к нему.

— Идите, девки, идите вниз... — приказала хозяйка.

Они пошли. Но, уходя, каждая из них зловеще взглядывала на него, — а Лида тихо сказала:

— Мы придем!

Аксиныя же, погрозив ему кулаком, закричала:

— У, дьявол! Что — изломался? Так тебе и надо...

Очень изумила девиц такая ее храбрость.

Когда доктор, сделав Ваське перевязку, уехал, девицы вернулись в комнату своего палача.

Васька лежал, закрыв глаза, и, не открывая их, сказал:

— Опять вы пришли...

— Чай, нам жалко тебя, Василь Мироныч...

— Разве мы тебя не любим?

— Вспомни, как ты меня...

Они говорили не громко, но внушительно, и, окружив его постель, смотрели в его серое лицо злыми и радостными глазами. Он тоже смотрел на них, и никогда раньше в его глазах не выражалось так много неудовлетворенного, ненасытного голода, — того непонятного голода, который всегда блестел в них.

— Девки... смотрите! Встану я...

— А, может, Бог даст, не встанешь... — перебила его Лида.

Васька плотно сжал губы и замолчал.

— Которая ножка-то болит? — ласково спросила одна из девиц, наклоняясь к нему, — лицо у нее было бледно и зубы оскалены. — Эта, что ли?

И схватив Ваську за больную ногу, она с силой дернула ее к себе.

Васька щелкнул зубами и зарычал. Левая рука у него тоже была разбита, он взмахнул правой и, желая ударить девицу, ударил себя по животу.

Взрыв смеха раздался вокруг него.

— Девки! — ревел он, страшно вращая глазами. — Берегись!.. убивать буду!..

Но они прыгали вокруг его кровати и щипали, рвали его за волосы, плевали в лицо ему, дергали за больную ногу. Их глаза горели, они смеялись, ругались, рычали, как собаки, их издевательства над ним принимали невыразимо гадкий характер. Они впали в упоение местью, дошли в ней до бешенства. Все в белом, полуодетые, разгоряченные толкотней, они были чудовищно страшны.

Васька рычал, размахивая правой рукой; хозяйка, стоя у двери, выла диким голосом:

— Будет! Бросьте... полицию позову! Убьете вы... батюшки! ба-а-тюшки!

Но они не слушали ее. Он истязал их годами, они возмещали ему минуты и торопились...

Вдруг среди шума и воя этой оргии раздался густой, умоляющий голос:

— Девушки! Будет уж... Девушки, пожалейте... Ведь он тоже... тоже ведь... больно ему! Милые! Христа ради... Милые...

На девиц этот голос подействовал, как струя холодной воды: они испуганно и быстро отошли от Васьки.

Говорила Аксинья: она стояла у окна и вся дрожала и в пояс кланялась им, то прижимая руки к животу, то нелепо простирая их вперед.

Мучительницы послушались товарки и оставили ее одну с истерзанным палачом. Она стала за ним ухаживать со своей прямоотой и простодушием, видимо, не сознавая, что совершает высокий, истинно христианский подвиг любви. Место в больнице для Васьки не очищалось, и Аксинья несколько дней исполняла добровольно обязанности сиделки.

Если она не понимала высоты своей добродетели, то понял это Васька. Он однажды подозвал ее и предложил ей обвенчаться. Он признался, что у него есть шестьсот рублей, сказал, что будет искать с конки за увечье, и предложил Аксинье ехать в Самару или Симбирск и там открыть «свое заведение».

Аксинья хохочет до упаду на предложение обвенчаться. Возрождение Васьки идет вперед. Через день он уже не хочет открывать заведение, а мечтает о лавочке, о торговле. Аксинья одобряет это новое решение, но идти с Васькой не желает. Сначала она ему говорит: «Ты завезешь меня, да и убьешь где-нибудь. Ведь ты мучитель известный», и потом: «Чтобы с тобой жить, — нет! боюсь я тебя... очень уж ты злодей!» Напрасно Васька силится доказать ей, что это не совсем так. «Думаешь, — говорит он, — легко, если злодей?», и далее: «Ну, злодей, — так разве весь человек в этом?» (Совершенно верно, скажем в скобках, но автору следовало показать это раньше, хотя одной маленькой черточкой.)

Аксинья не сдается на просьбы. Наконец, Ваське вышло место в больнице.

Ваську осторожно свели сверху в кухню, и там он увидел всех девиц, столпившихся у двери в комнату.

Лицо его перекосилось, однако он ничего не сказал им. Они смотрели на него сурово и серьезно, но по их глазам нельзя было бы определить, что они думают при виде Васьки. Аксинья с хозяйкой надевали на него пальто, и все в кухне тяжело и хмуро молчали.

— Прощайте! — вдруг сказал Васька, наклонив голову и не глядя на девиц. — Про... прощайте!

Некоторые из них молча поклонились ему, но он не видел этого; а Лида спокойно сказала:

— Прощай, Василий Мироныч...

— Прощайте... да..

Фельдшер и больничный служитель взяли его под мышки и, подняв с лавки, повели к двери. Но он опять поворотился к девицам:

— Прощайте... был я... точно что...

Еще два или три голоса сказали ему:

— Прощай, Василий...

— Ничего не поделаешь! — тряхнул он головой, и на лице его явилось что-то удивительно не подходившее к нему.. — Прощайте! Христа ради... которых... которым...

— Увозят! Уве-зут его, маво милаго... — вдруг дико завывла Аксинья, грохнувшись на лавку.

Васька дрогнул и поднял голову кверху. Глаза у него страшно заблестели: он стоял, внимательно вслушиваясь в этот вой, и дрожащими губами тихо говорил:

— Вот... дура! Вот так ду-ура!

— Идите, идите! — торопился фельдшер, хмурия брови.

— Прощай, Аксинья! Приходи в больницу-то... — громко сказал Васька.

А Аксинья все выла...

— И на-кого-и-ты-это-меня по-оки-инул?..

Девицы окружили ее и смотрели тупыми глазами на ее лицо и на слезы, лившиеся из глаз ее.

А Лида, наклонясь над ней, сурово утешала ее:

— Ну, чего ты, Ксюша, ревешь-то! Ведь не умер он... Ну, пойдешь к нему... ну, вот завтра, возьми да и пойдиди!..

Эта заключительная сцена сделала бы честь любому перу. Если бы Максим Горький написал хоть одну цельную повесть той художественной формы, он был бы великим писателем. В этой сцене соблюдено чувство меры, каждая подробность — на своем месте. Тут нельзя ничего убавить и ничего прибавить. Эта глупая, но практичная Аксинья с ее причитанием, по деревенскому обряду, достигает в приведенной сцене высшей степе-

ни драматизма. Легко было испортить сцену несколькими лишними словами, но автор опускает как раз вовремя занавес.

К сожалению, таких, не испорченных ничем сцен, кроме той, о которой мы говорим, пожалуй, у Горького больше и не найдешь.

Приведенными образчиками исчерпывается все самое лучшее в произведениях Горького.

Заканчивая настоящую главу, не можем не привести еще одного места из «Васьки Красного». Приступая к описанию беды, стрящейся над Васькой, автор говорит:

У жизни есть своя мудрость, ей имя случай; она иногда награждает нас, но чаще мстит, и, как солнце каждому предмету дает тень, так мудрость жизни каждому поступку людей готовит возмездие. Это верно, это неизбежно, и всем нам надо знать и помнить это.

Мысль совершенно верная. Возмездие неизбежно, и каждому надо помнить это...

И не одним лишь палачам, как Васька, не одним лишь людям, совершающим очевидные, осязаемые злодейства, а и тем, кто не истязает, правда, безответных жертв, но кто талант, Богом ему данный, посвятит не на служение добру, правде и красоте, а на поселение смуты в сердцах, путем распространения безнравственного учения, путем отрицания всех основ общественных, путем возвеличения низшего, худшего в обществе на первую степень.

Помнить свои собственные слова надо прежде всего Максиму Горькому.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Максим Горький как романист. — «Фома Гордеев». —
Герой романа как выразитель идей Горького.*

I

Талантливые авторы маленьких рассказов нередко оказываются весьма посредственными романистами. Одно дело — дать яркий короткий очерк, в котором читатель удовольствуется чисто эскизными чертами, другое дело — создать цельное большое произведение, с последовательным развитием чувств, характеров, наконец, самой фабулы.

Неровности замысла, почти незаметные в коротком рассказе, в большом романе выступают безобразными наростами, ибо,

в зависимости от размеров произведения и неровности разрастаются с увеличением этих размеров.

Даже у гениальных художников эскизы, наброски, служащие предуготовлением к большому произведению, обещают иногда больше, чем дало само произведение. Если сравнивать, например, картину Иванова «Явление Христа народу», с множеством эскизов и этюдов к ней, вышедших из-под кисти знаменитого живописца, то легко увидеть, что, подавленный массой сырого материала, гениально трактованного им в подробностях, Иванов не мог включить его весь в свою картину и подчас выбирал не лучшие из этюдов.

Так и в изящной словесности. При обработке большого произведения приходится жертвовать иными увлекательными подробностями, чтобы не нарушить цельности, единства и соразмерности всей картины.

Даже такой высокоталантливый бытописатель, как Ги де Мопассан, доходивший до совершенства в своих маленьких рассказах, — в своих романах не сумел сравняться с высотой своих же рассказов. Хотя романы его, сами по себе, без сравнения взятые, обличают в авторе недюжинное дарование, но не выдерживают параллели с его мелкими вещами.

Еще ярче проявилось в Максиме Горьком то положение, что быть автором талантливых рассказов не значит быть способным дать большой роман.

Романов Максим Горький дал два: «Фома Гордеев» и «Трое». Сам он их романами не называет. Они помещены в 4 и 5 томах его «Рассказов», но по своей величине (свыше 20 печатных листов) и по тому, что произведения эти посвящены развитию одной и той же истории одного лица, они должны быть причислены к тому, что мы привыкли называть «романом». Новые писатели вообще избегают старых определений старой риторики. Издавая сценическое произведение, они не называют его «трагедией», «драмой», «комедией», а непременно «пьесой», «сценами», а иногда декадентскими именами «скорбь на трех днях» (вместо действий), «поэма в лицах в пяти настроениях» и т. п.

Это очень удобно. Ответ с себя снимаешь. Скажут такому автору: «У вас ни завязки, ни развязки, ни борьбы в вашем театральном сочинении нет». А он и прав, — возражает: «Я же не драму писал, а сцены».

Не в названиях, разумеется, сила. Пусть «Фома Гордеев» и «Трое» будут называться не романами, а просто длинными про-

изведениями, большими рассказами, но для читателя они, по своим размерам и содержанию, подходят под понятие того, что мы привыкли именовать, быть может, и ошибочно, романами.

Максим Горький как романист неизмеримо ниже Максима Горького как рассказчика. Его романы изумительно скучны. Прочитать их от строки до строки — подвиг, жестокий опыт над собственным терпением. Скука эта не есть субъективное впечатление пишущего настоящие строки. Она непременно является у всякого непредубежденного, во что бы то ни стало, в пользу Горького, читателя. Происходит она не от малой интересности сюжета. Всякий сюжет может быть интересен, если он разработан надлежащим образом. Происходит она и не от того, что романы Горького были бездарно написаны. Нет, в них есть страницы, которые, будучи отдельно взяты, написаны ярко и талантливо, не хуже его мелких рассказов. Скука проистекает от того, что все эти удавшиеся и не удавшиеся автору сцены, сопоставленные в одно целое, ничего цельного не представляют. Скука проистекает от того, что из всего этого нагромождения материала ровно ничего не выйдет, что продолжать в том же порядке автор мог бы на пространстве не только двадцати, а хоть двадцати тысяч листов, от сознания, что такая-то сцена, очень подробно изложенная, совсем не пропорциональна другой, скомканной, между тем как вторая играет гораздо более важную роль в экономии повествования, чем первая.

Романами своими Максим Горький не сказал нового, по сравнению со своими предшествующими рассказами. Идеи его упорно все те же. Те же тезисы отрицания и порицания строя общественного, та же проповедь его разрушения.

Если бы романы Горького не служили к вящему подтверждению той проповеди, которую мы в Горьком отметили, то можно было бы и вовсе о них умолчать. Для полноты картины упомянем о них, ибо и они дают материал для подлежащего нам конечного вывода о занимающем нас писателе. Из романов остановимся на одном «Фоме Гордееве». Он все-таки стройнее и складнее, чем «Трое». Разбирать же оба романа, — сходственные не только по слабости замысла, неровности исполнения, неудачности конца, но и по тому обстоятельству, что в обоих произведениях выведены три мальчика, вырастающие на глазах читателя во взрослых людей, — значило бы без пользы для нашей задачи отнимать у читателя его время.

II

«Фома Гордеев» посвящен Горьким Антону Павловичу Чехову. Это показывает, что сам автор придавал своему крупному (по размерам) произведению особое значение. Для нас посвящение это имеет особый смысл, и не грезившийся автору. Приблизительно такой: «Вы, Антон Павлович, писали хорошие, прелестные рассказы, создавшие вам славу; вы взялись за произведения больших размеров и стали сами на себя не похожи; мое первое произведение, в котором я иду под гору, в отношении талантливости, — посвящаю вам».

Роман озаглавлен по имени и фамилии главного лица. Обычай этот не нов. С таким заглавием приобрели славу «Евгений Онегин» Пушкина, «Рудин» Тургенева, «Анна Каренина» Толстого. Много было таких названий и у иностранных писателей. Заглавие такое ничего не говорит читателю, взявшемуся за книгу, но по прочтении произведения у читателя навсегда должен остаться в голове тип центрального лица романа, — тип, который уже не смешаешь с другим. Читателю было бы столь же странно переименовать «Евгения Онегина» во «Всеволода Ладогина», как перестать называть своего старого бывшего знакомого Иваном Ивановичем и перекрестить его в Петра Петровича. Имя как бы срастается с его носителем, но для этого необходимо, чтобы носитель имени в литературном произведении был типом. Из своих шести романов («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь») Тургенев назвал именем героя лишь первый. Этим проявил он великое чутье тонкого художника. Действительно, ни Лаврецкий, ни Елена в «Накануне», ни столь новый для своего времени Базаров, ни герои «Дыма» и «Нови» не представляют такого законченного, совершенного типа, как Рудин.

Представляет ли такой завершенный тип Фома Гордеев? Он даже вовсе не тип, не только что завершенный. Сделавшись усердным читателем Горького, автор настоящего исследования не раз — приходится в том покаяться — мысленно называл Фому Гордеева Ильей («Трое»). Сама история Фомы Гордеева тоже не имеет ничего столь необычайного, чтобы все повествование наречь его именем. Но Горький, избрав такое заглавие, достиг цели. «Фома Гордеев» попал на уста и нашелся даже какой-то переделыватель этого несообразного повествования в драму. К сожалению, с этим фабрикантом нам не удалось ознакомиться, но и так можно сказать, что именно элементов драматических в «Фоме Гордееве» вовсе нет. Это — тягучий пере-

сказ неинтересной личной жизни Фомы, рассказ без строго обдуманного плана, одобренный в конце пьяною, но задорною проповедью опять-таки босяцкого катехизиса.

Когда вы начинаете читать «Фому Гордеева», то живость отдельных картин вас заинтересовывает; вы начинаете думать, что там, дальше, кроется настоящий роман. Но страница мелькает за страницей, вы уже треть прочитали. Фома вырос, лишился отца, пред вами мелькали лица, разговоры, но вы не подвинулись ни на шаг и вами начинает овладевать томление духа и сознание, вполне подтверждающееся, что и до конца ровно ничего нового не будет.

Богатырски сложенный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют, даже не могут задумываться над выбором средств и помимо своего желания не знают иного закона. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, — но совесть — это сила, непобедимая лишь для слабых духом; сильные же быстро овладевают ею и поработщают ее своим желаниям, ибо они бессознательно чувствуют, что если дать ей простор и свободу — она изломает жизнь. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же здорово и сильно живут под ее началом, как жили и без нее...

В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище — «Шалый», ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а, то и дело мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в сторону от навивы, главной цели существования этого человека. Было как бы трое Гордеевых, или — в теле Игната были как бы три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда Игнат жил, подчиняясь ее велениям, — тогда он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею, и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и настраивая на ней сети, которыми ловил золото: он скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; грабил, обманывал, иногда не замечал этого, иногда — замечал, и, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми им и в безумии своей жажды денег возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле слова, и даже порой обнаруживал непонятное, но искреннее равнодушие к своему имуществу. Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую сорокапятисаженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:

— Так ее... ну-ка еще... жми-давай!.. ну, еще разок!.. рры!

— Что, Игнат, — спросил его кум Маякин, подходя к нему, — выжи-мает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?

— Ничего! Еще сто наживем... а ты гляди, как работает Волга-то! а? Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом... гляди, гляди! Вот-те и «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала... Ну, справим, что ли, поминки ей?

Баржу раздавило на щепки. Игнат с кумом, сидя в трактире на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».

— Жалко посуду-то, Игнат? — спросил Маякин.

— Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла... Чай, не руку мне оторвало...

— Все-таки...

— Что— все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось... вперед наука. А вот когда у меня «Волгарь» горел — жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, да темной ночью, этаким кострище пылает, а? Большущий пароходика был...

— Будто тоже не пожалел?

— Пароход? Пароход... жалко было, точно... Ну, да ведь это глупость одна — жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их — пароходы горят... и хоть все сгори — плевать! Горела бы душа к работе... и все снова воздвигнется... так ли?

— Н-да, — сказал Маякин, усмехаясь. — Это ты крепкие слова говоришь... И кто так говорит — его хоть догола раздень, он все богат будет...

Относись так философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки: он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:

— Проваливай! Еще работать можешь... поди, вон, дворнику моему помоги навоз убрать, — семишник дам.

В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно, — он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг, — обыкновенно это случилось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, — Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в исступление и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, он рвет их и бес-силен разорвать. Всклооченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных народных песен и плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.

О его кутежах в городе создавались легенды, его все строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой, еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упрёки жены, смиренный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату, и там запирался. По несколько часов кряду он выстаивал на коленях перед образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной...

— Господи! Ты видишь... — глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони рук.

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал себе эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили ничем в это время, даже избегали попадаться на глаза ему... Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил и смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.

Эта характеристика едва ли не лучшая во всем романе. В ней нет нового. Такой тип купца, вышедшего в люди не из чего, хорошо знаком каждому, но характерные черты Игната умело сгруппированы.

Игнату не хватало сына. Жена родила ему четырех дочерей, умерших в детстве. Затем и сама она скончалась. Игнат горевать не стал. Он выбрал себе жену — дочь казака-молочанина. Красавица-жена оказалась существом странным. Она не выражала никаких желаний, ее ничто не радовало, ничто не развлекало. Она жила с какой-то затаенной и, видимо, недоброй думой в голове. Мужу не перечила, но когда он погрозился ее прибить, дала ему отпор: «Ежели тронешь, — больше ко мне не подходи! Не допущу до себя».

Эта странная женщина родила Игнату сына Фому и умерла родильной горячкой.

Вечно занятый Игнат, без женщины в доме, отдал Фому на воспитание куму Маякину, перед умом которого поклонялся. Маякина все уважали в городе, хотя за ним водились и не совсем светлые дела. Он был начетчиком, отчасти лицемером, большим знатоком практической жизни. Детям своим Маякин дал воспитание. Сын, Тарас, дошел до университета, но вследствие студенческой истории попал в Сибирь, и отец от него отрекся. Дочь, Любовь, воспитывалась в пансионе. Она была сверстницей Фомы и отцы, еще при младенчестве детей, смека-

ли о возможности брака между ними и о соединении капиталов.

Семи лет от роду Фома был взят отцом домой. Соскучился по сыну Игнат. Он поселил у себя сестру Анфису. Фома привязался к тетке, тешившей его сказками. Игнат горячо любил сына.

Пора было наконец отдавать Фому учиться. Отец решил взять его с собою в путешествие по делам, по Волге, вниз до Астрахани, а осенью поместить в школу.

Путешествие с отцом кое-чем обогатило ум Фомы.

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри знакомых ему сказок. Порой он начинал расспрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы: ничего интересного и понятного ему не было в них, и не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу:

— Тетя Анфиса знает лучше тебя...

— Что она знает? — спросил Игнат, усмехаясь.

— Все, — убежденно ответил мальчик.

Чудесные царства не являлись пред ним. Но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие поменьше, но и люди, и дома, и церкви — все в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый.

— Вот завтра приедем в Астрахань... — сказал однажды Игнат.

— А она... такая же, как все?

— Ну, известно... а то какая же?

— А за ней что?

— Море... Каспийское море называется.

— А что в нем есть?

— Рыба — чудак! Что может в воде быть.

— Город-то Китеж в воде стоит...

— То... другое дело! То Китеж... в нем — одни праведники жили.

— А в море праведные города не бывают?

— Не бывают... — сказал Игнат и, помолчав, прибавил: — вода морская — горькая и пить ее нельзя...

— А за морем опять земля будет?

— Известно, чай, море-то должно края иметь... Оно как чашка...

— И опять города там?

— Опять города... а как же? Только там уж не наша земля будет, а Персидская... Видал персияшек, которые вот на ярмарке-то... шептала, урюк, фисташка?

— Видал... — ответил Фома и задумался.

Однажды он спросил отца:

— Много еще земли-то?

— Земли, брат... о-очень много!

— А на ней все одинаковое?

— То-есть что?

— Города и все...

— Ну, конечно... Все одинаково...

После многих таких разговоров мальчик стал реже и не так упорно смотреть в даль вопрошающим взглядом своих черных глаз...

Команда парохода любила его, и он любил всех этих славных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. Они мастерили ему разные рыболовные снасти, делали лодки из древесной коры, возились с ним, катали его по реке во время стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это внимания и никогда не передавал отцу того, что слышал о нем. Но однажды, в Астрахани, когда пароход грузился топливом, Фома услышал голос Петровича, машиниста:

— Приказал валить столько дров... тьфу, несообразный человек! Загрузит пароход по самую палубу, а потом орет... машину, говорит, портишь часто... масло, говорит, зря льешь...

Голос седого и сурового лоцмана отвечал:

— А все жадность его непомерная... дешевле здесь топливо, вот он и старается... Жаден, дьявол!

— Жаден...

Повторенное несколько раз кряду слово запало в памяти Фомы, и вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его:

— Тятя!

— Ась?

— Ты жадный?

На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с машинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули.

Игнат прогнал своих хулителей, чем Фома остался доволен. Ему понравилось, что отец может всем так распоряжаться, но люди на пароходе отшатнулись от хозяйского сына.

Фоме довелось быть свидетелем того, как отец наказал своего рабочего за смелые слова.

Фома видел, как отец взмахнул рукой... раздался какой-то лязг, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать... На белую кору березовых дров капала кровь из его разбитого лица, он вытирал ее рукавом рубахи, смотрел на рукав и, вздыхая, молчал. А когда он шел с носилками мимо Фомы, на лице его, у переносья, дрожали две большие мутные слезы, и мальчик видел их...

Обедая с отцом, он был задумчив и посматривал на Игната с боязнью в глазах.

— Ты что хмуришься? — ласково спросил его отец.

— Так...

— Нездоровится, может?

— Нету...

— То-то... Ты, коли что, скажи...

— Сильный ты... — вдруг задумчиво проговорил мальчик.

— Я-то? Ничего... Бог не обидел и силой.

— Ка-ак ты его давеча треснул! — тихо воскликнул мальчик, опуская голову.

Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его остановилась, удержанная восклицанием сына; он вопросительно взглянул на его склоненную голову и спросил:

— Это... Ефимку, что ли?

— Да... до крови... и как шел он потом, так плакал... — вполголоса рассказывал мальчик.

— Мм... — промычал Игнат, пережевывая кусок. — Что же... жалеешь ты его?

— Жалко! — со слезами в голосе сказал Фома.

— Н-да... вишь ты что... — сказал Игнат.

Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заговорил внушительно и строго:

— Жалеть его — не за что. Зря орал, ну и получил, сколько следовало... Я его знаю: он — парень хороший, усердный, здоровый и — неглуп. А рассуждать — не его дело: рассуждать я могу, потому что я — хозяин. Это непросто, хозяином-то быть... От зуботычины он не помрет, а умнее будет... Так-то... Эх, Фома! Младенец ты... и ничего не понимаешь... а надо мне учить тебя жить-то... Может, уже немного осталось веку моего на земле...

По возвращении из путешествия Фому отдали в школу.

III

Он учился не ретиво. Сразу у него нашлись два товарища — сын богатого купца, Смолин, и сын сторожа в суде, Ежов. Потом оба они сыграли роль в жизни Фомы. Смолин был деловитый, здоровый мальчик. Ежов — тщедушный, юркий, вкусивший нужды и умеющий уже брать от жизни возможные выгоды. Он помогает ленивому Фоме учиться, но требует за это гостинцев. Среди детских игр мальчишки любили делать набеги на чужие сады и воровать яблоки. Однажды Фома, уже пятнадцати лет от роду, попался хозяину сада, отставному штабс-капитану. Тот принял его строго, но, узнав, чей он сын, переменял тон и позволил ему уходить. Фома осмелел и заявил штабс-капитану, что тот боится его отца. Тогда штабс-капитан пожаловался Игнату.

Тому, по выслушании откровенного рассказа сына, понравилась удаль Фомы, а еще более его твердое заявление, что ничего подобного не повторится.

Товарищи Фома, Смолин и Ежов, пошли из уездного училища в гимназию, а Фома, просидев пять лет,

...с грехом пополам окончил четыре класса и вышел из него бравым, черноволосым парнем, со смуглым лицом, густыми бровями и темным пухом над верхней губой. Большие темные глаза его смотрели задумчиво и наивно, и губы были по-детски полуоткрыты; но когда он встречал противоречие своему желанию или что-нибудь другое раздражало его, — зрачки его глаз расширялись, губы складывались плотно, и все лицо принимало выражение упрямое и решительное... Крестный, скептически усмехаясь, говорил про него:

— Для баб ты, Фома, слаще меда будешь... но пока большого разума в тебе не видать...

Игнат вздыхал при этих словах.

— Ты бы, кум, скорее пускал в оборот сына-то...

— А вот погоди...

— Чего годить? Лета два, три повертится на Волге, да и под венец его... Вон Любовь-то какая у меня...

Любовь Маякина в эту пору училась в пятом классе какого-то пансиона. Фома часто встречал ее на улице, причем она всегда снисходительно кивала ему русой головкой в щегольской шапочке. Она нравилась Фоме, но ее розовые щеки, веселые карие глаза и пунцовые губы не могли сгладить у Фомы обидного впечатления от ее снисходительных кивков ему. Она была знакома с какими-то гимназистами, и хотя между ними был Ежов, старый товарищ, но Фому не влекло к ним, и в их компании он чувствовал себя стесненным. Ему казалось, что все они хвастаются перед ним своей ученостью и смеются над его невежеством. Собираясь у Любви, они читали какие-то книжки, и если он заставлял их за чтением или крикливым спором, — они умолкали при виде его. Все это отталкивало его от них. Однажды, когда он сидел у Маякиных, Люба позвала его гулять в сад и там, идя рядом с ним, спросила его с гримаской на лице:

— Почему ты такой бука... никогда ни о чем не говоришь?

— О чем мне говорить, ежели я ничего не знаю! — просто сказал Фома.

— Учись... читай книги...

— Не хочется...

— А вот гимназисты — все знают и обо всем умеют говорить... Ежов например...

— Знаю я Ежова... болтушка...

— Просто ты завидуешь ему... Он очень умный... да. Вот он кончит гимназию, — поедет в Москву учиться в университет.

— Ну, так что, — равнодушно сказал Фома.

— А ты так и останешься неучем...

— Ну, и пускай!

— Как это хорошо! — иронически воскликнула Люба.

— Я и без науки на своем месте буду, — насмешливо сказал Фома... —

И всякому ученому нос утру... пусть голодные учатся... а мне не надо...

— Фи, какой ты глупый, злой... гадкий! — презрительно сказала девушка и ушла, оставив его одного в саду. Он угрюмо и обиженно посмот-

рел вслед ей, повел бровями, и опустив голову, медленно направился вглубь сада.

Уже он начал познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаний. Часто, летними вечерами, когда все на земле окрашивается в огненные, возбуждающие воображение краски заката, — в грудь его проникало смутное томление о чем-то непонятном ему. Сидя где-нибудь в темном уголке сада или лежа в постели, он уже вызывал пред собой образы сказочных царевен, — они являлись с лицами Любы и других знакомых ему барышень, бесшумно плавали перед ним в вечернем сумраке и смотрели в глаза его загадочными взорами. Порой эти видения возбуждали в нем прилив мощной энергии и как бы опьяняли его, — он вставал и, расправляя плечи, полной грудью пил душистый воздух; но иногда те же видения навевали на него грустное чувство, — ему хотелось плакать, но было стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал.

Отец терпеливо и осторожно вводил его в круг торговых дел, брал с собой на биржу, рассказывал о взятых поставках и подрядах, о своих сотоварищах, описывал ему, как они «вышли в люди», какие имеют состояния теперь, каковы их характеры. Фома быстро усвоил дело, относясь ко всему серьезно и вдумчиво.

— Расцветает наш репей алым маком!.. — усмехался Маякин, подмигивая Игнату.

И все-таки, даже когда Фоме минуло девятнадцать лет, — было в нем что-то детское, наивное, отличавшее его от сверстников. Они смеялись над ним, считая его глупым; он держался в стороне от них, обиженный их отношением к нему. А отцу и Маякину, которые не спускали с него глаз, эта неопределенность характера Фомы внушала серьезные опасения.

— Не пойму я его! — сокрушенно говорил Игнат. — Не кутит он, по бабам, будто, не шляется, ко мне, к тебе — почтителен, всему внимает — красная девка, не парень, и, кажись, не глуп?

— Особой глупости не видать, — говорил Маякин.

— Поди ж ты! Как будто ждет чего-то... как пелена какая-то на глазах у него... Мать его, покойница, вот так же ощупью ходила по земле. Ведь вон Африканка Смолин на два года старше — а поди-ка ты какой! Тебе даже и понять трудно, кто кому теперь у них голова — он отцу, или отец ему? Учиться хочет ехать на фабрику какую-то... ругается: эх, говорит, плохо вы меня, папаша, учили... Н-да! А мой — ничего из себя не объявляет... О, Господи!

— Ты вот что, — советовал Маякин, — ты сунь его с головой в какое-нибудь горячее дело! Право! Золото огнем пробуют... Увидим, какие в нем склонности, ежели пустим его на свободу... Ты отправь его на Каму-то... одного...

— Разве что попробовать?

— Ну, напортит... потеряешь сколько-нибудь... зато будем знать, что он в себе носит?

— И впрямь, — отправлю-ка я его, — решил Игнат.

Теперь Фоме должна была учить уже сама жизнь. Он отправился по поручению отца с двумя баржами хлеба на Каму. Бар-

жи вел пароход Гордеева, на котором командовал тот самый Ефим, чье наказание так огорчило Фома в детстве.

Фома развертывается в путешествии. Он почувствовал себя хозяином. Земский приемщик хлеба просит скинуть сколько-нибудь на утку и телеграфировать о том отцу; при этом он неодобрительно отзывается об Игнате. Фома скидывает на утку своей властью триста пудов и обрывает речи приемщика об отце.

Во время своей самостоятельной поездки Фома изведal впервые и женскую ласку.

Роман Фомы несложен. Ему понравилась красивая работница, которая во время ссыпки хлеба сидела в стороне и чинила мешки.

Сердце Фомы учащенно билось. Будучи еще чистым физически, он уже знал из разговоров тайны интимных отношений мужчины к женщине. Он знал их под грубыми и зазорными именами, эти имена возбуждали в нем неприятное, жгучее любопытство и стыд; его воображение упорно работало, но все-таки он не мог представить себе всего этого в образах, понятных ему. И в душе он не верил, что отношения мужчины к женщине так просты и грубы, как о них рассказывают. Когда же, смеясь над ним, его уверяли, что они именно таковы и не могут быть иными, он глуповато и смущенно улыбался, но все-таки думал, что не для всех людей сношения с женщиной обязательны в такой постыдной форме, и что, наверное, есть что-нибудь более чистое, менее грубое и обидное для человека.

Теперь, любуясь на черноглазую работницу, Фома ясно ощущал грубое влечение к ней, — ему было стыдно и страшно чего-то. А Ефим, стоя рядом, увещаваяще говорил ему:

— Вот ты теперь смотришь на бабу... так что не могу я молчать... Она тебе неизвестна, но как она — подмигивает, то ты по молодости твоей такого натворишь тут, при моем характере, что мы отсюда пешком по берегу пойдем... да еще ладно, ежели у нас хоть штаны целы останутся...

— Что тебе надо? — спросил Фома, красный от смущения.

— Мне — ничего не надо... А тебе — надо меня слушать... По бабьим делам я вполне могу быть учителем... С бабой надо очень просто поступать — бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, потом пару пива поставь и опосля всего — деньгами дай двугривенный. За эту цену она тебе всю свою любовь окажет как нельзя лучше.

— Врешь ты все... — тихо сказал Фома.

— Я-то вру? Как же я могу врать, ежели я всю эту политику, может, до ста раз проделывал? Так что — ты поручи мне с ней дело вести... а? Я тебе сейчас с ней знакомство скручу...

— Хорошо... — сказал Фома, чувствуя, что ему тяжело дышать и что-то давит ему горло...

— Ну, вот... вечером я ее и приведу...

Одобрительно усмехнувшись в лицо Фомы, Ефим ушел.

Вплоть до вечера Фома ходил, как отуманенный, не замечая почти тельных и заискивающих взглядов, которым смотрели на него мужики, настроенные приемщиком. Ему было жутко, он чувствовал себя виноватым перед кем-то, и всем, кто обращался к нему, отвечал приниженно-ласково, точно извинялся...

Так оно и случилось, как по писанному. Ефим привел женщину. Фома переконфузился, а когда достиг цели, то сам себе стал противен и начал гнать от себя Пелагею. Тотчас же после того они столковались и Фома взял ее себе в спутницы. Ефим пробовал возражать, но Фома прикрикнул на него по-хозяйски, пригрозил увольнением, и сделал по-своему.

Рассуждая о первой любви Фомы, Максим Горький с напускным легкомыслием высказывает: «Любовь к женщинам всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она дает только страдания — ив них всегда есть много ценного. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь — как огонь для железа, которое хочет быть сталью».

Не знаем, существует ли у железа такое желание, но Фома Гордеев в этом моменте повествования ни больного душою из себя не представляет, ни твердости железа собою не изображает. Фома — просто физически здоровый парень, в расцвете жизненных сил, уступающий требованиям одного из могущественнейших инстинктов и сделавший очень плохой выбор заурядной бабы для своих, будто бы любовных первых восторгов.

Путешествие Фомы было прервано телеграммой его крестного отца, Маякина, который вызывал его немедленно домой.

Маякин вызвал Фому ввиду того, что старый Гордеев под влиянием местной дамы-благотворительницы пожертвовал 75 000 рублей на устройство в городе ночлежного дома и народной библиотеки с читальней.

Фома, услышав об этом, подумал, что барыня — любовница отца, чем немало насмешил Маякина. София Павловна, или как ее называет Маякин, «Сонька» — Медынская, жена богача-архитектора. Она взяла в руки Игната Гордеева не своей красотой, а умением возбудить в нем честолюбие.

Фоме довелось тотчас по возвращении домой познакомиться с Медынской, которую он застал у отца. Женщина эта впоследствии сыграла в жизни Фомы главную и решающую роль.

Вскоре по возвращении Фомы отец его скоропостижно умер, и Фома стал во главе миллионного состояния.

Все, нами изложенное, занимает четвертую часть романа. Собственно самый роман еще не начинался. Фома был ребен-

ком, Фома сделал только первый опыт самостоятельной работы и деятельности.

Образ Фомы неясен настолько же, насколько определен образ его отца. Мы узнаем, что Фома — красивый, статный, физически здоровый, сильный молодой человек. Автор устами Игната Гордеева приписывает Фоме отсутствие воли и апатию, но некоторые действия Фомы не сходятся с таким определением. Мальчиком-подростком в приключении с кражей яблок у штабс-капитана, юношей — хозяином парохода в сцене подарка хлеба на утечку, в строгом обращении с Ефимом, — Фома не безволен.

Фома вырос без затей, как трава в поле. Никакого воспитания он не получил и в его младенческой, отроческой и юношеской жизни не случилось ничего такого, что могло бы служить поворотным пунктом при образовании его характера. Он не перенес никаких чрезвычайных потрясений, не имел ни выдающегося горя, ни выдающейся радости. Его лень к учению объясняется не столько его апатией, наличием которой при его здоровой и отроческой резвости должна быть отвергнута, сколько тем, что у него, богатого купеческого сына, сразу нашелся печальник и пособник за плату, Ежов.

Фома имел те удобства, которые дает богатство, но нельзя сказать, чтобы он был избалован. Отец говорит с ним вдумчиво и строго, хотя с любовью.

Фома — самый заурядный, здоровый парень. Незаурядного в нем разве то, что мать его была странной женщиной, быть может, истеричкой, хотя этого автор нам не показывает вполне ясно.

Фома, каким он является в экспозиции романа, совсем не годится в центральные лица повествования. Сделать его интересным, предназначая ему его будущую роль, в которой и заключается гвоздь романа, из-за которой и весь огород городился, — Максим Горький не озаботился. Он потратил десятки страниц на разные подробности. Они ему удавались, и он, не стесняясь ни местом, ни строгими рамками заранее обдуманного плана, шел по течению своей прихоти рассказчика и рисовал картинку за картинкой, не тревожа себя вопросом о том, на что именно нужны эти картинки в истории Фомы Гордеева.

Растратив бесплодно свое умение живописать некоторые сцены, автор переходит к изложению самостоятельной жизни Фомы Гордеева.

Тут уже становится час от часу не легче.

IV

Фома начал себя проявлять с похорон отца. К ужасу распорядителя похорон, своего крестного отца Маякина, и к великому негодованию гостей, Фома при закуске на поминальном обеде громко сказал: «Чего они жрут здесь? В трактир пришли, что ли?» Гости обиделись, а Фома не пошел обедать.

Эта выходка, а также и трагический вопрос Фомы о том, «зачем умирать надо?» — совсем не идут здоровому парню. Никогда обыкновенный купеческий сын, выросший в заветах истового русского хлебосольтва, не дойдет до такой шутки. Неоткуда родиться в нем этому осуждению обычаев, которые не при нем повелись, и о которых он знал с детства. Чтобы критиковать обычный ход жизни, надо стать выше его или силою развития и просвещения, или необычайным умом. Ни тем, ни другим автор не снабдил Фому и, следовательно, приданные им Фоме выходки совершенно произвольно ему навязаны и пригодны лишь затем, чтобы потом развести заключительные сцены романа.

Фома остался под руководством и попечением Маякина. Хитрый старик учил его уму-разуму житейскому, но-учение шло ученику не впрок. На бирже он прослыл «гордецом, молокососом»; к торговле у него охоты не было и она ему не нравилась. К крестному отцу он относился двойственно. Он не мог отрицать его крупного ума, но правила Маякина его возмущали.

Зато он приобрел новое чувство. Он безгранично влюбился в Медынскую. Ему, как преемнику отца, пришлось быть и на закладке дома, основанного на гордеевские капиталы, и на заседании комитета Медынской. Молодая застенчивость душила его. Он не умел ничего ответить на приветливые речи Медынской, а с народного обеда, по случаю закладки дома, просто сбежал.

Но у Медынской он стал бывать.

Отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было заставить дома одну; около нее всегда, как мухи над куском сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он молчал и смотрел на них, полный злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной, по которой ужасно трудно было ходить, ничего не задевая и не опрокидывая, — сидел и угрюмо наблюдал.

Пред ним по мягким коврам бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змеи, обходили разнообразные столики, стулья, экраны, подставки для цветов — целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной и для них, и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов, и все эти вещи цеплялись за его сюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнувшийся, чтобы кинуть спасательный круг, на круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Все это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод.

Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что жаловалась ему на всех:

— Вы не поверите, как я рада видеть вас.

Изгибаясь, как кошка, она заглядывала ему в глаза своим томным взглядом, в котором теперь вспыхивало что-то жадное.

— Я так люблю говорить с вами, — музыкально растягивая слова, пела она. — Все эти мне надоели... такие они скучные, обычные, изношенные. А вы вот — свежий, искренний. Ведь вы их тоже не любите?

— Терпеть не могу! — твердо ответил Фома.

— А меня? — тихонько спрашивала она.

Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил:

— Который раз вы это спрашиваете...

— Вам трудно сказать?

— Не трудно... да зачем?

— Мне нужно знать это...

— Играете вы со мной... — угрюмо говорил Фома.

А она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала:

— Как играю? Что значит играть?

И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей.

— Люблю я вас... люблю! Разве это можно — не любить вас? — горячо говорил он, и тотчас же пониженным голосом с грустью добавлял: — Да ведь вам это не нужно!...

— Вот вы и сказали! — удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. — Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите... молодо, цельно... Хотите поцеловать мне руку?

Он молча схватывал ее белую, тонкую ручку и, осторожно склоняясь к ней, горячо и долго целовал ее. Она вырвала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим всегда смущавшим Фому блеском в глазах, она рассматривала его, как что-то редкое и крайне любопытное, и говорила:

— Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести... Вы знаете, — ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, — целое племя, с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела... Вот вы, например; ведь вы драгоценный камень, и если вас отшлифовать... о!

Когда она говорила: у вас, по-вашему, по-купчески, — Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было и грустно, и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать! Но ее красота и эта хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изувечить ее, а спокойный, ласковый голос и ясный, но как бы подстерегающий взгляд охлаждал его порывы; ему казалось, что она смотрит прямо в душу его и понимает все думы... Эти взрывы чувства были редки, вообще же юноша относился к Медынской с обожанием, удивляясь всему в ней, — ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним.

Такие отношения установились у них быстро; в две, три встречи Медынская вполне овладела юношей и начала медленно пытаться его. Ей, должно быть, нравилась власть над здоровым, сильным парнем, нравилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом, и она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти. Он уходил от нее полубольной от возбуждения и уносил с собой обиду на нее и злобу на себя, много тяжелых и опьянявших его чувств. А через два дня снова являлся для пытки.

Отношения Фомы к Медынской не могли укрыться от его крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его:

— Фома! Ты почаще голову цупай, чтоб не потерять тебе ее случаем.

— Это вы насчет чего? — спросил Фома.

— А насчет Соньки... больно уж часто ты к ней ходишь.

— Что вам? — грубовато сказал Фома. — И какая она для вас Сонька?

— Мне ничего... меня не убудет от того, что тебя обложут. А что ее Сонькой зовут — это всем известно... И что она любит чужими руками жар загребать — тоже все знают.

— Она умная, — твердо объявил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. — Образованная...

— Умная, это верно! Образованная... Она тебя образует... Особенно шалопаи, которые вокруг нее...

— Не шалопаи, а... тоже умные люди! — злобно возразил Фома, уже сам себе противореча. — И я от них учусь... Я что? Ни в дудку, ни поплясать... Чему меня учили? А там обо всем говорят... и всякий свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте.

— Фу-у! Ка-ак ты говорить научился! То есть, как град по крыше, сердито! Ну, ладно, будь похож на человека... только для этого безопаснее в трактир ходить; там человеки все же лучше Софьиных... А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который к чему... Например — Софья... Что она изображает? Насекомая для украшения природы и больше ничего!

Возмущенный до глубины души, Фома стиснул зубы и ушел от Маякина, еще глубже засунув руки в карманы.

Медынская, эта «насекомая для украшения природы», недостаточно разработана автором, хотя она того заслуживала. Это, правда, довольно часто встречающийся тип провинциальной скушающей барышни, которая иногда занимается делами благотворения, иногда любительскими спектаклями, иногда спиритизмом, иногда всем этим вместе или ничем из этого, но непременно ищет любовных утех, сначала в виде легкого флирта, а затем и более серьезных повреждений домашнего очага. Такие барыни всегда непоняты мужем и считают мужа стоящим ниже себя, им чего-то не хватает в жизни, их сердце жаждет «чистого чувства» и, перевешивая его с одного предмета на другой, они не знают, кого они любят, свое ли чувство или реальное воплощение своих грез в виде Ильи, Фомы, Ивана и т. д. Предметами этих барынь бывают все и каждый, от гимназиста до старика, красивые, некрасивые, умные и глупые. Они любят говорить о своих новых чувствах со своими прежними поклонниками и любят туманно и недосказанно каяться в своих прегрешениях. Тип, повторяем, обыденный и в достаточной мере отвратительный.

Маякин в беседе с Фомой закидал грязью его кумира.

Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее более доступною для крестника, и скоро Фома понял это. И как-то незаметно для себя он вдруг понял и решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо, просто сказать ей, чего он хочет от нее, — вот и все! Он даже какую-то радость ощутил при этом решении и пошел к Медынской, весело думая по дороге лишь о том, как бы получше, полочнее сказать ей то, что нужно.

Прислуга Медынской привыкла к его посещениям и на вопрос его — дома ли барыня? — громко сказала:

— Пожалуйста в гостиную... они одни там.

Он оробел немножко... но, увидав в зеркале свою статную фигуру, красиво обтянутую куртуком, и смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими, темными глазами, — приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал.

Он остановился у дверей в гостиную.

Дверь была завешана длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор из каких-то растений: нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз Фомы внутренность гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине.

Юноша кашлянул.

— Кто это? — тревожно вздрогнув, спросила женщина.

И струны вздрогнули, издав тревожный звук.

— Это я, — сказал Фома, откидывая рукой нити бисера.

— А! Но как вы тихо... Рада видеть вас... Садитесь!.. Почему так давно не были?

Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно.

— Ездил в затон, пароходы свои смотреть, — говорил Фома с преувеличенною развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке.

— Что, в полях еще много снега?

— Сколько вам угодно... Но уже здорово тает. По дорогам — вода везде...

Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новое в его улыбке, — она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились, — и Медынская опустила голову.

— Тает, — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце.

— Н-да... ручьи везде, — любуясь своими ботинками, сообщил Фома.

— Это хорошо... Весна придет...

— Уж теперь не задержит...

— Придет весна, — повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов.

— Влюбляться станут люди, — усмехнувшись, сказал Фома, и зачем-то крепко потер руки.

— Вы собираетесь? — сухо спросила Медынская.

— Мне нечего... я давно готов... влюблен уж на всю жизнь...

И Фома подвинулся к женщине, широко и смущенно улыбаясь. Она мельком взглянула на него и снова начала играть, глядя на струны и задумчиво говоря:

— Весна... Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить... Сердце полно силы... и нет в нем ничего темного...

— Софья Павловна! — тихо воскликнул Фома.

Она ласковым жестом остановила его.

— Подождите, голубчик!... Сегодня я могу сказать вам... что-то хорошее... Знаете, у человека, много прожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там... нечто давно забытое. Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы... но не утратило благоухания юности, и когда память дотронется до него... тогда на человека повеет весной... живительной свежестью утра дней... Это хорошо... хотя очень грустно.

Она еще продолжает ту же канитель туманных и туманных слов. Он прерывает ее:

— Софья Павловна! Будет уж!... Мне надо говорить... Я пришел сказать вам вот что: будет! Надо поступить прямо... открыто... Привлекали вы меня к себе сначала... а теперь вот отгораживаетесь от меня чем-то... Я не пойму, что вы говорите... У меня ум глухой... но я ведь чувствую — спрятать себя вы хотите... я ведь вижу, — понимаете вы, с чем я пришел!

Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячей и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала:

— О, перестаньте...

— Нет, уж — буду говорить!

— Я знаю, что вы хотите сказать...

— Не все вы знаете! — с угрозой сказал Фома, вставая на ноги. — А вот я все знаю про вас — все!

— Да? Тем лучше для меня... — спокойно проговорила Медынская. Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то, но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место. Лицо у нее было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, и Фома не видел их выражения. Он думал, что когда скажет ей: — я все знаю про вас, — она испугается, ей будет стыдно и, смущенная, она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло; он сам смутился пред ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжать свою речь, и не находил их.

— Тем лучше, — повторила она сухо и твердо. — Так вы узнали все, да! И, конечно, осудили меня... как и следовало... Я понимаю... я виновата пред вами... Но... нет, я не могу оправдываться...

Она замолчала и вдруг, нервным жестом подняв руки вверх, схватилась за голову... и стала оправлять волосы...

Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду, — надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал:

— Бывало, смотрел я на вас и думал: экая она красивая... хорошая... голубка... А вы вот сами говорите — виновата... эхма!

Голос парня оборвался. А женщина тихонько засмеялась.

— Какой вы славный и смешной... И как жаль, что вы не... можете понять... все это!

Понять даже и для Фомы нетрудно, но Софья Павловна начинает ему пояснять:

— Жизнь очень строга... Она хочет, чтоб все люди подчинялись ее требованиям, и только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей... Да и могут ли? О, если б вы знали, как тяжело жить... Человек доходит до того, что начинает бояться за себя... он раздвояется на судью и преступника, и судит сам себя, и ищет оправдания перед собой... и он готов и день и ночь быть с тем, кого презирает, кто противен ему, — лишь бы не быть наедине с самим собой?

И затем, по обычаю этих дам, высказывает:

— Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой... Никогда никто не вызывал во мне такого теплого, родного чувства, как вы... А вы смотрите на меня так недружелюбно... Верите вы мне? Да? Нет?

Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая:

— Уж не знаю я... Верил я...

— А теперь? — быстро спросила она.

— А теперь — уйти мне лучше! Не понимаю я ничего... а хочется понять. И себя я не понимаю... Шел я к вам и знал, что сказать... А вышла какая-то путаница... Наташили вы меня на рожон, раззадорили... А потом говорите — я тебе мать! Стало быть — отвязись!

— Поймите, — мне жалко вас! — тихо воскликнула женщина.

Раздражение против нее все росло у Фомы, и по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой... И, говоря, он все встряхивал плечами, точно рвал что-то, опутавшее его.

— Жалко?.. Зачем же! Этого мне не надо... Эх, говорить я не могу! Плохо мне, бессловесному-то... Но — сказал бы я вам!.. Не хорошо вы со мной сделали, — зачем, подумаешь, завлекали человека? Аль я вам игрушка?

— Мне только хотелось видеть вас около себя, — сказала женщина просто и виноватым голосом.

Он не слышал этих слов.

— А как дошло до дела, — испугались вы и отгородились от меня. Каяться стали... Ха! Жизнь плохая! И что вы все на жизнь какую-то жалуетесь? Какая жизнь? Человек — жизнь, и кроме человека никакой еще жизни нет... А вы еще какое-то чудовище выдумали... и это вы — для отвода глаз, для оправдания себя... Набалуете, заплутаетесь в разных выдумках да пустяках и — стонать! Ах, жизнь! Ох, жизнь! А не сами вы ее сделали? и себя жалобами прикрывая, — других смущаете... Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас: дескать, — мне плохо, пусть и тебе будет плохо, — на же, я тебе сердце ядовитой слезой окроплю! Так, что ли? Эх, вы! Красоту вам Бог дал ангельскую, а сердце где у вас?

Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом. Теперь слова выходили из груди у него свободно, говорил он негромко, но сильно, и ему было приятно говорить. Женщина, подняв голову, всматривалась в лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали, и резкие морщинки явились на углах их.

— Красивый человек и жить хорошо должен... А про вас вон говорят... Голос Фомы оборвался и, махнув рукой, он глухо закончил:

— Прощайте!

— Прощайте!.. — тихонько сказала Медынская.

Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но уже у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и посмотрел на нее через плечо. Она стояла там, в углу, одна, и руки неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена.

Он понял, что нельзя ему так уйти, смутился и тихо, но без раскаяния проговорил:

— Может, я обидное сказал — простите! Все-таки я ведь... люблю вас... — и тяжело вздохнул.

А женщина тихонько и странно засмеялась...

— Нет, вы не обидели меня... идите с Богом.

— Ну, так прощайте! — повторил Фома еще тише.

— Да... — также тихо ответила женщина.

Фома отбросил рукой нити бисера: они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутное и тяжелое чувство, и сердце в нем билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть...

От этого события жизнь Фомы вся изломалась. Он начал необузданно пить и безобразничать. В кутежах доходил иногда почти до потопления на реке всей компании. Описанию этих кутежей Горький уделяет очень много места. Фома является уже не тем, каким он казался читателю в начале романа. Это уже — настоящий купеческий саврас, без узды, не знающий себе удержу, грубый, отвратительный. Автор местами то так, то этак намекает, что в Фоме что-то таится, но намеков этих ничем не подтверждает и в Фоме, видимо, ровно ничего не таится, так как такое проявление, как беспардонный кутеж с арфисткой в течение месяца и более ровно ничего не доказывает, даже при том условии, что арфистка изображена каким-то воплощением трагической тоски и разочарования.

Мы не знаем, как понимает Максим Горький перелом в жизни Фомы, а по нашему — нравственное падение его. Но из изложения автора, из фактов его романа вытекает, что перелом произошел от неудовлетворенности чувства к Софии Павловне. Это бывает. Бывает, что одна неудачная любовная история ломает навсегда человеческую жизнь, но случаются такие приключения не с Фомами Гордеевыми, здоровыми крепышами от народного корня, а с дряблыми, изнеженными из поколения в поколение неврастениками, которых и комар крылом убьет и бабье издевательство в Манфреда *sui generis* * превратит.

Это соображение не пришло, очевидно, Горькому в голову. Описав с достаточной достоверностью сцену между Медынской и Фомой, Горький не вник в то, что Фома не годится на предложенную ему роль. В том положении, в какое поставил автор Фому, такой Фома в жизни пошел бы напролом и наговорил бы Медынской крепких простых слов и беседа их окончилась бы иначе, чем ее проектирует Горький.

Для нашего автора, собственно, было нужно какое-либо потрясение, которое вывело бы Фому из колеи, потому что только Фома, сбитый окончательно с толку, мог пригодиться Горькому для пришития к нему, хотя бы и белыми нитками, финальной проповеди, ради которой, надо думать, и писался весь роман.

* своего рода (лат.). — *Ред.*

Нужды нет, что истинный художник отшатнулся бы от такого случайного и притом искусственного приема. Прием, по мнению автора, достигает намеченной цели, а это — все, что ему нужно. Горький не замечает, что Медынская есть чуждый элемент, втиснутый насильно в повествование. Гораздо было проще пользоваться первоначальными элементами драмы и из них взять коллизию и развязку. Например, можно было сделать так. Превосходство Любви Маякиной угнетает Фому. Если бы он полюбил эту подругу детства, которую ему, кстати, готовили в жены, и был ею осмеян и отвергнут; если бы школьный товарищ Фомы, Смолин, за которого Любовь выходит замуж, появился не в конце романа, а после смерти старого Гордеева, — то тут был бы материал и для драмы. Вид товарища, получившего дома и за границей солидное техническое образование, должен был возбудить рой мыслей и чувств в Фоме: и самолюбие, и зависть, и сожаление об упущенном, и напускное презрение к знаниям, и ревность, и обиду. Если бы при таких условиях Фома начал дурить и безобразничать, то его перерождение стало бы много понятнее и много естественнее.

Мы не навязываем автору своего мнения, мы не берем ничего нового, а говорим лишь о более правильной группировке элементов, автором же намеченных. При такой коллизии и Ежов, ставший едким, но пьяным провинциальным фельетонистом, нашел бы себе настоящее место, а ныне и он, и Смолин не нужны для развития душевной драмы Фомы и приткнуты к роману, озаглавленному именем Фомы Гордеева, т. е. к роману, занимающему преимущественно им, совершенно произвольно. Из лиц действующих и Ежов, и Смолин обращены автором в лица эпизодические, без пользы загромождающие основную тему.

Но как оно есть, так и останется. Все это доказывает лишь бессилие Горького создать большое произведение и его желание вместить в повествование как можно более лиц, как будто ему хочется сразу поболее высказать.

V

Теперь остается самая главная часть романа, его конец. Фома безобразничает без конца. Поведение его обращает на себя внимание Маякина, который, имея от крестника полную уверенность, ведет все его дела. Маякин перехватывает Фому в одном из волжских городов и убеждает его одуматься. Фома

издевается над стариком, грозит все прокутить. Тогда и Маякин резко заявляет Фоме, что устроит признание его сумасшедшим и посадит его в дом для умалишенных.

Для приведения своей угрозы в исполнение Маякин своим влиянием закрывает Фоме кредит по банкам, а деньги снимает с текущего счета. Фоме это, однако, не мешает продолжать пьянствовать. Компании у него случайные, сбродные. Тут и актеры без места, и пропившиеся купцы, и встречный, и поперечный.

В пьяном угаре Фома начинает философствовать. Он проповедует, например, заплетающимся языком компании так:

Я так понимаю: одни люди — черви, другие — воробьи... Воробьи — это купцы... Они клюют червей... Так уж им положено... Они — нужны... А я... и все вы — ни к чему... Мы живем без сравнения... и без оправдания... совсем — зря... И совсем не нужно нас... Но и те... и все... — для чего? Это надо понять... Братцы!.. Мы все — лопнем... ей-Богу! А от чего — лопнем? Оттого что... лишнее все в нас... в душе лишнее... и вся жизнь наша — лишняя! Братцы! Я плачу... на что меня нужно? Не нужно меня!.. Убейте меня... чтоб я умер... Хочу, чтобы я умер...

Яд сомнения в пригодности жизни все более всасывается в Фому, и ему уже не поможет никакая житейская мудрость крестного.

Гораздо более влияния на Фому имел его школьный товарищ Ежов, фельетонист. Этот тоже пьющий, маленький, болезненный человек, весь полон протестов против всего. Он хронически кипит негодованием и при беседах с Фоמוю высказывает ему обрывки своих мыслей.

Идти шаг за шагом за кутежами и пьянством Фомы и за проповедью Ежова нет возможности, да и надобности для нашей цели нет. М. Горький в этих описаниях не блещет разнообразием. Когда, прочитав роман, вы начинаете вновь его перелистывать, отыскивая знакомое место, то иногда вам кажется, что вы уже нашли то, что вам нужно, а на деле выйдет, что это не то самое, а лишь сходственное. Такое топтание автора на одном месте, без надлежащего, ускоряющегося перед развязкой, развития действия, делает роман в некоторых местах нестерпимо скучным.

Некоторые части проповеди пьяного Ежова, высказываемые им пьяному же Фоме, характерны для определения авторских целей.

Фома задает Ежову вопрос: «Что нужно делать, чтобы спокойно жить... т. е. чтобы собою быть довольным».

Маякин на это ответил бы, руководясь здравым смыслом: «Не пьянствовать, не дебоширить, заниматься своим делом, которое, совсем готовое, досталось от отца».

Ежов отвечает иначе. Он говорит:

— Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе... Человек становится выше ростом от того, что тянется кверху...

Люди низки, потому что стремятся к сытости... Сытый человек — животное, ибо сытость есть самодовольство тела... И самодовольство духа обращает человека в животное...

Самодовольный человек — это затвердевшая опухоль на груди общества... это мой заклятый враг. Он набивает себя грошевыми истинами, обгрызанными кусочками затхлой мудрости, и существует как чулан, в котором скупая хозяйка хранит всякий хлам, совершенно ненужный ей, ни на что не годный... Дотронешься до такого человека, отворишь дверь в него, и на тебя пахнет вонью разложения, и в воздух, которым ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни... Эти несчастные люди именуются людьми твердыми духом, людьми принципов и убеждений... и никто не хочет заметить, что убеждения для них — только штаны, которыми они прикрывают нищенскую наготу своих душ. На узких лбах таких людей всегда сияет всем известная надпись: спокойствие и умеренность, — фальшивая надпись! Потри лбы их твердой рукой, и ты увидишь истинную вывеску, — на ней изображено: ограниченность и туподушие!..

Сколько видел я таких людей! Сколько развелось в жизни этих мелких лавочек! В них найдешь и коленкор для саванов, и деготь, леденцы и буру для истребления тараканов, — но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового! К ним приходишь с больной душой, истомленный одиночеством, приходишь с жаждой услышать что-нибудь живое... Они предлагают тебе какую-то теплую жвачку, пережеванные ими книжные мысли, прокисшие от старости... И всегда эти сухие и жесткие мысли настолько мизерны, что для выражения их потребно огромное количество звонких и пустых слов. Когда такой человек говорит, мне кажется: вот сытая, но опоенная кляча, увешанная бубенчиками, — везет воз мусора за город и — несчастная! — довольна своей судьбой...

— Тоже, значит, лишние люди... — сказал Фома.

Ежов остановился против него и с едкой улыбкой на губах сказал:

— Нет, они не лишние, о, нет! Они существуют для образца... для указания, чем человек не должен быть... Собственно говоря, место им в анатомических музеях, где хранятся всевозможные уроды, различные болезненные отклонения от гармоничного... В жизни, брат, ничего нет лишнего... в ней даже я нужен! Только те люди, в душах которых поселилась рабья трусость перед жизнью, у которых в груди на месте умершего сердца — огромный разрыв мерзейшего самообожания, — только они — лишние... но и они нужны, хотя бы для того, чтобы я мог излить на них мою ненависть...

Весь день, вплоть до вечера, кипятился Ежов, изрыгая хулу на людей, ненавистных ему, и его речи заражали Фому своим злым пылом, — заражали, вызывая у парня боевое чувство.

Метафор тут бездна. М. Горький до них охотник. В устах фельетониста Ежова все эти метафоры еще туда-сюда, пожалуй, и у места, но М. Горький безразлично вкладывает их и в уста Фомы, и, в других своих произведениях, в уста первого встречного босяка, т. е. в уста людей, которые именно так говорить не могли. Отсюда вывод: за каждым действующим лицом у Максима Горького, если лицо это заявляет какой-либо протест, надо искать суждения самого автора. Речи Ежова, как и все такие речи у автора, легко разбиваются на отдельные сентенции вроде: «Самодовольный человек — это затвердевшая опухоль на груди общества»; «сколько развелось в жизни мелочных лавочек! В них находишь коленкор для саванов, и деготь, леденцы и буру для истребления тараканов, — но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового!»; «люди низки, потому что стремятся к сытости...» и т. д.

Все это не ново и все это в достаточной мере односторонне и пошло. Максим Горький, разыскивая протестующих, ни разу не потщился выставить трудового, хотя бы заурядного, но достойного уважения человека, который своим протестом обнажил бы язвы общественные. Проповедники у Максима Горького непременно пьяницы. Их проповедь одобрена хмельным угаром. Это даже удобно с разных сторон. Во-первых, можно всегда отговориться: я, мол, писал объективно и чем же я виноват, если по развитию характера такого-то лица, он должен был в пьяном виде сказать то-то и то-то; во-вторых, пьяная речь свободнее и ей можно навязать даже самую кровавую проповедь, которая для кого следует будет проповедью, а для прочих пьяным бредом и преувеличением. Под таким соусом легче поднести свое учение терпеливому читателю.

Протест из уст падших еще по одной причине должен предпочитаться Горьким. Его обличения касаются не язв общества, не его недостатков. Они направлены против самого общественного строя. А подобный протест уже совершенно не подходил бы лицу серьезному, уравновешенному.

Естественно рождается вопрос: «Неужели правда только по вине и неужели необходимо напиться, чтобы начать “глаголом жечь сердца людей”»? По Максиму Горькому, помимо его воли, оно так и выходит.

Автор наш оставляет без всякого решения вопрос о том, на каком основании зиждется право его проповедников изрекать истины и поучать. Взять хоть бы того же Ежова. Скверный по инстинктам еще в детстве человек, он пробился на дорогу, прошел гимназию, поступил в университет, но там сбился с пути.

Никто в этом, кроме Ежова, не виноват, и ему было бы самым подходящим каяться в своих грехах и ошибках, когда вино развязывает ему язык. Но М. Горький за битого дает двух небитых. Только падший человек ему пригоден, только ему он влагает в уста свои задушевные мысли, и чувства, и общественные вожелдения.

Упускается из виду только одно: худо или хорошо общество и его строй, но от века существуют, слагались мало-помалу, шаг за шагом. Все эти протестующие родились в этом же обществе, оно взрастило их и поставило на дорогу. Слабость воли, увлечения, ошибки, вовремя не исправленные, довели человека до нравственного падения. Ему бы подняться, одуматься, а он катится по наклонной плоскости и начинает всячески поносить и ругать тот котел, из которого кормился, тот кров, который давал ему приют. Всякая такая брань не изменит недостатков и недочетов общества, она не заставит даже на них оглянуться. Очень уж она не авторитетна. К чему же она?

И приходится прийти к тому убеждению, что автору вовсе не желательны даже исправления общественных недочетов. Ему нужно возбудить неудовольствие против всякого гражданского строя, пускай неудовольствие неопределенное, не вложенное в рамки тех или иных требований, — неудовольствие во что бы то ни стало. Это обычный прием всех настоящих разрушителей и революционеров. Реформатор строит свою теорию взамен существующего, разрушитель хлопочет лишь о разрушении. Ему любо низвергать все, не его дело, что на этих развалинах, когда и кто построят.

При таком условии не все ли равно, кто будет хулить все существующее: воинствующий босьяк Орлов, мечтательный босьяк Коновалов, пропившийся фельетонист Ежов, или купецкий сын, самодур-неудачник, несуразный Фома Гордеев.

Все эти Орловы, Коноваловы, Ежовы, Гордеевы только аксесуары, гарнир к горькому блюду похода на существующий строй. Без них проповедь Максима Горького была бы похожа на прокламацию, призывающую к насильственным действиям, и йе могла бы получить желаемого автором распространения. А в том виде, как проповедь эта преподнесена теперь, она легко усваивается читателем сквозь призму повествовательного приема.

Иногда проповедь переходит прямо в призывный клич. Ежов вопиет, например, так:

— Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, чер-рт ее поberi! Я бы им сказал: букашки! вы, лучший сок моей страны! Факт вашего бытия опла-

чен кровью и слезами десятков поколений русских людей, о! гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для нее? Превратили ли вы слезы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой...

Он в ярости затопал ногами и, сцепив зубы, смотрел на Фому горящим, злым взглядом, похожим на освирепевшее хищное животное.

— Я сказал бы им: вы! Вы слишком много рассуждаете, но вы мало умны и совершенно бессильны и — трусы вы все! Ваше сердце набито моралью и добрыми намерениями, но оно мягко и тепло, как перина, дух творчества спокойно и крепко спит в нем, и оно не бьется у вас, а медленно покачивается, как люлька. Окунув перст в кровь сердца моего, я бы намазал на их лбах клейма моих упреков, и они, нищие духом, несчастные в своем самодовольстве, страдали бы... о, уж тогда страдали бы! Бич мой тонок, и тверда рука! И я слишком люблю, чтоб жалеть! Они страдали бы! А теперь они — не страдают, ибо слишком много, слишком часто и громко говорят о своих страданиях! Лгут! Истинное страдание молчаливо, а истинная страсть не знает преград себе!.. Страсти, страсти! Когда они возродятся в сердцах людей? Все мы несчастны от бесстрастия...

— Я скажу им, этим несчастным бездельникам: смотрите! Жизнь идет и оставляет вас сзади себя!

— Эх! Здорово! — воскликнул Фома с восхищением и завопил на диване. — Герой ты, Николай! Валяй их! Сыпь в глаза прямо!

Но Ежов не нуждался в поощрении, он, казалось, даже не слышал восклицаний Фомы и продолжал:

— Я знаю меру сил моих, я знаю — мне закричат: молчать! Мне скажут: цыц! Скажут умно, скажут спокойно, издеваясь надо мной, с высоты величия своего скажут... Я знаю — я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неуч по сравнению с ними, я только фельетонист, человек для потехи публики... Пускай кричат и оборвут меня, пускай! Пощечина упадет на щеку, а сердце все-таки будет биться! И я скажу им: да, я неуч! И первое мое преимущество пред вами есть то, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня была бы дороже человека! Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, носящий в себе весь мир! А вы, скажу я, вы ради слова, в котором, может быть, не всегда и есть содержание, понятное вам, — вы зачастую ради слова наносите друг другу язвы и раны, ради слова брызжете друг на друга желчью, насилуете душу... За это жизнь сурово взыщет с вас, поверьте, разразится буря, и она сметет и смоев вас с земли, как дождь и ветер пыль с дерева! На языке людском есть только одно слово, содержание коего всем ясно и дорого, и когда это слово произносят, оно звучит так: свобода!

— Круши! — взревел Фома, вскочив с дивана и хватая Ежова за плечи.

VI

Фома, наслушавшись зажигательных речей, видимо, и решил крушить. Он тоже вносит лепту в проповедь Горького.

Ссора с Маякиным не прервала сношений крестного отца и крестника. Маякин требует, чтобы Фома был на пиршестве купца Кононова по случаю освящения его нового парохода.

Фома поехал. Отслужили молебен, тронулся новый пароход по Волге. Началось пиршество. Фома не пил и не ел, за каждым из гостей он знал темное дело, преступление. Он злился и тяжелое похмелье играло не последнюю роль в его злобе.

Маякин произнес речь во славу созидającego купечества. Все были довольны друг другом, все эти купцы: Кононов, Юшков, Резников и другие.

Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки:

— А! Это вы? Ах вы...

И вслед за тем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство, произнесенное с великой злобой и глухим, но сильным голосом. Все сразу услышали его и на секунду замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевых цепей...

— Это кто лается? — спросил Кононов, нахмутив брови...

— Эх! Не можем не безобразить! — сокрушенно вздыхая, произнес Резников.

— Кто это зря выругался?..

Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замялись. Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели, точно там он видел что-то приятное для себя.

— Гордеев... — тихо сказал Иона Юшков...

И все головы поворотились по тому направлению, куда смотрел Яков Маякин.

Там, упираясь руками в стол, стоял Фома. С лицом, искаженным злобой, оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его по-волчьи злого лица и этой гневной позы, купечество вновь замолчало на секунду.

— Что вытаращили зенки? — спросил Фома и вновь сопроводил вопрос свой крепким ругательством.

— Упился! — качнув головой, сказал Бобров.

— И зачем его пригласили? — тихо шептал Резников.

— Фома Игнатьевич! — степенно заговорил Кононов. — Безобразить не надо... Ежели... тово... голова кружится, — поди, брат, тихо, мирно в каюту и — ляг! ляг, милый, и...

— Цыц, ты! — зарычал Фома, поводя на него глазами. — Не смей со мной говорить! Я не пьян... я всех трезвее здесь! Понял!

— Да ты погоди-ка, душа... тебя кто звал сюда? — покраснев от обиды, спросил Кононов.

— Это я его привел! — раздался голос Маякина...

— А! Ну, тогда... конечно... Извините, Фома Игнатьевич... Но как ты его, Яков, привел... тебе его и укротить надо... А то — нехорошо...

Фома молчал и улыбался. И купцы молчали, глядя на него.

— Эх, Фомка! — заговорил Маякин. — Опять ты позоришь старость мою...

— Папаша крестный! — оскаливая зубы, сказал Фома. — Я еще ничего не сделал, значит, рано мне рацеи читать... Я не пьян... я не пил, а все слушал... Господа купцы! Позвольте мне речь держать? Вот уважаемый вами мой крестный говорил... а теперь крестника послушайте...

— Какие речи? — сказал Резников. — Зачем разговоры? Сошлись по-веселиться...

— Нет уж, ты оставь, Фома Игнатьевич...

— Лучше выпей чего-нибудь...

— Выпьем-ко! Ах, Фома... славного ты отца сын!

Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, все улыбаясь, слушал ласковые, увещающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных тел с толстыми животами. Его смуглое лицо с большими глазами было правильнее и свежее обрюзглых красных рож, стоявших против него с выражением ожидания и недоумения. Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы...

— Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете! — сказал он твердо и с угрозой. — Будете слушать или нет, а я говорить буду... Выгнать здесь меня некуда...

Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно:

— Но ежели кто пальцем тронет — убью! Клянусь Господом Богом... сколько могу — убью!

— Ха-ха-ха! Строители жизни! — продолжал Фома. — Гушин, подаешь ли милостыню племяшам-то? Подавай хоть по копейке в день... не мало — шестьдесят семь тысяч украл ты у них... Бобров! Зачем на любовницу наврал, что обокрала она тебя, и в тюрьму ее засадил? Коли надоела — сыну бы отдал... все равно он теперь с другой твоей шашни завел... А ты не знал? Эх, свинья толстая... ха-ха! А ты, Луп — открой опять веселый дом, да и лупи там гостей, как липки... Потом тебя черти облупят, ха-ха!.. С такой благочестивой рожей хорошо мошенником быть!.. Кого ты убил тогда, Луп?

— Робустов! — кричал Фома. — Что смеешься? Чему рад? Быть и тебе на каторге...

— Ссадить его на берег! — вдруг заорал Робустов, вскакивая на ноги.

— Зубов! — кричал Фома. — Сколько ты людей по миру пустил? Снится тебе Иван Петров Мякинников, что удавился из-за тебя? Правда ли, что каждую обедню ты из церковной кружки десять целковых крадешь?

Над общим гулом голосов раздавался громкий, каркающий голос Фомы:

— Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы Бога? Пяттак — вот ваш бог! А совесть вы прогнали... Куда вы ее прогнали? Кровопийцы! Чужой силой живете... чужими руками работаете! За все это заплатите вы!.. Издыхать будете — все зачтется вам! Все — до капельки слез... сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений... Бросят черти вас в котлы и нальют туда...ха-ха-ха! нальют! ха-ха-ха! Почтенное купечество... строители жизни... о, дьяволы!..

Фома залился громким хохотом и, схватившись за бока, закачался на ногах, высоко вскинув голову.

В этот момент несколько человек быстро перемигнулись, сразу бросились на Фому и сдавили его своими телами... Началась возня...

Фому связали и отвезли по возвращении в город в сумасшедший дом. И правильно поступили, так как по всему видно, что он от пьянства дошел до белой горячки. Потом Маякин препроводил его к родным матери за Урал. Когда Фома вернулся в родной город, там произошло множество перемен. Любовь Маякина вышла замуж за школьного товарища Фомы Смолина. Ежова выслали из города. К Маякину вернулся сын Тарас, который, перегорев в нигилизме, сделался дельцом-работником. Маякин умер. Смолин и Тарас основали торговый дом.

На Фому все смотрели как на юродивого. Он, грязно одетый, измятый, полоумный, шатался по городу, служа предметом общей насмешки.

На этом и кончается роман.

VII

Данный нами очерк вполне подтверждает высказанное выше мнение, что Максим Горький как создатель большого произведения стоит весьма низко. Он прямо не умеет за такое дело взяться.

Как тип Фома Гордеев ровно ничего собою не представляет. Самый характер его не выдержан и весь складывается из произвольно придаваемых ему автором черт. Ни наследственных, ни лежащих в воспитании причин, которые сделали бы из Фомы, каким он нам был показан мальчиком, того Фому, которого мы видим затем взрослым, автор нам не дал. Наоборот, он дал нам почувствовать в юноше Фоме волю, хотя и на почве некоего самодурства.

Не было в жизни Фомы и катастрофы, которая перевернула бы его. Приключение с Медынской никоим образом, как указано выше, роли этой сыграть не могло.

Другой роман Горького «Трое» еще богаче недостатками, нами замеченными в «Фоме Гордееве».

Казалось бы, что такое произведение, как «Фома Гордеев», должно было расхолодить поклонников Горького и отшатнуть их от кумира. Вышло иначе: «Фома Гордеев» разошелся в 60 000 экземпляров к сентябрю 1903 года.

В чем же мог заключаться успех этой длинной и скучной книги? Очевидно, не в некоторых удачно обрисованных лицах (Игнат Гордеев, старый Маякин, Медынская). Поклонники не заметили даже такого недочета в романе, как противоречие в речах Фомы против капитала с тратами капитала им же на свои необузданные кутежи. Никому не пришло из поклонников в голову, что все же лучше вести на деньги торговые дела, нежели швырять их за окно. У Игната Гордеева были идеи послужить обществу, у Фомы никаких.

Принимая все это во внимание, необходимо признать, что успех «Фомы Гордеева» заключается лишь в сугубом повторении на разные лады излюбленных идей Максима Горького, наудочку которых, а никак не его дарования, пошли доверчивые и одураченные проповедником читатели.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Максим Горький как драматург

I

Максим Горький дал два произведения, исполняемые на театре: «Мещане» и «На дне».

Всякий почти писатель рано или поздно берется за произведения драматические. Для автора они особенно заманчивы, ибо дают ему возможность непосредственно судить о впечатлении произведения на публику.

Но одновременно с тем произведения драматические — самые трудные в области художественного творчества. Автор для изложения своего предмета лишен описательных средств. У него один материал — беседа действующих лиц. Он не может, как романист, приостановить действие и описать нам местность, характеры своих героев, дать их биографию. Если кто-нибудь из действующих лиц начинает пояснять зрителю то,

чего он перед собою не видит, — действие останавливается, и пьеса в этих местах делается неинтересной. Самые размеры драматического произведения, исполнение которого вместе с антрактами не должно занимать в среднем более четырех часов, ставят автору тесные и узкие рамки. Ввиду этого как замысел драматической вещи, так и его выполнение совершенно не сходствует с замыслом и выполнением произведения повествовательного.

Справедливость такого взгляда доказывается тем, что все опыты переделок романов и повестей в драмы всегда были неудачны, а иногда по своему содержанию и не вполне удобопонятны для зрителей, незнакомых с первоисточниками. Даже такой величайший мастер драматического построения, как Александр Дюма-сын, рядом с проложительно превосходными драматическими произведениями, могущими, независимо от их тенденции и содержания, служить образцами правильной драматической архитектоники, дал такую слабую вещь в своей наиболее популярной драме — «Дама с камелиями». Недостатки этой трогательной драмы произошли единственно от того, что автор заимствовал ее из своего же романа и что драматург при изложении для сцены трагедии Маргариты Готье был связан романистом, давшим в повествовании подробности и оттенки, не укладывающиеся в рамки драмы.

Чтобы писать для театра, надо знать театр и его требования. Совершенно недостаточно составить ряд разговоров действующих лиц и пришить их друг к другу, — это не даст драмы. А потому необходимо быть гениальным писателем или много работать на поприще изучения театра.

В первом случае можно, как Гоголь, в молодых годах, сразу, никогда не писавши для театра, дать «Ревизора», и как Лев Толстой, в годах уже преклонных и тоже не писавши для сцены, дать «Власть тьмы», — эти два необыкновенные образца драматического построения.

Во втором случае путем пристальной работы и изучения можно добиться той шаблонной, но изящной, уверенной и красивой сценической техники, в которой достиг полного совершенства и не знает соперников Виктор Крылов.

Бывает и так, что писатель с первых шагов посвящает себя театру, родится драматургом и либо вовсе не пишет в других родах искусства, либо пишет вещи ничтожные по сравнению со своими драматическими произведениями. Таковы у греков Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, у римлян Теренций и Плавт,

у англичан Шекспир, у испанцев Лопе де Вега и Кальдерон, у французов Корнель, Мольер, Расин, у нас Островский.

Максим Горький подошел к театру с неумытыми руками, без малейшей подготовки и, очевидно, без малейшей способности к писанию произведений драматических. Чувствуя, что тот набор разговоров, который он выбрасывает на подмостки, не может быть причислен ни к трагедии, ни к драме, ни к комедии, он назвал «Мещан» драматическим эскизом, а «На дне» — картинами.

Для зрителя от этого не легче. Как ни назови автор свое произведение, но перед зрителем будет совершаться та же смена действий, к которым он привык в театре. Но в представлениях Максима Горького, по внешности напоминающих все представления такого рода, зритель не встретит в начале изложения предмета (экспозиции), завязки в середине представления и развязки в конце, — не встретит тех, быть может, «устаревших», но необходимых элементов, из которых складывается драма.

Нигде Максим Горький не стоит столь низко в художественном отношении, как в своих драматических произведениях. Его небольшие рассказы отмечены печатью таланта, его романы — плохи, его драмы — нелепы.

II

А между тем они имели успех, причем успех пьесы «На дне», в исполнении московской труппы гг. Станиславского и Немировича-Данченко, был чрезвычайным. Надо признать, что руководители московского Художественного театра приложили все старания, чтобы придать изображению ночлежки и ее обитателей полный реализм. Не требующие никакой работы, кроме фотографического изображения босяков, роли в пьесе «На дне» были исполнены в совершенстве. От этого пьеса не обратилась в драму и ее отдельные сцены не сложились в одно целое, но зрители валом валили на представления и неистово аплодировали.

Весьма поучительно разобраться в причинах такого, на первый взгляд непонятного и ничем, казалось бы, не обусловленного явления. Успех пьесы «На дне», сдается нам, — родственный успеху разных феерий. Как в феерии, чем мудренее комбинация разных обстановочных эффектов, тем она более привлекает зевак, так и в пьесе «На дне» необычность обстановки, новизна ее грязи, неслыханные еще со сцены ругатель-

ства, невиданные еще на сцене безобразия своей внешностью привлекают тех, кто ходит в театр не думать, а поглазеть, и кто выходит из театра, даже не умея передать словами того, что перед ним представляли. Такой публики очень много и в числе ее есть и люди, причисляющие себя и причисляемые другими к «интеллигентам».

Кроме внешней новизны предложенного Горьким спектакля он представлял и внутреннюю, так сказать, новизну. С подмостков сцены, а уже не со страниц книг шла пропаганда революционного босячества. История Франции XVIII века указывает, что проповедь революционных идей встречает почти всегда главное и первое сочувствие именно у тех, против кого она непосредственно направлена. Там французская аристократия всячески поддерживала идеи вольности, пока, в своем извращении, они не обратились в топор гильотины и не пали на шеи тех, кто столь усердно им поклонялся.

У нас антиобщественная и антигосударственная проповедь, столь бесстыдно извергаемая устами героев «дна», нашла себе ценителей и поклонников даже в великосветских дамах. Некоторые из них возвращались из театра после представления «На дне» в каком-то упоении. Они не хотели заметить, что их оплевали, как и все общество, со сцены, что им грозили забастовкой работ, дразнили ею, что ничегонеделание, обременение земли своей босяцкой личностью возводили в идеал. Зрительницы твердили, что «это» ново и трогательно. Если бы их вместо театра гг. Станиславского и Немировича-Данченко отвезти в настоящую ночлежку и показать им истинную нужду и истинное босячество, то с ними сделалось бы дурно и они нюхали бы английскую соль, чтобы заглушить прелый запах грязных отрепьев и грязных тел. Ну, а со сцены — другое дело.

Нескольких таких кликуш, рабынь случайной моды достаточно, чтобы создать успех дикой и ни с чем не сообразной пьесы.

Но не такими зрительницами исчерпывается весь состав публики. Там, в театре, была еще обманутая молодежь. Она вслушивалась в разрушительные возгласы «интеллигентного» босяка Сатина и неистово рукоплескала. Ругательства Сатина, его фразы, вроде «человек — это звучит гордо!..», «ложь — религия рабов и хозяев...», «правда — Бог свободного человека!» — принимались чуть ли не за откровение. Обманутые не видали, что именно «человека»-то тут и нет, что не могут Сатины носить звание, которого они, по собственной вине, лишились. Слова были приняты на веру, а отсюда уже следующий

шаг прямо ведет к признанию именно в Сатиных — сущности жизни, к признанию за ними права образовать отдельный класс общества. И вот соблазненные юноши обоего пола, как и одураченные кликуши, помогают Горькому в его пропаганде, помогают ему все более и более внедрять в сознание общественное проповедь босячества и необходимости формирования особых кадров босяков для потрясения основ общественных.

III

Из двух драматических произведений Максима Горького мы остановимся на пьесе «На дне». Она наиболее популярная из двух и в ней типические стороны автора особенно резко выделяются.

О содержании пьесы «На дне» нечего говорить. Оно более или менее всем известно, да и рассказать его трудно, так как его не существует. Если бы была дана задача рассказать это содержание, то взявшийся за исполнение ее был бы поставлен в необходимость или ограничиться передачею романа жены содержателя ночлежки Василисы Костылевой, ее сестры Натальи и вора Васьки Пепла, или передавать весь ход пьесы, сцена за сценою. В первом случае смысл и значение «картин» Горького были бы совершенно утрачены, так как упомянутый роман не составляет центра пьесы, а лишь один из наиболее видных ее эпизодов. Во втором случае эпизодические лица и сцены поглотят роман Пепла.

Максим Горький потщился дать уголок жизни «дна», создать фон, на котором глашатай пьесы Сатин мог бы проповедовать свою мораль, а потому не гнался за целостностью построения, ему, впрочем, и недоступной.

Максим Горький хотел действовать на воображение зрителя внешней стороной своего произведения, чтобы среди необычной для посетителя театров обстановки заставить его легче воспринять те поучения, которые предлагались со сцены устами жителей ночлежки.

Зная, что пьеса его пойдет в театре г. Станиславского, где всякой мелочи придается особое значение, Горький дал подробнейшее описание места действия и расположения на сцене действующих лиц при поднятии занавеса.

Подвал, похожий на пещеру. Потолок — тяжелый, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет от зрителя и сверху вниз, — из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгоро-

женной тонкими переборками комнатой П е п л а, около двери в эту комнату нары Б у б н о в а. В левом углу — большая русская печь; в левой, каменной стене — дверь в кухню, где живут К в а ш н я, Б а р о н, Н а с т я. Между печью и дверью, у стены — широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам — нары. На переднем плане, у левой стены — обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем, перед наковальней, сидит К л е щ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его — две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки — большой стол, две скамьи, табурет, все — некрашенное и грязное. За столом, у самовара К в а ш н я хозяйничает. Барон жует черный хлеб, и Н а с т я, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет А н н а. Б у б н о в, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые, распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него — изодранная картонка из-под шляпы — для козырьков, куски клеенки, тряпье. Сатин только что проснулся, лежит на нарах и — рычит. На печке, невидимый, возится и кашляет А к т е р. Начало весны. Утро.

Для ясности того, что придется нам говорить далее, приведем вступительную сцену «На дне».

Б а р о н. Дальше!

К в а ш н я. Не-ет, говорю, милый, с этим ты от меня поди прочь. Я, говорю, это испытала... и теперь уж ни за сто печеных раков под венец не пойду!

Б у б н о в (Сатину). Ты чего хрюкаешь? (Сатин рычит).

К в а ш н я. Чтобы я, говорю, свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала — нет! Да будь он хоть принц американский, — не подумаю замуж за него идти.

К л е щ. Врешь.

К в а ш н я. Чего-о?

К л е щ. Врешь. Обвенчаешься с Абрамкой...

Б а р о н (выхватив у Насти книжку, читает название). «Роковая любовь»... (Хохочет).

Н а с т я (протягивая руку). Дай... отдай! Ну... не балуй!

Б а р о н (смотрит на нее, помахивая книжкой в воздухе).

К в а ш н я (Клецу). Козел ты рыжий! Туда же — врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?

Б а р о н (ударяя книгой по голове Настю). Дура ты, Настька...

Н а с т я (отнимает книгу). Дай...

К л е щ. Велика барыня... А с Абрамкой ты обвенчаешься... только того и ждешь...

К в а ш н я. Конечно! Еще бы!.. как же! Ты вон, заездил жену-то до полусмерти...

К л е щ. Молчать, старая собака! Не твое это дело...

К в а ш н я. А-а! Не терпишь правды!

Б а р о н. Началось! Настька, ты где?

Н а с т я (*не поднимая головы*). А... Уйди!

А н н а (*высовывая голову из-за полога*). Начался день! Бога ради... не кричите... не ругайтесь вы!

К л е щ. Заныла!

А н н а. Каждый Божий день... дайте хоть умереть спокойно!

Б у б н о в. Шум смерти не помеха...

К в а ш н я (*подходя к Анне*). И как ты, мать моя, с таким злым днем жила?

А н н а. Оставь.. отстань...

К в а ш н я. Н-ну! Эх ты... терпеливица!.. Что, не легче в груди-то?

Б а р о н. Квашня! На базар пора...

К в а ш н я. Идем сейчас! (*Анне*). Хочешь, пельмешков горяченьких дам?

А н н а. Не надо... спасибо. Зачем мне есть?

К в а ш н я. А ты поешь. Горячее — смягчит. Я тебе в чашку отложу и оставляю... Захочешь когда и покушай! Идем, барин... (*Клещу*). У, нечистый дух... (*Уходит в кухню*).

А н н а (*кашляя*). Господи...

Б а р о н (*тихонько толкает Настю в затылок*). Брось... дуреха!

Н а с т я (*бормочет*). Убирайся... я тебе не мешаю. (*Барон, насвистывая, уходит за Квашней*).

С а т и н (*приподнимаясь на нарах*). Кто это бил меня вчера?

Б у б н о в. А тебе не все равно?..

С а т и н. Положим, так... А за что били?

Б у б н о в. В карты играл?

С а т и н. Играл...

Б у б н о в. За это и били...

С а т и н. М-мерзавцы...

А к т е р (*высовывая голову с печи*). Однажды тебя совсем убьют до смерти...

С а т и н. А ты — болван.

А к т е р. Почему?

С а т и н. Потому что дважды убить — нельзя.

А к т е р (*помолчав*). Не понимаю... почему — нельзя?

К л е щ. А ты слезай с печи-то, да убирай квартиру... чего нежишься?

А к т е р. Это дело не твое...

К л е щ. А вот Василиса придет — она тебе покажет, чье дело...

А к т е р. К черту Василису. Сегодня Баронова очередь убираться... Барон!

Б а р о н (*выходя из кухни*). Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашней.

А к т е р. Это меня не касается... иди хоть на каторгу... а пол мести твоя очередь... я за других не стану работать...

Б а р о н. Ну, черт с тобой! Настенька подметет... Эй, ты, роковая любовь! Очнись! (*Отнимает книгу у Нasti*).

Н а с т я (*вставая*). Что тебе нужно? Дай сюда! Озорник! А еще — барин...

Б а р о н (*отдавая книгу*). Настя! подмети пол за меня — ладно?

Н а с т я (*уходя в кухню*). Очень нужно... как же!

К в а ш н я (*в двери из кухни — Барону*). А ты — иди! Уберутся без тебя... Актер, тебя просят, — ты и сделай... не переломишься чай!..

А к т е р. Ну... всегда я... не понимаю...

Б а р о н (*выносит из кухни на коромысле корзины. В них корчаги, покрытые тряпками*). Сегодня что-то тяжело...

С а т и н. Стоило тебе родиться бароном...

К в а ш н я (*Актеру*). Ты смотри же, подмети! (*Выходит в сени, пропустив вперед себя Барона*).

А к т е р (*слезая с печи*). Мне вредно дышать пылью. (*С гордостью*). Мой организм отравлен алкоголем... (*Задумывается, сидя на нарах*).

С а т и н. Организм... органон...

А н н а. Андрей Митрич...

К л е щ. Что еще?

А н н а. Там пельмени мне оставила Квашня... возьми, поешь.

К л е щ (*подходя к ней*). А ты — не будешь?

А н н а. Не хочу... На что мне есть? Ты — работник... тебе надо...

К л е щ. Боишься? Не бойся... может, еще...

А н н а. Иди, кушай! Тяжело мне... видно, скоро уж...

К л е щ (*отходя*). Ничего... может — встанешь... бывает! (*Уходит в кухню*).

А к т е р (*громко, как бы вдруг проснувшись*). Бчера в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, организм совершенно отравлен алкоголем...

С а т и н (*улыбаясь*). Органон...

А к т е р (*настойчиво*). Не органон, а ор-га-ни-зм...

С а т и н. Сикамбр...

А к т е р (*машет на него рукой*). Э, вздор! Я говорю — серьезно... да. Если организм — отравлен... значит, — мне вредно мести пол... дышать пылью...

С а т и н. Макробиотика... ха!

Б у б н о в. Ты чего бормочешь?

С а т и н. Слова... А то еще есть — транс-седентальный...

Б у б н о в. Это что?

С а т и н. Не знаю... забыл...

Б у б н о в. Ак чему говоришь?

С а т и н. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова — надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...

А к т е р. В драме «Гамлет» говорится: «Слова, слова, слова!» Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика...

К л е щ (*выходя из кухни*). Ты с метлой играть скоро будешь?

А к т е р. Не твое дело... (*Ударяет себя в грудь рукой*). Офелия! О, помняи меня в твоих молитвах!...

Мы знакомимся сразу со многими действующими лицами. Не вышли только на сцену: Костылев, содержатель ночлежки,

ростовщик, кровопийца, пристанодержатель, покупатель заведомо краденого; его жена, Василиса, суровая, злая, беспощадная баба, любовница вора Пепла; ее сестра Наташа, предмет вожделений Пепла и злобы Василисы; дядя Василисы и Наташи, возможный жених Квашни, полицейский; странник Лука, неудачное подражание Акиму во «Власти тьмы» Льва Толстого, или пародия на Акима; Алешка, пьяный юноша-сапожник, и крючники Кривой-Зоб и Татарин.

Положения действующих лиц сразу выясняются как приведенной сценой, так и последующими сценами первого действия. Барон состоит сутенером у сентиментальной проститутки-пьяницы Насти. Актер и Сатин случайно держатся вместе. Пепел ведет себя гордо, имеет даже отдельную комнату и живет с хозяйкой. Костылев все чувствует, но пока терпит и покупает краденое у любовника жены. Василиса не желает делиться Пеплом и бьет сестру Наташу не на живот, а на смерть, при всяком подходящем случае. Клещ, считающий себя, как работник, выше тунеядцев и босяков, вкатил в гроб свою кроткую жену Анну, которая в конце концов и умирает. Драма Василисы и Пепла кончается тем, что Пепел в драке убивает Костылева, а Василиса перед тем ошпаривает ноги сестре горячей водой. Актер в конце пьесы удавливается. У крючника Татарина рука поражена гангреной и ему придется ее отрезать.

Вот, так сказать, вся фактическая сторона пьесы. Интересного тут мало. Тут нет ни развития чувств, ни развития характеров. Все эти обитатели ночлежки, вместе и порознь, не раз появлялись и до, и после драмы Горького в произведениях разного рода, начиная с лубочных романов «Петербургского листка» и «Петербургской газеты». Сопоставленные все одну кучу, ругающиеся, пьющие, нарушающие общественную тишину и спокойствие, они образуют в пьесе Горького какой-то клубок завивающихся и развивающихся смрадных червей. Пьеса производит впечатление нестройного, но угнетающего кошмара, где правдоподобие уступает место ужасу и отвращению.

IV

Рассматриваемая помимо скрытых намерений автора, пьеса «На дне» ставит размышляющего читателя в недоумение и рождает вопрос — к чему это живописание? Изображение ради изображения только тогда может быть предметом искусства, когда дело идет о красоте в каком бы то ни было роде: будь то

красота пластическая, красота чувства, будь то красота ужаса стихийной катастрофы или обгащенного кровью поля сражения. Но изображать, как люди ходят в грязи, как они допились до падения на «дно» и как они на этом дне пьянствуют, дерутся, сквернословят, злятся, — к чему? Все эти явления известны каждому, подробности их так мало типичны, что их не стоит воспроизводить. Едва ли и Горький, руководясь лишь желанием воспроизвести действительность, стал бы обрисовывать «дно» так детально. Как бы ни слабо было его художническое чутье, не может он не понимать, что внешность его «дна» только омерзительна.

Но у него была другая цель. Проповедь босячества со страниц книги показалась ему малой. Он нашел более полезным и пригодным вести ее со сцены, при соответствующей декорации, устами талантливого актера.

К цели своей автор пошел прямо. От самого заглавия своей пьесы он искусственно поставил вопрос на привычную ему почву. Уже не один босяк, а многие, как указано нами в предыдущих главах, вели противообщественную проповедь в сочинениях Горького до Сатина. Сатин громче других ее продолжает. Горький говорит о «дне», т. е. о «дне» общества. Хорошо же общество, если у него такое дно. Слово «дно» не есть синоним тины, грязи. Бывает дно илистое, вязкое, зловонное, но бывает и чистое, покрытое песком, твердое, делающее воду над ним, текущую или стоящую, прозрачной и здоровой. Всякие осадки, действительно, садятся на дно, но оно же служит и основой прочего, а потому не может состоять только из осадков. Если же все дно состоит из одной грязи и тины, тогда и то, чему оно дном служит, в сущности, грязно, мерзко, заражено.

Это-то и хотел сказать Горький. Он давно уже произнес приговор обществу, давно уже нашел поправку к его ошибкам и недостаткам в образовании особого общественного класса босяков, и их устами ведет свою проповедь. Сатин только сильнее высказывает то, что говорили его предшественники. Некоторый мефистофелизм, вложенный в него автором, служит не столько для оттенения его характера, как для затушевывания слишком явных поучений его проповеди.

Всем сказанным мы не хотели вовсе устанавливать той мысли, что среда и сюжет, избранные Горьким для драмы, ни при каких условиях для этой цели не годятся. Лично тому или иному зрителю такая тема и такая обстановка может быть антипатична, но это еще не служит приговором темы.

Наоборот, мы утверждаем, что связь Петра с Василисой, стремление Петра к Наташе, ее готовность полюбить его, роль во всем этом Костылева, его насильственная смерть, изуверское мщение ревливой Василисы, — все это достаточные элементы для драмы, и для драмы очень сильной. Но тогда именно этой коллизией чувств и следовало заняться, ее и нужно было выдвинуть на первый план. Все остальные лица для развития этой центральной драмы маловажны. Зритель ни на минуту не должен забывать о главных лицах. А в пьесе Горького они постоянно оттесняются на задний план. И когда их трагедия уже разыгралась, автор дает еще одно (4-е) действие, ничего не прибавляющее к основному положению. Драма Пепла интересует зрителя не более, чем умирание Анны, беседа Актера и Сатина, появление пьяного Алешки с гармоникой.

Низведенная на степень картинки, эпизода, дополнительно рассказа, драма Пепла, даже вовсе выкинутая из пьесы «На дне», не лишила бы любителей таких грязных удовольствий всей меры потребного им наслаждения.

Поясним сравнением это утверждение наше. В пьесе-феерии «В 80 дней вокруг света», взятой из романа Жюль Верна, любовное приключение героя, Филеаса Фога, со спасенной им от костра индусской-вдовой совершенно исчезает перед зрителями в массе интересных подробностей: крушений кораблей, нападений индейцев на поезд, грота змей и т. п. Там зрелище поглощает романтическую завязку.

Как ни странно, но в писанной для развращения взрослых пьесе Горького получается то же впечатление, что и в составленной на скорую руку феерии для развлечения детей: обстановка и подробности поглощают сущность.

Сущность эта, однако, не в ядре драмы, как уже мы говорили, а в ее проповеднической стороне, к которой ныне и перейдем.

V

Проповедников в пьесе «На дне» двое: старик-странник Лука и «интеллигентный» босяк, лишенный прав состояния, пьяница и шулер, Сатин. Лука — начало примиряющее, Сатин — начало протестующее. В конце концов учение Луки помогает Сатину высказать окончательные положения своего нравственного, или, вернее, безнравственного кодекса.

Лука нарисован с заимствованием характерных черт у Акима из «Власти тьмы». Но разница между ними большая. Она проистекает главным образом от разницы в степени таланта М. Горького и Л. Н. Толстого. Толстой, при всех усилиях последних лет затемнить свое гениальное художническое дарование бредом своего лжеучения, никак этого достигнуть не может. Его талант пробивается сквозь толщу наносного мнимо-философского хлама и дает во всех, даже самых тенденциозных его произведениях, художественные образы и картины необыкновенной силы и красоты. Аким — представитель непротивления злу и толстовского вероучения в его, так сказать, натуральном виде, вдруг возвышается в последней сцене драмы до истинно христианского понимания покаяния.

Ничего подобного из картонного Луки М. Горького выйти не может. Он начал его рисовать теми красками, которые остались на палитре Толстого от изображения Акима, а когда увидел, что бледная фигура выходит довольно точной, но жалкой копией первообраза, то прибавил к образу Луки некоторую хитрость. Эта затаенная хитрость обращает нравственные поучения Луки в практические советы и отнимает от них все их духовное значение. Лука в конце концов поступает так, как ему лучше и выгоднее. В известный момент он скрывается с горизонта. Есть еще разница между Акимом и Лукою. Акиму нечего бояться полиции. Разве недоимки за ним числятся — и только. А Лука, видимо, беспаспортный, бродяга в полном значении этого слова. Без этого аксессуара действующим лицам Горького как-то не по себе. Они непременно должны быть на нелегальном положении, и тогда лишь их творец чувствует себя среди них как дома.

Сатин — порождение самого Горького. Это — опять человек, приобретший проповеднические права пьянством, преступлением, полным падением. Сатин наслушался Луки, соединил его положения со своими и пришел к выводу совершенного отрицания всего, кроме «человека», имеющего какие-то особые права потому только, что он — человек.

Главная основа учения Луки потому сходится с учением Сатина, что для них обоих центром является не то или другое нравственное правило, не вера во что-либо, а их эгоистическое представление о человеке как собственном центре и центре всего окружающего. Понятия о вере и правде считаются Лукой условными. Он видит в них только практическое применение к каждому отдельному случаю. Луке не «возвышающий обман»

дороже «тмы низких истин», ему ложь дороже правды, если правда может обеспокоить человека.

Вор Васька Пепел, который имеет родственные черты и с Фомой Гордеевым, и с другими подобными героями Горького, беседует с Лукою. Пепел по природе жизнерадостен, но в нем нет-нет да и проснется червь сомнения, его грызущий. Лука советует ему уйти из ночлежки, где осложнившиеся отношения Пепла к супругам Костылевым и Наташе не сулят ничего доброго.

Лука. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места...

Пепел. Куда! Ну-ка говори...

Лука. Иди... в Сибирь!

Пепел. Эге! Нет, уж я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту на казенный счет.

Лука. А ты слушай, иди-ка! Там ты себе можешь путь найти... Там таких — надобно!

Пепел. Мой путь — обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне то же заказали... Я, когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын...

Лука. А хорошая сторона — Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе, да в разуме, тому там — как огурцу в парнике.

Пепел. Старик! Зачем ты все врешь?

Лука. Ась?

Пепел. Оглох! Зачем врешь, говорю?

Лука. Это в чем же вру-то я?

Пепел. Во всем... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь — врешь! На што?

Лука. А ты мне — поверь, да поди сам погляди... Спасибо скажешь... Чего ты тут трешься? И... чего тебе правда больше нужна... подумай-ка! Она, правда-то, может обух для тебя...

Пепел. А мне все едино! Обух, так обух...

Лука. Да, чудак! На что самому себя убивать?

Бубнов. И чего вы оба мелете? Не пойму... Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Знаешь ты правду про себя... да и все ее знают...

Пепел. Погоди, не каркай! Пусть он мне скажет... слушай, старик: Бог есть? *(Лука молчит, улыбаясь)*.

Бубнов. Люди все живут... как щепки по реке плывут... трют дом... а щепки — прочь...

Пепел. Ну? Есть? Говори...

Лука *(негромко)*. Коли веришь, есть. Не веришь, нет... Во что веришь, то и есть... *(Пепел молча, удивленно и упорно смотрит на старика)*.

«Коли веришь в Бога — Он есть. Коли не веришь — Его нет». Определеннее высказаться нельзя. Для Луки, хотя он в другом месте и поминает Христа, никакого Бога нет. Он Его не

ищет и в Нем не нуждается. Бог — это у Луки мечта, иным людям нужная, для других бесполезная. Учение легкое и удобное. Пепел, видя, что старик как будто добрый и толковый, в мгновение пробуждающейся совести обращается к нему в поисках правды, а Лука отвечает: и не ищи правды, — «она, может, обух для тебя». Эта упрощенная мораль, действительно, удобна. Никаких нравственных требований ни к кому не предъявляется. Живи, пока живется, угрызения совести отбрось, как помеху.

Лука тверд в своем представлении о том, что ничего на свете нет, кроме того, что человек себе вообразит.

Лука участвует в очень характерной начальной сцене третьего действия.

Н а с т я (*закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает*). Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились... а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и — белый, как мел, а в руках у него леворверт...

Н а т а ш а (*грызет семечки*). Ишь! Видно, правду говорят, что студенты — отчаянные...

Н а с т я. И говорит он мне страшным голосом: — Драгоценная моя любовь...

Б у б н о в. Хо-хо! Драгоценная?

Б а р о н. Погоди! Не люблю — не слушай, а врать не мешай... Дальше!

Н а с т я. Ненаглядная, говорит, моя любовь! Родители, говорит, согласия не дают, чтобы я венчался с тобой... и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну, и должен, говорит, я от этого лишиться себя жизни... А леворверт у него — огромный и заряжен десятью пулями... Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца! — решился я бесповоротно... жить без тебя — никак не могу. И отвечала я ему: незабвенный друг мой... Рауль...

Б у б н о в (*удивленный*). Чего-о? Как? Караул?

Б а р о н (*хохочет*). Настька! Да ведь... ведь прошлый раз — Гастон был?

Н а с т я (*вскакивая*). Молчите... несчастные! Ах... бродячие собаки! Разве... разве вы можете понимать... любовь? Настоящую любовь? А у меня — была она... настоящая! (*Барону*). Ты! Ничтожный!.. Образованный ты человек... говоришь — лежа кофей пил...

Л у к а. А вы — погоди-те! Вы — не мешайте! Уважьте человеку... не в слове — дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело. Рассказывай, девушка, ничего!

Б у б н о в. Раскрашивай, ворона, перья... ваяй!

Б а р о н. Ну, дальше!

Н а т а ш а. Не слушай их... что они? Они — из зависти это... про себя им сказать нечего...

Н а с т я (*снова садится*). Не хочу больше! Не буду говорить... Коли они не верят... коли смеются... (*Вдруг, прерывая речь, молчит несколько*

секунд и, вновь закрыв глаза, продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в отдаленную музыку). — И вот — отвечаю я ему: радость жизни моей! Месяц ты мой ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете... потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, — говорю, — не лишай себя молодой твоей жизни... как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты — вся их радость... брось меня. Пусть лучше я пропаду... от тоски по тебе, жизнь моя... я — одна... я — таковская! Пускай уж я... погибаю, — все равно! Я — никуда не гожусь... и нет мне ничего... нет ничего... *(Закрывает лицо руками и беззвучно плачет).*

Н а т а ш а *(отвертывается в сторону, негромко).* Не плачь... не надо! *(Лука, улыбаясь, гладит голову Настю).*

Б у б н о в *(хохочет).* Ах... чертова кукла! а?

Б а р о н *(тоже смеется).* Дедка! Ты думаешь, это правда? Это все из книжки «Роковая любовь»... Все это — ерунда! Брось ее!

Н а т а ш а. А тебе что? Ты молчи уж... коли Бог убил.

Н а с т я *(яростно).* Пропадающая душа! Пустой человек! Где у тебя — душа?

Л у к а *(берет Настю за руку).* Уйдем, милая! ничего... не сердись! Я — знаю... Я — верю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит, была она! Была! А на него — не сердись, на сожителя-то... Он... может, и впрямь из зависти смеется... у него, может, вовсе не было настоящего-то... ничего не было! Пой-дем-ка!..

Н а с т я *(крепко прижимая руки к груди).* Дедушка! Ей-Богу... было это! Все было!.. Студент он... француз был... Гастошей звали... с черной бородкой... в лаковых сапогах ходил... разрази меня гром на этом месте! И так он меня любил... так любил!

Л у к а. Я — знаю! Ничего! Я верю! В лаковых сапогах, говоришь? А-яй-ай! Ну — и ты его тоже — любила? *(Уходят за угол).*

Проститутка низшего разбора, Настя, любовница босяцкого барона, услаждает свою горькую жизнь чтением бульварных романов. Она желает верить, что прочтенное ею в романах было в действительности, и ни с кем другим, как именно с нею. Этот мотив уже был ранее разработан М. Горьким в рассказе «Бо-лесь», где некрасивая и немолодая проститутка просила каждого, с кем познакомится, составлять ей письма к воображаемому возлюбленному Болесю. Горькому кажется, что это выходит необыкновенно трогательно. Он и в «На дне» повторяет тот же сентиментально лубочный прием.

«Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит, была она!» Опять то же, что и о Боге. Хочешь Его сочинить, хочешь вообразить себе любовь — Бог и любовь существуют. Не хочешь — их нет!

Все дело в человеке. А что такое этот «человек», нам объяснит потом Сатин.

Лука сдабривает свою проповедь понятием о жалости, о необходимости приласкать человека.

Лука. Поди-ка, вот... приласкай! Человека приласкать — никогда не вредно...

Наташа. Добрый ты, дедушка... Отчего ты — такой добрый?

Лука. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да! Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-то всех жалел и нам так велел. Я те скажу — вовремя человека пожалеть... хорошо бывает! Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском-городом... Ну, ладно! В лесу дача стояла, место глухое... а зима была и — один я, на даче-то... Славно — хорошо! Только раз — слышу — лезут!

Наташа. Воры?

Лука. Они лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел... Гляжу — двое... открывают окно — и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: ах, вы!... пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором... Я их упреждаю — отстаньте, мол! А то сейчас — стреляю!.. Да ружьишко, то на одного, то на другого навожу. Они — на коленки пали: дескать — пусти! Ну, а я уж того... осердился за топор-то, знаешь! Говорю — я вас, лешие, прогонял, не шли... а теперь говорю: ломай ветки один который-нибудь! Наломали они. Теперь, приказываю, один — ложись, а другой — пори его! Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку, А как выпоролись они... и говорят мне — дедушка, говорят, дай хлеба, Христа ради! Идем, говорят, не жрамши. Вот-те и воры, милая... *(смеется)*... вот-те и с топором! Да... Хорошие мужики оба... Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили. А они — надоело, говорят... просишь, просишь, а никто не дает... обидно! Так они у меня всю зиму и жили. Один, — Степаном звать, — возьмет, бывало, ружьишко и закатится в лес... А другой, — Яков был, — все хворал, кашлял все... Втроем, значит, мы дачу-то и стегли. Пришла весна — прощай, говорят, дедушка! И ушли... в Россию побрели...

Наташа. Они беглые? Каторжане?

Лука. Действительно, так, беглые, с поселенья ушли... Хорошие мужики!.. Не пожалей я их — они бы, может убили меня... али еще что... А потом — суд да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма — добру не научит... да! Человек — может добру научит... очень просто! *(Пауза.)*

Бубнов. Мм-да!.. А я вот... не умею врать! Зачем? По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

Клещ *(вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит)*. Какая правда? Где — правда? *(Треплет руками лохмотья на себе)*. Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанница... пристан-ща нету! Издыхать надо... вот ока правда! Дьявол! На... на что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне — правду? Жить — дьявол — жить нельзя... вот она, правда!..

Бубнов. Вот так... забрало!..

Лука. Господи Иусе... слышь-ка, милый! Ты...

К л е щ (*дрожит от возбуждения*). Говорите тут — правда! Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех! И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она — проклята! (*Бежит за угол, оглядываясь*).

Л у к а. Ай-яй-ай! Как встревожился человек... И куда побежал?

Н а т а ш а. Все равно как рехнулся...

Б у б н о в. Здорово пущено! Как в театре разыграл... Бывает это, частенько... Не привык еще к жизни-то...

П е п е л (*медленно выходит из-за угла*). Мир честной компании! Что, Лука, старец лукавый, все истории рассказываешь?

Л у к а. Видел бы ты... как тут человек кричал?

П е п е л. Это Клещ, что ли? Чего он? Бежит, как ошпаренный...

Л у к а. Побежишь, если этак... к сердцу подступит...

П е п е л (*садится*). Не люблю его... больно он зол, да горд. (*Передразнивая Клеща*). «Я — рабочий человек». И — все его ниже, будто... Работай, коли нравится... чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и — молчит!

Л у к а (*задумчиво, к Бубнову*). Вот... ты говоришь — правда... Она, правда-то, не всегда по недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь... Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил...

Б у б н о в. Во что-о?

Л у к а. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле, — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — за всяко-просто — помогают и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти... праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись, да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! потерплю! Еще несколько подожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю... Одна у него радость была — земля эта...

П е п е л. Ну? Пошел?

Б у б н о в. Куда? Хо-хо!

Л у к а. И вот в это место — в Сибири дело-то было, — прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками... Человек и говорит ученому: покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога? Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет!

П е п е л (*негромко*). Ну? Нету? (*Бубнов хохочет*).

Н а т а ш а. Погоди ты... ну, дедушка?

Л у к а. Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет... Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! а по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: ах, ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый... да

в ухо ему — раз! Да еще!.. (Помолчав). А после того пришел домой и — удавился!..

(Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу).

По-видимому, старик будто и добрый, но на самом деле он преисполнен лукавства. Он большой утилитарист, под покровом слащавых поучений.

Пеплу, который в приведенной сцене жестоко осудил «рабочих людей», Лука покровительствует. Когда Пепел уговаривает Наташу уйти с ним и обещает бросить воровство, Лука поддерживает его. Он говорит:

Лука. И я скажу — иди за него, девонька, иди! Он — парень ничего — хороший! Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он тебе — поверит... Ты только поговаривай ему: Вася, мол, ты — хороший человек... не забывай! Ты подумай, милая, куда тебе идти окромя-то? Сестра у тебя — зверь злой, про мужа про ее — и сказать нечего: хуже всяких слов старик... и вся эта здешняя жизнь... куда тебе идти! А парень — крепкий...

Опять, как средство уладить жизнь, — воображаемая искусственная правда. Повторяй человеку, что он — хороший человек, и он поверит.

Надавав всяких таких советов, Лука исчезает столь же внезапно, как и появился. Он идет «в хохлы... Слыхал я... открыли там новую веру... поглядеть надо... да! Все ищут люди, все хотят, как лучше... дай им, Господи, терпенья!»

Речь идет о сектантах, штундистах¹⁵ и тому подобных, которые «придумают, как лучше». Это сказано вскользь, будто мимоходом, но говорить это вовсе не требовала сама пьеса. Но отчего же не воспользоваться удобным случаем и не намекнуть, что улучшение жизни проистечет из тех элементов, которые заведомо антигосударственны и антиобщественны.

VI

Главная проповедь идей Горького возложена в его пьесе не на Луку, однако. Те слова, которые нужны Горькому, — их говорит Сатин. Высказывается он окончательно, начистоту, как это всегда бывает у Горького в заключительных сценах.

Клещ, муж Анны, заевший жену, — представитель рабочего класса, оспариваемый в своих воззрениях и Пеплом, и Сатиным. Как ни черно нарисован Клещ, но он знает, чего хочет, он видит исход только в труде и за это удостоен от Максима Горь-

кого всяческого презрения. Ему и прозвище дано подходящее — «Клещ». Все гнущие спину над честным трудом — клещи, никуда не нужные люди!

Интересна сцена между Лукой, Сатиным и Клещом.

Лука. Как же ты свихнулся со стези своей, а?

Сатин. Какой ты любопытный, старикашка! Все бы тебе знать... а — зачем?

Лука. Понять хочется дела-то человеческие... а на тебя гляжу — не понимаю! Эдакий ты бравый, Костянтин... не глупый... и вдруг...

Сатин. Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел... а после тюрьмы — нет ходу!

Лука. Ого-го! За что сидел-то?

Сатин. За подлеца... убил подлеца в запальчивости и раздражении... В тюрьме я и в карты играть научился...

Лука. А убил — из-за бабы?

Сатин. Из-за родной сестры... Однако — ты отвяжись! Я не люблю, когда меня расспрашивают... И... все это было давно... сестра — умерла... уже девять лет... прошло... Славная, брат, была человечинка сестра у меня!..

Лука. Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь — так взвыл... а-а-яй!

Сатин. Клещ?

Лука. Он. Работы, кричит, нету... ничего нету!

Сатин. Привыкнет... Чем бы мне заняться?

Лука (*тихо*). Гляди! Идет... (*Клещ идет медленно, низко опустив голову*).

Сатин. Э, вдовец! Чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать?

Клещ. Думаю... чего делать буду? Инструмента — нет... все — похороны съели!

Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто обременяй землю!..

Клещ. Ладно... говори... Я — стыд имею пред людьми...

Сатин. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живет... Подумай — ты не станешь работать, я — не стану... еще сотни... тысячи, все! — понимаешь? — все бросают работать! Никто ничего не хочет делать — что тогда будет?

Клещ. С голоду подохнут все...

Лука (*Сатину*). Тебе бы с такими речами к бегунам идти... Есть такие люди, бегуны называются...

Сатин. Я знаю... они — не дураки, дедка!

Каковы слова, произносимые со сцены! «Все бросают работать, никто ничего не хочет делать — что тогда будет?»

Клещ отвечает резонно, что «с голоду подохнут все»... Клещ понимает лишь рабочих, не видя по узости своих понятий, что не одни рабочие, а точно «все» могут подохнуть при общей забастовке. Но Сатин, со своим советом — «ничего не делай! Про-

сто обременяй землю»... — знает, что он говорит. Ему нельзя досказать всей своей мысли, «по независящим от автора обстоятельствам», но она и так достаточно ясна и достаточно зажигательна для умов некоторой части общества. Понимает Сатина и Лука. «Тебе бы с такими речами к бегунам идти...», — говорит он. И Сатин отвечает, что бегуны — не дураки.

Драма драмой, а план кампании довольно определенный: рабочие должны забастовать, Луки — Петры Пустынники будущего босяцкого похода — пойдут к штундистам, Сатины — будущие Годфриды Бульонские¹⁶ того же похода — к бегунам... «Что тогда будет?» Да, если бы план привести в исполнение, очень понятно, что бы было. Была бы, повторяем, новая пугачевщина, горше первой. Был бы «русский бунт бессмысленный и беспощадный»¹⁷. Только к скрытой пропаганде этого бунта и могут быть направлены все зажигательные речи горьковских героев.

Мы уже не раз в настоящем исследовании на это указывали, мы должны будем в заключительной главе особенно на этом настоять, но и тут, при беседе о пьесе «На дне», мы считаем долгом указать на это. Оставим горьковского Луку босяком правды. Не будем бояться ее, не будем прятаться за ширмы только художественной оценки произведения, явно тенденциозного. Максим Горький, невзирая на его талант (вовсе уже не такой колоссальный, как кажется его поклонникам), не мог бы иметь такого успеха, если бы его огонь не заключался в проповеди разрушения современного общества.

«А за границей как же? — спросят нас, — ведь и в Копенгагене, в мирном Копенгагене, пьеса «На дне» имела огромный успех». И непременно должна была иметь его, скажем в ответ. Везде в Западной Европе, более, чем у нас, есть босяк, и босяк этот поднял голову. Слово «хулиган» принесено из Англии. В Дании в парламент вносился законопроект о телесном наказании за насилие над личностью. Законопроект этот не прошел, ибо нельзя насилие лечить насилием, и из истязания создавать юридическую норму, но возникновение такого законопроекта, очевидно указывает на то, что и Дании нелегко живется от проснувшегося и разнузданного босяка.

VII

Заключительная проповедь Сатина изложена в двух сценах. Лука ушел неизвестно куда. Жители ночлежки вспоминают его каждый по-своему. Барон называет его шарлатаном. Настя

за него заступается. Клещ находит, что Лука был хорош тем, что не любил правды.

С а т и н (*ударяя кулаком по столу*). Молчать! Вы все — скоты! Дубье... молчать о старике. (*Спокойнее*). Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врешь! Старик не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я — знаю! я — читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками, — тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие — прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — Бог свободного человека!

Б а р о н. Bravo! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный человек!

С а т и н. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но — еще кое-что знаю! Старик? Он — умница!.. Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье! Наливай...

(Н а с т я наливает стакан пива и дает С а т и н у).

С а т и н (*усмехаясь*). Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами. Однажды я спросил его: дед! зачем живут люди?.. (*Стараясь говорить голосом. Луки и подражая его манерам*). «А — для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и все — хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля: всех превысил и нет ему в столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и прочие рабочие люди... и все крестьяне...и даже господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, а выходит, что для лучшего! По сту лет... а, может, и больше, для лучшего человека живут».

(Н а с т я упорно смотрит в лицо С а т и н а. К л е щ перестает работать над гармонией и тоже слушает. Б а р о н, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. А к т е р, высунувшись с печи, хочет осторожно влезть на нары).

С а т и н. «Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же, деток надо уважать, ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!»

Сатин по-своему понял Луку. Его слова о правде были условной уступкой окружающим, которые не понимали его. «Че-

ловек — вот правда!» Сказано очень громко, но не поясняется и последующими афоризмами: «Ложь — религия рабов и хозяев», «Правда — Бог свободного человека!».

Какой человек представляет собою правду? Нельзя же всякого считать синонимом правды потому лишь, что, по мнению Луки, «все, как есть, для лучшего живут». Коли все, то и те, которые живут ложью, и ненавистные Горькому «рабы и хозяева».

Желая замаскировать истинную свою мысль, Горький запутался и сбился. Ему хочется, чтобы не было рабов и хозяев, т. е. ему любо сравнить рабочих и хозяев. Ему желательно, чтобы все были свободными людьми, но он не понимает истинного значения свободы, как высоты независимого человеческого духа, — того духа, которого ничто поработить не может, если он сам не наденет на себя добровольного ярма, — того духа, до которого Господь не дозволил касаться сатане, отдавая ему на испытание многострадального Иова.

Максим Горький под свободой понимает освобождение от внешних, временных, преходящих условий человеческого общежития. Но без тех или иных условий жизнь общественная идти не может. Худые условия надо исправить, заменить лучшими. К этому все и стремятся, и Лука не подозревал, что он сказал против себя и Сатина, выразив, что «все, как есть, для лучшего живут». Но не для бессознательного лучшего, а для лучшего, основанного на законах природы, человеческого общежития, на законах Божеских, от века сущих, на данных, проверенных указаниями мудрого исторического опыта.

Все это Максиму Горькому недоступно. Он произнес напыщенно, устами пьяницы: «Человек — вот правда», и дал тем оправдание всему, всяческому и от всего уклонению. Между тем, если рассматривать «человека» не как зоологическое наименование двурукого и двуного млекопитающего, то, чтобы удостоиться этого звания, мало иметь инстинкты и похоти и стремиться к их удовлетворению. Надо нечто большее.

Необходимо, во-первых, помнить об образе и подобию Божию, по коему создан человек, во-вторых, знать, что каждая человеческая особь имеет одинаковые с другою права, но может осуществить их вполне лишь при совершенстве всех в совокупности сил тела, разума, духа, доброй нравственности.

Уклоняющиеся от путей этих, желающие главенствовать, потому что природа дала широкую хульную глотку, а кабак наделил пьяным угаром, ни имени человеческого не достойны, ни правами человеческими не смеют пользоваться.

А как же достигнуть истинного человеческого знания, если и Бог, и любовь сведены на степень более или менее пригодных фикций, самообманного марева?

Во второй из сцен, о которых мы говорим, Сатин вещает так, уговаривая Барона не мешать молиться Татарину.

Когда я пьян... мне все нравится... Н-да... Он — молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам и потому он — свободен... Человек — вот правда! Что такое чело-вет?.. Это не ты, не я, не они... нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! *(Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека)*. Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Чело-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, Барон! *(Встает)*. Хорошо это — чувствовать себя человеком! Я — арестант, убийца, шулер — ну, да! Когда я иду по улице, — люди смотрят на меня, как на жулика...и сторонятся и оглядываются... и часто говорят мне: — мерзавец! Шарлатан! Работай! Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? *(Хочет)*. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!

В этом монологе заключается одно из популярнейших изречений Горького: «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!»

«Существует только человек!» Все — дело его рук и его мозга. Чего же вам больше. Какие еще обязанности лежать могут на людях, когда кроме них и их произвола ничего нет. И к этому, лишенному Бога и нравственности, человеку требуют уважения! Да во имя чего же? Уважение мы понимаем так: у людей есть идеалы, быть может, недостижимые вполне, но достигаемые отчасти. Достижение человеческой особью хотя некоторых ступеней этих идеалов вызывает соответственное к ней уважение. А уважать потому, что уважения требует пьяный Сатин или разрушитель Горький, никто и не может, и не станет.

Все наши слова были бы лишними, если бы Сатин был изображен объективно. Но он — глашатай идей Горького. Этого не скроешь ни пьяными словами о том, что «человек — выше сытости», ни другими фокусами.

Про Сатина, как действующее лицо пьесы, можно сказать, что пьяницы всегда пренебрегают сытостью, так как алкоголики аппетитом не обладают. Про Горького можно сказать, что

ставить человека куда-то выше сытости, по меньшей мере и неостроумно, и неискренно, когда все многочисленные произведения пресловутого Максима писаны в защиту голодающих и в осуждение несправедливости их голодания.

Как бы то ни было, пьеса «На дне» имела успех чрезвычайный. Нельзя не пожалеть того общества, которое в полном огол-тении самосознания, в забвении своих устоев, своих верований, в растлении нравственности, рвется, как римская толпа времен цезарей, ко всякой новинке и рукоплещет в неистовстве смраду, грязи, разврату, революционной проповеди, сладострастно обтирается, когда ему плюют в лицо со сцены босяцкими устами, в то время, как сам босяцкий атаман, Горький Максим, ударами пера, как ударами лома, рушит и самую почву, на которой стоит это общество.

Какой вредный писатель! Какие жалкие, слепые поклонники, читатели и зрители.

ГЛАВА ШЕСТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Биография Горького. — Легенда о нем. — Предвзятость творчества Горького. — Общий вывод.

I

В предыдущих главах настоящего очерка были разобраны или указаны все те сочинения Максима Горького, при помощи которых его литературный облик встает без прикрас во весь свой рост.

Приступая к последовательному и сразу чтению всех сочинений Горького, автор этого очерка был знаком с ними, по мере того, как они выходили в разное время и в разных изданиях. Читать вразброд сочинения писателя — одно. Перечитать сразу все им написанное — другое. Начиная последовательное чтение, мы не имели никакой предвзятой идеи. Интересовало просто узнать причину огромного успеха Горького. В глубине же памяти оставалось лишь впечатление талантливости, своеобразности, чего-то нового в смысле популяризации босячества. Отрешившись от всех ходячих разговоров, от неумеренного восхищения и от ожесточенного порицания, автор этого очерка читал сочинения Горького с полным беспристрастием, с первого его рассказа до последних произведений. Уже не наша вина, что из чтения этого вырисовывалась определенная фигура революционного проповедника, знающего, что и для чего он де-

лает, действующего по определенному, заранее, — быть может, не им одним, — выработанному плану.

Мы были бы счастливы, если бы этот вывод наш мог быть опровергнут логическими доказательствами, мы охотно взяли бы все свои слова назад и не пожалели бы ни потраченного времени на чтение Горького и писание этого очерка, ни труда, на это дело положенного.

Но, увы, вместо опровержения вывода, к которому мы пришли, мы находим лишь подтверждение его в словах самого Горького, в его наброске «Человек», помещенном в «Сборнике товарищества “Знание”». Набросок этот не беллетристическое, а прямо учительное сочинение. В нем Максим Горький делает сам сводку всего разбросанного по его рассказам, романам и драмам. Мы далее скажем об этом наброске.

Принимая во внимание высказанное нами сейчас, представляет большой интерес сама биография Горького. В ней, быть может, найдутся данные к пониманию личности и роли этого писателя.

II

Из биографий Горького останавливаемся на той, которую дал г. В. Ф. Боцяновский в своей книге «Максим Горький. Критико-биографический этюд». Г-н Боцяновский — горячий поклонник Горького. Каждая страница его книги есть дифирамб излюбленному им писателю.

Биографические данные, им приводимые, потому особенно ценны, что заимствованы из материалов, еще не напечатанных и хранящихся в архиве г. Венгерова, который, как известно, присвоил себе за последнее время право и положение первого русского критика. Выводы и работы г. Венгерова часто сомнительны, еще более сомнительна его компетентность в оценке русской словесности и ее произведений, но материалы у него несомненно имеются весьма интересные.

Биография Максима Горького, — пишет г. Боцяновский, — не совсем обычна. Пишущий под этим псевдонимом Алексей Максимович Пешков родился 14 марта 1869 года, в Нижнем Новгороде, в семье красильщика Василия Каширина, от дочери его Варвары и пермского мещанина Максима Савватиева Пешкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. Дед Горького со стороны отца был офицером, которого Николай I разжаловал в солдаты за жестокое обращение с нижними чинами.

Это был человек настолько крутой, что отец Горького с десятилетнего возраста до семнадцати лет пять раз бегал от него. Последний раз ему уда-

лось бежать из семьи своей навсегда, и он пешком пришел из Тобольска в Нижний Новгород, где поступил в ученики к драпировщику. По рассказам его матери, бабушки Горького, это был умный, добрый и очень веселый человек. По-видимому, он отличался некоторыми способностями и знал грамоту, так как, уже будучи двадцати двух лет, занимал видную должность управляющего конторой пароходства Колчина (ныне Карповой) в Астрахани, где в 1873 году умер от холеры, заразившись этой болезнью от своего сына (Горького).

Дед со стороны матери начал свою карьеру бурлаком на Волге. Через три путины он был уже приказчиком при караване балахнинского купца Заева*, потом занялся окраской пряжи, разжился и открыл в Нижнем Новгороде красильное заведение на широких началах. Будучи деловым и практичным, он, спустя самое непродолжительное время, владел уже несколькими домами в городе, имел три мастерских для набойки и окраски материи, был выбран в цеховые старшины, но, прослужив в этой должности три трехлетия, отказался от нее, оскорбленный тем, что его не выбрали в ремесленные головы... Будучи очень религиозным, он в то же время был до жестокости деспотичным и болезненно скупым. Прожив 92 года, он за год до смерти (в 1888 г.) сошел с ума.

Отец и мать Горького обвенчались «самокруткой». Богатый и гордый дед не мог, конечно, выдать свою любимую дочь за безродного и небогатого человека, каким представлялся ему отец Горького. Семейная обстановка, в которой проходило детство Горького, не представляла собой ничего благоприятного для его развития. Четырех лет он потерял отца. Мать, вскоре затем вышедшая замуж второй раз, передала его совершенно на руки деда, который, научив внука читать по Псалтырю и Часослову, определил его в школу, где ему пришлось пробыть всего только пять месяцев. Заразившись оспой, Горький кончил учение и больше уж его не возобновлял. В это время мать умерла от скоротечной чахотки, а дед разорился. Из родственников только одна бабушка, чрезвычайно добрая и самоотверженная старушка, любила мальчика, остальные же относились к нему если не враждебно, то совершенно равнодушно. Никто из них поэтому не позаботился даже, чтобы дать мальчику хотя бы первоначальное образование, и, по достижении им девятилетнего возраста, его отдали в «мальчики» в магазин обуви, но месяца через два он обварил себе руки кипящими щами и был отослан хозяином вновь к деду.

По выздоровлении его отдали в ученики к чертежнику, дальнему родственнику, но через год вследствие очень тяжелых условий жизни Горький убежал от него и поступил на пароход в ученики к повару. Это был гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимов Смурый, человек сказочной физической силы, грубый, очень начитанный. Он возбудил в Горьком интерес к чтению книг. Первой понравившейся Горькому «до безумия» книгою была брошюра «Предание о том, как солдат спас Петра Великого». У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная

* Упоминается в романе «Фома Гордеев».

библиотека в мире. Эккертгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф с томом «Современника», тут же была «Искра» за 1864 год, «Камень Веры» и книжки на малорусском языке.

Почувствовав симпатию к печатному слову, Горький усердно принялся за чтение всего, что только ни попало ему под руку. Одно за другим он перечитывал такие «классические произведения неизвестных авторов», как «Андрей Бесстрашный», «Япанча», «Яшка Смертенский», «Гуак, или Непреоборимая верность» и т. п. Повар Смурый заставлял его читать Жития Святых, Эккертгаузена, Гоголя, Глеба Успенского, Дюма-отца и многие книжки франкмасонов. Чтение книг романтически-сказочного характера, в которых разного рода герои совершают необыкновенные подвиги, с раннего детства настраивало Горького на героический лад и, быть может, привило ему ту неудовлетворенность будничной серенькой жизнью, то искание чего-то высшего, героического, которое с такой силой проявилось в его позднейших литературных произведениях.

Последний вывод биографа Горького — единственный в своем роде. У Горького есть будто бы «героический лад», он ищет «чего-то высшего, героического», и все это потому, что он начитался Дюма-отца. Как могло случиться, что в благородных образах д'Артаньяна («Три мушкетера»), Бюсси («Графиня Монсо-ро»), кавалера де Мезон-Руж, графа де Монте-Кристо обрел свое вдохновение певец вонючего, пьяного, опошлившегося босячества, живописец разных Коноваловых, Орловых, Пиляев, Васек Красных, всей этой ватаги гнусных, топорщащихся, возящихся и смердящих червей — это секрет биографа. Как всякий абсурд, заверение г. Боцяновского не имело бы для нас ровно никакого смысла, тем более, что речь идет о Максиме Горьком, а не о его биографе. Но тут важно, до какого сумбура мысли способны доходить одурманенные своим поклонением избранному кумиру почитатели Горького. Дюма-отец — первоначальный вдохновитель Горького в смысле героического построения!? Да как же можно осмелиться поставить рядом эти два имени? Дюма-отец, этот образец чистых мыслей, не написавший в сотнях томов своих сочинений ни одной строки, способной ввести в соблазн, популяризовавший историю своей родины, гениальный сказочник, давший ряд образов идеального благородства, храбрости, любви к отечеству, преданности трону, Дюма, который, невзирая на свое легкомыслие в вопросах исторической точности и на свою склонность рассказывать сказки, как был, есть и останется великим писателем. И — Максим Горький! Гнойный пузырь на развращенности современной мысли, отравитель чистых порывов молодежи, кощунственный ругатель всего, чем жило и из чего сложилось общество, проповедник бунта, босяцкий провозвестник революции!

Нет! чтобы дойти до такой мысли, до такого сопоставления, надо совершенно утратить и чувство меры, и мерку здравого смысла.

Чтение, — продолжает биограф, — возбудило в Горьком потребность более или менее систематического учения, которое было прервано им в детстве. После 15-ти лет он возымел «свирепое желание» учиться, с какой целью поехал в Казань, предполагая, что науки желающим даром преподаются. Оказалось, что «оное не принято», вследствие чего он поступил в крендельное заведение по 3 рубля в месяц. Это была самая тяжелая из всех опробованных им работ, если не считать непродолжительной работы на соляных промыслах, картинку которой он дал в небольшом очерке «На соли». Обладая тенором, впоследствии пропавшим, Горький, чувствовавший любовь к пению, поступил в 1888 или 1889 году в хор, который в это время набирал оперный антрепренер Орлов-Соколовский. Этот эпизод интересен в том отношении, что вместе с Горьким явился на пробу голоса его друг Шалапин, который, однако, был забракован.

В этот период жизни он получил возможность близко изучить среду «бывших людей», в которой он довольно долго жил и потому его рассказы «Коновалов», «Мой спутник», «Дело с застегками» и «Бывшие люди», являясь вполне правдивым отражением его личного житья в это время, имеют почти автобиографическое значение. По ним можно составить себе довольно определенное понятие не только о фактах внешней жизни Горького, но отчасти также и о его внутреннем настроении. Наравне с бывшими людьми он работал на Устье, пилил дрова, таскал грузы, задыхался в булочной... В то же время каждую свободною минутою он пользовался для того, чтобы сесть за книжку, почитать, подумать над вопросами, которые час-от-часу становились все более и более «проклятыми», все более и более мучительными. Решать эти вопросы и читать книги можно было, конечно, только урывками, во время коротеньких досугов, остававшихся между делом. Найдя себе внимательного слушателя и собеседника в лице своего начальника, пекаря Коновалова, Горький нередко превращал душевные стены пекарни в аудиторию. Посадят, бывало, хлеб в печь, а сами за книжку. И вот стены пекарни выслушивают «Подлиповцев» Решетникова, «Бунт Стеньки Разина» Костомарова, «Тараса Бульбу» Гоголя, «Бедных людей» Достоевского и т. д. и т. д. «Подлиповцы» были прочитаны Горьким в течение одной ночи. Посадят печь, приготовят другую и опять за чтение, а там начинаются дебаты по поводу прочитанного, о действиях героев, о смысле жизни и т. д. и т. д. Праздники давали возможность Горькому и Коновалову выходить на время из той, в полном смысле слова ямы, какою была пекарня, на свежий воздух, пожить на лоне природы, повидать людей.

Дальше биограф дает выдержки из рассказа Горького «Коновалов», придавая им безусловно биографическое значение. Горький и Коновалов соприкасаются с природой и тогда Горькому становится легче. Но после общения с природой приходится идти в ту же сырую и мрачную яму пекарни.

О его настроении в это время, — говорит биограф, — лучше всего можно составить себе понятие по рассказу «Однажды осенью». В нем описан герой, который, очутившись без гроша в кармане и без квартиры, бесплодно искал работы и мучился настолько голодом, что «шлепая по сырому песку, упорно разглядывал его с желанием открыть в нем какие-нибудь остатки питательных веществ». Положение его было тем более ужасно, что он в это время испытывал не только физические, но и нравственные страдания. «Подумайте! — восклицает герой рассказа, — ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недосягаема была даже для авторов их, — я в то время всячески старался приготовить из себя «крупную общественно-активную силу». Мне казалось даже, что отчасти я уже выполнил мою задачу; во всяком случае в то время я в представлениях о себе самом уже доходил до признания за собой исключительного права на существование, как за величиной, для жизни необходимой и вполне способной сыграть в ней крупную историческую роль!» Результатом этих страданий было, в 1888 году, покушение на самоубийство, не имевшее, к счастью, смертельного исхода. «Прохворав, сколько требовалось, — добродушно вспоминает Горький, — я ожил, дабы приняться за торговлю яблоками».

После Казани Горький пробует счастья в Царицыне, где занимает должность железнодорожного сторожа.

Как ни тяжела была эта служба, Горький, однако, находил время и возможности удовлетворять свои интеллектуальные потребности, много писал и вел обширную переписку. Как рассказывает начальник одной из станций этой дороги, Горький чуть ли не ежедневно получал письма. В свободное от службы время его всегда можно было встретить окруженного толпой «сослуживцев»-рабочих, которым он читал какую-нибудь брошюру духовно-нравственного содержания, по географии, истории, астрономии и т. п. Начитанность Горького уже в это время была настолько велика, что он мог разъяснить своему железнодорожному начальству, что такие масоны, и даже не раз поправлял канцелярские бумаги. Начальство было так удивлено разносторонними познаниями своего сторожа, что никак не хотело поверить в его «домашнее» образование и было глубоко убеждено, что «Пешков — непременно выгнанный студент».

По случаю призыва к отбыванию воинской повинности Горький появляется в Нижнем Новгороде. В солдаты, однако, он не попадает, так как «дырявых не берут», и он становится продавцом баварского кваса, а затем пристраивается письмоводителем у присяжного поверенного А. И. Ланина. Пользующийся всеобщим уважением в Нижнем Новгороде А. И. Ланин принял горячее участие в судьбе многострадального члена «малярного цеха» и, по словам самого Горького, имел «неизмеримо огромное влияние» на его образование. Так же, как и в Казани, Горький тяготел к кружкам интересовавшейся проклятыми вопросами молодежи и уже тогда обращал на себя внимание, как «душа живая и умница». В одном из таких кружков в самом начале девяностых годов встретился с Горьким поэт

А. М. Федоров, которому он прочел свое первое печатное произведение — юмористическое стихотворение, напечатанное в «Стрекозе». По словам Федорова, Горький уже тогда обнаруживал большой художественный вкус и, выслушав то или иное стихотворение, «делал всегда чрезвычайно важные указания и чутко улавливал малейший проблеск настроения»...

Как ни хорошо жилось Горькому в Нижнем Новгороде, где он отдохнул, наконец, душой, но его снова потянуло к бродячей жизни. Почувствовав себя, по его выражению, «не на своем месте среди интеллигенции», он в 1890 году ушел путешествовать. Из Нижнего Новгорода он отправился в Царицын, затем исходил Донскую область, Украину, зашел в Бессарабию, откуда вдоль южного берега Крыма прошел на Кубань, в Черноморье.

В октябре 1892 года Горький жил уже в Тифлисе, где работал в железнодорожных мастерских. В этом же году, в местной газете «Кавказ» он напечатал свой первый рассказ «Макар Чудра», обнаруживший несомненный талант в начинающем авторе. Оставив через некоторое время Тифлис, Горький опять вернулся на Волгу, в родные края, и здесь начал писать небольшие рассказы для казанской газеты «Волжский Вестник». Не ограничиваясь провинциальной печатью, Горький послал рассказ «Емельян Пилый» в «Русские ведомости», где он и появился. Счастливая случайность свела Горького с В. Г. Короленко, бывшим в это время в Нижнем Новгороде и принявшим большое участие в «начинающем» писателе. «В 1893—1894 гг., — сообщает Горький, — я познакомился в Нижнем Новгороде с В. Г. Короленко, которому обязан тем, что попал в большую литературу. Он очень много сделал для меня, многое указал, многому научил». Это значение Короленко в своем литературном развитии Горький особенно подчеркивает в письме Д. Городецкому. «Напишите об этом, — требует от г. Городецкого Горький, — непременно напишите: его, Горького, учил писать Короленко, а если Горький мало усвоил от Короленко, в этом виноват он, Горький. Пишите: первым учителем Горького был солдат-повар Смурый, вторым — адвокат Ланин, третьим — Александр Мефодьевич Калужный, человек «вне общества», четвертым — Короленко»...

После этого всего Горького стали везде печатать нарасхват. При поездке в 1901 году в Ялту Горький знакомится с графом Толстым и близко сходитесь с Чеховым.

«Таким образом, — восклицает патетически биограф Горького, — в этом небольшом уголке крымского побережья одновременно собрались виднейшие представители нашей современной литературы».

И Толстому пришлось лезть в один мешок с Дюма.

В биографии, написанной г. Боцяновским, весьма характерно указание на то, что «разносторонние познания», проявленные железнодорожным сторожем Пешковым, заставили начальство предполагать в нем «выгнанного студента».

Действительно ли предполагало это начальство железнодорожного сторожа, — мы не умеем сказать, но что подлинность

биографии Горького не раз подвергалась сомнению людьми самых разнообразных степеней развития и взглядов, — это верно. Слишком много, как видно из предыдущих глав настоящего очерка, последовательности и продуманности в сочинениях Горького и в развитии его теорий, чтобы не заметить во всем его создании предвзятого плана, чтобы иметь возможность отнести на долю бессознательного творчества искусное введение им, все увеличивающимися дозами, яда босячества в общественный организм.

По этой причине, ввиду этой предвзятости, о Горьком сложилась и ходит легенда, факты которой не могут быть проверены, но некоторая неправдоподобность которой поддерживается следующими умозаключениями.

Как бы ни был умен самоучка, как бы ни высоко он развился, искусственность его умственного развития всегда скажется хотя бы в манере передачи своих мыслей и мнений. Человек самый заурядный, но выросший в культурной среде, воспринимает в детстве зачатки множества познаний почти бессознательно, мало-помалу, от окружающих. Когда наступает пора последовательного обучения, то обучаемый, сам того не ведая, ко многому приступает уже до известной степени подготовленным. Вследствие этого в жизни, — а если человек делается писателем, в его сочинениях, — каждая мысль является облеченной в особую форму, представляет собою не нечто сразу приобретенное, а органически сросшееся с выразителем мысли. Ломоносов, невзирая на свою гениальность и на то, что путем усидчивого труда сумел сделаться европейским ученым, обнаруживает в себе постоянно самоучку — человека, который приобрел свои обширные познания в том возрасте, когда для других общеобразовательное обучение уже бывает окончено.

У Максима Горького иногда в его вовсе неглубоких размышлениях чувствуется, что тут говорит не мужичок, вчера набравшийся ума-разума, а человек, с детства усвоивший себе круг сложных идей, которые послужили материалом для изложения его воззрений.

В пользу легенды говорит также и указание всех биографов на познания Горького в истории франкмасонства и его любовь к этим познаниям. В настоящее время франкмасоны совершенно ожидали и космополитические цели франкмасонства и всееврейства одни и те же. Они заключаются в конечном разрушении христианской культуры, христианских обществ и христианских государств¹⁸. Невозможно было бы видеть в Максиме Горьком посланца и уполномоченного франкмасонства и еврей-

ства, последовательно выполняющего возложенное на него хитрое и мудреное поручение развращающей революционной проповеди, но вся сумма его литературных поступков придает этому неправдоподобию оттенок некоторого вероятия.

Мы сами не возьмем на себя неблагоприятной задачи доказывать, что Максим Горький не Алексей Максимович Пешков, а «иной неведомый избранник», но умолчать о ходовой и ходячей легенде мы не считали себя в праве. Быть может, и Горький, и его сторонники, и пособники даже желали бы, чтобы та или иная легенда окружила ореолом таинственности и неразгаданности певца босячества... быть может, это подозреваемое в них желание и было причиной возникновения легенды.

III

Принимая на веру факты биографии Горького, изложенные выше, мы должны остановиться на одном из них: на покушении Горького на самоубийство. Об этом и ему самому, и его биографам было бы лучше всего молчать. Многие видят в самоубийстве проявление слабости духа, другие склонны видеть в нем необыкновенный героизм и чрезвычайное мужество. Но во всяком случае, самоубийство dokonченное — явление ужасное. Самоубийство неудавшееся неизбежно возбуждает смех и презрение к неудачнику, который, дойдя до сознания, что ему следует себя из мира убрать, этого даже не сумел сделать. Хвастаться тут, как ни повернуть вопрос, нечем. Мы не знаем, какими способами лишал себя жизни Горький, но так как при сообщении о непринятии его в военную службу говорится, что «дырявых» на службу не принимают, можно заключить, что он стрелялся.

Максим Горький не один из таких неудавшихся покусителей. То же самое совершал другой «знаменитый» современный писатель, порнограф и психопат Леонид Андреев. То же самое совершали и совершают десятки и сотни недоучек, капризных и нервных себялюбцев, которым жизнь не улыбалась, потому что они, в своем тунеядстве и распущенности воли и поступков, не сумели овладеть ею.

Замечательно, что и Горький, сообщивший сведение о своем покушении на самоубийство, и его биограф г. Боцяновский не замечают, в какой мере этим некрасивым поступком умаляется человеческое достоинство Горького. В подробной биографии и это сведение безусловно необходимо, ибо ничто из черт жизни

или характера не должно быть упущено. Но подробные биографии живущих еще людей не пишутся, так как и написать их невозможно, пока человек жив. В кратком же жизнеописании волею-неволею приходится делать выбор фактов и, право, с точки зрения желающих Горькому добра, об этом покушении на самоубийство было предпочтительнее не упоминать.

Если принимать биографию Горького во всех мелочах на веру, то перед нами из рассказа г. Боцяновского обрисовывается такая фигура: способный мальчик, рожденный и выросший в неблагоприятных условиях, очень скоро, возмнив о себе, стал смотреть на людей свысока, а на себя с большим уважением. Из этого самопоклонения и вырос тот писатель, которого теперь знает вся грамотная Россия. Это самопоклонение, поставление себя выше окружающего отразилось в каждой строке Горького. Оттого и чувствуется в его писаниях красной нитью проведенная мысль: я сказал и потому это верно.

Такая самоуверенность имеет своего рода гипнотическое влияние на читателей. Этим качеством сильны всякие имеющие общественный успех проповедники. Им силен и Горький, и в нем часть его успеха.

Об успехе этом стали говорить за последнее время, что он уменьшается, что мода на Горького проходит. Слава Богу, если бы это было так, но, к сожалению, оно не совсем так. Горький, после издания пьесы «На дне», не выпускал новых произведений. Старые издания разошлись в неслыханном до Горького количестве экземпляров. Мы уже подсчитывали приблизительно, что Горький имеет в России до 5 миллионов читателей. Больше их быть не может. Нельзя же ожидать, что те, кто уже приобрел сочинения Горького, будут покупать вторые экземпляры имеющихся у них книг. О Горьком говорят меньше... Потому что с ним освоились, что он вошел в обиход жизни, но не потому, чтобы тлетворное влияние его стало ослабевать.

Литература о Горьком разрастается. Книжка г. Боцяновского, нами цитированная — не единственная. Их достаточно и еще есть. Есть между ними и забавная по внешности, как и по содержанию, книжка г. Вradия — «Краски Максима Горького»¹⁹. Оригинальность этого песнопения в честь Горького вся выражается уже одной обложкой брошюры цвета лососины; на обложку капнула откуда-то и слегка разбрызгалась капля не то крови, не то сурику.

Об истинном успехе и истинном вреде Горького можно судить не столько по количеству проданных экземпляров его сочинений и по хвалебной о нем литературе, сколько по наблюде-

ниям над словесными восторгами его почитателей. Надо видеть негодование незрелых поклонников Горького, когда перед ними осмелишься не только разоблачать, как это делается на этих страницах, их кумира, но даже просто без благоговения отнестись к нему. Среди них Горький стоит столь прочно, что воззрения его считаются, — словно, прости, Господи, евангельские истины, — непререкаемыми. Никакой спор с поклонниками Горького невозможен. При малейшем порицании босяцкого поэта, они или снисходительно улыбаются, не желая возражать «отупевшей старости» или «буржуйной» морали собеседника, или начинают говорить дерзости.

Борьба с этим утвердившимся влиянием Горького весьма затруднительна. Все логические доказательства в таких случаях оказываются бессильными.

Увлекаться свойственно молодости, и если не Горьким, то тем или иным она увлекаться будет. Источник таких увлечений имеет чистое начало. Молодость стремится к новому слову, к познанию истины, к проникновению в сущность причин зла, царящего в мире, — и охотно верит, что зло излечить можно. Не трудно убедить молодость в том, что спасение лежит, ну, хотя бы, в босяках, сформированных в общественный класс, что настоящее исцеление общественных недугов можно найти в буре, о которой гласит «Буревестник» Горького. А затем цена вещей будет устанавливаться самым странным образом. Дикое нападение босяка на офицера, находящегося перед фронтом, превратится в общественный протест угнетенного человека, который был рожден, чтобы быть независимым, — против «представителей грубой силы».

Офицер — верный слуга Царя и родины — обратится в «пре-торианца», в раба неправой власти и т. д. и т. д. На этой дорожке, как и на всякой, один первый шаг труден, а остальные уже идут сами собою.

Остается жалеть, что в молодежь вливаются незаметно, при помощи произведений изящной словесности, ядовитейшие начала, но противоядия здесь нет. Есть только организмы больные, слабые, которые гибнут от отравы, и бывают организмы сильные, которые перерабатывают сами яд и уничтожают его в себе.

Тут остается только на Бога да на выносливость молодежи уповать. И винить молодежь трудно. Как будешь винить того, кто угорел в угарной комнате? Он, может быть, и сам не рад, да, ведь, против окиси углерода устоять трудно.

Кого следует винить, так это тех легкомысленных борзописцев, которые стали восхвалять и превозносить Максима Горь-

кого, ради оригинальности, ради озорства, по отсутствию более приличной темы для фельетона. Еще более следует винить тех, кто, понимая яд, заключенный в писаниях Горького, вред общественный и государственный, ими приносимый, все-таки, а может быть именно вследствие сознания этого вреда, — не постыдились неумеренными похвалами раздуть значение таланта Горького, навязывать его чтение, усиленно рекомендовать его. Следует винить тех, кто, пользуясь хотя бы и случайно приобретенным публицистическим авторитетом, авторитет этот отдал на служение успеху Горького. Следует винить и тех, кто в погоне за успехом скандала вывел на подмостки, при тщательно обдуманной обстановке, босяков, публично выкликающих революционные речи о разрушении общества и всех основ его.

Все эти похвалы, все это необузданное кликушество сознательных и бессознательных сообщников Максима Горького в его походе против общества, государства, нравственности и религии сделали то, что среди гвалта дифирамбов, Горький едва не попал в академическое кресло, едва не сделался почетным академиком, едва не получил того звания, которое учреждено в память великого поэта Пушкина.

Обилие сообщников Горького несомненно доказывает, что общество наше серьезно нездорово, ибо в обществе здоровом, себя сознающем и уважающем, понимающем словесный смысл прочитанного и умеющем оценивать степень возможного влияния печатного произведения, сочинения Горького не заслужили бы многого...

Дело сделано. Горький царил; по нашему мнению, царит и доселе. Босяк, как революционная сила, создан в теории и создается на практике. И пусть бы ныне Горького даже забыли, вплоть до его имени, — все равно: дело сделано. Если забыть о Горьком, как об источнике босяцкого зла, то это, пожалуй, еще хуже будет, так как будет неизвестно, где гнездится корень зла.

Обличить Горького, раскрыть его карты, это — только первая половина задачи. Есть еще вторая половина и, быть может, важнейшая и труднейшая во всяком случае. Босячество в его теперешнем виде ожидает своего исследователя, спокойного, терпеливого, способного, при исследовании, до времени скрыть свое душевное негодование и дойти в исследовании до конца. Лишь зная недуг, возможно укрывать его. А недуг босячества требует врача, если нужно, беспощадного, к членам, зараженным гангреною.

IV

В этой, последней, главе необходимо было свести к одному знаменателю все говоренное об учении Горького. Максим Горький значительно облегчил нам этот труд.

В книге первой «Сборника товарищества «Знание» за 1903 год» (вышла в 1904 году) помещен этюд Горького под заглавием «Человек». В этом произведении, которое стремится быть написанным в стихах, хотя и напечатано, как печатается проза, — Горький сам дает вытяжку из своего учения. Эта вещь так нужна для окончательного понимания Горького и так невелика, что приводим ее во всей ее неприкосновенности.

I

...В часы усталости духа, — когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет холодом, — когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится на одном месте, бессильная подняться выше, лететь вперед; — в тяжелые часы усталости духа, силою моего воображения, я вызываю пред собой величественный образ Человека!

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его, необъятный, как мир, медленно шествует — вперед! и — выше! трагический прекрасный Человек!

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая в моменты утомленья — творит Богов, в эпохи бодрости — их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — «зачем он существует?» — он мужественно движется — вперед! и — выше! по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь: и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы; тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно претворяет, из опыта — науки создает и, каждым шагом украшая жизнь, как солнце землю щедрыми лучами, — он движется все — выше! и — вперед! звездой путеводной для земли...

Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, — идет свободный, гордый Человек, далеко впереди людей и выше жизни, один — среди загадок бытия, один среди толпы своих ошибок... и все они ложатся тяжким гнетом на сердце гордое и ранят сердце, и терзают мозг, и, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его — их уничтожить.

Идет! В груди его режут инстинкты, противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки, привязанностей цепкие волокна

опутывают сердце, точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок силе их... все чувства овладеть желают им, все жаждет власти над его душою.

А тучи разных мелочей житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути.

И как планеты окружают солнце — так Человека тесно окружают созданыя его творческого духа: его — всегда голодная — Любовь, вдали за ним прихрамывает Дружба; пред ним идет усталая Надежда; вот Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а Вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятья...

Он знает всех в своей печальной свите — уродливы, несовершенны, слабы созданыя его творческого духа!

Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве ведут и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя.

И тут же — вечный спутник Человека — немая и таинственная Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.

Он знает всех в своей бессмертной свите и, наконец, еще одно он знает — Безумие...

Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец...

И только Мысль — подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос в сердце у него.

Свободная подруга Человека, Мысль всюду смотрит зорким, острым взглядом и беспощадно освещает все:

— Любви коварные и пошлые уловки, ее желанье овладеть любимым, стремление унижать и унижаться и — чувственности грязный лик за ней; пугливое бессилие Надежды и Ложь за ней — сестру ее родную, — нарядную, раскрашенную Ложь, готовую всегда и всех утешить и — обмануть своим красивым словом;

— Мысль освещает в дряблом сердце Дружбы ее расчетливую осторожность, ее жестокое, пустое любопытство и зависти гнилые пятна и клеветы зародыши на них;

— Мысль видит черной Ненависти силу и знает: если снять с нее окувы, — тогда она все на земле разрушит и даже справедливости побеги не пощадит!

Мысль освещает в неподвижной Вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти изуверства, бессилие ее тяжелых крылий, и — слепоту пустых ее очей.

Она в борьбу вступает и со Смертью; ей, из животного создавшей Человека, ей, сотворившей множество богов, системы философские, науки — ключи к загадкам мира, — свободной и бессмертной Мысли — противна и враждебна эта сила, бесплодная и часто глупо-злая.

Смерть для нее ветошнице подобна, — ветошнице, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою ворует нагло здоровое и крепкое.

Пропитанная запахом гниения, окутанная ужаса покровом, бесстрастная, безличная, немая, суровою и черною загадкой всегда стоит пред Человеком Смерть, а Мысль ее ревниво изучает — творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертья...

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

II

Вот он устал, шатается и стонет; испуганное сердце ищет Веры и громко просит нежных ласк Любви.

И Слабостью рожденные три птицы — Уныние, Отчаяние, Тоска, — три черные уродливые птицы — зловеще реют над его душою и все поют ему угрюмо песню о том, что он — ничтожная букашка, что ограничено его сознание, бессильна Мысль, смешна святая гордость и — что бы он ни делал, он умрет.

Дрожит его истерзанное сердце под эту песнь и лживую, и злую, сомнений иглы колют мозг его, и на глазах блестит слеза обиды...

И если гордость в нем не возмутится, страх Смерти властно гонит Человека в темницу Веры, Любовь, победно улыбаясь, влечет его в свои объятия, скрывая в громких обещаньях счастья печальное бессилие быть свободной и жадный деспотизм инстинкта...

В союзе с Ложью, робкая Надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье примиренья и мягкими, красивыми словами баюкает дремотствующий дух, толкая его в тину сладкой Лени и в лапы Скуки, дочери ее.

И, по внушенью близоруких чувств, он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной Лжи, которая открыто учит, что Человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим собою.

Но Мысль горда, и Человек ей дорог, — она вступает в злую битву с Ложью, и поле битвы — сердце Человека.

Как враг, она преследует его; как червь, неутомимо точит мозг; как засуха опустошает грудь; и, как палач, пытается Человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом тоски по правде, суровой мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видима сквозь сумрак заблуждений, как некий цветок, рожденный Мыслью.

Но если Человек отравлен ядом Лжи, неизлечимо твердо верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья Мысль и — дремлет, оставляя Человека во власти его сердца!

И, облаку заразному подобна, гнилая Пошлость, подлой Скуки дочь, со всех сторон ползет на Человека, окутывая едкой, серой пылью и мозг его, и сердце, и глаза.

И Человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своею в животное без гордости и Мысли...

Но если возмущенье вспыхнет в нем, оно разбудит Мысль, и вновь идет он дальше, один сквозь терния своих ошибок, один среди жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин!

Величественный, гордый и свободный, он мужественно смотрит в очи правде и говорит сомнениям своим:

— Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу, я чувствую — оно во мне растет. Я постигаю рост сознания моего моих страданий силой, и — знаю — если б не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде.

— Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознания моего! — Теперь оно во мне подобно искре — ну, что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожною болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы, — всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!

— Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга!

— Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое, — и новое создать на выкованных Мыслию незыблемых устоях свободы, красоты и — уваженья к людям!

— Непримирымый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Человеком!

— Бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно, весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом, и дарами духа!

— Да будут прокляты все предрассудки, все предубеждения и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилюя людей, — я их разрушу!

— Мое оружие — Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы!

— Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений; я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной Мысли, вослед за ней, все — выше! и — вперед!

— Для Мысли нет твердых несокрушимых и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! Все создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее роста.

— Спокойно сознаю, что предрассудки — обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся над жизнью, все созданы из пепла

старых правд, сожженных пламенем все той же Мысли, что некогда их сотворила.

— И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле битвы...

— Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!

— Иду, чтобы сгореть, как можно ярче, и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня моя награда.

— Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться.

— Сомнения! Вы — только искры Мысли, не более. Сама себя собою испытую, она родит вас от избытка сил и кормит вас — своей же силой!

— Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и злое, и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!

— Все в Человеке, — все для Человека!

Вот снова величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений, за ним — пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его.

Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и — Человеку нет конца пути!

Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше!

V

Максим Горький вызывает перед собою «величественный образ Человека», когда чувствует усталость духа. Этот Человек необъятен, как мир, и идет «вперед! и — выше!»

Человека этого Горький почему-то называет «трагически прекрасным». Как будто духовная красота человека невозможна без трагедии? Одним из высших выражений духовной красоты человека является, например, преподобный Серафим Саровский²⁰, но святой чудотворец в течение жития своего не носил в себе никаких начал трагизма. Прекрасная жизнь его текла, как тот чистый лесной родник, который, на благо людям, открыл он.

В глазах горьковского трагически прекрасного Человека светятся «лучи бесстрашной мощной Мысли».

До конца вопля Горького о Человеке осталось невыясненным, что — эта Мысль есть нечто, в человеке лежащее или из-

вне на него воздействующее, самостоятельная ли сила, вошедшая в человека, или же его собственное порождение? Последнее вернее, так как речь, произносимая Человеком, заключается словами: «Все в человеке, все — для Человека!»

Сбивчивость изложения взаимоотношения Человека с разными действующими на него началами, с Мыслью во главе, придают горьковской прозе в стихах особенную сумбуриность, довольно искусно маскирующую его проповедь всеотрицания. Сумбуриность эта делает проповедь цензурной. Быть может, это случилось и без воли автора, просто от обуявшего его самомнения, которое так и брызжет из каждой строки, из каждой буквы его наброска. Он не рассказывает, не суждения выражает, а вещает, как самозванный пророк.

Но что бы ни изображала из себя «Мысль», атрибуты ее довольно определены. Она есть величаящая сила, «которая в моменты утомленья — творит Богов, в эпохи бодрости — их низвергает».

«Боги» написаны с прописной буквы, дабы не оставалось сомнения, что в их число вносятся не только лжебоги, языческие кумиры, но и Бог вообще. Бога нет, его заменяет Мысль. Бог — это нечто создаваемое Мыслью в моменты утомления, в дремоте, так сказать, в сонном бреде, — большая фантазия, никому и ни на что не нужная, быстро низвергаемая в эпоху бодрости.

Таков именно взгляд Горького на Бога. Далее он одевает Веру в «лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков» и называет ее одним из врагов Мысли, Вера, по Горькому, неподвижна, в ней живет злая жажда безграничной власти, в ней — стремление поработить все чувства, у нее — спрятанные когти изуверства, тяжелые ее крылья — бессильны, пустые очи ее — слепы. Веры ищет только испуганное сердце.

Таким образом, Бог и Вера — это понятия вредные, порожденные человеком и им же в минуты бодрости отвергаемые. Не лучше приговор произносится о Любви и Надежде. Любовь определяется, как «голодная», Надежда, как «усталая». Они одеты в те же лохмотья, как и Вера. У Любви коварные и пошлые уловки, за нею грязный лик чувственности и ее желание — овладеть любимым, ее стремление — унижать и унижаться. Одухотворяющая сила — любовь низведена Горьким на степень простого полового влечения, проявления которого в представлении Горького могут быть только пошлыми и грязными.

Надежда осуждена еще жесточе и беспощаднее. Она пуглива и бессильна, ее родная сестра — нарядная, роскошная Ложь,

«готовая всегда и всех утешить и обмануть своим красивым словом». В мифе древних греков, когда любопытная первая женщина Пандора, жена титана Эпиметея, открыла сосуд, наполненный всяким горем и всякими бедствиями, со дна его восстала Надежда. В священном библейском сказании падшей первоначальной паре человеческой Господь дает, осуществленную впоследствии, надежду на Исккупителя. Господь наш Иисус Христос пред вознесением Своим на небо обещает ученикам Своим сошествие (совершившееся через 10 дней) Духа Утешителя.

Во все времена Надежда, сестра и сопутница Веры и Любви, жила в людях, как постигших истину, так и не постигших еще ее, а г. Максим Горький внушает, что Надежда и утешение — синонимы Лжи.

Ни Бога, ни Веры, ни Любви, ни Надежды! И, освободившись от этого багажа, от этого балласта, гордый человек идет вперед и — выше. Вперед, быть может, но вернее не выше, а ниже — прямо к тому дьяволу-гордости, который обогатил заблудших людей тем, что Максим Горький называет «Мыслью».

Человек у Горького вопиет о своем призвании. «Я призван, чтобы осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой исстрадавшейся земле, покрытой, как накожную болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы, всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!» Призван — прекрасно, но кем? Сам себя призвать человек не может. Бога нет, а о дьяволе Горький не поминает. Вероятно, призван Мыслью, так как говорится, что «Человек создан Мыслью». Но кто же она, наконец, по Горькому, — творческое начало, что ли, или порождение человека, в котором все? Полная темная дебрь сверхъестественной чепухи, не мешающей, однако, таким выводам развопившегося человека. «Я создан Мыслью затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое»... Значит, все насмарку. К «старому» добавлено — «все тесное, и грязное, все злое». Но не все же старое было непременно и тесным, и грязным, и злым? По мнению Максима Горького, это очевидно так: он не говорит — «устаревшее», которое, впрочем, и без посторонних хлопот само отпадает, он точно говорит — «старое», т. е. прежнее, т. е. все то, чем человечество жило и во имя чего жило. «Старая» религия, «старая» семья, «старое» общество, «старое» государство, «старая» царская власть, «старая» любовь к родине, «старая» преданность верных поданных, все это — «старое», и все это Мак-

сим Горький желает «опрокинуть, разрушить, растоптать». Он обещает и создание «нового» «на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и уваженья к людям». Громко, но неубедительно. Мы все же не знаем, в чем свобода, красота и уважение к людям, по Максиму Горькому. Мы не можем признать свободной распущенную бахвальную наглость разнужданного босяка, вечно пьяного, вора при случае, тунеядца по принципу, разбойника в душе, кандидата на каторгу и виселицу. Мы не можем признать красотою грязь, смрад и мерзость Орловых, Коноваловых, Сатиных. Мы не видим уважения к людям, когда к нему идут через опрокидывание, разрушение и растоптание того, что людям дорого и чем они были живы века.

Горьковский Человек не слишком много поясняет нам, утверждая, что он «непримиримый враг позорной нищеты людских желаний», что для него «бессмысленна, постыдна и противна вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно весь уходит на то, чтобы другие пресыщались и хлебом, и дарами духа!» Все это старые перепевы в защиту appetitов пролетария, желающего оценки его труда несоответственно стоимости работы, им сделанной.

Горьковский Человек проклинает «все предрассудки, предубеждения и привычки». Что он понимает под этими словами, ясно из последующего: «Для Мысли нет твердынь несокрушимых и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе!» Она сама все создала и все имеет право разрушить. Значит: Мысль придумала Бога на небе и может Его по своему произволу отменить; Мысль воздвигла храмы, полные чудотворных святынь, и она имеет право храмы перестроить на ночлежки и кабаки для босяков, а иконы и святыни выкинуть на улицу, в грязь. Мысль создала Власть на земле и она может ее низвергнуть. По пословице: «годится — Богу молиться, не годится — горшки покрывать», как говорят суздальские богомазы; мысль сегодня создаст Бога, а завтра скажет, что Его нет. О Власти и говорить нечего. «Она, — говорит далее Человек Горького, — постыдна и скучна».

«Настанет день, — пророчествует Человек Горького, — и буду я подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!»

«Будешь, как боги». Ах, как это давно сказано, на заре мироздания, дьяволом-искусителем²¹. Горький повторяет это. Но тут невольно проскальзывает нотка глубочайшего комизма. Человек, звание которого звучит гордо, это, по Горькому, не кто иной, как босяк. Ныне босяк обращается в Бога. До этого

неизбежно было договориться. Это естественный конец проповеди Горького. Конец венчает дело.

Ну, и любуйтесь и поклоняйтесь, поклонники и почитатели Горького-Гомера, Горького-Шекспира! Вот он — ваш бог: босяк, рваный, грязный, пьяный, смердящий, высящийся на алтаре из навоза и битых бутылок, с рожею, покрытою синяками, со следами дурной болезни на лице и теле, напившийся или на чужие деньги, или на краденые, или на отнятые у любовницы, низменнейшей проститутки, заработанные ею ценою продажи своего больного, зараженного тела.

Да! Поклоняйтесь, почитатели! Вам говорили, что это — идеал, и вы верили; вам говорили, что это — человек, и вы повторяли: «Как это гордо звучит «человек»». Теперь вам говорят, что это — бог. Ну, и не пятьтесь назад и воскуряйте ливан и смирну в новых храмах нового живого бога. А сробеете или отвернетесь, не вынесете богохульства, — вас Горький осудит последним приговором, осудит сам «великий Максим!»

Полагаем, что далее уже идти некуда, далее от слова остается переходить к делу. Революционное воззвание, преступная прокламация налицо. Документ этот вышел в свет под заглавием «Человек». Он доступен всем и каждому. Вся первая книга «Сборника товарищества «Знание»» стоит один рубль. В ней можно найти и другие прозведения, споспешествующие целям Максима Горького.

Мы не преувеличиваем. За правоту суждения нашего говорят слова самого Горького.

Босяцкий катехизис разобран в этом исследовании. Поступательные шаги Горького отмечены. Читающий люд поставлен в известность относительно того, что он читает. Призыв «человека», т. е. босяка, к действию приведен здесь целиком.

Но какая же цель этих всех слов? К чему писалось и печаталось столько страниц? Ведь не с Шекспиром же, в самом деле, мы повстречались на поприще российской словесности, чтобы писать о нем главу за главою и подвергать разбору его творчество.

С точки зрения чисто критической, с точки зрения анализа чисто художественного, Максим Горький может подождать своего критика. Нет еще обстоятельных разборов Тургенева, Толстого, Достоевского, не говоря уже о меньших величинах, как, например, Григорович. За Горького приниматься рано. Это исследование не критическое, оно — обличительное.

Когда горит какое-либо здание, не время разбирать, из какого материала было оно сложено и правильны ли в нем были

архитектурные линии. Прежде пожар необходимо погасить, а затем уже на досуге можно заняться вопросами об архитектуре и строительных материалах.

Максим Горький именно зажег пожар. Талант ему не извинение. Чем больше был бы его талант, — тем больше был бы его ответ. Кому много дано, с того много и спрашивается.

Сам же по себе талант Горького, не принимая во внимание тем его произведений и их современного интереса, не выше таланта Е. П. Гребенки²², И. И. Панаева, ну, в крайнем случае, Д. В. Григоровича.

Максим Горький интересен и важен, как вредный противобщественный элемент.

Цель и смысл всего здесь сказанного: разоблачение и обвинение.

Смеем думать, что Горький достаточно разоблачен всем приведенным, а в чем же обвинение?

Я смело, как гражданин земли русской, как член русского общества, как верноподданный русского Царя, как православный христианин, обвиняю Алексея Максимовича Пешкова, печатающего свои сочинения под именем «Максима Горького», в том, что, злоупотребляя талантом писателя, ему от Бога данным, он в ряде сочинений, по заранее обдуманному плану, лично, или по поручению и подговору других лиц, последовательно развращал читателей.

В том, что отребье общества, горючий материал возможного общего бунта, он возвел в идеал и требует образования и признания особенного класса босяков.

В том, что, подрываясь под основы нравственности, религии, общественности и государственности, он каждую строкою своею шел против одного из этих начал.

В том, что в изящную российскую словесность он внес невиданные в ней картины человеческого падения и разврата, дойдя даже до мельчайшего в подробностях описания дома терпимости.

В том, что, не довольствуясь отдельными бытовыми очерками, достаточными сами по себе к проведению в жизнь пошлейших и гнуснейших учений тунеядства, презрения к чужой личности и к чужой собственности, он в таких вещах своих, как «Буревестник» и «Человек», под ложно-поэтической формой скрыл призыв к восстанию против существующего уклада жизни.

В том, что в умы восприимчивой молодежи он, под видом возбуждения лучших чувств молодости — жалости к бедным,

любви к свободе, влил отраву растления и бесплоднейшего противления всему сущему.

В том, наконец, что своими противообщественными, противогосударственными, безнравственными и богохульными сочинениями, он осквернил русское печатное слово и нанес ему неизгладимый урон.

В Максиме Горьком вижу я деятеля со стремлениями не лучшими, чем стремления беглого каторжника Емельки Пугачева. На лбу Максима Горького я читаю братоубийственную печать Каина, ибо ему любо возбуждать отбросы общества против общества, ему любо видеть, как одурманенные красными словами его, слепцы из членов этого общества сами лезут в босяцкую пасть, сами готовы вложить топор и лом в руки этого босяка.

Я сказал. Нравственным долгом своим считал я открыть глаза слепцам и показать им их кумира без прикрас, во всей его злодейской наготе.

Мое дело сказать обществу: пора низвергнуть эту грязь, имеваемую сочинениями Горького, из общественной потребности.

Дело общества — согласиться или не согласиться со мною.





Л. Е. ОБОЛЕНСКИЙ

Максим Горький и идеи его новых героев

(Критический этюд)

I

Немногим из писателей-беллетристов удавалось завоевать себе общественное внимание так быстро, как Максиму Горькому. Быть может, он достиг этого, приспособляясь к вкусам толпы? Наоборот: все, что до сих пор вышло из-под его пера, должно бы скорее отталкивать «большую публику», чем привлекать к нему: в его произведениях множество теоретических разговоров, чего «большая публика» не любит; герои его первых этюдов грязны, пьяны и принадлежат к подонкам общества, неинтересным «большой публике», любящей, хотя бы в воображении, пожить жизнью и сентиментами князей, графов... У Горького нет и мелочной изящной отделки деталей, излюбленной «большой публикой», которая в этом отношении избалована новейшими беллетристами. Наоборот, его художественные приемы напоминают отчасти приемы Репина в живописи, с тою, однако, разницей, что Репин, бросая на свои картины и портреты огромные, аляповатые мазки, руководится (я смею это думать) больше теорией, чем внутренней потребностью, а у Горького это — результат огромного внутреннего чувства, мучительного искания «правды жизни», которое не дает ему задуматься ни на минуту о деталях, о форме, о приемах. Его краски, эпитеты, слова вырываются сами собою, без его ведома, из сердца, измученного «сутолкой и буреломом», безобразиями и «теснотой жизни», — как вырываются вопли из груди раненного. И в этом их страшная сила. Отнимите у них эту непосредственность, эту железную грубость и раскаленность, и у нас был бы обыкновенный художник, а не Максим

Горький, бьющий по сердцу, как молотом, вызывающий бурю мыслей и настроений.

В этом, т. е. в страстности его «исканий» — его сила, его оригинальность и его власть над толпой, — конечно, не считая крупного таланта наблюдателя и психолога.

Для иллюстрации этой мысли, позвольте мне привести сделанное Горьким описание душевного состояния одного из самых интересных его героев, Фомы Гордеева. Это — молодой богач из купеческого сословия, с огромным умом и сердцем, но совершенно не культивированный. Когда он думал о жизни людей (а думал он о ней постоянно, неотступно, это была его *idée fixe**), эта жизнь представлялась ему в виде «темной толпы людей, неисчислимо большой и даже страшной огромностью своей. Столпившаяся где-то в котловине, окруженной буграми и полной пыльного тумана, эта толпа в смутном смятении толкалась на одном и том же месте и была похожа на зерно в ковше мельницы. Как будто невидимый жернов, скрытый под ногами, молот ее, и люди волнообразно двигались над ним, не то стремясь вниз, чтобы там скорее быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверх, в стремлении избежать безжалостного жернова... Шум, вой, смех, пьяные крики, азартный спор о копейках, песни и плач, носятся над этой огромной, суебливой кучей живых человеческих тел, стесненных в яме; они прыгают, падают, ползают, давят друг друга, вспрыгивают на плечи друг другу, суются всюду, как слепые, всюду наталкиваются на подобных себе, борются и, падая, исчезают из глаз. Шелестят деньги, носятся, как летучие мыши над головами людей, а люди жадно простирают к ним руки»... и т. д., и т. д.

Когда жизнь представляется в таком виде, то из груди сами собою рвутся вопли и крики у того, кто стоит вверху, в стороне, и видит все, и хочет, и не может остановить эту свалку. Так и было с Фомой Гордеевым, и так, смею думать, чувствует сам автор.

«В груди его (Фомы) возникало что-то хаотическое, одно большое, неопределенное чувство, в которое, как ручьи в реку, вливались и страх, и возмущение, и жалость, и злоба, и еще многое. Все это вскипало в груди до напряженного желания, расширявшего ее, — до желания, от силы которого он задышался, на глазах его являлись слезы и ему хотелось кричать, быть зверем, испугать всех людей — остановить их бессмысленную возню, влить в шум и суету их жизни что-то новое, свое, ска-

* навязчивая идея (фр.). — *Ред.*

заты им какие-то громкие, твердые слова (NB), направив их всех в одну сторону, а не друг против друга. Ему хотелось хватать их руками за головы, отрывая друг от друга»... и т. д.

Но тут новая мука: «Он чувствовал, что как бы громко и могуче ни крикнул им: «Как живете? Не стыдно ли?» — они могут и должны ответить вопросом: «А как нужно жить?» Он прекрасно понимал, что после такого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги к людям, к жернову. И смехом бы проводили они его гибель».

И вот откуда возникает это страстное, даже более, — это «жадное» искание «смысла жизни», заставляющее Фому обращаться и к интеллигентам всевозможных типов, и к странникам, и, не получая нигде ответа, бросаться в пьянство, оргии, дебоши, ненавистные и отвратительные ему больше, чем кому-либо из всех окружающих его и порицающих его жизнь.

И такое же страстное искание видим у Горького. Он также мечется и допрашивается правды у всех, существующих среди нас, идей и направлений. И это доходит до того, что Н. К. Михайловскому, тщательно изучившему произведения Горького, показалось возможным воскликнуть в конце своей статьи о нем: «И неужели этой силе суждено зачахнуть в какой-нибудь нашей «яме», или уверовать в тонкость и остроту «декадентских» игл?» («Русск<ое> бог<атство>». 1898. № 10. С. 93).

Даже декадентских!

Это было написано еще до появления Фомы Гордеева и «Мужика». Интересно исследовать теперь, в какую сторону направились искания этого могучего таланта, и можно ли ожидать, по этому направлению, что он «заглохнет в яме» или дойдет до декадентства?

II

Я не ошибусь, если скажу, что теперь Максима Горького охватило стремление искать объяснения смысла жизни и своих типов в принадлежности их к тому или другому общественному классу. Правда, еще рисуя своих босяков, автор уже задавался вопросом о необходимости отнести их в особый «класс» (пролетариат?). Но он тогда не связал, мне думается, ясной нитью их частные черты с идеей пролетариата. Перед ним мелькало чересчур много типов, они были крайне разнообразны, иногда противоположны (протестующие и созерцатели, жестокие и кроткие etc.). Наконец, они отличались особой

сложностью, так как носили в себе смесь черт своей бывшей принадлежности к разным классам с чертами, вложенными в них общественной отверженностью: тут были — и бывший ротмистр, и дьякон, и учитель, и мастеровой... Наконец, общие черты, свойственные им всем, — неудачничество, пьянство, разврат, — вообще.

Только в «Фоме Гордееве» (1899 г.) мы видим отчетливую попытку свести к «классовому» объяснению целый ряд фигур и именно фигур «интеллигентных». Почему только их, это вполне понятно: ведь от них привыкли все ожидать «направления» жизни, света, ответов на вопросы: «Как же следует жить?»

Таким образом, нужно внести дополнение в мое первое определение того курса, который взяли теперь искания Максима Горького. Это — не просто объяснения типов принадлежностью к классу, а объяснение направлений, недостатков, неудовлетворенности существующих типов русской интеллигенции классовыми причинами. Мы видим уже в «Мужике», для чего это нужно Максиму Горькому: этим путем он надеется наметить (и в «Мужике» старается наметить) приход новых типов «интеллигенции» из других классов, еще не выступавших в истории. И вот, быть может, они дадут, наконец, ответ Фоме Гордееву.

III

Прежде, чем бросим взгляд на эти попытки, заметим, что и до Максима Горького в нашей литературе возникали не раз стремления объяснить типы нашей интеллигенции их происхождением от разных общественных классов. Отсюда явилось, например, представление о «кающемся дворянине». Если не ошибаюсь, Помяловский пустил в ход тип «интеллигентного пролетария» и рядом с ним тип «мещанского счастья». Глеб Успенский старался подметить причины особенностей нашего крестьянства — в занятиях земледелием («Власть земли»); из критиков-публицистов г. Михайловский старался объяснить, например, философию Спенсера его принадлежностью к буржуазному классу (см. статьи о соч. Спенсера¹ «Изучение социологии» и др.).

М. Горький стоит не особняком в нашей литературе, но он отличается от предшественников силой, страстностью и глубокой захвата жизненных фактов именно с точки зрения этой идеи.

Его прием (конечно, непредумышленный, как я уже объяснил выше, а непосредственно рвущийся из сердца, как продукт страстного искания) состоит в том, что он, наряду с индивидуальными чертами героя, схватывает и семейные, наследственные, сложившиеся под влиянием профессии (класса) и усиливает эти последние до такой яркости, что перед нами встает уже не обыденная фигура, которую в жизни мы бы и не заметили, а полуреальное, полуидеальное, почти символическое изваяние, монумент целого сословия в его типичных чертах.

Начнем с типа молодого Маякина (в «Фоме Гордееве»). Это — сын купца — умного, пронырливого, почти гениального хищника, из которого Горький сделал тоже «монумент», символ (но живой символ) коммерции, — этого царства Меркурия, с крыльями на ногах. Маякин-отец — весь воплощенное движение, иногда росто ради движения, а часто — из корысти, не оскверненной никакой этикой, никакими проблемами совести.

Сын есть новейшее развитие этого типа: он начал с «идей», за которые был даже сослан, но мало-помалу сбросил эту первую шкурку, и из него вышел интеллигентный «буржуа», символ веры которого таков: «Источником неудовлетворения (современных интеллигентов русских) является неумение трудиться... недостаток уважения к труду. Человек должен себе избрать дело по силам и делать его как можно внимательнее. Нужно любить то, что делаешь (а если нельзя любить? А другого дела нет?), и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества (это, например, у кочегара на фабрике — творчество?). Счастье есть возможно полное удовлетворение потребностей и обусловлено отношением человека к его труду» (IV, 338—339).

Здесь вся суть этики и философии буржуазного типа, и положительно удивляешься автору, сумевшему в десятке слов схватить эту суть.

Но он показывает нам и более глубокий, скрытый механизм души Маякина-сына: Фома Гордеев пробует возразить ему из своего протестующего «нутра» тем, что «работа еще не все для человека»: «Это не верно, что в трудах оправдание, — говорит он, — которые люди не работают ничего всю жизнь, а живут они лучше трудящихся... Это как? А трудящиеся — они просто несчастные лошади! На них едут, они терпят... и больше ничего... Но они имеют перед Богом оправдание... Их спросят: вы для чего жили, а? Тогда они скажут: нам некогда было думать насчет этого... Мы всю жизнь работали... А я какое оправдание

имею? Полагаю, что непременно всем надо твердо знать, для чего живешь» (IV, 340).

На это Маякин-сын отвечает не Фоме (с которым-де и разговаривать не стоит), а своей сестре, присутствующей при разговоре:

— Вот, Люба, обрати внимание: пессимизм совершенно чужд англо-саксонской расе... То, что называют пессимизмом у Свифта и Байрона, — только жгучий, едкий протест против несовершенств жизни и человека... А холодного, рассудочного пессимизма у них не встретишь» (IV, 341).

Вот механизм этой души, с помощью которого она отмахивается от голоса этики и совести: подвел вопрос под категорию таких вопросов, которые считают отпетыми, потому что их нет у англо-саксонской расы, и свободен от него! А Фоме посоветовал читать книжки.

В этом ответе проглядывает мысль, к которой Горький возвращается не раз (как увидим далее), о вреде «книжности». И, в самом деле, на первый взгляд оно как будто и так: Фома никогда ничего не читает и он полон чувства, в нем болит совесть. Маякин-сын прочел много книг и ими отмахивался от совести, советуя тот же прием и Фоме. — Но верно ли это? В книжках ли дело? В одном месте Горький замечает, что Фома Гордеев — по женской линии потомок суровых старообрядцев-керженцев. Не вернее ли объяснить его крайнюю противоположность Маякину именно тем, что в глубине души, наследственно, он — суровый этический аскет? Но он сбит с толку, с одной стороны, старокупеческими привычками к кутежу, разгулу и «ндраву моему не препятствуй», а с другой — новейшей цивилизацией, с ее бесцельной сутолокой, огромной производительностью, не дающей никому счастья, но крутящей всех, как вихрь-ураган... Отсутствие знания — смерть для такого человека, так как он не может без него разобраться в противоречивых словах, тянущих его в разные стороны.

А Маякин-сын отмахнулся от совести и без книжек, как отмахивался его отец. Книжки дали ему только иные аргументы, чем у отца, который, впрочем, иногда тоже приводит славянские тексты из разных книжек. Следует помнить, что книжка есть только фонарь, без которого нельзя идти в темноте, но фонарь служит и святому, и разбойнику. Цель человека определяется не книжкой, а его натурой, потребностями, чувствованиями, совестью. Книжки же только освещают и указывают путь для достижения цели, и вот для этого они необходимы. Одинаковая беда и от того, что отрицают книжку, и от того,

что в ней думают отыскать цель жизни. И в том, и в другом случае источник ошибки один: не понимают назначения книжки — служить светочем для всех волей, а не пересоздавать эти воли.

IV

Еще более интересным типом в «Фоме Гордееве» является интеллигент из разночинцев, талантливый, озлобленный, страстно идейный провинциальный фельетонист Ежов. Он — сын отставного солдата: выкарабкавшийся к свету страшными усилиями и двенадцатилетним сидением «над книжками». В этом он видит источник своего теперешнего бессилия, ничтожества перед жизнью и ее злом, которое он может только ненавидеть, громить и проклинять в своих фельетонах, а дальше — пить!

Позднее мы увидим из речи Шебуева (интеллигента из мужиков), как объясняется им бессилие Ежова с классовой точки зрения, а теперь я передам вам (к сожалению, для краткости, своими словами) одну сцену, весьма важную. Наборщики пригласили Ежова на загородную прогулку, по случаю устройства у них артели (по инициативе Ежова). Захватили на это торжество и Фому Гордеева. И вот Фома замечает, что Ежов стал совсем другой, чем обыкновенно: он — какой-то торжественный и даже как будто заискивает у рабочих. В своем тосте он восклицает: «Будущее принадлежит вам! Я ваш по плоти и духу! Я — сын солдата!» Между тем, наборщики явно стесняются его, не уговаривают его остаться, а Фому Гордеева оставляют: он им ближе, роднее. У них свои разговоры не об отдаленном будущем, а о хлебе насущном: «Как бы добиться у хозяина, — просят они Ежова, — чтобы штрафы за неявку брали только с неявившихся по своей вине, а не по болезни» и т. п.

Среди них слышатся и такие речи: «А вы, Николай Матвеевич, судите не по книжке, а по живой правде... Ведь за кусок хлеба не по книжке работают, а по необходимости, и как Бог на душу положит, а не как в правилах ваших написано...»

Ежов чувствует свою «чуждость» в этой среде, в которой теоретически он привык видеть все: все свои надежды, цели, свою пристань и родной дом. И вот он ревнует рабочих к Фоме и, раздражаясь, говорит:

— Да, ведь он из тех, которые пьют вашу кровь! — Рабочие стараются деликатно замять эту речь, становятся еще ласковее с Фомой и уже почти не слушают Ежова. Фома все это чувству-

ет и понимает сердцем: он видит, что эти люди, долго задышавшиеся в свинцовой атмосфере, пришли сюда вздохнуть свежим воздухом, отдохнуть, повозиться, попеть, а их заставляют рассуждать об их «великом» будущем. Он чувствует и за Ежова и жалеет его, а когда тот, уходя домой, в темную ночь, плачет, корчится в нервном припадке и кричит, что у него «нет дома», Фома, «воз-

мученный страданием человека, измученного теснотой, полный обиды за него, в порыве злой тоски, зарычал громким голосом, обратившись туда, где сверкали огни города:

— Анафемы! Будь вы прокляты! Погодите! И вы задохнетесь!»

V

Прежде, чем мы сделаем выводы из этой сцены, перейдем к интеллигенту-мужику (он же и архитектор Шебуев) и прежде всего к его объяснению неудач интеллигента-разночинца (очерк «Мужик», «Жизнь» за март 1900 года).

— У нас был интеллигент-дворянин, — говорит Шебуев, — он на своих плечах внес на родину культуру Запада, создал огромные, вечные ценности и все-таки отцвел, не окупив и половины затрат, которые употребила страна на то, чтобы возродить его... На смену ему явился интеллигент-разночинец. Этот дешево стоил стране: он явился в жизнь как-то сразу и своей огромной силой поднял страшный груз. Он надорвался в труде и ныне тоже отцветает (вспомните, читатель, Ежова). Может быть, он возродится? Не знаю... не охотник я до гаданий... Думается мне, что дворянин и разночинец потому так скоро устали жить, что одиноки были. Родни в жизни у них не было, работали они для человечества и народа, а это — величины мало реальные, не осязательные... На смену им идет мужик, рабочий интеллигент, и в то же время растет буржуа, купец-интеллигент»...

В Шебуеве именно и выведен мужик-интеллигент. В чем же его отличие от интеллигента-разночинца? Прежде всего, у него в жизни есть «родня» (свой «класс»), поэтому его «первая задача — расширить дорогу к свету для своего брата-мужика, для брата по крови, оставшегося внизу и позади... свой брат — это уже реальность...» В другом месте он выражается определеннее: «Я не вижу в своей задаче ничего героического... Ведь, я, в сущности, не сказал нового слова. Что я сказал? Не надо забы-

вать тех, кто остался сзади нас, тем более не надо, что мы сами только что явились оттуда. Вы отметьте — мы сами оттуда, это очень важно! Нам не из сострадания, не из высших соображений, а из простого расчета не следует забывать о наших товарищах, живущих в грязи в то же время, как мы попали на лоно культуры... Нас, демократов по крови, еще не так много, чтобы нам не заботиться о судьбе наших товарищей».

Действительно, большая разница должна быть в результатах прогресса просвещения оттого, стараются ли люди за кровных или работают во имя высших соображений и сострадания. Мотив, в первом случае, проще, общедоступнее, а потому он если и не интенсивнее, то большую массу людей способен двигать. Наоборот, героев отвлеченной идеи всегда немного*.

Итак, соглашаясь с тем, что, чем больше будет притекать к интеллигенции мужиков-интеллигентов, тем дело света для массы пойдет быстрее, я должен, однако, остановиться на обвинениях Шебуева, направленных против современных интеллигентов-разночинцев. Вот главные из этих обвинений: «Они односторонне развившиеся люди, люди только ума, а жизнь требует гармонического человека, который был бы не только умен, но и добр: только тогда он будет жизнедеятелен, т. е. будет уметь не только применяться к жизни, но и изменять ее условия, согласно роста своего «я». Нас очень много, господа! И по количеству мы давно уже сила. У нас много желаний — хороших, честных... затем у нас потоки речей и ни крупницы дела! Ну, пожалуй, крупницы есть, — все эти журналы, романы, статьи, именно крупницы, не более... Одни из нас пишут, другие читают, прочитав, спорят, поспорив, забывают прочитанное... а воз наших идеалов и ныне там, если не подвинулся назад...»

Откровенно говоря, в этом очень, очень много правды. Но где же причина? С одной стороны, снова обвиняется (и, кажется, главным образом) наша «книжность»: «Чувство наше покрылось книжной пылью, изъедено молью довольно пошлых сомнений, которыми мы еще рисуемся. Послушайте наших поэтов и писателей... Жизни мы не знаем, — с детства учимся грамоте, лет по десяти кряду, а потом живем в углах на содержании нашего воображения. Кормимся мы литературой, а здоровую пищу не-посредственных впечатлений наш мозг отказы-

* Сам Шебуев признает в другом месте, что героическое самоотвержение вызывается борьбой за идеал жт;^ии, а не за кровные интересы.

вается переваривать. Когда жизнь насмешливо бросит нам в лицо одним из своих бесчисленных противоречий, мы тотчас бросаемся к книге, чтобы посмотреть: «а что там написано»...» «Между тем, любовь к идеалу, это — чувство деятельное и страстно склонное к жертве. Жизнь — это прекрасный процесс созидания идей, накопления красоты и мудрости, неустанное творчество новых форм. Но жизнь-то мы и не любим (идут доказательства). Мы любим какую-то частность, что-то выдуманное нами, но только не идеал жизни» (145).

Шебуев употребляет местоимение «мы», но в конце 145 страницы говорит, что «имел в виду интеллигента-разночинца». Себя он считает новым типом «интеллигента-мужика». Чем же, не на словах, а в действии он отличается от первого? Пока немногим: «...Они ходят в гости только друг к другу, отчасти, как бы боясь растратить среди нечестивых свои идеи, — что доказывает их недостаточную уверенность в этих идеях, отчасти же — потому, что имеют преувеличенно высокое мнение о себе». Шебуев же ходит всюду; ему знаком весь город. В результате, ему удастся подбить одного купца — выстроить «народный дом» с аудиторией, библиотекой etc.*

Судя по тому, что, сообщая об этой новости знакомым, Шебуев мрачен, можно заключить, что он считает эту победу неважной. Но тут рассказ прерывается: что сделает Шебуев дальше, — скажет будущее. Пока же мы не видим, чтобы он делал или собирался делать что-нибудь, чего не делали его предшественники (интеллигенты-разночинцы). И у них главным делом было — «вносить свет к оставшимся там, внизу», и среди них далеко не все ходили только «к своим», чуждаясь остального общества. Но они делали и больше, гораздо больше.

Возможность создавать что-нибудь новое в жизни дается только предшествующей работой созидания тех элементов, из которых можно создать это новое. Через это не проскочишь! Как бы ни был велик энтузиазм буров, но они не победят англичан, пока у них не будет больше войска. То же и относительно выступления на сцену истории разных групп. Интеллигент-дворянин мог выступить раньше разночинца и мужика, потому что даже юридические нормы не допускали другого. Конечно, отдельные гиганты, как мужик-Ломоносов, или мещане — Никитин, Кольцов, или разночинец Белинский, — могли подняться и пробиться через всякие нормы, но, ведь, таких два-три и обчелся. Но вот естественно, что первой задачей всякой на-

* и так далее (лат.). — *Ред.*

рождавшейся интеллигенции (будет ли она из дворян или из мужиков, как Ломоносов, или из мещан и разночинцев, как Никитин, Белинский), является одно: увеличить сперва свои кадры, и, конечно, вначале — по линии наименьшего сопротивления, т. е. в своей ближайшей среде. Когда же кадры настолько достаточны, что можно уже влиять и на жизнь, на те ее юридические нормы, которые мешают свету проникнуть и ниже, а стоящему внизу — подняться вверх, тогда мы видим, что у нас и интеллигент-дворянин, и интеллигент-разночинец (напр<имер>, лучшие люди 60-х годов) добиваются освобождения крестьян, создания земства (а с ним и десятка тысяч школ для народа), создания печати, несомненно более свободной, чем она была ранее и т. д., и т. д.

Таким образом, расширился не только тот круг, на который могли падать теперь лучи света, но и облегчился подъем снизу. И вот теперь оттуда уже идут не единичные гиганты Ломоносовы, а сотни и тысячи самых обыкновенных Шебуевых. Кто же это сделал для них? А далее: из кого, как не из десятков тысяч интеллигентов-разночинцев, подготовленных другими интеллигентами — дворянами и разночинцами, создались народные учителя, земские врачи, женщины-врачи, фельдшерицы, вносящие тот свет вниз, который создал этих Шебуевых, и их мечту — подняться вверх?

Но почему же теперь этот самый интеллигент-дворянин и интеллигент-разночинец (не только «поднявшие» огромный груз, но и сделавшие гигантское историческое дело в каких-нибудь 50 лет) вдруг «отцветают»? Почему им нет работы? Шебуев говорит, что, быть может, они еще воскреснут, но его факты говорят другое, и он может ответить мне: «Вы согласились со мной, что моя картина бездействия современной интеллигенции верна».

Да, верна, но объяснение ее, по-моему, неверно.

Прежде всего, я не согласен с вами, что этой интеллигенции «много, очень много, — что по количеству она уже сила».

Ее едва ли много даже для старого дела, остающегося еще и теперь новым, т. е. для внесения все большего и большего света в «низины и ямы», где еще царит почти тьма, в огромном большинстве. Но ее совсем мало вообще, для более широкой деятельности. Посмотрите: вы сами, беседуя перед кружком интеллигентов целого губернского города — скольких можете насчитать? Пять-шесть, да и среди них борьба за слова, — за неимением живого дела, — доходит до взаимной вражды, почти ненависти. А Ежов? Он совсем одинок на целый губернс-

кий город. Так не потому ли, г. Шебуев, интеллигенция пока ударилась в книжную жизнь? Не потому ли у нее (как результат неупражнения) ослабели — и воля, и сила чувствования, и сила действия? Не потому ли в ее среде идет вражда за идеи и слова, — вражда, которая при невольном бездельи принимает-ся за факты и за самую жизнь.

Не ясно ли, что задача теперешней интеллигенции фатально пока та же, какая была и у всех прежних (да и вы сами провозглашаете ту же задачу), а именно — расширять, все еще расширять круг освещенных, пополняя тем свои кадры. И неверно, что интеллигенция (хотя бы дворянская и разночинская) не имела и не имеет «родни» в жизни. Она имеет ее во всех, кто, просвещаясь, становится интеллигентом, потому что интеллигенция — это класс, и ее борьба имеет не фантастический, а вполне реальный объект: тьму, бесправие мысли и слова. И у нее не одни «высшие соображения» являются мотивами, но и самые кровные интересы существования. Разве не ради самосохранения Ежов старается отыскать себе «родню» в наборщиках, и он терпит неудачу, конечно, не потому, что он сын солдата (разночинец) и много учился. Нет, эти типографщики сами, быть может, дети солдат. Их разделяет только то, что они еще мало учились, — что общий круг просвещения еще не очень широк. И в такое время говорить против книжности — ошибка. Конечно, книжка сама по себе ничего не создает: создают потребности, чувства, инстинкты. Но они для своей силы (которая в единении с другими) нуждаются в сознании, а для своего шествия вперед нуждаются в знании путей, — значит, — в свете. Это зависит от интеллигенции. А желания и жажда лучшей жизни есть и без нее; о них нечего заботиться. Не рано ли еще интеллигенции делиться по классам на враждующие группы? Это еще успеется.





С. А. АДРИАНОВ

«На дне» Максима Горького

Критический набросок

О новой пьесе г. Горького поговорить стоит. До сих пор ее могла знать только публика двух городов, в которых пьеса эта исполнялась на сцене, — москвичи и берлинцы¹. Успех был огромный, особенно в Берлине. Дифирамбы немецкой прессы давно были уже перепечатаны нашими газетами и всем известны. Между прочим, один прусский офицер, большой патриот своего отечества и поклонник железного кулака, впал в тяжкое раздумье, прослушав пьесу г. Горького, и затем вымолвил: «Да, с такой нацией одними пушками не справишься...»

Теперь пьеса появилась в печати и стала общим достоянием. Говорят, что на книжном рынке давно уже не бывало такой ходкой книжки. Все спешат запастись ею и убедиться, действительно ли удалось г. Горькому создать литературное произведение европейского значения.

Сюжет пьесы несложный. В подвале, «похожем на пещеру», помещается ночлежка, хозяин ее — дрянной старикашка Костылев, жадный и ревнивый ханжа. Жена его, Василиса, красивая и молодая баба, ненавидит мужа и путается с одним из обитателей ночлежки, Васькой Пеплом; Пепел — вор по профессии, сильный и дерзкий парень. Он живет с Василисой, но мыслями его владеет младшая сестра хозяйки, Наташа, которую не успела еще засосать тина ночлежки. Костылевы эксплуатируют бедную девушку, взваливая на нее всю тяжелую работу и преследуя ее бранью и зверскими побоями. История достигает варварской жестокости, когда Василиса угадывает, что сестра является ее соперницей, хотя сама Наташа симпатии к Ваське не обнаруживает. Убедившись окончательно, что Васькиной любви не вернуть, Василиса готова примириться с этой потерей, соглашается отдать Пеплу Наташу и даже сулит ему много де-

нег, но с тем условием, чтобы он «снял с нее петлю», освободил ее от мужа. Пепел отвергает это предложение; под влиянием некоторого странника Луки, о котором речь ниже, он мечтает о том, чтобы порвать с прошлым и вместе с Наташей начать новую жизнь. И Наташа, которая до сих пор отвергала все предложения Пепла, теперь соглашается идти за ним. Но Василиса, подслушавшая их разговор, решается настоять на своем. Она уродует Наташу, опрокинув на нее кипящий самовар, доводит этим Пепла до бешенства и дьявольскими подуськиваниями умеет так раздражить его, что он убивает-таки Костылева. Василиса и Пепел идут под суд, а Наташа, вылечившись в больнице от ожогов, пропадает без вести: она убеждена, что Пепел ее обманывал и действовал заодно с Василисой.

Эта драма происходит на фоне пьяной, грязной и бессмысленной жизни подвала, воплощенной в целой галерее «бывших людей». Разнообразные фигуры выписаны со свойственным г. Горькому знанием этой среды, реально и выпукло. Тут и бывшие мастеровые, и бывший аристократ, и бывший интеллигент, и бывший актер; рядом с ними булочник, крючники, публичная женщина, торговка и т. д. У всех этих лиц есть общая черта: жизнь и собственная натура так или иначе выбили их из колеи, заставили опуститься «на дно», превратиться в подонки общества; в этой среде считаются ненужными и неуместными всякие навыки, выработанные культурой, всякая сдержка диких и грязных инстинктов.

И вот в этой среде происходит, рядом с изложенной уже драмою, еще и другая, которая органически переплетается с первою и даже обуславливает самый ход и характер ее развития.

В ночлежке появляется странник Лука, шестидесятилетний старик. Эта фигура едва ли не самая удачная и оригинальная в пьесе, и мы на ней остановимся подробнее. Биография Луки туманна; восстанавливать ее приходится по намекам, рассеянным в разных местах пьесы. В молодости он жил без удержу, поддаваясь порывам своего огневого темперамента, много увлекался женщинами. «Гляди, какой я, — говорит Пеплу, — мысленный... А отчего? От этих вот самых разных баб... Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было». По-видимому, в связи с одним из таких увлечений, Лука «ошибся однажды», т. е. спровадил кого-то на тот свет и попал в Сибирь, на каторгу или на поселение, а затем сбежал и теперь бродит «без бумаг» с места на место по всей Руси, приглядываясь к людям, их характерам, поступками «верам». «Понять хочется дела-то человеческие», — говорит он в одной сцене. Плодом этих исканий

является у Луки глубокое и своеобразное понимание жизни, которое ставит его выше всех бедствий и страданий человеческих, побеждает всякую безнадежность, открывает смысл в самых безобразных мучениях и зерно человечности в самых низких падениях. Вооруженный этою мудростью, Лука спокойно, радостно и безбоязненно идет по юдоли бедствий и умеет вызывать надежду в отчаявшемся сердце, воскресить жажду нравственной жизни в человеке, который успел уже укрепиться в своем нравственном падении и огрубеть до презрительного отрицания всякого идеального стремления к лучшему.

Лучшие русские писатели давно уже пытались создать тип мудрого сердцевода и руководителя совести человеческой, и каждый художник разрешал эту задачу по-своему. Толстой создал Акима во «Власти тьмы», Достоевский — старца Зосиму в «Братьях Карамазовых». К той же задаче подошел и г. Горький и разрешил ее в фигуре Луки, не похожей ни на Акима, ни на старца Зосиму.

У Луки нет нравственного ригоризма Акима, он никого не призывает к покаянию, пассивному страданию и смирению. Пройдя через убийство и каторгу, и не чувствуя себя нравственно искалеченным, Лука не приписывает преступлению такого ужасного и неисправимого значения, как Аким. Для Луки убийство — несчастная ошибка, которая портит человеку жизнь, и потому следует ее избегать, в буквальном смысле этого последнего слова: он настойчиво советует Пеплу прямо уйти от Косты-левых, чтобы не поддаваться соблазну и не убить старика; он одобряет Бубнова, который, вовремя уйдя, избег соблазна убить любовника жены. Но если человек не успел вовремя уйти и «убил подлеца», как Сатин, то Лука в таком случае далек от аскетического экстаза Акима: он прямо любит нераскаянным убийцею Сатиным, потому только, что Сатин «легко жизнь переносит», т. е. преступление его не раздавило, хотя и заставило «свихнуться со стези своей», опустило «на дно». Люб Луке и Васька Пепел, который прямо говорит: «Я не каюсь... в совесть я не верю». В Пепле есть нечто, что, с точки зрения Луки, будет куда крепче мистических жупелов — это инстинктивная жажда лучшей жизни: «Я одно чувствую, — говорит Пепел, — надо жить... иначе! Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать»... — «Верно, милый, — подхватывает Лука, — дай тебе Господи... Помоги тебе Христос! Верно: человек должен уважать себя...»

Вольное отношение к женщинам Аким считает основным грехом Никиты, корнем всех его преступлений. Лука и в этом

отношении не сходится с Акимом. Правда, он советует Пеплу уйти от Василисы, которая «подзадоривает его на ошибку», но тут же разрешает взять с собой Наташу, «коли девка эта за душу тебя задела». «А то — один иди, — прибавляет Лука, — ты — молодой, успеешь бабой обзавестись». Позже, правда, Лука убеждается, что Наташа очень пригодится Пеплу и сумеет поддержать его в минуту колебания. Тогда старик помогает им прийти до соглашения; но, во всяком случае, ясно, что и отношение к женщинам Лука не придает такого важного и решающего значения, как Аким.

От старца Зосимы Луку резко отделяет полное отсутствие «соприкосновения мирам иным», ему чужды мистические и молитвенные экстазы, чужды умиленные настроения, в которых Зосима постигал, что «все мы за все и перед всеми виноваты»; Лука не чувствует потребности связывать свои практические выводы с вещами метафизическими, с потусторонним миром и с христианскою традициею, что, однако, не помешало бы Зосиме причислить Луку к тем людям, которые «облика Христова суть». Нечего, конечно, и говорить о пропасти, которая лежит между внешними манерами Луки и Зосимы.

Итак, создавая тип Луки, г. Горький сумел изобразить его в оригинальных очертаниях, не поддаваясь искушению подражательности, хотя нелегко сохранить оригинальность и содержательность, берясь за задачу, разработанную уже такими колоссами, как Толстой и Достоевский.

Что же такое Лука? Сатин, понимающий его лучше всех, говорит про него: «Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами». И это верно. Луке не надо никаких внешних авторитетов и поддержек. Он в себе самом находит довольно силы, чтобы разобраться в хаосе жизненных явлений, чтобы устоять перед тайною жизни, не поддаваясь искушению дряблого фатализма или же бесцельного вызова. Лука знает, конечно, по собственному опыту, что жизнь — дело нелегкое. «Всяк по-своему жизнь терпит», — говорит он. Но, вместе с тем, тягота жизни не есть нечто, наложенное на человека злой внешней силой. Никакой силы, лежащей вне человека, Лука не знает. Все в человеке и все во власти человека.

— Слушай, старик: Бог есть? — спрашивает Луку Пепел.

Лука молчит и улыбается.

— Ну? Есть? Говори, — настаивает Пепел.

— Коли веришь, есть, — негромко отвечает Лука, — не веришь, нет... Во что веришь, то и есть...

Итак, для человека имеет реальное значение лишь то, что он находит в своей душе. И, наоборот, все, во что верит человек, все это имеет совершенно реальную силу. И Сатин верно улавливает основную мысль Луки, комментируя его слова в следующем монологе:

— Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, и потому он — свободен!.. Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! Это — огромно! В этом — все начала и концы... Все — в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга!

Тут уже человек сознает себя не отдельной, бессильной единицей, а органическою частью огромного целого, именуемого человечеством. В жизни этого целого масса несовершенств, тяжких недоразумений, грубого неведения; все это остро чувствуется отдельными личностями, как зло и страдание, но личные скорби и падения теряют роковую власть над тем, кто верит в целое и в разумность жизни целого. У Луки эта вера есть.

— Для лучшего люди-то живут, милачек, — говорит он Сатину. — Вот, скажем, живут столяры и все — хлам-народ... И вот из них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля; всех превысил и нет ему в столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря там... сапожники и прочие рабочие люди... и все крестьяне... и даже господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, а выходит, что для лучшего! По сту лет... а, может, и больше для лучшего человека живут!

Лука и крепко этой верою в «лучшего человека», в идеал, к осуществлению которого движется человечество среди бестолковщины, зла, смрада и страданий повседневной жизни. И, что главное для Луки, — осуществление этого идеала может быть достигнуто не иначе, как усилием человеческой же воли. Лука и убедился, путем изучения жизни и людей, что стремление к идеалу — есть основной закон души человеческой, что почти все люди сознательно или бессознательно полны этого стремления, а у кого эта жажда лучшего заглохла, в том нетрудно разбудить ее вновь. Таким образом, идеализм Луки вырастает не из отвлеченных метафизических основ, а из живых впечатлений, получаемых от действительности. Об этом стремлении к

лучшему Лука начинает говорить уже с первого появления на сцене:

— И все, гляжу я, умнее люди становятся, все занятнее... и хоть живут все хуже, а хотят все лучше...

В третьем акте он высказывается о том же предмете, но уже с большою серьезностью и уверенностью в успехе. Сообщает он о своем намерении идти «в хохлы», посмотреть новую веру, которую там открыли.

— Все ищут люди, — замечает он по этому поводу, — все хотят — как лучше... дай им, Господи, терпенья!

— Как думаешь... найдут? — спрашивает Пепел.

— Люди-то? Они — найдут! Кто ищет — найдет... Кто крепко хочет — найдет!

— Кабы нашли что-нибудь, — тоскует Наташа, — придумали бы получше что...

— Они — придумают! — утешает Лука, — помогать только надо им, девонька... уважать надо...

И в другом месте, по другому случаю Лука говорит: «Человек все может, лишь бы захотел».

Такая вера в силу человеческой воли тесно связана у Луки с признанием права всякой личности на уважение, как бы низко данная личность не пала. «Я и жуликов уважаю, — говорит Лука, — по моему, ни одна блоха не плоха: все — черненькие, все — прыгают». «Разве можно человека бросать? Он — каков ни есть, а всегда своей цены стоит». Любимое присловье Луки — «Уважьте человеку». Необходимость уважения к человеку Лука обстоятельно разъясняет в связи с проповедью о том, что все «для лучшего человека живут».

— Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут. Потому что всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же деток надо уважать... ребятишек! Ребятишкам — просто на добен! Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!

Человек для Луки все. Но часто у этого царя не хватает силы, он сбивается с пути, падает. И Лука требует жалости к павшим, не унижительной жалости, смешанной с сознанием собственного превосходства над павшим, а жалости, проникнутой уважением к образу человеческому, как бы загрязнен и затуманен он ни был. Относясь так к другим, человек, по мнению Луки, должен и самого себя уважать, и в случае нужды пожалеть. Последнее уж дело, если человек утратил веру в себя, в благородную основу души своей, если замерло в нем

бодрое чувство, влекущее к лучшему, и самая мечта об этом лучшем угасла.

Таков Лука, таков его субъективный идеализм. Яркими чертами рисует г. Горький с первого акта своей пьесы ту среду, в которую попадает этот идеалист, среду, служащую как бы резким протестом против всех верований странника. Люди потирали всякое уважение и к себе и к другим, презирают жалость, гогочут над всяким проявлением идеалистического свойства. Умирает в злой чахотке жена слесаря Клеща — Анна, и Бубнов доволен, что смерть прекратит ее кашель, от которого жильцам ночлежки так беспокожно. Несчастная Настя заливается слезами над мечтой своей о бывшей любви, — кругом хохот, издевки, оскорбления. Клещ, выросший честным работником, но загнанный нуждою в ночлежку, цепляется за скудную работишку, чтобы не попасть в золоторотцы, и вопит в отчаянии, что не хочет он уподобиться тем, которые «живут без чести, без совести», а Пепел равнодушно ему отвечает: «А куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести»; И весь этот грубый и жесткий народ считает себя в праве пребывать в своей грубости и жестокости, думает, что именно он-то и смотрит на жизнь прямо, свободно.

Появление Луки вносит что-то новое в устоявшиеся нравы и взгляды ночлежки. Немудреными словами и немудреными поступками он умеет зацепить за живое почти всех обитателей подвала, поднимает со дна их душ мысли и настроения, которых они сами в себе не подозревали. Лука показывает свободомыслящим золоторотцам, что уважение и жалость к человеку, честь и совесть, вера в идеал и стремление к нему — все это не выдумки, навязанные откуда-то извне, а реальнейшая действительность души, что можно эту действительность придушить и закопать, но убить ее не так-то легко. Только Костылев, да, пожалуй, его жена, утратившие всякий признак облика человеческого, лишены того, о чем проповедует Лука. Но ведь зато они уже и не люди. «Ежели тебе, — говорит Лука Костылеву, — сам Господь Бог скажет: «Михайло! Будь человеком!...» Все равно — никакого толку не будет». Но ведь свободомыслящие золоторотцы считают себя людьми, не хуже работника Клеща в нравственном отношении, а в умственном — даже неизмеримо выше, именно потому, что они свободны от рабского поклонения перед теми фантомами, из-за которых Клещ так глупо мучит себя. Признает их людьми и Лука, и именно потому с таким спокойствием и уверенностью обращается к ним с проповедью. И Лука не ошибается: со дна души босяцкой мало-

помалу поднимаются созвучные отклики на слова странника, и это пробуждение павших душ составляет ту вторую драму, которая переплетается с личной трагедией Пепла и составляет едва ли не основной мотив всей пьесы, так как и история Пепла с Наташей является только частным проявлением того настроения, которое внесено Лукою в жизнь ночлежки.

Сам Лука верует в «лучшего человека», и эту веру разделяет Сатин. В Сибири Лука знал «одного человека», который в праведную землю верил. «Должна, — говорит, — быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле, — особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — за всяко просто — помогают... и все у них славно, хорошо!» Органически присущая душе вера в истинную человечность и жажда этой человечности объективируются для Луки как грядущий в жизнь идеал, а для сибиряка — как идеал, уже воплотившийся, уже реализовавшийся где-то. Если бы Луке или Сатину кто-нибудь сумел доказать, что их лучший человек — абсурд, то они, люди самостоятельные, наметили бы какое-нибудь другое воплощение для своей мечты, потому что они уже знают, что «не в слове — дело, а — почему слово говорится? — вот в чем дело». Но для людей, у которых понимание душевных явлений и аналитическая способность еще не развиты, — для таких людей форма так сливается с содержанием, внешний символ так срастается с заключенной в нем внутренней идеей, что отрицание правдивости символа равносильно крушению самой идеи. Так было и с сибиряком. Ему доказали, что праведная земля есть абсурд, что ее нигде не существует, — и опустошилась душа бедняка, который иначе, как в виде реально существующей праведной земли не мог представить себе самое дорогое упование своей души. Он повесился, — «не стерпел обмана», — как говорит Наташа, обмана в той вере, которою жил.

Лука давно уже понял, что ценны не внешние проявления человека, а его внутренние импульсы. Он знает, что часто правда души человеческой воплощается в таких формах, которые кажутся с точки зрения близорукого реализма совершенно нелепыми и дикими. И в таких случаях восстановление правды реальной, относительной представляется для Луки не только праздным, но и прямо вредным, потому что калечит правду абсолютную и вечную, отнимает у человека основной признак человечности, «веру в лучшего». Озверение грозит тому, кто в силах примириться с утратой этой веры; а в ком жажда человечности сильна, тот, утратив веру, впадает в мрачное отчая-

ние и может прийти, как сибиряк, до петли. Поэтому Лука поддерживает в каждом человеке любимую мечту, в какие бы фантастические формы она ни отливалась. Анна верит в Царство Небесное, и Лука ласково и подробно говорит ей о том, что ожидает ее после смерти. Настя верит в былую свою любовь, и Лука с полным доверием спрашивает ее о мелких подробностях ее вымышленного романа. У кого мечты нет, тому Лука дает ее: Актера манит рассказами о больнице, в которой радикально излечивают алкоголиков, Пеплу рисует возможность возрождения в Сибири, да дает ему и еще посошок в дорогу, наказывая Наташе: «Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он тебе — поверит... ты только поговаривай ему: Вася, мол, ты — хороший человек... не забывай!» Лука знает, что для Пепла вера в себя, уважение к себе тоже самое, чем для повесившегося сибиряка была праведная земля. Слишком рьяным поклонникам реальной правды Лука возражает: «Она, правда-то, не всегда по недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь»... И еще в другом месте:

— Чего тебе правда больно нужна... подумай-ка! — говорит Лука Пеплу, — она, правда-то, может, обух для тебя...

— А мне все едино! — отвечает Пепел, — обух, так обух...

— Да чудак! На что самому себя убивать?

Для Луки одно только ценно — человек и человечность, а все остальное, в том числе и правда, важно лишь постольку, поскольку служит человеку и человечности, поскольку помогает рождению лучшего. Лука, как видите, не идолопоклонник и никогда не поставит твари выше творца, никогда не пожертвует человеком ради того, что человеком же и создано, хотя бы это создание носило великое имя правды.

Таким представляется мне идейное содержание новой пьесы г. Горького. Я остановился на основных чертах и пропустил детали, среди которых, однако, есть немало весьма замечательного. Но думаю, что и сказанное уже достаточно доказывает, что «На дне» вещь незаурядная. Конечно, нам, русским людям, выросшим на великих художниках школы сороковых годов, не приходится провозглашать г. Горького гением, как то делают берлинцы. Мы привыкли встречать у художника проникновенное изображение жизни, разоблачение тайников духа человеческого, глубокие философские и моральные идеи. И в разбираемой пьесе многое напоминает мотивы наших прежних писателей. Самое душевное верование Луки — вера в лучшего человека, в героя, или в праведную землю — встретится и в

роднике народной фантазии, и у великих поэтов наших. Народ рассказывает о невидимом святом граде Китеже, о праведнике, спасающемся где-то в горах и т. п. Пушкин проклинает

...правды свет,
Когда посредственности холодной,
Завистливой, к соблазну жадной
Он угождает праздно².

И ему, как и беглому каторжнику Луке, «нас возвышающий обман» был дороже «тьмы низких истин». И Тургенев рисовал фигуру Касьяна с Красивой Мечи³, который «по свету ходит, правды ищет» и верит в землю, где «всяк человек живет в довольстве и справедливости». В завете, который Лука дает Наташе, звучит мысль Кириллова («Бесы» Достоевского): «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив». И еще: «Они нехороши потому, что не знают, что они хороши... Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого». И вообще Достоевский был истинным апостолом свободы духа, апостолом уважения и жалости к человеку, следуя Пушкину, который тоже «восславил свободу и милость к падшим призывал». Не буду умножать этих сопоставлений, замечу только, что привожу их отнюдь не в осуждение г. Горькому. Я уже сказал, что и образы, и идеи свои он выносил в душе своей самостоятельно, не поддаваясь искушению подражательности, и поэтому, если в произведении его есть связь с традицией народной и с интересами лучших наших писателей, то это может быть поставлено ему только на плюс. Для меня теперь ясно, что г. Горький окончательно выбился на правильную дорогу. Путем естественного внутреннего роста он приблизился к тем вопросам, которые составляют суть исканий русского человека в течение долгого уже времени, и на разрешение которых устремлялись лучшие мыслители и художники. И ставит г. Горький эти вопросы на ту же почву, на которой выросли лучшие явления нашей литературы, которая есть исконно русская почва, и без которой русский человек теряет свою оригинальную силу. Вся новая русская литература выросла из Пушкина. Пушкин — это праведная земля русских художников, и благо для г. Горького, что он, быть может, бессознательно, оказался пришедшим к этой праведной земле.

«На дне» представляет значительный шаг вперед в развитии творчества г. Горького, и в отношении идеалов, и в отношении художественной техники. Г. Горький давно уже ищет тип сильного духом человека, который смотрел бы на жизнь трезво

и прямо, отрешившись от всяких традиционных категорий, который ничего не берет на веру, не подчиняется никакому авторитету, принимает лишь то, что для него ясно и несомненно. В различных фигурах воплощается для г. Горького этот тип. В первых рассказах самыми сильными и свободными людьми оказывались те, которые не чувствовали к другим людям ничего, кроме презрения или злости, и единственную целью своей жизни ставили удовлетворение эгоистических, в большинстве случаев — грубо материальных инстинктов; в душах этих людей моральные запросы как бы отсутствовали, и выходило так, что нравственность живет только в слабых и робких душах. Мораль — страшная сказка для детей; свободный и сильный человек смеется над ней. Правда, что и в первых рассказах Горького сильные люди — нет-нет, да и затоскуют, но причина тоски была для них неясна; легче всего было объяснить ее внешними обстоятельствами и особенно тем, что сильных людей мало, что общий уклад жизни определяется не их требованиями, а психикой малодушной и рабской толпы. Потом в свободном человеке проснулась жажда осмыслить жизнь. Фома Гордеев крепко задумался над вопросом, зачем люди живут, и что такое жизнь? Внутри себя он ответа не нашел; стал спрашивать разных людей, — и люди ничего ему ответить не могли. Тогда затосковал свободный человек, затосковал и с ума сошел. С теми же вопросами подступал г. Горький к жизни и в последующих повестях («Мужик», «Трое»), и ответа не находил. Основная причина неудачи лежала в том, что г. Горькому казалось невозможным совместить в одной личности силу и свободу с моральностью. Но все попытки создать сильную фигуру человеческую без моральных импульсов терпели крушение. Выходили типы, неудовлетворительность которых чувствовалась автором. Недаром «Мужик» остался неоконченным и не вошел в собрание сочинений. Только теперь Лука подсказал г. Горькому выход из противоречия, казавшегося неразрешимым. Моральность — не бессилие, а сила, зиждательная и могучая, одна только способная дать смысл жизни, и притом это — не внешние пути, а основное свойство души человеческой. Значит, и истинно могучий, здоровый тип надо искать не вне границ морали, внутри их. Теперь только для исканий и творчества г. Горького открывается новое поприще, широкое и благородное. И если вспомнить, что еще так недавно, в «Мещанах», он в антитезу дряблему поколению выставил грубый и узкий тип Нила, то как не признать, что в новой пьесе он далеко шагнул вперед. Правда, и теперь Васька Пепел, который

должен был бы быть истинным героем пьесы, оказался неудачным, но ведь это первая попытка на новом поприще, и я думаю, что г. Горький, который, конечно, уж не расстанется с выяснившимся для него путем, сумеет дать гораздо более полное и законченное воплощение этого типа.

Прогресс в художественной технике сказывается не так определенно и решительно, хотя, если сравнить две попытки г. Горького на драматическом поприще («Мещане» и «На дне»), то преимущества окажутся на стороне второй. В самом деле, в «Мещанах» не наблюдается ни яркого драматического действия, ни внутреннего единства. Там перед зрителем проходит ряд сцен, написанных реально и талантливо, но внутренняя связь между ними так слаба, что добрую половину их можно переставлять, а многое можно и выбросить без ущерба для развития фабулы. Нет внутренней необходимости, которая заставляла бы данный сюжет обработать именно в драматической форме, а не в форме повести. В новой же пьесе есть уже несомненный драматический элемент — история Васьки Пепла; второй и третий акты богаты драматическим движением, катастрофа подвигается быстро и естественно, впечатление трагизма растет и заключительная сцена третьего акта проведена мастерски. Однако автор справедливо назвал и эту пьесу «картинами», а не драмой. Драма не удалась по многим причинам. Во-первых, центральной фигурой оказался Лука, человек с совершенно устоявшейся психикой; внутри его не происходит никакой борьбы, нет никакого драматизма; это — резонер. Истинно драматическое лицо — Пепел, но он-то как раз и есть фигура наименее разработанная, и потому автор не мог отвести ему в пьесе такого доминирующего положения, которое дало бы возможность создать настоящую, сконцентрированную драму. Вообще, психика Пепла не достаточно выяснена, а любовное объяснение его с Наташей в третьем акте прямо натянуто. Не справившись с Пеплом, автор естественно направил слишком много внимания на второстепенные фигуры и тем раздробил единство пьесы, превратил ее в «картины».

Далее, в пьесе есть персонажи, без которых она могла бы обойтись. Что, например, существенного вносят в характеристику главных лиц и в развитие драмы Медведев, Квашня, Алешка, Кривой Зоб, Татарин? Нет слов, все эти фигуры, сами по себе взятые, хороши, но для чего они введены в пьесу? Затем следовало бы первый акт или сократить, или более органически привязать к развитию основного сюжета, насытить его, так сказать, драматическим движением. Особенно неудачным,

в смысле драматической архитектуры, надо признать четвертый акт. Катастрофа третьего акта дает такую естественную и исчерпывающую развязку, что зритель ушел бы из театра совершенно удовлетворенным, если бы четвертого акта и совсем не было. Ценное психологическое содержание, которое есть и в этом акте, надо было бы ввести органически в самую драму, а не обособлять в лишний привесок. Таким образом, «На дне» все-таки сбивается на бытовые сцены.

Нет речи, что сцены эти гораздо талантливее, чем громадное большинство изделий, заполнивших за последнее время нашу сцену. Но — большому кораблю большое и плавание. Талант обязывает, и потому к г. Горькому невольно применяешь более строгие требования, чем к обычным драмоделам. И я теперь твердо убежден, что у него хватит сил на создание настоящей драмы, а искренняя любовь его к литературе и тот глубокий, серьезный человеческий интерес, которым движется вся его деятельность, позволяют думать, что г. Горький и впредь будет честно работать над своими произведениями и даст все, что в его силах.





Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Чехов и Горький

I

Если бы теперь, когда для России наступает страшный суд истории, русская интеллигенция пожелала узнать, с чем она пойдет на этот суд, то могла бы сделать это лучше всего по произведениям Чехова и Горького.

Как бы мы ни судили о сравнительной величине обоих писателей, несомненно одно: они заслонили от нас двух последних великанов русской литературы, Л. Толстого и Достоевского. Ибо нечего греха таить: великаны эти оказались нам не по плечу.

Чехов и Горький русской интеллигенции как раз по плечу. Они ее духовные вожди и учителя, «властители дум» современного поколения русской интеллигенции.

По Л. Толстому и Достоевскому можно судить не столько о современной действительности, сколько о более или менее далеких возможностях русского духа, не о том, что есть, а о том, что будет и, может быть, еще не скоро будет в России. По Чехову и Горькому можно судить о том, что сейчас есть или сейчас будет. Л. Толстой и Достоевский — выразители глубочайшей народной стихии и высочайшего культурного сознания России. Чехов и Горький выразители не столько народной, сколько словесной, не столько культурной, сколько интеллигентной середины русского среднего сословия, самого многочисленного и деятельного, которому в настоящее время предстоит «делать историю» и за то, что будет сделано, дать ответ на страшном суде истории.

Если бы среднего русского интеллигента спросить, за что он любит Чехова и Горького, не за то ли, что они учат верить в торжество прогресса, науки, человеческого разума, — всего

того, что называется «гуманными идеями», — то интеллигент ответил бы, что это именно так; и если бы возразить ему, что Чехов и Горький, хотя действительно учат верить других и сами стараются верить во все это, но уже почти не верят, и что подлинное творчество их направлено к тому, чтобы показать невозможность этой веры и душевное состояние людей, утративших возможность какой бы то ни было веры, — то интеллигент счел бы такое утверждение не только величайшею нелепостью, но и величайшим оскорблением славы живого и памяти почившего писателя, — наконец, оскорблением его самого, интеллигента, в главной святыне своей, ибо вера, именно вера в «гуманные идеи» есть доньше главная и единственная святыня его. Но для тех, кто не останавливается на общедоступной внешности литературных явлений, кто умеет слышать не только то, что писатели говорят, но и то, о чем они молчат, — для тех несомненно, что с этою верою у Чехова и Горького не все обстоит так благополучно, как кажется, и что, сами того не желая, может быть, даже не сознавая, оба эти писателя только то и делают, что подкапывают и разрушают все верования, все идеалы или идола русской интеллигенции. Нельзя, впрочем, слишком строго судить читателя за то, что он проглядел разрушительную сторону в творчестве Чехова и Горького: они умеют молчать и скрывать свое последнее безверье не только от других, но и от самих себя; лишь изредка, когда это молчанье становится похожим на подвиг того спартанского мальчика, который прятал под платьем лисицу, пожиравшую ему внутренности, — они говорят и даже кричат так, что нельзя не услышать имеющим уши, чтобы слышать.

«Я напишу одну маленькую книгу. Я назову ее — Отходная: есть такая молитва, ее читают над умирающими. И это общество, проклятое проклятием внутреннего бессилия, перед тем, как издохнуть ему, примет мою книгу, как мускус».

Иногда кажется, что эти страшные слова одного из своих героев Горький мог бы сказать от себя, а за Горьким и Чехов, что оба они в один голос пропели отходную не глубочайшей народной стихии и высшему культурному сознанию России, а той интеллигентной середины, или посредственности, которая увидела в них своих пророков и учителей, что они «дали мускус умирающему», и то, что он принял в них за новую жизнь, за воскресение свое, — было лишь мгновенным возбуждением предсмертного мускуса.

Но прежде чем говорить о содержании, надо сказать два слова о художественной форме обоих писателей.

О Горьком как о художнике именно больше двух слов говорить не стоит. Правда о босяке, сказанная Горьким, заслуживает величайшего внимания; но поэзия, которою он, к сожалению, считает нужным украшать иногда эту правду, ничего не заслуживает, кроме снисходительного забвения. Все лирические излияния автора, описания природы, любовные сцены — в лучшем случае посредственная, в худшем — совсем плохая литература. Впрочем, тем простодушным критикам, которые сравнивают Горького как художника с Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым и Достоевским, все равно ничего не докажешь. Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой, а русская критика — хозяйкину дочку Машеньку в светлоголубом платье с двухаршинным хвостом, которая слушает и восхищается: «Ужасно я всякий стих люблю, если складно». — «Стихи вздор-с», — возражает Смерд яков. — «Ах, нет, я очень стишок люблю», — ласкается Машенька¹.

Но те, кто за этою сомнительною поэзией не видит в Горьком знаменательного явления общественного, жизненного, — ошибаются еще гораздо больше тех, кто видит в нем великого поэта. В произведениях Горького нет искусства; но в них есть то, что едва ли менее ценно, чем самое высокое искусство: жизнь, правдивейший подлинник жизни, кусок, вырванный из жизни с телом и кровью... И, как во всем очень живом, подлинном, тут есть своя нечаянная красота, безобразная, хаотическая, но могущественная, своя эстетика, жестокая, превратная, для поклонников чистого искусства неприемлемая, но для любителей жизни обаятельная. Все эти «бывшие люди», похожие на дьяволов в рисунках великого Гойя², — до ужаса реальны, если не внешнею, то внутреннею реальностью: пусть таких людей нет в действительности, но они могут быть, они будут. Это вещие видения вещей души. «С подлинным души моей верно», подписался Горький под одним из своих произведений и мог бы подписаться под всеми.

Чутье, как всегда, не обмануло толпу. В Горьком она обратила внимание на то, что в высшей степени достойно внимания. Может быть, не поняла, как следует, и даже поняла, как не следует, но если и преувеличила, то даром: дыма было больше, чем огня; но был и огонь; тут, в самом деле, загорелось что-то опасным огнем.

Горький заслужил свою славу: он открыл новые, неведомые страны, новый материк духовного мира; он первый и единственный, по всей вероятности, неповторимый в своей области. При выходе в ту «страну тьмы и тени смертной», которая на-

зывается босячеством, навсегда останется начертанным имя Горького.

Чехов — законный наследник великой русской литературы. Если он получил не все наследство, а только часть, то в этой части сумел отделить золото от посторонних примесей, и, велик или мал оставшийся слиток, но золото в нем такой чистоты, как ни у одного из прежних, быть может, более великих писателей, кроме Пушкина.

Отличительное свойство русской поэзии — простоту, естественность, отсутствие всякого условного пафоса и напряжения, то, что Гоголь называл «беспорывностью русской природы», — Чехов довел до последних возможных пределов, так что идти дальше некуда. Тут последний великий художник русского слова сходится с первым, конец русской литературы — с ее началом. Чехов — с Пушкиным.

Чехов проще Тургенева, который жертвует иногда простотой красоте или красивости; проще Достоевского, который должен пройти последнюю сложность, чтобы достигнуть последней простоты; проще Л. Толстого, который иногда слишком старается быть простым.

Простота Чехова такова, что от нее порою становится жутко: кажется, еще шаг по этому пути — и конец искусству, конец самой жизни; простота будет пустота — небытие; так просто, что как будто и нет ничего, и надо пристально вглядываться, чтобы увидеть в этом почти ничего — все.

Чехов никогда не возвышает голоса. Ни одного лишнего, громкого слова. Он говорит о самом святом и страшном так же просто, как о самом обыкновенном, житейском; о любви и о смерти — так же спокойно, как о лучшем способе «закусывать рюмку водки соленым рыжиком». Он всегда спокоен, или всегда кажется спокойным. Чем внутри взволнованнее, тем снаружи спокойнее; чем сильнее чувство, тем тише слова. Бесконечная сдержанность. Бесконечная стыдливость — та «возвышенная стыдливость страдания», которую Тютчев заметил в русской природе:

Ущерб, изнеможенье и во всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья³.

Говоря однажды о том, как следует описывать природу, Чехов заметил:

— Недавно я прочел одно гимназическое сочинение на тему — описание моря. Сочинение состояло из трех слов: «Море было большое». По-моему, превосходно!

Все описания природы у Чехова напоминают это сочинение из трех слов. Чтобы, после всего, что говорилось о море, вспомнить самое первое и главное впечатление — простое величие, — надо быть дикарем, ребенком или гениальным художником. Глядя на природу, Чехов никогда не забывает, что «море было большое».

Люди не видят главного в себе и в других, потому что оно слишком пригляделось, стало слишком привычным для глаза. Глаз Чехова устроен так, что он всегда и во всем видит это невидимое обыкновенное и, вместе с тем, видит необычайность обыкновенного.

Уменье возвращаться от последней сложности к первой простоте ощущения, к его исходной точке, к самому простому, верному и главному в нем — вот особенность чеховской, пушкинской и вообще русской всеупрощающей эстетики.

От Гомера до декадентов, сколько потрачено великолепных сравнений для описания грозы. Вот как ее описывает Чехов:

«Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо».

Казалось бы, что может быть унижительнее для молнии сравнения с чиркающей спичкой, и для грома — с хождением босиком по железной крыше? А между тем, высокое здесь не только не унижается низким, а еще более возвышается; великое не умаляется малым, а еще более возвеличивается.

И так всегда; чем поэтичнее природа, тем прозаичнее сравнения, которыми он ее описывает. Но в глубине прозы оказывается глубина поэзии.

«Вечерняя степь прячется, как жиденята под одеялом». Луна кажется «провинциальной»; звезды похожи на «новенькие пятиалтынные»; береза — на «молоденькую стройную барышню»; облако — на «ножницы». В тишине июльского вечера одинокая птица поет, повторяя все одни и те же две-три ноты, как будто спрашивает: — «Ты Никитку видел?» — и тотчас сама себе отвечает: — «Видел, видел, видел!» Это простое звукоподражание сразу переносит в родную, милую, как детская спальня, теплую, точно комнатную, уютность летнего вечера в русской деревне.

Природа приближается к человеку, как будто вовлекается в быт человека, становится простою, обыкновенною; но, как всегда у Чехова, — чем проще, тем таинственнее, — чем обыкновеннее, тем необычнее.

И недаром вовлекает она природу в быт: именно здесь, в быте — главная сила его как художника. Он — великий, может быть даже в русской литературе величайший, бытописатель. Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века в мельчайших подробностях.

Тут, впрочем, не только сила, но и слабость его. Он знает современный русский быт, как никто; но, кроме этого быта, ничего не знает и не хочет знать. Он в высшей степени национален, но не всемирен; в высшей степени современен, но не историчен. Чеховский быт — одно настоящее, без прошлого и будущего, одно неподвижно застывшее мгновение, мертвая точка русской современности, без всякой связи со всемирною историей и всемирною культурою. Ни веков, ни народов — как будто в вечности есть только конец XIX века и в мире есть только Россия. Бесконечно зоркий и чуткий ко всему русскому, современному, он почти слеп и глух к чужому, прошлому. Он увидел Россию яснее, чем кто-либо, но проглядел Европу, проглядел мир.

У чеховских героев нет жизни, а есть только быт — быт без событий, или с одним событием — смертью, концом быта, концом бытия. Быт и смерть — вот два неподвижные полюса чеховского мира.

Снаружи этот быт кажется живым и крепким, но он весь мертв и гнил внутри: довольно одного толчка, чтобы он разлетелся пылью, как те истлевшие ткани, которые находят в гробах. Снаружи он кажется радужно ярким и пестрым, но это — зловещая радуга стоячих вод и старых стекол, годных только на слом. И весь этот гнилой, от гнилости хрупкий быт висит в пустоте над страшною пропастью на одной ниточке; вот-вот порвется эта ниточка — и все провалится в пропасть, разобьется вдребезги. Как будто современная бытовая Россия перед своим концом, — начало этого конца мы теперь уже видим, — захотела в Чехове оглянуться на себя в последний раз. Весь улей нового, а для нас уже старого, даже дряхлого, послереформенного русского быта — еще цел, со всеми своими восковыми перегородками, ячейками, сотами; но мед в этих сотах превратился в полынь, сладость жизни — в горечь смерти, веселость быта — в скуку небытия. Как из старых, давно неотпиравших-

ся шкапов — удушливой затхлостью, так из чеховского быта веет скукою.

Иногда тяжело больной, лежа в постели, рассматривает долго и пристально, как будто с любопытством, опостылевший до тошноты узор обоев на стене и видит в этом узоре такие подробности, каких ни за что не увидит здоровый: такова четкость быта у Чехова; в ней — тошнота и скука бреда. «Скучно, скучно», — тихо стонет больной, и страшнее буйного отчаяния эта тихая скука.

Скука, уныние — вот главная и, в сущности, единственная страсть всех чеховских героев, именно страсть, потому что уныние, по глубокому наблюдению христианских подвижников, — тоже «страсть», и притом, одна из самых жадных страстей. Как пьют вино запоем, так чеховские герои запоем скучают.

Почтальон, трясущийся на перекладных, врач уездной больницы, сын министра и революционер, который хочет убить этого министра, недоучившийся гимназист-подросток, который ни с того, ни с сего пускает себе пулю в лоб, старый профессор, бродяга-ссыльный в Сибири, провинциальная актриса — добрые и злые, умные и глупые, счастливые и несчастные — все состояния, все сословия, все возрасты предаются этой страсти уныния. В больших городах, и в захолустных городишках, и в деревнях, и на одиноких полустанках, и в разорившихся дворянских гнездах, и на фабриках, и в великосветских гостиных, и в монастырях, и в домах терпимости, и в кабинетах ученых — везде уныние. Какая-то метафизическая скука, чувство беспредельной пустоты, ничтожности, ничтожности всего. «Русский человек не любит жить» — вот изумительное открытие Чехова. Кажется, не только русский человек, но и русская природа не любит жить.

«Утро было нехорошее, пасмурное... Кто-то за березами играл на самодельной пастушеской свирели. Игрок брал не больше пяти-шести нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но, тем не менее, в его пiske слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое». Играет старый пастух, Лука Бедный. «Все к одному клонится, — говорит Лука, — добра не жди... Все к худу, надо думать, к гибели... Пришла пора Божьему миру погибать... И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — все ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. И всему этому пропадать надо! Жалко. И, Боже, как жалко!» «Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля

грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее, и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней... Замирали звуки свирели. Самая высокая нотка пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека... оборвалась, — и свирель смолкла».

Эта пронзительно унылая свирель Луки Бедного — не само ли Антона Бедного, Антона Чехова? — предчувствие всеобщего конца, всемирной гибели — основной напев, *Leitmotiv* чеховской музыки.

Иногда в мертвом затишье перед грозой одна только птица поет, словно стонет, уныло и жалобно: такова песня Чехова.

Мы теперь уже вышли из этого предгрозового затишья — из чеховской скуки; мы уже видим грозу, которую он предсказывал: «Надвигается на всех громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, гнилую скуку» («Три сестры»). Чехову было скучно и страшно; нам теперь страшно и весело. Наконец-то гроза! Наконец «началось», сорвалось, полетело — все кругом летит, летим и мы, вверх или вниз, к Богу или к черту, — не знаем пока, боимся узнать, но, во всяком случае, летим, не остановимся, — и слава Богу! Кончился быт, начались события.

Но какова бы ни была сила бури, которая сметет чеховский быт, — мы никогда не забудем — в темноте грозовой тучи белую чайку с ее жалобно-вещим криком. Каков бы ни был ужас конца, мы никогда не забудем пронзительно унылую свирель Антона Бедного, которая напорочила этот конец.

«Есть Бог или нет?» — этот вопрос Ивана Карамазова Черту, вопрос о бытии Бога и об отношении человека к Богу, есть главная тема русской литературы, поскольку отразилась в ней глубина русской народной стихии и высота русского культурного сознания. Но вечная середина — русская интеллигенция — отвергла тему о Боге и рядом с великою литературою, всенародною и всемирною (Гоголь, Л. Толстой, Достоевский), создала свою собственную литературу, сословно-интеллигентскую (Добролюбов, Чернышевский, Писарев и др.). Не вопрос о Боге и об отношении человека к Богу, а вопрос о человеке, только человеке, об отношении человека к человеку, помимо

Бога, без Бога и, наконец, против Бога — вот главная тема этой литературы.

Всю тяжесть обвинения за отсутствие религиозного сознания сваливать на русскую интеллигенцию было бы несправедливо. История европейской государственности вообще, и русской, в частности, установила слишком тесную, почти неразрывную связь между религиозными, в особенности «христианскими» идеями, с одной стороны, и самыми грубыми формами общественной неправды и политического гнета, — с другой. Религия и реакция сделались почти неразличимыми синонимами. Кажется, довольно произнести слово Бог, чтобы многоголосное эхо в веках и народах ответило: гнет. Это кощунственное превращение имени Божьего в главную гайку, которую привинчиваются к духу и плоти так называемого «христианского» человечества всевозможные колодки, кандалы и другие, более или менее усовершенствованные орудия порабощения, есть одно из величайших всемирно-исторических преступлений. Но ежели нельзя обвинять русскую интеллигенцию, то не следует и потворствовать ей в этом невольном заблуждении. Давно пора обличить эту людьми освященную, Богом проклятую связь христианства с политическим произволом, учения истины и свободы — с учением лжи и насилия.

Как бы то ни было, но «религия человечества» без Бога, религия человечества, только человечества всегда была и есть донныне бессознательная религия русской интеллигенции.

Чехов и Горький — первые сознательные учителя и пророки этой религии.

«Человек — вот правда. В этом — все начала и концы. Все в человеке, все для человека. Существует только человек». — «Истинный Шекинах (Бог) есть человек».

Таково исповедание Горького. А вот оно же у Чехова:

«Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным». — «Мы высшие существа и, если бы в самом деле мы познали всю силу человеческого гения, мы стали бы как боги».

В обоих исповеданиях есть недосказанность: ежели «существует только человек», ежели человек сам для себя единственная правда, единственный Бог, что такое Бог вне человека? На этот вопрос у Чехова и Горького ответа нет, — не потому ли, что он слишком ясен?

Чтобы человек стал «Богом», надо, чтобы он понял, что нет иного Бога, кроме человека, надо уничтожить в человеке идею

о Боге. Отвергая христианскую идею Богочеловечества, единственно возможный синтез религиозной идеи человечества с идеей Божества, религия человечества, только человечества, доведенная до конца своего, становится в непримиримое противоречие с идеей о Боге: каждая из этих двух идей, для того, чтобы существовать, должна истребить другую. Пока еще мало сознанный, но метафизически неизбежный завершение религии человечества есть не только атеизм, но антитеизм, не только безбожие, но и противобожие, деятельное богоборчество.

«Надо разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело, — напоминает Черт Ивану Карамазову его же собственные мысли. — Раз человечество отречется поголовно от Бога, то наступит все новое... Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится Человекобог».

Из этой посылки умного Ивана делает вывод безумный Кириллов:

«Для меня непонятно, как можно сказать: нет Бога, — чтобы в ту же минуту не сказать: я — Бог»⁴.

Человечество — без Бога, человечество — против Бога, человечество — Бог, человек — Бог, я — Бог, — вот ряд посылок и выводов, ряд ступеней, образующих пока еще темную для сознания русской интеллигенции, метафизическую лестницу, которая ведет неминуемо от религии человечества к религии человекобожества.

Внизу этой лестницы — чеховский интеллигент; вверху — горьковский босяк. Между ними ряд ступеней, которых еще не видит, но по которым уже идет русская интеллигенция.

II

«Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, черт ее побери! Я б им сказал: о, гниды!..» — говорит у Горького босяк, мечтающий сделаться великим писателем.

«До судорог противна мне была эта публика, — говорит другой босяк, бывший актер, — и часто мне хотелось плюнуть на нее со сцены, выругать ее самыми похабными словами... Как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтоб им сразу, всему первому ряду зрителей, носы срезать... Черт бы всех их взял!..»

Должно отдать справедливость Горькому: ежели русская интеллигенция обманулась в босяке, то она не была обманута

Горьким; он сказал всю, или почти всю правду, которую видел сам.

И тем не менее:

«Мы смотрим на босяка, любимся на него, удивляемся ему», — говорит один восторженный критик, и в этих словах — крик сердца всей русской интеллигенции.

Как же объяснить эту любовь, или, вернее, влюбленность? Чем, собственно, пленил босяк русскую интеллигенцию?

Прежде всего тут, конечно, сочувствие политическое. Босяк, не столько по внутреннему содержанию своему, сколько по революционной внешности, казался естественным союзником в самом святом, нужном и великом деле русской интеллигенции, в деле политического освобождения.

Ежели в босячестве действительно скрывается стихийная мятежность, огненный взрыв человеческой личности, бессознательный протест против общественного гнета, который всех нас одинаково давит, то, разумеется, такой протест, откуда бы ни шел, заслуживает сочувствия. Кто бы и какой бы ценой ни помогал нам, только бы помогли! Бывают такие минуты, когда человеку с петлей на шее некогда разбирать, чьи руки срывают эту петлю. Босяк так босяк! Кажется, не только босяку, мы и черту были бы рады!

К сожалению, события последнего времени показывают, что надежды русской интеллигенции на деятельную роль босяка в освободительном движении преувеличены, и что провести черту, которая отделила бы босячество от хулиганства, довольно трудно. О босяке никогда нельзя знать, да он и сам не знает сегодня, что с ним будет завтра и чем он окажется, случайным ли союзником русской интеллигенции или патриотическим героем черной сотни, избивающей эту же самую интеллигенцию. В чем в другом, а в тактическом общественном действии от босяка мало корысти.

Корысти, впрочем, никогда и не было в непосредственном чувстве русской интеллигенции к босяку. Политическое родство тут только внешность, за которою скрывается гораздо более глубокое, внутреннее и первоначальное родство метафизическое.

Откуда явился босяк?

Вликая заслуга Горького в том, что он сумел не поддаться легкому соблазну объяснить босячество исключительно внешними социально-экономическим условиями.

«Тебе не в чем винить себя... тебя обидели», — говорит интеллигент босяку, доказывая, что он, босяк, «существо, длин-

ным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля».

«Во мне самом что-то неладно, — возражает босяк интеллигенту. — Не так я, значит, родился, как человеку это следует... Я на особой стезе. И не один я. Много нас таких. Особливые мы будем люди и ни в какой порядок не включаемся... Кто перед нами виноват? Сами мы перед собой и жизнью виноваты».

«И чем упорнее, — признается интеллигент, — я старался доказать ему, что он — “жертва среды и условий”, тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности перед самим собою и жизнью».

— «Каждый человек себе хозяин, и никто в том неповинен, ежели я подлец есть»... «Я есть заразный человек... Несчастный этакий ядовитый дух из меня исходит.. И как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается... Тлеющий я человек... Подумай, ведь я хуже холерного!»

Босяк не только не сознает себя жертвою «общественной среды и условий», а, напротив, сознает, что эта среда и эти условия могут сделаться жертвою «заразного духа» — тления и смерти, которые он носит в себе.

Кроме босячества внешнего, социально-экономического, есть босячество внутреннее, психологическое — последний предел нигилизма, последняя обнаженность, нагота и нищета духовная. И вовсе не потому человек доходит до внутреннего босячества, что он раньше сделался жертвой внешних социальных условий, — он очутился «на дне», потому что дошел до внутреннего босячества. Не внутреннее босячество от внешнего, а внешнее от внутреннего.

Достоевский не имел никакого влияния на Горького. Босяка своего взял Горький прямо из жизни. Тем более поразительны психологические совпадения горьковских босяков и некоторых героев Достоевского.

В «Дневнике Писателя» от 1873 года, по поводу двух мужиков, которые, заспорив, «кто кого дерзостнее сделает», стреляли из ружья в Причастие, Достоевский говорит об одной свойственной будто бы всему русскому народу, психологической особенности:

«Это — потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну — и в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это — потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем, и благоговеем, отрицания всего, самой

главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. — Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего — от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительнейшим безобразником и преступником, стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой круговорот судорожного и моментального самоотрицания, так свойственный русскому характеру в иные роковые минуты его жизни.

Вот не только психология, но и метафизика, отчасти даже мистика босячества — в народе. А вот то же самое — в русском интеллигенте — в «Подпольном человеке»⁵. Что у Горького — «На дне», то у Достоевского — «Подполье»: и то и другое — прежде всего, не внешнее, социально-экономическое положение, а внутреннее, психологическое состояние.

Бунт «подпольного человека» есть бунт не только против какого бы то ни было общественного, но и против всего мирового порядка — против законов природы, законов естественной необходимости и, наконец, законов собственного разума. Человеческий, только человеческий разум, отказываясь от единственно возможного утверждения абсолютной свободы и абсолютного бытия человеческой личности — в Боге, тем самым утверждает абсолютное рабство и абсолютное ничтожество этой личности в мировом порядке, делает ее слепым орудием слепой необходимости — «фортепианною клавишей или органным штифтиком», на котором играют законы природы, чтобы, поиграв, уничтожить. Но человек не может примириться с этим уничтожением. И вот, для того, чтобы утвердить, во что бы то ни стало, свою абсолютную свободу и абсолютное бытие, он принужден отрицать то, что их отрицает — то есть мировой порядок, законы естественной необходимости и, наконец, законы собственного разума. Спасая свое человеческое достоинство, человек бежит от разума в безумие, от мирового порядка в «разрушение и хаос».

«Ежели, — рассуждает «подпольный человек», — когда-нибудь наступит на земле окончательное торжество разума, которое даст человечеству благополучие, рассчитанное «по таблице логарифмов», то непременно возникнет какой-нибудь джентльмен, с насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это бла-

горазумие с одного разу ногой прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что непременно последователей найдет: так человек устроен... Осыпьте его всеми земными благами, дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной истории, так он вам и тут человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши... Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепианною клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится... Выдумает разрушение и хаос, проклятие пустит по свету... Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке — и хаос, и мрак, и проклятие — так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай делается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством — доказывал».

«Троглодитством», или босячеством.

Таков метафизический и, может быть, даже мистический предел интеллигентного «подполья» и босяцкого «дна». Ежели интеллигент, отказавшийся от религии, пока еще не видит этого предела и может сомневаться, идет ли он туда же, куда «подпольный человек» и босяк, то уж нет никакого сомнения в том, что он идет оттуда же.

Механическое мирозерцание, то есть утверждение как единственно реального того мирового порядка, который отрицает абсолютную свободу и абсолютное бытие человеческой личности в Боге, и который делает из человека «фортепианную клавишу» или «органный штифик» слепых сил природы, — вот общая метафизическая исходная точка интеллигента и босяка.

«Существуют законы и силы, — говорит один из босяков Горького. — Как можно им противиться, ежели у нас все ору-

дия в уме нашем, а он тоже подлежит законам и силам? Очень просто. Значит, живи и не кобенься, а то сейчас же разрушит в прах сила». — «Значит, человеку некуда податься?» — «Ни на вершок!.. Никому ничего не известно... Тьма!»

Это ведь и есть научное — *ignoramus*, не знаем, — спустившееся до босяцкого «дна». И здесь, «на дне», оно будет иметь точно такие же последствия, как там, на интеллигентной поверхности.

Прежде всего — вывод: нет Бога? или, вернее: человеку нет никакого дела до Бога, между человеком и Богом нет соединения, связи, религии, ибо *religio* и значит связь человека с Богом.

«Я видел небо, — там только пусто. Я знаю правду: земли творенье, землей живу я», — запекает в «Песне о Соколе» летающий в небе романтический босяк. «А с земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь», — кончает песню босяк реалистический, стоящий на земле. Земная жизнь бесцельна: «Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет. И спрашивать про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, и посматривай»... Жизнь не только бесцельна, но и бессмысленна, потому что кончается смертью — уничтожением: «Ничего там не будет, ничего... Спокой — и больше ничего!», — напутствует умирающую старец Лука, учитель босячества.

Этот догматический позитивизм (потому что у позитивизма есть тоже своя догматика, своя метафизика и даже своя мистика) неизбежно приводит к догматическому материализму:

«Брюхо в человеке — главное дело. А как брюхо спокойно, значит, и душа жива, — всякое деяние человеческое от брюха происходит».

Утилитарная нравственность — только переходная ступень, на которой нельзя остановиться между старою метафизическою моралью и тем крайним, но неизбежным выводом, который делает Ницше из позитивизма, — откровенным аморализмом, отрицанием всякой человеческой нравственности. Интеллигент не сделал этого крайнего вывода потому, что был удержан от него бессознательными пережитками метафизического идеализма. Босяка уже ничто не удерживает; и в этом отношении, так же как во многих других, он опередил интеллигента: босяк откровенный и почти сознательный аморалист.

«Я со времен молодых ногтей моих морали терпеть не мог... Зубы моей совести никогда у меня не болели». — «Знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних ногах».

Идеалы отвлеченного гуманизма, философского человеколюбия — подогретое блюдо XVIII века, которым, в сущности, доньше питается русская интеллигенция — возбуждают в босяке чувство наибольшей брезгливости.

«Вы пишете разные статьи, человеколюбие всем советуете и прочее такое... а я все читаю... И противно мне читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова бесстыжие».

«Скажи, как по-твоему жить надо? Чего ты хочешь? — спрашивает старик Маякин, богатый купец по социальному положению, а по душе тот же босяк, свою дочь, интеллигентную барышню, начитавшуюся умных книжек. — «Чтобы все были счастливы... и довольны... и все люди равны... во всем равенство», — лепечет барышня. — «Так я и знал: позлащенная дыра ты! — решает старик. — Как могут быть все счастливы и равны, если каждый хочет выше другого быть?... Никогда человек человеку не уступит, — дураки только это думают. У каждого душа своя и лицо свое. Только тех, кто души своей не любит и лица не бережет, можно обтесать под одну мерку... Эх ты!.. Начиталась, нажралась дряни!»

Вероятно, в эту минуту у старого купца Маякина точно такая же «насмешливая физиономия», как у того «неблагодарного джентльмена», который, по мнению подпольного человека, непременно возникнет в будущем «хрустальном дворце» и посоветует людям «столкнуть с одного разу ногой прахом все это благоразумие».

Но не отвлеченное философское человеколюбие, а живая религиозная жалость, милосердие к людям — босяку всего ненавистнее.

«— Человека жалко!

— Да он кто тебе, человек-то? Понимаешь ты это? Он вот поймает тебя за шиворот, да и как блоху под ногти! В ту пору ты его и пожалей... да! Тогда ты ему и обнаружь глупость-то свою. Он тебя за твою жалость семью муками измучит. Кишки все твои на руку себе навертит, по вершку в час все жилы из тебя вытянет... Ах ты... жалость! А ты моли Бога, чтобы без всякой жалости, просто прикокнули тебя и шабаш!.. Жалость — тьфу!..»

Горький называет эти страшные слова «суровыми и верными». Положение так называемой «христианской» жалости в мире таково, что, действительно, нелегко опровергнуть правду этих слов.

«Жалеть я тебя не могу, — говорит босяк Артем еврею Каину. — Нет у меня жалости к тебе и ни к кому нет. Противно

мне это... Не мое это дело... Все я только ломал себя, притворялся больше. Думал, жалею, ан выходит — так это, один обман. Совсем я не могу жалеть».

Иногда кажется, что босяки Горького читали философа Ницше, хотя и в дешевом, не совсем грамотном русском переводе, но поняли в нем все-таки больше, чем русские интеллигенты. Иногда хочется даже спросить: узнал ли бы сам Ницше своего сумеречного Диониса или солнечного Аполлона в каком-нибудь чудовищном Кувалде или Пляши-Ноге, «оборванном, исцарапанном, черном, как сатана?» Если бы, впрочем, и не узнал, побрезгал бы ими, то уж они-то, все эти так еще недавно родившиеся, так уже бесчисленно кишачие сверхчеловеки, сверхчеловечки, узнали бы отца своего и с полным правом сказали бы ему: полюбил ты нас беленькими, полюби и черненькими! Или как менее брезгливый, чем Ницше, старец Лука говорит:

«Я и жуликов уважаю... По-моему, ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают!»

Босяки Горького, несмотря на свою демократическую внешность, внутренние аристократы. Простой народ для них чернь. Мужика ненавидят и презирают они едва ли не больше, чем барина.

«Я всех мужиков не люблю — они сволочи! Они прикинулись сиротами, ноют да притворяются, но жить могут: у них есть зацепка — земля. А я что против них?... Я — мещанин... За меня никого нет в заступниках». — «А мужика бы, этого чернотелого барина, ух ты!.. грабь, дери шкуру, выворачивай наизнанку!..» — «Что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь, съедобное животное».

Ненависть босяка к народу кажется только сословною, социально-экономическою; но, может быть, босяк сам еще не понимает, за что ненавидит народ.

Некрасовский дядя Влас, бывший кулак, то есть бывший внутренний босяк, хотя и другого, старого типа, обратившись к Богу, «роздал все свое имение, сам остался бос и гол», — сделался внешним босяком, сравнялся по социально-экономическому положению с босяками Горького⁶. Но какая разница между босым дядей Власом и босым Пляши-Ногою!

Между интеллигентом и босяком, при взаимном социально-экономическом отталкивании, существует метафизическое сродство, притяжение — одна и та же, как мы видели, «позитивная догматика»; между босяком и народом — как раз наоборот: при социально-экономическом притяжении — взаимное

метафизическое и даже мистическое отталкивание. Все, во что верит мужик, дядя Влас, — кажется босяку, полуинтеллигентному «мещанину», просто невежеством и глупостью — «про неправду все написано», — как говорит Смердяков. А если бы дядя Влас мог понять, что думает босяк, то отшатнулся бы от него с таким же суеверным ужасом, как от «шестокрылатого тигра, змиев и скор-пиев».

Босяк ненавидит народ, потому что народ — крестьянство — все еще бессознательное христианство, пока старое, слепое, темное — религия Бога, только Бога, без человечества, но с возможностью путей и к новому христианству, зрячему, светлому — к сознательной религии Богочеловечества. Последняя же сущность босячества — антихристианство, пока еще тоже старое, слепое, темное — религия человечества, только человечества, без Бога, — но с возможностью путей к новому зрячему, сознательному антихристианству — к религии человекобожества.

— «Безбожные вы все люди... Звери вы!.. Бежать от вас — одно спасение. Есть иные люди, живы души их во Христе, — к ним уйду!» — говорит сын отцу, христианин босяку. — «Мертвечина ты, стерва тухлая! — отвечает отец сыну, босяк христианину. — Кабы ты здоров был, хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору несчастную!»

Тут между отцом и сыном трагедия личная. Но смысл трагедии — последний ответ босяка христианину — вовсе не личный. Если не в настоящем, то в будущем, когда борьба делается сознательной, это ответ всего босячества всему христианству.

«Человек — вот правда. В этом все начала и концы. Все — в человеке, все — для человека. Существует только человек». — «Истинный Шекинах (Бог) есть человек». Человек есть Бог — таково религиозное исповедание сознательного босячества.

Сознательное христианство есть религия Бога, который стал Человеком; сознательное босячество, антихристианство, есть религия человека, который хочет стать Богом. Это последнее, конечно, обман. Ведь исходная точка босячества — «существует только человек», нет Бога, Бог — ничто; а следовательно, «человек — Бог» значит: человек — ничто. Мнимое обожествление приводит к действительному уничтожению человека.

Как бы то ни было, во имя этого обмана или этой религии, босяк хочет быть творцом.

— «Вот я соберу людей воедино и выведу их в пустыню и там устрою им будку всеобщего спасения... Я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю... Среди нас будет возвы-

шаться над всеми будка всеобщего спасения, и на вершине ее, под стеклянным колпаком, буду вечно вращаться я сам и смотреть за порядком. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я наложу на всех одну обязанность — творить. Твори, ибо ты человек! — прикажу я каждому». — «Ромул и Рем, босяки, создали Рим. И мы создадим!»

Но спрашивается: какое же творчество, когда, по признанию самого творца, «существуют только законы и силы», которым «невозможно противиться»? Какая же свобода, когда «человеку некуда податься ни на вершок», потому что «ничего неизвестно — тьма?» Тьма в начале, и в конце тьма, то есть слепое рабство слепым законам необходимости, мертвой механике мирового порядка. Человеку надо выбрать одно из двух: или отказаться от всякого творчества, примириться с тем, что всегда он был и будет не творец, а тварь; или же, окончательно возмущившись против мирового порядка, бежать в «разрушение и хаос», как выражается подпольный человек Достоевского — «столкнуть с одного разу ногой прахом хрустальный дворец всеобщего благополучия», вместе с босяцкою «будкою всеобщего спасения». А если так, то зачем и творить? Можно разрушать для творчества, но как творить для разрушения?

Босяк, впрочем, и сам предчувствует, что именно здесь, в творчестве, ждет его какое-то последнее крушение.

«Мне тесно, — говорит он, — стало быть, должен я жизнь раздвигать, ломать и перестраивать... А как? Вот тут мне и петля... Не понимаю я этого — и тут мне конец!»

«Дайте людям полную свободу, — тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, зарвется человек выше своих ушей и пером полетит туда и сюда. Чудотворцем себя возомнит и начнет он тогда дух свой испускать... А духа этого самого строительного совсем в нем малая толика! Попыжится это он день-другой, потопорщится во все стороны и в скорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем».

Тотчас после торжественного гимна человечеству: «Человек — это великолепно, все в человеке, все для человека!» — один из слушателей признается:

— «Я, брат, боюсь иногда. Понимаешь? Трушу... Потому, что же дальше?.. Все, как во сне... Зачем я родился?»

На этот вопрос один ответ: научно-позитивное — не знаем и не узнаем, *ignoramus, ignorabimus*. «Тьма!» Но после этого ответа — еще страшнее, потому что еще непонятнее.

С одной стороны: «существует только человек», «все в человеке»; а с другой: «человечество представляется кучей чер-

вей», «люди, как тараканы — совсем лишние на земле; все для них, а они для чего? В чем тут оправдание?» С одной стороны: «человек за все платит сам и потому он свободен»; а с другой: «никто ни в чем не виноват, потому что все мы одинаково скоты». «Я — скот, и сознание скотства моего не отягчает меня: я живу в полной гармонии». С одной стороны: «человек есть истинный Шекина» — человек есть Бог; а с другой: человек — «скот». И следовательно, обожествленное человечество — обожествленное скотство.

Тут очевидно в самой глубине босяцкой метафизики какое-то зияющее противоречие, в которое вся она проваливается, а вместе с нею и сам босяк.

«Иной раз думаешь, думаешь. И вдруг все исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то. В душе тогда, как в погребу, темно, сыро и совсем пусто. Совсем ничего нет! Даже страшно... как будто ты не человек, а овраг бездонный».

Это самое глубокое из всех признаний босяка.

«Небо пусто»; но вот оказывается, что и земля пуста. И провал в эту пустоту земную — подземную — такой же бездонный, как в пустоту небесную. Нет Бога, но и человека нет — «совсем ничего нет». Последнее самоутверждение человека без Бога приводит к последнему самоотрицанию.

«Братцы! Мы все лопнем, ей-Богу! А отчего лопнем? Оттого, что лишнее все в нас и вся жизнь наша лишняя!.. На что меня нужно? Не нужно меня! Убейте меня, чтоб я умер!.. Хочу, чтоб я умер!»

Ежели, дойдя до этой точки, босяк уже не только метафизически, но и физически не проваливается, то есть, не кончает самоубийством, сумасшествием, то тут начинается реальное воплощение новой метафизики, вернее, мистики «подпольного человека», то же самое, что произошло с двумя мужиками Достоевского, стрелявшими из ружья в Причастие, — то же самое, но более страшное, потому что более сознательное: именно сознательная «потребность отрицания всего, самой главной святыни своей», потребность «свеситься над пропастью, заглянуть в самую бездну и броситься в нее, как ошалелому, вниз головой», «некоторое адское наслаждение собственной гибелью, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью», — «один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть все пропадай!» Пусть «вечная гибель, но был же и я на таком верху!»...

— «Хочется мне отличиться на чем-нибудь, — говорит один из босяков Горького. — Раздробить бы всю землю в пыль или

собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтоб стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: «Ах вы, гады, жулье вы лицемерное, и больше ничего!» И потом вниз тормашками с высоты и... вдребезги!... Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу известно...»

«Пусть все скачет к черту на куличики! — говорит другой босяк. — Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула или разорвалась бы в дребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других».

Во имя чего это всемирное разрушение? Во имя ничего. Разрушение для разрушения, хаос для хаоса.

Спокойное, научно-позитивное: ничего не знаем, — превращается в яростное, мистическое: ничего не хотим, хотим ничего! И в этом хотении ничтожества обнаруживается последняя сущность босячества — служение «умному и страшному Духу Небытия»⁷.

Старец Лука, главный и, в сущности, единственный герой «На дне» — величайшее создание Горького.

Среди озверевших и осатаневших людей «святой старец» — как ангел Божий — со своею тихою усмешкою и тихою речью:

«Христос жалел и нам велел... Любить надо... Помогать человеку надо... Уважать его надо...»

Но истинного Христа, Богочеловека, незаметно подменяет она сперва человеком, только человеком: «Все — в человеке, все для человека», — затем противоположным Христом, Человекобогом: «Человек живет для лучшего человека», то есть для «сверхчеловека», который еще не пришел, но придет.

А пока придет сверхчеловек, старец Лука «уважает» и сверхчеловеков, которым и теперь уже «все позволено», «наплевать на все», — то есть, попросту, «жуликов».

«Я и жуликов уважаю; по-моему, ни одна блоха не плоха — все черненькие, все прыгают!»

И этих бесчисленных, маленьких, голеньких, черненьких созывает он, собирает и ведет в пустыню, в «будку всеобщего спасения». Манит их детскими сказками, лживыми грезами о «праведной земле», о таинственном «городе» с «лечебницей для пьяных», в которой — «мраморный пол, свет, чистота, пища, — и все даром», о «хрустальном дворце» и золотом веке «всеобщего благополучия». В жизни навевает им «сон золотой», а в смерти обещает вечный отдых, вечный покой — желанное ничтожество: «ничего там не будет, ничего; покой, и больше ничего!»

Те, кто подходит к старцу, чувствуют в нем какую-то страшную ложь, как бы провал в бездонную пустоту:

«Старик — шарлатан...»

«Лука, старец лукавый, все истории рассказывает...»

«Это он, старая дрожжа, проквасил нам наших сожителей...»

«— Зачем ты все врешь? — обращается к нему один из слушателей.

— Это в чем же вру-то я?

— Во всем... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... Ведь врешь! На что?

— А ты мне поверь... Спасибо скажешь... И чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя».

«Правды он не любил, старик, — рассуждают ученики об учителе. — Очень против правды восставал. Так и надо. Верно, — какая тут правда? И без нее дышать нечем»...

«Старик — не шарлатан! Что такое правда? Человек, вот правда! Он это понимал... Он врал... Но это из жалости к вам, черт вас возьми!.. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ложь оправдывает. Ложь нужна. Ложь — религия!»

Религия «старца лукавого» и есть религия лжи. Дьявол — «отец лжи»; он истину ненавидит, потому что не устоял в истине; когда говорит ложь, свое говорит, потому что он — отец лжи и вечная ложь — его оружие в борьбе с Вечной Истиной — с Богом.

«— Слушай, старик: есть Бог?

Лука молчит, улыбаясь».

Может быть, во всей русской литературе, после Достоевского, нет ничего страшнее этой безмолвной улыбки старца Луки.

«— Ну? Есть? Говори!»

Лука, наконец, отвечает «негромко»:

«— Коли веришь — есть; не веришь, — нет. Во что веришь, то и есть».

Вот слово, достойное самого «отца лжи». На вопрос: есть Бог? — ответить: да, — значило бы для него, утвердив Вечную Истину, уничтожить себя, Вечную Ложь; ответить: нет, — значило бы выдать себя, свою последнюю сущность, ту же Вечную Ложь, ибо, разумеется, сам он, Лукавый, лучше, чем кто-либо, знает, что Бог есть, потому что «видит Бога». И Лука, «старец лукавый», отвечает надвое: и да, и нет — ни да, ни нет. Эти два ответа — две стены одного провала в бездонную пустоту.

— Хочешь верить в Бога, — верь; не хочешь, — не верь. Бог тебя не спасет. А ты мне поверь. Спасибо скажешь. И чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка. Она, правда-то, может, обух для тебя.

Правда — погибель, ложь — спасенье; правда — зло, ложь — добро; правда — от дьявола, ложь — от Бога. Ложь стала правдою, правда — ложью.

Извне как будто ничего не разрушено; но внутри все опрокинуто, перевернуто вверх дном, так что и разрушать нечего: увлекаемое собственной тяжестью, все само собою падает, рушится, возвращается к древнему хаосу, к небытию — «летит к черту на куличики». А таинственному старцу этого только и нужно, для этого он и пришел, как будто «во имя Отца», а на самом деле «во имя свое».

«Мы солжем во имя Твое, — говорит у Достоевского Великий Инквизитор своему Посетителю. — Нам дороги и слабые. Они порочны, и бунтовщики, но, под конец, они-то и станут послушными».

Это ведь и значит: «По-моему, ни одна блоха не плоха, все черненькие, все прыгают».

«Они будут дивиться на нас и считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу, которой они испугались, и над ними господствовать, — так ужасно им станет, под конец, быть свободными».

«Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы... Мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками»...

Один из «бывших людей» на дне поет, приветствуя старца Луку, учителя лжи:

...Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет,
Честь безумцу, который навает
Человечеству сон золотой.

А то, что говорит старцу другой, можно бы сказать и Великому Инквизитору:

«— Врешь ты хорошо... сказки говоришь приятно!»

«— И все будут счастливы, — продолжает Великий Инквизитор, — все миллионы существ, кроме сотни тысяч, управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания

добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть...»

«— Ничего там не будет, ничего. Спокой — и больше ничего», — соглашается старец Лука с Великим Инквизиторов.

«— ...Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими; но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет Блудница, сидящая на Звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее гадкое тело. Но я тогда встану и укажу Тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их, для счастья их, на себя, мы станем пред Тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь!» Знай, что я не боюсь Тебя!»

«То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется».

«Мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна!»

С ним, то есть с «умным и страшным Духом Небытия».

Если бы кто-нибудь после этого монолога спросил Великого Инквизитора:

— Есть Бог?

Он молчал бы, «улыбаясь», а потом ответил бы, как старец Лука:

«Если веришь, — есть; если не веришь, — нет... А ты мне поверь. Спасибо скажешь!»

Но последней тайны своей Великий Инквизитор, так же как старец Лука, не открывает. Последняя тайна обоих в том, что они, подобно отцу своему, отцу лжи, который «человекоубийца был искони», хотят не спасти, а погубить мир. Оба они знают, что человек никогда ни для какого блаженства не откажется окончательно от свободы, никогда, ни для какой утешительной лжи не отвергнет истину окончательно, никогда, ни для каких золотых снов земли не забудет снов небесных окончательно. Оба они знают, что рано или поздно человек проснется от сна, затоскует и в рабстве, проклянет ложь и увидит за ложью бездонную пустоту, в которую влечет его «отец лжи».

Тогда-то наступит та последняя скорбь, о которой сказано: «будет скорбь, какой не было от начала мира»; тогда люди «будут издыхать от страха», потому что страшнее всякого страха — небытие; будут «проклинать имя Бога живого и звать смерть, но смерть убежит от них». И захотят уничтожить себя, уничтожить мир, только бы не видеть этого грозящего ничтожества, этой бездонной пустоты небытия.

Великий Инквизитор и старец Лука — не реальные лица, а фантастические призраки. Но тот, для кого христианство реально, увидит и за этими призраками нечто реальное, как бы математически точную проекцию в неизмеримые дали будущего.

Во всемирной истории проходят иногда тени грядущих событий. В нереальном, но, может быть, только пока еще нереальном, не воплотившемся лице, которое сквозит за этими двумя призрачно-прозрачными масками — Великим Инквизитором и старцем Лукою, — прошла, кажется, одна из таких теней, никем не узнанная, пророческая и как бы предостерегающая тень того, чего еще нет, но что будет, если не лживо слово самой Истины:

«Я пришел во имя Отца Моего, и вы Меня не принимаете; другой придет во имя свое, его примите».

Эти вещие призраки — первые вехи пути, на который уже вступило так называемое «христианское» человечество, — пути, ведущего от религии истины к религии лжи, от Богочеловечества к Человекобожеству, от Христа к Антихристу.

III

«Здесь все слиняло — один голый человек остался», — определяет себе подобных босяк «На дне». Человечество, только человечество и есть босячество.

Чеховский интеллигент — тот же горьковский босяк, с которого уже «все слиняло», кроме некоторых умственных и нравственных условностей, внешних покровов, ветхих рубищ, едва прикрывающих последнюю наготу, последний стыд человеческий; горьковский босяк — тот же чеховский интеллигент, обнаженный и от этих последних покровов, совсем «голый человек».

Мы видели общую исходную точку интеллигента и босяка — одну и ту же догматику позитивизма.

«Существуют законы и силы... Человеку некуда податься... Ничего неизвестно... Тьма!» — утверждает горьковский босяк. «Обратитесь к точным знаниям... доверьтесь очевидности... дважды два есть четыре», — говорит чеховский интеллигент.

— «Теперь перед смертью меня интересует одна только наука, — признается умирающий старый профессор в «Скучной истории». — Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявле-

нием любви, и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна... Но я не виноват, что верю так, а не иначе... Судьбы костного мозга интересуют меня больше, чем конечная цель мироздания».

На вопрос о конечной цели мироздания наука отвечает: не знаю. Профессор всю жизнь довольствовался этим ответом и, ежели перед смертью почувствовал, что не может им довольствоваться, то сам не понимает, почему случилось так, никакого иного ответа не находит и не сомневается, что наука все, а не часть всего, точно так же как познающий разум, источник науки, не все, а только часть всего существа человеческого.

Догматический позитивизм приводит босяка к столь же догматическому материализму в нравственности: «Брюхо в человеке главное дело. А как брюхо спокойно, значит, и душа жива. Всякое деяние человеческое от брюха происходит». — «Волк прав». Эта единственная волчья правда босячества превратится у чеховской интеллигенции в материализм, реализм, дарвинизм или в какой-нибудь другой «изм», но, в сущности, это будет все тот же босяцкий цинизм. Герой «Дуэли», зоолог фон Кореи «хлопочет об улучшении человеческой природы» посредством естественного подбора и борьбы за существование, которые, будто бы, суть высшие законы не только животного, но и человеческого мира. «Есть сила, которая сильнее нас и нашей философии... Когда эта сила хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия... Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возысить их до нормы, то у вас хватит силы... уничтожить их». — «Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?» — «Несомненно». — «Но ведь сильные распяли Господа нашего Иисуса Христа!» Зоолог возражает на это довольно жалкими софизмами, стараясь доказать, что заповедь любви Христовой отнюдь не противоречит зоологическому закону борьбы, пожирания слабых сильными, так что можно подумать, будто бы Христос распят только для того, чтобы подтвердить единую спасающую истину дарвинизма. Такое «разумное христианство» не ветхое ли рубище, сквозь дыры которого зияет бесстыдная нагота человеческого, только человеческого разума, а за нею еще более бесстыдная, голая, босяцкая «волчья» правда?

«Мертвичина ты, стерва тухлая!» — отвечает у Горького босяк христианину. «Самое стойкое и живучее из всех гумани-

тарных знаний, это, конечно, учение Христа, — рассуждает чеховский интеллигент. — Эта проповедь любви ради любви, как искусства для искусства, если бы могла иметь силу, в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию и таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле... Поэтому никогда не ставьте вопроса на так называемую христианскую почву».

Как относился сам Чехов к религии вообще, и к христианству, в частности?

По произведениям его можно только догадываться, хотя с очень большою вероятностью, что, подобно своему герою, Чехов видел в христианстве «одно из гуманитарных знаний», принимал в нем человеческую нравственность, а все остальное отвергал, как суеверие; но и в этом очищенном виде христианство представлялось ему столь сомнительным, что он сам, подобно зоологу фон-Корену, предпочитал «никогда» не ставить вопроса на так называемую «христианскую почву». Как бы то ни было, тот факт, что христианство в произведениях Чехова почти умолчено, уже сам по себе значителен.

Мне пришлось бы ограничиться сказанным, если бы судьба не дала мне в руки двух документов чрезвычайной ценности для истории внутренних религиозных переживаний Чехова, которые он всегда скрывал ревниво и тщательно. Это два неизданных частных письма его к С. П. Дягилеву, редактору «Мира Искусства», чьей любезности я обязан разрешением привести здесь выдержки из этих писем⁸. В одном из них, от 12 июля 1903 года, то есть за год до смерти, Чехов пишет:

«Я давно растерял мою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».

Во втором, от 30 декабря 1902 года — по поводу современного религиозного движения в России, идущего от Вл. Соловьева и Достоевского, движения, которое выразилось отчасти, хотя далеко неполно, в Религиозно-философских собраниях и в журнале «Новый путь»:

«Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и, главным образом, от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит все дальше, что бы там не говорили, и какие бы философско-религиозные общества не собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы

пишете — само по себе, а вся современная культура — сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой никак нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога; т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, — есть пережиток, уже почти конец того, что отжило, или отживает» *.

* Ввиду важности обоих писем, привожу их здесь целиком:

30 декабря 1902

Многоуважаемый Сергей Павлович!

«Мир Искусства» со статьей о «Чайке» я получил, статью прочел — большое Вам спасибо. Когда я кончил эту статью, то мне опять захотелось написать пьесу, что, вероятно, я и сделаю после января. Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и, главным образом, от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит все дальше, что бы там не говорили, и какие бы философско-религиозные общества не собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете — само по себе, а вся современная культура — сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой никак нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога; т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, — есть пережиток, уже почти конец того, что отжило, или отживает. Впрочем, история длинная, всего не напишешь в письме. Когда увидите г. Философова, то, пожалуйста, передайте ему мою глубокую благодарность. Поздравляю Вас с новым годом, желаю всего хорошего.

Преданный А. Чехов

12 июля 1903

Многоуважаемый Сергей Павлович, я немного запаздываю ответом на Ваше письмо, так как получил его не в Наро-Фоминском, а в Ялте, куда приехал на этих днях и где пробуду, вероятно, до

Достоевский верил в истину учения Христова; эта истина была для него, конечно, совсем иного порядка, но не меньшей, а большей достоверности, чем «дважды два есть четыре». Вера Достоевского кажется Чехову смутным «угадыванием», не потому ли, что мир внутреннего мистического опыта, который Достоевскому так близок, почти незнаком Чехову? Этот внутренний религиозный опыт, может быть, объективно ложен, но отнюдь не менее точен и ясен, чем самые точные и ясные математические истины. Разумеется, для тех, кто незнаком с интегральным и дифференциальным исчислением, формулы высшей математики кажутся менее ясными, чем дважды два четыре; но из этого не следует, что они менее точны и достоверны. Во всяком случае, возвращаться от высшей математики к таблице умножения в поисках за общедоступною ясностью — значит, идти не вперед, а назад, не к великому будущему, а к малому

осени. Я долго думал, прочитав Ваше письмо, и как ни заманчиво Ваше предложение, или приглашение, все же я должен в конце концов ответить Вам не так, как хотелось бы и мне и Вам. Быть редактором «Мир Искусства» я не могу, так как жить в Петербурге мне нельзя, а журнал не переедет для меня в Москву, редактировать же по почте и по телеграфу невозможно и иметь во мне только номинального редактора для журнала нет никакого расчета. Это во-первых. Во-вторых, как картину пишет только один художник и речь говорит только один оратор, так и журнал редактируется только одним человеком. Конечно, я не критик, и, пожалуй, критический отдел редактировал бы неважно, но, с другой стороны, как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время, как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Д. С. и ценю его, и как человека, и как литературного деятеля, но ведь воз-то мы, если и повезет, то в разные стороны. Как бы ни было — ошибочно мое отношение к делу, или нет, я всегда думал, и теперь так уверен, что редактор должен быть один, только один, и что «Мир Искусства», в частности, должны редактировать только Вы одни. Таково мое мнение, и мне кажется, что я не изменю его.

Не сердитесь на меня, дорогой Сергей Павлович; мне кажется, что Вы, если бы проредактировали журнал еще лет пять, то согласились бы со мной. В журнале, как в картине, или поэме, должно быть одно лицо и должна чувствоваться одна воля. Это и было до сих пор в «Мире Искусства», и это было хорошо. И надо бы держаться этого.

Желаю Вам всего хорошего, крепко жму руку. В Ялте прохладно, или, по крайней мере, не жарко, я торжествую. Низко Вам кланяюсь.

Ваш А. Чехов

прошлому. Противопоставляя недостаточно, будто бы, ясной религиозной истине, в которую верил Достоевский, но которая была открыта людям не Достоевским, а Христом, другую, еще неизвестную истину «настоящего Бога», которая будет открыта, может быть, через десятки тысяч лет и которая сведет все тайны Божьи, донныне казавшиеся людям страшными и неисповедимыми, к общедоступной ясности таблицы умножения, — Чехов тем самым подписывает смертный приговор не только современному религиозному движению в России, но и всему христианству, всей религиозной жизни человечества, как вымирающему «пережитку», обломку старых, никому не нужных суеверий; порывает всякую живую связь между прошлым и будущим всемирной культуры. Ежели так, то не только современное религиозное движение в России, но и все христианство «само по себе», а «современная культура сама по себе». Они враги на жизнь и смерть. Пусть Чехов и не сделает этого вывода; все же ясно, что он не мог его избежать.

В рассказе «Студент», в глухой деревне у пылающего костра, в ночь на Страстную Пятницу простые люди тронуты до слез рассказом студента о том, что происходило девятнадцать веков назад, в точно такую же ночь, у такого же костра, во дворе первосвященника Кайафы. «То, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, — думает студент, — имеет отношение к настоящему, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Прошное связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой... Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня, и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...»

С одной стороны, христианство — только «пережиток того, что отживает и уже почти отжило», обломок старины, не имеющий никакого отношения к будущему; с другой — христианство есть вечная цепь, соединяющая прошлое с будущим, в христианстве — «вечная правда и красота, составляющие главное в человеческой жизни и вообще на земле». Как выйти из этого противоречия? Чехов не только не вышел из него, но и не вошел в него, как следует, по крайней мере, своим сознанием не вошел, а прошел мимо, не задумываясь. Он говорил христианству то окончательное да, то окончательное нет, с одинако-

вою опрометчивую легкостью. И русская интеллигенция тоже не задумалась.

Кажется, в жизни Чехова, так же, впрочем, как в жизни каждого человека, было мгновение, когда он встретился лицом к лицу со Христом и мог бы подойти к Нему; но что-то испугало, оттолкнуло Чехова — не вечное ли смешение религии с реакцией, подозрение, что в христианстве заключено отрицание человеческой свободы и человеческого разума даже до таблицы умножения? И Чехов прошел мимо Христа, не оглядываясь и даже потом нарочно стараясь не смотреть в ту сторону, где Христос. А если бы посмотрел, то увидел бы, что и «десятитысячелетиям» не так-то легко будет отделаться от «пережитков» того, что произошло во дворе первосвященника или в саду Гефсиманском, где Сильнейший из людей скорбел до кровавого пота, молясь: Да идет чаша сия мимо Меня, впрочем не Моя, но Твоя да будет воля, — и этою молитвою разрешал самую страшную мировую антиномию божественной необходимости, по которой смерть есть смерть, как «дважды два есть четыре», и божественною свободою, которая требует, чтобы смерть была не смертью, а воскресением, несмотря на то, что дважды два есть четыре.

«Ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, а начало смерти», — устами Подпольного человека возражает Достоевский Чехову. «По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Я согласен, что дважды два превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два пять премилая иногда вещь».

Это, конечно, — безумие, то самое безумие, за которое Чехов невзлюбил Достоевского. Но неужели и сам Чехов, хоть изредка, например, в ту минуту, когда, умирая в пустоте безверия, готов был, кажется, воскликнуть с одним из своих героев: «Хоть бы удариться в мистицизм, хоть бы кусочек какой-нибудь веры!» — не чувствовал соблазна этого безумия? Неужели никогда не видел он, что дважды два четыре, возведенное на степень религии — вовсе не путь, а стена, о которую человечество бьется головой и будет биться, пока не разобьет или эту стену, или собственную голову — и хорошо делает, потому что человечество только до тех пор и достойно этого имени, пока свобода для него дороже головы? И неужели, наконец, Чехов не понял бы, при всем своем благоразумии, безумия тех, кто, после десяти-тысячелетий культурной работы, отыскав «настоящего Бога», в котором не оказалось бы ничего больше, чем дважды два четыре, возмутились бы и пожелали отправить такого Бога к черту?

Чехова разрывали на части всевозможные политические и литературные лагеря: делали его позитивистом, социалистом, марксистом, народником, декадентом и даже мистиком; последняя попытка неудачнее всех остальных. Ежели у Чехова и была жажда религии, то жажда эта осталась навсегда неутоленной; а что касается до подлинных религиозных переживаний его, то можно сказать о нем то же, что он говорит об одном из своих героев:

«Небольшой кусочек религиозного чувства теплился в груди его наравне с другими нянюшкиными сказками».

Или то, что он сам о себе говорит:

«Я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».

И в этом, впрочем, как во всем остальном, Чехов истинный представитель религиозного сознания русской интеллигенции.

Решив, что «небо пусто», а «с земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь», чеховский интеллигент, так же как горьковский босяк, противопоставляет христианству, которое кажется ему религией «пустого неба», религию полной, исполненной земли, религию прогресса — земного рая, земного неба.

«Пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести, триста лет, и какая будет жизнь, какая жизнь!» Вместе с пронзительно унылою свирелью Луки Бедного, Антона Бедного — песнью о кончине мира, о всеобщей гибели — эта песнь о бесконечности мира, о всеобщем спасении, песнь грядущего рая земного, грустно веселая, как призывной крик журавлей, — второй, всегда сопутствующий первому и ему противоречащий, Leitmotiv чеховской музыки. «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней». Это однообразное, похожее не то на молитву, не то на заклятье: «через двести, триста лет» повторяется упорно и уныло, почти так же уныло, как две-три ноты плачущей свирели. «Через двести, триста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь»... Это священное исповедание, этот новый «ислам» твердят почти все герои Чехова, которых он любит, твердит он сам: «Как часто, — вспоминает один из приятелей Чехова, — говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами: “Знаете ли, через триста, четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна... Как хороша будет жизнь через триста лет!”»

Казалось бы, на этом и успокоиться. Все ясно, все просто; никаких сомнений, никаких тайн. «Через двести, триста лет» наступит золотой век на земле, а пока надо ждать и надеяться, да идти навстречу этому восходящему солнцу прогресса.

Казалось бы так. А между тем Чехов не только на этом не успокаивается, но с этого-то и начинается вся его трагедия; тут-то и возникают для него самые неразрешимые сомнения, самые неразгаданные загадки. Тут кончается внешний, мнимый, все понимающий, всем понятный — и выступает подлинный, «подпольный», ничего не понимающий и никому непонятный Чехов.

«— Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни... Когда я лежу на траве и долго смотрю на козьявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь полна сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.

— Что ж, собственно, вам страшно?

— Мне все страшно... Мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому все это нужно... Никого и ничего я не понимаю... Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю вас. У меня темно в глазах».

Не тот же ли это самый страх у чеховского интеллигента, как у горьковского босняка, который признается тотчас после торжественного гимна человечеству:

«— Я, брат, боюсь иногда... Понимаешь? Трушу... Потому, что же дальше?... Все как во сне... Зачем я родился?»

На вопрос обоих — один научно-позитивный ответ: «Ничего неизвестно. Тьма!» Ответ, равняющий жизнь человека и всего человечества с жизнью козьявки, «полною сплошного ужаса». Жизнь кажется ловушкой, из которой нет выхода; природа — «темною, безгранично глубокою и холодною ямою, из которой не выбраться».

«Небо пусто», но нельзя человеку не видеть над собою этого пустого неба и нельзя не чувствовать своего бесконечного одиночества в этой бесконечной пустоте. Бывшая некогда в религии, сила притяжения «к мирам иным», сила мистической радости не исчезает с исчезновением религии, а превращается в равную и противоположную силу отталкивания, силу мистического ужаса.

«Когда долго, не открывая глаз, смотришь на глубокое небо, — говорит Чехов, — то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены...

Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной».

Ужасна, потому что непонятна, жизнь; еще ужаснее, потому что еще непонятнее, смерть.

Вопрос о бессмертии, так же, как вопрос о Боге — одна из главных тем русской литературы от Лермонтова до Л. Толстого и Достоевского. Но как бы ни углублялся этот вопрос, как бы не колебалось его решение между да и нет, — все же вопрос остается вопросом. Чехов первый на него ответил окончательным и бесповоротным нет, поставив средоточием душевной трагедии всех своих героев мысль о смерти, как об уничтожении.

«— А вы не верите в бессмертие души? — спрашивает уездного доктора уездный почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь».

Как просто! Но под этой простотой весь ужас, на какой способна душа человеческая.

«О, зачем человек не бессмертен? — думает тот же доктор, оставшись ночью один. — Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корою, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину».

И доктор сходит с ума от этих простых мыслей!

«Скоро меня возьмет смерть», — думает старый профессор, знаменитый ученый, герой «Скучной истории». И все великие научные истины кажутся ему ничтожными перед этой простой истиной: «скоро меня возьмет смерть».

Он продолжает верить, что «наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, и что только ею одною человек победит природу и себя»... но вера эта не спасает его от страха смерти. Вера в науку сама по себе, а мысль о смерти сама по себе. «Если кто философствует, это значит, что он не понимает». «Никакая философия не может примирить меня со смертью, и я смотрю на нее, просто как на погибель». Среди лекции, в то самое время, когда он проповедует бессмертное величие и торжество науки, — к горлу вдруг подступают слезы, и он чувствует «страстное, истерическое желание протя-

нуть вперед руки... и прокричать громким голосом», что его, «знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни». «— И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком, бросились к выходу». — «Ужас у меня безотчетный, животный... такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное злоеющее зарево».

Он смутно сознает: «Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам... Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Или раньше я был слеп?» Кажется, еще шаг сознания — и он поймет все, поймет, что действительно был слеп, и слепа была его вера в науку. Какая же это вера, с которой можно жить, но нельзя умереть, которая исчезает от мысли о смерти, как лед от огня? Но поздно. Сознание его так и не сделает этого шага. Прежде не видел он истины, потому что был слеп, а теперь слеп, потому что увидел истину, и слишком внезапный свет ее ослепил его. И он уже, видя, не видит и ничего не может сознать, а может только дрожать, как затравленный зверь, и кричать последним отчаянным криком: «Я утопаю... бегу... прошу помощи!» Но никто и ничто ему не поможет — меньше всего религия науки, человеческого, только человеческого разума, религия прогресса — здешней вечности, смертного бессмертия.

Теперь понятно, для чего нужна эта религия: она служит чем-то вроде ширмы от страшного света истины, «белого света смерти». Но старинные ширмы из пестрой тафтицы с веселеньким узором во вкусе XVIII века, изображающим пастораль золотого века, эти вольтеровские ширмы, за которыми так мирно почивали наши дедушки и бабушки, — давно износились, продырявились, и сквозь все дыры светит свет белого дня; спящие просыпаются и уже не могут заснуть и снова увидеть золотой сон прогресса.

«— Воссияет заря новой жизни, восторжествует правда!», — бредят спящие.

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — отвечают проснувшиеся. — Правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать, так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же, в конце концов, вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю... Если нет бессмертия, то его, рано или поздно, изобретет великий человеческий ум».

На это изобретенное бессмертие проснувшийся не отвечает даже: «Э, полноте», — а только снисходительно улыбается и спрашивает: «Вы изволили где-нибудь получить образование?»

«Прогресс — алхимия», — как-то неосторожно признается один из чеховских героев, и, кажется, это — искреннейшее признание самого Чехова. Во всяком случае, вера в научное бессмертие ничем не отличается от веры в жизненный эликсир или философский камень средневековых алхимиков. Это — ситцевая заплата XX века на шелковых ширмах XVIII. Но ситец дерет шелк, и дыра еще больше. Впрочем, как ни чини эти ширмы, а рано или поздно, придется их сдать в лавку старьевщика, вместе с другим дедушкиным хламом. Да и рассвело уже так, что ни за какими ширмами, ни старыми, ни новыми, от света не спрячешься — просыпаться пора.

«Я хотел бы проснуться через сто лет, — мечтает умирающий профессор в «Скучной истории», — и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой... Дальше что? — А дальше ничего».

— «Я, брат, иногда боюсь... Понимаешь? Трушу... Потому, что же дальше?»

И чеховский интеллигент, знаменитый ученый, на высоте всех своих знаний, оказывается перед лицом смерти таким же «голым человеком», как босьяк «на дне».

«Если вообразить, — думает сходящий с ума доктор «Палаты № 6», — если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все — и культура и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет».

И с умным доктором, и с великим ученым согласен пастух Лука Бедный, который поет на своей унылой свирели о конце мира, о всеобщей гибели. Он тоже не сомневается в прогрессе, в движении куда-то вперед, но сомневается, что впереди — спасение, а не гибель.

«— Умней-то умней народ стал, это верно, да что с того толку? На кой прах людям ум перед гибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно...»

И без всякого прогресса.

Спрашивается: есть ли у чеховских героев, есть ли у самого Чехова что-нибудь, чем бы они могли защититься от этой про-

стой с ума сводящей истины: «Все пропадет и даже лопухом не порастет». И если нет ничего, то как же не видят они, как же сам Чехов не видит, что достаточно одного прикосновения этой истины о смерти, как уничтожении, чтобы уничтожить дотла его последнюю и единственную святыню?

Возможен один лишь осмысленный вывод из этого бессмысленного ужаса:

«— Мне кажется, — говорит Маша, одна из «Трех сестер», — человек должен быть верующим, или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети рождаются, для чего звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава».

Но «никому ничего неизвестно», и значит, действительно, «все пустяки, трын-трава». Жизнь каждого человека кончается смертью, уничтожением, то есть нулем; и жизнь всего человечества, сумма отдельных человеческих жизней только сумма нулей, — тот же нуль. *Ex nihilo nihil*. Из ничего ничего. Значит, и религия прогресса — та же «религия лжи», которую проповедует Лука, «старец лукавый». И ежели «через десять тысячелетий культурной работы люди, наконец, познают истину настоящего Бога так же ясно, как дважды два четыре», то уже и сейчас имя этого Бога познано, хотя и не названо: имя Его — «Отец лжи» и «Человекоубийца». Знает ли его Чехов? Сделал ли он этот вывод, единственно разумный, но, может быть, более страшный, чем само безумие? Во всяком случае, нет никакого основания думать, что бы он этого не знал и не сделал.

«— Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?» — молит ученица учителя, умирающего профессора в «Скучной истории».

«— Что же я могу сказать? — недоумевает он. — Ничего я не могу».

— Помогите! — рыдает она. — Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?» Он молчит, потом отвечает:

«— По совести не знаю».

А ведь кажется, должен бы знать: ведь он все еще верит в науку. Так почему же не ответил: «Верьте в науку верьте в прогресс»? Что же мешает ему ответить так, «по совести»? Или он уже сам не верит, и то, что всю жизнь казалось ему истиной, теперь, перед смертью, кажется ложью? И стыдно лгать пред лицом смерти, пред лицом истины?

«Для меня ясно, — признается он, — что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, которые я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего. Я побежден».

Но ведь это приговор не только ему, но и всему, во что он верил и других учил верит. «Страшно впасть в руки Бога живого». Он впал в руки Бога и все-таки не видит лица Божьего, стыдится имени Божьего, пишет «бог» с маленькой буквы, чтоб его не заподозрили в измене науке.

Но эта «общая идея», это соединение, «связь всего в одно целое», которых ему недостает и от недостатка которых он погибает, — ведь это и есть Бог, не отвлеченный, мертвый, маленький «бог», а настоящий, великий, живой, о котором и сказано: «страшно впасть в руки Бога живого».

Таково признание чеховского героя, кажется, очень близко-го самому Чехову. А вот признание одного из героев Горького, кажется, тоже близкого самому Горькому:

«Кто есть мой Бог? Если б я знал это!... Я открыл в себе немало добрых чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хорошим; но чувства объединяющего все это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе... Я существую внутренне опустошенный... Я уже труп».

Не кажется ли, что оба признания — из одной души?

Далее — последний отчаянный крик: «Хоть бы удариться в мистицизм! Хоть бы кусочек какой-нибудь веры!» — и чеховский интеллигент проваливается в ту же бездонную пустоту, как горьковский босяк. «Все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими», — решает перед смертью старый профессор в «Скучной истории».

«— Жизнь скучна, грязна, глупа... Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю», — решает Иванов перед самоубийством.

«— Нас нет, ничего нет на свете, мы не существуем, а только кажется, что существуем. И не все ли равно?» — говорит в «Трех сестрах» страшный Чебутыкин, живой мертвец. Это тот же самый ужас небытия, который испытывает и горьковский

босяк: «Вдруг все исчезнет из тебя, точно провалится насквозь, куда-то... Совсем ничего нет! Даже страшно... Как будто ты не человек, а овраг бездонный... Ничего во мне нет...»

Бездна не только отталкивает, но и притягивает.

«— Братцы, мы все лопнем, ей-Богу! А отчего лопнем? Оттого, что лишнее все в нас и вся жизнь наша лишняя!.. На что меня нужно? Не нужно меня! Убейте меня, чтоб я умер!.. Хочу, чтоб я умер!» Последнее самоутверждение приводит к последнему самоотрицанию. «Я теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. Ничего мне не надо, ничего не хочу!» — говорит уже не горьковский, а чеховский босяк, ссыльный Семен Толковый. До этой же самой «точки» доводят себя и чеховские интеллигенты: и они могут, в смысле религиозном, умственном и нравственном, «голые на земле спать и траву жрать»; и у них нет ничего и ничего им не надо. Тут чеховский интеллигент сливается с горьковским босяком уже окончательно. У обоих спокойное, научно-позитивное: ничего не знаем — превращается в яростное, мистическое: ничего не хотим, хотим ничего; ужас небытия — в жажду небытия, в жажду всемирного разрушения и хаоса.

«Ничего не нужно. Пусть земля провалится в тартарары!» — это последнее желание чеховского интеллигента совпадает с последним желанием горьковского босяка: «Пусть все скачет к черту на куличики! Мне было бы приятно, если бы земля вдруг вспыхнула и сгорела, или разорвалась бы вдребезги!»

Разрушение для разрушения, хаос для хаоса — конец мира, который идет не извне, а изнутри, из души человеческой, из проснувшегося в ней, зашевелившегося хаоса, — тот конец мира, та всеобщая погибель, о которых поет свирель Луки Бедного: «весь мир идет прахом... А коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего канителить и людей попусту мучить»...

Когда доктор «Палаты № 6» умирает в сумасшедшем доме от апоплексического удара, то в последнюю минуту перед потерей сознания, думает о бессмертии: «А вдруг оно есть? — Но бессмертия ему не хотелось», — утверждает Чехов. — «Потом все исчезло. Он забылся навеки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню», или — «бросили в яму», как он предчувствовал еще при жизни, или «в вагон для перевозки свежих устриц»⁹, как, может быть, предчувствовал о себе Чехов, который согласен, по крайней мере, не считает нужным заявить несогласия со своим героем, что бессмертия нет, да и «не хочется бессмертья». Все гадко, все просто, все

бессмысленно. Ни надежды, ни страха, ни возмущения, ни даже муки. Одно беспредельное, тупое, простое, тихое, животное, скотское отчаяние — бездонная пустота.

«Я умираю. Ich sterbe» — эти два слова, говорят, Чехов произнес перед смертью, и больше ничего не прибавил, да ему и нечего было прибавить: смерть есть смерть, как «дважды два есть четыре»; смерть — ничто, и жизнь — смерть, все — смерть, все — ничто. И мертвое тело Чехова положат в «вагон для перевозки свежих устриц», и над гробом покойного учителя живые учителя будут говорить речи о прогрессе, о здешней вечной жизни, о будущем рае земном, о великом человеческом разуме, который «изобретет когда-нибудь бессмертие». И пусть говорят! Пусть даже Чебутыкин, живой мертвец, напевает свою веселенькую тарарабумбию. Не все ли равно? «Смерть слова не боится», — как утверждает один из босяков «На дне». — «Мертвецы не воскреснут, мертвецы не слышат... Кричи, реви... мертвецы не слышат».

Не потому смерть есть смерть, что нет бессмертия, а потому, что «и не хочется бессмертия», не нужно его, ничего не нужно, или, вернее, нужно ничего. И не потому не верующий в бессмертие не верит, что бессмертия нет; а потому и нет для него бессмертия, что он в него не верит, не хочет его, и если бы знал, что оно есть, то все-таки не захотел бы, — как Иван Карамазов, «возвратил бы почтительнейше билет свой Богу».

Это-то и есть истинная смерть, не только телесная, но и духовная, вечная смерть, предсказанная в Апокалипсисе, вторая смерть, от которой нет воскресения.

Религия прогресса, здешней вечной жизни становится религией нездешней вечной смерти, религией небытия — тою самою, которую проповедует «бывшим людям», мертвым и «голым» людям Лука, старец лукавый, служитель самого Отца лжи, «умного и страшного Духа небытия».

У Достоевского есть ужасный рассказ «Бобок». Кто-то, зайдя случайно на петербургское кладбище, подслушивает разговор покойников. Оказывается, что перед тем, чтобы умереть окончательно, они просыпаются ненадолго. «Остаток жизни сосредоточивается в сознании. Это продолжается жизнь как бы по инерции... месяца два, или три... иногда даже полгода»... Потом они опять засыпают, уже навеки. «Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно слово, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», — но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой»... Этот

краткий промежуток между двумя смертями, первой и второю, дается будто бы людям для того, чтобы они «успели спохватиться»; это — «последнее милосердие». Главный ужас в том, что после смерти ничего не изменилось, все осталось по-прежнему; «все, что у вас, есть и у нас»; только переменялась точка зрения — и все, оставаясь по-прежнему, вместе с тем опрокинулось, перевернулось, открылось с другой стороны. Они знают, что умерли, но не могут или не хотят этого узнать до конца, постоянно забывают, смешивают, путают, не могут привыкнуть к новой точке зрения. Все, как было — ничего страшного; но страшнее всего, что можно себе представить, это продолжающаяся агония, эти судороги сознания между двумя метафизическими порядками. Они разговаривают, как будто ничего не случилось, болтают о пустяках, играют в преферанс «на память», шутят, смеются, бранятся, сплетничают, говорят непристойности. Но пошлость жизни принимает исполинские размеры *sub specie aeterni*, «под знаком вечности», выступает с ослепительною четкостью, как темные очертания предметов на белом свете. Один молодой покойник из высшего общества предлагает «провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях»: «Господа! я предлагаю ничего не стыдиться!.. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться... Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»

Два последние и, может быть, величайшие произведения Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад» — напоминают «Бобок». Кажется, что все действующие лица давно умерли, и то состояние, в котором они находятся, есть «жизнь, продолжающаяся только по инерции», промежуток между двумя смертями — «последнее милосердие». Они, впрочем, и сами подозревают, что их уже нет, что они умерли: «Нас нет... мы не существуем, и только кажется, что мы существуем». Они что-то говорят, что-то делают, но сами не знают что. Бредят, как полусонные, полумертвые. Когда Чебутыкин напевает свою «тарарабумбию», то кажется, что это «мертвец, уже почти совсем разложившийся» лепечет: «Бобок, бобок!» Они и все не живут, а разлагаются, тлеют и смердят друг другу, и задыхаются от взаимного смрада. Но уже ничего не стыдятся — «заголились и обнажились» в последнем цинизме пошлости, в последней наготе и пустоте душевной. О них можно сказать то, что у Достоевского говорит слушатель «Бобка»: «Нет, этого я

не могу допустить... разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов — и даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... Нет, этого я не могу допустить».

Иногда они как будто хотят «спохватиться», опомниться — шепчут с тоскою: «Если бы знать, если бы знать!» — но тотчас опять засыпают и бредят сквозь сон, сквозь смерть о жизни, о счастии, о молодости, о журавлях, летящих в небе, неизвестно куда и зачем, о цветущем вишневом саде, о будущем рае земном: «Через двести, триста лет, какая будет жизнь, какая жизнь!» Но между двумя гимнами жизни раздается веселенькая «тара-рабумбия», как тихий «бобок, бобок», или тихий смех дьявола, «умного и страшного духа небытия». Дьявол может смеяться. «Мертвецы не воскреснут, мертвецы не слышат... Кричи, реви... Мертвецы не слышат». И этим смехом кончается все.

А когда все кончено, когда все уже умерли второю смертью, тогда выступает бессмертный Ермолай Лопахин, совершитель прогресса, владелец вишневого сада, владелец грядущего рая земного, «гордый, голый человек», торжествующий босая, торжествующий хам.

«— Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и ваши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь...»

Так вот она, эта новая жизнь, этот новый рай земной — рай лопахинских дач!

«— Музыка, играй!., пускай все как я желаю! Идет новый помещик, владелец вишневого сада! За все могу заплатить!»

Ермолай Лопахин, проповедник вечной жизни, — первый маленький хам; за ним идет второй хам, побольше — старец Лука, проповедник вечной смерти, с ласковым шепотом: «Я и жуликов уважаю... я и трупики уважаю, — по-моему, ни одна блоха не плоха, все черненькие, все прыгают» — и, спрыгнув, летят в пустоту. За старцем Лукою придут хамы еще побольше и, наконец, последний, самый великий Грядущий Хам.

И вся русская интеллигенция рукоплескала этому торжеству новой жизни. И никто не почувствовал трупного запаха, никто не понял, что это не новая жизнь, а «бобок». Может быть, впрочем, и понимать было некому, потому что не только на сцене, но и в зрительном зале был тот же «бобок»?

Понимал ли сам Чехов? Если и понимал, то никому не говорил, молчал — не от страха ли молчал, не от страха ли умер?

Когда уходит Ермолай Лопухин, — старый дом заколачивают и в нем воцаряется «мерзость запустения». Остается один старый слуга Фирс, домовый старого дома и вишневого сада, последний поэт и художник старого быта. Но умирает и он.

«— Жизнь-то прошла, словно и не жил. Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотепа!»

«Я умираю. Ich sterbe». Это последние слова, произнесенные Чеховым.

«Наступает тишина, и только слышится, как далеко в вишневом саду топором стучат по дереву». Это последние слова, написанные Чеховым.

Они оказались пророчеством. Только что он умер — застучал топор. Уже секира при корнях. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Только что смолк последний звук свирели, певшей о конце, — начался конец.

Чехов молчал, но чего ему стоило это молчание, показывают некоторые неосторожные признания чеховских героев.

«Если я писатель, — говорит писатель Тригорин, — то я обязан говорить о народе, об его страданиях, о его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее, и прочее... И я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами... Мне кажется, что меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом».

«Трудно сознаться в своем банкротстве, — говорит неизвестный человек в рассказе того же названия, — тяжело быть искренним, и я молчал. Не дай Бог никому пережить то, что я пережил».

А когда русская интеллигенция приступала к Чехову с такою же отчаянною мольбою, как «бедняжка» ученица старого профессора в «Скучной истории» к своему учителю: «Что мне делать?» — то Чехову хотелось ответить ей так же, как старый профессор ответил «бедняжке»: — «По совести, не знаю...»

Но Чехов был слишком «осторожен», чтобы ответить так. Он мог бы сказать о себе то, что говорит старому профессору приятель, который уже не верит в науку.

«— Я осторожнее, чем вы думаете и не стану говорить это публично, спаси Бог!»

И Чехов отвечает «бедняжке»:

«— Через двести, триста лет будет рай земной...»

«Рай лопахинских дач» — мог бы он прибавить, но не прибавлял, а только усмехался и, как Чебутыкин, тихонько про себя напевал: «Тарарабумбия».

Может быть, это и была одна из тех минут, когда он чувствовал себя, как писатель Тригорин, «лисицей, затравленной псами» и «боялся, что к нему подкрадутся, схватят его и повежут, как Поприщина, в сумасшедший дом».

Но Чехов боялся напрасно: «бедняжка» поверила и поклонилась ему, как пророку.

Осторожен и Горький — может быть, еще осторожнее Чехова. Но иногда и у Горького вырываются неосторожные признания:

«— Кто есть твой Бог? — спрашивает читатель писателя в рассказе, похожем на исповедь. — Покажи мне в душе твоей хоть что-нибудь, что помогло бы мне признать в тебе учителя!»

«Он представлял себя выше жизни, — говорит Горький о босяке торжествующем. — Он видел себя твердо стоящим на ногах и немым. Он мог бы крикнуть людям: «Как живете? Не стыдно ли?» И мог бы обругать их. Но если они, услышав его голос, спросят: «А как надо жить?» — он прекрасно понимал, что после такого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги людям... И смехом проводили бы его гибель».

«Если меня когда-нибудь будут бить, то меня не изувечат, а убьют», — признается другой босяк, который открыл, что «истинный Шекинах есть человек» — человек есть Бог.

Но и Горький напрасно боялся. «Бедняжка» и ему поверила, и ему поклонилась, как пророку.

И не совсем ошиблась. Чехов и Горький действительно «пророки», хотя не в том смысле, как о них думают, как, может быть, они сами о себе думают. Они «пророки» потому, что благословляют то, что хотели проклясть, и проклинают то, что хотели благословить. Они хотели показать, что человек без Бога есть Бог; а показали, что он — зверь, хуже зверя — скот, хуже скота — труп, хуже трупа — ничто.

Но если они не научили нас тому, чему хотели научить, зато научили тому, чему не хотели — и это к лучшему. Любовь, которою мы их любим, истинная любовь; венец, которым мы их венчаем, истинный венец. Мы любим их за то, что они страдают за нас. Но мы должны помнить, что это венец не торжествующих героев, а искупающих жертв, и что если опустится нож, занесенный над этими жертвами, то он поразит не только их, но и нас всех.

Подумаем же о том, как бы остановить этот нож.





Д. В. ФИЛОСОФОВ

Завтрашнее мещанство *

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилия
Бессмертной пошлости людской!

*Тютчев*¹

Как художественное произведение, «Дачники» М. Горького просто не существуют. Они вне литературы. Детская беспомощность техники, полное непонимание условий сцены, наивное подражание Чехову, и притом не в его силе, а в его слабости, все это вместе лишает «Дачников» всякого литературного значения. И пусть нам не говорят, что Горький выдумал какие-то новые приемы, что протесты, слышавшиеся на первом представлении его пьесы, объясняются рискованностью некоторых положений в комедии, рискованностью, которая пугает нашу «буржуазную» публику². Это все неправда. Никакой новизны и рискованности здесь нет. Горький ни минуты не шел против вкусов публики, он, наоборот, с каким-то подобострастием, старался потакать им, и вся его пьеса рассчитана на широкий успех. Публика обожает теперь всякие действия без действия, ей нравится, когда люди сидят часами на сцене и считают мух, и все это она находит в необъятном количестве в новой пьесе Горького. Когда молодой Влас (положительный тип) объяснялся в любви престарелой г-же Врач (другой положительный тип), зрители смеялись, и наши «передовые» критики были этим возмущены. Они увидели здесь лицемерие публики. Какой вздор: любовь Федры к пасынку (у Еврипида), или Леонардо к

* Первое представление «Дачников» Максима Горького на театре В. Ф. Комиссаржевской в СПб.

сестре («Мертвый город» д'Аннунцио) не вызывает ни в ком ни смеха, ни лицемерного порицания, а воркования г-жи Врач (что за нелепое остроумничанье кроется в этой фамилии) с молодым Власом смешны, потому что до комизма нехудожественны.

Нехудожественность содержания пьесы дополняется еще ее варварским языком. Тургенев, умирая, завещал нам любить наш родной язык, уважать это богатство русского народа. Но что с ним сделал Горький? В других своих пьесах, особенно в «На дне», автор сумел обогатить русскую речь, внести в нее некоторые новые обороты, эпитеты, образы. В «Дачниках» же он опустился до стиля мелкой прессы. Даже г. Двоеточие (тоже остроумная фамилия) и Влас, люди, имеющие связь с народом, и те проявляют какую-то бесцветность и беспомощность речи.

Все эти недостатки настолько бросаются в глаза, кроме того, пьеса настолько скучна, что даже те, которые имеют мужество защищать «Дачников» и видят в них новое слово борьбы с мешанством — вынуждены признать, по крайней мере, техническое их несовершенство как драматического представления.

Сила новой драмы, говорят такие защитники, не в литературности и художественности ее, а в ее глубоком общественном значении. Это произведение не литератора, а публициста, осмеивающего нашу пошлую quasi *-интеллигенцию, и призывающего общество готовиться к встрече грядущего «человека», к встрече нового, зарождающегося класса, преисполненного силы, свободы и жизни.

Такая вера в Горького, как в публициста, мне кажется величайшим заблуждением, и, если с точки зрения эстетической, последние его произведения заслуживают лишь добродушной усмешки, то с точки зрения общественной — они явление скорей отрицательное и с ними надо бороться. Явление отрицательное потому, что слишком дискредитируют ту великую идею, которой бессознательно служит и Горький.

В Горьком — большая сила, но мало того, он сам опирается на большую силу. Это человек выдающегося дарования, который пришел из низов общества, претерпев жестокие мучения и великие оскорбления. Он еще не забыл своих страданий и, даст Бог, никогда не забудет, потому что главный нерв его художественного творчества — именно гнев сильного, но угнетенного человека.

Горький — это сплошной протест, вызов обществу, вызов гордого человека, презирающего власть сытой буржуазной тол-

* полу (лат.). — Ред.

пы. И пока Горький протестует, отрицает — ему нельзя не почувствовать. Отрицание у него самое непосредственное, подлинное, и зачастую оно воплощается ярко и художественно. Но едва Горький переходит к утверждению — талант ему изменяет, мысли его путаются, и начинается нечто донельзя грубое и мещанское.

Как творец положительных общественных типов, Горький не уходит дальше идеалов благополучия. Он действует во имя интересов обиженного класса, и в этом его сила, его правда, его историческая заслуга. Но ведь не в голом же факте торжества известного класса дело? Всякий торжествующий класс по необходимости носит в себе зачатки самодовольства, и только тогда кастовая психология исчезает, если в торжествующем классе заложены идеалы общечеловеческие и религиозные, разрывающие узкие социологические границы и венчающие здание исторического процесса.

Ясно ощутив в себе жажду свободы, и пробуждая ее в других, Горький естественно должен был задуматься и над тем, как утолить эту жажду. Протестуя против царящей кругом несправедливости, он не мог не искать тех рычагов, при помощи которых можно было бы сдвинуть закореневшее общество с его проторенной дороги и поставить его на новые пути правды и справедливости. Он инстинктивно почувствовал, что в скором времени на историческую арену должен выступить новый, четвертый класс общества, кроющийся в себе громадные, скованные силы, раскрепощению которых необходимо не только сочувствовать, но и содействовать. Здесь сила Горького. Он всем своим существом связан с народной массой, находящейся в угнетении, но постепенно начинающей сознавать свое право на будущее. Он или яркими штрихами рисует то, недостойное человека существование, на которое обречены эти обиженные судьбой люди, в борьбе за жизнь почти потерявшие человеческий облик, или проникая в тайники их душ, ясно показывает, какие громадные стихийные силы заложены во всех этих босяках, силы, которые теперь или вовсе спят или действуют только разрушительно. Конечно, нового тут ничего нет. Но Горький сумел эти старые истины сказать по-новому, по-своему. Прежде всего без сентиментальности. В нем много романтизма, юношеской жажды разрушения и отрицания, но нет кислосладкой сентиментальности, добродетельного взгляда сверху вниз, которым грешили наши народники. Он смотрит на мир и на общество снизу вверх. Он стоит за «босяка» не только потому, что тот угнетен, а потому, что в нем есть сила. Горький не

задумывался о том, какая это сила, разрушительная или созидательная, ее содержание его не интересовало, он относился к ней чисто формально. Может быть, он несколько идеализировал своих босяков, но это грех уже не такой большой. Во всяком случае, он их любил, им верил. Он инстинктивно, всем своим существом чуял, что история — за обиженных, что и они скажут свое слово. Но какое слово — он не знал, да и не хотел знать. У сильных должно же быть свое сильное слово.

Первые вещи Горького производили большое впечатление. В них было много ненависти, но и много любви, чувствовался задор человека, преисполненного жизни, стихийная свобода романтика. Повевало морским, соленым ветром в удушливой атмосфере русского общества. Из мира угнетенных и слабых слышался звучный голос жаждущего жизни босяка. Все непричастные к этому миру интеллигенты почувствовали, что заботы лучшей части общества о малых сих могут перейти из области несколько отвлеченного благотворения — в самое реальное действие, что параллельно с возрастанием интенсивности в работе нашей интеллигенции, увеличивается и самосознание низших классов. Тот мало известный икс, о котором до Горького широкие круги общества имели лишь отвлеченное представление, оделся в плоть и в кровь и мощно заявил о своем существовании.

Отсюда понятно, почему наше общество встретило произведения Горького с таким энтузиазмом.

Мы можем себе представить, что испытывал Маркони, когда после долгих и безуспешных попыток получить при помощи изобретенного им беспроволочного телеграфа, ответ из Америки, через весь Атлантический океан, он, наконец, явственно увидал, что ему подают сигнал³. Правда, только короткий сигнал, но и это должно было преисполнить его чувством радости и самоудовлетворения. Его слышали, значит, можно и стоит работать дальше.

Нечто подобное испытывало и русское общество, читая Горького. Напомним, что на литературное поприще он выступил во второй половине девяностых годов, в эпоху расцвета русского марксизма, в те знаменательные годы, когда рабочее движение приняло особенно осязательные формы и стало серьезным социальным явлением.

Но вот Горький, наконец, переехал океан, из отвечающего сигналом, — стал вопрошающим, стал Маркони. И здесь начинается его провал. Из яркого сильного протестата — он становится самым заурядным интеллигентом, бессознательно сти-

хийное алкание какой-то правды — заменяется довольно-таки мелким идеалом торжества «человека» в кавычках, мещанская сентиментальность вливается широкой волной в его произведения. Стихийное беспокойное брожение, из которого может родиться нечто сильное и яркое, Горький старается насильно вдвинуть в рамки трезвого, благонамеренного и достаточно-таки благополучного позитивизма. Весь романтизм, весь трагизм исчез. Осталась трезвая, совсем не вдохновительная публицистика полуинтеллигента. В этом отношении «Человек» знаменует собой резкий поворот в творчестве Горького.

«Человек» — это квинтэссенция банальности, и вовсе не только с эстетической точки зрения. По своей форме это стихотворение в прозе ничтожно, но совершенно невинно. Редакции всех журналов переполнены подобными упражнениями начинающих писателей. Оно особенно некультурно и пошло по своему содержанию главным образом потому, что оно абсолютно не трагично. В нем нет никакой глубины, никаких загадок, никаких проблем. Все плоско, самодовольно и мало. В нем есть бесконечность, но нет вечности, есть проповедь прогресса, но нет самого прогресса, потому что нет абсолюта, достижение которого знаменовало бы собой завершение прогресса. Надо твердо помнить, что это не сверхчеловек, а просто Человек, правда, с большой буквы, но ничем существенно не отличающийся от окружающих его. Как генерал, он стоит выше и впереди других, но пути к генеральству никем не заказаны, и генералом может стать всякий офицер.

И вот этот генерал начинает кичиться, и зрелище такого бахвальства воистину нестерпимо. Мысли человека все доступно и подвластно, говорит этот Человек. Она создала из животного человека, она создала науки, ключи к загадкам мира, она же, вместе с Мечниковым, уничтожит смерть⁴.

Это самовосхваление человека поражает своей наивностью. Всякий подлинный позитивист прежде всего — агностик. Он понимает, что человеческому познанию положен известный предел, он знает, что есть великая область непознаваемого, в которую человек никогда не проникнет, хотя бы существовал без конца. Горький считает путь человеческой мысли бесконечным не потому, что человек по самой природе своей не может проникнуть в сущность бытия, в мир нуменальный, а потому, что слишком много человека окружает загадок и надо целую бесконечность времени, чтоб их разрешить.

Подлинный ученый, Дюбуа-Реймон⁵, преклонился перед семью мировыми загадками, недоступными человеческому раз-

решению. Спенсер все время ясно чувствовал то великое «непознаваемое», пред величием которого человек должен умолкнуть. Да иначе все истинно ученые позитивисты думать и не могут.

Но Горький с детской наивностью и непростительной легкостью не желает признавать что бы то ни было недоступное познанию. И если ему что-нибудь недоступно, то по необъятному количеству предложенных человеку загадок, а не по их необъятному качеству. Понятно, в какое безнадежное болото беспомощных противоречий впадает Горький со своим, страдающим манией величия, человеком.

Но, если все в человеке и все для человека, если человек действительно так умен, если мысль человека победит все загадки и разрешит все противоречия, то, значит, мы живем в лучшем из миров и протестовать совершенно незачем. Потихоньку надо мыслить, разрешать одну за одной все задачки, предложенные человеку колоссальным мировым учебником, один за одним срывать листы мирового кочана капусты, без всякой надежды дойти до... кочерыжки. Решил одну задачку, сорвал один листик и будь доволен. Завтра за эту работу примутся другие, и так до бесконечности. «Загадки, ожидающие человека, бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку (с большой буквы) нет конца пути!»

Но разве, несмотря на весь фейерверк этого стихотворения в прозе, на весь его банально-салонный блеск — этот пресловутый «Человек» не есть самый жалкий оппортунист, мирящийся с культом малых дел, и удовлетворяющийся тем, что ему удалось сорвать хоть один капустный листик? На все тревожные, неразрешимые человеческими усилиями запросы «Человек» Горького безмятежно отвечает: «Вырастешь, Саша, узнаешь!»⁶, а пока довольствуйся и молчи.

Далее, если пути человеческому нет конца, нет освобождающего и все завершающего конца, нет страшного суда истории и человечества, то где же человеку черпать силы для действия, где ему искать смысла жизни? В каторжных тюрьмах заставляют заключенных перетаскивать кирпичи с одного места на другое. Бесцельная, бессмысленная работа дается людям для того, чтобы человек не бездельничал и не зазнавался. Такую притупляющую работу возлагает на человека с маленькой буквы и Человек с большой. Но если так, если человек обречен на то, чтобы бесконечно шествовать от одной загадки к другой, без всякой надежды на их разрешение, если, с другой стороны, все в человеке и все для человека, то не лучше ли отказаться от

мятежных порывов и, пользуясь тем, что до сих пор завоевано мыслящим человечеством, жить себе потихоньку, полегоньку, изо дня в день, самодовольно утешаясь, что умен человек и еще умнее будет! Ницше призывал к созиданию сверхчеловека, он готов был пожертвовать всем, чтобы воплотить этого сверхчеловека. Горькому, в сущности, жертв не надо. Прогресс существует, его отрицать нельзя. Мысль человеческая постепенно завоевывает себе все новые и новые области. Потихоньку, полегоньку, все идет к лучшему в этом лучшем из миров. Бессознательный, психологически радикальный протест сильного, но лишнего сознания и культуры человека — обратился в мещанский оппортунизм, в проповедь малых дел на бесконечном пути к благополучию. Живая природная сила пошла на службу пошлости. Протест получил свое обоснование в самом жалком и мизерном «во имени». Наш величайший комик В. В. Стасов⁷ сравнил как-то Горького с Байроном. Но Байрон боролся с Богом, он отрицал благополучие мира и всю ответственность за зло возлагал на Бога. Его мировоззрение было в корне пессимистично. Горький же самый добродушный оптимист. Возлагать ответственность на Бога ему не приходится, потому что Бога для него не существует. Есть социальные неурядицы, которые исчезнут, есть разные неприятности, вроде смерти, но и их победит человеческая мысль. Словом, перспективы самые радостные. Бесконечный прогресс, бесконечное усовершенствование человеческого комфорта. Что Стасов, а за ним и многие другие «*bourgeois de l'avenir*»*, могли удовлетвориться столь мизерным идеалом — совершенно понятно. Но также понятно, что такая перспектива не может удовлетворить более передовую часть нашего общества.

Что «босяки» и босяческая психология отрицания и протеста удаются Горькому, — я говорил выше. Босяк — это существо, отрицающее данный общественный уклад, это темперамент, не вмещающийся в рамки данного строя. Тот факт, что такие одаренные элементы общества остаются не у дел, что богатые силы их остаются неиспользованными, ясно показывает, что в «датском государстве не все благополучно». Положительные типы комедии Горького это сознают, и пытаются устранить это неблагополучие, но Боже, какими способами и какими средствами. Казалось бы, что эти мыслящие «Человеки», эти кающиеся, честные протестанты из интеллигенции, должны были принести новые радикальные средства для борьбы с

* буржуазия грядущего (фр.). — *Ред.*

болезнью. Но, увы! кроме старых примочек и припарок, приправленных большим количеством маниловщины и сентиментальности, у них ничего нет. Казалось бы, марксизм нас должен был раз и навсегда научить тому, что в социологии нет места сентиментальности. Казалось бы, для человека, сознательно смотрящего вокруг, не может быть сомнения в том, что началось пробуждение скованных до сих пор сил, что пробуждение это достигается совместными усилиями железного закона истории и творческой бескорыстной деятельности лучших, внеклассовых, сил общества. Те, кто практически содействует этому освобождению скованных сил, делают дело, свидетельствующее об одушевляющей их великой нравственной силе, а с точки зрения целесообразности — нужное и исторически необходимое. Однако не следует забывать, что это освобождение скованных сил есть только уничтожение отрицания, но не утверждение, отрицание минуса, но не плюс. Освободить эти силы надо не только потому, что всякий внешний гнет несовместим с достоинством человека, но, главным образом потому, что силы эти нужны нам всем, всему человечеству, на некое последнее культурное строительство, на некую окончательную борьбу со злом, лежащим в мире. История нас учит, что самые великие исторические силы, на знамени которых были написаны священные права свободы, равенства и братства, вырождались в царство *juste milieu**, пошлого, беспардонного мещанства, и у нас нет никаких оснований не бояться, что вновь освобождающиеся силы не пойдут на компромиссы мещанского благополучия или на варварское разрушение. Этому должна помешать культурная часть того общества, которое отходит в историю. Она должна бережно донести до обетованной земли тот огонь, который искони горит в человечестве. Передать скрижали завета новому грядущему строю. «Нельзя, — говорит Герцен, — людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего бывшего ижитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании. Есть для людей драгоценности, которыми они не поступятся и которые у них из рук может вырвать одно деспотическое насилие, и то на минуты горячки и катаклизма. И кто не скажет без вопиющей несправедливости, чтоб и в былом

* центристское болото, посредственность (фр.). — *Ред.*

и в отходящем не было много прекрасного, и что оно должно погибнуть вместе со старым кораблем!..» Положительные герои Горького об этом даже и не думают. Они с легкостью, нагишом и босиком идут навстречу новому строю, попутно жертвуя, по совету Марьи Львовны, свои капиталы на «какое-нибудь общественное дело» или на фонд народного просвещения. Но если в старом строе они кроме мещанства и пошлости ничего не увидели, то где же основания думать, что и в новом они увидят не то же самое? Ведь надо же откровенно сказать, что архичестная Марья Львовна, эта добродетельная героиня «Дачников», глупа, как гусыня, и что ей ни в новом, ни в старом строе абсолютно нечего делать. Надо подталкивать то, что падает, но заниматься бесконечными препирательствами с падающими, право, задача мало интересная. Вместе с тем Марья Львовна, Басова и Влас все время доказывают мертвецам, что они мертвецы, и, победив этих мертвецов, торжественно уходят, опершись на капиталиста, и вместе с аплодирующей публикой празднуют дешевую победу. В этой победе никакой цены нет, потому что здесь нет никакой серьезной борьбы, ни внутренней, ни внешней, никакой жертвы, никакого отречения от старого во имя нового. Просто глупые, некультурные люди, пребывавшие в течение нескольких лет в обществе каких-то невероятных троглодитов, наконец-то додумались до того, что от этих пошляков надо уйти. Разве здесь есть какой-нибудь подвиг? Аня, уходящая из «Вишневого сада» за студентом Трофимовым, совершает некий подвиг. Она отрекается от старого быта, преисполненного своей поэзии и прелести. Но отчего отрекаются положительные типы «Дачников»? Они просто уходят из невероятно смрадной клоаки, из которой неминуемо должен уйти всякий, у кого есть хоть какое-нибудь обоняние. Отказываясь от «Вишневого сада», от старого, имеющего свою обаятельность, дворянски-помещичьего уклада, Аня тем самым уже переходит в какой-то новый, другой быт, но уход с промозглой пакостной дачи, на которой эти положительные типы так долго пребывали только по собственной глупости, само по себе ничего не обозначает. Они могли перейти просто на более благоустроенную дачу, где живут не так по-свински, где читают не пошлейшие «Эдельвейсы», а подлинные стихи, где, словом, живут культурные люди, а не такие отщепенцы. Неужели же неясно, что эти мелкие, жалкие людишки, ушедшие из старой пошлости, неминуемо должны прийти к новой, потому что избежать новой пошлости может только тот, кто придет не духовно нищим, а с запасами культурных ценностей, вынесенных из

прошлого. Нельзя идти в неизвестные пустыни без ковчега завета!

У Горького в его ковчеге завета лежит «Человек» с большой буквы. С таким заветом далеко не уедешь и нет никакого сомнения, что бездарная, никуда не ведущая Марья Львовна, с необходимостью упрется в завтрашнюю пошлость.

Понятно, что «Дачники» не могли не произвести грустного впечатления. Жалко видеть, как непосредственное дарование никнет под напором хитрого черта пошлости, и отдает свое служение на то, чтобы унижить и обмещанить культурные идеалы русского общества.

Конечно, эти идеалы восторжествуют, и не Марья Львовна будет их осуществлять; вера в них не может поколебаться, несмотря на тягостное измельчание Горького. Но тем не менее выносить такие испытания нелегко.

1904





Д. В. ФИЛОСОВОВ

Конец Горького

I

Две вещи погубили писателя Горького: успех и наивный, непродуманный социализм. Я говорю «погубили», потому что последние его произведения — «Варвары», «Враги», «В Америке», «Мои интервью» и т. д. нанесли такой урон его литературной славе, обнаружили признаки такого серьезного разложения его дарования, что в возрождение писателя Горького уж как-то мало верится. Успех у Горького был совершенно особенный. Такого раболепного преклонения, такой сумасшедшей моды, такой безмерной лести не видали ни Толстой, ни Чехов. Горький был герой дня, «любимец публики», нечто вроде модного оперного певца, который в течение коротких лет кружит голову своим поклонникам и затем, потеряв голос, сходит со сцены, погружается в забвение. Увлечение Горьким психологически понятно, легко объяснимо. Слишком вовремя появился он, слишком глубокие струны задел он, чтобы не встретить отклика во всей новой России, которая только что начинала просыпаться. Широкой публике казалось, что дарование Горького неисчерпаемо, что развитию его нет пределов, и она подстегивала Горького, щекотала его самолюбие, сделала его своим кумиром. Она не давала ему возможности сосредоточиться, оглянуться, понять самого себя, меру своих сил, характер своего дарования. Драма «На дне» была высшая точка творчества Горького; после нее начинается падение. По всей Европе, можно сказать по всему земному шару, распространяются произведения Горького, даже самые неудачные, и весь мир видит, как писатель все ниже и ниже падает, как он лежит почти «на дне» невероятной банальности и претенциозной риторики.

Зрелище тяжелое и мучительное. Но толпа везде толпа. Она вознесла Горького, окружила его лестью, казалось, всецело подчинилась ему, а в сущности поработила его, сделала его своим служителем и рабом. Это в порядке вещей, винить жаждущую, но избивающую пророков толпу нечего. Она невинна в своей наивной жестокости. «Он наш, он наш», — с упоением кричит она и раздирает личность на мелкие кусочки, чтобы всем, всей толпе, досталась хоть одна кроха. И царь делается рабом. Горький искренно думал, что он властитель дум и сердец, что он независим, никому не подвластен, и незаметно для себя потерял даже тень свободы. Отмеренные ему судьбою запасы личных сил не выдержали напора безличной стихии и развеялись по ветру.

Здесь великая ответственность падает на русскую критику. Она не поддержала Горького, не помогла ему, сделала все, чтобы он потерял сам себя. Любовь к человеку не в том, чтобы жалеть его, потакать ему, баловать его. Любовь прежде всего требовательна. Зная цену человека, она властно требует, чтобы человек проявил всю меру сил своих, она хранит его от всего, что силы притупляет, что мешает их развитию.

Наша критика не выказала никакой любви к Горькому. Ни разу она не посмотрела на него, как на цель, как на абсолютную личность; она делала из него средство. Критики Горький, за редким исключением, и не видел. Он видел лишь критическую истерику, кликушечьи вопли той самой толпы, которая боготворя — губила его. Теперь же, когда Горький сел на мель, когда помощь ему нужна больше, чем когда-либо, критика от него равнодушно отвернулась. Обозревая русскую литературу за 1906 год (см. газ^{ет}у «Товарищ»), г. Горнфельд, в общем очень оптимистически настроенный, мимоходом замечает, что последние произведения Горького встретили единодушное неодобрение критики. Как будто есть только «произведения» и нет за ними живого лица, как будто «неудачные произведения» что-то совершенно случайное, как будто для тех, кто относился к Горькому серьезно, требовательно, нынешний его срыв нечто непредвиденное и неожиданное. Окружили человека лестью, затемнили сознание, не уберегли его дарования, поощряли самые дурные и слабые его свойства, а затем в тяжелые для него минуты отвернулись, не сделав ни малейшей попытки разобраться в тех причинах, которые привели Горького к провалу.

II

Успех не дал Горькому времени и сил для необходимой внутренней работы мысли, остановил рост его сознания. Оглушенный внешним шумом успеха, он не сумел разобраться в собственных идеях и ощущениях. Он даже не увидел трагической, непримиримой антиномии, составляющей сущность его творческой линии. Его босяк незаметно превратился в социалиста, как будто это превращение естественно и органично, как будто мирозерцание босяка соединимо с мирозерцанием социалиста, как будто здесь нет необходимой пропасти, вековой загадки, которую человечество не разрешило и до сих пор.

«Босяк» вообще, и, в частности, «босяк» Горького — понятие отнюдь не только социальное. Если бы босяки Горького были лишь представителями пятого сословия, образчиками русского «Lumpen-Proletariat'a», они имели бы известный интерес с точки зрения бытовой, социологической и только.

Горький показал нам новые стороны современного русского быта, но значение его, как писателя, этим не исчерпывается. Не быт сущность дарования Горького, а личность. В новых формах, в новой обстановке, в босячестве, Горький показал всю ту же вечную личность человека, вернее, вечную жажду личности. Хочу быть личностью, человеком, — вот постоянный бессознательный вопль его босяков; «я» — вот альфа и омега их мирозерцания, остальное — обстановка, фон, и смотреть на горьковского «босяка» с социально-экономической точки зрения было бы слишком узко. Пробуждение личности, ощущение себя как чего-то первичного, особенного, неразложимого, ничему в корне своем не подвластного, — вот идейная основа «босячества».

«Босяк» — это особый вид автономной личности, своего рода анархист. И как в анархическом принципе есть вечная правда о личности, так и в горьковском «босяке» есть частица этой правды. Анархический индивидуализм декадентства, штирнерианство, ницшеанство, словом, туманный анархизм культурного меньшинства, нашел свое дополнение в самых низах культуры, в ее так называемых «отбросах». Наверху — сознательный «культ личности», внизу — бессознательное, инстинктивное обожествление ее, но подкладка и тут и там одинаковая: «я» — вот единственное реально-существующее данное. Когда такой «примат» человеческого «я» провозглашает человек культурный, т. е. связанный тысячью нитей, — тра-

дицией, историческими переживаниями, эстетическими законами — пугаться особенно нечего. Культура — в безопасности, ей не грозит разрушение в прямом смысле этого слова. Один «босяк» говорит у Горького: «Мне тесно, стало быть, должен я жизнь раздвигать, ломать и перестраивать... А как? Вот тут мне и петля... не понимаю я этого, и тут мне конец». В сущности, почти то же говорит всякий декадент, которому тоже «тесно», который тоже хочет «ломать и перестраивать», но не знает как. Это незнание — парализует всякое действие культурного индивидуалиста. Он обрекает себя на «пленной мысли раздражение»¹ и «деятельность» его фатально сводится к литературе более или менее порнографического содержания. «C'est de la litterature» *. Совсем другое у его собрата из низов общества. Здесь незнание как перестраивать не может остановить «ломки», и когда босяк говорит «пусть все скачет к черту на куличики», или заявляет, что ему хочется «раздробить всю землю в пыль», то эти угрозы имеют гораздо больше реального значения, чем просто нелепые мечтания декадентов о «театре будущего», о «возрождении культа Диониса» или о «поклонении богу Яриле». Здесь уже не литература пресыщенных интеллигентов, а подлинный мускулистый кулак человека-полузверя. Сила у него громадная, инстинкт праведный, и нет только рычага, к которому он мог бы приложить силу. «Должен я жизнь раздвигать, ломать, перестраивать. А как? Не понимаю я этого, и тут мне конец». Эта пробудившаяся сила может послужить или добру, или злу, приложиться к рычагу или дьявольскому, или божескому. Опасность в ней великая, и когда Мережковский боится этой новой силы — он прав. «Грядущий хам»², «внутренний босяк», кроме своего «я» никого и ничего не признающий ни на земле, ни на небе, сулит сюрпризы не очень приятные. Но этот страх становится у Мережковского какой-то предвзятой идеей, источником совершенно неосновательного пессимизма. Индивидуалистический анархизм босняка лишен содержания. Он есть первичное данное пробуждающегося сознания. Если верить в смысл исторического процесса, во внутреннюю его идею, то надо верить и в то, что эта громадная сила человеческого «я», эта переходная ступень от стадного животного к человеческой индивидуальности, к отличности, обособленности — найдет свое положительное содержание, что эта потенциальная сила станет актуальной, приложится к рычагу добра. Мережковский же довременное, так сказать, исто-

* Это из области литературы (фр.). — Ред.

рическое отсутствие содержания в индивидуальном анархизме босяка принимает за самую его сущность, формальный признак за материальный, неизменный и постоянный. В стадо зверей, стригомых овец, содержания никакого не вложишь. Первое условие для превращения стада в соединение отдельных личностей — это чтобы овцы сознали себя существующими, каждая единой, неповторяемой. Тогда история может вложить нужное содержание в этих просыпающихся людей; и оно должно быть воспринято свободно, сознательно, без насилия. Скептики, усталые души и всякие насильники могут бояться босяка, но Мережковскому это не пристало. В русской литературе существует обожествление «мужичка». Он жаждет вечной правды, у него глубокое внутреннее содержание, и т. д., и т. д. Здесь сходятся и Толстой, Достоевский, и... Златовратский. Но откуда же босяки? Что же они, с неба свалились? Они не дети русского народа? Не правильнее ли думать, что русский мужичок до сих пор еще овца в том стаде, которое пасется нагайками самодержавно-православных пастырей, что добродетель его зависит в большой степени от его овечьего облика, а пресловутое «внутреннее содержание» от «нагайки». Конечно, превращение крестьянской овцы в анархического босяка, т. е. идейный рост русского народа, находится в связи с социально-экономическим процессом. Но прямую причинную связь установить здесь, как это делают марксисты — трудно. Когда-то была в моде теория «бюхнеро-молешоттовского» материализма, по которому сознание считалось функцией мозга³. Теперь в современной психологии эта теория заменена учением о психо-физическом параллелизме. Думается, что такой же параллелизм существует и в историческом процессе. Физика общества развивается параллельно с его психикой, и ставить вторую в причинную зависимость от первой — уж очень примитивно, так же как примитивно ставить физику в прямую зависимость от психики. Если марксисты игнорируют психику, то все романтики русского крестьянства и христианства — игнорируют физику, пренебрегают развитием тела народного, дифференциацией его организма. Отсюда их глубокое, коренное реакционерство, их вечная возня с реставрационными идеалами. «Народ — православный и самодержавный, все же теории прогресса, социализма и пр. — от лукавого» (Достоевский). «Народ — прежде всего мирный земледелец, ненавидящий всякое насилие, семьянин, не нуждающийся ни в каком прогрессе. Его идеал Китай, а потому революции, основанной на насилии, ему не нужно» (Толстой). Идейно и Толстой, и Достоевский — два, может быть,

самых революционных писателя в мире, но как только они сталкиваются с плотью истории, с ее живым телом, которому становится тесно, как горьковскому босяку, — они превращаются в беспощадных реакционеров. Боязнь «Грядущего Хама» есть тоже вид недоверия к росту народной плоти. Сомнение в том, что она развивается параллельно с душой. Здесь есть отрывка христианского спиритуализма, от которого Мережковскому следует отделаться не только идейно, но и органически, всем своим существом.

Как художник, Горький бесстрашно нарисовал нам «голого» человека и заложенную в нем разрушительную силу: — «пусть все скачет к черту на куличики».

Но во имя чего это всемирное разрушение? Во имя «ничего» — утверждает Мережковский и ужасается. Так ли это?

«Во-имени» у «босяка» действительно нет, пока еще нет. Одна голая ненависть ко всему окружающему, даже к миру, но кто будет утверждать, что в этой ненависти нет ничего творческого?

«Иной раз думаешь, думаешь. И вдруг все исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то. В душе тогда, как в погребке, темно, сыро и совсем пусто. Совсем ничего нет. Даже страшно... как будто не человек, а овраг бездонный...»

Откуда эта пустота? Разве она уж так безнадежна и не жаждет наполнения? И не результат ли она инстинктивного освобождения от ложного содержания, от голого «имени», прикрывающего ложь и неправду? Русский народ так долго мучился, скрюченный в тисках теологического насилия, православие и самодержавие, кичась именем Бога, до такой степени искалечили его, что он в этом имени естественно увидел источник всех своих бедствий, всех совершаемых насилий. По инстинкту самосохранения народ отшатнулся от этого имени, обнажился, оголился и стал на перепутьи, готовый воспринять новое, праведное содержание, святое имя, ради которого стоило бы сплотиться и идти дальше. Слишком страшно быть «бездонным оврагом». В этом он сам признается. И надо быть маловерным, чтобы не надеяться, что в эту опустошенную душу может упасть благодатная роса правды положительной, творческой.

Мережковский хочет верить, но сомнения порой одолевают его; Горький же думает, что он уже нашел «имя» для опустошенной души, нашел рычаг для приложения босяцкой силы и рычаг этот — социализм.

Здесь начинается у Горького романтическая сентиментальность дурного тона, здесь начинается калечение Горького-ху-

дожника — Горьким-социал-демократом. Чисто внешне, механически, не задумавшись над трагичностью проблемы, Горький впихивает босяка-анархиста в кузов товарищей-социалистов. Этим он уничтожает правду «босяка», его инстинктивную жажду абсолютной, единой, неповторимой личности — ибо относит его страдания на счет «среды и условий», для Горького социал-демократа — «босяк» из общечеловеческого превращается незаметно в социально-экономический тип.

Одно из двух: или глубина выведенных Горьким типов только кажущаяся, и тогда босяки его самые обыкновенные, разукрашенные романической бутафорией, отбросы капиталистического строя, которых, конечно, социализм сметет без остатка, или в социально-экономическом типе босяка проявились присущие всякому сильному человеку противообщественные, анархические тенденции, разрушительные эгоистические стремления героя «Записок из подполья» Достоевского. Эти стремления одними социально-экономическими условиями не объяснишь. Антиномия между свободой личности и благом общества, между индивидом и обществом была всегда, и социализм ее не устранил. Конечно, социалистическое государство может конкретно, при помощи насилия, искоренять все противообщественные тенденции, но метафизически он преодолеть их не может. «Босяк», также как и всякий индивидуалистический анархист — для социал-демократа неуязвим. Надо думать, что эта антиномия когда-нибудь разрешится, но пока что социализм и анархизм находятся метафизически в положении непримиримой антитезы. Горький прошел мимо этой проблемы. Не то он ее не заметил, не то не захотел заметить. Как художник, он бессознательный анархист, но как гражданин земли русской — он убежденный социал-демократ. И чем больше рос в нем гражданин, тем более умалаялся художник, вся сила которого была в протесте против всякой гражданственности. Здесь Леонид Андреев оказался гораздо сильнее своего друга. Он пошел до конца, посмотрел прямо в лицо противоречиям, в которых обречен жить человек и написал «Савву», вещь во многих отношениях, может быть, и неудачную, но сильную, жизненную и глубокую. Не зная, как разрушить антиномию, — Андреев, по крайней мере, обострил ее. Горький же думал подсластить горечь «босяка» сахаром социализма и, конечно, из этого ничего не вышло. Босяк остался непобежденным, а Горький запутался и превратился в банального фельетониста.

III

Я не знаю, бывал ли Горький раньше в Европе. Во всяком случае в своих последних вещах — «В Америке» и «Мои интересы» — он впервые касается «Европы» — и касается очень неосторожно. Европы не победил, а себя осрамил.

Он не знает Европы, но, кроме того, он совершенно не уяснил себе, чего от Европы, собственно, он требует, и художественное чутье не пришло ему на помощь, не подсказало ему, что нарушение меры ведет к уродству. Его гнев — искренний, его упреки во многом справедливы. Но, направленные не по адресу, облеченные в жалко ходульные слова, они только комичны. Европейцы презрительно улыбнулись и — перешли к очередным делам. Вопли Горького получили неизгладимую печать «ридикюльности» *. И «гнилая Европа», в данном случае совершенно права. Слишком мало знает и любит Горький правду европейской культуры, чтобы сметь нападать на ее неправду. Может быть, никто из русских так не ненавидел Европу, как Достоевский. Но она была для него кладбищем с дорогими для него покойниками. «Зимние заметки о летних впечатлениях» — это сплошное проклятие европейскому буржуазному Валу.

«Да, выставка поразительна, — говорит Достоевский о лондонской выставке 1865 года, — вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в единое стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам от чего-то становится страшно. Уж не это ли в самом деле достигнутый идеал — думаете вы: не конец ли тут? Не это ли уже и в самом деле «едино стадо»? Не придется ли принять это и в самом деле за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара — людей, пришедших с одной мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся. Вы чувствуете, что

* от фр. *ridicule* — смешной. — *Ред.*

много надо векового духовного отпора и отрицания, чтобы не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, т. е. не принять существующего за свой идеал... Если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создает эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот дух».

Описывая далее субботний «шабаш» лондонской рабочей бедноты, ее пьянство, разврат, Достоевский замечает: «Вы чувствуете, глядя на этих париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и что долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: «Доколе, Господи». Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтобы не задохнуться в темном подвале». «...Но когда проходит ночь, и начинается день, тот же гордый, мрачный дух снова царственно проносится над исполинским городом. Он не тревожится тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит, и даже не требует себе покорности, потому что в ней убежден».

Через двадцать лет, Достоевский почувствовал, что Ваалу грозит неминуемый и скорый конец. «Да она накануне падения, ваша Европа, — писал он в «Дневнике писателя», обращаясь к проф. Градовскому, — повсеместного, общего и ужасного... Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь, и если ему не отворят, сломает дверь... На компромисс, на уступки не пойдет, подпорками не спасете здание. Уступки только разжигают, а оно хочет всего. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедываемые гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, жида, все это рухнет в один миг и бесследно». «И вот пролетарий на улице. Как вы думаете, будет он теперь по-прежнему терпеливо ждать, умирая с голоду? Нет, теперь уж не по-прежнему будет: они бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки».

Достоевский боялся этой финальной катастрофы потому, что он любил Европу и не верил в правду социализма, в этот, как он говорит, «муравейник» безличных, неодоухотворенных существ. Он твердо верил, что Европу, погибающую от внутренних противоречий, спасет Россия, она будет последним оплотом, той скалой, о которую разобьется волна разрушения.

«О, народы Европы и не знают, как они нам дороги. И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указав исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей».

Прав ли Достоевский, пророк ли он революции или реакции — это другой вопрос. Но ясно одно: сознавая нелепость и гнусность европейского буржуазного строя, ненавидя его всем существом своим, он, вместе с тем, отлично понимал его глубину, всю его дьявольщину, весь его пленительный соблазн. В окончательную победу социализма над буржуазией он не верил, потому что не верил в возможность атеистического устройства людей на земле. Всякое человеческое, только человеческое устройство основано на внешнем принуждении, на ограничении личности, индивидуальности; а личность никогда не согласится превратиться в органнй штифтик или фортепианную клавишу и, для того, чтобы проявить свою глупую волю, готова все благополучие послать к черту. Созданная европейской атеистической культурой идея человекобога — «человек все и все для человека» — есть идея в корне своем антисоциальная, анархическая, разрушающая основы социализма. Достоевский ужасался грядущему хаосу, и с отчаянием цеплялся за Россию, за народ Богоносец, который спасет Европу от последнего поругания, спасет ее дорогие нам, русским, могилки, воскресит погребенных в них мертвецов. Вся ненависть его к Европе и произошла-то, может быть, от великой к ней любви и жалости, от великого, воистину вселенского, страдания за человека и человечество.

Совсем с другой стороны, и к гораздо более сильному, потому что безнадежному, отчаянию пришел типичный западник Герцен. Он ехал в Европу, полный надежд и упований, но жалкий конец революции 1848 года разочаровал его. Под впечатлением пережитого он написал «С того берега», одну из самых грустных и безнадежных книг. Он посвятил ее своему пятнадцатилетнему сыну, Саше. «Я ничего не писал лучшего, вероятно, ничего лучшего не напишу», — говорит он в предисловии. Опустошенная душа Герцена обнажает здесь все свои муки. Герцен вопит, кричит от внутренней боли, прощаясь с дорогой ему Европой, переправляясь на «другой берег».

«Прощай, отходящий мир, прощай Европа, Париж! Как долго это имя горело путеводной звездой народов. Кто не лю-

бил, кто не поклонялся ему — но его время миновало. Пускай он идет со сцены». Единственное, что Герцен надеялся спасти из этого разрушения — это независимую личность: «Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости».

Западник, атеист Герцен — во многом сходится со славянофилом Достоевским. И разве глава «*Omnia mea mecum porto*» * (из книги «С того берега») не тот же вопль самодержавной, абсолютной личности, человекобога, что и безумные желания героя «Записок из подполья», послать все человеческое благополучие к черту, лишь бы пожить по своей глупой воле, не превратиться в органный штифтик. Но Достоевский не остановился на этом анархическом индивидуализме. Он пошел дальше, к мечтам о теократии. Герцен же дальше не пошел, и на всю жизнь в душе остался раскол, тяготение к социализму, сопряженное со страшным от него отталкиванием. Достоевский ни минуты не сомневался в гибели Европы, и верил, что спасти ее может лишь Россия. Герцен также ясно видел ее грядущую гибель, но не хотел в нее верить, и с горечью в душе отстаивал тот самый социализм, с которым инстинктивно боролось все его существо, его абсолютная, самодержавная личность. Вне Европы, которая идет к своей китаизации, он спасения нигде не видел и не мог видеть, но это спасение было для него хуже всякой гибели. Здесь самая глубокая его жизненная трагедия. Достоевский верил в разрешение этой трагедии — но в другой плоскости, в религии. Герцен этого не допускал. Однако они оба относились к Европе, к ее культуре и идее в высшей степени трагически.

Но вот в Европу явился кумир наших дней, Максим Горький. Человек, вышедший из глубины русского народа, социалист, взявший всю свою, какая бы она ни была незначительная, культурность с Запада, выученик Европы, автор пресловутого «Человека». Что увидел он в Европе?

IV

С легкостью и невинностью почти Хлестакова, как будто до него на Европе никто из русских не переломал себе зубов, Горький поведал миру о том, что он Европой недоволен.

* «Все свое ношу с собой» (лат.). — *Ред.*

Может быть, и действительно Европа безобразна, может быть, русскому она в особенности должна казаться безобразной; но Горький сделал ей выговор таким тоном, проявил такое незнание и непонимание сущности европеизма и, главное, поход свой облек в такую нехудожественную форму, что у всякого мало-мальски беспристрастного человека является непреодолимое желание встать за Европу горою.

Мы видели, что Достоевский и Герцен были убеждены в грядущем торжестве социализма. Европейское торжество Ваала им казалось недолговечным. Они слышали подземный гул выходящего на свет пролетариата, они не сомневались, что все буржуазное благополучие полетит не сегодня-завтра к черту. Их опасения заключались не в том, что буржуазия будет торжествовать бесконечно, а в том, имеет ли грядущий социализм достаточно нравственных сил, чтобы обновить человечество, есть ли в нем руководящая идея, которая объединила бы людей и не повела их к худшей вражде и ненависти. Правы ли Герцен и Достоевский — вопрос другой, но ясно, что будь они, как Горький, рядовыми социал-демократами, верь они, что за социализмом полнота правды, — совсем не такими пессимистическими глазами смотрели бы они на Европу. Они бы грустили только, что буржуазный Ваял рушится не с той быстротой, как хотелось бы. Положение Горького другое. Он считает себя правоверным социалистом. В творческой идее социализма он не сомневается. Но если так, чего же ждет он от буржуазной Европы? С какой стати обращается к ней с поучениями и выговорами? Ясно, что современная Европа есть уже прошлая, а грядущая, социалистическая, — не может же вызывать неудовольствие со стороны Горького. Однако, Горький забыл, что он социалист, социализма в Европе не приметил, или не захотел приметить, и обрушился со всей силой своих бутафорских выкриков, на французскую буржуазную республику, поставив между нею и Францией знак равенства. На это даже самый умеренный французский социалист мог бы ответить: зачем вы с таким шумом ломитесь в незапертую дверь? Открыли Америку, нечего сказать. Мы охрипли от постоянной ругани с нашими правящими классами, а вы, как будто мы не существуем, как будто мы недостаточно поработали — с наивной серьезностью ругаете банкирскую буржуазию и считаете, что Франция исчерпывается парламентами, капиталистами и ростовщиками. А мы-то разве не Франция? Разве мы не ее будущее?

Но Горький, увлеченный «художественными» образами и душащей его страстью к остроумию, считает, что Франция бан-

киров и есть подлинная Франция. «Ее лицо теперь было нездоровым лицом женщины, которая много любила... Искусно подведенные глаза беспокойно бегали с предмета на предмет, ресницы устало опускались, прикрывая опухшие веки... Она обрюзгла, растолстела, и было ясно, что этой женщине теперь гораздо ближе поэзия желудка, но не великая поэзия души, что грубый зов своей утробы она яснее слышит, чем голос правды и свободы, гремевший некогда из уст ее по всей земле». Эта престарелая кокотка предложила Горькому вполне естественный вопрос: «Вы говорите по-французски?» На что честный Горький ответил: «Нет, сударыня, я говорю только правду». (Престарелая кокотка, привыкшая к остроумию шикарных бульвардье, вероятно, искренно подивилась такому ответу.)

Социалисту совсем нечего лезть к престарелой, избалованной кокотке с моралью, благородными фразами и попутно срамить себя топорным остроумием. А Горький даже не задумывается над нелепостью своего визита. И, выйдя от нее возмущенный, раздражается тремя страницами плохой, якобы бичующей прозы.

Он стыдит старую кокотку, сначала памятью Вольтера. «Франция! Ты должна пожалеть, что его уже нет — он теперь дал бы тебе пощечину. Не обижайся. Пощечина такого великого сына, как он — это честь для такой продажной матери, как ты».

И вовсе это неверно. Вольтер никакой бы пощечины не дал, а облобызал бы старого Комба⁴, и погладил старающегося Бриана⁵. *Ecrasez l'infame* * — кричал в свое время покойный, и потомки его, современные комбисты, в точности исполняли приказание великого Вольтера. Он тихо радовался бы и, вероятно, как истый буржуа, начал бы изливать свою желчь... на социалистов.

После Вольтера Горький взывает к памяти В. Гюго. «Трибун и поэт, он гремел над миром подобно урагану, возбуждая к жизни все, что есть прекрасного в душе человека». (Надо ухитриться, чтобы до такой степени банально охарактеризовать В. Гюго.) «Гюго отвернулся бы от той Франции, которая шла впереди народов со знаменем свободы в руке, с веселой улыбкой на прекрасном лице, с надеждой на победу правды и добра в честных глазах» **.

* К ногтю подонков общества (фр.). — *Ред.*

** Эта фраза напоминает те латинские *extemporalia*, которые нам предлагали в свое время для перевода на латинский язык гимназические учителя древних языков. Это какой угодно, только не рус-

Что-то тоже не верится. Сентиментальный, социализирующий Гюго, вероятно, радовался бы учреждению биржи труда, говорил бы надутые речи, и наслаждался почетом, а уж что касается приводимого Горьким авторитета Флобера, то здесь наш обличитель прямо сел в лужу. «Жрец красоты, эллин XIX века, научивший писателей всех стран уважать силу пера, понимать красоту его, он волшебник слова, объективный как солнце, освещавший грязь улицы и дорогие кружева одинаково ярким светом, даже Флобер не простил бы тебе твоей жадности, отвернулся бы от тебя с презрением». Вдаваться в художественную оценку этих полуграмотных банальностей не буду. Видно, что самого Горького Флобер не научил «уважать силу пера». Но что бы делал теперь Флобер? Да как в свое время он презирал вся и всех, так и теперь, вероятно, издевался бы над этими *sales bourgeois, pignoufs etc.** и не нашел бы никаких новых, специальных причин, чтобы «отворачиваться» от Франции.

Я нарочно так долго остановился на именах, которые приводит Горький для посрамления современной Франции. Самый их выбор показывает, насколько Горький беспомощен и как смутно он представляет себе, что такое Франция, к какой именно Франции он обращается. С легкомыслием варвара он бросил вызов всей Франции. «Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои», — кончает он свое «обличение». Но Франция и не почесалась, а за Горького стыдно. Стыдно, потому что сам-то Горький рассчитывал, очевидно, что слова его произведут громадный эффект. Он имел известный экзотический успех в Европе, и что называется — возомнил о себе. Изрек проклятие Европе и думал, что Европа ужаснется. Но она не ужаснулась уже потому, что слишком избалована в эстетическом отношении. В манифестах Горького она прежде всего увидела плохую литературу. Затем она корректно, но настойчиво заметила Горькому, что есть Франция и Франция. Тогда Горький спохватился, и в своем ответе, помещенном сначала в газете «L'Humanité», а затем по-русски в журнале г. Амфитеатрова «Красное знамя» (1906 г. № 6) он разъяснил, что говорил «Фран-

ский язык. Знамя в руках, улыбка на лице, надежда в глазах. Кажется, что улыбка и надежда тоже вещественные атрибуты, вроде знамени. Но какая «надежда» — уж окончательно не разберешь. Догадаться, что «в честных глазах» относится к «надежде», мудрено.

* грязные буржуа, хама (фр.). — *Ред.*

ции банков и финансистов, Франции полицейского участка и министерств»; если же чем обидел французских буржуа, то нисколько не раскаивается, потому что ему, «социалисту, глубоко оскорбительна любовь буржуа».

Ответ свой Горький разбил на две части. Первая написана по адресу известного историка Олара⁶, и полна вежливых и глубоко комичных расшаркиваний. «Вашу книгу о днях эпической борьбы французского народа с насилием читает русский пролетариат. По ней он учится умирать за свободу, необходимую ему, как воздух», — говорит Горький. Этот комплимент звучит в устах «социалиста» Горького довольно странно. Книга г. Олара хороша, но написана с точки зрения радикала, вполне довольного нынешним строем Франции, демократа-республиканца, видящего в современной республике осуществление идеала великой революции. Было бы еще понятно, если бы Горький восхитился социалистической историей революции, написанной Жоресом, но увлечение Оларом необъяснимо. По этому маленькому примеру ясно, как примитивны сведения Горького по политической и социальной истории Франции. Вторая Половина ответа обращена к Жеро-Ришару⁷ и Рене Вивиани⁸, в своих политических взглядах стоящих крайне близко к Олару. Здесь Горький не расшаркивается. Почему? Если Олар в глазах социалиста Горького не буржуа, то совершенно такие же не буржуа Вивиани и Жеро-Ришар.

Но главный недостаток разъяснительного ответа Горького это — что он ничего не разъясняет. Как бы Горький ни увертывался, в интервью с прекрасной Францией он говорил о Франции вообще, а не о Франции банкиров и финансистов. Здесь двух мнений быть не может. Иначе к чему Вольтер, В. Гюго, Флобер? Ему, как социалисту менее всего позволительно смешивать две Франции, поработленную и торжествующую. Герцен и Достоевский подошли к Западу со вселенской точки зрения, с философскими запросами. Их интересовали судьбы всего человечества, его будущее, и они мучительно сомневались, не идет ли Запад к гибели, и не повлечет ли он за собою все человечество. Горький чужд всякой метафизики, всякой философской точки зрения. Его риторика сводится в конце-концов к недовольству на французов за денежную ссуду русскому правительству. Не спорю, ссуда эта французской буржуазии чести не делает. Но разве социалист Горький мог ждать чего-нибудь другого от буржуазии? Если бы буржуазия преисполнилась социалистическими идеями и проводила их в жизнь, она этим самым перестала бы быть буржуазией. Социалисту

Горькому не пристало заниматься такими иллюзиями... Или он, начитавшись Олара, действительно вообразил, что нынешняя французская республика вся насквозь пропитана идеями великой французской революции?

Кроме интервью с «Прекрасной Францией», Горький написал еще несколько других. На них останавливаться не стоит. Такие же потуги на остроумие, насмешки над манией величия воображаемых собеседников, манией, которой страдает прежде всего сам Горький. Претенциозное предисловие автора — самое наглядное тому свидетельство.

V

Но вот Горький попал в Америку.

Мы, европейцы, в сущности мало знаем об этой загадочной стране, а что знаем, как-то от нее отталкивает. Нам кажется, что в Америке все взято из Европы и нет ничего своего. Удивительная ничтожность духа и фантастический культ вещей. Кроме того, европейцу чужда страна, лишенная истории, начавшая жить, как ему кажется, прямо с конца, т. е. с девятнадцатого века. Европу украшают могилы, наследие великого прошлого. Если бы в Париже не было Notre-Dame — Эйфелева башня давила бы своим легкомысленным и уродливым кружевом из стали. Представим теперь себе громадную богатую страну, где кроме Эйфелевой башни ничего нет. Так-таки ничего. Никакой истории, славных традиций, никакого искусства, литературы, философии. Голый капитализм, культ Ваала, торжество материи.

Если Америка действительно такова, как она представляет европейцу, она достойна ненависти. Но можно ли полагаться на мнение европейцев, на впечатления туристов? Не слишком ли они субъективны? Чтобы понять душу народа, надо смотреть на нее изнутри, а не извне. Но способны ли на это обыденные туристы-литераторы, столь щедро одаривающие нас своими «американскими впечатлениями»? Рассказы про чудеса заокеанской техники набили нам оскомину, но как мы мало знаем природу Америки, жизнь ее земледельца, религиозные искания американцев, их бесчисленные секты.

Исчерпывается ли Америка так называемым «американизмом»? Горький утверждает, что да, и, по-видимому, утверждает искренно, ибо таково его впечатление. Но можно ли довериться его впечатлению?

Я вовсе не хочу защищать Америку. «Американизм», может быть, самое позорное, что создала современная культура, но только я не могу допустить, чтобы «американизм» исчерпывал сущность этой страны и чтобы поверхностные и банальные впечатления Горького могли бы как-нибудь определять наше отношение к Америке. Все, что рассказал нам Горький — известно и переизвестно. Даже какой-нибудь Поль Адам⁹ или Поль Бурже¹⁰, два преуспевающих французских литератора, сумели, несмотря на всю свою несерьезность, дать нам более живую, интересную картину Америки, чем Горький. Худо ли, хорошо ли, но они старались войти в местную жизнь, в психологию американца, искали в нем те черты, которые отличают его от европейца. Горький же описывает Америку из окна гостиницы или с империала электрической конки. Общие впечатления туриста, мало образованного и не знающего языка. Притом Поль Бурже и Поль Адам отлично знали, чего они хотят и чего ждут от Америки. Чего же ждал и чего хотел Горький — решительно неизвестно. Так описывал бы Америку всякий провинциальный журналист, которому нужно написать определенное число фельетонов.

«Город желтого дьявола» озаглавил Горький очерк, посвященный Нью-Йорку.

«Кажется, что где-то в центре этого города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком золота; он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер; ком золота начинает вертеться в противоположную сторону, образуя холодный огненный вихрь, и втягивает в него людей, затем, чтобы они отдали назад всегда больше того, сколько взяли, и наутро другого дня ком золота увеличивается в объеме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий вой железа. его раба, и всех сил, поработанных им. И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь и мозг людей, для того, чтобы к вечеру эта кровь и мозг обратились в холодный, желтый металл. Ком золота — сердце города. В его биении вся его жизнь, в росте его объема весь смысл его... Для этого люди целыми днями роют землю, коуют железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело. Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке желтого дьявола и рудой, из которой он неустанно плавит золото, свою плоть и кровь...»

Точно эта цитата — из гимназического сочинения на тему «о вредном влиянии города на нравственность человека». В очерках Горького много сентиментальности, жалости к людям, словом, много добрых чувств, но нет ни художественного творчества, ни какой бы то ни было руководящей мысли. Если бы Горький был сознательнее, хоть немного разобрался в своем отношении к Западу вообще, и к Америке, в частности, если бы он понял, что не так-то легко быть одновременно и индивидуалистом и социалистом, — на его американских очерках отразились бы так или иначе его идейные переживания, он осветил бы их руководящей мыслью или настроением. С другой стороны, если бы он послушался только своего художественного инстинкта, а инстинкт этот у него чисто разрушительный, он, может быть, дал бы нам искренние страницы стихийного гнева, бунта человеческой личности против гнета вещей.

Но Горький остановился на середине, на полусознании. Всем существом своим он анархист. Здесь его сила, только здесь, в этом безудержном босячестве проявляется его талант. Но к этому бессознательному стихийному анархизму он прицепил самый поверхностный, непродуманный социализм, и ходячий уличный материализм, соединенный с детским культом человека в кавычках. Если действительно «все человек и все для человека», если «человечество» есть центр мироздания, то гнев Горького — ни на чем не основан.

Казалось бы, Америка именно та страна, где торжествует свободный от всяких предрассудков человек. В Америку человек приехал налегке. Его не давили сорок веков истории. Он был свободен от страшной власти церкви; воевать ему было не с кем. Беспредельный океан защищал его от внешних врагов, внутри же бродили жалкие остатки вымирающих индейцев, страшных только для европейских гимназистов. Казалось бы, все данные, чтобы создать царство счастья и благополучия, царство воспетого Горьким человека в кавычках. Однако Горький не порадовался, а ужаснулся и был в своем ужасе, конечно, прав.

Горький мог бы себя утешить тем, что американцы не люди, а буржуа. Что там за океаном царствует золото, царствует капитализм. А мы хорошо знаем, что такое капиталистический строй. Именно он и уничтожает человека, искажает образ его, превращает его в зверя; но ведь мы знаем также, что капитализм сам себе копает яму. Он создал пролетариат, и чем больше развит в стране капитализм, тем сильнее в нем классовая борьба, тем дружнее, сплоченнее и сознательнее в нем пролета-

риат. Именно в буржуазных странах, с развитой промышленностью, под старой слезающей шкурой капитализма должна чувствоваться новая кожа будущего строя. Горький, социалист Горький, должен был ее ощутить особенно резко. Уж если где, так именно в Америке он должен был увидеть организованные, революционно-настроенные массы, мощный пролетариат, который не сегодня-завтра свергнет с себя иго капитализма. Но социалист Горький этого не увидел, он забыл, что он социал-демократ.

Один из своих очерков он посвящает толпе, той массе людей, кровь которых сосет этот желтый дьявол. Горький описывает «досуги» толпы, тот воскресный отдых, к которым столь страстно стремится пролетариат. Удовольствия чисто звериные. Жалкие шарлатаны, фокусники, клоуны, которые вытягивают у рабочих последние их гроши, кабатчики, которые их одурманивают. «Все это белокожие дикари, — говорит Горький об этой толпе, — которая только ощущает, только видит. Она не может претворять своих впечатлений в мысли, душа ее нема и сердце слепо».

И когда жалкий праздник кончается, «в желоб улиц молча и угрюмо идут разорванные, разрозненные люди».

Но если так, то чем отличается отношение Горького к западной культуре от отчаянных воплей Герцена, Достоевского? Кажется, только своей нехудожественной претенциозностью и плоской банальностью. Больше ничем. Герцен ужасался, не верил в возрождение этих «дикарей». Достоевский искал спасения в «народе-богоносце», а Горький, Горький, сам того не зная, подкопал тот социализм, в который он искренно верит.

Он увидел только одну властвующую, буржуазную Америку. Если в своей полемике с французскими журналистами Горький старался уверить нас, что он говорит только о Франции банкиров, то этой увертки по отношению к Америке ему сделать нельзя. Он говорил о всей Америке, о ее верхах и низах. Он ужасался «разрозненности» этих низов, не объединенных никакой организацией, покорно подчиняющихся своим эксплуататорам. Всякий, кто поверил Горькому, решит, что в Америке социализма нет и быть не может*.

* Я, конечно, не вхожу в рассмотрение вопроса: почему американское рабочее движение столь мало революционно, и какие специфические причины задерживают там развитие социализма. Мне только хотелось указать, насколько не продуман социализм самого Горького и поверхностны его впечатления об Америке.

Вряд ли такое пессимистическое заключение входило в намерения «социалиста» Горького. Или он, может быть, гораздо более верит в торжество социальной правды в России, чем на Западе, родине социализма? Но не измена ли это ортодоксальному марксизму?

В конце XIII тома «Знание» помещено его небольшое воззвание «Товарищ». Приводить цитаты из этой провинциальной прокламации доброго старого времени — просто неловко. Стыдно за Горького, и за русскую литературу.

Он рассказывает нам, как магическое слово «товарищ» преобразило русскую жизнь. И проститутка, и извозчик, и полицейский — все поддались обаянию этого слова. «На улицах мертвого города, в котором царила жестокость, росла и крепла вера в человека, в победу над собою и злом мира».

Откуда появилось это новое слово? Горький утверждает, что это «простое светлое слово» было брошено «одинокими мечтателями», «полными веры в человека». «Они тайно приносили с собой в подвалы всегда плодотворные, маленькие семена простого и великого учения».

Что же, на Западе нет и не было таких «одиноких мечтателей»?

Отчего слово «товарищ» не сияет там «яркой веселой звездой, путеводным огнем в будущее?» Отчего там, где, казалось бы, это благодатное слово должно было звучать с особой силой, по улицам «молча и угрюмо идут разрозненные люди»?

Или это удел русских — воплотить то, что невоплотимо на Западе? Но тогда с другого конца мы приходим все к тому же народу богоносцу, потому что, повторяю, нет никаких научных, строго обоснованных данных, которые указывали бы, что торжество социализма более возможно в России, чем на Западе. Социалистическая наука, как мы знаем, доказывает как раз обратное. Слишком ясно, что в магическое слово, объединяющее полицейского с извозчиком и проституткой, Горький вкладывает общечеловеческое, а не только классовое содержание, что он бессознательно гораздо больше верит в человека, чем в класс. В России, каковы бы ни были классовые противоречия, благодаря общему врагу, совершилось некоторое внеклассовое объединение людей, союз жаждущих бытия личностей, стоящих на разных ступенях развития и сознания, но стремящихся прежде всего к завоеванию своего человеческого достоинства. Вопреки ортодоксальному марксизму, в основе этого, казалось бы, чисто стихийного движения лежит все то же вечное, может быть, не всегда создаваемое, но абсолютное человеческое я.

VI

Как пошехонец, Горький заблудился в двух соснах, в анархизме и в социализме.

Горький-художник прежде всего индивидуалист. Если в нем есть что-нибудь ценное, яркое, это именно бунт личности против общества, «я» против «не я», против мира и Бога. Темпераментом, психологией своей он анархист. С этой точки зрения его босьяк из социально-экономического типа подымается до высоты абсолютной человеческой личности, до богоборчества. Бунт этот не вмещается в рамки социальные, в теорию классово-вой борьбы и т. д. И когда Горький поехал на Запад, когда он увидел мещанское царство золотого дьявола, тупую грубую тоску «белых дикарей», угнетаемых золотом, он инстинктивно восстал против ужаса жизни. В нем проснулся старый, бунтующий «босьяк индивидуалист». Но из этого бунта ничего не вышло. Сознание, вернее полусознание, самые банальные верхушки общераспространенного миросозерцания интеллигента-социалиста, убило в нем его не сильное художественное дарование. Пробуждавшаяся, жаждавшая света личность Горького-художника поникла под тяжестью примитивного материалистического миросозерцания, этого дешевого товара, столь распространенного в полуинтеллигентных массах, этой дурной болезни, унаследованной современным социализмом от вымирающей буржуазии. Может быть, внутренняя трагедия Горького — символ той трагедии, которая разыгрывается в современном социализме. Органически — современный пролетариат глубоко революционен, воистину свят в своей неутолимой жажде света, правды, справедливости. Его пафос — чисто религиозный, хотя, конечно, бессознательно. Все бескорыстные подвиги этих людей ради лучшего будущего, до которого ни один из них сам не доживет, их постоянное самопожертвование, забвение ближайших выгод — говорят о громадном запасе нравственных сил, о горячей вере, о живом огне. Но самый объект этой веры, содержание ее — пролетариат заимствовал от той же ненавистной ему буржуазии. В социалистической литературе с утомительным однообразием повторяется мнение, что всякий идеализм, всякий религиозный идеал есть детище буржуазной классовой психологии. Идеология есть одно из орудий классового господства. Это ходячее мнение глубоко неверно. Идеализм, религиозное сознание — удел внеклассовых личностей. Для буржуазии же как для класса типичен именно тот примитивный материализм, который интеллигенты по какому-то не-

доразумению навязывают рабочим массам, не замечая, насколько это буржуазное мирозерцание противоречит всей психологии пролетариата. Культ земли не более как замаскированное возвращение к птоломеевской геоцентрической теории; культ «человечества» в кавычках, обожествление его — это религия современной буржуазии. Вся современная властвующая Франция, та престарелая кокотка, которая вызвала гнев Горького, — покоится на преклонении перед земным благополучием. Отдельные личности, человек не в кавычках, освобождаясь от тины мещанства, подымается над этим, столь любезным буржуазии, мирозерцанием, льнет к идеалу внеклассовому, всечеловеческому, вселенскому, восстает против варварского материализма, ничем не отличающегося от фетишизма папуасов; но именно эти борцы за вечную вселенскую правду, психология которых так близка к революционному пафосу рабочих масс — встречают со стороны вожakov этим масс непонятную ненависть. Сами того не замечая, вожаки отравились ядом буржуазной пошлости и почти с изуверством навязывают пролетариату старые фетиши капиталистического строя, сбивают его с толку, надевают на его святой революционный лик тупую маску буржуа. Буржуазия может гордиться, что она потушила «небесные огни», что своими электрическими фонарями, освещающими ночные притоны, она затмила звезды. Кант преисполнялся благоговейным чувством удивления, ощущая нравственный закон в себе и звезды над собою¹¹. Современный житель большого города не удивляется, по той простой причине, что звезд он не может видеть. Освещенные кабаки уничтожают небо, а не видя неба, нельзя увидеть и нравственного закона в себе. Но к этим ли кабацким огням стремится пролетариат? Куда он рвется из темного подземелья, не к солнцу ли, не к свету, не к вселенской правде? Удовлетворится ли его святой порыв этим буржуазным благополучием при потушенных огнях неба и освещенных кабаках?

Индивидуалист, анархист Горький стремился не к этому, Он вызывал всех, весь мир на смертный бой. Его душа жаждала или гибели мира, или его преображения. Но мутный источник материализма — его отравил. К здоровой натуре, к томящейся по вечной правде личности присоединилось поистине варварское мирозерцание, полуинтеллигентская полунаука. Абсолютная личность подменилась культом закованного в причинную связь человека. «Человек — это звучит гордо», — восклицает один из героев Горького. Да, гордо, воистину гордо, но только потому, что внутри него живет абсолютный нравственный закон, а

над ним горит звездами небесный свод. Уткнувшись же носом в землю, подчинив себя целиком закону причинности, человек неизбежно превращается лишь в прах и тлен. Это уже простая логика.

Горький не сумел осмыслить своего индивидуализма. Он чисто внешне, механически соединил его с ходячим материализмом и впал в самую низменную пошлость. Все, что было в нем, как в художнике, яркого и сильного, — исчезло. Неудовлетворенность, искание, бунт, — заменил он самодовольным тоном заурядного демагога. Язык, сильный и красочный в первых его вещах, стал трескучим, фальшивым, и каким-то неумелым, гимназическим.

Нет, уж если художник не в силах осветить свое творчество светом истинного сознания, то пусть он лучше слушает только голос своего художественного инстинкта. Грубое полусознание отравляет самые источники творчества.

Человек, для которого не существует больше никаких вопросов, который залил огонь своей души грязной водой дешевого материализма, не может превратиться в самого среднего, самодовольного буржуа.

1907





Д. В. ФИЛОСОФОВ

Горький о религии

Журнал «Le Mercure de France» предпринял очень любопытную анкету. А именно: редакция обратилась к самым разнообразным лицам с просьбой высказать свое мнение о том, присутствуем ли мы при разложении (dissolution) или эволюции религиозной идеи и религиозного чувства.

Насколько мне известно, из русских приняли участие в этой анкете Горький, Мережковский, Минский и Плеханов. Пока появились лишь ответы Горького и Плеханова. По содержанию своему оба ответа тождественны. Одинаково наивны, плоски и буржуазно-оппортунистичны. Плеханов дал дистиллированную банальность всех ученых позитивистов, трактующих о религиозных вопросах. Ответ Горького интереснее. В нем есть известный темперамент и неосторожность человека неискушенного. С Плехановым нельзя спорить. Не за что уцепиться. Гладкие общие места, отталкивающие всякого мало-мальски глубокого человека своею плоскостью. Профессионалы-философы улыбнутся, художники отвернутся со скукой. Совсем другое Горький. Он человек наивный, искренний, создавший несколько воистину литературных произведений. Как бы к Горькому ни относиться, драма «На дне» переживет и ругань его врагов, и клику -щечи восторги подобострастных друзей. Его мысли о религии интересны, как важный психологический документ. С одной стороны, Леонид Андреев с «Жизнью человека»¹, Сергеев-Ценский с беспощадным пессимизмом: а с другой — их недавний единомышленник и однокашник Горький, со своей идиллической религией без Бога.

Горький утверждает, что если идея личного Бога подверглась окончательному разложению, то, наоборот, религиозное чувство находится в периоде развития. Ему предстоит широкое будущее.

Вот что он говорит*:

«Я думаю, что мы присутствуем при образовании нового психологического типа. Я вижу в далеком будущем появление совершенного существа, которое я называю совершенным потому, что оно будет обладать гармоническим развитием всех своих способностей, без внутренних противоречий.

Чтобы это совершенное существо могло появиться, необходимо свободное и широкое общение между людьми равными, и эта проблема разрешается социализмом.

Вот как я определяю религиозное чувство. Религиозное чувство есть гордое и радостное ощущение гармонической связи, соединяющей человека со вселенной. Это чувство рождается в присущем каждой личности стремлении к синтезу, оно питается опытом и превращается постепенно в религиозный пафос, благодаря радостному ощущению внутренней свободы, пробудившейся в человеке...

Дорога, которою следует человечество, что бы там ни говорили люди с больной печенкой, это — дорога, которая ведет к духовному совершенству. Сознание этого процесса должно пробуждать во всяком душевно-здоровом человеке религиозное настроение, то есть сложное и творческое чувство веры в себя, в победу, пробуждать любовь к жизни и удивление перед мудрой гармонией, которая существует между человеческим разумом и всем миром, вселенной».

Что и говорить. Религия благодушная. Устраняющая всякую трагедию. Но кого она может удовлетворить? Возьмем для примера Леонида Андреева и героя его новой драмы. Удовлетворятся ли они горьковским оптимизмом?

Уже одно посвящение «Жизни человека» заставляет задуматься. На первой странице драмы стоит: «Светлой памяти моего друга, моей жены, отдаю эту вещь, последнюю, над которой мы работали вместе». Уже в этих строках чувствуется глубокое страдание личности, которое вряд ли утешится религией Горького. Герой драмы дошел до такого отчаяния, что стал даже (*horribile dictu!***) молиться стоящему в углу, вот здесь, рядом, «Серому Некто», молиться о сохранении жизни сыну. Молитва не была услышана, сын умер, а человек погиб в кабаке, среди страшных пьяниц. Такова судьба не именно этого человека, а почти всех людей. Потому что мир проклят. Ка-

* Не имея под руками русского подлинника, я перевожу с французского.

** страшно сказать (*фр.*). — *Ред.*

кая-то ловушка дьявола. И люди стремятся не победить трагедию мира, преодолеть ее, а отвернуться, пройти мимо. Играют в игрушки. И мир мстит. «Когда ребенок умирает, проклятием для живых становятся его игрушки».

Горький, натолкнувшись на коренное зло мира, отвернулся от него, думал найти забвение в «игрушках», потому что, что такое, как не «игрушки», его жалкая, наивная философия оптимизма, религия грядущего «совершенного существа».

Какой ответ дает он Андрееву?

«Или признай, что у тебя больная печенка, что у тебя не все дома, или верь, что ты, со всеми своими страданиями, ничто иное, как удобрение для роста счастливого сверхчеловека будущего». Этот новый самодержец нисколько не менее жесток, чем все прошлые и нынешние самодержцы. Как и они, он требует бесчисленных жертв и строит свое благополучие если не на костях своих современников, то на костях всех предыдущих поколений.

Не знаю, ответ ли это на вопрос «Человека», погибшего среди пьяниц, «на лицах которых при всем их разнообразии лежит печать страшного сходства: зеленоватая, могильная окраска и выражение то веселого, то мрачного и безумного ужаса». Андреев утверждает, что мир — «кабак»; «Серый Некто», могший в момент молитв «Человека» превратиться в Бога, в конце концов превратился в «равнодушного кабатчика», а Горький утешает страдальца своим «сверхчеловеком» и лепетом о какой-то «радостной гармонии».

Не знаю, как на других, но на меня эта наивная вера в грядущего «сверхчеловека», ради которого мы должны нелепо страдать, производить самое отвратительное впечатление. Верь сверхчеловеку и покоряйся ему не только за страх, но и за совесть. Нет, во мне просыпается босяцкая душа и непреодолимое желание послать, как делает один «босяк» Горького, «весь мир к черту на куличики».

Горьковская религия основана прежде всего на одной психологической и логической нелепости. Ведь если Бога нет, нет абсолютной бессмертной личности, и из меня, после смерти моей, «лопух вырастет»², то какое мне дело, что после моей смерти будет здесь на земле. Андреев и логически и психологически последователен. Он приходит к последнему отчаянию. Он не принимает мира, не принимает Бога и умирает в «кабаке». Горький же, утверждая всей своей философией «кабак» мира, ни с того, ни с сего создает для утешения «молодых сил»

какую-то побрякушку, нелепый мираж будущего счастья таких же смертных, как и мы, людей.

Хорошо, мы все ничто иное, как пушечное мясо для торжества грядущих сверхчеловеков. Допустим, что мы поверим в эту химеру, в эту грубую и неприличную игрушку. Но разве эти будущие сверхчеловеки будут абсолютно и совершенно счастливы? Что же, они будут бессмертны? Их не будут переезжать, как переехали Кюри³, будущие, — о, насколько усовершенствованные, — автомобили; у них не будут умирать дети; у них не будет ревности, и главное, главное, серый молчаливый Некто не будет вечно стоять тут, рядом, с еле теплящейся свечой в руках?

Да ведь это же все обман, самый жалкий обман, мираж, которым новые буржуа будущего хотят усыпить вечный, я бы даже сказал предвечный бунт человеческой личности.

О, да, я знаю, как исторические церкви поклонялись властям предрержащим, я знаю, как попы кормили голодный народ обещаниями загробной жизни, но разве не то же самое делает Горький, только не во имя (пускай ложно понимаемого) абсолютного начала, а во имя детской игрушки будущего сверхчеловека, может быть, более знающего, чем мы, но такого же бессильного перед законами смерти, как и мы. И ради этого нового фетиша мы должны склонять свои головы. Сколько тут нового, утонченного насилия, какое презрение к человеческой личности. И, конечно, личность не поддастся на эту удочку. Сверхчеловеческий рай, мнимо научная религия без Бога, буржуазный оптимизм никогда не замажет мятежного духа человека, жаждущего истинной, подлинной свободы, а не замены одних господ, настоящих, другими господами, будущего.

Странная вещь. Горький, отрицая бессмертную, абсолютную личность, тем не менее не мог искоренить в себе жажду ее бессмертия и подменил ее суррогатом веры в будущего сверхчеловека. Атеисты, отказываясь от «загробной жизни» в мире ином, по какой-то логической аберрации утверждают загробную жизнь здесь, на земле, и устремляют свою волю на то или иное ее устройство. Вместе с тем, ведь совершенно ясно, что для моего смертного и конечного «я», превращающегося с моей смертью в прах и тлен, должно было бы быть также безразлично то, что будет происходить на земле, после моей смерти, как и то, что будет происходить со мной, зарытым в этой земле. Не все ли равно умирающему в «кабаке» герою андreeвской драмы, сколько людей будет рождаться после его смерти по капризу «Серого Некто» и что они будут делать, как устраиваться?

Они все кончат в том же кабаке. Отрицание бессмертия личности должно последовательно вести к полному индифферентизму социальному. И если фактически этого нет, то именно потому, что как бы разум, трезвый человеческий разум, так называемый «здравый смысл», ни отрицал бессмертия личности, — ощущение ее, не доходя до сознания, живет, потому что не может не жить в человеке.

Здесь мы наталкиваемся на одно ходячее заблуждение, которое царит в интеллигентско-материалистических кругах относительно идеи бессмертия. В ней видят скрытое отрицание мира, лежащего во зле. Это заблуждение идет от исторического христианства, которое обострило антиномию духа и плоти и предало плоть проклятию. Современный материализм есть законная реакция против спиритуализма прошлого. Но он также односторонен, как и блаженной памяти спиритуализм. В частности, обращаясь к идее бессмертия личности, надо признать, что без нее всякое учение о прогрессе, всякая работа над социальным устройством будущего — становятся просто бессмысленными. Если история есть процесс эволюции, и только процесс, тогда все усилия человеческой воли, направленные к его ускорению или изменению, — сплошная «романтика». Тогда гораздо более последовательны современные сверхчеловеки, объявляющие свое «я» центром жизни. Ничего не существовало до появления этого «я», и ничего не будет существовать после его исчезновения. Естественно, что вся радость жизни, весь смысл ее сосредоточивается в этом одиноком, временном «я». Цезари Борджии⁴, Наполеоны, Раскольниковы получают полное оправдание, потому что ощущение связи с внешним миром, с не «я», с будущей историей человечества, не может быть у существа, отделенного от прошлого и будущего абсолютным небытием. Только эмпирически данное «я» существует, имеет для меня реальную ценность. Так же последовательны те, кто, убедившись в своей смертности и не находя, может быть, даже по чисто внешним условиям, возможности воплотить в жизни свое личное «сверхчеловеческое» я (как Наполеон или Цезарь Борджиа), впадают в последнее отчаяние и проповедуют «коллективное самоубийство». И жизнерадостный аморальный эгоизм, и безнадежный пессимизм одинаково логичные и понятные выводы догматического материализма или даже атеистического позитивизма. Но как на этой философии можно обосновывать революционный социализм, веру в будущее царство социальной правды на земле и, главное, добиваться ее вопреки непосредственным ближайшим интересам эмпирической личности —

просто уму непостижимо. В одной из своих статей Плеханов верно замечает, что «материалистический взгляд на человеческую волю прекрасно уживается с самой энергичной деятельностью на практике» («К вопросу о роли личности в истории»). Это доказывает только, что бессознательная сила жизни зачастую правее, инстинктивно ближе к правде, чем навязываемое ей материалистическое сознание. Но содержание этой «энергичной деятельности» материалистическим взглядом на человеческую волю не предрешается, и к счастью. В том-то и дело, что «энергичная деятельность» только случайно уживается с «материалистическим взглядом на волю», органически с ним отнюдь не связана. И в том-то, может быть, и заключается ее теперешнее бессилие, что она малосознательна и довольствуется этим наивным полусознанием дешевого материализма. Сама по себе эта энергичная воля праведна, ее инстинкт святой, а содержание ее, цель, которая ей навязывается, ниже ее. Прежде эту энергичную волю направляли на отрицание мира, и она применялась к величайшим подвигам аскетизма. Сколько лучших сил погибло в одинокой борьбе со злом, ради личного спасения. Теперь эти силы направляются на счастливое устройство здесь, на земле, будущих смертных людей. Личность целиком приносится в жертву обществу, и она, естественно, мельчает, хиреет. Сам Горький живой тому пример. В поисках атеистической общественности будущего он потерял самое ценное благо — личность, превратился из жаждущего личности, вечно мятежного босяка, в мягкотелого проповедника оппортунизма. Из хилых ничтожных личностей — свободного общества не создашь. В результате выйдет все то же старое насилие более сильных над слабыми, стадо, водимое кнутом пастуха.

Позитивизму этой проблемы не разрешить. Он фатально обречен или на признание ничем не связанной, ничего, кроме себя, не признающей эмпирической личности, или на лживое навязывание людям такого абсурда, как религия без Бога, как покорная вера в будущих сверхчеловеков, потому что ничего не признающая личность может подчиниться только насилию, или самому простому физическому кнуту, или усыпляющему сознание кнуту духовному, дурману будущего счастья сверхчеловеков.

Умолчание, скрывание, постоянное усыпление сознания — величайший грех, недостойный мыслящего человека. Бесстрашное и ясное сознание — его главное украшение, его свобода.

«Босячество» — первая ступень пробудившегося сознания. Только человек, дошедший тут до конца, не побоявшийся пос-

ледного отчаяния, способен победить трагедию мира. Горький, испугавшись временного отчаяния, стал притуплять сознание, одурманивал его своей детской религией без Бога. И в этом его провал. Для победы над злом мира надо выйти из плоскости позитивной в плоскость иную, религиозную. Только там, при свете сознания религиозного, человек может принять мир, полюбить жизнь, поверить в борьбу за освобождение.

И уж если выбирать между отчаянием «босняка», отчаянием героя андреевской драмы и оптимизмом горьковского сверхчеловека, то выбор, конечно, должен остановиться на отчаянии.

У «босняка» открыты глаза, у него свободное отношение к миру, у него нет страха перед сознанием, а только сознание, эта подлинная свобода, может привести к спасению, к последней победе над злом мира.

1907





Д. В. ФИЛОСОФОВ

Разложение материализма

Г. Горнфельд сделал мне честь, обратив внимание на статью мою «Конец Горького» *. Очевидно, г. Горнфельд придал ей известное значение, иначе он не стал бы утомлять ее разбором внимание читателей. Это дает мне право ответить уважаемому критику, тем более, что ни в какую личную полемику я вдаваться не буду, а постараюсь говорить по существу.

Почти со всеми замечаниями г. Горнфельда я согласен. Я сознаюсь, что заглавие статьи — «Конец Горького» — не совсем удачно.

Я готов также признать, что не вся русская критика лежала у ног Горького. Особенно охотно признаю, что «критика покойного «Нового пути» относилась к Горькому без пагубных эксцессов». Признаться в этом мне тем легче, что именно в «Новом пути» (окт. 1904 г.) помещена моя статья о Горьком **, где уже проводится та самая мысль, дальнейшему развитию которой я посвятил свою последнюю статью в «Русской мысли».

Но, признавая замечания г. Горнфельда, касающиеся меня лично и внешности моей статьи правильными, я должен заметить однако, что кроме автора и формы статьи, существует ее содержание. О нем мне хотелось бы поговорить, тем более, что по существу г. Горнфельд меня ни в чем не опроверг.

I

Я утверждаю следующее: 1) сущность дарования Горького — бессознательный анархизм. «Босьяк» — тип не только социаль-

* См. статью его «Кончился ли Горький?» в сборнике «Книги и люди» (СПб., 1908).

** См. выше статью «Завтрашнее мещанство».

ный, но и общечеловеческий тип бессознательного анархиста; 2) анархизм босняка Горького соединяется чисто внешним образом с социализмом; 3) полусознательное, механическое соединение двух непримиримых идей — материалистического социализма и иррационального анархизма — пагубно повлияло на творчество Горького, и 4) «Философия» Горького — общераспространенный, дешевый материализм, лженаучный позитивизм — философия оппортунизма (*sic!*), унаследованная от умирающей буржуазии и находящаяся в резком противоречии с психологией пролетариата.

Говоря о Горьком, я брал его творчество как яркое выражение коренного противоречия, заложенного в тех революционных силах, которые выступают под знаменем социал-демократии.

В социалистической литературе с утомительным однообразием повторяется мнение, что идеализм — детище буржуазии. Это ходячее мнение просто неверно. Идеализм, новое религиозное сознание — удел внеклассовых личностей. Для буржуазии же, как для класса, типичен именно тот, претендующий на целостность миросозерцания квазинаучный позитивизм, тот, вытекающий из него практический материализм, который теперь по какому-то недоразумению навязывается рабочим массам. Современная Франция, та «престарелая кокотка», которая вызвала справедливый гнев Горького, покоится как раз на философии, которую защищает Горький. Пролетариат только еще пробуждается, и он бессознательно берет на веру эту, как дурную болезнь унаследованную от буржуазии, философию, но она так же не соответствует его органической сущности, как и старый клерикализм, с его авторитетом и учением о преклонении «властям предержащим». На святой лик пролетариата надели тупую, самодовольную маску буржуа. На примере Горького легче всего проследить, как самый драгоценный материал, — живая, бунтующая, жаждущая бытия личность, попадая в переделку квазинаучного материализма, хиреет, умалывается, становится плоской, безличной. Иначе и быть не может, потому что революционный пафос в корне своем идеалистичен, я бы даже сказал, религиозен. Он весь трагичен и чужд оппортунизма, присущего именно материализму и его детищу — самодовольной буржуазии.

В современной Европе происходит знаменательное явление: разлад между рабочим классом и социалистической партией. В особенно резких формах этот разлад чувствуется во Франции. Идейному господству партии приходит конец. Непримиримый

идеалистичный пафос лучших представителей пролетариата, не вяжется с оппортунизмом, которым пропитана современная с<оциал>-д<емократическая> партия на Западе. Последовательный материализм по существу своему не может быть непримиримым. Он идейный враг всякого абсолюта, всякого далекого идеала, который прежде всего не научен и утопичен. Литтрэ¹ сказал, что «действительность есть остров, окруженный бушующим океаном неизвестности, для исследования которого у нас нет ни лодки, ни паруса...» На этом утверждении осторожного позитивиста покоится вся психология современной торжествующей буржуазии. Но она примирилась с жизнью на своем маленьком островке, и занялась разведением капусты. Упорное, из поколения в поколение копанье в земле заставило ее даже позабыть о существовании океана, и всякие попытки построить лодку для его исследования она встречает или смехом, или... штыком. Современная социал-демократия, сама того не замечая, целиком впитала в себя это ограниченное миросозерцание буржуазии, и здесь причина рокового расхождения партии с классом. Класс порывается идти в широкое море, хотя бы и на утлом суденышке, он знает, или, вернее, бессознательно чувствует, что на этом капустном острове ему не ужиться. А партия его осаживает и во что бы то ни стало хочет подчинить его своим идеям. Это ей до сих пор и удавалось. Кто осмелится отрицать, что германский пролетариат, находящийся в наиболее тесном общении с партией — не преисполнен самыми мещанскими аппетитами? Кто не видит, что французский пролетариат, борясь с партией, отстаивает идеи гораздо более широкие, чем его парламентские вожди.

Что русская с<оциал>-д<емократическая> партия чувствует изъяны своих философских предпосылок, их буржуазную, безличную оппортунистичность — видно из беспомощного стремления как-нибудь подпереть социализм нищезанятием. Не только г. Луначарский, но и Горький возятся с идеей сверхчеловека, самой наивной и антисоциальной, которая только может быть. Сводя жизнь к игре социальных и экономических факторов, т. е. к безличному благодушному оппортунизму, идеологи социал-демократы стараются сохранить личность хотя бы в виде будущего сверхчеловека, этого «барина», который приедет и «всех рассудит». Этот сверхчеловек, или, вернее, эта наивная вера в грядущего сверхчеловека — ничто иное, как продукт психологической потребности выйти из безличной цепи причинности, вечной человеческой потребности верить. Как ни наивна эта вера — она очень ценна, она — дока-

зательство невозможности для живого человека пребывать в духоте буржуазной лженаучности, того позитивизма, который незаметно, от скромного признания непознаваемого перешел к грубому его отрицанию. Современный социализм, как жизненное, реальное явление, оказывается глубже, шире, святее того устаревшего философского механизма, в который его тщательно втискивают идеологи партии. Горький, по моему мнению, одна из жертв такой механической обработки. На его стихийную натуру надели тяжелые вериги ходячего материализма. Обремененный их тяжестью, он остановился, перестал двигаться. Тут, только тут, я и вижу конец Горького. Для возрождения ему надо бы сбросить эту негодную одежду. Лучше остаться «босьяком». На примере Горького я и старался показать, как ржавчина лженаучности, полусознания развела громадное дарование Горького, сделала его бессильным. Ведь ясно же, что голос нынешнего Горького потерял свою звучность, что такая серьезная вещь его, как «На дне», имеет в революционном смысле в тысячу раз больше значения, чем сотни полуграмотных брошюр, манифестов, которые он стал печь, как блины. Поэтому я и утверждал, что если Горький-художник не в силах осветить свое творчество светом истинного сознания, то пусть он лучше слушает только голос своего художественного инстинкта, потому что интуиция Горького выше его сознания, потому что его сознание губит его интуицию, также, как буржуазная философия партии — губит святую интуицию класса. В России эта несовместимость оппортунистической теории с непримиримой практикой действия пока не столь губительна, потому что мы переживаем острый период борьбы. Но представим себе, что после нескольких лет волнений мы перешли к настоящей буржуазной конституции. Легализованная социал-демократическая партия, конечно, пойдет по западной дорожке парламентаризма, блоков, политических комбинаций, обуржуазивания рабочих масс, если только она вовремя не откажется от своих материалистических предпосылок и не прислушается к «интуиции» пролетариата, который все что угодно, только не материалистичен.

II

Литература, особенно русская, верно отражает то, что происходит в глубинах русской души. Г. Горнфельд, который внимательно следит за новейшей русской литературой, не мог не

заметить, что в ней обнаруживается много неладного. Горький дал ряд вещей плоских, недостойных его дарования, а друг Горького, его единомышленник, выросший на той же философской почве, Леонид Андреев, написал «Жизнь человека», произведение ужасное, отчаянное. Свести этот пессимизм к индивидуальным особенностям художественного дарования Леонида Андреева — слишком близоруко. «Жизнь человека» имеет общественное значение, и успех, который пьеса встретила в широкой публике, доказывает, что коренной пессимизм, овладевший душой Андреева, уже проник и в массы. Горький безоружен перед Андреевым, потому, что из исповедуемой им и Андреевым философии только и может быть два выхода: или поверхностный оппортунизм, или полное отчаяние. Победить Андреева могут лишь те, у кого иное мирозерцание, чем у Горького. Победа может совершиться в совсем иной плоскости. Между тем, Андреев враг серьезный. Победить его необходимо. Иначе рушится вера не только в сверхчеловека, но и в самый социализм. Нечего себя обманывать: «Жизнь человека» — одно из самых реакционных произведений русской литературы, и только наивное и бездарное русское правительство может ставить препоны к его распространению. Оно реакционно потому, что уничтожает всякий смысл жизни, истории. «Жизнь человека» — вне времени и пространства. Если жизнь действительно такова, как ее изображает Андреев, то она одинаково жалка, ничтожна, бесцельна и при самодержавии и при конституции и при социалистической республике. Стоит ли бороться, стоит ли жертвовать своею жизнью, идти на каторгу, на виселицу — когда жизнь человека — сплошное издевательство «Серого Никто», когда здесь, на земле, — все обман и суета? Как наша публицистика просмотрела этот яд андреевской пьесы, как она не удивилась тому сочувствию, которое пьеса встретила в широкой публике, как она не ужаснулась перед этим призраком грядущей реакции, реакции самой страшной, потому что не правительственной, а общественной? Да никакой монах Илиодор² или Крушеван³ так не опасны, как «Жизнь человека». Черная сотня вызывает на борьбу с реакцией за лучшее будущее, заставляет утверждать правду жизни, истории. Андреев же притупляет чувство, волю, погружает в мрак небытия. Г-н Горнфельд может удивиться, что я подхожу к художественному произведению с точки зрения утилитарной. Но в данном случае его удивление было бы неуместно. Я нахожу, что и с художественной точки зрения «Жизнь человека» — вещь очень слабая. Истинно художественное произведение никогда не бы-

вает реакционным, только отрицающим. Оно никогда не потакает небытию...

Успеху «Жизни человека» на театре Комиссаржевской содействовали «не приемлющие мира мистические анархисты»⁴. Вот еще одно литературное явление, свидетельствующее о кризисе, который переживает современная душа. Ходячий материализм рассыпается в прах, едва сталкивается он с личностью. Не имея же твердого основания, утверждающего бытие, личность впадает в хулиганство, в самое простое хулиганство. Ведь не будет же отрицать г. Горнфельд сплошное хулиганство всей этой обильной литературы «неприемлющих мира»? Они наводнили книжный рынок половой, социальной и религиозной порнографией. Тут не оговоришься, что это все упражнения вымирающей, пресыщенной буржуазии. Характерно именно то, что в лоне мистического анархизма очутилась почти вся современная молодая литература. Здесь объединились все до сих пор непримиримые тенденции русской литературы. Кто бы мог подумать, что дети аристократических эстетов девяностых годов встретятся и подружатся с детьми наших «гражданственников», что сборники «Знания» сойдутся со «Скорпионами» и «Грифами»⁵. Старые декаденты чуждались общественности, ненавидели всякую тенденциозность. Старые «общественники» зорко блюли тенденциозный реализм, гражданскую нотку. Но теперь, точно после наводнения, все смешалось в одну кучу. Пошла какая-то «разлюли моя малина». Все радостно обнялись и с удовольствием открыли друг в друге общее хулиганское начало. Культурность старых декадентов свелась на нет, оказалась ненужной для молодежи, благонамеренность тенденциозных реалистов исчезла, погребенная под развалинами собственной примитивной философии. И началась какая-то свистопляска, блудословие, от которого с души воротит. Современная, увы! очень талантливая молодежь щеголяет своим хулиганством, доказывая всем, что человек — это вовсе не «гордо»! И очень характерна их любовь к кощунству. Как это ни покажется парадоксальным, но никогда ни один атеист старого закала не тяготел так к кощунству, как современная литературная молодежь из «не приемлющих». Мистические анархисты все вынесли на улицу и стали трепать не грубые нелепости официальной религии, а внутренние, интимные, религиозные переживания. Вся порнография стала не просто «клубничкой», а блюдом из клубнички под якобы мистическим и религиозным соусом. Начался шабаш, гнусная хлыстовщина, мистическое хулиганство...

Заниматься причитаниями, взывать к морали, конечно, не-лепо. Но остановиться и призадуматься над этим явлением очень стоит. Мне лично кажется, что все это мистическое хулиганство — законное детище ходячего материализма, изнанка того же лженаучного позитивизма, которым, увы! зачастую кичится современная интеллигенция. Слишком дешево покончив с абсолютной личностью, считая ее «биологическим комком», она обезоружила самые святые свои идеалы от вторжения хулиганства. «Биологический комок» жестоко мстит и старается всю использовать те минуты наслаждения, которые ему представляет «Серый Некто». Стоя на почве материализма, этому «биологическому комку» возражать нечем...

Горький написал новую повесть, которая, по словам г-на Горнфельда, свидетельствует, что талант его еще не погиб. И слава Богу. Но Горький не только А. М. Пешков, но и Горький, т. е. символ идей, стремлений, исканий широких кругов современного общества. Возвратившись к простой, «интуитивной» литературе, освободится ли он от яда того полусознания, которое до сих пор стравливало и его, и русское общество? В этом весь вопрос. Яд слишком серьезный, вряд ли можно его преодолеть единичными усилиями отдельной личности. Здесь нужен какой-то сдвиг коллективной мысли.

1907





В. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

На пути в Эммаус

Передо мной берлинское издание* повести М. Горького «Мать».

Эта повесть печатается в Швеции, Норвегии, в итальянской газете «Il Secolo», во французском «Revue de Revue», в немецком «Forwards», в Америке в журнале «Appleton», который выходит в количестве, превышающем миллион экземпляров, и, наконец, уже появилась в Нью-Йорке книгой великолепно изданной, с иллюстрациями польского художника Ивановского.

Отзывы европейской печати самые благоприятные.

Наша печать уже откликнулась по поводу первых глав «Матери», нам бы хотелось поговорить о ней в целом, в особенности теперь, когда одни заживо похоронили талант художника, провозгласили «конец Горького», а другие возвестили, что современный читатель «разлюбил последнего фанатика».

Не в первый уже раз нам приходится слышать «отходную» этому яркому и неутомимому художнику. Хоронило и отпевало его «Русское богатство» в лице субъективистов-народников, а М. Горький как бы в ответ написал своих «Дачников», «Детей Солнца»; хоронили и отпевали его редакторы безвременно почивших «Нового пути» и «Вопросов жизни» в лице мистических анархистов и людей «нового религиозного сознания», а М. Горький написал «Врагов», «Мать», «Товарищ», «Шпион», драму «Отец» и показал великую, живую душу, согретую религиозным пламенем борьбы в той самой среде, где его могильщики усмотрели «грядущего хама».

Правда, «современный читатель» разлюбил «последнего фанатика М. Горького». Но кто этот читатель?

* К сожалению, мы не могли воспользоваться конфискованным русским изданием «Матери», значительно сокращенным.

Не тот ли, который, захлебываясь от наслаждения, зачитывается художественной порнографией, основывает общества «Огарка»¹, устраивает афинские ночи и проникает с трепетом Свидригайловых и Карамазовых в тайны плоти?

Кто этот «современный читатель»? Уж не Петр ли из «Дома Бессеменовых», достойный сын почтенного мещанина Бессеменова, интеллигентный мещанин, который захотел в октябрьские дни «пройтись гоголем», пококетничать с пролетариатом и пощеголять в красном плаще на социал-демократической подкладке!..

Нам говорят о современном читателе, говорят, что теперь уж он «не тот», не фанатик, — теперь настал момент, когда и в жизни и в литературе, и в душе Петра вместо фанатизма водворилась «мозаика».

В скучном доме Бессеменовых-родителей никогда не было места революционному фанатизму. Там рождались навсегда уставшие люди, без веры в сердце, стоящие «между хочу и должен», разыгрывавшие сцены из бесконечной комедии под названием «Ни туда, и ни сюда».

Правда, был момент, когда родители Петра всполошились не на шутку: их сынок стал захаживать на антресоли к жизнерадостной, веселой Елене и ее друзьям: рабочему Нилу, студенту Шишкину, Тетереву, но разве Тетерев, этот посторонний, живущий из любопытства, не оказался пророком, когда говорил старику Бессеменову о Петре — его детище: «Он не уйдет далеко от тебя. Он это временно наверх поднялся, его туда втащили... но он сойдет... Умрешь ты — он немного переставит в нем мебель и будет жить, как ты — спокойно, разумно и уютно» *.

Это писалось в 1902 году.

После передрыг 1906 года Петр успел похоронить старика Бессеменова, но сам поспешил сойти вниз, подальше от веселья Елены, действительно переставил в доме мебель, объявил конец революционному фанатизму и оказался достойным сыном своего покойного родителя, который был «в меру умен и в меру глуп, в меру добр и в меру зол, в меру честен и подл, труслив и храбр».

Если этот самый образованный мещанин разлюбил последнего фанатика — Горького, после того как пофлиртовал за папенькиной спиной с веселой музой художника — право, не беда!

* «Мещане». Изд. П. 1902 г.

Не спешите хоронить писателя и кричать о падении его таланта — это не талант упал, а мещанин спустился вниз.

Но оставим в покое образованного мещанина, его веселый дом и литературу веселых домов. Обратимся к повести последнего фанатика.

Мы думаем, что эта повесть, уже расходящаяся в Европе в миллионах экземпляров, найдет себе читателей на родине, не среди образованных мещан, а среди пролетариев и в деревне, не в доме Бессеменовых, а серых, приплюснутых домиках рабочей слободки и в плохих избах крестьян. Там живет новый читатель, жаждущий книги, которая рассказала бы ему о его жизни и о жизни новой и светлой.

Туда постучится «Мать» М. Горького и там художник-товарищ станет родным и близким. И чем ближе и роднее он будет для серых домов, тем с большим равнодушием и даже злобой будут говорить о нем Бессеменовы. Так и должно быть: мещанин Петр и рабочий Нил — «враги», враги не на жизнь, а на смерть!

Был в Керчи еврей молоденький, писал он стихи и однажды написал такое:

И невинно-убиенных Сила правды воскресит.

Его самого полиция там в Керчи убила, но это — неважно. Он правду знал и много посеял ее в людях... так вот вы — невинно-убиенный человек, верно он сказал, — говорил «матери» Андрей Находка.

В этих немногих словах художник стиснул все содержание повести.

Разве не о воскресении невинно убиенного человека, невинно убиенной родины-матери рассказывает он в своей книге?

На земле, черной от копоти, огромным, желто-красным пауком раскинулась фабрика, подняв над рабочей слободкой свои высокие трубы, как черные палки...

В серых, приплюснутых домиках слободки, теснящихся на краю болота, под рев гудка дни бесследно вычеркиваются из жизни, а болезненное раздражение, накопившееся от черной жизни, ищет выхода в пьянстве и драке из-за пустяков.

В бесчисленных деревнях, робко прижавшихся к земле, голод всю жизнь за человеком тенью ползет и нет надежды на хлеб. Там голод души сожрал, лики человеческие стер и не живут люди, а гниют в неизбежной нужде.

Фабрика рабочей слободки встает перед вами какою-то черною тенью и только порой в ночной тьме мерцают какой-то надеждой далекие «огни города».

В рабочей слободке и деревнях «кого-то хоронили. Гроб был наглухо закрытый».

К этому гробу пришла весть воскресенья, пришел радостный и властный призыв «вставай, поднимайся, рабочий народ!»

Пришла эта весть не из церкви, которая поднималась над слободкой, темно-красная, под цвет фабрики и колокольня которой, казалось, была ниже фабричных труб.

Принесли ее «запрещенные люди» из города сперва в рабочую слободку, принесли ее Сашеньки и Наташи.

Услышали эту весть единицы, не отцы, а «дети», от детей первую речь о правде услышала мать, услышало старое поколение, услышал рабочий народ.

Из рабочей слободки понесли слово правды в деревню рабочие... «снова заделались мужиками».

Слободка для деревни стала тем же, чем город был для слободки.

Как огромным рефлексором освещает художник воскресший город, поднимающиеся из гроба слободку и деревни величественным символом воскресшего Христа, идущего во Эммаус.

«Однажды Павел принес и повесил на стену картину — трое людей, разговаривая*, шли куда-то легко и бодро — это воскресший Христос идет в Эммаус!.. — объяснил матери Павел».

Эта картина со стены маленького серого дома как бы смотрит на аналогичную картину жизни, которая постепенно разворачивается вокруг. К сожалению, смысл этого символа скрыт для тех читателей, которые не помнят или не читали христианской легенды об Эммаусе.

В первый день недели после погребения Христа к пещере, где лежало Его тело, пришли Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и другие женщины с ними, неся приготовленные ароматы, но камень они нашли от гроба отваленным, а тела не оказалось. Когда они недоумевали, им предстали два мужа в одеждах блистающих и сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь — он воскрес...»

Когда женщины рассказали о виденном 11 ученикам, «показались слова их пустыми, и не поверили им». Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие...

* См. с. 16.

В тот же день двое из учеников шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима и называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними.

Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его... На вопрос Иисуса — «отчего они так печальны», — ученики рассказали ему о событиях дня.

«Тогда он сказал им: о, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки».

Иисус объяснял им сказанное о нем в Писании, но только тогда, когда, придя по просьбе учеников в Эммаус, он возлежал с ними и, благословив хлебы, преломил и подал им, только тогда открылись у них глаза и они узнали его, но он стал невидим для них.

Итак, ученики первоначально готовы были пройти мимо воскресшего. Они не поверили мужам в одеждах блистающих, не поверили женщинам, принесшим благую весть, этим первым вестницам воскресшей правды, не поверили самому воскресшему даже, когда он обращался к их разуму и ссылался на Моисея и пророков.

Он шел рядом с ними, сердца их горели, но глаза их были удержаны, и они не узнавали.

Только тело, за них ломимое, и кровь, за них проливаемая, открыли глаза бессмысленных и медленных сердцем... Так было.

Две тысячи лет прошло с тех пор, как родилась эта легенда об учениках, не верившим своим глазам, а люди все те же и так же свершают свой путь в Эммаус.

Воскресение невинно убиенных — матери, слободки и деревень, воскресенье бессмысленных и медлительных сердцем, глаза которых были удержаны, заключалось в постепенном узнавании правды распятой и воскресшей.

2000 лет тому назад ученики не хотели узнать своего воскресшего учителя, то же происходило и с новыми пришельцами во имя новой правды, их не принимали за живых, их искали среди мертвых.

Для матери, для рабочих слободки, для деревень, избивавших своих защитников и друзей, слово «социалисты» было чем-то страшным. Они по-своему понимали его. «Помещики, убившие царя за то, что он освободил крестьян», — вот социалисты.

Еретики, разбойники, крамольники — вот те люди, которые не идут в церковь, выкрашенную под цвет фабрики, и не походят на мертвых.

«Боюсь я их, кто их знает», — вот что говорит «Мать» — невинно убиенная — о запрещенных людях.

Да и могла ли поверить голому слову мать Павла, когда глаза ее были удержаны, когда она ничего не видела, кроме мужа, ничего не ведала, кроме страха, и 20 лет так жила; что было до замужества — не помнит — все было из нее выбито, заколочено, душа наглухо ослеплена и не слышит.

Такою матерью была вся страна, измученная побоями, ослепленная, оглушенная — невинно убиенная.

Вечному страху, убивавшему жизнь, запрещенные люди противопоставили жизнь, убивающую страх, покорности — борьбу, обнаружили лицо свое не на словах, а на деле и тогда окружающие стали узнавать: у них давно горели сердца и только теперь открывались удержанные глаза, глаза разума.

Родная мать Павла, невинно убиенная, которая 40 лет прожила, а жизни не видела, со страхом смотрела на строгое лицо сына, который не пьянствует, не дерется и не живет, как все в слободке и как всегда жили деды и отцы. При одном известии, что к Павлу придут «люди из города», мать завывала, только жизнь сына и работа запрещенных людей постепенно раскрывают перед ней смысл страшных слов и убивают рабью боязнь.

От ожидания побоев и душевной немоты она переходит к ожиданию чего-то важного и служению правде. Из боязливой и молчаливой свидетельницы она становится горячей участницей воскресить жизнь.

И прежде чем она говорит сама слово новой веры, она идет в Эммаус, она действует рядом с сыном и все более совлекает с себя ветхого человека, наследство дедов и отцов.

В тот момент, когда дети штыкам солдат противопоставляют свое знамя и готовы идти на штыки, она становится вместе с ними под знамя.

В тот момент, когда дети противопоставили свою правду правде судей, она увидела, что правда детей непобедима.

Только когда прошли перед ней Николай Иванович, Павел, сотни других со светлыми улыбками на муки за правду, только тогда открылась ее немая душа, открылись ее глаза и она узнала того, кто идет в Эммаус.

«Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы и каждый раз приносил с собой что-нибудь новое и оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерам являлись незнакомые люди,

они озабоченно, вполголоса беседовали с Андреем и поздно ночью, подняв воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожные, бесшумные. В каждом чувствовалось сдержанное возбуждение, казалось, все хотят петь и смеяться, но им было некогда, они всегда торопились. Одни — насмешливые и серьезные, другие — открыто веселые, сверкающие силой юности, третьи — задумчиво-тихие: все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и хотя у каждого было свое лицо — для нее все лица сливались в одно — худое, спокойно-решительное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно взгляд Христа на пути в Эммаус».

Не одна мать узнает в детях вестников правды, идущих в Эммаус.

Старый рабочий Сизов, проработавший 39 лет на фабрике, у которого фабрика сына отняла, постепенно уступает свое влияние на фабрике молодым, они совсем на стариков не похожи, большой у них напор и они победят стариков с их рабской боязнью.

Даже торговка Корсункова, продающая припасы на фабрике, начинала изменяться под напором новой жизни.

От слов «поглядывай за сыном» она приходила к сознанию, что «всех, всех обижают».

И не слово Павла и других разрушает стену недоверия, построенную из сказок о бунтовщиках, безбожниках, крамольниках, а их дело.

Только после упорной борьбы и кровавых жертв невинно убиенные поверили, что слова детей «не пустые».

Только когда Павел, Рыбин и воскресшая мать начинают выступать открыто, тайна нового учения начинает обнаруживаться.

Долго искал правды Рыбин, был и у духовоборов, и только жизнь и дело серого домика Павла помогли ему узнать правду.

После обысков и арестов, когда Рыбин был понятым, он сам пришел к Павлу со словами: «обнаружилось лицо ваше», «все вы обнаружили».

После выступления Павла на фабрике, когда рабочие поднялись, а Павел выступил в защиту их интересов, отстоял болотную копейку и вместе с другими социалистами пошел в тюрьму, Мария Корсункова выражала мнение слободки, говоря: «Павел, может, и не так что-нибудь сказал, но он встал за всех и все это понимают — не беспокойся».

После празднования первого мая на приветствие социалистов, развернувших свое знамя и уже окруженных штыками, разорванным эхом откликается вся рабочая слободка.

Для самых равнодушных и недоверчивых ясно, что «озорники на штыки не полезут».

В деревне разносится весть, что «разбойника поймали» и сейчас приведут. Уже переходила из уст в уста новость о целой шайке, которая хотела церковь ограбить.

На площадь в волость приводят Рыбина. Перед недоверчивой, молчаливой толпой мужиков поднимается во весь рост могучая фигура великомученика.

Он тоже обнаруживает свое лицо.

Это он раскидывает «верные грамоты», это он «за правду смерть готов принять», это он восстал за жизнь крестьянскую.

На глазах толпы происходит истязание. Урядник и становой кулаками хотят смирить бунтовщика и прервать крамольные речи.

Но «кулаком правду не убьют» — на каждый удар привычной власти раздается в ответ в крови омытое слово и падает постепенно повязка с глаз мужиков, их глаза открываются и они начинают узнавать.

На кладбище хоронят социалиста. Полиция избивает людей, которые пришли проводить еще одного затравленного грубой силой.

Сочувствие к «друзькам» умершего растет, обнаруживаются лица запрещенных людей.

На вокзале перед старухой стоит сторож. У нее в руках чемодан. Ей в глаза бросают слово «воровка», ее сейчас арестуют, и толпа людей равнодушно пройдет мимо и ничего не увидят «удержанные глаза».

Но эта старуха — воскресшая мать Павла. Вчера она была в суде и видела тяжбу старой и новой правды.

Она везет листки, в которых отпечатана речь ее сына.

И вот эта мнимая воровка бросает в толпу равнодушных листки, говорит о детях, которые пришли воскресить людей, говорит о своем воскресении, на толчки и побои сторожей, шпиона и жандармов, обливаясь кровью, говорит: «Правду воскресшую не убьют», — и она видит, как люди «разобщенные жизнью, оторванные друг от друга, теперь сливаются в нечто целое».

Не только невинно убиенные, а те, кто уже идет в Эммаус, все глубже проникаются силой правды.

В них новое сердце растет, выпадают из сердца те гвозди, которые забила туда вражеская рука, и все ближе становятся люди друг другу.

Это рождение нового сердца, товарищески любовное отношение друг к другу отмечает художник у Николая Весовщикова, у Сашеньки, у Людмилы, у Павла и даже у Рыбина.

«Люди плохи, — говорит Павел, — но когда я узнал, что на свете есть правда, — люди стали лучше.

В детстве всех боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, а теперь все для меня по другому встали. Жалко всех, что ль».

Этот рост сознания Павла помогает ему понять материнское сердце, полное жалости ко всему. Павел смягчается.

Строгая Людмила, которую мать Павла называет барыней, утром после ночи, проведенной матерью у нее в типографии, открывает ей свое сердце.

«Матери казалось, что Людмила сегодня иная, проще и ближе ей».

Рыбин ненавидит господ и не верит даже «людям из города». «От господ подальше», — говорит этот раб своей ненависти к барству.

Но вот в деревню, за сотню верст после трехдневного путешествия по большей дороге приходит барыня — Софья. Она уже 12 лет работает и борется за правду. Ей 32 года, а волосы уже поседели, и она уже похоронила мужа, замученного в «тяжелой неволе». Ночью при свете костра у шалаша дегтярников раздается ее речь о всемирном бое народов и о лучшей жизни.

Рыбин, весь налитый злобой, Рыбин, который за правду сам готов смерть принять, узнает идущего в Эммаус. Глаза его открываются.

«Уходите вы, — необычно мягким голосом сказал Рыбин. — Хорошо говорите... Большое это дело — породнить людей между собой. Когда вы знаете, что миллионы хотят того же, что и мы... сердце становится добрее, а в доброте — большая сила» (254).

Этот самый Рыбин перед арестом пишет записку матери Павла, пишет, уже почти схваченный за горло:

«Не оставляй дела, мать, без внимания, скажи высокой барыне, чтобы больше писала про наши дела, прошу» (355).

В особенности характерна перемена в Николае Весовщикове. Сын вора Данилы озлоблен на всех.

Он даже товарищей по революционной работе не любит и не верит им. «Люди все друг другу сволочи», — рычит этот чело-

век, похожий немного на отца Павла. Это он утверждает, что «некоторых людей убивать надо», это он мечтает убить Исаю-шпиона, это он становится почти в тягость всем.

Павел, Андрей, убийство кем-то Исаю, «тяжелая работа», которую нашел, наконец, этот человек, не знавший своего места в жизни, — изменяют его совершенно.

Он сердцем чувствует смысл недавно закрытых для него слов, глаза его открываются.

И мать, и товарищи замечают в нем эту перемену.

Сашенька, обыкновенно холодная и сдержанная, приходит к товарищам в тот момент, когда все полны мыслей о смерти Егора, товарища. Сашенька едва сдерживает свой необычный восторг. Суровая девушка, смягченная и радостная, рассказывает товарищам о том хорошем, что глубоко затронуло ее сердце.

«Я всю ночь беседовала с Весовщиковым... Я не любила его раньше, он мне казался грубым и темным, да он и был таким несомненно... В нем жило неподвижное, темное раздражение на всех, он всегда как-то убийственно тяжело ставил себя в центре всего и грубо, озлобленно говорил: я, я. В этом было что-то мещанское, низменное и раздражающее».

«...Теперь он говорит — товарищи! И надо слушать, как он это говорит... С какой-то смущенной, мягкой любовью... Этого не передам словами. Стал удивительно прост и искренен и весь переполнен желанием работы. Он нашел себя, видит свою силу, знает, чего у него нет... Главное — в нем родилось истинно товарищеское чувство... широкое, любовное, улыбающееся навстречу всему тяжелому в жизни».

Если невинно убиенные, если масса воскресали от слова запрещенных людей, слова, омытого в крови, то запрещенные люди, идущие в Эммаус, становятся проще, светлее и мягче, прикасаясь к массе.

Прикасаясь к вековым ее страданиям.

Когда мать развертывала перед Софьей и Николаем Ивановичем серый свиток своих печальных дней, рассказывала им про свои обиды, самый подвиг Софии и других запрещенных людей бледнел перед историей, принимавшей значение символа.

«Все мои несчастья и в десять раз больше — не стоят месяца вашей жизни, Пелагея Нил овна... не стоят! Это ежедневное истязание в продолжение годов... Где люди черпают силу для страданий?»

Мужики, к которым приходят Софья и мать, рассказ Савелия, их жизнь, их лица точно стирают с души Софьи все пережитки иной жизни.

«А я боялась — не понравитесь вы им», — говорит ей мать на возвратном пути из деревни.

Софья, помолчав, ответила тихо и невесело: «С ними становится проще»... И вдруг еще более грустно воскликнула: «А нам всем это так нужно — быть проще... проще!..»

Ее брат, Николай Иванович, как-то окис, заплесневел на книжках и в цифрах. Но вот он от статистического подсчета безлошадных мужиков, от голого слова переходит к самой жизни рабочего человека: он точно преобразился, и мать сразу замечает, что он стал «такой яркий и живой», что он обновился, она чувствует в нем большую радость.

И точно замечая мягкое любопытство матери, Николай Иванович объясняет ей это обновление: «Я, знаете, в эти дни страшно хорошо жил — все время с рабочими, читал, говорил, смотрел... И в душе накопилось такое... удивительно здоровое, чистое...»

Он рад, что его удалили с места. Он может жить среди рабочего народа. «Вы понимаете — буду у колыбели новорожденных мыслей, пред лицом творческой энергии. Это удивительно просто, красиво и страшно возбуждает... делаешься молодым и твердым, свежим и живешь богато!»

Запрещенные люди учат невинно убиенных людей понимать правду, и невинно убиенные учат запрещенных людей верить в людей и любить человека.

Момент, когда «удержанные» глаза и удержанные сердца открываются, когда идущие в Эммаус сливаются с сердцами невинно убиенных в один порыв, в одно чувство, в одно желание — это воскресение, и ему пропел художник свое «Христос воскрес из мертвых».

Эту песнь радости и пробуждения он как бы противопоставил андреевскому «Христос воскресе», прозвучавшему погребальной мелодией в устах толпы над трупом убитого ею революционера «Саввы»².

У М. Горького толпа отрекается от старых богов, от церкви, выкрашенной «под цвет фабрики», вместе с матерью они уходят к «белой легкой церкви, построенной словно из облаков, неизмеримо высокой».

В этой церкви, имя которой — «вся земля», служат в белых ризах запрещенные люди, и «Христос воскресе» сливается с радостной песнью «Вставай, поднимайся»...

У Леонида Андреева толпа идет за чудом монахов в царство страха, голода и молчаливой покорности, в царство смерти с песнью воскресения — страшно и уродливо лицо этой толпы.

У Леонида Андреева толпа полна рабских чувств даже тогда, когда провозглашает свободу, когда казнит Людовика, чтобы венчать Наполеона³. «Так было и так будет», — глухо раздаются слова художника, как удары молотка по крышке заколачиваемого гроба; у Леонида Андреева толпа — это трусливые предатели и холодные убийцы, это те, которые от сегодняшнего «Осанна» переходят к завтрашнему «распни».

У М. Горького толпа совершает крестный путь, толпа сливает свои надежды с подвигом новых людей, идущих в Эммаус, у М. Горького толпа цепи старые свергает и песни новые поет, лицо толпы светлеет и ее черное «так было» уступает место светлой уверенности, что так не будет.

У М. Горького люди черной жизни становятся участниками праздника всех народов и радостной свободы.

Это отношение к толпе и ее грядущим судьбам.

Вместе с радостью слышится еще и характерная нотка в повести т. М. Горького — это нотка материнской нежности, которой проникнута повесть.

Когда-то мы называли музу художника музой мести.

Илья Лунев, Фома Гордеев, Гвоздев-Озорник, Власов, Егор слесарь, сапожник Орлов, писатель, который зазнался, — бросали в лицо обществу упрек, отточенный, как нож, клеймили мещанство, с каким-то наслаждением пили хмельной напиток мести, изливали свое темное раздражение на всех за мрак жизни, за обиды, за пошлость окружающего. Они ненавидели и презирали, их любимое слово, как у Михайлы, Весовщикова или Орлова было: «Эх, вы, сволочи!».

Герою повести «Трое», Илье, «злоба все подсказывала обидные и крепкие, камням подобные слова. Казалось ему, что все эти слова исполнены огнем, освещают тьму внутри его и в то же время показывают ему дорогу в сторону от людей. И он уже говорил свое слово не одной Машице, а и дяде Терентью, Петрухе, купцу Строганову — всем людям... «Так-то вот, — выйдя на двор, думал он, — нечего с вами церемониться... Сволочь!» *

Жестокою мудростью веет от слов бывших людей, злобой дышат они...

Теперь, когда действительно озверение встает кровавым кошмаром и когда «злобою сердце питаться устало», когда босняк обрушивает злобу на детей и женщин, когда пролетарий выдвигает на первый план свою солидарность, — художник создает образ матери с ее хорошим сердцем, чутко открытыми

* Т. V. С. 121.

глазами и желанием. Она, исполненная любви к человеку, встала против зверя.

Повесть М. Горького — это лестница. На последней ступени стоит зверь-Михайло, а на верхней — мать-человек. Мы уже указывали на то, что действующие лица повести смягчаются. Муза мести уступает дорогу матери-любви.

Андрей Находка — этот нежный и чуткий рабочий, готовый для товарищей растоптать собственное сердце, говорит: «Любовь — мать жизни, а не злоба»; Рыбин, весь налитый злобой, смягченный, восклицает: «В доброте — большая сила»; известный в слободе нелюдим Весовщиков проникается весь товарищеским чувством, широким и улыбающимся.

Это товарищеское улыбающееся любовное чувство противопоставляет художник мещанскому, низменному, раздражающему преклонению перед «я», которое ставят в центре всего мира.

Разумеется, эти доброта, любовь, товарищеское чувство не препятствуют борьбе, а ведут к ней, ведут против «врагов», против тех, которые «родили злобу».

Сама «мать» идет против них.

Пелагея Ниловна Власова, мать Павла, является центральной фигурой повести М. Горького и новый образ в нашей литературе.

До сих пор говорили об «отцах и детях», мы были свидетелями их распри в целом ряде десятилетий, дети уходили от старой правды отцов, отцы не хотели признать новой правды детей.

Теперь художник поднял вопрос о матерях и детях и поставил не мать против сына, а рядом с ним.

Мы будем говорить о матери М. Горького не как о символе невинно убиенной страны, которая воскресает на наших глазах, а как о типе, собравшем в себе живые черты живых матерей, родившихся в новой среде и новой действительности.

Вопрос о «матерях и детях» тысячи раз поднимался в нашей литературе, выдвигался он снова и в последние годы, когда дети шли на смерть.

Г. Серафимович в целом ряде рассказов, изданных в 1907 году, рисует нам «матерей и детей». Прочтите его рассказы «Мать», «Случай», «В семье».

Мы видим у этого художника маленькую, тщедушную старушку, малоинтеллигентную женщину («Случай»); видим молодую интеллигентную мать, прогрессистку, с гордым и красивым лицом («В семье»), наконец, «Мать» — родившую сына в тайге, отдавшую мужа народному делу, — и у всех этих матерей одна черта: они любили своих детей больше своей жизни, больше свободы собственных детей, больше свободы миллионов.

«Мать» г. Серафимовича, воспитавшая в сыне гражданина, который в дни свобод идет туда, где «гибнут братья», проклинает себя, считает себя убийцей сына, убежавшего от нее на улицу... умереть за других.

«Ведь есть же в материнстве сила, стоящая вне нашего сознания, вне нашей воли... Есть в нем что-то чудовищно огромное, иначе мы бы не чувствовали бы этого»*, — говорит эта женщина, полуобезумевшая от мысли о смерти сына.

Таковы матери, начиная от Рахили, которая плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет...

М. Горький рисует другую мать, сумевшую победить чудовищно огромное, как победила когда-то София, мать «Веры, Надежды и Любви», как победила еще недавно мать Каляева⁴, как побеждали матери в октябрьские дни, вместе с детьми уходившие на баррикады, — я знал таких матерей!

Я знал мать, выдающуюся деятельницу. Ей около шестидесяти лет. Она участвовала в процессе 193-х⁵. Она и поныне работает и служит тому же делу. Великое горе ее заключается в том, что ее сын не с нею.

Вдова рабочего человека, Пелагея Ниловна Власова, тоже победила в себе «что-то чудовищно огромное», в ее хорошем сердце далекое стало близким, человеческое восторжествовало над материнским. И правда стала общей матерью и для нее, и для сына.

Сперва ей страшно за сына и жалко его. Речь, которую говорит Павел — сын в лицо матери, «мокрое от слез», о ее загубленной жизни и о правде, будит в ней чувства далеко молодости.

В ней пробуждается двойственное чувство: «гордости сыном и страх за его молодость».

Иногда она жалеет сына жадной такой жалостью, но постепенно вся жизнь ее становится иной, в ней растет новое сердце; ей всех жалко, за всех тревожно... Она идет по дороге своего единственного сына, который после смерти мужа стал ее кор-

* См.: Серафимович А. С. Рассказы. Т. II. С. 128.

мильцем и внес свет в черную жизнь. «Лучше мне стало жить и все больше себя я вижу... Всю жизнь молчала, все думала об одном — как бы обойти день стороной, прожить бы его незаметно, чтобы не тронули меня только. А теперь обо всех думаю. Все мне близкие, всех жалко, для всех хорошего хочется».

Она начинает понимать красоту и радость жизни запрещенных людей. «Такую жизнь можно любить, несмотря на ее опасности», — думала она и оглядывалась назад, где темной, узкой полосой тянулось ее прошлое.

Мать не отказывается от сына, она принимает правду детей, она становится им родной по духу, а не только по крови.

Не убивает она в себе «что-то огромное», материнское. Она несет благодать материнства, большого, хорошего сердца, чуткости и нежности в среду запрещенных людей, оторванных от семьи, от отцов и матерей, вносит в их жизнь тепло, которого им недостает, становится их общей матерью.

Для нее сливаются все эти молодые лица в одно лицо Павла.

Андрей Находка — незаконнорожденный, — часто думающий о своей матери, называет Пелагею Ниловну «ненько» и говорит: «Может быть, вы-то и есть моя мать». Наташа, Сашенька, Игнат находят отзвук в ее большом сердце, и мать все больше убеждается, что она «нужна всем этим людям».

Мать, покинутая прежде, два года молча со страхом наблюдавшая за чужим и странным сыном, нашла сына и дала ему мать.

Сам художник подчеркивает несколько раз, что такая мать является новой матерью, непохожей на тысячи матерей.

«Когда человек может назвать свою мать и по духу родной, — это редкое счастье» (140), — говорит матери сын, с необычной теплотой обнимая ее по выходе из тюрьмы.

Николай Иванович и Софья, при всей своей интеллигентности, не могут понять и почувствовать победу человеческого над материнским.

«Вы берете на себя опасный труд... надо подумать», — предупреждает ее Николай Иванович.

— Родной вы мой! — воскликнула она. — О чем думать? Дети — лучшая кровь людей, самые дорогие нам куски сердца, волю и жизнь свою отдают, погибают без жалости к себе... а что же я, мать?

Лицо у Николая побледнело, он тихо проговорил, глядя на нее с ласковым вниманием: «Я, знаете, в первый раз слышу такие слова» (212).

После ареста сына мать приходит к дегтярникам с Софьей. Они приносят газету. Рассказывают об аресте Павла.

Рыбин помолчал, пристально посмотрел в лицо матери, вздрогнул и тихо заговорил:

«— Она, может быть, первая, которая пошла за сыном своею дорогой... Первая» (244).

Уже накануне ареста самой матери, после суда над ее сыном, когда она победила в себе последние остатки боязни и жадной жалости, когда она, не жалея себя, идет усеять землю словами сына и послужить общей матери-правде, Людмила ей говорит: «Вы счастливая! Это великолепно — мать и сын рядом... Это редко!»

Но не одну Пелагею Ниловну, мать из пролетарской среды, рисует художник.

Перед нами проходит целый ряд намеченных художником матерей, как бы дорисовывающих центральную фигуру...

Вот еще мать, отдавшая фабрике сына, той фабрике, которая убивает жизнь, а платит за это ломаным грошом. У этой матери нет даже имени. Она просто в толпе рабочих. Впереди несут знамя. Там ее Митя. «Куда ты?.. пожалей себя», — летят туда, к штыкам солдат материнские крики...

Митенька и все несшие знамя арестованы.

Мать Павла говорит в толпе речь и эхом на эту речь раздаются человеческие слова другой матери из толпы, тоже потерявшей своего сына: «Православные! Митя мой — душа чистая... Что он сделал? Он за товарищами пошел, за любимыми... Верно говорит она — за что детей бросаем? Что нам худого сделали они?»

Образ этой безумной матери только мелькает, и ее слова сливаются с тяжелой речью Сизова-старика, речью, которая, как стон, поднимается над толпой и освещает вопрос о матерях и детях: «Задавило на фабрике сына моего Матвея... Вы знаете. Но если бы жив был он, сам я послал бы его в ряд с ними, с теми...»

Матери, которые отдавали детей фабрике, могут отдать детей правде.

В деревне художник намечает тоже образ матери.

Если Пелагея Ниловна — мать с чутко открытыми глазами и с большим, хорошим сердцем, идет рядом с сыном к общей матери-правде, то Татьяна, жена крестьянина, с горящими зелеными глазами и гневным сердцем готова идти «бунтовать народ», потому что в ее душе живет «мстительная волчья тоска матери о погибших детях».

У нее двое детей было — «один, двухлетний, сварился кипятком, другого не доносила, мертвым родился... Из-за работы этой проклятой».

Смерти детей своих она не может простить ни Богу, ни людям. Она возненавидела этот порядок прежде всего как мать.

Материнское научило ее человеческому и привело ее к верному выводу: «Все как-то зря»... Татьяна «не хочет зря иссохнуть», она толкает на борьбу своего мужа.

Наконец, в повести мы видим и еще одну мать среди «людей из города».

В запрещенной типографии работает Людмила. С нею вместе живет воспитанник, мальчик Сережа. Она всегда сурова и немного надменна и только чуткое сердце матери Павла видит, что Людмила о чем-то тоскует.

Людмила — мать, порвавшая с буржуазной средой, у нее есть кровный сын, и он живет у отца. Ее муж — товарищ прокурора; мальчик с ним. Ему 13 лет. Людмила часто думает, кем он будет? Быть может, отец воспитает его сознательным врагом тех людей, которых она считает лучшими людьми земли, сын вырастет собственным врагом матери.

С ней он не может жить — она живет под чужим именем. Эта мать не видала сына 8 лет.

Эта мать-революционерка говорит матери Павла о своем сыне: «Если бы он был со мной, я была бы сильнее, не имела бы этой раны в сердце, которая всегда болит и даже если бы он умер, мне легче было бы, тогда я знала бы, что он только мертв, но не враг того, что выше чувства матери, всего нужнее и дороже в жизни».

Г. Серафимович, конечно, прав, когда говорит, что материнство — «нечто чудовищно огромное», это нечто роднит мать со всем животным миром. Но человек — не просто животное, а животное общественное, и существует нечто еще более огромное и сильное, чем материнство — это нечто отделяет мать-человека от матери-самки и поднимает ее на высоту Прометея и заставляет общественное ставить выше кровного.

2000 лет тому назад во имя этого «нечто» умирающий сын обратился к своей матери, указывая глазами на Иоанна, со словами: «Жено, се сын Твой», во имя этого «нечто» Учитель сказал своему ученику, указывая на мать свою — «се мати твоя».

Общность страданий, общность стремлений оказалась выше кровного родства, а мать одного становилась матерью всех скорбящих.

Мать М. Горького — не вымысел художника. Запрещенные люди знают таких матерей, и литература намечает их теперь почти одновременно с повестью, разбираемой нами.

Между прочим, сам художник в недавно оконченной драме своей «Отец», рисующей разложение семьи в доме полицеймейстера, на которого было покушение, наряду с матерью Софьей и ее тремя дочерьми Верой, Надеждой и Любовью выводит на сцену мать революционера Соколову, у которой не расходятся слово и дело и которая признает свою солидарность с сыном.

Но не только М. Горький создает образ новой матери. Намеки на такую мать встречаются в драме Айзмана «Терновый куст», появившейся после первых глав «Матери», и в другом произведении, появившемся еще ранее.

Мы говорим о повести Ан-ского «В новом русле», напечатанном в еврейском сборнике «Новые веянья».

Вдумчивый, добросовестный наблюдатель-беллетрист, прекрасно знающий еврейскую жизнь, намечает в своей повести тоже мать — старую еврейку Эстер, вдову сапожника. У этой матери много черт, сближающих ее с матерью М. Горького.

Не забывайте, что в еврейской среде страшно крепко семейное начало, там семья гораздо сплоченнее, чем у нас, там вековые гонения и жизнь гетто сковали в одно матерей и детей.

Но там же еще сильнее и самоотверженнее борьба детей против гнета старого порядка.

У Эстер две дочери, работающие на фабрике, уходят на борьбу. «Какая польза, что они честные, трудолюбивые, тихие, когда они... не мои?», — говорит иногда о них мать.

Дети за ней, за ее идеалами, за ее старыми книгами не пошли.

Работница-мать и работницы-дочери растут в одних условиях. Мать видит новые лица и новые факты, и капля за каплей падают эти факты на камень отживших мыслей и чувств, эти капли точат камень.

Мать уже совсем как сознательная работница, она уже поговаривает, что тоже «вступит в организацию», говорит она это полушутя, но услуги организации она оказывает серьезно.

Мало того, в последних страницах повести эта мать вспоминает и свою жизнь, и прошлое слободки с робкими, согбенными, приниженными отцами, матерями, и не узнает слободки.

«Слободка — изболевшая и истерзанная — признала над собой власть детей, стала гордиться ими, стала повторять их речи, радоваться их радостям, отчаиваться их горем. Постепен-

но она начала проникаться и глубокой верой в великое будущее»...

Эстер вспомнила дочь, вспомнила, как она все свои силы, всю жизнь отдает великому делу борьбы за бедных и обездоленных. И сердце ее преисполнилось материнскою гордостью и счастьем. И от Боси это чувство перешло на ее товарищей, на всех, кто борется за правду и справедливость, не останавливаясь перед самыми страшными жертвами... Эстер почувствовала, что в ее старой, истомленной душе давно затеплилась великая вера, которую исповедует вместе с ее Босей вся новая молодежь, вера в лучшее будущее, светлое, — свободное и справедливое».

Мать-еврейка и мать-русская — обе из пролетарской среды, обе говорят одним языком, обе прежде отцов признают правду детей. Это верно подмечено и вполне вытекает из условий пролетарской жизни.

Разве Пелагея не испытывает гнет, как женщина, от кормильца-мужа и разве та же Пелагея Ниловна не видит борца против гнета в кормильце-сыне?

Но этого мало: пролетарская женщина, жена и мать, менее всякой другой чувствует цепи семьи. Эстер и Пелагея по целым дням не видят детей, работающих на фабрике, Михаиле при жизни показывался домой в будни из фабрики, а в праздник — из кабака только для того, чтобы обрушиться с побоями на жену.

Новая связь — товарищеская, человеческая — назревает в пролетарской среде.

Женщина-работница становится рядом с мужчиной-рабочим.

Пролетарская борьба, собирающая в свою «белую, точно из облаков, церковь» десятки миллионов социалистов белой, желтой и черной рас, социалистов всех стран, «вся языцы», зовет в великую армию и женщину-мать, женщину-жену, из приплюснутого серого дома на вольный простор многомиллионные семьи.

Мы нарочно ставим на очную ставку образ беллетриста-наблюдателя и образ художника — «фанатика».

Эстер, с религиозным восторгом благословляющая дело детей, и Пелагея Ниловна, идущая рядом с сыном, одинаково хотят новой и светлой жизни, одинаково считают дело детей делом «божьим» и одинаково перестали видеть в нем грех.

Это значит, что новой и светлой жизни хотели не одинокие мечтатели, а хочет сама действительность, и сама действительность начинает венчать то, что еще недавно клеймила.

Не художник выдумал «Мать», идущую в Эммаус, а действительность, новые условия жизни ее создают.

«Мать» Серафимовича недаром лежит на одре болезни — она умрет. Она — последняя. Воскресшая мать М. Горького будет жить. Она — первая, но не единственная. За ней придут другие... Придут любящие и гневные, сольют материнское с человеческим, свои слезы с кровью детей, свой подвиг с их жизнью.

Они первые узнают о воскресении и с чутко открытыми глазами пойдут в Эммаус.

Пора, однако, от Христа, идущего в Эммаус, от картины, висевшей на стене серого домика Власовых, перейти к картине жизни, открывавшейся за стенами этого домика, от легенды, родившейся 2000 лет тому назад, перейти к действительности.

Художник пропел гимн воскресению, он возвестил о пробуждении города, слободки и деревень, он нарисовал образы воскресших, но главного он не сделал — не показал необходимости этого воскресения.

Мы видим, как в повести торжествует сила правды, торжествует слово, омытое в крови, и мы спрашиваем художника: разве в прежние десятилетия в России было мало идущих в Эммаус? Декабристы, петрашевцы, просветители, народники, народовольцы — проходили обреченные на смерть и разве их слово не омылось в крови? Разве тогда не истязали, не распинали? Отчего же тогда невинно убиенные не узнали их? Отчего тогда глаза не открылись? Значит, силе правды «на земле не все доступно?» Значит, было что-то такое, что удерживало глаза, было что-то еще более сильное, чем слово, омытое в крови? Значит, для торжества правды необходимы определенные условия? Необходимо определенное соотношение сил, а не голая сила правды?

А если это действительно так, художник-реалист должен был показать эти условия.

Утописты и романтики верили в силу правды и мечтали навевать «человечеству сон золотой», в их мечтах социализм превращался в сказку будущего, а угнетенный — в человека вообще.

Действительность разбила и веру, и сказку, она сказала, что миг желанья еще далеко не миг осуществления. Но та же действительность создала условия для уверенности в том, что ста-

рая общественно-политическая форма погибнет, что в недрах ее зреют силы, которые неизбежно сметут все отжившее, все ставшее злом и неправдой, все, что задерживает развитие декретами и заклинаниями.

М. Горький точно забывает об этом. Он никак не может поврать со стариной, с золотыми снами, с верой только в силу правды, с культом героев и человека вообще, с преклонением перед «огнем разума».

В этом заключаются недостатки его повести, превращающие соц<иал>-демократическое знамя ее героев в тенденцию, а не в художественный образ; в этом беда художника, а не в том, что он стал соц<иал>-демократом.

Художник уверовал в соц<иал>-демократию, и знамя соц<и-ал>-демократии развернуто в повести, но под этим знаменем гордо шествует «все выше, все вперед» все тот же «человек» вообще, которого художник воспел несколько лет тому назад в гимне «Человеку».

Прислушайтесь к речам его «героев», признавших соц<и-ал>-демократию своею «духовною родиною». В этих речах — да и во всей повести — художник ни разу не произносит слова «интеллигенция», но это только конспиративный прием своего рода. Культ мысли, «интеллекта», культ одного или кучки чувствуется на каждой странице.

А за диалогами и монологами действующих соц<иал>-демократов, рабочих и людей из города мы слышим и голос и речь самого автора, а не те пламенные споры «об экономике и политике», которые в изображаемое им время вели члены каждого тайного сообщества, бесчисленных кружков.

Вот вам слова Андрея Находки, одного из самых сознательных рабочих, дважды привлекавшегося и даже в тюрьме ведущего соц<иал>-демократическую пропаганду.

«...растет новое сердце, ненько моя милая, новое сердце в жизни растет. Все сердца разбиты различием интересов, все обглоданы слепой жадностью, покусаны завистью, избиты и сочатся гноем... ложью, трусостью... Все люди больные, жить боятся, ходят как в тумане... Каждый знает только, как зуб его болит. Но вот идет человек, освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет: эй, вы, тараканы заблудшие! Пора уже понять вам, что у всех один интерес, всем жить надо, все расти хотят! Один он, этот человек зовущий, и потому кричит громко, ему друзей надо, ему одному-то пусто и холодно! И по зову его все сердца здоровыми своими кусками слагаются в одно огромное сердце, сильное, глубокое, чуткое, как серебряный колокол...

которого еще не было отлито! Вот он благовестит нам, этот колокол — соединяйтесь, люди всех стран в одну семью! Любовь — мать жизни, а не злоба!.. Я, братья мои, слышу этот звон в мире!»

«— Я тоже!» — громко сказал Павел.

Кто это говорит? Социал-демократ, просто рабочий или человек вообще о «людях всех стран» вообще?

Это говорит Андрей Находка, и вторит ему всегда прямой и твердый Павел, не забывают — тот самый Павел, которым первым поднял знамя социал-демократии в слободке.

Все люди больные и один человек, по зову которого все сердца здоровыми кусками слагаются, — не слишком ли простое разрешение вопроса?

И разве Фурье⁶ уже не был этим одним человеком зовущим? И разве не обращался он ко всем сердцам?

Мы думаем, что такие речи, которые произносит Андрей Находка и другие социал-демократы в повести, мог говорить тридцать лет тому назад любой лаврист⁷, веровавший в чудотворную силу критически мыслящей личности, любой народо-волец, сводивший борьбу к титанической работе героев-заговорщиков.

Немногие за многих, и даже один за всех — такие речи говорили давно в былые времена, когда солисты пели, а хор молчал. Но с тех пор оркестр настроился и центр тяжести перенесен в массы. Страстной верой в силу масс, которым принадлежит будущее, отличались социал-демократы от народо-вольцев и лавристов.

У гр. Л. Толстого в его романе «Воскресенье», действие которого относится к 80-м годам, политические, уже изъятые из обращения, ведут на одном из этапов в высшей степени характерный и важный для нас разговор о народе и его борцах.

Вот отрывок из этого разговора идеалиста Крыльцова и реалиста Новодворова:

«— Да, — сказал Крыльцов вдруг, — меня часто занимает мысль... что вот мы идем вместе, рядом с ними — с кем с ними? С теми самыми людьми, за которых мы и идем. А между тем мы не только не знаем, но и не хотим знать их. А они, хуже этого, ненавидят нас и считают своими врагами. Вот это ужасно».

— Ничего нет ужасного, — сказал Новодворов, прислушавшийся к разговору. — Массы всегда грубы и неразвиты».

Что значит для Новодворова не фантазировать, а делать свое дело?

По его словам, это «делать все для масс народа, а не ждать ничего от них; массы составляют объект вашей деятельности, но не могут быть нашими сотрудниками до тех пор, пока они инертны, как теперь... И потому совершенно иллюзорно ожидать от них помощи до тех пор, пока не произошел процесс развития, к которому мы подготовляем их».

Ф. М. Достоевский писал своих «Бесов» и вел свой дневник почти накануне первого марта, а Л. Н. Толстой свое воспоминание в 1899 году — почти накануне исторических событий, оба они свидетельствовали об оторванности революционеров-народников от народа-богоносца, оба они указывали на бездну, которая легла между человеческим революционеров и божеским народом, оба представляли революционеров насильниками народной свободы.

Но разве история не уничтожила эту бездну и разве мы не видели воочию великую связь там, где художники-восемидесятники провозглашали оторванность и беспочвенность?

Не «все сердца», но пролетарские массы выступили на первый план в девяностые годы, и выступили не в качестве объекта, а как творческая личность.

«Один зовущий» был разжалован из полководцев в простые рядовые, и с какой радостью социал-демократическая молодежь становилась в первые ряды активной пролетарской массы!

Этой массы, массы субъекта, мы почти не замечаем, не только в бесконечных диалогах членов кружка Павла, но и в самой жизни слободки и города.

Вы помните конец легенды о Данко — красивом и сильном, который разорвал руками себе грудь, вырвал сердце и с этим факелом великой любви вывел усталых, трусливых и злых людей на ширь степи из гнилой пасти болота?

Художник глядел на старуху Изергиль, рассказывавшую ему легенду о Данко, и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти? И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд, о старине и о несчастном времени, бедном сильными людьми и крупными событиями, богатом холодным недоверием, смеющимся надо всем — жалком времени мизерных людей с мертворожденными сердцами».

Это писалось в 1895 году, а в то время художник говорил о девяностых годах, как «о позорных, бездушных и бессильных» *.

* «Варенька Олесева». Т. II. С. 309.

Тогда мизерным людям с мертворожденным сердцем художник противопоставил красивых и сильных с пылающим сердцем, тогда он от бездушных и бессильных девяностых годов уходил в область старины и легенды.

Но ведь с тех пор прошло 12 лет; старуха-история сумела рассказать такую быль, перед которой побледнели легенды старухи Изергиль, мы пережили время сильных людей, непохожих вовсе на Данко, и время крупных событий. «Процесс развития» выдвинул новые силы, он создал новое настроение, когда от масс ждали всего великого... Этого процесса развития, этих сил, этого настроения, мы повторяем, нет в повести М. Горького.

Историческую быль у художника заслоняет легенда о людях, похожих на Данко, — недаром этих людей охватывало «необоримое желание» отдать себя силе своей веры, бросить людям свое сердце, «зажженное огнем мечты о правде» *.

Не творчество масс диктовало огненные письма художнику, а фантазия старухи Изергиль однажды вечером под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу нашептала ему свои легенды.

Приглядимся, однако, ближе к тому периоду в жизни российской социал-демократии, который изобразил художник в своей повести.

Во второй половине девяностых годов марксисты приносили с собой в серые домики рабочих «Подпольную Россию», «Андрея Кожухова», Степняка-Кравчинского. По этим книгам Наташи и Сашеньки учились конспирации, вдохновлялись к работе, знакомили «Кружок», «Арбейтеров» или «Увриеров» с титанической борьбой народовольцев.

В своих рассказах Наташи и Сашеньки всегда указывали на молчание народа в семидесятые годы, на оторванность от рабочего класса, как на причины, обусловившие единоборство.

Наташи и Сашеньки себя и свое поколение противопоставляли поколению героического периода и, быть может, их героизм заключался в отсутствии героизма в повседневной работе.

Шли годы.

Уже сотни были «изъяты из обращения», и под знаком «великой петербургской стачки» тысячи новых готовились к работе и жаждали вступить в организацию. Сашеньки и Наташи с величайшим напряжением всматривались в огромное черное лицо масс, и это лицо уже намечалось все резче и резче, заслоняя единичных работников.

* «Мать». С. 75.

Уже намечались общие черты новой Подпольной России, хотелось, чтобы художник пришел и закрепил новые образы и возвестил конец бездорожья.

В. В. Вересаев написал во второй половине девяностых годов «Конец Андрея Ивановича», повесть «Без дороги», «Поветрие», «На повороте», он дал фигуры рабочего Андрея Ивановича, доктора Чекалова, Наташи и Тани, и в этих простых, вдумчивых, выдержанных идейно повестях художник наметил этапы революционной мысли и приветствовал появление нового властелина дум.

Но мы, читатели этих повестей, читали между строк гораздо больше того, чем говорил сам автор. Мы дополняли творчество художника своими тогдашними переживаниями, мы говорили с художниками условленными знаками, мы не столько прочли в повестях, сколько «доглядели», как мужик Степан у Горького.

Скрытое и тайное было ясно только для тех, кто работал. Для широкой публики намеки и едва уловимые замечания художника, его «тайный знак» пропадали.

Мало того, «массы» — ожившей и уже выступающей — в этих повестях не было.

Читатели видели сборы в дорогу, замечали подъем настроения, переходивший в какой-то восторг, слышали в этих повестях идейно выдержанные споры народников-инвалидов и марксистов, нашедших «точку», художник отмечал добросовестно борьбу идеологий, размежевание интеллигенции, новые методы борьбы, новые пароли и лозунги, но художник от споров о крестьянстве и пролетариате не вел нас в лабораторию, где кипела работа, художник не мог воспроизвести этой подпольной работы и фигуры участников тайного сообщества не только потому, что легальная печать пасовала перед нелегальным материалом, но прежде всего и больше всего потому, что теперь уже пройденный период тогда еще не кристаллизовался.

Читатели по отношению к образам художника оказывались в положении отца Веры — героини «Молчания» — или родных Николая из другого рассказа Леонида Андреева — «В темную даль».

На проклятые вопросы близких людей, где они были и что делали, Вера и Николай отвечали «молчанием» и уходили «в темную даль».

Счастливая задача — прервать это молчание, осветить темную даль и рассказать о первых шагах нового поколения выпала на долю М. Горького.

Художник не стал рисовать грандиозную картину девятого января, октябрьских дней, декабрьского восстания, когда вместо сознательных рабочих, передового слоя, выступили широкие массы, когда конспирацию и тайные сообщества заменили революция и уличная борьба.

За эти темы брались десятки поэтов и беллетристов, брались с пылом и с жаром, но не создали ничего достойного великих исторических дат. В бесконечных стихотворениях, рассказах и повестях нам зачастую слышались не бури проснувшейся стихии, а гнусный голос прокаженных, тех самых прокаженных, которые бились головами о «Стену» Леонида Андреева, кричали «убейте нас», и никто не хотел их убить и не хотел их слушать.

Не прокаженные, не пришельцы со стороны, не сердцем хладные скопцы, а сам народ, сам пролетариат, уже создавший «политическую частушку» в своем коллективном творчестве, расскажет в песнях и легендах когда-нибудь об этом бурном, кровавом времени, да, может быть, гениальный художник через много лет напишет великое о великом.

М. Горький остановился на пороге 1905 исторического года и оглянулся назад на пройденный путь.

Он взял период, уже отошедший в область истории, он изобразил социал-демократическое подполье конца девяностых и начала девятисотых годов. Исторический голос явился превосходным реактивом для предшествующего периода конспирации и кружков.

Долгая, напряженная, кротовая работа вскрылась в исторические дни, фигуры запрещенных людей, приходивших прежде, вечером, во тьме, теперь, на фоне исторических событий, при свете дня и пламени борьбы резко обозначились. Запрещенный человек вышел из подполья, открыто стал на горе, и новый период его дорисовал, бросил свои последние штрихи на строгое лицо революционера-конспиратора, принесшего с собой специфический запах подполья и кружковщины.

Этот новый период поставил запрещенного человека лицом к лицу с миллионами, в выступлении миллионов сказался огромный рост масс за девяностые годы.

То, что было настоящим при появлении повестей В. Вересаева, то стало былым теперь; когда М. Горький писал свою повесть, стало былым, но не стариной.

Жизнь одного тайного сообщества в конце девяностых и в начале девятисотых годов в огромном большинстве случаев была жизнью сотни таких же тайных сообществ, жизнь рабо-

чих слободок находилась в зависимости от промышленного оживления или кризиса, и тысячи рабочих слободок жили в однообразных условиях, переживали то эру стачкизма на почве «повседневных нужд», то эру политических демонстраций.

Напомним действительную повесть одной из таких слободок.

В «Путевых впечатлениях и думах» В. Поссе намечается вкратце жизнь Сормова с его 45 000 жителей и 16 000 рабочих.

Там мы читаем, что в первые годы текущего столетия «с периодом наибольшей заводской продуктивности совпадает период необычайного роста рабочих, а вместе повышается их умственный и нравственный уровень», что в 80-х годах шло сплошное пьянство, а затем постепенно пьянство стало вытесняться охотой, рыбной ловлей, спектаклями и музыкой, хлынула книга, а вместе с ней поднялся интерес к общественной жизни, многие учились читать на политико-экономических брошюрах, в результате — пьянство, по свидетельству тех же рабочих, сократилось в десять лет чуть ли не в десять раз, росла сплоченность рабочих, росла их сила; стачками, а чаще всего угрозами стачек они завоевали у заводской администрации много существенных уступок. Затем рассказывается о выставлении рабочими политических требований наряду с экономическими.

Несомненно, жизнь большого села Сормова, от которого жил художник в семи верстах, проводивший в Нижнем блыпую часть времени, жизнь Сормова с забастовками экономическими, маевкой 1902 года, процессами Заломова и других рабочих не могли не отразиться на жизни «рабочей слободки», изображенной художником. А жизнь Сормова и Нижнего не была оторвана от тех событий, которые переживал за тот же период весь пролетариат России и партия, выступившая на защиту его интересов.

Прошлые слободки художник очерчивает в мрачных красках широкими мазками.

В своих прежних произведениях «Фома Гордеев», «Трое» М. Горький предпосылал исканиям своих героев могучие фигуры их дедов и отцов, в которых олицетворялась прошлая жизнь и уже чувствовался намек на что-то новое. Вспомним «волжского» разбойника Игната, богача судовладельца, отца Фомы, этого представителя первоначального накопления, который иногда напивался и каялся, с отвращением смотря на свою жизнь; вспомните деда Ильи из повести «Трое», богатого крестьянина Антипу, ушедшего спастись в дремучие леса, отца

того же Ильи — Якова, сосланного за бурную жизнь односельчанами на каторгу.

В своей повести «Мать» художник прибегает к тому же приему: он пишет образ угрюмого слесаря Михайлы, точно увертюру к пришествию правды туда, где царило сплошное пьянство и озверение.

В Михайле уже чувствуется намек на нелюдима Весовщикова и сурового Рыбина с его нетерпеливой злобой.

Михаиле — это тяжелое, беспросветное прошлое слободки и уже назревающий, но неоформленный протест людей черной жизни против неправды. Эта неправда заключалась в том, что Михайле проработал на фабрике 30 лет, при нем она из двух корпусов выросла в целых семь; он видел, как «фабрики растут, а люди умирают в работе на них», и сам он должен был умереть от грыжи в те минуты, когда гудок на работу звал.

В чем же проявляется недовольство Михайлы?

С начальством он груб всегда и за это ему не увеличивают платы, хоть он и лучший рабочий. По праздникам он напивается и кого-нибудь избивает. Говорил он мало и «сволочь» — его любимое слово. «На боках жены он вымещал свое горе, горе своей жизни... Оно давило его, а он не понимал, откуда оно... Бил он жену так, точно не ее бьет, а всех, на кого зло имеет».

Рядом с этим озлобленным человеком на всех и на все, человеком, который не помер, а издох, походившем на зверя, жила в тревожном ожидании побоев его молчаливая жена.

Таково прошлое слободки.

Казалось, в этом прошлом не было надежды на иную жизнь.

Иногда приходили в слободку откуда-то посторонние люди, говорили что-то чужое, неслыханное, с ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. У одних эти речи вызвали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.

После смерти Михайлы проходит всего два года, и мы не узнаем слободки. На фабрике «нехорошо говорят» о начальстве, зачитываются листками, поднимаются за болотную копейку, празднуют 1-е мая, убивают шпиона Исаю. Недовольство охватывает всю массу и, по словам этого самого Исаю, — «тут не полоть, а пахать надобно».

Нам могут сказать, что все это — результат пропаганды и агитации Павла и его кружка?

Но тогда сам Павел откуда явился? После смерти Михайлы Павлу было всего 16 лет, мы видели, как после попытки напиться через 2 недели и подебоширить Павел бросает обычное развлечение молодежи, бросает торную дорогу и начинает искать правды.

Мы видели, как он ездит по праздникам в город, читает запрещенные книги, но каким образом мертвая слободка его на это натолкнула, — на такой вопрос художник ответа не дает.

От зверя Михайлы до Павла-Данко — огромное расстояние. Михайлу породила слободка, что же создало Павла? Похоже на то, будто сам Павел вытащил себя за волосы из болота, да и самое болото превратил в цветущий луг.

Такое превращение похоже на сказку.

Интересно, что до Павла и кружка его искры сознания, залетавшие в слободку, гасли тотчас или уносились дальше, будя лишь раздражение, Павел и его кружок были теми же искрами, но они родили пожар.

Художник подчеркивает, что Павел, сын Михайлы, проработавшего на фабрике 30 лет, Федя Мазин — племянник влиятельного рабочего Сизова, проработавшего 39 лет — не посторонние люди, а свои, дети этой самой слободки, ее фабричные трубы выбросили эти искры, а если это так, значит, сами они явились в результате начинавшегося воскресения.

Получается заколдованный круг. Со времени воскресения слободки появлялись «здешние» борцы за массу и ее интересы, со времени появления кружка воскресает слободка.

Несомненно, в самой слободке изменились условия, которые внесли оживление в жизнь рабочих, и создали почву, восприимчивую к «неслыханным» и «странным» речам и толкнувшие от сплошного пьянства кабака и болота слободки к огням города.

Культурничество восьмидесятых годов и начала девяностых, оживление промышленности, великая петербургская стачка и наступившая эра стачек по всей России — эти факты огромной исторической важности не могли пройти бесследно для людей черной жизни. Они привели к тому, что дети рабочих жили уже жизнью иной, чем отцы и деды. Об этой иной жизни слободки мы ничего не читаем в повести.

«Люди из города» появляются в слободке точно «варяги из-за моря», призванные Павлом, от них же «пошла есть» история слободки и деревень.

В жизни тайного сообщества художник подмечает много типичных черт, иногда чисто внешних; в описании жизни всей

слободки, отрезанной от серого домика Павла, мало наблюдений, мало материала, то же — даже еще в большей степени — приходится сказать о деревнях и городе.

Все, что узнаем мы о жизни масс, — это отрывочные, случайно оброненные замечания торговли Корсунковой в рабочей слободке, лепет девочки-подростка в деревне, рассказ батрака, чахоточного Савелия, среди дегтярников, батраков, беседа матери с извозчиком в городе.

Каждый из них является обычно на ролях каких-то вестников или герольдов. Их служебная роль слишком бросается в глаза, что не мешает художнику прибегать к одному и тому же приему не один раз.

Осведомительное бюро из торговли, извозчика, девочки-подростка своими вестями из города, слободки и деревень дают слишком мало характерных черт для знакомства с огромным черным лицом толпы.

История тайного сообщества переплетается с жизнью и пробуждением матери, само освещение фактов проходит сквозь призму ее понимания, такой прием, разумеется, связывает художника и все время мешает ему в работе. Большой период в 4—5 лет в истории слободки художник принужден был сжать в один год, самая история излагается скачками и обрывается в полуслове.

Сперва шестнадцатилетний Павел готовится ездить в город, хотя к нему не ходит никто. Павел «учится, чтобы учить».

После двух лет этой подготовки домик Павла становится конспиративной квартирой.

Там собирается кружок рабочих, туда поздно вечером приходит из города пропагандистка и пропагандисты.

Иногда пропагандистка Наташа читала «большую книгу в желтой обложке с картинками» о том, как жили люди* (в этой книге нетрудно узнать «Историю культуры» Липперта⁸). Потом Наташа говорила, «понижив голос», от себя, иногда вспыхивал оживленный спор, читали в газетах о рабочем народе, за границе, поговаривали и о своей газете.

Одиноким кружок на краю болота и тысячи приплюснутых сырых домов, не ведавших, откуда горе, — такой первый этап в развитии тайного общества, начавшего свою деятельность с пропаганды, с чтения брошюр и книг о том, как жили люди, кто чем живет, что будет «через сто лет» и т. д.

* Такая сценка изображена на обертке американского издания. Ноябрь, 1907 (III).

Каким-то безотрадным символом этой работы является та картина, которая часто вставала в воображении матери Павла — свидетельницы субботних собраний.

«Плоская снежная равнина. Холодно и тонко посвистывая, мечется в ней ветер, белый и косматый. Посреди равнины одиноко идет темная фигура девушки... Трудно идти. Маленькие ноги вязнут в снегу. Холодно и боязно. Девушка наклонилась вперед и — точно былинка среди мертвой равнины в резвой игре осеннего ветра. Справа ее на болоте темной стеной стоит лес, там дрожат и уныло шумят тонкие голые березы и осины, где-то впереди тускло мелькают огни города».

Былинка среди мертвой равнины — вот пропагандистка рабочей слободки.

Следующий этап — это письменная агитация, которую все шире начинают вести кружок сознательных рабочих и «люди из города». Художник ни разу не произносит слова «организация».

Ко времени первого обыска у Павла, по точному подсчету Рыбина, 19 было листов, а к концу зимы, по свидетельству Рыбина, собиравшего все листки, набралось 34.

О чем же говорят эти листки, пока еще написанные «синими чернилами»?

«В этих листках, — читаем мы в повести, — зло и метко писали о порядках на фабрике, о стачках в Петербурге и в южной России, рабочие призывались к объединению и борьбе за свои интересы».

Вы видите — письменная агитация ведется еще на почве повседневных нужд и не выходит за предел улучшения экономического положения рабочих.

Первое выступление рабочих происходит также на экономической почве, на почве уже «сознанных интересов».

«Болотная копейка», которую отстаивает фабрика, — это название целого периода «стачкизма», когда велась борьба за нужды мастерской, за повышение расценок, за кипяток.

Переход от письменной к устной агитации у художника является неожиданным для самого кружка. Кружок, уже выпустивший 19 листов, даже и не знает, что творится на фабрике. Художник усиленно подчеркивает, что фабрика поднялась сама. А если это было действительно так, то равнина, по которой одиноко шла Наташа, вовсе не была так мертва, как воображала мать Павла.

Самое известие о решении директора высчитать у рабочих процент на осушение болота в интересах фабрики, приносят к

Павлу на дом в субботу, так как Павел по болезни не был на фабрике.

Этого мало. Приносят известие не члены кружка (не весь же кружок заболел), а влиятельные рабочие.

Этим самым художник подчеркивает оторванность серого домика Павла от массы, которая жила своей жизнью и к этой жизни старики Сизов и Махотин были ближе, чем члены тайного сообщества.

Павел не только объяснил старикам, «есть ли такой закон, чтобы директору копеейкой рабочих с комарами воевать», — он пошел дальше влиятельных рабочих, он вмешался в этот конфликт и послал мать в город с запиской о происшедшем для сообщения в подпольной газете.

Впрочем, в понедельник Павел опять не пошел на работу (у него болела голова) и за ним прибежал Федя Мазин.

Итак, фабрика поднялась без призыва организации, за Павлом послали.

На груде старого железа и на фоне старого кирпича, там, где стояли влиятельные рабочие, появился и социалист Власов, оттуда раздался его возглас: «Товарищи!» и оттуда призывал Павел рабочих «бороться за свои права».

Влиятельные рабочие с уважением приветствовали в Павле новую молодую силу, пришедшую на смену старикам, привыкшим гнуть спину.

Толпа рабочих еще не обнаруживает выдержки, она смущается перед директором и боится его, как мужики боятся станového в той же повести. Когда ночью происходят аресты рабочих (около 50) и вместе с другими сознательными уводят Павла, за которым сами рабочие послали и выбрали депутатом для переговоров, фабрика молчит и не поддерживает арестованных.

Вообще толпа очерчивается слишком инертной, робкой и темной и как-то не хочется верить, что именно этой самой толпе, а не кружку Павла принадлежала инициатива борьбы.

Вскоре после столкновения из-за болотной копейки начинается новый период в агитации тайного сообщества.

Как это произошло, мы и не знаем. Мы просто видим, что по выходе арестованных рабочих, вожаки начинают готовиться к маевке, да не простой маевке, представлявшей собрание в сто человек сознательных где-либо в лесу или в овраге, а к открытому празднованию первого мая.

Этот переход к политической агитации и к демонстрации совершается в повести слишком быстро, вдруг, за каких-нибудь несколько месяцев работы. Каждую ночь появляются на

заборах листки, призывающие к борьбе «за изменение существующего строя».

Мы ничего не знаем, как относились члены кружка к этому переходу огромной важности от «болотной копейки» к политической демонстрации.

Страстные споры сторонников рабочей мысли или «экономистов»⁹, мыслителей с политиками по поводу революционного дела и революционной фразы, по поводу стадий в сознании масс, споры о сознанных интересах рабочей массы и требованиях рабочих революционеров — все это как-то минует кружок Павла.

Правда, Нижний и Сормово менее других городов и промышленных центров втягивались в эти споры, но ведь художник рисует типичное тайное общество, типичный кружок и не может обойти без внимания целый период в его истории.

Как же относится масса к новым призывам? Рабочие всей слободки, еще недавно не захотевшие стачки из-за болотной копейки, не поддержавшие товарищей, теперь, через несколько месяцев, первого мая, бросают к обеду работу и толпой в несколько тысяч идут за знаменем социал-демократов навстречу песне «Отречемся от старого мира».

Рабочие «пошли открыто». В этом выступлении руководство принадлежит Павлу, он первый начал искать правду и учиться, он первый начал учить, первый же свое слово подкрепил делом и открыто поднял знамя социал-демократов в этот день первого мая.

Интересно, что «людей из города», пришедших темным вечером в слободку, мы не видим, теперь, в светлый день рабочего праздника, в день выступления массы.

Исторически это, может быть, и верно, демонстрация в Нижнем в тот же день действительно отвлекла интеллигенцию в город, но в художественном произведении такое отсутствие «людей из города» как раз теперь, в трудную минуту, — вызывает неприятные чувства.

Удастся ли нам во время этой демонстрации ближе заглянуть в огромное черное лицо толпы?

Нет, не удастся! О рабочей массе мы узнаем меньше, чем о солдатах, которых рисует художник, как серую стену «однообразных людей без лиц».

Вместо огромного черного лица толпы, мы видим восторженное лицо художника, который нам рассказывает, что в спокойном пламени революционной песни «плавился темный шлак пережитого, тяжелый ком привычных чувств и стгорала проявляемая боязнь нового».

Как-то не вяжется с восторженным тоном художника эта драма, которая разыгрывается на наших глазах. Не демонстрация силы, а демонстрация слабости — вот имя этой драмы.

При малейшем намеке на столкновение с войском толпа в несколько тысяч разом отделяется от горсти сознательных и активных рабочих в несколько десятков человек. Одни — немногие — борются за всех, а все смотрят и скулят по этому поводу, как посторонние, как чужие. Так и было действительно во время первых демонстраций, бывало даже хуже: толпа жила своей жизнью, разбивалась и бывали случаи, когда часть толпы даже проявляла активность, но шла не за теми, кто нес знамя, а за темными элементами слободки, громить лавки...

С маевкой и арестом активных рабочих над слободкой опускается занавес. Павел и его кружок исчезают за стенами тюрьмы и только во второй части они как-то механически приставлены к первой; через 29 страниц художник еще раз показывает их всех на суде.

Если до сих пор в первой части исторически на первом плане была жизнь «серого домика» Власовых, зарождение и рост кружка, то теперь, во второй догматически, если можно так выразиться, проходят перед нами характеристики разных слоев современного общества — батраки, крестьяне, интеллигенция.

Какими-то разорванными клочками, случайно связанными, благодаря странствованию матери, является жизнь дегтярников-батраков с Рыбиным во главе, мужика Степана, будущего деятеля деревни, интеллигента Николая Ивановича, зеленый домик которого на краю города играл роль центра во второй части повести.

Шалаш батраков и плоская изба крестьянина гораздо менее дают нам материала, чем серый дом Власовых.

Связь с батраками и с деревней завязывается у организации совершенно случайно, помимо воли кого-либо из интеллигентов.

Один из рабочих — Рыбин, пять лет проходивший по фабрикам, порвал с фабрикой, снова мужиком заделался и ушел в деревню, один бунтовать народ. Он поступил в дегтярники к деревенскому мироеду. Молодые батраки, работающие с ним вместе, образуют кружок.

Хождение в народ самих рабочих, временно приходивших на фабрики в город и слободки, распространение влияния социал-демократии на деревню через рабочую слободку, — это подмечено художником верно.

Прежде чем кружок подумал о работе среди батраков и деревенской бедноты, спропагандированные рабочие, не порвавшие связи с деревней, уже вели самостоятельную пропаганду в народе. Эта пропаганда не поддавалась никакому учету, но она играла немалую роль в пробуждении деревни. Туда исчезала литература из рабочих слободок, туда на праздник отправлялись погостить рабочие, захватив с собой все 34 листка, выпущенные «людьми из города».

Все это совершалось без заранее обдуманного намерения, в ответ на запросы жизни.

Социал-демократы говорили об экономии сил, о необходимости сосредоточить работу в промышленных центрах, они так же неохотно шли в деревню, как землевольцы — в город.

Батраки, дегтярники работают у мироеда, получают за работу вчетверо меньше, а спину ломают вдвое больше, чем рабочие. Голод и обида будят в них нетерпеливую злобу и недоверие к господам. Даже друг на друга, даже на своего руководителя — Рыбина, молодые батраки смотрят «подстерегающими глазами». Если рабочие привыкли действовать хорами, то батраки и мужики действуют в одиночку, в отдельности. В самой деревне о бунте все думают, но каждый в отдельности, про себя.

Интеллигенты в городе говорят о разрушении старого, рабочие мечтают о новом, батраки же и мужики больше говорят о том, что есть.

Эту черту отмечает художник в небольшой сценке еще в первой части, когда Ефим-батрак приходит к Павлу за книгами в слободку и начинает их перебирать одну за другою.

— «Геология» — это про что?

Павел объяснил.

— Нам не требуется! — сказал парень, ставя книгу на полку.

Рыбин шумно вздохнул и заметил:

— Мужику не то интересно, откуда земля явилась, а как она по рукам разошлась, как землю из-под ног народа господа вы дернули? Стоит она или вертится, это не важно — ты ее хоть на веревке повесь, — давала бы есть, хоть гвоздем к небу прибей — кормили бы людей!..

«История рабства», — снова прочитал Ефим и спросил Павла:

— Про нас?

— Есть и о крепостном праве, — сказал ему Павел, давая ему другую книгу.

Ефим взял ее, повертел в руках и, отложив в сторону, спокойно сказал:

— Это — прошло!..»

Мысль крестьянина и батрака, которую художник не отделяет от деревенских дум и настроений, постоянно прикреплена к земле.

«— Мужик спокойнее на ногах стоит, — говорит в повести Рыбин. — Он под собою землю чувствует, хоть и нет ее у него, но он чувствует — земля! А фабричный вроде птицы — родины нет, дома нет, сегодня здесь — завтра там. Его и баба к месту не привязывает, чуть что — прощай, милая, в бок тебя вилами! И пошел искать, где лучше. А мужик вокруг себя хочет сделать лучше, не сходя с места...»

Разговоры, которые ведут о мужиках, о рабочих разные действующие лица, слишком абстрактны, нежизненны, слишком походят на обычные установленные в марксистской литературе общие черты разных общественных групп.

Только сильно написанная сцена ареста Рыбина на момент приоткрывает завесу над деревенской жизнью и над психологией деревенского люда.

Недоверие, осторожность, подавленность, с одной стороны, расслоение деревни — с другой, резко подчеркиваются художником.

Напомним вкратце сцену истязания Рыбина и отношение толпы к его проповеди.

К волости привели Рыбина со связанными руками.

У крыльца «стояла толпа людей и молча ждала». Эта толпа росла быстро, но «молча».

Избитый еще раньше властями, Рыбин обращается к мужикам. Этот солидный мужик говорил «о верных грамотах» и о том, что бумаги эти он сам раздавал в народ и готов за них принять смерть.

Как же относятся мужики? Они еще не доверяют. «Люди смотрели на него хмуро, с недоверием и молчали...»

Рыбин продолжал говорить. «Люди стояли молчаливо, смотрели исподлобья, на всех как будто легло что-то невидимое, но тяжелое».

Наряду с этим молчаливым недоверием рисуется расслоение деревни.

Толпа даже в момент возмущения действует разрозненно, даже когда стена недоверия падает.

Рыбин заговорил о жизни крестьян, первой силы на земле. Урядник, прыгая перед Рыбиным, как собака перед куском мяса, стал его бить.

Сперва раздается одинокий голос: «Не бей», а потом самые противоречивые крики толпы: «Правильно говорит человек!.. Станового зовите... Не наше дело начальство собирать... Развяжите ему руки... Не надо, братцы»...

Когда урядник поскакал за становым и Рыбину действительно развязали руки, «несколько человек солидно отошли от толпы».

Но толпа растет, потому что все более сбегается «плохо и наскоро одетых возбужденных людей».

При появлении станового в толпе с тревогой говорят: «Гляди, ребята», толпа расступается, «что-то угрюмое и подавленное появилось на лицах».

Когда, встретив отпор от окровавленного Рыбина, становой «вместе с голосом вдруг потерял силу», толпа сразу выросла; но опять не все одинаково реагируют на происходящее.

«Мужики разделились на две группы, — пишет автор, — одна, окружив станового, кричала и уговаривала его, другая — меньшая числом — осталась вокруг избитого и глухо, угрюмо гудела».

Плохая изба Степана, куда попадает мать на ночлег, дополняет картину деревни. Там, в этой избе, вокруг Степана соберется со временем кружок мужиков, «плохо одетых», обиженных начальством и оттуда начнется бесшумная, кротовая работа; к этой плохой избе будет стягиваться деревенская беднота.

Сюда придут с ненасытной жадностью к книге молодые парни и мужики, робко ожидающие правды и проникнутые восторгом освобождения, как религией, как новой верой...

Бесчисленные деревни, робко прижавшиеся к земле, покрыты в повести туманной завесой...

Мужик для художника — таинственный незнакомец. Великая обида живет в великой душе ребенка.

Мужик Рыбин, весь налитый злобой, говорит, что в доброте — большая сила, и он же пророчит великие казни народа, который поднимется, чтобы косить проклятые травы.

Сами рабочие, в лице Павла и Андрея Находки, относятся к мужикам различно.

Они чувствуют в мужиках огромную силу и боятся ее и приветствуют ее. Павел не любит мужиков, Андрей Находка доказывает, что «и мужиков учить добру надо».

«Когда они поднимутся, — говорит Андрей Находка Павлу, — они будут все опрокидывать подряд. Им нужно голую землю и они оголят ее, все сорвут... Да, Павел, мужик обнажит

себе землю, если встанет на ноги, как после чумы — он все пожрет, чтобы все следы обид своих пеплом развеять.

— А потом встанет нам на дороге, — тихо заметил Павел.

— Наше дело — не допустить этого, наше дело, Павел, — сдержать его. Мы к нему совсем близко, нам он поверит, за нами пойдет... Мы под собой земли не чувствуем и не должны, потому что нас и положено раскачать ее. Покачаем раз — люди оторвутся, покачали два и еще...»

Здесь художник отходит от живой фигуры мужика... У него рисуется какой-то андреевский голый человек на голой земле.

Он сам, наметивший расслоение деревни, тот экономический процесс, который отрывает все больше мужиков от земли, еще и еще, он незаметно становится на идеалистическую почву... Его Андрей Находка огнем разума собирается спасти землю от оголения и разрушения.

Напрасная тревога! В деревне слишком быстро идет разложение на хозяйственных — солидных — мужиков и деревенскую бедноту, мужиков «плохо одетых», в деревне уже идет борьба классов, как и в городе, и Андрею Находке нужно говорить не о голом человеке на голой земле и не о земле, которую нужно раскачать, а о работе в плохих избах.

Тот же художник, который заставляет рабочих спасать культуру, заставляет мать идти в деревню вместе с Софьей, точно на богомолье, точно «в дальний монастырь к чудотворной иконе».

Мужик, который оголит землю, и чудотворная икона, к которой прилипает мысль жаждущих исцеления, — вот два полюса отношения к деревне.

С тревогой и надеждой всматривается художник в лицо мужика, как мать всматривалась в лицо голубоглазого Степана. Противоречивые мысли и чувства волнуют его, и это сказывается в замечаниях о Степане и об отношении к нему матери, замечаниях сбивчивых и противоречащих друг другу.

«Перед матерью стояло лицо голубоглазого мужика, оно было странное, точно недоконченное, оно не возбуждало доверия», — пишет художник на 320 странице и тут же, через несколько страниц (326), говорит:

«Его голос, уверенный и не сильный, неконченное лицо и светлые, открытые глаза все больше успокаивали мать», а на следующей странице мы читаем снова:

«Ее раздражал этот мужик своим светлым, но непонятным лицом» (327).

Мужик со светлым, непонятым, недоконченным лицом, который и успокаивает, и возбуждает недоверие, читателя так же раздражает, и читатель ждет от художника объяснения непонятого и недоконченного, а художник за объяснением обращается к читателю... Недаром лицо Павла светло, а глаза его ясны — он рабочий. Лицо Рыбина-дегтярника темно, в черной траурной раме борода. Он — мужик!

«Люди из города» очерчены художником гораздо определеннее. Они идут в Эммаус, они — огни города, они приходят воскресить немую, убитую душу матери, они похожи на монахов-подвижников со своими строгими лицами, их жизнь — какое-то житие. Фигуры запрещенных людей во весь рост выводит художник впервые в своем произведении. До сих пор он главным образом рисовал образованных мещан, обывательскую интеллигенцию или говорил об интеллигенции вообще настолько неопределенно, что давал повод к «превратным толкованиям», недоразумениям, обвинениям в том, что сам он не помнит своего духовного родства.

В 1897 году в своей повести «Варенька Олесова» художник заставлял героев повести вести страшно интересный разговор об интеллигенции и о деревне.

«— А что, в каком фаворе у молодежи деревня? — спрашивала Елизавета Сергеевна у приват-доцента. — Продолжают играть на понижение?»

— Да, понемножку разочаровываются, — ответил сестре молодой приват-доцент из столицы.

— Это явление очень характерно для молодежи наших дней, — усмехаясь, заявил Бенковский. — Когда она была в большинстве дворянской, оно не имело места. А теперь, когда всякий сын кулака, купца или чиновника, прочитавший 2—3 популярных книжки, есть уже интеллигент, — деревня не может возбуждать интерес у такой интеллигенции. Разве он ее знает? Разве он для них может быть чем-нибудь иным, кроме места, где хорошо пожить летом? Для них деревня — это дача... да и вообще они дачники по существу их душ. Они явились, поживут и исчезнут, оставляя за собой в жизни разные бумажки, обломки, обрывки — обильные следы своего пребывания, всегда оставляемые дачниками на полях деревни. Придут за ними другие и уничтожат этот сор, а с ними и память об интеллигенции позорных, бездушных и бессильных девяностых годов» *.

* См.: Т. II. С. 309.

Кто же это другие? Не реставрированные дворяне, а молодая деревня, по мнению романиста Бенковского.

За год перед этим в повести «Коновалов» собеседник этого рабочего, не нашедшего точки, Максим, высказывает несколько иную мысль: «В деревне почти так же невыносимо тошно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов...» *.

Здесь в обоих отрывках различное отношение к деревне, но здесь с одинаковым чувством говорили об интеллигенции вообще и уже намечается драма-сатира «Дачники».

В «Дачниках», как и в «Троих», художник высказывается определеннее. Наряду с образованными мещанами, обывательской интеллигенцией, интеллигентными людьми в кавычках он намечает интеллигенцию революционную.

Помните Соню-гимназистку, сестру Гаврика в повести «Трое», ту Соню, которая «звездой сверкнула» и о которой великий скептик Илья говорит: «Гордая девушка, настоящий образованный человек»?

Рабочий Павел от встречи с этой девушкой переродился, «ожил от слова, любовью согретого».

В «Дачниках» «славная человечина» — Соня и ее товарищ студент «где-то что-то делают» и вырисовываются, как светлое пятно на мрачном фоне картины.

Обе Сони исчезают, «улыбаясь, точно маленькие тучки, освещенные лучами утренней зари».

Еще раньше — в «Мещанах» — художник наряду с образованными мещанами, живущими без веры, намечает целый ряд иных фигур, иной интеллигенции: постороннего наблюдателя жизни — Тетерева, веселой Елены, Цветаевой, которые, улыбаясь, думают о будущем, о жизни и ждут от жизни хорошего.

В доме Бессеменовых всем плохо, там умирает человек и он совсем не рождается на свет, оттуда все смелое и сильное уходит, точно так же, как и с дачи, но этих уходящих все больше.

Раньше, в рассказах и повестях и драмах художника, даже лучшая интеллигенция, даже «дети солнца», даже литераторы были оторваны от народа, даже встречаясь с рабочими, действительно образованный человек не понимал языка обиженного жизнью рабочего. Светлый и темный расходились после встреч озлобленные и огорченные.

Вспомним доктора и сапожника Орлова («Супруги Орловы»), ученого химика и слесаря Егора («Дети солнца»), литера-

* Т. II. С. 49.

тора Ежова и типографских рабочих («Озорник») — таких встреч было много в произведениях художника. Одни знали, но не могли, другие могли, но не знали, слепая сила и зрячее бессилие смотрят друг на друга какими-то недругами и пустынно было поле жизни...

В повести «Мать» ни разу мы не слышали слова «интеллигент», но лицо интеллигенции революционной рисует художник с какою-то материнской нежностью.

Здесь люди из города являются творцами жизни и подобно тому, как дачники-интеллигенты всюду сорили и заражали землю, так люди из города приходили ее обновить и наполнить радостным, красным звоном светлого воскресенья.

Люди из города и люди деревень и слободок, тайно ожидающие прихода правды, сходятся в один кружок, чтобы работать вместе.

Откуда рекрутируется революционная интеллигенция в повести М. Горького?

Их воспитал город, они люди из города, они выходцы из самых разнообразных слоев. Тут и дворянин, тут и дети кулака, купца и чиновника.

Отец Сашеньки — помещик, земский начальник. Сашенька уходит из дома и говорит: «У меня нет отца».

Отец Наташи — торговец железом, имеет несколько домов. Он выгоняет Наташу из дома за то, что она пошла своей дорогой; Николай Иванович — статистик; бывший школьный учитель с сестрой Софьей — дети управляющего заводом в Вятке; Егор Иванович — сын дьячка; Людмила — жена товарища прокурора. Все они выходцы из разных слоев, как и политические в романе Л. Н. Толстого.

Нет среди них только евреев, среди массы деятелей — ни одного еврея, в то время, как в революционной борьбе эти Маккавеи¹⁰ нашего времени играли видную роль и дали много лучших своих борцов.

Что толкнуло Сашеньку, Наташу, Николая Ивановича и других в революцию?

У гр. Л. Н. Толстого люди идут на этот путь, повинаясь «человеческому», бесовскому: честолюбие, любовь к сильным ощущениям, иногда просто неразвитость — вдохновители Новодвора, Богодуховского и других.

У М. Горького — жажда простора и ослепленной жизни выживает интеллигенцию из дворянских гнезд и дома Бессеменова.

Над людьми из города «старое» с его гнилью тяготеет, как кошмар.

Дочь торговца, Наташа, рассказывая о смерти своей вечно трепетавшей матери, прибавляет: «Смерть, вероятно, легче такой жизни».

Эти подвижники, монахи, обреченные вовсе не чувствуют себя героями, не говорят никогда о страдании народа, о том, чтобы «пострадать за правду», они с веселой смелостью, подобно Софье, идут навстречу буре.

Мать долго не может понять юную радость Софьи, этой женщины «со светлыми глазами и душой».

«Жизнь ваша беспокойная и трудная, а сердце у вас улыбается», — говорит она Софье.

Что же отвечает Софья? — «Я не чувствую, что мне трудно, и не могу представить жизнь интереснее этой... Мы уже награждены. Мы нашли для себя жизнь, которая удовлетворяет нас, мы живем широко и полно, всеми силами души...»

Николай Иванович оживает, когда идет к рабочим. «Я эти дни страшно хорошо жил», — говорит он о времени, которое отдает борьбе.

Мать называет Наташу «бедной» и жалеет ее. «Если бы вы знали, если бы вы поняли, какое важное, радостное дело делаем мы».

Строгая Сашенька, немного дворянка, хотя все больше освобождается от дворянства, и та говорит с каким-то религиозным восторгом: «Я верю в бессмертие честных людей, тех, кто дал мне счастье жить той прекрасной, полной жизнью, которою я живу. которая радостно опьяняет меня удивительной сложностью своей».

Веселая смелость и юная радость этих людей отделяет их от людей долга, людей отречения, от пострадавших, от печальников родины, от аскетов, спавших на гвоздях, от подвижников семидесятых годов, убивавших свое «я».

Эту черту радости художник не выдерживает до конца, слишком много места он уделяет не радости, а страданиям, не жизни, а житию революционеров.

«Нам нужно быть проще, проще» — говорила Софья; она могла бы добавить: и рисовать нас нужно «проще, проще».

Людей из города и рабочих художник не смешивает в одну кучу. «Мы оцениваем, а не чувствуем», — говорит Сашенька о себе и своих товарищах. В зеленом домике Николая Ивановича была область «острых, всеразъедающих дум». Здесь кричали сильнее, чем в слободке, и каждый старался доказать, что ему правда ближе.

Людам из города недостает простоты, они недостаточно чутки, как, например, Софья, они слишком требовательны и строги, как Сашенька, иногда заглушают в себе человеческое, как Николай Иванович, всему далекий, какой-то нечеловек. В них художник подчеркивает черту аскетизма, которая противоречит приведенным выше словам людей из города.

Интересно, что Сашенька, которая не может любить Николая Ивановича, потому что слишком он нечеловек, Сашенька, которая ради своей любви хочет удержать Павла, рабочего, от опасной роли первого мая, эта Сашенька очень требовательна ко всем. «Мы должны отдать все силы делу обновления», — учила она.

Мать Павла замечает, что Сашенька «очень строга... все приказывает: вы и то должны, и это должны».

На это рабочий Андрей Находка, усмехаясь отвечает: «Дворянства в человеке и ножом не соскоблишь... Хороший человек, а не понимает, что она должна, а мы хотим и можем».

У людей из города еще живет прежнее «я должен»; у рабочих во всем выдвигается — «я хочу».

«Я понимаю... иначе тебе нельзя... для товарищей», — говорит мать Павлу, который хочет нести знамя. «Нет, — отвечает Павел, — я это для себя. Можно не идти, но я хочу и пойду».

В повести это «я хочу» является только словом, а не фактом. Фактически Павел-рабочий действительно какой-то «обреченный», фактически Павла-человека нет, а существует «дело». Павел — это машина, это долг, это вместилище социал-демократической идеи, но это не живая душа. Павел не слышит своего сердца, не слышит и других сердец, он может понять, а не умеет чувствовать, у Павла светлые глаза и в этих глазах нет сомнений, он из тех людей, которые командуют другими и отрекаются от своего «я».

Сашенька — интеллигентка — любит Павла. Она пойдет за ним в ссылку. Хотелось бы и нам последовать за обоими. Ссылка — это великолепный реактив для тех 99—100 человек, о которых забывает революционер в пылу борьбы, когда он не чувствует себя.

Художник, который в своем творчестве ищет человека вообще, проглядел живого человека в революционере. Сашенька и Павел, Наташа и Андрей Находка, Николай Иванович и Софья, Егор и Людмила, — не только, как подвижники, умерщвляющие плоть, — они проносятся перед нами бесплотные, святые духи, неосязаемые и неуловимые.

У гр. Л. Н. Толстого революционеры слишком не герои, у М. Горького — слишком не человеки.

Та нравственная высота и веселая самоотверженность, которую художник наделяет первых деятелей тайного сообщества, что-то евангельское, светлое и чистое, нам думается, не противоречит исторической правде.

Нам приходилось встречать в конце девяностых годов и начале девятисотых «работников», поражающих своей апостольской красотой, работников, с каким-то упоением отдавших «делу»... Это было до второго съезда...

Впрочем, и тогда уже вырисовывались иные черты, взращенные в подполье и на почве эмигрантской оторванности от жизни.

М. Горький, теперь, после фракционного разлада, после целого ряда съездов, после падения престижа революционного деятеля, в момент насмешливо-трезвого отношения к работе Наташи и Сашеньки дает рабочим, слободкам и деревням высокий образ революционерского деятеля, идущего в Эммаус. И как на картине Рембрандта «Христос и ученики в Эммаусе», одевает светом лицо учителей правды.

Мы, разумеется, не поклонники таких сентиментальных сцен, как следующие: «Мать рабочего Павла обратилась к Наташе-пропагандистке, когда она одевалась в кухне, со словами: “Чулочки-то у вас тонки для такого времени! Уж вы позвольте, я вам шерстяные свяжу”» (с. 33). Через три страницы художник добавляет: «Мать связала ей чулки и сама надела на маленькие ноги» (с. 36).

Другая сцена происходит уже в доме интеллигента Николая Ивановича, когда пришел крестьянский парень Игнат с запиской, завернутой в онучу. Игнат растер себе ногу, ему трудно разматывать онучу. «Здравствуйте, товарищ, — сказал Николай, ласково щуря глаза и кивая головой.

— Позвольте, я вам помогу. — Опустившись перед ним на пол, он стал быстро разматывать грязную онучу» (с. 354—357). Следует описание омовения ноги.

«— Чудно мне! — сказал Игнат, недоверчиво и растерянно улыбаясь. — Что чудно? — Да так... На одном конце кожи бьют, на другом — ноги моют, а середина есть какая-нибудь?» (с. 356).

Шерстяные чулочки и грязные онучи раздражают читателя, а в особенности в произведении М. Горького. Нам припоминается черта, тонко подмеченная им самим, черта, которой он не вполне основательно наделяет Николая Ивановича:

«Когда к Николаю приходил кто-либо из рабочих, хозяин становился необычно развязен. Что-то сладкое являлось на лице его, а говорил он иначе, чем всегда, не то грубее, не то небрежнее».

Эту черту мог бы найти художник и у себя теперь, когда он пришел со своею повестью к матери рабочего человека, к Игнатам и Павлам.

Не нравилось матери «что-то сладкое» в Николае Ивановиче, не понравится ей и в художнике — всякий, вкусив Горького, не захочет сладкого!

«Что-то сладкое» не имеет ничего общего с восторженным подъемом указанного периода, когда революционер оставил онучи толстовского Акима проповедникам опрощения, и нашел себе не господина, а товарища в рабочем человеке.

Отмеченные только что сцены, вплетенные в повесть, только расхолаживают читателя, заставляют его уйти в себя, насторожиться и взять под сомнение весь тон повести, а между тем пафос художника при воспроизведении подготовительного периода, при обрисовке характеров вполне понятен, уместен и правдив.

Пусть не забывают читатели, что вся повесть развертывается на глазах матери, невинно убиенной и воскресшей, все впечатления проходят сквозь призму понимания старого религиозного человека, новую веру она воспринимает при посредстве прежних образов, вызванных евангелием — это во-первых; а во-вторых, не надо смешивать теперешнего настроения или, вернее, расстройств с тем «настраиванием» и поветрием, которое переживалось тогда, на «заре туманной юности»...

Уж на что тов. Акимов-Махновец¹¹ — человек чуждый романтизма, а и он, говоря о пережитом двадцатипятилетии, поднимается до истинного пафоса и пишет в своих очерках «Строители будущего» о «титаническом труде»*, «безумно героических жертвах», о «великом деле» и о «беззаветно преданных делу идеологах».

Повесть М. Горького — это огромная картина жизни. Такой широты захвата, такого богатого содержания не было ни в одной из написанных книг художника.

* «Образование». Кн. IV. 1907. С. 78—79.

Нам бы хотелось назвать эту повесть в параллель с «Мертвыми душами» поэмой — «Воскресшие души».

Перед нами проходит множество характеров. К сожалению, самая широта захвата помешала художнику глубже очертить намеченные фигуры. Некоторые лица точно расплываются в каком-то тумане, как, например, лицо самой матери.

Некоторые персонажи занимают только место в повести, а лиц мы не видим. Вспомните, если можете вспомнить, батраков — Ефима, Игната, Якова, доктора Ивана и лица судей.

Наряду с этим, в той же повести художник высекает несколькими сильными ударами резца сжатые, законченные образы, созданные точно из мрамора.

Зверь Михайло, Федя Мазин, весь какой-то сверкающий, этот жаворонок в клетке, этот юноша, который горит, как высокая свеча на ветру; жестянщик Иван, 16 лет, со своим милым рассказом о кружке и о пропаганистах; влиятельный рабочий Сизов, крестьянин Петр, Наташа, торговка Корсункова, трактирщик Бегунцов, становой, слободский полицейский Федекин, — все эти образы только мелькали, но они навсегда врезаются в памяти.

Фигуры Николая Ивановича, Рыбкина, Весовщикова, Андрея Находки, Павла выдвинуты на первый план картины.

Все эти фигуры представляют огромный интерес, но художник или недочертил их, или придал их лицам несоответствующее выражение.

С Фомой Гордеевым случалось часто, что он говорил что-то такое, что и ему самому казалось дерзким и что в то же время поднимало его в своих глазах.

«Это были какие-то неожиданные смелые мысли и слова, которые вдруг являлись, как искры, — впечатление как бы высекало их из мозга Фомы. И он сам не раз замечал за собой, что придуманное им он хуже, тусклее высказывает, чем то, что сразу вспыхивает».

С творцом Фомы Гордеева — то же. Наряду с яркими образами, которые вспыхивают сразу, как искры, в повести встают неясные, тусклые, зачерченные или недочерченные фигуры, над которыми тяготеет каким-то проклятьем придуманность.

Хохол Андрей Находка с его раздвоенностью — самый живой человек, нежная душа его полна пасхального звона, предрассветной радости и тихой печали, но послушайте, что он и как говорит на суде, как разговаривает с Весовщиковым. Где эта нежность и разве мог этот человек, на все готовый для товарищей, за себя ударить другого человека по лицу, хотя бы шпи-

она, разве мог он послужить невольной причиной убийства, он, спрашивавший Весовщикова: «Кто тебе дал право убить?»

Весовщиков, а в особенности Рыбин, неожиданные, резкие образы, но они всех более пострадали от того, что в их жизнь вмешалась придуманность.

В обоих кипит нетерпеливая злоба и недоверие к людям. Сын вора и солидный мужик страшно сильны. Они не жалеют себя.

Весовщиков ищет тяжелой работы. Рыбин — великомученичества.

Весовщиков хочет жить сам, Рыбин идет в деревню один бунтовать народ.

Весовщиков не может ждать, пока Павел вооружит людей программой. Он торопится, он ищет самого виновного, он уверен, что некоторых людей надо убивать.

Рыбин хочет уйти в деревню подальше от господ, он хочет послужить великой казни.

Обе фигуры уже знаменуют новый этап в революционной работе.

Люди революционно настроенные, горячего темперамента, связанные с землей или босаяцкими элементами, не мирились с упорной и дикой работой социал-демократии, не мирились и уходили.

Весовщиков и Рыбин являлись вестниками грядущего эсерства, в лице этих озлобленных и отчаявшихся в скорой революции людей поднимали свою голову террор и проповедь немедленной социализации и экспроприации.

А что сделал с ними художник?

Он призвал на помощь силу правды, смягчил кипевшее злобой сердце и поставил обоих под знамя социал-демократии?

Социал-демократическая тенденция помешала художнику отнестись непосредственно к жизни и безразлично отметить исторический факт зарождения нового революционного деятеля.

«Такая жизнь», — говаривал часто Андрей Находка. Жизнь уже порождала озверение, жизнь выдвигала новые слои и жизнь вовсе не нуждается в том, чтобы ее исправляли, подкабливали и дополняли в воображении *ad maiorem Dei gloriam* *.

Не в том беда, что в создании Рыбина и Весовщикова сказался социал-демократизм М. Горького, а в том, что социал-де-

* к вящей славе Божией (лат.). — Ред.

мократическая этикетка заменила социал-демократическое содержание.

Этого нет совершенно в прекрасной драме М. Горького «Враги».

Там нет, не видно социал-демократического знамени, но сама жизнь, столкновения действующих лиц лучше всяких теоретических исследований ортодоксов марксизма с поражающей силой и красотой подтверждают основные положения социал-демократии.

О характерах действующих лиц повести хотелось бы поговорить много. Но статья затянулась, да и не хотелось бы давать законченный отзыв о характерах, еще не законченных.

При чтении «Матери» нужно иметь в виду, что эта книга — только начало. За «Матерью» должна выйти следующая книга — «Сын», в которой художник выведет уже знакомые нам фигуры. Там, быть может, лица, собравшиеся в «Матери» под одним знаменем, разбредутся, уйдут в новые партии.

С большим интересом мы будем ждать новой встречи со старыми знакомыми — Софьей, Весовщиковым и Рыбиным, которые теперь куда-то исчезли. Пока мы знаем, что в Андрее Находке происходит какая-то глубокая перемена, Весовщиков и Рыбин идут под знаменем социал-демократии, может быть, потому, что другое знамя еще не развернуто.

Хотелось бы, чтобы художнику удалось отнестись объективно к разным знаменам и справиться с огромной задачей здесь, вдали от родины, «на земле чужой».

Нам бы хотелось еще коснуться самой фабулы повести и языка художника.

Даже при беглом знакомстве с фабулой вас поражает искусственность построения. Художник хочет показать мать в разные моменты революционной работы, он заставляет ее ходить по мукам и радостям бурной жизни, он делает ее свидетельницей и участницей каждого шага революционера, благодаря этому он постоянно нарушает основную черту жизни конспиративного, тайного сообщества, осторожность, без которой немыслима подпольная работа.

Казалось бы, после трех обысков и открытого выступления с речью в слободке мать достаточно «скомпрометировала» себя и должна бы отойти в сторону по принципам тайного сообщества.

Вместо этого, на другой же день после огромного провала в слободке и ареста главаря рабочих — Павла, его мать переселяется к Николаю Ивановичу, в квартире которого сосредоточиваются все связи. Мать становится «странницей правды ради» и оттуда совершает свои поездки.

Этого мало, организация разрешает матери, посещающей в тюрьме сына и, следовательно, известной там, присутствовать во время побега Рыбина из тюрьмы в качестве зрительницы. Ведь ясно, что присутствие ее может провалить дело. Впрочем, при этом побеге художник допускает и другую оплошность: в числе лиц, помогающих побегу, находится Николай Весовщиков. Он должен встретить на улице, около тюрьмы уже бежавшего Рыбина и переодеть его. Не забывайте, что сам Николай Весовщиков совсем недавно бежал из тюрьмы. Правда, художник обещает его загримировать, но едва ли поддадутся гриму рябое лицо Весовщикова и его неуклюжая фигура.

Иногда художник слишком просто относится к жизни тайного общества: избитого жестянщика Ивана мать уводит с кладбища в зеленый домик Николая Ивановича. Об этом юном рабочем с расколотой головой художник забывает и, вероятно, потому забывают обратить внимание и жандармы на этого странного жильца, когда являются с обыском на квартиру к Николаю Ивановичу.

Затем происходят новые обыски и уже арест Николая Ивановича, здесь жестянщик Иван дает о себе знать.

Он совершенно против желания Николая Ивановича перед арестом его уходит на чтение в кружок.

«Глупо с расколотой головой на чтениях сидеть», — говорит доктор. «Доказывал я ему, но безуспешно», — замечает Николай Иванович, забывая, что еще глупее сидеть с расколотой головой у него в квартире, когда он с часу на час ждет ареста, и тут же сам говорит доктору: «Тебе здесь делать нечего, а мы ждем гостей — уходи!» (с. 350).

Грубейшим нарушением правил конспирации является посещение этого зеленого домика Людмилой. Она работает в типографии или в «технике», как принято говорить. Каждый знает, чем являлась типография прежде, да и теперь. Ее берегли, как зеницу ока. Лицо, работавшее в ней, замуровывалось иногда на несколько лет, как было в Киеве. А в повести М. Горького Людмила является к Николаю Ивановичу, чтобы поговорить о суде за неделю до его ареста... (с. 372).

«Удивительная случайность» заменяет у художника инициативу и организаторскую роль действующих лиц.

Случайно в тюрьме подрались арестанты, случайно были открыты ворота тюрьмы и случайно Николай Весовщиков вышел на улицу, вовсе не предполагая бежать. Что же? в революционной жизни и не то бывало!

О побеге Николая уже знает организация, она знает, что Николай ходит где-то по улицам. Тогда члены организации начинают ходить по улицам и совершенно случайно мать встречает Весовщикова у ворот умирающего Егора.

А то — еще случай, который, вероятно, уже бросился в глаза читателям при нашем изложении.

Мать отправляется в село Никольское при весьма неблагоприятных признаках. Она везет чемодан с нелегальщиной, она останавливается на станции против волости и совершенно случайно видит, как приводят туда же арестованного Рыбина. Таким образом, мать ускользнула от ареста.

Это, однако, не все. Связь порвана, нужно ее завязать, вновь и снова приходит на помощь великий организатор — случай, этот *deus ex machina** повести М. Горького.

В толпе стоят мужики, которые «доглядели», как мать Рыбину «знак делала», а мать тоже заметила одного из этих мужиков, заметила и внимание его к себе. Через час она перебирается уже к нему на ночлег с чемоданом, передает литературу, ведет пропаганду, устанавливает связь и благополучно уезжает.

Даже мужик Степан не утерпел и говорил матери: «Случай, так сказать, удивительный!.. Хотя вполне простой... Как это случилось чудно».

Что же сказать о языке художника в повести «Мать»? Во всяком случае не то, что говорит Плеханов о «Врагах»**: «Тут все хорошо, потому что тут нет ничего придуманного, а все настоящее», наоборот: тут, в разбираемой повести, многое не хорошо, потому что тут многое придумано. Действующие лица «Врагов» «просто говорят и просто смотрят» — этой простоты недостает персонажам повести.

Сравните только сцену суда у М. Горького в его повести и ту же сцену в романе гр. Толстого «Воскресение» — придуманность одной и простота другой бросаются в глаза.

Объемистая книга в 435 страниц (в берлинском издании) производит впечатление черновика, написанного на скорую руку. Зачастую попадают страницы «тусклые», написанные

* бог из машины (лат.). — Ред.

** К психологии рабочего движения // Мир Божий. 1907. Май. С. 17.

точно не М. Горьким, наряду с блестящими страницами; из-за типографской краски слишком назойливо выступают синие чернила прокламации.

Эпитеты, сравнения, разговоры, целые сцены повторяются, характеристики противоречивы.

Примеров можно привести, сколько угодно, возьмем наудачу несколько...

Николай Иванович беседует с матерью, вернувшейся только что из деревни и, вероятно, от радости он без конца вплетает в свою речь прилагательное «удивительный» и склоняет его во всех числах и падежах: «удивительная удача»... — восклицает он, слушая рассказ матери. «Эта женщина, удивительно четко я ее вижу» — на той же странице через шесть строк (с. 348) «...Это удивительно просто и красиво и странно возбуждает... И в душе накапливается такое удивительное», — говорил Николай Иванович по поводу работы среди пролетариев (с. 347).

Слово «удивительный» не является излюбленным выражением одного лица. С ним не расстается Андрей Находка, у которого «такое удивительное в сердце», к нему прибегают мать, крестьяне в моменты подъема, он также часто у художника, как у простых смертных — «очаровательно» и «восхитительно».

Эта продуманность языка находится в связи с придуманностью образов, с неопределенностью характеров.

Одну и ту же черту характера художник не рассматривает в действии, а просто называет ее много раз и почти в одних и тех же выражениях. У хохла Андрея «половина сердца любит, половина ненавидит...» «Двоится человек, режет жизнь его надвое»... «Бьется в груди два сердца. Это любит всех, а другое говорит: стой! нельзя! ломается человек».

У Павла «бронзовый лоб», «бронзовое лицо», мать «хороший человек», у нее «хорошее сердце», «хорошая душа»...

В повести слишком много религиозных сравнений. Не думайте, что церковная терминология встречается только в речи старой женщины Власовой. Андрей, неверующий человек, первого мая тоже говорит о крестном ходе и о новом боге.

Целые отрывки разговоров почти повторяются. Вспомните удивление матери перед девушками, которые ходят ночью зимой, через поле, из слободки в город. Сегодня она так высказывается по поводу Наташи (с. 36), а завтра то же говорит о Сашеньке (с. 99).

Сцена избиения матери с подробным описанием того, как жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот и встрях-

нул так, что она ударилась затылком о стену; как шпион ударил ее в лицо коротким взмахом руки; как ее толкали в шею, спину, били по плечам, по голове, толкали куда-то в двери и как жандарм схватил ее за горло и стал душить, — вся эта сцена мало трогает читателя уже прежде всего потому, что за сто страниц перед этим уже была подобная же сцена истязания Рыбина.

Даже восклицания у Рыбина и матери вырываются почти одни и те же: «Душу воскресшую не убьют...» «Кулаком правды не убьешь».

Таковыми повторениями художник страшно ослабляет впечатление и утомляет. Не ответит читатель художнику «громким рыданием», как кто-то ответил матери во время избиения ее жандармами.

А между тем у того же читателя не раз навернутся на глаза слезы гнева и нежной любви при чтении повести... Эти сцены огромной силы показывают, что дело не в падении таланта, а в чем-то ином.

Дело в том, что никогда так много и так лихорадочно не работал художник, как последнее время. Вы только посмотрите, какую уйму написал он в короткий промежуток: драму «Враги», повесть «Мать», около 27 печатных листов, повесть «Шпион» или «Жизнь ненужного человека», около 25 печатных листов, драму «Отец».

«Когда человек много говорит, ему слов с десятков и зря сказать приходится», — замечает Рыбин в повести М. Горького по поводу листков.

М. Горький пишет много, работа наспех мешает художнику свободно отдаться «жизни вольным впечатлениям», выносить и проработать образы. Они появляются зачастую в свет недоношенными, недолговечными.

Художник становится писателем-профессионалом и над ним встает с угрозой высказанная им самим мысль в «Коновалове»: «Как все, и поэзия теряет свою святую простоту и непосредственность, когда из поэзии делают профессию».

Жизненный материал, который собрал художник, — материал огромный, неисчерпаемый, но сырье необходимо переработать, а художник-борец все меньше уделяет внимания этой переработке.

«Ходи и смотри» — часто говорит художник, и сам он всю свою скитальческую жизнь ходил по полям и большим дорогам родины, работал в больших трущобах городов, слушал легенды на берегу моря. Аромат полей, шум моря, крики неба, звуки

жизни, пронесившейся по большим дорогам, — все это претворялось в «слова из лазури и света», все это трепетало в живописующем слове его.

Теперь художник гораздо реже говорит о природе, от описания переходит к диалогу, от небольших, ярких, как молния, произведений, освещающих одну деталь, он переходит к огромным полотнам, пытается уяснить «все вместе». Задача трудная, не всегда удастся с ней справиться, не всегда успевает абстрактная мысль облечься в цветные платья...

Еще два слова о старом и новом в творчестве М. Горького.

Вначале своей статьи мы говорили о новом, современном читателе, который с радостью будет приветствовать художника, товарища, мы говорили, что «Мать» М. Горького, как и его «Враги», постучатся в серые домики рабочих слободок и принесут великую весть воскресенья и борьбы; нам бы хотелось указать на новую черту в произведениях художника: революционный класс и борьба его выдвигаются М. Горьким на первый план.

Сам художник это констатирует устами Якова в пьесе «Враги» *: «Талантливые пьяницы, красивые бездельники и прочие веселых специальностей люди, увь, перестали обращать на себя внимание! Пока мы стояли вне скучной суеты, нами любовались. Но суета становится все более драматической... Кто-то кричит: эй, комики, забавники, долой со сцены!»

На исторической сцене и на сцене художника кипит борьба... «врагов». Прежние задумавшиеся, не находившие точки, не знавшие места в жизни, сгоравшие от беспокойства в сердце, не уходят в босяки, в леса спасаться, не разбивают себе голову о серую стену, как Илья Лунев, не вешаются на отдушнике, как булочник Коновалов.

В драме «Мещане» Нил — только намек на грядущую силу, он уходит из дома мещан, в повести «Мать» и драме «Враги» уже слышится топот легионов и несется дыхание бурно новой жизни, новой веры, новых настроений... Сама масса становится Нилом, и строит свой «дом» — величественный и светлый, похожий на «белую церковь».

Подобно тому, как прежде символом безотрадного настроения Ильи Лунева в «Троих» являлась картина, изображавшая

* «Знание». XIV. С. 106.

Христа, который шел «и печально и задумчиво наклонив голову, печальный и одинокий среди каких-то развалин», — так теперь символом светлого настроения Павла, Михайлова сына, является другая картина: Христос идет легко и бодро в Эммаус, и он не одинок.

Удержанные глаза узнают воскресшего...

Творчество художника идет навстречу этому узнаванию, художник помогает открыть глаза, он учит не искать живого среди мертвых...

Не за это ли мещанин теперь хоронит живой талант и возвещает его конец?!





А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Двадцать третий сборник «Знания»

II. СВЕТ ВО ТЬМЕ

Свет во освещение языков и слава людей твоих Израиля.

1

Критики «Исповеди», как марксисты (Львов в «Образовании»), так и не марксисты, как будто сошлись в одном: «“Исповедь” во всяком случае знаменует собою если не отказ, то некоторое отдаление Горького от марксизма».

Да, всякое движение вперед или выяснение сущности того или другого учения марксизма — есть удаление от марксизма, тогда — да!

Мы понимаем, что врагам марксизма очень хотелось бы считать его ныне и присно и во веки веков «сухой догмой», выдать его за нечто мертвое, как глыба камня, неспособное к жизни и развитию. Такая позиция дает возможность отсекал от марксизма всякую живую ветвь его, как незаконное новообразование, как болезнь, и осудить его на бесплодность, на пребывание косной величиной среди вечно развивающейся жизни. Мы понимаем выгоды такой позиции для врагов марксизма. Да и то сказать, они могут искренне верить в окаменелость марксизма потому, что внутри марксизма они не бывали, живой сути его не понимают. Что вы станете требовать от какого-нибудь Философа?

Но марксисты! К сожалению, попадаютс я и среди них люди, которым как будто некогда разбираться в разных «новых выдумках» и которые хотят быть спокойны насчет теории. Почаще бы вспоминали слова Бебеля¹, отнюдь не ярого и легкомыс-

ленного новатора. Вот что говорил немецкий ветеран на ганноверском партийтаге (1890 г.):

«Объявление кого-либо еретиком предполагает существование у нас догмы. Но, если существует партия, у которой *нет догмы*, то это социал-демократия, а если были люди, осудившие догматизм окончательно, очистившие от него наши головы, — то это были Маркс и Энгельс... У нас нет догмы и не может быть еретиков».

2. Одиссея богоискателя

Герой «Исповеди» не социал-демократ и не рабочий, а полукрестьянин. Это следует хорошенько заметить. Повесть — его Одиссея богоискателя из «народа». Уж не народничество ли это, не народнический ли выбор темы? Увидим.

Натура страстная, с детства встретившая суровую судьбу, Матвей нашел успокоение для своей мятежной души в религии. Вдумываться в сущность человеческого богословия, а тем более христианской догмы, он еще не мог; то, что увлекало его, было религиозное чувство, восхищающее сердце от земли, по действию своему превосходящее действие самой сильной музыки. Забвение особого рода, сладкое забвение дает религия, занимая свое большое место рядом со всякими другими родами опьянения и даже далеко впереди их.

«Стою, бывало, один во храме, тьма кругом, и на сердце — светло, ибо там мой Бог, и нет места ни детским печалям, ни обидам моим и ничему, что вокруг, что есть жизнь человеческая. Близость к Богу отводит далеко от людей, но в то время я, конечно, не мог этого понять».

Начал книги читать церковные, — все, что было, читаю, — и наполняется сердце мое тихим звоном красоты божественного слова; жадно пьет душа сладкую влагу его, и открылся в ней источник благодарных слез. Бывало, приду в церковь раньше всех, встану на колени перед образом Троицы и лью слезы, легко и покорно, без дум и без молитвы; нечего было просить мне у Бога и бескорыстно поклонялся я Ему».

Вера в благостного Бога, так ярко выраженная в словах: «не один я на свете, а под охраной Божьей и близко Ему», вполне мирится и даже сливается в гармоничный аккорд с непосредственным впечатлением природы, когда человек подходит к ней не как трудящийся, добывающий у нее, как у мачехи, необходимого для жизни, а как любующийся ее красотой. Но скоро пришло время, когда «заметили меня люди, и я заметил их».

Если сатана не особенно тревожил Матвея, пока дело шло о природе, то ох как силен оказался он среди людей. И не только зрителем, но и участником унижительной и страшной драмы борьбы за существование и личное счастье пришлось стать Матвею.

Жизнь зацепила и его руками милой «Ольгуньки» и начала метать в своем огромном скрипучем колесе. Вся гармония веры без рефлекса пошла прахом. Праведность встретила с наглой и зубастой рожей «житейской мудрости» и сплеховала. Гордо барахтался Матвей, мучил вокруг себя, болел душою. Кто в жизни народной, трудовой, тяжелой может миновать всю эту нечистую силу? Но одних она только слегка калечит и грязно пачкает, и они с убитой, замолкшей душою или с душою озверелой начинают идти в общей давке стихийной, экономической жизни к отвратительному успеху или мучительной гибели и, наконец, — к общей яме, куда сгребает их сестра жизни, владычица-смерть.

Матвея же, благодаря обстоятельствам, гордому строю души и первым зачаткам поэтического жизнепонимания, заложенным дьячком и скоморохом, судьба сразу как-то зашибла, все отняла, всяких прицепок к так называемому житейскому счастьем лишила, облегчая ему возможность всплыть на поверхность житейского моря, бросить мир, перестать быть активным участником в его борьбе, превратиться в свободного, как птица, искателя Бога и правды, которого внутренне гложет великая тоска.

Бродячие богоискатели — это воплощение поисков человеческой совести в потемках хаотического социального строя. Сумеречными головами начетчиков, искаженными нелепыми мудрствованиями, думает душа невежественного, но опытного муки полупросвещенного народа. Израненными ногами калек переходящих гоняется страдалец-народ за правдой.

Выдающийся тип такого ходака народного за правдою берет Горький.

Что-то найдет он? Так же ли бесплодны будут его странствия, как в былые века? Примет ли он за обретенное сокровище какую-нибудь аскетическую, отрицающую человека, самоубийственную иллюзию? Найдет ли потерянное самозабвение в острых экстазах радений, этом дионисиевском, трагическом, больном взлете вон из тела и мира? Упадет ли на какой-нибудь безвестной дороге, ведущей к каким-нибудь фантастическим «Рахманам», в царстве пресвитера Ионы, к исчезающим коленам Израиля, которые где-то на «Белых водах» нашли соци-

альный мир, осуществили «жизнь по совести»? Или, опустившись и потеряв в грязи осенних распутиц и по трапезням монастырей сокровище своего беспокойства, превратится в профессионального странника, ищущего одного пропитания телу? Или, наконец, озлобившись, уйдет в бродяги и очутится вместо «Белых вод» в рудниках Нерчинска?

Останавливаться на встречах нашего Одиссея мы не будем. Что можно тут прибавить? Автор говорит за себя. Никогда не забудутся Миха, Антоний, Мардарий и многие другие. Это такая пластика, которая ставит «Исповедь» по художественному достоинству в ряд с другими лучшими произведениями русской литературы.

Но из скитаний Матвей выносит одно мрачное отчаяние. Душа его очистилась от всех ложных иллюзий, в ней царит «честный пессимизм».

Тут он встречает Иону.

Идейная сила и совершенная новизна повести Горького заключается именно в грандиозной картине: измученный народ в лице своего ходака, своего искателя лицом к лицу сталкивается с «новой верой», с истиной, которую несет миру пролетариат.

Может ли пролетарская истина стать во всей чистоте достоянием трудовых масс?

Нет. Но, во-первых, к ней могут и должны прийти многие представители коренной крестьянской и мелкопомещанской интеллигенции и прийти так же прочно, как лучшие интеллигенты. Во-вторых, такие элементы, которые являются переходными типами к ремесленному и сельскому пролетариату, и самый пролетариат этого рода вполне могут примкнуть к знамени научного социализма, хотя в их понимании истины социализма предстанут, быть может, в другой перспективе. В-третьих, та политическая гегемония, то революционное сотрудничество, программу которых в общих чертах указал, а возможность доказал даже такой в глазах многих «узкий ортодокс», как Каутский², — несомненно будут иметь параллелью своей влияние пролетарской идеологии на мелкую буржуазию.

Итак, отнюдь не примыкая к мутной путанице эсерства, мы можем и должны стоять на той точке зрения, что влияние пролетариата на народные массы не пустой звук, а явление первой важности. Его-то и изображает Горький в «Исповеди». Засиял свет во тьме. Свет этот разливается по деревням, где еще сильна «власть тьмы», вокруг всякого города, всякого завода.

Свет этот объемлет прежде всего фабрично-заводской пролетариат, этот избранный народ новейшей истории, но он служит и просвещением всему окружающему. Надо радоваться этому эндосмосу, надо внимательно следить за этим огромным явлением. Книга Горького в высокой мере способна ускорить и усилить этот процесс, и в этом будет ее историческая заслуга; смешно в исполнении этой задачи видеть «народничество».

3. Вольный застрельщик

Ширится свет пролетарского мирозерцания по лицу земли русской; и причудливо, а иногда поистине прекрасно при всей оригинальности преломляется в головах самородков, которыми так богат народ.

Само собою разумеется, Иона, этот вольный застрельщик и загонщик новой истины, не удовлетворяет всем тем требованиям, которые предъявляются к сознательному партийному пропагандисту.

Но он ведь в учителя не метит, понимает свое место, да и великолепно это место.

«Ты не ищи в словах моих утверждения: я не учить хочу, а рассказывать. Утверждают те, для кого ход жизни опасен, рост правды вреден. Видят они, что правда все ярче горит — потому все больше людей зажигают пламя ее в сердце своем, — видят они это и пугаются! Наскоро схватят правды, сколько им выгодно, стиснут ее в малый колобок и кричат на весь мир: вот истина, чистая духовная пища, вот — это так! и — навеки незыблемо! И садятся, окаянные, на лицо истины и душат ее, за горло взяв, и мешают росту силы ее всячески, враги наши и всего сущего! А я могу сказать одно, на сей день — это так, а как будет завтра — не ведаю! Ибо, видишь ли, в жизни нет настоящего, законного хозяина; не пришел еще он, и неизвестно мне, как распорядится, когда придет: какие планы утвердит, какие порушит и какие храмы станет возводить».

В жизни нет настоящего хозяина! Кто же он? О, по отношению к нему и пролетариат нынешний только предтеча, как Иона только предтеча пролетарской мысли. Не Бог ли этот хозяин: Иона называет его именно так.

Только на каком месте стоит этот Бог?

«Кто есть Бог, творяй чудеса? Отец ли наш, или же сын духа нашего?»

Бог, о котором говорит старик, — человечество, цельное социалистическое человечество. Это единственное божественное,

что нам доступно. Этот Бог не родился еще — строится только. А кто богостроитель? Конечно, пролетариат, в первую голову в тот момент, который мы переживаем. Но вообще во всем ходе истории — опять-таки человечество, но разрозненное, еще темное. И надо вычистить из него группы, препятствовавшие росту сил и сознания этого человечества, превращению человечества бессознательного в сознательное, его светлому преобразению. Эту теорию, пожалуй, назовут «народнической»? Нет же! В общем и целом она верна и с нашей точки зрения, — только знаем мы точно тот процесс, в котором совершается преобразование, и роль в нем пролетариата. В этом *точном* понимании сил, ведущих к преобразению экономического хаоса в социалистическую гармонию, — особенность марксизма по сравнению с историческим социализмом вообще, Иона дает общую истину, не определяя ее точно. И в этой общей форме она доступнее такому человеку, как Матвей. И ему, богоискателю, понятнее высокая формула, в которую облечен здесь социализм. Ищешь Бога? Бог — есть человечество грядущего, строй его вместе с человечеством настоящего, примыкая к передовым его элементам. «Вот просыпается воля народа, соединяется великое, насильно разобщенное, уже многие ищут возможности, как слить все силы земные в единую, из ее же образуется светел и прекрасен всеобъемлющий Бог земли!»

Чудная формула. Не в наших терминах изложена, но по существу она наша. Это та же музыка, наша музыка, только играют ее на новых инструментах...

И куда же пошлет Иона нашего Одиссея, у которого смутно на душе, как перед утром? К источнику своей мудрости, источнику своеобразно в его голове преломившегося света.

«Иди-ка на завод, да работай там и с дружками моими толкуй; не проиграешь, поверь! Народ — ясный, вот — я у них учился и, видишь, не глуп, а? Написал какую-то записку, сунул мне. — Ей-ей — иди туда! Не худа желаю тебе, увидишь! Народ новорожденный и живой!»

4. Народ новорожденный

«Хожу по деревням, посматриваю. Угрюм и дерзок народ, не хочется ни с кем говорить. Смотрят все подозрительно, видимо, опасаются, не украли бы чего.

— Богостроители, — думаю я, поглядывая на корявых мужичков. Спрошу: куда дорога?

— На Исетский завод.

— Что тут — все дороги на этот завод?»

Вот простое и вместе глубоко символическое определение отношения «народа», еще совершенно хаотичного к той части народа, которой фабричный котел помог родиться вновь. Прибавлять что-либо к данному автором описанию завода и впечатления, произведенного им на душу Матвея, мы не намерены. Но мы остановимся на одном. Учитель Михаиле не еретик ли? По-видимому, коренной пролетарий Ягих сам не одобряет некоторые

странности Михайлова понимания социализма. — «У Мишки на двоих разума», — говорит Ягих:

— Ты погоди, — он себя развернет! Его заводский поп ереси-архом назвал. Жаль, с Богом у него путаница в голове! Это — от матери. Сестра моя знаменитая была женщина по божественной части — из православия в раскол ушла, а из раскола ее вышибли.

Что же это за «путаница» с Богом? Быть может, она понадобилась автору как дидактический прием? Может быть, Бог служит Михаилу для заманивания в свою веру таких людей, как Матвей?

Вопрос о Боге был постоянной причиной споров Михайлы с дядей своим. Как только Михаила скажет «Бог» — дядя Петр сердится.

— Начал. Ты в это не верь, Матвей! Это он от матери заразился!

— Погоди, дядя! Бог для Матвея — коренной вопрос!

— Не ври, Мишка! Ты пошли его к черту, Матвей! Никаких богов! Это — темный лес: религия, церковь и все подобное; темный лес, и в нем — разбойники наши! Обман!

Но нет. Ссылкой на приверженность Матвея к богословской терминологии Михаиле только отмахивается от дяди. И для него вопрос о Боге глубокий вопрос, волнующий его собственную душу. Должны ли мы, подобно Ягих, не разбираясь в сути, слыша лишь слово «Бог», кричать: «Темный лес, обман!»? Есть ли что-либо темное в «религии» Михайлы? Кроется ли в ней какой-либо обман? Матвей замечает:

— Бога не понимал я у него; но это меня не беспокоило; главной силой мира он называл некое вещество, а я мысленно ставил на место вещества Бога — и все шло хорошо.

Матвей инстинктивно становится на космическую точку зрения, религиозную точку зрения Спинозы, Геккеля³ и монистов, называя именем Бога совокупность законов вселенной, ее безграничную субстанцию. Думается, однако, что в такой «ве-

ре» есть еще порядочно тьмы и может угнездиться и обман. С понятием «Бог» неразрывно сплетено представление о благодати, святости и совершенстве. Вывод, невольно напрашивающийся и действительно провозглашенный монистами, как идеалистами вроде Гегеля, так и материалистами от Штрауса⁴ до Геккеля — ясен: законы природы благи, святы и совершенны, человек должен благоговеть перед ними. Между тем законы природы суть лишь временные формулы, в которые мы кое-как укладываем те или другие проявления необъятного. Кроме того, они отнюдь не воля и предписание по аналогии с юридическими законами, а лишь познавательное приспособление — для собственного своего преодоления. Закон падения изучается для того, чтоб летать. Всюду должен человек дерзко пытаться природу и побеждать ее всегда кажущиеся ограничения. Всякое ограничение, как бы для того только и осознается, чтобы сначала мысленно, а потом и на деле преодолеть его.

Дух благоговения к Универсу, которым проникнут буржуазный монизм, может стать источником новых путей для человека. Сама природа, мол, изволила установить то и то, и новые вольте-рианцы напрасно против этого говорят. И пришлось бы новым вольте-рианцам разрушать нового бога-природу так, как самому старому Вольтеру — католического бога, а Геккелю — бога Вольтера и деистов.

Но Михайло, улыбаясь, говорит: «Бог еще не создан». Этим он переносит нас на совершенно новую почву. Нет ничего в мире, перед чем благоговейно склонился бы человек.

«Главное преступление владык жизни в том, что они разрушили творческую силу народа. Будет время — вся воля народа вновь сольется в одной точке; тогда в ней должна возникнуть необозримая и чудесная сила, и — воскреснет Бог! Он-то и есть тот, которого Вы, Матвей, ищете!»

То, перед чем Михайло согласен благоговеть, есть грядущая коллективная воля народа. С нею умирает, с нею рождается то великое, перед чем может склониться отдельный человек.

Мы уже предвидим первое же возражение. «И здесь скажут нам, есть великая опасность: опасность подчинения личности вашему Левиафану, вашему новому богу — коллективу». Что значит подчинение личности? В искусственном коллективе, подобном государству собственников, коллектив действительно нечто чуждое личности, здесь стадный инстинкт и общие интересы давят на индивидуальные стремления и разбивают (иногда) частные интересы. То, что есть общего в этих совершенно разрозненных людях, соединилось в одно, подавляя в них же

самих то, что есть в каждом особенного. Здесь есть тирания общества над личностью.

Но все это совершенно исчезнет в коллективе живом, органическом и творческом. Здесь личность дорога именно своими особенностями, ради общего хора, — все вечно движется: совершенство обеспечено коллективным подбором, а широта и разнообразие — индивидуальной изменчивостью. Нет раздвоения на гражданина и личность, есть только творящий, до глубины души коллективно чувствующий человек.

Даже индивидуалист Матвей при соприкосновении с пролетариатом стал чувствовать это. «Стал я замечать в себе тихий трепет новых чувств, как будто от каждого человека исходит ко мне острый и тонкий луч, невидимо касается меня, неощутимо трогает сердце, и все более чутко принимаю я эти тайные лучи. Иногда соберутся у Михайлы рабочие и как бы надышат горячее облако мысли, окружает оно меня и странно приподнимает. Вдруг все начнут с полуслова понимать меня, стою в кругу людей, и они как бы тело мое, и я их душа и воля, на этот час. И речь моя — их голос. Бывало, чувствуешь, что сам живешь, как часть чьего-то тела, слышишь крик души своей из других уст, и пока слышишь его — хорошо тебе, а минет время: замолкнет он, и — снова ты один, для себя».

«Вспоминаю бывшее единение с Богом в молитвах моих: хорошо было, когда я исчезал из памяти своей, переставал быть! Но в слиянии с людьми не уходил я от себя, но как бы вырастал, возвышался над собою и увеличивалась сила духа моего во много раз. И тут было самозабвение, но оно не уничтожало меня, а лишь гасило горькие мысли мои и тревогу за мое одиночество».

И отсюда вывод, который, будучи не сказан только кончиком уст, не достигнут только усилием холодной мысли, но испытан живым опытом страстного сердца, — становится огромным.

«В целом ты найдешь бессмертие, в одиночестве же — неизбежное рабство и тьма, безутешная тоска и смерть».

В одном я могу упрекнуть Михайлу. Не напрасно, хотя, конечно, и огрубляя до чрезвычайности, говорит ему дядя:

«Ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода наворовал, и смущаешь людей! Коли говорить, что рабочий народ вызван жизнью обновлять — обновляй, а не подбирай то, что попами до дыр заносено, да брошено!»

Не то что попами! Не попами создано слово, понятие «Бог». Но вообще слишком много назад смотрит Михайло. Вместе с

надеждой на Бога — коллективное человечество — в будущем, он напрасно видит его и в прошлом.

«Бог, о котором я говорю, — был, когда люди единодушно творили его из вещества своей мысли, дабы осветить тьму бытия; но когда народ разбился на рабов и владык, на части и куски, когда он разорвал свою мысль и волю, — Бог погиб, Бог разрушился!»

Нет, Михайло, Бога, о котором вы говорите, никогда не было. Погибшие боги народа, конечно, благороднее, глубже, чем искусственный бог новых времен, изучить их следует, ибо история их есть история характерных и необходимых заблуждений человеческого духа, но они умерли и не «воскреснут»; не то слово, не то слово!

Не будем кричать никакому золотоусому Перуну — «выдыбай, боже!» — Бог, которого хочет Михайле, еще только должен родиться. Это — власть коллективной, разумной воли. И когда родится он? Вечно будут возникать задачи перед человеком, вечно будет он чувствовать свою ограниченность, — «еще не бог я, — еще не все моя воля, еще не бесконечно мое существо! — значит, не родился еще Бог!» И никогда не родится Бог *всемогущий*, ибо бесконечна и всеобъятна вселенная, но что за дело? Никогда не родится Бог-Абсолют, Бог *всемогущий*, но родится с упрочением социализма могучий коллективный разум — человек. У Михайлы будущее является словно возвратом к золотому прошлому. Это-то и смущает Ягих. «Обновляй», — кричит он сердито.

Новая среда не втянула и не хотела сразу втянуть в себя еще не готового человека. Матвея просветил пролетариат и отпустил таким же носителем преломленных лучей своих, каким был Иона.

— Приобщите, — прошу, — и меня к этому делу! Горит во мне все.

— Нет, — отвечал Михайло, — подождите и подумайте, рано вам!.. Есть у вас много нерешенного и для нашей работы — не свободны вы! Охватила, увлекает вас красота и величие ее, но — перед вами развернулась она во всей силе, — вы теперь как бы на площади стоите, и виден ваш посреди ее весь создаваемый храм, во всей необъятности и красоте, но он строится тихой и тайной будничной работой, и если вы теперь же, плохо зная общий план, возьметесь за нее — исчезнут для вас очертания храма, рассеется видение, не укрепленное в душе, и труд покажется вам ниже ваших сил.

— Зачем, — с тоской спрашиваю его, — вы меня гоните? Я себе место нашел, я — рад видеть себя силой нужной...

А он спокойно и печально говорит:

— Не считаю вас способным жить по плану, не ясному вам; вижу, что еще не возникло в духе вашем сознание связи его с духом рабочего народа. Вы для меня уже и теперь отточенная трением жизни, выдвинутая вперед, мысль народа, но сами вы не так смотрите на себя: вам еще кажется, что вы — герой, готовый милостиво подать от избытка сил помощь бессильному. Вы нечто особенное, для самого себя существующее; вы для себя — начало и конец, а не продолжение прекрасного и великого бесконечного!

Это воистину прекрасно. Это живое, конкретное чувство коллективного единства — столь же необходимый элемент подлинного пролетарского социализма, как и те строгие, «холодные» формулы, в которых многие усматривают альфу и омегу марксистской ортодоксии. В эти слова «еретика» надо вдуматься каждому полусоциалисту! А много их, гораздо больше, чем сами они думают.

5. Чудо

Мощь коллектива, красота экстаза коллективной жизни, чу-дотворящая сила у коллектива — вот то, во что верит автор, вот то, к чему зовет он. Но не сказал ли он сам, что народ разрознен и подавлен сейчас? Не сказал ли он, что коллективизма можно искать лишь в народе новорожденном, на заводе?

Да, только тут, только в собирании коллектива классового, в медленном строении общепролетарской организации настоящая работа по преобразению людей в человечество, хотя тоже подготовительная работа. Это не значит, чтобы порывами, моментами не вспыхивало коллективное настроение, чтобы иногда и случайно не сливались кое-где человеческие массы в единоволющее целое. И вот, как символ грядущего, как бледный прообраз, — бледный по сравнению с грядущим, но яркий по сравнению с окружающим, — дает Горький свое чудо.

Некоторые шокированы обрядовой и суеверной обстановкой, наличием старорелигиозного экстаза, разношерстностью этой, скорее в общем дикой и несимпатичной толпы. За этими соображениями многие не рассмотрели сущности.

Важны тут именно наличием *общего* настроения, *общей* воли. Коллектив, правда, создан здесь искусственно и сила его фетишизируется в умах участников, но он все же создан, и

сила налицо. Дело не в том, чтобы *отрицать* начисто, а приори, а в том, чтобы понимать и оценивать. Как понять факт сладостного и грандиозного душевного подъема участников коллективных религиозных актов, факт развития в такой толпе новых сил, магнетически подчиняющих отдельные организмы? Это кусочек грядущего, говорит автор здесь случайно и искусственно произошло слияние психик. Основа всех почти чудес религиозного мира — *слияние душ*. И какова же оценка? Самая положительная по отношению к факту, самая отрицательная по отношению к его формальной оболочке. Все это ясно из размышлений Матвея после чуда:

«Видел я землю, как полную чашу ярко-красной, неустанно-кипящей, живой крови человеческой, и видел владыку ее — всемогущий, бессмертный народ.

Окрыляет он жизнь ее величием деяний и чаяний, и я молился: — Ты еси тот Бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий Твоих!

Да не будут миру бози инии разве Тебе, ибо ты еси един Бог, творяй чудеса!

Тако верую и исповедую!»

...И — по сем, возвращаюсь туда, где люди освобождают души ближних своих из плена тьмы и суеверий, собирают народ воедино, освещают пред ним тайное лицо его, помогают ему осязать силу воли своей, указывают людям единый и верный путь ко всеобщему слиянию ради великого дела, — всемирного богостроительства ради!

Чудо — это знамение, а не выражение грядущего. Это не то, к чему зовет автор, а то, на примере чего он дает нам отчасти предвкусить желанное.

Но велика запуганность наша. Крестный ход? Иконы? Ризы? Кадила? — не хотим ничего слышать. Хотя бы в этих условиях развивались самые любопытные социально-психологические явления. Так нельзя.

Основной принцип марксизма — смотреть *на весь мир* глазами аналитика и диалектика, откликаться на его явления сердцем сознательного борца и безусловного коллективиста. Пусть читатель, на которого напала робость от непривычного сопоставления коллективизма и крестного хода, подойдет к могучим страницам, где описано чудо, с указанными предпосылками, и он увидит, каким прекрасным документом по психологии коллектива подарил его писатель.

6

Оглядываюсь на всю «Исповедь», по ее прочтении слышишь словно стройную песню. Начинается она детским экстазом, одинокой и жизнью еще не тронутой души, потом мутится и разбивается она в диссонансах, столкнувшись с диким хаосом жизни, подымается над ним в тоскливом полете, полная исканий и боли, надрывается, отчаивается, опускается медленно, черная, как тяжелый ворон, мрачная, как погребальный марш, безотрадная, как осенние тучи. И вдруг словно радуга разворачивается по небу исполинским веером, все вострепелось, все осветилось проглянувшим солнцем, словно, глотнув воды живой, подымается вновь песня, сначала робко звенит, как бы не веря счастью и спасению своему, как бы робея перед неведомой силой, приласкавшей озябшую душу. И все выше забирает, как жаворонок, и бросает трели, будто увидела сверху тот «град», которого взыскала давно и тщетно, и крепнет песня, превращаясь в славословие новой силе и новой истине, и кончается криком буревестника, обещая что-то большое, страшное, светлое! Это песня «язычника», пришедшего к церкви истинной, это признание исстрадавшегося путника перед лицом новорожденного народа — мессии:

«Ты свет в освещении языков и слава людей твоих Израиль!»

«Позвольте рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас немного, а знать ее надобно вам».

Так начинает свою повесть Матвей.

Да, эту жизнь надобно знать.

Перед огромным фактом проникновения пролетарской истины в массы, перед фактом появления нового читателя, нового мыслителя, мучительно, напряженно рассуждающего о жизни, обществе, о мире, о себе, готовящего в лаборатории своего непривычного мозга какое-то страшное дело — дитя не инстинкта только, который плодит слепых уродцев, а и мысли — перед этим фактом жалкой мелочью является политика на поверхности и с дозволения начальства, все эти думы «Речи», значение которых «темно или ничтожно», наглые «Русские знамена»⁵ и пр., вся мышьяная возня и пискотня мещанской публицистики и неопрятность мещанской литературы!..

Там, в глубине, идет работа, звенит и шелестит что-то, как ночью тронувшиеся массы льда на реке. Там идет перемещение каких-то молекул, непреодолимый процесс группировки сил вокруг нового средоточия.

Осветив этот процесс снопами лучей, Горький вместе с тем и помог ему. Много Матвеев, не переступивших еще светлый порог, придут к нему прямее и скорее. Эта работа во имя и на пользу нашей концентрации.

Злитесь же, рыцари «доброго хаоса». Есть ли у вас мещанский нюх? Поверьте, проявленная некоторыми из вас готовность хитрить, играть на то, чтобы «поссорить» Горького с марксизмом, на то, чтобы немножечко хотя запачкать его вашими похвалами, — ошибочная тактика. И раз замолчать новые произведения Горького вам невозможно, самое лучшее все-таки ругать их. Они слишком ярки. Если же кто-либо воображает, что Горький сделал хоть полшага навстречу «доброму хаосу», — о, какое разочарование ждет такого простеца!





Г. В. ПЛЕХАНОВ

О так называемых религиозных исканиях в России

Статья вторая (отрывок)

в) «ИСПОВЕДЬ» М. ГОРЬКОГО КАК ПРОПОВЕДЬ «НОВОЙ РЕЛИГИИ»

М. Горький — замечательный и яркий художник. Но даже гениальные художники нередко совершенно беспомощны в области теории. За примерами ходить недалеко: Гоголь, Достоевский, Толстой, эти гиганты в области художественного творчества, обнаруживают детскую слабость каждый раз, когда берутся за тот или другой отвлеченный вопрос. Белинский говорил, что у художников ум уходит в талант. Немного найдется исключений из этого общего правила. Во всяком случае, М. Горький не принадлежит к числу таких исключений. У него тоже ум ушел в талант. Потому и неудачны те его произведения, в которых силен публицистический элемент, например очерки американской жизни и роман «Мать». Очень плохую услугу оказывают ему люди, побуждающие его выступать в ролях мыслителя и проповедника; он не создан для таких ролей. Новым доказательством этого служит его повесть «Исповедь».

В ней есть чудные страницы, продиктованные поэтическим сознанием единства человечества с природой. В таких страницах слышатся гетевские мотивы. Но эти чудные страницы не мешают повести «Исповедь» быть в последнем счете очень неудачной. М. Горький, который в романе «Мать» взял на себя роль проповедника социализма, выступает в этой повести в качестве проповедника «пятой религии» г. А. Луначарского. И это обстоятельство портит все дело: благодаря ему исповедь

оказывается непомерно длинной, выдуманной и местами прямо скучной. Его герои, — послушник Матвей, от лица которого ведется рассказ, странник Иона, заводский учитель Михайло, — говорят весьма несообразные вещи. Этого нельзя было бы поставить М. Горькому в вину, если бы он относился к ним, как художник, но он относится к ним, как мыслитель, пользующийся ими для выражения своих собственных мыслей. Поэтому читатель не может не относить на счет самого М. Горького то, что говорят эти его герои. А так как они заговариваются, то их речи вызывают досадное чувство, заставляя вспоминать мораль той басни Крылова, в которой рассказывается, как

Зубастой щуке в мысль пришло
За кошацье приняться ремесло...¹

Но в мой план не входит разбор повести «Исповедь». Говоря о ней, я буду иметь дело с М. Горьким не как с художником, а как с религиозным проповедником. Он проповедует то же, что и г. Луначарский. Но он меньше знает (этим я не хочу сказать, что г. Луначарский знает много); он наивнее (этим я не хочу сказать, что г. Луначарский лишен наивности); он менее знаком с современной социалистической теорией (это отнюдь не значит, что г. Луначарский хорошо знаком с нею). Поэтому его попытка облечь социализм в ризу религиозности оказывается еще более неудачной. Заводский слесарь Петр Ягих замечает в его повести, обращаясь к своему племяннику Михайле:

«— Ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода наворовал, и смущаешь людей!» *

Само собою разумеется, что я даже в шутку не повторяю здесь слова: воровство. Оно было бы безусловно неуместно. Но я должен сознаться, что религиозные мысли М. Горького производят впечатление именно огурцов с чужого огорода, выросших совсем не на той почве, на которой растут и зреют идеи современного социализма. М. Горький хочет дать нам философию религии, а на самом деле дает... только понятие о том, как плохо известна ему эта философия.

Наиболее сведущий из выводимых им богоискателей, Михайло, говорит для назидания Матвея: «У рабов никогда не было Бога, они обоготворяли человеческий закон, извне внушенный им, и во веки не будет Бога у рабов, ибо он возникает в пламени сладкого сознания духовного родства каждого со все-

* «Исповедь» М. Горького, с. 163 берлинского издания, к которому и относятся все мои ссылки.

ми!» *. Это фактически неверно. Бог возникает, как мы уже видели в первой статье, вовсе не в пламени сладкого сознания духовного родства каждого со всеми. Он возникает тогда, когда данный кровный союз доходит до представления о своей тесной связи с данным духом. Мало-помалу члены этого союза начинают относиться к этому духу с любовью и уважением, т. е. начинают приурочивать к нему те общественные чувства, которые вызываются и упрочиваются у них совместной борьбой за существование. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что чувства эти возникают гораздо раньше, нежели появляются боги. Потому-то и ясна теперь ошибка тех, которые, подобно Горькому, именуют религиозным всякое общественное чувство. Что же касается рабов, то их богами были боги тех племен, к которым они принадлежали, если только рабы не усваивали религии своих господ. Вот что хочется прежде всего возразить М. Горькому, — говорящему устами своего Михаила, — очистив его фразу от того божественного елея, которым она в избытке смазана. Но присмотревшись поближе к очищенной от божественного елея фразе, я вижу, что ее, по известному выражению, «надлежит понимать духовно». Бог Михаила не есть один из тех многочисленных богов, которым поклонялись или поклоняются дикари, или варвары, или цивилизованные народы. Это Бог будущего, тот Бог, который, по убеждению Горького, будет «построен» ** достигшим своего самосознания пролетариатом в сотрудничестве со всем народом ***. Если это так, то само собою понятно, что такого бога

* «Исповедь». С. 164.

** Чрезвычайно характерное для нынешних наших богоискателей выражение: они именно «строят» Бога с заранее обдуманном намерением, как архитектор строит дом, сарай или вокзал железной дороги.

*** «Богоискатель, — говорит М. Горький устами своего старца Ионы (Иегудиила тож), — это суть народушко! Неисчислимый, мировой народ; Великомученик великий, чем все церковью прославленные — сей бо еси Бог, творяй чудеса! Народушко бессмертный, его же духу верую, его силу исповедую; он есть начало жизни единое и несомненное, он отец всех богов бывших и будущих!» (С. 140). Г. А. Луначарский, написавший толкователь к повести «Исповедь» (см. его статью о XXIII сборнике «Знания» во 2-й книге сб. «Литературный распад»), опасаясь, как бы читатель не заподозрил М. Горького «в с.-р.-стве», спешит предупредить такое подозрение. Он уверяет: «Отнюдь не примыкая к мутной путанице эсерства, мы можем и должны стоять на той точке зрения, что влияние пролетариата на народные массы не пустой звук, а явление первой

никогда не было и «во веки веков не будет» не только у рабов, но и у всех тех, которые не обратятся в веру, сочиненную блаженным Анатолием². Это — святая истина. Но как бы густо ни смазывал божественным елеем эту святую истину М. Горький, она все-таки будет тоща, как самая тощая из тощих коров, некогда приснившихся египетскому фараону. Она не внесет ровнехонько ничего нового ни в наше мирозерцание, ни в наше понимание психологии пролетариата.

Впрочем, погодите! Сказав, что бог Михайлы не есть один из тех многочисленных богов, которым поклонялись или поклоняются племена и народы на различных стадиях своего культурного развития, я опять (и опять, поверьте, не по своей вине) не совсем точно передал мысль М. Горького. В конце его повести оказывается, что «богостроитель-народушко» есть не народушко более или менее отдаленного будущего, а народушко настоящего, представляемый толпой богомольцев, шествующей в религиозном экстазе за иконой Богородицы. И этот «народушко» нынешнего времени совершает даже чудо исцеления расслабленной, вследствие чего послушник Матвей обращается к нему с молитвой.

«Ты еси мой Бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий твоих!» и т. д. *

Оказывается, что Михаиле был неправ, когда говорил, «улыбаясь»: «Бог еще не создан». И даже неправ он был, когда «упрямо» твердил:

«Бог, о котором я говорю, был, когда люди единодушно творили его из вещества своей мысли, дабы осветить тьму бытия; но когда народ разбился на рабов и владык, на части и куски,

важности. Его-то и изображает Горький в «Исповеди». Засиял свет во тьме. Свет этот разливается по деревням, где еще сильна «власть тьмы», вокруг всякого города, всякого завода» («Лит. расп.». С. 92). Теперь мы понимаем. Тут получается нечто вроде пресловутой «диктатуры пролетариата и крестьянства» в применении к религиозному творчеству. Г. Луначарский так прямо и говорит: «Та политическая гегемония, то революционное сотрудничество, программу которых в общих чертах указал, а возможность доказал даже такой в глазах многих «узкий ортодокс», как Каутский, — несомненно будут иметь параллелью свое влияние пролетарской идеологии на мелкую буржуазию» (Там же. С. 91). Ну вот и прекрасно! После этого всякий понимает, что, говоря о «народушке», старец Иона нимало не отклоняется от тактики г. А. Луначарского и его единомышленников. Всякий, вероятно, видит также и то, что повесть «Исповедь» написана не без влияния оной тактики.

* «Исповедь». С. 194.

когда он разорвал свою мысль и волю — Бог погиб, Бог разрушился!» *

Говорю прямо: я ни за что не догадался бы, как выйти из всех этих противоречий, если бы не толкователь. В толкователе г. Луначарский разъясняет то, что остается неясным в самой повести.

«Мощь коллектива: красота экстаза коллективной жизни, чудотворящая сила коллектива, — читаем мы в толкователе, — вот то, во что верит автор, вот то, к чему зовет он. Но не сказал ли он сам, что народ разорен и подавлен сейчас? Не сказал ли он, что коллективизма можно искать лишь в народе новорожденном, на заводе? — Да, только тут, только в собирании коллектива классового, в медленном строении общепролетарской организации настоящая работа по преобразению людей в человечество, хотя тоже подготовительная работа. Это не значит, что порывами, моментами не вспыхивало коллективное настроение, чтобы иногда и случайно не сливались кое-где человеческие массы в единоволющее целое. И вот, как символ грядущего, как бледный прообраз, — бледный по сравнению с грядущим, но яркий по сравнению с окружающим, — дает Горький свое чудо» **.

Очень хорошо. Чудо исцеления расслабленной есть символ грядущего. Но вот в чем дело. Если те моменты, когда «вспыхивает коллективное настроение» и когда человеческие массы «сливаются в единоволющее целое», должны быть признаны моментами рождения Бога, «творящего чудеса», то приходится сказать, что Бог, которому, по словам Михайлы, только еще предстоит родиться, рождался бесчисленное множество раз на самых различных стадиях культурного развития. И не только рождался, но и рождается каждый раз, когда глубоко верующая толпа участвует в религиозных процессиях. Я никогда не был в Лурде³, но мне сдается, что если бы я попал туда, хотя бы на непродолжительное время, то я сподобился бы собственными глазами увидеть, может быть, даже не один, — «символ грядущего», совершенно подобный тому, который изображен в повести Горького. А это значит: что в этом символе нет ничего символического. Мало того. «Человеческие массы» сливаются в «единоволющее целое» не только при совершении религиозных обрядов. Они сливаются в него также, например, в военных танцах: Стэнли⁴ дает превосходное описание одного из та-

* Там же. С. 162.

** «Лит. распад». Кн. 2. С. 96—97.

ких танцев, виденных им во внутренней Африке. Понадобилось бы много доброй воли для того, чтобы открыть в подобных проявлениях коллективной жизни прообраз будущего религиозного творчества. Я не знаю, чувствует ли это М. Горький, по видимому, нет. Но г. А. Луначарский сознает, что дело здесь обстоит не совсем ладно, и пытается его поправить. «Важны тут именно наличность общего настроения, общей воли, — уверяет он в своем толкователе. — Коллектив, правда, создан здесь искусственно, и сила его фетишизируется в умах участников, но он все же создан, и сила налицо. Дело не в том, чтобы отрицать «начисто» и «априори», а в том, чтобы понимать и оценивать» *. Это так. Дело, конечно не в том, чтобы отрицать «начисто» и «априори», а в том, чтобы оценивать и понимать. Но хорошо ли понимает и оценивает г. А. Луначарский то, что сказано в его толкователе? Я боюсь, что плохо. Что сознательный пролетариат, осуществляя свою великую историческую задачу, много раз проявит «общее настроение» и свою «общую волю», это ясно без всяких пояснений. Но ровно ниоткуда не следует, что это «его общее настроение» и эта его «общая воля» будут иметь религиозный характер. Г. Луначарскому поверят в этом случае только те, которые удовлетворятся «этимологическим фокусом», сводящимся к отождествлению слова «религия» со словом «связь». Но мы уже видели, как относился к этому фокусу один из основателей научного социализма, и потому нас не собьет с толку г. Луначарский, повторяющий этот фокус во имя Маркса. Далее. Справедливо то, что в интересующем нас случае «сила коллектива фетишизируется в умах участников», но весь вопрос в том, всегда ли это так будет. А. Луначарский и М. Горький хотели бы, чтобы это так было всегда. Видя, что старые фетиши частью отжили, частью отживают свой век, они задумали превратить в фетиш само человечество, налагая на него с этой целью степень божественности. Они воображают при этом, что руководствуются своей любовью к человечеству. Но это — простое и даже забавное недоразумение. Они начинают с того, что признают Бога фикцией, а кончают тем, что признают человечество Богом. Но ведь человечество — не фикция. Зачем же называть его Богом? И почему для человечества будет лестно, если его отождествят с одной из его фикций? Нет, как хотите, а я послушнику Матвею и старцу Иегудию предпочитаю Ф. Энгельса, который говорил:

* Там же. С. 97.

«Нам нет надобности апеллировать к абстракции Бога, чтобы понять величие человека; нам нет надобности в том обходном пути, идя по которому, мы должны были бы сначала наложить на человека печать Бога для того, чтобы проникнуться уважением к человеку».

Энгельс хвалит Гете за то, что он неохотно прибегает к божеству и даже избегает этого слова: «Величие Гете состоит именно в этой человечности, в этой эмансипации искусства от цепей религии» *. Как хорошо было бы, если бы изучение марксизма помогло М. Горькому понять величие Гете с этой его стороны!

Но пока что мне приходится разбирать промахи, наделанные Горьким, уверовавшим в величие г. А. Луначарского.

Вот другой промах, не уступающий первому. Странник Иона — он же Иегудиил — кричит («громко говорит, — как бы споря»):

«Не бессилием людей создан Бог, нет, но от избытка сил, и не вне нас живет он, брате, но внутри! Извлекли же его изнутри нас в испуге пред вопросами духа и наставили над нами, желая умерить гордость нашу, всегда несогласную с ограничениями волю нашу. Говорю: силу обратили в слабость, задержав насильно рост ее! Образы совершенства поспешно делаются, это — вред нам и горе. Но люди делятся на два племени: одни — вечные богостроители, другие — не всегда рабы пленного стремления ко власти над первыми и надо всею землей. Захватили они эту власть и ею утверждают бытие Бога вне человека, Бога — врага людей, судии и господина земли. Исказили они лицо души Христа, отвергли его заповеди, ибо Христос живой — против их, против власти человека над ближним своим!» **

Это поистине удивительная философия истории! Согласно ей, люди делятся на два племени, одно из которых «вечно» занимается богостроительством, а другое — всегда стремится подчинить себе вечных богостроителей. Этими взаимными отношениями «племен» и объясняется будто бы происхождение понятия о Боге, существующем вне человека. Это — фактически неверно. Понятие о Боге, существующем вне человека, обязано своим происхождением не разделению людей на «племена» или классы, а первобытному анимизму. Неверно поэтому и то, что Бог «создан от избытка сил». Наконец, ни на чем не основано то мнение, что учение «Христа направлялось против власти человека над ближним своим». Правда, нам до крайно-

* Ges. Schrift. I. S. 487.

** «Исповедь». С. 139.

сти трудно судить о том, каково было это учение в своем первоначальном виде, но именно поэтому мы должны обращаться с ним осторожно и не вкладывать в него свои собственные стремления. Во всяком случае, мы не должны забывать слова: «Царство Мое не от мира сего». Что же касается первых христиан, то едва ли не самый выдающийся из них писал: «Рабы, повинуйтесь господам своим!» Зачем же искажать историческую истину? Делая эти возражения М. Горькому, я вспоминаю о толкователе (очень удобная вещь этот толкователь; его всегда надо иметь под рукой при чтении «Исповеди») и нахожу в нем вот эти слова: «Герой «Исповеди» не социал-демократ и не рабочий, а полукрестьянин. Это следует хорошенько заметить» *. Эти слова относятся, собственно, к послушнику Матвею. Но они так хорошо замечены мною, что я не прочь бы применить их и к старцу Ионе — Иегудиилу, наговорившему пустяков о Боге, о Христе и о двух вечных «племенах» людей. Как знать? Может быть, он говорит пустяки единственно потому, что он не социал-демократ, не рабочий, а «полу»-что-нибудь другое? Но мое сомнение решительно устраняется самим г. А. Луначарским, который, как раз по поводу встречи героя «Исповеди» с Ионой, говорит в своем толкователе (повторяю: не расставайтесь с толкователем при чтении «Исповеди»): «Идейная сила и совершенная новизна повести Горького заключается именно в грандиозной картине. Измученный народ в лице своего ходока, своего искателя лицом к лицу сталкивается с «новой верой», с истиной, которую несет миру пролетариат» **. Если это так, если старец Иона излагает измученному Матвею истину, которую несет миру пролетариат, то тут мы должны быть строги; тут мы не имеем права принимать во внимание смягчающее обстоятельство вроде того, что Иона не рабочий, а «полу»-неизвестно что, и тут мы должны требовать от М. Горького, «создавшего» Иону новой истины во всей ее полноте. Но я уже сказал, что великий художник, Горький — плохой мыслитель и неудачный проповедник новой истины. В этом все дело. Буду откровенен до конца: с таким большим художником, как М. Горький, критика обязана говорить «напрямик, без изгиба». М. Горький сам плохо переварил ту истину, которую несет миру пролетариат. Этим объясняются многие его литературные промахи. Если бы он хорошо переварил названную истину, то его американские очерки были бы написаны совершенно в дру-

* «Лит. распад». II. С. 90.

** Там же. С. 91.

гом духе: их автор не выступал бы перед нами в виде народника, проклинающего пришествие капитализма. Еси бы он хорошо переварил эту истину, то те герои, которым он поручает вещать ее, не говорили бы двусмысленного вздора при каждом удобном и неудобном случае. Наконец, — и это самое главное, — если бы он хорошо переварил эту истину, то он ясно увидел бы, что в настоящее время нет ни теоретической, ни практической надобности разогревать старую ошибку Фейербаха и налагать штемпель религии на такие отношения людей между собою и на такие их чувства, настроения и стремления, в которых нет ровно ничего религиозного. Тогда он и сам не сделал бы огромной ошибки, носящей название: «Исповедь». Но... мало ли что было бы, если бы было то, чего нет. «Зубастой щуке в мысль пришло за кошачье приняться ремесло». Горький захотел быть учителем, между тем как он сам еще далеко не доучился. Парень Федюк говорит Матвею, провожая его ночью: «Все говорят одно — не годится такая жизнь! Стесняет. Покуда я этого не слышал — жил спокойно. А теперь — вижу, ростом я не вырос, а приходится голову нагибать, значит, верно — стесняет!» * Прибавьте к этому несколько фраз о том, что на земле должна царствовать правда, что человек не должен господствовать над человеком и что поэтому пролетариат должен бороться с буржуазией, — и вы исчерпаете все социалистическое миросозерцание М. Горького. Я категорически утверждаю... что ничего, кроме этого, не сказал он в своем романе «Мать», где он выступил в роли проповедника социализма, тогда еще не облеченного им в подрясник. Но этого недостаточно для того, чтобы быть социалистом, застрахованным от утопий старого времени. Потому-то Горький и не устоял пред самой несообразной из этих утопий: перед утопией нового бога, сочиненного г. А. Луначарским для исправления, назидания и ободрения затосковавших «интеллигентов».

Но вернемся к «Исповеди». В ней есть одно место, очень интересное в смысле психологии нынешнего нашего богосочинства. Матвей рассказывает, как повлияла на него встреча с Михайлой, утверждавшим, что человеку все нужно знать.

«И вот углубился я в чтение, целыми днями читал. Трудно мне и досадно: книги со мной не спорят, они просто знать меня не хотят. Одна книга замучила — говорилось в ней о развитии мира и человеческой жизни. Против Библии было написано. Все очень просто, понятно и необходимо, но нет мне места в

* «Исповедь». С. 183.

этой простоте, встает вокруг меня ряд разных сил, а я среди них, как мышь в западне. Читал я ее раза два, читаю и молчу, желая сам найти в ней прореху, через которую мог бы я вылезти на свободу. Но не нахожу»*.

Мы уже знаем благодаря толкователю, что герой «Исповеди» — не социал-демократ и не рабочий, а полукрестьянин, и что это следует хорошенько заметить. Но здесь дело вовсе не в «полукрестьянине» Матвее. Теоретическое затруднение, поставившее в тупик «полукрестьянина» Матвея, едва ли не в полной мере испытывается и его учителем Михайлой, которого, кажется, надо признать социал-демократом... на религиозной подкладке. «Спрашиваю учителя моего:

— Как же так? Где же человек?

— Мне, — говорит он, — тоже кажется, что это неверно, а в чем ошибка — объяснить не могу! Однако — как догадка о плане мира — это очень красиво!»**

Как видно, книга была материалистическая, и она и вызвала в Матвее тот самый вопрос, по поводу которого было пролито много чернил во время споров марксистов с субъективистами: вопрос о том, как согласить понятие об естественной необходимости с понятием о человеческой активности. Известно, что субъективисты не умели решить этот вопрос и бились в нем, подобно Матвею, как мышь в западне. Они опять-таки, подобно Матвею, спрашивали марксистов: «Где же человек?» Марксисты отвечали им, указывая на данное еще Гегелем и усвоенное Марксом и Энгельсом*** решение этого вопроса. Решение это не удовлетворяло субъективистов. Это было понятно само собою. Но дело осложнилось тем, что между самими марксистами правильно понять это решение способны были только те, которые стояли на точке зрения новейшего диалектического материализма. Те же, которые склонялись к учению Канта, — таких было тогда, к нашему стыду, немало, — или вообще отличались беззаботностью насчет философии, лишены были всякой теоретической возможности согласить понятие о свободе с понятием о необходимости, и потому, раньше или позже, тем или другим путем возвращались на теоретические позиции субъективистов. Таким образом, вопрос этот остался в

* Там же. С. 161.

** Там же. С. 161—162.

*** См. «Анти-Дюринг», изд. Яковенка, главу: «Свобода и необходимость». Ср. также относящиеся сюда страницы моей книги «К развитию монистич<еских> взгля<ядов> на историю».

тумане даже для многих из тех, которые с полной искренностью и без всяких оговорок сочувствовали современному движению сознательного пролетариата. В их числе, как это оказывается теперь, был М. Горький.

Он уже давно интересуется этим вопросом. Еще в его рассказе «Тоска» (1896 г.) безрукий Миша ведет с кутящим купцом Тихоном Павловичем следующий, в высшей степени знаменательный разговор.

«Я был другого взгляда на жизнь и очень беспокоился за себя и за других — как, мол, и что, и какой смысл, и в чем суть, и зачем, и почему... Нынче наплевать! Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, — так, значит, надо, и я тут ни причем. Законы-с; против них невозможно идти... И незачем, потому что даже и тот, кто все знает, ничего не знает. Уж поверьте мне в этом случае — с умнейшими людьми вел по этим делам беседы — со студентами и со многими священнослужителями церкви. Хе-хе!..

— Значит, человеку некуда податься?

— Ни на вершок! — сверкнув глазами, сказал безрукий и, подвинувшись всем корпусом в сторону Тихона Павловича, добавил голосом сдавленным и строгим: — Законы! Тайные причины и силы — понимаете? — Он поднял кверху брови и многозначительно качнул головой. — Никому ничего неизвестно... Тьма! — Он съежился, вобрав в себя голову, и мельнику представилось, что если бы его собеседник имел руки, то он, наверное, погрозил бы ему пальцем. — И значит, живи, но не жалуйся и корись! Больше ничего...» *

Когда появился рассказ «Тоска», хотелось и можно было думать, что его автор знает, где находится слабая сторона рассуждений безрукого Миши. После появления «Исповеди» думать так уже нельзя. Михаиле, — представляющий в ней, по выражению толкователя, истину, которую несет миру пролетариат, — с похвальной откровенностью признается, что он не умеет ответить на вопрос: «Где же человек?», т. е. разрешить антиномию между естественной необходимостью и человеческой свободой. И напрасно мы стали бы искать в разговорах, вообще весьма речистых, действующих лиц повести хоть какого-нибудь намека на решение этого вопроса. Намека нет, да и быть не могло. Горький окончательно решил, что если держаться материалистического взгляда на вселенную, то необходимо признать безотрадные выводы Матвея и безрукого Миши

* Горький М. Т. I. Рассказы. СПб., 1898. С. 311—312.

насчет человеческой свободы. «Пятая религия» и послужила ему дверью, через которую он спасся от этого безнадежного вывода. Правда, религия эта, взятая сама по себе, как будто не имеет прямого отношения к вопросу о том, как сочетается понятие о свободе с понятием о необходимости. Но с ним самым тесным образом связана та «философия», на которую опирается «пятая религия»; по крайней мере, так говорит г. Луначарский, сочинивший нового бога и написавший толкователь к повести «Исповедь». В своей статье «Атеизм» * он очень пространно уверяет читателя, что будто «серый материализм» не оставляет никакого места для человеческой свободы, между тем как философия «Эмпириомонизма» ставит ее на незыблемые теоретические основания. Вообще можно с уверенностью сказать, что «пятая религия» могла быть сочинена и принята только такими «марксистами», которые не сумели справиться с главнейшими теоретическими положениями учения Маркса-Энгельса.

Замечу мимоходом, что г. Д. Мережковский отнесся с большим вниманием к разглагольствованиям безрукого Миши и объявил, что они представляют собою «научное — *ignoramus* не знаем, — спустившееся до босяцкого “дна” **». В своей оценке материализма («механического мирозерцания») и вытекающих из него нравственных выводов, г. Мережковский близко и трогательно сходится с г. Луначарским. «Это следует хорошенько заметить», — скажу я словами последнего из этих двух обличителей материализма. В нашем современном богосочинительстве есть несколько разновидностей, каждая из которых выражает особое психологическое настроение и особые общественные «искательства». Но всем им, вместе взятым, свойственна одна общая черта: полное неумение разрешить антиномию между свободой и необходимостью.

Не общественное сознание определяет собою общественное бытие, а наоборот: общественное бытие определяет собою общественное сознание. Общественные движения и общественные настроения причиняются вовсе не теоретическими ошибками тех людей, которые участвуют в этих движениях или испытывают эти настроения. Но раз дано известное общественное движение, или, — чтобы выразиться более точно: известное состояние общества, — и раз дано соответствующее ему общественное настроение, то входит в свои права и теория. Не всякое теоре-

* Статья эта в оглавлении украшенного ею сборника названа: «Атеисты».

** Мережковский Д. С. Грядущий хам. СПб., 1906. С. 61.

тическое построение соответствует данному общественному строению. Диалектический материализм совсем не годится для бого-сочинительства. Кто, уступая настроению, господствующему у нашей современной «интеллигенции», принимается за богосочинительство, тот необходимо должен отречься от диалектического материализма и совершить известные теоретические ошибки. А это не всякому дано. Для этого тоже нужны известные предварительные данные, в интересующем нас случае сводящиеся, главным образом, к неспособности преодолеть указанную мною теоретическую трудность.

Пора кончать. Но мне хочется сказать еще два слова о неудачной повести М. Горького.

Михаил поучает в ней Матвея:

«Началась эта дрянная и недостойная разума человеческого жизнь с того дня, как первая человеческая личность оторвалась от чудотворной силы народа, от массы, матери своей, и сжалась от страха перед одиночеством и бессилием своим в ничтожный и злой комок мелких желаний, комок, который наречен был — “я”. Вот это самое “я” и есть злейший враг человека! На дело самозащиты своей и утверждения своего среди земли оно бесполезно убило все силы духа, все великие способности к созданию духовных благ!» *

Это заставляет меня еще раз вспомнить полемику Маркса с Германом Криге⁵. Криге писал, проповедуя свою новую религию: «У нас есть дело гораздо лучшее, нежели забота о нашем жалком “я”» (*Wir Haben noch etwas mehr zu thun, als für unser lumpiges Selbst zu sorgen*). Маркс отвечал на это тем резким замечанием, что религия Криге, как и всякая другая, кончает сервилизмом перед метафизической или даже религиозной фикцией, которой является человечество, отделенное от «я» **. Очень советую Михаилу и его творцу — М. Горькому вдуматься в эти слова автора «Капитала».

Вдуматься, право же, стоит. Вопрос о «я», будучи применен ко взаимному отношению людей, очень нередко разрешается по метафизической формуле «или — или»: или «не я» приносится в жертву ради «я» (решения в духе Ницше); или же «я» объявляется не заслуживающим никакого внимания ввиду интересов «не я» (решение в духе Криге и Михаила). Диалектическое решение этого вопроса, дающее логическую возможность согласить обе стороны этой антиномии, указано было еще

* «Исповедь». С. 154.

** *Gesamm. Schriften von K. Marx und F. Engels. II. S. 425.*

Гегелем, у которого оно было заимствовано, между прочим, Герценом и Белинским. Но в том-то и беда, что многие драгоценнейшие приобретения, сделанные западноевропейской мыслью в процессе ее исторического развития, до Маркса и Энгельса включительно, остались неизвестными нашим богосочинителям. Это — черта, роднящая их с «критиками Маркса». И она утверждает у М. Горького: «Нельзя говорить человеку — стой на сем! но — отсюда иди далее!» Та «формула прогресса», которую усвоили для своего собственного обихода «критики Маркса» и богосочинители, гласит: «Нельзя говорить человеку — стой на сем (на Марксе), но — отсюда или назад, туда, где находилась человеческая мысль раньше Маркса, или даже раньше Гегеля: там предстоит тебе сделать целый ряд блестящих открытий».

Гоголь, Достоевский, Толстой, Горький — все это огромные художественные таланты. И все эти огромные таланты споткнулись о религию, к несказанному вреду для своего художественного творчества. В этом они похожи друг на друга. Но только в этом. Каждый из них, как и следовало огромному таланту, творил по-своему. Даже и о религию каждый из них споткнулся на свой особый лад. Как же именно споткнулся о нее М. Горький?

Легко сказать: М. Горький сделал такую-то теоретическую ошибку. Нужно еще выяснить, почему его мысль пошла по тому теоретическому пути, на котором ею сделана была эта ошибка. Легко сказать: М. Горький подчинился влиянию такого-то или такого-то богосочинителя, положим — А. Луначарского. Нужно еще выяснить то его душевное состояние, которое сделало возможным влияние на него этого богосочинителя. Ведь, что такое г. А. Луначарский в сравнении с М. Горьким? Копна сена в сравнении со снежной горой. Почему же гора подчинилась влиянию копны? Почему наш поэтический «Буревестник» заговорил теперь мистическим языком святоши?

Значение М. Горького в русской литературе заключается в том, что он в ряде поэтических очерков проводил в подходящий исторический момент ту мысль, которую у него уже высказывает старуха Изергиль: «Когда человек любит подвиги, он всегда сумеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам». Но поэтический певец подвигов, с такой силой ударивший по сердцам русских читателей, плохо выяснил себе те исторические условия, при которых предстояло совершать подвиги передовому человеку современной России. В теоретическом отношении он отстал от

своего времени, а лучше сказать, — он еще не догнал его. Поэтому в душе его осталось место для мистицизма. Его удалая Мальва увлекалась житием Алексея — божьего человека. Горький похож на свою Мальву. Восхищаясь красотой подвигов, он не прочь взглянуть на них под углом религии. Это — большая слабость. И именно благодаря этой большой и досадной слабости копна могла подчинить своему влиянию снежную гору.





Д. В. ФИЛОСОФОВ

Евсей и Матвей

Максим Горький написал два новых романа — «Жизнь ненужного человека» и «Исповедь».

Герой первого — Евсей Климков. Судьба преследовала Евсея с самого детства. Еще мальчуганом остался он круглым сиротой. Болезненного, вихрастого Евсея, с «совиными глазами», пригрел дядя, деревенский кузнец-философ. Мальчик рос одиноким, замкнутый в себе. «Совиные глаза» его однако хорошо видели и Евсей зорко наблюдал за всем происходящим вокруг. Дядю он любил. Это был единственный человек, которого он не боялся, которому мог высказывать свои недоумения. Но кузнец не знал нужных для мальчика ответов. И Евсей рос, все более и более убеждаясь, что знать ничего нельзя, что мир страшен, что люди злы. Для того, чтобы не терпеть обиды — надо молчать, всему покоряться, отказаться от своей воли. Страх и безволие соединены с острой наблюдательностью, таковы характерные черты этого ненужного человека. Страх не только эмпирический, от вечных обид и побоев, но и мистический, от реального ощущения зла в мире и бессмысленности человеческой жизни.

Когда мальчик подрос, дядя отвез его в город и определил в лавку к старому букинисту. С этого момента жизнь Евсея становится трагической. Букинист оказался шпионом. Евсей долго не понимал, что делает хозяин, но инстинктивно его боялся и ненавидел. Содержанка букиниста отравляет, наконец, своего престарелого любовника, Евсей поступает писцом в полицейский участок, а затем и сам становится сыщиком. Не по «призванию», а случайно, в силу необходимости. Надо же кормиться. И вот мы попадаем в мир шпионов, в среду отверженных из отверженных.

Горький, который последнее время увлекался тенденциозной дешевкой, которому вообще чуждо ощущение художественной меры, подвергался большому риску впасть в романтический шаблон и изобразил сыщиков, как великих злодеев, хладнокровно занимающихся ловлей добычи. Но, к счастью, этого не случилось. Сыщики Горького не мелодраматические мерзавцы, а средние, глупые, грубые люди. То среднее дрянцо, которым земля держится. Главный стимул их деятельности — голод. Сложись судьба каждого из них иначе, они, может быть, добывали бы свой хлеб другой, более почтенной профессией. По существу же, это — ненужные люди, прожигающие свою жизнь в пьянстве, в кутеже, в карточной игре. Правда, ими командует более сознательное начальство. Горький попытался дать типы таких начальников, но, надо признаться, вышло это у него довольно неудачно, слишком схематично. Чувствуется, что начальники нарисованы по подлинным документам, вся фактическая сторона — верная, не выдуманная, но живых людей как-то не видно, тогда как средние, рядовые сыщики схвачены живьем. Когда все обстояло благополучно, эти серые, ненужные люди как будто были нужны. Исполняли свои служебные обязанности, брали взятки, кутили. Когда не было дела, выдумывали его, писали рапорты, доносили, получали награды. Но такие патриархальные времена продолжались лишь до 1905 года. Подъем народной стихии совершенно сбил с толку этих ненужных людей. Они инстинктивно почувствовали, что им не только нечего делать, но что и впредь, если мечты народа воплотятся, они, как ненужные люди, будут выброшены за борт. Состояние растерянности, беспомощности, озлобленности воцарившиеся в этом мире, передано Горьким с поразительным мастерством. На фоне этой общей растерянности созревает контрреволюционное настроение, не лишенное своего, особого демократизма. Все эти «права» и «свободы» нужны господам, «нашего брата, сыщика, господ ненавидят; мы с народом». Полупомешанный алкоголик Сашка вырабатывает проект самозащиты и деятельно организует черную сотню. Начинаются погромы. Герой романа — Евсей Климков принимает в них участие, опять-таки помимо своей воли. Он и рад бы уйти, убежать, «заняться торговлей», но не может. Он весь во власти страха, им всецело завладели люди и обстоятельства. На его душе много тяжелых грехов. Он устроил одно провокаторское дело, предал своего друга детства Яшку, предал милую «барышню» Ольгу. И не то, чтобы он не верил в свободу. «Евсей любовался красивым ростом бунта, но не имел силы полюбить

его, он верил словам, но не верил людям. Его ласково трогали за сердце мечты, но они умирали, касаясь сердца». Он не только социально, но и морально ненужный человек. Его опустошенная страхом, несправедливостью, голодом, душа не может выдержать напора свободной стихии освобождающегося народа. Когда же на его глазах убивают его товарища, Зарубина, прирожденного, бесстрашного сыщика, — Евсей бросается под поезд. Жизнь ненужного человека кончается самоубийством...

Горький взял для своего романа новую, еще неиспользованную в литературе среду. Описал он ее так, как видел ее Евсей. Он посмотрел на нее глазами простого среднего человека, не имеющего в себе достаточно умственных и нравственных сил, чтобы разобраться в окружающем его хаосе, чтобы отделить добро от зла, чтобы направить волю свою к добру. Благодаря такому приему ткань романа стала живой, органической. Личность автора не выступает на первый план. В романе нет тенденции. Она скрыта под спокойным рассказом бытописателя. И поэтому непосредственное впечатление получается очень сильное. Но значение романа, конечно, не исчерпывается этим чисто внешним его интересом, мастерским описанием малоизвестной читателю среды. Может быть и бессознательно, автор поставил перед нами вопрос о ненужных людях вообще. Горький ведь не морализует. Его не прельстила слишком легкая задача доказать читателю, насколько мало почтенна профессия филера. Его, очевидно, занимает вопрос, как и почему образуются такие ненужные люди. Евсей Климков не только тип, не только представитель известной среды, — он фигура символическая. Трагедия его не в том, что он не нужен, а в том, что он не нужен не только по своей вине. В нем много инстинктивного благородства, в нем истинная жажда правды и справедливости, он не лишен наблюдательности, способностей мыслить. Но между его действиями и его мыслями нет никакой связи. Думает он по своей воле, действует по чужой. Это натура, прежде всего, пассивная. С самых первых проблесков сознания, с тех пор, как он начал жить, он ясно ощутил непримиримое противоречие между я и не-я, между собой и окружающим его миром. С одной стороны, он понял, что мир — его враг, с другой — он увидел, что враг этот непобедим, и он ему подчинился. Он почувствовал, что борьба ему не под силу, что для того, чтобы жить — нужна прежде всего покорность. В Евсее воплотилось все инертное начало русского народа, его пресловутое долготерпение, способствующее проявлению и высшей святости — в смиренном самоотречении, и высшей подлости — в подчинении

чужой воле, направленной ко злу. В сущности, отрок Евсей мог быть отроком Варфоломеем и стать Сергием Радонежским¹, т. е. представителем пассивной аскетической святости. Но времена теперь другие. И если говорить о типе святости современной — то она прежде всего активна. Современную святость надо искать не в подвигах индивидуального самоотречения, а в подвиге сознательной общественной деятельности, в активном я. В этом отношении интересно сравнить «Жизнь ненужного человека» с другим романом Горького — «Исповедь». В противоположность Евсею, Матвей (главное лицо «Исповеди»), натура глубоко деятельная. Детство его похоже на детство Евсея. Та же нищета, покинутость, хождение по чужим людям. Те же постоянные мысли о Боге, о несправедливости, о зле в мире. Но в то время, как Евсей преклоняется перед неразрешимыми вопросами, не ждет ответа на них и в покорности ищет спасения, Матвей хочет добиться ответа, хочет бороться со злом, причем эта борьба ему представляется единоборством, потому что, как и Евсей, он занят, главным образом, собой. И у того, и у другого очень острое ощущение личности. Они прежде всего индивидуалисты. Евсей подчинился миру до конца, до смерти. Мир победил его. Матвей, наоборот, победил или, по крайней мере, думает, что победил мир. Победу эту он нашел, отказавшись от единоборства, поняв, что борьба должна быть не единоличной, но общественной, и не Я должен бороться со злом, а Мы. Матвей всю жизнь искал Бога и в конце концов нашел Его. Бог его в народе и в земле. Люди должны подняться сами и поднять землю до неба, уничтожить разрыв между землей и небом. Они богостроители, боготворцы, социализм и есть — процесс боготворческий. Я не буду входить в разбор этой религии, рассматривать ее содержание. Мне важно лишь отметить формальную сторону проблемы, а именно, что Горький приходит к идеалу религиозной антиномии между личностью и обществом. Все это довольно непродуманно, бессознательно и беспомощно, но психологически глубоко верно и знаменательно. Один из учителей Матвея говорит ему:

«Началась эта дрянная и недостойная разума человеческого жизнь с того дня, как первая человеческая личность оторвалась от чудотворной силы народа, от массы матери своей, и сжалась со страха перед одиночеством и бессилием своим в ничтожный и злой комок мелких желаний, комок, который наречен был — я. Вот это самое я и есть злейший враг человека». Матвей этому верит, потому что, действительно, слишком много мучений доставил ему этот «комок», но слишком ясно,

что от своего я Матвей все-таки не откажется. Психологически это просто невозможно. Слишком подлинны были его искания, его страдания, чтобы он мог с такой легкостью отказаться от своего я. Не в отрицании личности, а в высшем ее утверждении, высшем преодолении — спасение Матвея. Уж раз «комочек» оторвался от «массы», почувствовал себя «я», с массой он не сольется, не превратится в полип грандиозного полипняка. Оторвавшийся комочек должен сознательно вернуться к массе, почувствовав, что она не полипняк, а соединение таких же, как он, одиноких страждущих я, которые, сознательно соединившись вместе, не только не потеряют себя, а, наоборот, утвердят, из ненужных людей превратятся в самых нужных, из пассивно покорных в деятельных борцов. Волна индивидуализма достигла своей вершины и начинает спадать, но слишком наивно думать, что она пропадет бесследно, что можно идти назад, к старому, к принципу безличной общественности. И Евсей, и Матвей бессознательно пережили кризис индивидуализма. И если Евсей остался ненужным человеком до конца, то Матвей так или иначе спасся, но спасся потому, что внутренне от своей личности не отрекся. Недаром странник Иона, который открыл ему глаза, отметил его, пригрозил ему на груди своей и указал ему путь спасения. Иона отлично видел, что Матвей человек нужный, что цена ему большая и именно потому, что он сильная, активная личность, готовая бороться со злом. Не против личности восставал Иона, а против ее одиночества. Одинокая личность — величайшее страдание, и вместе с тем громадная социальная опасность. Ненужный человек Евсей — именно такая одинокая личность, благодаря своей пассивности сделавшаяся в социальном смысле в высшей степени вредной. Не безличные люди нужны для новой общественности, не полипы создадут ее, а именно Матвей, которые предчувствуют гармоническое сочетание начал личного и общественного без ущерба одного начала в пользу другого.

Много в России «ненужных людей», слишком много. Мы находимся в заколдованном кругу, потому что ненужными люди становятся в силу общественных условий, а создать новые условия могут лишь люди нужные. Но чувствуется, что цепь этого круга уже разорвана. Если Евсей погиб, то жив Матвей, который уже на пути к спасению. Пусть то спасение, которое ему предсказывает не художник Горький, а общественный деятель — спасение иллюзорное, неподлинное. Важно то, что указан путь. Отрадно то, что Горький если не разумом, то психологически почувствовал, что социальный вопрос, т. е. спра-

ведливое устройство людей на земле, тесно связан с проблемой личности и с религией. Горький-мыслитель не ответил Горькому-художнику. Художник воплотил два жизненных типа, две болеющих, одиноких личности. Художник «нутром» понял, что одинокой личности нет спасения, но, вместе с тем, то же художественное чутье подсказало ему, что без острого личного самоощущения — нет человека в подлинном смысле этого слова, есть только человеческий организм, безликое существо, скованное законом причинности, существо невменяемое, не творящее историю, а творимое ею. Своих двух, столь противоположных и столь сходных героев, Евсея и Матвея, художник Горький описывает с одинаковою любовью, чувствуется, что он одинаково за них страдает. Ему ценно в них именно начало личное. Опять-таки, как художник, Горький очень проникновенно отметил, что первая ступень самосознания — это вопрос о моем личном отношении к Богу и созданному им миру. В религиозных исканиях и мучениях оттачивается личность. Вне Бога личности не существует. Само бытие свое она получает в любви к нему или в борьбе с ним. Богоборчество необходимый этап развития индивидуальности. Иегова особенно возлюбил Иакова и назвал его Израилем. Но личного отношения к Богу недостаточно. Религия не есть дело только личное. Она есть общественная связь личностей, объединенных в любви к общему для них Богу. И это предугадал художник Горький. Погубив пассивного Евсея, личность которого сознала себя лишь, как существо страдающее, несвободное, он провел активного Матвея через все искусы, открыл ему надежду на лучшее будущее, показал ему исход в религиозной общественности, где личность, не теряя себя — перестанет быть одинокой, где солидарность превратится в любовь друг к другу. Конечно, это лишь смутные чаяния художника, неопределенные намеки и упования. Ими кончается работа художника Горького, исчерпывается значение и сила двух новых его романов.

Далее на сцену выступает Горький-мыслитель, ученик Луначарского, проповедник ходячей религии «по Авенариусу и Гольдцапфелю»². Здесь провал Горького, здесь Горький, как личность и художник, исчезает. Воцаряется великое, безликое «оно», социал-демократическое божество, созданное в книжках и брошюрах передовых марксистов.

Но такой ничтожный финал не уничтожает работы художника, который снова и снова поставил перед нами проблему личности и тесно связанной с ней проблему религиозной общественности и притом поставил очень глубоко и жизненно.

Сколько бы ни старался Горький уверить нас, что он правоверный марксист, что он исповедует религию Луначарского не только за страх, но и за совесть, мы ему больше не верим. Новые его произведения слишком ясно показывают, что сам он, писатель, художник Горький гораздо глубже, серьезнее и значительнее, чем те извне воспринятые ходячие теории, которые он в ущерб себе и своему творчеству, а следовательно и в ущерб всем нам, его читателям, столь старательно проповедует. И хочется верить, что Горький, наконец, выйдет из пеленок религии Луначарского, и вместе со всей русской интеллигенцией станет на путь истинный.

1908





К. И. ЧУКОВСКИЙ

Максим Горький

1

Как хотите, а я не верю в его биографию.

— Сын мастерового? Босяк? Исходил Россию пешком? Не верю.

По-моему, Горький — сын консисторского чиновника; он окончил Харьковский университет и теперь состоит — ну хотя бы кандидатом на судебные должности.

И до сих пор живет при родителях и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От спиртных напитков воздерживается: вредно.

По воскресным дням посещает кинематограф.

И такая аккуратная жизнь, натурально, отражается на его творениях.

Написав однажды «Песнь о Соколе», он ровненько и симметрично, как по линейке, разделил все мироздание на Ужей и Соколов, да так всю жизнь, с монотонной аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях — и действовал в этом направлении.

Распря Ужа и Сокола повторяется в Бессеменове и Ниле («Мещане»), в Гавриле и Челкаше, в Максиме и Шакро («Мой спутник»), в Павлине и Черкуне («Варвары»), в Матрене и Орлове, в Палканове и Вареньке Олесовой, в Якове и Мальве, в Петунни-кове и Кувалде («Бывшие люди»), в Каине и Артеме.

Все эти имена, — которые слева, те Ужи, а которые справа — Соколы. Будто жизнь — это большая приходо-расходная книга, где слева дебет, а справа кредит. И так аккуратна у него эта бухгалтерия, что кажется, будто Горький задался целью непременно привести в исполнение слова Бессеменова:

«Аккуратностью весь свет держится... Само солнце всходит и заходит аккуратно, так, как положено ему от века..., а уж ежели в небесах порядок, то на земле тем паче быть должно».

2

И помимо аккуратности, какое постоянство.

Уже ровно двадцать лет, как воспел Горький Сокола-Марко, который бросился в Дунай за феей, уже скоро двадцать лет, как он обратился к Ужам с такими словами:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут,
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют, —

да так за все двадцать лет ни разу не сошел с этого «славного поста». Его «Варвары» появились только два года назад (а его «Чарли Мэн» — кажется, — и того меньше) — и в них Черкун говорит все те же привычные горьковские слова:

— Во мне нет жалости, нет снисхождения к тем жадным и тупым животным, которые командуют жизнью. И бессилие тех, которые подчиняются, приводит меня в ярость.

Хотя Тетерев уже говорит то же самое:

— Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал вам камень, опрокиньте гору на голову его.

Хотя Артем уже говорил то же самое:

— Жалеть я тебя не могу. Нет во мне этого... Думал — жалю, ан выходит один обман. Совсем не могу жалеть.

Хотя Проходимец уже говорил то же самое:

— Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно? Ведь хотя и написано, что все люди братья, однако ведь никто не пробовал доказать это метрическими справками.

Если б это не было секретом полишинеля, я бы мог тысячами примеров доказать, как однообразно повторяют друг друга горьковские Соколы и Ужи. Будто писать рассказы — это все равно, что изо дня в день ходить в одну и ту же канцелярию, садиться за один и тот же стол и переписывать одно и то же «отношение».

Двадцать лет! Мало ли что изменилось за двадцать лет! А Горький все в том же департаменте: его Павлин повторяет Бессеменова, Бессеменов Ужа, Уж Гаврилу, Гаврила Якова — и так дальше, до бесконечности.

А Нил повторяет Озорника, Озорник Вареньку, Варенька Челкаша и так дальше, до бесконечности.

Не писатель, а какой-то бессеменовский шкаф, тот самый, о котором — помните? — Петр говорит:

«— Вот этот чулан восемнадцать лет стоит на одном месте, восемнадцать лет... Говорят, жизнь быстро движается вперед... а вот шкафа этого никуда не подвинула, ни на вершок».

3

И потом, какая схематичность! Человек ходил пешком и в Кубань, и в Одессу, и в Астрахань, и в Новую Прагу, и в Уфу, — а что он рассказал нам об этом?

Рассказывать Горький ужасно не любит, всегда что-нибудь доказывает.

Все его творения (за исключением крошечной «Ярмарки в Голтве») как геометрические фигуры какие-то. Красок у них нет, а одни только линии. Как теоремы какие-то.

Дано: Уж и Сокол.

Требуется доказать: Сокол лучше Ужа.

Его природа только декорация для этих теорем, эффектная, но холодная. «Море смеялось» — это безвкусно, как олеография. Он все твердит: «Надо любить жизнь», но где же его любовь? Никогда не увлечется каким-нибудь пятном жизни, какой-нибудь краской, ради нее самой. Никогда не увлечется каким-нибудь человеком, ради него самого, а не ради своей однообразной, скучной, аккуратной схемы: Сокол лучше Ужа, Сокол лучше Ужа, Сокол лучше Ужа.

Критики прокричали о том, что в горьковских сочинениях много воздуха, свободного ветра, солнца — и всего такого.

Неправда: там много поучений о том, что нужно любить солнце, но самого солнца там нету.

Да и какое же солнце в геометрии!

У Горького нет ни одного героя, который бы не философствовал. Каждый чуть появится на его страницах, так и начинает высказывать свою философию.

Каждый говорит афоризмами; никто не живет самостоятельно, а только для афоризмов.

Живут и движутся не для движения, не для жизни, а чтобы философствовать.

Похоже, будто Горький, как Бокль, всю жизнь сидел в четырех стенах, в каком-нибудь тихом кабинете, среди книжек и

брошюрок и ни разу не выглянул на улицу, где афоризм далеко не так довлеет себе, как это кажется за письменным столом.

У мыслей Горького нет мяса, а только скелеты. Он сочинитель, а не поэт.

Уж не о нем ли, отпрыске Бессеменова, сказал Нил: «Плохая у него привычка — делать из пустяков философию! Дождь идет — философия, палец болит — другая философия, угаром пахнет — третья».

4

Комнатная философия. — Аккуратность. — Однообразие. — Симметричность.

Вот главные черты горьковских творений, если отвлечь их от их героев.

Вот главные черты самого Горького как поэта. И читатель понимает, что за аккуратностью его скрывается узость, фанатизм, а за симметричностью — отсутствие свободы, личной инициативы, творческого начала.

Горький узок, как никто в русской литературе.

Вспоминается, как в Толстом и в Достоевском увидал он жалких мещан¹, как у Чехова увидал он свою же крошечную программку и навязал великому поэту свои же фанатические слова:

— Скучно с вами, черти лиловые!

Вспоминается, как умилительную Раневскую, бесцельно-прекрасного Гаева, в которых так стыдливо всю жизнь был влюблен Чехов, он обозвал «эгоистичными, как дети, и дряблыми, как старики».

Вспоминается, как плюнул он на Америку², многое такое вспоминается, и всему этому одно имя: узость, узколюбие, фанатизм все того же Бессеменова:

«Одна правда! Моя правда, какая ваша правда»?

Что такое симметричность? Это — бессилие, это — недочетка личного творчества. Это — консерватизм.

Горький, симметричнейший из сочинителей, наиболее придавил свою личность, сузил ее, обкорнал — и не только свою, но и личность всех тех, кого он так симметрично, так по-книжному неестественно вывел в своих писаниях, отнимая у них конкретные черты, во имя афоризма. Певец личности, он является на деле наибольшим ее отрицателем. Прославляя человека вообще, отвлеченного человека, того самого, который, по его словам:

Идет! В груди его режут инстинкты,
Противно воет голос самолюбия,
Как наглый нищий требуя подачки,
Привязанностей цепкие волокна
Окутывают сердце, точно плющ,
Питаются его горячей кровью
И громко требуют уступок силе их.
Все чувства овладеть желают им,
Все жаждет власти над его душою —

— воспевая такого обще-человека, человека алгебраического, Горький тем самым высказывает полнейшее равнодушие к человеку конкретному, к неповторяемой живой личности.

5

Итак, вот свойства Горького: симметричность, неуважение к личности, консерватизм, книжность, аккуратность, фанатизм, однообразие.

Словом, — как это ни странно, как это ни неожиданно! — все свойства Ужа, а не Сокола!

«Идеолог пролетариата» — и вдруг Уж! Певец босяка — пресмыкающееся! Откуда это? Где общие причины этого странного явления?

На этот вопрос прекрасно отвечает г. Философов в своей статье «Разложение материализма».

«Для буржуазии, как для *класса*, типичен именно тот претендующий на целостность мирозерцания квази-научный позитивизм, тот вытекающий из него практический материализм, который теперь по какому-то недоразумению навязывается рабочим массам... На святой лик пролетариата надели тупую, самодовольную маску буржуа. На примере Горького легче всего проследить, как самый драгоценный материал — живая, бунтующая, жаждущая бытия личность, попадая в переделку квази-научно-го материализма, хиреет, умалывается, становится плоской, безличной».

Поскоблите любого из этих самозванных представителей пролетарита, и пред вам непременно окажется Бессеменов.

В русской литературе давно уже установилось суеверие — сливать личность автора с личностью какого-нибудь его героя.

Так, Писарев в Пушкине увидел Онегина; Гончарова сочли Обломовым; Тургенева — «лишним человеком»; Достоевского — «человеком из подполья», Толстого — Левиным и т. д.

Если бы мы захотели быть суеверными, мы бы Горького называли Бессеменовым.

Ибо только Бессеменов, будь он наделен огромным талантом Горького и огромной его душою — мог бы писать такие однообразные, такие симметричные, такие безжизненные творения.

Говорят, что историческая роль Горького заключается именно в том, что именно он посрамил именно Бессеменова, презрел его и нас научил его презирать.

Правда! Но, по совести, та копеечная свечка, от которой сгорела вся Москва, была все же — всего только копеечная свечка.

6

Но — «чем ты бы был пьян — вином поддельным или настоящим, все равно!» Москва все же сгорела, — и будем благодарны копеечной свечке!

Теперь, когда Горький на время ослабел в художественном своем творчестве, принято его поносить и третировать всячески. Такая уж хамская привычка у малокультурного русского общества: плевать в те колодцы, из которых только что пили. «Горький исписался», «Горький кончился», и хлопают при этом в ладоши. Нет. Либо Горький всегда был плох, либо он теперь хорош. И мы, если и относимся к нему непочтительно, то только потому, что и в прежнем Горьком, Горьком «Мещан» и «Человека», мы видели столь же отрицательные черты, как и в нынешнем. И если мы не говорим, что Горький кончился, то только потому, что, по нашему крайнему разумению, он, как одно из звеньев нашей общественной жизни, никогда и не начинался.

Я думаю, будет кстати именно теперь, когда всякий газетный нахал, еще вчера сравнивавший Горького с Шекспиром, лягает его при всякой оказии, привести благородные слова Мережковского:

«Объявили “конец Горького” — и выбросили конченного писателя, как выбрасывают выжатый лимон. Поступили с человеком, как с одним из тех резиновых пузырей-куколок, которые надуваются до исполинских размеров — “Человек, это гордо!” — а затем, по мере того, как выходит воздух, ежатся, морщатся и, наконец, с последним жалобным писком, совсем сникнув, становятся тряпкою.

Не хочется верить в “конец Горького”: пока человек жив, жив писатель; именно теперь, когда бесчисленные мнимые дру-

зья отвернулись от него, немногие мнимые враги продолжают смотреть на него с надеждой, готовые протянуть ему руку и, конечно, рады будут, первые, приветствовать возрождение Горького» («Русск<ая> мысль». 1908. I).

7

Фальсификация же идеологии вещь обычная в нынешней русской литературе и тем более любопытная, что она имеет много соответствующих черт и в русской жизни. Горький не единственный Уж, которого русское общество приняло за Сокола.

Типичным представителем такой же фальсифицированной идеологии является последователь Горького, поэт и беллетрист Скиталец³, автор одного прекрасного стихотворения:

Колокольчики-бубенчики звенят,
Простодушную рассказывают быль...
Тройка мчится, комья снежные летят,
Обдаёт лицо серебряная пыль!

Но это стихотворение не характерно для музыки Скитальца, у которой главная черта все та же, что и у Горького — подделка мещанских настроений под пролетарские.

Для него особенно типичен очерк «Огарки», в свое время наделавший шуму.

Он до такой степени фальшив, что шокирует всякого сколько-нибудь правдивого человека. Он весь с начала до конца — какая-то вакханалия лжи и пошлости. Но особенно оскорбляет, что в этот капкан вовлекается и революция.

Нельзя здесь не согласиться с энергичным восклицанием г. Горнфельда: «Непрерывная, визгливая, лживая мюнхгаузениада, исчерпывающая весь очерк г. Скитальца, бледнеет в своем безвкуси пред заключительной пошлостью. Ни с того ни с сего рассказ о невероятных монологах и гомерических попойках нижегородских “огарков”, от каждого театрального слова и мелодраматического движения которых несет выдумкой, вдруг заканчивается не менее театральным уверением автора:

— Огарческий период жизни кончился для огарков. Разбросанные в разные стороны света, они вступили в новый фазис своего развития. Их ждала новая жизнь, совершенно отличная от жизни огарческой. Через несколько лет, когда пришла вели-

кая русская революция, они исполнили свое обещание: подняли знамя, держали его твердо, шли честно — и нашли себе поле».

«Напрасно, — продолжает г. Горнфельд, — автор возложил на своих огарков столь непосильное для них бремя. Да и неправда все это: никакого обещания они не исполняли, ибо никому никаких обещаний не давали; никакого знамени не поднимали, потому что кто же пошел бы за знаменем, поднятым огарками? Спасибо, если они не приняли деятельного участия в еврейских погромах».

Но и эта фальшивость ничто по сравнению с недавним стихотворением г. Скитальца «Четверо». Это повесть о четырех сыновьях некоей бедной матери, из которых —

Один был «замешан» (!), судим и повешен,
Второй был заколот в бою.
А двое другие в морозы лихие
Погибли в далеком краю,

и т. д.

Тот, кто пишет стихи таким газетным, шаблонным, самому себе надоевшим слогом о революции, о виселицах, о войне, не любит и не ненавидит того, о чем пишет. Он-то и предает свободу, которой молится и за которой идет. Г. Скиталец привычно изо дня в день (опять-таки как в департамент ходит!) — пишет: свобода — народа, бой — долой, тиран — барабан, — и выражает и отражает в своих стихах, и поддерживает ими обывательскую привычку к революции, — привычку, панибратство с ней, мирное с ней сожительство. Ведь чтобы писать таким образом, чтобы так перелагать в стихи газетную передовицу:

Между тем все проснулось, вся Русь всколыхнулась,
Вся Русь задымилась в огне...
И все сотрясалося и в узел свивалося,
Как в страшном, чудовищном сне...

чтобы строить в ряды такие затертые, ничего не говорящие слова, — как нужно зевать внутренне, как скучать, как пренебрежительно относиться к тому, что поешь, что любишь, чего хочешь.

Стихи г. Скитальца — лучший документ обывательской приспособляемости, — что они такое, как не свидетельство неумения творчески полюбить свободу, творчески ее захотеть и пожертвовать собою ради нее. И прав был андреевский Иуда⁴, когда говорил первосвященнику Анне:

— Разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболгов? За два обола? За один?

8

И действительно, приходили такие и отдавали, и за пятнадцать, и за два, и за один.

Таков, напр<имер>, г. Лукьянов⁵, товарищ г. Скитальца по «Знанию», равнодушными, риторическими стихами рассказывающий о том, как летел его челн «на царственный простор», как безумно он покинул «родные берега», а потом оказалось, что

— все это только сон!

Или что-нибудь еще столь же невинное, что не помешало, однако, критику Кранихфельду сравнить этого безнадежного стихослагателя с... Генрихом Гейне*.

Такова г-жа Галина⁶, тоже чрезвычайно преданная свободе, но выражающая эту преданность в таких шаблонных выражениях, употребляющая для этого столь затертые эпитеты, что и здесь поневоле чудится обывательская революционная ремесленность. Дождь у поэтессы непременно «угрюмый», огонек — «ласковый», ночь — «темная», рабы — «трусливые», толпа — «сытая», душа — «больная» — и все эти условные знаки сти-

* «Поэт-звонарь, Лукьянов невольно, по словам критика, вызывает в памяти образ другого поэта, поэта-барабанщика, того «лихого барабанщика» в войне за освобождение человечества, который писал когда-то:

Стучи в барабан и не бойся.
Целуй маркитантку под стук,
Вся мудрость житейская в этом,
Весь смысл глубочайших наук.

Барабан немецкого поэта гремел во имя полноты жизни; жажду жизни будил он призывными ударами, и оттого вся гамма человеческих настроений нашла в его песне такое богатое выражение. Колокол русского поэта, напротив, звучит монотонно. Не радость жизни, а смутную тревогу родит он в душе своими размеренными ударами. Это — вечерние звоны собора Парижской Богоматери, которые входят в сознание вместе с темными силуэтами настоя- жившихся и чем-то угрожающих химер».

Эти юмористические строки напечатаны не в «Стрекозе», а в «Современном мире» (март 1908 г.).

хотворного обихода говорят о поэтической неискренности, — которая, конечно, превосходно может совмещаться с искренностью душевной и ни в какой зависимости с нею не состоит.

Так же равнодушны по форме пылкие по содержанию стихи г. Н. Шрейтера, сотрудника «Русск<ого> богатства», у которого г. П. Я.⁷ умудрился отыскать «выдающуюся музыкальность и тонкое изящество».

Таковы же революционные стихи А. М. Федорова⁸, маленького, но искреннего поэта, который, чуть прикоснется чуждой ему революционной стихии, так сейчас же становится вялым, фальшивым, бездушным — и даже безграмотным. Ему принадлежат такие строки, фальсифицирующие гражданский гнев:

Я помню, помню, как жандармы
Ворвались полночью в мой дом
И вместе с запахом казармы
Внесли насилие и содом,
Чутьем невежественно-лисьим
Во всем крамолу находя...

и т. д.

Разве «внести насилие вместе с запахом» не все равно, что пить чай с удовольствием и с лимоном? Разве невежественно-лисье чутье не все равно, что вдохновенно-тараканье? Разве это стихи? Разве это пафос? Разве это не подделка? Остерегайтесь подделок!





К. И. ЧУКОВСКИЙ

Пфуль

М. Горький: «Городок Окуров». — «Матвей Кожемякин». — «Исповедь»

Говорят, что Горький будто бы кончился, а между тем его последний роман гораздо лучше и серьезнее предыдущих, — и уж, конечно, выше «Фомы Гордеева», где все, даже ростовщики и пьяные девки, непременно говорят афоризмами.

В последнем романе Горького изображается русский уездный город. Жители этого города только для виду занимаются какими-то делами и ремеслами, главное же их и даже единственное занятие — пинки, потасовки, подзатыльники. Очень картинно выходит у Горького, как матери колотят дочерей, свекрови — снох, мужья — жен, офицеры — солдат, и даже влюбленный Ромео сечет розгами свою Джульетту «до обморока вплоть».

У нас жены все Матрены,
Кулаком рожи крещены! —

так и поют о себе жители этого города. Их единственный праздник — кулачный бой. «Давай бою-у-у!» раздается клич, и толпы людей, сплотившись, принимаются расквашивать друг-другу носы. Малые дети (которых здесь целодневно истязают родители), только и слышат от взрослых, что о шпицрутенах, порках, экзекуциях, и, чтобы избежать этого сплошного мордобоя, этого кругового членовредительства, люди либо идут в монастырь, либо стреляются, либо сами начинают мордобойство-вать... И не знаешь, чего здесь больше — озорства или отчаяния, хитрости или тоски, в этой обители Мелкого Беса¹, в царстве заборов и скуки, и вечных, неизбывных ворон, — ворон и галок, тех самых, что еще в «Слове о Полку Игореве» так

громко кричали, «трупия себе деляче» — «деля меж собою трупы» — и готовясь «полетети на уедие».

«Мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно жить на этом свете, господа» (*Голь*).

Зевота, икота, отрыжка... Этот мокрый, иззябший распухший от дождя город, — уездный Окуров, Воргородской губернии, на берегах реки Путаницы — превосходно изображен нашим автором, — и ужаснее всего то, что это совсем не какой-нибудь один единственный каторжный выродок-город, это вся необъятная Русь. Горький недаром загодя заявил, что «губернских-то городов, считай, десятка четыре, а уездных тысячи, поди-ка. Тут тебе и Россия!.. Государство она бесспорно уездное!». Столичные города, по Горькому, это то же, что бобровая шапка на оборванном босяке. Стало быть, уездный Окуров есть наилучший образчик России, и те жалкие дикари-членовредители, о которых я только что говорил, суть типичнейшие наши соотечественники.

Чехов когда-то писал с дороги:

«Города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятие... В России все города одинаковы».

Вот об этих-то «жителях», изготовляющих облака и скуку, и пишет теперь Горький, и так убедительно пишет, что, читая, хочется и самому крикнуть во весь голос:

— Караул!

Хочется молиться кому-то:

— Помоги! Пожалей!

Но кому же молиться? Только лощенные галки скачут с забора на забор, галки, да вороны, да воробьи, и снова галки, и снова вороны, —

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!²

II

Галки и воробьи? Вороны?!!!

Но, позвольте, а куда же девалась та прекрасная птичка, которая, помнится, нам всем очень нравилась? Куда же девался этот восхитительный буревестник? Вы помните буревестника: «Между тучами и морем гордо реет буревестник!» —

То волны крылом касаясь,
То стрелой взлетая к тучам,
Он кричит, и тучи слышат
Радость в смелом крике птицы.

«В этом крике жажда бури»... Вот бы такого буревестника сюда! Или хотя бы сокола, помните сокола? — «и крикнул Сокол с тоской и болью:

О, если б в небо
Хоть раз подняться!
Врага прижал бы
Я к ранам груди...
И захлебнулся б
Моей он кровью!
О, счастье битвы!

О, смелый Сокол!.. Неужто Горький, который прежде, куда ни глянет, везде, бывало, видит этих очаровательных птиц, — целые стаи буревестников и соколов, — теперь нигде, ни на одном заборе Окуровском, ни на одной каланче не нашел хоть бы заваливающего какого соколенка! То-то было бы хорошо! Пусть бы слышали с высоких небес эти жалкие пакостники, мелкие душителы и трусы гордую, могучую песню:

— Безумство храбрых, — вот мудрость жизни!

Пусть бы явился к этим заеденным клопами, рыгающим, икающим «мещанишкам» какой-нибудь великолепный этакий Чудра, Коновалов, Челкаш, вдохновенный пропойца, в восхитительных босяцких лохмотьях, без шапки, с разорванным воротом, со сверкающим взглядом, похожий на ястреба, и крикнул бы громко:

— О, гниды! Скушно с вами, черти лиловые!

А потом вниз тормашками с высоты и... вдребезги! «Пусть все скачет к черту на кулички!»

«Оргиазм борьбы», «наслаждение собственной гибелью», помните, помните? «раздробить бы всю землю в пыль», а, потом «сгореть в одном порыве», — и какое тебе дело до ворон и до галок, до того, что в каких-то темных домишках темные мещане с утра до ночи уныло колотят друг друга?

Куда же, куда девался этот восхитительный буревестник?

III

В том-то и дело, что здесь, в этом постылом Окурове, нашелся-таки буревестник, и не какой-нибудь, а самый настоящий —

и что же? — может быть, я ослышался? — Горький не возопил перед ним, как бывало:

— Осанна!

а замахал руками и крикнул:

— Кыш, проклятая птица!

Изловчился, поймал этого «гордого демона» да об пень его головой: вот тебе, вот тебе! И растрепал его перья по ветру, и, мертвого, растоптал ногами, — ах, он так зол теперь на всех этих соколов и буревестников, и я думаю, с восторгом он сжег бы свои первые книги, где эти соколы и буревестники прославлялись!

— И зачем я эти книги писал? — кается он теперь, глядя на ту полку, где у него «Фома Гордеев», «Песня о Соколе», «Челкаш», — и в покаянном порыве пишет теперь статью «Разложение личности», где горячо осуждает своих былых буревестников, усматривая в них «нигилистический индивидуализм», слишком выпяченную «самость» и «ячность». И называя теперь их «оргазм борьбы» — истерикой, а их бунт — хулиганством, он тем самым резко и едко (и, пожалуй, несправедливо) клеймит свою недавнюю деятельность, которая когда-то, пред революцией, привлекала к нему столько сердец.

Правда, о себе он там ни слова не говорит, но так яростно бичует других провозвестников буревестников, других апологетов «ячности» и «самости», что, естественно, его бичевание превращается в самобичевание, и все его проклятия и угрозы падают на него самого, как на автора «Макара Чудры», «Старухи Изергиль» и др.

Но такого самобичевания ему показалось мало, и вот он написал «Городок Окуров».

В этой повести он снова «по примеру прежних лет» вывел своего любимого героя, «горьковского босяка», но вывел его уже не затем, чтобы прославить, а затем, чтобы публично ошельмовать.

Этот новый горьковский герой — всем босякам босяк. Он, так сказать, квинтэссенция прочих горьковских босяков: красив, как Махин; силен, как Челкаш; удал, как Алешка (из пьесы «На дне»), и так же страстно, наивно влюблен в себя, как тот восхитительный циник и эгоист Шакро, о котором Горький восторженно писал в первом томе своих «Рассказов». Кроме того, он так же тоскует и так же стонет, как и другой богатырь босячества — купеческий сын Фома Гордеев. У него, как и у всякого русского ушкуйника, — «ноет душа», «простора ей мало».

«Вот, — говорит он, — тридцать годов мне, сила есть у меня, а места я себе не нахожу такого, где бы душа не ныла».

Словом, босяк усугубленный, совместивший в себе все любезные Горькому черты. Зовут его Вавило Бурмистров. Его «я» выпячено у него вперед необычайно, и Горький этого ему теперь ни за что не простит. Вавило весь с головы до ног отравлен «ядом самости и ячности», «нигилистическим индивидуализмом» и смотрите, например, как ему дорого звание первого на всю слободу бойца. За это звание он часто платит боками и кровью. Когда однажды ему удалось встать перед толпою на стол, — он почувствовал сатанинскую гордость:

— Они меня — ниже! На земле они — пойми ты, а я поднялся уж! Над ними я!

Пред этим Вавилой Горький так недавно преклонял колени, взывая:

— Учитель! Учи меня, как надо жить!

Но теперь не то. Горький взял своего бывшего учителя за шиворот и стал его всенародно обличать.

— Вот человек без стержня, — сказал он. — Человек, «ни к чему не прилепленный», «без твердой земли под собою». Все в нем есть, а «все смешано, переболтано». Он «лишен социальных чувств», «не ощущает никакой связи с миром». Он вечно колеблется на границе безумия. Истинное ему имя — хулиган. Он прямое порождение этого подлого, безнадёжного Окурова, этих унылых, убого-жестоких мещан. Сокол из породы Ужей.

Прежде Горькому очень нравилось, когда на сцену врывался этаким Вавило, душа нараспашку и под хлопки галерки выкрикивал:

— Ничего я не желаю! Ничего я не хочу! На, возьми меня за рубль двадцать. Кто я? Пылинка! Лист осенний!

Теперь же Горький с грустью и негодованием показывает нам, как этот буревестник («черной молнии подобный») идет в участок и доносит на своего же товарища. Вы думаете, он доносчик? Нисколько. Ибо потом он идет к товарищу — и кается перед ним: я на тебя донес.

Потом ни с того, ни с сего убивает другого товарища. Вы думаете, он его ненавидел? Нисколько. — «Жалко его, — говорит он про убитого. — Он был ничего, не вредный, как все»...

В революцию этот «человек без стержня» тоже вносит одну только удадь, один только размах бесшабашной души, а сам каждую минуту готов изменить, предать, перебежать к неприятелю, за минуту не зная, будет ли он героем или грабителем,

и с кем он будет сражаться, и за кого, — и вот полюбуйте на этого Чудру под священным знаменем революции.

— Конечно, глупость одна эти бунты... ну, а я бы все-таки побунтовался — эх! — восклицает он. — Я бы показал себя.

Он идет в революцию, чтобы *себя показать!* — (несчастный! — и я мог столько лет носиться с ним, как с писанной торбой! — ужасается Горький).

Но дальше:

«Народ! — ревет этот Чудра. — Слушай, вот — я. Дай мне — моей совести — ходу!»

(Опять «я», «меня», «мне», снова «самость» и «ячность», — возмущается автор своим недавним кумиром.) А потом пошел к проститутке, у которой был на содержании, и уколошил у нее своего приятеля.

«Вот тебе и свобода! Это, что ли, свобода?» — восклицает другой босяк, и никто не знает, что же делать с этой свободой:

«Нет, чего делать будем со свободой, — вот где гвоздь! Павлуша Стрельцов — он рад: заведу, говорит, себе разные пачпорта и буду один месяц по дворянскому пачпорту, другой по купеческому».

Вот так буревестники! Но слушайте дальше. Жалка революция, которую «делают» такие герои, и вся новая повесть Горького направлена на обличение окурдовской революции, — не народной, а хулигано-мещанской. Оговорив товарища и налгав на покойника, Вавила вышел из части на свободу. Столкнувшись случайно с черной сотней, он, неожиданно для самого себя, встал у нее во главе, «никогда еще не чувствуя себя героем так полно и сильно, как именно теперь». Словно некий Гапон, он пошел на своих же товарищей, на однокашников, — все время крича:

— И вот, я говорю, я, я, я!

Изменник, убийца, дурак, человек без стержня и без почвы — так определяет Горький своего вчерашнего буревестника.

— Значит, вы изменили свои взгляды? — спросил некто у Горького.

— Да, я не совсем так смотрю на вещи теперь, как смотрел тогда, — ответил он. — Может быть, это даже не эволюция взглядов, потому что эволюция предполагает путь без скачков и пробелов, а здесь найдется и это. Но что делать, — мы живем*.

* См.: «Образование». 1908. VI. Статья А. А. Измайлова.

А г. Луначарский, посмотрев, как Горький «сжигает» то, чему поклонялся, и поклоняется тому, что «сжигал», восторженно (и ничуть не в «Сатириконе»!) возгласил, — слово в слово:

«— С одной высокой горы, где он (Горький) был соседом с Ницше, он перешагнул прямо на другую, где стал соседом Маркса».

Бессмертный Кузьма Прутков, это ты!

IV

Великолепно рисует Горький всю эту трагикомическую, мещано-босаяцкую, окурговскую революцию, которая зародилась в доме терпимости и вылилась в нелепый бунт «против образованных», против «немцев», в битье стекол, в побоище, — и своим «Матвеем Кожемякиным» он очень ясно показывает, что иную революция и быть не могла среди этих обглоданных нуждою, забитых и побитых людей, и таким образом, его новая повесть восстает не только против буревестников, но и против той бури, которую предвещали буревестники, (из них же первым был он), против *великой всероссийской революции*.

И не только восстает, но и наглядно и отчетливо обнаруживает пред нами причину всех этих окурговских зол и катастроф.

Она все та же, одна-единственная: индивидуализм, «самость», «ячность» — назовите ее, как хотите.

Отчего не удалась окурговская революция? Оттого, что в Окурове «привыкли жить и думать одиноко». Оттого, что все смотрели друг на друга, «как псы на волка», оттого, что «все были полны страха быть обманутыми, и каждый хотел обмануть». Оттого, что «никто никого не жалел — зверье зверьем». Все были «как чужие птицы в курятнике».

Оттого, одним словом, что обитавшие в Окурове горьковские Соколы были преисполнены соколиного индивидуализма, а обитавшие там горьковские Ужи индивидуализма ужиного.

Других в Окурове (читай: в России) жителей не было: только Соколы и только Ужи, — стало быть, весь Окуров населен сверху донизу индивидуалистами, и гибель его неминуема.

Ибо ныне, по Горькому, если есть на свете какое-нибудь зло, какое-нибудь несчастье, мерзость, пагуба — все от этого самого, от ненавистного ему индивидуализма, который некогда был для него *единственным* (единственным!) в мире благом.

В статье «Разрушение личности» он спрашивает:

— Почему в русских купеческих семьях так много психических заболеваний?

И отвечает:

— Из-за индивидуализма (с. 368).

— А почему не удались интеллигентские колонии?

— Из-за индивидуализма (с. 381).

— А почему разлагается современное государство?

— Из-за индивидуализма (с. 370).

И так дальше, и так дальше — очень подробно, убедительно. Прежний источник универсального счастья оказался источником универсального зла.

Все же хорошее, что только есть на свете, заключается теперь в преодолении индивидуализма, — и все афоризмы новой повести (без афоризмов Горький не может) только об этом и говорят.

— Один человек не житель!

— Рыба и та стаями ходит!

— Се что добро и что красно, но еже жити братии вкупе.

— Устойчивую веру в человеческий разум... дает только приращение к великой жизни мира.

Видит ли Горький теперь книгу, он спрашивает: чем хороши книги? И отвечает: тем, что они есть как бы *всемирная* беседа людей, тем, что они нарушают индивидуализм (с. 54).

— Чем хороша грамота?

— «Тем, что она *сопрягает* человека с человеками, сиречь: приобщает его миру» — т. е. нарушает индивидуализм.

— Чем хороша брачная жизнь?

— Тем, что она есть духовное слияние двух людей, для ради совокупного одоления трудностей житейских, — т. е. нарушает индивидуализм и т. д., и т. д., и т. д.

Отрекаться от Макара Чудры, так уж отрекаться. Каяться, так каяться до конца.

V

Все это так, но я отодвигаю книгу и думаю о нем самом, о писателе. У него всегда такой большой захват, ему ничего не стоит пустить к себе на страницы двадцать, тридцать, пятьдесят человек, наляпать множество лиц, набрызгать множество образов, — все пестро, легко, непринужденно, — и что за беда, если потом, взглядевшись, вы увидите, что все эти образы и все

эти люди маршируют по его команде — и хвалят индивидуализм, когда автор индивидуалист; и хвалят коллективизм, когда он коллективист; это все в порядке вещей, все это так и должно быть, но одного я понять не могу: почему же у Горького никогда не бывает *сразу нескольких идей* в голове, почему же в каждую данную минуту у него только одна идея, очень хорошая, но только одна? — и не то всегда меня в нем огорчало, что он имеет *эту* идею, а то, что он не имеет других. Это я считаю основным и главнейшим его грехом. Не потому ли Горький так много и пишет, так много проповедует, так браво и лихо решает все вопросы, так легко устраняет все сомнения, что, одержимый одной идеей, ощущая всегда эту одну идею, как некую схему всеобщего блаженства, он не видит и не знает действительности, — и что хуже всего, он никогда не видит и не знает (из-за этой своей идеи) живой и дышащей души человеческой.

Да и когда же ему было заметить ее? Прежде он славил отвлеченную личность, теперь он славит отвлеченный коллектив, и ни прежде, ни теперь в его схемах нет места для живого, подлинного, конкретного человека.

Вы помните прежнего Горького? Пусть бы тогда мимо него прошли Анна Каренина, Китти, Долли, Наташа — все такие разные, отдельные, неповторяемые души, он бы и не заметил ни одной, и не различил бы, они все были бы для него как сплошное пятно, он бы только дознался: сильна ли в них личность или нет, — если сильна, то да здравствуют! если слаба, то да сгинут! — такая уж у него была «идея», отвлеченная идея об отвлеченной душе, и, одержимый этой идеей, фетишист идеи, он приспособлял к ней всех своих Зобаров, Челкашей, и Данко, и Радду, и Ларру, и Мальву.

Теперь он славит сплоченную человеческую толпу, теперь ему и Бог велел не видеть отдельных человеческих лиц, отдельных душ человеческих, — одно сплошное пятно.

«Раньше, когда я о народе не думал, — говорит он устами своего героя, — то и людей не замечал. А теперь смотрю на них и все хочу разнообразие открыть, чтобы каждый предо мною отдельно стоял».

Но нет для него «разнообразия», нет отдельных душ, отдельных жизней, — и Горький без конца готов теперь доказывать, что у отдельных личностей не может быть

ни Бога,
ни творчества,
ни свободы,

не может быть ничего*, — и ему, фанатику новой идеи, теперь (как, впрочем, и прежде) не жаль никакой личности, не жаль вот этого отдельного человека, и пускай этот человек, — вот с таким-то голосом и такими-то руками — сейчас же провалится в тартарары, для Горького это все равно — лишь бы цвело и тучнело целое, лишь бы торжествовал его идол — коллектив.

И недавно сама природа сделала опыт над Горьким: провалила-таки в преисподнюю тысячи отдельных, конкретных личностей, — испугала весь мир мессинским землетрясением. Но наш фанатик коллектива и бровью не повел: мессинское землетрясение? Что ж такое? Погибли отдельные люди? Не беда. «Печаль бесполезна, и слезы не нужны». Зато как все сплотились, как сгрудились!.. — и пошла обычная его декламация:

...Гнетущее душу впечатление трагедии, разрушения и смерти невольно тает, исчезает, при виде этой могучей картины жизни, полной в сей день глубоким чувством братского единения всех со всеми, жизни, которая образно и ярко говорит о возможности в будущем великих дней, годов и веков соединенного, дружного строительства «новых форм бытия» и т. д., и т. д., и т. д.

Пожалуй, даже и хорошо, что в Мессине было землетрясение: Горький мог увидеть торжество коллектива!

Когда у Толстого читаешь, как гибнет одна только душа, Андрей Болконский, сердце останавливается, нет сил читать дальше, — нет, нет, не надо! — испытываешь личное горе, и горе это во сколько раз больше, чем когда читаешь у Горького о гибели тысяч человек. Его декламации над этими горами трупов не кажутся ли кощунством?

Но нет, это не кощунство. Это просто дальтонизм, своеобразная слепота. Иные не видят зеленого и синего (кажется!) цвета, а Горький не видит, не способен видеть — человеческую душу. Все видит, а души не видит. И не потому ли в его произведениях всегда так много образов, так много идей, так много проповедей, так много афоризмов, но совсем нет никакой «психологии». О, какая странная слепота!

В его «Жизни ненужного человека» описан деревенский пожар. Что может быть ужаснее таких пожаров! И если бы Горький видел, знал, любил, «жалел», ну просто по душе, не из принципа, хоть одного погорельца, хоть одного отдельного человека, он воздержался бы хоть здесь от патетических декламаций. Но Горькому и здесь что за дело до единиц, было бы

* См. в «Исповеди» с. 172, 174, 179.

торжество «коллектива», торжество сплоченной толпы. И так как здесь толпа, действительно, сплотилась, то Горький и здесь стал в позу и заскандировал:

— Было приятно и весело (это на пожаре!) смотреть на эту хорошую, дружную жизнь в борьбе с огнем... Все подбодряли друг друга и хвалили за ловкость, силу и т.д... при огне все увидели друг друга хорошими... и все было хорошо, как во сне (с. 11).

Да сгинет человек и да здравствуют пожары!

Это странно, что Горький, вышедший из живой жизни, больше всего полюбил формулу, догму, «идею», доктрину, раньше одну, а потом другую, но непременно доктрину, сделал из нее фетиш и стучит перед нею лбом, ничего не видя и не слыша. Странно, что такой догматический ум мог создаться на свежем воздухе, под открытым небом! И до чего Горький доходит в формализме своего мышления, мы уже видели из его недавней повести «Лето». Только что вслед за летом пришла осень, — и полиция рассажала по тюрьмам лучших людей деревни, и измученный стражник убил гулящую девку и застрелился сам, как Горький, словно в насмешку над этими бедами и смертями, воскликнул:

— С праздником, великий русский народ!

С каким праздником? Да все с тем же рождением коллективизма. Горький во всех этих напастях подметил почему-то торжество сплоченных человеческих сил, и вот уже ему нет дела ни до каких смертей и несчастий, он заведет свое:

— Гром победы раздавайся!

Я сравнил бы Горького с генералом Пфулем, — помните, — из «Войны и мира». Вы помните: «Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике; он из любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел».

О, Горький есть теоретичнейший Пфуль во всей нашей русской словесности! Была бы жива его абстракция, его фантастический коллективизм, что ему за дело до конкретных личностей, до всякой конкретности вообще.

И таким Горький был всегда. Вспомните его прежние книги. Варенька Олесова могла быть сколько угодно глупа, Челкаш мог быть вором, князь Шакро мог быть мелким паразитом, — но Горькому какое дело до этого: были бы они индивидуалисты, и он пропоет им осанну!

Теперь то же с коллективизмом. За коллективом может скрываться смерть, гибель, стихийное бедствие, зло, Горькому

все равно: был бы коллектив! Да здоровствует коллектив. Ну, как же не Пфуль?

VI

Но что всего замечательнее, Горький даже и не подозревает о такой своей слепоте. Чаще всего и охотнее льнет он именно к изображению человеческих душ.

И странной, какой-то, и не живой выходит у него каждая душа. Должно быть, слепорожденному именно так представляются разные краски и цвета.

По Горькому выходит, будто душа — это какая-то коробочка. Раскрой ее, — а там лежит «идея», в каждой коробочке своя. И вот Горький ходит промежду людей, и раскрывает то одну коробочку, то другую, — десять, двадцать, тридцать коробочек, — из каждой достает ее идею, показывает публике, а коробочку выбрасывает прочь.

— Господин, вы что-то обронули!

— Нет, это так, пустяки, пустая коробка.

А «пустая коробка» — и есть душа. Но для Горького она ни к чему. Сам заеденный догмами и формулами, он только формулы и догмы и ценит в других, только их и подмечает. — «Я не паспорта ваши, а *мысли* видеть пришел», — говорит один его герой. И еще: — «Я и этого забавника начал раскрывать, *надо мне понять все пружины*», — т. е. все «идеи», все формулы, какими «движется человек», — а человек формулами и не движется. И обыкновенно у Горького это делается очень легко. Не успеет он подойти к человеку, а тот ему всю свою формулу и выложит. Прочитайте, напр<имер>, его «Исповедь». Горький залюбопытствовал, в чем религия каждого из нас, и вот замелькали пред нами до полсотни человек, и каждый со второго же слова:

— Вот в чем моя религия!

Я помню, очень этому удивлялся. Оказалось, что для какой-то Февронии Бог — добрый барин, для какого-то Гриши, напротив, Бог — сеятель бед, для Михи Бог — грешник, для какого-то лекаря Бог — лекарь, а какой-то деревенский Власий имеет такую формулу:

— Я сам — Бог! Да! (с. 20).

А у какого-то Антония формула религии такая:

— Я, как и ты, Матвей, не вижу Бога.

И какая-то монастырская блудница точно так же формулирует себя:

— Бога не вижу, и людей не люблю.

Формулы, формулы! Какой-то казак отметил, что у рабов не бывает Бога, и то же отметил (как формулу, как догму!) какой-то Михайла (с. 128, 174), а Горький раскрывал все эти коробочки, вынимал из каждой нужную ему пилюлю, и каждую выбрасывал прочь. Пока, наконец, в одной из коробочек не оказалось:

— «Народушко бессмертный» — «сей бо еси Бог, творяй чудеса» (с. 148).

Довольно, — сказал Горький. — Эта формула как раз по мне. Народушко — ведь это и есть коллектив, «его же духу верую, его силу исповедую; он есть начало жизни единое и несомненное» — и пошла обычная декламация. Пфуль заговорил о своем.

Коробочка с идеей — странное представление о душе. Мы живем не формулами, а жизнью, наши идеи не в наших словах, а в нашей походке, и в наших жестах, и в нашей прическе, — это так изумительно обнаружила литература русская. И религия наша вовсе не в том, что мы в любую минуту можем сказать всякому встречному и поперечному:

— Мой Бог это то-то!

— А мой Бог это то-то!

Наша религия в каком-то невысказываемом, но для всякого ощущимом пафосе всего нашего существа, нашей личности, и воистину нужно быть безнадежным Пфулем, чтобы во всякой душе отыскать свою специальную доктрину, свою специальную теорию о Боге. И не только о Боге, а решительно обо всем у каждого горьковского персонажа есть своя специальная доктрина, своя формула, свой афоризм. Иначе как сентенциями люди у него почти не объясняются. А ведь за каждой сентенцией непременно скрыта теория, это, так сказать, экстракт теории. Уж не кажутся ли г. Горькому и все прочие люди тоже отчасти Пфулями. Так и мелькает у него на страницах:

— Лучше бы человеку без штанов жить, чем со скептицизмом в душе.

— Не то важно, как люди на тебя смотрят, а то, как ты сам видишь их.

— На гору идешь, до вершины иди; падаешь, падай до дна пропасти.

Деревенский кулак говорит у него: «Никогда ни вершка не уступай людям», а деревенский праведник говорит: «Сохранишь в душе детское свое на всю жизнь, ибо в нем истина». У каждо-

го идея наружу, как вывеска на лабазе, вся идея в двух или трех готовых словах, и если судить, напр<имер>, по «Лету», то современная деревня до края насыщена идеями, и лишь одна там без идей — сивая кобыла стражника Лядова, да и та в конце, мне кажется, околела. Идеи и вопросы. По Горькому выходит, что все духовные вопросы и запросы в готовом виде, препарированные и засушенные, находятся у каждого из нас в кармане, — и мы в каждую данную минуту можем будто бы точно и отчетливо сказать, о чем томится, чего жаждет — без слов, без формул — наша душа. Бедный Пфуль! Вы помните чеховский рассказ «Скрипка Ротшильда»? О чем тосковал, о чем спрашивал этот умильный, жалкий гробовщик? У него есть какой-то вопрос, но пусть Горький попробует, формулирует своими бойкими и меткими словами и прибаутками — в чем этот вопрос заключается. Не сумеет, потому, что здесь живая душа, а не формула. Или о чем тоскует, о чем спрашивает у Бога, у всего мира — Федор Юрасов в превосходном андреевском рассказе «Вор»? И так спрашиваем мы все, большие и малые, — и русская литература лучше других услыхала и заметила эти вопросы. По Горькому же выходит так: шатаются по какому-нибудь Заречью мещане и мужики и друг у друга громко и определительно спрашивают:

«Как это понять — Россия?» — «Что такое Бог?» — «Какая другая жизнь?» — «Какое нам место отведено на земле государевой?» — «Где нам дорога?» — «Где нам жизнь?», и т. д.

Горький даже слово такое изобрел «вопросники», — и вопросительных знаков в его книгах — больше всего. Даже сыщик с «вялым», как он сам говорит, мозгом, и тот нет-нет да и задаст кому-нибудь (в участке!) два-три мировых вопроса. И что всего превосходнее — у Горького в кармане на все эти вопросы имеется ответ (портативный! универсальный! лечит все болезни! открывает все двери! разрешает все вопросы!), и ответ этот, как я уже указывал: коллектив! — но этот ответ мог бы быть и какой-нибудь другой, лишь бы непременно универсальный, лишь бы догма и отвлеченность, — такова уж у Горького натура.

VII

Но нужно признать, что в Горьком не сразу и пометишь такой душевный изъян, и это потому, что — огромный декоративный талант, — он всегда умел самыми яркими заплатами прикрывать все свои прорехи.

И все же возьмите, напр<имер>, его «Исповедь». Проследите, как описывает он там всякую душевную духовную жизнь. Не поразит ли вас одна очень странная черточка? Вот он сказал, что у кого-то «мысли были, как старые богомолки». А у кого-то еще — «как хохлы утром на ярмарке». Еще у кого-то мысли были, по выражению Горького, подобны змеям, а иногда и летучим мышам, у кого-то еще были мысли, как пчелы, — «как испуганный рой пчел».

А у какого-то деревенского парня «в голове было, как в новой квартире», — «привезено почти все уже, а все не на своем месте, ходит человек между вещей и стучается об них то лбом, то коленкой».

Если всмотреться, Горький иначе и не умеет передать вам духовную жизнь: всегда у него уподобления. «Я в душе моей всякий древний бурьян без успеха полोल», — такая фраза обычна у него. В его «Исповеди» то и дело читаешь:

«Наблудил в *душе*, как козел».

«В *душе* у них, как в печной трубе, черно».

«Как плугом вспахал *душу* мне».

«Словно больной зуб в *душе* моей пошатывает».

В душе — бурьян, в душе — зубы, в душе — козлы, хохлы, богомолки, все это, может быть, и поэтично, но до чего такое овеществление души человеческой отдаляет, отчуждает ее от нас. Представьте себе, что Толстой сказал бы как-нибудь про Анну Каренину: «Мысли ее были как тараканы за печкой» или: «В душе у нее молотили овес», — и представить себе не можете! именно потому, что вы так необычайно осязаете, ощущаете эту душу, что она вам так близка во всей своей сложности и своей духовности, — какие же здесь тараканы и козлы! Она для вас не посторонняя вещь, не предмет, который со стороны может показаться то щепкой, то тряпкой, а огромный, поразительный, сложнейший мир ощущений, движений, помыслов, — которые одним метким словечком закрепить нельзя, про которые нельзя сказать, — как без конца говорит Горький:

«Костер мыслей».

«Черви горя и страха».

«Горло истины».

«Лицо души».

И не потому, что это будет дурного тона риторика («Бог с ним, с тоном!»), а потому, что это будет клевета на человеческую душу, упрощение сложного, обеднение богатого. Для Горького же всякая «психология» — пустяки. Раз, два, три — вот и

психология! Величайшие из художников как трудились, например, над темой: перерождение, возрождение человека, и сколько из них изнемогли! Сам Толстой, когда дошло до перерождения Нехлюдова, оказался почти бессилён. Даже у Чехова в «Дуэли» перерождение Лаевского — самое слабое место. Потому что ощущали эти люди всю сложность, всю огромность такого душевного события. Для Горького же никаких трудностей, — раз, два, три! — человек у него переродился.

«Роковой для меня поворот», — заявил у него Матвей (в «Исповеди»), и готово!

«... Остановил меня человек, на всю жизнь окрыливший душу мою, указав мне верный к Богу путь» (с. 138).

Вот и все перерождение! Чего же вам больше! И при этом само собой:

«...Слова его касались души моей огненным *перстом*, и чувствовал я жгучие, но целебные *ожоги и уколы*».

«...Горят в груди моей разные *огни*...»

«Перст», «огни», «ожоги», «уколы» — внешние, формальные слова, не перерождение души, а только фразы о перерождении души, — о, Горькому легко изображать психологию, как легко глухому петь, а слепорожденному рисовать: он даже не знает, в чем здесь трудность. Для его доктринерского таланта всякое проникновение в душу было бы только помехой. Какое бы это было истинное несчастье для Пфуля, для педанта, если бы он вдруг *понял* человека, если бы он вдруг хоть на мгновение заметил, что вот есть нечто такое, пред чем самая лучшая теория, самая лучшая «диспозиция» ничто, — да он растерялся бы, он бы, может быть, и жить отказался без теории — нет, пускай себе стоит на эстраде и закрыв глаза декламирует:

«В душе моей тихий поземок *пожар*, выгорает душа, как лесная поляна!» (с. 189).

«Мысль моя вспыхнет, да и вылетит *искрой* в глаз кому-нибудь» (с. 130).

«...*Горячее облако* мысли...»

«...*Огонь* безмолвных дум...»

«...*Пепел* слов».

Не психология, а пиротехника какая-то, но Горькому что же и нужно, — хоть этим бы прикрыть свой зловеющий изъян...

* * *

«Городок Окуров» хорош уж тем, что там ничего подобного нету. Вообще, это лучшее произведение Горького. Люди там

почти не говорят афоризмами и в душах у них ни «козлов», ни «хохлов». Спокойно и уверенно, без декламации, меткими и едкими словами разоблачает Горький — Всероссийскую Революцию. Как будто с высокой какой-то каланчи оглядел он всю Русь, все ее города и веси, и с тоскою, у него небывалой, с угрюмым почти отчаянием сказал чуть не всем русским людям:

— У, гниды.

И весь его пфулизм, все его доктринерство здесь меркнет (впервые) пред лицом настоящего пафоса.





Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Не святая Русь

(Религия Горького)

I

Куда идет Россия? Великие русские писатели отвечают на этот вопрос, — как бы вечные вехи указывают путь России.

Последняя веха — Толстой. За ним — никого, как будто кончились пути России. За Толстым никого — или Горький.

По сравнению с теми, великими, Горький мал. Мало все, что рождается; велико все, что выросло, достигло своего предела и конца. Великим кажется прошлое, малым — будущее. Вот почему Горький и те, великие, — младенец и взрослые, росток из-под земли едва пробившийся, и дремучие, древние дубы. Но они кончают, а он начинает. Они — настоящее и прошлое, а он — будущее. Откуда идет Россия, можно судить по ним, а куда, — по Горькому.

Сознание, идущее к стихии народной, воплотилось в тех, великих. Обратное движение — народная стихия, идущая к сознанию, воплотилась в Горьком.

Сознание над стихией властвует. Народ, идущий к сознанию, есть народ, идущий к власти. Возникающее сознание народа — возникающая власть народа — «народовластие», «демократия». Горький есть первый и единственный сейчас представитель возникающей русской демократии.

Лица тех великих — гениально личные, неповторяемые; таких лиц никогда еще не было и никогда уже не будет. У Горьких как бы вовсе нет лица; лицо как у всех собирательное, множественное, всенародное. Но правда единственных, правда личностей («аристократия» в высшем смысле) уже совершилась, достигнута; а правда всех, правда множества («демокра-

тия» тоже в высшем смысле) еще только совершается, достигается. Последнее, величайшее явление личности — в тех великих; первое, самое малое явление всенародности — в Горьком.

Нас пугает безличность множества. Но, ведь, всякий зародыш безличен, всякое семя безобразно, а между тем таит в себе возможность нового прекраснейшего образа, новой совершеннейшей личности. Если семя не умрет, то не оживет: надо умереть одному, чтобы ожить всем; надо умереть личности, чтобы ожить множеству.

Те великие слишком сложны; потому-то и стремятся так жадно к простоте, к всенародной или только простонародной стихийности. Горький слишком прост; потому-то и стремится так жадно к сознательной или только к полусознательной сложности.

Как явление художественного творчества, Толстой и Достоевский неизмеримо значительнее Горького. О них можно судить по тому, что они говорят; о Горьком — нельзя: важнее всего, что он говорит, то что он есть. Самая возможность такого явления, как он, как они — потому что он — многие или будет многими, самая возможность эта, в смысле жизненном, не менее значительна, чем все художественное творчество Толстого и Достоевского.

В этом же смысле жизненном, он, «малый», — не меньшее знамение времени, чем те великие. И, может быть, сейчас не в них, а в него надо взглядеться, чтобы понять наше время, ответить на вопрос, куда идет Россия.

II

Несколько лет назад предсказывали «конец Горького». В предсказании была правда и ложь. Как пророк «сверхчеловеческого босячества» Горький действительно кончился. Но кончился один Горький — начался другой.

Страшное испытание огнем — ложною славой — выдержал он, как немногие. Сделал, хотя бы бессознательно, то, что способны делать только самые сильные русские люди — «сжечь все, чему поклонялся, — поклонился всему, что сжигал». Ведь, именно то, что он утверждал некогда, как последнюю правду — «Человек — это гордо» — человек против человечества, один против всех, — он теперь отрицает, как последнюю ложь. Самого себя отрицает, преодолевает. Преодолеет ли? Но уже одно то, что преодолевает, — знак силы. Чтобы так одному че-

ловеку пережить две жизни, кончиться и снова начаться, нужна большая сила. Теперь уже никакие испытания огнем не страшны ему: в огонь вошло железо, вышла — сталь.

Чужое лицо истлело на нем — пышная маска «сверхчеловека», «избранного», «единственного», — и обнажилось свое, простое лицо, лицо всех, лицо всенародное.

Стихия разлагается неполным сознанием — полусознанием. Человек из народа, делаясь полусознательным, «полуинтеллигентным», изменяет своей народной стихии. Так изменил ей Горький, тот, первый, чей «конец» уже наступил. А этот второй, «начинающийся», к ней возвращается или хочет вернуться. Но нельзя вернуться к стихии, не пройдя через полноту сознания, а эта полнота не может не быть религиозною, ибо религия и есть абсолютный предел, исполнение, завершение сознания, абсолютное соединение всех частей сознания в единое целое. Вот почему Горький ищет религиозного сознания — может быть, пока еще бессознательно. Как это ни странно — искать сознания бессознательно, — это часто бывает с такими людьми полусознательными.

А что это именно так, что нет для Горького иных путей к народной стихии, как через сознание религиозное, — видно по его последней книге — «Детство».

Не только в смысле художественном это — одна из лучших, одна из вечных русских книг (не потому ли так мало сейчас оцененная, что слишком вечная), но и в смысле религиозном — одна из самых значительных. На вопрос, как ищут Бога простые русские люди, «Детство» Горького отвечает, как ни одна из русских книг, не исключая Толстого и Достоевского.

Толстым и Достоевским наше религиозное сознание переполнено; никуда нам не уйти от них. Но вот Горький ушел. Он, первый и единственный, заговорил о жизни народа помимо Толстого и Достоевского и даже против них. У Горького все в этой области новое, неожиданное, непредвиденное, неиспытанное — целый религиозный материк неведомый.

Неужели человек, сам чуждый религии, мог бы это сделать? Неужели только случайность, часто наиболее правдивое, сильное, вечное из всего, что написано Горьким, — наиболее религиозно?

В своем интеллигентском сознании или полусознании он отрицает религию. Но между интеллигентским сознанием его и его народною сущностью — противоречие неразрешимое. Тут — именно, в религии, он и отрицает, преодолевает себя с наибольшею силою, с наибольшею мукою. Тут вопрос — быть или

не быть Горькому истинным пророком того, к чему Россия идет, — народного сознания, народной власти — «народовластия», «демократии» в подлинном, религиозном смысле этого слова.

«Не надо религии, Бога не надо», — говорит интеллигентское сознание Горького, а вот что говорит его народная сущность:

«В те дни (детства) мысли и чувства о Боге были главной пищей моей души... Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня».

Так было в детстве, в начале жизни. Когда круг замыкается, то начало его сходится с концом. Богом все началось у Горького — не Богом ли и кончится?

Бог его — «бабушкин Бог». Бабушка маленького героя «Детства», Алеши Пешкова (Горький не скрывает, что Алеша — он сам) — духовная мать его: она родила его, создала, «вывела на свет» — хранила, спасала в детстве, а может быть, и доньше спасает и будет спасать до конца.

«До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет... и сразу стала на всю жизнь другим самым близким сердцу моему». На всю жизнь — на веки веков. Если это так, если бабушка, то и «бабушкин Бог» — самое лучшее и светлое в детстве, в начале жизни — тоже на всю жизнь, на веки веков.

Бабушка вся, до последней морщинки, — лицо живое, реальное; но это — не только реальное лицо, а также символ, и, может быть, во всей русской литературе, не исключая опять-таки Толстого и Достоевского, нет символа более вещного, образа более синтетического, соединяющего.

Бабушка — сама Россия в ее глубочайшей народной религиозной сущности. Отречься от Бабушки, значит, отречься от самой России. Этого Горький не сделает и, если бы даже хотел, то не мог бы это сделать. Сколько бы ни отрекался от религии, какими бы безбожными словами ни говорил о ней, как бы ни был религиозно бессознателен, или, хуже того, полусознателен, он все-таки не отречется от своей народной «крестьянской» — «христианской» сущности. И если Бабушка воистину — Россия, то все, что говорит он о себе и о ней, — больше, чем рассказ о своей жизни, и даже больше, чем исповедь, — это проповедь, пророчество о том, куда идет Россия.

«Ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни».

«Любовь к миру» — религия Бабушки — религия Горького. Какая же это религия? Христианская? Но, ведь, христиане —

люди не от мира сего: «не любите мира, ни того, что в мире; любовь к миру — вражда Богу». А Бабушка любит мир и Бога вместе. Для христиан «небесное» значит «неземное»; любить небо — ненавидеть землю. А Бабушка любит землю и небо вместе. Да и как ей не любить земли, когда она сама земля?

«— Хороша у тебя бабушка, — о, какая земля!» — говорит о ней кто-то.

«— Ты настоящая мне мать, как земля», — говорит ей самой кто-то.

Алеша Пешков слышал эти слова, и Горький запомнил их «на всю жизнь», на веки веков. Ведь именно «любовь к земле», тайна земли и соединила его с Бабушкой, с ее народной сущностью, ибо тайна народа — тайна земли.

Если Христос равен христианству, если в христианстве все кончено, сказано, сделано — есть то что есть и больше ничего не будет, то религия Бабушки — не христианская и не Христова. Тогда прав дедушка, из православных православнейший:

«— Ты ей, старой дуре, не верь. Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна».

Но если Христос больше, чем христианство; если в христианстве не только есть то, что есть, но что-то будет еще, то религия Бабушки — может быть, и не христианская, но Христова воистину.

Бабушка — не святая, а грешная, «окаянная». Любит плясать, петь, нюхает табак, пьет вино. И выпивши, «становится еще лучше».

— Господи, Господи! Как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все! — говорит пьяная, точно молится.

Вообще не умеет молиться, как следует.

— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица... чуваша проклятая!

Бормочет свое — не церковное, не православное и, может быть, даже не христианское — такое вольное, странное, ни на что непохожее, что православному дедушке молитвы эти кажутся кощунствами. Говорит с Богом «внушительно», то как будто «советует» Ему, то как будто «ворчит» на Него — бунтует, богоборствует: «Господи, али не хватило у Тебя разума доброго на меня, на детей моих?..» То жалеет Бога — «такого милого друга всему живому» — всеблагого, но не всемогущего и не всеведущего: «Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы! Он, чай, Батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту, как восплачет да възрыдает: “Люди вы Мои, люди, милые Мои люди! Ох, как

Мне вас жалко!» Этот плачущий Бог — «безумие», «безграмотность». А разве Агнец, закланный от начала мира, — тоже не безумие? Только то — привычное, старое, а это — новое, необычайное.

Бабушка не умеет молиться, как следует, Богу Отцу и Сыну Божьему; но на языке человеческого нет молитв прекраснейших, чем ее акафисты Божьей Матери.

«Радость неизбывная... яблоня во цвету... сердечушко мое чистое, небесное... солнышко золотое...»

Нет, этого нельзя повторить, — надо самому услышать. И всего удивительнее, что услышал это неслыханное, затаеннейшее в сердце народа, в сердце земли, не христианин Толстой, не православный Достоевский, а «безбожный» Горький.

Что такое «Матерь Божья», бабушка сама не знает. Если бы спросить ее об этом, то она указала бы на икону Казанской, Тихвинской, Федоровской или иной поместной Матушки. Так — в ее сознании, но не так — в ее бессознательном религиозном «ведении», «гнозисе».

«Ты настоящая мне мать, как земля», — могла бы она сказать Божьей Матери, так же как ей самой говорит кто-то. Или как у Достоевского (в «Бесах») говорит одна прозорливая: «Матерь Божья есть великая мать сыра земля». Тайна Матери — тайна Земли.

В догматической христианской Троице — Отец, Сын и Дух; а в этой бабушкиной, как будто не христианской, «еретической» — Отец, Сын и Мать. Неоткрытый, исповеданный, неисполненный лик Духа — в лике Земли-Матери.

Отец — в Первом Завете, Сын — во Втором; не в последнем ли, Третьем — Дух? Явление Духа — Святая Плоть, Святая Земля, Вечное Материнство, Вечная Женственность. Если откровение Отца — любовь к миру (земное, природное, космическое — в дохристианских религиях); если откровение Сына — любовь к Богу (неземное, антикосмическое, «не от мира сего» — в христианстве), — то откровение Духа — любовь к земле и к небу, любовь к миру и к Богу вместе. А, ведь, это и есть религия Бабушки. Вот к чему она прикасается, «старая дура, безумная, безграмотная».

Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Вл. Соловьев, Достоевский и те, кто идет за ними — русские люди высшего религиозного сознания — прикасались к тому же. — «Это страшно верное, страшно русское», — говорит кто-то о бабушкиной религии.

Тут высота сходится с глубиной — высота русского религиозного сознания — с глубиной русской религиозной стихии. И

опять всего удивительнее, что это схождение увидел, — хотя бы слепо увидел, только нащупал, — не христианин Толстой, не православный Достоевский, а «безбожный» Горький.

Русских интеллигентных «богоискателей» ненавидит он и презирает, а сам приближается к ним, как никто; открывает в своей народной стихии то же, что они открыли в своем интеллигентском сознании. На разных языках говорят об одном.

III

Бабушка — Россия, но не вся, потому что у России — «две души», по вещему слову Горького, может быть, из всех его слов самому вещему. Одна душа России — Бабушка, другая — Дедушка.

Бабушка прекрасна, дедушка уродлив. У бабушки — добрый Бог — «такой милый друг всему живому»; у дедушки — злой. Если бабушкин Бог — настоящий, то дедушкин — не Бог, а дьявол.

Так или почти так для Алеши Пешкова, но не так или не совсем так для Горького. Он уже знает, что не вся правда у Бабушки, что есть и у Дедушки своя правда, такая же вечная, «страшно верная, страшно русская».

Не всегда был и дедушка злым уродом.

«Он ведь раньше-то больно хорошим был, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал».

Был хорошим, — может быть, и будет. Может быть, не только по своей вине, но отчасти и по вине самой бабушки озлился и оглупел.

«— Меня дедушка снова бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет — устанет, а отдохнув — опять. И возжами и всяко.

— За что?

— Не помню уж...

Бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.

— Разве он сильнее тебя?

— Не сильнее, а старше... За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть».

Даже маленький Алеша чувствует, что чего-то не хватает бабушке. «Иногда хочется, чтоб она сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула». Но никогда ничего не скажет — будет

молчать и терпеть до конца. И чем больше будет терпеть Бабушка, тем больше будет Дедушка злиться и глупеть.

Бабушка, хотя и не святая, но «вроде святой», и главный грех ее — не во грехе, а в святости. Чем сама она святее, тем грешнее все вокруг.

Знает — и не может; созерцает — и не делает. Дедушка знает и делает — мало знает, плохо делает; но в России так мало созерцания, так мало делания, что уж лучше плохо, чем никак.

Бабушка — огромная и мягкотелая, рыхлая, бескостная. Дедушка — маленький, крепенький, остренький, как рыба косточка, и все-таки сглотнул огромную, а его самого никто не сглотнет — косточкой подавится.

Бабушка — беспредельная и безличная. Узок дедушкин предел, но зато у него есть лицо — правда, полужвериное — но все же лицо — зародыш личности.

В Бабушке — «дионисовское», в Дедушке — «аполлоновское». Бабушка — пьяная, Дедушка — трезвый.

Бабушка делает Россию безмерною; Дедушка мерит ее, коптит, собирает, может быть, в страшный кулак; но без него она развалилась бы, расползлась бы, как опара из квашни.

И вообще, если бы в России была одна Бабушка без Дедушки, то не печенеги, половцы, монголы, немцы, а своя родная тля заела бы живьем «Святую Русь».

Бабушка — Россия старая, обращенная к Востоку; Дедушка — Россия новая, обращенная к Западу. Бабушка безграмотна; Дедушка полуграмотен. Но если когда-нибудь Россия будет грамотной, то благодаря не Бабушке, а Дедушке.

Бабушка — «еретица», «вольница» на словах, в созерцании, а на деле ей «заказано терпеть». Дедушка пока что «православен» и «самодержавен». И тоже терпит, потому что руки коротки, чтоб сдачи дать; но когда вырастут — не стерпит. И если, вообще, кто-нибудь забунтует в России, то уж, конечно, не Бабушка, а Дедушка.

— «Ты за бабушку крепко держись, — советует кто-то Алеше. Горький исполнил этот совет: крепко за Бабушку держится, но, может быть, еще крепче — за Дедушку. И если вошел в огонь железом, а вышел сталью, то благодаря не Бабушке, а Дедушке.

Бабушкину правду — «Святую Русь» — понять легко, она сияет, лучезарная; правду дедушкину — Русь не святую — понять трудно: она сквозь облик звериный чуть светится. Ни Толстой, ни Достоевский не поняли ее, потому что смотрели на нее со стороны, извне; Горький понял, потому что увидел ее изнутри.

IV

О двух душах России говорит «Детство». О том же говорит статья, не случайно написанная Горьким почти одновременно с «Детством», так и озаглавленная «Две души».

У России — две души — азиатская, восточная и европейская, западная. На Востоке господствует религия, на Западе — наука. Религия утверждает то, чего нет (бытие Божие, загробную жизнь и прочие «суеверия», «фантазии»); религия — ложь. Наука утверждает то, что есть («законы природы»); наука — истина. Россия гибнет или находится на краю гибели, потому что колеблется между двумя душами — восточной и западной. Чтобы спастись, надо перестать колебаться, надо сделать выбор: отречься от Востока, от религиозной лжи, и предаться Западу — научной истине.

Вот как просто, и если бы речь шла не о Горьком, можно бы сказать — вот как простоудушно до деткости, до дикости.

Стоит ли возражать? Нужно ли доказывать, что нельзя ставить знак равенства между «суеверием», «фантазией», обманом воображения и религиозным опытом; что после кантовской «Критики»¹ утверждать на основании научного опыта или философии разума, что Бог есть, или что Бога нет, два одинаковых невежества?

Если Горький атеист-догматик, то нечего ему говорить о «научном мышлении», как единственном способе познания, потому что всякий догматизм, все равно, отрицательный или положительный, всякая вера, все равно, в бытие или небытие Божие, — противоречат законам «научного мышления». Если же он позитивист-агностик, то как же он смешивает «непознанное» с «Непознаваемым»? Стоило бы ему заглянуть в «Первые Начала» Спенсера, творца агностицизма, чтобы увидеть, что «Непознаваемое» никогда не может быть познано по самой природе научного опыта. Такова философская неосведомленность Горького.

Неосведомленность историческую высказывает он, когда противопоставляет религиозный Восток научному Западу, как две равнодействующие во всемирной истории. Если понимать религию в нашем европейском смысле, как теизм, утверждение Бога, — а так именно понимает религию Горький, — то большая часть Востока — буддийская — нерелигиозна, атеистична, потому что буддизм — чистейший атеизм; только приближаясь к Западу, Восток становится религиозным в нашем,

европейском, смысле — теистичным (зороастризм, иудаизм, ислам); а чем дальше от Запада, чем восточнее, тем атеистичнее. Все религии, так же, впрочем, как и все научные системы (египетские, ассииро-вавилонские основы греко-римского знания), на Востоке рождаются, но растут и зреют на Западе. Семья — на Востоке, цвет и плод — на Западе. Там — религиозное прошлое человечества, здесь — настоящее и будущее. Христианство родилось на Востоке, но выросло на Западе. И если христианство — религия всемирно-историческая по преимуществу, то не Восток, а Запад религиозен по преимуществу.

Неосведомленность психологическую высказывает Горький, когда противопоставляет религию, как абсолютное созерцание наук, как абсолютному действию. Религия — или ничто, «обман воображения», или величайшее явление человеческой воли, а воля — единственный источник действия. Разум освещает и направляет, — воля решает и совершает действие. Вот почему безвольная, бездейственная религия — все равно, что не жгущий огонь: огонь перестает жечь, когда потухает; и религия становится бездейственной, когда перестает быть религией. Наоборот, наука становится действенной, только переставая быть наукою и делаясь «религией», обращаясь от разума к воле, хотя бы бессознательно. Чтобы действовать, надо желать или знать должное, а для науки нет ни желанного, ни должного, — есть только данное.

Религия, по мнению Горького, порабощает; наука освобождает личность. Но самое понятие «личности» неразрывно связано с понятием «свободы», а для науки нет свободы: закон необходимости, детерминизм — основной закон научного мышления. Вот почему наука не знает «личностей», а знает только «неделимые», «особи» безличных «родов» и «видов». Понятие «личности», так же, как понятие «свободы» — вовсе не научное, а религиозное. Чтобы утвердить личность, надо утвердить свободу, преодолеть закон необходимости в его самой крайней точке — в смерти, как уничтожении личности. Это и делает христианство — религией абсолютной свободы, Абсолютной Личности.

Из всего, что говорит Горький о религии, одно только верно, — что религия «опасна». Но ведь вообще всякая сила опасна: чем больше сила, тем опаснее; религия — величайшая сила — величайшая опасность. Но если от огня бывают пожары, из этого не следует, что надо жить без огня.

V

Да, говоря о религии, Горький не знает, о чем говорит. Но важно не то, что он знает и чего не знает, а то, чего он хочет и не хочет.

Не хочет религии, потому что хочет любить мир, а всякая религия есть нелюбовь к миру.

Ну, а как же бабушкина религия — любовь к миру к Богу вместе? «Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни».

О Бабушке-то он и забыл, а если не забыл, то проклял ее так же, как Дедушка: «Старая дура, безумная, безграмотная».

«Две души» написаны по поводу войны — «катастрофы, никогда еще не испытанной миром, потрясающей и разрушающей жизнь Европы», по словам самого Горького. Откуда же катастрофа — от религиозного Востока или от «научного» Запада? Кажется, ясно, что «наука» без религии, полунанука, не только не спасла мир от катастрофы, но, может быть, и была ее главною причиною. Когда человеческий разум утверждает, что он — все, и ничего больше нет в человеке, ничего больше не надо, то сам разум становится безумием.

«Он ведь раньше-то больно хорошим был, дедушка наш, — да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал».

Каких нечеловеческих ужасов и мерзостей может надеть этот озлившийся и оглупевший, обезумевший разум, мы теперь видим воочию. Это он, Дедушка, маленький, хитрый, хищный «хорек» бьет огромную Бабушку — «от обедни до вечера; побьет — устанет, а отдохнув — опять; и возжами и всяко». Он бьет, а она молчит, терпит — только жалеет «безумная» полоумного:

«Ах, дедушка, дедушка, малая ты пылинка в Божьем глазу!»

О Бабушке Горький забыл, но вспомнит о ней; ушел от нее, но вернется к ней.

Может быть, не только у России, но и у самого Горького — «две души», и он разрывается, мечется между ними — то к Востоку, то к Западу, то к Бабушке, то к Дедушке. Какую из этих двух душ спасти, какую губить?

Но, может быть, не надо губить ни одной, а надо спасти обе, соединить «две души» в одну. Может быть, Россия — не Восток и не Запад, а соединение Востока с Западом.

Чтобы соединить, надо не смешивать, а чтобы не смешивать, надо разделить до конца. Это Горький и делает: разделяет, разрывает две души России в своей собственной душе. И если душа его погибнет от этого разрыва, то не даром: она погибнет, чтобы спасти другие души.

Так, «безбожный», делает он Божье дело. Разрыв двух душ — Запада и Востока, действия от созерцания, земли от неба — неполная, не последняя, невечная правда. Но нет иных путей к правде вечной, как жертва одной из двух невечных; только надо знать, чем и для чего мы жертвуем. Горький этого еще не знает; может быть, узнает когда-нибудь.

«Святая Русь! Святая Русь!» — затвердили мы кощунственно. — Нет, не святая, а грешная, — сказал Горький так, как еще никогда не говорил.

Однажды дедушка засек Алешу до потери сознания. «С тех дней, — вспоминает Горький, — точно мне содрали кожу с сердца, — оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде, своей и чужой». Вот это сердце с содранною кожею все еще бьется в Горьком.

Однажды «господин в новом мундире», Алешин отчим, бил его больную мать. «Даже сейчас вижу, — вспоминает Горький, — эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины». Алеша схватил нож и ударил отчима. Вот этот нож все еще в душе у Горького: для него не в переносном смысле, а в точном, кровном, кровавом: обида России — обида матери.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам².

Но вот для Алеши «отеческий гроб» — «тухлый Дюков пруд, куда дядья зимою бросили отца его в прорубь». Вот какое «отечество» надо полюбить Горькому.

Когда Дедушка бьет Бабушку смертным боем, и та молчит, терпит — «мне заказано терпеть», — мы умиляемся:

Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!³

«Святая Русь! Святая Русь!» Горький не умиляется. Да будь она проклята эта «святость», если от нее все наши мерзости!

«Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с

обновленной уверенностью отвечаю — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной». Никто никогда не говорил об этой правде так, как Горький, потому что все говорили со стороны, извне, а он — изнутри.

По нашему, по Толстому и Достоевскому — «смирение», «терпение», «неделание», а по Горькому, возмущение, восстание, делание — «страшно верное, страшно русское». И если Россия не только откуда-то пришла, но и куда-то идет, то в этом Горький правее Толстого и Достоевского. В этом Россия грешная святее «святой».

И не нужна ли большая любовь, чтобы любить грешную, чем «святую»? Не нужна ли большая вера, чтобы верить в грешную? Такою любовью любит, такою верою верит Горький.

«Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодит и жирен пласт всякой скотской дряни, но и тем, что сквозь этот пласт растет доброе... возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».

Никто никогда не говорил об этой надежде так, как Горький, потому что опять-таки все говорили со стороны, извне, а он — изнутри. Надо самому пройти сквозь тьму России прошлой и настоящей, чтобы так говорить о светлой России будущей.

Да, не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, восстающую, освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что «Святой Руси» нет; верит, что святая Россия будет.

Вот этою-то верою и делает он, «безбожный», Божье дело. Ею-то он и близок нам — ближе Толстого и Достоевского. Тут мы уже не с ними, а с Горьким.



ПРИМЕЧАНИЯ

Книга, которую вы держите в руках, собрала под своей обложкой лишь малую часть того, что написано о личности и произведениях Максима Горького. Работая над составом книги, мы менее всего стремились к достижению «энциклопедической полноты»: для этого понадобились бы такие масштабы издания, которые отпугнули бы самых искушенных издателей и оказались бы труднодоступными для рядовых читателей — достаточно сказать, что за первое десятилетие литературной деятельности Горького вышло около двух тысяч (!) посвященных ему и его произведениям работ. Наша задача скромнее: мы хотели бы этим сборником способствовать новому сближению Горького с его читателями — на этот раз с читателями «постперестроечной» эпохи.

Материалы, собранные в книге, отвечают девизу серии. Мы стремились по возможности обозначить весь спектр мнений современников Горького, живо откликнувшихся на появление новых и новых горьковских произведений. Раздел **«Воспоминания современников»** представлен рядом известнейших литературных имен XX в. Мы сознательно ограничили круг авторов этого раздела лишь теми, которые сохранили в глазах современного читателя безусловный моральный авторитет. Необходимо помнить, что особое положение Горького в литературных кругах 20—30-х годов, его близость к руководству СССР тех лет, естественно, не могли не влиять на характер мемуаристики: подчас «требования момента», следование политической конъюнктуре ставят под серьезное сомнение оценки и выводы (а то и сообщаемые факты) мемуаристов — как расположенных к Горькому, так и враждебных к нему. В то же время гарантом достоверности «за» и «против», содержащихся в воспоминаниях Бунина, Зайцева, Ходасевича, Анненкова, Чуковского, Ремизова, становится само имя автора. Те наши читатели, которые — в силу учебных или профессиональных задач или же из любознательности — хотели бы продолжить знакомство с обстоятельствами жизни Горького, могут обратиться к книгам: *Летопись жизни и творчества Горького: В 4 т. М., 1958—1960; Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981.*

В разделе **«Литературная критика о ранних произведениях Горького»** собраны критические очерки, позволяющие судить об эстетическом воздействии произведений Горького на современников. Этот материал будет любопытен как для учащихся — в качестве определенного ориентира, облегчающего непосредственное знакомство с горьковскими текстами, так и

для историков культуры — как повод для сопоставительного анализа литературных вкусов и пристрастий прошедшей и нынешней эпохи, существенно разнящихся в оценках неореалистической поэтики (яркими образцами которой являются рассказы и повести Горького 1890—1910-х гг.).

Раздел «Произведения Горького в русской общественной мысли 1890—1910-х годов» — самый обширный в книге — объединяет выступления видных русских мыслителей, писателей и общественных деятелей предреволюционной эпохи, для которых творчество Горького, его взгляды на русское общество, на революцию, искусство, национальный характер и т. д. служили либо поводом для дискуссии, либо иллюстрацией собственных воззрений. Многие из вошедших работ никогда ранее не переиздавались, некоторые долгое время находились под запретом (например — очерк Н. Я. Стечкина, статьи М. О. Меньшикова, Д. В. Филоsofova и др.). Вступительная статья и комментарии призваны систематизировать сведения читателей об идейной и творческой позиции Горького в 1890—1910-е гг., разъяснить возникающие при чтении материалов сборника проблемы историко-литературного характера.

Окончательные выводы о содержании прочитанного мы оставляем самим читателям.

I. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Человек. Впервые: Сборник т-ва «Знание». 1904. № 1; печ. по: *Горький М.* Полн. собр. соч.: Художественные произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 6. С. 35—42.

Разрушение личности. Впервые: «Очерки философии коллективизма». Сб. 1. СПб., 1909; печ. по: *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 26—79.

Программная статья Горького, содержащая изложение взглядов писателя на целый ряд ключевых вопросов политики, истории и эстетики. Статья неоднократно перерабатывалась Горьким, однако принципиальные положения ее остались без изменений. На горьковскую концепцию «коллективизма» как единственной базы социального и художественного творчества огромное влияние оказало учение Александра Александровича Богданова (наст. фамилия — Малиновский; 1873—1928) — ярчайшего деятеля русской социал-демократической творческой интеллигенции, талантливого медика, социолога, писателя. В 1909 г. Богданов и А. В. Луначарский создали вместе с Горьким «партийную школу» на о. Капри (Италия), чем навлекли на себя гонение со стороны «ортодоксальных» марксистов (Богданов был исключен из партии). Статья «Разрушение личности», первоначально предназначавшаяся для ленинской газеты «Пролетарий» (1908), была забракована вождем, требовавшим «все, хоть косвенно связанное с богдановской философией, перенести в другое место» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. 4-е изд. Т. 13. С. 415). Изложение эстетической доктрины Богданова см.: *Богданов А. А.* Искусство и рабочий класс. М., 1918.

¹ *Буслаев Ф. И.* (1818—1897) — языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства, автор «Исторической грамматики русского языка» (1958).

² «*Калевала*» — финский героический эпос.

³ ...*двенадцать подвигов Геракла* — Геракл (Геракл) — один из главных героев древнегреческой мифологии, совершивший, согласно преданию, двенадцать великих подвигов (победа над немейским львом, лернейской гидрой, стимфалийскими птицами, поимка керинейской лани, эриманфского вепря, очищение Авгиевых конюшен, поимка критского быка, похищение коней Диомеда, пояса Ипполиты, коров Гериона, победа над адским псом Цербером и добывание яблок Гесперид) по приказанию Эврисфея, царя Микен. В древнегреческом обществе сказание о подвигах Геракла играло важную культурную и обрядовую роль.

⁴ *Бестужев-Рюмин приводит следующее свидетельство...* — имеется в виду книга К. Н. Бестужева-Рюмина (1829—1897, не путать с известным декабристом!) «Русская история» (т. 1—2. СПб., 1872—1885), являвшаяся наиболее полным сводом источников в исторической науке XIX века.

⁵ *Ибн Фоцлан (Фадлан)* — арабский путешественник X в., оставивший описание своего путешествия через Бухару к волжским булгарам.

⁶ ...*испанцы пели в своих песнях «жизнь — есть сон» раньше Кальдерона* — обыграно название одной из пьес великого испанского драматурга Педро Кальдерона де ля Барка (1600—1681).

⁷ *Фидий* (V в. до н. э.) — величайший древнегреческий скульптор, вершиной творчества которого было создание монументальной статуи Зевса (главного божества древнегреческого пантеона) для храма в Олимпии.

⁸ *Квиетизм* (от лат. quietus — спокойный) — религиозное учение XVII в., проповедовавшее абсолютное пассивное подчинение воле Бога, безразличие ко всему, в том числе и к личному спасению.

⁹ *Дольчино* (ум. 1307) — глава секты апостоликов, вождь крестьянского восстания в Северной Италии в 1304—1307 гг.

¹⁰ *Красинский Зыгмунт* (1812—1859) — польский писатель-романтик.

¹¹ *Прерафаэлиты* (от лат. prae — «перед» и имени великого художника Возрождения Рафаэля Санти) — члены «Братства Прерафаэлитов», английской эстетической школы, провозгласившей своей эстетической программой возвращение к «наивному» искусству раннего Возрождения.

¹² *Гирландайо* (наст. имя Доменико ди Томазо Бигорди, 1449—1494) — итальянский живописец флорентийской школы раннего Возрождения.

¹³ *Донателло* (Донатто ди Никколо ди Бетто Барди, ок. 1386—1466) — итальянский скульптор флорентийской школы раннего Возрождения.

¹⁴ *Брунеллески Филиппе* (1377—1446) — итальянский архитектор, скульптор, ученый.

¹⁵ *Арнольфо ди Камбио* (ок. 1245 — до 1310) — итальянский скульптор и архитектор эпохи Проторенессанса.

¹⁶ *Чимабуэ* (наст. имя — Ченни ди Пеппо; ок. 1240 — ок. 1302) — итальянский живописец эпохи Проторенессанса.

¹⁷ ...*антидемократ Монье, заканчивая свою книгу, говорит...* — Горький ссылается на книгу Ф. Монье «Опыт литературной истории Италии XV века. Кватроченто» (СПб., 1904).

¹⁸ *Сакс Ганс* (1494—1576) — немецкий поэт-мейстерзингер, актер, авантюрист, автор популярных светских песен.

¹⁹ *Было создано множество Манфредов...* — Манфред — герой романтической драмы Байрона, ставший символом романтического бунтаря-индивидуалиста.

²⁰ *Эринии* — богини мести в древнегреческой мифологии, не дающие покоя преступникам, преследующие и мучающие их.

²¹ *До 48 г. командующую роль в жизни играли Домби и Гранде... В конце XIX века их сменяют... Саккар и герой пьесы Мирбо* «*Les affaires sont les affaires*» — речь идет об изменении типа буржуа после революции 1848 г., приведшей к власти Наполеона III; *Домби* — герой романа Диккенса «Домби и сын», *Гранде* — герой романа Бальзака «Евгения Гранде»; *Саккар* — один из персонажей цикла романов Э. Золя «Ругон-Маккары»; пьеса О. Мирбо вышла в русском переводе (под названием «Рабы наживы») в 1905 г.; Горький имеет в виду одного из ведущих героев пьесы — Исидора Леша.

²² *...в лице героя «Rouge et noire»* — имеется в виду Жюльен Сорель, герой романа Стендаля «Красное и черное».

²¹ *Растиньяк* — один из персонажей цикла романов Бальзака «Человеческая комедия».

²⁴ *...Люсьена сменяет «Bel ami»* — имеются в виду герой романа Бальзака «Утраченные иллюзии» Люсьен Шардон и герой романа Мопассана «Милый друг» Жорж Дюруа.

²⁸ *...Отдал себя сначала Наполеону, затем — Бурбонам...* — имеется в виду уступация власти Наполеоном Бонапартом (1804), которая сменилась реставрацией династии Бурбонов (1814).

²⁶ *...зачеркнув... 93-й, хотел восстановить 89-й, но против воли своей вызвал к жизни 48-й...* — имеются в виду события Великой французской революции: начало ее, связанное с борьбой против феодальных привилегий, за права «третьего сословия» (1789), якобинская диктатура (1793), свержение Луи Филиппа (1848).

²⁷ *...Фойгт определяет...* — имеется в виду книга Г. Фойгта «Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма» (Т. 1. М., 1884).

²⁸ *...Шахов... говорит...* — имеется в виду книга А. Шахова «Очерки литературного движения в первую половину XIX века» (СПб., 1907).

²⁹ *Ролла* — герой одноименной поэмы А. Мюссе (1833).

⁸⁰ *...но «сын века» уже... поражен...* — роман А. Мюссе «Исповедь сына века» (1836), повествующий о жизненном пути разочарованного в жизни героя (Октава).

⁸¹ *Реке* — герой одноименной повести французского романтика Ф. Шатобриана (1802).

⁸² *Грелу* — герой романа П. Бурже «Ученик» (1889).

⁸³ *Человек «без догмата» у Сенкевича...* — имеется в виду Леон Плошовский, герой романа Г. Сенкевича «Без догмата» (1891).

⁸⁴ *Фальк* — герой романа С. Пшибышевского «Homo sapiens» (1898).

⁸⁵ *Санин* — герой одноименного романа М. П. Арцыбашева (1907).

⁸⁶ *...существо, более несчастное, чем Мармеладов, ибо поистине некуда ему идти...* — ср. слова чиновника Мармеладова («Преступление и на-

казание» Ф. М. Достоевского): «Понимаете ли, понимаете ли вы, милосливый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?»

⁸⁷ *Демель Рихард* (1863—1920) — немецкий писатель.

⁸⁸ *Соловьев Е. А.* (псевдоним Андриевич; 1867—1905) — критик, историк литературы, сотрудничавший в 90-х гг. XIX в. в журналах «легальных марксистов», в том числе — в горьковской «Жизни».

⁸⁹ *...приступило к борьбе с ним по способу Ирода* — намек на известный библейский эпизод: когда царю Ироду стало известно о рождении «царя Иудейского» — Иисуса Христа, — он приказал избить младенцев в Вифлееме (Мф 2, 16—17).

⁴⁰ *70-е годы* — Горький имеет в виду апофеоз народнической революционной борьбы: «хождение в народ» и террористические акции «Народной воли».

⁴¹ *Тюлин* — герой рассказа В. Г. Короленко «Река играет», образ, вызвавший ожесточенные дискуссии в русских либерально-демократических кругах.

⁴² *Штунда* — сектантское движение восточных славян в XIX в., слившееся впоследствии с баптизмом.

⁴³ *Аким* — персонаж драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы».

⁴⁴ *...похоронная речь Достоевского*. — доклад Ф. М. Достоевского «Пушкин», прочитанный на пушкинских торжествах в Москве (1880).

⁴⁵ *...Гамлетами, на грош пара...* — имеется в виду рассказ Я. Абрамова «Гамлеты — на грош пара (Из записок лежебоки)» (1882).

⁴⁶ *...Новодворский... назвал... «ни павой, ни вороной»...* — имеется в виду повесть Осиповича (наст. имя — А. О. Новодворский) «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны».

⁴⁷ *Емельяненко И. Я.* (1868—1917) — прозаик, журналист, революционер-народоволец.

⁴⁸ *Дедлов* (В. Л. Кигн; 1856—1908) — прозаик, публицист, критик, автор напумевшего романа «Сашенька» (1892), рассказывающего о судьбе юноши-«восьмидесятника», изверившегося циника и «жизнелюбца».

⁴⁹ *Политические эволюции г. Струве невольно заставляют вспомнить «эволюцию» Льва Тихомирова...* — т. е. П. Б. Струве (1870—1944), один из теоретиков «легального марксизма» 90-х гг. XIX в., обвиняется Горьким за «рenegатство»; Л. А. Тихомиров (1852—1923) был членом исполнительного комитета террористической революционной партии «Народная воля»; в 1888 г. он разочаровался в революционных идеалах, подал прошение о помиловании и стал одним из виднейших монархистов России.

⁵⁰ *Волынский А. Л.* (наст. фамилия Флексер; 1863—1926) — критик, искусствовед, в 90-е годы XIX века — ведущий критик журнала «Северный вестник», где выступил со статьями «в защиту идеализма» в литературе: см. его кн. «Борьба за идеализм» (1900).

⁵¹ *Лебедев Н. К.* (псевд. Н. Морской; 1846—1888) — прозаик, автор натуралистических бытописательских произведений.

⁵² *«Новое время»* — газета, издававшаяся в 1868—1917 гг. и ставшая с 1876 г. (с переходом в издательство А. С. Суворина) одним из столпов русского консерватизма.

- ⁵³ «Неделя» — газета М. О. Меньшикова, выходившая с 1866 по 1901 гг.
- ⁵⁴ Дюринг Евгений (1833—1921) — немецкий философ и экономист.
- ⁵⁵ Каронин С. (наст. имя Н. Е. Петропавловский; 1853—1892) — писатель, один из столпов русского «народничества».
- ⁵⁶ Свенцицкий В. П. (1879—1931) — драматург, прозаик, церковный писатель, талантливый оратор, пытавшийся сочетать христианство и социализм.
- ⁶⁷ ...Мережковского... прокричал... едва ли допустимую для культурного человека фразу... — приводится цитата из статьи Мережковского «В обезьяньих лапах»; выше обыгрывается название известного очерка Мережковского «Грядущий Хам».
- ⁵⁸ ...в 92 году вышла книжка «Вопросов философии и психологии» — см. об этом: Данилевский Р. Ю. Русский образ Ф. Ницше // На рубеже XIX и XX веков: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1991. С. 5—42.
- ⁵⁹ Возьмем такие произведения старой литературы, как «Бесы», «Взбаламученное море», «Обрыв», «Новь» и «Дым», «Некуда» и «На ножах»; мы увидим в этих книгах совершенно открытое, пылкое и сильное чувство ненависти к тому типу, который другая литературная группа пыталась очертить в образах Рахметова, Рябинина, Стожарова, Светлова и т. п. — т. е. в «антинигилистических» романах Достоевского, Писемского, Гончарова, Тургенева, Лескова предстает в непривлекательном виде тип революционера-демократа, воплощенный в героях Чернышевского («Что делать?») Гаршина («Художники»), Д. Л. Мордовцева («Знаменья времени»), Омулевского («Шаг за шагом: Светлов, его взгляды, характер, деятельность»).
- ⁶⁰ Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884) — прозаик, публицист, критик консервативного толка.
- ⁶¹ Крестовский Всеволод Владимирович (1839—1896) — поэт, прозаик, автор «Петербургских трущоб»; прошел путь от увлечения «нигилизмом» до пропаганды консервативных идей.
- ⁶² Герой «Тьмы» — герой рассказа Л. Н. Андреева «Тьма» Алексей — революционер-террорист, отказывающийся от революционной деятельности.
- ⁶³ «Миллионы», «Ужас», «Человеческая волна» — произведения М. П. Арцыбашева.
- ⁶⁴ Алкина — героиня романа Ф. Сологуба «Творимая легенда».
- ⁶⁵ ...Куприш... предал социал-демократку на изнасилование... — имеет в виду рассказ А. И. Куприна «Морская болезнь».
- ⁶⁶ Клоушников В. П. (1841—1892) — прозаик, переводчик, журналист, издатель, убежденный консерватор, автор антинигилистического романа «Марево». Дьяков А. А. (1845—1895) — прозаик, фельетонист, отошедший от лагеря демократов и примкнувший в 1880 г. к консерваторам.
- ⁶⁷ Таблиц И. И. (псевд. Юзов; 1848—1893) — публицист и общественный деятель, автор книги «Основы народничества» (1882).
- ⁶⁸ «народничество» будет для них ложем Прокруста — разбойник Прокруст, убитый древнегреческим героем Тесеем, казнил свои жертвы

на особом ложе, отрубая им конечности, не помещавшиеся на узкой поверхности.

⁶⁹ *Златовратский Н. Н.* (1845—1911) — прозаик, публицист, мемуарист. *Засодимский П. В.* (1843—1912) — прозаик, публицист. *Бажин Н. Ф.* (1843—1908) — прозаик, журналист. *О. Забытый* (Недетовский Г. И., 1846—1922) — писатель, автор очерков и рассказов о русском духовенстве. *Нефедов Ф. Д.* (1838—1902) — прозаик. *Наумов Н. И.* (1838—1901) — прозаик.

⁷⁰ *«Отечественные записки», «Дело», «Слово», «Мысль», «Русское богатство»* — периодические издания либерально-демократического толка 70—80-х гг. XIX в.

⁷¹ *Френсен Густав* (1863—?) — немецкий писатель и проповедник.

⁷² *Он публично издевается сам над собой, как это видно по «Календарю писателя»* — имеется в виду издание 1907 г., насыщенное пародийным и юмористическим материалом и иллюстрированное шаржами на известных русских писателей (в т. ч. — и на Горького).

⁷³ *...господа Смертяшкины...* — на языке Горького — поэты-символисты (см. «Русские сказки»).

⁷⁴ *...серьезно приступила к изучению кошек* — имеется в виду нашушедшее в 1910 г. «дело литераторов-кошкодавов», по которому проходили П. Потемкин и другие молодые поэты, использовавшие кошек в мистических «радениях».

⁷⁵ *Вейнингер Отто* (1880—1903) — немецкий философ, автор книги «Пол и характер» (1903).

⁷⁶ *Веселовский А. Н.* (1838—1906) — филолог, историк и теоретик литературы, автор ряда работ по фольклористике.

⁷⁷ *...об этом свидетельствует господин Муйжель...* — имеется в виду рассказ В. В. Муйжеля «Дача».

⁷⁸ *Милюков П. Н.* (1859—1943) — политический деятель, историк, публицист, один из основателей партии кадетов, редактор газеты «Речь».

⁷⁹ *...писателей «венского периода русской литературы»* — намек прозаика и публициста, историка русской литературы А. В. Амфитеатрова (1862—1938) на знаменитый петербургский литературный ресторан «Вена».

Две души. Впервые: Летопись. 1915. Декабрь; печ. по: Горький А. М. Статьи 1905—1916. СПб., 1918. С. 174—187.

Программная статья Горького, постулирующая принципы его «западничества» и поясняющая его «этнологические» мотивы в произведениях конца 10-х гг. XX в. («окуровский цикл», «По Руси»). Идеи Горького попытку сопоставить с концепцией «духовного Китая» Д. С. Мережковского («Грядущий Хам»), а также с позднейшим культом «нового Средневековья» Н. А. Бердяева, восходящими к противопоставлению «дейательной личности» Запада — «пассивному фатализму» Востока.

¹ *Катастрофа, никогда еще не испытанная миром...* — первая мировая война; журнал Горького «Летопись», в котором была опубликована статья, занимал активную антивоенную позицию.

² *Кисмет* — судьба (тюрк.).

³ *Фиваида* — пустынная местность в Палестине.

⁴ *Содди* Фредерик (1877—1956) — английский радиохимик, создатель теории радиоактивного распада.

⁵ *Лао Сы* (Ли Эр; IV—III вв. до н. э.) — китайский философ, основатель даосизма.

⁶ *Амин Косим* (1865—1908) — египетский писатель; его книга «Новая женщина» переведена на русский язык И. Ю. Крачковским в 1912 г.

⁷ *Муаллим-Наджи* (Омер Хулюш, 1850—1893) — турецкий писатель, литературовед и историограф.

⁸ *Губернатис Анджела де* (1840—1913) — итальянский ученый, издатель, политический деятель.

⁹ *Бабиды* — последователи религиозного учения, созданного в Иране в 40-х гг. XIX в. Бабом, отрицавшим законы Корана и Шариата; после восстания в 1848—1852 гг. были жестоко подавлены.

¹⁰ *Беха-улла Мирза Хуссейн Али* — основатель бехаизма, иранского религиозно-политического течения, возникшего в середине XIX в. уже после подавления восстания бабидов и ориентированного на соединение науки и религии, отрицавшего религиозный и национальный фанатизм мусульманского Востока.

¹¹ «*Священный союз*» — договор о дружбе и взаимопомощи, заключенный Австрией, Пруссией и Россией в 1815 г., после падения Наполеона I. Целью договора был контроль за переделом Европы, обеспеченным решением Венского конгресса (1814—1815).

¹² *Местр Жозеф Мари де* (1753—1821) — французский публицист, политический деятель, философ, убежденный роялист и консерватор.

¹⁸ *Новалис* (наст. имя Фридрих фон Харденберг; 1772—1801) — немецкий поэт, один из создателей школы «иенского романтизма», автор «Гимнов к ночи» с их культом смерти.

¹⁴ *Тик Людвиг* (1773—1853) — немецкий писатель-романтик.

¹⁵ *Шерр Иоганн* (1817—1886) — историк немецкой литературы, публицист, общественный деятель.

¹⁸ ...*знаменитый Брандес... которого не пустили в Россию...* — имеется в виду скандал вокруг высылки из России датского литературного критика Георга Брандеса (1842—1927) — «на основании параграфа об евреях без проживания» (см.: Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 225).

¹⁷ *Гетнер Генрих* (1821—1882) — немецкий историк литературы, искусствовед и философ-фейербахианец.

¹⁸ *Шлегели Август* (1767—1845) и Фридрих (1772—1829) — немецкие филологи, писатели, историки литературы, фольклористы. Оказали существенное влияние на становление европейского романтизма.

¹⁹ *Меттерних Клеменс* (1773—1859) — князь, министр иностранных дел Австрии, затем — канцлер.

²⁰ ...*Вамбери говорит...* — имеются в виду «Очерки Средней Азии» (русский перевод — 1868) венгерского ориенталиста Германа Вамбери, скандально известного своим русофобством.

²¹ ...сочиняем скверные анекдоты... —намеки на сатирический рассказ Достоевского «Скверный анекдот», в котором высмеивалось «демократическое» заигрывание властей с разночинцами.

II. ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННОКОВ

И. А. Бунин

Горький

Мемуаристика Бунина собрана в кн.: *Бунин И. А.* Воспоминания. Париж, 1950. Текст очерка печ. по: *Бунин И. А.* Окаянные дни: Дневники, рассказы, воспоминания, стихотворения. Тула, 1992. С. 243—250.

¹ Бунин цитирует статью С. А. Венгерова в 14-м т. «Нового энциклопедического словаря» (изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1913). Точная цитата: «По своему происхождению Г<орький> отнюдь не принадлежит к тем отбросам общества, певцом которых он выступил в литературе. Апологет босячества вышел из вполне буржуазной среды. Рано умерший отец его из обойщиков выбился в управляющие большой паровой конторы; дед со стороны матери, Каширин, был богатый красильщик» (стб. 351).

² «Макар Чудра» был опубликован в тифлисской газете «Кавказ» 12 сентября 1892 г.; это был литературный дебют Горького; «Челкаш» появился в июньской книжке «Русского богатства» за 1895 г. (№ 6). В 1893—1894 гг. ряд рассказов Горького был опубликован в приволжских газетах — «Волжском вестнике», «Самарской газете», «Волгаре». С февраля 1895 г. Горький вел отдел фельетонов в «Самарской газете».

³ Лето 1897 г. Горький и его первая жена, Екатерина Павловна Пешкова (урожденная Волжина), проводили в селе Мануйловка Полтавской губернии, где 27 июля у них родился сын Максим; Бунин в это время уже бросил службу в Полтавской городской управе, но «наезжал» туда, чтобы проведать брата Юлия; именно летом 1897 г. Бунины переезжают из Полтавы в Москву.

⁴ Это утверждение Бунина — в отношении раннего Горького, автора «Челкаша», — требует существенной корректировки: так, в 1899 г., приглашая Чехова к сотрудничеству в «Жизни», Горький писал о своем замысле «слить народничество и марксизм в одно гармоническое целое». Резкое противопоставление Горького народникам в 1890-х гг. — бунинская ошибка (обусловленная, конечно, спецификой тематики очерка).

⁵ Бунин ошибочно контаминирует два эпизода редакторской деятельности Горького: сотрудничество (и фактическое руководство) в журнале «Жизнь» (1899—1901) и издание им газеты «Новая жизнь» (1917—1918).

⁶ *Книппер-Чехова О. Л.* (1868—1959) — артистка МХАТа, жена А. П. Чехова.

⁷ *Ермолова М. Н.* (1853—1928) — артистка московского Малого театра, с именем которой связаны высочайшие достижения русского театра в

XIX—XX вв. Помянутая цитата из книги Иова выступает в Библии в следующем контексте: «Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?» (Иов 7, 16—19). Эти слова изнуренный горем и болезнью Иов обращает к Богу.

⁸ Имеется в виду широко известный шарж на Горького, Л. Н. Андреева, С. Г. Скитальца и самого Бунина, выполненный художником Кока (Н. И. Фидели), на котором Горький изображен в виде большого гриба, окруженного «подмаксимовиками». Шарж Кока воспроизводится в нашей книге.

⁹ Бунин печатался в сборниках «Знание» с начала 1900-х гг., причем между ним и Горьким существовало негласное соглашение: бунинские стихотворения обязательно должны были сопутствовать новым рассказам Горького. С 1902 по 1909 г. в издательстве «Знание» выходит первое пятитомное Собрание сочинений Бунина.

¹⁰ Горький вернулся в Россию из первой эмиграции после политической амнистии 1913 г. (в связи с празднованием 300-летия дома Романовых). В Петербург он прибыл в конце года.

¹¹ Имеется в виду «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук», созданная под руководством Горького после февральской революции 1917 г. с целью объединить научную и творческую демократическую интеллигенцию. В Михайловском театре 12 марта 1917 г. проходил митинг «Союза деятелей искусств».

Б. К. Зайцев

Максим Горький (К юбилею)

Мемуаристика Зайцева собрана в кн.: *Зайцев Б. К. Мои современники*. Лондон, 1989. Текст очерка печ. по: *Зайцев Б. К. Братья-писатели: Воспоминания*. М., 1991. С. 14—22. Эпиграф — из «Памятника» А. С. Пушкина.

¹ Рассказ «Супруги Орловы» был опубликован в 10-й книге «Русской мысли» за 1897 г.

² Имеется в виду знаменитое ограбление Тифлисского казначейства на Эриванской площади г. Тифлиса (Тбилиси) в 1907 г.: тогда под руководством Сталина и С. А. Тер-Петросяна (Камо) было похищено и передано затем на «нужды партии» 250 000 рублей.

³ Имеется в виду издательство «Шиповник» (1907—1917), созданное Л. Н. Андреевым как альтернатива горьковскому «Знанию».

⁴ Драма Г. Гауптмана, имевшая грандиозный успех в постановке МХАТа в 1899 г.; Андреева исполняла в этой постановке главную роль (Раутенделейн).

⁵ «Новый путь» — журнал, издаваемый в 1903—1904 гг. З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковским, П. П. Перцовым и Д. В. Filosoфовым; журнал был фактическим органом Религиозно-философских собраний, трибуной

для писателей, философов и священнослужителей, участвовавших в работе этого объединения. После выступления о. Иоанна Кронштадтского, обличившего журнал в еретической антиправославной пропаганде (он назвал «Новый путь» — «Сатанинским путем») журнал был закрыт, но вскоре возобновлен под названием «Вопросы жизни» и краткое время издавался под редакцией Н. А. Бердяева.

⁶ В газете «Новая жизнь», издаваемой большевиками и поэтом Н. М. Минским в 1905 г., Горький поместил «Заметки о мещанстве» (октябрь—ноябрь 1905), где, среди прочего, обрушился на проповедь «смирения и непротивления» у Достоевского и Толстого.

⁷ *Сандро Боттичелла* (1445—1510) и *Беата Анджелико* (Фра Джованни да Фьезоле; ок. 1400—1435) — величайшие итальянские живописцы раннего Возрождения, схожие по живописной технике, тяготеющей к искусству примитива.

⁸ *Каляев И. П.* (1877—1905) — эсер-террорист, член «боевой организации», возглавляемой В. В. Савенковым; 4 февраля 1905 г. Каляев на Сенатской площади Кремля взорвал разрывной бомбой вел. кн. Сергея Александровича; экзальтированный, романтически-жертвенно настроенный человек. Казнен.

⁹ Зайцев обыгрывает название знаменитого «Слова о Законе и Благодати», созданного в XI в. будущим первым русским Киевским митрополитом Илларионом; горячий патриот, отстаивавший духовную независимость Руси, Илларион противопоставлял «духовность» устоев православия — законам, устанавливаемым путем страха и насилия.

¹⁰ ЦКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых при Совете народных комиссаров РСФСР. Создана по инициативе Горького в 1920 г.; в 1921—1931 гг. ЦКУБУ руководил А. Б. Халатов; позже она была переименована в Комиссию содействия ученым при СНК СССР. Существовала под этим названием до 1937 г.

¹¹ *Менжинский В. Р.* (1874—1934) и *Ягода Г. Г.* (наст. фамилия Иегуда; 1891—1938) в разное время возглавляли ОПТУ и НКВД, которые осуществляли террор против интеллигенции, одним из представителей коей являлся пушкинист *П. Е. Щеголев* (1877—1931).

¹² *Помгол* — Комиссия помощи голодающим при ВЦИК — создана при непосредственном участии Горького в июле 1921 г.; по идее Горького, гуманитарная цель Комиссии должна была объединить общественных и политических деятелей разных стран и убеждений. Деятельность Комиссии (председателем которой являлся М. И. Калинин) была направлена на ликвидацию голода в Поволжье. Активную помощь Помголу оказали Ф. Нансен и «Американская ассоциация помощи» (АРА). В конце концов в сентябре 1922 г. Помгол был ликвидирован, а многие из русских членов его арестованы по обвинениям в «попытке буржуазной экспансии». По «делу Помгола» проходил и Зайцев.

¹⁸ *Прокопович С. Н.* (1871—1955) — идеолог «экономизма», министр Временного правительства. После истории с Помголом в 1922 г. выслан за границу «за антисоветскую деятельность». *Кускова Е. Д.* (1869—1958) — писательница, публицист, идеолог «экономизма»; выслана за границу в 1922 г. вместе с С. Н. Прокоповичем.

¹⁴ Имеется в виду знаменитое «таганцевское дело», сфабрикованное в 1921 г. ПетроЧК (при содействии Агранова); помимо Тихвинского было расстреляно 60 человек, среди которых — Н. С. Гумилев, Н. И. Лазаревский, В. Н. Таганцев; заступничество Горького привело к крайнему обострению отношений между писателем и Дзержинским, что послужило причиной отъезда Горького за границу в сентябре 1921 г. (см.: *Тименчик Р. Д.* По делу 21 4234 // Даугава. 1990. № 8; *Сажин В.* Предыстория гибели Гумилева // Даугава. 1990. № 11; *Жизнь Николая Гумилева. Л., 1990; Эльзон М. Д.* Письмо в защиту Н. С. Гумилева // Русская литература. 1988. № 3).

¹⁶ «Беседа» — журнал, издаваемый в 1923—1925 гг. в Берлине С. Г. Каплуном-Сумским (под руководством Горького, В. Ф. Ходасевича и Андрея Белого). О «давлении», оказываемом большевистскими властями на Горького, см.: *Толстой И. Н.* Курсив эпохи. СПб., 1993. С. 134-136; *Ходасевич В. Ф.* Горький (наст. изд.)

¹⁸ «Накануне» — эмигрантская русская газета, выходившая в 1922—1924 гг. как орган «сменовеховцев» (по названию сборника статей «Смена век», 1921) — интеллектуалов-эмигрантов, призывавших к возвращению в Советскую Россию и к сотрудничеству с большевиками. Видным «сменовеховцем» был писатель А. Н. Толстой.

¹⁷ Скандал с избранием Горького разгорелся в 1902 г.: по указанию Николая II великий князь Константин Константинович (президент Российской академии наук) отменил выборы Горького в Почетные академик, что вызвало демарш со стороны Короленко и Чехова.

В. Ф. Ходасевич

Горький

Мемуаристика Ходасевича собрана в кн.: *Ходасевич В. Ф.* Некрополь. Париж, 1939; печ. по: *Ходасевич В. Ф.* Некрополь. М., 1991. С. 155—187.

¹ «Парус» — издательство, созданное Горьким совместно с А. Н. Тихоновым и И. П. Ладыжниковым (1915—1918).

² *Ходасевич В. М.* (1894—1970) — племянница В. Ф. Ходасевича, живописец, график, художник театра. В своих воспоминаниях о Горьком В. М. Ходасевич, в частности, писала: «К началу 1919 г. мы не только сдружились с Алексеем Максимовичем и его женой Марией Федоровной, но так случилось, что они предложили нам с мужем переехать жить к ним в большую квартиру на Кронверкском проспекте. Мы согласились и жили там с ними до отъезда Марии Федоровны и Алексея Максимовича за границу в 1921 г.» (Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 100). С Горьким В. М. Ходасевич познакомилась в 1916 г. на выставке в Художественном бюро Н. Е. Добычиной. Их знакомство продолжалось вплоть до смерти Горького в 1936 г.

³ «Всемирная литература» — знаменитое издательство, созданное Горьким в культурно-просветительских целях в 1918 г. См.: *Зайдман А. Д.* Литературные студии «Всемирной литературы» и «Дома искусств» // Русская литература. 1973. № 1.

⁴ *Тихонов А. Н.* (1880—1956) — издатель, литератор, один из создателей «Всемирной литературы».

⁵ *Гржебин З. И.* (1869—1929) — художник, издатель, один из создателей «Всемирной литературы».

⁶ Известный большевик *Л. Б. Красин* (1870—1926) с 1920 г. являлся Наркомом внешней торговли.

⁷ *Крючков П. П.* (1889—1938) — секретарь М. Ф. Андреевой, с середины 20-х гг. — Горького.

⁸ *Балтрушайтис Ю. К.* (1873—1944) — поэт, переводчик, общественный деятель, дипломат; писал на русском и литовском языках; с 1921 г. — чрезвычайный посланник и полномочный представитель Литвы в РСФСР. В 10-е гг. был дружен с Горьким, поддерживая все культурные начинания последнего.

⁹ *Будберг М. И.* (урожденная Закревская, по первому мужу Бенкендорф; 1892—1974) — переводчица, секретарь и гражданская жена Горького.

¹⁰ *Ракицкий И. Н.* (1883—1942) — художник, друг семьи Горького, сопутствовавший писателю во время его второй эмиграции; домашнее прозвище Ракицкого — «Соловей».

¹¹ Дом искусств (сокр. Диск) — в начале 1920-х гг. представлял собой учреждение, в котором соединялись черты своеобразного просветительского центра, писательского клуба и общежития для творческой интеллигенции. Был центром литературной жизни Петрограда 1919—1922 гг. Помещался в угловом доме на перекрестке Невского и р. Мойки (№ 59). Быт Диска описан Ходасевичем в мемуарном очерке «Дом искусств». «Дом литераторов» и «Дом ученых» — культурно-просветительские учреждения в Петрограде начала 1920-х гг., формально находившиеся в ведении Наркомпроса, однако превратившиеся со временем в своего рода профсоюзные центры, содействовавшие облегчению крайне тяжелых условий работы и жизни научной и творческой интеллигенции в эпоху «военного коммунизма». Все три организации имели непосредственное отношение к Горькому, главному инициатору помощи бедствующей российской интеллигенции.

¹² *Зиновьев Г. Е.* (наст. фамилия Радомысльский; 1888—1936) — один из высших чинов большевистской администрации, председатель Петросовета и глава Северной Коммуны (области), жестокий и беспринципный человек, проводивший массовую репрессивную политику по отношению к петербургской интеллигенции. Враг Горького; послужил для писателя прототипом главного героя резкой сатирической пьесы «Работяга Слово-теков».

¹³ *Лашевич М. М.* (1884—1928) — советский военачальник, троцкист, в 1918—1919 гг. — член ЦК партии большевиков. *Ионов И. И.* (наст. фамилия Бернштейн, 1887—1942) — заведующий Петроградским отделением Госиздата, брат З. И. Лилиной, жены Зиновьева. *Бакаев И. П.* (1887—1937) — председатель Петрогуб ЧК, организатор «красного террора» в Петрограде.

¹⁴ Из стихотворения Г. Р. Державина «Евгению. Жизнь Званская».

¹⁵ *Наживин И. Ф.* (1874—1940) — писатель.

¹⁶ *Яблоновский А. А.* (1870—1934) — литературный критик, популярный в начале века фельетонист.

¹⁷ *Соболь Андрей* (наст. имя Юрий Михайлович; 1888—1926) — прозаик, публицист, после февральской революции — комиссар Временного правительства на Северном фронте; покончил с собой после разочарования в революционных идеалах.

¹⁸ *Муратов П. П.* (1881—1950) — искусствовед и издатель.

¹⁸ *Тимоша* — домашнее прозвище жены М. А. Пешкова Надежды Алексеевны (1900—1971).

²⁰ Табль д'от — общий стол (*фр.*).

²¹ Цитата из стихотворения Беранже «Безумцы» (пер. В. С. Курочкина).

²² Имеется в виду соответствующий эпизод из автобиографии Маяковского «Я сам», гл. «Куоккала».

²⁸ *Родэ А. С.* (ум. 1930) — директор петроградского Дома ученых; до революции — директор ресторана «Вилла Родэ», облюбованного компанией Г. Е. Распутина.

²⁴ *Иксуль фон Гильденбрандт Варвара Ивановна* (1854—1929) — общественная деятельница, писательница.

²⁵ *Тэн Ипполит* (1828—1893) — французский литературовед, философ.

²⁶ *Рескин Джон* (1819—1900) — английский писатель, теоретик искусства, идеолог прерафаэлитов.

²⁷ *Ясинский И. И.* (1850—1931) — писатель, журналист; несмотря на сотрудничество с большевиками воспринимался как «либерал 80-х годов» и подвергался гонениям.

²⁸ *Сумский С. Г.* (наст. фамилия Каплун, ум. 1940) — издательский деятель, владелец берлинского издательства «Эпоха», в котором сотрудничали Ходасевич и Горький при работе над журналом «Беседа».

²⁹ «Руль» — русская эмигрантская газета, выходившая в Берлине в 1920—1931 гг. под редакцией В. Д. Набокова (до 1922 г.) и И. В. Гессена.

³⁰ «Современные записки» — общественно-политический и художественный журнал русской эмиграции (1920—1940).

Ю. П. Анненков

Максим Горький

Мемуаристика Анненкова собрана в кн.: *Анненков Ю. П.* Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Париж, 1966. Т. 1—2; печ. по: *Анненков Ю. П.* Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Л., 1991. Т. 1. С. 8—47.

Анненков Юрий Павлович (1889—1974) — художник, прозаик, публицист. В первые годы Советской власти активно сотрудничал с большевиками, был сторонником «левого искусства». Создал цикл портретов советских партийных и общественных деятелей, русских и европейских деятелей культуры. Впоследствии эмигрировал. В литературе русского зарубежья известен под псевдонимом Темирязов.

¹ Древнегреческий баснописец *Эзоп* (VI в. до н. э.) считается создателем жанра басни: ему принадлежит авторство сюжетов всех классических басен; позже эти сюжеты были переработаны римским писателем *Федром* (ок. 15 г. до н. э. — ок. 70 г. н. э.), а затем широко использовались в европейской словесности, в том числе — в творчестве *Жана де Лафонтена* (1621—1695) и *И. А. Крылова*.

² Творчество одного из величайших римских поэтов «золотого века» римского искусства *Квинта Горация Флакка* (65 г. до н. э. — 8 г. н. э.) послужило источником для многочисленных реминисценций и переводов в русской литературе XVIII—нач. XIX в. «Горацианские» мотивы (прежде всего — мотивы лирических «од» Горация) распространены в поэзии *Г. Р. Державина* и *А. С. Пушкина*. Общеизвестны переводы оды Горация «Памятник», принадлежащие перу этих поэтов.

³ *Рукавишников И. С.* (1877—1930) — поэт-авангардист.

⁴ *Гапон Г. А.* (1870—1906) — священник, общественный деятель, организатор шестива рабочих 9 января 1906 г., близкий знакомый Горького. *Хрусталева-Носарева Г. С.* (1879—1919) — революционер, председатель петербургского Совета народных депутатов в годы первой русской революции. *Трепов Д. Ф.* (1855—1906) — обер-полицеймейстер Москвы, руководивший подавлением Московского восстания в декабре 1906 г.

⁵ «...Французская театральная публика была уже давно знакома с пьесой Горького, представленной в Париже в постановке Люсье-По 12 октября 1905 г. с участием Элеоноры Дузе в роли Василисы Карповны и позднее — 22 марта 1922 г. — в постановке Георгия Питоева с участием Людмилы Питоевой в роли Насти и Мишеля Симона в роли Бубнова» (*Анненков Ю. П.* *Дневник моих встреч...* Т. 1. С. 270—271).

⁶ *Поддубный И. М.* (1871—1949) — известный спортсмен, чемпион мира по классической борьбе. *Вяльцева А. Д.* (1871—1913) — эстрадная певица, исполнительница цыганских романсов.

⁷ Об отношениях Горького и *Л. Н. Андреева* см.: Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1900 (Лит. наследство. Т. 72. С. 48—50).

⁸ Речь идет о боевых сражениях между красногвардейцами Московского военно-революционного комитета и юнкерами во время вооруженного восстания в Москве 28 октября — 3 ноября 1917 г., после октябрьского переворота: при штурме Кремля большевистские войска применяли тяжелую артиллерию, что привело к большим человеческим жертвам и крупным разрушениям архитектурных памятников. Об этом см. очерк Горького «В Москве».

⁹ Об этом эпизоде в биографии Луначарского саркастически писал *Л. Д. Троцкий*: «Недостатка в импрессионистических скачках не было и теперь. Так, он (Луначарский. — *Ред.*) чуть-чуть не порвал с партией в самый критический момент, в ноябре 1917 г., когда из Москвы пришел слух, будто большевистская артиллерия разрушила церковь Василия Блаженного. Такого вандализма знаток и ценитель искусства не мог простить! К счастью, Луначарский, как мы знаем, был отходчив и сговорчив, да к тому же и церковь Василия Блаженного несколько не пострадала в дни московского переворота» (*Троцкий Л. Д.* *Анатолий Васильевич Луначарский* // *Силуэты: Политические портреты*. М., 1991. С. 369).

¹⁰ В марте—апреле 1917 г. Горький возглавил сразу несколько общественных организаций, возникших на волне революционного энтузиазма, охватившего русскую интеллигенцию после падения самодержавия: он стал председателем президиума Общества «Культура и свобода», председателем президиума Исполнительного комитета Союза деятелей искусств, товарищем председателя Совета «Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук» и т. п. Большая часть этих организаций была упразднена сразу после взятия власти большевиками в конце 1917 — начале 1918 г.

¹¹ Имеется в виду специальная Комиссия по охране памятников культуры при Наркомпросе, Горький был одним из инициаторов создания Особого совещания по делам искусств, возглавил Комиссию по вопросам искусства при Исполкоме Совета рабочих и крестьянских депутатов. Помимо того, в феврале 1919 г. по предложению Наркома торговли и промышленности Л. Б. Красина Горьким была создана экспертная Комиссия, которая регистрировала художественные ценности, имеющие статус национального достояния. Хотя Горький полагал, что создание подобной Комиссии положит предел вывозу национальных культурных ценностей за рубеж, в реальности дело обстояло иначе: итоги деятельности Комиссии послужили базой для торговли выявленными ценностями за валюту, разорившей крупнейшие художественные хранилища России (см. об этом: Огонек. 1989. № 6—8).

¹² *Пиранези Джованни Батиста (1720—1778)* — итальянский гравер, автор цикла гравюр «Виды Рима», изображающих живописные античные развалины.

¹³ Имеется в виду знаменитый роман Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

¹⁴ Имеется в виду книга Г. Уэллса «Россия во мгле».

¹⁵ *Пиранделло Луиджи (1867—1936)* — итальянский писатель, драматург.

¹⁶ *Кончаловский Петр Петрович (1876—1942)* — русский советский живописец, один из основателей художественной группы «Бубновый валет».

¹⁷ *Никулин Лев Вениаминович (1891—1970)* — русский советский писатель, мемуарист.

¹⁸ Неточность мемуариста: в действительности пьесу Горького ставил в театре Народная комедия С. Э. Радлов. Постановка была осуществлена в 1918 г.; пьеса Маяковского «Клоп» появилась в 1928 г.

¹⁹ Анненков вспоминал: «Первый значительный (рекламный) успех в карьере Маяковского произошел в 1916 г. В эту эпоху знаменитость, популярность и литературный авторитет Максима Горького были в полном расцвете, и я помню до всех мелочей ночь, проведенную в подвале “Бродячей собаки”. Среди символистов, акмеистов, футуристов, заумников и будетлян, присутствовал там и Максим Горький. В уже довольно поздний час Владимир Маяковский... поднялся на крохотную эстраду под привычное улюлюканье так называемых “фармацевтов”, то есть посетителей, не имевших никакого отношения к искусству. Маяковский произнес, обращаясь к ним:

— Я буду читать для Горького, а не для вас!

Гул «фармацевтов» удвоился. Максим Горький, равнодушный, оставался неподвижным.

Прочитав отрывок из поэмы «Война и мир» и два-три коротких лирических стихотворения, Маяковский сошел с эстрады.

— Болтовня! Ветряная мельница! — кричала публика.

Нахмутив брови, Горький встал со стула и твердым голосом произнес: — Глумиться здесь не над чем. Это — очень серьезно. Да! В этом есть что-то большое. Даже если это большое касается только формы.

И, протянув руку гордо улыбавшемуся Маяковскому, он добавил:

— Молодой человек, я вас поздравляю!

Мы устроили оvation Горькому, и эта ночь превратилась в подлинный триумф Маяковского. Даже «фармацевты» аплодировали. На следующий день слухи о суждении Горького распространились в Петербурге, потом — в Москве» (*Анненков Ю. П. Дневник моих встреч... Т. 1. С. 172*).

²⁰ *Сурков А. А. (1899—1970)* — советский поэт и общественный деятель. *Жданов А. А. (1896—1948)* — советский партийный государственный деятель, с 1934 — секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Анненков имеет в виду знаменитое выступление Жданова с критикой журналов «Звезда» и «Ленинград» (1946), где были осуждены М. Зощенко и А. Ахматова.

²¹ Горький был членом РСДРП с осени 1905 г. по ноябрь 1917 г. Не приняв октябрьский переворот, Горький не прошел перерегистрации членов партии и оказался формально исключенным.

²² *Сосо* — один из партийных псевдонимов И. В. Сталина.

²³ Лечащий врач Горького *Д. Д. Плетнев* был осужден вместе с Г. Г. Ягодой по обвинению в отравлении Горького. См. об этом: *Иванов Вяч. В. Загадка последних дней Горького // Звезда. 1993. № 1. С. 141—163.*

²⁴ «Я видел Красную площадь... во время похорон Горького, — писал Андре Жид в книге «Возвращение из СССР». — Я видел, как... народ... шел нескончаемым потоком мимо траурного катафалка в Колонном зале... Молчаливая, мрачная, сосредоточенная колонна, казалось, двигалась в безупречном порядке из прошлого... Я очень долго вглядывался в нее. Кем был Горький для всех этих людей? Толком не знаю. Учитель? Товарищ? Брат? И на всех лицах, даже у малышей, — печать грустного изумления, выражение глубокой скорби» (*Два взгляда из-за рубежа. М., 1990. С. 69*).

К. И. Чуковский

Горький

Мемуаристика Чуковского собрана в кн.: *Чуковский К. И. Современники. М., 1967* (Сер. «Жизнь замечательных людей»). Текст очерка печатается по этому изданию, с. 122—161.

¹ Речь идет о чтении Горьким своих воспоминаний о Л. Н. Толстом 19 июля 1919 г.

² *Кириша Данилов* — предполагаемый собиратель народных сказаний и былин (XVIII век).

³ Барсов Е. В. (1836—1917) — фольклорист, историк литературы, составитель «Причитаний Северного края» (1872—1882).

⁴ Имеется в виду знаменитая научно-популярная книга известного естествоиспытателя К. А. Тимирязева (1843—1920) «Жизнь растения» (1878).

⁵ Имеется в виду «Курс русской истории» — фундаментальный труд академика В. О. Ключевского (1841—1911).

⁶ Гелиотехника — отрасль техники, целью которой является преобразование энергии солнечной радиации в энергию других видов.

⁷ Иоффе А. Ф. (1880—1960) — ученый-физик, академик Российской Академии наук, организатор и первый директор Физико-технического института, Института полупроводников АН СССР и Физико-агрономического института.

⁸ Ольденбург С. Ф. (1863—1934) — академик, востоковед-индолог.

⁹ Крачковский И. Ю. (1883—1951) — академик, филолог-востоковед.

¹⁰ Алексеев В. М. (1881—1951) — академик, востоковед-синолог.

¹¹ Владимирцов Б. Я. (1884—1931) — академик, востоковед-монголовед.

¹² Левинсон А. Я. (1887—1933) — художественный и театральный критик.

¹³ Готорн Натаниэл (1804—1864) — американский писатель-романист, тяготевавший к мистической фантастике (т. н. «готическому роману»). Вордсворт Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик, представитель т. н. «озерной школы», теоретик искусства. Шамиссо Альдеберт фон (1781—1838) — немецкий писатель-романтик.

¹⁴ Батюшков Ф. Д. (1857—1920) — историк литературы, критик.

¹⁵ «Исторические картины» — неосуществленный проект Горького: постановка грандиозных представлений, иллюстрирующих исторические эпохи. Над воплощением этого замысла работали Н. С. Гумилев, А. А. Блок, Е. В. Замятин и др.

¹⁶ «Шут» — «художественный журнал с карикатурами», издававшийся в Петербурге в 1874—1914 гг. А. А. Григорьевым.

¹⁷ Шеллер-Михайлов А. К. (1838—1900) — прозаик-беллетрист. Омулевский И. В. (наст. фамилия Федоров; 1836?—1883/84) — писатель-разночинец.

¹⁸ Степняк-Кравчинский С. М. (1851—1895) — революционер-террорист, член «Народной воли», в эмиграции — автор романов и мемуарист.

¹⁹ Рассказы английского сатирика и политического деятеля Э. Дженкинса активно публиковались в русских переводах в журнале «Отечественные записки» в 70-х гг. XIX в.

²⁰ Барри Джеймс (1860—1937) — шотландский писатель, журналист, драматург.

²¹ Кейн Томас Генри Холл (1853—1931) — английский писатель, входивший в группу «прерафаэлитов».

²² Потапенко И. Н. (1856—1929) — писатель-беллетрист, автор многочисленных бытописательских произведений.

²³ Брошюра «Принципы художественного перевода» была издана впервые в 1919 г.; помимо статьи Чуковского брошюра включала в себя работы Н. С. Гумилева и Ф. Д. Батюшкова.

²⁴ Браун Ф. А. (1862—1942) — филолог-германист.

²⁵ Джекобс Вильям Ваймарк (1863—1943) — английский писатель-юморист.

²⁶ Дом Мурузи — дом 24/27 по Литейному проспекту; одно из самых известных мест в литературном Петербурге-Петрограде «начала века». В 90-х гг. XIX в. здесь находилась квартира Мережковских, где собирался один из первых модернистских литературных салонов, и читальня, которую содержала мать поэта В. А. Пяста, близкого друга А. А. Блока. После революции в доме Мурузи помещалась Литературная студия, открытая при издательстве «Всемирная литература» в 1919 г. стараниями Горького и Гумилева. Позже в помещениях дома Мурузи разместился основанный Гумилевым «Дом поэта» при Петроградском отделении Союза поэтов.

²⁷ Введенский И. И. (1813—1855) — педагог, переводчик, историк литературы. Характеристику его переводческой деятельности Чуковский дал в своей книге «Искусство перевода» (1936).

²⁸ Загоскин М. Н. (1789—1852), Лажечников И. И. (1790—1869) — исторические романисты.

²⁹ Слепцов В. А. (1836—1878) — писатель-народник, популярный в 60—70-х гг. XIX в.

³⁰ Вельтман А. Ф. (1800—1870) — прозаик.

³¹ Имеется в виду роман Е. И. Вельтман (1816—1858), жены А. Ф. Вельтмана, «Приключения королевича Густава Ириновича, жениха царевны Ксении Годуновой», опубликованный в журнале «Отечественные записки» в 1867 г.

³² Воронов М. А. (1840—1873) — прозаик, публицист. Кусков П. А. (1834—1909) — поэт, литературный критик, переводчик. Колошин С. П. (1825—1868) — прозаик, журналист.

³³ Имеется в виду доклад Блока о переводах Гейне, прочитанный 25 марта 1919 г. на заседании редколлегии «Всемирной литературы» на квартире А. Н. Тихонова.

³⁴ «Серapiоновы братья» — литературная группа 20-х гг., в которую входили К. А. Федин, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, Е. Г. Полонская, М. М. Зощенко, Н. Н. Никитин, В. А. Каверин и др.

³⁵ Описываемые сцены проходят на Кронверкском проспекте, где в 1913—1921 гг. в доме № 23 была квартира Горького.

³⁶ Кропоткин П. А. (1842—1921) — князь, теоретик анархизма, публицист, историк, философ.

³⁷ Пишущая машинка.

³⁸ Белопольский И. Р. (1879—1956) — журналист, организатор издательств «Вперед» (Одесса) и «Утро» (Петербург).

³⁹ Сергеев-Ценский С. Н. (1875—1958) — русский писатель, с 1943 г. — академик АН СССР.

⁴⁰ Измайлов А. А. (1873—1921) — литературный критик, поэт, прозаик; талантливый пародист, автор книг пародий «Осиновый кол» и «Кривое зеркало»; цитируется стих из пародии Измайлова на К. Д. Бальмонта.

⁴¹ *Бестужев А. А.* (псевдоним Марлинский; 1797—1837) — штабс-капитан, писатель, автор популярных романтических романов. Творчество Бестужева-Марлинского повлияло на раннее творчество Н. В. Гоголя.

⁴² *Пасынков Л. П.* (1886—1956) — прозаик-бытописатель, автор воспоминаний о Горьком.

⁴³ *Виже-Лебрен Элизабет* (1755—1842) — французская художница-портретист.

⁴⁴ *Чарская Л. А.* (наст. фамилия — Чурилова, 1875—1937) — детская писательница, очень популярная в предреволюционные годы.

⁴⁵ *Лукашевич К. В.* (1859—1937) — детская писательница.

⁴⁶ *Тумин Г. Г.* (1870—?) — детский писатель. *Елачич Е. А.* (1880—1945) — педагог, автор книг для детей. *Круглое А. В.* (1852—1915) — популярный детский писатель 90-х годов, прозаик, поэт, журналист.

⁴⁷ «Путеводный огонек» — художественный, научно-литературный двухнедельный журнал для детей и юношества, издававшийся в Москве в 1904—1918 гг. А. А. Федоровым-Давыдовым и М. Ф. Лидертом.

⁴⁸ «Светлячок» — журнал для детей младшего возраста, издававшийся в Москве в 1905—1917 гг. А. А. Федоровым-Давыдовым и М. Ф. Лидертом.

⁴⁹ *Сытин И. Д.* (1851—1934) — русский издатель-просветитель, организатор издательства «Посредник», ориентированного на широкие читательские массы, издатель учебников, народных календарей, дешевых изданий классиков, детской литературы. *Клюкин* — владелец популярного издательства массовой литературы. *Вольф М. О.* (1825—1883) — основатель «Издательства т-ва М. О. Вольфа», одного из крупнейших издательств России в 1882—1918 гг.

⁵⁰ «Жар-птица» — альманах для детей — вышел весной 1912 г.

⁵¹ *Моравская М. Л.* (1889—1947?) — поэт, прозаик, детская писательница.

⁵² *Замирайло В. Д.* (1868—1939) — художник-график, талантливый иллюстратор.

⁵³ *Федоров Б. М.* (1794—1875) — поэт, драматург, журналист, детский писатель; в 1827—1829 и 1831 гг. издавал журнал «Новая детская библиотека».

⁵⁴ *Фурман П. Р.* (1802—1856) — писатель и журналист, с начала 1850-х гг. редактор-издатель журнала «Сын отечества»; автор многочисленных книг для юношества, имевших в свое время большой успех.

⁵⁵ *Ишимова А. И.* (1804—1881) — детская писательница, автор «Истории России в рассказах для детей», высоко оцененной А. С. Пушкиным.

⁵⁶ *Желиховская В. П.* (1835—1896) — младшая сестра Е. П. Блаватской, прозаик, драматург, автор ряда книг для детей.

⁵⁷ *Лебедев В. В.* (1891—1967) — график, иллюстратор детских книг, народный художник РСФСР.

⁵⁸ *Радаков А. А.* (1879—1942) — художник, график.

⁵⁹ *Чехонин С. В.* (1878—1936) — живописец и график, мастер иллюстрации, член художественной группы «Мир искусств».

⁶⁰ *Венгров Натан* (наст. имя Моисей Павлович; 1894—?) — поэт, писатель, впоследствии историк детской литературы СССР.

⁶¹ *Пуни И. А.* (1894—1956) — живописец, график, художник театра, иллюстратор, искусствовед; поэт, в молодости примыкал к футуризму.

⁶² Как известно, фантастические рассказы Карла-Фридриха-Иеронима фон Мюнхгаузена (1720—1779), прусского барона из Боденвейера, послужили материалом для Р. Э. Распе (1737—1794), анонимно издавшего в Англии (на английском языке) в 1785 г. книгу «Рассказы барона Мюнхгаузена». Эта книга была переработана немецким поэтом-романтиком Г. А. Бюргером (1747—1794) и в таком виде получила широкую известность.

⁶³ *Ленрот* Элиас (1802—1884) — финский фольклорист, составивший из карельских, ижорских и финских рун эпос «Калевала».

А. М. Ремизов

Алексей Максимович Горький (1868—1936)

Мемуаристика Ремизова собрана в кн.: *Ремизов А. М.* Встречи: Петербургский буерак. Париж, 1981. Печатается по этому изданию, с. 129—132.

III. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА О РАНИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГОРЬКОГО

В. Поссе

Певец протестующей тоски

Впервые: Образование. 1898. № 11; печ. по: Критические статьи о произведениях Максима Горького. СПб., 1904. С. 3—16.

Поссе Владимир Александрович (1864—1940) — литератор, издатель, общественный деятель. В 1898 г. стал редактором «Жизни», куда привлёк Горького; был арестован в апреле 1901 г., после выхода «Песни о бревенщике» (Горький был ранее арестован в Нижнем Новгороде за участие в антиправительственной демонстрации у Казанского собора 4 апреля). После запрещения «Жизни» пытался возобновить издание журнала в Лондоне (1902). Оставил воспоминания, изданные в 1929 г. (*Поссе В. А.* Мой жизненный путь. М.; Л., 1929).

¹ Имеется в виду повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

² Герой романа И. С. Тургенева «Новь».

³ Имеется в виду сказка Горького «О Чижике, который лгал, и о Дятле — любителе истины».

В. Л. Боцяновский

В погоне за смыслом жизни

Впервые: Вестник всемирной истории. 1900. № 8; Печ. по: Критические статьи... С. 161—180.

Боцяновский Владимир Феофилович (1869—1943) — критик, драматург, историк литературы. Биограф Горького, выпустивший в 1901 г. критико-биографический очерк, рассказывающий о жизненном пути писателя. По собственному признанию Боцяновского, явление Горького оказало решающее влияние на формирование его литературных пристрастий — с начала 1900-х годов Боцяновский занимается исключительно критической, «литературно-публицистической» деятельностью, обращенной на популяризацию творчества русских писателей-неореалистов горьковского круга, издает биографии Л. Н. Андреева и В. В. Вересаева.

¹ *Немирович-Данченко В. И.* (1844—1936) — писатель, мемуарист.

² *Тан В. Г.* (наст. фамилия — Богораз; 1865—1936) — писатель, автор этнографических очерков о народах Севера. *Серошевский* Вацлав (1858—ок. 1945) — польский революционер, писатель-этнограф, автор очерков о Сибири.

³ Имеется в виду автобиографическая заметка Горького, помещенная в № 36 журнала «Семья» за 1899 г.

⁴ *Полевой Н. А.* (1796—1846) — журналист, писатель и историк, редактор «Московского телеграфа». Полевой — выходец из купеческой семьи, юность провел в Иркутске и Курске, не получив никакого систематического образования.

⁵ *Чулкатурын* — герой повести Тургенева «Дневник лишнего человека».

⁶ Имеется в виду популярная в 60-х гг. XIX в. «социальная» повесть Н. Г. Помяловского «Мещанское счастье» (1861).

⁷ Имеются в виду пессимистические высказывания одного из героев Помяловского — Череванина — близкие, по мнению историков литературы, убеждениям писателя.

⁸ Из рассказа Горького «В степи».

⁹ Из рассказа Горького «Проходимец».

¹⁰ Из рассказа Горького «Коновалов».

¹¹ Имеется в виду один из первых откликов на выход в свет «Очерков и рассказов» Горького, статья М. Протопопова «Пропадающие силы» (Русская мысль. 1899. № 5, 6).

А. Скабичевский

М. Горький. Очерки и рассказы, два тома. СПб., 1898.

Впервые: Сын отечества. 1898. № 116, 123, 219; печ. по: Критические статьи... С. 106—121.

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — русский критик и историк литературы. Автор «Истории новейшей литературы (1848—1890)» (1891). В 70-е гг. примыкал к народничеству.

¹ *Левитов А. И.* (1835—1877) — прозаик, автор бытописательных очерков, в т. ч. в книге «Московские норы и трущобы» (1866—1869), рисующих картины жизни «люмпенпролетариата».

² Имеется в виду рассказ Горького «Тоска».

³ *Максимов С. В.* (1831—1901) — писатель-этнограф, автор книги «Сибирь и каторга» (т. 1—3, 1871), откуда и цитируется нижеследующий пассаж.

⁴ Перечисляются герои произведений Пушкина («Евгений Онегин»), Лермонтова («Герой нашего времени»), Герцена («Кто виноват?»), Тургенева («Рудин», «Отцы и дети»), Гончарова («Обрыв»).

⁵ Имеются в виду два ветхозаветных сюжета: бегство Иосифа от соблазняющей его жены Потифара (Быт 39, 7-13) и история Сусанны (Даниил 13, 1—64).

⁶ Перечисляются имена известных французских беллетристов — мастеров авантюрно-приключенческих жанров.

А. М. Скабичевский

Новые черты в таланте г. М. Горького

Впервые: Сын отечества. 1899. № 219; печ. по: Критические статьи... С. 125—145.

¹ Ринальдо-Ринальдини — легендарный разбойник, герой романа немецкого романтика Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо-Ринальдини».

² Перечисляются герои произведений Аксакова («Детские годы Багрова-внука»), Гончарова («Обрыв»), Мельникова-Печерского («В лесах», «На горах»).

³ *Иван III Васильевич* (1440—1505) — великий князь Московский (с 1462), который присоединил к Москве Ярославль, Новгород, Пермь, Тверь, Вятку и другие крупные княжества и земли; в 1480 г. при нем было свергнуто монголо-татарское иго. *Иван IV Васильевич* (Грозный, 1530—1584) — первый русский царь (с 1547), покоритель Казанского и Астраханского ханств; при нем к России были присоединены сибирские земли.

⁴ *Косморاما* — демонстрационно-зрелищный механизм.

⁵ Перечисляются герои произведений Герцена («Кто виноват?»), Тургенева («Накануне»), Чернышевского («Что делать?»).

⁶ Окончательное название романа Д. С. Мережковского — «Юлиан Отступник» — первая часть трилогии «Христос и Антихрист» («Гибель богов»).

⁷ Из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» А. С. Пушкина.

⁸ Титулярный советник и коллежский секретарь — гражданские чины, соответствующие 9 и 10 классам «Табели о рангах», т. е. низшие, наиболее распространенные (аналогичные военному чину старшего лейтенанта и лейтенанта).

⁹ Имеется в виду «Сцена из “Фауста”» Пушкина.

¹⁰ *Сийес* Эммануэль Жозеф (1748—1836) — деятель Великой французской революции, один из основателей Якобинского клуба.

IV. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГОРЬКОГО В РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 1890-1910-Х ГГ.

Н. Минский

Философия тоски и жажда воли

Впервые: Новости. 1898. № 138; печ. по: Критические статьи... С. 17—26.

Минский Николай Михайлович (наст. фамилия — Виленкин; 1855—1937) — поэт, философ, журналист, общественный деятель. Был связан с радикальными революционными кругами — эсерами и большевиками. В 1905 г. издавал пробольшевистскую газету «Новая жизнь», после чего вынужден был эмигрировать во Францию. Создал эклектическое учение, которое назвал «мэонизмом» (от греч. «мэ он» — «ничто»), в котором поставил вопрос о «жизнетворчестве» как результате эстетической акции. Книга «При свете совести: Мысли и мечты о цели жизни», в которой развивалось это учение, стала одной из существенных «вех» становления «нового искусства» (1890).

¹ Имеются в виду последователи Ф. Ницше, который именовал себя «учителем вечного возвращения» — Заратустрой («Так говорил Заратустра»).

И. Игнатов

Философия босячества (у Ришпена и г. Горького)

Впервые: Русские ведомости. 1898. № 170; печ. по: Критические статьи... С. 44-52.

Игнатов Илья Николаевич (1856—1921) — литературный и театральный критик, публицист. Ведущий литературного и театрального отдела газеты «Русские ведомости». Убеденный либерал, в молодости связанный с народниками, арестованный и сосланный (в автобиографии писал о своем заключении как о «стаже» всякого честного русского интеллигента). В критических работах становился на позиции позитивистской эстетики (в духе И. Тэна).

¹ *Ришпен Жан* (наст. имя — Огюст Жюль; 1849—1926) — французский писатель, поэт и драматург. С 1908 г. — член Французской академии. В своем творчестве культивировал «босяческие» мотивы, ориентируясь на традицию Ф. Вийона (сб. стихов «Песнь босяков»), а также анархическую тематику, эпатирующую своим имморализмом (сб. стихов «Ласки», «Богохульства»). В драматургии подражал Э. Ростану, однако «романтический театр» у него превращался в театр мелодраматической декламации: такова и стихотворная драма «Бродяга» (1897), о которой идет речь в статье.

² Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Тамара».

³ Л. Мельшин — псевдоним П. Ф. Якубовича (1860—1911) — писателя, революционера-народника, автора известных «каторжных» мемуаров «В мире отверженных» (1895—1898).

Ник. Михайловский

О г. Максиме Горьком и его героях

Впервые: Русское богатство. 1898. № 9—10; печ. по: Критические статьи... С. 53—105.

Михайловский Николай Михайлович (1842—1904) — русский социолог и публицист, идеолог либерального народничества. Редактор журнала «Русское богатство», в котором дебютировал протеже В. Г. Короленко (со-редактора) — Горький (с рассказом «Челкаш»).

¹ Из пьесы А. Н. Островского «Не все коту масленица».

² Имеется в виду популярный петербургский литературный, научный и общественно-политический ежемесячник (1885—1898), с которым «Русское богатство» Михайловского вело острую полемику после того, как во главе «Северного вестника» в 1890 г. стали сторонники «нового искусства» (символизма) — З. А. Венгерова и А. Волинский. Горький опубликовал в «Северном вестнике» «Мальву» и «Вареньку Олесову» (1897).

³ Из рассказа Горького «Коновалов».

⁴ Повесть А. П. Чехова «Мужики» была опубликована в журнале «Жизнь» (1897) и стала предметом полемики между Михайловским и П. Б. Струве (тогда — «легальным марксистом»).

⁵ Из рассказа Горького «Бывшие люди».

⁶ Решетников Ф. М. (1841—1871) — прозаик, один из сотрудников «Современника» в 60-е годы XIX века. Автор повести «Подлиповцы», посвященной быту и нравам сибирских крестьян.

⁷ Агасфер (или Вечный Жид) — согласно преданию, проклятый Богом человек, осужденный на вечное странствие после того, как он отказал Христу в отдыхе во время Крестного пути.

⁸ Из рассказа Горького «Бывшие люди».

⁹ Из рассказа Горького «Бывшие люди».

¹⁰ Из поэмы Пушкина «Цыгане».

¹¹ Михайловский имеет в виду известное признание Ницше из «Сумерек кумиров»: «Для проблемы, которая стоит здесь перед нами (проблемы преступника как особого человеческого типа. — *Ред.*), немаловажно свидетельство Достоевского, единственного психолога, у которого я смог чему-то научиться: Достоевский — одна из счастливейших удач моей жизни... Этот глубокий человек, который тысячу раз был прав в своем пренебрежении к поверхностным немцам, долго жил среди сибирских каторжников, сплошь опасных преступников, кому был заказан путь назад в общество, и обнаружил, что эти люди совершенно не отвечают его прежним представлениям о преступниках — они были словно бы вырезаны из самого драгоценного твердого дерева, которое только произрастает на русской почве» (гл. «Преступник и типы, ему родственные». Пер. Г. Снежинской).

¹² С очерком об учении Ницше Михайловский выступил на страницах № 11 и 12 «Русского богатства» за 1894 г. В частности, Михайловский писал, что Ницше «выпала на долю... роль: быть философским выражением всего цивилизацией не пристроенного, оскорбленного, озлобленного, всех сирот и отбросов-чанда...» (Русское богатство. 1894. № 12. С. 105).

М. Гельрот

Ницше и Горький (элементы ницшеанства в творчестве Горького)

Впервые: Русское богатство. 1903. № 5. С. 24—65.

Гельрот М. В. (ум. 1907) — публицист и критик, постоянный сотрудник журнала «Русское богатство».

¹ *Эккерман* Иоганн Петер (1792—1854) — личный секретарь Гете, автор книги мемуаров «Разговоры с Гете» (1837—1848).

² *Пелисье* Эмбаль Жан Жак (1794—1864) — маршал Франции, герой Крымской кампании 1853—1855 гг.

³ *Риль* Алоиз (1844—1924) — немецкий философ. Имеется в виду русский перевод его работы «Ницше как художник и мыслитель» (СПб., 1898).

⁴ Луиза Густавовна (*Лу*) *Андреас-Саломе* (1861—1937) — близкая знакомая Ницше в последние годы его творчества. Статья Андреас-Саломе «Фридрих Ницше в своих произведениях» была опубликована в журнале «Северный вестник» (1896. № 5).

⁵ В русском переводе (1911) работа Х. Файнгингера называется «Ницше: Философ отрицания».

⁶ *Мандевиль* Бернард де (1670—1733) — английский философ-моралист.

⁷ *Штирнер* Макс (наст. имя — Каспар Шмидт, 1806—1856) — немецкий философ-младогегельянец, теоретик анархизма.

⁸ Карл Моор — герой романтической трагедии Ф. Шиллера «Разбойники».

⁹ *Мецеровский* В. П. (1839—1914) — князь, русский писатель и публицист, издатель журнала «Гражданин» (1872—1914). Отличался крайним консерватизмом.

¹⁰ *Милль* Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель.

¹¹ *Шамфор* Себастьян Рок Никола (1740—1794) — французский философ-моралист, драматург, мастер афоризма.

¹² *Ренан* Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель, историк религии, пытавшийся рационализировать историю Христа.

¹³ Ману — легендарный прародитель людей в индийской мифологии. Законы Ману — наиболее известная из Дхармашастр, сборников правил, определяющих обязанности, моральные и правовые нормы поведения людей различных каст — брахманов, кшатриев, вайш и шудр. Ницше познакомился с системой законов Ману в книге Л. Жаколио «Религиозные законодатели. Ману—Моисей—Магомет», вышедшей в Париже в 1876 г. В

«Сумерках кумиров» Ницше писал: «Возьмем другой случай так называемой морали — выведение определенной человеческой породы или вида. Блестящий пример тому дает мораль индусов, получившая статус религии в «законах Ману». Здесь поставлена задача вывести ни много ни мало четыре породы разом: жреческую, воинскую, породу торговцев и землевладельцев и, наконец, породу слуг, шудра... Можно облегченно вздохнуть, ведь мы покинули христианскую атмосферу лечебниц и тюрем и вступаем в более здоровый высокий и просторный мир. Как убог Новый завет рядом с законами Ману, как он смердит! Но и организации индусов пришлось прибегнуть к устрашению — уже не в борьбе с человеком-зверем, но в борьбе с его антиподом, человеком беспородным, человеком-помесью, чандала. И вновь не нашлось лучшего средства сделать его не опасным и слабым — его сделали больным: то была борьба с «большинством». Наверное, ничто так не противно нашему чувству, как эти охранительные меры индийской морали» (гл. «Улучшатели человечества». Пер. Г. Снежинской).

¹⁴ Имеется в виду книга Ницше «Утренняя заря».

¹⁵ См. прим. 11 к статье Н. Я. Стечкина.

¹⁶ Имеется в виду трактат Макса Нордау «Вырождение: Психопатические явления в области современной литературы и искусства» (русский перевод — 1896), объясняющий «ненормальность» современного Нордау искусства «конца века» массовой деградацией европейцев. Ярким симптомом подобной деградации Нордау считал творчество Ницше (которому посвящен отдельный очерк).

М. Меньшиков

Красивый цинизм

Впервые: Новое время. 1900. № 76; печ. по: Критические работы... С. 181—209.

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — публицист, критик, редактор газеты «Неделя», ведущий сотрудник газеты «Новое время». Выступал как ярко тенденциозный публицист-«государственник», чем вызывал гнев как «левой», так и «правой» группировок русской интеллектуальной элиты. В 1918 г. убит чекистами.

¹ Имеется в виду В. М. Гаршин; история, упомянутая Меньшиковым, легла в основу рассказа Гаршина «Четыре дня» (1877).

² Имеется в виду С. Я. Надсон, умерший от чахотки в 1887 г.

³ Очевидно, имеется в виду П. Ф. Якубович (см. коммент. к ст. И. Н. Игнатов).

⁴ Возможно, речь здесь идет о К. Д. Бальмонте, который один из первых поэтов «новой школы» в 90-е гг. XIX в. стал уделять большое внимание всякого рода «жизнетворческим» аспектам, в т. ч., — созданию «стильного» облика и поведения. Об экстравагантных прическах Бальмонта упоминает, например, Андрей Белый: «Помесь рыжего Тора, покинувшего парикмахера Пашкова, где стригся он, чтобы стать Мефистофе-

лем, пахнувшим фиксатуром...» (*Андрей Белый*. Начало века. Гл. «Авторство»).

⁵ Имеется в виду притча о бедном Лазаре (Лк 16, 19-31).

⁶ «Гражданин» — общественно-политическая и литературная газета-журнал, издававшаяся в Петербурге в 1872—1914 гг.; «Московские ведомости» — одна из старейших русских газет (1756—1917). Во второй половине XIX в. оба издания ассоциировались с крайне правыми политическими кругами.

⁷ Отношение Горького — руководителя «Жизни» в 1899—1901-х гг. — к «легальным марксистам», сотрудничавшим в журнале, было далеко не столь однозначным, как то представлялось Меньшикову. «Струве — иезуит, — писал в это время Горький В. А. Поссе. — Вчера он выматывал из меня подноготную “Жизни”... Понял, что “они” (т. е. «легальные марксисты») во главе со Струве. — *Ред.*) считают необходимым спасти литературу от набега босяков... Они, друг мой, клопы, буржуазные клопы». В. А. Поссе вспоминал, что Горький считал тогда, что марксизм «принижает человеческую личность»: «Горький писал мне, чтобы я не шел к марксистам на “совет нечестивых”» (см.: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX в.: 1890—1904. Социально-демократические и общедемократические издания. М., 1981. С. 237—240).

⁸ Имеется в виду статья графа П. Кутузова «Мысли русского читателя» (Гражданин. 1900. 17 авг. № 62). «Гражданин» издавался князем В. П. Мещерским.

⁹ Имеется в виду журнал «Жизнь», фактическим руководителем которого Горький был в 1899—1901 гг. Журнал считался органом «легального марксизма».

¹⁰ Имеется в виду эпизод из Книги Бытия (41, 1—37).

¹¹ *Куцевский И. А.* (1847—1876) — писатель-народник.

¹² *Бенедиктов В. Г.* (1807—1873) — поэт-романтик, переживший огромную популярность в 30-х гг., но полностью забытый в конце творческого пути; умер в нищете и безвестности.

¹³ *Туган-Барановский М. И.* (1865—1919) — русский социолог и экономист, один из теоретиков «легального марксизма».

¹⁴ Великий русский лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» *В. И. Даль* (1801—1872) в 30—40-х гг. XIX в. публиковал под псевдонимом Казак Луганский этнографические очерки, посвященные жизни и быту населения Южной России. *Марко Вовчок* — псевдоним писательницы М. А. Вилинской-Маркович (1833—1907), автора «Украинских народных рассказов» (1857) и «Рассказов из народного русского быта» (1859).

¹⁵ *Молокане* — одна из сект духовных христиан, отвергавших церковную общность.

¹⁶ *Гай* (II в. н. э.) — римский юрист, создатель «Институций», т. е. учебников для юристов, изложений действующего свода законов.

¹⁷ *Кризалида* — кокон.

¹⁸ *Никитин И. С.* (1824—1861) — поэт, тематически следовавший школе Некрасова, мастер пейзажной лирики.

¹⁹ *Самсон* — персонаж Ветхого Завета, иудейский богатырь, сражавшийся против данайцев.

²⁰ *Иов* — персонаж Ветхого Завета, праведник, искушаемый сатаной.

²¹ Имеется в виду Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 гг. до н. э.) — афинский философ-киник, прославившийся эксцентрическими выходками, отрицающими общепринятые нормы жизни афинских граждан. В Афинах воспринимался вроде шута, был героем многочисленных анекдотов.

²² Книга Экклезиаста, или Проповедника — часть Ветхого Завета; в книге присутствуют мотивы отрицания бытия как «суеты сует» (1, 2).

Н. Я. Стечкин

Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского общества

Впервые: Русский вестник. 1904. № 1—6. Печ. по: *Стечкин Н. Я.* Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского общества. СПб., 1904.

Стечкин Николай Яковлевич (псевд. Стародум; 1854—1906) — ведущий критик и публицист журнала «Русский вестник», консерватор, монархист и государственный.

¹ Упомянут инцидент, происшедший с Горьким на спектакле МХАТа «Чайка» 28 октября 1900 г.: в антракте публика стала вызывать Горького, что, если учитывать присутствие в театре А. П. Чехова, ставило Горького в двусмысленное положение. Горький обратился к публике с резкой отповедью. Инцидент (в искаженном виде) попал в бульварные газеты.

² См. об этом прим. 17 к воспоминаниям Б. К. Зайцева.

⁸ *Оберман* — герой одноименного романа французского писателя Этьенни Пивер де Сенанкура (1770—1846), нигилист и циник, разочаровавшийся в идеалах революции.

⁴ *Санкюлоты* — парижская беднота, ударная сила «левых» якобинцев в годы Великой французской революции. Толпы санкюлотов под предводительством «вождей» выходили на историческую арену в моменты крупных террористических акций: самым страшным примером этого может служить сентябрьский многодневный погром в Париже в 1792 г., когда тысячи «аристократов», заключенных в тюрьмах, были растерзаны озверевшей толпой (т. н. «сентябрьские события»).

⁵ Восстание казаков под предводительством С. Т. Разина (ок. 1630 — 1671) началось весной 1670 г., т. е. никак не «триста лет назад», как утверждает в 90-е гг. XIX в. горьковский рассказчик.

⁶ Из стихотворения А. С. Пушкина «Демон»:

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

⁷ *Калигула* (12—41) — римский император, самодур и деспот, имя которого стало нарицательным.

⁸ И. А. Крылов.

⁹ *Мегера* — богиня мести (она же — эриния).

¹⁰ Горький родился в 1868 г.

¹¹ Имеется в виду пародия В. И. Буренина, подписанная его обычным псевдонимом «Граф Алексис Жасминов», — «Радда и Лойко, или Пагубные следствия необузданных страстей. Любовно-романтическая др-р-рама в одном действии с прологом. Сюжет Макара Чудры. Прозаический пересказ сюжета Максима Горького. Стихотворная драматическая переделка Василия Кислого» (Новое время. 1902. 20 марта № 9363). В этой пародии Буренин указывал на «лубочную» природу горьковского творчества и «переписывал» текст «Макара Чудры» в более адекватном, по мнению пародиста, жанре — «лубочно-романтической др-р-рамы», посвященной «незабвенной памяти авторов “Георга, милорда Аглицкого”, “Франциля Венециана”, “Прекрасной Магометанки, умирающей на гробе своего супруга, или Битвы русских с кабардинцами” и “Таньки, разбойницы Ростовской”» (перечисляются названия популярных в репертуарах провинциальных театров мелодрам). Помимо этой Буренин опубликовал ранее и пародию на «Вареньку Олесову» в пародийном цикле «Шедевры современной беллетристики самого последнего образца (Ultima Forma)» — Шедевр второй: Вениками его! Современная повесть с легким скандалом // Новое время. 1898. 28 авг. № 8082; подп.: гр. Алексис Жасминов.

¹² Имеется в виду покушение на Александра II 1 марта 1881 г.

¹³ Легендарный северный народ, упомянутый в «Истории» Геродота Галикарнасского (V в. до н. э.).

¹⁴ *Теруан де Мерикур* (наст. имя — Анна-Жозефина Тервань, 1762—1817) — куртизанка и авантюристка, ставшая в годы Великой французской революции одним из вождей санкюлотов.

¹⁵ *Штундизм* — сектантское учение, сочетающее вероучения духовных христиан с протестантизмом.

¹⁶ *Готфрид Бульонский* (ок. 1060—1100) — герцог Лотарингский, предводитель Первого крестового похода, основатель и первый король Иерусалимского королевства. *Петр Пустынник* — предводитель авангарда крестоносцев в Первом крестовом походе, дошедших зимой 1095/96 гг. до Иерусалима и разбитых там до прибытия основных сил. Авангард состоял из городской черни и опустившихся нищих рыцарей, мало чем отличавшихся от разбойничьих шаек.

¹⁷ Из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина.

¹⁸ См. об этом прим. 4 к вступительной статье в наст. изд.

¹⁹ Имеется в виду книга В. Врадия «Краски у Горького» (СПб., 1903 — весьма любопытный опыт «искусствоведческой» трактовки литературно-художественных текстов. Отметив, что современные Горькому беллетристи «не дают красок» в своих произведениях, В. Врадий далее пишет: «М Горький не злоупотребляет описаниями красок, но он кладет их много, не жалеет их — и публика за это ценит М. Горького!.. Красочная память (у Горького. — *Ред.*), должно быть, сильнее, чем память на события и формы. Лучше всего запоминаются внешние движения, затем краски (основные и яркие), и затем уже формы» (с. 9—10). По мнению В. Врадия, Горький в своей красочной палитре является «маринистом». «Поэто-

му он и краски берет главным образом такие, какие берут художники-маринисты и пейзажисты тех пейзажей, где есть вода. Он любит пейзажи с далеким горизонтом: море, широкая река (чаще Волга), степь. Главные краски его пейзажей: голубой (небо), зеленый (растительность), синий и серебристый (вода). Его излюбленный цвет — цвет ужаса — красный: кроваво-красный» (с. 8).

²⁰ *Серафим Саровский* (1759—1833) — популярный русский святой, канонизированный в 1902 г.

²¹ Имеется в виду сцена искушения первых людей дьяволом (Быт., 3, 5).

²² *Гребенка Е. П.* (1812—1848) — прозаик и поэт, автор популярных в 40-е годы XIX в. бытописательных очерков на темы Малороссии и провинциальной России.

Л. Е. Оболенский

Максим Горький и идеи его новых героев

Впервые: Северный курьер. 1900. 20 мая. № 196. Печ. по: Критические статьи... С. 236—246.

Оболенский Леонид Евгеньевич (1845—1906) — публицист, критик, философ.

¹ *Спенсер Герберт* (1820—1903) — английский философ и социолог, один из основателей органической школы в социологии, родоначальник позитивизма.

С. А. Адрианов

«На дне» Максима Горького

Печ. по: *Адрианов С. А.* «На дне» Максима Горького. СПб., 1903.

Адрианов Сергей Александрович (1871—1942) — литературный критик, публицист, историк литературы, переводчик. Один из ведущих сотрудников «Вестника Европы», либерал по убеждениям, требовавший, однако, свободы художественного творчества от политической тенденции.

¹ Имеется в виду постановка пьесы Горького МХАТом (премьера — 18 декабря 1902 г.) и Берлинским Малым театром (премьера — январь 1903 г.).

² Из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом».

³ Имеется в виду рассказ И. С. Тургенева «Касьян с Красивой Мечи», вошедший в «Записки охотника».

Д. С. Мережковский

Чехов и Горький

Печ. по: *Мережковский Д. С.* Грядущий хам. Чехов и Горький. СПб., 1906.

Мережковский в ряде своих работ благожелательно упоминает произведения Горького, которые служили прекрасной иллюстрацией положений Мережковского, касающихся русской интеллигенции — «церкви без бога», мятущейся и стремящейся к «человекобожескому» (антихристову) идеалу, что в историософской диалектике Мережковского парадоксально означало духовную живость этой социальной группы. Предлагаемая работа (вкуче со статьёй «Не Святая Русь», замыкающей наш сборник) позволяет достаточно полно представить трактовку крупнейшим русским писателем и мыслителем «начала века» горьковских произведений дореволюционной эпохи. Для экономии места в комментариях специально не оговариваются многочисленные (и повторяющиеся) «слепые» отсылки Мережковского к текстам произведений Горького («Ошибка», «Читатель», «Проходимец», «Бывшие люди», «Тоска», «Супруги Орловы» и др.) и текстам произведений А. П. Чехова («Степь», «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Палата № 6», «Скучная история» и др.).

¹ Имеется в виду сцена из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского (гл. «Смердяков играет на гитаре»).

² Гравюры цикла «Каприччиос» Гойи, изображающие чудовищные демонические образы.

³ Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Осенний вечер»; у Тютчева последние строки:

Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

⁴ Из «Бесов» Ф. М. Достоевского.

⁵ Имеется в виду герой повести Ф. М. Достоевского «Записки из подполья».

⁶ Из баллады Н. А. Некрасова «Дядя Влас».

⁷ Из «Легенды о Великом инквизиторе» («Братья Карамазовы»).

⁸ *Дягилев* Сергей Павлович (1872—1929) — театральный и художественный деятель, соредактор журнала «Мир искусства», являвшегося одним из периодических изданий художников «новой школы» в русском искусстве конца XIX — начала XX в.

⁹ Тело Чехова было вывезено из Ялты в «вагоне для перевозки свежих устриц»; этот трагически-нелепый ярлык на вагоне, где находился гроб, послужил поводом для многочисленных реплик прессы.

Д. В. Философов

Завтрашнее мещанство

Впервые: Новый путь. 1904. № 11; печ. по: *Философов Д. В.* Слова и жизнь. СПб., 1909. С. 38—49.

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — публицист, литературный критик, общественный деятель. Близкий друг Мережковских, сторонник «богоискательства», активный участник Религиозно-философских собраний. Цикл его статей о Горьком оказался в центре внимания тогдашней литературной общественности и вызвал острую полемику.

¹ Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Чему молилась ты с любовью...».

² Статья Философова — непосредственный отклик на скандал, разгоревшийся на премьере «Дачников» 10 ноября 1904 г. в театре В. Ф. Комиссаржевской. Причиной скандала стало то, что в пьесе явственно присутствовали выпады против конкретных литературных и общественных деятелей, связанных с «богоискательскими» кругами. Об этой премьере сохранились воспоминания В. Р. Гардина (1877—1965), актера, исполнявшего роль Басова: «...Зрительный зал активно включился в спектакль в качестве... действующего лица, а мы, участники спектакля, почувствовали крепкую поддержку одной части зрительного зала и поняли, что другую его часть должны разить остроты и правда пьесы, ибо это лагерь Басовых, Сусловых, Рюминых, то есть тех же “дачников”, попусту живущих на русской земле... В третьем акте нас колотило как в лихорадке. Зал решительно раскололся на два лагеря.

Каждый неодобрительный возглас снизу покрывался взрывом аплодисментов балкона...

А к началу четвертого театральный зал превратился в митинговую площадь» (Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 184—186).

После событий 9 января 1905 г. пьеса была запрещена.

³ *Маркони* Гульельмо (1874—1937) — итальянский радиотехник, осуществивший первую радиопередачу через Атлантику с помощью аппарата, тождественного аппарату А. С. Попова.

⁴ *Мечников И. И.* (1845—1916) — русский биолог и патолог, активно занимавшийся проблемой старения и смерти.

⁵ *Дюбуа-Реймон* Эмиль Генрих (1818—1896) — немецкий физиолог, философ, публицист. Разработал методику электрофизиологических исследований. Представитель механистического материализма и агностицизма.

⁶ Из поэмы Н. А. Некрасова «Дедушка».

⁷ *Стасов В. В.* (1824—1906) — художественный и музыкальный критик, историк искусства, идеолог «Могучей кучки». В начале XX в. подвергался нападкам со стороны писателей-модернистов, которые видели в нем сторонника наивного реализма, чуждого современной эстетической ситуации.

Д. В. Философов

Конец Горького

Впервые: Русская мысль. 1907. № 4; печ. по: Слова и жизнь... С. 50—78.

¹ Из «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» А. С. Пушкина.

² «Грядущий хам» — статья Мережковского (1906), в которой Мережковский предупреждает об опасности возникновения в европейском мирознании «духовного Китая»: индифферентного отношения к метафизическим ценностям, ведущего к духовному нигилизму.

³ *Бюхнер* Людвиг (1824—1899) — немецкий философ и естествоиспытатель, врач. Представитель вульгарного материализма, рассматривающий духовное как совокупность функций мозга (в работе «Сила и материя»). *Молешотт* Якоб (1822—1893) — немецкий философ и физиолог, вульгарный материалист, отождествляющий философию с естествознанием. Труды этих мыслителей были чрезвычайно популярны в среде русской демократической интеллигенции 60-70-х годов XIX в.

⁴ *Комб* Эмиль (1835—1921) — французский политический деятель, премьер-министр Франции в 1902—1905 гг.

⁵ *Бриан* Аристид (1862—1932) — французский политический деятель, в 1909—1931 гг. неоднократно занимал пост премьер-министра Франции.

⁶ *Олар* Альфонс (1849—1928) — французский историк, специализировавшийся на истории Великой французской революции.

⁷ После публикации Горьким памфлета «Прекрасная Франция» (1907), в котором содержались резкие выпады против современной французской общественности, французские средства массовой информации устроили писателю обструкцию; Горький ответил своим оппонентам статьей «Моим клеветникам», одним из адресатов которой обозначен журналист Ж. Ришар.

⁸ *Вивиани* Рене (1863—1925) — французский политический и государственный деятель «левого» направления, премьер-министр Франции в 1914—1915 гг.

⁹ *Адан* Поль (1862—1920) — французский прозаик, представитель «натурализма».

¹⁰ *Бурже* Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский прозаик, романист.

¹¹ Имеется в виду цитата из заключительной части кантовской «Критики практического разума»: «Две вещи наполняют душу удивлением и восторгом: звездное небо над нами и моральный закон в нас».

Д. В. Философов

Горький о религии

Впервые: Перевал. 1907. № 8—9; печ. по: Слова и жизнь... С. 79—87.

¹ «Жизнь Человека» — драма Л. Н. Андреева (1904).

² Слова Базарова («Отцы и дети»).

³ Французский естествоиспытатель-физик Пьер Кюри погиб в 1906 г. в уличной катастрофе.

⁴ *Борджиа* *Чезаре* (Цезарь) (ок. 1475—1507) — итальянский политический деятель, герцог, незаконный сын папы Александра VI, жестокий и беспринципный политик, одержимый идеей объединения Италии; послужил прототипом для образа идеального вождя в трактате Макиавелли «Государь».

Д. В. Философов

Разложение материализма

Впервые: Товарищ. 1907. 15 мая. № 266; печ. по: Слова и жизнь... С. 88—96.

¹ *Литтре* Эмиль (1801—1881) — французский философ-позитивист, последователь О. Конта; филолог, составитель «Словаря французского языка».

² *Илиодор* (в миру — Труфанов Сергей Владимирович; 1880—1950-е) — иеромонах, проповедник, религиозный и общественный деятель крайне правого толка.

³ *Крушеван П. А.* (1869—1909) — прозаик, публицист, активный член «Союза русского народа».

⁴ «Мистический анархизм» — политико-эстетическое учение, идеологами которого были Вяч. И. Иванов и Г. Чулков.

⁵ «Скорпион», «Гриф» — московские символистские издательства.

В. Л. Львов-Рогачевский

На пути в Эммаус

Печ. по: Образование. 1907. № 11. С. 38—86.

Львов-Рогачевский Василий Львович (наст. фамилия — Рогачевский; 1873—1930) — литературный критик, публицист. Член РСДРП с 1901 г. Один из основателей литературно-критической школы «вульгарного социологизма».

¹ «Огарки» — повесть Скитальца (1906), действующими лицами которой является деклассированная молодежь. Название повести стало нарицательным.

² «Савва» — драма Л. Н. Андреева (1906), главным действующим лицом которой является революционер — анархист и богоборец.

³ Имеется в виду рассказ Л. Н. Андреева «Так было».

⁴ Фигура И. П. Каляева очень скоро после его казни стала восприниматься в интеллигентских кругах как совершенный образ революционера-подвижника и идеалиста, что особенно укрепилось после выхода романа Б. В. Савинкова «Конь бледный», в котором Каляев является прототипом террориста-боевика Вани [подпольно Савинковым была издана брошюра «Из воспоминаний об Иване Каляеве» (1906)].

⁵ «Процессом 193-х», или «Большим процессом», называли политический процесс над участниками «хождения в народ». Процесс длился около трех месяцев (1877—1878), имел огромный резонанс в России. 28 подсудимых народников были приговорены к каторге.

⁶ *Фурье* Шарль (1772—1837) — французский утопический социалист.

⁷ *Лаврис* — последователь П. Л. Лаврова (1823—1900), популярно среди революционной интеллигенции 70-х годов XIX в. социолога и публициста, идеолога народничества.

⁸ *Липперт* Юлиус (1839—1909) — австрийский историк, представитель эволюционного направления в этнографии и истории культуры.

⁹ «*Экономисты*» — направление в российской социал-демократии, сторонники экономической борьбы пролетариата, отрицавшие необходимость борьбы политической.

¹⁰ *Маккавей* — Иуда Маккавей и его братья, вожди иудеев в борьбе против власти Селевкидов (II в. до н. э.).

¹¹ *Махновец В. П.* (наст. фамилия Акимов) — публицист социал-демократической ориентации.

А. В. Луначарский

Двадцать третий сборник «Знания»
(отрывок)

Печ. по: Литературный распад: Сб. статей. Кн. II. СПб., 1909. С. 88—98.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — литературный критик, публицист, драматург, революционный и государственный деятель. Знаком с Горьким с октября 1907 г. Под влиянием идей Луначарского о «новой религии», создаваемой в революционном движении пролетариата, Горьким созданы романы и повести 1907—1913 гг.: «Мать», «Исповедь», «Жизнь ненужного человека» и др. Мережковский называл учение Луначарского «мистическим социализмом» и полагал «богостроительство» родственным «богоискательству» русских религиозных философов.

¹ *Бебель* Август (1840—1913) — один из основателей и руководителей германской социал-демократической партии и II Интернационала.

² *Каутский* Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и II Интернационала.

³ *Геккель* Эрнст (1834—1919) — биолог-эволюционист, пропагандист дарвинизма, сторонник естественнонаучного материализма.

⁴ *Штраус* Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий философ-младогегельянец, теолог, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835—1836).

⁵ «Русское знамя» — петербургская газета (1905—1917), орган Союза русского народа.

Г. В. Плеханов

О так называемых религиозных исканиях в России
(отрывок)

Печ. по: Современный мир. 1909. № 10. С. 188-200.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — один из крупнейших деятелей русского социал-демократического движения, пропагандист и популяризатор марксизма, публицист, критик. Остро полемизировал с

Луначарским в 1907—1909 гг., отрицая теорию «богостроительства» как псевдомарксистскую (в этом он солидаризовался с Лениным).

¹ Из басни И. А. Крылова «Щука и кот».

² Луначарским.

³ *Лурд* — город на юге Франции, место паломничества католиков, где происходили случаи чудесного исцеления, подобные тому, который описан в финале горьковской «Исповеди».

⁴ *Стенли* Генри Мортон (наст. имя Джон Роулендс; 1841—1904) — журналист, исследователь Африки.

⁵ *Криге* Герман (1820—1850) — немецкий журналист, представитель «истинного социализма», оппонент и корреспондент Карла Маркса.

Д. В. Философов

Евсей и Матвей

Впервые: Московский еженедельник. 1908. 26 июля. № 29; печ. по: Слова и жизнь... С. 97—104.

¹ *Сергий Радонежский* (ок. 1321—1391) — основатель и игумен Троице-Сергиевой лавры. Духовный пастырь Дмитрия Донского, благословивший его на поход против татар в 1380 г.

² *Авенариус* Рихард (1843—1896) — швейцарский философ, один из основоположников эмпириокритицизма. *Гольдцанфель* Рудольф — немецкий философ-эмпириокритик.

К. И. Чуковский

Максим Горький

Печ. по: *Чуковский К. И.* От Чехова до наших дней. СПб., 1911. С. 98—113.

Очерки К. И. Чуковского — непревзойденные образцы литературной критики начала века. Склонность автора к парадоксальному мышлению позволяет видеть глубинные идейные и поэтические истоки творчества Горького — как негативные, так и позитивные, связанные со спецификой его творческой личности. Об отношениях Горького и Чуковского см. воспоминания последнего в наст. изд.

¹ Имеется в виду статья Горького «Заметки о мещанстве» (1905).

² Имеется в виду очерк Горького «Город желтого дьявола» (1907).

³ *Скиталец* (Степан Гаврилович Петров, 1869—1941) — поэт, прозаик, публицист, постоянный автор сборников «Знания».

⁴ Имеется в виду рассказ Л. Н. Андреева «Иуда Искариот и другие» 1907).

⁵ *Лукьянов А. А.* (1871—1942) — поэт, автор водевилей. Познакомился с Горьким в начале 1900-х гг. и по его приглашению печатался в альманахах «Знания».

⁶ *Га́лина Г.* (наст. имя — Ринге Глафира Адольфовна; 1870—1942) — поэтесса, автор нескольких революционных стихотворений, имевших широкую популярность в демократических кругах.

⁷ *П. Я.* — П. Ф. Якубович.

⁸ *Федоров А. М.* (1868—1949) — поэт и прозаик, реалист-бытописатель.

К. И. Чуковский

Пфуль

Печ. по: *Чуковский К. И.* Книга о русских писателях. СПб., 1915. С. 181—202.

¹ «Мелкий бес» — роман Ф. Сологуба (1904), действие которого протекает в провинциальном городке.

² Из стихотворения Андрея Белого «Россия».

Д. С. Мережковский

Не святая Русь (Религия Горького)

Печ. по: Русское слово. 1916. № 210. 11 сент.

¹ Имеется в виду агностическое учение И. Канта, изложенное в его «Критике чистого разума».

² Из стихотворения А. С. Пушкина «Два чувства дивно близки нам...».

³ Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...».